БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

ПРИРОДА
ФУНКЦИИ
МЕТОДЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ

III

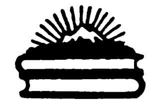
NATURE
FUNCTIONS
METHODS
OF STUDY

THE UNCONSCIOUS

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია
დ. უზნაძის სახელობის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი

АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ПСИХОЛОГИИ им. Д. Н. УЗНАДЗЕ

ACADEMY OF SCIENCES OF THE GEORGIAN SSR
THE D. N. UZNADZE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY



THE UNCONSCIOUS

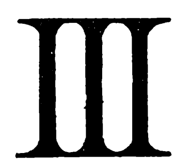
NATURE
FUNCTIONS
METHODS
OF STUDY

Edited by

A. S. Prangishvili
ACADEMY OF SCIENCES OF THE GEORGIAN SSR

A. E. Sherozia
TBILISI STATE UNIVERSITY

F. V. Bassin
USSR ACADEMY OF MEDICAL SCIENCES



«METSNIEREBA»
PUBLISHING HOUSE
TBILISI
1978

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

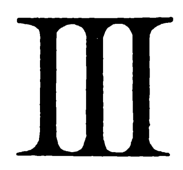
ПРИРОДА ФУНКЦИИ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Под общей редакцией

А. С. ПРАНГИШВИЛИ
АКАДЕМИЯ НАУК ГРУЗИНСКОЙ ССР

А. Е. ШЕРОЗИЯ
ТБИЛИССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Ф. В. БАССИНА
АКАДЕМИЯ МЕДИЦИНСКИХ НАУК СССР



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«МЕЦНИЕРЕБА»
ТБИЛИСИ
1978

Коллективная монография
в четырех томах.
Предисловия, введение,
вступительные статьи
ко всем разделам
монографии, примечания
и заключение
Ф. В. Бассина, А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия

●

A Collective Monograph
in Four Volumes.
The forewords, preface,
introductory articles
to all the sections of
the monograph, notes and
the conclusion by
F. V. Bassin, A. S. Prangishvili, A. E. Sherozia

Б $\frac{10508}{\text{М 607 (06)—78}}$ 211—79

ОГЛАВЛЕНИЕ

(Текст монографии составляют статьи на русском, английском, французском и немецком языках. Предисловия и резюме русских статей, за редким исключением, представлены на английском языке.)

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОЗНАНИЕ. ОБЩЕНИЕ. ЛИЧНОСТЬ

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, ЯЗЫК, РЕЧЬ

CONTENTS

(The monograph is comprised of papers in Russian, English, French and German. The forewords and summaries of the Russian papers are, with rare exceptions, in English.)

VOLUME THREE

COGNITION. COMMUNICATION. PERSONALITY

PERSONALITY, SET, CONSCIOUSNESS AND THE UNCONSCIOUS

ТОМ ТРЕТИЙ

ПОЗНАНИЕ ОБЩЕНИЕ ЛИЧНОСТЬ

VOLUME THREE

COGNITION COMMUNICATION PERSONALITY

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ТОМУ

В настоящий том монографии вошли тематические разделы: седьмой, посвященный проблеме роли бессознательного в мыслительной деятельности; восьмой, где анализируется связь бессознательного с активностью речи; девятый, направленный на рассмотрение существующих сегодня представлений о бессознательном как о факторе формирования личности: и, наконец, десятый, освещающий некоторые из современных методических подходов к проблеме бессознательного. Кроме того, третий том монографии содержит общее «Заключение» от редакции.

Если в первом томе идеей, логически объединившей его содержание, явилось представление об эволюции категориального аппарата, использованного при исследовании проблемы бессознательного, во втором — концепция «языков» бессознательного, форм его специфического символического выражения, то аналогичную роль в отношении материалов третьего тома выполняет идея участия бессознательного в наиболее сложных формах психической деятельности, каковыми являются, в частности, процессы, лежащие в основе речевого мышления, с одной стороны, и формирования и проявления черт личности, с другой.

Приводимые в настоящем томе монографии теоретические и экспериментальные данные показывают, насколько велика роль активности бессознательного в динамике именно высших, наиболее поздно онтогенетически формирующихся проявлений психической деятельности человека. Как убеждает история развития представлений о бессознательном, одним из главных препятствий на пути этого развития до сих пор является упрощенное понимание, согласно которому наиболее сложные проявления душевной жизни человека — это область, в которой все компоненты психического процесса осознаваемы, в то время как на долю бессознательного отводится, в лучшем случае, только участие на уровне «элементарного» психического, того, что имеет характер автоматизмов или упрочившихся динамических стереотипов. Ошибочность подобной трактовки вряд ли требует на сегодня доказательств. Неустранимость сложнейшей диалектики отношений, противоречиво и вместе с тем комплементарно связывающих между собою осознаваемое и неосознаваемое в психологической структуре как «сложного», так и «элементарного», была теорией психологической установки утверждена как одно из основных методологических положений современной психологии, от которого предстоит, как мы полагаем, отправляться всему дальнейшему развитию этой науки.

Следует учитывать, что отнесение бессознательного к функциональной структуре сложных форм психической деятельности сближает между собой тематические разделы третьего тома монографии отнюдь не формально. Понимание неустранимости присутствия неосознаваемого в том, что отражается в душевной жизни человека как выражение высших форм ее организации, во многом изменило привычные для нас

представления о самом существе этих форм, а тем самым и о природе душевной жизни человека в целом.

Касаясь этого вопроса, нельзя не вспомнить, что сходную эволюцию претерпела в аналогичном плане на протяжении последних десятилетий и психоаналитическая мысль. Если мы обратимся к короткому, получившему в мировой литературе широкую известность определению, которое было дано психоанализу Дж. Клайном («психоанализ — это психология значений и их преобразований в критические моменты жизни»), то легко заметить, как велика дистанция, отделяющая современные психоаналитические трактовки с их акцентом на конфликтности человеческого существования (и соответственно на разных формах «психологической защиты», на разных закономерностях соотношений между бессознательным и сознанием, на разных последствиях нарастания «душевного непорядка», «психологической энтропии», на широко толкуемых проявлениях регрессии, изживания, отреагирования, проекций, символизации и т. п.) от узких и односторонних тенденций ортодоксального фрейдизма. В какой степени, однако, удается современному психоанализу реализация этой его более чем смелой претензии на роль основной теоретической системы, способной осветить закономерности наиболее сложных движений психики человека?

Огульно отвергать результаты работы, которая в этом направлении настойчиво проводится многими психоаналитически ориентированными исследователями, было бы, конечно, неправильно. Вместе с тем — и это в плане полемики, фактически проводимой нами с психоанализом, продолжает быть главным — надо помнить о следующем.

Психоанализ, следуя традициям своего изначального развития, стремится понять природу мыслительной деятельности, душевных коллизий в условиях выбора альтернатив, характер эмоциональных напряжений, возникающих при необходимости принятия ответственных решений и т. п., учитывая участие в динамике этих состояний активности бессознательного. Однако эта его позиция выступает нередко лишь как своеобразная «правда с умолчаниями» из-за того, что функции бессознательного могут быть адекватно интерпретированы в данном случае, как и всегда, **только в рамках значительно более общей, более глобальной концепции психики в целом,** которой психоаналитическая школа уделяла в прошлом и продолжает уделять поныне парадоксально мало внимания.

В этих условиях перед критикой психоанализа возникает нелегкая задача. Не только не отвергая, но, напротив, поддерживая, а в некоторых отношениях даже углубляя центральный для психоанализа тезис о важной роли бессознательного в душевной жизни человека, эта критика должна показать вместе с тем всю сложность, скрытую диалектику этой роли, вытекающую из включенности бессознательного в систему психического. Но это можно сделать лишь охарактеризовав ограничения, которые налагаются на активность как неосознаваемого, так и осознаваемого их непрестанным взаимодействием; осветив конкретные психологические процессы, на основе которых это взаимодействие происходит; назвав и расшифровав психологические структуры, порождаемые сочетанием таких принципиально, казалось бы, несовместимых психологических феноменов, как переживания, осознаваемые их субъектом ясно, и переживания, не осознаваемые вовсе.

Если эти требования не выполняются и активность бессознательного рассматривается **вне** более общего психологического контекста, в который она включена, то создается основа для ошибок не ме-

нее грубых, чем те, которые возникают, когда фактор бессознательного игнорируется.

Адекватное раскрытие роли бессознательного в речевом мышлении, в формировании и стабилизации черт личности может быть, таким образом, достигнуто только при условии, что анализ не остается замкнутым в рамках теории бессознательного в ее узком понимании, а выходя за эти рамки, апеллирует к категориям, связывающим идею бессознательного с психологическими представлениями значительно более широкого круга. И первым шагом на этом пути является, естественно, обращение к идее психологической установки. Отвлекаясь от этой идеи, мы заранее исключаем возможность понимания, как, в частности, происходит включение бессознательного в структуру речевой мыслительной деятельности, и в еще большей, быть может, степени — понимания того, как зарождается и стабилизируется та трудно определимая констелляция психологических черт, которую мы, на основе скорее интуитивной убежденности, чем каких-то заранее разработанных рациональных определений, квалифицируем обычно как выражение «особенностей личности».

При обсуждении проблемы генеза «оречевленной» мысли мы не можем отвлекаться от созданной Л. С. Выготским концепции «планов» порождения речи и сознания. «Осознать» — имея в виду, по крайней мере, развитую форму этого процесса — можно лишь то, что «названо», что обозначено, и поэтому осознанным может быть только вербализованное или лишь та психическая продукция, которая, выражаясь словами А. Н. Леонтьева, возникает, когда формализуемые, надиндивидуальные объективные «значения» уже более или менее плотно надстраиваются над породившими их некоммуницируемыми «смыслами». «Осознание» — это, следовательно, психологический эффект, который возникает только на «поверхностных», или, что в данном случае одно и то же, на «высших» уровнях планов речи. А на более глубинных из них скрыто присутствует то, что в конечном счете порождает осознание, но само, не будучи «названным», может существовать как психологическая реальность только в форме психического бессознательного. И единственной, пока по крайней мере, психологической категорией, на которую удается продуктивным образом опираться, разрабатывая проблематику этих глубинных планов психики — планов «пред-речи», планов «чистых смыслов», т. е. мыслей, еще не принявших форму вербализованных «значений», — является категория неосознаваемой психологической установки.

Сходным образом формирование личности субъекта системой общественных отношений, устанавливающихся между миром и субъектом и находящим свое объективное выражение в его целенаправленной деятельности, неотграничимо от процессов формирования его психологических установок. И даже более того: оно, это формирование, именно подобными установками — как осознаваемыми, так и неосознаваемыми — в значительной степени определяется и регулируется. В целом же этот анализ, как бы замыкая логический круг, вновь возвращает нас к вопросам, рассматривавшимся в первом тематическом разделе настоящей коллективной монографии, — к теме соотношения категорий деятельности и установки в понимании Д. Н. Узнадзе и его школы. Особое внимание уделяется при этом тому, что в советской психологической литературе последних лет выступало как еще не окончательно уточненное и неоднократно дававшее повод для интересных и глубоких дискуссий.

В статьях, содержащихся в перечисленных тематических разделах третьего тома, проблема роли бессознательного в высших проявлениях психической деятельности освещается с разных сторон и с различных исходных теоретических позиций. Естественно поэтому, что авторы этих статей далеко не всегда присоединяются к тому концептуальному подходу, который мы сейчас пытаемся в общих чертах обрисовать и который более подробно изложен во вступительных статьях к соответствующим разделам этого тома. Однако почти во всех случаях нетрудно определить отношение (сочувственное или критическое) каждой из представленных здесь трактовок к позиции, защищаемой нами. А это создает возможность и многие поводы для дальнейших продуктивных диспутов.

Далее, в одном из тематических разделов настоящего тома рассматривается в высшей степени сложная и еще далеко не разрешенная проблема методов исследования неосознаваемой психической деятельности. В нем приводятся примеры очень разных подходов к этому вопросу и формулируются принципиальные требования, которым должен удовлетворять анализ бессознательного (невозможность, в частности, отвлекаться при определении роли бессознательного в эмоциональной жизни человека от параметра «значимости» его переживаний).

В «Заключении» дается краткий анализ некоторых спорных вопросов научной теории бессознательного. В частности, подвергается довольно детальному обсуждению одна из наиболее важных методологических дискуссий о статусе психоанализа, происходивших в последние годы на Западе. В итоге этого обсуждения формулируются положения, определяющие в этой связи отношения к доводам психоанализа со стороны советской психологии. Представлена попытка также подойти к пределам того, что может в настоящее время рассматриваться в проблеме бессознательного как научно достоверное. Один из таких «пределов» обрисовывается при анализе вопроса о законах движения «до-оречевленной» мысли, т. е. о движении мыслей, еще не воплотившихся в речи, и «смыслов», еще не ставших «значениями». Анализ завершается рассмотрением вопроса о трудностях познания психической целостности, возникающих при построении общей теории сознания и бессознательного психического.

FOREWORD TO THE THIRD VOLUME

The present volume of the monograph contains the following sections: the seventh, devoted to the problem of the unconscious in thinking activity; the eighth, in which the relation of the unconscious to speech activity is analysed; the ninth, examining the present-day conceptions of the unconscious as a factor in the becoming of personality; and finally, the tenth, throwing light on some modern methodological approaches to the problem of the unconscious. In addition, the third volume ends with a general «Conclusion» on behalf of the editors.

Whereas the content of the first volume was logically united by the idea on the evolution of the categorial apparatus used in the study of the unconscious, and that of the second volume by the conception of the 'languages' of the unconscious as forms of its specific symbolic expression, a similar role in respect to the materials of the third volume is played by the idea of the participation of the unconscious in the most complex forms of mental activity, in particular, the processes underlying verbal thinking, on the one hand, and the shaping and manifestations of personality traits, on the other.

The theoretical and experimental evidence adduced in the present volume points to the great role of the activity of the unconscious in the dynamics of the higher, ontogenetically most recently formed manifestations of man's mental activity. The history of the development of the concepts of the unconscious indicates that one of the main obstacles in the way of this development has hitherto been the simplified view holding that the most complex manifestations of man's spiritual life is the sphere in which a l l the components of the mental process are conscious, whereas the unconscious is accorded at best only participation at the level of 'elementary' mind, or, in other words, all that has the nature of automatisms or fixed dynamic stereotypes. Today there is hardly any need to argue the untenability of such treatment. The inevitable presence of a most complex dialectics of relations linking — at once contradictorily and complementarily — the conscious and the unconscious in the psychological structure of both 'complex' and 'elementary' has been demonstrated by the theory of psychological set — one of the major methodological propositions of modern psychology which, in the editors' view, should form the starting point for the further development of this science.

It should be borne in mind that the classing of the unconscious with the functional structure of complex forms of mental activity does not result in

a merely formal affinity between the sections of the third volume. The understanding of the irremovable presence of the unconscious in everything that is reflected in man's mental life as an expression of the highest forms of its organization has largely altered our habitual notions of the very essence of these forms, and hence of the nature of mental life as a whole.

It will be recalled at this point that over the past decades psychoanalytical thinking has undergone a similar evolution on an analogous plane. If we take G. Klein's well-known brief definition of psychoanalysis «as a psychology of meanings and syntheses arising out of crises in an individial's lifetime» we shall easily see how far removed are present-day psychoanalytical interpretations—with their accent on man's conflictual existence (and, correspondingly, on the various forms of «psychological defence», laws of relationships between the unconscious and consciousness; various consequences of the growing «mental imbalance», «psychological entropy» as well as on the widely discussed manifestations of regression, 'getting rid of ',reacting, projections, symbolization, etc.)—from the trends of orthodox Freudianism. To what extent, however, does modern psychoanalysis succeed in making good this rather bold claim to the role of the main theoretical system capable of throwing light on the regularities of the most complex movements of the human mind?

It would of course be wrong to reject outright the findings of the work done persistently in this direction by many psychoanalytically oriented researchers. At the same time — and this remains the main point within the polemics we are actually engaged in with Psychoanalysis — the following should be made clear.

True to the traditions of its early development, Psychoanalysis strives to understand the nature of thinking activity and mental collisions in conditions of a choice of alternatives, the character of emotional strains arising when faced with the necessity of making responsible decisions, etc. by considering the involvement of the unconscious in the dynamics of these activity states. However, this position of Psychoanalysis often appears to be only a specific «truth with omissions», for the functions of the unconscious can be properly interpreted — in the given case, as well as elsewhere —*only within a much more general or global conception of the mind as a whole*, which has hitherto received paradoxically little attention from the Psychoanalytic school.

In these conditions the critique of Psychoanalysis is faced with a difficult task. Far from rejecting — but on the contrary, supporting, and in some respects even deepening — the central thesis of Psychoanalysis on the important role of the unconscious in man's mental life—this critique should at the same time demonstrate the complexity and latent dialectics of this role, stemming from the involvement of the unconscious in the system of the mind. But this can be done only by describing the restrictions imposed on the activity of both the unconscious and the conscious by their constant interaction; by throwing light on the processes underlying this inter-

action; by listing and deciphering the psychological structures generated by the combination of such, it would seem, fundamentally incompatible psychological phenomena as experiences of which the subject is clearly aware and those he has no awareness of.

If these requirements are not met and the activity of the unconscious is considered o u t s i d e o f a more general psychological context involving it, the ground is laid for errors — no less flagrant than is the case when the unconscious factor is disregarded.

Thus, the role of the unconscious in verbal thinking, and in the formation and stabilization of personality traits can adequately be unravelled only provided the analysis does not remain within the theory of the unconscious in its narrow sense, but, going beyond its framework, resorts to categories relating the idea of the unconscious to psychological concepts of a far broader range. The first step in this direction is naturally to t u r n t o t h e i d e a o f p s y c h o l o g i c a l s e t. By departing from this idea we exclude in advance the possibility of knowing, in particular, how the unconscious becomes included in the structure of verbal thinking activity, and, perhaps to a greater extent, of knowing the emergence and stabilization of that hard-to-define constellation of psychological traits which we, on the basis of intuitive conviction rather than any rational definitions worked out in advance, usually qualify as the manifestation of the «specificities of personality».

In discussing the problem of the genesis of «verbalized» thinking we cannot bypass L. S. Vygotski's 'planes' of the generation of speech and consciousness. One can «become conscious»—implying at least a developed form of the process — of only what «has been named» or designated; hence, one can become conscious of only what has been verbalized, or only of that mental production which, in A. N. Leontyev's words, emerges when formalized, supraindividual objective 'meanings' become more or less closely superimposed on the uncommunicable 'significances' that gave them rise. 'Consciousness' is therefore a psychological effect that originates only at 'superficial' or, which in the present case is the same, at the 'higher' levels of the planes of speech. The deeper planes latently contain what in the final analysis g e n e r a t e s c o n s c i o u s n e s s but, not being 'named', can exist as a psychological reality only in the form of mental unconscious. The only psychological category, available at present, on which one can productively rely in elaborating problems of these in-depth planes of the mind, — those of 'pre-speech' or 'pure menaings', i. e., of thoughts that have not yet assumed the form of verbalized 'meanings'—is the category of unconscious set.

Similarly, the becoming of the subject's personality through the system of social relations obtaining between the individual and his environment and objectively expressed in his purposeful activity is i n s e p a r a b l e from the processes of the formation of his psychological sets. And what is more, this shaping of personality precisely through such sets — both con-

scious and unconscious—is largely determined and controlled. On the whole, this analysis, coming as it were to a logical conclusion, returns us to the problems discussed in section one of the present collective monograph, i. e., to the relationship of the categories of activity and set as conceived of by D. N. Uznadze and his school. Particular attention is here given to a conception which in Soviet psychological literature of recent years has emerged as an approach that has not yet taken its final shape but has on many occasions given rise to interesting in-depth discussions.

In the contributions to the various sections of the third volume the problem of the unconscious in the higher manifestations of mental activity is elucidated from different angles and theoretical positions. Therefore, it is natural that the authors of the papers involved do not always subscribe to the conceptual approach which we are here trying to outline and which is set forth in greater detail in the introductory articles to the relevant sections of the present volume. However, in almost every case it is easy to determine the position (sympathetic or critical) of the various interpretations represented in this volume toward the stand taken by the editors. And this creates the possibility and many occasions for further productive debates.

Further, one of the sections of this volume discusses the highly complex and far from resolved problem of the methods of investigation of unconscious mental activity. Instances of highly diversified approaches to this issue are cited and the fundamental requirements to be met by an analysis of the unconscious are formulated (in particular, the indispensable use of the parameter of the 'significance' of a person's experiences in determining the role of the unconscious in his emotional life).

The 'Conclusion' presents a brief analysis of some controversial problems of the the theory of the unconscious. Specifically, one of the most important methodological discussions on the status of Psychoanalysis taking place in recent years in the West. As a result, propositions are formulated setting forth the attitude of Soviet psychology to the arguments of Psychoanalysis. An attempt is also made to approach the boundaries of what can at present be assumed scientifically valid in the problem of the unconscious. One such 'boundary' is outlined in analyzing the problems of the laws of the movement of 'pre-verbalized' thinking, i. e., the movement of thoughts as yet not embodied in speech, and 'significances' that have not yet become 'meanings'. The analysis closes with a discussion of the problem of the difficulties of cognizing 'mental integrity' which arise in the construction of a generel theory of consciousness and the unconscious mind.

РАЗДЕЛ СЕДЬМОЙ
БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В СТРУКТУРЕ ГНОЗИСА

140

РОЛЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В АКТИВНОСТИ МЫШЛЕНИЯ И РЕЧИ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ОТ РЕДАКЦИИ

(1) Л. С. Выготский заканчивает один из своих основных трудов «Мышление и речь» характерной и глубокой мыслью. Напомним ее. «Наше исследование, — говорит он, — подводит нас вплотную к порогу другой еще более грандиозной проблемы, чем проблема мышления, — к проблеме сознания... Мы стремились экспериментально показать, что в мышлении иначе отражена действительность, чем в ощущении, что основной отличительной чертой слова является обобщенное отражение действительности. Но тем самым мы коснулись такой стороны в природе слова, значение которой **выходит за пределы мышления как такового** и которая во всей своей полноте может быть изучена только в составе более общей проблемы: слова и сознания. Если ощущающее и мыслящее сознание располагает разными способами отражения действительности, то они представляют собой и **разные типы сознания.** Поэтому мышление и речь оказываются ключом к пониманию природы человеческого сознания» [1, 318. В обоих случаях подчеркнуто нами. — Редколл.].

В этом эпилоге «Мышления и речи», подлинное значение которого лишь изредка подчеркивается в литературе, Л. С. Выготский обращает наше внимание на область проблем, которые, по его словам, раскрываются только «за порогом его собственных исследований». Здесь с особой силой проявилась необычайная дальновидность этого мыслителя. Ибо разработка проблемы сознания и отношений, которые существуют у человека между сознанием и осознанием, с одной стороны, и мыслительной деятельностью и речью, с другой, оказалась одним из наиболее важных направлений развития научной мысли на протяжении десятилетий, последовавших за так трагически рано оборвавшимся периодом жизни Л. С. Выготского. Мы хорошо теперь знаем, какие усилия приходилось затрачивать, чтобы добиваться хотя бы малого продвижения в этом направлении, с каким трудом это направление вообще входило в науку, какие страстные споры вызывал и продолжает вызывать поныне каждый новый совершаемый здесь шаг.

Даже в самой школе Л. С. Выготского, внесшей большой вклад в разработку проблем собственно мышления и собственно речи, аспект отношения этих проблем к идее сознания, **к вопросам осознания мыслительной деятельности (и, со ipso, ее неосознания)** оказывался оттесненным на второй план, а предпринимавшиеся время от времени попытки его специальной разработки оставались нередко логически не-

завершенными. Можно было бы привести немало аргументов в пользу того, что в рамках советской психологии проблеме «осознания — неосознания» мыслительной деятельности было придано значение одной из центральных и она стала подвергаться систематическому экспериментальному и теоретическому исследованию (до фазы особого заострения интереса к ней в 50-х гг., стимулированного кибернетическими концепциями саморегулирования и отношений, складывающихся в рамках системы «человек—машина») только в связи с разработкой идеи психологической установки в понимании Д. Н. Узнадзе и его школы. К этому вопросу мы еще вернемся несколько позже.

Сложившееся положение вещей не должно вызывать удивления. Переход к исследованию психической деятельности в ее связях с осознанием, к исследованию неосознаваемой психической деятельности, «психического бессознательного», факта неосознаваемости психологических установок, роли бессознательного в целенаправленной деятельности и душевной жизни человека являлся не просто переходом к новой тематике психологических поисков. Это был шаг, требовавший радикальной перестройки как методических приемов психологического анализа, так и категориального аппарата психологии, т. е. глубокого изменения исходных концептуальных позиций. Естественно, что легко он быть сделан не мог. Однако совершить его было необходимо, ибо промедление превращалось с течением времени в фактор, все более резко тормозивший дальнейшее развитие научной мысли.

(2) Для того, чтобы проникновение идеи бессознательного в теорию мышления, опирающегося на речь, приняло реальные формы, необходимо было решить три основные задачи. Во-первых, показать, что бессознательное является реальным компонентом мыслительной и речевой деятельности, что оно всегда, в более или менее замаскированной форме стоит за этой деятельностью, влияя на ее развертывание. Во-вторых, наметить методы анализа и «язык» понятий, на основе которых можно было бы превратить все эти труднейшие проблемы в предмет достаточно быстро развивающегося и строгого научного познания. И, наконец, в-третьих, понять, хотя-бы в какой-то предварительной общей форме, в чем заключается качественное своеобразие природы как самого этого бессознательного, так и тех процессов, на основе которых осуществляются, чем являются и в чем проявляются не вызывающие никакого сомнения в своей реальности связи, постоянно действующие между бессознательным, речью и сознанием.

Во вступительных статьях к предшествующим тематическим разделам первого и второго томов настоящей монографии мы по разным поводам уже касались этих вопросов и пытались ответить на них, имея, однако, в виду только их **общую** постановку, т. е. обсуждая роль бессознательного в психике человека вообще, а не те весьма специфические функции, которые бессознательное выполняет в условиях именно мыслительной деятельности, сопровождающейся порождением и восприятием речи. При таком обобщенном подходе анализ облегчался, ибо мы могли опереться на результаты разработок, настойчиво производившихся множеством исследователей на протяжении десятилетий. Особенно благоприятные условия создавались при этом для решения первой задачи. Факты, говорящие о реальности бессознательного как обязательного компонента почти любой формы психической деятельности, представлены на сегодня в мировой литературе в таком количестве, что дальнейшее их накопление вряд ли уже является необходимым. Мы неоднократно напоминали их, говоря о роли бессознательного в условиях измененных состояний сознания, при со-

матической патологии, в процессах художественного творчества и пытаясь при этом в разных формах показать, что игнорирование проблемы неосознаваемых компонентов психической деятельности заранее обрекает исследователей, сколь бы талантливы и настойчивы они ни были, на недостаточно точное понимание основ функциональной структуры этой деятельности.

Решению второй задачи способствовало то, что в результате работ Д. Н. Узнадзе и его школы в советскую психологию было введено понятие психологической установки, являющееся, по нашему мнению, на сегодня основным концептом, позволяющим понять своеобразие бессознательного как фактора, участвующего в становлении любой психологической функции. Работами этой школы были намечены как методические пути, так и «язык» понятий, позволяющие развивать теорию бессознательного, понимаемого как область и форму проявления неосознаваемых психологических установок. Однако — и на это принципиальное обстоятельство нами выше было уже обращено внимание — нельзя не учитывать, что **понятие бессознательного — это категория значительно более широкая, чем понятие психологической установки,** из чего вытекает, что **сводить** теорию бессознательного к теории психологических установок, стремиться исчерпать закономерностями установок проявления бессознательного в его общем психологическом и философском понимании было бы серьезной методологической ошибкой, проявлением своеобразного редукционизма.

Но если это так, то необходимо признать, что мы чувствуем себя гораздо более уверенными тогда, когда приводим доводы в пользу реальности бессознательного, когда указываем на его скрытое присутствие, когда относим за его счет те или другие особенности поведения или психической деятельности, даже когда разрабатываем приемы его исследования и выражающие его понятия, т. е. когда занимаемся феноменологией его проявлений и методологией его изучения, чем когда пытаемся понять факторы, определяющие его основные свойства, и главные законы, которым оно подчинено, т. е. установить его подлинное существо, его природу.

(3) Так обстоит дело при подходе, который мы обозначили выше как обобщенный. Если же мы теперь сузим область рассмотрения и попытаемся определить те специфические функции бессознательного, которые вынуждают видеть в нем неустранимый компонент активности мышления и речи, то окажемся в некоторых отношениях в более выгодном положении, в других же — в значительно более трудном.

Участие бессознательного в мыслительном процессе — это феномен слишком яркий, чтобы остаться незамеченным. Этому обстоятельству обязано своим появлением множество работ, в которых участие бессознательного в интеллектуальной деятельности убедительно доказывается на основе анализа, главным образом, особенностей творчества выдающихся представителей науки и искусства. На этих работах мы сейчас останавливаться не будем, во-первых, из-за их достаточно широкой известности, во-вторых, из-за того, что ими опять-таки гораздо скорее только подтверждается факт участия бессознательного в мыслительной деятельности, чем вскрываются механизмы этого участия. Значительно больший резонанс в интересующем нас плане вызывают исследования, посвященные кризису, выявившемуся в последние годы, когда стало производиться сопоставление возможностей мыслительной работы человека и переработки информации ЦВМ. Этот кризис способствовал не только признанию важности бессознательного как обязательного ингредиента мыслительных процессов, но и пролил оп-

ределенный свет на некоторые специфические стороны активности бессознательного в процессах мышления, на характерные особенности выполняемой им при этом весьма своеобразной роли.

Кризис, о котором мы упоминаем, стал намечаться еще в 60-х годах[1] и принял особенно обостренную форму в связи с дискуссией, вызванной работами одного из крупнейших современных американских нейрокибернетиков Г. Дрейфуса [4].

Дрейфус утверждает, что общая ситуация, создавшаяся на сегодня в теории машинного интеллекта, характеризуется постепенным замедлением темпов разработки наиболее сложных проблем и разочарованиями, пришедшими на смену многообещающим прогнозам и оптимизму 50-х гг. Это драматическое торможение проявляется, по его мнению, во всех основных областях, где применяется искусственный интеллект: в программировании игр, в вопросах машинного языкового перевода, в теории машинного распознавания образов. Чем же обусловливается это замедление в развитии столь, казалось бы, правомерных и уже во многом себя оправдавших поисков?

Дрейфус полагает, что относительная слабость возможностей машинного интеллекта, выступающая тем отчетливее, чем качественно сложнее предъявляемые ему для решения задачи, обусловливается тем, что возможности переработки информации, которыми искусственный интеллект располагает, строго ограничены **формализованностью методов**, на основе которых эта переработка происходит в ЦВМ. Человеческий мозг также использует такой формализованный подход, но он способен вместе с тем к качественно иным приемам анализа и поэтому в наиболее сложных ситуациях оказывается сильнее ЦВМ.

Являясь скорее кибернетиком и философом, чем психологом и нейрофизиологом, Дрейфус не углубляется особенно в анализ того, что представляет собой неформализуемая работа мозга, на основе каких механизмов и закономерностей она совершается. Он ограничивается лишь указанием на ее существование и обозначает ее как активность «периферийного сознания», воспроизводя почти в точности (случайно?) терминологию, которой пользовались, говоря о бессознательном, в уже далекие от нас годы и В. Вундт, и В. Джемс.

Легко понять, насколько такая трактовка оказывается полярной по отношению к представлениям тех, кто в 50-х гг., следуя за Ньюэллом, Шоу, Саймоном, стал разрабатывать проблему искусственного интеллекта, создав первые вызвавшие огромное воодушевление электронные вычислительные устройства. Для нас, однако, основной интерес представляет сейчас не столько сам факт этих споров, сколько основания, по которым Дрейфус указывает именно на способность к выполнению неформализуемых операций как на источник успеха там, где дискретный «шаговый» поиск, опирающийся на оперирование формализованными значениями, на перебор альтернатив и «дерево возможностей», на точные алгоритмы и даже на наиболее остроумные эвристики, то есть на принципы работы ЦВМ, оказывается бессильным.

Дрейфус отчетливо поясняет свою позицию, обсуждая психологические проблемы шахматной игры. Он полностью соглашается с тем, что в какой-то своей части мыслительная деятельность шахматиста сводится к перебору дискретных возможностей, к формальному просчитыванию комбинаций, сближающему человека с ЦВМ, но **начина-**

[1] См., например, остро полемическую монографию M. Taube. Computers and Common Sense (N. Y. — London. 1961), вызвавшую в свое время немало взволнованных откликов.

ется это просчитывание — и этот момент фундаментален — с акта, который подобным просчитыванием не определяется. Анализируя подробные психологические протоколы Саймона, Дрейфус показывает, что у истоков просчитывания — не дискретный, ясно сознаваемый перебор возможностей, а какие-то очень смутные, неопределенные, порой даже вовсе не осознаваемые подсказы «периферийного сознания» — и только. Он полагает поэтому, что в реальной мыслительной деятельности шахматиста выступают, будучи тесно между собой связанными, процессы двоякого рода: сначала привлечение внимания к определенной зоне доски, возникновение трудно аргументируемого, неотчетливого «подозрения», что именно здесь слабое место в позиции противника (переживания типа: «кажется, вот здесь у него что-то неблагополучно, надо ударить здесь»), и только потом — ясно осознаваемое просчитывание возможных альтернатив. И нельзя не согласиться, что указание Дрейфуса на то, что **выбор комбинации, с которой начинается просчитывание, этим просчитыванием не определяется, является очень сильным его аргументом.**

С сходных принципиально позиций подходит Дрейфус и к таким вопросам, как машинный языковый перевод и машинное распознавание.

Он приводит характерное высказывание такого выдающегося авторитета в этой области, как Бар-Хиллел: «За первые годы в области машинного перевода был достигнут значительный прогресс... но никто не отдавал себе отчета в том, что между этими результатами и подлинно высококачественными переводами — непроходимая пропасть и что задачи, уже решенные, были самыми простыми» [3, 103].

Что же встало как непреодолимое препятствие на пути осуществления высококачественного машинного перевода? Все та же, подчеркивает Дрейфус, невозможность реализации этой операции как операции **формализованной**, основанной на строгих алгоритмах соотнесения дискретных словарей. Чем тоньше подлежащие передаче оттенки смысла, тем в большей степени они подсказываются, особенно при переводе художественных произведений не заранее фиксированным в словаре набором дискретных значений, а **смыслом контекста в целом, глобальной психологической ситуацией** («металингвистической действительностью»), которая единственно позволяет переводчику правильно произвести **выбор адекватного значения из множества потенциально возможных.** Но формализация неограниченного множества подобных критериев, безусловно, не осуществима. И поэтому вновь, как в стратегии шахматной игры, ориентация на смутные или даже на вовсе не осознаваемые подсказы «периферийного сознания», доступная для переводчика-человека и недоступная для переводчика-машины, делает уровень работы первого недосягаемым для второго.

Наконец, распознавание образов. Основным для Дрейфуса и здесь остается вопрос: происходит ли узнавание образа на основе предшествующего составления «списка свойств», т. е. на основе того, что распознаваемый образ является носителем определенных, заранее намечаемых формализованных признаков, или же этот процесс имеет качественно иной характер? Высказываясь в пользу последнего варианта, он ссылается на такие авторитеты в теории распознавания образов, как О. Селфридж и Д. Найсер, по мнению которых свойства, лежащие в основе распознавания, остаются нередко неизвестными распознающему потому, что они слишком сложны, чтобы улавливаться осознанно.

Обобщая положение, создавшееся в области работ по машинному

распознаванию образов, Дрейфус признает, что есть несколько программ, которые позволяют машине распознавать написанные от руки печатные буквы, независимо от их размера и угла поворота. Тем не менее, машинное распознавание неизменно сохраняет признаки жестко формализованного процесса и именно поэтому наталкивается на множество ограничений. Никакая программа по распознаванию образов не располагает той гибкостью функции распознавания, которая характерна для человека. И причина этого, как и во многих других случаях, в том, что мозг человека опирается на процессы, на способы распознавания, которые ЦВМ **принципиально недоступны.**

Чтобы завершить эту цепь аргументов в пользу того, что распознавание в наиболее сложных ситуациях происходит именно на основе неосознаваемой психической деятельности, мы напомним неоднократно производившийся в науке так называемый «физиогномический эксперимент», дающий неизменно один и тот же результат. Группе испытуемых предлагается распределить предъявленные портреты неизвестных лиц на классы «добрых», «злых», «хитрых», «веселых», «скучающих», «недовольных» и т. п. Испытуемые обнаруживают при решении этой задачи высокую степень согласованности (составы классов, предлагаемых отдельными испытуемыми, оказываются весьма сходными), но мотивы разбивки остаются им по существу неизвестными. На вопрос о причинах распределения даются ответы типа: «Это портрет явно доброго человека, так мне кажется, а почему я так думаю, я не знаю». Во всяком случае никаких формализованных критериев отбора, никаких конкретных признаков, которыми можно было бы рационально объяснить отнесение определенных портретов к определенной психологической категории, при этом не выявляется. Факторы выбора, действительные для всех испытуемых и, следовательно, **объективные,** здесь слишком сложны, чтобы улавливаться осознанно, и поэтому не формализуемы. Восприятие же их на неосознаваемом уровне осуществляется с большой легкостью и, что очень характерно для восприятий этого типа, не сукцессивно (не распределённо во времени), а симультанно (практически мгновенно).

Представляется, что эксперименты описанного выше типа не только указывают на включенность бессознательного в функциональную структуру мыслительной деятельности, но и позволяют прийти к определенным заключениям о специфических преимуществах, создаваемых при вынесении решений опорой на бессознательное, и о типе психологических ситуаций, в которых эта опора может играть ведущую роль.

(4) Обратимся теперь непосредственно к речи. Хотя неразрывная связь мышления и речи является после сказанного выше уже сама по себе достаточно веским аргументом в пользу нерасчленимости активности бессознательного и активности речи, тем не менее приходится констатировать, что вся проблема отношения к бессознательному звучит в лингвистической литературе гораздо менее определенно и более противоречиво, чем в литературе, посвященной психологии мышления. Мы попытаемся показать это, сопоставляя высказывания двух таких выдающихся авторитетов в этой области, как А. Р. Лурия и Р. О. Якобсон (Кембридж, США).

А. Р. Лурия был недавно опубликован труд «Основные проблемы нейролингвистики» (М., 1975), имеющий исключительно важное значение для нейропсихологического обоснования процессов речевой коммуникации. Его автор дает очень глубокий анализ актов формирования речевых высказываний и их обратного перехода (у воспринимаю-

щего высказывание) в мысль, опираясь при этом на классические работы Л. С. Выготского и, в частности, на его основное положение о «внутренней речи», как о звене, промежуточном между исходным «замыслом» («мыслью») и конечным выражением последнего в речи развернутой. А. Р. Лурия полностью принимает и очень тонко использует в нейропсихологическом плане характеристики внутренней речи, на которые указал в свое время Л. С. Выготский, — ее предикативность, «свернутость», грамматическую аморфность. Представляет, однако, большой интерес, что углубляя анализ и переходя к рассмотрению огромного вклада, внесенного в теорию «языка» (как системы знаков) и «речи» (как коммуникативного процесса) лингвистами первых десятилетий XX века (Ф. де-Соссюром, И. А. Бодуэном де-Куртенэ, Э. Сэпиром и др.), а в дальнейшем теорией порождающих грамматик Н. Хомского, с ее отчетливым разграничением между «поверхностными» грамматическими структурами языка и структурами «глубинными», А. Р. Лурия воспроизводит это сложное развитие мысли **без всякой апелляции к проблеме «осознания—неосознания»**, к тем изменениям, которые возникают в форме, динамике и содержании психических процессов по мере их переходов из состояния неосознанности в состояние осознанное (или при их движении в обратном направлении). Даже когда А. Р. Лурия затрагивает вопросы, остро звучащие в литературе, возникшей как критическая реакция на идеи Н. Хомского, вопросы, которые, по словам самого же А. Р. Лурия, показали, «насколько актуальным является поиск **более глубоких** (подчеркнуто нами.—Редколл.) синтаксических и семантических структур», что «переход от мысли к развернутой речи неизмеримо более богат, чем это представлялось психологам и лингвистам... в начале века», что «по мнению некоторых исследователей, под поверхностными и глубинными синтаксическими структурами лежит еще более глубокий уровень смысла» и т. д. [2, 17], — проблема осознания в цепь его дедукций не включается. Антиномия «осознать — не осознать» в рамках этого бесспорно очень тонкого анализа не упоминается.

Каковы же причины этого? Можно ли думать, что проблема «глубинной лексики», реальность которой А. Р. Лурия отнюдь не отрицает (напротив, он даже уточняет это понятие, указывая на его отличительные особенности — наличие потенциальных синтагматических связей и т. п.), может быть исследована без апелляции к проблеме бессознательного, независимо от позиции, занимаемой в отношении этой проблемы? Такая точка зрения была бы, безусловно, ошибочной. Однако — и мы не хотели бы, чтобы после всего сказанного выше это прозвучало как парадокс — было бы столь же ошибочным эту неправильную позицию приписывать А. Р. Лурия.

Представляется очевидным, что его отвлечение от проблемы осознания, неупоминание им этой проблемы — это не выражение отрицания им значения «осознания — не осознания» как момента, важного для более глубокого истолкования процессов порождения и восприятия речи, а лишь естественное следствие занимаемой им в данном случае **специфической исследовательской позиции.** Позиция А. Р. Лурия в анализе лингвистических проблем — это позиция, прежде всего нейропсихолога. Он оперирует, анализируя лингвистические проблемы, очень избирательно, лишь теми понятиями и представлениями, которые могут быть связаны с активностью определенных мозговых структур, которые необходимы для анализа тонких оттенков распада речи при поражении лобных, лобно-височных, диэнцефально-гипоталамических и других мозговых формаций. Подобные понятия и представления состав-

ляют основу создаваемого им нового направления в науке, новой дисциплины — нейролингвистики. **А в рамках этого направления для антиномии «сознательного—бессознательного» четкого места, действительно, не остается, ибо** (мы об этом говорили подробно во вступительной статье к третьему разделу монографии) к сколько-нибудь уверенному выявлению **мозговых основ** «осознания—неосознания» мы в настоящее время (опираясь на еще очень мало изученные проявления функциональной асимметрии мозговых полушарий, расшифровки «словесного кода» и т. п.) только едва-едва подходим.

В этой связи круг интересов нейролингвистики оказывается, как мы это сейчас увидим, довольно резко отграниченным от круга интересов психолингвистики — далеко не все, что занимает важное место в первой, может претендовать на аналогичное положение во второй и наоборот.

(5) Именно так, думается, следует объяснять своеобразное выпадение идеи бессознательного из нейролингвистики. Остановиться на этом моменте, чтобы предотвратить его истолкование как выражение **принципиального отрицания** нейролингвистическим направлением роли бессознательного в генезе и восприятии речи, нам представлялось важным. А теперь обратимся к психолингвистике. Мы сразу же убедимся в том, что здесь дело обстоит совсем иначе.

Отнюдь не будет преувеличением сказать, что стремление подчеркнуть неразрывность связи речепорождения и речепонимания с активностью бессознательного проходит красной нитью сквозь всю публикуемую в последующем тематическом разделе статью Р. О. Якобсона. Этот выдающийся лингвист современности прослеживает постепенное углубление понимания данной связи, начиная с относящихся еще к XIX веку работ Бодуэна-де-Куртенэ и его ученика З. И. Крушевского, говоривших о «силах», которые определяют развитие языка, его строй и состав, с разграничением этих сил на ведущие (бессознательные) и на «сравнительно не очень могущественные» (сознание). В дальнейшем, однако, Б. де-Куртенэ, как указывает Р. О. Якобсон, стал постепенно склоняться к уравниванию ролей, которые выполняют в «психической основе языковых явлений» сознание и бессознательное.

Р. О. Якобсон подчеркивает далее ряд характерных моментов, относящихся к отражению концепции бессознательного в работах лингвистов: значение, которое придавал «бессознательной деятельности» участников речевого общения Ф. де-Соссюр, понимавший речевой акт как «наименее обдуманный, наименее умышленный... из всех»; «бессознательность фонетических элементов», на которой настаивал Ф. Боас, утверждавший, что «языковые классификации никогда не проникают в сознание»; место, которое отвел проблеме бессознательного в своих лингвистических исследованиях Э. Сэпир, выдвинувший тезис, согласно которому «психологической проблемой, наиболее интересующей лингвиста, является внутренняя структура языка в плоскости бессознательных процессов» и т. д.

Стремясь объективно отразить всю сложность, внутреннюю противоречивость эволюции представлений о психологических основах речевой деятельности, Р. О. Якобсон обращает вместе с тем внимание на выдвижение в исследованиях последних лет проблемы т. н. метаязыковой функции, т. е. роли, которую в речевой деятельности играет не бессознательное, а, напротив, осознание речевых компонентов и их отношений, так эффективно, в частности, проявляющееся на самых ранних этапах онтогенеза, превращая ребенка в беспощадного критика и «корректора» речи взрослых. Отнюдь не недооценивая значения этой

метаязыковой функции, Р. О. Якобсон отмечает, что она «остаётся в силе на всю нашу жизнь», поддерживая в речевой деятельности «неустанные колебания между бессознательностью и сознанием».

И вместе с тем, когда речь заходит о «глубочайших основах словесной структуры», они — здесь позиция Р. О. Якобсона непреклонна— «остаются недоступными языковому сознанию; внутренние отношения всей системы категорий, как фонологических, так и грамматических, бесспорно, действуют, но действуют **вне рассудочного сознания и осмысления со стороны участников речевого общения** (подчеркнуто нами.—Редколл.), и только вмешательство опытного лингвистического мышления, вооруженного строго научной методологией, в силах сознательно подойти к тайникам языкового строя». Р. О. Якобсон также упоминает, что недавно (1973) им «было показано, что бессознательная разработка наиболее скрытых языковых принципов составляет нередко самую сущность словесного искусства».

Не удивительно, что при таком общем подходе Р. О. Якобсон завершает свою статью указанием на то, что наблюдаемый лингвистами факт неотступного сочетания сознательного и бессознательного в «языковом опыте» требует интерпретации со стороны психологов. И он высказывает надежду, что «понятие установки, ныне развиваемое грузинской психологической школой, позволит уточнить факт постоянного соучастия (вышеназванных) двояких компонентов в любой речевой деятельности». Ряд определений и принципов, используемых в работах школы Д. Н. Узнадзе, представляются Р. О. Якобсону особенно близкими к категориям и тенденциям современной лингвистики. Это обстоятельство побуждает, по его мнению, к установлению обещающих контактов и налаживанию сотрудничества между обоими этими мало до сих пор связанными друг с другом направлениями мысли.

(6) На основе сказанного выше должно быть очевидным, что игнорирование проблемы бессознательного нейролингвистикой отнюдь не означает игнорирования и тем более отрицания этой проблемы психолингвистикой. Напротив, как это убедительно удалось показать Р. О. Якобсону, проблема бессознательного на протяжении уже многих десятилетий выступает для психолингвистики как одна из центральных. Однако если мы поставим вопрос, преодолен ли в специфически ориентированных психолингвистических исследованиях упомянутый выше барьер феноменологизма, когда они затрагивают проблему бессознательного, удалось ли психолингвистике добиться при анализе связей, существующих между речью и бессознательным, чего-то большего, чем уже становящиеся даже избыточными указания на реальность и важность этих связей, на их органическую включенность в функциональную структуру речевой деятельности, — то ответы прозвучат, если будут строгими, очень сдержанно. К сожалению, как это видно даже из статьи Р. О. Якобсона, превосходно понимающего, насколько важна разработка проблематики бессознательного для дальнейшего углубления концепции речи, психолингвистика, так же как и общая психология, все еще остается занятой гораздо в большей степени лишь дальнейшим коллекционированием свидетельств о существовании бессознательного, лишь подборкой фактов, указывающих на важность его роли, чем подлинным проникновением в существо бессознательного, выявлением его природы и законов, определяющих его активность.

И вновь возникает вопрос: чем же обуславливается такое положение вещей? Ответить на этот вопрос в общей форме нетрудно. Когда мы ставим вопрос о природе бессознательного, мы добиваемся раскрытия на языке научных, т. е. строго рациональных, формализован-

ных, логически между собой связанных определений и понятий, того, что по самому своему существу не является рациональным, того, что поддается формализации лишь с очень большим трудом или, скорее всего, не поддается ей вовсе и работает по законам «иной логики» (удачное выражение, примененное в одной из статей, включенных в настоящую монографию, известным французским исследователем С. Леклером), чем логика ясного сознания. Отсюда нетрудно понять, что, добиваясь рационального раскрытия идеи бессознательного, мы оказываемся тактически в высшей степени неблагоприятном положении прежде всего потому, что интеллектуальные орудия, средства, с помощью которых единственно в данном случае возможен анализ, **неадекватны** материалу, над которым мы должны работать. Это положение можно, полушутливо, уподобить ситуации, которая создалась бы, если бы, скажем, скульптору В. Мухиной в период ее работы над известной композицией «Мы требуем мира!», сделанной из легкого металла методом гальвано, разрешили употреблять для ваяния только ту технику, которая предназначена для работы с мягкой глиной.

Понимание в данном случае неадекватности метода исследования предмету последнего позволяет, однако, сделать вывод, весьма важный для дальнейшего. Если основная трудность раскрытия природы бессознательного — в неадекватности применяемых с этой целью понятий, то очевидно, что главной задачей является для нас **дальнейшая отработка** рабочих понятий, выяснение каким именно образом они должны быть преобразованы или изначально сформированы, чтобы, вопреки глубокому различию, существующему между психической деятельностью осознаваемого и неосознаваемого типа, они могли все же дать хотя бы какую-то информацию о своеобразии природы и динамики бессознательного, ввести нас если не непосредственно в мир бессознательного, в эту, по замечательному выражению Гёте, «обитель бесплотных теней желаний», то хотя бы в преддверие к этой обители. Обоснованность такого вывода было бы очень трудно оспорить, если, конечно, мы вообще не предпочтем нелегкому пути, на который он указывает, позицию бесплодного скепсиса, близкую к откровенному агностицизму.

Происходит ли, однако, сегодня подобная отработка категорий, облегчающая проникновение в область неосознаваемой психической деятельности и тем самым решение наиболее, пожалуй, трудной из всех проблем, с которыми когда-либо доводилось иметь дело психологии? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Подобная разработка ведется в настоящее время, по крайней мере, в трех разных направлениях, причем в двух из них — на протяжении уже многих лет, в третьем же она стала производиться лишь в последние годы. Первые два направления широко известны: это, во-первых, разработка проблемы психологической установки, начатая в 20-х — 30-х гг. Д. Н. Узнадзе и продолженная созданной им школой; во-вторых, — разработка проблемы «смыслов» в их отношении к «значениям», начатая Л. С. Выготским также в конце 20-х — начале 30-х гг. и также продолженная его учениками. Третье же, гораздо менее пока известное направление, связано с именем выдающегося математика Л. Задэ, разработавшего теорию т. н. расплывчатых множеств и позволившего тем самым сделать предметом математического исследования т. н. «расплывчатые образы». Характеристике этого направления и создающихся на его основе новых подходов к проблеме бессознательного посвящены два из сообщений, содержащихся в настоящей монографии (раздел десятый): П. Б. Шошина «Анизоморфизм эксплицитного и имплицитного» и

Д. И. Шапиро «Об использовании «расплывчатых» образов как средства изучения неосознаваемой психической деятельности»[2].

Как было сказано выше, концепции психологической установки и концепции смысла, в интерпретациях Д. Н. Узнадзе и Л. С. Выготского, психологией уже давно уделялось серьезное внимание. Характерно, однако, что связь, которая существует между обоими этими направлениями мысли в плане их отношения к теории бессознательного, анализировалась очень мало. Еще менее освещены в литературе отношения, существующие между возможностями исследования проявлений бессознательного и идеями Л. Задэ. Между тем, рассмотрение этих отношений важно хотя бы потому, что каждое из названных трех направлений подходит к проблеме бессознательного дифференцированно, поразному затрагивая разные стороны этой проблемы. Только учитывая **взаимосвязь** выявляемого этими тремя подходами, мы получаем некоторое представление о том целом, на что каждый из них направлен. Мы хотели бы остановиться в заключительной части настоящей статьи именно на этих, еще недостаточно изученных, вопросах.

(7) Мы не будем сейчас подробно останавливаться на идее психологической установки, на роли, которую она выполняет в организации деятельности и душевной жизни человека, и на причинах, по которым неосознаваемая психологическая установка выступает как наиболее пока эвристичная, доступная для экспериментального исследования **модель** активности бессознательного. Все эти моменты хорошо уже освешены в многочисленных исследованиях, и задерживаться на них было бы излишним. В отношении этой модели целесообразно только подчеркнуть, что мы прибегаем к ней лишь тогда, когда возникает вопрос о проявлениях бессознательного в **деятельности**, как общей, так и речевой; что специфической особенностью идеи установки является слияние в ней в неразрывное целое тех моментов, которые в известной концепции Миллера, Галантера и Прибрама разграничены как «Образы» и «Планы» (т. е. аспекты поведения информативный и алгоритмический); что, наконец, установка как принцип организации деятельности, характеризуется не жестко детерминированным, а только **вероятностным** отношением к реализующемуся на ее основе поведению.

В интересующем нас плане (проявлений в установке активности бессознательного) этот последний момент, как мы увидим чуть позже, особенно важен, и поэтому мы его уточним.

После того, как И. П. Павлов дал на X Международном психологическом конгрессе (Копенгаген, 1932) определение понятия «динамического стереотипа» как сложившейся зафиксировавшейся системы «внутренних процессов», оказывающей сопротивление при ее ломке и, напротив, облегчающей развертывание реакций, если действующие раздражители хотя бы частично воспроизводят те, которые имели место при начальных стадиях формирования соответствующих стереотипов, возник и неоднократно обсуждался в литературе вопрос об отношении этого понятия к понятию установки.

Основанием для постановки этого вопроса явилось то, что тенденция способствовать определенному ходу событий при одной какой-то системе воздействий и препятствовать при другой действительно сближает понятие динамического стереотипа с понятием установки. Более

---

[2] М. А. Котик в статье «Об осознанном и неосознанном в факторе значимости...» (раздел десятый) также затрагивает отчасти проблему этого методического подхода.

того, установка, проявляющая себя как регулирующий фактор, предполагает во многих случаях существование преформированных динамических стереотипов и опирается на них. Однако делать отсюда вывод, что понятия установки и динамического стереотипа тождественны, было бы серьезной ошибкой.

Основное различие между ними заключается в том, что они выражают два разных принципа регулирования. Регулирование по принципу динамического стереотипа всегда выражает тенденцию к воспроизведению некоторой ранее сформировавшейся и упрочившейся системы реакций. Регулирование же по принципу установки свободно от этого ограничения. Сама установка, естественно, определяется предшествующими воздействиями, но после того, как она сложилась, она придает определенное значение поступающей информации и может на этой основе облегчать (или, напротив, тормозить) возникновение различных форм активности, относительно независимо от того, имелся ли в прошлом точный аналог этих форм или нет. Говоря иначе, можно сказать, что если при регулировании по принципу динамического стереотипа проявляется тенденция к жесткой детерминации закрепившихся, вполне определенных реакций, то при регулировании по принципу установки наблюдается только вероятностное регулирование. «Установка на нечто» позволяет прогнозировать предстоящие события, но при таком прогнозировании всегда сохраняется известная степень **неопределенности** конкретных форм предстоящей деятельности, заранее допускается определенная вариабильность процессов, на основе которых достигается в результате реализации установки потребный конечный эффект.

Для понимания связи установки с бессознательным этот факт неоднозначности форм конкретной деятельности, которые стимулируются установкой и в которых установка находит свое выражение, очень важен. Для пояснения его скрытого значения напомним, что благодаря омонимии и синонимии слов в речи также существует возможность выразить определенную мысль множеством разных словесных и грамматических способов (обстоятельство, ставшее для Н. Хомского, при разработке концепции «глубинных» и «поверхностных» грамматических структур языка, как известно, исходным). В этой гибкости, в «мягкой» детерминированности, в только вероятностном, а не в жестком типе зависимости — «поверхностного» (в речи) от «глубинного», высказываний от «замысла», конкретных форм реализации установки в поведении от самой установки проявляется характерная тенденция, в высшей степени важная для общей теории бессознательного Эта тенденция бросает свет на «модус» работы бессознательного — на способы его влияний на активность осознаваемую и тем самым выявляет его собственную природу. Чтобы, однако, в этой тенденции лучше разобраться, следует вновь сделать логический поворот в развитии нашей мысли, обратившись к рассмотрению второго способа подхода к проблеме осознаваемости—к намеченной Л. С. Выготским проблеме взаимоотношения смыслов и значений.

(8) Л. С. Выготским был дан исключительно глубокий анализ разных «планов» речи, причем основное внимание он уделил плану внутренней речи. Им были описаны, как мы об этом уже упоминали, главные особенности последней: ее специфический синтаксис, прежде всего ее сокращенность, возникающая за счет ее предикативности (сохранения сказуемого и слов, непосредственно к нему относящихся) и редуцирования ее фонетических элементов, превращение ее в «речь почти без слов». А далее Л. С. Выготский делает шаг, значение которого для

теории бессознательного было понятно не сразу. Внутренняя речь, «речь почти без слов», должна, очевидно, обладать, отмечает Л. С. Выготский, очень своеобразным семантическим строем. И это своеобразие Л. С. Выготский определил как «преобладание смысла слова над его значением».

Над этим вопросом — проблемой соотношения смыслов и значений, доминирования первых над вторыми в речи внутренней и выдвижения в речи развернутой на передний план значений «объективных и достаточных для передачи в качестве информации» (А. Р. Лурия) — работали в дальнейшем очень многие, стремясь дать этим понятиям более четкие определения и уточнить роль, которую каждое из них выполняет в теории речи. Сам Л. С. Выготский подчеркивал (в «Речи и мышлении»), прежде всего, устойчивость, стабильность значений слов по сравнению с непрерывной изменчивостью, подвижностью, непрестанной «игрой» их смыслов, определяемой включением слов в разные контексты, речевые и поведенческие ситуации. По А. Р. Лурия, в значении дано «объективное отражение обобщенных связей и соотношений действительности», в то время как смысл формируется на основе выбора «из возможной системы значений тех сторон, которые соответствуют потребности субъекта, представляют для него специальный интерес» [2, 27]. По А. Н. Леонтьеву, значения «объективны», традиционны, заранее как бы запрограммированы, надиндивидуальны; смыслы же преломлены через опыт, накопленный субьектом ранее, и существуют как таковые только для их субъекта и т. д.

Если теперь мы обобщим все эти по-разному, казалось бы, звучащие высказывания, то заметим, что указывают они, по существу, на одну и ту же грандиозную картину, обрисованную Л. С. Выготским, а именно, на определенную иерархию отношений, на своеобразную последовательность расположения речевых «планов», в которой просматривается параметр направленности («глубины») и существует поэтому возможность движения от того, что выступает как «поверхностное», явное и укладывающееся в привычные представления, к тому, что обнаруживается в результате лишь огромных аналитических усилий психологии и лингвистики, как сокровенное замаксированное и нелегко постигаемое.

Эта последовательность планов начинается от плана речи развернутой, за которым следует план семантический; за последним — план речи внутренней с постепенным убыванием в нем роли словесных значений и соответственно прогрессирующим нарастанием роли смыслов. А далее начинается еще более глубокий и более закрытый пока для нас план «собственно мысли», которая, как говорит Л. С. Выготский, «всегда стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношение между чем-то и чем-то, одним словом, выполняет какую-то функцию, решает какую-то задачу». Но, добавляет он тут же, «это течение и движение мысли не совпадают прямо и непосредственно с развертыванием речи. Единицы мысли и единицы речи не совпадают. Один и другой процессы обнаруживают единство, но не тождество» [1, 311].

И, наконец, одновременно как апофеоз, и... внезапный обрыв всего этого необычайно тонкого и сложного анализа, упоминание (только упоминание!) о той сфере, в которой зарождается мысль, о «мотивирующей сфере нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только

она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления» [1, 314].

Значительность всей этой схемы для понимания интимных особенностей строения сознания человека вряд ли требует пояснений. Перед нами здесь иерархия подлинно фундаментальных зависимостей, в отвлечении от которой никакой анализ мыслительной и речевой деятельности производиться на сегодня уже не может. И основной сильной стороной этой схемы является то, что в ней намечена не только последовательность «планов» речи, сменяющихся по мере все более «глубокого» проникновения в структуру речи, но и определены особенности каждого из этих планов: неустранимая вербализованность развернутой речи; спрессованность речи внутренней, возникающая за счет ее предикативности и редуцирования в ней фонетики [1, 304]; возможность превращения в носителя одного и того же определенного смысла не только сложнейших словесных конструкций, неограниченного по величине объема, но и отдельных фраз и отдельных слов («смысл» даже многотомной монографии может быть выражен менее, чем десятком слов) и, наконец, возможность существования смысла и вовсе «без слов» [1, 30]. При движении же в обратном направлении (т. е. в направлении от мысли к порождению речи) — возможность раскрытия одного и того же определенного смысла во множестве разнообразных словесных высказываний (здесь уместно вновь вспомнить о гибкости, нежесткости детерминации неосознаваемой психологической установкой ее выражения в поведении, о котором мы говорили выше!). И все это — на фоне отчетливого превалирования неформализуемых индивидуальных смыслов (за счет убыли формализуемых надиндивидуальных значений) в наиболее «глубоком» плане внутренней речи, непосредственно соприкасающемся с планом собственно мысли.

Но это — только одна сторона проблемы. А другая заключается в том, что при внимательном рассмотрении этой замечательной схемы не менее отчетливо, чем ее сильные стороны, выступает одна допущенная при ее разработке характерная неуточненность. Ни Л. С. Выготский, ее основной создатель, ни те, кто продолжили разработку его идей, не ставят специально вопроса о том, **на каком этапе смены планов речи** или, что то же, **на каком уровне иерархии планов речи** возникает **возможность осознания речи.** А между тем, этот вопрос кардинален и ответ на него возможен.

Осознание немыслимо без наименования, т. е. без обозначения осознаваемого словом, без вербализации. Этот тезис является в данном случае исходным постулатом. Поэтому осознаваемой является в нормальных условиях развернутая речь или, в лучшем случае, те ее предстадии, когда формализуемые надиндивидуальные объективные значения, находящиеся in statu nascendi, уже заметно оттесняют породившие их некоммуницируемые субъективные смыслы. **Невербализованный же еще смысл не может быть осознан, ибо для того, чтобы он был осознан, он должен быть «назван», обозначен словом, а в таком случае он перестает быть «чистым» смыслом и превращается в элемент развернутой речи.** Осознание становится поэтому возможным только на «поверхностных» или, что то же, на «высших» уровнях иерархии планов речи. Зато здесь оно превращается в огромную силу, в силу, творящую речь, а через нее и деятельность, находя тем самым свое оправдание как конечный продукт безмерно длительного процесса формирования психики, происходившего вначале в условиях филогенеза, а затем, с невероятным ускорением, под воздействием социаль-

ного (исторического и повторяющегося в онтогенезе) развития человека.

Поэтому, когда мы проникаем в более глубокие планы речи, мы погружаемся в область того, что в конечном счете порождает осознание психических процессов, но само остается «неназванным» и потому «неосознаваемым». И единственной, пока по крайней мере, психологической категорией, на которую мы можем уверенно опираться, разрабатывая проблематику этих глубоких планов, является **категория неосознаваемой психологической установки.** Это обстоятельство ярче, быть может, чем какое-либо другое, подчеркивает значение, которое эта категория имеет в общей теории бессознательного, и ее незаменимость.

Отнесение функции осознания к **определенному уровню** в иерархии планов речи представляет в теоретическом отношении интерес, по крайней мере, по двум причинам. Во-первых, потому, что оно позволяет лучше понять скрытый механизм осознания, его необходимые психологические предпосылки. Во-вторых, потому, что оно является наиболее, пожалуй, сильным аргументом в пользу реальности бессознательного. О реальности бессознательного мы заключаем в данном случае не потому, что, отрицая ее, мы не можем объяснить ряд особенностей психического функционирования (традиционный подход), а потому, что только признав ее, **мы сохраняем право пользоваться идеей скрытых «планов» речи.** Существование бессознательного психического, неосознаваемой психической деятельности выступает в данном случае не как гипотеза, к которой надо прибегнуть, чтобы объяснить непонятное, а как неустранимый вывод из того, что обосновано фундаментально. А это означает, что все представление о бессознательном приобретает еще более высокую степень достоверности, с которой уже никому не дозволено не считаться.

(9) Является ли, однако, принцип осознания только того, что вербализовано, принципом абсолютным, не допускающим никаких исключений? Ригоризм в данном случае, как и обычно в психологии, — дело рискованное. Нюансы, промежуточные и переходные состояния, полусвет и полутени здесь, конечно, неизбежны. Мы остановимся на двух таких исключениях — одном клиническом, выступающем как трагический эксперимент природы, и другом, способствующем появлению точного метода анализа, который позволил превращать в предмет строгого изучения процессы, недостаточно четко вербализованные, относящиеся к тому промежуточному «плану», на котором смыслы если еще не полностью вытесняют значения, то все же уже начинают преобладать над последними. О первом из этих исключений речь идет во включенном в последующий тематический раздел настоящей монографии сообщении об особенностях сновидений у слепоглухонемых (Л. Ф. Обуховой с соавторами), о втором — в уже упоминавшихся статьях П. Б. Шошина, Д. И. Шапиро и М. А. Котика, затрагивающих проблему т. н. «расплывчатых образов». Несколько слов о каждом из них, чтобы сделать более отчетливой их связь с проблемой осознания содержаний, вербализация которых затруднена.

Изучение сновидений, возникающих у больных, которые по различным причинам утратили слух, зрение и речь, обнаружило их характерную измененность. В этих сновидениях постепенно (имеются в виду интервалы, измеряемые годами) все реже и реже появляются зрительные и слуховые образы, а также редуцируются переживания, связанные с порождением нормальной речи. Какое-то время сохраняются сновидения, в которых преобладают образы, связанные с тактильными ощущениями. А затем, как сообщает одна из таких больных (Н. Н. К.),

может исчезнуть и эта модальность, но, тем не менее, — что примечательно — сновидения не утрачивают своего **содержательного** характера. Это по-прежнему сновидения «о чем-то», о каких-то событиях, описать которые больная, однако, не может, т. к. они не воплощаются в вербализуемые образы, в переживания, имеющие какую-то определенную сенсорную модальность. Такие сновидения больная спонтанно называет «смысловыми» сновидениями, имеющими определенный смысл, хотя сообщить о последнем она ничего не может.

Как интерпретировать этот в высшей степени своеобразный феномен? Не отражается ли в нем сохраняющееся смутное воспоминание об активности внутренней речи на ее смысловом уровне, единственно остающееся после потери возможности оперировать сенсорными модальностями, придающими объективным значениям характеризующую их форму? Подобные вопросы мы можем на современном этапе развития знаний лишь только ставить. Сколько-нибудь уверенные ответы на них пока вряд ли возможны. Но важность и интерес всей этой проблематики, как и необходимость дальнейшей ее разработки, очевидны.

К гораздо более определенным выводам приводит второе направление исследований, на котором мы кратко в заключение остановимся.

Уровень или «план» значений соседствует, как мы это видели, с уровнем или планом смыслов. Значения вербализуемы и формализуемы, они надиндивидуальны и в том смысле «объективны», они коммуницируемы, их отношения рациональны, и они могут становиться предметов логического анализа, подчиненного строгим алгоритмам. Но относится ли все это ко всем значениям в равной степени? Нельзя ли вычленить в них подкласс, в котором выраженность всех этих черт ослаблена и который можно поэтому рассматривать как «план» (уровень или слой), приближающийся к плану смыслов, как промежуточный между этим планом и уровнем значений в их строгом понимании?

Для историка науки должно представить несомненный интерес, что вопросы весьма сходного порядка были поставлены в математике совершенно независимо от разработки, которой подвергалась проблема значений и смыслов в психологии. В математике значения неформализуемые или формализуемые трудно получили название «расплывчатых множеств» или «расплывчатых образов» и явились предметом исследований Л. Задэ, предложившего методологию их формализации. Нетрудно понять, что тем самым были созданы новые возможности и для проникновения в более глубокие «планы» речевой деятельности, характеризуемые доминированием неформализуемых смыслов. П. Б. Шошин, Д. И. Шапиро и М. А. Котик уделяют в своих интересных статьях основное внимание именно этому вопросу.

П. Б. Шошин развивает в своем сообщении проблему формализации неформализуемого, прибегая к некоторым условным, вводимым им, понятиям. Сознание, по его мнению, характеризуется двумя уровнями — эксплицитным и имплицитным. На эксплицитном уровне содержания формализуемы, легко коммуницируемы и регистрируемы; на имплицитном они плохо осознаются, плохо вербализуются и еще хуже коммуницируются. Эта дихотомия позволяет построить в «многомерном пространстве» сознания «координатную ось», которая, будучи продолжена, приводит к бессознательному. Между содержаниями этих двух уровней («имплектами» и «эксплектами») нет гомоморфизма, т. е. отношений, позволяющих соотнести их на основе, например, трансформационных грамматик Н. Хомского.

В этом своеобразном построении нетрудно распознать лишь слегка

завуалированный перевод на специфический логико-математический язык основных психологических соотношений, о которых подробно уже шла речь выше. Однако в результате подобного перевода создается важная возможность довольно строгого анализа и исследования «имплектов».

Имплекты более «размыты», чем эксплекты: если эксплекты представлены в традиционных вычислительных процедурах точками, то имплекты изобразимы в виде «облаков» с неясно очерченными краями и одним или несколькими «ядрами». Чтобы их «эксплицировать», можно использовать построение т. н. расплывчатых множеств, выполняемое с применением значений т. н. «функции принадлежности» («размытых чисел» по автору). Над размытыми же числами можно производить с помощью ЭВМ любые формализованные операции. И в результате то, что выступало исходно как неформализуемое, не четко вербализуемое и плохо поддающееся коммуникации, изменяет в какой-то степени эти свои черты на противоположные.

Д. И. Шапиро, затрагивая ту же, по-существу, тему, подчеркивает близость расплывчатых образов к активности бессознательного и предлагает для изучения этой активности методическую процедуру, использующую теорию расплывчатых множеств и основанную на конкретной модели. Он отмечает, что когда мы выносим оценки, имеющие «неопределенный» (формально не уточненный) характер, то мы имеем дело именно с такими расплывчатыми образами. Вместе с тем, в основу подобных оценок (определение, например, объекта как «красивого», «доброго», «удобного», «злого», «стройного», «веселого» и т. д.) кладется обычно не строгая логическая аргументация, а более или менее смутное «общее впечатление», имеющее подчас характер твердого убеждения, но возникающее как результат переработки информации, настолько сложной, что от осознания этот процесс полностью ускользает[3]. Легко понять, что в этих условиях методика, позволяющая оперировать расплывчатыми образами с целью выявления их взаимоотношений, их значения как факторов, влияющих на поведение, на формирование отношения человека к среде и т. п., является одновременно методическим приемом, позволяющим более глубоко исследовать роль определенных форм проявления бессознательного. Таким приемом и является алгоритм формализации расплывчатых образов, разработанный Л. Задэ, и поэтому должно быть понятно внимание, которое этот прием вызывает в последнее время, в связи с напряженным поиском любых методических приемов, позволяющих хотя бы в малой степени расширить наши возможности проникновения в область бессознательного.

(10) Мы изложили выше общие соображения, определяющие наше понимание роли неосознаваемой психической деятельности, бессознательного психического, в активности мышления и речи. В VII, а также в следующем VIII тематических разделах настоящей монографии представлены работы, которые в ряде случаев созвучны этим общим соображениям и их углубляют, в других же намечают скорее иные, своеобразные подходы, обеспечивая тем самым разностороннее освещение проблем, а иногда и создавая поводы для плодотворных дискуссий.

VII раздел открывается весьма интересной статьей широко известного американского психиатра С. Ариети, ставящего вопрос, прин-

---

[3] Вспомним описанные во вступительной статье к шестому тематическому разделу монографии т. н. физиогномические эксперименты.

ципиально важный для теории неосознаваемой психической деятельности: о необходимости учета связи активности бессознательного не только с инстинктами и примитивными эмоциями, но также со сложными формами познавательной («когнитивной») деятельности. Отход, который такая постановка проблемы представляет от традиционной фрейдистской ориентации, очевиден. Здесь явно намечается тенденция к созданию более общей теории бессознательного, чем бывшая исходной для психоанализа.

Далее следуют статьи: И. Г. Беспалько, касающегося связей, существующих между мыслительной деятельностью и функциями психологических установок (по Д. Н. Узнадзе); О. К. Тихомирова, дающего сопоставительный анализ возможностей переработки информации ЭВМ и интеллектом человека; Д. И. Дубровского, обсуждающего роль, которую играет в процессах переработки информации неосознаваемая психическая деятельность; И. М. Тонконогого, представившего сообщение о системно-информационном подходе к проблеме бессознательного; С. В. Киселева, затрагивающего проблему связи, существующей между мнестическими процессами и субсенсорными воздействиями; А. С. Кармина, охарактеризовавшего современную постановку проблемы интуиции; А. А. Брудного, анализирующего значение неосознаваемых психологических компонентов процессов усвоения текстов; М. А. Котика, экспериментально исследовавшего возможность формирования неосознаваемого навыка без предварительного осознания его компонентов; Ю. М. Пратусевича с соавторами, изучающих роль неосознаваемой психической деятельности в управлении инерционным объектом; К. К. Платонова, дающего систематизированную расшифровку смысла различных психологических понятий, имеющих то или иное отношение к идее бессознательного; А. Н. Дмитриева и Э. Я. Дмитриевой, осветивших идею бессознательного психического в ее социально-гносеологическом аспекте; Л. Г. Канчавели, ставящей вопрос о неосознаваемых компонентах в интеллектуальной деятельности человека.

Каждая из этих работ освещает определенный аспект роли бессознательного в мыслительной деятельности. Что же касается завершающей этот раздел статьи известного французского философа Э. Амадо, в ней затрагивается более общая проблема теории бессознательного. В частности Э. Амадо останавливается в своей статье «К эпистемологии бессознательного» на трудностях рационального раскрытия идей бессознательного, обусловливаемых своеобразной, по ее мнению, «негативностью» этого понятия, принципиальной его «невыразимостью» на языке рациональных категорий. В этой связи Амадо подчеркивает, ссылаясь на Маркса, опасности, возникающие, когда за абстракциями перестают видеть конкретную действительность, которую эти абстракции только отражают.

Э. Амадо, однако, отклоняется несколько от этих строгих формулировок, когда определяет древнегреческие и другие мифы, создаваемые на определенных этапах развития культур, как конструкции, которые используются их создателями без понимания того «скрытого смысла», который в них заключен. Такая интерпретация немного напоминает известные юнговские трактовки, придающие искусственную «объективность» смыслам мифов, их гипостазирующие и персонифицирующие. Нам хотелось бы поэтому отметить, что смысл мифа во всех случаях только отражает культуру и нравы породившей его эпохи и также изменчив как они. «Бессознательное» создателей мифов влияет, естественно, на структуру и содержание последних, находя в них, порой, даже свое специфическое высокохудожественное выражение. Но и

это влияние приводит к отражению в мифе лишь того, что **предсуществовало** социально и исторически в обществе в эпоху создания данного мифа. «Непонимание» же мифа, о котором говорит Амадо, — это отнюдь не редкое непонимание лишь продуктов своего собственного бессознательного, дающее о себе знать не только в мифологии, но и в самых разных других аспектах культуры и деятельности. (См. в этой связи нашу полемику с профессором Гарвардского университета Нэнси Роллинс на страницах «Литературной газеты» от 30 ноября 1977 г.).

THE ROLE OF THE UNCONSCIOUS IN THE ACTIVITY OF THINKING AND SPEECH

EDITORIAL INTRODUCTION

S u m m a r y

The present article has been written by way of an exception to the rule adopted by the editors: to preface each subject section with a theoretical introduction. It should rather be considered a theoretical introduction simultaneously to Sections VII and VIII, the former dealing with the role of the unconscious in thinking activity and the latter with the relation of the unconscious to speech activity. At the present stage of development of psychological notions it is hardly possible to discuss either of these problems without constantly turning to the other, that is without taking a conceptual stand which simultaneously defines the general comprehension of both the processes of thinking and the functions of speech. Hence the joint preliminary analysis of these problems.

In the opening part of the article attention is drawn to the peculiarity of the problems of awareness and non-awareness of thinking activity, and to the difference of these problems from that of 'thinkingper se' (L. S. Vygotski). The crisis that began to be felt in the 1950s-60s, — when attempts were made to use digital computers in solving complex problems involving the programming of games, language translation and pattern recognition—is considered to be one of the proofs of the involvement of the unconscious in the thinking process. The opinion of G. Dreyfus on the causes of the inadequacy of the digital computer revealed in the attempts to reproduce most complex forms of thinking activity available to the human being is cited and accepted as validated.

The limited capacities for information processing available to artificial intelligence and the formalized techniques on the basis of which that processing takes place in the digital computer are believed to be the chief among these reasons. The human brain also uses a similar formalized approach, but is capable of other kinds of analysis as well; it (the human brain) proves to be stronger than a digital computer when finding itself in most complex situations. The validity of this conception is supported by a psychological analysis of thinking activity in conditions of chess, language translation, and various forms of pattern recognition. Experimental evidence is presented in support of the objectivity of inferences made by man on the basis of such forms of in-

formation processing that are specific to him, which are neither formalized nor verbalized, and hence unconscious. Emphasis is laid on the irremovable involvement of the unconscious in the structure of thinking processes as well as on the important role played in these conditions by unconscious mental activity.

The latter half of the article discusses the problem of the role of the unconscious in speech activity as represented in modern psycholinguistic literature. In this connection the contributions of A. R. Luria and R. O. Jakobson are discussed. Attention is drawn to the tendency running throughout R. O. Jakobson's paper in Section VIII to underline the indissoluble link between speech generation and speech comprehension with the activity of the unconscious. At the same time it is noted that the psycholinguistic conception of the role of the unconscious does not go beyond the limits of phenomenology, remaining only descriptive, with little insight into the essence of the regularities determining the relation of the activity of the unconscious to speech.

The main reason inducing the researchers' thought to limit itself, in the given case, to the phenomenological approach is believed to be the poor development of the categorial apparatus—range of concepts enabling a rational expression of initial irrationalism—«the different logic» (S. Leclaire) of the unconscious. The principal lines of research that can prospectively overcome this limitation are indicated, namely the work of D. N. Uznadze's school with its conceptual substantiation and many-sided experimental development of the idea of the unconscious psychological set; the work of L. S. Vygotsky devoted to the problem of interrelationship — within the framework of judgements — of 'significance' and 'meaning' in their relation to the hierarchy of speech generation 'planes' ensuing consciousness; the mathematical theory, being developed by L. Zade, of so-called 'fuzzy' sets enabling the formalization of judgements that initially appear as unformalized.

On the basis of these approaches a definite understanding of the interrelationship of the processes of speech generation and awareness of it is taking shape. 'Awareness' is inconceivable without 'naming', therefore only an expanded utterance can be conscious, or, at best, those preliminary stages of it, when formalized supraindividual objective meanings (A. N. Leontyev) already appreciably press back the uncommunicable subjective significances that gave rise to them and the unconscious psychological sets controlling the entire process. Therefore awareness becomes feasible only at 'surfacial' or, in other words, 'higher' levels of the hierarchy of the planes of speech. When we penetrate into the 'deeper' of these planes we descend into the realm of what, in the final analysis, gives rise to awareness, which itself remains 'unnamed' and hence 'unconscious'.

This general understanding is specified in the paper and the changes of the function of consciousness occurring in certain forms of grave clinical pathology (blindness-deafness-dumbness) are analyzed. The communications included in Section VII are described in brief.

ЛИТЕРАТУРА

1. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Мышление и речь, М.—Л., 1934.
2. ЛУРИЯ А. Р., Основные проблемы нейролингвистики, М., 1975.
3. BAR-HILLEL, I., Advances in Computers, v. I, N. Y., 1960.
4. DREYFUS, H. L., What Computers Can't Do: A Critique of Artificial Intelligence, N. Y., 1972.

141

THE REALM OF THE UNCONSCIOUS IN THE COGNITIVE SCHOOL OF PSYCHOANALYSIS

SILVANO ARIETI

New York Medical College, USA

I

When psychoanalysts speak of unconscious processes, they generally refer to phenomena that can acquire consciousness only with difficulty or with special procedures. These phenomena can be divided into two groups: 1) those that used to be conscious and have become unconscious through a mechanism of repression, and 2) those that can become conscious but have not yet reached a state of consciousness.

I shall deal with both types, but more extensively with the first. In relation to the first type I shall remain within the large Freudian frame of reference, but my contribution will aim at illustrating the points of departure from Freud rather than the points of convergence. In doing so I shall try to clarify some of the tenets of the cognitive school of psychoanalysis (Arieti, 1974a).

Freud thought that the child is afraid that if he tries to put some infantile wishes into practice, he will incur punishment from his parents. Later, when he develops a superego or conscience, he feels guilty if he allows himself to experience wishes that he cannot control. Thus he removes them from the realm of his consciousness. According to Freud the traumatic events of the patient's childhood have left powerful traces, painful memories that are unacceptable and therefore even in adult life continue to be relegated to the state of unconsciousness by a psychological defense called repression.

This theory of repression is very original. It implies conflict, or dynamic interaction of opposing tendencies, ending with the subjugation of the painful material, which becomes unconscious. If the material remained conscious, it would lead the person to undesirable action, anxiety, fear of punishment, guilt, or shame.

In studying Freud's works and the literature of the Freudian school in general, one is impressed by the importance attributed to infantile wishes, generally sexual in content, which are still active at any subsequent stage of life. These wishes are unacceptable to the adult part of the patient's mind, just as they were unacceptable to the adults who surrounded him when he was a child. According to Freud these wishes, as well as the mechanisms with which

the patient deals with them or protects himself from them, constitute the content of his unconscious motivation. The Oedipal guilt, the fear of castration, annihilaton, desertion, or of being overwhelmed by excitement and sexual urges, play important roles as causes of repression and/or components of what is repressed. Many of the forbidden wishes originated when the child's vocabulary was still rudimental.

It is a basic tenet of the cognitive school of psychoanalysis that unconscious motivation and content do not include only infantile strivings but also and predominantly important parts of non-infantile inner life, based on cognitive constructs. Simple levels of physiopsychological organization, such as states of hunger, thirst, fatigue, need for sleep and a certain degree of temperature, sexual urges, or relatively simple emotions, such as fear about one's physical survival, are powerful dynamic forces. They do not include, however, the motivational factors that are possible only at high levels of cognitive development.

As the great Russian psychologist Vygotsky illustrated (1962), conceptual thinking becomes an important part of the psyche early in life and expands at every subsequent age in various degrees. Concepts and organized clusters of concepts become depositories of emotions and also originators of new emotions (Arieti, 1967). They have a great deal to do with the conflicts of man, his achievements and his frustrations, his states of happiness or despair, of anxiety or of security. They become the repositories of intangible feelings and values. Not only does every concept have an emotional counterpart, but concepts are necessary for high emotions. Already in the later part of childhood and in adolescence emotional and complicated conceptual processes become more and more intimately interconnected. It is impossible to separate the two. They form a circular process. Concepts like inner worth, personal significance, mental outlook, appraisals reflected from others, attitudes toward ideals, aspirations, capacity to receive and give acceptance, affection, and love, become integral parts of the self and of the self-image, together with the emotions that accompany these concepts. To think that these emotional factors, which are sustained by complicated cognitive processes, are only displacements or rationalizations that cover more primitive, instinctual drives is a reductionistic point of view. Basic concepts are learned from others, and their content generally derives from interpersonal relations with one's mother and father, family, peers, teachers, coworkers, and society at large.

Although the motivation, conscious or unconscious, can always be understood as a search for, or as an attempt to retain, pleasure and avoid unpleasure, gratification of the self becomes the main motivational factor at a conceptual level of development. Certainly, the individual is concerned with danger throughout his life: immediate danger, which elicits fear, and a more distant or symbolic danger, which elicits anxiety. However, whereas at early levels of development this danger is experienced as a threat to physical survival, at higher levels it is many times experienced as a threat to an acceptable image of the self. Conflict is often connected with possible punishment which one may incur because of his actions, but it is also often connected with the change

that his actions can produce on his self-image. Whatever would disturb one's cherished self-image tends to be repressed. Whatever might make the individual appear to himself unworthy, guilty, inadequate, sadistic, inconsistent with his ideas or ideals, escapist, or not living up to his ideals tends to be removed from consciousness. Indeed, some of these evaluations of the self remain conscious; but even so, what is eliminated from consciousness is much more than the individual realizes. Psychoanalytic practice reveals how many of these cognitive constructs about oneself, and how many of their ramifications, are kept in a state of unconsciousness. We can easily recognize that repression is a method, although not a successful one, of escaping many kinds of psychological injury and of preserving an acceptable self-image.

Freud made a great contribution by pointing out the importance of motivation in health and psychological illness and in discovering and describing how this motivation often becomes unconscious. But there is a basic error in Freud's conception that derives from his almost exclusive concern with id motivation. He paid very little attention to cognition or to those mental conflicts that are possible with the acquisition of language, concepts, abstract thinking in general, and those high level emotions that are possible only in conjunction with abstract thinking. Even sexual life cannot be considered from a purely primitive, sensuous, or instincitve point of view. Sexual gratification or deprivation becomes involved with such concepts as being accepted or rejected, desirable or undesirable, loved or unloved, lovable or unlovable, capable or incapable, potent or impotent, normal or abnormal. Thus sexual gratification and deprivation become phenomena that affect the whole self-image.

We need to spend a few more words on the mechanism of repression in the phylogenesis of man. The neopallic cortex expands enormously and so does cognition that is mediated by it. The infinite combinations of cognitive constructs and their emotional connections make possible various forms of mental pain, such as discomfort, anguish, terror, anxiety, and depression, as they can never occur in other animal species. Even the ordinary repertory of psychic life can become too much of a burden because of its infinite combinations and ramifications. Thus during the evolution of Homo sapiens mechanisms developed and were retained that had the purpose of decreasing the intensity and prominence of psychic life. These various mechanisms have been described, under various terminologies, in psychological, psychiatric, psychoanalytic literatures. I am not including among them suppression, which is a more or less voluntary removal of some psychological content from the focus of attention or of consciousness. The non-attended content goes into a state of quiescence, like a language or a skill that is not used.

In many cases the decrease in intensity is brought about by a decrease of affective or sensuous content, for instance, by the mechanisms of denial, reaction-formation, undoing, blunting of affect, depersonalization, alienation, hysterical anesthesia, and so forth. The mechanism that has more to do with cognition is repression. The main aim of psychoanalysis is that of making conscious again what was repressed. Freud said, «Where id was, ego

must be». But the point is that only part of the unconscious pertains to the id or to the lowest levels of the psyche. It is the whole psyche that has to be examined and reoriented by psychoanalytic therapy. Moreover, the procedure of restoring to consciousness what was unconscious is not therapeutically sufficient in most cases. Therapy must also aim at reintegrating harmoniously with the rest of the self what was made available to consciousness. And this involves a great deal of cognitive work.

Often repression of the real motivation is achieved with the help of psychological mechanisms that detour consciousness toward other avenues of thought and behavior. Intricate cognitive configurations lead the patient to feelings, ideas, and strategic forms of behavior that make the self-image acceptable or at least less unacceptable. Here are a few examples: A woman leads a promiscuous life; she feels unacceptable as a person, but as a sexual partner she feels appreciated. The hypochondriac protects his self by blaming only his body for his difficulties. The suspicious person and the paranoid attribute to others shortcomings or intentions that they themselves have.

In many other cases, which range from normal persons to neurotic and even psychotic, cognitive configurations constitute general attitudes, premises, or even philosophies of life that determine the behavior of the individual who is completely unaware of the existence of them. For instance, a man repeatedly becomes involved with women who are sick physically or mentally, or who have been victimized by cruel parents, society, poverty, or from a terrible husband or a former psychopathic fiancé. At first it seems that the patient is motivated only by love, and that the condition in which the woman was found is purely due to chance. Actually if we analyze the patient, we come to see that the choice was determined by an unconsious constellation or premise that we could call «the savior complex». The patient wants to save a woman from her miserable fate, and can fall in love only with a woman who needs him. At times the patient, in saving the partner, wants to save the neurotic, or fallen part of himself. Most of the time he believes he is great for having saved another person. A deep feeling of inferiority may be at the bottom of this savior complex. «Only if I save her», he says to himself, «will she love me. I am not worthy of love under any other circumstances». In other words, this patient unconsciously retains the idea that he will not be able to arouse love, but only gratitude, and he hopes that the gratitude will eventually turn into love. In a few of these cases we recognize a typical Freudian Oedipal situation. The partner who wants to save the woman used to have fantasies as a child of how to save or console the mother, who was harassed by the misdeeds of the father. However, even when we find an original Oedipal fixation, we realize that the savior complex could not have taken place if the individual had not had at his disposal cognitive media that allowed him to become aware of women in the position of needing to be saved and of ways by which he could become a «rescuer».

My studies of preschizophrenics and schizophrenics have disclosed that the preschizophrenic, in a period of life which precedes the psychotic break, generally during adolescence or young adulthood, finds himself threatened

on all sides, as if he were in a jungle (Arieti, 1974b). It is not a jungle where ferocious animals are to be found, but a jungle of concepts that remain unconscious until shortly before the onset of the psychosis, or the period that I have called the prepsychotic panic. The threat is again not to survival, but to the self-image. The dangers are concept-feelings, such as those of being unwanted, unloved, unlovable, inadequate, unacceptable, inferior, awkward, clumsy, not belonging, peculiar, different, rejected, humiliated, guilty, unable to find his own way among the different paths of life, disgraced, discriminated against, kept at a distance, suspected, etc. Some of these concepts were conscious even in earlier periods of life. What had remained unconscious were their full significance, their ramifications and connections, especially with similar concepts about the self, originated in childhood. When these constellations of concepts are interconnected and become vividly conscious, they are experienced as unbearable. An alteration of the cognitive structure of the patient occurs that transforms an inner danger into an external one—an imaginary or projected danger that comes from the environment. The constellation of concepts that hurt the self becomes then unconscious again.

II

One of the phenomena that the cognitive school of psychoanalysis underlines is the fact that not only does the individual repress, but society does, too. Thus the individual has a double burden to repress: his own and that of society. How does society repress? By teaching the individual not to pay attention to many things (selective inattention); by disguising the real value of certain things; by giving an appearance of legality and legitimacy to unfair practices; by transmitting ideas and ideals as absolute truths without any challenge or search for the evidence on which they are supposed to be based. The defenses against objectionable wishes that Freud described in the individual (for instance, repression, reaction-formation, or doing the opposite of what one intended to do, isolation, or removing the feeling from unpleasant actions by making them compulsive, in an almost legalistic manner, or by rationalization) can be found in society, too. Culture devises alternative cognitive systems that displace the original ones or make them unconscious. The original systems were deemed unacceptable and the substitutions acceptable. A person coming from a different culture becomes immediately aware of the substitutions. In some cases culture devises ways of affecting the individual or the masses adversely, with means which remain unconscious. I have described three major negative ways by which society can affect the whole psyche: primitivization, endocratic surplus, and deformation of the self (Arieti, 1974a). P r i m i t i v i z a t i o n consists of all the mechanisms and habits that foster the primitive functions of the psyche at the expense of high-level functions. An example of this type is release of aggressive drives, as effectuated, for instance, by Nazi society. During Nazi domination many Germans had lost full awareness of the brutality of their actions. In some societies primitivization manifests itself as infantilization. An instance of it occurred in the medieval feudalistic society, which assigned

an irrevocable role to each person, who could not develop autonomy and initiative. *Endocratic surplus* is excessive acceptance and introjection of false and self-perpetuating principles. Endocratic surplus may reduce the individual to blind obedience. Again as an example we could mention some periods of the Middle Ages during which acceptance of religious dogma led to fanaticism or to unbearable guilt feeling. *Deformation of the self*, a self-explanatory term, can be brought about by many cultural conditions without the individual being aware of it. Some varieties of this deformation of the self have been brought about in some capitalistic consumeristic societies by the application of the scientific model to all aspects of life, by reduction of feelings and ideas to numbers, and by mass production and work for profit. By being manipulated or persuaded in hidden ways, the individual learns to react, not to act. His will and initiative become atrophic, while he retains the illusion of freedom. Reacting and conforming is confused with being spontaneous. Promiscuity is confused with romance, intrusion into one's privacy is confused with sincerity and comradeship. The self is deformed and tends to be alienated, and addictive drugs are used to combat alienation.

If we try to interpret these three adverse sociopsychological factors in reference to Freudian terminology, we can say that primitivization often expands the id and the archaic ego and diminishes the role of the superego. Deformation of the self warps the ego and makes some of its functions unconscious. Endocratic surplus overburdens and distorts the superego in unconscious and conscious ways. Freud was aware of the important impact of society on the individual's psyche, but was not aware of these three mechanisms. He felt that society acts predominantly by summoning the service of the superego for the repression of the id. He saw the superego as an ally of society and of the ego insofar as it controls the undesirable aspects of the id. Endocratic surplus of social origin was not seen by Freud as altering the functions of the psyche. Sexual repression was for Freud the main constricting and inhibiting force. Freud conceived of the ego as that part of the psyche that deals with reality; but he did not see how «reality» or the social environment may warp the ego. Also, because of the Victorianism in which he was brought up, he could not conceive that society itself at times promotes eruption of the primitive id or produces a state of infantilization.

Cultural conceptualizations become *cognitive domains or assumptions*, which often act unconsciously. Together with people working in other fields (such as sociology, social psychology, and anthropology) the psychoanalyst has an important role in revealing how these cognitive domains affect the individual and society. Thus psychoanalysis, which was criticized for limiting its sphere of operation to individual therapy of a restricted group of people, extends its inquiries to the study of some functions of the collectivity.

III

At the beginning of this paper I referred to cognitive content that is unconscious not because it has lost the status of consciousness but because it has not yet acquired it. Although this topic is of paramount interest to the

psychologist, it is not of great concern to the psychiatrist and therefore I shall deal with it in a more succinct manner. The reader who is interested in this topic is referred to other works of mine (Arieti, 1962, 1965, 1967).

How many parts of any psychological process remain unconscious is revealed by the study of microgeny. Microgeny, as described by Werner (1956), is the immediate unfolding of a phenomenon, that is, the sequence of the necessary steps inherent in the occurrence of a psychological process (Flavell and Draguns,1957). For instance, to the question, «Who is the author of Hamlet?» a person answers, «Shakespeare». He is aware only of the question (stimulus) and of his answer (conscious response), not of the numerous steps that in a remarkably short time led him to give the correct answer. Why did he not reply, «Sophocles», or «Chekhov»? How did he reach the correct answer? There are numerous proofs that the answer was not necessarily an established and purely physical or direct neuronal association between Hamlet and Shakespeare, but that an actual unconscious search went on. In fact, if the same question is asked of a mental patient affected by cerebral arteriosclerosis or by schizophrenia in a stage of advanced regression, or put to a person who is very sleepy or drunk or paying little attention, he may reply, «Sophocles» or «Chekhov». These are wrong answers but not haphazard ones; they reveal that the mental search required for answering had at least reached the category of playwrights. This search occurred through mental processes, most of which were unconscious.

Sudden insight occurs as an unexpected illumination, but it is obvious that preliminary work took place in the mind of the individual although he was not aware of it. The unconscious mental work led to the conscious solution. This is particularly clear in the process of creativity, to which I have devoted a large part of my research. (Arieti, 1966, 1967, 1976) I have described the creative or tertiary process as resulting from an unpredictable and improbable matching of primitive mental processes (included in what Freud [1900] called the primary process) and normal processes that follow Aristotelian logic (included in what Freud called the secondary process).

This matching requires organizing and reorganizing of numerous mental traces until finally the desired solution is found or the creative product results. The multitude of possible combinations and the discarding of the wrong ones occur unconsciously. The right matching often emerges to consciousness as a flash of insight.

Many creative persons, for instance, the great French mathematician Poincaré, have described the occurrences of these experiences (1913). In the morning, following a sleepless night spent working on a mathematical problem without finding the wanted results, Poincaré entered a bus. At the moment he put his foot on the step, the idea came to him, apparently without any conscious effort, that the transformations he had used to define the Fuchsian functions were identical with those of non-Euclidian geometry. This sudden illumination was a breakthrough leading to great expansion in the field of mathematics.

Poincaré's account of his experiences remains a classic in the field of creativity. He correctly reported that the creative insight did not come from nothingness. He had prepared the ground for a long time with his research and study. When he was not consciously focusing on the problem, his mind continued to act intensely in a state of complete unconsciousness until the solution was reached.

At other times an accidental happening in the external world brings to consciousness a solution or discovery that had already been prepared in the unconscious processes of the mind. Among these instances stands out the episode that occurred when Newton, seeing an apple falling from a tree, became conscious of the mental work that unconsciously had prepared the ground for the discovery of the force of gravity.

In conclusion, Freud's concept of the unconscious must be enlarged to include content far beyond the instinctual and the primitive. In normality, pathology, and creativity, unconscious processes take place that involve the highest levels of the psyche.

Summary

According to the cognitive school of psychoanalysis the realm of the unconscious extends to a much larger area than Freud thought. It includes not only infantile wishes and unacceptable memories of traumata that occurred early in life, but also cognitive constructs and constellations that developed later.

Cognitive constructs play the most important role in the dynamics of the human psyche. They constitute the self-image and mediate interpersonal relations. In normal people and to a greater degree in psychopathological cases a tendency occurs to relegate to unconsciousness whatever threatens the self-image, as well as some cognitive mechanisms by which we protect our self-image.

Society and culture, too, influence the psyche of the individual with at least three mechanisms, which often operate below consciousness.

Not only what has been repressed, but also what has not yet reached the level of consciousness pertains to the unconscious. Many early stages of the process that Werner called microgenesis and also of the creative process are fully unconscious.

REFERENCES

ARIETI, S. 1962. The microgeny of thought and perception. Archives of General Psychiatry, 6, 454—468.

ARIETI, S. 1965. Contributions to cognition from psychoanalytic theory. In J. Masserman (Ed.), Science and Psychoanalysis, Vol. VIII. New York: Grune and Stratton.

ARIETI, S. 1966. Creativity and its cultivation: relation to psychopathology and mental health. In S. Arieti (Ed.), American Handbook of Psychiatry, Vol. 3. New York: Basic Books.

ARIETI, S. 1967. The Intrapsychic Self: Feeling, Cognition and Creativity in Health and Mental Illness. New York: Basic Books.

ARIETI, S. 1974a. The Cognitive-Volition I School. In S. Arieti (Ed.) American Handbook of Psychiatry, Vol. 1. New York: Basic Books.

ARIETI, S. 1974b. Interpretation of Schizophrenia. Second Edition. New York: Basic Books.

ARIETI, S. 1976 Creativity: The Magic Synthesis. New York: Basic Books.

FLAVELL, J. H. and DRAGUNS, J. 1957. A microgenetic approach to perception and thought. Psychological Bulletin, 54, 197—217.

FREUD, S. 1900. The Interpretation of Dreams. Published also by Basic Books, New York (1960).

POINCARÉ, H. 1913. Mathematical Creation in The Foundation of Science. Lancaster: The Science Press, 1946.

VYGOTSKY, L. S. 1962. Thought and Language. Cambridge, Mass.: M. I. T. Press.

WERNER, H. 1956. Microgenesis and Aphasia. J. Abnorm. Soc. Psychol., 52, 347—353.

142

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ТЕОРИИ УСТАНОВКИ И ПРОБЛЕМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

И. Г. БЕСПАЛЬКО

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева

Тесная взаимосвязь проблем сознания и бессознательного обычно обусловливает необходимость их совместного рассмотрения [10, 9]. Это особенно касается вопросов теории бессознательного.

К психологическим направлениям, где связь сознания и бессознательного является органической и составляет единую проблему, относится теория установки Д. Н. Узнадзе и его учеников [7; 8; 9; 10]. В статье приводится рассмотрение некоторых аспектов сознания и бессознательного в свете этой теории и на основе общих системных представлений.

Как известно, Д. Н. Узнадзе рассматривает процессы установки и объективации в их соотношении с сознанием через анализ акта внимания, точнее, через «проблему возможности и осмысленности этого акта».

Само понятие установки возникло из потребности объяснить целенаправленность поведения и отчетливость и ясность восприятия на таком уровне психической деятельности, при котором нет оснований говорить об осознанной целенаправленности и активном внимании. С установкой связывается низший уровень отражения действительности, характеризующийся «импульсивной» автоматизированной деятельностью, полностью определяющейся окружающими воздействиями и актуальными потребностями, при ясном восприятии включенных в деятельность объектов. Причем «не по произволу субъекта луч ясности и отчетливости направляется в ту или иную сторону, на тот или иной момент ситуации» [7][1].

На следующем уровне сознания, определяемом объективацией, автоматизированная деятельность притормаживается (в частности, в связи с внешним препятствием) и включаются механизмы сознательного регулирования, когда вырванный из потока автоматизированной деятельности субъект «ставит» мешающий объект в поле своего внимания, «объективирует» препятствие, изучает его и т. д. В этой связи указывается на тождество акта внимания и объективации, при котором имеет место специально познавательное отношение, теоретизирование (создание моделей). Поведение поднимается на опосредованный, специфически человеческий уровень.

---

[1] Представляется все же, что на чисто описательном уровне мы вправе говорить о пассивном внимании при этом состоянии, но не как о направляющей способности, а как о феномене, определяемом установкой.

Исходя из этих общих представлений, остановимся на обсуждении нескольких конкретных моментов.

1. Прежде всего необходимо подчеркнуть постоянную взаимосвязь состояний установки и объективации. Это, в частности, проявляется в том, что сама установка как готовность к определенному виду деятельности определяется предыдущей деятельностью, в том числе и на уровне объективации. Установка, таким образом, является своеобразным динамическим непроизвольным (т. е. не зависящим от регулирующей роли мышления) отражением реального опыта субъекта, выступающим в органической взаимосвязи с актуальными потребностями. Этот аспект установки может быть непосредственно сопоставлен с информационными представлениями, получившими значительное развитие в последнее время — с представлениями о вероятностном регулировании содержаний сознания на основе актуализации предыдущего опыта (непосредственный, непроизвольный учет частоты событий, большей или меньшей вероятности, «обычности — необычности» и т. д.). Создается впечатление о большой близости, если не идентичности, механизмов установки и вероятностного регулирования. В пользу такой близости говорят и теоретические представления о механизмах эмоций, где, по существу, очень близкая роль придается или установке, или вероятностным оценкам на фоне актуальной потребности [5]. На близость этих представлений о механизмах эмоций указывает Ф. В. Бассин [1]. Таким образом, на уровне отражения действительности, определяемого установкой, реализуется непосредственная вероятностная оценка событий или функционально самостоятельный вид познавательной деятельности, который в свою очередь служит основой для качественно иных видов познания на уровне объективации.

Итак, на уровне установки осуществляется регуляция автоматизированной предметной деятельности, эмоциональное реагирование и вероятностный вид познавательной деятельности, что в целом говорит о психологической структурной завершенности и самостоятельности этого уровня отражения.

2. Обычно, когда речь идет об уровне установки, имеется в виду ее «фильтрующее», регулирующее влияние на содержание сознания. При этом установка представляется скорее пассивной функцией, регулируемой наличными потребностями и внешними воздействиями. Даже ее способность создавать иллюзорное восприятие (классический эксперимент с шарами) является проявлением инертности. Хотелось бы, однако, предположить возможность и активной, созидающей роли этого уровня. Есть, например, основания предполагать, что уровень психики, определяемый установкой, более четко и независимо проявляется во сне, в период сновидений, т. к. имеется целый ряд признаков, роднящих динамику сновидных образов с установочной автоматизированной динамикой. Так, процесс сновидений глубоко импульсивен, течет в виде независимого потока, внимание в фазе сновидений отличается пассивностью и управляется наплывом сновидных образов. Интересно, что при повышении активности внимания и смутном осознании сновидности происходящего мы обычно пробуждаемся, переходя на уровень объективации. Но сновидные образы отличаются целым рядом качественных особенностей — «сгущением», символизацией и т. п., — специфичных именно для этого состояния сознания.

В связи с этим можно предположить, что закономерности формирования образов, характеризуемых такими специфическими качествами, присущи именно уровню установки, и они, возможно, отражают филогенетически более древний вид, по сравнению с объективацией образного эмоционально-ориентировочного отражения действительно-

сти. Символика сновидений скорее поэтому представляется естественной особенностью этого уровня психики, чем проявлением усилия неосознанных переживаний пробиться в запретную для них область.

3. Переходя к акту объективации, хотелось бы еще раз подчеркнуть активную, преобразующую, «теоретическую», моделирующую роль этого процесса, по Д. Н. Узнадзе. Деятельный, исследующий характер активного внимания отмечается многими авторами. С. Л. Рубинштейн [4] характеризует акт внимания как внутреннее активное оперирование объектом.

При попытках анализа процесса объективации прежде всего можно отметить, что сама активность субъекта в акте объективации базируется в значительной степени на автоматизмах установочного уровня. Яркий пример этому — наша собственная речь: обсуждая какой-то предмет и, безусловно, его объективируя, мы, тем не менее, достаточно непроизвольно строим фразы, отнюдь не выбирая сознательно каждое слово. Речевой поток льется более или менее свободно и, произнося фразу, мы далеко не всегда знаем слово, которое произнесем в следующее мгновение. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно самонаблюдения.

Качественно новым в акте объективации является, по-видимому, выбор новой цели деятельности (в частности, в связи с неожиданно возникшим препятствием) и контроль ее достижения. Сама же деятельность происходит на основании «включения» того или иного автоматизма установочного уровня. Естественно, что процесс в целом может быть более или менее сложным в зависимости от числа «переключений». При особенно сложных видах моделирования происходит резкое изменение первичных автоматизмов в связи с «переключениями» и сличением с целью. Можно, конечно, предположить, что и сами «переключения» с автоматизма на автоматизм происходят на основе установок более высокого порядка. Однако, чем нетривиальнее задача, тем такой «высший» автоматизм менее вероятен. Где-то здесь, в акте сосредоточения внимания, намечается переход к творческому, т. е. нестандартному, и в то же время адекватному решению. Недаром в процессе творчества придается такое большое значение настойчивому сосредоточению внимания.

Изложенные представления об акте объективации (или активного внимания) согласуются, отчасти, с представлениями П. Я. Гальперина [2] о внимании как акте контроля результатов деятельности при их сопоставлении с целевым образом. Вместе с тем представляется, что активная творческая сторона внимания скорее связана с возможностями нетривиальных «переключений». Однако эта «переключающая» сторона объективации в значительной степени находится вне сферы нашего произвола и нашего «осознания» (и в этом парадокс неосознания — осознания). И если это не связано с тем, что «переключение» происходит на основании установочного автоматизма, который в принципе неосознаваем, то на уровне человеческого сознания или объективации мы сталкиваемся с новой, по сравнению с установкой, формой бессознательной деятельности. По-видимому, здесь вполне уместны рассуждения о «психическом мутагенезе» как основе творчества [6]. «Процесс создания гипотезы глубоко скрыт не только от глаз исследователя (имеется в виду исследователь творчества. — **И. Б.**), но и от самого творца. Вот почему, как утверждает Б. М. Кедров (1969), непродуктивно изучать творческое мышление путем расспросов автора» [6, 77].

4. Помимо творческого процесса, «бессознательность» которого носит, по замечанию П. В. Симонова, скорее «сверхсознательный» ха-

рактер (этот термин предлагается для семантического отграничения от простых бессознательных автоматизмов), психические процессы уровня объективации, по-видимому, могут принимать участие в ряде психопатологических проявлений бессознательного. Об этом можно думать в связи с тем, что поведенчески эти бессознательные проявления могут отличаться не меньшей сложностью, чем обычное поведение (т. е. при них имеет место преодоление различного рода препятствий, гибкое реагирование на изменение ситуации и т. д.). Мы имеем в виду различного рода сложные проявления измененного сознания, прежде всего истерической природы. Сюда относится, например, наблюдаемый при истерии феномен «двойной личности», когда больные характеризуются резкими переходами из одного состояния в другое, каждое из которых отличается своеобразными характерологическими особенностями при сохранении ориентировки и возможности осуществления в каждом из подобных состояний.

При всей редкости этих явлений мы не вправе их игнорировать, тем более, что имеется широкий круг феноменологически близких к ним процессов типа различного рода психических автоматизмов.

Можно допустить, что в этих клинических случаях имеет место организация, на основе мозгового субстрата, второй психологической системы, относительно независимой от основной системы личности и служащей основой патологии.

Следует учитывать, что в последнее время появились некоторые лабораторные данные, подтверждающие принципиально возможность существования сходных возможностей. Уникальным, например, свойством вирусов является то, что они проходят через стадию, на которой генетический, информационный, материал является единственным связующим звеном между поколениями. Чтобы продуцировать вирусное потомство, проникающий в клетку вирусный геном, внедряясь в информационный аппарат клетки, перестраивает ее анаболизм на синтез и сборку вирусных компонентов. Таким образом, на основе информационных преобразований на базе физиологической системы создается вторая, патологическая система. Хотелось бы напомнить в связи с этим и опыты на животных с перерезкой связей между правым и левым мозговым полушарием и созданием относительно автономных систем с независимым «опытом». Вообще говоря, можно думать, что суперпозиция двух качественно разнородных психологических системных образований на таком адекватном для них материальном субстрате, каковым является мозг с его исключительной пластичностью, представляется даже более физиологически понятной, чем описанный выше пример вирусного генома.

Как могут, однако, образовываться такие психологические системы? Данные по гипнокатарсису и эксперименты по гипнотическому внушению чуждых личности переживаний указывают, что «отчуждаться» может содержание, не совместимое с установками личности. Вообще система установок личности, как готовностей к тем или иным видам деятельности, является основой личностной структуры и как таковая должна обладать свойствами системы, адаптирующейся и способной к высокой стабильности. Но в таком случае правомерно допустить, что такая внутренне стабильная система способна отвергать содержание, нарушающее ее стабильность. Это может послужить одной из причин феномена психического «отщепления». В этом смысле особенно показательны данные гипнокатарсиса, когда острая психическая травма с тем или иным содержанием, глубоко чуждым установкам личности, амнезируется и, представляя из себя «чужеродное тело» в структуре личности, сохраняет потенциальную способность к высокой эмоциональной

напряженности в течение многих лет, что, в свою очередь, предполагает существование механизмов саморегуляции также и в пределах данного чужеродного психического комплекса. К сожалению, очень мало известно о закономерностях этих образований и почти ничего о пределах их «патологических возможностей» (в смысле деструкции психики). Исторически сложилось так, что гипнокатарсис предшествовал психоанализу и в известной степени послужил исходной точкой его развития. Психоанализ, однако, развивая собственную методологию, тут же заслонил его своей феноменологией и произволом своих толкований. Как отмечает В. Е. Рожков [3], «в области гипнокатарсиса еще немало сторон нуждается в своем дальнейшем освещании, и, как нам представляется, этот вопрос должен изучаться в тесной связи с материалистическим истолкованием неосознаваемых форм высшей нервной деятельности, т. е. с экспериментальным подходом к проблеме бессознательного».

В заключение подведем общие итоги.

1. На психическом уровне, определяемом установкой, осуществляется не только непроизвольная предметная деятельность и эмоциональное реагирование, но и неразрывно связанный с ними познавательный процесс вероятностного прогнозирования.

2. Есть основания предполагать, что своеобразные виды переработки информации (символизм, сгущение образов и т. д.) осуществляются на уровне установки.

3. Можно думать, что в акте объективации или активного внимания происходит как контроль за результатами деятельности (согласно представлениям П. Я. Гальперина), так и возможность «переключений» с одного вида установочной деятельности на другой, в чем намечаются истоки бессознательного творческого процесса.

4. Не исключено, что на базе мозгового субстрата может образоваться дополнительная, относительно независимая от основной системы личности, психологическая система, которая может служить основой сложных поведенческих проявлений бессознательной деятельности.

Примечание редакции

Публикуя статью И. Г. Беспалько, редколлегия считает необходимым сделать по ее поводу некоторые разъясняющие замечания.

И. Г. Беспалько полагает, что «с феноменом установки связывается низкий уровень отражения действительности, характеризующийся «импульсивной» автоматизированной деятельностью», что «на следующем уровне сознания, определяемом объективацией, автоматизированная деятельность притормаживается... и включается механизм сознательного регулирования», что «установка представляется скорее пассивной функцией... Даже ее способность создавать иллюзорное восприятие (классический эксперимент с шарами) является проявлением инертности» (и далее указывается, что активность установки проявляется более четко лишь во сне). «Только переходя к акту объективации хотелось бы подчеркнуть активную, преобразующую... роль этого процесса, по Д. Н. Узнадзе» и т. д.

Мы полагаем, что при подобном понимании роли установок существенно сужается их подлинная психологическая функция. Ибо установка —это выражение активности поведения (даже на наиболее высоких его уровнях) и одновременно механизм, который эту активность прежде всего обеспечивает. Связывание психологических установок с авто-

матизмами (как и связывание с последними бессознательного в целом, — см. по этому поводу нашу вступительную статью к первому разделу монографии) полностью выхолащивает саму идею установки и делает ее как психологическую категорию по-существу не нужной. Установка может выступать как консервативный фактор (обеспечивающий «инертность» поведения), но и в этом случае она не перестает быть механизмом адаптации и, следовательно, полностью сохраняет свою активную природу. Следует также отметить, что автор настоящей статьи не учитывает существенное различие между первичной (актуальной) и вторичной (фиксированной) установками по Д. Н. Узнадзе.

ON SOME ASPECTS OF THE THEORY OF SET AND THE PROBLEM OF THE UNCONSCIOUS

I. G. BESPALKO

The V. M. Bekhterev Psychoneurological Research Institute, Leningrad

S U M M A R Y

Involuntary object activity as well as emotional response and probabilistic forecasting are determined by the level of set. There are grounds to assume that peculiar forms of information processing involving imagery (symbolism, condensation of images, etc.) occur at the level of set. Control of the results of activity and of «switching over» from one type of set-induced activity to another is effected through the act of objectification, outlining the principles of modelling and the origins of the unconscious creative process. One cannot rule out the emergence of psychological systems which are relatively autonomous in respect to the system of personality and may form the basis of complex manifestation of unconscious activity.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
2. ГАЛЬПЕРИН П. Я., К проблеме внимания. В кн.: Хрестоматия по вниманию, М., 1976.
3. РОЖНОВ В. Е., Гипносуггестивная психотерапия, М., 1975.
4. РУБИНШТЕЙН С. Л., Основы общей психологии. Изд. 2, М., 1946.
5. СИМОНОВ П. В., Теория отражения и психофизиология эмоций, М., 1970.
6. СИМОНОВ П. В., Высшая нервная деятельность. Мотивационно-эмоциональные аспекты, М., 1975.
7. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки. В кн.: Психологические исследования. М., 1966.
8. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Некоторые спорные вопросы психологии, Тб., 1971.
9. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, том I, Тб., 1969.
10. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, том 2, Тб., 1973.

143

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПРОБЛЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

О. К. ТИХОМИРОВ

МГУ, факультет психологии

Положение о существовании у человека двух форм психического отражения (осознанного и бессознательного) и, соответственно, о двух типах регуляции деятельности является одним из центральных в системе общепсихологических знаний.

В ходе развития психологической науки возникают новые междисциплинарные связи, требующие рассмотрения классических проблем психологии в ином аспекте. К их числу относятся связи между психологией и научным направлением, получившим название «искусственный интеллект». На четвертой международной конференции по искусственному интеллекту, состоявшейся в 1975 году в Тбилиси, работала специальная секция «Психологические аспекты искусственного интеллекта», была также организована дискуссия на тему «Искусственный интеллект и психология».

В этой теме целесообразно выделить два вопроса: 1. В какой мере в работах по искусственному интеллекту учитывается качественное различие двух форм психического отражения и психической регуляции деятельности. 2. В какой мере сами работы по созданию искусственного интеллекта способствуют более глубокому пониманию психической деятельности, в частности осуществляющейся на бессознательном уровне.

Для того, чтобы ответить на эти вопросы, необходимо уточнить, что имеют в виду под искусственным интеллектом. Часто работы по искусственному интеллекту характеризуют через цель — создать машины, выполняющие такие действия, для которых обычно требуется интеллект человека (решение задач, понимание языка, распознавание образов). Следовательно, речь идет прежде всего о машинном «интеллекте», сопоставимом, судя по перечню задач, относимых к классу интеллектуальных, с тем широко используемым в философской и психологической литературе определением интеллекта, при котором под последним понимается некоторая интегральная характеристика познавательной деятельности субъекта, включающей мышление, воображение, внимание, память, сложные формы восприятия.

Существуют различные проекты совершенствования искусственного интеллекта. Значительное внимание в ряде из них уделяется понятийной структуре интеллекта («искусственный концептуальный интеллект», «ситуационное управление», «семантические информационные процессы»). Выявление системы понятий или знаний, используемых человеком при решении задач некоторого класса, и введение их в машинную программу считается путем приближения возможностей

машины к возможностям человеческого интеллекта. В других исследованиях на первый план выдвигается задача совершенствования машинного поиска, использования приемов его редукции (так называемых эвристик). Некоторые исследователи связывают совершенствование искусственного интеллекта с увеличением объема памяти и внутренних связей между ее элементами. Наконец, особенно в связи с задачей создания роботов с элементами искусственного интеллекта, усилился интерес к процессам целеобразования.

Каждое из этих направлений связано с оперированием категориями понятия, поиска, памяти, целеобразования.

Понятия (знания, обобщения), используемые в интеллектуальной деятельности человека, качественно разнородны. В результате действий с предметами у человека складываются практические обобщения, которые иногда называют житейскими понятиями. Этими понятиями человек может успешно пользоваться при решении задач определенного класса, хотя не всегда может дать им четкое определение, словесно сформулировать их признаки. По отношению к так называемым научным понятиям, напротив, человек всегда дает определения, выделяет необходимые и достаточные признаки. В первом случае признаки, по которым строится обобщение (понятие), не представлены сознанию человека, а во втором ясно осознаются. Следовательно, есть обобщения (понятия) бессознательные и осознанные. Существенная особенность интеллектуальной деятельности человека состоит в том, что в ней как бы сосуществуют и взаимно дополняют друг друга обобщения осознанные и неосознанные. Есть основания даже считать, что в актах интуитивного мышления последний вид обобщений может играть доминирующую роль.

Понятия (знания), о которых идет речь в работах по искусственному интеллекту, соотносимы с осознанными (научными) понятиями. Эквиваленты бессознательных обобщений (понятий) отсутствуют в работе существующих систем искусственного интеллекта, они отсутствуют и в реальных проектах совершенствования искусственного интеллекта. «Искусственный концептуальный интеллект» — это интеллект, лишенный бессознательных обобщений. Указанная ограниченность в трактовке понятий проявляется и при интерпретации методов их изучения. Иногда специалисты по искусственному интеллекту для выявления используемых человеком знаний подвергают наблюдению процессы самообучения. Естественно, что неосознаваемые обобщения остаются при этом за пределами анализа.

Таким образом, применительно к проблеме понятий (обобщений) современные работы по искусственному интеллекту отвлекаются от факта существования неосознаваемых обобщений и не вносят прямого вклада в их изучение.

Деятельность по решению конкретной интеллектуальной задачи, поиск решения этой задачи осуществляется человеком как на уровне осознанной, поддающейся вербализации активности, так и на уровне невербализованных форм ориентировочно-исследовательской деятельности. Эксперименты с параллельной регистрацией речи и движений глаз, а также осязательной активности, участвующей в решении интеллектуальной задачи, позволяют дифференцировать и изучать процессы, развертывающиеся на каждом из этих уровней, с учетом их качественного своеобразия.

При характеристике машинного поиска используются такие понятия, как «оператор», «состояние», «эвристические методы». «Операто-

ры» переводят одну ситуацию в другую, то есть по-существу речь идет о преобразованиях ситуаций, которые у человека могут осуществляться как на уровне сознательного действия, так и на уровне импульсивных действий (или упроченных навыков). Это различие между «операторами» не представлено в системах искусственного интеллекта.

При описании «состояний» человек использует не только такие формы, как строки символов, векторы, двумерные массивы и списки, но также образы, значения и смыслы, важнейшая особенность которых состоит в их предметной отнесенности. У человека наряду с пространством «состояний» задачи существует еще пространство состояний его как субъекта, решающего задачу, и оно не иррелевантно по отношению к деятельности по решению задачи. Известно, что не все признаки ситуации, на которые фактически ориентируется испытуемый, входят в сознательный образ ситуации, не все реально осуществляемые исследовательские действия представлены и в речевом рассуждении испытуемого. Операциональный смысл ситуации может служить примером невербализованного отражения ситуации, а опыты с одновременной регистрацией глазодвигательной (а также осязательной) активности и речевого рассуждения хорошо иллюстрируют два уровня организации поисковой деятельности.

Таким образом, «представление задач в пространстве состояний» у человека осуществляется на уровне как осознанного, так и неосознанного отражения. Однако и это различие в уровнях отображения «состояний» не представлено в работе искусственных систем. Важно при этом подчеркнуть, что речь идет не просто о «параллельной обработке информации», а о качественно разнородных процессах, динамика и взаимодействие которых характерны для сложной интеллектуальной деятельности.

Так называемые эвристические методы поиска в человеческом интеллекте имеют другую природу, чем в искусственном. Ускорение поиска зависит у человека не только от специфической информации о задаче, но и от субъективных факторов, помогающих найти решение, мотивов деятельности решающего задачу, его психического состояния, установки. Для человека характерны не столько синтаксические и семантические правила регулирования поиска, сколько смысловые факторы. В интеллектуальной деятельности человека происходит не просто использование оценочных функций, но их формирование по ходу решения задачи. Эти оценочные функции также могут иметь качественно различную природу (эмоциональные и вербальные оценки, обобщенные и ситуативные).

Хорошо известно, что психологическая установка, а иногда и мотив относятся к сфере бессознательной психической деятельности. Следовательно, бессознательное вносит свой существенный вклад в эвристическую организацию поиска у человека. Известно также, что и эмоциональные переживания, в том числе возникающие в ходе интеллектуальной деятельности, могут не соотноситься с конкретным объектом и в этом смысле оставаться неосознанными. Систематические экспериментальные исследования т. н. интеллектуальных эмоций выявили большую роль неконкретизированных эмоциональных предвосхищений в процессах решения сложных задач, которые выступают как необходимое условие этих решений, а иногда и как первый этап возникновения решений, получающих затем словесно-логическое оформление. Возможно также возникновение конфликтных отношений между эмоциональными и вербальными оценками.

В работе систем искусственного интеллекта не представлено различие между эмоциональными и словесно-логическими, между бессознательными и осознанными оценками, не представлен также процесс возникновения новых, не заданных заранее оценок. Эта сторона бессознательного, следовательно, опять-таки не представлена в работе существующих и реально проектируемых систем искусственного интеллекта.

Применительно к памяти человека соотношение осознанных и бессознательных процессов, произвольных и непроизвольных, изучено достаточно хорошо. Как запоминание, так и актуализация могут быть следствием решения специальной мнемической задачи (запомнить, вспомнить, узнать) или побочным продуктом некоторой другой деятельности. Связи между элементами памяти могут быть как непроизвольно возникающими, так и произвольно конструируемыми, широко представленными в разного рода мнемотехнических приемах. Известно, что невозможность произвольной актуализации следов памяти не означает отсутствия этих следов. Эксперименты с доучиванием, электрическим раздражением мозга, с использованием техники гипноза показали существование бессознательной памяти. Однако различие между бессознательным и осознанным запечатлением, организацией, хранением и актуализацией сведений не представлено в системах искусственного интеллекта.

Постановка (и достижение) новых целей — одна из важнейших особенностей сознательной деятельности человека. На основе проведенных исследований мы выделяем следующие механизмы целеобразования:

а) преобразование побочного результата действия в цель на основе его осознания и связывания с мотивом;

б) превращение неосознанных предвосхищений в цель на стадии подготовки действия;

в) смена (переформулирование) целей при недостижении первоначально предвосхищавшегося результата;

г) усвоение заданной цели путем связывания ее с мотивом;

д) выбор одной из множества задаваемых целей;

е) превращение мотива в мотив-цель;

ж) выделение промежуточных целей;

з) переход от предварительных к окончательным целям;

и) образование иерархии и временной последовательности целей.

Легко видеть, что в состав предпосылок возникновения новых целей входят бессознательные психические образования (установки, мотивы, предвосхищения, побочные результаты действий и др.). Психологический анализ целеобразования включает в себя анализ бессознательных компонентов этих предпосылок, а также изучение тех условий, при которых осуществляется переход от последних к собственно целям. Генезис сознательных целей можно поэтому понять только с учетом функций бессознательного. В этом еще раз проявляется диалектическое единство двух уровней психического отражения и регулирования деятельности.

Термин «цель» широко используется и в работах по искусственному интеллекту, но в другом значении, чем в психологии. «Целью» называют не осознанный образ будущих результатов, а просто формальное описание конечных ситуаций, задаваемых любой системе. Общепринятым является мнение, что в исследованиях по искусственному интеллекту еще не выработано универсального метода для нахожде-

ния специальных формулировок задач, то есть формирования новых целей. Имеющиеся попытки имитации целеобразования в искусственных системах затрагивают, в лучшем случае, лишь логико-лингвистические преобразования заданных общих целей в более конкретные и не относятся к преобразованию бессознательных предпосылок целей в собственно цели.

Таким образом, последовательный анализ понятийной структуры интеллекта, организации поиска и памяти, процессов целеобразования приводит нас к выводу о том, что в работах по искусственному интеллекту, претендующих на воссоздание человеческого интеллекта, не учитывается качественное различие двух форм психического отражения и психической регуляции деятельности и сами эти работы не вносят прямого вклада в изучение бессознательного.

Сделанный вывод имеет двоякое значение. Во-первых, он свидетельствует о том, что цель приблизиться к человеческому интеллекту при расширении возможностей интеллекта искусственного ставится в условиях ограниченного использования данных психологической науки. Во-вторых, он подчеркивает, что широко распространенный в современной литературе подход к человеку по аналогии с принципами работы систем искусственного интеллекта носит ограниченный характер и иногда приводит к «снятию» классических и вместе с тем труднейших проблем психологии, к которым относится и проблема бессознательного.

Вместе с тем работы по искусственному интеллекту вносят определенный косвенный вклад в более глубокое понимание психической деятельности, в частности бессознательного. Во-первых, эти работы сделали особенно актуальной задачу изучения того «остатка», который по-прежнему характеризует человека при самой совершенной автоматизации. Во-вторых, они позволили поставить задачу дифференциации процессов «переработки информации» и собственно психической деятельности. В-третьих, они требуют различения формальных и неформальных структур, более тщательного изучения функций последних.

Неформальная сторона интеллектуальной деятельности часто обозначается термином «интуиция». В настоящее время стало почти общепринятым, что необходимо различать факты интуитивного познания и философскую теорию интуитивизма, что критика интуитивизма не должна приводить к отрицанию фактов интуиции. Вместе с тем необходимо отметить важность соотнесения философских и психологических представлений об интуиции. Философское понятие «интеллектуальная интуиция» по существу является собирательным, оно охватывает множество различных механизмов интеллектуальной деятельности: установки, предвосхищения, догадки, симультанное охватывание отношений, эмоциональное предчувствие, бессознательную психическую активность. Изучение перечисленных механизмов и есть исследование интуиции в конкретно психологическом плане, независимо от того, использует автор понятие интуиции или нет. Необходимо различать интуитивную репродукцию знаний и актуализацию готовых приемов, с одной стороны, и интуитивную выработку новых знаний и способов действия — с другой.

Таким образом, основным путем изучения бессознательного остаются экспериментальный и клинический методы. Работы по созданию искусственного интеллекта лишь подчеркивают важность такого изучения и стимулируют его.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND THE PROBLEM OF THE UNCONSCIOUS

O. K. TIKHOMIROV

Moscow State University, Faculty of Psychology.

S U M M A R Y

The extent to which studies of artificial intelligence take account of the qualitative difference of the two forms (conscious and unconscious) of mental reflection and mental regulation of activity is discussed, as well as how much do projects of creating artificial intelligence help to gain a deeper insight into mental activity occurring at the unconscious level.

An analysis of the conceptual structure of intelligence, of the organization of memory and search and of the processes of goal formation allow to conclude that work on artificial intelligence does not take account of the qualitative difference of the two forms of mental reflection and mental regulation of activity, nor does it make any direct contribution to the study of the unconscious, although it does stimulate such research.

144

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Д. И. ДУБРОВСКИЙ

МГУ, философский факультет

Стратегические цели современного научного познания все в большей степени конвергируют к проблеме человека. В этом проявляется одна из важнейших особенностей нынешнего исторического этапа развития науки. Человек как личность и элемент социальной самоорганизации становится объектом быстро нарастающего числа исследований, имеющих весьма разнообразные концептуальные задачи. Но все эти исследования так или иначе опираются на психологическую феноменологию, которая остается, однако, все еще крайне слабо упорядоченной. Даже наиболее значимые психические феномены не имеют пока достаточно определенного описания, что резко снижает эффективность разработки проблемы человека в любых ее аспектах. И это полностью относится к тому кругу психических феноменов, которые обычно обозначаются термином «бессознательное». Неопределенность «бессознательного», однако, равносильна неопределенности «сознательного», ибо значения указанных терминов соотносительны. В подобных условиях особую актуальность приобретает методологический анализ, способный создать надежные предпосылки для расчленения тех подавляющих своей сложностью и запутанностью эмпирических конгломератов, которые представляют современную психологическую феноменологию. Четкое описание и упорядочение психических феноменов предполагает наличие корректной теоретической установки, задающей категориальные структуры, с помощью которых производится описание. Методологический анализ призван оценить адекватность такого рода понятийной системы, выявить зависимость изучения объекта от познавательных средств, которые используются исследователем. В этом отношении, как нам кажется, для описания психических феноменов, относимых к классам сознательных и бессознательных, весьма перспективно использование понятийной системы, ядром которой является категория информации.

1. Некоторые методологические аспекты проблемы сознательного и бессознательного

Вопрос о специфике бессознательно-психических феноменов может быть выяснен лишь в контексте целостного понимания человеческой психики и при условии соотнесения их с сознательными феноменами. Существует ли вообще такая специфика? Является ли бессознательно-психическое реальностью? На эти вопросы иногда отвечают отрицательно, ссылаясь на то, что субъект не располагает непосредственным знанием о такого рода феноменах, а когда он приобретает некоторое зна-

ние, то имеет дело с сознательными процессами. Подобная аргументация имеет сомнительную ценность, так как неявно исходит из отождествления психики и сознания, а, главное, снимает решающий вопрос: об отношении знания к реальности и к какой именно реальности. Не отдавая себе ясного отчета в этом вопросе, исследователь рискует оказаться в тупике неопозитивистского или неореалистического феноменализма, ибо мое знание так же является реальностью, как и мое знание о моем знании. Замкнутый круг феноменализма может быть разорван лишь при условии четкого различения объективной и субъективной реальности.

Феномены сознания представляют собой субъективную реальность. Они суть отображения объективной реальности и самих себя или же субъективной реальности и самих себя. Поясним это подробнее.

Всякий сознательный акт рефлексивен, т. е. в нем находит отображение не только некоторый внешний объект или внутреннее состояние организма, но и он сам как содержательное переживание. Здесь осуществляется отображение отображения. Это справедливо и для тех случаев, когда объектом сознательного отображения выступает другой сознательный феномен (например, когда я оцениваю свою мысль). Во всех случаях сознательный феномен несет для субъекта знание о самом себе и знание о соответствующем объекте. Знание человека о своем сознательном переживании носит непосредственный характер, есть «непосредственно данное», «личное» (в отличие от опосредствованно полученного знания и того, что именуется «публичным», т. е. доступным для многих людей путем наблюдения или умозаключения). Например, мое знание о моей зубной боли возникает одновременно с моей зубной болью, достоверность такого знания не нуждается для меня в каких-либо обоснованиях или подтверждениях.

Однако мое знание о моих сознательных процессах может носить и опосредованный характер. Это имеет место в тех случаях, когда я сопоставляю прошлые сознательные переживания, подвергаю анализу их содержание. При этом сохраняется, правда, в несколько иной плоскости, и непосредственный характер знания, присущий всякому сознательному процессу (как отображение текущего сознательного переживания). Следует подчеркнуть, что и в случае моего знания о моей зубной боли, протекающей в данный отрезок времени, момент опосредованного знания также не может быть исключен. Такого рода диалектическая связь непосредственного и опосредованного не подавляет, однако, специфики каждого вида знания. Учет этой специфики важен при сопоставлении и различении сознательных и бессознательных психических феноменов. Отличительным признаком сознательного переживания является наличие у субъекта знания о нем в период его протекания (независимо от того, что является его объектом, каковы его содержательные и ценностные характеристики). Другим существенным признаком сознательного переживания является та или иная степень произвольности: субъект способен в том или ином отношении управлять сознательными переживаниями по своей воле (переключать внимание с одного предмета на другой, коррегировать движение своих мыслей, изменять содержательные и оценочные параметры сознательного переживания); сознательные переживания имеют, однако, как правило, и непроизвольные компоненты, например эмоциональные.

Ни первый, ни второй из перечисленных признаков не присущ бессознательным психическим феноменам. Мое знание о них носит всегда опосредованный характер и их функции непроизвольны.

Принципиально важно при этом различать и соотносить субъективное и интерсубъективное, мое знание о моих психических феноменах и знание об определенных психических феноменах, присущее некоторому множеству людей. Разумеется, интерсубъективное далеко не равнозначно истинному, но оно выражает инвариантное в знании множества индивидов и постольку имеет существенное значение при анализе онтологического аспекта проблемы.

Итак, мое знание о моих сознательных переживаниях является всегда непосредственным, но может быть также и опосредованным. Мое знание о моих бессознательных психических процессах всегда опосредованно. Знание других людей о моих психических процессах (как сознательных, так и бессознательных) всегда является опосредованным.

Является ли мое знание о моих бессознательных состояниях достоверным? На основе самонаблюдения и анализа своего творческого опыта субъект приходит к выводу, например, о наличии особого рода познавательных процессов, закрытых для прямого постижения и осознаваемых лишь по их результату; причем момент оформления и осознания результата является непредсказуемым (вспомним высказывания о творческой интуиции Гаусса, Пуанкаре, Эйнштейна и др.). Мы имеем здесь дело с обычным эмпирическим знанием, отказывать которому в достоверности нет никаких оснований. В равной степени следует положительно ответить и на вопрос: является ли достоверным знание других людей о наличии у меня бессознательных психических процессов? Для подтверждения этого достаточно провести эксперименты хотя бы с постгипнотическим внушением или с неосознаваемой установкой. Здесь тоже мы получим определенные эмпирические данные, вполне удовлетворяющие научным критериям. Таким образом, эмпирическое знание о бессознательных психических процессах в принципе не отличается от эмпирического знания, получаемого физиологами или физиками. А постольку оно является отображением определенной реальности.

Конечно, современные методы констатации и описания фактов бессознательно-психического далеки от совершенства, требуют дальнейшего развития. Принципиальные сдвиги в этом направлении могут быть достигнуты лишь на основе создания новых теоретических концепций, поскольку новые методы эмпирического исследования выступают, как правило, в качестве функции новых теоретических идей и концепций. Нынешние эмпирические данные о бессознательно-психических процессах имеют статус научных фактов. Но, оставаясь в рамках этого уровня познания, мы лишены возможности объяснения природы, сущности бессознательно-психического, а, следовательно, не можем четко формулировать соответствующие проблемы.

Главные трудности возникают, однако, именно тогда, когда мы пытаемся перейти на теоретический уровень познания. Такой переход предполагает использование определенной категориальной системы для описания, упорядочения и объяснения всего класса бессознательно-психических феноменов. Поскольку психические феномены всегда находились в поле философских интересов, важно иметь в виду тесную связь подобной категориальной системы с философским категориальным уровнем, не говоря уже о ее связи с категориальным уровнем общенаучным. Теоретическое объяснение призвано определить тот «вид реальности», который обозначается как бессознательно-психическое и представлен соответствующими эмпирическими данными. Остановимся на этом подробнее.

Бессознательно-психические процессы не даны личности непосредственно и, следовательно, не могут определяться как субъективная реальность. Заметим, что понятие субъективной реальности равнозначно категории идеального. Субъективная реальность есть реальность моей мысли, моего ощущения для меня; из того, что содержание мысли всегда объективировано в моих мозговых процессах, словах или печатных текстах и т. п., еще не следует, что мысль существует объективно. В точном смысле, всякое сознательно переживаемое психическое явление (мысль, ощущение или некоторый целостный, аналитически недифференцированный акт сознательного переживания данной личности) есть субъективная реальность.

Бессознательно-психические процессы не существуют, конечно, вне субъекта. Но «принадлежать субъекту» не равнозначно «быть субъективной реальностью» в указанном выше смысле. Поэтому бессознательно-психическое есть объективная реальность и не может быть обозначена как идеальное.

Здесь, однако, мы сталкиваемся со значительными теоретическими трудностями, ибо квалификация бессознательно-психического в качестве объективной реальности не объясняет еще сама по себе те его существенные характеристики, которые специфичны для психического вообще. Мы имеем в виду содержательные, ценностные и активно-действенные параметры, каждый из которых обозначает определенный класс свойств, присущих психическому. В отношении этих параметров бессознательно-психическое и сознательное равноправны. Бессознательно-психические процессы могут обладать не менее богатым содержанием и не менее значимой ценностью, чем сознательные процессы. Первые отличаются от вторых лишь формой своей представленности для личности и способами функционирования, а также формой объективации. Оба эти типа психических процессов объективированы в мозговой нейродинамике; но для того, чтобы содержание бессознательно-психических процессов было объективировано в речевой форме, печатных знаках и в других средствах межличностной коммуникации, бессознательное должно быть преобразовано в сознательное. Вместе с тем форма объективации в данном случае безразлична к содержанию психического процесса или к его ценностной характеристике, так как физические свойства материальной системы, в которой объективируется содержание психического процесса, могут быть самыми разными: содержание, другими словами, оказывается инвариантным по отношению к различным формам его объективации.

Главные теоретические трудности объяснения специфических свойств психического вообще обусловлены тем, что категориальные структуры классического естествознания (понятия массы, энергии и т. п., в которых обычно описываются фундаментальные свойства объективной реальности) оказываются логически чуждыми таким понятиям как содержание, смысл, ценность, интенциальность и др., посредством которых описывается психическое. Обычно сознательные и бессознательные психические процессы описываются и объясняются с помощью чисто психологического языка, весьма близкого в ряде отношений к языку обыденному. Объяснительные концепции, построенные с помощью такого языка, отягощены многочисленными теоретическими слабостями (неточность и ограниченность описания и объяснения, низкая степень предсказательных возможностей и др.) и фактически целиком отвлекаются от того фундаментального обстоятельства, что психическое есть свойство деятельности мозга. Еще более непродуктивны физикалистские модели психики, стремящиеся истолковать психическое в

качестве подкласса физических процессов; характерными попытками такого рода являются построения современного «научного материализма» (Г. Фейгл, Дж. Смарт, Д. Армстронг и др.) — см. [2]. Парадигма физического объяснения как условия, якобы, подлинно научного объяснения психических явлений несостоятельна. Несмотря на все логические ухищрения, специфические свойства психического остаются за бортом физикалистских концепций.

Существенный аспект проблемы теоретического объяснения психических явлений состоит в том, чтобы найти и использовать такие категориальные структуры, которые были бы способны адекватно описывать психические процессы с их содержательно-ценностной стороны и, одновременно, как свойства определенной материальной системы. Подобная категориальная структура начинает складываться в результате интенсивного развития теории информации, кибернетики, семиотики. Ее ядром, как мы уже отмечали, выступает понятие информации. Использование этой категориальной структуры, носящей общенаучный характер, для описания и объяснения психических процессов в их необходимой связи с деятельностью мозга мы и будем называть **информационным подходом.**

2. Бессознательно-психическое как разновидность информационных процессов

Категория информации (и тесно связанные с ней понятия сигнала, знака, кода, управления и др.) все более широко используется в биологических, психологических, социальных и технических дисциплинах, знаменуя утверждение нового стиля мышления. Его развитие все более явственно обнажает несостоятельность абсолютистских притязаний физикализма, вскрывает призрачность попыток сведения всякого научного знания к физическому базису. Категория информации еще не успела приобрести такое же четкое содержание как это свойственно категориям массы или энергии; она включает ряд слабо дифференцированных значений и смыслов, по-разному истолковывается, выступая объектом острых теоретических споров. За всей этой полиморфностью, однако, просматриваются довольно ясные инварианты, которые могут быть использованы для концептуальных построений.

Не вдаваясь в детальный анализ категории информации (такой анализ проведен нами в другой работе, см. [3]), отметим лишь общепринятые ее черты. Во-первых, информация неизбежно воплощена в определенном материальном носителе, не существует вне его, сама по себе. Во-вторых, информация инвариантна по отношению к физическим свойствам своего носителя (т. е. одна и та же информация может быть воплощена и передана разным по своим энергетическим и массовым свойствам носителям). Это обстоятельство имеет первостепенное значение для понимания природы информационных процессов, так как свидетельствует о невозможности их чисто физического объяснения. В третьих, информация характеризуется со стороны семантической (содержательной) и прагматической (ценностной)[1]. Инвариантность информации по отношению к физическим свойствам ее носителя обуслов-

---

[1] По нашему мнению, всякий информационный процесс обладает содержательным и ценностным аспектами, однако эта точка зрения не является общепринятой.

ливает возможность различных способов кодирования одной и той же информации. Расшифровка кода предполагает однозначное соотнесение определенных содержательных компонентов информации с определенными физическими (физико-химическими) свойствами той материальной системы, которая является ее носителем.

Общепринятым является и то, что информационный подход — адекватное средство исследования биологических, социальных и некоторых технических систем. Разумеется, на уровне генетического аппарата клетки информационные процессы обладают рядом особенностей по сравнению, например, с их осуществлением в головном мозге как целостной системе или в сфере социальных отношений. Учет этих особенностей весьма важен; однако не менее существенно учитывать и проявляющееся здесь единство в многообразии, поскольку все уровни информационных процессов генетически между собою связаны: социальная самоорганизация, если так можно выразиться, выросла из живой клетки, а человек с его головным мозгом, будучи элементом социальной самоорганизации, состоит из систем живых клеток. Эта, на первый взгляд, тривиальная мысль имеет, однако, принципиальное значение для информационного подхода вообще и его использования в целях изучения человеческой психики, в частности.

Попытаемся кратко показать адекватность информационного подхода для описания и объяснения психической деятельности, взятой в ее органической связи с функционирующим головным мозгом. Начнем с рассмотрения сознательных процессов.

Всякое сознательное переживание интенционально, оно всегда относится к чему-то, направлено на определенный объект и постольку в той или иной форме является его отображением. Поэтому всякий целостный сознательный акт личности основывается на информации о соответствующем объекте и о самом сознательном акте. Материальным носителем этой информации, в котором последняя неизбежно воплощена, являются мозговые нейродинамические системы определенного типа. Сознательное переживание и его мозговой носитель суть явления одновременные и однопричинные; в противном случае мы должны были бы признать субстанциальный характер сознания, что равносильно объективно-идеалистической или дуалистической точке зрения.

Мозговая нейродинамическая система, выступающая в качестве носителя сознательно переживаемой информации, есть ее код. Налицо следующий фундаментальный факт: личность обладает прямым, непосредственным знанием о собственном сознательном переживании, протекающем в данный момент, но она ничего не знает о мозговом носителе этого сознательного переживания; с другой стороны, исследователь может наблюдать и изучать мозговой носитель сознательного переживания, но не иметь никакого знания о содержании этого переживания[2]. Сознательное переживание есть информация, непосредственно данная личности в «чистом» виде, в то время, как носитель этой информации для нее элиминирован; именно эта способность личности иметь информацию как бы в чистом виде и оперировать ею обозначается посредством категории идеального. Произвольное оперирование информацией в «чистом» виде (т. е. своими образами, мыслями, понятиями) означает по существу способность оперирования определенным классом нейродинамических процессов.

---

[2] Успешные исследования в области расшифровки нейродинамического кода сознательных явлений могут существенно изменить положение дел [4].

На первый взгляд, это звучит парадоксально. Однако отрицание моей способности оперировать моими нейродинамическими процессами, ответственными за мои сознательные переживания, означает: либо (1) отрицание произвольности сознательного акта, т. е. утверждение полной детерминированности этого акта внешними факторами, исключающее свободу воли и ответственность, либо (2) отрицание необходимости связи сознательного переживания с его нейродинамическим носителем, что ведет в конечном итоге к превращению субъективной реальности сознания в некую объективную реальность — к позиции дуалистического интеракционизма. Способность личности оперировать определенным классом своих нейродинамических процессов (о которых она, однако, не имеет непосредственного знания, совершенно не «ощущает» их и процесса оперирования ими) можно интерпретировать как наличие особого уровня личностной мозговой самоорганизации, т. е. такого уровня мозговых самоорганизующихся систем, которые представляют личность в ее сознательной деятельности.

В такой же мере как сознательные, бессознательно-психические состояния представляют собой информационный процесс (они также обладают и содержательно-гностической стороной, и экзистенциально-ценностной). Бессознательно-психическое явление, взятое с его содержательно-ценностной стороны (т. е. как информация), так же необходимо воплощено в мозговой нейродинамической системе, являющейся его материальным носителем. Естественно, что нейродинамические системы, ответственные за бессознательно-психические процессы, обладают рядом существенных особенностей по сравнению с теми, которые обеспечивают сознательные состояния. Это вытекает из различия феноменологии сознательного и бессознательного: поскольку всякий психический феномен существует только как воплощенный в мозговой нейродинамике, то это означает, что психическая феноменология может служить своеобразной моделью эквивалентной ей мозговой нейродинамики (подобно тому, как описание информации самой по себе может служить моделью структурно-динамических свойств ее носителя; в общем виде, правда, решение этой задачи связано со слишком большими теоретическими трудностями в силу инвариантности информации по отношению к физико-химическим свойствам своего носителя,—однако в конкретном случае исследования деятельности мозга задача эта значительно облегчается, ибо мы имеем здесь дело с определенным нейронным субстратом, физико-химические свойства которого, имеющие отношение к кодированию информации, доступны эмпирическому исследованию и классификации).

Наиболее важное феноменологическое различие между сознательным и бессознательным состоит в том, что первое представляет информацию, «открытую» для личности, а второе — информацию «закрытую», непосредственно для личности недоступную, но играющую, тем не менее, чрезвычайно существенную роль в общем балансе личностных информационных процессов[3]. Эта «закрытая» информация оказывает многообразное опосредствованное влияние на «открытую» информацию как в содержательно-ценностном, гностически-экзистенциальном, так и в деятельностном планах.

Возникает вопрос: в чем заключается смысл «закрытости» для лич-

---

[3] В отличие от того, что мы называем «личностными» информационными процессами, в организме человека осуществляются на уровне отдельных клеток и их систем различные виды информационных процессов, представляющие сугубо биологические функции.

ности обширного класса информационных процессов, выполняющих столь существенную функцию в жизнедеятельности человека? На этот интригующий вопрос пока трудно дать развернутый и хорошо обоснованный ответ. Мы ограничимся поэтому лишь некоторыми предположениями. Во-первых, человеческая психика имеет свой генетический исток в психике животных, а последняя — в функциях простейших биологических систем. На всех уровнях живых систем осуществляются информационные процессы, выражающие качественное отличие этих систем от систем неживых. В ходе эволюции возникали новые формы информационных процессов и отбирались наиболее эффективные из них. Психические процессы составляют лишь небольшую часть всего диапазона информационных процессов, осуществляющихся в организме; аналогично, сознательные процессы составляют меньшую часть всего диапазона психических процессов. Эволюция и антропогенез свидетельствуют, что всякое «усовершенствование» функции достигается определенной ценой. Феномен осознания реализуется за счет снижения скорости информационного процесса (расчеты показывают, что на бессознательно-психическом уровне перерабатывается за единицу времени примерно в 10.000.000 раз больший объем информации, чем на сознательном уровне). Это говорит о существенном своеобразии принципов переработки информации на уровне бессознательно-психического, которые, в свою очередь, как это легко допустить, отличаются от принципов переработки информации на допсихическом уровне. Кроме того, феномен осознания требует, скорее всего, гораздо больших энергетических затрат; не исключено, что резкое расширение диапазона сознательных процессов за счет бессознательных могло бы привести человеческий организм к энергетическому банкротству. (Заметим, что и у животных имеется, на наш взгляд, два уровня психической деятельности, которые подобны сознательному и бессознательному у человека; и, если можно так выразиться, «квазибессознательное» у животных составляет гораздо более обширный класс информационных процессов, чем их текущие субъективно переживаемые состояния).

Уровень бессознательно-психического включает ряд подклассов информационных процессов, различающихся как по содержательно-ценностным, так и по оперативным характеристикам, а также по степени своей «закрытости». При этом особенно важно понимание регуляторной функции бессознательно-психического в целом и различных его подклассов. Информационные процессы в организме выполняют функцию управления. Это особенно наглядно демонстрируют нам сознательные процессы: для каждого из нас очевиден тот факт, что именно сознательные побуждения, связанные с определенными мыслями, чувственными образами и эмоциями, «приводят в движение» органы нашего тела и «производят» соответствующие целенаправленные действия (такого рода видимость всегда служила объектом идеалистических спекуляций, хотя в действительности «запускает», контролирует и регулирует целереализующую деятельность не духовное явление само по себе, т. е. «чистая» информация, а информация в ее неизбежной материальной воплощенности).

Специфические принципы переработки информации на бессознательном уровне указывают на то, что он выполняет специфические функции управления в жизнедеятельности личности (по сравнению с уровнем сознания). Однако это следует понимать не в смысле жесткой рядоположности или противопоставленности функций сознательного и бессознательного управления. Скорее всего речь должна идти о диалектической связи этих различных функций, об их взаимообусловленности,

взаимодополняемости и в ряде отношений об их взаимопереходах друг в друга (эти сложные вопросы требуют специального анализа).

В нашей литературе широкий подход к проблеме бессознательного с использованием понятий биокибернетики был предпринят Ф. В. Бассиным. Его бесспорная заслуга состоит в том, что он рассмотрел феномен бессознательно-психического под углом зрения факторов регуляции поведения личности, уделив основное внимание анализу трех аспектов этой проблемы: 1) исследованию того специфического класса мозговых процессов и психических реакций, которыми организм отвечает на сигналы, без того, чтобы все это реагирование или отдельные его фазы осознавались; 2) исследованию отношений, которые складываются при разных условиях между бессознательным и деятельностью сознания; 3) исследованию механизмов и пределов влияний, оказываемых несознаваемым регулированием на динамику отдельных психологических и физиологических функций и поведение в целом [1]. Идеи информации и управления используются в настоящее время уже многими исследователями проблемы бессознательного, и это выражает существенное преобразование парадигмальных установок в области познания психических феноменов и постепенное преодоление ограниченности как чисто феноменологического, так и сугубо физиологического (а по существу, физикалистского) подходов.

Человеческая психика представляет собой единый сознательно-бессознательный контур переработки информации и управления, отдельные звенья которого обладают относительной автономией, выполняющей важную роль в целостной психической самоорганизации. Высокая степень автономности различных звеньев и динамических структур бессознательного уровня психики вытекает из фундаментальных особенностей психической саморегуляции. Однако достижение оптимума психической саморегуляции предполагает возможность в ряде отношений и деавтономизации (в том или ином периоде) определенных звеньев и динамических структур бессознательного. Это означает, во-первых, способность превращения «закрытых» для личности информационных процессов в «открытые», т. е. осознание определенных бессознательных процессов, и, во-вторых, способность произвольного управления ими. Задача подобного «расширения» сферы сознательного управления является актуальной не только в медицинских и широких практических целях, но и в плане экзистенциально-личностном как условие и фактор гармонизации духовного мира человека в оптимистическом, активно-творческом ключе.

Разработка этих узловых вопросов проблемы бессознательного с позиций информационного подхода представляется нам теоретически оправданной и перспективной.

INFORMATION APPROACH TO THE PROBLEM OF THE UNCONSCIOUS

D. I. DUBROVSKY

Moscow State University, Faculty of Philosophy

SUMMARY

The paper deals with the methodological aspects of the interrelation of the conscious and the unconscious, as well as the problems of empirical and theoretical description of the unconscious.

Emphasizing the untenability of physicalism, the author develops an information approach to the understanding of mental phenomena. This approach permits an adequate description of a mental phenomenon from the point of view of its content and value and simultaneously as a property of a definite material system (the brain). The unconscious is considered to be a specific subclass of information processes at the personality level.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
2. ДУБРОВСКИЙ Д. И., «Научный материализм» и психофизиологическая проблема. Философские науки, 1975, 6.
3. ДУБРОВСКИЙ Д. И., Психические явления и мозг, М., 1971.
4. ДУБРОВСКИЙ Д. И., Проблема нейродинамического кода психических явлений. Вопросы философии, 1975, 6.

145

СИСТЕМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

И. М. ТОНКОНОГИЙ

Ленинградский научно-исследовательский психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева

Бессознательное является одной из важных характеристик психической деятельности, и поэтому целесообразно его рассмотреть в плане той роли, которую бессознательные процессы играют в общей структуре этой деятельности, в зависимости от тех конкретных задач, которые стоят перед психической деятельностью, и способов их осуществления. Такое рассмотрение требует прежде всего уточнения исходных представлений о структурно-функциональной организации психической деятельности. В настоящей работе эти представления основаны на системно-информационном подходе, позволяющем направить исследования на путь преодоления очевидной односторонности многих идеалистических и механистических теорий, пытающихся подойти к пониманию психики человека (психоанализ, экзистенциализм, бихевиоризм). Обоснованность поисков новых подходов для объяснения психической деятельности подтверждается, в частности, многократными критическими нападками, которым подвергались в литературе различные теории психической деятельности, личности и поведения. Так, Генри, подвергая критике книгу Берльсона и Стайнера «Человеческое поведение», считает, что ее следовало бы назвать «Природа интеллектуального краха в науках о поведении». Генри обвиняет все науки о поведении в «неспособности отличить трюизм от открытия; нечувствительности к банальности, тавтологии; смешении причинно-следственных связей; иллюзорной точности; проведении наивных параллелей». Это, конечно, крайнее мнение одного из критиков теорий, но такого рода мнение не единственное в литературе. Так, Холл и Линдсей в книге «Теории личности», насчитывающей почти 600 страниц, пишут, что «все теории поведения являются весьма бедными и все они оставляют желать много лучшего в смысле научной доказательности».

Поэтому представляются весьма целесообразными поиски новых подходов к разработке теорий психической деятельности. Одним из таких подходов может явиться использование в этих целях представлений, развиваемых системным подходом.

Основные положения системного подхода об открытых и закрытых системах, иерархии их построения, принципах эквифинальности — независимости конечного результата от начального состояния системы, а также то, что цели системы заданы ее структурой, и другие положения освещены в ряде монографий и статей, поэтому мы в настоящем сообщении не станем обсуждать их более детально. Отметим только, что в своих попытках применения системного подхода для разработки

теории психической деятельности мы исходим из принципиальных позиций советской психологии о ведущем значении социальных и социально-психологических факторов для характеристики психики человека. Человек — это субъект, сознательный и активный деятель, сформированный историей его общественного развития. При этом нельзя не учитывать положений марксизма-ленинизма о соотношении психики и мозга, о том, что материя первична, а психика вторична. Вместе с тем, являясь продуктом мозга, высшим продуктом особым образом организованной материи, психическое не может быть отождествлено с мозгом.

Попытаемся применить на основе этих принципиальных позиций системный, точнее системно-информационный, подход к изучению мозговых механизмов, обеспечивающих психическую деятельность. В этом плане психическая деятельность может рассматриваться как открытая информационная функциональная система, которой присущи определенные задачи, цели, определяемые в соответствии с системным подходом собственной структурой функциональной системы психической деятельности. В соответствии с таким пониманием психика является спонтанно-активной системой, характеризующейся целеустремленным поведением и стремящейся не просто к сохранению обычного равновесия на основе принципа обратной связи с окружающей социальной, психологической и биологической средой, а к достижению подвижного динамического взаимодействия и равновесия, позволяющих активно добиваться определенных целей. Эту особенность человека постоянно подчеркивали классики марксизма-ленинизма, считавшие задачами человеческого общества не пассивное созерцание окружающего мира, а его активную перестройку в целях построения наиболее справедливого, коммунистического общества и овладения законами природы для того, чтобы научиться управлять этими законами на благо человека.

Человек как активный деятель составляет основной предмет исследования для советской психологии (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, Б. Г. Ананьев и др.). Не в процессе пассивного наблюдения, а в активной деятельности формируется личность со всеми ее многочисленными проявлениями.

При рассмотрении психической деятельности как открытой функциональной системы необходимо учитывать, что в таких системах принцип эквифинальности, независимости конечного состояния от начального ее состояния, достигается не за счет «жизненной силы», как это утверждали виталисты, а определяется собственной структурой системы. То есть мотивы и операциональная структура систем должны составлять единое целое, причем ведущую роль в обмене с окружающей средой в такой системе должен играть обмен информацией, ввод и выведение информации.

Такой подход может быть осуществлен на основе представлений о роли функциональных систем в деятельности организма, разработанных еще в 30—40-е годы XX столетия в трудах ряда выдающихся советских ученых (П. К. Анохин, Н. А. Бернштейн, А. Р. Лурия, Н. И. Гращенков и другие). Была предложена общая концепция, рассматривающая функциональные системы с точки зрения задачи, которую они выполняют.

Однако применительно к психической деятельности ее задачи, цели как открытой функциональной системы, структуры и функции, внутрисистемное взаимодействие остаются малоизученными. Можно указать лишь на работы, в которых делается попытка описать структуру адаптивных систем поведения, механизмы их нарушения при патологии психической деятельности (Н. М. Амосов, 1970; Н. С. Граве и Л. А.

Растригин, 1972) и принципы построения систем реабилитации при этих нарушениях (М. М. Кабанов, 1973).

Мы полагаем, что функциональную систему психической деятельности следует определять как систему, направленную на достижение определенных целей на основе приема, переработки и передачи информации. Цели такой системы могут быть заданы, например, структурой потребностей, формируемой как генетически, так и (что особенно важно) с учетом ведущей роли социальных и социально-психологических факторов в процессе обучения и развития. В такой структуре достижение общих целей выживания, продолжения рода и сохранения вида может обеспечиваться не только витальными потребностями — пищевыми, сексуальными или оборонительными, но и такими специфическими человеческими потребностями, мотивами и интересами, как потребность в общении, успехе группы, уважении, творческими интересами и т. п.

Очевидно, что само наличие потребностей, мотивов, интересов не может обеспечить их достижение. Необходимо существование специальной структуры мозговых механизмов, обеспечивающих на основе переработки информации достижение заданных целей.

Попытаемся теперь на основе принципов построения информационных систем представить себе возможную схему мозговой информационной системы, обеспечивающую психическую деятельность.

Эта схема должна учитывать представления, развиваемые в настоящее время социальной психологией, о значении ролевого поведения человека для достижения определенных целей, которые выдвигает перед ним его социальное окружение.

В соответствии с этим ограничимся в данной работе построением схемы, обеспечивающей осуществление тех видов деятельности, моделью которых могут являться игры. Мы полагаем, что в схему функциональной системы такого типа должны входить следующие подсистемы или блоки: алгоритмов адаптивного поведения; распознавания эмоций и ситуаций; принятия решений; сравнения результатов поведения; правил поведения со списком ограничений; удельной ценности результатов, а также энергетический блок.

Даже одно ознакомление с перечислением этих подсистем показывает, что наши знания о структурно-функциональной организации этих подсистем, механизмах их деятельности и взаимодействия весьма ограничены. Многие из этих механизмов связаны с бессознательными процессами, изучение которых только начинается в последнее время. Легко увидеть, что многие теории психической деятельности ограничиваются лишь рассмотрением отдельных подсистем этой системы. Так, психоанализ с его основными структурами «оно», «я» и «сверх я», в которых бессознательное «оно» нередко вступает в конфликт с сознательным «сверх я», сосредоточен в основном на подсистемах потребностей и списке ограничений, в то время как вся структура подсистем, направленных не на ограничение, а на удовлетворение потребностей, остается вне поля зрения психоаналитических теорий и их неофрейдистских модификаций. Впрочем, и весь список потребностей ограничивается здесь какой-либо одной витальной потребностью, например сексом или агрессией, а многие важные для продолжения рода и выживания потребности, связанные с коллективным поведением, творческими интересами, оказываются в списке ограничений, что связано, как нам представляется, с подменой общих целей системы, заключающихся в выживании, продолжении рода и сохранении вида, одним из заданных структурой системы способов их достижения, которые считаются,

по теории психоанализа, основой бессознательного. В действительности же в каждой из подсистем, в том числе и подсистеме потребностей, включая потребности в успехе группы, общении, творческих интересов, существует бессознательный уровень, точнее, механизмы, которые управляются, контролируются и регулируются, особенно в том, что относится к поведению, сознанием, развивающимся и формирующимся историей общественного развития человека.

Вместе с тем следует признать, что некоторые из механизмов, описанных в теории Фрейда, такие как сублимация, вытеснение, защитные реакции, являются фактически способами переработки информации в мозгу и нуждаются в специальном рассмотрении и изучении в контексте современных представлений о мозговых механизмах приема, передачи и переработки информации.

С другой стороны, концепция «стресса» также не выходит за рамки одной из подсистем — энергетического блока. Между тем, роль энергетического фактора в происхождении болезней не следует преувеличивать, так как развитие болезней может быть связано не только с перенапряжением, сильным стрессом или сенсорной депривацией либо с затруднением удовлетворения некоторых витальных потребностей, но и с нарушением функционирования ряда других подсистем активной целенаправленной психической деятельности.

Вместе с тем в представленной нами схеме, основанной на системно-информационном подходе, существенную роль играет взаимодействие всего комплекса различных подсистем, включая не только подсистемы потребностей или списка ограничений для алгоритмов поведения, но и такие важные подсистемы, как распознавание эмоций, ситуаций, удельная ценность, оценка результатов деятельности или принятие решений о выборе оптимальных алгоритмов поведения.

Рассмотрим, к примеру, подсистему распознавания — соотношение сознания и бессознательных процессов в работе этой системы почти не рассматривалось. Эта подсистема оставалась многие годы одной из наиболее привлекательных областей для изучения с позиций интроспекции, самонаблюдения. Даже психиатрическое понимание нарушения сознания в значительной мере основано на их истолковании в качестве расстройства опознания места, времени и окружающей ситуации. Только в последние годы вследствие бурного развития работ по искусственному интеллекту, бионическому моделированию распознавания стало ясным, что наши знания, например, о том, чем кошка отличается от собаки, совершенно недостатончы для того, чтобы создать программу для распознающего автомата, способную их отличить друг от друга. Оказалось, что мы не знаем фактически почти ничего ни о тех первичных признаках образов, которые используются мозгом при их узнавании, ни об языках мозга, используемых при распознавании, ни об алгоритмах принятия решений при отнесении конкретной реализации к тому или иному классу образов. Между тем, распознавание образов, умение распознавать ситуацию, эмоциональное состояние других людей, их намерения, цели и задачи весьма важно для выбора оптимального решения и соответствующего алгоритма поведения. В этом плане весьма важным представляется изучение роли сознания в процессе узнавания. Можно предполагать, в частности, что сознание обеспечивает не только контроль за эффективностью всего процесса узнавания и на различных промежуточных этапах осуществления этого процесса, но и, что особенно важно, участвует на основе социального опыта в формировании и выделении групп образов, ситуаций, классифицируемых в процессе узнавания.

Эти и другие механизмы бессознательного в его соотношении с сознанием должны стать объектом дальнейших исследований, теоретических и экспериментальных, для изучения функционирования отдельных подсистем и их взаимодействия в процессе активной целенаправленной психической деятельности, причем в ходе этих исследований не следует забывать о достижениях советской психологической науки, показывающих ведущее значение социальных и социально-психологических факторов в развитии сознания человека, направляющего и регулирующего его психическую деятельность, включая и ее бессознательные процессы и механизмы.

146

ПОДПОРОГОВОЕ ВНУШЕНИЕ КАК ФАКТОР ИНТЕНСИФИКАЦИИ ПРОЦЕССОВ ЗАПОМИНАНИЯ

С. В. КИСЕЛЕВ

Институт ВНД и нейрофизиологии, Москва

В настоящее время довольно широко ведутся исследования возможностей внушения для управления психофизиологическими характеристиками организма и, в частности, для интенсификации процессов запоминания [1; 2; 3]. Б. И. Хачапуридзе провел серию интересных работ, применяя субсенсорные воздействия, по улучшению процессов овладения иноязычной речью в рамках теории установки [4; 5; 6; 7]. Несмотря на разный генез и теоретические основы (с одной стороны психология внушения, с другой — теория установки), мы предполагаем, что в обоих случаях используются одни и те же механизмы управления человеком.

Нами также было проведено исследование, имевшее целью проверить существующие в литературе данные о влиянии подпорогового подкрепления на эффективность запоминания и о роли, которую играет в подобных экспериментах психофизиологическое состояние испытуемых.

Эксперимент строился следующим образом: на магнитную ленту начитывался список из 15 не связанных друг с другом осмысленных слов, выбранных случайным образом из словаря. Внутри списка применялись следующие варианты записи слов: обычный дикторский голос (фон); подпороговое подкрепление — повторение слова несколько раз на уровне громкости, более низком, чем уровень шума пленки (п/п); при повышенном уровне громкости (гр.); женским голосом (ж. г.); с интонационным подчеркиванием (инт.). Список предъявлялся один раз, после чего испытуемые записывали слова, которые они запоминали. Этим списком оценивалось влияние перечисленных факторов в обычном, «фоновом» состоянии испытуемых. Затем оценивалось влияние авторитета источника информации на запоминание. Делалось это следующим образом: после записи запомнившихся слов из первого списка испытуемых просили по 2-х балльной шкале оценить свое отношение к творчеству С. Есенина. После этого им предъявлялся следующий список слов, выбранных из сборника стихов С. Есенина в вышеописанных вариантах предъявления. После записи запомнившихся слов с испытуемыми проводился сеанс мышечной релаксации. Во время релаксации предъявлялся третий список слов в тех же вариантах предъявления. Кроме того, для проверки возможностей маргинального ввода информации во время записи испытуемыми запомнившихся им слов на фоне музыки на сниженном уровне громкости произносились слова «крест» и «квадрат». После записи слов последнего списка испытуемым предлагалось выбрать любые фигуры из следующего набора: звезда, круг, крест, квадрат, после чего испытуемые обосновывали свой выбор.

Результаты эксперимента свелись, в основном, к следующему: при предъявлении первого списка слов (в фоновом состоянии) испытуемые запомнили в среднем по 6,1 слова, причем различные варианты предъявления слов располагались по частоте их запоминания в следующем порядке (по возрастающей): фон, п/п, гр., ж. г., инт. Отсюда видно, что лучше всего запоминаются интонационно окрашенные слова, а хуже всего — нейтральные. Во втором списке испытуемые запомнили в среднем по 6,8 слов, причем те, кто положительно оценил свое отношение к творчеству С. Есенина, в среднем — по 7 слов, а те, кто отрицательно — по 6 слов. Распределение по частоте внутри списка совпадало с фоновым вариантом. Во время релаксации испытуемые запомнили в среднем по 7,3 слова, причем кардинально изменилось отношение к характеру сигнала. Хуже всего запомнились слова, начитанные женским голосом, затем интонационно окрашенные слова, фоновые, и лучше всего — с подпороговым подкреплением. Очевидно, в условиях мышечной релаксации при сниженном уровне бодрствования не только несколько повышается способность к запоминанию информации, но, что самое главное, перестраивается селективная функция восприятия: повышается вес слабых и очень слабых раздражителей и уменьшается вес сильных. Динамика нервной деятельности напоминает парадоксальную стадию, но реализуется в состоянии бодрствования. Относительно влияния маргинальных раздражителей были получены следующие результаты: 60 испытуемых из 137 выбрали крест и квадрат, но 19 из них слышали эти слова на фоне музыки. Остальные в качестве обоснования выбора приводили различные причины: легко рисовать, ассоциации, первым бросилось в глаза и т. д. Поскольку вероятность случайного выбора из четырех фигур определенной пары равна 1/6, а 41 испытуемый из 137 составляет 1/3, влияние маргинального ввода информации оказывается в данном случае очевидным.

Вторая часть эксперимента была посвящена изучению возможностей интенсификации мнемической деятельности в условиях экспериментального курса изучения иностранных языков. Для максимального использования возможностей установки было решено отказаться от условий лабораторного опыта, применявшихся в первой части работы, и организовать эксперимент, полностью имитируя ситуацию обучения иностранному языку. Это позволило в значительной степени активизировать установку за счет наличия у испытуемых актуальной потребности в изучении иностранного языка. Ситуация обучения являлась функциональной основой эксперимента.

В самом общем виде эксперимент строился следующим образом. Предполагаемым испытуемым сообщалось о возможности их участия в эксперименте по ускоренному изучению иностранного языка. Среди желающих отбирались наиболее внушаемые, одновременно имеющие актуальную потребность в изучении языка (загранкомандировка, экзамен и т. д.). Прежде всего разрушалась установка в отношении трудности, длительности и неинтересности изучения иностранного языка, зафиксированная в жизненном опыте испытуемых. Затем формировалась новая установка, которая должна была определить эффективное обучение испытуемых. Для этой цели им сообщалось о высокой эффективности метода обучения, приглашались испытуемые, уже прошедшие курс, для демонстрации своих знаний и навыков разговорной речи. Этой же цели служило отсутствие традиционных аксессуаров обучения — классной комнаты, столов, преподавателя, домашних заданий и др.

Уже процедура предварительного отбора была необычной: интерьер лаборатории, обстановка звукоизолированной экспериментальной камеры, отсутствие экспериментатора во время эксперимента, необычность состояния мышечной релаксации во время сеанса, высокая эффективность тестового обучения (во время отбора испытуемым предъявляется сто иностранных слов, из которых запоминается обычно от 35 до 75 слов за 40 минут сеанса). Все это создавало предпосылки для разрушения существующих установок и создания новых, направленных на достижение эффекта гипермнезии. Поскольку в первой части работы была установлена зависимость между психофизиологическим состоянием и эффективностью различных форм предъявлении информации, перед началом эксперимента испытуемые вводились в состояние мышечной релаксации, после чего им предъявлялась учебная информация в виде слов и фраз иностранного языка.

Лексический материал предъявлялся одновременно на экране диапроектора и через 2-х канальную акустическую систему — по одному каналу иностранный текст, по другому — синхронный перевод на уровне порога восприятия. Словарь предъявлялся с помощью кинопроектора, на пленку которого покадровой съемкой засняты иностранные слова с переводом. Демонстрация осуществлялась со скоростью 10 кадров в секунду. Длительность экспозиции в 1/10 секунды (100 мсек.) не является подпороговой для зрительного анализатора, однако логический анализ поступающей с такой скоростью информации крайне ограничен. Испытуемые могли лишь у з н а в а т ь знакомые слова. Незнакомые слова они прочесть не успевали независимо от их длины. Таким образом осуществлялась своеобразная дифференциация предъявляемого материала — знакомые слова воспринимались как предъявляемые выше порога, незнакомые слова — к а к п о д п о р о г о в ы е п о м а р г и н а л ь н о м у т и п у. Для исключения неформализуемых элементов (в частности, влияния личности экспериментатора) — эксперимент был полностью автоматизирован — от ввода в состояние релаксации до контроля эффективности усвоения материала.

Контроль за количеством запоминаемой информации осуществлялся следующим образом: при предъявлении учебной информации (кроме сеанса киностимуляции) испытуемый сам оценивал каждую предъявляемую структурную единицу (в словаре — слово, в тексте — фразу) по двоичной системе — «знаю» — «не знаю». В первом случае он нажимает на кнопку, скоммутированную на счетчик. Контрольная проверка показала, что после некоторого периода адаптации испытуемый достаточно правильно оценивает свои знания (рис. 1). По крайней мере, количество случаев завышения значительно меньше случаев занижения. После окончания экспериментального обучения квалифицированными преподавателями проводился традиционный экзамен. Его результаты также хорошо коррелируют с данными субъективного самоконтроля.

В экспериментах участвовали лица обоего пола в возрасте от 16 до 60 лет с различным образованием и социальным положением. Среди испытуемых были инженеры различных специальностей, школьники, журналисты, студенты, профессора, слесари, врачи, делопроизводители, космонавты и др. Всего по методам обучения было проведено 100 человек.

Условия проведения эксперимента были следующими: обучение проводилось в помещении лаборатории в течение пяти дней. Начало занятий — в 9 часов утра, конец в 20 часов. Занятия проводились сеансами по одному часу с последующим 10 минутным перерывом. После третьего сеанса испытуемые обедали, затем следовал дневной сон про-

должительностью один час. Сами занятия проводились в специально оборудованной звукоизолированной камере, снабженной средствами предъявления информации (стереофоническая акустическая система,

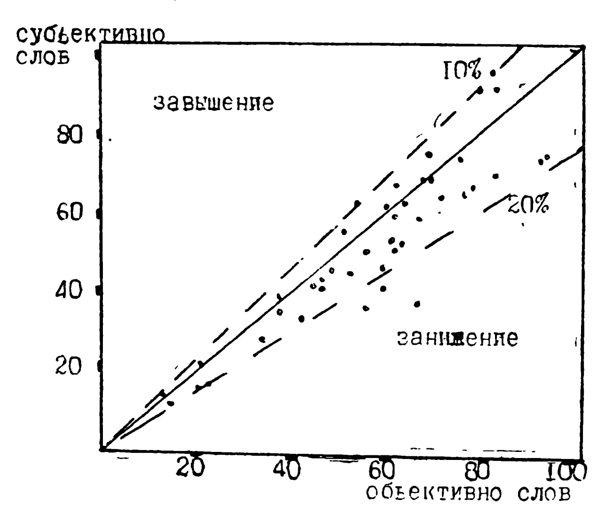


Рис. 1

диапроекторы, кинопроекторы) и средствами контроля за состоянием и поведением испытуемых (датчики, усилители биопотенциалов, двухсторонняя акустическая связь с экспериментатором, телекамера). Испытуемые находились в авиационных креслах с изменяемым положением спинки.

Обучение проводилось на материале английского и французского языков. Курс обучения состоял из начального и усиленного курсов "Parlez vous Français?" и "Say It with Us" польского издательства Wiedza Powszechna, аудиовизуального курса, словаря наиболее употребительных слов, краткого курса грамматики в таблицах, идиоматических оборотов и спецлексики. Общий объем предъявляемого материала — около 4 тысяч слов и оборотов.

Результаты обучения приведены на табл. 1

Таблица 1

	Английский язык			Французский язык		
	было дано	усвоено	%	было дано	усвоено	%
Слова начального курса	950	729	76,6	1404	935	66,6
Слова усиленного курса	1690	994	58,7	1951	1310	67,1
Предложения нач. курса	1993	1481	74,4	1434	1237	86,2
Предложения усил. курса	1991	1303	65,4	1654	1323	80
Слова обоих курсов	2640	1723	65,2	3355	2245	67
Предложения обоих курсов	3934	2784	69	3088	2560	82,9
Слова и обороты обоих курсов	3364	1950	57,9	3926	2506	63,8
Общее число лексических единиц	7348	4734	64,4	7014	5066	72,2

Как мы видим, число запомненных испытуемыми слов в среднем равно 1723 и 2245 для английского и французского языков соответственно. Поскольку эксперимент занимал около 40 часов (5 дней по 8 часов), то за час испытуемые запоминали в среднем по 43 и 56 слов, не считая других видов лексики и грамматики. Кроме того, испытуемые могли достаточно свободно объясняться на бытовые темы, читать текст и в ограниченных пределах понимать его на слух.

Вопрос о том, насколько изменяется процент запоминания с увеличением количества предъявляемого материала в тот же отрезок времени или с увеличением сроков обучения при той же «плотности» информации, полностью не решен, однако, как видно из таблицы, количество предъявляемых слов во французском языке несколько больше, чем в английском, но, тем не менее, процент запоминания не снижен. Кроме того, последние серии проводились на увеличенном объеме материала при соответствующем удлинении сроков обучения. Испытуемым предъявлялось около 6 тысяч слов, обучение длилось 10 дней. Процент запоминания — выше 60.

Все это говорит о том, что явлений «насыщения» и снижения процента запоминания при этих объемах материала не наблюдается и существует возможность еще большей интенсификации процесса запоминания языкового материала. Увеличивая количество повторений, в принципе можно добиться почти 100% усвоения материала, однако мы сочли это нецелесообразным, поскольку с ростом числа усвоенных единиц прирост на повторение будет падать. Кроме того, поскольку лексические единицы даются не изолированно, а в тексте, многократное прослушивание хорошо знакомых частей текста будет идти вхолостую.

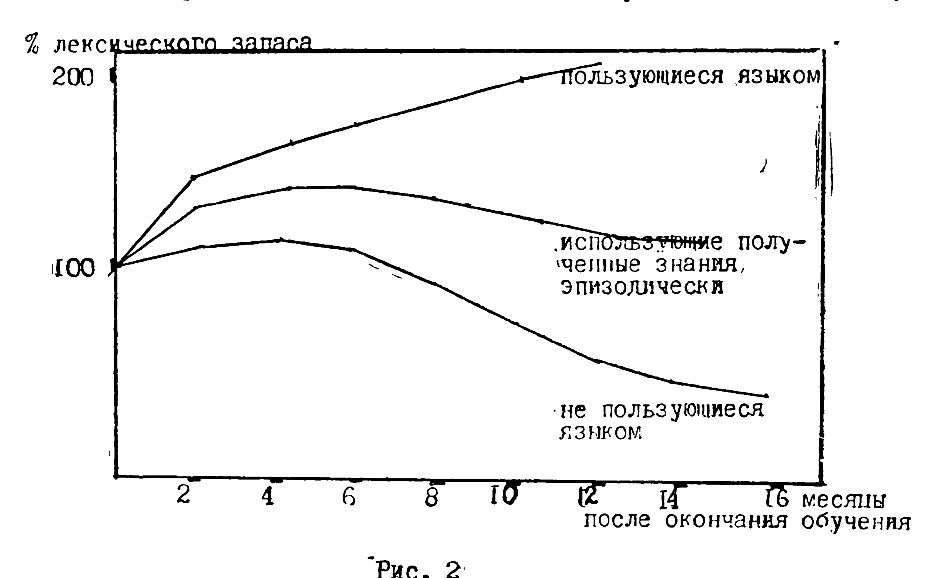


Рис. 2

Неусвоенные же лексические единицы так или иначе повторяются в других видах программ. Хотя подобная тактика может вызвать некоторые возражения со стороны методистов, эффективность ее применения в определенных условиях достаточно хорошо иллюстрируется приведенными данными.

Результаты отсроченного контроля знаний приведены на рис. 2. Через полтора года испытуемые, не занимающиеся языком, сохранили

около 50% усвоенной лексики. У этой группы испытуемых очень четко было выражено явление реминисценции, что подтверждает данные Хачапуридзе о несоответствии динамики забывания классической кривой Эббингауза в случае подсознательного ввода информации.

Результаты второй части работы показали, таким образом, высокую эффективность подпорогового введения информации в состоянии мышечной релаксации в условиях реального обучения иностранным языкам. Под подпороговым вводом информации в данном контексте мы понимаем предъявление информации в виде, исключающем ее логическую обработку на уровне сознания. Восприятие ее осуществляется лишь на уровне узнавания, в случае киностимуляции, и бессознательно в случае предъявления звуковых сигналов. Эффективность подпорогового предъявления информации определяется, на наш взгляд, за счет комбинации двух каналов ввода в условиях фиксированной установки на гипермнезию, которая формируется при наличии высокой мотивации относительно запоминания предъявляемой информации.

SUBLIMINAL SUGGESTION AS A FACTOR OF INTENSIFICATION OF RETENTION PROCESSES

S. V. KISELEV

Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, USSR Academy of Sciences, Moscow

SUMMARY

The paper deals with the problem of the unity of the concepts of «set» and «suggestion» in terms of the control of mental processes. Both set and suggestion are actualized without the participation of the S's consciousness (below the threshold of consciousness).

The opening part of the paper shows the effectiveness of various forms of suggestion, depending on the state of the subject. The results of the second part of the study testify to the effectiveness of subliminal presentation of information under conditions of the set formed. The data obtained by B. Khatchapuridze, in particular on the discrepancy between the dynamics of forgetting and the classical curve in the case of unconscious introduction of information, have been confirmed.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГУРЕВИЧ Г. И., МАРИЩЮК В. Л., ТИЩЕНКО М. И., ЕФИМЕНКО Г. Д., ХВОЙНОВ Б. С., Изменение психофизиологического состояния организма путем аутогенного и экзогенного внушения. Космическая биология и медицина, М., 1967, I, 4, 73—76.
2. РОМЕН А. С., Психическая саморегуляция, ее значение и возможности. В кн: Психическая саморегуляция, Алма-Ата, 1973, 3—7.
3. ШВАРЦ И. Е., Внушение в педагогическом процессе, Пермь, 1971.

4 ХАЧАПУРИДЗЕ Б. И., Образование фиксированной установки воздействием неосознаваемых раздражителей. Труды Тбилисского гос. ун-та, Тбилиси, 1961, 97.

5. ХАЧАПУРИДЗЕ Б. И., Об отражательной функции установки в связи с проблемой воздействия невоспринимаемых раздражителей. Труды Тбилисского гос. ун-та, Тбилиси, 1966, 124.

6. ХАЧАПУРИДЗЕ Б. И., Активность экспериментально сформированной субцептивными воздействиями подсознательной сферы и ее применение в целях обучения. В сб.: I международный симпозиум по проблемам суггестии, Варна, 1971.

7. ХАЧАПУРИДЗЕ Б. И., Проблемы и закономерности действия фиксированной установки, Тбилиси, 1962.

147

ИНТУИЦИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

А. С. КАРМИН

Ленинградский институт водного транспорта, кафедра философии

1. Механизмы интуиции остаются до сих пор загадочными. Это в значительной мере связано, в частности, с вошедшим в традицию бездумным употреблением слова «интуиция»: им обозначают подчас самые различные феномены, сходные только в том отношении, что они представляют собою психические акты, совершающиеся неосознанно. Нередко именно сама неосознанность некоторого психического акта принимается за достаточное основание для того, чтобы отнести его к разряду интуитивных.

Однако подобный подход ведет, по существу, к отождествлению интуитивности с неосознанностью. В силу этого проблема интуиции как специфического феномена оказывается снятой или, в лучшем случае, сведенной к другой проблеме: как осуществляется познавательная деятельность, протекающая неосознанно. Конечно, и последняя проблема заслуживает самого серьезного внимания. Но интуиция может рассматриваться как особый предмет исследования. И более целесообразно не постулировать априори тождественность интуитивного с неосознанным, а путем анализа природы интуиции, ее механизмов и закономерностей установить ее отношение к различным моментам и сторонам неосознанной психической деятельности.

2. Существуют различные уровни и аспекты изучения интуиции. Прежде всего, имеется необозримое количество *феноменологических описаний интуиции*. Эти описания представлены в мемуарах, воспоминаниях, отчетах людей, которые либо сами переживали активы интуитивного «постижения истины», либо были очевидцами подобных актов у других. На уровне феноменологического описания фиксируется, главным образом, сам факт существования интуиции, а также констатируются некоторые, наиболее бросающиеся в глаза ее характеристики. Но такие описания сами по себе не проливают света на ее природу. Они служат лишь исходным материалом для постановки проблемы интуиции. Дальнейшая задача заключается в выяснении сущности фиксируемого в этих описаниях феномена.

Возможны, по-видимому, два различных, хотя и взаимосвязанных, подхода к решению этой задачи. С одной стороны, интуиция может изучаться как специфическое психическое явление. При этом встают вопросы о том, каковы особенности, отличающие это явление от других явлений психической жизни человека; какова взаимосвязь его с разнообразными процессами и состояниями, имеющими место в человеческой психике; каково его отношение к различным сторонам высшей нервной деятельности человека и т. д. В этом аспекте *интуиция выступает как предмет психологического исследования*.

С другой стороны, интуиция может рассматриваться как особого рода познавательный акт. При таком подходе оказывается необходимым подвергнуть анализу особенности, которые отличают этот познавательный акт от других познавательных актов; соотношение между знанием, имевшимся до начала акта интуиции, и знанием, полученным в результате него; происходящее при помощи интуиции преобразование знания и т. п. Интуиция здесь предстает как предмет гносеологического исследования. При этом следует упомянуть об обобщающих исследованиях проблемы интуиции в системе общей теории сознания и бессознательного психического [6].

3. Для гносеологического анализа интуиции определяющее значение имеют исходные философские позиции, с которых он проводится, и в первую очередь — общая философская концепция процесса познания. Опираясь на диалектико-материалистическую теорию познания, необходимо понимать интуицию не как спонтанную деятельность духа, рождающую истину «из ничего», и не как «наитие свыше», а как специфический познавательный процесс, в ходе которого над имеющимся изначально знанием совершаются некоторые операции, приводящие к появлению нового знания. Но каковы те операции и преобразования знания, посредством которых осуществляется этот процесс? Задача гносеологического анализа и заключается в том, чтобы выявить их.

При решении этой задачи необходимо принять во внимание, что отражение действительности в сознании человека совершается в двух основных формах — чувственно-наглядной и абстрактно-понятийной. Поскольку рождаемое с помощью интуиции знание так или иначе «всплывает» на уровень сознания, осознается («презентируется» в сознании, по выражению А. Н. Леонтьева), постольку оно, в конечном счете, выражается в чувственных образах или понятиях. Таким образом интуиция может рассматриваться как некоторый способ формирования чувственных образов или понятий.

Вообще говоря, возможны следующие пути формирования чувственных образов и понятий в человеческом сознании: 1) сенсорно-перцептивный процесс, в результате которого появляются чувственные образы; 2) чувственно-ассоциативный процесс, в котором происходит переход от одних чувственных образов к другим; 3) процесс перехода от чувственных образов к понятиям; 4) процесс перехода от понятий к чувственным образам; 5) процесс логического умозаключения, с помощью которого происходит переход от одних понятий к другим. Несомненно, что каждый из указанных процессов может протекать при определенных условиях вне контроля сознания (полностью или частично): субъект далеко не всегда осознает те операции, с помощью которых возникают чувственные образы и понятия в этих процессах. Однако было бы нецелесообразным всякий раз, когда какой-либо из этих процессов полностью или частично не осознается, считать его интуитивным. Поступать таким образом значило бы с самого начала отказаться от представления, что интуиция есть специфический познавательный процесс. Если интуиция имеет гносеологическую специфику, то операции, посредством которых она совершается, должны отличаться от операций, посредством которых совершаются другие познавательные процессы (даже когда субъект не осознает того, как эти последние протекают).

Очевидно, что для целей гносеологического анализа бесполезно называть интуитивным, например, сенсорно-перцептивный процесс: это ровным счетом ничего не добавляет к его пониманию, кроме ненужной

путаницы в терминах, а гносеологическая природа интуиции от включения в ее сферу сенсорных и перцептивных актов яснее не становится.

Точно так же в гносеологическом исследовании нет смысла относить к интуитивным процессам чувственные ассоциации и логические умозаключения, даже если в них есть неосознанные элементы. Действительно, когда они протекают под контролем сознания, тогда для описания их к понятию интуиции обычно не апеллируют. Но изменяется ли гносеологическая природа этих процессов от того, что субъект их не осознает или осознает неполностью? Если она не изменяется, то считать их интуитивными равносильно лишению интуиции гносеологической специфики: выходит, например, что «автоматизированное», свернутое умозаключение в гносеологическом отношении ничем существенным не отличается от полного, развернутого умозаключения[1], но первое является делом интуиции, а второе — нет. В таком случае понятие интуиции в гносеологическом аспекте бессодержательно — никакого особого способа преобразования знания за ним не стоит. Если же она (гносеологическая природа чувственных ассоциаций и умозаключений) изменяется, то перед нами тогда уже процесс иной гносеологической природы, т. е. процессы, совершаемые с помощью других гносеологических механизмов, чем механизмы ассоциации и умозаключения; интуитивными оказываются при этом, собственно говоря, уже не ассоциации и умозаключения, а какие-то совсем другие познавательные процессы.

Понятие неосознанного, по-видимому, вообще не выражает гносеологическую природу интуиции, т. е. не содержит в себе никаких указаний на специфику познавательных операций, с помощью которых совершается интуитивный акт. Оно характеризует лишь тот факт, что субъект, фиксируя в своем сознании результаты некоторого познавательного процесса, не в состоянии при этом реконструировать все элементы, из которых процесс в действительности складывался. Иными словами, «внутренние состояния» субъекта в ходе познавательного процесса отражаются в его «протокольном отчете» об этом процессе неполно [4, 489—492]. Поэтому неосознанность познавательного процесса — это еще не критерий его интуитивного характера.

При таком понимании область, в которой надо искать специфическое содержание интуиции, существенно сужается. В ней остаются лишь два познавательных процесса: переход от чувственных образов к понятиям и переход от понятий к чувственным образам.

Это — качественно особые способы образования чувственных образов и понятий. Их отличие от всех других заключается в том, что они связаны с трансформацией чувственно-наглядного в абстрактно-понятийное и наоборот. Между наглядными образами и понятиями нет каких-либо промежуточных ступеней, отличных от них; даже самые элементарные понятия качественно отличаются от чувственных представлений. Поэтому указанная трансформация необходимо носит скачкообразный характер. Скачкообразность ее означает, что механизмы перехода от чувственных образов к понятиям и обратно весьма специфичны: они не могут быть представлены в виде системы осознанных познавательных действий. Вместе с тем эта скачкообразность объясняет ощущение непосредственности получаемого знания: тут возникают понятия, не выводимые логически из других понятий, и образы, не порож-

[1] Хотя, конечно, в психологическом отношении они различны: отсюда видно, между прочим, насколько важно учитывать разницу между гносеологическим и психологическим аспектами проблемы.

даемые другими образами по законам чувственной ассоциации, а потому естественно, что полученные результаты кажутся «непосредственно усмотренными».

Таким образом, процессам перехода от чувственных образов к понятиям и, наоборот, от понятий к чувственным образам действительно присущи те качества, которые обычно считаются обязательными признаками интуиции, — неосознаваемость механизмов получения нового знания и ощущение непосредственности этого знания. В этих двух типах познавательных процессов и следует, как нам представляется, видеть гносеологическую сущность интуиции [2; 3].

4. Интуитивно совершаемый «скачок» от чувственных образов к понятиям или от понятий к чувственным образам происходит благодаря внезапному, неожиданному обнаружению связи между ними. Эта связь вскрывается не вследствие закономерно протекающего движения мысли, а случайно (к таким случайностям могут привести только неосознанно идущие мыслительные процессы; результаты осознанно проведенной цепи умственных операций, очевидно, не являются случайными). Встает вопрос о том, как в человеческой психике на уровне неосознанных мыслительных процессов появляются такие «случайные» идеи, которые не могут быть рождены в сознательно осуществляемых процессах мышления. Этот вопрос уже выходит за рамки собственно гносеологического исследования и требует анализа психологического аспекта проблемы интуиции.

С психологической точки зрения интуитивное мышление целесообразно представить как особого рода психическую деятельность по переработке ранее накопленной в мозге, а также поступающей в него новой информации. «Интуитивное озарение», «догадка», «ага-переживание»— лишь кульминационный пункт этой деятельности. Для достижения его необходимо взаимодействие различных процессов получения и преобразования информации. Одни из них совершаются осознанно; другие протекают неосознанно, но складываются из тех же мыслительных операций, что и осознанные, только эти операции «автоматизированы» до такой степени, что могут совершаться «машинально», без участия сознания; наконец, третьи идут на уровне бессознательного. В понимании сущности процессов последнего типа мы будем руководствоваться развитой Д. Н. Узнадзе и его последователями концепцией установки [см. 6, гл. 3, §§ «Установка как принцип отражения и сумма информации», «Проблема интуиции и установка как фактор интуитивного познания», «Установка и интуиция: к вопросу о приложимости понятия установки к научной теории интуиции»].

При феноменологических описаниях интуиция, как правило, рассматривается в качестве момента творческой деятельности, причем обычно подчеркивается, что последняя может быть разделена на следующие сменяющие друг друга фазы: подготовка, инкубация, озарение, обоснование [1]. В первой и четвертой из этих фаз преобладающее значение имеют, по-видимому, осознанно совершаемые процессы, во второй и третьей — процессы, протекающие неосознанно. При этом и те и другие опираются на бессознательно формируемую систему установок, определяющих характер психической деятельности на протяжении всего хода решения творческой задачи.

5. В основе творческого процесса лежит, прежде всего, установка творческой личности на концентрацию усилий для решения поставленной задачи. Эта установка связана с эмоциональным напряжением («творческие муки», вдохновение), позволяющим творческой личности проделывать непрерывно и неустанно огромную умственную работу.

Очевидно, что подобная установка в известном смысле «сужает» деятельность мышления: «Переживается лишь то, что имеет место в русле установки...» [5, 253]. Все постороннее, не имеющее отношения к решаемой задаче, отходит на второй план. Всякая информация, поступающая извне, оценивается под углом зрения задачи и привлекает к себе внимание лишь постольку, поскольку оказывается чем-то полезной для ее решения.

Интересно, что многие деятели науки и искусства нередко специально заботятся о создании обстоятельств, которые способствуют актуализации творческой установки. С этим связаны некоторые их привычки, граничащие с причудами и капризами (например, Бальзак, садясь за работу, занавешивал окна и зажигал свечи, Шиллер ставил ноги в таз с холодной водой и т. п.). Повторяя условия, в которых творческий процесс протекал у них особенно интенсивно, они тем самым формируют творческую установку с помощью этих условий.

6. На базе общей творческой установки вступают в действие частные установки, определяющие направление творческого поиска. Этот поиск всегда совершается на некотором «фоне», включающем в себя два компонента: (1) наличное знание, имеющееся у ученого, и (2) эвристические идеи, которыми он руководствуется. Первый из них составляет «материал мысли», из которого берется необходимая информация; второй определяет «стиль мышления», т. е. те способы, с помощью которых информация оценивается, отбирается, обрабатывается. Однако наличие определенного «фона» составляет лишь необходимое, но не достаточное условие для интуитивного решения задачи. Движение («блуждание») по этому «фону» может быть и безуспешным: случайное «столкновение» с искомой идеей может и не произойти.

Но случайность подобных столкновений относительна — она подготавливается бессознательно используемыми творческой личностью установками, направляющими ее мыслительную деятельность. Установки этого рода — «направляющие установки» — проявляются в склонности к определенным ходам мысли и ассоциациям, в готовности чаще использовать какие-то одни возможные методы работы, чем другие, в предрасположенности к выбору информации определенного типа и характера и т. д. Очевидно, что подобная «настроенность» процесса мышления, различная у разных людей, и предопределяет то, что даже на примерно одинаковом «фоне» творческого поиска одному удается «случайно» найти интуитивное решение задачи, а другому — нет.

Когда решение задачи упирается в необходимость построить новые чувственные образы или понятия, у человека включается установка на поиск определенного типа ассоциаций между имеющимися образами и понятиями, — установка, сложившаяся на основе ранее накопленного опыта решения подобных задач и закрепившаяся вследствие ряда повторений. Эта установка обусловливает «инерцию мышления», в силу которой человек бессознательно стремится найти искомые образы или понятия в рамках одной и той же информационной области, с которой он знаком по прошлому опыту, старается использовать уже успешно употреблявшиеся ранее эвристические идеи. Во многих случаях такая «интуиция привычки» оказывается плодотворной и ведет к счастливым догадкам. Можно предположить, что «сила интуиции», приписываемая людям, способным быстро и глубоко разбираться в каком-то деле, нередко состоит как раз в том, что у них сформировалась (на основе накопленного опыта и знаний) достаточно эффективная для решения данного класса задач направляющая установка.

Однако далеко не всегда направляющая установка, приводившая

к успеху прежде, оказывается полезной для решения новой задачи. Более того, она может даже мешать решению, заставляя человека «проходить мимо» новых путей и подходов к нему. В таких случаях успех достигается чаще всего при замене не оправдавшей себя направляющей установки новой, более эффективной. Постепенное угасание не приводящей к полезным результатам установки подготавливает такую замену. Нередко при этом возникает своеобразная борьба различных установок. Борьба и смена установок в творческом процессе может повторяться неоднократно, и каждый раз смена направляющей установки ведет к изменению «поисковой концепции», к вовлечению в творческий поиск нового материала, новых эвристических идей.

Актуализация той или иной направляющей установки зависит не только от характера решаемой задачи, но и от условий, в которых протекает творческая деятельность. Воссоздания некоторых из условий, при которых формировалась какая-либо установка, иногда достаточно для того, чтобы эта установка была вызвана к действию и начала направлять получение и преобразование информации в ходе решения задачи. Поэтому в разных условиях могут актуализироваться различные установки. Этим нередко бессознательно пользуются деятели науки и искусства, когда после ряда неудачных попыток справиться с поставленной задачей временно откладывают свои занятия ею, чтобы затем вернуться к ним в другой обстановке. Борьба между привычными и новыми установками приводит к «расшатыванию» сложившейся в психике индивидуума и бессознательно используемой им системы мышления. У одних индивидуумов это может повлечь за собой угасание общей творческой установки, сопровождающееся падением интереса к решаемой задаче, растерянностью, пессимизмом, даже эмоциональным срывом. У других же это способствует активизации бессознательной психической деятельности по выработке новых направляющих установок.

7. Зафиксированная в феноменологических описаниях творческого процесса последовательность его фаз (подготовка, инкубация, озарение, обоснование) находит объяснение, если предположить, что помимо общей творческой установки и направляющих установок в творческом процессе образуется и действует также установка особого типа, определяющая «программу», по которой работает его «психологический механизм». Эта установка, которую условно можно назвать программной, заключается в готовности, во-первых, к поиску новой информации, во-вторых, к «пробе», испытанию ее на пригодность для решения поставленной задачи и, в-третьих, к ее отбрасыванию, выключению из дальнейшего процесса мышления. Такая установка вырабатывается на первой фазе творческого процесса в результате многих осознанно предпринятых попыток решения, оказавшихся безуспешными. Возникновение ее у разных индивидуумов требует различного числа повторений подобных неудачных попыток (как показывают эксперименты, у лиц с наиболее возбудимой установкой она вырабатывается уже после 4—5 повторений, а 10—15 повторений достаточно для выработки установки почти всегда). В ходе напряженного труда на первой фазе некоторые способы поиска и предварительной оценки информации отрабатываются до автоматизма. Это позволяет использовать их в дальнейшем без участия сознания. Тем самым возникают предпосылки для перехода ко второй фазе творческого процесса (инкубации). В фазе инкубации мышление протекает под действием уже сложившейся программной установки на нахождение, испытание и выключение информации из поля последующих поисков решения. Человек неосознанно (автоматически, машинально) пользуется при этом теми же стандартными способами

получения и оценки информации, какие были отработаны на первой фазе. Программная установка обеспечивает возможность продолжения творческого процесса, вовлечения в него все новой и новой информации, осуществления все новых и новых попыток решения поставленной задачи в русле сменяющих друг друга направляющих установок. В фазе инкубации эта деятельность мышления является, по выражению Д. Н. Узнадзе, «импульсивной» психической деятельностью. Мыслительные акты следуют друг за другом, но содержание их не осознается.

Так продолжается до тех пор, пока в процесс мышления не включается информация, переработка и оценка которой посредством автоматически применяемых способов не ведет к необходимости отбросить ее. Это происходит тогда, когда либо достигнуто решение задачи, удовлетворяющее условиям предварительной оценки, либо достигнуто такое состояние, что на уровне неосознанного мышления полученный результат не поддается оценке и потому возникает необходимость сознательно сопоставить этот результат с целью и оценить возможность его дальнейшего использования. Импульсивная деятельность мышления в этот момент задерживается, так как следующий акт переработки информации, который должен произойти в мышлении соответственно действующей установке, не может осуществиться. Согласно Д. Н. Узнадзе, это ведет к объективации содержания психической деятельности в пункте задержки: «Наличное звено, не вызывая следующих актов, становится самостоятельным объектом, особенности которого нужно осознать...» [5, 256].

Здесь-то в процессе творческого мышления и наступает третья фаза — озарение. В сознании неожиданно «всплывает» информация, которая оказывается либо готовым решением задачи, либо очень похожей на такое решение. Человек вдруг осознает, что он «интуитивно» нашел искомый чувственный образ или понятие; ему кажется, что идея решения «осенила» его сама собой, ни с того ни с сего, поскольку весь ход ее поиска, ее предварительной оценки и обработки протекал неосознанно, на основе установки, сложившейся в сфере бессознательного. При этом естественно возникает чувство уверенности в правильности найденной идеи, ибо она уже на самом деле прошла через предварительную проверку в соответствии со стандартами, сложившимися на предшествующих стадиях творческого процесса. Это чувство, однако, не гарантирует исследователя от ошибки. Ведь на уровне неосознанных мыслительных процессов найденная интуитивно идея проходит лишь через довольно грубый и примитивный «фильтр», построенный из некоторых простых и шаблонных способов оценки. Более тщательный и глубокий анализ может показать, что эта идея не приводит к искомой цели. И тогда приходится продолжить творческий поиск. Но, чтобы выяснить действительную ценность информации, внезапно «всплывшей» на уровень сознания вследствие объективации содержания неосознанных психических процессов, необходимо подвергнуть эту информацию строгой проверке, которая может быть осуществлена только под контролем сознания. И лишь тогда, когда она выдержит такую осознанно выполненную проверку, даваемое ею решение задачи может считаться достаточно обоснованным. Этим обусловливается переход к заключительной фазе творчества, в процессе которого разрабатывается обоснование интуитивно найденной идеи.

Из сказанного явствует ложность защищаемого многими иррационалистами тезиса о том, что «подсознание» оказывается якобы «выше» или «умнее» сознания, поскольку оно способно привести нас к истине там, где сознание бессильно. «Подсознание» отнюдь не «ум-

нее» сознания: в сущности, на подсознательном, неосознанном уровне мыслительной деятельности выполняется лишь «черновая работа»; когда же возникает необходимость в более сложных мыслительных операциях, «подсознание» не может с ними справиться, а потому и происходит объективация, осознание той информации, обработка которой без участия сознания оказывается невозможной.

INTUITION AND THE UNCONSCIOUS

A. S. KARMIN

Institute of Water Transport, Chair of Philosophy, Leningrad

SUMMARY

Intuition may be interpreted as a specific cognitive process the gnoseological nature of which consists in irregular transformaton of the sensori-visual into the abstract-conceptual (or vice versa). As an event of creative activity, intuition rests upon an unconsciously formed system of sets determining the whole course of the creative process. The impulsive unconscious mental activity, under the action of these sets, establishes a kind of preliminary «filter» which eliminates superfluous information. If information passes it, a delay of impulsive activity occurs. This leads to objectification and awareness of an idea which can subsequently be put to conscious use in solving a problem. The emergence of this idea results, in the author's view, from a spontaneous guess—an unexpected intuitive «inspiration».

ЛИТЕРАТУРА

1. АДАМАР Ж., Исследование психологии процесса изобретения в области математики, М., 1970.
2. БРАНСКИЙ В. П., Философское значение проблемы наглядности в современной физике, Л., 1962.
3. КАРМИН А. С., ХАЙКИН Е. П., Творческая интуиция в науке, М., 1971.
4. ЛИНДСЕЙ П., НОРМАН Л., Переработка информации у человека, М., 1974.
5. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
6. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. 2, Тб., 1973.

148

БЕССОЗНАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЦЕССА ПОНИМАНИЯ

А. БРУДНЫЙ

Институт философии и права АН Киргизской ССР, Фрунзе

Бессознательное неоднородно. Эта неоднородность не исключает системной организации, напротив, система обычно и состоит из неоднородных, иерархически взаимосвязанных элементов. Но в нашу задачу не входило исследование системной природы бессознательного. Цель исследования состояла в том, чтобы выделить и рассмотреть один из элементов (или, скорее, феноменов) бессознательного, который чаще всего остается в тени. Происходит это потому, что он как бы непосредственно примыкает к осознаваемому. Иными словами, объект анализа не является целостно-самостоятельным, он представляет собой компонент сложного процесса, конечный этап которого частично или полностью осознан: это процесс понимания.

В истории психологии известны школы и направления, целиком посвятившие себя анализу специфики понимания. И тем не менее, сущность процесса понимания остается непроясненной. Отдельные этапы этого процесса и конечный его итог обладают интроспективной очевидностью, они могут быть осознаны. Но в определенной своей части процесс понимания протекает бессознательно.

Предмет нашего исследования можно определить как бессознательные компоненты понимания текстов. Следует подчеркнуть, что под «текстом» современная теория коммуникации подразумевает любое содержание, выраженное с помощью знаков или образов и тем самым доступное пониманию. Следовательно, текст, который мы будем иметь в виду — не обязательно текст письменный. Он может быть устным, может быть зримым, таковы, например, фильмы — это тексты, образованные последовательностью кинокадров. Именно в таких текстах и был обнаружен «эффект Кулешова». Сущность этого явления заключается в том, что смысловое восприятие кадров зависит от их монтажной взаимосвязи. Чередуя один и тот же кадр — человеческое лицо — с различными другими кадрами (тарелка супа, девушка, гроб), Л. В. Кулешов обнаружил, что выражение лица «читается» по-разному: голод, страсть, горе, причем зритель не осознает, что наблюдает один и тот же кадр. Эксперименты, проводимые в этом направлении, позволили обнаружить, что ведущий фактор понимания фильмов — это «соотношение кусков, их последовательность, сменяемость одного куска другим» [1, 16]. Но это не осознается зрителем: ему представляется, что основное — это «показ содержания данных кусков» [1, 16]. Первоначальная гипотеза (излагаемая в цитированной работе) сводилась к тому, что исследуемое явление специфично для языка кино; это предположение не подтвердилось, и в дальнейшем Л. В. Кулешов пришел к выводам иного порядка. «В художественной литературе, — писал он, — монтаж был давным-давно открыт, задолго до появления кине-

матографа. Вот выдержки из письма Толстого к Страхову в апреле 1876 года: «Во всем, почти во всем, что я писал, мною руководила потребность собрания мыслей, сцепленных между собой, для выражения себя, но каждая мысль, выраженная словами особо, теряет свой смысл, страшно понижается, когда берется одна из того сцепления, в котором находится. Само же сцепление составлено не мыслью (я думаю), а чем-то другим, и выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя...». Более гениального определения сущности монтажа (сцеплений), чем сделал это Лев Толстой, нельзя придумать» [2, 78].

Итак, переходы от одной, относительно законченной мысли к другой, переходы, образующие основу сцепления мыслей в связном тексте, не осознаются полностью, не вербализуются («выразить основу этого сцепления непосредственно словами никак нельзя»). Примечательно, что этот факт до последнего времени не обращал на себя внимания исследователей бессознательного, и объясняется это в значительной мере тем, что понимание текста обычно интерпретируется как осознание («смысловое восприятие») его содержания. Между тем, фундаментальная особенность любого текста состоит в том, что он делим. Так, для индивида, обладающего навыком чтения письменных текстов, представляется очевидным, что он делится на фразы, абзацы, главы и т. п. Но выделение этих «кусков» (в терминологии Л. В. Кулешова) является не только реализацией намерений автора текста. Делимость текста объективна. Конечно, чем больше выделяемый отрезок текста, тем более велик и момент произвольности при его выделении. И все же потребность в делении текста, реализуемая его автором, есть лишь субъективное выражение свойства, объективно присущего текстам как таковым.

Вообще говоря, понимание текстов может быть описано с помощью одного из фундаментальных парадоксов психологии, обычно формулируемого следующим образом: «прошедшее я знаю, но изменить его не могу; будущее я изменить могу, но я его не знаю». Попытка выйти за пределы, очерченные рамками этой парадоксальной ситуации, имплицитно содержится во всех формах прогностической деятельности.

Можно сказать, что текст как бы управляет процессом понимания: начиная с первых же осмысленных единиц деления у индивида формируется установка, связанная с прогнозированием дальнейшего содержания.

Роль установки в процессе понимания текста была убедительно продемонстрирована [5;11]. Особенность применяемой нами методики заключалась в том, что последовательность элементов, из которых состоит текст, нарушалась, и тем самым нарушалось и формирование установки, позволяющей прогнозировать дальнейшее развертывание содержания. Испытуемые не имели перед глазами целостного текста: он воссоздавался в результате производимых испытуемыми операций.

Текст мы рассматривали как систему, состоящую из конечного числа элементов, которые с различной вероятностью следуют друг за другом. Расположение элементов текста носит вероятностный характер— поэтому, собственно, текст и делим. В наших экспериментах определенный текст подразделялся на относительно законченные в смысловом отношении элементы (чаще всего — фразы), которые экспериментатор выносил на карточки, располагал в случайном порядке и затем предъявлял их испытуемым; они должны были восстановить («собрать») текст, который им, разумеется, заранее известен не был. При этом сра-

зу выяснялось, что испытуемые могут собирать из предъявленных элементов тексты осмысленные, но отличающиеся от исходного.

Некоторые элементы текста испытуемые соединяли так, как если бы знали порядок их следования в исходном тексте. Напротив, сгруппировывание других элементов происходило так, что в текстах, сконструированных испытуемыми, эти элементы оказывались весьма удаленными друг от друга. Очевидно, это связано с различием вероятностных оценок переходов от одного элемента текста к другому, следующему за ним.

Произвольна ли эта оценка? Думается, нет. В абсолютном большинстве случаев она просто неосознана. И в то же время существенное звено понимания текста именно и состоит в переходах от одного его относительно законченного элемента к другому. Можно ли назвать этот процесс ассоциативным, предположить, что текст образован ассоциированием его элементов? По-видимому, столь расширительная трактовка термина «ассоциация» не приведет к продуктивным результатам.

Еще на ранних этапах формирования психологии как науки, как, впрочем, и на позднейших ступенях ее развития, значительное внимание уделялось процессам ассоциативным. Показательно, что обращение к ассоциации как к некоторой «клеточке», элементарной единице мышления, оказалось продуктивным лишь на определенном, чаще всего начальном этапе исследования, но затем возникали растущие трудности, ибо более сложные процессы упорно не складывались из этих элементарных единиц; в то же время попытки заменить ассоциацию принципиально иной единицей не привели к особенно успешным результатам. Гипотеза, в пользу которой можно представить ряд соображений и доводов, заключается в том, что одной из основных единиц психической деятельности служит не столько ассоциирование, сколько сопоставление, сравнение сочетаемых элементов. Применительно к исследуемым нами объектам — бессознательным компонентам процесса понимания текста — можно предположить, что переход от одного сопоставляемого отрезка текста к другому имплицитно заключает в себе сравнение. Это сравнение особого типа, сравнение с неосознанно представленным в нашей психике эталоном, эталоном вероятного. Так, когда испытуемые собирают текст из отдельных его отрезков, они соединяют их в том порядке, который представляется им наиболее вероятным. Эталон «наиболее вероятного» ограничен достаточно жесткими рамками. Однако определить их, хотя бы приблизительно описать, вообще вербализовать свое представление о наиболее вероятном, — все это достаточно сложная задача даже для испытуемых, имеющих определенную профессиональную подготовку в области филологии. Для испытуемых, подготовка и интересы которых далеки от работы с текстами, такая задача зачастую и вовсе не под силу. Значительно легче дается испытуемым, вне зависимости от их возрастных особенностей и профессиональных навыков, описание отклонений от эталона. Это и понятно. Эталон бессознателен. Отклонения замечаемы.

Допустим, что в самой основе процесса понимания лежит нечто общее с возникновением и фиксацией установки и это общее составляет невидимую при интроспекции часть психической деятельности.

Для понимания существенны три кардинальных черты: (1) способность соотносить явления по признаку «причина-следствие»; (2) способность отмечать подобие в вещах различных и различия в вещах подобных; (3) способность различать обычное, необычное и невозможное

(или, что то же самое, дифференцировать вполне вероятное, маловероятное и неосуществимое).

Относительно каждого из этих трех признаков можно сказать, что в основе его лежит операция сравнения. По-видимому, это связано с природой мышления вообще. Любопытно, что, по мнению И. М. Сеченова, «... всякую мысль, какого бы порядка она ни была, можно рассматривать как сопоставление мыслимых объектов друг с другом, в каким-либо отношении» [6, 277]. Еще более категорично высказывался по этому вопросу А. А. Потебня: «...исходная точка языка и сознательной мысли есть сравнение» [3, 181]. Впоследствии С. Эйзенштейн придавал операции сравнения принципиальное значение, считая ее основополагающей для понимания языка кино [10] (а он воспроизводит действительность в образах, принципиально доступных смысловому восприятию).

По-видимому сопоставление вещей по сходству и по смежности (пространственной или временной) [12] есть первооснова возникновения и установки, этой «предшествующей сознанию ступени психики» [7, 140].

В этом отношении особый интерес вызывают как теоретические, так и экспериментальные исследования психологической установки [4; 7; 8; 9], прежде всего критический анализ, который Д. Н. Узнадзе проводит, рассматривая теорию «обманутого ожидания». Д. Н. Узнадзе показал, что весьма разнообразные иллюзии, касающиеся, например, объема гаптического или зрительного, а также веса, давления, степени освещения, — все эти иллюзии базируются на основе предварительных экспозиций, которые формируют определенный тип отношения к экспозициям последующим. И возникновение этого отношения, этой установки, происходит бессознательно. Не реализуется ли нечто подобное на определенном этапе процесса понимания текста, когда он как бы монтируется в сознании из следующих один за другим элементов? Вполне возможно, что именно так дело и обстоит. И в этой связи встает законный вопрос о внутреннем родстве установки и концепта текста.

Концепт (или «общий смысл») текста осознается не всегда и чаще всего не полностью.

Последнее утверждение может показаться парадоксальным: ведь если я понимаю содержание какого-то текста, то понятое непосредственно входит в мое сознание как результат понимания. Таково первое впечатление, но оно может быть в определенном отношении ошибочным. Ведь если я прочел текст басни и совершено ясно понял, как вели себя осел, козел и косолапый мишка, которые затеяли сыграть квартет, то отсюда еще не вытекает, что я понял смысл басни. Одна из важнейших особенностей понимания текстов басен состоит в том, что индивид способен осуществить переход от описания отношений между аллегорическими персонажами к общему пониманию сущности отношений между людьми[1]. И это не алгоритмизируемый переход. Во всяком случае, трудно представить себе программу формирования концепта, т. е. программу подобного перехода от некоторого конкретного информационного содержания к его общему смыслу, к формированию установки, воздействующей на мысли и поступки человека.

[1] Любопытно, что при тренировке навыка чтения в процессе обучения нередко используются именно басни — тексты с объявленными концептами (басни обычно сопровождает формулировка общего смысла — мораль).

По-видимому, и оценка вероятности перехода от одного элемента текста к другому отражает процесс формирования концепта.

Таким образом, понимание и установка — явления, глубинно взаимосвязанные. Мы попытались высказать ряд гипотетических соображений о первооснове этой взаимосвязи. Думается, что эту первооснову составляет операция сравнения, выступающая в различном качестве на бессознательном и осознаваемом уровнях психической деятельности индивида.

UNCONSCIOUS COMPONENTS OF THE PROCESS OF COMPREHENSION

A. A. BRUDNY

Institute of Philosophy and Law, Kirghiz Academy of Sciences

SUMMARY

The paper deals with the unconscious components of the process of the comprehension of texts. It has been found that texts have the property of being divisible, this essentially influencing the formation of an attitude connected with the prediction of the further content. It is assumed that the operation of comparison is one of the main units of mental activity. It apparently serves as an unconscious basis for transition from one text element to another. The activity of comparison involves three cardinal points of comprehension: the ability (a) to correlate phenomena on the basis of cause and effect; (b) to note similarity in differing things and difference in similar things; (c) to distinguish the ordinary, hardly probable, and impossible. These three characteristics reflect the probable nature of the unconscious.

ЛИТЕРАТУРА

1. КУЛЕШОВ Л., Искусство кино (мой опыт), М., 1929.
2. КУЛЕШОВ Л., ХОХЛОВА А., 50 лет в кино, М., 1975.
3. ПОТЕБНЯ А. А., Мысль и язык, Харьков, 1913.
4. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тб., 1967.
5. РАМИШВИЛИ Д. И., К продуктивной природе естественного языка. В сб.: Экспериментальные исследования по психологии установки, т. 4, Тб., 1970.
6. СЕЧЕНОВ И. М., Элементы мысли. Избранные произведения, М., 1952.
7. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
8. ХОДЖАВА З. Н., Проблема навыка в психологии, Тб., 1960.
9. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, т. I, Тб., 1969, т. 2, Тб., 1973.
10. ЭЙЗЕНШТЕЙН С., Избранные произведения, т. 5, М., 1968.
11. ЭЛИАВА Н. Ш., Установка в проблемной ситуации. В сб.: Экспериментальные исследования по психологии установки, т. 4, Тб., 1970.
12. JAKOBSON R., HALLE M., Grundlagen der Sprache, 2 Teil, № 5, Berlin, 1960.

149

О НЕКОТОРЫХ НЕОСОЗНАННЫХ ДЕЙСТВИЯХ ПИЛОТОВ И ВОЗНИКАЮЩИХ НА ИХ ОСНОВЕ НАВЫКАХ

М. А. КОТИК

Тартуский государственный университет

О природе навыков и механизмов их формирования в психологической науке к настоящему времени сложилось единое мнение. Принято считать, что в основе навыков лежат автоматические действия. «Автоматические действия, — как указывается в «Психологическом словаре» Б. Е. Варшавы и Л. С. Выготского, — включают в себя как простые рефлексы — функции равновесия, стояния, положения и т. д., так и выученные движения, сделавшиеся бессознательными, — привычки, прочные условные рефлексы; большинство волевых действий могут сделаться автоматическими (бессознательными) в силу повторения и упражнения (ходьба, речевые движения, письмо и т. д.)» [1, 11], С. Л. Рубинштейн, уточняя указанное определение, выделил первичные и вторичные автоматизмы. Первичные автоматизмы, проявляющиеся в виде бессознательных рефлексов, рассматривались как результат предшествующего филогенетического развития, вторичные же автоматизмы — результат упражнения, тренировки, выучки — определялись как навыки в специфическом смысле слова.

В настоящем сообщении будет идти речь только о вторичных автоматизмах, т. е. о навыках. Уточняя это понятие, С. Л. Рубинштейн писал: «Сначала, когда, приступая к какой-нибудь новой деятельности, человек не располагает для выполнения непривычного еще для него действия уже сложившимися способами его выполнения, ему приходится с о з н а т е л ь н о   о п р е д е л я т ь   и   к о н т р о л и р о в а т ь не только действие в целом, направленное на цель, которую он себе ставит, но и отдельные движения или операции, посредством которых он его осуществляет [4, 553] (разрядка наша — **М. К.**). Исходя из этого, С. Л. Рубинштейн определяет навыки как «автоматизированные компоненты сознательного действия человека, которые вырабатываются в процессе его выполнения». Таким образом, становление навыка, по С. Л. Рубинштейну, «это выключение из поля сознания отдельных компонентов сознательного действия» [4, 553].

В. В. Чебышева рассматривает формирование навыков как «сознательный целенаправленный процесс» [5, 44]. К. К. Платонов, указывая на сознательный характер формирования трудовых навыков, выделяет отдельные этапы такой сознательной деятельности (начало осмысления, сознательное выполнение действия и др.). При этом он специально подчеркивает, что подобные сознательно сформированные навыки «нельзя смешивать с всегда вредными в трудовой деятельности автоматизмами, не подконтрольными сознанию» [3, 155].

В настоящем докладе мы хотим на конкретном примере, основы-

ваясь на данных естественного эксперимента, показать, что приведенные выше определения навыка и его природы не всегда справедливы, а поэтому их нельзя рассматривать как общие, охватывающие все различные проявления указанного явления. Так, в частности, мы стремимся доказать, что полезные трудовые навыки могут формироваться и на основе действий, которые ранее никогда не актуализировались в сознании, что предварительное осознание действия не является необходимым условием формирования навыка.

1. Объектом нашего исследования явилась деятельность пилота, точнее, один из элементов этой деятельности — действия по выполнению некоординированного разворота самолета. Поводом для проведения этого исследования послужило следующее стечение обстоятельств.

Согласно существующим инструкциям по пилотированию самолета, все довороты должны выполняться только координированно. Это обеспечивает бо́льшую безопасность полетов. Поэтому в процессе обучения у пилотов вырабатывают навыки только по координированному выполнению всех разворотов самолета. И в своей практической деятельности пилоты, как правило, используют в основном только такой метод разворотов. При координированном развороте скорость полета будет определять необходимый для разворота угол крена и вытекающие отсюда радиус разворота и его время. Для выполнения координированного разворота самолета определенного типа на необходимый угол на заданной скорости требуется вполне определенное время.

Однако в полете возможны случаи, когда требуется довернуть самолет за более короткое время, чем это получилось бы при координированном довороте. Например, при заходе на посадку в отсутствии прямой видимости земли пилот неточно вывел самолет на посадочный курс, и ему требуется за довольно короткое время довернуть самолет на заданный курс. Если в таком случае доворот самолета выполнять по всем правилам, т. е. координированно, то пилоту просто не хватит времени для коррекции курса перед началом посадочной полосы, и с данного захода посадка станет невозможной. Если же пилот ту же небольшую коррекцию курса будет осуществлять некоординированно — с небольшим креном самолета и скольжением в сторону доворота, то он сможет «выправить» курс за более короткое время и успеть устранить свою ошибку до начала полосы.

Нас заинтересовал вопрос: как в подобной — явно конфликтной ситуации будут формироваться навыки выполнения некоординированных доворотов, будут ли они вообще формироваться, а если будут, то окажутся ли они одинаковыми для разных пилотов?

2. Мы попросили 15 опытных пилотов, среди которых были и инструкторы, рассказать последовательность управляющих действий, которыми они осуществляют некоординированный доворот самолета на угол 5—7°. Пилоты говорили о важности при таком развороте движения педалей, о трудности при этом удержать заданную высоту и некоторых других обстоятельствах, связанных с выполнением такого доворота. Однако *ни один из них не мог назвать* последовательность движений штурвалом, педалями и колонкой, которую требуется выполнить для осуществления некоординированного доворота самолета. Примечательно, что последовательность выполнения координированного разворота все испытуемые описывали в деталях, увязывая свои управляющие действия с изменением показаний пилотажных приборов. Таким образом, уже на основании предварительного эксперимента можно было заключить об осознании пилотами действий по выполнению координированного разворота и *отсутствии такого осознания*

по отношению к действиям, посредством которых выполняется некоординированный разворот.

Теперь требовалось провести анализ действий по выполнению координированного и некоординированного разворота с точки зрения связанных с ними навыков. Тот факт, что при выполнении координированных доворотов самолета у пилотов действуют соответствующие навыки, не вызывал никаких сомнений: у пилотов в процессе обучения специально вырабатывают такие новыки, и они закрепляются в процессе их дальнейшей практической деятельности. Вопрос же о существовании у пилотов навыков по выполнению некоординированных доворотов требовалось разрешить. Если стать на точку зрения, по которой вторичные автоматизмы формируются на основе только ранее осознанных действий, то отсутствие осознания пилотами действий по выполнению некоординированных доворотов явится свидетельством того, что навыков в выполнении таких действий быть не может.

Однако, с другой стороны, повторение одних и тех же задач, в которых приходится использовать некоординированные довороты, должно было способствовать выработке у пилотов каких-то определенных способов выполнения подобных маневров самолета, а может быть и навыков в выполнении таких действий. Но такие навыки должны были бы формироваться уже не за счет предварительного осознаваемого подбора отдельных движений.

Так возникла необходимость экспериментальной проверки наличия у пилотов навыков по выполнению некоординированных разворотов самолета, а при их обнаружении — анализа психологических механизмов их формирования.

3. С указанной целью нами был поставлен летный эксперимент. На многомоторном пассажирском самолете была установлена специальная аппаратура, записывающая перемещения органов управления самолетом: штурвала, педалей и колонки штурвала. Таким образом представлялась возможность фиксировать управляющие действия пилотов в процессе пилотирования самолетом, в том числе и в ходе выполнения разворотов самолета. Для фиксации изменения положения самолета в пространстве в связи с теми или иными управляющими действиями предусматривалась также киносъемка параметров режима полета. Работа киноаппарата была синхронизирована с действием самописца, фиксирующего положения органов управления. Поэтому представлялась возможность при анализе данных, зафиксированных в эксперименте, устанавливать временную связь между изменением положения рулей и изменением параметров режима полета.

В эксперименте участвовало 6 пилотов — 5 из них с большим опытом и 6-ой — молодой, начинающий пилот. Всего было зафиксированно 45 различных некоординированных доворотов самолета в правую и в левую сторону на угол от 3° до 10°. Опыты проводились в следующей последовательности. Испытуемым пилотам сообщалось о цели эксперимента. В воздухе создавался режим прямолинейного горизонтального полета. Затем по команде экспериментатора (например, «вправо некоординированно пять») пилот выполнял заданный маневр. Одновременно с командой экспериментатор нажимал на кнопку, посредством которой включался киноаппарат и самописец положения органов управления. На земле, после проявления пленки и записей самописца, по каждому маневру строилась серия соответствующих кривых: три кривых изменения положения органов управления и четыре кривых изменения при этом параметров режима полета. Все эти кривые строились в

одном и том же масштабе времени и располагались столбиком — одна под другой.

На рис. 1 представлены графически результаты записей четырех некоординированных доворотов самолета на 5° (три доворота вправо, один влево), выполненных одним и тем же опытным пилотом Тщ. В

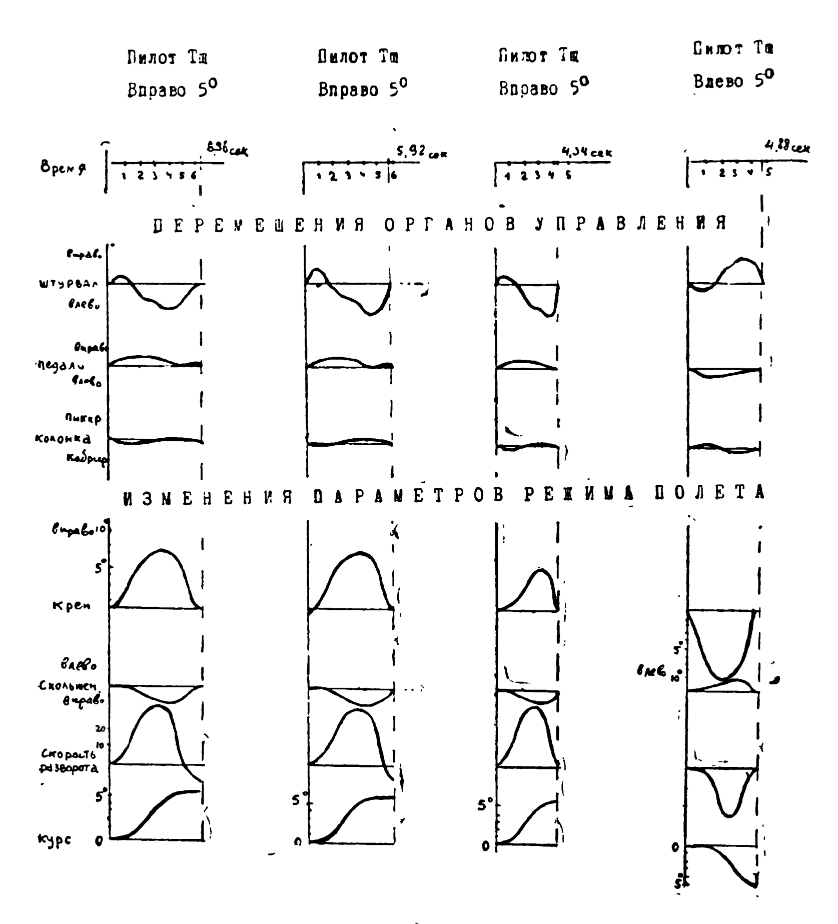


Рис. I

Показатели некоординированных доворотов самолета, выполненных одним и тем же пилотом /Тщ/

каждом столбце, состоящем из семи кривых, представлены результаты отдельных опытов. Кривые, если рассматривать их поочередно сверху вниз, отражают следующие показатели:

— изменение положения штурвала (управление по крену),

— изменение положения педалей (управление по направлению),

— изменение положения колонки штурвала (управление по высоте), (далее следуют кривые, характеризующие параметры режима полета),

— изменение угла крена самолета (зафиксированное по показаниям авиагоризонта),

— изменение скольжения самолета (по индикатору скольжения на указателе поворота),

— изменение угловой скорости разворота (по указателю разворота),
— изменение курсового угла самолета (по указателю курса).

На основе данных, представленных на рис. 1, проведем сравнение управляющих действий, посредством, которых пилот Тщ. осуществлял некоординированные довороты самолета. Прежде всего обращает на себя внимание сходство движений штурвалом, педалями и колонкой, которые осуществлял пилот в отдельных опытах по развороту самолета вправо. Сходными оказались не только движения отдельных органов управления, но и их координация. При довороте самолета влево сохранялась та же закономерность перемещения отдельных органов управления и связь между ними, с той только разницей, что движения были направлены в обратную сторону.

В пользу того, что пилот Тщ. в различных опытах некоординированные довороты самолета выполнял однотипными действиями, свидетельствует и примерно одинаковое поведение самолета во всех этих опытах. Для доворота самолета на 5° в каждом опыте пилот затрачивал время порядка 5—6 сек. (заметим, что координированный доворот самолета на тот же угол на данной скорости занял бы около 11 сек.). Кроме того, и изменение параметров режима полета—крена, скольжения, угловой скорости разворота, курса во всех опытах оказалось весьма сходным. Это хорошо видно из сопоставления между собой кривых, представляющих изменение отдельных параметров режима полета (расположены по горизонтали в четырех нижних рядах на рис. 1).

Таким образом, на основе анализа результатов выполнения пилотом Тщ. некоординированных доворотов самолета можно констатировать, что у этого пилота выработан вполне определенный стереотип действий (навык) по осуществлению этого маневра, который позволяет выполнять коррекцию курса на 5° почти вдвое быстрее, чем при координированном довороте.

4. Теперь сопоставим выполнение некоординированных доворотов самолета различными пилотами. Такое сравнение проведено на рис. 2. Здесь в той же форме и последовательности, как и на рис. 1, представлены показатели выполнения некоординированного доворота самолета на 5° вправо, но теперь четырьмя различными пилотами (тремя опытными Шк., Св., Шм. и одним молодым — Пт.). Из данных рис. 2 можно сделать ряд заключений.

Во-первых, управляющие действия опытных пилотов по осуществлению некоординированных доворотов самолета оказались примерно такими же как и описанные выше действия опытного пилота Тщ. Все эти пилоты осуществляли некоординированные довороты самолета по одному и тому же стереотипу и затрачивали на доворот самолета на 5° время порядка 5—6 сек. Можно предположить, что все эти пилоты с приобретением опыта приходили к одному и тому же наиболее целесообразному способу выполнения такого доворота и вырабатывали навыки по его осуществлению.

Во-вторых, между действиями опытных пилотов и молодого пилота Пт. при выполнении некоординированного доворота самолета обнаруживается существенное различие. Достаточно одного сравнения кривых перемещения органов управления у этого и у остальных пилотов, чтобы заключить, что пилот Пт. не смог выполнить такой некоординированный доворот, какой выполняли опытные пилоты. Он доворачивал самолет на 5° за время более 11 сек., т. е. даже дольше, чем если бы тот же доворот осуществлялся координированно. Следовательно, можно заключить, что навыки выполнения пилотами некоординированных доворотов вырабатываются с приобретением практического опыта полетов.

5. Итак, было экспериментально показано, что полезные трудовые навыки могут формироваться из действий, которые ни до приобретения навыка, ни в процессе его приобретения, ни после этого не выполнялись осознанно.

Причина, препятствующая осознанию пилотами отдельных операций, заключается в том, что некоординированные довороты самолета просто не приняты, таким доворотам пилотов специально не обучают.

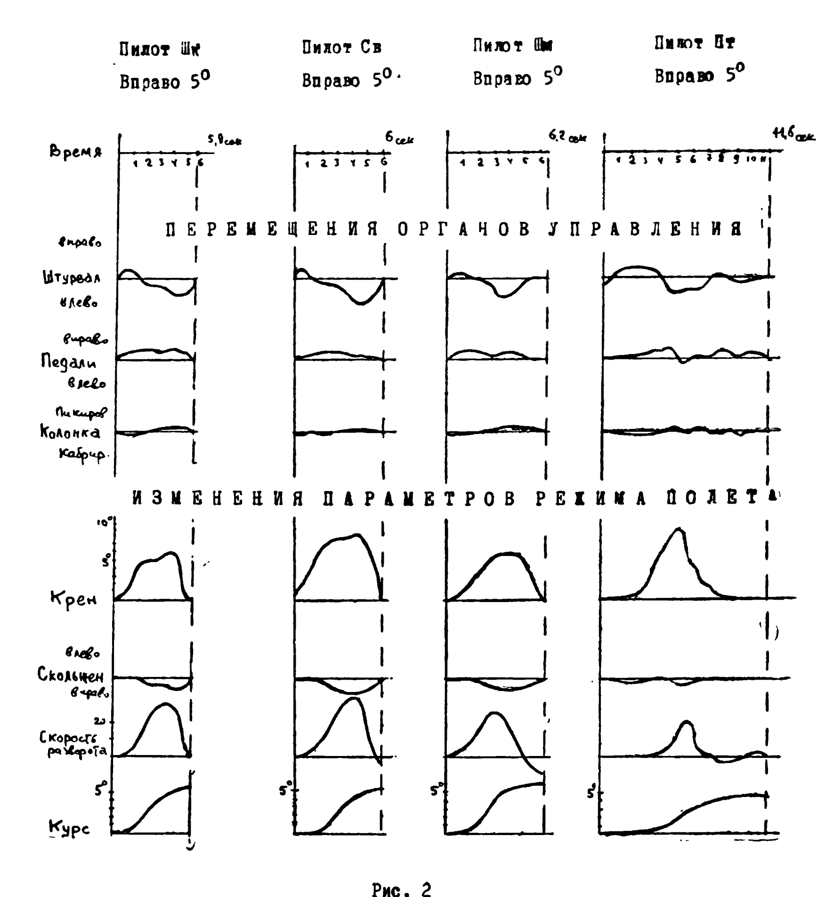


Рис. 2

Показатели некоординированных доворотов самолета, выполненных опытными пилотами /Шк, Св, Шм/ и и пилотом /Пт/ с малым опытом.

Пилотам нет и необходимости стремиться к осмыслению тех механизмов, посредством которых осуществляются такие довороты — ведь свой опыт в этом вопросе передавать им никому не придется. К тому же, к подобным доворотам пилоты прибегают в условиях жестких ограничений во времени, когда нет времени раздумывать и заниматься анализом их выполнения. Все эти факторы создают условия, если и не препятствующие в прямом смысле, то во всяком случае, отнюдь не способствующие осознанию пилотами действий по выполнению некоординированных разворотов.

Как, более конкретно, происходит выработка у пилотов навыков по выполнению координированных и некоординированных разворотов?

Координированным разворотам пилотов обучают самым детальным образом. При этом достигается осознание пилотами отдельных компонентов действия, отдельных движений и тех промежуточных целей, на достижение которых они направлены. При таком способе научения познаются не только конечная цель и промежуточные подцели, но и разнообразное влияние внешних условий на деятельность, а также собственные возможности по разрешению возникшей задачи. Все это позволяет не только использовать ориентировочную основу, имеющуюся в процессе научения, но и расширять эту основу. Так, познав связь каждого управляющего действия с поведением самолета, пилот соответствующим перемещением руля может вызывать приток дополнительной информации (от пилотажных приборов, по каналу кинестетической чувствительности и пр.), способствующей разрешению возникшей задачи.

В то же время обучение пилотов выполнению некоординированных доворотов осуществляется в условиях, при которых отсутствует ориентировочная основа деятельности. Пилотам известен результат, который должен быть получен, однако неизвестны конкретные способы действий, посредством которых его можно достичь, неизвестны собственные возможности по его достижению. В подобных условиях, как показывает П. Я. Гальперин [2], научение осуществляется по методу «проб и ошибок». Путем перебора удачных и неудачных проб пилоты со временем приходят к таким способам действий, которые отвечают возникшей задаче. А поскольку подобные довороты в принципе не приняты в авиации и никогда не выступают в сознании пилота в виде самостоятельной задачи, то они играют роль только некоторой промежуточной операции с осознанием лишь ее конечного результата. Именно поэтому и отсутствуют причины для непроизвольной или волевой актуализации в сознании пилотов тех двигательных компонентов, из которых образуется некоординированный доворот.

Каким же образом именно оптимальный способ действий закрепляется в навыке и закрепляется, не будучи даже осознанным? Объяснить это можно теми жесткими ограничениями, которые налагаются на результат этих действий. Чтобы действия пилота привели к некоординированному довороту самолета за весьма ограниченное время с требуемой высокой точностью, они должны быть близки к оптимальным. Это обстоятельство служило жестким препятствием к закреплению в навыке таких способов действий, которые отличны от оптимальных. Таким образом, можно сказать, что разносторонние и жесткие внешние ограничения выполняют при выработке навыков из неосознанных действий ту же функцию, что и сознательный контроль при формировании навыков из действий, которые ранее были осознаны.

На основе изложенного может возникнуть следующий вопрос. Действия, дающие оптимальный результат на выходе, не всегда являются наиболее эффективными. Ведь можно достигать одного и того же результата различными путями за счет различных затрат энергии. Будут ли в навыках, сформированных на основе неосознанных действий, закреплены и наиболее экономные пути достижения заданной цели? На этот вопрос следует ответить утвердительно. Многочисленные исследования в области физиологии труда показывают, что выработка навыков заключается в установлении гармонической согласованности внешней предметной деятельности с внутренними процессами, протекающими в организме. Поэтому, когда речь идет о навыке, то здесь уже само собой подразумевается, что полученный результат достигнут при наиболее целесообразных и экономичных для организма способах действий. Ис-

ходя из этого, можно предположить, что выявленные нами навыки пилотов по выполнению некоординированных доворотов являются целесообразными не только по внешним результатам, но и исходя из связанных с ними психоэнергетических затрат организма.

В заключение настоящего сообщения — одно характерное дополнение. После выявления стереотипа действий, посредством которых пилоты выполняют некоординированные довороты самолета, тем же пилотам, с которыми мы проводили эксперименты, была рассказана эта последовательность. И все они сразу же «узнали» ее. Здесь мы имели дело со случаем, когда под влиянием сообщения, полученного извне, произошла актуализация в сознании (осознание) тех неосознанных программ, посредством которых осуществлялось трудовое действие.

Из проведенного исследования вытекают следующие заключения.

1. Предварительное осознание компонентов действия (его операций, движений и пр.) нельзя считать необходимым условием для выработки навыков по его выполнению.

2. Для того, чтобы на основе неосознанных компонентов действия сформировались полезные трудовые навыки, необходимо, чтобы выработка этих навыков осуществлялась при наличии жестких внешних ограничений, налагаемых на результаты этого действия.

SOME UNAWARE ACTIONS OF PILOTS AND THE SKILLS FORMED ON THE BASIS OF THESE ACTIONS

M. A. KOTIK

Tartu State University

S U M M A R Y

The view that skills are automatized elements of formerly conscious actions has become established in the special psychological literature. Data on a flying experiment are presented in the paper which prove that the pilots' useful working skills may be formed also on the basis of actions formerly not actualized in consciousness.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. ВАРШАВА Б. Е., ВЫГОТСКИЙ Л. С., Психологический словарь, М., 1931.
2. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Формирование умственных действий и понятий, М., 1965.
3 ПЛАТОНОВ К. К., Вопросы психологии труда, М., 1970.
4. РУБИНШТЕЙН С. Л., Основы общей психологии, М., 1946.
5. ЧЕБЫШЕВА В. В., Психология трудового обучения, М., 1969.

150

АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ИНЕРЦИОННЫМ ОБЪЕКТОМ В СВЕТЕ СОВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О НЕОСОЗНАВАЕМОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ю. М. ПРАТУСЕВИЧ, А. В. СОЛОВЬЕВ, К. А. ЛИСИЦЫНА

Институт гигиены детей и подростков МЗ СССР, Москва

Изучение деятельности человека-оператора по управлению движущимся (инерционным) объектом имеет не только практический, но и большой теоретический интерес. Существо теоретического аспекта этой проблемы заключается в том, что рассматриваемый вид деятельности, как никакой другой, позволяет экспериментально исследовать соотношение осознаваемых и неосознаваемых компонентов в процессе формирования сенсомоторного навыка и «развести» эти компоненты операционально, т. е. по объективным результатам управляющих действий человека, а также по показателям физиологических и биохимических сдвигов в организме. Последнее обстоятельство особенно важно потому, что представления об осознаваемой и неосознаваемой психической деятельности нередко вводятся чисто умозрительно, без объективных критериев разграничения этих форм активности, что исключает возможность их верификации.

В своем подходе к решению проблемы соотношения осознаваемого и неосознаваемого в конкретном виде деятельности мы исходили из следующих принципиальных положений.

Термином «неосознаваемая психическая деятельность» мы обозначаем ту форму переработки информации в мозгу человека, которая не осознается индивидом (в частности, не находит отражения в самоотчете испытуемого), но проявляется в поведении (например, в изменении характера его действий).

Психофизиологическим продуктом переработки информации на подсознательном уровне является формирование установок [11; 12; 14] в качестве регулирующих механизмов, которые исполняют свою функцию без участия субъективных переживаний — выполнение действий в этом случае происходит как бы автоматически. «Неосознаваемая высшая нервная деятельность, — как указывает Ф. В. Бассин, — выполняя функцию переработки информации, оказывается неизбежным образом связанной одновременно с формированием и реализацией установок, на основании которых происходит регуляция поведения. Эти установки, оставаясь весьма часто не только неосознаваемыми, но и непереживаемыми, проявляются функционально лишь как своеобразные «программы», как системы критериев, как регулирующие тенденции, о существовании которых можно судить по динамике поведения и биологических реакций» [2, 220—221].

Настоящее исследование является попыткой экспериментального изучения соотношения осознанных и неосознанных компонентов формирования двигательного навыка с обращением особого внимания на физиологические механизмы и биохимическую активность, участвующие в этих процессах.

1. Анализ формирования навыка управления инерционным объектом в эмоционально-напряженной ситуации

Исследование выработки навыка управления движущимся объектом целесообразно начать с экспериментального анализа учета испытуемым инерционности объекта. При значительной массе и скорости управляемого объекта главную трудность управления составляет компенсация фактора инерции. Из этого вытекает практическая необходимость изучения процесса выработки навыка управления инерционным объектом.

Для исследования деятельности оператора по управлению инерционным объектом в лаборатории была создана установка на базе «АВМ МН-18 м», на которой моделировался ввод инерционного объекта в целевую зону и имитировалась ситуация посадки «самолета». Светящаяся точка на экране ЭЛТ изображала «самолет» и управлялась по двум координатам: движение по горизонтали имело постоянную скорость, а движение по вертикали зависело от ускорения, которое задавал испытуемый ручкой управления, что создавало у него иллюзию управления рулями высоты самолета. Система состояла из трех компонентов: а) пульта управления, б) инерционного объекта, в) «ЭЛТ ИМ-789». Пульт включал ручку управления с одной степенью свободы, сигнальное табло входа в «зону» посадки, кнопку пуска объекта «самолет». Инерционный объект состоял из двух последовательно соединенных интеграторов и описывался уравнениями:

$U_{вх}$ → [интегратор, V_0] → V → [интегратор, U_0] → $U_{вых}$

$$\begin{cases} \dfrac{dU_{вых}}{dt} = V \\ \dfrac{dV}{dt} = U_{вх}, \end{cases}$$

где $U_{вых}$ — высота «самолета»; V — его вертикальная скорость, а $U_{вх}$ — ускорение, задаваемое с ручки управления; t — текущее время. Начальные значения высоты ($U_{вых} = U_0$ при $t = 0$) и вертикальной скорости (V_0) задавались экспериментатором.

Результаты работы модели «самолет» (время посадки, время нахождения в «зоне», площадь перерегулирования) автоматически измерялись и печатались электронно-цифровым печатающим устройством ЭЦР-1. Указанная система (рис. 1) моделировала эмоционально-напряженную ситуацию управления инерционным объектом «самолет». Осо-

бенность задачи управления состояла во временной задержке между управляющим воздействием испытуемого на ручку и ответом управляемого «самолета». Эта особенность делала задачу управления весьма сложной для необученного испытуемого. Психологически ситуация задания моделировала основные условия посадки реального самолета.

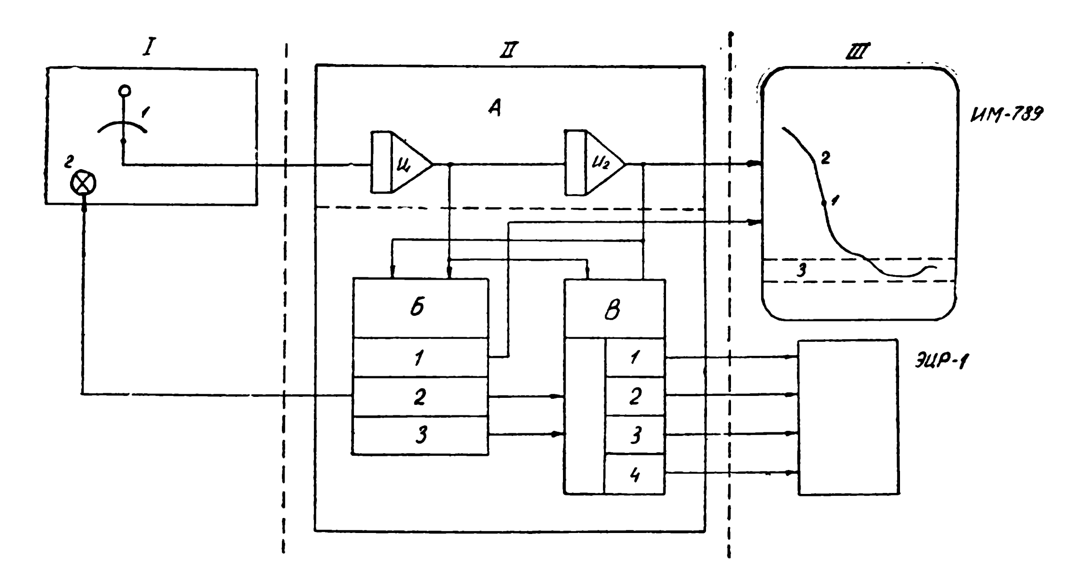


Рис. 1. Функциональная схема системы «Самолет». I. Пульт управления: 1 — ручка управления, 2 — индикаторное табло «Посадка». II. АВМ МН-18 м: А—инерционный объект ($И_1$, $И_2$ — интеграторы); Б — устройство управления: 1 — «взрывом», 2 — «зоной посадки», 3 — «остановкой»; В — блок формирования данных: 1 — количество посаженных «самолетов», 2 — общего времени посадки, 3 — времени нахождения в «зоне посадки», 4 — площади перерегулирования. III. Устройство предоставления информации. ИМ-789 — экран индикатора: 1 — «самолет», 2 — траектория его движения, 3 — «зона посадки»; ЭЦР-1 — многоканальный цифропечатающий вольтметр

Испытуемому давалась инструкция: «Ты нажимаешь кнопку на пульте управления. Тогда на экране начинает двигаться горизонтально «самолет». С помощью ручки ты можешь менять его высоту: двигая ее от себя, ты заставляешь «самолет» двигаться вниз, двигая к себе — вверх. Тебе нужно как можно быстрее посадить «самолет» на землю, не разбив его. Загорание на пульте табло «Посадка» укажет на касание «самолетом» земли. Чтобы посадить, его нужно удержать на полосе посадки 5 секунд». После этого экспериментатор демонстрировал посадку «самолета».

Перечисленные условия посадки «самолета» создавали эмоционально-напряженную ситуацию и поддерживали мотивацию выполнения данного задания на высоком уровне. Испытуемыми были 20 школьников 13—15 лет, обучавшихся в 6—8 классах. Все они прошли полное диспансерное обследование и были признаны практически здоровыми. После инструкции и показа испытуемый работал самостоятельно до успешной посадки первого «самолета». Затем начиналась основная экспериментальная серия: каждому давалось 30 попыток посадить «самолет». Результаты этой серии служили исходным материалом для анализа выработки навыков управления, при этом использовались 3 показателя

эффективности работы: число посаженных «самолетов», время, затраченное на каждую попытку посадки, площадь перерегулирования (интегральное значение скорости, направленной вертикально вверх). Для характеристики динамики выработки навыка эти показатели сравнивались по каждым 10 пробам.

В качестве коррелятов активности ЦНС изучалось до и после серий проб содержание в крови физиологически активных аминов, играющих важную роль в процессах медиации нервных импульсов, памяти, поведения и нервной регуляции [6; 7; 15; 17; 18]. Содержание норадреналина (НА), адреналина (А) и серотонина (С) определялось в 0,1 мл крови из пальца ультромикрометодом тонкослойной хроматографии их дансилпроизводных [13]. Результаты исследования были обработаны статистически по непараметрическому критерию различий Вилкоксона для доверительной вероятности 0,95.

2. Результаты экспериментов и их обсуждение

Качественный анализ результатов экспериментов дает следующую последовательность формирования навыка управления. После предварительного ознакомления появлялась ориентировочная фаза выработки навыка, когда испытуемый изучал характер связи между перемещениями ручки управления и движением управляемого объекта на экране. Особенностью этой фазы было наличие грубых ошибок: фактическое действие испытуемого оказывалось прямо противоположным его намерению. К концу этой фазы испытуемый научался соизмерять направление и отчасти степень управляющих воздействий с движением управляемого объекта и его положением относительно цели. Затем наступала фаза управления путем коррекций, когда испытуемый мог воспроизвести желательную траекторию посадки в грубых чертах, допуская при этом много мелких отклонений от плавной траектории спуска перерегуляций в связи с инерцией объекта и «отработкой» им каждого воздействия, поступающего от управляющей ручки — управление путем коррекции оказывалось неэффективным. Поэтому за данной фазой наступала фаза выработки экстраполяции (предвидения), во время которой испытуемый переходил от компенсирования уже имеющегося расхождения в положении объекта и цели к прогнозированию будущего положения управляемого объекта, с учетом скорости его движения и характера воздействия на ручку управления. Навык можно было считать сформированным, когда предвидение оказывалось достаточным для полной компенсации инерционности системы.

Таблица 1

Количественные результаты формирования навыка по всей группе испытуемых в 20 человек

№№ попыток	Посажено «самолетов»	Среднее время посадки (сек)	Величина перерегуляций (условные единицы)
1—10	4,7	35,2	14,2
11—20	5,6	30,5	12,6
21—30	7,0	25,9	8,6

Из табл. 1 видно, что выработка навыка идет примерно равномерно на протяжении всех проб: это выражается в постоянном повышении ко-

личества успешных посадок. Среднее время, затрачиваемое на посадку, имело устойчивую тенденцию к сокращению. Уменьшение значения величины перерегуляций указывало, что действия испытуемого по мере выработки навыка управления становились все более целесообразными, а траектория движения управляемого объекта приближалась к оптимальной.

Вместе с тем результаты отдельных испытуемых не были одинаковыми по ряду показателей, и это дало основание разделить испытуемых по ориентировке в задании и динамике выработки навыка на две группы. Число попыток, которые затрачивал испытуемый, чтобы посадить первый «самолет», было использовано нами как показатель его возможностей освоения данного вида деятельности и указывало на быстроту овладения им принципами работы системы управления инерционным объектом. Испытуемые, которые имели не более трех попыток до первого посаженного «самолета», составили группу с быстрой ориентировкой в задании (11 человек). Испытуемые, которые сажали «самолет» после 5 и более попыток, составили группу с медленной ориентировкой в задании (9 человек).

У испытуемых с быстрой и с медленной ориентировкой сравнивали следующие психофизиологические и биохимические показатели:

а) число посаженных «самолетов» в основной серии из 30 проб,

б) величина перерегулирования по первым и последним 10 пробам,

в) уменьшение степени перерегулирования от начала к концу основной серии в %%,

г) изменение содержания норадреналина (НА) в крови,

д) изменение содержания адреналина (А) в крови,

е) изменение содержания серотонина (С) в крови,

ж) изменение соотношений аминов в крови:

$$\frac{НА+А}{С}, \quad НА/А, \quad А/С, \quad С/НА.$$

Приводим результаты анализа психофизиологических данных для групп с быстрой и медленной ориентировкой в задании в процессе выполнения проб основной серии (табл. 2).

Таблица 2

Средние значения психофизиологических показателей для группы с быстрой и медленной ориентировкой

Характеристика группы по ориентировке в задании	Число посаженных «самолетов»	Величина перерегуляции по первым десяти пробам	Величина перерегуляции по последним десяти пробам	Уменьшение перерегуляции (в %%)
Быстрая	22	17,3	4,3	75
Медленная	19	18,1	14,5	20

Из табл. 2 видно, что испытуемые с быстрой ориентировкой посадили больше «самолетов» в основной серии. Показано (доверительная вероятность 0,98), что в начале основной серии у обеих групп величины степени перерегулирования приблизительно одинаковые (17,3 и 18,1). Но к концу серии проб значение данного показателя у испытуемых с быстрой ориентировкой существенно уменьшается (с 17,3 до 4,3, т. е. в среднем в 4 раза). У испытуемых же с медленной ориентировкой эта тенденция выражена слабо (с 18,1 до 14,5).

Представляет интерес также динамика биогенных аминов в крови в обеих группах (табл. 3).

Таблица 3

Среднее содержание биогенных аминов (в нг/мл) и их соотношение в крови в фоне (числитель) и после серии проб (знаменатель) в обеих группах

Характеристика группы по ориентировке в задании	Норадреналин (НА)	Адреналин (А)	Серотонин (С)	НА/А	$\frac{НА+А}{С}$	А/С	С/НА
Быстрые	$\frac{0,78}{1,24}$	$\frac{0,28}{0,35}$	$\frac{74,0}{1[illegible]2,0}$	$\frac{2,786}{3,543}$	$\frac{0,014}{0,008}$	$\frac{0,004}{0,002}$	$\frac{94,9}{154,8}$
Медленные	$\frac{0,80}{0,96}$	$\frac{0,30}{0,44}$	$\frac{72,0}{108,0}$	$\frac{2,667}{2,182}$	$\frac{0,015}{0,013}$	$\frac{0,004}{0,004}$	$\frac{90,0}{112,5}$

В обеих группах произошло увеличение содержания в крови НА, А, С. Однако в «быстрой» группе А увеличился всего на 25% по сравнению с фоном, С — на 160%, НА — на 59%, в «медленной» же группе А увеличился уже на 47%, а С и НА — соответственно на 50% и 20%. Обращает на себя внимание значительное увеличение в крови испытуемых соотношения С/НА.

По данным литературы [4—7, 15, 17] в мозге животных и человека имеются серотонинергические и адренергические системы. Эндогенный С способствует концентрации внимания к сенсорному раздражителю и участвует в механизме воспроизведения следов. При увеличении в крови С, НА и А происходит улучшение кратковременной памяти [10]. Через адренергические структуры задних ядер гипоталамуса осуществляется общее возбуждение коры мозга, характерное для первой фазы ориентировочной реакции [6]. Экскреция НА увеличивается в стрессовых ситуациях — при посадке пилотами самолетов на авианосец [19]. При отрицательных эмоциях, вызываемых просмотром фильмов и телепрограмм с сюжетами насилия, А в крови увеличивался на 50,3%, НА — на 25,6% [16]. Перед полетом повышалась экскреция А у нетренированных летчиков, а у тренированных этого не наблюдалось; в полете же экскреция адреналина увеличивалась у всех летчиков, но сильнее у нетренированных [20].

Резюмируя данные литературы и собственные результаты, можно предположить, что наблюдающийся сдвиг распределения в крови физиологически активных аминов (С, НА, А) у лиц с быстрой ориентировкой обеспечивает положительное изменение селективного внимания, памяти и выработки навыка управления объектом. У лиц с медленной ориентировкой больше увеличивался А, с чем, возможно, связано распространение возбуждения по всей коре, характерное для первой фазы ориентировочной реакции. Отсюда ясно, почему этим лицам требовалось большее количество попыток, чтобы успешно посадить первый «самолет», и у них отсутствовал переход на управление этим объектом путем экстраполяции его движения.

Представляется целесообразной следующая интерпретация обнаруженных различий между группами. У испытуемых с быстрой ориентировкой процесс формирования навыка происходит быстрее. К концу основной серии они, по-видимому, переходят на способ управления путем предвосхищения (прогнозирования) движения управляемого объекта, в то время как испытуемые с медленной ориентировкой продолжают управлять действием объекта, корректируя фактическое расхождение меж-

ду объектом и целью. Сенсомоторный механизм этого явления можно понять в свете представлений, предложенных Н. А. Бернштейном [3], П. К. Анохиным [1], Жаном Лепля [9]. В ЦНС человека для каждого действия имеется адекватный уровень построения движения, способный реализовать основные сенсорные коррекции этого акта, соответствующие его смысловой сущности. По мере выработки навыка управления в его выполнении начинает принимать участие целая иерархия уровней. Наивысший из них для данного навыка—это «ведущий уровень» (Н. А. Бернштейн). Он берет на себя реализацию основных смысловых коррекций. Подчиненные ему нижележащие уровни обеспечивают выполнение вспомогательных, технических коррекций, это — «фоновые уровни». Обычно в поле сознания попадает только содержание ведущего уровня двигательного акта, а коррекции фоновых уровней остаются неосознанными. Естественно, чем выше уровень, тем больше в нем компонентов сознательности и произвольности. Но обычно фоновые составляющие нужно построить, их нет в готовом виде на низшем уровне. Например, при обучении машинописи происходит преобразование действий на основании развития перцептивного контроля. Вначале этот контроль в основном экстрацептивный (ему нужны внешние опоры). Испытуемый часто смотрит на клавиатуру, и ему очень мешают обстоятельства, препятствующие использованию зрения. Затем контроль становится все более проприоцептивным, причем сами реакции (вызываемая ими кинестезическая афферентация) делаются сигналом для последующих реакций. Использование последовательности реакций позволяет испытуемому уменьшить число стимулов, необходимых для регулирования движения, и составляет важный фактор увеличения скорости. П. К. Анохин говорит о неудержимом процессе «сужения афферентации» в стадии упрочения сложившейся функциональной системы. Этот процесс проявляется в том, что из многих афферентаций выделяется и сохраняется «ведущая афферентация», которая оказывается достаточной для поддержания центральной интеграции, необходимой для обеспечения данной деятельности. «Принцип ведущей афферентации» позволяет нам поэтому лучше понять образование совершенного автоматизированного навыка, делающего управление объектом динамически устойчивым. Всякий сложный профессиональный двигательный навык управления объектом обязательно обнаруживает использование антиципации (экстраполяции движения объекта). Анализ формирования навыка управления инерционным объектом показывает, таким образом, что оператор должен прогнозировать поведение этого объекта, т. е. построить в мозгу модель не текущего, а будущего его движения, перерабатывая для этого косвенную информацию (соотношение положения объекта относительно заданной полосы, его скорости и ускорения, интенсивности и продолжительности управляющего воздействия), которая им не осознается. «Почувствовать» систему и овладеть ей означает не что иное, как научиться эффективно использовать эту косвенную информацию для прогнозирования движения объекта.

3. Общее заключение

Выработка сложного двигательного навыка заключается в образовании сенсомоторных связей и автоматизации выполнения устойчивых элементов деятельности. Как было показано, формирование навыка управления движением инерционного объекта проходит, если не считать

обязательного для любого действия этапа ориентировки, через две фазы — фазу управления путем коррекции и фазу выработки экстраполяций. В первой из них преобладает сознательный контроль при опоре на зрение (на экстрацептивную сигнализацию). Биохимическое обеспечение этой фазы заключается в преимущественном увеличении в крови адреналина, с чем связано распространение возбуждения по всей коре и что характерно для начальной стадии ориентировочной реакции. Фаза экстраполяции (предвидения) означает более высокую ступень сформированности навыка управления. Роль контроля сознания на этой фазе уменьшается, ограничиваясь инициацией действия и сличением его фактического результата с ожидаемым [2], для чего оператор должен построить в мозгу модель не текущего, а будущего движения на основе косвенной информации. Выполнение всех основных компонентов действия (выработка представлений о положении объекта относительно цели, его скорости и ускорении, интенсивности и продолжительности управляющих воздействий) осуществляется при этом оператором на неосознаваемом уровне с использованием преимущественно проприоцептивного контроля. Эти неосознаваемые оператором регуляции отличаются большей скоростью и точностью, чем управление на осознаваемом уровне. Эти данные соответствуют фактам, полученным Н. А. Бернштейном [3] при анализе биомеханической и электромиографической структуры различных видов движений. Биохимическое обеспечение этой фазы заключается в преимущественном увеличении в крови серотонина, способствующего концентрации селективного внимания, процессов фиксации и воспроизведения информации, а также норадреналина, необходимого для реализации сложного двигательного навыка управления.

С точки зрения структуры деятельности в процессе выработки навыка происходит укрупнение ее операциональных единиц. Каждый двигательный акт, который вначале осваивается как самостоятельное действие с развернутой ориентировочной фазой, в процессе тренировки превращается в слитный двигательный акт (операцию), протекающий как единое целое. Сформировавшаяся операция в качестве элемента входит в структуру более сложного действия, выступая по отношению к нему как средство достижения цели действия [8]. В случае изменения внешних условий, которые резко затрудняют выполнение привычных действий, ориентировочная основа действия снова разворачивается и те двигательные компоненты, которые в сложившемся действии протекали как автоматизированные операции без постоянного контроля сознания, вновь начинают осуществляться под контролем сознания (дезавтоматизация) [2]. После внесения необходимых изменений в программу осуществления действий и приведения их в соответствие с объективными требованиями ситуации они опять могут быть автоматизированы с использованием проприоцептивного управляющего кода и соответственно уйти из сферы сознания. Однако адекватное построение деятельности предполагает, что в сознании имеется ее смысловая структура (узловые моменты), а все фоновые (технические) координации выполняются на основе проприоцептивного контроля.

Полученные экспериментальные данные, освещающие особенности динамики осознаваемых и неосознаваемых компонентов процесса формирования навыка управления в условиях эмоционального напряжения, заставляют нас сделать вывод о том, что отвлекаясь от проблемы соотношения осознаваемого и неосознаваемого в деятельности, мы закрываем путь к пониманию подлинной функциональной структуры любо-

го целенаправленного приспособительного акта человека.

Все же изложенное выше, в целом, позволяет заключить, что «осознаваемое» и «неосознаваемое» не представляют собой двух самостоятельных, независящих друг от друга сфер психики человека, а являются отражением сложной и динамичной организации деятельности. Признавая это, мы тем самым признаем неадекватность традиционных представлений, противопоставлявших произвольную активность непроизвольной, осознаваемых функций неосознаваемым, а, следовательно, признаем необходимость выяснения подлинных, зачастую глубоко скрытых, взаимоотношений описываемых этими терминами важнейших компонентов функциональной организации поведения.

A STUDY OF THE HUMAN CONTROL OF AN INERTIAL OBJECT IN THE LIGHT OF CURRENT CONCEPTIONS OF THE UNCONSCIOUS

Yu. M. PRATUSEVICH, A. V. SOLOVYOV, K. A. LISITSYNA

Institute of Hygiene of Children and Adolescents, Ministry of Health of the USSR

SUMMARY

An experimental study of the relationship between conscious and unconscious components in the formation of a sensorimotor skill, as well as of the physiological and biochemical aspects of the process, has revealed three phases. During the first phase conscious components play an important part. Later, when the operator can anticipate the movement of the object, the role of conscious control diminishes substantially. This phase is characterized by certain biochemical changes—primarily by an increase of serotonin in the blood, facilitating attention and memory. The results lead to the conclusion that the conscious and the unconscious in human performance are interconnected and interdependent.

ЛИТЕРАТУРА

1. АНОХИН П. К., Ученые записки МГУ, 1947, т. II, вып. 3, стр. 32.
2. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
3. БЕРНШТЕЙН Н. А., Очерки по физиологии движения и физиологии активности, М., 1966, стр. 160.
4. ГАСАНОВ Г. Г., ИСМАЙЛОВА Х. Ю., МЕЛИКОВ Э. М., В сб.: Память и следовые процессы, Пущино-на-Оке, 1974, стр. 109.
5. ГРОМОВА Е. А., В ж.: Успехи физиологических наук, 1970, т. I, № 3, стр. 25.
6. ГРОМОВА Е. А., В сб.: Всес. совещ. по проблемам высш. нервн. деятел., XXIV, Матер. симпозиумов, М., 1974, стр. 13.
7. ГРОМОВА Е. А., ЗЕМЦОВА Н. А., ЗЫКОВ М. Б., СЕМЕНОВА Т. П., ВЕКШИНА Н. Л., В сб.: Стресс и его патогенетич. механизмы, Кишинев, 1973, стр. 62.
8. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., В ж.: Вопросы философии, 1972, № 9, стр. 95; № 12, стр. 129.
9. ЛЕПЛЯ Ж., В кн.: Экспериментальная психология. Ред. П. Фресс и Ж. Пиаже, вып. 1—2, М., 1966, стр. 375.
10. ЛИСИЦЫНА К. А., АЛЕКСЕЕВА Л. А., ЛЕОНОВА А. Б., ПРАТУСЕВИЧ Ю. М., СОЛНЦЕВА Г. Н., В сб.: Эргономика, Тр. ВНИИТЭ, вып. 7, М., 1974, стр. 88.
11. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тб., 1967.

12. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
13. ЧИЛИНГАРОВ А. О., КОМЕТИАНИ П. А. Вопросы медиц. химии, 1974, I, с. 31.
14. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Том I Опыт исследования на основе данных психологии установки, Тб., 1969; том 2: Опыт интерпретации и изложения общей теории, Тб., 1973.
15. APRISON, M. N., HYNGTEN, J. N., Int. Rev. Neurobiology, 1970, v. 13, p. 325.
16. CARRUTHERS, M., TAGGART, P., Brit. Med. J., 1973, № 5876, p. 384.
17. FUXE, K., HOKFFELT, T., UNGERSTEDT, U., Int. Rev. Neurobiology, 1970, v. 13, p. 93.
18. KETY, S. S., In: Ultrastructure and Metabolism of the Nervous System, Baltimore, 1962, p. 311.
19. RABIN, R. T., MILLER, R. G., CLARK, B. R., POLLAND, R. E., ARTHUR, R. J., Psychosom. Med., 1970, v. 32, № 6, p. 589.
20. SARVIHARJA, P. J., HUIKK, M. E., JOUPPILA, P. I., KAERKI, N. T., Aerospace Med., 1971, v. 42, № 12, p. 1297.

151

ОСОЗНАННОЕ И НЕОСОЗНАННОЕ В СВЕТЕ ТЕОРИИ ОТРАЖЕНИЯ

К. К. ПЛАТОНОВ

Институт психологии АН СССР, Москва

Афоризм Декарта «мыслю, следовательно, существую» был им только сформулирован, в других же словах, выражающих другие понятия, а вначале и без понятий и слов, он переживался каждым человеком с того времени, как появился Homo sapiens. То, что мы теперь называем тремя атрибутами сознания: переживание, познание и отношение,— первые реальности, данные человеку. Стремление передать эту реальность и дополнить ее сведениями, получаемыми от других участников коллективного труда, привело к формированию речи [15, 137—140]. Гениально понятые В. И. Лениным возможности идеализма и религии, заложенные «в первой элементарной абстракции», в «отлете фантазии от жизни» [10, т. 29, 329—330], были в дальнейшем подчеркнуты и И. П. Павловым с позиций взаимодействия I и II сигнальных систем [12, 318].

Если осознанное было и остается поныне для человека реальностью, то, напротив, ни первобытный, ни современный человек непосредственно познать причины своих импульсивных и высокоавтоматизированных действий не может. Так у человечества зародились идеи о «подсознательном» и «бессознательном». Эти идеи всегда были оплотом идеализма, от концепций Платона и Августина до Гартмана, давшего в 1869 г. обзор понимания бессознательного [6]. С его времени термин «подсознательное», впервые примененный в 1776 г. Э. Платнером, стал обычно рассматриваться как синоним бессознательного. Он был уточнен Фехнером, предложившим понятие «порог сознания», подкрепленное образом «души-айсберга», большая часть которого находится под водой и который управляется подводными течениями. Этот образ и лег в основу гормической (глубинной) психологии. У Фрейда он сомкнулся с его «топографическим» пониманием психики. «Подсознание» заняло во «внутрипсихическом пространстве» ведущее место.

«Намечая логические фазы развития идеи «бессознательного», следует прежде всего напомнить, что эта идея оказалась интимно связанной у своих истоков с теориями идеалистического направления, рассматривавшими «бессознательное» как некое космическое начало и основу жизненного процесса» [3, 16]. Эти слова Ф. В. Бассина глубоко и сжато говорят об истории обсуждаемой проблемы. Но ведь явления, искаженно отражаемые в религии и идеализме, все-таки реально существуют, — время, когда их замалчивали, прошло.

Одна из важных теоретических задач, стоящих сейчас перед психологией, опирающейся на марксистскую философию и на ряд смежных наук (нейрофизиологию, психиатрию, педагогику), — осмыслить эти

реальные явления. Исходным положением для этого (как и для построения всей системы психологии) являются слова Энгельса: «Так называемая объективная диалектика царит во всей природе, а так называемая субъективная диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения» [11, т. 20, 526]. Это положение, как известно, было развито Лениным, записавшим в «Философских тетрадях», что «диалектика вещей создает диалектику идей, а не наоборот» [10, т. 29, 178], что «в понятиях человека своеобразно (это своеобразно и диалектически!!) отражается природа» [10, т. 29, 257] и что «каждое понятие находится в известном отношении, в известной связи со всеми остальными» [10, т. 29, 179].

Последнее положение Ленина ставит перед марксистской психологией задачу все понятия, отражающие явления, которые в домарксистской психологии назывались терминами «бессознательное» и «подсознательное», не только переосмыслить в свете теории отражения, но и включить в единую систему психологических понятий, из этой теории вытекающую.

Мне уже довелось ставить вопрос о необходимости уточнения коллективными усилиями основной системы понятий и категорий в психологической науке [16]. Все расширяющееся обсуждение этой книги [5, 148—150; 4, 177—179; 25, 88—90] понудило меня выйти из рамок общей психологии в область педагогики [19, 111—120] и социальной психологии [20; 14а, 72—88; 14б, 3—17]. В настоящем сообщении я продолжаю работу над единой системой психологических понятий, считая, что закончить ее можно только коллективными силами. Потому я должен буду кое-что повторить из того, что было изложено в этих работах, чтобы, дополняя, не потерять единой системы. Уже с первых шагов я буду опираться на системно-структурный анализ. В его основе лежат понятия целого, его элементов, группируемых в необходимое и достаточное число подструктур разного порядка (так как каждая из подструктур может быть взята за целое и иметь свои подструктуры) и связей между элементами, подструктурами и целым.

Основное целое, с которого может быть начат дальнейший анализ,— это человек. Основанием для этого являются слова Маркса: «Предпосылки, с которых мы начинаем — не произвольны... это — действительные индивиды... предпосылки эти можно установить чисто эмпирическим путем» [11, т. 3, 18]. Взяв человека за целое, все бесчисленное число его свойств, понимаемых как элементы этого целого, может быть уложено в две необходимые и достаточные подструктуры. Одна из них подчинена законам физической и физиологической форм отражения — это подструктура человека как организма. Вторая подструктура подчинена законам психического отражения, принявшего у человека свою высшую форму — форму сознания. Это — подструктура человека как личности.

В каждой науке надо различать, что ей задано для познания и что дано ей смежными науками. Человек как организм для психологии не столько задан, сколько дан, будучи заданным другим наукам. Но и она не может не включить его в систему своих понятий, поскольку деятельность — третья после сознания и личности психологическая категория — является функцией не только личности, но человека в целом. Когда говорят о деятельности, например, сердца или нервной системы, даже о высшей нервной деятельности, то это слово употребляют не как точный научный термин. Говоря об отдельных системах и органах

человеческого организма или о животных, надо употреблять точный термин — жизнедеятельность.

Деятельность — это такое взаимодействие человека с окружающим его миром, в процессе которого он достигает сознательно поставленных им целей. Понятие деятельности применимо только к человеку. Это ее определение вытекает из понимания Марксом процесса труда, как основной деятельности человека [11, т. 23, 189] и из слов Ленина, которыми он уточнил записанную им в «Философские тетради» мысль Гегеля: «Сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» словами—«т. е. что мир не удовлетворяет человека и человек своим действием решает изменить его» [10, т. 29, 194—195].

Из приведенного понимания деятельности вытекает и такое ее определение: деятельность — это решение человеком осознанной задачи. При этом под задачей понимается цель, поставленная в конкретных условиях. Однако это определение менее четкое и скорее относится не к деятельности, а к действию.

В излагаемой системе понятий действие, являющееся элементом деятельности, определяется элементарной, не разложенной на более простые, но осознанной целью. Каждое действие, взятое как целое, имеет свои подструктуры, которыми являются его цель, мотив, способ, результат. Эта цепь определяется не только их временной взаимосвязью, но и сложными соподчинениями.

В этой системе понятий надо определить и навык — как действие, изменившее свою структуру в процессе его повторения, упражнения и обучения ему. Так формируемый навык в итоге становится способом выполнения более сложного действия, которое, в свою очередь, может стать навыком.

Уточним еще несколько понятий из системы, входящей в категорию деятельности, взятой за целое.

Определение цели уходит своими корнями в ее понимание Аристотелем, который писал: «Кроме того, о причине говорится в смысле цели, а цель — это то, ради чего...» [2, 70]. При этом надо различать цель как объективное явление и как субъективное.

Цель как объективное явление — это тот реальный результат, который должен быть достигнут как в процессе индивидуальной или групповой деятельности людей, так и поведения животных или работы машины.

Цель как субъективное явление может существовать только у организмов, наделенных способностью психического отражения объективного мира, в том числе и объективных целей.

Мотив — это психическое явление, ставшее внутренним побуждением к деятельности. Как и все психические явления, он может быть: кратковременным психическим процессом, состоянием и свойством личности. В последнем случае мотив деятельности одновременно является свойством направленности личности. Мотивы чаще всего смешивают со стимулами.

Стимул — это явление объективной реальности, которое, отражаясь сознанием, становится мотивом. Причем, одни и те же стимулы у различных личностей, да и у одной, но в разное время, могут стать весьма различными мотивами.

Поскольку и деятельность, и действия могут быть как внутренние, психические, так и внешние, предметные, они могут иметь и

соответствующие результаты. Но внутренняя деятельность есть и результат, и предпосылка предметной деятельности.

Все сказанное о деятельности относится не только к деятельности отдельных индивидов, взятых самих по себе, но и к деятельности группы. Однако последняя оказывает обратное влияние на каждого индивида, в частности на его деятельность, и потому не является простой суммой индивидуальных, внегрупповых деятельностей. Как было сказано, деятельность — это функция человека в целом. Вне личности деятельности нет.

Личность — это та совокупность достаточно стойких психических процессов, которая, находясь между стимулом и реакцией, превращает у человека стимул в объективную цель деятельности, а реакцию — в саму деятельность (подробнее см. [13, 190—217]).

Наиболее кратким и вместе с тем наиболее емким определением личности как подструктуры человека, не тождественной ему в целом, я считаю следующее: личность — это человек как носитель сознания. Причем, личностью, хотя и в разной степени развитой и полноценной (а иногда и биологически и социально больной), является каждый. Вопрос о том, когда новорожденный становится личностью, я разберу ниже. Сейчас же надо только отметить, что это происходит одновременно с формированием у него сознания.

Я не буду здесь излагать уже не раз публиковавшуюся концепцию динамической функциональной структуры личности (о ней подробнее см. [17, 75—101]). Но здесь надо остановиться на важнейшей взаимосвязи четырех основных подструктур личности со специфическими для каждой из них видами их формирования.

Формирование психики — это процесс ее изменения и развития в результате внешних на нее воздействий. В этом отличие формирования от созревания, обусловленного генным фондом. Надо различать три вида формирования: стихийное, целенаправленное и самоформирование. Формирование и созревание психики — это две подсистемы психологической категории развития психики. Есть четыре иерархически связанных и субординированных вида формирования личности: тренировка (как повторение), упражнение, обучение и воспитание. Они специфичны для 4-х подструктур личности (подробнее см. [16, 165—185]).

Такова система основных психологических категорий и понятий, уточнение которых необходимо для более глубокого раскрытия сознания как психологической категории.

Сущность этих категорий в том, что они являются предельно широкими понятиями. Производным от этого их свойства является их второе свойство — их тесная, кольцевая взаимосвязь, которая в процессе познания отражаемых ими явлений может «разрубаться» по любому из звеньев этого кольца. Категории личности и деятельности теснейшим образом связаны с категорией сознания, входящего в их определения: личность — это человек как носитель сознания, деятельность — это взаимодействие человека и мира, в процессе которого он достигает сознательно им поставленных целей.

Сейчас, особенно после симпозиума по проблемам сознания [22], стало общепризнанным, что «сознание — это высшая форма отражения, сознание не просто сумма отдельных психических функций» [22, 305]. Но для понимания дальнейшего необходимо уточнить понятия субъективное и идеальное.

Субъективное — это обязательный компонент любого психического явления как формы психического отражения. Возникновение элементарного «субъективного» ознаменовало у животных появление (на основе физиологических форм отражения, и в частности раздражимости) пусть простейшей, но психической его формы. Есть основания считать, что исходно эта была простейшая эмоция в форме переживания. Ощущение как «субъективный образ объективного мира» [10, т. 18, 120], как простейший феномен познания, это филогенетически более позднее психическое явление, требующее более сложных морфологических образований в виде органов чувств. Переход от физиологических форм отражения к психическим, как появление субъективного, можно наблюдать в момент перехода от глубокого сна без сновидений к бодрствованию.

Идеальное — это высшее проявление субъективного, свойственное только человеку. Оно имеет два атрибута: во-первых, субъективный образ ранее познанного, познаваемого или созданного воображением как ожидаемого и ставшего целью деятельности, во-вторых, это осознанное субъективное противопоставление «Я» и «Не Я».

Все идеальное субъективно, но не все субъективное даже у человека идеально. В первые моменты пробуждения (это особо отчетливо можно наблюдать при пробуждении от наркоза или обморока) ранее возвращается субъективное, чем идеальное. Субъективное имеется у пятимесячного плода, вынутого из чрева матери [1, 221—292], а идеальное появляется у ребенка только в процессе его игровой деятельности и общения. Вместе с тем именно наличие идеального образа наиболее отличает, как писал К. Маркс, ткача от паука и архитектора от пчелы, а иначе говоря, человека, обладающего сознанием, от животных, обладающих психикой, еще не ставшей сознанием. Противопоставление «Я» и «Не Я» лежит в основе самосознания и завершается чувством долга, основанным на понимании своей роли в обществе.

В сознании, взятом за целое, можно выделить 4 подсистемы, необходимые и достаточные для того, чтобы в них уложились все его проявления как элементы.

1-я подсистема — атрибуты сознания, вне которых оно не существует: переживание, познание и отношение. В эмоциях и чувствах в большей степени проявляются переживания и отношения, в ощущениях, восприятиях и в мышлении — познание, в воле — отношения, как «обратная связь» отражения с миром. Но когда речь идет о сознании в целом или об акте сознания, они всегда, хотя и в разных соотношениях, включают в себя все эти три атрибута.

2-я подсистема — функция сознания как субъективный компонент психических функций: памяти, эмоций, ощущений, мышления, восприятий, чувств, воли, которые являются одновременно формами психического отражения у человека, активируемыми потребностями, организуемыми и управляемыми вниманием, объективизируемыми психомоторикой и составляющими в совокупности психику человека. Вот почему сознание не может отождествляться со всей психикой человека, как это нередко делается (и как ранее считал и я), а должно пониматься как целостный субъективный компонент психики человека. Поэтому же существует принцип единства (а не тождества) сознания и деятельности, в том числе и внутренней, идеальной, и внешней, предметной деятельности.

3-я подсистема — динамика стойкости сознания: от

кратковременных и реактивных процессов сознания, через более стойкие состояния сознания и до наиболее стойких личностных свойств сознания.

4-я подсистема — у р о в н и я с н о с т и с о з н а н и я: от полной потери сознания во время обморока и под наркозом, через различные психические, но неосознанные явления (о них речь ниже), патологические изменения и явления спутанного сознания, до явлений ясного сознания, высшими формами которого являются вдохновение и творческое озарение.

В структуре каждого а к т а с о з н а н и я как акта психического отражения человеком мира, являющегося срезом потока сознания, всегда участвуют элементы этих четырех подсистем, но в их различном соотношении.

После изложенного можно включить в эту систему и понятие «н е о с о з н а н н о е».

Осознанность и неосознанность психических явлений у человека не являются альтернативой, а имеют, в соответствии со степенью ясности сознания, определенные градации, переходы. Более того, обычное сознание фактически непрерывно изменяется по степени своей ясности, в диапазоне от низкого уровня при т. н. просоночных состояниях и сне до высокого в периоде творчества. Переход от частичной неосознанности к полной — это, по существу, переход от психической формы отражения к физиологической.

Достаточно четкой и общепризнанной классификации неосознанных явлений человеческой психики еще нет. Более того, многие неосознанные явления вообще не изучаются. Об этом писал в предисловии к нашей с Ф. В. Бассиным книге Вольфганг Кречмер, отмечая, что мы «исследовали тему, которую старательно обходят в науке и вне ее и которая часто рассматривается вообще как ненаучная» [31, 9].

Опираясь на кратко изложенную выше систему психологических понятий и системно-структурный подход ко всем неосознаваемым явлениям человеческой психики, можно наметить следующие необходимые и достаточные подсистемы.

Первая подсистема — это психические явления, гомологичные таковым у животных и либо е щ е не социализировавшиеся и не ставшие осознанными (у ребенка), либо «прорвавшиеся» через социальные наслоения (у взрослых) в виде импульсивных непроизвольных и по своим психологическим механизмам и н с т и н к т и в н ы х действий. Сюда же относятся и все неосознанные или малоосознанные действия в условиях снижения ясности («помрачнения») сознания, например в результате алкогольного опьянения.

Вторая подсистема — это психические явления, вызванные с у б с е н с о р н ы м и воздействиями типа либо уже хорошо изученных субсенсорных условных рефлексов [7], либо еще почти не изученных реакций на невоспринимаемые осознанно, из-за краткости их демонстрации, но, тем не менее, достаточно, по-видимому, эффективные рекламы, вставляемые экспериментально в кинофильмы. Сюда же относятся и явления типа использованных в известном опыте физика Р. Вуда с генератором инфразвука, включение которого сорвало спектакль [24, 28].

Третья подсистема неосознанных явлений — это большая и весьма разнообразная группа психических и л л ю з о р н ы х явлений. До сих пор часто под иллюзиями понимают только иллюзии восприятия, забывая, что есть иллюзии памяти, мышления, чувств и воли. К последним, например, относятся идеомоторные действия. И л л ю з и и — это любые

искаженные в силу внутренних психологических причин отражения реального мира. В эту группу входит большое число иллюзий мышления, определяемых верой и суггестией.

Вера — это чувство, создающее иллюзию познания и реальности того, что создано фантазией с участием этого же чувства [18, 81 — 107]. Религиозная вера — это только ее частный случай. «Всякая религия является ничем иным, как фантастическим отражением в головах людей тех внешних сил, которые господствуют над ними в их повседневной жизни, — отражением, в котором земные силы принимают форму неземных» [11, т. 20, 328]. Это классическое определение религии, данное Энгельсом, включает и определение суеверий и вообще всех иллюзий мышления, вызванных верой.

Суггестия — это усвоение суггерендом без критики и сопротивления определенной идеи суггестора. Это может быть логосуггестия — словесное внушение, внушение жестом, внушение, возникающее при подражании, которое также относится к неосознаваемым явлениям и иногда неправомерно противопоставляется внушению (хотя оно и не тождественно последнему как нетождественны часть и целое). Различают гетеросуггестию и аутосуггестию; последняя сейчас привлекла к себе внимание в форме т. н. аутогенной тренировки, которую лучше и точнее называть психосоматической тренировкой [27, 287—292]. Термин суггестия сейчас быстро вытесняет ранее принятый в русской научной литературе термин внушение.

Четвертая подсистема неосознанных психических явлений — это ранее осознанные явления, уже ставшие в силу их внутреннего развития неосознанными и принявшие форму автоматизированных действий — навыков и привычек. Я выделил в первой подсистеме разрядкой слово «еще», а в этой последней — «уже», так как она, замыкая ряд подсистем неосознанных явлений человеческой психики, позволяет лучше понять их общую сущность.

На этом краткое рассмотрение системы психологических понятий, построенной в свете теории отражения и включающих понятия осознанного и неосознанного, может быть закончено. Остается рассмотреть их взаимосвязь с формированием личности.

Принцип сознательности обучения и воспитания, т. е. опора всех обеспечивающих их педагогических мероприятий на осознанных явлениях — незыблемая основа марксистской педагогики. Однако этот принцип отнюдь не исключает необходимости использования при всех видах формирования личности и неосознаваемых ею влияний и формирование у нее неосознаваемых действий. Более того, последнее, понимаемое как формирование полезных бытовых, нравственных и профессиональных высокоавтоматизированных навыков, умений и привычек, без которых нет ни высокой культуры личности, ни ее мастерства, представляет собой, в известной мере, конечную цель педагогического процесса.

Нельзя недооценивать в формировании личности и еще явно недостаточно изученные эффекты неосознанных влияний, полученные в детстве. Нет ли различия между психическими особенностями поколений, выросших под воздействием таких мелодий, как ноктюрны Шопена или пение соловья, и поколений, растущих под звуки магнитофонных и транзисторных битлсов и уличного шума, также воспринимаемых неосознанно, но возможно налагающих отпечаток на всю дальнейшую жизнь? Как научиться различать особенности личности, определяемые своеобразием этого эмоционального фона впечатлений, полученных в детстве?

Мы нередко не учитываем в достаточной мере значения, которые имеют в эмоциональном воспитании человека фон чисто убранной классной комнаты, аккуратно повешенных и со вкусом выполненных таблиц и учебных пособий, хорошо протертых зеркал, окон и т. п. Учитель, неряшливо, кое-как выполняющий записи на доске, бессознательно наносит этим, возможно, непоправимый вред своим ученикам.

Быть может, правы молодые родители-англичане, встреченные мною в Лондонской национальной галерее с грудным ребенком в коляске перед полотнами Леонардо да Винчи и Рафаэля. На мой удивленный вопрос о ребенке они ответили: «Мы хотим, чтобы он уже с этих пор воспринимал прекрасное!» Я думаю, что нужно приветствовать специалистов по педагогике, педагогической и социальной психологии [8; 9; 29; 30; 21; 26; 27; 28], которые все чаще стали обращаться к неосознанным явлениям человеческой психики, изучая их с марксистских позиций, а следовательно, прямо или косвенно с позиций теории отражения.

Примечание редакции

В классификации форм неосознаваемой психической деятельности, предлагаемой К. К. Платоновым (непроизвольные импульсивные действия, субсенсорные реакции, иллюзии, автоматизмы), отсутствует понятие неосознаваемого мотива и неосознаваемой психологической установки. Нельзя, однако, не отметить, что игнорируя проблему неосознаваемых мотивов и психологических установок, мы отвлекаемся, по-существу, от того основного, что вообще заставляет рассматривать неосознаваемые формы психической деятельности, проблему неосознаваемого психического, как проблему психологии. Неосознаваемость импульсивного, инстинктивно обусловленного поведения или явления суггестии представляет большой интерес для неврологии и клиники; реакции на субсенсорные стимулы и многие иллюзии выступают в значительной степени как феномены психофизиологического порядка, — но только существование неосознаваемых мотивов и психологических установок придает бессознательному значение фактора, без учета которого мы заранее закрываем себе путь к пониманию важных закономерностей душевной жизни человека. Это обстоятельство все отчетливее понимается не только психологией, но и современным искусством (см., например, очень показательную в этом отношении статью В. В. Ивашевой, представленную для обсуждения на настоящем симпозиуме). Думается поэтому, что намеченные К. К. Платоновым общие контуры классификации неосознаваемого не должны рассматриваться как завершенная схема, не допускающая изменений и дальнейшего развития.

THE CONSCIOUS AND THE UNCONSCIOUS IN THE LIGHT OF THE THEORY OF REFLECTION

K. K. PLATONOV

Institute of Psychology, USSR Academy of Sciences, Moscow

SUMMARY

Dialectical transition from the physiological to the psychological level of reflection took place when, in the process of nervous system development,

there evolved within its frame most simple subjective awareness which progressed towards the ideal.

There is in man a sphere of varying degrees of subjective awareness which occupies a marginal position between the physiological and the psychological.

In the period of protoscience this marginal field gave birth to religion; in the pre-Marxist science it led to an idealistic approach to the unconscious. Its nature may be scientifically analysed only within the conceptual system of psychology founded upon the premises of the theory of reflection.

ЛИТЕРАТУРА

1. АНОХИН П. К., За творческое сотрудничество философов с физиологами. Ленинская теория отражения и современная наука, М., 1966.
2. АРИСТОТЕЛЬ, Метафизика, М., 1934.
3. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
4. БАССИН Ф. В., Философские науки, 1973, 4.
5. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Опыт систематического определения основных понятий психологии. Вопросы психологии, 1973, 2.
6. ГАРТМАН Э., Философия бессознательного, М., 1875.
7. ГЕРШУНИ Г. В., Исследования нейрофизиологических механизмов процесса различения внешних сигналов, М., 1964.
8. КУЛИКОВ В. Н., Вопросы психологии внушения в общественной жизни. Проблемы общественной психологии, М., 1965.
9. КУЛИКОВ В. Н., О педагогическом внушении. Иваново, 1968.
10. ЛЕНИН В. И., Полн. собр. соч., т. 29.
11. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Соч., т. 20.
12. Павловские среды, III, М.—Л., 1949, с. 318.
13. ПЛАТОНОВ К. К., Личностный подход как принцип психологии. Методологические и теоретические проблемы психологии, М., 1969.
14. ПЛАТОНОВ К. К., а) Личность как объект социальной психологии. В сб.: Методологические проблемы социальной психологии, М., 1975; б) Общие проблемы теории групп и коллективов и личность, М., 1975.
15. ПЛАТОНОВ К. К., О роли труда в «Минимуме человека». Вопросы зоопсихологии, экологии и сравнительной психологии, М., 1975.
16. ПЛАТОНОВ К. К., О системе психологии, М., 1972.
17. ПЛАТОНОВ К. К., Проблемы способностей, М., 1972.
18. ПЛАТОНОВ К. К., Психология и религия, М., 1967, с. 81—107.
19. ПЛАТОНОВ К. К., Структурное понимание саморегулирования процесса формирования личности. Проблемы управления процессов воспитания (материалы симпозиума), М., 1971.
20. ПЛАТОНОВ К. К., Что изучает общественная психология, М., 1971.
21. ПОРШНЕВ Б. Ф., Контрсуггестия и история — История и психология, М., 1971.
22. Проблемы сознания (материалы симпозиума), М., 1966.
23. Сознание (материалы обсуждения проблемы сознания на симпозиуме, состоявшемся 1—3 июня 1966 г. в Москве), М., 1967.
24. СОЛОВЬЕВА А. И., Основы психологии слуха, Л., 1972.
25. ЦАРЕГОРОДЦЕВ Г., ШИНГАРОВ Г., Система психологии и система мировоззрения, Наука и религия, 1974, 4.
26. ШВАРЦ И. Е., Внушение в педагогическом процессе, Пермь, 1971.

27. ШВАРЦ И. Е., Вопросы внушающего воздействия в педагогике, Пермь, 1972.
28. ШВАРЦ И. Е., Экспериментальные исследования педагогического внушения, Пермь, 1973.
29. ШЕРКОВИН Ю. А., Об убеждении и внушении в пропагандистском воздействии — Личность и массовые коммуникации, Тарту, 1969.
30. ШЕРКОВИН Ю. А., Убеждение, внушение и пропаганда — Вестник Московского университета, серия журналистики, 1969, 5, с. 35—39.
31. BASSIN, F. V., PLATONOV, K K., Verborgene Reserven des höheren Nervensystems, Stuttgart, 1973.

152

СОЦИАЛЬНО-ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО

А. Н. ДМИТРИЕВ, Э. Я. ДМИТРИЕВА

Куйбышевский педагогический институт, кафедра философии

Выяснение вопроса о структуре бессознательного имеет принципиально важное значение для решения как вопросов о содержании, природе и сущности самого бессознательного, так и органически связанных с ними проблем структуры психики в целом, сознания и структуры личности.

В качестве объекта исследования мы берем лишь бессознательное психическое, исключая все остальные формы неосознаваемого. Только в этом случае мы можем изучать качественно однородную структуру бессознательного как психического. Бессознательная психика и сознание выступают как качественно различные и взаимосвязанные противоположности. Как верно отмечает А. Е. Шерозия, «понятие бессознательного лишено смысла, если брать его независимо от понятия сознания, и наоборот, — это коррелятивные понятия. Во всяком случае понимание проблемы бессознательного принципиально зависимо от того, как будет понята проблема собственно сознания» [6, 385].

Рассмотрение проблемы бессознательного требует комплексного подхода, основанного на системно-структурном анализе; особое значение приобретает выявление гносеологического и социального аспектов этой проблемы, без которых нельзя выявить сущность бессознательного.

На наш взгляд, одной из наиболее глубоких и развернутых концепций бессознательного психического в советской философской и психологической литературе последних лет является концепция А. Е. Шерозия [7; 8; 9], нуждающаяся в специальном анализе. То же самое следует сказать об исследованиях проблемы неосознаваемой психической деятельности Ф. В. Бассиным [1].

А. Г. Спиркин выделяет в качестве структурных компонентов бессознательного неосознанные ощущения и восприятия, автоматизированные элементы деятельности, информацию, которая накапливается в качестве опыта и оседает в памяти, у с т а н о в к у, с ч и т а я е е к а р д и н а л ь н о й ф о р м о й п р о я в л е н и я б е с с о з н а т е л ь н о г о, а также мир сновидений и явления, изучаемые в гипнопедии [3].

В. А. Ядов, рассматривая вопрос о диспозиционной регуляции социального поведения личности, рассматривает в качестве системообразующего признака личностной структуры многообразие отношений индивида к условиям его деятельности. Он обоснованно включает установку в более широкую систему диспозиций, подчеркивая существование в ней следующих уровней:

1) низшего уровня — элементарных фиксированных установок, которые лишены модальности (переживание «за» или «против») и неосознаваемы (отсутствуют когнитивные компоненты);

2) второго уровня — системы социальных фиксированных установок;

3) третьего уровня — общей направленности интересов личности на ту или иную сферу социальной активности, или базовых социальных установок, которые содержат три компонента: когнитивный, эмоциональный (оценочный) и поведенческий;

4) высшего уровня — системы ценностных ориентаций на цели жизнедеятельности и средства достижения этих целей, детерминированные общими социальными условиями жизни данного индивида.

По мнению В. А. Ядова, «диспозиционная иерархия не структурируется из установок как из «кирпичиков», в которых замешаны три компонента: когнитивный, эмоциональный и поведенческий. Эти компоненты, отражающие основные свойства диспозиционной структуры, образуют как бы относительно самостоятельные подсистемы в рамках общей диспозиционной иерархии. Основанием к такому предположению служат экспериментальные данные исследования психологических установок» [10, 96].

Вопрос о социальных установках в школе Узнадзе в последние годы разрабатывается коллективом авторов под руководством Ш. А. Надирашвили, который выделяет следующие виды установок: установки практического поведения, установки теоретического поведения (установки познания), социальную установку, установку творчества, установку реализации психофизических сил. Социальные установки формируются в процессе общения личности с другими людьми в социальной среде.

Ш. А. Надирашвили указывает, что в результате экспериментального исследования был выявлен существенный признак установки, который характеризуется понятием валентности. Этот признак показывает, какое общеличностное отношение устанавливается в данный момент между человеком и действительностью на основе установки. Это установочное отношение выражается отношением принятия — непринятия. Ш. А. Надирашвили признает, что существуют как осознанные, так и неосознанные социальные установки [2].

Глубокое и развернутое исследование по структуре бессознательного и взаимосвязи сознательного и бессознательного дается Ш. Н. Чхартишвили. Развивая мысль Т. Рибо, который впервые выделил статическое и динамическое бессознательное, Ш. Н. Чхартишвили также подразделяет бессознательное на статическое и динамическое и дает их характеристику.

Статическое бессознательное имеет диспозиционный характер и объединяет врожденные и приобретенные образования, которые функционируют лишь время от времени. К врожденным относятся: одаренность, темперамент, врожденные влечения и склонности; к приобретенным — «личностные» особенности: характер, воля, моральные принципы, потребности и весь запас знаний и навыков, сохраняющихся в памяти. К динамическому бессознательному, тесно связанному со статическим, относятся «процессы, осуществляющие целесообразную регуляцию деятельности и оказывающие решающее влияние на течение сознательной душевной жизни... Для уяснения природы бессознательного более благодатный материал представляет динамическое бессознательное» [5, 27—28], которое автор рассматривает как установку.

«Статическое бессознательное следует представлять как возможность возникновения той или иной установки» [5, 60].

Ш. Н. Чхартишвили считает, что «установка получает текущую структуру, которая заполняет ее основной каркас и определяет свойства конкретных актов поведения. Но нельзя забывать, что сами перцептивные акты, вносящие в установку информацию об особенностях ситуации, являются производными от самой установки... У установки текущая структура. Детали установки, определяющие конкретные акты поведения, видоизменяются в пределах ее основного каркаса, вместе с движением сообразно со стимуляционными образами ею же производимых актов поведения» [4, 94—95].

В другой работе он отмечает, что установка сама производит акты мышления с тем, чтобы отразить структуру ситуации поведения и принять соответствующую ей организацию. Установка овладевает информацией, «является ее единственным искателем, добытчиком и потребителем» (разрядка наша. — **Авт.**). Установка, сохраняя до конца свой основной каркас, учитывающий только главную структуру ситуации, постоянно изменяется «в зависимости от того, какие стимуляционные образы вносят в нее осуществленные на ее основе акты поведения. Эта изменчивость является следствием не смены одной установки другой, а следствием одной и той же установки» [6, 360—361].

Признавая оригинальность и новизну взглядов Ш. Н. Чхартишвили в решении вопроса о структуре бессознательного, мы не можем во всем согласиться с ним. Во-первых, указанные им психические явления не входят в понятие установки и не объясняются ею. Во-вторых, мы не считаем моральные принципы, волю, знания бессознательными явлениями. На наш взгляд, врожденные и приобретенные особенности и свойства личности — темперамент, характер, воля, одаренность и т. д.— не являются собственно бессознательными и не входят в его сферу, не могут быть отнесены к специфическим формам существования бессознательного. Они оказывают влияние на протекание как сознательных, так и бессознательных психических процессов, придают им личностную и эмоциональную окраску, индивидуализируют их проявление. Но свойства личности нельзя рассматривать как специфические проявления непосредственно самой бессознательной деятельности. К статическому или динамическому бессознательному можно относить лишь конкретные формы существования бессознательного психического.

В-третьих, статическое бессознательное не является достаточным для возникновения установки. Это скорее одно из необходимых условий; возникновение установки невозможно без наличия потребности и ситуации ее удовлетворения, т. е. определяется не личностными особенностями, которые могут обусловить лишь специфику ее протекания, а взаимодействием субъекта с внешним миром.

Вместе с тем рассмотрение проблемы бессознательного в тесной связи с основными психологическими чертами личности, подход к бессознательному как к целостному личностному состоянию, которое связано с эмоциональными, волевыми и моральными качествами человека, является верным и перспективным. Относительно структурной и функциональной взаимосвязи сознательных и бессознательных психических процессов Ш. Н. Чхартишвили справедливо полагает, что бессознательные и сознательные психические процессы представляют собой структурные элементы единого целостного психического процесса, единого психического образования. Психические процессы, протекающие в сознании, и для самого их субъекта становятся понятными только

в этом целостном психическом образовании. Сознательные процессы всегда протекают в более широкой структуре, содержащей в себе и бессознательное.

По нашему мнению, правильно разделяя бессознательное психическое на статическое и динамическое, Ш. Н. Чхартишвили расширительно трактует сферу статического бессознательного и сужает сферу динамического бессознательного.

Он верно отмечает наличие в установке жестких и гибких компонентов и модификацию последних, зависящую от изменения структуры ситуации. Адекватным является и постулирование зависимости структуры установки в целом от отражения структуры объектов и структуры ситуации поведения. Однако при этом не рассматривается воздействие потребностей, мотивов и эмоций на организацию и изменение структуры установки. Трудно согласиться и с положением Чхартишвили о том, что установка осуществляет акты мышления, а не влияет лишь на их направленность и протекание, как и с тем, что установка является единственным искателем, добытчиком и потребителем информации. Это ведет к преувеличению роли установки в познании и деятельности субъекта и к недооценке роли других психических явлений и факторов в этих процессах.

В структуре психики выступают два основных уровня: сознательный и бессознательный. В свою очередь, в системе бессознательной психики можно выделить подсистемы статического и динамического бессознательного.

На наш взгляд, к статическому бессознательному относятся свойства памяти сохранять всю получаемую человеком информацию, сформировавшиеся навыки, психические автоматизмы, фиксированные установки, в том числе и социальные, неосознанные эмоции.

К динамическому бессознательному относятся неосознанные ощущения и восприятия, первичная, диффузная установка, невербализованные стадии процесса мышления, процесс интуиции и формирование навыков, неосознанные цели, мотивы поведения, неосознанные влечения и переживания, сновидения.

Для выяснения природы и сущности бессознательного более важный материал представляет динамическое бессознательное.

Статичность ряда явлений бессознательной психики не абсолютна, а относительна. Это означает, что они не являются неизменными образованиями, а лишь менее лабильны, чем подвижные, гибкие формы динамического бессознательного. Статическое бессознательное — это уже сформировавшиеся психические образования с относительно устойчивой и жесткой структурой. Однако они изменяются, развиваются, одни элементы этих структурных образований редуцируются и заменяются новыми, более соответствующими изменившимся условиям. Эти изменения вызываются деятельностью человека, в ходе которой изменяются и совершенствуются его навыки и возникают новые автоматизмы.

В ходе разнообразной деятельности возникает потребность в информации, находящейся в сфере статического бессознательного. Это ведет к перегруппировке всей имеющейся в памяти информации, к актуализации той ее части, которая имеет прямое отношение к цели поиска или решению определенной задачи. Другая часть информации, не относящаяся непосредственно к решению поставленной задачи, как бы отступает на второй план. Так как потребность в информации бывает самой различной в зависимости от вида деятельности и стоящей в данный момент перед субъектом задачи, то ее парциальная перегруппировка происходит постоянно, что ведет к изменению статического бес-

сознательного. Кроме того, количество информации постоянно возрастает в процессах отражения, познания и деятельности субъекта, что также вызывает частичные новые модификации в структуре статического бессознательного.

Основной функцией статического бессознательного является хранение и перегруппировка имеющейся в нем информации, сохранение сформировавшихся навыков и психических автоматизмов. Поскольку количество хранимой информации и вновь образовавшихся навыков в процессе деятельности человека неуклонно увеличивается, сфера статического бессознательного обладает тенденцией к расширению.

Функцией динамического бессознательного является не хранение, а получение, «доставка» информации (неосознаваемые ощущения и восприятия), ее переработка, обобщение (некоторые стадии процессов мышления) и «образование» новой информации на основе использования ранее полученной (процесс интуиции). Динамическое бессознательное принимает участие в процессе формирования навыков. В ходе этого процесса осознаются только те сенсорные коррекции, которые осуществляют смысловую, программную сторону образования навыков. Фоновые коррекции в ходе осваивания навыка переключаются на наиболее адекватный им бессознательный уровень и начинают осуществляться автоматически (Н. А. Бернштейн). Перевод навыков на стадию автоматизмов приводит к качественному улучшению осваиваемого действия. В процессе формирования навыки становятся все более автоматизированными и не требуют для своего осуществления участия сознания. Как только навык оказывается сформировавшимся, полностью автоматизированным, он переходит в статическое бессознательное. Но в нем он также не остается неизменным, он корригируется в ходе деятельности, обогащается, совершенствуется. Статическое бессознательное принимает опосредованное участие в процессах отражения, динамическое бессознательно участвует в них непосредственно.

Кроме статического и динамического бессознательного в психике человека обрисовывается также первичное и вторичное бессознательное. «Первичное» бессознательное — это собственно бессознательное, которое можно еще назвать предсознательным, досознательным или непосредственно бессознательным. Оно образуется в результате действия субсенсорных раздражителей в бодрствующем состоянии или сенсорных раздражителей в гипнотическом состоянии или сне. Для него характерно то, что в процессе своего образования оно не проходит через сферу сознания.

«Вторичное», или опосредованное, «послесознательное» бессознательное характеризуется тем, что ему предшествует сознательное отражение. Это — материал сознания, который перестал осознаваться, т. е. «перешел» в сферу бессознательного. При этом в сферу бессознательного переходят не сами сознательные психические процессы, а их содержание, та информация, которая в них содержится. Вторичное бессознательное в основном составляет статическое бессознательное, хотя оно и не совпадает с последним полностью, не тождественно ему, так как информация, хранящаяся в статическом бессознательном, может и не проходить через сферу сознания, а поступать в него из динамического бессознательного через неосознанные ощущения и восприятия.

Первичное бессознательное в большей мере характерно для динамического бессознательного, однако образованию установки могут предшествовать акты сознательного отражения. Вторичное бессознательное участвует в отдельных стадиях мышления, в процессах интуи-

ции. Но все эти процессы динамического бессознательного могут протекать и как первично бессознательные. В деятельности субъекта более важная роль принадлежит «послесознательному».

Следует подчеркнуть, что не всякое внедрение информации в бессознательную психику ведет за собой изменение ее структуры. Перестройку структуры бессознательного психического вызывает не любая информация, а лишь имеющая большое значение для личности, связанная с эмоциями, убеждениями и деятельностью субъекта (особенно с деятельностью предстоящей, будущей). Следовательно, существенные изменения в структуре бессознательного вызывает прежде всего социально-ценностно-значимая информация, вызывающая эмоционально-деятельностную реакцию личности. Информация эта носит не нейтральный, индифферентный, а значимый для личности характер, затрагивающий сущностную природу личности как общественного индивида.

Поступление подобного рода значимой для личности информации происходит, однако, относительно редко, и это обусловливает определенную устойчивость и стабильность как статического, так и динамического бессознательного. Отсюда не вытекает невозможность изменения структуры бессознательной психики под влиянием информации, значимой для индивида биологически (стресс, голод, опасность и т. д.). Но в этих случаях информация действует на изменение структуры бессознательного не в чистом, а в «снятом» виде, преломляясь через социальную сторону природы человека и подчиняясь социальной мотивации, определяющей динамику протекания психических процессов в сферах и сознания, и бессознательного. Так как оценка социально-ценностно-значимой информации может быть дана лишь сознанием, то на изменение структуры бессознательного большое влияние оказывают «послесознательная» информация и психические процессы, прошедшие через сферу сознания.

Досознательная психическая деятельность и содержащаяся в ней информация ведет в большей степени к количественному увеличению и расширению объема бессознательной психики. Качественное же преобразование функциональной структуры бессознательного происходит при решающей роли деятельности сознания в этом изменении.

В реальной душевной жизни человека мы не имеем в «чистом» виде таких проявлений бессознательной психики, как досознательное и послесознательное, статическое и динамическое бессознательное, так же как и различных уровней сознания, которых в психопатологии насчитывается разными авторами более 3-х десятков. Невозможность «чистого» функционирования сознания и бессознательного определяется прежде всего тем, что эти процессы протекают одновременно, что именно в своем единстве и взаимодействии они и образуют целостную систему человеческой психики. Их взаимодействие имеет в основном черты синергизма, хотя это и не исключает их антагонизма, который проявляется, когда активность осознанного и неосознанного действует не в одном направлении, а в различных, что чаще бывает при аффективном напряжении, переутомлении, стрессе и т. д. Однако антагонизм сознания и бессознательного является частным случаем, а не общим принципом психической деятельности.

Из всего сказанного вытекает, что психическая деятельность имеет в высшей степени сложный характер, развертываясь одновременно на разных уровнях — высших, сознательных, и низших, бессознательных. Понять ее можно, только учитывая качественное своеобразие, сохраняемое ею на каждом из этих уровней.

SOCIO-GNOSEOLOGICAL ASPECTS OF THE FUNCTIONAL STRUCTURE OF THE UNCONSCIOUS MIND

A. N. DMITRIYEV, E. DMITRIYEVA

Kuibyshev Pedagogical Institute, Kuibyshev

SUMMARY

Investigation of the functional structure of the unconscious serves to reveal the structure of the mind as a whole, as well as the structure of consciousness and personality. The author distinguishes the static and dynamic and the primary and the secondary unconscious in the structure of the unconscious; their functions are shown and changes in their structural elements, depending on the dialectics of consciousness and the unconscious, are indicated.

Essential changes in the structure of the unconscious are caused not by any, but primarily, by socially-valued information, evoking an emotional-creative reaction of the person. There are rigid (obligatory) as well as flexible (auxiliary) links in the mind. The social being determines not only social consciousness but also the social unconscious, the structure of the mind and the personality and their functioning.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
2. НАДИРАШВИЛИ Ш. А., Понятие установки в общей и социальной психологии, Тб., 1974.
3. СПИРКИН А. Г., Сознание и самосознание, М., 1972.
4. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Некоторые спорные проблемы психологии установки, Тб., 1971.
5. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Проблема бессознательного в советской психологии, Тб., 1966.
6. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Установка и мышление. В сб.: Психол. исслед., посвящ. 85-летию Д. Н. Узнадзе (под ред. А. С. Прангишвили), Тб., 1973.
7. ШЕРОЗИЯ А. Е., Введение в общую теорию сознания и бессознательного психического. В сб.: Психологические исследования, посвящ. 85-летию Д. Н. Узнадзе (под редакцией А. С. Прангишвили), Тб., 1973.
8. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, т. I, Тб., 1969.
9. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. II, Тб., 1973.
10. ЯДОВ В. А., О диспозиционной регуляции социального поведения личности. В кн.: Методологические проблемы социальной психологии, М., 1975.

153

РОЛЬ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ КОМПОНЕНТОВ В ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТА ПОЗНАНИЯ

Л. Г. КАНЧАВЕЛИ

Институт кибернетики АН Груз. ССР, Тбилиси

В связи с интеллектуальной деятельностью субъекта большое значение приобретают идеи Д. Н. Узнадзе и его школы, дающие возможность проникновения в глубь мыслительных процессов. Согласно трактовке Д. Н. Узнадзе, установка — как первичная, так и фиксированная — выступает в роли механизма психики, организующего и мобилизующего деятельность человека в конкретных ситуациях [4]. Фиксированная установка, в частности, является специфическим актуализирующимся арсеналом готовых «блоков» действия, способных импульсивно реализовываться в поведении при наличии более или менее непроблемных ситуаций, в то время как первичная установка является результатом работы психики в проблемных ситуациях.

Вместе с тем, как известно, на развитие глубинной психологии за рубежом большое влияние оказало учение З. Фрейда о бессознательном. Однако психоанализу Фрейда, как подчеркивает А. Е. Шерозия, не удалось позитивное определение бессознательного одновременно с его негативным определением. «Понимание ошибок фрейдизма и преодоление их в этом вопросе в системе советской науки по существу связываются с грузинской психологической школой и, в частности, с психологией установки Узнадзе. Фактически Узнадзе сформулировал, в качестве антипода фрейдизма, совершенно иную, экспериментальную психологию бессознательного, имеющую не только свою общую теорию, но и свой собственный метод исследования. В этом отношении особое значение сохраняет отправное положение этой теории, согласно которому установка должна рассматриваться, во первых, как особого рода психический эффект отражения, как пока еще «невыявленная информация» и определенным образом предварительно сложившаяся «сумма» такой информации, а во-вторых, как «модус личности» и «принцип связи», который в каждом данном случае заполняет вакуум не только между познанием и поведением в узком смысле, но и между психическим (субъективным) и физическим (объективным) в широком смысле» [6].

Только в этом качестве установку можно рассматривать как основной и организующий фактор деятельности. Она регулирует психику человека вплоть до его интеллектуальной деятельности, очерчивая диапазон и границы этой деятельности. При этом **объективация** (в ее узнадзевском понимании) выполняет функцию «набора» информации соответственно поставленной цели. Фактор объективации, которому Д. Н. Узнадзе и его ученики придают большое значение, является необходимой предварительной ступенью начала процесса мышления

[7]. В случае объективации, которая сама по себе еще не является актом мышления, намечается то русло, по которому должна протекать в дальнейшем мыслительная деятельность. Поэтому особая роль объективации проявляется именно при развертывании первичной установки на высшем уровне — на уровне мышления.

Однако объективация, в качестве первичного осознаваемого акта внимания [5], так же подвержена саморегуляции, как и развернувшийся на ее фоне процесс мышления. Здесь применимо понятие «полноты» объективации [8]. Именно при полной объективации учитывается наибольшее количество свойств, присущих заданной проблемной ситуации. Вспомним, что эксперименты Н. Л. Элиава свидетельствуют о взаимопроникновении элементов одной ситуации в другую при фиксации одной установки и недостаточной объективации критической ситуации [8]. В силу подобного иллюзорного мыслительного акта на основе независимых сюжетных отрывков строится один обобщенный сюжет. Подобного рода обобщения, построенные при недостаточном контроле сознания, являются не чем иным, как результатом работы психики на бессознательном уровне, при котором разрушаются границы одной и недостаточно очерчиваются границы другой деятельности.

Вместе с тем, как известно, в случае актуализации фиксированной установки поведение реализуется импульсивно, а срыв деятельности в критических ситуациях свидетельствует о недостаточной объективации новой ситуации в результате ее неадекватного восприятия. Поэтому при рассмотрении интеллектуальной деятельности субъекта особенно актуальной становится ее исследование по установочно-критической схеме эксперимента.

Эта экспериментальная схема дала нам возможность наблюдать объективацию, обобщения, перенос, абстракцию еще до того, как результаты этих операций становились осознаваемыми их субъектом. Кроме того, мы имели возможность наблюдать и функционирование самих фиксированных установок в неадекватных ситуациях, благодаря их неосознанно-латентному существованию. Наряду со всем этим перед нами развертывалась динамика разрушения абстрактно функционирующих фиксированных установок, по своему содержанию адекватных установочным проблемным ситуациям, и построение других обобщений, соответствующих критическим проблемам [1].

Как можно было догадаться, сама природа функционирования фиксированных установок в критических ситуациях предполагает неосознанное влияние их на определенную деятельность субъекта. При этом латентность этих установок создает тот фон, который препятствует адекватному восприятию критических ситуаций.

Поэтому мы вправе считать, что в установочно-критических экспериментах критические ситуации вносят некоторого рода стресс в налаженное действие субъекта. В самом деле, в установочной части опыта испытуемый находит решение проблемы, реализующееся в последующих эквивалентных задачах уже импульсивно при минимально достаточной объективации. Критические ситуации, являясь неадекватными относительно этих фиксированных установок, вновь требуют более полной объективации. И мы наблюдаем интеллектуальный стресс следующего характера: фиксированная установка, являясь теперь абстрактно-несоответствующей, подвергается разрушению одновременно с необходимым построением нового решения на основе элементов новой проблемы.

Эта абстрактно-элементарная динамика мыслительного процесса связана с разрушением границ прежней деятельности. И если испы-

туемый догадался о причине срыва его деятельности, то этого еще недостаточно для беспрепятственного решения критических задач ввиду опять-таки неосознанной латентности фиксированных установок.

В связи с этим мы предполагаем существование следующих регулирующих уровней установки в процессе интеллектуальной деятельности субъекта: поисковый, фиксированный и дефиксированный. Эти уровни регуляции являются неосознаваемыми уровнями работы психики. Отметим, что поисковый уровень саморегуляции более всего соответствует диффузной установке в неполной объективации. При этом границы деятельности расплывчаты, поведение импульсивно и охватывает каждый раз лишь часть проблемной ситуации. При фиксированном уровне регуляции происходит интеллектуальный стресс вышеописанного характера, при дефиксированном — осознание причин помех вплоть до построения нового решения критической проблемы на уровне сознания. [1].

Кроме этого, экспериментальные результаты позволяют построить иерархическую структуру обобщений. Так, несколько конкретных свойств данной проблемной ситуации могут создать определенное отношение [3], которое на следующем этапе мыслительной деятельности объективируется уже в качестве свойства. В дальнейшем, укрупняясь, предыдущие отношения при последующей объективации выступают уже в качестве свойства и, наконец, решением становится то обобщение, которое выражает отношение начальной ситуации всей проблемы к конечной. В критической ситуации подобное отношение выступает в качестве абстрактно-несоответствующего. Это обстоятельство побуждает субъекта к построению других отношений, соответствующих начальной и конечной ситуации другой проблемы. Однако природа фиксированных установок способствует на неосознаваемом уровне деятельности синтезированию обоих этих отношений, выступающих уже в качестве двух свойств последующего обобщения. Это интересное явление наблюдается в нашем эксперименте. Если в установочной части эксперимента функционировала одна закономерность, а в критической — другая, то процесс мышления проявляет тенденцию к объединению их в одну обобщенную закономерность (при проблемах одинаковой сложности). Создается впечатление, будто процесс мышления продолжается как бы независимо и самостоятельно. Ибо установка с расширенными пределами деятельности уже не подвластна испытуемому и, реализуясь в активности бессознательного, дает результат более высокого порядка, чем это предполагалось ситуацией.

Итак, процессу мышления свойственно зарождаться при соответствующей ситуации и развертываться «в полную силу». В дальнейшем, свертываясь, мышление проявляется лишь в импульсивной реализации его результата и нам уже не удается наблюдать последовательные действия субъекта при построении обобщений и отношений на неосознаваемом уровне.

Вместе с тем, построение новых отношений, которые в дальнейшем могут стать свойствами в другой ситуации, является надежным залогом расширения диапазона деятельности с учетом на уровне объективации также тех противоречий, которые могут выступать как в эмоциональном (амбивалентность), так и в интеллектуально-информационном плане. В заключение необходимо отметить, что субъект осознает те обобщения, которые уже зафиксировались, и поэтому при осознании реализуемых обобщений мы должны предполагать существование на неосознаваемом уровне обобщений более высокого порядка, которые еще не стали предметом объективации.

ЛИТЕРАТУРА

1. КАНЧАВЕЛИ Л. Г., Исследование соотношения фиксированной интеллектуальной установки и познавательной деятельности в процессе решения пространственно-комбинаторных задач. М., 1974 (канд. дисс.).
2. ПУШКИН В. Н., Об изучении мышления как процесса. Вопросы психологии, 6, 1969.
3. УЁМОВ А. И., Логические основы метода моделирования, М., 1971.
4. УЗНАДЗЕ Д. Н., Основные положения теории установки. Труды ТГУ, т. 19, Тбилиси, 1941.
5. УЗНАДЗЕ Д. Н., К проблеме сущности внимания. Психология, т. 4, Тбилиси, 1947 (на груз. яз.).
6. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, т. 2, Тбилиси, 1973.
7. ЭЛИАВА Н. Л., Акт объективации и переключение установки. Психология, т. 4, Тбилиси, 1947 (на груз. яз.).
8. ЭЛИАВА Н. Л., Проблема установки в психологии мышления, Тбилиси, 1966 (докт. дисс., на груз. яз.).

POUR UNE EPISTEMOLOGIE DE l'INCONSCIENT

E. AMADO LEVY-VALENSI

Université de Paris, France

Introduction

Toute découverte scientifique, de quelque ordre qu'elle soit, se heurte au problème de sa propre formulation et se prend parfoit au piège d'un instrument opérationnel, qui oublie lui-même les limites de l'usage scientifique et se prend pour une "chose". Il est, d'autre part, tentant pour l'homme d'ériger le système en réalité et de vouloir enfermer la réalité dans le système. Ce qui est vrai, plus ou moins, à tous les niveaux de la recherche, l'est **a fortiori** lorsqu'il s'agit de l'inconscient qui, par définition, échappe aux saisies directes de la conscience et **par là même**, et paradoxalement, se prête à toutes les manipulations de la pensée discursive, sans pour autant se laisser saisir. Nous voudrions, dans le cadre limité de cette étude, faire ressortir deux points essentiels:

I) les différentes définitions de l'inconscient qui semblent s'opposer opposent des hommes ou des écoles et ne mettent pas en contradiction la réalité concrète qui leur échappe toujours.

II) la pensée occidentale a référé l'inconscient à certains mythes, ce qui est légitime à un certain niveau, mais elle en a exclu d'autres, tout aussi présents dans la psyché humaine, et, de ce fait, a laissé échapper, en raison d'une épistémologie boiteuse, certaines dimensions qui lui auraient permis de déboucher sur une axiologie.

Nous voudrions conclure sur le danger idéologique tel que le dénonçait Marx à propos de l'idéologie allemande et qui est toujours présente dès que l'on manipule des abstractions en oubliant les réalités concrètes qui, de toute part, les débordent.

I. Des abstractions tâtonnantes

Freud a saisi une réalité clinique. Il s'est affronté à une problématique concrète et il a tenté de la formuler. Dès les études sur l'Hystérie il présentait le symptôme et le syndrome comme des signes, indiquant une réalité qui les prenait pour relais et qu'il fallait décrypter à travers ce qui s'en manifestait. Dès les études sur l'Hystérie, encore, Freud dénonce le mécanisme du transfert, «mésalliance» ou «connexion fausse» qui rapporte à un contenu actuel une signification passée, et inaperçue du sujet. Plus tard Freud essaiera de préciser la dynamique qui constitue l'inconscient lorsqu'il écrira «qu'incon-

scient et refoulement sont corrélatifs». A partir de là il sera amené à définir des instances de la personnalité, partie la plus contestable de son oeuvre, sur laquelle lui-même il revient. Conscient, sub-conscient, inconscient, ça, Moi et Surmoi ne se recoupent du reste que partiellement. Ce sont des concepts opérationnels, valables à un certain niveau d'exposition mais qui se transforment vite en marionnettes dès que l'on commet cette erreur dénoncée déjà par la logique classique, et qui consiste à réaliser des abstractions. En fait une abstraction a toujours un rôle fonctionnel, elle se constitue par simplification du réel, mettant l'accent sur ce que, à un certain niveau de la recherche, on veut expressément dégager. Ce niveau atteint ou dépassé l'abstraction devient caduque. Dans l'évolution des sciences de la nature, les grands concepts qui constituent les clefs de voûte des grandes théories scientifiques se trouvent ainsi circonscrits à un certain niveau de l'évolution de la pensée, et, comme intégrés à une saisie plus large de la visée scientifique. La gravitation universelle de Newton s'est révélée à un certain moment de la recherche non pas «fausse» mais trop étroite pour relier les faits désormais connus. Ainsi sont nées la relativité restreinte, puis la relativité généralisée dans la ligne de la recherche Einsteinienne. Les sciences humaines qui se voudraient sur le modèle des sciences exactes en oublient l'essentielle souplesse et la fondamentale attention au réel. Par là même elles donnent lieu, le plus naïvement du monde, à certains dogmatismes ou impérialismes de la pensée. Et l'on s'enlise dans des oppositions: Freud **ou** Jung, Freud **ou** Marx, là où on devrait chercher le point d'articulation de découvertes qui ont, en fait, mis l'accent sur différents niveaux d'émergence d'une réalité **complexe**, difficile par là même à cerner par voie d'abstraction. Le problème qui couvre plus ou moins tuut le champ des sciences humaines est particulièrement aigu en psychanalyse. Pour des quantités de raisons que nous avons tenté d'indiquer par ailleurs[1] il se crée des «chapelles» et des langages ésotériques qui finissent par se couper de l'intuition même qui les portait à l'origine. On ne définit plus les mots, on les utilise entre «initiés» — en ignorant au besoin qu'ils ont été utilisés ailleurs en un sens connexe ou différent. Au lieu de recoder des langages, nécessairement liés à un certain impact de la recherche, on tombe dans un certain fétichisme du mot. Le «signifiant» Lacanien — signifiant, en effet, et correspondant à une visée intéressante et ouverte — finit par être la «tarte à la crême» dont on nourrit jusqu'à l'indigestion une génération par ailleurs coupée de ses autres références. Une révision est nécessaire, et le besoin s'en fait sentir sous diverses latitudes. Dans une lettre personnelle écrite du Brésil, le Dr de Lyra Chebabi nous écrit[2]: «Nous sommes en train de faire une révision du concept d'inconscient... Je crois personnellement que l'institution psychanalytique a bloqué l'émergence du vrai inconscient et a fourni à la consommation des masses un «inconscient» qui est l'idéologie, consciente ou non, des

---

[1] Les Voies et les Pièges de la Psychanalyse Edit. Universitaires 1971.

[2] Lettre de Mars 1976. En marge de son travail sur l'essor de la sociologie politique au XVIème siécle et son importance dans la pratique clinique actuelle. Décembre 1975.

analystes. C'est une sorte de manoeuvre dans le sens de l'appropriation du pouvoir par rapport aux «clients» dans la même tradition que la psychiatrie qui enferme le «fou». C'est à dire que l'on écarte ce que l'on ne comprend pas et que l'on se rassure en substituant à une recherche attentive un mot, qui prétendrait la recherche déjà faite. Le mot ne saurait avoir valeur d'explication définitive. Les scolastiques expliquaient le feu par le phlogistique, et personne ne s'en trouviat plus avancé. En ce qui concerne l' inconscient, le problème se double de ce que, **par définition** il échappe à la conscience. Une épistémologie de l'inconscient devra toujours tenir compte de ce que nous ne saisissons jamais qu'un processus d'émergence, manifesté indubitablement ça et là mais jamais entièrement résumé dans ce qui le manifeste. Peut-être est-ce un poète — Edmond Jabès — qui, peut-être aussi, sans le savoir nous fournit la formulation la plus adéquate[1].

«Je vous parlerai des divers passages que l'être se fraie dans la nuit des songes jusqu'au verbe.» Il y a d'abord ce tracé à peine visible de la lettre à la lettre, de l'ombre à une ombre moins sombre; puis cette percée déjà consciente du vocable; enfin cette route pavée du discours et des écrits domptés». Mais à travers tout ce cheminement de la pensée, consciente ou en train de le devenir, Jabès souligne que la «folie» ne nous a jamais quittés. Elle nous guette à chaque étape «à chaque fois que nous butons à la parole cachée dans la parole, à l'être enfoui dans l'être». Il ne s'agit pas, là encore, de se prendre au piège des mots et de croire à tout prix qu'il s'agit — déjà ou encore! — d'une ontologie. Jabès, poète, désigne simplement l'inhérence constante de l'inconscient, comme Freud disait jadis, dans «Ma vie et la psychanalyse» que les processus découverts par la psychologie des profondeurs faisaient en fait partie de l'ensemble du psychisme et ne pouvaient être éliminés de la vie psychique «normale».

En effet on ne peut échapper, du point de vue épistémologique au problème, familier au poète mais irritant pour l'homme de science, qui fait que du «déjà traduit» nous réfère dans un autre registre à ce qui s'est traduit, ou à ce qui est en train de se traduire et qui est en fait intraduisible avec les éléménts dont nous disposons. Quelles que soient les références de base ce problème se retrouve toujours. Dans le domaine de l'analyse du poétique Bachelard[2] souligne que «les doctrines timidement causales comme la psychologie ou fortement causales comme la psychanalyse» ne peuvent déterminer **ce qu'il appelle** «l'ontologie du poétique» c'est à dire la traduction en images et en mots d'un ensemble inépuisable qui les précède. Philosophes et métaphysiciens de tous les temps se sont toujours heurtés à ce que nous pourrions appeler la «traduction originelle» de quelque chose que nous ne saisissons que **manifesté**, c'est à dire déjà traduit. A ce même problème, m u t a t i s m u t a n d i s, se heurte l'épistémologie de l'inconscient qui réfère à quelques signes manifestes un contenu caché qui ne sera jamais sais-

[1] Le Livre des Questions. Gallimard p. 97.

[2] Poétique de l'espace. P. U. F. p. 8

que dans les voies fragmentaires de sa manifestation. On peut savoir gré à Ph. Bassine dans son ouvrage sur Le Problème de l'Inconscient[1] d'avoir parfaitement situé le phénomène dans quelque système de référence que ce soit. Le «paramètre conscience» ne rend pas compte de tout le comportement. Pouvons-nous nous affranchir «de l'ennuyeuse nécessité de considérer la conscience comme le «pâle reflet» des évènements cérébraux avec laquelle, à proprement parler, une analyse orientée de façon déterministe n'a rien à voir?» Bassine met en garde contre les simplifications abusives du freudisme lorsqu'il s'agit du physiologique et du psychologique de l'inconscient et du conscient[2]. Toutefois les termes du problème — exigent toujours la prise en considération d' un processus que l'on définit différemment selon le système de référence dont on part, mais qui implique toujours un affleurement ou une traduction, à un moment donné, de termes inconscients — quels qu'ils soient — en termes de conscience. L'appareil scientifique qui refuse d'être une métaphysique déguisée ne peut faire fi du problème. «Schéma circulaire» et «attitudes» se réfèrent toujours à ce double phénomène qui nous apparaît ça et là comme traduit ou non traduit en termes de conscience. Passant en revue les théories de «la psychologie bourgeoise» analysée par Leontiev, Bassine cite cette optique «non épiphénoménaliste» à laquelle arrive Leontiev: «C'est à proprement parler dans le fait de cette «présentation» que consiste le fait de conscience, le fait conversion[3] du reflet psychique non conscient en conscient».

C'est dire que, quel que soit le système de référence, l'inconscient n'est jamais saisi que là où il se traduit ou se convertit en conscience ou en signes repérables pour la conscience. Partout où le mot inconscient se substitue à une recherche qui ne peut viser, en fait, que des mouvements en quête de signification effectivement repérable, partout aussi où la recherche se contente du déjà repéré auquel aboutissent ces mouvements, on court le risque d'une théorisation abusive qui barre la route à l'élargissement des points de vue et à leur recodage perpétuel. La réalité concrète de l'inconscient qui, pour toutes les écoles, s'est plus ou moins focalisée sur le rêve, indique par là méme son caractère fuyant, inépuisable. Qu'on le réfère à l'activité nerveuse ou à une étiologie psychique, ou à des facteurs, à la limite intersubjectifs et culturels on ne tardera pas à voir que le thème d'inconscient peut intégrer tous les points de vue. Il ne se résume à aucun il exige de nous une constante vigilance, car il n'est appréhendé au niveau de la conscience que dans un affleurement qui résume toute une histoire: celle de l'individu, celle de son corps, celle de son passé socio-culturel et aucune abstraction ne permet, autrement que sur un mode provisoire et opérationnel, d'en circonscrire le champ. Comme le dit si bien Lévi-Strauss[4], il y a un signifiant flottant qui constitue la «servitude de toute pensée

[1] Traduction française. Edit. de Moscou pp. 215 à 217.

[2] p. 396.

[3] Souligné par nous. p. 217.

[4] Introduction à l'oeuvre de M. Mauss. Sociologie et Anthropologie. PUF. p. XLIX.

finie (mais) aussi le gage de tout art, toute poésie, toute invention mythique et esthétique». La connaissance scientifique peut le «discipliner partiellement», non «l'étancher». Comme pour toute démarche scientifique la formulation s'inscrit dans l'ouverture d'un progrès et dans la perpétuelle reprise des abstractions que la constituent.

* * *

La notion d'inconscient cerne donc a p a r t e a n t e une zone obscure dont nous ne saisissons jamais que le mouvement à travers une structure dans laquelle il s'inscrit a p a r t e p o s t et qui se présente à nous comme un contenu r e l a t i v e m e n t déchiffrable c'est à dire qui nous permet de passer d'un sens manifeste à un sens latent qui constitue pour nous en deçà de ce qui reste hors champ pour la formulation consciente, un contenu ou un ensemble de contenus. Ceux-ci revêtent ou peuvent revêtir différents aspects selon le niveau de la dynamique auquel on se réfère. La psychanalyse classique en a privilégié certains et, de ce fait, en a peut-être masqué d'autres, nécessaires à la compréhension des premiers.

II. Contenus mythiques et dynamique de l'inconscient

Au niveau des contenus, en effet, Freud rattache la névrose à certaines fixations inconscientes qui constituent en quelque sorte des arrêts du développement. Il fait, on le sait, et la formule a été reprise par Glover, du complexe d'Oedipe le complexe nucléaire des névroses. De façon générale il rattache au mythe grec ce conflit qui oppose les générations et dresse les fils contre les pères, ou inversement. Cette réciprocité est importante et elle est signifiée en toutes lettres dans la mythologie grecque où c'est tantôt Ouranos qui dévore Kronos et tantôt l'inverse. Ici nous devons faire une série de remarques:

a) Qu'est-ce qu'une mythologie ou qu'est-ce qu'un mythe? Nous proposerions d'appeler mythe tout ensemble d'images, récits, voire d'idées, qui est manipulé à un certain moment dans une société donnée sans qu'elle ait une pleine conscience de sa signification. C'était le cas pour la Grèce: le récit d'Oedipe y était très populaire—comme on peut le voir dans toute la littérature et notamment dans Sophocle. Le «complexe d'Oedipe» y affleure[1] mais il n'y peut être manipulé en tant que tel. C'est une sorte de signification latente. Du reste l'histoire du mot «mythe» en grec est significative: parfois proche du **logos** et parfois s'opposant à lui.

b) Toute culture a ses mythes. Et nous souscririons volontiers à l'affirmation d'Arnold Mandel selon laquelle les mythes ont «aussi bien fécondé que ravagé l'histoire». Le mythe s'inscrit à un certain niveau de développe-

[1] Très expressément dans l'Oedipe Roi de Sophocle, dans la République de Platon.

ment ou d'arrêt de développement de la psyché et la caractérise à ce niveau de développement et par là même.

c) La pensée grecque, avec toute sa richesse, porte la marque de ses mythes. Nous ne pouvons ici que l'indiquer brièvement: Oedipe naît dans un réseau de fatalités. Que l'oracle avertisse son Père ne sert à rien. Que lui-même soit plus tard averti ne sert pas davantage puisqu'il fuit alors Mérope qu'il croit être sa mère pour aller en fait au devant de son destin. Qu'il finisse, lui, le clairvoyant (il a déchiffré l'énigme du Sphinx et sauvé la ville menacée) par se crever les yeux, n'en est que plus significatif. Le «temps oedipien» est un temps clos. Un temps sans échappatoire. Et il est frappant que la philosophie grecque en porte la marque. Sauf quelques lueurs chez Platon, le temps grec apparaît soit comme cyclique, soit comme déchu. Et les révolutions elles-mêmes apparaissent chez Platon et chez Aristote comme des cycles plus ou moins répétitifs.

d) Freud définit la névrose au niveau du mythe grec. Il s'y réfère très expressément et le mythe grec, en effet, constitue un schème adéquat pour décrire le mécanisme de répétition des névroses, la fixation, la «fatalité intérieure» qui fait dire au névrosé que «ces choses-là» n'arrivent qu'à lui. Mais si Freud dispose ici d'un matériel symbolique propre à convaincre pour décrire le mécanisme morbide, il ne fonde la «guérison» sur aucune thématique mythique. De ce fait on l'a accusé, dans des perspectives défendables ou non, de proposer une conception «réductive» de l'homme, psychologie du «nichts als», du «rien que», ou d'enfermer l'homme dans l'inhérence de ses déterminismes inconscients.

Or tout mythe est *de quelque façon* significatif au niveau de la psyché humaine. Le moindre conte de fées a son sens au niveau d'une certaine visée de la fonction fabulatrice; a fortiori une thématique que Freud connaît plus ou moins mais dont il s'écarte ou à laquelle il s'oppose en raison de son insertion psycho-sociale personnelle et que l'on ne peut pas prendre en considération: c'est la thématique biblique que l'on veuille ou non l'appeler mythique. Il est *de fait* que la culture occidentale a une réticence lorsqu'il s'agit de cela. Et c'est, pour un homme de science, tout à fait injustifié. Lorsqu'il s'agit de la mythique grecque on est à son aise: personne ne nous demande de croire aux dieux de l'Olympe. Lorsqu'il s'agit de la mythique juive le monde occidental sent passer la peur d'un engagement religieux. Or d'une part ce que l'on appelle tradition judéo-chrétienne relève en fait — comme nous le verrons trop rapidement dans le cadre de ce bref exposé — de deux mythes totalement différents, d'autre part il faut savoir en tant qu'homme de science prendre la valeur minimale d'un mythe pour savoir ce qu'il signifie, abstraction faite de la portée que ce mythe peut avoir pour d'autres, on pourrait, à la limite, avoir pour soi. En fait il n'implique pas plus qu'il ne l'exclut une quelconque extrapolation métapsychologique.

Or il est de fait que le mythe juif s'inscrit à travers un certain schéma ou plutôt esquisse un certain mouvement à partir des constantes suivantes:

a) Le mécanisme de répétition existe dans la Bible. Nous avons mont-

ré ailleurs[1] que déjà au livre de la **Genèse**, le récit des deux «chutes» — Adam et Eve, puis Caïn — et plus tard certains épisodes concernant la vie des patriarches, sans compter, plus tard encore, certains faits dans la vie de David etc.. impliquent des redites. Mais, fait absolument original, ces redites s'inscrivent dans le temps avec à chaque fois l'émergence d'un fait nouveau. C'est dire que l'on peut y lire, à travers le mécanisme de répétition, quelque chose en train de se construire et qui se dégage de la répétition et la domine.

b) On a, avant nous, opposé la prédiction des oracles grecs à celle des prophètes juifs. Les premiers cernent une fatalité sans échappatoire, les autres constituent un avertissement.

c) La notion d'épreuve est essentielle au mythe juif et affronte l'homme à différentes tentations fût-ce la tentation de la mort. L'homme est confronté à son pouvoir de surmonter l'épreuve, et l'événement même, à la limite, est épreuve.

d) C'est dans cette perspective que se situe la thématique Abrahmique. Ce qu'on appelle à tort dans la tradition occidentale le «sacrifice d'Abraham» est en fait...le non-sacrifice d'Isaac. Wellisch dans un petit ouvrage passé par trop inaperçu[2] notait dès 1954 que cela constituait ipso facto le dépassement, en même temps que l'intégration de la thématique Oedipienne. C'est ici du reste que le mythe chrétien et le mythe juif se séparent radicalement. En France, après les événements de 1968, divers auteurs, André Stéphane, Gérard Mendel notamment, notaient l'aspect «révolte contre le père» ou «soumission au père» des comportements, et le rattachaient au texte de l'Evangile de Matthieu[3]: «Le frère livrera son frère à la mort et le Père son enfant, les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mourir». Ces auteurs voient, en gros, le mythe christique—Jésus homme sans Père et sans épouse — comme une élision de l'Oedipe. Ou, pourrait-on dire, comme une massive sublimation de l'Oedipe sur un Père transcendant. De toutes façons, si le mythe grec est un mythe de l'engloutissement des générations, le mythe juif se présente comme un mythe fondateur des générations, ou comme un mythe de l'engendrement des générations. C'est clair dans toute l'histoire des patriarches, c'est clair aussi dans la signification du thème Abrahmique qui, selon Claude Vigée «rendait par avance inutile le sacrifice du Golgotha». C'èst exprimé en toutes lettres dans le dernier verset du dernier des Prophètes, Malachie[4]: «Je vous enverrai Elie le Prophète....lui ramènera le coeur des pères à leurs enfants et le coeur des enfants à leur pere».

e) Le fondement du mythe, ou le fait qu'il soit négateur ou fondateur de l'histoire s'inscrit peut-être essentiellement dans l'image qu'il donne du couple humain. En ce sens Karl Marx avait raison de dire[5] que «le rapport

---

[1] Les Voies et les Pièges de la Psychanalyse.

[2] Isaac and Oedipus. Routledge and Kegan Paul. London.

[3] X. 21.

[4] III. 23—24. Verset dont on trouve l'écho dans l'Evangile de Luc. L. 17.

[5] Manuscrits de 1844. Edit. Sociales. trad. Bottigelli p. 86—87.

immédiat, naturel, nécessaire de l'homme à l'homme est le rapport de l'homme à la femme» et que toute civilisation peut être jugée sur la place qu'elle fait à ce rapport. Or la psychanalyse n'a pas assez noté que la mythologie grecque fourmille de Mères complices des fils pour tuer ou châtrer le père ou de Pères—Jupiter lui-même-tuant la femme enceinte d'un fils qui déjà le menace. La thématique chrétienne, comme nous l'avons vu, élude l'image du couple. La thématique juive se fonde tout entière sur cette image. Il est dit dans la Genèse que Dieu, créant l'homme à son image, LE crée mâle et femelle. Toute naissance prédestinée, au niveau des patriarches, comme plus tard pour Samuel et Samson, passe par une période de stérilité de la femme durant laquelle — c'est d'abord implicite puis clairement exprimé par Elkana avant la naissance de Samuel — l'amour gratuit du couple doit d'abord être affirmé en tant que tel[1].

Bref on a, á travers ces divers points, un mythe de vie, de choix de la vie — Expression qui figure textuellement en Deutéronome XXX — de restauration de l'histoire qui est essentiellement un mythe de mouvement et qui, là même, pourrait servir de fondement au thème de la guérison.

Freud n'a de mythe, consciemment manipulé, qu'au niveau du fondement de la névrose. Il explique tant bien que mal le procédé de la guérison mais il ne le fonde pas au niveau du mythe c'est à dire d'un certain potentiel inconscient.

*
* *

Que ce soit là la problématique de Freud est assez évident. Nous l'avons montré ailleurs. Tant dans la science des rêves, lorsqu'il parle du «respect que nous portons au quatrième commandement» — qui est en fait le cinquième, Freud ici est prisonnier de la tradition chrétienne qui, en supprimant le second, a changé toute la numération — qui nous empêcherait de noter en nous les tendances oedipiennes, que dans «Au-delà du principe de plaisir» lorsqu'il parle du mécanisme de répétition des névroses, Freud frôle et élude ce qu'il pourrait y avoir de correcteur dans le mythe juif[2]. Ainsi son épistémologie de l'inconscient reste boiteuse et peut-être à cause de cela le lien n'apparaît pas suffisamment entre épistémologie et axiologie. Car, en effet, depuis la physique et les lois d'économie du mouvement jusqu'aux notions d'adaptation en biologie, il ne semble pas que la notion de valeur puisse être éliminée de la signification. Dans la réfléxologie soviétique, cela apparaît progressivement mais clairement. Sechenov disait que toute activité de l'organisme provient du choc avec le milieu extérieur, mais parmi les réflexes inconditionnés, qui constituent l'héritage de l'espèce, Pa-

---

[1] N. B. On aurait dans cette perspective et dans le cadre d'une étude plus large à se poser le problème de l'inconscient en termes d'intersubjectivité et de voie vers la communication, avec toutes les embûches que l'on connaît, en cours de route.

[2] Nous en avons traîté à propos des "instincts de mort" dans Les Voies et les Pièges de la Psychanalyse. 1971 et "La Nature de la pensée inconsciente". Sous presse.

vlov, en fin de carrière, réintroduit le «réflexe de liberté» sorte d'activité globale de l'animal qui tend à se dégager de toute contention. D'autres écoles ont voulu y voir une sorte de spontanéité du comportement, disons que sur cette notion fondamentale peuvent s'asseoir toutes les possibilités du comportement d'opposer à des conduites stéréotypées, des conduites moins prévisibles et, à la limite, créatrices. La dynamique de l'inconscient ne constitue pas un empire dans un empire mais s'inscrit dans l'ensemble des activités vitales «inférieures» ou «supérieures» qui permettent d'en comprendre les schémas et aussi leurs possibles infléchissements.

CONCLUSION

Que ce soit au niveau des formulations, abusives par leur simplicité «totalisante», que ce soit au niveau de contenus, privilégiés par rapport à d'autres et qui rendent boiteuse l'ensemble de la démarche, il faut, au niveau d'une «épistémologie de l'inconscient» prendre conscience de certains vertiges manipulatoires qui sont les tentations courantes de la pensée. Dans un de ses ouvrages[1] Lévi-Strauss formule remarquablement le problème qui caractérise la connaissance: «Le procès tout entier de la connaissance humaine assume ainsi le caractère d'un système clos». Mais ce système n'est clos en fait qu'au niveau des besoins de l'exposition. En d'autres termes cette «clôture» devient, dès qu'elle est dénoncée, la ligne même qui circonscrit, au-delà d'elle, le champ d'une ouverture. Le champ de l'inexploré vers lequel tend toute exploration au fur et à mesure des formulations qu'elle se donne. Lévi-Strauss encore[2] montre à propos de la langue ce qui peut fort bien se transposer au niveau de l'inconscient et, du reste, y tend expressément: discours et syntaxe suppléent dans toute langue aux lacunes du vocabulaire et le sens s'inscrit comme un halo autour des termes présents qui déterminent une structure. Les „modèles conscients» sont sans doute «les plus pauvres qui soient», normes qui masquent des structures plus profondément enfouies. La formulation scientifique se doit d'être compréhensive, au sens logique du terme, c'est à dire propre à intégrer au fur et à mesure un matériau toujours en voie d'élaboration. Il est frappant de voir combien les abstractions scientifiques s'appauvrissent en se précisant au-delà de leur pouvoir et parviennent à se réanimer en se référant sans cesse à ce qu'elles ne parviennent pas à épuiser. Il est frappant aussi de voir que le mythe qui échappe à la pensée freudienne est précisément celui qui vise une temporalité en voie d'avènement et qui, capable d'intégrer le thème des fixations et des répétitions, se réfère cependant sans cesse à un mouvement qui les dépasse. L'épistémologie de l'inconscient tend ainsi à adhérer au mouvement de la vie toujours au-delà des points qui la déterminent. Une axiologie plus ou moins assumée commande une épistémologie ouverte alors qu'une épistémologie fermée se coupe de l'axiologie. En fait une épistémologie fermée se transforme rapidement en idéologie. Outre la structure tautolo-

---

[1] La Pensée sauvage p. 357

[2] Anthropologie structurale p. 305.

gique du terme lui-même qui implique une abstraction de l'abstraction, on peut rappeler les mises en garde de Marx lui-même qui, *mutatis mutandis* peuvent fort bien s'appliquer ici. Marx écrivait à propos de l'*idéologie allemande*[1] que «les phrases creuses sur la conscience» doivent être remplacées par un savoir réel. Il en est de même des phrases creuses sur l'inconscient, et il n'est de savoir réel qu'au niveau d'une constante référence à la complexité des «traductions» qui caractérisent le passage de l'inconscient à la conscience, du mythe à ses significations. Marx dit encore qu'il faut se défier de ces pensées dominantes qui ne sont rien de plus que l'expression idéologique des rapports matériels dominants. Il dit plaisamment que «les idées biscornues de ces gens là» sont une illusion qui s'explique par une certaine position pratique dans la vie. Peut-être les rapports de forces socio-culturels au niveau des groupes psychanalytiques et de leur insertion dans une certaine société ont ainsi provoqué des «expressions idéologiques» propres à préserver certaines structures aux dépens d'une recherche authentique qui laisserait ouvertes de plus larges possibilités d'interprétation et une plus radicale mise en cause de «l'inconscient» par définition inassignable. L'épistémologie qui se ferme sur le cercle clos de mots devenus «stimulus» au sein de groupes restreints se réduit à l'idéologie dont Poulantzas[2] montre qu'elle frôle nécessairement l'aliénation et se renferme dans un statut inadéquat.

Il n'est de concept scientifique que circonscrit à un certain niveau d'abstraction, c'est vrai. Mais à condition de savoir que cette abstraction a été définie à un certain niveau manipulatoire et reste révisible en fonction du champ de la manipulation. Ce qui est vrai de tout concept scientifique l'est *a fortiori* du concept d'inconscient qui ne cesse, par définition, de déborder les formes successives par lesquelles on tente de le cerner. Il est sans doute plus facile à saisir dans les formes morbides qui le figent sur un certain schéma que dans les formes vitales qui en expriment inlassablement les ressources cachées. L'instinct de mort chez Freud se définit[3] comme la retombée d'un certain vecteur vital. C'est ce vecteur-là qui est le plus difficile à saisir. Freud l'a cependant tenté lorsqu'il parle de cette force qui, à un certain moment de l'évolution, à tiré de la matière minérale, la matière organisée, puis, sans doute, de celle-ci, la conscience. Mais c'est là une de ces intuitions de pointe que le chercheur lui-même ne maitrise pas et que la génération qui suit tend à recouvrir. Il appartient peut-être à une génération qui dispose de plus de recul de recoder l'ensemble des formulations afin de focaliser la recherche non pas sur du déjà -dit mais sur ce qui est en train de se dire ou qu'il nous appartient d'essayer de dire. Le mythe lui-même, dans son essence, est moins une allégorie qu'un symbole, c'est à dire moins un texte à traduire terme à terme qu'une signification en train de se frayer sa

---

[1] Trad. française p. 81 et passim.

[2] Alain Besançon. Histoire et expérience du moi. Poulantzas. Pouvoir Politique et classes sociales.

[3] Au-delà du principe de plaisir.

voie. L'inconscient n'est jamais repérable que dans l'ensemble infini des traductions fragmentaires où il parvient à se référer. Et c'est l'ensemble de toutes les formulations qui, bien loin de s'exclure, signifient, par leur convergence, une voie ouverte à la recherche.

R é s u m é

Pièges de toute formulation scientifique, et **a fortiori** d'une formulation qui vise ce qui, par définition, échappe à la conscience.

I. Les différentes définitions de l'inconscient mettent en contradiction des écoles et non la réalité concrète qui leur échappe toujours.

II. La pensée occidentale, dans le sillage de Freud, a référé l'inconscient à certains mythes qui exprimaient fixation et répétition, elle en a éludé d'autres qui fondaient la récupération du temps et de l'histoire.

L'épistémologie bien comprise débouche sur une axiologie une fois dépassé le risque de l'aliénation idéologique telle que Marx la définissait.

РАЗДЕЛ ВОСЬМОЙ

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ, ЯЗЫК, РЕЧЬ

155

К ВОПРОСУ О СВЯЗИ РЕЧЕВОЙ И МЫСЛИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВЕТЕ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ОТ РЕДАКЦИИ

Мыслительная активность человека и функции его речи связаны между собой неразрывно. Рассмотрение любой проблемы, поставленной теорией мыслительной деятельности, если не непосредственно перерастает в обсуждение функций речи, то, во всяком случае, вынуждает к занятию определенной позиции в отношении истолкования этих функций, в отношении их концептуальной трактовки.

Такое положение вещей дает о себе знать уже в рамках традиционного подхода. Когда же мышление и речь рассматриваются в плане их отношения к активности бессознательного, то совокупный их анализ становится необходимым условием дальнейшего углубления исследований. Учитывая эти обстоятельства, редколлегия сочла целесообразным отступить в данном случае от общего правила — предварять специальной теоретической вступительной статьей каждый из тематических разделов монографии.

В VII разделе представлены работы, затрагивающие тему бессознательного в связи с анализом разных форм мыслительной деятельности, а в настоящем — в связи с активностью речи. Обсуждение общих вопросов, которые при этом возникают, мы сочли целесообразным произвести в рамках одной и той же вступительной статьи, а именно вступительной статьи, открывающей предшествующий тематический раздел настоящей монографии. Это позволило избежать как ненужных повторений, так и искусственного разобщения проблем, которые только при поверхностном рассмотрении выступают как независимые друг от друга.

Мы ограничиваемся поэтому, открывая настоящий раздел, только краткой характеристикой содержащихся в нем статей. Общие проблемы, которые этими статьями поднимаются, были нами частично уже рассмотрены, частично же мы к ним еще вернемся в последующих разделах монографии.

VIII тематический раздел открывается статьей одного из наиболее крупных ученых современности Р. О. Якобсона «К языковедческой проблематике сознания и бессознательности», о которой мы уже подробно говорили выше (см. вступительную статью редколлегии к VII тематическому разделу о гносеологическом аспекте проблемы бессознательного).

Далее следуют сообщения Вяч. Вс. Иванова, Д. И. Рамишвили, А. Г. Баиндурашвили, Г. В. Рамишвили, Г.-Г. Хайнриха (Австрия)[1], Б. Вайсгербера (ФРГ), Н. В. Имедадзе, поднимающие общие вопросы теории речи в их связи с активностью бессознательного (проблема роли бессознательного в контексте речи, проблема речевого знака, вопросы мотивации при изучении языка, факторы «успешности» речевой деятельности, стратегия овладения языком).

Кроме этих исследований, в настоящий раздел вошли также более специально ориентированные работы: И. Г. Васильевой, освещающая особенности овладения языком при разных условиях обучения; В. Ф. Моргуна, в которой дан сопоставительный анализ возможностей обучения языку на основе суггестопедической методики (Г. Лозанов) и метода поэтапного формирования новых действий и понятий (П. Я. Гальперин); Р. Е. Левиной, посвященная проблеме «чувства языка»; Д. Т. Сыдыкбековой, затрагивающая проблему речевых ошибок в их связи с неосознаваемой психической деятельностью; С. Леклера (Франция), в которой излагается психоаналитическое толкование общего отношения речи к активности бессознательного; С. Нассифа (Франция), где анализ проблем речи дается с позиции критического пересмотра некоторых новейших психоаналитических концепций; В. В. Налимова, посвященная проблеме непрерывности и дискретности в языке и мышлении; Ж. А. Дрогалиной и В. В. Налимова, ставящих оригинальный, еще очень мало исследованный вопрос о семантике ритма; М. Г. Бороды и Ю. К. Орлова, где анализ проблемы речи предпринимается в аспекте количественной организации художественных текстов; Б. Буда (Венгрия), в которой выдвигаются некоторые общие положения семантической теории бессознательного; Э. С. Бейн и Т. Г. Визель, содержащая анализ особенностей восприятия речи при некоторых формах афазии; Р. Водак-Леодольтер (Австрия), описывающая характерные особенности изменения речи при шизофрении. Завершает этот раздел статья Л. Ф. Обуховой с соавторами, характеризующая образы сновидений у слепоглухонемых.

CONCERNING THE RELATIONSHIP OF SPEECH AND THINKING ACTIVITY IN THE LIGHT OF THE GENERAL THEORY OF CONSCIOUSNESS AND THE UNCONSCIOUS MIND

EDITORIAL INTRODUCTION

S U M M A R Y

Man's thinking activity and his speech functions are linked inseparably. Examination of any problem posed by the theory of thinking activity either directly develops into a discussion of the functions of speech or, at any rate, compels us to take a definite stand regarding the interpretation of these functions, i. e., their conceptual treatment.

---

[1] Автор анализирует, в частности, факторы, определяющие эту «успешность», подчеркивая при этом существенную роль, которую играет соотношение психологических установок говорящего и слушающего. В результате анализа выявляется сложность функциональной структуры речевого акта, выступающая особенно отчетливо при рассогласованности интенций говорящего.

This state of affairs is felt within the traditional approach. When thinking and speech are examined on the plane of their relation to the activity of the unconscious their joint analysis is a *sine qua non* for any further in-depth study.

Bearing this in mind, the eitors have found it advisable to deviatie in this case from their practice of prefacing each section of the monograph with an introductory article, for the role of the unconscious in thinking activity and speech is discussed in the preceding , seventh section of the monograph.

156

К ЯЗЫКОВЕДЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКЕ СОЗНАНИЯ И БЕССОЗНАТЕЛЬНОСТИ

Р. О. ЯКОБСОН

Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, США

Во второй половине XIX века проблема «бессознательного», как отмечено критическим обозревателем, снискала особую популярность и широко распространилась мысль о необходимости учета этого фактора при рассмотрении самых различных вопросов теории поведения (Бассин, 55). Среди языковедов названной эпохи вопрос был выдвинут наиболее четко и настойчиво молодым исследователем Бодуэном де Куртенэ (1845—1929) и его гениальным учеником Крушевским (1851—1887). Еще в заключительном периоде своей научной деятельности Ф. де Соссюр (1857—1913), в связи с выходом книги своего ученика А. Сешеэ (1908 г.), утверждал, что Бодуэн де Куртенэ и Крушевский «ont été plus près que personne d'une vue théorique de la langue sans sortir des considérations linguistiques pures; ils sont d'ailleurs ignorés de la généralité des savants occidentaux» (IV, 43), и жалостное незнакомство с теоретическими положениями обоих языковедов неоднократно отмечалось западными языковедами.

В своем первом научном исследовании, в варшавской кандидатской работе *Заговоры,* написанной на широкую этнологическую тему, законченной в январе 1875 г. и опубликованной в 1876 году, Крушевский противопоставил укоренившемуся взгляду на язык как на «продукт сознательной деятельности человека» свое убеждение, что «сознание и воля человека» оказывают на развитие языка «весьма мало влияния».

В начале варшавских студенческих лет Крушевский попытался разобраться в тексте первой университетской лекции, прочитанной в Петербурге Бодуэном в декабре 1870 г. и воспроизведенной в *Журнале Мин. Нар. Просв.* 1871 г. под заглавием «Некоторые общие замечания о языковедении и языке» (см. *ИТ* I, стр. 47—77), но при первом знакомстве с этим текстом глубина и широта его мыслей пришлись не по силам новичку, по его же позднейшему признанию. Зато пять лет спустя, учительствуя в Троицке, захолустном городе Оренбургской губернии, и копя таким путем средства на научные занятия под руководством Бодуэна, в то время преподававшего в Казанском университете, Крушевский снова и на этот раз с чутким пониманием перечел ту же

лекцию семидесятого года и в сентябрьском письме 1876 года поведал ее автору о своем «влечении к философским, точней логическим воззрениям на лингвистику». Письмо откликается на бодуэновский перечень *сил*, действующих в языке: «Вот и не знаю, может ли что-либо иное вызвать во мне большее магнетическое тяготение к лингвистике, чем тот бессознательный характер языковых сил, который побудил Вас, как только теперь я подметил, в Вашем перечислении этих сил последовательно присовокуплять термин *бессознательный.* Мне на радость, это вяжется с мыслью, которая издавна колом засела в моей голове, а именно с идеей о бессознательном процессе вообще, с идеей в корне отличной от точки зрения Гартмана. Именно для выяснения этой разницы я принялся во время каникул за томительное и нудное изучение философии Гартмана в переработке Козлова. Сейчас, разумеется, место Гартмана заняли ученические тетради, но я надеюсь к нему еще вернуться» (см. польский оригинал письма, напечатанный Бодуэном: *Szkice*, стр. 134).

Уже в магистерской диссертации 1870 года, опубликованной в Лейпциге под заглавием *О древнепольском языке до XIV-го столетия* и защищенной Бодуэном на ист.-фил. фак. Петербургского университета, одно из основных Положений гласит: «При самых даже, по-видимому, простейших процессах, совершающихся в языке, необходимо иметь в виду силу бессознательного обобщения, действием которой народ подводит все явления душевной жизни под известные общие категории» (*ИТ* I, 46). В петербургской вступительной лекции Бодуэна, поразившей Крушевского настойчивым упором на роль бессознательных сил, автор обозначает термином *силы* «общие факторы, вызывающие развитие языка и обусловливающие его строй и состав». В постатейном обзоре отдельные факторы большей частью выделены ссылкой на их бессознательный характер (стр. 53). Такова прежде всего «*привычка,* т. е. бессознательная память» и, с другой стороны, «бессознательное *забвение* и непонимание (забвение того, о чем сознательно и не знали, и непонимание того, чего сознательно и не могли понимать), но забвение и непонимание не бесплодное, не отрицательное (как в области сознательных умственных операций), а забвение и непонимание производительное, положительное, вызывающее нечто новое поощрением бессознательного обобщения в новых направлениях». Стремление к сбережению работы памяти и к ее разгрузке от излишка взаимно несвязанных подробностей Бодуэн назовет в дерптском докладе 1888 г. «своего рода бессознательной» (*nieświadomą*) мнемотехникой (*Szkice*, 71).

Ссылаясь на биологическую аналогию, Крушевский развивает идею учителя об исчезновении как необходимом условии развития и в своем *Очерке науки о языке* последовательно проводит мысль, что «деструктивные факторы» оказываются «в высшей степени благодетельными для языка» (главы VII, VIII). Через полтора десятилетия вопрос о забвении в качестве закономерной основы языковых преобразований, отважно поставленный Бодуэном на пороге его научной деятельности, был вновь

подвергнут обсуждению Арсеном Дармстетером (1846—1888) в главе «Oubli ou Catachrèse» его пытливой семантической книги (1886 г.).

«Бессознательное обобщение» охарактеризовано в лекции 1870 года (ИТ I, 38) как «*апперцепция*, т. е. сила, действием которой народ подводит все явления душевной жизни под известные общие категории», причем системы категорий языка, «связанные силою бессознательного обобщения», Бодуэн сравнивает с «системами небесных тел, обусловленными силою тяготения»; если связь данной языковой единицы с родственными образованиями «забыта в чутье народа», то она стоит особняком, пока не подвергнется влиянию со стороны «новой семьи слов или же категории форм». Бодуэн настаивает, что «чутье языка народом не выдумка, не субъективный обман, а категория (функция) действительная, положительная, которую можно определить по ее свойствам и действиям, подтвердить объективно, доказать фактами» (*ИТ* I, 60), причем и Бодуэн, и вслед за ним Крушевский, во имя терминологической точности, предпочитают говорить не о «сознании», а именно о «чутье языка», т. е. о его бессознательном, интуитивном постижении.

Если «бессознательное обобщение, апперцепция» согласно классификации Бодуэна, «представляет в языке силу центростремительную», то обратно «бессознательная *абстракция*, бессознательное отвлечение, бессознательное стремление к разделению, к дифференцировке» подлежит сравнению «с силою центробежною», и «борьба всех вышеперечисленных сил обусловливает развитие языка».

К рассмотрению всех названных сил, действующих в языке, автор возвращается — с новым упором на их бессознательный характер — в разделе «Общий взгляд на грамматику» *Подробной программы лекций,* читанных Бодуэном в Казанском университете в течение 1876—1877 учебного года (см. *ИТ* I, стр. 102), причем подвергнуты параллельному рассмотрению законы и силы—«статические, т. е. действующие в одновременном положении (состоянии) языка», а также «динамические, обусловливающие развитие языка». В связи с вопросом о влиянии книг «на язык литературно образованного народа» Бодуэн и в казанской программе 1876—77 г. (102), и в лекции 1870 г. (58 сл.) готов признать еще одну из сил, но при этом силу «сравнительно не очень могущественную», а именно «влияние на язык человеческого сознания»: «Хотя влияние сознания на язык проявляется вполне сознательно только у некоторых индивидуумов, но все-таки его последствия сообщаются всему народу, и таким образом оно задерживает развитие языка, противодействуя влиянию бессознательных сил, обусловливающих в общем более скорое его развитие, и противодействуя именно с целью — сделать язык общим орудием объединения и взаимного понимания всех современных членов народа, равно как и предков, и потомков. Отсюда застой в известной степени в языках, подверженных влиянию человеческого сознания, в противоположность скорому и безыскусственному течению языков свободных от этого влияния».

В учении Крушевского (1881 *а* 5, *в* 6), «язык представляет нечто,

стоящее в природе совершенно особняком» в силу соучастия «бессознательно-психических явлений» (*unbewusstpsychischer Erscheinungen*), управляемых специфическими законами, и попытка характеристики этих законов, лежащих в основе языковой структуры и ее развития, была наиболее оригинальным, а также наиболее плодотворным вкладом безвременно сошедшего со сцены языковеда.

Что касается Бодуэна, то в начале века, в отличие от своих же ранних настоятельных ссылок на «бессознательные силы», он стал придавать все большее значение «неопровержимым фактам вмешательства сознания в жизнь языка». По его словам, «стремление к идеальной языковой норме» сопряжено с «участием человеческого сознания в жизни языка», и в частности, «при всяком возникновении языкового компромисса между разноязычными народами» неизбежно проявляется «известная доля сознательного творчества» (статья 1908 года «Вспомогательный международный язык»: *ИТ* II, 152).

В общем же взгляд Бодуэна на психические основы языковых явлений эволюционировал в сторону сближения между сознанием и бессознательностью: в 1899 г. в конце его доклада краковскому обществу им. Коперника (см. *PF* 1903, 170—71) сознание уподобляется огоньку, освещающему отдельные стадии психического движения: и бессознательные (*nieświadome*) психические процессы способны к осознанию (*uświadamianie*), но их потенциальное сознание фактически отождествимо с бессознательностью (*nieświadomość*).

К исходным положениям Бодуэна и Крушевского близко примыкают высказывания Соссюра в эпоху его женевской профессуры: он четко размежевывает «бессознательную деятельность» (*l' activité inconsciente*) участников речевого общения и «сознательные операции» (*opérations conscientes*) языковеда (II, 310). Согласно Соссюру, «сами по себе термины *a* и *в* решительно неспособны дойти до сферы сознания, тогда как самое различие между *a* и *в* постоянно воспринимается сознанием» (II, 266). Наброски к вступительной женевской лекции, прочитанной Соссюром в ноябре 1891 года, обсуждают участие волевого акта в языковых явлениях, обнаруживая и в сознательной, и в бессознательной воле (*dans la volonté consciente ou inconsciente*) ряд различных степеней. По сравнению со всеми прочими сопоставимыми актами, характер языкового акта представляется Соссюру «наименее обдуманным, наименее умышленным и в то же время наиболее безличным из всех (*le moins réfléchi, le moins prémédité, en même temps que le plus impersonnel de tous*)». При всей широте этих различий, Соссюр в то время признавал действительность только за количественными различиями (*différence de degrés*), сводя качественные различия (*différence essentielle*) просто к укоренившейся иллюзии (IV, 6).

Значительное внимание уделил вопросу о бессознательном факторе в жизни языка основоположник американской антропологии и лингвистики, Франц Боас (1858—1942), главным образом в обширном лингвистическом «Вступлении» к первой части многотомной серии *Handbook*

of American Indian Languages (1911). Раздел второй главы, озаглавленный «Бессознательность фонетических элементов» (стр. 23—24), открывается напоминанием, что отдельному звуку речи как таковому не дано самостоятельного бытия и что он никогда не входит в сознание говорящего, а существует лишь как составная часть звукового комплекса, передающего определенное значение. Только путем анализа отдельные звуковые элементы входят в сознание (*become conscious*). Сравнение слов, различающихся всего одним звуком, дает понять, что изоляция звуков является результатом «вторичного анализа».

К вопросу о «бессознательном характере языковых явлений» Боас возвращается в обстоятельном разделе (стр. 67—73) четвертой главы того же «Вступления», посвященной соотношению лингвистики и этнологии и замыкающей обсуждение общелингвистических вопросов, от которых пятая, последняя глава (74—83) непосредственно переходит к «Характеристике языков американских». Вышеотмеченный тезис Соссюра о «различии в степени сознательности» между языковым строем и параллельными этнологическими укладами схож с размышлением Боаса «об отношении бессознательного (*unconscious*) характера языковых явлений к более сознательным (*more conscious*) этнографическим явлениям». Здесь налицо, по мнению Боаса, «всего лишь кажущийся (*only apparent*) контраст; но самый факт бессознательности языковых процессов наводит нас на более ясное понимание этнологических явлений, и нельзя недооценивать важность этой связи... По-видимому, существенная разница между лингвистическими и остальными этнологическими явлениями состоит в том, что языковые классификации никогда не проникают в сознание, тогда как прочие этнологические явления, хотя и последним большей частью присуще то же бессознательное происхождение (*unconscious origin*), часто доходят до сознания и дают соответственно повод к вторичным толкованиям и переосмыслениям» (67). В числе явлений, переживаемых всецело подсознательно (*entirely subconsciously*) индивидуумом и коллективом, показаны примеры из области верований, мод, манер и правил приличия (67—70).

Боас видел преимущество лингвистики в том неизменно бессознательном характере наличных языковых категорий, который позволяет исследовать процессы, лежащие в их основе, не рискуя поддаться превратному влиянию вторичных истолкований. Между тем в этнологии, изобилующей «вторичными объяснениями» (*secondary explanations*), таковые «в общем совершенно затемняют подлинную историю развития идей» (71).

Именно бессознательная формация грамматических категорий и их соотношений, пребывающих в языке «без необходимости вхождения в сознание», побуждает Боаса направить очередные усилия лингвистики на объективный анализ систематической группировки грамматических понятий (*grammatical concepts*), характерной для данного языка и для языков данного типа или же данного территориального сообщества: «наличие самых основных грамматических понятий во всех языках должно быть признано доказательством единства основных психологи-

ческих процессов» (71). Одновременно Боас предостерегает исследователей против беспрестанных эгоцентрических усилий навязать чужеродным языкам свою собственную или же привычную по собственной работе ученого над близкими языками систему грамматических категорий (35 сл.).

Проблематика бессознательности занимает еще более значительное место в творчестве Эдуарда Сапира (1884—1939), даровитейшего продолжателя лингвистических и этнологических устремлений Боаса.

В откровенном обзоре наболевших вопросов науки о языке «The Grammarian and His Language» (1924 г.) Сапир выступил с тезисом, что «психологической проблемой, наиболее интересующей лингвиста, является внутренняя структура языка в плоскости бессознательных психических процессов» (*SW*, 152). Если язык располагает известными формальными приемами для выражения каузальных отношений, способность к их восприятию и передаче ничуть не зависит от способности осознать причинность как таковую. Из этих двух способностей вторая наделена сознательным, интеллектуальным характером и подобно большинству сознательных процессов требует более медленного и сосредоточенного развития, тогда как первая бессознательна и развивается рано, без каких бы то ни было интеллектуальных усилий (155). По отзыву Сапира, современная его трудам психология еще не была в состоянии объяснить ни образование, ни передачу потаенных (*submerged*) формальных систем, свойственных языкам всего мира. Усвоение языка, в особенности приобретение чутья к его формальной установке (*for the formal set of the language*), процесс глубоко бессознательный, может, при дальнейшем изощрении психологического анализа, бросить новый свет на понятие 'интуиции', которое, вероятно, равнозначно с 'чутьем' к внутренним отношениям (156).

В работе следующего года, остро поставившей вопрос о системах звуков речи, «Sound Patterns in Language» (1925 г.), Сапир доказывал, что необходимой предпосылкой понимания фонетических процессов является признание общей моделировки (*general patterning*) звуков речи. Бессознательное чутье отношений между звуками в языке возводит их в подлинные элементы самодовлеющей системы (*a self-contained system*) «символически используемых жетонов» (35). Дальнейшее развитие учения о звуковом строе языка помогло Сапиру развернуть в статье 1933 г. о «психологической реальности фонем» теорию бессознательных «фонологических интуиций» и в частности обосновать свой плодотворный тезис, подсказанный годами полевой работы над туземными бесписьменными языками Америки и Африки: не фонетические элементы, а фонемы слышит наивный член языкового коллектива (47 сл.).

Из разысканий Сапира доклад «The Unconscious Patterning of Behavior in Society», приготовленный для симпозиума *The Unconscious*, созванного в Чикаго весной 1927 г., всех шире охватил проблематику бессознательности. Автор исходит из предпосылки, что всякое людское поведение как личное, так и социальное обнаруживает по-существу од-

ни и те же разновидности психической деятельности — как сознательной, так и бессознательной, и что понятия социального и бессознательного друг другу отнюдь не противоречат (544). Сапир спрашивает, отчего мы склонны, хотя бы метафорически, называть социально бессознательными те формы общественного поведения, о которых нет вразумительных познаний у рядового индивида, и в ответ на свой же вопрос он напоминает, что все те отношения между элементами опыта, которым последние обязаны своей формой и значимостью, оказываются доступны нашему чутью и нашей интуиции в большей степени, чем сознательному рассмотрению (548). Возможно, что в силу ограниченных пределов сознательной жизни всякая попытка подвергнуть даже высшие формы общественного поведения чисто сознательному контролю влечет за собой распад. Глубоко поучительна, в глазах Сапира, способность ребенка легко усвоить самый сложный языковой строй, тогда как необходим на редкость острый ум аналитика для определения хотя бы отдельных компонентов того неуловимо тонкого языкового механизма, которым в бессознательном процессе играючи овладевает ребенок (549).

Бессознательная моделировка (*unconscious patterning*) охватывает весь речевой склад, в том числе, наряду с непосредственно значимыми формами, инвентарь звуковых единиц и конфигураций, и принадлежит обиходу рядовых членов языкового коллектива или, согласно фразеологии Сапира, «бессознательных и крайне лояльных приверженцев сполна социализованной (*thoroughly socialized*) речевой модели». Любопытен заключительный вывод доклада. Сапир полагает, что «в нормальном обороте жизни бесполезно и даже вредно для индивида пестовать сознательный анализ наличных культурных моделей. Этим делом следовало бы поступиться в пользу ученого, предопределенного для разбора подобных моделей. Здоровая бессознательность (*a healthy unconsciousness*) владеющих нами форм социализованного поведения точно так же необходима для общества, как для физического здоровья психическое неведение (или лучше сказать — безотчетность) деятельности внутренних органов» (558 сл.).

В последней трети прошлого и первой трети нынешнего века вопрос о сознании и бессознательности как двух соучастных языковых факторах был подвергнут разностороннему обсуждению в трудах руководящих теоретиков лингвистики, как явствует даже из кратчайшего обзора показаний Бодуэна, Крушевского, Соссюра, Боаса и Сапира. При всей их ценности, не подлежит сомнению необходимость уточненного пересмотра первоначальных предположений.

Лишь за последнее время лингвистика приняла к сведению 'метаязыковую функцию' как одну из основоположных словесных функций. Иначе говоря, непосредственным предметом высказываний может быть языковый код и его составные элементы. Недаром доказывал Ф. Ф. Фортунатов (1848—1914) в замечательной лекции 1903 года на съезде преподавателей русского языка, что «явления языка по известной стороне сами принадлежат к явлениям мысли» (II, 435). Метаязыковые опера-

ции составляют важную и неотъемлемую часть нашей речевой деятельности, позволяя при помощи парафразы, синонимики или же посредством эксплицитной расшифровки эллиптических форм обеспечить полноту и точность общения между собеседниками (ср. наш доклад 1956 года Американскому Лингвистическому Обществу — «*Metalanguage as a Linguistic Problem*»). Взамен бессознательно автоматизированных способов выражения метаязыковая функция вносит осознание речевых компонентов и их отношений, значительно суживая применимость привычного и повторенного Боасом суждения, будто «употребление языка настолько автоматично, что никогда не возникает повода для проникновения основных языковых понятий в сознание» и для превращения этих понятий в предмет нашего мышления (68).

В 1929 г. увлекательный ответ самоотверженного исследователя ребячьей речи, Александра Гвоздева, на коренной, но долго остававшийся в тени вопрос, «как дети дошкольного возраста наблюдают явления языка» (см. 1961, стр. 31—46), повлек за собой богатую, однако все еще далекую от полноты серию показательных материалов на эту тему, как напр. в трудах Чуковского, Швачкина, Капера и Рут Уир. Все эти разыскания и наши собственные наблюдения свидетельствуют о настойчивой «рефлексии над речью у детей»; мало того, первичное усвоение языка ребенком сопровождается и обеспечивается параллельным развитием метаязыковой функции, позволяющей размежевать приобретаемые словесные знаки и уяснить себе их семантическую применимость. «Чуть ли не каждое новое слово вызывает у ребенка толкование его значения», предупреждает Гвоздев (43) и попутно цитирует типичные детские вопросы и размышления, напр. «*Сдохла* и *околела* это одно?» — «Это про людей говорят *толстый*, а про мост говорят *широкий*». — «*Убирают* это значит *украшают*?» — в связи с праздничной елкой наводит на вопрос двузначность этого глагола (40). Морфологический анализ проявляется и в словотворчестве детворы, и в сознательном переводе новосозданной лексической единицы на язык ходовых словосочетаний. — «Печка прорешетела». Отец: «Что?» — «Решетом стала она» (Гвоздев, 38).

Метаязыковая компетенция с двух лет превращает ребенка в критика и корректора речи окружающих (Швачкин, 127) и даже внушает ему не одно только «неосознанное», но и «нарочитое противоборство» против «взрослой» речи: «Мама, давай договоримся — ты будешь по-своему говорить *полозья*, а я буду по-своему: *повозья*. Ведь они не *лозят*, а *возят*» (Чуковский, 62). Осознав уничижительный оттенок суффикса *-ка*, наблюдаемые Чуковским дети готовы протестовать против расширительного употребления этой морфемы: — «Ругаться нехорошо: надо говорить не *иголка с ниткой, а иголас нитой*». Или же: «Она *коша*, потому что хорошая; а когда она будет плохая, я назову ее *кошка*». В детском «завоевании грамматики» осознание языковых категорий порождает с одной стороны творческие эксперименты над такими замыс-

ловатыми морфологическими процессами, как видовое противопоставление «*вык, вык* и *привык*» (Чуковский, 42), с другой же стороны любопытные результаты порождает усилие осознать связь между формой и идеей грамматического рода. «Луна это жена месяцева, а месяц сходит на мужчину»; «Стол — дядя? Тарелка — тетя?» (Гвоздев, 44). Несколько характерных примеров того же «языкового сознания» дано у Чуковского (44). «А почему папа — он? Надо бы *пап*, а не папа». «Ты Таня, слуга, а Вова будет *слуг*». «Ты мужчин!» «Это у Муси если, — царапина, а я мальчик! У меня *царап*!» «Пшеница — мама, а пшено — ее деточка» (ср. принудительность грамматического рода по отношению к прилагательному принадлежности в народной детской песенке — «На бабью рожь, На мужичий овес, На девичью гречу, На маличье просо» — со сходной, детообразной оценкой среднего рода).

Осознание голой синтаксической матрицы лежит в основе комической забавы, описанной Гвоздевым: «Мать сидит и вяжет. Отец спрашивает, кто это. Двухлетний Женя, 'явно нарочито': *Папа* — '**Что делает?**' — *Писет* (пишет) — 'Что?' — *Яблык*. Очень доволен своими ответами» (39). Минимальный языковой компонент в свою очередь поддается сознательному детскому учету; согласно наблюдению Гвоздева (36), ребенок, услышав в разговоре слово *дошлый*, дает реплику, *Дошлый, а можно ошибиться — дохлый*», как бы «предостерегая самого себя от смешения двух созвучных слов», разнящихся всего одним различительным знаком (*distinctive feature*).

Показательны свидетельства о сознательной наблюдательности малых детей по отношению к звукам и формам, употребляемым сотоварищами инаковозрастными, иноплеменными или же выходцами из иной диалектной среды. Наконец, крайне поучительны ссылки наблюдателей на сложный временной состав речевого репертуара малолетних ребят, обнаруживающих нередко удивительную память на изживаемые или вовсе изжитые стадии собственного языкового опыта, а с другой стороны проявляющих двоякое отношение к новому, едва лишь приобретенному словесному материалу, т. е. либо охоту к его широчайшему использованию, либо напротив недоверие и сдержанность в обращении. Например, на вопрос, почему четырехлетняя дочка, научившись правильно произносить *волк*, все-таки говорит предпочтительно *вов*, она отвечает отцу: «Так не так тяжело, не так сердито» (Гвоздев, 36).

Активная роль метаязыковой функции, хотя и с немалыми переменами, остается в силе на всю нашу жизнь, сохраняя за всей нашей речевой деятельностью неустанные колебания между бессознательностью и сознанием. К слову сказать, плодотворная в данном случае аналогия между онтогенетическими и филогенетическими отношениями позволяет сопоставить череду смежных стадий детского речевого развития с динамикой языкового коллектива, где очередные, переживаемые изменения доступны осознанию со стороны говорящих. — Доступны, поскольку старт и финиш любого изменения неизбежно проходят сквозь стадию более или менее продолжительного сожительства, каковое налагает и

на начальный, и на конечный пункт развития раздельные стилистические роли. Если, например, языковое изменение состоит в утрате фонологического различия, то в словесном коде эксплицитный зачин развития и его эллиптический финал временно служат двумя стилистическими вариантами общего кода, причем каждый из них доступен возможному осознанию.

Однако в нашем речевом обиходе глубочайшие основы словесной структуры остаются неприступны языковому сознанию; внутренние соотношения всей системы категорий — как фонологических, так и грамматических — бесспорно действуют, но действуют вне рассудочного осознания и осмысления со стороны участников речевого общения, и только вмешательство опытного лингвистического мышления, вооруженного строго научной методологией, в силах сознательно подойти к тайникам языкового строя. На нескольких наглядных примерах нами было показано (см. «Structures linguistiques subliminales en poésie» в обработке 1973 г., стр. 280 сл.), что бессознательная разработка наиболее скрытых языковых принципов составляет нередко самую сущность словесного искусства, как бы ни подходить к различию между взглядом Шиллера, верившего, что поэтический опыт только начинается *mit dem Bewusstlosen*, и более радикальным тезисом Гёте, утверждавшим бессознательность всего подлинно поэтического творчества и бравшим под сомнение значимость всяких авторских рациональных домыслов.

Наблюдаемый лингвистами факт неотступного сочетания сознательных и бессознательных факторов в языковом опыте требует посильной интерпретации со стороны психологов. Можно высказать надежду, что понятие установки, ныне развиваемое грузинской психологической школой, позволит уточнить факт постоянного соучастия двояких компонентов в любой речевой деятельности. Как учел Д. Н. Узнадзе (1886—1950), выдающийся инициатор разысканий об «экспериментальных основах психологии установки», сознательные процессы далеко не исчерпывают всего содержания психики, и кроме этих процессов в человеке совершается нечто иное, что собственно протекает вне сознания и тем не менее оказывает решительное влияние на все содержание психической жизни. Такова т. н. *установка,* и Узнадзе склонен думать, что без ее участия «вообще никаких процессов как сознательных явлений не существует», и для того, чтобы сознание начало работать в определенном направлении, наличие активной установки оказывается необходимо (179 сл.).

Исследуя закономерности установки, А. С. Прангишвили дал ей новое, обобщенное определение: «Установка неизменно выступает как целостная структура с постоянным набором характеристик» (56), и эта формулировка явственно близится к лингвистическому диагнозу.

Считая сознательные и бессознательные переживания соподчиненными и в равной мере необходимыми элементами внутри «единой системы их отношений», А. Е. Шерозия прилагает к ним «принцип дополнительности», обоснованный Нильсом Бором, и настаивает на необходи-

мости систематического сопоставления этих двух «коррелятивных понятий», ввиду того что «понятие бессознательного лишено смысла, если брать его независимо от понятия сознания и наоборот» (II, 8). Следуя размышлениям Узнадзе о «специфической языковой установке», Шерозия намечает путь к психологическому объяснению и диалектическому снятию лингвистических антиномий, таких как «двойственность природы слова — его индивидуальность и его всеобщность». В частности, утверждение, что наше слово «всегда носит в себе больше информации, нежели наше сознание способно извлечь из него, ибо в основе наших слов лежат наши бессознательные языковые установки» (Шерозия. II, 446), перекликается с предположением Сапира, что в широкой мере 'реальный мир' бессознательно строится на языковых навыках каждой данной группы и что не общий мир под разными ярлыками, а скрытое различие миропонимания (*distinct worlds*) проявляется в несходстве языков (162). Тот же принцип был заострен и обобщен вдумчивым учеником Сапира Б. Л. Уорфом (1897—1941), стремившимся проследить влияние расхождений в грамматическом строе языков на различие в восприятии и оценке внешне схожих объектов наблюдения.

В свою очередь с рассуждением Сапира о необходимости ограничений сознательного анализа в речевом обиходе (см. выше) Шерозия сходится в убедительной догадке: «Если бы мы потребовали от нашего сознания, чтоб оно держало под своей властью все, что происходит в нашем языке и речи <...>, то оно было бы вынуждено отказаться от такой беспрерывной работы» (II, 453).

На «принципе связи» воздвигаемая теория целостной системы отношений между сознанием и бессознательными психическими переживаниями сулит в плане языка новые перспективы и нежданные находки, разумеется, при условии подлинного и последовательного сотрудничества между психологами и лингвистами, направленного к изжитию двух тормозящих помех — терминологической неувязки и упрощенческого схематизма.

ИСТОЧНИКИ

БАССИН Ф. Б., *Проблема бессознательного* (Москва, 1968).

БОАС Ф. (F. Boas), "Introduction". *Handbook of American Indian Languages*, I (Вашингтон, 1911).

БОДУЭН де КУРТЕНЭ И. А. (J. Baudouin de Courtenay), *ИБ—Избранные труды по общему языкознанию*, I—II (Москва, 1963).

БОДУЭН де КУРТЕНЭ, И. А., *Szkice językoznawcze*, I (Варшава, 1904).

БОДУЭН де КУРТЕНЭ И. А., „O psychicznych podstawach zjawisk językowych", *PF—Przegląd Filozoficzny*, IV (Варшава, 1903), 153—171.

ГАРТМАН Э., (Eduard v. Hartmann), *Философия бессознательного*, I—II (Москва, 1873, 1875).

ГВОЗДЕВ А. Н., *Вопросы изучения детской речи* (Москва, 1961).

ДАРМСТЕТЕР А. (A. Darmesteter), *La vie des mots étudiée dans leurs significations* (Париж, 1886).

КАПЕР В. (W. Kaper), *Einige Erscheinungen der kindlichen Spracherwerbung im Lichte des vom Kinde gezeigten Interesses für Sprachliches* (Groningen, 1959).
КРУШЕВСКИЙ Н. В. (M. Kruszewski), «Заговоры как вид русской народной поэзии». *Известия Варшавского Университета* (1876).
КРУШЕВСКИЙ Н. В., «К вопросу о гуне», *Рус. Филол. Вестник*, V (1881 а).
КРУШЕВСКИЙ Н. В., *Ueber die Lautabwechslung* (Казань, 1881 в).
КРУШЕВСКИЙ Н. В., *Очерк науки о языке* (Казань, 1883).
ПРАНГИШВИЛИ А. С., *Исследования по психологии установки* (Тбилиси, 1967).
САПИР Э. (E. Sapir), *SW=Selected Writings* (University of California Press, 1949).
СОССЮР Ф. (F. de Saussure), *Cours de Linguistique générale*, критическое издание, ред. Р. Энглер (R. Engler), II (Висбаден, 1967); IV (там же, 1974).
УЗНАДЗЕ Д. Н., *Психологические исследования* (Москва, 1966).
УИР РУТ (Ruth Hirsch Weir), *Language in the Crib* (Гаага, 1962).
УОРФ Б. Л. (B. L. Whorf), *Language, Thought, and Reality* (MIT Press, 1956).
ФОРТУНАТОВ Ф. Ф., *Избранные труды*, II (Москва, 1957).
ЧУКОВСКИЙ КОРНЕЙ, *От двух до пяти* (Москва, 1966, 19-е изд.).
ШВАЧКИН Н. Х., «Психологический анализ ранних суждений ребенка. Вопросы психологии речи и мышления», *Известия Академии Педагогических Наук*, VI (Москва, 1954).
ШЕРОЗИЯ А. Е., *К проблеме сознания и бессознательного психического*, I—II (Тбилиси, 1969—1973).
ЯКОБСОН Р. (R. Jakobson), *Questions de poétique* (Париж, 1973).
ЯКОБСОН Р., "Metalanguage as a Linguistic Problem" (1956), *Nyelvtudományi Közlemények*, II (Будапешт, в печати).

157

ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО КАК СЕМИОТИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Вяч. Вс. ИВАНОВ

Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Москва

В свое время З. Фрейд сравнивал роль исследования бессознательного, определившего более узкие границы осознанного Разума, с двумя предшествующими открытиями, уменьшившими первоначальный антропоцентризм ранней науки: с астрономической теорией Коперника и с эволюционной теорией Дарвина. Четвертым звеном в том же ряду может быть и проводимое современной семиотикой сравнение человеческих систем знаков со способами сигнализации, используемыми животными. Каждый из типов человеческих знаковых систем может быть определен и по его предполагаемому месту в филогенезе сигнализации, во многом параллельном ее онтогенезу у человека.

В частности, сравнение с жестовыми системами сигнализации обезьян (и с фактами раннего доречевого развития ребенка) подтверждает гипотезу об особой архаичности жестовой сигнализации, в том числе символики, связанной с сексуальными отношениями между индивидами (роль жестов подставления и покрытия как знаков социального подчинения и доминации у обезьян и т. п.). Следует подчеркнуть, что уже у обезьян в значительном числе засвидетельствованы псевдосексуальные символы, надстроенные над собственно сексуальными и по отношению к этим последним выступающие в качестве имеющих переносное значение.

Характер отношений между самкой и детенышем на знаковом (псевдосексуальном) уровне может служить частичным подтверждением некоторых основных идей психоанализа, хотя уже для этого этапа эволюции инцест внутри семейной группы можно считать практически исключенным [14, 63—64], поэтому исторические реконструкции Фрейда нуждаются в пересмотре.

Для прояснения возможного врожденного механизма, лежащего в основе важного для позднейшей человеческой культуры и детально изученного психоанализом и культурологией (у нас — в трудах М. М. Бахтина) представления о низе тела, существенной представляется врожденность у обезьян отрицательных реакций на запах кала. Из конкретных частных совпадений с ритуализованной знаковой системой обезьян следует отметить взаимное обслуживание, обыскивание — искание паразитов как способ выражения эмоций (особенно любовных), представленный как в обычаях ряда племен (сирионо в джунглях Боливии и т. п.), так и в мифологии («мотив искательниц вшей» — «Chercheuses de poux», в частности в палеосибирской и америиндейской мифологиях).

В свете сопоставления с данными приматологии врожденными

можно признать такие ритуализованные действия матери, как обучение ребенка ходьбе, переноску его на спине, игру в «прятки».

С точки зрения выявления возможных генетических корней отдельных человеческих знаковых систем и универсальных знаковых комплексов особый интерес может представить использование ветви дерева (о значимости которого в онтогенезе символов говорит «тест дерева», введенный при изучении детских рисунков) для символического обозначения ветвей (или деревьев), вожака обезьяньего стада или вождя человеческого племени. Уже у антропоидов можно предполагать перенос архетипических представлений о вожаке в символическую сферу, что соответствует идее В. А. Вагнера о преодолении вожаческой тенденции [11]. Особый интерес сравнительного исследования обычаев, связанных с близнецами в человеческих коллективах архаического типа, и аналогичных им особенностей отношения к двойне у обезьян заключается в возможности вычленения собственно человеческих программ знакового поведения, надстраивающихся над программами, общими с другими приматами [9].

Существенное различие между антропоидами и гоминидами — непосредственными предками Homo sapiens, использовавшими (уже в Терра Амата около 300 тыс. л. до н. э.) в символических целях охру, заключается в преобладающей роли синего (а не красного) цвета у антропоидов. Доминирование триады красный—белый—черный в символических системах цветовых противопоставлений специфично для человека. Исследование семантических ассоциаций при инактивации посредством электросудорожного шока одного из полушарий (по экспериментальным данным, полученным Л. Я. Балоновым и В. Л. Деглиным и обрабатываемым совместно с ними) позволяет притти к выводу, что система цветов в существенной степени определяется набором соответствующих цветовых словесных обозначений в данном конкретном языке (что соответствует гипотезе Сэпира-Уорда) и поэтому размещена в левом (доминантном по речи) полушарии.

С доминантным полушарием связывается целый ряд собственно человеческих знаков, основанных на словесных, в частности, представление о «я»; соответствующий набор знаков субдоминантного полушария, раскрываемый в комплексе деперсонализации, связан скорее с восприятием собственного тела.

В филогенетической типологии знаковых систем наиболее ранние из них характеризуются широкой комплексностью значений, как, в частности, жесты, которые у шимпанзе Уошо могут относиться одновременно к целому комплексу предметов: 'вред' — 'царапина' — 'красные пятна' — 'пупок'; 'слушать' — 'будильник' — 'сломанная стрелка часов' — 'мигающий огонек'; 'цветок' — 'запах табака' — 'кухня' (при общем числе знаков порядка $2 \cdot 10^2$). Сходное явление отчетливо обнаруживается в младенческом лепете, где отдельные звукосочетания (еще до усвоения системы фонем родного языка) служат, по определению Л. С. Выготского, фамильными именами для целого комплекса предметов, соединенных по случайным признакам: 'горячая кастрюля' — 'лампа' — 'грелка' (даже и пустая) — 'батарея центрального отопления' (хотя бы и холодная). У северо-американского индейского племени команчей дети в возрасте от 1 до 3 лет (пока они еще не овладели полностью обычным языком племени) говорили со взрослыми на особом детском языке со словарем порядка $2^2 \cdot 10$ и широкой комплексностью значений: 'что-нибудь грязное или нехорошее' — 'испражнения' — 'моча' — 'пиписька' — 'дурной запах' — 'Фу! Отойди от этой

пакости!' — 'я описался' — 'я запачкался' — 'покакай'; 'горячо' — 'не подходи! Здесь горячо' — 'огонь' — 'лампа' — 'молния' — 'солнце' — 'вспышка' — 'дрова' — 'горячее вещество'; 'Красиво!' — 'Хорошо!' — 'Славно!' — 'Дай-ка я тебя причешу!' — Дай-ка я тебя одену' (слова матери ребенку) — 'Вот красивое платье!' — 'Смотри, вот красивая игрушка!' — 'любая черная и цветная вещь, привлекательная для ребенка' — 'красный' — 'желтый' — 'синий'. Неразличение этих трех цветов, как и ряд других характеристик такого детского языка, соответствует характерным для правого (субдоминантного) полушария типам семантических связей.

Сходные семантические характеристики устанавливаются вслед за Фрейдом в знаковой системе бессознательного, где каждый символ может иметь широкий круг значений, и в примитивных тотемистических классификациях. Наряду с универсальными символами, которые могут входить и в бинарные оппозиции (типа 'солнце' — 'луна'), и признаками, число которых у отдельных австралийских племен достигает $2^2 \cdot 10^2$ (т. е. около 10^2 на каждую 'полуполовину' племени, что предполагает избыточность хотя бы части тотемов), к числу тотемов принадлежат конкретные классификаторы — люди (в том числе исторически засвидетельствованные, растения и животные (тотемическая классификация которых предвосхищает последующую научную и, как эта последняя, связана с практическими, в том числе хозяйственными потребностями), а также некоторые понятия, относящиеся к физиологической деятельности человеческого организма и представляющие интерес для психоаналитической интерпретации тотемов, давно уже начатой. На основании идей Л. С. Выготского о комплексном характере мышления, отраженного в знаках примитивных обществ [4; 5, 502], Уорсли недавно предложил истолкование тотемов племени как конгломерата, еще не образующего структурированную систему и связанного не только с первобытной наукой, но и с эмоциональными комплексами [15, 153—154]. Но если этот конгломерат в целом и организован свободнее — с большей энтропией (уже благодаря самому числу элементов), чем системы фонем или наборы универсальных двоичных противопоставлений, то внутри него (как внутри словарей естественных языков или пантеонов великих древневосточных государств с несколькими стами или «тысячей» богов, как у хеттов) можно выделить локальные группы, отношения между членами которых поддаются точному описанию. С диахронической точки зрения (собственно-исторической, а не синхронно-этнологической) все многообразие тотемов можно рассматривать как резервуар образов, из которых черпаются символы для построения символических классификаций, упорядочивающих эти символы, в частности путем включения их в набор двоичных противопоставлений. Связь символической классификации и тотемов на примере системы из 4 кланов может быть прослежена в Океании, например у тикопиа. Растительные символы, являющиеся тотемом каждого из этих кланов, упорядочены в соответствии с иерархией кланов: батат → кокосовый орех → таро → плод хлебного дерева. Каждый из этих символов через один соотнесен попеременно с символами тела и головы, образующими основную двоичную оппозицию (тело—голова) в системе тикопиа, организующую ее согласно дихотомическому принципу.

Одним из основных вопросов при типологической характеристике знаковой системы бессознательного является проблема амбивалентности символов, в структурных терминах определяемая как нейтрали-

зация семиотических оппозиций [12], ср. такой классический пример этой нейтрализации, как травестизм (у невротиков и шаманов, давно сопоставленных по этому параметру, как и по ряду других, с невротиками [6]). Отсутствие четких бинарных оппозиций в символике бессознательного отличает ее не только от фонологических и некоторых других языковых систем, но и от систем семантических ассоциаций, устанавливаемых как для доминантного, так и для субдоминантного полушария при его инактивации.

Другим существенным семиотическим вопросом, играющим первостепенную роль при оценке не только теоретических постулатов психоанализа, но и психоаналитических методов лечения, является вопрос о роли словесного кодирования для символики бессознательного [2]. При принятой методике основным способом проникновения в бессознательное являются «все те словесные высказывания пациента (его вербальные реакции), на которые опирается психологическая конструкция Фрейда» [3, 119; 8, 9]. Но при этом для формирования бессознательных программ поведения согласно классической психоаналитической теории особенно важными признаются период младенчества (до усвоения родного языка) и даже период внутриутробного развития, с которыми связан, в частности, комплекс Mutterleibversenkung, вслед за психоаналитиками детально изученный в эстетических трудах С. М. Эйзенштейна [10, 93—95]. Впечатления этих ранних периодов и основанные на них программы поведения (сходные с формируемыми у организмов на более ранних этапах филогенеза благодаря imprinting) не могут быть изначально кодированы словесно. Предположение же о том, что они позднее перекодируются со зрительно-осязательных и жестовых кодов на словесный, нуждается в экспериментальном обосновании.

Как показывают нейропсихологические методы, ранние впечатления хранятся в мозге (преимущественно в соответствующих отделах коры правого полушария) в качестве энграмм зрительных образов. Допустимо предположение, что этот запас образов может использоваться в символике бессознательного (например, в сновидениях) без перевода их в словесный код. Клинический материал говорит в пользу допущения того, что сновидения в существенной степени связаны с функционированием правого (субдоминантного) полушария головного мозга [7, 117—124]. Характерно, что с правым полушарием связаны и те словесные высказывания, которые в наибольшей степени могут быть прямо соотнесены с бессознательным Фрейда, — ругательства, которые, как и «непубликуемые сферы» [1, 459, примеч. 1] в целом, своей амбивалентностью ближе всего к символам бессознательного. Как и по отношению к другим знаковым системам, в особенности связанным с эмоциями, при этом еще остается в значительной мере невыясненным вопрос о соотношении функции коры и подкорковых структур (роль которых для производства звуков речи подтверждается новейшим экспериментальным материалом, находящим филогенетические аналогии в звуковой сигнализации, вызываемой экспериментально у обезьян при стимуляции подкорковых структур электродами).

К числу экспериментально поставленных проблем функционирования подкорковых структур следует отнести сопоставление механизмов образования страха в обезьяньем стаде, исследованных Дельгадо, с пандемией страха в примитивных обществах, с которой вслед за Фрейдом Давиденков связывал табу [6; 13, 148]. С точки зрения кибернетических сопоставлений мозга и вычислительной машины, все чаще ис-

пользуемых в современной семиотике, может представить значительный интерес сравнение сновидения с профилактикой машины. Как и мозг, машина не может быть выключена. Но время, свободное от решения настоящих задач, при работе на машине используется для профилактики — решения задач со снятыми ограничениями. Характер ограничений, снимаемых во сне, близок к типу ограничений, не играющих роли для символики бессознательного (как и для мифологического мышления). Следует отметить, что для всех этих типов знаковых систем (сон, символика бессознательного, миф) характерна такая установка по отношению к звучащему слову, которая предполагает возможность установления связи между двумя означающими безотносительно к характеру означаемых, что напоминает также игру слов (в этом плане исследованную Фрейдом в его работе об остроумии) и рифмовку, представляющую собой типично правополушарный способ обращения со словом.

Поставленная еще таким лингвистом как Сэпир задача включения науки о бессознательных процессах в языке (привлекавших внимание Бодуэна де Куртенэ) в науку о бессознательном, более общую по сравнению с задуманной Фрейдом, соединяется с другой задачей — исследования бессознательного как языка (в работах Лакана, Шэндза и других ученых).

В свете приведенных данных представляется целесообразным поставить вопрос о необходимости исследования каждой из. специфических знаковых функций применительно к асимметрии полушарий головного мозга. Символика бессознательного тем самым естественно включается в сферу интересов нейролингвистики и нейросемиотики.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАХТИН М. М.. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса, М., 1965.
2. БЕНВЕНИСТ Э., Заметки о роли языка в учении Фрейда. В кн.: Бенвенист Э., Общая лингвистика, М., 1974, стр. 115—126.
3. ВОЛОШИНОВ В. Н., (Бахтин М. М.), Фрейдизм, М.—Л., 1927.
4. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Мышление и речь. Избраные психологические исследования, М., 1956.
5. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Психология искусства. Изд. 2, М., 1968.
6. ДАВИДЕНКОВ С. П., Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии, Л., 1947.
7. ДОБРОХОТОВА Т. А., БРАГИНА Н. Н., Функциональная асимметрия и психопатология очаговых поражений мозга, М., 1977.
8. ИВАНОВ В. В., Значение идей М. М. Бахтина о знаке, высказывании и диалоге для современной семантики. Труды по знаковым системам, VI, Тарту, 1973, стр. 5—44.
9. ИВАНОВ В. В., К предыстории знаковых систем. Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим семиотическим системам. I, (5), Тарту, 1974.
10. ИВАНОВ В. В., Очерки по истории семантики в СССР, М., 1976.
11. ИВАНОВ В. В., К лингвистическому и культурно-антропологическому аспектам проблем антропогенеза. В кн.: Ранняя этническая история Восточной Азии, М., 1977.
12. ИВАНОВ В. В., К семиотической теории карнавала как нейтрализации семиотических оппозиций. Труды по знаковым системам, Тарту, 1977.
13. IВАНОВ В. В., Найдавнiшi форми людськоi культури та iх вiдображення у первiсному мистецтвi. Всесвiт, 1976, № 6, стр. 187—198.
14. REYNOLDS, V., The Biology of Human Action. Reading and San Francisco, W. H. Freeman and Company Limited, 1976.
15. WORSLEY, P., Groote Eyland Totemism and Le Totémisme Aujourd'hui. In: The Structural Study of Myth and Totemism, ed. by E. Leach, Edinbourgh, 1967.

158

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В КОНТЕКСТЕ РЕЧЕВОЙ АКТИВНОСТИ

Д. И. РАМИШВИЛИ

Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси

Эйнштейн, излагая в беседе с Вертхаймером в своем роде драматический процесс овладения им теорией относительности, замечает: «Я не уверен, возможно ли вообще действительно постичь чудо мышления. Но, наверно, вы правы, когда пытаетесь глубже проникнуть в то, что на самом деле происходит при мыслительном процессе» [17, 211]. О чуде гениальный физик в данном случае говорит в связи с тем, что продуктивный процесс мышления отнюдь не повторяет известных логических операций в закономерной последовательности их развертывания. Логически построенное изложение и доказательство правильности выводов осуществляется лишь post factum, уже после того, когда психический процесс установления новых отношений завершен на основе своих собственных специфических законов. Именно это противопоставление живого психического процесса логическому и положило начало изучению проблемы продуктивного мышления Вертхаймером.

То, что Эйнштейн обратил внимание на эту особенность процесса мышления, вполне закономерно, как закономерно и то, что даже такой удивительный гений, как он, касаясь сугубо психологических фактов, тоже становится в отношении них на точку зрения наивного реализма и с присущей ему скромностью, но все же решительно заявляет, что он очень редко думает словами и лишь впоследствии пытается выразить мысли в словах. На замечание Вертхаймера о том, что многие утверждают, будто их мышление всегда осуществляется при посредстве слов, Эйнштейн, оказывается, только засмеялся.

Дело в том, что утверждение об определяющей роли языка в процессе мышления обычно сводилось — да и по сей день сводится — к тезису о невозможности осознания, т. е. возникновения и наличия в сознании мысли иначе, чем в более или менее завершенной словесной формулировке. Между тем обычно при мыслительном процессе у субъекта в определенный момент возникает неоспоримая уверенность, что он владеет мыслью и вся трудность заключается лишь в ее словесном изложении. Непосредственная данность этого факта, т. е. кажущегося первенства мысли, так осязаемо проявляющаяся в самонаблюдении, а с другой стороны, специфическая роль языка, не дающая о себе знать на поверхности сознания и заключающаяся, в основном, в систематизации отражения объективного мира и тем самым определяющая процесс мышления, — все это сделало невозможным понимание природы этого процесса для интроспективной психологии.

Именно вышеизложенное обстоятельство и заставило в свое время представителей так называемой «психологии мышления» принять факт «бессознательной мысли» и тем самым категорически противопо-

ставиться собственным же отправным посылкам и своей принципиальной позиции. Так неизбежно пробивающаяся логика фактов продемонстрировала на них метод Сократа, приводящий противника к отрицанию собственных исходных положений.

Только названными моментами, иначе говоря, очевидностью самонаблюдения и скрытым характером ведущей роли языка, можно объяснить тот факт, что и сейчас догма о существовании доречевой мысли фактически дает о себе знать в самых разнообразных позиционных контекстах. В своей очень интересной статье о Хомском А. Р. Лурия [3, 142—149], весьма справедливо критикуя идущую еще от Картезия имманентную позицию в вопросе познания объективного мира, под конец в качестве более правомерной противопоставляет ей концепцию Пиаже. А между тем именно Пиаже и его последователи, можно сказать, с фанатической приверженностью борются за догму о независимости от речи процесса созревания мысли, развивающегося по присущим ему собственным, имманентным законам в процессе адаптации к внешнему миру. Вследствие этого высшие формы равновесия, иначе говоря, формально-логическая ступень интеллекта, по Пиаже, более всего далека от реальности, являясь завершением развития своих собственных законов, действий и операций. Именно поэтому проблема генезиса этих действий продолжает существовать, по его словам, в полном объеме [5, 148—149].

Уже понимание этим автором процесса социализации мысли, который сводится к последующему обмену и сопоставлению разных точек зрения и в котором язык играет лишь подсобную роль необходимого технического средства, наглядно свидетельствует о том, что имплицитные посылки, лежащие в основе теории Пиаже, родственны с философской позицией, из которой исходит и теория Хомского.

Что касается внезапно всплывшей в психолингвистике проблемы «невероятной быстроты», с какой ребенок овладевает языком—если только такая проблема в самом деле существует, — то надо отметить следующее. Изоморфизм более низших структур поведения по отношению к логической структуре безусловен и соответствует основному принципу процесса приспособления, свидетельствуя об общих условиях и общей закономерности отражения объективного мира в развитии живого существа и его поведения. Но можно ли отсюда вывести заключение, что языковые структуры усваиваются ребенком в его доречевом поведении и что в процессе активного отражения действительности у него формируется субъективный образ объективного мира, помогающий и даже определяющий «понимание» им основных языковых категорий. В этом плане А. Р. Лурия приводит мнение Дж. Брунера о том, что искать объяснения возникновению языковой активности у ребенка надо в элементарных доречевых актах поведения, в элементарных актах «*внимания, которые позволяют ребенку раннего возраста выделять предметы, ориентироваться в них и их признаках*» (разрядка наша. — Д. Р.). Вышеизложенные акты внимания, направленные на предмет, как таковой, не способны объяснить возникновение языковой активности, поскольку способность направить внимание на предметы, «ориентироваться в них и их признаках» уже свидетельствует о наличии интеллектуального, предметного сознания, возникающего в действительности лишь на основе речевой активности.

Возвращаясь к нашей основной теме, можно сказать, что из слов Эйнштейна и высказываний Вертхаймера как психолога вытекает следующее: содержание, к которому приходит мыслительный процесс, уже предвосхищено, антиципировано субъектом и, что особенно важно, именно это и направляет процесс сознательной мысли по закономерному пути, или, иначе говоря, процессом мышления управляет система отношений, данная в плоскости досознательного отражения. Аксиомы, из которых впоследствии выводится доказательство нужного положения, не есть начало психологического процесса, протекающего в мышлении, точнее в сознании, они суть его завершение. После того, как было найдено решение, маячившее и мучившее Эйнштейна в про-

должение многих лет, заставлявшее его отвергать несогласные с этим решением положения и, таким образом, в качестве закона направлявшее его мышление, — после того, как оно было, наконец, схвачено сознанием, изложить его как бы в обратном порядке, в виде логической последовательности дедуктивных операций, было, по словам Эйнштейна, «пустяковым делом»[1].

Вертхаймер как представитель гештальт-теории силится объяснить вышеописанный процесс законом гештальта. Действующая при мыслительном процессе система отношений, направляющая решение задачи, для него гештальт. В частности, в данной ситуации дело для него сводится к смене одного гештальта другой гештальтной структурой со всеми характеризующими этот процесс изменениями центрации и перегруппировок. Но система отношений, по ориентирам которой направляется работа сознательной мысли, не может быть понята как гештальт.

Во-первых, гештальт есть **непосредственная данность феноменального уровня**, целостная форма таковой, тогда как система отношений, направляющая процесс решения, не есть явление феноменальной сферы. Она не дана сознанию, но в качестве подсознательно действующей закономерности отношений направляет процессы таковою.

Эта система не может быть гештальтом, не может подчиняться законам гештальтизации уже потому, что она есть **закон объекта**, т. е. **такой** определенности предметных отношений, адекватное отражение которой в сознании и есть цель и функция мыслительного процесса. Гештальт же сам подчинен и есть отражение этой закономерности объекта, но отражение в **филогенетическом отношении гораздо более раннего уровня.** И хотя ни один психический процесс, точнее, ни одно психически отраженное содержание, в том числе и гештальт, не может противоречить логике, — никакое содержание не может в одно и то же время быть А и не А, скажем, быть черным и нечерным, — но это все-таки не значит, что гештальт совпадает и может быть отождествлен с логическим процессом интеллектуальной активности. С этой точки зрения весьма симптоматично, что гештальт, наоборот, с особым трудом поддается процессу логизации.

В этом отношении очень интересны опыты Парджанадзе [4] над непосредственной памятью. В этих опытах испытуемым предлагается список слов для незамедлительного воспроизведения. Слова, входящие в одно родовое понятие, например в понятие «мебель», неосознанно объединялись испытуемыми детьми, т. е. младшими по возрасту, а, значит, и находящимися на более низкой ступени развития, в одну группу и соответственно увеличивали объем их непосредственной памяти. По справедливому мнению автора, это, конечно, должно быть приписано категоризирующему фактору речи.

---

[1] Нижеследующие рассуждения Вертхаймер приводит, как слова самого Эйнштейна, заключенными в кавычки: «Ни один действительно продуктивный человек не мыслит так по-бумажному», — сказал Эйнштейн. Противопоставление в книге Эйнштейна и Инфельда двух групп аксиом, по три в каждой, друг другу ни в коем случае не передает того, как на самом деле это происходит в действительном процессе мышления. Это—только последующая формулировка предмета, когда встает лишь вопрос о том, как лучше изложить дело. Аксиомы выражают суть дела в концентрированной форме. Кто раз такую вещь нашел, то так сформулировать её — это уже пустяк (macht es Spaβ). Однако в самом процессе (т. е. в процессе первоначального рассуждения, прибавляет от себя переводчик — Metzger) ничего не возникает из каких-либо манипуляций над аксиомами» [17, 212].

В случае гештальта такие результаты были установлены лишь у более взрослых испытуемых, в частности у студентов. Следовательно, сложнее оказался процесс такого же досознательного группового удержания слов, входящих уже в один гештальт (название частей предмета, напр., комнаты). Вычлененные словами и данные в виде отдельных значений части гештальта уже не объединялись испытуемыми с такой легкостью досознательно, до всякой рефлексии, в одну группу, как это имело место при наличии в прошлом процесса категоризации посредством речевой активности.

И это, по-видимому, вполне закономерный факт. Животное ведь тоже отличает круг от других фигур, но какое это имеет отношение, с психологической точки зрения, к познанию логического закона круга, как замкнутой кривой. В то же время слово, скажем, слово «животное» как языковый факт объединяет в психике ребенка совсем непохожие в феноменальной плоскости, т. е. по наглядным признакам, явления в один класс еще до осознания им действительной основы объединения. Можно ли этот вид систематизации подвести под закон гештальта?

Между прочим, Вертхаймер в этой же книге, но и в другом контексте указывает, что только закон хорошего гештальта, стремление последнего к четкости и завершенности является иногда источником ошибок в мышлении [17]. Уже это одно свидетельствует о том, что мыслительный процесс должен быть адекватен именно по отношению к объекту, а не соответствовать закону хорошего гештальта, как такового. Хороший или плохой, гештальт, в конечном счете, тоже согласуется ни с чем иным, как с объектом[2].

Возникает вопрос: откуда же дается субъекту система отношений, еще не отраженная в сознании, но направляющая процесс решения задачи и ответственная за адекватность такового? Каков механизм, лежащий в основе этого процесса? Что, в частности, если вернуться к вышеприведенному конкретному примеру, или, точнее, какая досознательная система ориентиров диктовала Эйнштейну, в каком направлении надо искать решения мучившей его проблемы и откуда брались эти ориентиры? Для уяснения поставленного вопроса коснемся некоторых особенностей психики.

Если проследить соответствующие данные по специальной литературе, то вперед начинает выступать та основная особенность психики, присущая ей уже на самых ранних ступенях развития, что на тот или иной раздражитель, стимул или, иначе говоря, конкретное явление живое существо с самого же начала реагирует не как на отдельное содержание, выступающее перед ним в виде независимой единицы, а как на нечто, занимающее определенное место в соответствующей системе. Эта система, наличествующая в актуальной ситуации, данной носителю психики, в первую очередь фиксируется его отражательной способностью, и лишь по месту того или иного явления в этой системе субъект реагирует на него, как на нечто конкретное, как на стимул. Другой возможности выделить отдельное явление, как таковое, у носителя психики, по-видимому, нет.

В старой ассоцианистической психологии, так же как и в новой объективистической, показателем наиболее ранней ступени развития психики считается то, что живое существо реагирует лишь на элементарный раздражитель. Мир для него, согласно этой теории, представ-

---

[2] Именно то обстоятельство, что гештальт подчинен не каким-то общим, неизвестно откуда идущим законам гештальта, как такового, а определенности объективных отношений, заставило в свое время поднять число законов гештальта до нелепого количества [10, 99].

лен в виде отдельных простых стимулов, а, между тем, на основании соответствующих фактов и исследований возникает вопрос: может ли вообще раздражитель выступать отдельно, как таковой, хотя бы и для психики, находящейся на совсем ранней ступени развития? [8; 9]. В процессе работы над животными с давних пор установлено, что животное, даже такое «зрительное», как антропоид, выбирает тот или иной ящик среди других, в первую очередь, по его месту в ряду, а не по внешнему виду, хотя бы очень разительному (Иеркс и др.). Обычно это приписывалось доминирующей роли у животных кинестетических ощущений. Но как бы несомненно ни было господство этой модальности у животного, это не меняет того положения, что в первую очередь у него фиксируется определенная система отношений, в данном случае пространственное расположение, и что именно она становится условием для выделения отдельного момента. То, что пространственные системы должны быть и являются генетически самыми ранними, — это не вызывает сомнения. Но к какой бы модальности ни принадлежали вообще участвующие в поведении ощущения, а в данных опытах несомненно наличие и зрительных ощущений, они начинают функционировать в психическом отражении лишь на основе системы определенных ориентиров.

Это обстоятельство становится особенно наглядным в работах этологов[3]. Так, в опытах Тинбергена оса определенного вида, т. н. «пчелиный волк», узнает свою норку лишь по определенным ориентирам вокруг нее, точнее, по месту, занимаемому ее норкой среди этих ориентиров (прутики, камни, шишки и т. д.). Перемещение последних Тинбергеном на другое место побуждало осу приземляться в точности на том месте, где полагалось находиться норке в системе этих указующих вех. Вне последних, приземлившись около своей норки, оса не узнавала ее. Признаки норки получали способность воздействовать на нее лишь по своему месту в данной системе отношений.

Интересно еще и следующее обстоятельство. Тинберген с удивлением отмечает, что, отодвинув ориентиры дальше 2-х метров, он уничтожил их действие, они перестали функционировать в качестве ориентиров. Между тем, возвращаясь с охоты на пчел с дальнего расстояния, эти осы пользовались как ориентирами очень далеко друг от друга отстоящими высокими деревьями [11]. Это закономерное обстоятельство особенно легко объяснить, подойдя к ним с позиции теории установки Д. Н. Узнадзе [12, 9]. На этой низкой ступени развития врожденные, как бы застывшие немногочисленные системы служат каждая своей задаче, иначе говоря, отвечают каждая соответствующей потребности. Первая — потребности нахождения норки, вторая — потребности найти дорогу к своему обиталищу. Эта как бы одеревенелость немногочисленных и разрозненных на этой ступени систем и явилась материалом, давшим основание для развития преформистских теорий в духе Юкскула. На более высоких ступенях психики эти системы делаются более подвижными и взаимопроникающими.

Эта же закономерность довольно явственно давала себя знать и в опытах над животными, находящимися на более высокой ступени развития. Еще Келер подчеркивал, что ящик в комнате, где надо снять высоко подвешенный плод, не есть для антропоида тот же предмет, что и ящик в другом помещении, где на нем лежала другая обезьяна, или

---

[3] Здесь мы уже не останавливаемся на прославленной работе Фриша о языке пчел, поскольку объем работы препятствует этому [9, 325—326].

же ящики во дворе, где обезьяны с ними играли. Вне определенной ситуации и данной в ней системы отношений предметы уже не воздействуют на животное специфически и отдельные их признаки не выступают для него на первый план.

С точки зрения механизма воздействия предмета на носителя психики очень симптоматична и еще одна закономерность, играющая далеко немаловажную роль в процессе речевой активности. В наших опытах над антропоидом явственно проявилось, например, что это животное непосредственно реагирует не на признаки явлений, а на свое отношение к ним. Его субъективное отношение оказалось вклиненным в качестве опосредующего звена между ним и предметом и тем самым обуславливало у него в соответствующих условиях специфические действия и ошибки. Антропоид, который довольно хорошо выучился выбирать коробку с двумя фигурами на крышке, независимо от их цвета и формы, путался, когда мы им противопоставляли одну фигуру, но почему-то для него очень привлекательного красного цвета[4]. Две фигуры и красный цвет были для него объединены положительным знаком в одну группу, и требование реагировать на красный цвет как на отрицательный стимул вызывало у него нервные срывы. Аналогично этому, когда мы в последующих опытах в той же ситуации, но по особому сигналу требовали от антропоида отрицательно реагировать на **две фигуры**, это оказалось непосильной задачей для животного. В воздействии определенного предметного содержания для него вперед выступала именно его положительность.

Вообще психика начинается вместе с возникновением отношения субъекта к объекту. Нечто становится для носителя психики или положительным, или отрицательным сигналом, вызывая соответствующие действия. Именно этим противопоставляется область новой, т. е. психологической, закономерности однозначному воздействию предметов в физическом мире. Иррелевантный раздражитель включается в процесс, принимая определенную значимость для живого существа на основе наличествующей у него потребности. На самых низших ступенях развития эта положительность или отрицательность объекта может и должна носить очень элементарный характер. Но это не меняет того положения, что именно здесь заложены корни того процесса, который на самой высокой ступени перерастает в эмоцию с ее сугубо специфическим содержанием, всегда указывающим отношение субъекта к определенному объекту.

Специфическое расширение субъективной сферы у антропоида, проявляющееся в различных видах его поведения, делает его особенно контактным животным, что и подало в свое время повод искать у него начальную ступень интеллекта. Однако в контексте нашей проблемы нас интересует то, что механизм поведения антропоида содержит в себе симптоматичную аналогию и в то же время принципиальное отличие от поведения человека, в частности, в сфере речевой активности последнего. У антропоида реакция на то или другое конкретное явление и, таким образом, выделение его, как такового, этой реакцией определяется в конечном счете наглядно данными признаками пред-

---

[4] В свое время мы отмечали, что, увидев первый раз круг красного цвета издали, животное сейчас же кинулось к нему, проявляя сильные признаки радости. Вообще наш антропоид весьма явственно проявлял свое субъективное отношение к определенным цветам. Примечательно было и с треугольником: если мы поворачивали последний к нему острием, то это заставляло его отдергивать руку [7].

метного содержания, соответствующая реакция на которое приводит к положительному эффекту. Но, не обладая сознанием, антропоид «не знает», что реагирует именно на **две фигуры** или на **красный цвет,** хотя **эта** конфиуграция и этот цвет **тянут** его, **побуждают** к соответствующей реакции. В его субъективном состоянии актуально ему дано именно это побуждающее его к реакции воздействие, принимающее на этой ступени развития характер самостоятельно действующего стимула поведения. А посему, когда характер этого воздействия совпадает с воздействием, вызываемым другим содержанием, объективные данные этих последних могут стать для него не отличимыми друг от друга, а изменение реакции на это же содержание специфически затрудненным.

Если же обратиться к процессу выделения того или иного явления посредством слова человеком, то для последнего в его сознании в этом процессе вперед выступает конкретное содержание предмета, его наглядные признаки, в первую очередь отмечаемые его сознанием. К ним непосредственно и примыкает процесс словоупотребления. Между тем определяется таковой, т. е. то, какое именно явление должно быть выделено тем или иным словом, отнюдь не этим конкретным содержанием, отнюдь не наглядными признаками явления, а общим моментом, не данным субъекту в сознании и в то же время объединяющим самые различные виды конкретного содержания. Именно этот общий момент, не являющийся содержанием сознания субъекта и, тем не менее, определяющий закономерное использование слова этим последним, вызывает такое специфическое отношение субъекта к конкретному содержанию явления, на основе которого субъект включает то или другое явление в категорию «травы», «собаки» и т. д. Все испытуемые одни и те же явления обозначают определенным наименованием и в отношении одних и тех же явлений отрицают возможность применения того или иного слова. Общий момент, обеспечивающий закономерность этого процесса, обусловливает и возникновение субъективного отношения к соответствующим конкретным явлениям и выход последних на передний план сознания.

Вследствие вышеозначенной психологической закономерности испытуемые, когда мы спрашиваем их, трава ли фиалка, все в один голос категорически заявляют, что фиалка не трава, а «цветок». Но спрошенные вслед за тем о клевере, они тут же отвечали, что клевер— трава, хотя он и имеет цветок. Бросающаяся в глаза «цветочность» фиалки связывалась для них с невозможностью назвать ее травой, но определялось словоупотребление вовсе не этим моментом, иначе и цветок клевера должен был попасть в ту же категорию. Точно так же испытуемые были уверены, что выделяют собак по внешнему виду. Подтвердив, однако, в своих ответах, что бульдог вовсе не похож на таксу или болонку, они, удивленные, иногда сами обращались к нам с вопросом: «В самом деле, почему же тогда собаки «собаки»? [6].

Что же является этим общим моментом, определяющим закономерное, однозначное применение вышеприведенных слов?

Чтобы не повторять давно опубликованных данных [6], скажем лишь, что использование слов, обозначающих повседневные понятия, как правило, определяется вполне **объективным** фактом и содержанием, а именно, ролью определенных явлений в социальной практике данного языкового коллектива. Трава, например, все то, что применяется как **зеленая масса.** Все, что противоречит этому применению, исключается им из категории травы. Но в сознании субьекта не дана эта закономерность, определяющая его речевую активность. Он «не

знает», что он называет травой. Выдифференцировать в сознании соответствующее общее содержание — это, особенно в некоторых случаях, далеко не легкая задача. В центре переживания субъекта оказываются, как мы уже говорили, конкретные признаки явления. Отсюда несоответствие между его дефинициями данного слова и использованием последнего им же самим. Трава, по его определению, это «низкое зеленое растение», хотя и альпийская трава, в рост человека и выше, тоже для него трава. Сад он определяет как цветочные насаждения, но плантация роз для парфюмерных нужд не сад для него, не сад для него и виноградник и т. д.

Именно то обстоятельство, что общий момент, отражающий определенную объективную закономерность и не сводимый к наглядным признакам явления, управляет процессом речевой активности и, в конечном счете, может быть выдифференцирован — с бо́льшим или меньшим трудом — в сознании, это обстоятельство и создает подлинный скачок в развитии психики от животного к человеку, а тем самым и принципиальную разницу между ними, будь это антропоид или животное иного вида.

Но здесь же имеет место и определенное сходство между механизмами их действия. В механизме словоупотребления, когда процесс не определяется содержанием сознания[5], в качестве ведущего фактора выступает отношение субъекта к предметному содержанию. Это и порождает законную аналогию с животным—антропоидом. Последний тоже выделяет явления на основе субъективного отношения к ним. Само по себе это — вполне закономерное обстоятельство, поскольку момент субъективного отношения и есть тот самый общий признак психики, с которого и начинается специфика последней и который не может не наличествовать во всяком психическом процессе, видоизменяясь в зависимости от ступени развития этой психики.

Принципиальная разница, создающая непреодолимую пропасть между видами развития человека и животного, как мы уже говорили выше, состоит в том, что активность человека направляется общим предметным содержанием, не сводимым к конкретной данности явлений. Чем же обусловлено возникновение этого различия? Тем, что системы определенных координат и ориентиров, являющиеся необходимым условием для того, чтобы конкретное явление могло быть выделено в качестве стимула животным, всегда есть и должны быть для него лишь системами, наличествующими в наглядной ситуации, т. е. данными здесь и сейчас, hic et nunc, — тогда как в случае человека ориентирами, дающими возможность сознанию отразить предмет, снабжает психику языковая система с фиксированным в ней социальным опытом, который не ограничен пределами данного времени и пространства и, таким образом, освобожден от прикованности к конкретной ситуации. Это последнее обстоятельство дает возможность человеческой психике отразить такие общие моменты объективного мира, такие определенности предметных отношений и их взаимосвязей, которые лежат по ту сторону всякого животного существования и его возможностей. Это и кладет начало новому виду развития, истории человеческого общества, не связанного биологическими пределами вида, как это имеет место в собственно животном мире.

---

[5] Определяется словоупотребление сознанием, например при установлении научных терминов, хотя и здесь этот процесс может явить весьма симптоматическую тенденцию к изменению, как, например, в случае атома [8,85].

Мы хотели бы особо подчеркнуть, что общий момент, определяющий словоупотребление, отражает вполне объективное содержание, каковым в практике языкового коллектива и является роль предмета. Функциональное понятие-«знак» тоже отражает вполне объективный признак, хотя этот признак имеет отношение лишь к носителю психики. То же самое и в случае биологического понятия, скажем, «глаза». Глаз—это то, что дифференцирует световые лучи в психической отражательной способности. Общий момент, характеризующий природу всех различных видов глаза, возник в процессе приспособления отражательной функции к определенному объекту (световому лучу). Это и относится к сущности глаза. Тем более должно это сказать о языке, который тем, что он есть, делает его функция, то, что он выполняет (его Leistung) для человека. Только влиянием феноменологической школы, в частности Гуссерля, считающего функциональные понятия как бы «низкокачественными», можно объяснить, что такой интересный мыслитель, как Weisgerber, может находить, что сущность языка, так же как и всякого другого объекта, не в может быть выражена его функцией [15, 20; 16, 12].

Основная функция языка — пропустить новый объект, новую объективную закономерность сначала в речевую активность, а потом в сознание человека — только потому и может осуществиться, что сама эта функция есть выражение объективной закономерности, являющейся сущностью языка и возникшей в процессе приспособления психики к природе объекта, как такового.

Чтобы ближе изучить механизм, лежащий в основе вышеописанного процесса, мы провели следующие опыты на детях дошкольного возраста. При одном сигнале — например, большой красный круг перед рядом коробок — мы клали конфету в коробку с самым большим прямоугольником на крышке, при другом сигнале — в другую коробку. Затем мы вводили добавочный сигнал в виде желтого прямоугольника рядом с основным сигналом, что означало, что последний меняет свое значение и, значит, конфету не надо искать в той коробке, в которой она лежала при первом, основном сигнале. Результаты опытов показали **положение, не знающее исключения:** дети начинали «работать», т. е. правильно выделять коробку с конфетой, еще не осознавая, какой признак определяет их выбор. Осознание определяющего признака намного отставало от выработки правильных ответов. При введении двухэтажной системы знаков дети начинали давать сплошь правильные ответы, так и не осознав, однако, до конца опытов, что́ означал этот введенный желтый прямоугольник: **повернувшись спиной к ряду коробок,** они не могли сказать, в какую коробку в данном случае мы кладем конфету, но, обратившись **лицом к коробкам,** они сейчас же бросались и брали нужную коробку. На вопрос о том, в какую коробку мы кладем конфету, они называли цвет коробки, хотя цвет не имел никакого отношения к решению задачи.

Таким образом, эти опыты выявили два параллельно действующих механизма: механизм **досознательного фиксирования общих моментов и отношений,** протекающий по методу, приближающемуся к т. н. методу проб и ошибок[6], и затем механизм последующего осознания. В сознании, как мы уже говорили, в первую очередь выделяются бросающиеся в глаза конкретные содержания, а именно, цвет, не имеющий отношения к правильному решению. Что же касается действительно определяющих выбор коробки моментов, то они начинали постепенно выходить на поверхность сознания, все настойчивее навязываясь в по-

---

[6] Подсчет ошибок при этом показал, что в первую очередь в таком случае фиксируется м е с т о к о р о б к и в р я д у. Ребенок обычно искал конфету в коробке, лежащей на том же месте, где он перед этим нашел конфету [7].

сторонних разговорах, играх и ассоциациях. Дети начинали говорить о «больших», «меньших» вещах, «о кирпичиках» (т. е. прямоугольниках), и лишь с запозданием происходило осознание, что именно эти моменты определяли их выбор [7].

Очень интересно, что и в аналогичных опытах, проведенных Е. Герсамия, когда дети начинали правильно искать конфету в зеленых коробках, хотя еще не знали, что конфета находится именно в них, они особенное внимание обращали, как передает автор, на зеленый цвет. Отвернувшись от опытного материала и посмотрев назад в комнату, они отмечали что «здесь все стулья зеленые», хотя в комнате были стулья и другого цвета [1].

В этих опытах выявилась та же закономерность процесса. Определяет решение задачи (выделение явления) досознательно фиксированная система общих моментов и отношений, обуславливая и факт выбора и выскакивание в сознании известных содержаний. Субъекту бросается в глаза «цветочность» фиалки именно в ее противопоставлении с «травой, как зеленой массой». Наличие же цветка у клевера не попадает в центр переживания, поскольку он занимает другое место в той же системе отношений. Точно так же дети на вопрос, в какую коробку мы кладем конфету, перечисляли нам по цвету — «в зеленую (т. е. с зеленой фигурой), в «красную», в «синюю» — все коробки, в которых в тот день побывала конфета. В действительности, ни в «цветочности» фиалки, ни в цвете фигуры на коробке не дан момент, определяющий решение. Таковой может быть выдифференцирован лишь путем противопоставления конкретных решений и соответствующих ситуаций. Так было установлено значение слов «трава», «сад» и т. д. Так находились, в основном, нужные признаки и детьми. В случае последних, поскольку опыты проводились нами поэтапно, т. е. поскольку мы лишь после осознания значения одного сигнала вводили другой, нам приходилось часто помогать процессу осознания. Сопоставление наглядно данных экспонатов и правильных и неправильных ответов при определенном сигнале (здесь в «синем» конфета, там в «синем» нет ее и т. д.) облегчало им выделение общих моментов.

Возникает вопрос: откуда берутся эти общие моменты, функционирующие в качестве ориентиров при применении слова и обуславливающие развитие мыслительной активности? Основным механизмом всего этого процесса является перекрещивание ситуаций, данных посредством речевой практики, заставляющее фиксироваться в психике субъекта наличествующий в них общий момент. Когда человек назвал «меланос»-ом чернила, в сознании он имел черноту жидкости, но практика применения этого слова и в отношении зеленых, красных и т. п. чернил установила настоящее значение этого слова, как употребляемой для письма жидкости. То же и в отношении «Buch»-а. Человек назвал Buche начертанную на буковой коре письменность, имея в сознании ее «буковость», но в действительности практикой языка посредством этого слова было обозначено не дерево в лесу, а конкретный вид письменности. Именно вследствие этого слово «Buch» закономерно перешло на другие виды, на книгу.

Очень хорошо показано это в исследовательском кругу Weisgerber'a. Напр., Gipper отмечает, что под влиянием потребностей языка, возникших при рыцарской культуре, слова, обозначающие на немецком языке женщину (Weib, Frau, Herrin и т. д.), выкроили каждый для себя особую область применения, иначе говоря, значение. Непонятно лишь, почему автор так возражает против того очевидного факта, что здесь решающим моментом являются определенные социальные отношения [13, 33]. Не совсем понятно также, поче-

му нельзя назвать значением основу, определяющую применение слова в отношении именно э т и х, а не других явлений, все равно, в каком бы виде ни была дана эта основа, в виде явлений, объединенных в группу практикой коллектива (как, напр., Unkraut) или в виде установленного сознанием содержания, как это имеет место в науке. Термин «der geistige Inhalt» как будто скорее вызывает возражение с психологической точки зрения благодаря своим более прочным ассоциациям с сознательным процессом.

В других областях, скажем в научной, появление нового ориентира может носить много более сложный характер, но закономерность процесса остается той же. Если нам будет позволено привести тот же пример, то только распространение употребления «атома» на такие ситуации, где видна возможность его расщепления, могло поставить вопрос о последнем. Но ведь это значит, что понятие атома уже не применялось соответственно своей осознанной дефиниции как понятие неделимой частицы [8]. Практика словоупотребления всегда выявляет закон объекта до того, как человек осознает его. Иначе познание человека было бы заперто в тюрьме его сознания.

Чтобы проверить действие этой закономерности в речевой активности, мы провели еще и следующие эксперименты на детях от 7 до 8 с лишним лет. Мы разделили мир животных на два больших класса: на класс питающихся животной пищей, «бурция», и на класс питающихся растительной, «мархия» [8]. Мы рассказывали испытуемым разные подробности о различных видах этих животных, лишь вскользь упоминая, как и чем они кормятся. Например, рассказывали, как белый цвет защищает белого медведя от врагов и помогает подкарауливать тюленей на льду, рассказывали о свирепости диких буйволов, вздевающих на рога человека, а затем бросающих его. И каждый раз мы называли класс, к которому принадлежит этот вид. В критическом опыте дети должны были сами сказать о новых видах, к «бурция» ли они принадлежат или к «мархия». Опыты продолжались 6 дней. Уже к концу первого опытного дня дети могли в отношении некоторых видов уверенно сказать, к какому классу надо их отнести. Некоторые конкретные признаки, быстро выступая вперед, толкали их выбор в соответствующую сторону. Здесь же давало себя знать изменение отношения к определенным признакам. Например, одна девочка нам сказала, что «мархия», это который бросит на землю и «похоронит»[7]. На наш удивленный вопрос она ответила: «А дикий буйвол? Он так сильно бросает человека на землю, как будто хоронит, а потом **отвернется** и уйдет»,— добавила она, симптоматично подчеркнув **отвернется**. Эти опыты выявили, как «сознание постепенно все больше концентрировалось на признаках, имеющих прямое отношение к определяющему моменту». Но осознать этот последний, может быть, вообще невозможно для ребенка, которому очень трудно объединить в один класс насекомое и диких животных и даже человека. Тем показательнее, что противопоставление животной пищи и растительной, не данное ему в сознании, связывает в его активности такие различные по виду явления. Что это процесс досознательный, видно не только из того, что ребенок до конца не может сказать, что означает «бурция» или «мархия», но и из того, что он, уже правильно классифицируя новые виды, все же может вдруг допустить такую специфическую ошибку, какую **никак** не мог бы допустить при наличии сознательного процесса [8, 89].

---

[7] На груз. языке у слов «мархия» и «похоронит» один и тот же корень.

С целью раскрытия и иллюстрации психологического механизма этого процесса мы в свое время в качестве примера приводили метафору [8, 86]. В случае метафоры при сопоставлении двух содержаний продуцируется совершенно новое. Происходит это посредством того, что психикой субъекта из обоих отправных содержаний мобилизуются именно те моменты, которые нужны для возникновения нового. При этом взятые моменты вовсе не должны принадлежать к ядру значений соответствующих слов, они могут лежать на их периферии. Когда поэт говорит «голубое, как детство», мы понимаем это выражение, но для этого из этого «голубого» и из «детства» привносится то, что не относится к центру значения этих слов. Или же при простом сравнении: «Она очень некрасива. Настоящая лошадь», а в другом случае: «Прелестная девушка, похожая на арабскую лошадь» — мы берем как в первом, так и во втором случае лишь то, что предписывается этим сопоставлением и что не обязательно для лошади, как таковой. Быстрое и беспрепятственное возникновение новой системы и есть тот момент, иллюстрацией которого может служить метафора. Аналогичный механизм действует не только при метафоре, т. е. при возникновении нового художественого содержания, но всегда, как только новый объект проникает в сознание человека. Для субъекта, имеющего определенную познавательную потребность, иначе говоря, обращенного с вопросом к определенной области, из совокупности соответствующих ситуаций, данных посредством речевых актов, возникает новая система отношений, предопределенная наличествующими в них общими моментами. Сознание получает возможность выделить отдельный предмет (или аспект предмета, как в случае метафоры) лишь на основе этой системы.

Как это осуществляется в виде реального психологического процесса, очень убедительно показано в теории установки Д. Н. Узнадзе [12]. Согласно этой теории, подкрепляемой многочисленными экспериментами, мыслительный, как и всякий иной разворачивающийся в сознании процесс, носит направленный характер, ведущий к определенному завершению лишь благодаря предварительному, досознательному отражению общих объективных отношений в установке, придающему закономерный характер решению любой задачи. Такова природа этого процесса не только в случае человеческой психики, но также и при любом объективно целенаправленном действии живого существа. Закономерность объекта осуществляется в состоянии субъекта соответственно его возможностям и потребности и направляет его действие адекватно ситуации. В мыслительном процессе также первый шаг при решении задачи уже предполагает то и направляется тем, к чему должен привести процесс, как к своему концу. В этом и заключается смысл положения Д. Узнадзе, гласящего, что в установке уже предварительно, досознательно дано решение задачи.

Это очень явственно подтверждается примером Эйнштейна. Когда Эйнштейн 7 лет бился над своей проблемой, он уже владел направлением процесса, владел досознательными ориентирами такового. Вследствие этого неожиданные результаты Майкельсона не удивили Эйнштейна. Он «чувствовал», как он сам говорит, что они должны были быть таковыми, и это чувство подсказывало ему новые шаги на пути к решению своей задачи. У него как бы был закон, — пожалуй, не как бы был, а именно был закон, — который диктовал ему, что надо отбросить и где искать решение. Эти вехи, отнюдь не отраженные в сознании и в то же время направляющие активность такового, и со-

ставляют основное содержание бессознательной психической активности на этом уровне.

Весь этот процесс, — начиная с того, что последующий эффект уже дан предварительно; затем факт самого отражения и факт сохранности иррелевантных содержаний, данность которых обнаруживается лишь при их мобилизации субъектом для решения задачи; далее самый акт мобилизации, имеющий место лишь при встрече, на «стыке» определенных моментов, и, наконец, возникшая на этой основе новая система отношений и ее функционирование, — все это не есть и не может быть сознательным процессом, который всегда **сопровождается непосредственным знанием его наличия.** Вышеозначенный процесс есть уходящая в субъект обязательная опора, на основе которой осуществляется отражение содержания в сознании.

Здесь же видна разница между первичной и фиксированной установкой, данная в теории Д. Н. Узнадзе. Первая имеет место, когда в предварительном психическом отражении, т. е. в установке, возникает вышеозначенная новая система отношений, являющаяся необходимым условием выделения в сознании информации о новом объекте. При этом возникновение этой системы может происходить или внезапно (как при метафоре, напр.) или же постепенно и с трудом выдифференцируясь, как это происходит в случае мыслительной задачи, напр., у Эйнштейна. Вторая же, т. е. фиксированная, установка функционирует тогда, когда дело касается системы отношений, упрочившейся в виде находящейся «начеку» готовности. При употреблении, например, слова «трава» такая бессознательно фиксированная и уже отработанная система легко и автоматически включается в соответствующую речевую активность субъекта.

Не случайно, что именно понятие субъекта оказалось тем препятствием, с которым не справилась психология, сводящая психику к сознанию. Субъект, этот «монарх» (Кюльпе), который должен был всевластно править психическими процессами, не мог уместиться в актуальном процессе сознания, имеющем определенный, весьма малый объем (5 элементов). Вследствие этого традиционная психология оказалась психологией без субъекта[8]. Вполне закономерно и то, что невозможность обойтись без субъекта дала себя знать раньше всего в психопатологии. Накопившиеся в этой области факты заставили отступить даже Гуссерля, философа, взглядами которого питалась самая радикальная ветвь интроспективной психологии, т. н. «психология мышления»[9]. В отношении фактов глубинной психологии, этот философ счел нужным признать, что «существуют бессознательные интенционалитеты» [14, 240].

Несмотря на это, нигде необходимость допущения процесса бессознательной психики не дает так неотвратимо и наглядно себя знать, как при рассмотрении высших функций человеческого сознания, где речевая и мыслительная активности функционируют и развиваются лишь на основе механизмов бессознательной психики.

[8] Отсюда и пошло воззрение, которое считало субъект предметом философии; психологии же предоставлялось изучение лишь составных элементов психических процессов (Мак Даугалл).

[9] Именно исходя из данной Гуссерлем дефиниции психики, как сознательной интенции, авторы, разделявшие соответствующую точку зрения, считали бессознательный психический процесс «противоречием в понятии». Показательно, что Metzger, будучи представителем феноменологического направления в психологии, высмеивая в своей книге авторов, отрицающих факты, если они противоречат их теории, приводит в качестве примера именно утверждение, что «бессознательное психическое не может существовать, поскольку понятие бессознательной психики содержит «противоречие в самом себе» («Psychologie», 1954, 9).

THE UNCONSCIOUS IN THE CONTEXT OF SPEECH ACTIVITY

D. I. RAMISHVILI

The D. Uznadze Institute of Psychology, Acad. Sci. Georgian SSR, Tbilisi

SUMMARY

Systems of objective relations ensuring the regular use of words before their meaning is grasped by consciousness become established in the reflective capacity of the mind, the process being mediated by speech practice. These same unconscious reference points, established in the language practice and, owing to social experience, free from attachment to a particular event, may lead to the emergence of general object contents in consciousness, thereby creating a possibility and conditions for starting a thinking process. Thus, speech activity and the higher processes of consciousness can materialize only on the basis of unconscious reflection of object regularities, which is made fairly clear by a number of experimental studies.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГЕРСАМИЯ Е., Особенности переносов умственных операций у детей дошкольного возраста, Тб., 1974.
2. ГЕРСАМИЯ Е., Фактор речи в процессах возникновения измерений, Тб., 1975 (рукоп.).
3. ЛУРИЯ А. Р., Научные горизонты и философские тупики в современной лингвистике. Вопросы философии, № 4, 1975, стр. 142—149.
4. ПАРДЖАНАДЗЕ Д., О некоторых видах переработки информации в процессе кратковременной памяти. Сообщение АН Груз ССР, т. 55, 1969.
5. ПИАЖЕ Жан, Психология интеллекта. Избр. труды, М., 1969.
6. РАМИШВИЛИ Д. И., К психологической природе повседневных понятий. Доклады на совещании по вопросам психологии, М., 1954. D. Ramishvili «On the Psychological Nature, of Prescientific Concepts», (Bertalanffy, L. V. and Rapaport, A., Eds. General System, 5, 1960).
7. РАМИШВИЛИ Д. И., К вопросу генезиса и специфики мыслительного процесса. Сб.: Психологические исследования, Тб., 1966, стр. 144—156.
8. РАМИШВИЛИ Д. И., К продуктивной природе естественного языка. Сб.: Экспериментальные исследования по психологии установки, т. IV, Тб., 1970, стр. 144—157.
9. РАМИШВИЛИ Д. И., Понятие субъекта и объекта в теории Д. Н. Узнадзе. Сб.: Психологические исследования, Тб., 1973, стр. 316—326.
10. РАМИШВИЛИ Д. И., К психологической природе некоторых видов выразительных движений, Тб., 1976.
11. ТИНБЕРГЕН Н., Осы. Птицы. Люди. 1970.
12. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тб., 1961.
13. GIPPER. H., Bausteine zur Sprachinhaltsforschung, 1969.
14. HUSSERL, E., Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die transzendentale Phänomenologie. Haag., 1954. Цит. по сб.: Husserl und das Denken der Neuzeit. Haag., 1959.
15. WEISGERBER. L., Das Gesetz der Sprache, 1951.
16. WEISGERBER, L., Das Menschheitsgesetz der Sprache, Heidelberg, 1964.
17. WERTHEIMER, M., Productives Denken. Übersetzt von W. Metzger, 1957.

159

НЕКОТОРЫЕ ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОГО ЗНАКА В АСПЕКТЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛЬНОСТИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО

А. Г. БАИНДУРАШВИЛИ

Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии

Основной, решающей особенностью языкового знака признан характер взаимоотношений между звуковой субстанцией слова и его значением. Выдвигаемое распространенной теорией условности языкового знака положение о его произвольности основано на своеобразном понимании связи звуковой стороны слова и его значения, на признании условного, произвольного, случайного характера этой связи.

Однако в современной психологии и языкознании накопилось множество фактов, которые противоречат теории условности языкового знака, что говорит о необходимости иного подхода к проблеме[1]. К тому же значимость открытых наукой фактов не исчерпывается вышесказанным. Они свидетельствуют и о том, что ряд характеристик языкового знака специфичен также и для неязыковых знаковых систем, что, в свою очередь, указывает на необходимость пересмотра основных положений общей теории знаков — современной семиотики, в том числе и распространенных классификаций знаковых систем. Более того, некоторые выявленные на основе экспериментальных исследований характеристики языкового знака дают возможность рассматривать их в связи с проблемой реальности бессознательного психического, в силу чего они приобретают определенную значимость и в аспекте общепсихологической теории.

Благодаря экспериментам Д. Н. Узнадзе, одного из пионеров экспериментального исследования природы взаимосвязывания звуковой стороны слова и его значения, выяснилось, что степень совпадения подобранных из списка бессмысленных звуковых комплексов названий для подлежащего наименованию содержания столь высока, что не может быть обусловлена случайностью. Как оказалось, бессмысленные звуковые комплексы переживались испытуемыми в качестве носителей функции определенного названия; при этом для взаимосвязывания звукового комплекса и значения оказалось необходимым переживание наименовывающим звукового комплекса как носителя функции названия, соответствующего наименовываемому содержанию. Причем переживание бессмысленного звукового комплекса как носителя функции определенного названия характеризуется значительной интер- и интраиндивидуальной устойчивостью, что находит свое выражение как в совпадении сделанного различными испытуемы-

---

[1] Теория условности языкового знака не только бессильна объяснить эти факты, помимо этого, она содержит в самой себе ряд логических противоречий [2].

ми выбора, так и в высокой степени совпадения результатов, полученных на одних и тех же испытуемых в разное время [14; 38].

Результаты исследования Д. Н. Узнадзе осветили признанный в свое время парадоксальным факт, установленный З. Фишером, который заключается в том, что в условиях воздействия на испытуемого бессмысленного звукового комплекса вместе с определенным содержанием некоторые звуковые комплексы переживаются им как названия связанных с ними содержаний, восприятие же других звуковых комплексов таким переживанием не сопровождается [27].

В экспериментах Ч. Девиса [25] испытуемые, несмотря на различия в языке и уровне культурного развития, выбирали в качестве названий для т. н. фигур В. Келлера одни и те же звуковые комплексы, а раз это так, то значит переживание испытуемыми бессмысленного звукового комплекса как имеющего функцию определенного названия, видимо, не обусловлено языковой опосредованностью. Была выявлена положительная корреляция между количеством испытуемых, выбравших для данного содержания одно и то же название, и точностью, с которой одно и то же слово (звуковой комплекс) было выбрано для одного и того же содержания одними и теми же испытуемыми в повторных опытах после длительного интервала [28].

В тех случаях, когда испытуемые подбирают в качестве названия для одних и тех же содержаний одни и те же звуковые комплексы, — а такие случаи иной раз превышают 80% [30] — испытуемые указывают на разную основу выбора. Этот факт свидетельствует о том, что реальная основа наименования не совпадает с признанной испытуемыми таковой; реальная основа выбора испытуемыми не всегда осознается, а то, что они называют в качестве основы, как правило, говоря словами Ч. Фокса, является фактически результатом последующей рационализации [28, 30].

В наших ранних опытах испытуемые прибегали к разным путям словообразования[2], однако для всех случаев специфично то, что звуковой комплекс возникает в сознании испытуемых внезапно. Когда испытуемый создает мотивированное слово, то процесс его подбора протекает в плане сознания, в то время как процесс формирования звукового комплекса большей частью не подчиняется контролю сознания. Иной раз возникновению в сознании звукового комплекса предшествует появление отдельных звуков, которые, по убеждению испытуемых, непременно должны войти в обозначающее звукосочетание, однако их формирование в законченный звуковой комплекс происходит вне пределов сознания, и доступным сознанию оказывается лишь результат этого процесса — сформированный звуковой комплекс. При этом до-

---

[2] В экспериментах Д. Н. Узнадзе, Ч. Фокса, Р. Девиса, Ф. Ирвина и Е. Ньюленда использовались бессмысленные звуковые комплексы, а также бессмысленные, «абстрактные» графические изображения. От испытуемых требовалось подобрать из списка бессмысленных звуковых комплексов название для бессмысленного графического изображения и дать при этом отчет о самонаблюдении.

В наших опытах в качестве наименовываемых были использованы осмысленные содержания, не имеющие в грузинском языке специальных отдельных названий, в то время как в других языках некоторые из них обозначены специальными отдельными словами. Опыты проводились в двух вариантах: в I варианте испытуемые должны были сами создать название для наименовываемого содержания, а во II — испытуемые выбирали названия из списка, состоящего из 10 бессмысленных звуковых комплексов. (Подробно о методе и полученных результатах см. [2]).

вольно часто в звуковом комплексе представлены уже далеко не все из тех звуков, которые предшествовали возникновению в сознании звукового комплекса и которые, по глубокому убеждению испытуемых, непременно должны были быть представлены в названии.

Звуковые комплексы, в том числе и бессмысленные, испытуемыми переживаются преимущественно как обладающие функцией определенных названий, с отчетливо выраженной определенностью. В одних случаях испытуемые заявляют, что выбранные ими звуковые комплексы соответствуют только определенной части наименовываемого содержания, в других случаях — что всему содержанию, но рассмотренному лишь с определенной точки зрения.

Качественный и количественный анализ экспериментальных данных показал, что при подборе названия для наименовываемого содержания испытуемые не свободны в своем выборе, для них не безразлично, какой звукокомплекс будет использован в качестве названия для данного содержания. Оказалось, что для установления связи между звуковым комплексом и обозначаемым содержанием необходимо, чтобы испытуемый непосредственно переживал их как «подходящие», как соответствующие друг другу, чтобы звуковой комплекс переживался как носитель функции названия, соответствующего тому, что́ наименовывается. При этом, как выясняется, для переживания звукового комплекса как соответствующего тому, что им обозначается, семантические и ассоциативные связи решающего значения не имеют. Часто испытуемые отказываются от ими же созданных звуковых комплексов, находящихся в семантических или ассоциативных связях с обозначаемыми, и пользуются в качестве названия бессмысленными звукокомплексами.

С точки зрения соответствия наименовываемому содержанию, звуковой комплекс переживается как обладающий дифференцированной структурой, в которой несколько звуков центрированы, выдвинуты на передний план, а остальные составляют фон. Центрированные звуки по сравнению со звуками, образующими фон, имеют некоторое преимущество, однако степень соответствия в конечном итоге все же определяется звуковым комплексом как целым.

При наличии одного и того же наименовываемого содержания большинством испытуемых один и тот же звуковой комплекс переживается как носитель функции одного и того же названия; когда же предъявленные испытуемому наименовываемые содержания различны, то один и тот же звуковой комплекс, даже одним и тем же испытуемым, воспринимается как носитель функции различных названий. Итак, при наличии одного и того же наименовываемого переживание звукового комплекса интер- и интраиндивидуально константно, тогда как при различных наименовываемых это переживание интер- и интраиндивидуально аконстантно; это свидетельствует о том, что своеобразие переживания звукового комплекса в значительной степени определяется наименовываемым содержанием.

Наименовываемое содержание оказывает воздействие как на звуковой комплекс, переживаемый испытуемым как соответствующий наименовываемому содержанию, так и на звукокомплекс, переживаемый как несоответствующий наименовываемому. На звуковой комплекс, избранный в качестве названия, воздействие происходит в направлении уподобления, ассимиляции, в силу чего звуковой комплекс, в том числе и бессмысленный, переживается носителем соответствующего наименовываемому содержанию «значения» «грамматической формы», «структуры», «эмоционального тона» и других признаков. В по-

давляющем же большинстве случаев звуковой комплекс переживается как соответствующий наименовываемому содержанию непосредственно, без всяких опосредующих звеньев. На звуковой комплекс, не соответствующий наименовываемому содержанию, воздействие происходит в направлении контраста. Это находит свое проявление в переживании звукового комплекса как носителя признаков, противоположных обозначаемому содержанию. Некоторые звуковые комплексы вовсе не подвергаются воздействию наименовываемого, они переживаются испытуемыми индифферентно. Различна и степень воздействия наименовываемого содержания на переживание звукового комплекса: одни звуковые комплексы больше подчиняются этому воздействию, другие — меньше.

Факт различного по характеру и степени воздействия обозначаемого содержания на переживание звукового комплекса, как и факт выбора подавляющим большинством испытуемых для наименовываемого содержания одного и того же названия из списка бессмысленных слогов, свидетельствует о том, что своеобразие переживания звукового комплекса обусловлено не только воздействием наименовываемого содержания, но и самим звуковым составом звукового комплекса. Таким образом, переживание звукового комплекса, воспринятого с намерением наименовать конкретное наименовываемое содержание, характеризуется двусторонней обусловленностью — оно, с одной стороны, определяется характером и степенью воздействия наименовываемого содержания, с другой стороны — звуковым составом самого звукового комплекса.

Звуковой комплекс тотчас же по возникновении в сознании переживается или как соответствующий наименовываемому содержанию, или как не соответствующий ему, или как индифферентный, т. е., иначе говоря, звуковой комплекс к моменту возникновения в сознании уже или ассимилирован наименовываемым содержанием или же подвергнут его контрастному воздействию. Как видно, восприятие звукового комплекса предваряется предшествующим сознанию бессознательным состоянием, которое определяет, подчинится ли звуковой комплекс воздействию наименовываемого содержания и каковы будут характер, а также степень этого воздействия, и, что главное, именно в этом бессознательном состоянии осуществляется воздействие наименовываемого содержания на переживание звукового комплекса. Иначе, нам кажется, невозможно объяснить не только вышеотмеченные факты, но и «странное» положение, которое отмечают все участвующие в экспериментах наименования испытуемые, — согласно показаниям испытуемых, у них возникает чувство, будто не они производят выбор названия из списка бессмысленных слов, а будто их выбор направляет сам звуковой комплекс.

Выбранный в качестве названия звуковой комплекс, в свою очередь, оказывает влияние на характер переживания наименовываемого содержания и вносит в него определенные изменения. В результате этого воздействия в переживании наименовываемого содержания на передний план выдвигаются моменты, соответствующие звуковому комплексу; происходит переструктурирование наименовываемого содержания.

Таким образом, двусторонней обусловленностью характеризуется и переживание наименовываемого содержания: оно обусловлено не только своеобразием самого наименовываемого содержания, но и звуковым составом избранного в качестве названия звукового комплекса.

Следовательно, процесс наименования (процесс первотворчества слова) не представляет собой просто механического связывания зву-

кового комплекса и его значения. В процессе наименования осуществляется не только взаимосвязывание наименовываемого содержания и звукового комплекса, но происходит и их воздействие друг на друга, их взаимоассимиляция, взаимоприлаживание, в силу чего в процессе наименования в определенном смысле происходит и формирование самого значения нового слова.

Данные наших экспериментов, а также анализ лексики естественных языков дают основание утверждать, что процесс взаимоприлаживания между звуковой стороной и значением слова продолжается и после наименования, в результате чего и происходит привнесение значения; с этого момента звуковая сторона слова уже не просто обозначает, указывает, напоминает о связанном с ним значении, а выступает его непосредственным носителем [2].

Взаимодействие, взаимоприлаживание между звуковым комплексом и значением как в процессе наименования, так и после его завершения протекает за пределами сознания. Процесс этот не подчиняется контролю сознания; испытуемым удается осознать лишь его результат в виде усиления взаимосоответствия между звуковой стороной слова и его значением. Аналогичное положение проявилось и в результатах проведенного нами экспериментального исследования процесса постижения значения незнакомого слова в вербальном контексте.

В одном и том же предложении — в зависимости от того, было ли слово пропущено или представлено незнакомым словом, — значение слова понималось различно. Так же различно интерпретируется значение незнакомого слова, если оно представлено в одном и том же предложении в разном звучании[3].

Эти результаты свидетельствуют о том, что, в противоположность распространенному мнению, постижение значения незнакомого слова в вербальном контексте обусловлено не только смысловым контекстом, но и, в значительной степени, звучанием самого слова. Вычитанное из вербального контекста значение незнакомого слова является продуктом процесса сложного взаимодействия смыслового контекста и звучания слова. При этом процесс взаимодействия смыслового контекста и звучания слова испытуемым не осознается. В сознании возникает его результат — двусторонне обусловленное значение слова; каков будет характер этого взаимного воздействия, в каком направлении и в какой степени он развернется, как сформулируется его результат— значение незнакомого слова — все это выясняется и осуществляется на предшествующем сознанию этапе отражения [9].

В одном из наших экспериментов испытуемым давалась одна и та же информация — в одном случае в связи с абстрактными графическими изображениями, которые в предшествующих опытах другими испытуемыми переживались как соответствующие этой информации, в другом случае в связи с несоответствующими графическими изобра-

[3] Метод, примененный в наших экспериментах, существенно отличается от методов, использованных в этих же целях другими авторами [12; 13; 11; 14; 40; 15]. Нами было подобрано 5 предложений, в каждом из которых было пропущено по одному слову. В целях установления того, как представляют себе испытуемые значение пропущенного в контексте слова, были использованы шкалы типа примененных в методе семантической дифференциации Ч. Осгуда. В последующих сериях опытов в каждое предложение вместо пропущенного было вставлено незнакомое испытуемым слово. Всего было использовано 5 незнакомых слов, каждое из которых фигурировало поочередно в каждом из предложений в разных сериях опытов.

жениями. Оказалось, что одна и та же информация, представленная в связи с соответствующими и несоответствующими графическими изображениями, понимается по-разному, значительно друг от друга отличающимся образом [4]. Этот факт свидетельствует о том, что взаимодействие обозначающего и обозначаемого характерно не только для языкового знака, но и для других знаковых систем; надо полагать, что это взаимодействие представляет собой общую закономерность, специфичную вообще для любой связи обозначающего и обозначаемого.

Однако результаты этих экспериментов, а также результаты вышеприведенных экспериментов постижения значения незнакомого слова в вербальном контексте примечательны и в другом отношении. В частности, они свидетельствуют о том, что даже в том случае, когда между обозначающим и обозначаемым нет взаимосоответствия, т. е. когда их связывание носит случайный, произвольный характер, впоследствии, уже после установления связи между этими компонентами знака связь эта может потерять свой случайный, условный, произвольный характер. Дело в том, что, как известно, случайная, произвольная связь — это механическая, внешняя связь, компоненты которой сохраняют свою независимость. Поэтому находящиеся в случайной произвольной связи между собой обозначаемое и обозначающее, независимо от того, будут ли они представлены в связи или независимо друг от друга, не должны от этого претерпевать каких-либо изменений. Результаты же экспериментов свидетельствуют о том, что связь между обозначающим и обозначаемым даже при их случайном связывании не является внешней, механической; обозначающее и обозначаемое вследствие их связывания друг с другом теряют свою независимость; до связывания и после связывания каждый из них представляется нам по-разному; в процессе связывания имеет место их взаимодействие, их взаимоопределение, что чуждо условной, случайной, произвольной связи.

Взаимодействие звуковой стороны слова и его значения происходит не только в процессе становления слова, оно, надо полагать, специфично и для процесса функционирования слов естественного языка. О правомерности этого предположения наглядно свидетельствует, например, анализ случаев эвфемизации.

Сфера распространения эвфимистических слов довольно широка, она не ограничивается только словами, связанными, скажем, с суевериями и личным туалетом. Вместе с развитием цивилизации их контингент меняется, однако запрет на отдельные слова и группы слов наблюдается и в современном цивилизованном обществе. Вместо таких запрещенных слов обычно применяют новые слова, которые, как правило, вскоре теряют свое преимущество, становятся «неприличными» словами, и уже сами нуждаются в замене. Что значит «хорошее», «приличное» название или почему применяемое раньше оказывается «неприличным»? Сама по себе звуковая сторона слова и не «прилична» и не «неприлична». Это подтверждается тем, что в определенный период то или иное слово воспринималось как хорошее, а впоследствии оно же оказалось «неприличным». Значит, причина его «приличности» или «неприличности», видимо, не в нем самом. «Приличность — неприличность» не удается объяснить и за счет обозначаемого словом объекта, так как он равно представлен в обоих случаях. Необходимость замены названия не может быть объяснена также и отношением говорящего к обозначаемому объекту, так как объект в обоих случаях

один и тот же, а, следовательно, неизменным должно быть и отношение к нему говорящего.

Если внимательно понаблюдать над случаями эвфемизма, то становится ясно, что изменяется не только название, т. е. обозначающее, но и структура связанного с ним значения. Новое название меняет значение, выдвигая в нем на передний план моменты, наименее связанные с теми нежелательными нюансами, которые вынудили нас избегнуть употребления прежних названий этих предметов и явлений. Слово, имеющее такое измененное по структуре значение, уже переживается нами как «приличное».

Однако не только обозначающее оказывает влияние на значение, но и это последнее, в свою очередь, оказывает обратное воздействие на звуковой комплекс, и в результате этого взаимодействия новое название постепенно приобретает тот же нежелательный нюанс, т. е. превращается в «неприличное» слово. По мере частоты употребления эвфемистических слов, в результате этого взаимодействия все более и более происходит взаимоприлаживание звуковой стороны слова и его значения и все более и более растет неудобство его употребления. В случае таких слов процесс взаимодействия звуковой стороны слова и его значения для членов языкового коллектива недоступен, он не осознается, в сознании представлен лишь его результат — рост неудобства, связанного с употреблением слова.

В многочисленных экспериментах, проведенных известным методом Ш. Тсуру и Х. Фриса, испытуемым удавалось правильно опознать пары антонимных слов совершенно незнакомого им языка в количестве, которое превышает возможное количество случайных совпадений [37; 20; 16; 19; 26; 31; 21; 39; 17]. За исключением 3—5% случаев, испытуемые были уверены, что правильно подобрали значения к словам незнакомого языка, причем в 70—80% случаев степень уверенности была довольно высокой, а степень уверенности испытуемых в правильности выбора оказалась в высокой положительной корреляции с фактической правильностью опознавания [17][4].

Эти результаты указывают на то, что испытуемые в условиях взаимопротивопоставления слов незнакомого языка и их значений получают определенную иформацию о их взаимосоответствии. Эта информация настолько полна, что испытуемые глубоко уверены в правильности опознания; она столь точна, что в подавляющем большинстве случаев слова опознаются правильно. Несмотря на полноту полученной информации, испытуемым фактически не удается осознать, что́ именно составляет основу их выбора и что́ определило их уверенность в правильности этого выбора. В этих экспериментах результаты оказались значительно выше в тех случаях, когда испытуемые совер-

[4] В этих экспериментах некоторые антонимные пары слов правильно опознают 90—95% испытуемых, некоторые же пары — лишь незначительное количество (20—25%) испытуемых. Этот факт, надо полагать, свидетельствует о том, что слова, входящие в лексику языка, отличаются друг от друга степенью взаимосоответствия звуковой стороны слова и его значения.

Помимо этого, видимо, имеют место также интериндивидуальные различия в отношении постижения взаимосоответствия звуковой стороны слова и его значения. При опознании слов незнакомого языка данные студентов Института иностранных языков, имеющих высокую академическую успеваемость по языку, и данные актеров оказались значительно лучше результатов, проявленных студентами, имеющими по языку низкую академическую успеваемость, а также испытуемыми, которые не были подвергнуты специальному отбору [8].

шали выбор на основе первого впечатления; но как только делалась попытка произвести выбор на основе имеющихся у испытуемых знаний о закономерностях языка, результаты становились хуже.

В одном из наших экспериментов от испытуемых требовалось вставить в слова незнакомого им языка пропущенные фонемы. В подавляющем большинстве случаев испытуемые решали задачу успешно. Количество правильно вставленных фонем значительно возрастало в условиях, когда испытуемым сообщалось значение слов, в которых имелись пробелы[5]. Однако испытуемые оказывались не в состоянии ответить нечто сколько-нибудь вразумительное относительно того, почему вместо пропущенной должна быть вставлена именно эта фонема, а не какая-либо другая; им не удавалось осознать даже и того, что знание значения слова с пробелами оказывало им значительную помощь в опознании пропущенного звука. Как мы видим, и в этом случае то, что определяет решение задачи и направляет выбор испытуемого, остается за пределами сознания, оно не представлено в сознании испытуемого.

В многочисленных исследованиях, которые ставили целью изучение так называемого фонетического символизма, путем анализа лексики естественных языков было установлено, что в словах определенной категории преимущественно используются те или иные определенные фонемы [29; 41; 10; 22; 23]. Эти факты были установлены на примере многих языков[6]. Факт различного распределения фонем в звуковых комплексах, обозначающих разные категории значений, а также ре-

---

[5] Опыты состояли из двух основных серий. В первой серии испытуемым предъявлялось слово незнакомого языка с пробелами и четыре фонемы, из которых одна была именно та, что пропущена в слове. Во второй серии испытуемым давалось также и значение слова, имеющего пробел. Каждая из серий состояла из нескольких вариантов [1].

[6] На протяжении последних 50 лет было опубликовано много исследований, в которых сделана попытка экспериментального изучения «фонетического символизма» [34; 33; 18; 24; 32; 35; 36]. Однако результаты этих исследований не совпадают с результатами, полученными путем анализа лексики естественных языков. Причину расхождения следует искать в нерелевантности примененного в этих экспериментах метода [2]. В основном результаты этих экспериментов легли в основу теории так называемого универсального фонетического символизма и теории обусловленности фонетического символизма языковым навыком. Эти теории характеризуются рядом недостатков принципиального значения, однако их неправомерность, конечно, не дает основания для отрицания того, что в словах разных категорий различное распределение фонем является фактом. Однако факт различного распределения фонем в словах различных категорий не дает еще достаточного основания для утверждения о том, что отдельные фонемы являются носителями специфичной для них символической значимости и что символизм звукового комплекса представляет собой сумму символических функций входящих в его состав фонем, явную тенденцию к чему проявляет подавляющее большинство исследователей данной проблемы.

Результаты нашего экспериментального исследования, специально посвященного этому вопросу, показали, что звуковая сторона слова представляет собой гештальтное целое, а не сумму входящих в его состав фонем. Звуковая сторона слова является дифференцированной целостностью, в которой различные фонемы выполняют различную роль: одни выдвинуты на передний план и выполняют ведущую роль, другие же даются нам в роли составляющих фон. Какая фонема окажется центрированной, а какая составляющей фон, зависит как от звукового комплекса как целого, так от содержания, наименованием которого является данный звуковой комплекс [1]. Этот факт свидетельствует о том, что роль отдельных фонем в звуковом комплексе меняется в зависимости от того, каков сам звуковой комплекс и каково то значение, носителем которого представлен в языке этот звуковой комплекс.

зультаты вышеприведенных многочисленных экспериментов свидетельствуют о том, что процесс словотворчества осуществляется в соответствии с определенными закономерностями, подчиняется определенным принципам. Однако осознать эти принципы нам не удается, для их выявления необходимы специальные исследования.

Лексика современных языков является результатом длительного развития. Со времени возникновения в них произошли многообразные изменения как звуковые, так и семантические. По всей видимости, те принципы, согласно которым осуществлялось и осуществляется словотворчество, сохраняют свою действенность и в процессе функционирования языка, но только действенность этих принципов членами языкового коллектива не осознается.

Взаимосоответствие звуковой стороны слова и его значения, составляющее условие наименования, специфично также и для лексики языков, находящихся в процессе функционирования. Это значит, что его роль не исчерпывается той ролью, которую оно выполняет в момент словотворчества, оно, надо полагать, имеет определенную функциональную нагрузку и в процессе функционирования языка.

Правомерность этого предположения нашла свое подтверждение в наших экспериментах, которые были проведены с целью изучения мнемического эффекта взаимосоответствия звуковой стороны слова и его значения[7]. Выяснилось, что в тех случаях, когда взаимосоответствие между звуковой стороной слова и его значением доступно испытуемым, проявляется значительный мнемический эффект — такие слова с эквивалентными значениями (т. е. когда имеется взаимосоответствие между звуковой стороной слова и его значением) запоминаются значительно легче, в большем количестве и прочнее, чем те же звуковые комплексы с неэквивалентными значениями (т. е. когда нет взаимосоответствия между звуковой стороной слова и его значением). При этом по мере изменения доступности для испытуемых взаимосоответствия звуковой стороны слова и его значения мнемический эффект соответственно то возрастает, то убывает [3].

Однако функциональная нагрузка взаимосоответствия между звуковой стороной слова и его значением не исчерпывается облегчением установления связи между ними и обеспечением ее прочности. Как выясняется из результатов проведенного нами исследования проблемы кодирования информации абстрактными графическими изображениями, взаимосоответствие обозначаемого и обозначающего не только обусловливает значительный мнемический эффект, но вместе с тем в

[7] В эксперименте были использованы японские слова, антиномные пары которых давались испытуемым для опознания в вышеописанных опытах. Было подобрано 20 таких слов, которые 70% и более испытуемых узнавали правильно; следовательно, взаимосоответствие между их звуковой стороной и значением было легко доступно для испытуемых-грузин. Было выделено также 20 таких японских слов, степень опознания которых в большей или меньшей степени приближалась к количеству, могущему быть обусловленным случайным совпадением; т. е. взаимосоответствие звуковой стороны и значения этих слов для наших испытуемых было менее доступно. Опыты с применением каждой группы слов проводились в двух вариантах. В первом варианте из предъявленных 20 слов 10 давались с эквивалентными значениями, а остальные 10—с неэквивалентными; те слова, которые в первом варианте давались с эквивалентными значениями, во втором варианте опытов давались с неэквивалентными значениями, и наоборот. Испытуемым предлагалось прочитать список предъявленных слов 5 раз с тем, чтобы заучить по возможности больше слов. Репродукции заученных слов производились после II, III, IV и V повторений.

высокой степени определяет и воспринимаемость знака, значительно уменьшает количество ошибок, обеспечивает полную и однозначную передачу информации, а также легкость и быстроту декодирования. Хотя и в данном случае эта функциональная нагрузка взаимосоответствия обозначаемого и обозначающего испытуемыми не осознается, никакая информация об этом в их сознании не представлена [4; 5; 6; 7].

Результаты вышеприведенных экспериментальных исследований, как мы полагаем, не только подтверждают реальность бессознательного психического, но также содержат определенную информацию, характеризующую это состояние, в частности о том, что бессознательное психическое, определяющее вышеотмеченные особенности языкового знака, не является проявлением прошлого опыта — языкового навыка; это — предшествующее сознанию состояние, которое придает активности человека определенную направленность; это — бессознательное состояние, в котором осуществляется взаимодействие обозначающего и обозначаемого, определяется направление и степень этого взаимодействия, а также своеобразие представленного в сознании содержания.

SOME CHARACTERISTICS OF LINGUISTIC SYMBOLS IN THE ASPECT OF THE PROBLEM OF THE REALNESS OF THE UNCONSCIOUS MIND

A. G. BAINDURASHVILI

Tbilisi State University, Faculty of Philosophy and Psychology

SUMMARY

Experimental studies have shown that the phonetic aspect and the meaning of a word are not only associated in the process of naming but through interaction they interassimilate, this leading to a dual determinateness of the referent and the name chosen for it in the individual's consciousness. The effect of the referent on the experiencing of the name chosen for it is of differing character: some are subject to assimilation, while changes in some take the direction of contrast. The degree of the interaction is also different.

The mutual correspondence of the sound and meaning of a word — attained through their interaction — is specific not only to the process of naming but to the words of natural languages and other systems of nonlinguistic symbols as well.

The correspondence between the referent and the name chosen largely determines the ready and retentive learning of the relation between them, the perceptibility of the name, ensuring full and monosemous communication of information, and facile and quick decoding.

The process of interaction between the referent and name chosen for it occurs at the unconscious level, preceding the emergence of these components of the symbol in the consciousness. The direction and extent of this interaction, the nature of the givenness of the referent and the name for it in consciousness, as well as the process of the functioning of the mutual correspondence between referent and name — all occur at the unconscious level.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., К вопросу о структурно-целостной природе звуковой стороны слова. Мат. III съезда психологов СССР, т. I, 1968.
2. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., Экспериментальная психология наименования, Тб., 1971 (на груз. яз.).
3. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., Роль взаимосоответствия означаемого и означающего в процессе запоминания слова. Мат. IV всесоюзного съезда общества психологов. Тб., 1971.
4. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., ГВЕНЕТАДЗЕ И., КАРАНАДЗЕ М., О влиянии кодового знака на информацию. Мат. конф. «Проблемы эргономики и инженерной психологии», Тб., 1974.
5. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., Результаты исследования семантического аспекта визуальных символов. Мат. конф. «Проблемы эргономики и инженерной психологии», Тб., 1974.
6. БАИНДУРАШВИЛИ А., АРАБУЛИ И., ЦХОМЕЛИДЗЕ М., К вопросу о мнемической ценности взаимосоответствия визуального символа и информации. Мат. конф. «Проблемы эргономики и инженерной психологии», Тб., 1974.
7. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., К вопросу воспринимаемости кода. «Проблемы инженерной психологии и эргономики». Мат. по инженерной психологии и эргономике, М., 1974.
8. БАИНДУРАШИВЛИ А. Г., Актер и чувство слова, Тб., 1977 (в печати).
9. БАИНДУРАШВИЛИ А. Г., К вопросу постижения значения незнакомого слова в вербальном контексте. Мат. VII конференции психологов ЗКВ, Тб., 1977.
10. ГУДАВА Т. Е., Об одном виде звукоподражания в мегрельском диалекте занского языка. XI научная сессия Инст. языкознания АН Груз. ССР, 1958.
11. ДОБЛАЕВ Л. П., Понимание незнакомых слов. Вопросы психологии, № 4, 1969.
12. НАТАДЗЕ Р. Г., К онтогенезу формирования понятия, Тб., 1976.
13. СИНИЦЫНА И. Е., Усвоение школьниками новых слов в контéксте. Вопросы психологии, 4, 1955.
14. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические основы наименования. Сб.: Психологические исследования, М., 1966.
15. ABORN, M., RUBENSTEIN, H. and STERLING, T. D., Sources of contextual constraint upon words in sentences. Journal of Experimental Psychology, vol. 57, no. 3, 1959.
16. ALLPORT, G. W., Phonetic Symbolism in Hungarian Words. In: R. Brown, Words and Things, 1958.
17. BAINDURASHVILI, A. G., Results of some experimental studies on naming. International Journal of Psychology, vol. 2, no. 3, 1967.
18. BENTLEY, M. and VARON, E., An accessory study of phonetic symbolism, Amer. Journ. of Psychology, 45, 1933.
19. BROWN, R. W., BLACK, A. H. and HOROWITZ, A. E., Phonetic Symbolism in Natural Languages, Journal of Abnormal and Social Psychology, 50, 1955.
20. BROWN, R. W., Words and Things. 1958.
21. BROWN, R. W. and NUTTALL, R., Methods in Phonetic Symbolism Experiments. Journal of Abnormal and Social Psychology, 59, 1969.
22. CHASTING, M., La brillance des voyelles. Archivum Linguisticum. 1962.
23. CHASTING, M., Nouvelles recherches sur le symbolisme des voyelles. Journal de Pathologie. 1, 1964.
24. DAGIRI, O., On Phonetic Symbolism. In: J. Endo, K. Hatano, H. Kebayashi, M. Koshimizu, O. Miyagi, H. Nakajiama, T. Obona (eds), Science of Language. 3. Tokyo: Nakayama Shoten. 1958.
25. DAVIS, R., The Fitness of Names to Drawings. A Cross-cultural Study in Tanganyka. British Journal of Psychology, 52, 1961.

26. EBERHARDT, Margarete., Study of Phonetic Symbolism of Deaf Children. Psychological Monographs. 52, 1940.
27. FISCHER, S., Über das Entstehen und Verstehen von Namen, mit einem Beitrage zur Lehre von den Transkortikalen Aphasien. Archiv für die gesamte Psychologie. 42, 1921; 43, 1922.
28. FOX, Ch., An Experimental Study of Naming. American Journal of Psychology. 47, 1935.
29. HORNBOSTEL, E. M., Laut und Sinn. Festschrift Meinhof. 1927.
30. IRWIN, F. M. and NEWLAND, Elisabeth., A Genetic Study of the Naming of Visual Figures. The Journal of Psychology. 9, 1940.
31. MALTZMAN, I., MORRISETT, L. Jr. and BROOKS, L. O., An Investigation of Phonetic Symbolism. Journal of Abnormal and Social Psychology. 53, 1956.
32. MIRON, M. S., A Cross-linguistic Investigation of Phonetic Symbolism. Journal of Abnormal and Social Psychology. vol. 62, no. 3, 1961.
33. NEWMAN, S., Further Experiments in Phonetic Symbolism. American Journal of Psychology. 45, 1933.
34. SAPIR, E., A Study in Phonetic Symbolism.J. Exp. Psychol. 12, 1929.
35. TAYLOR, I. K., Phonetic Symbolism Re-examined. Psychological Bulletin, 60, 1963.
36. TAYLOR, I. K., and TAYLOR, M. M., Phonetic Symbolism in Four Unrelated Languages. Canadian Journal of Psychology. 16, 1962.
37. TSURU, Sh. and FRIES, H. S., A Problem in Meaning. J. Gen. Psychol. 8, 1933.
38. USNADZE, D. N., Ein Experimenteller Beitrag zum Problem d. Psychologischen Grundlagen der Namengebung. Psychol. Forschung. 5, 1924.
39. WEIS, J. H., Phonetic Symbolism Re-examined. Psychological Bulletin, vol. 61, no. 6, 1964.
40. WERNER, H., Change of Meaning; A Study of Semantic Processes Through the Experimental Method. Journal of General Psychology. 50, 1954.
41. WESTERMANN, D., Laut, Ton und Sinn in Westafrikanischen Sudansprachen. Festschrift, Meinhof. 1927.

160

К ВОПРОСУ О НЕОСОЗНАННОЙ АКТИВНОСТИ ЯЗЫКА

Г. В. РАМИШВИЛИ

Тбилисский государственный университет,
филологический факультет

В поисках лингвистического подхода к проблеме бессознательного, одной из форм проявления которого можно считать построение т. н. семантического поля, следовало бы ответить на вопрос: по какому принципу группируются слова в т. н. языковых полях? В первую очередь на основе «чувства языка» (Sprachgefühl). В психологии чувство языка рассматривается на «стыке» чувства и знания[1]. Чувство языка как проявление интуитивного владения языком не является осознанным интеллектуальным актом; с другой стороны, предполагается, что ему не свойственна также и субъективность индивидуального чувства.

Чувство языка рассматривается здесь как свойство члена определенного языкового коллектива, приобретенное в результате длительного и сложного процесса освоения семантических правил конкретного языка, а не интуиция «идеального говорящего» в понимании Хомского.

С проявлением чувства языка в простейшей форме мы уже сталкиваемся при выборе слов (Wortauswahl) для адекватного обозначения предмета; поэтому предварительно его можно было бы определить как правило адекватного отбора слов.

Однако адекватный отбор и на его основе применение для предмета соответствующего ему названия не обязательно предполагает предварительного знания необходимых признаков и сущности обозначаемого предмета.

Это подтверждается известным психологическим экспериментом о несоответствии между употреблением слова и его дефиницией говорящим; в этих экспериментах наглядно выступает неосознанный характер функционирования языкового процесса.

К тому же, этот процесс нельзя себе представить как наличие в нашем сознании определенного предмета и, соответственно с этим, как вызов из памяти готового словесного ярлыка к нему. В таком случае мы имели бы дело с актом пассивной репродукции, а не с актом продуцирования, свидетельствующим безусловно о наличии неосознанных языковых процессов.

Даже при выборе синонимов сталкиваемся с актом селекции, по своей сущности отличающимся от процесса пассивного использования готовой грамматической нормы (где фактически нет альтернативы выбора). Разграничение языкового фактора от предметного и осознание

---

[1] См. у психолога Ф. Каинца [7] обзор соответствующей литературы; у Л. Вайсгербера [9], Х. Гиппера [5], Г. Рамишвили [8] — попытку лингвистической характеристики данного феномена.

принципа употребления слова, который не всегда определяется непосредственным чувственным образом предмета, дает нам возможность выявить комплекс условий, лежащих в основе акта селекции. Если при простом употреблении слова разграничение языкового и предметного еще возможно, то при селекции проследить этот процесс уже много сложнее, поскольку акт селекции тесно связан (тем более, если он осуществлен с индексом структуры семантического поля) с энергетическим принципом языка. Этот последний выступает в качестве неосознанного, но доминирующего фактора в актуальном проявлении процесса индивидуальной селекции.

Языковая активность, выявленная в феномене чувства языка или в акте селекции, репрезентирует не только интегрированность содержательных полей, но и взаимопроникновение семантики с грамматикой языка (особенно в актах словообразования и словосочетания). Чувство языка в своем более совершенном проявлении, по своей природе есть активное владение всеми возможностями языка, что значительно больше, чем интуитивное знание (competence) говорящего; оно находит свое высшее и яркое выражение в словотворчестве мастеров художественного слова.

Реализация внутренних возможностей языка в результатах словотворчества, не наблюдаемая на уровне статической системы языка, но вполне допустимая на более высоком уровне единства — на уровне типа[2] языка, может быть интерпретирована как эмпирическое проявление т. н. «внутренней формы языка». Подобное толкование приблизит нас к раскрытию чрезвычайно важного в этом отношении понятия В. Гумбольдта об языковом чувстве (Sprachsinn), которое в его посмертной работе [6] определено как присущее человеку «инстинктообразное предчувствие (Vorgefühl) всей системы языка».

Учитывая более полный вариант того же понятия с прилагательным «внутренний» («innere Sprachsinn» — «внутреннее языковое чувство»), можно предположить некоторую корреляцию между внутренней формой языка и феноменом индивидуального «внутреннего языкового чувства», под которым Гумбольдт понимал «не особую силу, а всю духовную способность в отношении образования и употребления языка, следовательно, только направленность» [6, 250: разрядка наша. — Г. Р.].

Средствами аналитической грамматики не удается познать эту внутреннюю энергетическую «направленность» языка; словотворчество, основанное на интуитивном знании «возможностей» или «направленности» (тенденции!) языка, является синтетическим актом порождения нового звукосодержательного единства. Этот акт отличается от того «динамического» использования языка, который в теории трансформационной порождающей грамматики квалифицируется как «творчество» (creative aspect of language use [3, 13]), хотя последнее в трансформационной лингвистике описывается в терминах динамической теории, но фактически оно остается на уровне эргона (динамика противопоставляется статике, а энергия — эргону. Энергия, будучи синтетической активностью, должна пониматься как условие порождения «нового»).

Размышляя о такой потенциальной и энергетической форме существования языка, самым ярким и реальным проявлением которого следует считать форму данности родного языка, нужно с особой ого-

[2] Имеется в виду классическое понимание этого термина (Гете, Гумбольдт), которого в настоящее время придерживаетсп языковед Е. Косериу [4].

воркой подойти к распространенному определению языка как инструмента, т. е. как средства обозначения или выражения готовой мысли, что скорее может иметь место при употреблении менее знакомого языка, выступающего как раз в роли простого инструмента. Родной же язык как внутренняя энергетическая активность включается и участвует всеми своими ресурсами (причем не всегда реализуясь во внешних речевых актах) в комплексе факторов, обусловливающих интеллектуальный процесс постижения окружающего мира и, в силу этого, не может быть исчерпан и представлен одним лишь сознательным процессом речевого акта.

Само собой разумеется, этот процесс не следует понимать интеллектуалистически: язык хотя и «создает теоретический план» [2], но языковой акт, тем не менее, нельзя считать актом чисто теоретического порядка; он органически включен именно в процесс практического овладения человеком окружающим миром. Языковая активность настолько неосознанна и «естественна», что порой становится трудно отличимой от других форм «естественного поведения», т. н. «интеллектуальный инстинкт разума» (Гумбольдт). Это метафорическое определение охватывает оба названных момента — как бессознательную форму существования, так и теоретический аспект языка.

ЛИТЕРАТУРА

1. РАМИШВИЛИ Д. И., Понятие бессознательного в контексте речевой активности. Мацне (Вестник АН ГССР, серия философии, психологии, экономики и права), 2, Тбилиси, 1977.
2. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1968.
3. CHOMSKY. N., Cartesin Linguistics, New York, 1966.
4. COSERIU, E., Sprache, XII Aufsätze, Tübingen, 1970.
5. GIPPER, H., „Sprachgefühl“, „Introspektion“ und „Intuition“, Wirkendes Wort, 26, Düsseldorf, 1976.
6. HUMBOLDT, W. V, Über die Verschiedenheit des menschlichen Sprachbaues und ihren Einfluss auf die geistige Entwicklung des Menschengeschlechts, Gesammelte Schriften, B. VII, Berlin, 1907 (68).
7. KAINZ, Fr., Psychologie der Sprache, Bd. IV, Stuttgart, 1967.
8. RAMISCHWILI, G, Sprachgefühl als semantisches Problem, XII intern. Linguistenkongress Wien, 1977, Kurzfassungen.
9. WEISGERBER, L., Grundzüge der inhaltbezogenen Grammatik, Düsseldorf, 1962

161

MOTIVATION ZUM SPRACHERWERB

BERNHARD WEISGERBER

Universität Bonn, BRD

1. Die Diskussion um eine Reform des Sprachunterrichts hat in den letzten Jahren auch dem Begriff der Motivation einen neuen Klang verliehen. Galt Motivation bisher vornehmlich als eine Kategorie der Lernpsychologie («Erfolgserlebnisse bilden die beste Motivation des Leistungsstrebens»), so ist sie nun zu einem zentralen Thema der Curriculum-Theorie geworden, und das zu Recht: Der grundlegende Unterschied zwischen herkömmlichen Stoffplänen und neu zu entwickelnden Curricula für den Sprachunterricht liegt in der Abkehr von Wissens«stoffen» und der Hinwendung zu «Lernzielen». Nicht selten wird diese Umkehr allerdings nur verbaliter vollzogen. War etwa bisher das Akkusativobjekt Gegenstand des Unterrichts, so wird nun ein «Lernziel» daraus gemacht: Die Schüler sollen das Akkusativobjekt nach transitiven Verben gebrauchen und erkennen.

Lernziele dieser Art sind nichts anderes als verkleidete Stoffpläne und daher eine völlig ungeeignete Grundlage für einen «reformierten» Sprachunterricht. Die mit dem Begriff ursprünglich verbundene Intention muß in eine andere Richtung didaktischen Denkens und methodischer Unterrichtsplanung führen: Lernziele betreffen das sprachliche Verhalten, genauer: das künftige Sprachverhalten des Schülers. Ein globales Lernziel des Sprachunterrichts ließe sich dann etwa folgendermaßen formulieren: Sprachunterricht soll die Schüler befähigen, künftige Situationen ihres Lebens mit sprachlichen Mitteln angemessen und erfolgreich zu meistern. (Das für die meisten neueren Curricula und «Rahmenrichtlinien» bestimmende Lernziel: Befähigung zur Kommunikation, das in seiner einseitigen Einschränkung auf Sprache übersieht, läßt sich durchaus unter dieses Globalziel subsumieren.)

Sprachverhalten aber bedarf der Motivation, die es in Gang setzt und in Gang hält. Erfolg und Wirkung dieses Sprachverhaltens hängen ab vom Prozeß des Spracherwerbs und stehen in enger Beziehung zur jeweils erreichten Stufe der Sprachaneignung durch den Schüler. Die Motivation zum zielgerichteten sprachlichen Verhalten umfaßt damit zugleich die Motivation zum Spracherwerb, das Bestreben, die eigene Sprache auszubauen und zu verbessern, um mit ihrer Hilfe die Ziele des sprachlichen Handelns besser zu erreichen.

So gesehen, sollte jede Form des Sprachunterrichts die Schüler zum Erwerb wie zum Gebrauch der Sprache motivieren. Der Grad der erreichten Motivation kann durchaus als Maßstab für die Effizienz des Sprachunterrichts gelten. Ein Unterricht, der diese Motivation verringert, statt sie zu verstär-

ken, steht demnach im Gegensatz zur allgemeinen Zielvorstellung des Sprachunterrichts. Es wäre besser, auf Sprachunterricht zu verzichten, als diese negative Auswirkung in Kauf zu nehmen.

2. Die positive Sonderstellung des muttersprachlichen Unterrichts im Vergleich zu anderen Schulfächern besteht in der Tatsache, daß die Motivation, sich den Unterrichts«gegenstand» anzueignen (also die Motivation zum Spracherwerb), nicht erst erzeugt werden muß, sondern als gegeben vorausgesetzt werden kann. Der Beweis für diese Behauptung ist leicht zu erbringen. Er besteht in der Tatsache, daß schon die sechsjährigen Schulanfänger mehr an Sprache in die Schule mitbringen, als der linguistisch versierteste Lehrer ihnen erklären könnte. Schulanfänger verfügen über alle grundlegenden Sprachmittel:

— Sie beherrschen alle Wortarten (natürlich nicht alle Wörter, aber das kann auch kein Erwachsenenr von sich behaupten, zumal die jüngsten Zählungen des deutschen Wortschatzes die Millionengrenze bereits überschritten haben).

— Sie verfügen über das grammatische Formensystem, mit dessen Hilfe Beziehungen zwischen Wörtern bzw. Satzgliedern hergestellt und verdeutlicht werden können. (Daher erfolgt die Aneignung dieses Formensystems in der frühkindlichen Sprachentwicklung parallel zum Ausbau des Satzes).

— Sie haben sich die syntaktischen Grundstrukturen (die muttersprachlichen Satzbaupläne) angeeignet und sind in der Lage, sie—allerdings mit starken individuellen und gruppenspezifischen Unterschieden — weiter auszubauen (Satzreihen, Satzverbindungen, Satzgefüge mit einfacher und mehrfacher Unterordnung).

Klaus Doderers Behauptung, Schulanfänger sprächen «normalerweise» in «kugeligen Hauptsätzchen» (K. Doderer: Wege in die Welt der Sprache. Stuttgart: Klett 1960, S. 11), ist das unhaltbare Ergebnis einer falsch angesetzten, weil vornehmlich am schriftlichen Sprachgebrauch orientierten Sprachstandsanalyse (als Gegenbeispiel hier nur der Ausspruch eines Vierjährigen abends vor dem Einschlafen: «Papa, erlaubst du mir, daß du mir morgen erlaubst, daß ich mir dann was wünschen darf?») — Sie verstehen und gebrauchen die wichtigsten Möglichkeiten der Wortbildung und befinden sich bei ihren häufigen, meist aus der «Sprachnot» in einer bestimmten Situation geborenen Eigenbildungen fast immer in Übereinstimmung mit deren Strukturgesetzen (der «Inneren Sprachform» im Sinne Wilhelm von Humboldts). Gerade dieser kreative Umgang mit Sprache beweist zugleich, daß Spracherwerb nicht als ein passives Geschehen bergiffen werden kann, sondern getragen ist von der aktiven Sprachkraft des Kindes, mit deren Hilfe es das sprachliche Angebot seiner Umgebung nicht nur aufnimmt, sondern sich nachschaffend aneignet und nicht selten selbständig ausbaut. (Dazu nur einige Belege aus der Vorschulzeit:

Der Schornstein einer Spielzeugeisenbahn wird D a m p f e genannt.
Beim Abschied auf dem Flughafen ruft ein Junge: «Gute F l i e g e !»
Die Holzsandalen sind die K l a p p e r s c h u h e.

Der Scheibenwischer im Auto wird als F e n s t e r f e g e r bezeichnet.
Die neue TÜV-Plakette wird als «A u t o s o n n e» lyrisch «gewortet».
Wer Gift getrunken hat, wird davon s t e r b i g.
Glasscherben sind s c h n e i d i g.
Autos können in die Straße e i n q u e r e n.
usw.

Jeder, der die Sprachentwicklung von Kindern mit offenen Ohren verfolgt, kann die Liste kreativer Sprachleistungen fortführen. Das Versiegen solcher Eigenschöpfungen in der Schulzeit stellt dem Sprachunterricht nicht das beste Zeugnis aus.)

Wäre uns der Spracherwerb, dessen entscheidende Stufen bereits in der Vorschulzeit erreicht und überschritten werden, nicht so «selbstverständlich», weil wir ihn bei jedem Kind beobachten können, wir hätten allen Grund zu staunen über eine Leistung, die der Erwachsene sicher nicht mehr im gleichen Zeitraum und mit gleicher Sicherheit bewältigen würde. Dabei ist im Normalfall nicht davon auszugehen, daß die Sprachentwicklung des Kindes systematisch — etwa von Seiten der Eltern — gefördert würde. Sicher ist das sprachliche Angebot von Seiten der Eltern, der Geschwister, der Umgebung usw. für die Sprachentwicklung des Kindes von außerordentlicher Bedeutung. Bei unzureichendem Angebot kann sich individuelle Sprachfähigkeit nicht optimal entfalten. Aber das Angebot an Sprache entspringt nicht reflektierter Bildungsintention, sondern ergibt sich aus Situationen und Notwendigkeiten des sprachlichen Alltags. Als Objekt systematischer Sprachförderung — etwa im Sinne grammatischer oder lexikalischer Systematik — wäre das Kind eher zu bedauern als zu beneiden.

In übertreibender Karikatur: Was hülfe es dem Kind, wenn es dazu angehalten würde, täglich 10 neue Wörter zu lernen. Was hätte es von folgendem syntaktischen Förderungsversuch: «Du sprichst ja immer noch in Satzreihen. Dann wollen wir heute einmal die Gliedsätze lernen, mit denen du Satzgefüge bilden kannst».

3. Damit sind wir bei der entscheidenden Frage nach der Ursache des Spracherwerbs, nach der Motivation die ihn begründet und bestärkt.

Soviel ist nach dem bisher Gesagten wohl schon klar: Kinder lernen Sprache nicht, um Sprache zu lernen. Sie rekflektieren nicht über die Notwendigkeit des Spracherwerbs.

Sie lernen Sprache aber auch nicht auf Grund bewußter und systematischer Sprachförderung von außen.

Wenn trotzdem jedes Kind—auch unter ungünstigsten Umständen—sich Sprache aneignet, muß das einen tieferen Grund haben: Kinder lernen Sprache, weil sie ohne Sprache nicht als Menschen leben können. Die Ursache des Spracherwerbs und seine durchgängige Motivation ist die existentielle Angewiesenheit des Kindes auf Sprache. Diese bezieht sich nicht nur auf die Notwendigkeit zwischenmenschlicher Kommunikation, also auf die Sprache als «Verständigungsmittel».

Sprache braucht das Kind ebenso dringend, um sich eine menschliche Welt aufzubauen (bzw. nachzubauen), in der es in menschlicher Weise existieren kann. Der Unterschied zwischen der Existenzform von Mensch und Tier, zwischen dem Eingebundensein des Tieres in seine Umwelt (für deren Funktionieren die moderne Verhaltensforschung verblüffende Beispiele und Beweise geliefert hat) und der «Weltoffenheit» des Menschen läßt sich auf die kurze Formel bringen:

Der Mensch hat Sprache.

Durch Sprache tritt er in Distanz zu seiner Welt.

In Sprache schafft er sich seine Welt, zu der er mit Hilfe der Sprache in Verlbindung tritt.

Deshalb ist der Mensch in der Lage, seine Welt zu gestalten und zu verändern (bis hin zur Möglichkeit ihrer Zerstörung).

Deshalb hat Herder recht, wenn er den Ursprung menschlicher Sprache nicht allein aus der Kommunikation ableitet, sondern aus der Besonderheit menschlichen Weltverhaltens. Dem «Freigelassenen der Schöpfung» fehlt die Instinktsicherung, die das Überleben der Tiere garantiert; dafür aber ist er in den Zustand der «Besonnenheit» gesetzt, aus dem menschliche Sprache resultiert (und mit dem sie gleichzusetzen ist). Insofern behauptet Herder zu Recht: «Der Wilde, der Einsame im Walde hätte Sprache für sich selbst erfinden müssen, hätte er sie auch nie geredet». (Joh. Gottfried Herders Sprachphilosophie, hrsg. v. E. Heintel, Hamburg 1960, S. 26)

Die Betonung dieser heuristischen, «welterschließenden» Funktion der Sprache für das Kind (und für den Menschen überhaupt) steht nicht im Gegensatz zu ihrer kommunikativen Funktion. Im Gegenteil: Die geistige Verarbeitung der Wirklichkeit vollzieht sich, eben weil sie an (Sprach-)Gemeinschaft gebunden ist, vornehmlich interaktiv, d. h. in kommunikativen Sprach- und Sprechakten (zu denen auch die unausgesprochenen gehören). Der Erwerb von Sprache setzt Kommunikation in gleicher Weise voraus, wie Kommunikation auf das Vorhandensein gemeinsamer Sprache angewiesen ist. Wirklichkeitsbewältigung und Kommunikation stehen in engstem Wechselverhältnis zu einander. Dieses Verhältnis läßt sich allerdings nicht angemessen beschreiben und didaktisch auswerten, wenn man Kommunikation als Funktion der Sprache oder als «oberstes Lernziel» verabsolutiert (wie es zur Zeit in den meisten Curricula für den Sprachunterricht Mode ist). Halten wir zunächst fest: Die Motivation zum Spracherwerb kann und muß bei jedem Kind als gegeben vorausgesetzt werden. Sie resultiert aus der Angewiesenheit des Kindes auf Sprache:

a) aus der Notwendigkeit der Bewältigung und Veränderung seiner Lebenswirklichkeit,

b) aus der Notwendigkeit zwischenmenschlicher Kommunikation (als Grundlage menschlicher Gesellschaft).

4. Wie ist es dann zu verstehen, daß im Sprachunterricht häufig ein Mangel an Motivation beim Kind festzustellen und zu beklagen ist?

Wieso zeigen Kinder, die sich in der Vorschulzeit gierig ihre Sprache angeeignet haben — man denke nur an das berühmte Fragealter, in dem diese Sucht nach Sprache deutlich zum Ausdruck kommt —, oft in der Schule keine Aufgeschlossenheit für deren Sprachförderungsversuche, nicht selten sogar ein ausgesprochenes Desinteresse oder gar eine Abneigung gegenüber dem Sprachunterricht?

Am Kind kann es nicht liegen; das beweisen die Fakten und Egrebnisse der Vorschulzeit.

Am Lehrer dürfte es auch nicht liegen; denn welcher Lehrer hätte nicht die Absicht, die Sprachentwicklung seiner Schüler bestmöglich zu fördern (eine Absicht, die bei vielen Lehrern durch die Sprachbarrierendiskussion der letzten Jahre noch verstärkt worden ist — wenigstens ein positives Ergebnis dieser Diskussion!)?

Bleibt der Sprachunterricht selbst mit seinen Zielvorstellungen, Bedingungen und Methoden. Sollen wir ihm die Schuld am Motivationsverlust zuschieben?

Hier sind zumindest zwei Ursachen festzustellen, die häufig verhindern, daß die günstigen gegebenen Voraussetzungen für den Spracherwerb nicht akzeptiert und genutzt werden:

a) die Verwechslung von Verfügen über Sprache (Sprachaneignung) mit dem expliziten Wissen über Sprache (beispielsweise in Form grammatischer Regeln)

Die Aneignung von Sprache (als Muttersprache) ist gerade kein bewußtes Lernen und Anwenden grammatischer Normen (auch der linguistisch versierteste Erwachsene wäre nicht in der Lage, alle grammatischen Voraussetzungen seines Sprachgebrauchs zu bennenen, geschweige dann auch noch zu sprechen!), sondern die soziale Konditionierung individuellen Sprachverhaltens im Sinne des sprachlichen Angebots der Umgebung. Dieser Prozeß schließt eine Reflexion über die dem Sprachgebrauch zugrundeliegenden (grammatischen) Gesetzmäßigkeiten zunächst prinzipiell aus, ermöglicht und begründet sie aber im späteren Verlauf der Sprachbildung, wenn die angeeignete Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens wird und sich dabei dem Schüler die Ordnung erschließt, nach der er sich auch bisher schon — aber unbewußt — gerichtet hat. Der Weg führt also im Land der Muttersprache nicht von der Grammatik zur Sprache, sondern von der Sprache zur Grammatik.

b) die Verwechslung von Sprache mit Schulsprache

Noch immer—und trotz der heftigen Diskussion um die Verketzerung der Hochsprache in den hessischen Rahmenrichtlinien — wird in der Schule meist Sprache mit Hochsprache gleichgesetzt, wobei die Normen der Schulsprache diejenigen der Hoch- oder Schriftsprache an Apodiktik noch übertreffen. Für Kinder, die in Hochsprache aufgewachsen sind, ist das nicht weiter tragisch; denn die Forderungen der Schule stimmen mit jenen Sprachgewohnheiten überein, die sie sich ohnehin in der Vorschulzeit schon angeeignet haben.

Wie sieht es aber mit den Kindern aus, die aus einer anderen Gesellschafts- und Sprachschicht stammen, deren Herkunftssprache sich also mehr oder weniger von der Hochsprache unterscheidet (wobei die Unterschiede zwischen Mundart, «Unterschichtssprache» usw. und der Hochsprache sich auf den phonetischen, lexikalischen, morphologischen — z. B. das Kasussystem der Nomina — und syntaktischen Bereich erstrecken können)?

Sie geraten, falls die Schule auf ihren Normvorstellungen beharrt, notwendigerweise in die Aporie:

Die sprachlichen Leistungen, die diese Kinder auf Grund ihrer sprachlichen Herkunft erbringen können (und im Normalfall gern zu erbringen bereit sind), werden, weil nicht normgerecht, nicht akzeptiert.

Die sprachlichen Leistungen, die die Schule von ihnen fordert, können sie auf Grund ihrer sozialen Bedingungen beim Spracherwerb nicht erbringen (jedenfalls solange nicht, wie ihnen die Hochsprache nicht vermittelt und durch Sprachübung gesichert ist).

Bleibt als einzige mögliche Konsequenz: Diese Kinder verstummen im Unterricht, und auch das wird ihnen noch negativ angekreidet (meist in Form von Zensuren), womit sich das sprachliche Handikap potenziert.

5. Für eine Therapie des beschriebenen Motivationsverlustes können hier nur die wichtigsten Medikamente verschrieben werden. Das folgende Rezept bietet immerhin Aussicht auf Besserung:

a) Die Herkunftssprache der Schüler ist in den Sprachunterricht zu integrieren. Nur auf dieser Basis läßt sich sinnvoll Sprachförderung betreiben, auch wenn ihr Ziel (entsprechend den Erfordernissen und Bedürfnissen der Gegenwartsgesellschaft und der Schülerzukunft) die Hochsprache — als Gemeinsprache mit besonders ausgeprägtem Differenzierungsstand und besonders hoher Abstraktionsfähigkeit — bleibt.

b) Sprachförderung beschränkt sich nicht auf die Hochsprache, sondern soll die vielfältigen Ausprägugen von Sprache den Schülern erschließen.

Der Maßstab für die Qualität des Sprachgebrauchs besteht nicht in abstrakten hochsprachlichen Normen, sondern in der Frage nach seiner Angemessenheit an den Gesprächsgegenstand, die Gesprächssituation und den Gesprächspartner. Nicht selten erweisen sich dabei Mundart oder «Unterschichtsprache» als adäquater und effektiver als die Hochsprache.

c) Jede Disqualifizierung eines Schülers wegen nicht hochsprachlichen Sprachverhaltens ist zu vermeiden. Eine Abwertung mundartlichen oder «restringierten» Sprachgebrauchs ist weder linguistisch noch pädagogisch zu begründen (zumindest wenn die gegebene Situation damit sprachlich gemeistert wird). In nicht wenigen Situationen — beim Tanken wie beim Ertrinken — sprechen wir alle «restringiert» («Super, bitte voll!» — «Hilfe!» usw.).

d) Hochsprache darf die Schule vom Kind erst fordern, wenn sie sie ihm vermittelt hat. Nicht auf die Bewertung, sondern auf die Vermittlung und den Ausbau von Sprache kommt es im Sprachunterricht in erster Linie an. Hier liegt das wichtigste Bedürfnis des Kindes, das Lernbereitschaft erzeugt und Fortschrittsstreben motiviert.

e) Sprache soll dem Kind im Unterricht nicht um der Sprache willen (im Sinne eines formal-verbalistischen Vorgehens) angeboten werden, sondern als Möglichkeit und Medium der Wirklichkeitsbewältigung.

Schulanfänger unterscheiden normalerweise noch nicht zwischen Sprache und Sache. Ihre Aufnahmebereitschaft für Sprache resultiert aus dem Streben, «Sachen» zu ergreifen und geistig zu verarbeiten.

Ein verbalistischer Unterricht würde daher die Aufnahmebereitschaft für Sprache zerstören.

Wirklichkeitsbewältigung durch Sprache geschieht durch Individuen und durch Gruppen. Die soziale Interaktion der Gruppe, gerichtet auf einen durch Sprache zu fassenden Sachverhalt, erweitert die Möglichkeiten der Sprachförderung, weil in ihr der gesamte Sprachschatz der Gruppe aktiviert werden kann, der die individuellen Kompetenzen überschreitet.

f) Ein effektiver Sprachunterricht vollzieht sich stets in der Auseinandersetzung mit «Sachen», d. h. mit den durch Sprache intendierten «Wirklichkeiten».

Im Sinne einer energetischen Sprachtheorie muß Sprache stets als Prozeß verstanden werden, als geistige Aktivität einer (durch die gemeinsame Sprache gekennzeichneten) Menschengruppe mit dem Ziel, «das allen gemeinschaftlich vorliegende Gebiet» der Wirklichkeit entsprechend der jeder Sprache «einwohnenden Kraft» «in das Eigentum des Geistes umzuschaffen» (Wilhelm von Humboldt; Über den Nationalcharakter der Sprachen. Werke (Akademieausgabe) IV, S. 420). Wer sich dieser Definition von Sprache anschließt, kann folglich auch nur dann von Sprachunterricht im vollen Sinne reden, wenn sich darin Sprach- und Sprechakte vollziehen, die die Versprachlichung von Wirklichkeit intendieren.

g) Reflexion über Sprache (etwa im Grammatikunterricht) setzt deren Aneignung voraus. Sie zielt auf den Gewinn eines «Selbstverhältnisses» zur Sprache.

Die Ablehnung eines formal-normativen Grammatikunterrichts bedeutet nicht die Negation der Reflexion über Sprache im Unterricht. Im Gegenteil: Die erschreckenden, durch technische Möglichkeiten und Medien vervielfachten Möglichkeiten sprachlicher Manipulation in der Gegenwartsgesellschaft machen ein bewußtes und kritisches Verhältnis zur Sprache für jeden Menschen erforderlich, der diesen sprachlichen Einflüssen (etwa im Bereich der «Information», der Konsumwerbung, der politischen Propaganda usw.) nicht hilflos ausgesetzt bleiben will.

Sprachkritik und Kritik des Sprachgebrauchs gehören zu den besonders gewichtigen Lernzielen des Sprachunterrichts in der Gegenwart. Kritik aber setzt Sachverstand voraus. Sachverstand über Sprache erreicht das Kind, indem es die eigene (angeeignete) Sprache zum Gegenstand des Nachdenkens erhebt und dabei schrittweise eine Ordnungsstruktur entdeckt, die bischer schon sein Sprachhandeln bestimmte, aber erst durch Reflexion über Sprache offenbar wird. Damit verliert die «Regel» den Charakter der Fremdnorm und gewinnt der Grammatikunterricht Sinn und Interesse. Von der Fremdbestim-

ung durch Sprache (von der das Kind zunächst fast gänzlich beherrscht war) tritt der Schüler auf den Weg zunehmender Selbstbestimmung (im Sinne eines Selbstverhältnisses zu seiner Sprache).

6. Wie sich diese reichlich abstrakten Forderungen im Sinne eines motivierenden Sprachunterrichts konkret auswirken können, sei an zwei gegensätzlichen Gesprächssituationen veranschaulicht:

a) Angenommen, mein Gesprächspartner antwortet auf meine Äußerungen wie folgt: «Gut!» — «Ausreichend». — «Sag das schöner!» — «Wie heißt das richtig?» — «Sprich im ganzen Satz!» Sicher fände ein solches Gespräch einen abrupten Schluß und würde nie wieder aufgenommen. Trotzdem glauben nicht wenige Lehrer, mit solchen Ermahnungen und Wertungen Sprachförderung betreiben zu können, und wundern sich dann, wenn die Schüler entsprechend reagieren. (Schon eine Reflexion dieser Forderungen durch den Lehrer könnte ihn zu wichtigen Einsichten bringen, z. B. zu der, daß die Forderung, in «ganzen Sätzen» zu sprechen, in vielen Situationen unsinnig ist und ohnehin — wenn überhaupt — an den Lehrer gestellt werden müßte: «Frage so, daß die Schüler in ganzen Sätzen antworten können!» — oder besser noch: «Verzichte auf Fragen zugunsten von Redeanlässen und Unterrichtssituationen, die bei den Schülern 'ganze Sätze' provozieren!»

b) Als Gegenmodell die folgende — durchaus nicht nur konstruierte — Gesprächssituation:

Ich schlage mich seit längerem mit einem Problem herum, das mich um so mehr bedrückt, als ich es nicht in Worte fassen kann. Ich habe Glück und finde einen Gesprächspartner, der bereit ist, mir zuzuhören. Schon diese Tatsache wirkt motivierend. Vielleicht finde ich angesichts eines Zuhörers die fehlenden Worte. Wenn nicht, bietet mir mein Gesprächspartner vielleicht eine Formulierung an, die das Gemeinte trifft. Wer sich in einer ähnilichen Situation schon einmal befunden hat (und das dürfte bei den meisten der Fall sein), wird zugeben, daß von der nun gelungenen «Versprachlichung» des Problems eine befreiende Wirkung ausgehen kann: Das bisher Unfaßbare, dunkel Bedrückende hat jetzt im Wort Gestalt gewonnen; ich kann mich ihm stellen und mich damit um seine Bewältigung oder Veränderung bemühen. Diese Situation kann für einen motivierenden Sprachunterricht als exemplarisch gelten. Aus ihr folgen die wichtigsten methodischen Schritte:

— Der Lehrer (oder die Klasse) findet einen Sachverhalt, eine Situation, ein Problem, das die Schüler «betrifft» und zu dessen Bewältigung sie Sprache benötigen.

— Der Versuch der Problemlösung provoziert Sprache bei den Schülern.

— Dabei bleibt die Aktivierung von Sprache nicht auf die individuelle sprachliche Leistungsfähigkeit Einzelner beschränkt: Der gesamte Sprachschatz der Klasse kann für die Aufgabe mobilisiert werden.

— Hieraus ergibt sich eine besondere Chance für einen sprachfördernden Unterricht. Die Schüler machen sich gegenseitig ein sprachliches Angebot, um gemeinsam mit dem gestellten Problem fertig zu werden. Aus dem unterschiedlichen Sprachstand der einzelnen Schüler ergeben sich vielfältige Anregungen, besonders für die sprachlich weniger geförderten. (Diese Anre-

gungen entfallen allerdings in annähernd homogenen Gruppen— ein wichtiges Argument für die Ablehnung «äußerer Differenzierung» nach Leistungsgruppen im Deutschunterricht).

— Wo die Klasse an die Grenzen ihrer sprachlichen Leistungsfähigkeit gerät, kann der Lehrer auf Grund seiner weiteren Kompetenz zur Problemlösung beitragen. Sein Angebot muß sich dabei an der Verstehensfähigkeit der Schüler orientieren. Da sich das gemeinsame Interesse auf die sprachliche Bewältigung der Situation richtet, ist die Aufnahmebereitschaft der Schüler ungemein höher als in einem verbalistischen Sprachunterricht.

Ich schließe mit einer Zusammenstellung der wichtigsten Maximen für einen zum Spracherwerb motivierenden Deutschunterricht. Ihre weitere Erläuterung und Begründung ist in diesem Rahmen leider nicht möglich. (Sie findet sich in: Bernhard Weisgerber: Theorie der Sprachdidaktik. Heidelberg: Quelle & Meyer 1974.)

— Nicht Sprache als Objekt, sondern Sprache im Vollzug ist Ausgangs- und Schwerpunkt des Sprachunterrichts.

— Ü b e r Sprache (als Muttersprache) soll nur das gelernt, d. h. bewußt gemacht werden, was vorher i n Sprache gelernt, d. h. angeeignet worden ist.

— Sprachvermittlung, Sprachübung und Sprachgebrauch sind also die notwendigen Voraussetzungen der Sprachbetrachtung (im systematischen Zusammenhang wie in der chronologischen Reihenfolge).

— Das sprachliche Angebot muß sich am sprachlichen Entwicklungsstand der Schüler orientieren.

— Dieses Angebot richtet sich nicht nach dem Sprachgebrauch (der Perfomanz) der Schüler, sondern nach ihrer Fähigkeit zu verstehendem Aufnehmen von Sprache. Die so zu erreichende Erweiterung der Sprach«kompetenz» ist die Grundlage zur Förderung der Performanz.

— Die Sprache der Schüler muß im Unterricht aktualisiert werden.

— Dies geschieht am ehesten dadurch, daß die Schüler im Unterricht in Situationen gebracht werden, die sie nur mit Hilfe von Sprache bewältigen können.

— Dabei sind die Möglichkeiten individueller wie sozial-interaktiver Wirklichkeitsbewältigung in Sprache (Kognition und Kommunikation) gleichermaßen zu berücksichtigen.

—Als besonders ergiebig für Sprachentwicklung und Sprachförderung können Situationen gelten, für deren Bewältigung den Schülern noch nicht das gesamte notwendige «Inventar» von Sprache zur Verfügung steht. Hier erweist es sich als erforderlich, den Gesamtsprachschatz der Gruppe (Klasse) zu aktivieren. Das vorhandene sprachliche Defizit steigert die Bereitschaft zur Annahme eines sprachlichen Angebots (auch von Seiten des Lehrers).

—Die in solchen Situationen entstehende «Sprachnot» motiviert zugleich bei den Schülern das Bemühen, durch eigenständiges, «kreatives» Sprachverhalten Probleme sprachlich zu meistern.

162

ERFOLG VON SPRECHHANDLUNGEN

HANS-GEORG HEINRICH

Universität Wien, Österreich

Das Problem des Erfolgs von sprechhandlungen ist ein Teilaspekt des Grundproblems aller Sozialwissenschaften: nämlich die Frage, wie und inwieweit kooperatives Verhalten von Gesellschaftsmitgliedern möglich ist. Diese grundlegende Fragestellung wurde von der linguistischen Pragmatik aufgegriffen und entsprechend ihrem Erkenntnisinteresse, der Erklärung der Wirklichkeit sprachlicher Interaktion, neu formuliert. Obwohl die einzelnen Disziplinen der Sozialwissenschaft zu diesem Thema genügend Beiträge geliefert haben, ist der Prozess der gegenseitigen Rezeption der Ergebnisse nicht weit fortgeschritten. Ich möchte im folgenden zunächst einige sozialwissenschaftliche Forschungsansätze diskutieren, von denen ich glaube, daß sie zum Verständnis des Problems des Erfolges von Sprechhandlungen beigetragen haben (Teil I). Weiters möchte ich mich speziell mit dem Stand der Forschung in der linguistischen Pragmatik auseinandersetzen (Teil II) und schließlich einige Thesen, welche sich aus der interdisziplinären Betrachtung ergeben, formulieren (Teil III).

1. Die theoretische Linguistik geht vom Modell kompetenter Sprecher und Hörer aus. Demnach hat jeder Teilnehmer sprachlicher Interaktion grundsätzlich die Fähigkeit, den sprachlichen Kode, also den Sprachspeicher zu aktivieren, Texte zu produzieren und zu verstehen. Bedingung für das Gelingen der Kommunikation ist also das Unterbleiben von Störungen des Informationsflusses, welche neben objektiven Umständen der Ebene der Performanz (des aktuellen Gebrauchs der Kompetenz) zugerechnet werden (Chomsky 1965). Der linguistische Ansatz hat somit gewisse Ähnlichkeit mit dem der Spieltheorie, welche ebenfalls von Modellvorstellungen ausgeht. Über die genaue Definition «rationalen Verhaltens» kann die Spieltheorie eine Bestimmung der «kollektiven Rationalität», also des gesellschaftlich relevanten Erfolgs von Handlungen, geben. Für die Linguistik besteht dieses Problem gar nicht, da durch die Annahme der Kompetenz der kommunikative Sinn von Sprechhandlungen bereits gesichert erscheint. Für die Spieltheorie ist eine Handlung dann erfolgreich («kollektiv» oder «individuell rational»), wenn sie der dem Modell entsprechenden Strategie folgt (z. B. Rapoport 1974).

In der Soziologie haben sich vor allem die Forschungsrichtungen des

symbolischen Interaktionismus und darauf aufbauend der Ethnomethodologie und der Ethnotheorie mit der Frage beschäftigt, wie koordiniertes soziales Handeln möglich ist. Der symbolische Interaktionismus betont die Notwendigkeit, dem Interaktionspartner Intentionen und Zweck der Handlung anzuzeigen und die Bedeutung der Handlung vom Standpunkt des Anderen zu interpretieren (z. B. Mead 1964). Die Interaktion ist demnach gelungen, wenn eine Äußerung («Geste») für alle Beteiligten dieselbe Bedeutung hat. Die Ethnomethodologie lenkte die Aufmerksamkeit der Forschung auf die Tatsache, daß die Bedeutung sprachlicher Symbole in konkreten Kontexten durch die Aktivierung und Konkretisierung gelernter Regeln («Basis- und Oberflächenregeln») entsteht (z. B. Cicourel 1973). Damit wird festgestellt, daß der Erfolg der Interaktion (z. B. die Verständigung über die Bedeutung) von der Aktivität der Beteiligten abhängt, also nicht von vornherein vorausgesetzst werden kann. Die soziale Koordination beruht darauf, daß die Unzulänglichkeit von Annahmen über die Wirklichkeit (das «Alltagswissen») nicht thematisiert und problematisiert wird. Die Ethnotheorie untersucht, auf welche Weise die Angehörigen einer Kultur wahrnehmen, definieren und klassifizieren und teilt somit das Erkenntnisinteresse mit den besprochenen soziologischen Ansätzen. Innerhalb dieser Forschungsrichtung ist eine Arbeit von A. F. Wallace hervorzuheben, in der die Verbindung zwischen Ethnotheorie und Psychologie hergestellt wird. Wallace stellt zwar fest, daß eine «motivationelle Einheitlichkeit für soziale Koordination weder nachweisbar noch notwendig ist», daß aber andererseits «auf lange Sicht die effektivste Basis für interkulturelle Kommunikation die von allen Beteiligten geteilte Annahme ist, soziale Koordination sei schon dann vollständig erreichbar, wenn nur der gemeinsame Besitz einer kulturfähigen Natur gegeben ist und das ohne Uniformität von Motiv und Interesse». Damit hat er das wichtige Problem von Freiheit und Gleichheit in der menschlichen Interaktion thematisiert. Demnach gelingt (zumindest auf lange Sicht, die Interaktion gerade dann, wenn dem Individuum ein Freiheitsraum, eine Privatsphäre eingeräun t bleibt. Die Interessen und Motive der Mitglieder einer Kultur müssen nicht identisch, sondern nur äquivalent sein (Wallace 1973)

Im Gegensatz dazu betonen die verschiedenen Richtungen der Tiefenpsychologie die Rolle der nicht-bewußten Motive. Durch die Existenz nicht durchschauter Motive und Interessen erscheint jede Kommunikation also verzerrt. Eine bessere soziale Koordination ist daher nur durch das Aufdecken unbewußter Inhalte zu erreichen. In Bezug auf die Intention bei Sprechakten besteht zwischen der Freud'schen Schule und der Neopsychoanalyse ein wesentlicher Unterschied: während nach Freud die «eigentlich» maßgebenden Intentionen «privaten» Charakter haben, sind sie für die Neopsychoanalyse gesellschaftlich vermittelt. Für die Freud'sche Schule ist die «wirkliche» Intention jeweils durch den Rückgriff auf den Originalvorfall aufdeckbar (z. B. Lorenzer 1973). Für die Neopsychoanalyse sind Konflikte zwischen Intentionen nicht mehr als Folgen der «privaten» Triebstruktur, sondern als Konflikte zwischen Motiven mit einem gesellschaftlichen, kommunikativen Sinn deutbar. (z. B. Horney 1975). Der für das Problem des Erfolgs

bei Sprechhandlungen wichtige Beitrag der Tiefenpsychologie als Ganzes ist aber die Einführung von Qualitätsabstufungen im kommunitkativen Verhalten, die Aufstellung von Kriterien für «bessere» und «schlechtere» Kommunikation als Funktion der Einstellung des Sprechers. Bessere Kommunikation läge demnach etwa dann vor, wenn an Stelle der Verwendung starrer «Klischees» die von frei verfügbaren «Symbolen» tritt oder wenn das «neurotische», auf bestimmte Muster beschränkte Verhalten von einer angstfreieren, kooperativen Einstellung abgelöst wird. Der Erfolg kommunikativen Handelns wird also nicht mehr bloß in der Tatsache gesehen, daß bestimmte Aktivitäten gemeinsam unternommen werden, sondern auch in einer bestimmten Einstellung der Individuen zur Handlung selbst.

Der Forschungsansatz der Neopsychoanalyse mit seiner Betonung der Modifizierbarkeit der psychologischen Grundstruktur durch soziale Erfahrungen mündet in eine psychologische Kommunikationsanalyse, welche nur mehr am «wie» und nicht mehr am «warum» der Kommunikation interessiert ist. Durch die Einführung der Unterscheidung zwischen «Beziehungsaspekt» (das Verhältnis zwischen den Partnern) und «Inhaltsaspekt» bei der Kommunikation bleibt jedoch eine gewisse Bindung zum Gedankengut der Tiefenpsychologie aufrecht. Die aufdeckenden Verfahren der Psychoanalyse als Mittel der Verbesserung der Kommunikation werden durch die «Fähigkeit zur Metakommunikation» (der Kommunikation über die Struktur konkreter Interaktionsprozesse) ersetzt (Watzlawick et al, 1969). Damit bleibt auch bei diesem Ansatz ein subjektives Kriterium des Erfolgs kommunikativen Handelns erhalten. Die Kritik an der Anwendung aufdeckender Verfahren wird auch von Ch. Kursh geteilt, nach deren Auffassung es sinnlos ist, bestimmte Interaktionsstrategien, wie z. B. Lüge und pseudokommunikatives Verhalten (öffentliche Demonstration, daß zwischen den Partnern keine Kommunikation möglich ist) durch wahrheitsgetreue, direkte Aussagen zu ersetzen: die «schlechte» Kommunikation bringt u. U. für all Beteiligten mehr Vorteile als die «gute» Kommunikation. Allerdings gilt dies nur unter gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen: as long as conflicts arise between groups with differing norms and belief systems, and pressure is put on members for blind adherence to these group norms, so long will the pseudocommunicative event flourish.... There is a real basic problem in that the exercise of power is incompatible with good communication but good communication unrelated to any action or exercise of power is useless». (Kursh 1971). Damit wird eine Abstufung der Erfolgskriterien für kommunikatives Handeln nicht aufgegeben, der Schwerpunkt aber auf die gesellschaftlichen Bedingungen der Kommunikation gelegt. In diesem Punkt trifft sich die Position von Kursh mit den historisch-materialistischen Ansätzen in der Kommunikationssoziologie, welche bessere (erfolgreichere) Kommunikation von einer Änderung der gesellschaftlichen Bedingungen abhängig machen. Der «Fundus an Gemeinsamkeiten», der «einen Austausch verstehbarer Information und interpretierbarer Bedeutung gewährleistete», ist nach dieser Auffassung letzten Endes vom gesellschaftlichen Produktionsprozess abhängig (z. B. Holzer 1973). Der Erfolg kommunikativen Handelns, welcher in der Übertragung

von Information zwischen Gesellschaftsmitgliedern gesehen wird, kann also durch die Änderung der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen gesteigert werden.

II. Der Behandlung des Problems des Erfolgs von Sprechhandlungen in der linguistischen Pragmatik selbst ging eine Reihe von Ansätzen in der theoretischen Linguistik voraus. Von diesen möchte ich die Theorien D.N. Uznadzes hervorheben, und zwar deswegen, weil sie versuchen, linguistische und psychologische Erkenntnisse zu verbinden. Uznadze beschäftigt sich insbesondere mit dem «Sprachgefühl», welches Sprechern erlaubt, grammatikalisch richtige Sätze ohne bewußte Kenntnis der Grammatik zu produzieren. Das «Sprachgefühl» entspricht der «Intuition» bei Chomsky. Die psychologische Erklärung für die Tatsache der Verständigung in konkreten Sprechsituationen erblickt Usnadze in der Einstellung (ustanovka) der Sprecher auf ein bestimmtes Sprachsystem (Uznadze 1948). Die Bedeutung seines Beitrages für das hier abgehandelte Problem liegt in seiner Feststellung, daß die Einstellung die «objektive Situation widerspiegelt», daß also die Interaktionssituation bestimmte Einstellungen produziert und damit die Kommunikation steuert. Kriterium des Erfolgs von kommunikativen Handlungen (Sprechhandlungen) ist hier die tatsächlich erzielte Verständigung, also ein durch Steuerungsmechanismen erfüllter kommunikativer Sinn des Sprechens.

Demgegenüber beschäftigte sich die Sprechakttheorie vorwiegend mit der Frage, unter welchen Bedingungen ein Sprechakt gelingt oder «glückt», d. h. wie sich ein Sprecher verhalten muß, damit seine Äußerung als Sprechakt bestimmten Typs anerkannt wird (z. B. Austin 1962, Searle 1969). Mit dieser Fragestellung konnte man zwar ein relativ genaues Interaktionsmodell beschreiben, aber keine Aussage darüber machen, was die Einhaltung oder Nichteinhaltung der angegebenen Bedingungen («happiness conditions», «felicity conditions») für Sprecher und Hörer, für die Gesellschaft als Ganzes bedeuten. In solchen Modellen wird ein allgemein kooperativrationales Verhalten postuliert, Verletzungen des Modells sind demnach «Mißbräuche» kooperativer Maxime (z. B. Grice 1968). Hier geht es um die «Wahrheit» von Sprechakten und nicht um deren soziale Realität.

Diese Realität versucht D. Wunderlich mit seinem Vorschlag zur Bestimmung des Erfolgs von Sprechhandlungen zu erfassen. Wunderlich unterscheidet zwischen dem «Gelingen» als Relation zwischen Äußerungsakt und Sprechakt und dem «Erfolgreichsein» als Prädikat des Sprechakts. Ein Sprechakt innerhalb einer Handlungssequenz «gelingt», wenn der Äußerungsakt gewissen Adäquanzbedingungen (Wunderlich bezieht sich hier auf die von Searle formulierten Bedingungen) genügt. Ein Sprechakt ist erfolgreich, wenn die durch ihn eingeführten Interaktionsbedingungen im weiteren Ablauf der Interaktion erfüllt werden, also wenn z. B. die Aufforderung «gib mir die Schere» tatsächlich zur Übergabe der Schere führt. Wunderlich unterscheidet 3 Grade des Erfolgreichseins: 1) Verstehen: der Adressat erkennt (gemäß der Intention des Sprechers), daß der Sprecher eine bestimmte Einstellung aus-

drückt. 2) Akzeptieren: der Adressat übernimmt (gemäß der Intention des sprechers) eine korrespondierende Einstellung und 3) Erfüllen der Interaktionsbedingung: der Adressat oder der Sprecher selbst erfüllt die eingeführte Interaktionsbedingung (Wunderlich 1976). Dieser Ansatz geht mit seiner sehr eingehenden und sorgfältigen Analyse, welche die Ebenen der Syntax, der Semantik, der institutionellen und situationellen Pragmatik und der Performanz umfaßt, über die modellhafte Betrachtungsweise Austins und Searles weit hinaus. Der entscheidende Fortschritt dieser Betrachtungsweise liegt in der Einbeziehung der Beurteilung der Sprechakte durch die Teilnehmer an Sprechsequenzen selbst. Genau hier muß man ansetszen, um die soziale Realität von Sprechakten zu erfassen.

III. Dadurch aber, daß laut Wunderlich ein Sprechakt zunächst immer relativ zu den Einstellungen des Sprechers und zu den vom Sprecher initiierten Interaktionsbedingungen als erfolgreich oder nicht erfolgreich zu beurteilen ist, gerät sein Ansatz in den Fällen, in denen die Einstellungen und Interaktionsbedingungen nicht bestimmbar sind, in Schwierigkeiten. Wunderlichs Modell orientiert sich an Sprechakttypen, welche eine beobachtbare Veränderung der physischen Welt zum Ziel haben (der Bau eines Hauses, das Übergeben eines Gegenstandes). Es ist aber insbesondere bei Sprechhandlungen, deren Handlungserfolg zunächst in der Erhaltung oder Änderung von Einstellungen liegt, (z. B. bei Gesprächen) im allgemeinen sehr schwierig, Intentionen und Interaktionsbedingungen zu definieren, schon allein deswegen, weil nur ein Teil der relevanten Einstellungen der Kontrolle durch das Bewußtsein unterliegt. Die russische Sprache beschreibt diese Tatsache treffend in der Redewendung «слово что воробей, вылетит—не поймаешь».

Im einzelnen möchte ich 3 Klassen von «unnormalen», aber häufigen Sprechhandlungssequenzen mit unklaren und widersprüchlichen Intentionen diskutieren, welche der Wunderlich'sche Ansatz nicht in den Griff bekommt:

(1) Simultan widersprüchliche Sprechintentionen

Dadurch, daß im Moment der Interaktion nicht alle Intentionen bewußt sind kann es zu vom Sprecher nicht auflösbaren Widersprücher zwischen einzelnen Intentionen (Einstellungen) kommen; der Sprecher «weiß selbst nicht, was er will». Solche Konflikte sind besonders für «neurotische» Persönlichkeiten typisch, wie sie von der Neopsychoanalyse beschrieben werden. Die Interaktionsbedingungen stehen in solchen Fällen natürlich ebenfalls miteinander in Widerspruch. Ein Beispiel dafür wäre etwa ein Mensch, der seine Sprechakte darauf anlegt, seinen «neurotischen» Ehrgeiz nach Vollkommenheit zu befriedigen, zugleich aber die Rolle des Bescheidenen spielt. Die Interaktionsbedingugnen können so je nachdem Schmeichelei oder Herabsetzung sein. Normalerweise wird der Interaktionspartner die Intentionen des Sprechers nicht identifizieren können. Daher wäre bei Anlegung des Wunder-

lich'schen Maßstabes bereits die Erfolgsstufe des Verstehens blockiert. Trotzdem kann es auch zwischen «Neurotikern» zu für beide Teile befriedigenden (also «erfolgreichen») Kommunikationen kommen, wenn die Konstellation günstig ist.

(2) Konsekutiv widersprüchliche Intentionen

Häufig kommt es vor, daß eine Sprechintention im Verlauf der Interaktion durch eine entgegengesetzte Intention abgelöst wird. Wie ist der «Erfolg» des ursprünglichen Sprechaktes einzuschätzen? Dazu ein Beispiel: Ein Professor trägt in seinem Seminar eine Lehrmeinung vor und fordert die anwesenden Studenten zur Kritik aus. Er meint damit: «macht Beiträge, welche die grundsätzliche Richtigkeit der Theorie anerkennen und eventuell unwichtige Aspekte kritisieren». Ein Student folgt diesem code-shifting nicht und kritisiert die Position des Sprechers grundsätzlich. Der Professor akzeptiert schließlich die Kritik und lobt den Studenten, so daß ein für beide Teile befriedigender Erfolg erzielt ist. Der ursprüngliche Sprechakt war also «erfolgreich», obwohl die Interaktionsbedingung nicht erfüllt wurde.

(3) Widersprüchliche, unklare Intentionen auf verschiedenen Interaktionsebenen

Es kann auch zu Widersprüchen zwischen Intentionen auf der Inhalts- und der Beziehungsebene kommen. Ein Beispiel dafür wäre der ernstgemeinte Versuch eines Sprechers, den Hörer zur Übergabe einer Schere zu veranlassen. Der Hörer versteht, übergibt aber die Schere nicht, erfüllt also die Interaktionsbedingung auf der Inhaltsebene nicht. Wird die Beziehung von beiden Partnern allgemein als zufriedenstellend eingeschätzt (was kein bewußter Akt zu sein braucht und die Setzung von Interaktionsbedingungen nicht voraussetzt), ist das Ergebnis der Bitte oft gleichgültig, wird die Interaktion trotzdem als zufriedenstellend empfunden. Umgekehrt wird eine Interaktion häufig nicht als befriedigend empfunden, wenn zwar die bewußte Interaktionsbedingung auf der Inhaltsebene erfüll wurde, die Beziehung zwischen den Partnern jedoch allgemein als unbefriedigend empfunden wird. Diese Beispiele zeigen, daß der Erfolg von Sprechakten nicht unbedingt an der Sprecherintention zu messen ist, obwohl das in den meisten Fällen durchaus sinnvoll ist. Sprecherintentionen sind eben nicht «rein privat», sondern gesellschaftlich vermittelt, sie verfolgen gemeinschaftliche Zwecke. Will man aber an der Sprecherintention als Element der Erfolgsdefinition festhalten, dann würde (zumindest für die besprochenen Interaktionsklassen) eine Präzisierung und Wertung derselben sinnvoll, z. B. die Hervorhebung des Beziehungsaspektes. Die wesentlichste Frage bei der Bestimmung des Erfolgreichseins betrifft aber die beurteilten Instanzen, die Maßstäbe: es ist sicher am sinnvollsten, zunächst nach der Einschätzung der unmittelbar an der In-

teraktion Beteiligten zu fragen. Somit entscheidet sich erst am Ende eines Interaktionsprozesses durch das Urteil von Sprechern und Hörern, ob und inwieweit die einzelnen Sprechakte erfolgreich waren, welchen Stellenwert sie für den gesamten Handlungskomplex hatten. Darüber hinaus kann man annehmen, daß sich diese Einschätzungen am Kommunikativen Sinn der Interaktionen orientieren. Wunderlich richtet sein Erfolgskriterium wie mir scheint, allzu einseitig auf den «Sieg des Sprechers» aus: wird den im Sprechakt formulierten Interaktionsbedingungen Folge geleistet, so liegt das höchstmögliche Maß an Erfolg vor. Demgegen über meine ich, daß der Sinn gesellschaftlichen Handelns von der Ebene aller handelnder Personen und darüber hinaus auch aller potentieller Teilnehmer, also der kulturellen Gemeinschaft beurteilt werden muß. Die Frage nach dem Erfolg von Sprechakten verlagert sich dann auf die des kommunikativen Sinnes von Sprechhandlungssequenzen. Von dieser Analyseebene aus kann man nach Interaktionsbedingungen und Intentionen rückfragen. Es wäre daher zweckmäßig, noch eine weitere Analyseebene einzuführen, nämlich die des «gesellschaftlichen Sinnes» von Interaktionen.

Allgemein gibt es in allen Gesellschaften ein Interesse an der Herstellung und Aufrechterhaltung von Kommunikation zwischen Gesellschaftsmitgliedern, wobei festgelegt ist, welche Gruppen mit welchen über was kommunizieren sollen. Zur Absicherung dieses Grunderfordernisses der Existenz menschlicher Gemeinschaften werden Konventionen entwickelt, welche dem Schutz dieses Kommunikationsinteresses dienen. Durch diese Konventionen werden (grundsätzlich durch alle institutionelle und situationelle Kontexte geltende) allgemeine Obligationen für Sprecher und Hörer aufgestellt. Z. B. gibt es Konventionen, welche die Aufmerksamkeit steuern: ain Verstoß dagegen, etwa Unaufmerksamkeit oder Abweichen vom Thema, kann mit Sanktionen belegt werden («wieso paßt Du nicht auf?», «das gehört nicht hierher»). Bestimmte Konventionen schützen die Sprache als Kommunikationsmittel: normalerweise soll im Vertrauen auf den Wortlaut, auf das sprachliche Symbol als genaue Abbildung objektiver Realität kommuniziert werden. Diese Konvention kommt in Wendungen wie: russ. «на хорошем русском», ung. «jó magyarsàggal», entsprechend «auf gut Deutsch» (d. h. der Hörer muß dann verstehen) zum Ausdruck. Der problematische Charakter der Alltagserfahrung, wozu auch die Sprache gehört, soll nicht — zumindest nicht im Moment der Kommunikation-bewußt werden. (Für die Kritik an der Umgangssprache, wie sie z. B. von den Ethnomethodologen betrieben wird, gilt dasselbe bezüglich ihrer metasprachlichen Aussagen.) Schließlich gibt es Konventionen, welche die «öffentliche» von der «privaten» Sphäre der Geselleschaftsmitglieder trennen, also die «Freiheit» des Individuums schützen. Hier gibt es natürlich zwischen den einzelnen Kulturen (und auch Gruppen innerhalb dieser) die größten Unterschiede. Dies zeigt schon ein Vergleich der ethymologischen Bedeutung der Bezeichnungen für Offentlichkeit (z. B. ung. nyilvánosság von nyilni, russ. гласность von гласить ähnlich serbokroatisch javnost von javiti, tschechisch aber veřejnost' von veřej) Angriffe auf diesen Freiheitsraum können sanktioniert werden. Das kommt in Redewedungen

zum Ausdruck, die es in allen Sprachen gibt, z. B. russ. «не лезь в душу», tschechisch «otevřiti své ledví, ung. «kar hogy a sziven ablak nincs», etc. Meine These ist nun, daβ solche Konventionen die allgemeinen gesellschaftlichen Bedingungen des Erfolgs von Sprechhandlungen (Interaktionen) darstellen. Werden die Bedingungen erfüllt, dann ist die Interaktion in Bezug auf die grundlegenden Kommunikationsnormen einer Gesellschaft erfolgreich. Man kann annehmen, daβ sich auch der Erfolg oder Miβerfolg auf den Verschiedenen institutionellen Ebenen im Bewuβtsein der Interaktionspartner äuβert und die Beurteilung der Interaktion beeinfluβt. Dadurch, daβ in bestimmten Kontexten und Institutionen von vornherein nur bestimmte Intentionen zugelassen sind, besteht auch eine Beziehung zwischen dem Kommunikativen Sinn («Kollektive Rationalität») von Sprechhandlungssequenzen und den Sprechintentionen (bzw. eingeführten Interaktionsbedingungen). Bei Verletzungen der Konventionen bewirken gesellschaftliche Mechanismen, daβ die betreffenden Interaktionen von den Beteiligten hinterher als nicht befriedigend («nicht erfolgreich») beurteilt werden. Ein wichtiger Mechanismus zur Sicherung des kollektiven Sinnes ist die Angst vor dem Kommunikationsabbruch. Die daraus entstehenden Konventionen zum Schutz der Aufrechterhaltung der Kommunikation führen dazu, daβ sich die Gesellschaftsmitglieder Kommunikationsmöglichkeiten offenhalten, sich am Beginn der Interaktion abwartend verhalten; sie erlauben es, sich aus «problematischen» Kontexten zurückzuziehen und Intentionskonflikte der besprochenen Art aufzulösen. Obwohl in solchen Fällen die Kommunikation «schlecht» sein mag (verschleierte Intentionen, mehrdeutige, widerspruchsvolle Aussagen und Interaktionsbedingungen; Interaktionsbedingungen werden nicht erfüllt), wird sie von den Teilnehmern als «erfolgreich» bewertet werden, wenn der grundlegende kommunikative Sinn erfüllt ist. Dieser wichtige Aspekt des Erfolges von Sprechakten wird, so meine ich, im Ansatz Wunderlichs nicht berücksichtigt.

Aus der Sicht der linguistischen Pragmatik oder der Sprechakttheorie ist es gerechtfertigt, vom Sprecher in einer bestimmten Interaktionssituation auszugehen. Eine Berücksichtigung der Diskussion in den übrigen Sozialwissenschaften, insbesondere des Problems der kollektiven Rationalität und ihres Verhältnisses zu den Intentionen und Motiven der Individuen zeigt sich die Grenze dieses Ansatzes. Ich bin mir dessen bewuβt, daβ die hier vertretene interdisziplinäre Betrachtungsweise den Rahmen der linguistischen Pragmatik wahrscheinlich sprengt. Trotzdem glaube ich, daβ Kritik und Anregung «von auβen» legitim und notwendig ist.

LITERATUR

AUST N, JOHN L, How to do Things With Words, Oxford, University Press, 1962.

CHOMSKY, NOAM, Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass. M:T Press, 1965.

CICOUREL, ARON, Basisregeln und normative Regeln im Prozeβ des Aushandelns von Status und Ro le, in Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit, Bd. 1, Reinbek Rowohlt, 1973.

GRICE, PAUL H, Logic and Conversation, Lecture Notes, Harvard University, 1968.

HOLZER, HORST, Kommunikationssoziologie, Reinbek, Rowohlt, 1973.
HORNEY, KAREN, Neurose und menschliches Wachstum, München, Kindler, 1975
KURSH, OLMSTED CHARLOTTE, The Benefits of Poor Communication, The Psychoanalytic Review, Summer/fall, 1971
LORENZER, ALFRED, Sprachzerstörung und Rekonstruktion, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1973.
MEAD, HERBERT GEORGE, Selected Writings, Indianapolis, Bobbs Merrill, 1964.
RAPOPORT, ANATOL, Fights, Games and Debates, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 5th printing, 1974
SEARLE, JOHN R., Speech Acts, Cambridge, University Press, 1969
UZNADZE, D. N. Vnutrennaja forma jazyka, in Psichologija, t. 5, Tbilisi, 1948
WALLACE, ANTHONY F. C., Die psychische Einheit menschlicher Gruppen, in Alltagswissen, Interaktion und gesellschaftliche Wirklichkeit, Bd. 1
PAUL WATZLAWICK, BEAVIN JANET H. JACKSON DON D., Menschliche Kommunikation, Bern-Stuttgart, Huber, 1969
WUNDERLICH, DIETER, Studien zur Sprechakttheorie, Frankfurt/Main, Suhrkamp, 1976

163

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В СТРАТЕГИИ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

Н. В. ИМЕДАДЗЕ

Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси

Изучение психологических закономерностей речевой деятельности принципиально невозможно ограничить рассмотрением данных в сознании феноменов и анализом продуктов этой деятельности — текстов.

Исследователь с самого начала наталкивается на необходимость допущения нескольких уровней при рассмотрении механизмов, регулирующих процессы говорения и слушания, выполняющих функции селекции, сличения, интегрирования, прогнозирования и т. п.

Широко известен в советской психолингвистике подход А. А. Леонтьева, допускающего четыре возможных уровня «осознаваемости» речи [1, 11—12]. Первый из них — актуальное сознавание, возможное, исходя из известных положений А. Н. Леонтьева [2], в том случае, если речь занимает «структурное место непосредственной цели действия» и таким образом «вступает в соответствующие отношения к мотиву деятельности субъекта». Второй уровень — сознательного контроля, на котором «мы имеем дело с сознательными операциями, т. е. способами действия, которые сформировались путем превращения в них прежде сознательного целенаправленного действия». В качестве примера сознательного контроля А. А. Леонтьев приводит деятельность корректора. Следующим уровнем он считает уровень бессознательного контроля, при котором мы имеем дело «с неосознаваемыми контрольными механизмами, ограничивающими свободу звуковой реализации речи». Примером может служить употребление грамматики, словаря, фонематических средств, которые могут выбираться и сознательно, но только в исключительных случаях. Обычно это — операции, «возникшие путем практического прилаживания действия к предметным условиям или путем простейшего подражания» [2, 267]. Последний уровень для А. А. Леонтьева — уровень неосознанности, в качестве примера которого он приводит звуковое осуществление речи—фонацию. Последний уровень полагает, очевидно, принципиальную невозможность осознания протекающего процесса.

Нам представляется, что по отношению к приведенной схеме можно высказать несколько замечаний. Во-первых, понятие «сознательного контроля» требует раскрытия. Пример, приведенный автором, по нашему мнению, неудачен. Деятельность корректора имеет своей непосредственной целью именно нахождение и исправление ошибок в «плане выражения» и, соответственно, именно форма текста является предметом актуального сознания. То, что ошибка, пока она не замечена, не может быть презентирована в сознании и является т. н. «динамическим моментом» внимания, не меняет общей направленности

сознания ча форму высказывания. (Динамика уровней сознания в процессе корректорской работы гораздо более эффективно может быть проанализирована, исходя из концептуального аппарата теории установки — см. работу Ж. И. Непаридзе [6]).

Если приведенный А. А. Леонтьевым пример мы сочтем за пример высшего, первого, уровня осознанности, то необходимость выделения второго уровня — сознательного контроля — вообще оказывается под сомнением. Что означает сознательная операция в речи? Сознательный выбор средств выражения, стилистических, лексических и т. д.? Конечно нет, потому что в этом случае форма реализации речевого действия должна стать целью деятельности и речь опять окажется на высшем уровне осознанности. Практически использование речевых операций идет на уровне «бессознательного контроля», но в нем, в зависимости от генезиса, можно различить операции, спущенные с высшего уровня, в данный момент не являющиеся сознательными, автоматизированные, хотя могущие по необходимости снова стать осознанными, и операции, выработанные путем «практического прилаживания», осознание которых обычно происходит в процессе школьного обучения родному языку, хотя частично они могут осознаваться и спонтанно (самостоятельное обращение дошкольников к осознанию форм речи подтверждается многими исследователями, например, А. К. Марковой [4]).

Мы совершенно согласны с А. А. Леонтьевым, что именно путем бессознательного контроля происходит реализация грамматических и лексических средств спонтанной речи и что в данном случае в качестве предмета актуального осознания выступает цель высказывания. Однако феноменологически этот уровень, несмотря на различный генезис, может быть совершенно идентичным с тем, что подразумевается в т. н. «сознательном контроле».

Последний уровень, названный А. А. Леонтьевым неосознаваемым, несомненно, необходим в анализе речевого механизма, но к этому ряду в одинаковой степени относятся как физиологические, так и собственно психологические механизмы.

Высказанные замечания позволяют нам предположить, что все рассматриваемые явления, связанные с речевой деятельностью, могут более последовательно уложиться в двухуровневую схему, а именно, возможно допустить: (а) уровень актуально презентированных в сознании, т. е. «вырванных из цепи актов поведения и обращенных в обьект, имеющий самостоятельное существование» [9, 254—255] языковых форм и отношений. Последними могут стать в специальных условиях обучения, как показало исследование А. К. Марковой, отношения «форма—значение» и «функция—форма». В повседневном протекании речи объективировано смысловое содержание высказывания; (б) уровень установочно регулируемой речевой активности: селекция, интеграция, актуализация лексических, фонетических, грамматических средств, более или менее адекватно реализующих речевую интенцию — форма высказывания, — в обычном акте спонтанной речи не осознается. Понятие бессознательного контроля, предложенное Леонтьевым, не дает позитивной характеристики этого регулирующего механизма. Понятие языковой установки, введенное Д. Н. Узнадзе в 1947 году как определенного целостного состояния, предваряющего начало речи и актуализирующего средства, необходимые для речи на определенном языке, представляет собой механизм, выполняющий функции контроля: целесообразной селекции, интеграции и т. п. Установочно функционирующая форма речи в определенных условиях может стать предметом

осознания и произвольного регулирования. Сам же механизм регулирования — языковая установка, исходя из определений, данных ее автором, принципиально неосознаваем (а не «неосознан» как у А. А. Леонтьева). Естественно возникает вопрос, необходимо ли выделение дополнительного уровня психической активности для дифференциации вышеуказанных фактов: регулируемых языковых форм и самого механизма регуляции? В психологической литературе достаточно часто, как указывает Ш. Н. Чхартишвили, к одному уровню приписываются такие группы факторов, как, например, диспозиции, «бессознательное статической природы», «динамические бессознательные процессы», ответственные за целесообразную регуляцию психических процессов, и проявления постгипнотического внушения и других психических фактов, временно выпавших из поля сознания, в любой момент могущих снова стать предметом осознания [11, 158]. Исходя из такого допущения, принципиально возможно и механизм речевой деятельности и то, что им регулируется, рассматривать на одном уровне психической активности.

Глобальная характеристика онтической природы речевых механизмов, речевых действий и операций, т. е. функционирования языка не исключает необходимости раскрытия конкретного психологического содержания указанных механизмов и операций. Последние годы развития психолингвистики ознаменовались выдвижением продуктивных гипотез относительно глубинных механизмов речи и новых подходов к их верификации.

Такого же систематического анализа, как уровневого, онтического, так и пооперационного требует рассмотрение процесса овладения языком. Наглядная эмпирическая данность двух основных возможных путей овладения языком — сознательного и интуитивного (последнее — при овладении родным языком или стихийно — вторым), ставшая основой традиционной дихотомии методов — переводно-грамматического и прямого, еще не является решением проблемы уровня психической активности, ответственной за овладение языком, а лишь констатацией факта.

Термины, с разных аспектов характеризующие процесс овладения родным языком: латентный — со стороны мотивационной основы (подразумевающий несовпадение мотива и результата этой активности), непроизвольный — со стороны мнемической, бессознательный — со стороны уровневой — в конечном счете описывают одну и ту же особенность этого процесса. Парадоксальность этого процесса заключается в том, что ребенок 2—4 лет овладевает сложнейшим продуктом духовного развития человека — языком, его структурой, несмотря на низкий уровень развития интеллекта, несмотря на нерелевантность результата — усвоения структуры процесса удовлетворения какой-либо актуальной потребности ребенка: витальной, функциональной тенденции или даже потребности общения. Как можно убедиться, грамматически неправильно построенная фраза ребенка часто подкрепляется взрослым больше, чем грамматически адекватная, но выражающая, например, неприемлемое желание[1]. Парадоксальность заключается и в, так сказать, двусторонней непроизвольности этого процесса: взрослые, общающиеся с ребенком, также не ставят целью обучение структуре языка, руководствуясь требованиями регуляции поведения ребенка, направления и

[1] Браун и Хенлон [1] приводят многочисленные примеры, когда родители подтверждают грамматически неправильные предложения: «Мама не мальчик, он девочка! — Правильно» и т. п.

оценки его. «Заботьтесь о функции, форма сама позаботится о себе!» — перефразировал гарвардский психолог С. Кэзден известное выражение графини из знаменитой «Алисы в стране чудес» [13, 199].

Сказать, что ребенок непроизвольно заучил языковые формы, недостаточно, ибо он владеет не только конкретными формами, но и «общественными правилами их употребления», которые должны быть сначала извлечены, индуцированы и только затем сохранены; сказать, что он научается языку латентно, значит дать негативную характеристику, латентность означает нерелевантную результату мотивацию, но какую? Сказать, что ребенок овладевает языком бессознательно, значит ничего не сказать, а только наметить проблему!

Полагаем, что исходное понятие должно: (1) дать принципиальную возможность рассмотрения всех указанных аспектов овладения языком; (2) соответствовать конкретным закономерностям овладения языком, установленным на современном этапе развития генетической психолингвистики.

Что представляет собой овладение языком с точки зрения результата? Превращение языковой системы, обладающей объективными закономерностями, в достояние субъекта — переход объективных языковых закономерностей в субъект.

В чем специфика этого перехода? По нашему мнению, можно назвать несколько моментов:

1. Быстрота и легкость овладения сложнейшими языковыми структурами, указывающая на исключительную экономность механизма переработки входных языковых данных и заставляющая одну часть исследователей детской речи полагать «применение абстрактных правил, сводящих бесконечное множество поверхностных структур к ограниченному числу глубинных, которые ребенок открывает посредством врожденной когнитивной способности» [17], другую часть исследователей — подчеркивать выраженный эвристический характер этой переработки. Солидаризуясь с этой последней позицией, мы должны охарактеризовать природу овладения языком как интуитивную. С одной стороны, «эвристическая природа интуиции бесспорна» [12, 400], с другой стороны, невозможность эксплицитной формулировки правил и практическое подчинение им указывает на формирование т. н. «чувства языка», «чувства грамматичности» [7], то, что С. Эрвин-Трипп остроумно определила: «ребенок научается вести себя так, как будто он знает эти правила». Это, по мнению Слобина, означает, что «поведение говорящего можно описать в терминах системы правил... но вовсе не доказывает... что изобретенные учеными правила р е а л ь н о с у щ е с т в у ю т в с о з н а н и и и н д и в и д а» [7, 106]. Это положение не мешает Слобину утверждать, что «дети развивают, уточняют, проверяют систему грамматических правил до тех пор, пока она не совпадет с языковой способностью взрослых». В этом один из парадоксов современной генетической психолингвистики: признается, что ребенок развивает, уточняет и применяет в каждом акте речи то, чье «реальное существование в сознании» отрицается. Очевидно, должна быть возможна форма существования этих «правил», их развития и уточнения вне сознания, которая сможет дать обоснование для понимания конкретных путей стратегии эвристического поиска по извлечению этих правил.

2. Вторым моментом, указывающим на закономерность формирования этой «системы правил», является единообразие овладения языком детьми, принадлежащими к разным культурам. Языковый вход для ребенка, овладевающего родным языком (или стихийно вторым), не

может быть единообразным — т. н. «первичные языковые данные» [18], вносимые взрослым, не учитывают никакой грамматической последовательности и градуирования, и, тем не менее, грамматизация речи носит признаки определенной последовательности. Именно это обстоятельство и невозможность объяснить его с позиций традиционной теории научения заставило Н. Хомского допустить врожденность языковых универсалий[2].

Хебб сделал попытку свести указанное единообразие к универсальности, униформности раннего сенсомоторного и социального опыта ребенка [15].

Не ставя проблемы последовательности грамматизации речи ребенка, процесс овладения «системой правил» интерпретирует с позиций теории установки Н. В. Чрелашвили: «Порядок явлений, который создается в двучленной структуре (ребенок—взрослый), меняется по отношению к ребенку, что, в свою очередь, не оставляет его неизменным. Поскольку закономерность изменения явлений ложится в основу реализации обстоятельств, имеющих для ребенка новый смысл, именно эта установочно отраженная закономерность определяет специфичность и упорядоченность употребления ребенком различных форм слов в различных конкретных ситуациях... Из процесса реальных взаимоотношений в каждом отдельном случае в установке ребенка отражается тождественность порядка явлений, отсюда понятно, что те формы слов (как вербального момента ситуации), которые являются основополагающими для определенного порядка явлений, отражаются в установке ребенка как имеющие одинаковую функциональную значимость, обусловливают однородную установку...». Это дает автору возможность заключить, что «установка является тем механизмом, который может реализовать языковую закономерность в речи ребенка без обращения к понятию «осмысления принципа языка» [10, 147].

Это обоснованное фактическим материалом применение принципов теории установки к процессу грамматизации речи ребенка указывает на движущий фактор развития речи — усложнение взаимодействия со средой, ставящее новые коммуникативные задачи, требующие новых адекватных средств их обозначения. Основные языковые структуры формируются в активной деятельности ребенка в доречевых актах, в которых «младенец отражает основные реальные отношения действительности» [3].

Однако особенности взаимоотношения ребенка со средой, отражения в его практической активности реальных отношений, могут только частично определять последовательность появления грамматических форм. Момент «психолингвистической трудности» [20] формальных средств усвояемого языка также должен интерпретироваться объяснительным понятием. Установка как «принцип связи» в той же мере, как она делает понятным факт «синтеза синтезов», факт возникновения внешних форм на основании «внутренней формы» [8], является фактором, который, «будучи чуждым для языка, в то же время может определить его внешние формы» [8, 145].

Известное положение Д. Н. Узнадзе, что «процесс усвоения язы-

---

[2] «Как может быть униформно усвоен принцип всеми говорящими? — пишет Н. Хомский. — Наиболее разумно будет заключить, что этому принципу вообще не научаются, а что он является просто частью того концептуального оснащения, которое учащийся вносит в задачу овладения языком» [14]. Последовательная критика нативизма Хомского с позиций советской психологии дана А. Р. Лурия [3].

ка — процесс преобразования самого субъекта как целого: свою реализацию он находит в уточнении языковой установки субъекта» [8, 440], т. е. в дифференциации установки, подразумевает все более адекватное отражение языковых отношений, обозначающих реальные предметные отношения. Признак диффузности-дифференцированности, являясь одним из «важнейших квалитативных свойств установки, посредством которого определяется уровень ее внутренней определенности, характеризует ее содержательную сторону» [5, 123]. Поэтому дифференциация установки определяет общий рост уровня переработки поступающей лингвистической информации. Установка лежит в основе той конкретной стратегии, к которой обращается ребенок, отбирая агенты, действующие на него [9, 100], фильтруя входящие лингвистические данные. Именно эта стратегия и является конкретным содержанием дифференциации языковой установки. В современной генетической психолингвистике существуют разнообразные данные об этой стратегии. У М. Брейна это — контекстуальная генерализация, у Макнила — порождающая. Наиболее приемлема для наших позиций идея оперативных принципов Д. Слобина [20]. Оперативный принцип Слобина — это эвристический прием, используемый ребенком для организации языкового входа, «самоинструкция» для овладевающего языком, ведущая к выработке стратегии продукции и понимания речи и «конструированию системы лингвистических правил». Вот несколько примеров:

Принцип А: «Обращай внимание на конец слов!» Универсальная закономерность, которая вытекает из него: «Для каждого данного семантического отношения грамматические реализации в форме суффиксов и постпозиций усваиваются раньше, чем реализация в форме препозиций»; или Принцип F: «Избегай исключений!» с вытекающей из него универсалией: «Общие правила усваиваются раньше, чем частные».

Сформулированные таким образом принципы можно представить себе как конкретное психологическое содержание той интуитивной активности, результатом которой является извлечение «правил» и построение языковой системы каждым ребенком, овладевающим языком, «исходной психологической инстанцией которой можно считать установку» [12].

Возникает вопрос, сохраняется ли хотя бы частично способность указанной интуитивной активности и после того, как она реализуется в форме овладения родным языком? Но даже если она частично потеряна, путь, диктуемый ею—один из наиболее экономных и рациональных; наиболее согласованный с внутренней логикой усвояемой системы. Поэтому изучение закономерностей указанной спонтанной интуитивной стратегии актуально не только с теоретической, но и с практической точки зрения для усовершенствования методов обучения второму языку.

Существует соображение [16], что, независимо от того, каким рафинированным и градуированным будет вводимый учащемуся материал второго языка, учащийся все-таки обращается к стратегии, сходной с той, которую он применял, овладевая родным, для того, чтобы «абстрагировать» лежащую в основе языка структуру, т. е. способность применения спонтанной переработки входных данных полностью сохранена. Указанное соображение Г. Кеннеди не обосновано конкретными фактами, хотя и содержит весьма ценное для нас методическое указание относительно роли ошибок для анализа фактов, могущих верифицировать это положение. Они должны быть рассмотрены не как оговор-

ки, а как показатель «проверки выдвигаемых гипотез» и редукции избыточной информации.

Мы полагаем, что проблема стратегии, к которой обращается индивид, изучающий второй язык, может быть решена только на основе фактических данных, в которых полный контроль над речевым входом и выходом и их сравнение даст возможность получить представление относительно «промежуточных переменных», в данном случае — стратегии переработки входных данных. Такой материал частично получен нами в условиях эксперимента, проводимого над 6—7-летними детьми, обучаемыми второму (русскому) языку в «неучебном поведении».

Имея на входе неградуированные и недозированные (с точки зрения грамматики) речевые действия преподавателей, обслуживающие естественное общение с детьми и направленные на регуляцию таких же естественных форм поведения детей, мы не можем не приписать последовательности форм, получаемых на выходе — в речевой продукции детей — фактору вышеуказанной стратегии.

Первые продуктивные формы, полученные в первые недели обучения, это — т. н. «адаптации» — приспособление слов родного языка к внешней форме второго, например, «я — пирвела» (от грузинского «пирвели» — первый), «вот шубл» (от грузинского «шубли» — лоб), свидетельствуют о первичном постижении некого общего признака русского языка (в данном случае отсутствия обязательного для грузинского существительного окончания «и»). Именно здесь языковая установка проявляется «как специфическое целостное отражение, некий голотаксический процесс, в котором субъект впервые входит в соприкосновение с объектом» [8, 433].

Можно полагать, что овладение языком является одной из сфер, в которой особенно наглядно проявляется основной путь установочного отражения от диффузного к дифференцированному.

Анализ генезиса продуктивных форм неизбежно подводит к фактам т. н. сверхгенерализации или образования по аналогии, фактам, отмечаемым большинством исследователей детской речи. Они могут быть рассмотрены в терминах уже упомянутого принципа: «Избегай исключений!», эвристического приема, согласно которому ребенок выделяет общие правила образования форм и переносит их на все значения данной категории, например говорит: «вижу зайчику!», «ем ложком».

Чем ценны для нас приведенные факты, в чем эвристичность поиска адекватных форм? Во-первых, образования по аналогии доказывают, что форма создана ребенком самостоятельно, а не в результате подражания—никто никогда не говорит ему «ешь ложком». Во-вторых, это — не просто генерализация первой случайно усвоенной формы, а практическое выделение наиболее регулярных форм. Загадочность этого феномена в том, что он вытесняет ранние нормативные формы, например, по данным Слобина, сначала появляется «went», затем образованная по аналогии с правильными глаголами «goed», разумеется, никем не подкрепляемая. Аналогично в наших наблюдениях сначала зафиксированы «вижу мячик», а затем «вижу мячику».

Таким образом, общее направление стратегии усвоения языка ребенком — ее эвристичность, «стремление обнаружить и создать упорядоченность в своем языке» [7] — наблюдается и в процессе овладения вторым языком в наших экспериментальных условиях, хотя можно обнаружить и некоторые ее модификации.

Анализ богатого материала спонтанной речи детей на втором язы-

ке, стимулируемой условиями экспериментального обучения, показывает значительные отклонения от нормативных форм и позволяет дифференцировать ошибки, допускаемые детьми, на две большие категории: (1) ошибки, явно являющиеся результатом интерферирующего влияния родного языка, и (2) ошибки, аналогичные допускаемым в процессе овладения родной речью, т. н. «ошибки развития». Именно эти последние могут быть признаны за доказательство наличия поисковой стратегии.

Наши данные, а также данные, проанализированные норвежским лингвистом Р. Рэвемом [19] на материале генезиса негативных и вопросительных конструкций английского языка, усвоенного шестилетним норвежцем в условиях «свободного, самокоррегируемого обучения», свидетельствуют в пользу допущения частичной сохранности способности применения спонтанной стратегии индуцирования грамматической структуры усвояемого языка на бессознательном уровне. И если, как мы пытались доказать выше, в основе этой стратегии лежат закономерности установки, то задачей обучения в нашем эксперименте является создание комплекса условий, с одной стороны—потребностно-мотивационных, с другой стороны — объективно-ситуативных, могущих обеспечить выработку соответствующей языковой установки.

THE UNCONSCIOUS IN THE STRATEGY OF LANGUAGE ACQUISITION

N. V. IMEDADZE

The D. N. Uznadze Institute ot Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

S U M M A R Y

Psychological examination of verbal activity calls for an ontic analysis, at various levels, of the processes involved. The present study is an attempt to reduce the multiple levels suggested by other researchers to two: that of set and of objectification. However, reduction of the general mechanism responsible for the regulation (organization, selection, integration, etc.) of language means (language set) on the one hand, and what they regulate, i. e., language forms functioning through set to implement the verbal intention on the other, may seem somewhat artificial.

A similar analysis of the process of language acquisition reveals the paradoxal fact of the child deriving a system of grammar rules from an unordered verbal input, which he «develops, specifies and verifies» in the process of language acquisition, these rules being actually absent in the child's consciousness. Language set is proposed as an explanatory concept, its differentiation making for an increasingly adequate reflection of objective relations designated by a language. Set constitutes the basis of heuristic intuitive activity the specific content of which can be described in terms of strategy of «operative principles of verbal input processing».

Evidence on an experimental teaching of a second language involving 6-7 year-old children permits the differentiation of the child's spontaneous speech into (a) those due to native language interference and (b) those of heuristic

nature, pointing to a partial preservation (with some modifications) of a strategy analogous to that used by the child in learning its mother tongue.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЛЕОНТЬЕВ А. А., Некоторые проблемы обучения русскому языку как иностранному, М., 1970.
2. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., Деятельность. Сознание. Личность, М., 1975.
3. ЛУРИЯ А. Р., Научные горизонты и философские тупики в современной лингвистике, Вопросы философии, № 4, 1975.
4. МАРКОВА А. К., Психология усвоения языка как средства общения, М., 1974.
5. НАДИРАШВИЛИ Ш. А., Понятие установки в общей и социальной психологии, Тб., 1974.
6. НЕПАРИДЗЕ Ж. И., К проблеме о взаимоотношении внимания и установки, Тб., 1970 (на груз. яз.).
7. СЛОБИН Д., ГРИН Дж., Психолингвистика, М., 1976.
8. УЗНАДЗЕ Д. Н., Внутренняя форма языка. Психологические исследования, М., 1966.
9. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки. Психологические исследования, М., 1966.
10. ЧРЕЛАШВИЛИ Н. В., Психологическая природа возникновения речи в онтогенезе, Тб., 1965 (на груз. яз.).
11. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Установка и сознание, Тб., 1975 (на груз. яз.).
12. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, т. 2, Тб., 1973.
13. CASDEN, C., Two Paradoxes in the Acquisition of Language Structure and Functions, «The Growth of Competence» ed. by Connoly and Bruner, London, 1974.
14. CHOMSKY, N., The Formal Nature of Language. Appendix in Lenneberg's Biological Foundation of Language, 1967.
15. HEBB, D., LAMBERT, W., Language Thought, Experience. Modern Lang. Journ., 1971, №4.
16. KENNEDY, G., Conditions for Language Learning. In «Focus on the Learner», ed. by J. Oller and I. Richards, Newbury, 1973.
17. McNEIL, D., The Creation of Language. In «Language», ed. by Oldfild and Marshall, London, 1971.
18. McNEIL, D., Developmental Psycholinguistics. In «Genesis of Language», ed. by Smith and Miller, 1966.
19. RAVEM, R., Language Acquisition in a Second Language Environment. In «Focus on the Learner», ed. by Oller and Richards, 1973.
20. SLOBIN, D., Cognitive Prerequisites for the Development of Grammar, Berkeley, 1973.

164

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ В ЕСТЕСТВЕННЫХ И В УЧЕБНЫХ УСЛОВИЯХ ОВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ

И. Г. ВАСИЛЬЕВА

НИИ национальных школ Министерства просвещения РСФСР, Москва

При овладении языком в естественных условиях развивается способность индивида к порождению речи на уровне всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения, письма. Овладение языком основывается на врожденной способности к расчленению (дискретизации) среды. Как только у индивида появляется потребность отнестись к чему-то для того, чтобы продолжить деятельность, он переключается на режим объективации, расчленяя среду и называя вычленяемые объекты. Представители психологической школы Д. Н. Узнадзе [3; 4; 5; 6; 7] говорят о том, что субъект обращается к объективации, когда «какое-нибудь значительное препятствие закрывает ему путь к дальнейшей деятельности», при объективации он переносит «активность своего поведения в область теории — он обращается к мышлению с тем, чтобы разрешить возникшую перед ним проблему» [3, 272].

По мере развития индивида растет его речевая способность. Хотя люди одной национальности пользуются одним и тем же языком, речевая способность их различна. Как нет двух людей с одинаково развитой речевой способностью, так и в самом языке нет явления, тождественного для двух индивидов—носителей данного языка. Значения, приписываемые любой языковой единице различными людьми или даже одним и тем же человеком в разные временные отрезки, не могут быть тождественны. Именно это обстоятельство является причиной того, что язык удовлетворяет всех членов общества и служит стимулом для своего собственного дальнейшего развития.

Речевая способность человека — это его деятельность, а смысл всей деятельности человека — в познании объективной истины. В процессе жизни человека изменяются и совершенствуются его представления об окружающем мире и, соответственно, изменяется его речь. Мышление — диалектический процесс познания — необходимо предполагает единство противоположностей, о котором В. И. Ленин говорит: «Мы не можем представить, выразить, смерить, изобразить движения, не прервав непрерывного, не опростив, огрубив, не разделив, не омертвив живого. Изображение движения мыслью есть всегда огрубление, омертвение» [1, 233]. То же происходит в речевой деятельности. Поэтому любая попытка объяснить слово лишь грубо приблизительна. Конечно, у любой из единиц языка есть общее значение, позволяющее ей выполнять коммуникативные функции. И вместе с тем в процессе порождения речи в каждый следующий момент слова имеют уже новые значения, которые не могут быть изучены и описаны до конца.

Определенные наблюдения над развитием речевой способности

мы можем сделать, изучая, как развиваются значения слов у ребенка. Междометия, вокативы и императивы у ребенка полутора-двух лет универсальны, т. е. выполняют те же функции, что и развернутые высказывания у взрослого человека. Слова ребенка двух-трех лет крайне полисемичны с точки зрения взрослого. В качестве примера приведем употребление слов «плохой» — «хороший». «Плохая сказка» — страшная сказка; «плохая песня» — громкая песня, разбудившая ребенка; «плохая собака» — злая собака, испугавшая лаем ребенка; «плохая мама» — мама, которая не разрешает ходить по лужам; «плохие туфельки» — тесная или грубая обувь; «плохой мальчик» — жадный мальчик, не дающий свои игрушки. То же и со словами «хороший»: «мама хорошая» — мама купила новые игрушки; «хороший цветок» — ароматный цветок; «хороший мальчик» — озорник-сосед, рассмешивший ребенка; «хорошая сказка» — интересная сказка; «хорошая картинка» — яркая картинка и т. д. Нередки случаи, когда вместо этих слов во всех значениях отрицательной модальности употребляется слово «злой», а во всех значениях положительной модальности — слово «добрый», «красивый»: «это красивая тетя» — о женщине, накормившей голодного котенка; «злой дядя» — о мужчине, не уступившем место в трамвае; «мама, накрась губки и станешь добрая» — вместо красивая. Кстати говоря, склонность отождествлять категории одной модальности остается надолго: у младших школьников их учительница всегда самая красивая, плохие люди всегда некрасивы и т. п. Ребенок шести-семи лет уже не скажет «плохой цветок» вместе «колючий цветок», «плохая собака» вместо «злая собака», «плохое молоко» вместо «горячее молоко», «плохая котлета» вместо «пересоленная котлета». Вместе с тем слова «хороший» и «плохой» могут употребляться и взрослым для характеристики любой положительной или любой отрицательной модальности, например: «хороший человек» вместо «щедрый», «приветливый», «честный», «непримиримый»; «плохая погода» вместо «дождливая», «холодная», «непостоянная» и т. д. Наряду с этим человек по мере развития своей речевой способности получает возможность характеризовать словами любой детерминированный оттенок модальности.

При овладении языком в естественных условиях, — неважно, идет ли речь о родном или о втором языке, — становление речевой способности происходит в определенной иерархии: от интонационного уровня к синтаксическому, затем к лексическому и далее к фонетическому. Участие в речевой деятельности начинается тогда, когда ребенок слышит обращенную к нему речь. В этом плане интересны наблюдения над ребенком четырехмесячного возраста, который переставал плакать и гулить, слушая сказки, рассказываемые матерью. Следует отметить, что мать максимально повышала членораздельность своей речи: замедленный темп, гиперинтонирование. Из речи взрослых ребенок получает и первые свои слова, но приобретает он их, самостоятельно вычленяя из речи окружающих, а не повторяя за взрослыми. Пока не произошло самостоятельное вычленение слова, ребенок категорически отказывается от имитации. Сколько бы раз родители ни повторяли «мама», «мама», «папа», «папа» — ребенок не будет произносить эти слова, если у него не возникло еще в этом необходимости.

Способность к овладению языком связана с бессознательным. Бессознательное играет важную роль в способности к дискретизации среды, а также в формировании способности переключения на режим объективации. В естественных условиях овладения языком бессознательное исключить нельзя, так как в дан-

ном случае с ним интимнейшим образом связан весь процесс речепорождения, на него этот процесс в основном и опирается. В учебных же условиях функции бессознательного могут не учитываться, а потому обучаемому могут быть навязаны искусственные способы деятельности: имитации или запоминание с использованием обильных репродуктивных процедур. В качестве иллюстрации рассмотрим, как обучаемый овладевает словом в естественных условиях и как ему предлагается овладевать словом в учебных условиях.

Слова — единицы низшего уровня, на которые производится членение речевого потока при аудировании и чтении. Если процесс членения речевого потока происходит естественным путем, то о значении большинства слов слушающий или читающий может сделать самостоятельное заключение, ибо в основе любого вида речевой деятельности лежит способность к порождению речевого сообщения.

Нередко приходится встречаться с утверждением, что процессы чтения и аудирования заключаются в дешифровке речевого сообщения, а процессы говорения и письма — в шифровке речевого сообщения. Однако шифровка и дешифровка — это процессы статические, тогда как порождение — процесс динамический. И если говорение и письмо должны характеризоваться как процессы порождения речи, то аудирование и чтение должны характеризоваться как процессы регламентируемого порождения речи или смысла. Понимать речевое сообщение индивид может лишь постольку, поскольку он в состоянии создавать гипотезу о его содержании. Первоначальная гипотеза подтверждается или опровергается (но всегда не полностью) по мере восприятия сообщения, динамически развиваясь и приближаясь постепенно к тому способу разрешения смысловой неопределенности, который предлагается автором сообщения. Именно поэтому возможны самостоятельные заключения обучаемого о значении любых языковых единиц, в том числе и слов. Иными словами, обучаемый активно участвует в порождении смысла слов.

Традиционная методика обучения языку обычно учитывает то обстоятельство, что именно слово является единицей низшего уровня, на которую производится членение речевого потока. Однако из этого делается следующий упрощенный вывод: поскольку слово является минимальной значимой единицей языка, то объем знаний должен измеряться количеством слов, усвоенных учащимися, причем усвоенных в том значении, которое зафиксировано за ними в словарях. Именно поэтому при обучении языку в учебных условиях все еще недостаточное внимание обращается на создание таких ситуаций, которые позволяют обучаемому «догадываться» о значении слов. Вместо этого значения слов нередко сообщаются предварительно постатейные словарики, толкование слов через синонимы и т. д. Учитель стремится обычно к тому, чтобы каждое отдельное слово было еще до прочтения текста известно ученикам. В таких условиях, однако, обучаемые не имеют возможности самостоятельно прийти к выводу о значении слова, а вынуждены полагаться на свою способность к запоминанию или неоднократно наводить справки о значении одного и того же слова. Все это приводит к тому, что обучаемым навязываются не только знания в «готовом виде», но и способ членения речевого потока: создается ситуация, в которой ученик не может разрешать смысловую неопределенность последовательно, от интонационного уровня к лексическому, — «знание» отдельных элементов лексического уровня побуждает его производить дешифровку речевого потока, т. е., совершая

различные манипуляции на низшем лексическом уровне, пытаться представить себе смысл всего текста.

Именно этим объясняется беспомощность обучаемых, когда они оказываются в иной языковой среде или когда они вынуждены прочитать текст без словаря, прослушать радиопередачу или грамзапись, написать письмо, поддержать диалог на изучаемом языке. Все эти виды речевой деятельности требуют, чтобы обучаемый или самостоятельно порождал сообщение или активно включался в порождение речевого сообщения. А так как методика их обучения с самого начала не учитывала роли бессознательного и поэтому не могла обеспечить естественного становления речевой способности у обучаемых, то они оказываются и не готовыми к речевой деятельности на изучаемом языке.

На наш взгляд, весьма убедительно сравнение речевой продукции двух детей-билингвов, один из которых усваивал (неродной ему) русский язык в естественных условиях (общение с детьми в детском саду, где говорили по-русски), а другой — в учебных условиях, причем никаких языковых контактов с русскими не имел. Первый был в состоянии поддерживать беседу на русском языке, не переходя при этом на родной язык, а при пересказе сказки «Маша и медведь» полностью сохранил норму интонационного уровня, синтаксического уровня, допуская большое количество ошибок на уровне синтаксиса словосочетания (управление) и особенно на фонетическом. Его речь была выразительна, при изложении сказки наблюдалась активность мимики и жестикуляции, свидетельствовавшая о полном понимании текста, об активности речевой деятельности. Второй же после однократного прослушивания текста пересказ дать отказался, после двухкратного прослушивания был в состоянии дать односложные ответы на вопросы по тексту, после трехкратного — попытался сделать пересказ, обнаруживая явное стремление к дословному воспроизведению текста, т. е. опираясь лишь на память. Речь его можно было охарактеризовать следующим образом: полное отсутствие мимики и жестикуляции, подтверждающих содержание сообщения (его мимика и жестикуляция свидетельствовали лишь о его растерянности и о трудностях, которые он вынужден преодолевать, не испытывая при этом никакого удовольствия), невыразительность, обилие повторов и пауз, наличие хезитации, а при попытке дать самостоятельный пересказ, а не дословное воспроизведение — искажение интонационного уровня и синтаксического (особенно нарушение порядка слов), непонимание употребляемых слов. Характерным было и то, что при произношении тех слов, которые он до этого на уроке произносил правильно, теперь допускались ошибки, что также свидетельствовало о том, что для него это новый и непривычный вид речевой деятельности.

Если первый ребенок представлял себе весь текст (отсюда соблюдение мимики, интонации, стилистического своеобразия), то второй явно пытался построить текст из тех отрезков, которые ему удалось запомнить. Для иллюстрации приведем два отрывка.

Зумруд Р., шесть лет, аварка: «Жили-были дедки-бабки. У них была одна девочка. Она называется Машенька. Раз пошла она в лес. В лесу ходила-ходила. Собирала цветы, грибы собирала. Собирала — собирала, собирала—собирала, собирала—собирала. И вдруг никого нет.

Она нашла там в лесу дом, зашла, посмотрела, кто там. Оказывается, там медведь здоровенький. Ну вот медведь дает ей кушать. Она теперь кашу быстро съела и спать пошла».

Коля М., семь с половиной лет, алтаец:

«Жили дед... жили-были дед и... Маша пошел лес... Маша лес хотела... Дед говорил... Дом стоял... Медведь вернулся... Ага!.. Если... не то... Гостинцы Маша пекла... Говорит: «Не садись, не ешь гостинец». Медведь взял корзину. Медведь говорит: «Сяду на пенек, съем пирожок». Маша говорит: «Не ешь гостинец»...

Как видно из приведенных отрывков, первый билингв полностью сохранил стилистическую канву: традиционные формулы (зачин, повторы), слова, указывающие на характер отношений между частями текста (раз» «и вдруг», «ну вот») и специфический для стиля сказки порядок слов. Речь второго билингва представлена отдельными, не всегда связанными между собой отрывками.

Экспериментальные наблюдения, проведенные в национальных школах РСФСР, показывают, что если при обучении русскому языку как второму опираться на развитие антиципационной способности, то при восприятии устных и письменных сообщений обучаемый совершает смысловую переработку текста, т. е. активно участвует в порождении смысла сообщений. Поскольку обучаемые овладевают механизмом порождения речи, то, во-первых, их сведения о языке нельзя свести к определенному набору заученных слов и правил, во-вторых, они не могут «забыть» того, чем научились оперировать самостоятельно, ибо не заучивали в готовом виде сведений о языке, а приобретали их, «совершая открытия» и допуская ошибки, медленно сами нащупывали верный путь, на котором возникла, развилась и окрепла их речевая способность. Слова, которыми они владеют, прошли такой же путь становления, какой проходят при овладении одным языком.

В результате такого обучения учащиеся приобретают прочные навыки восприятия русской устной и письменной речи. Немалую роль играет при таком обучении последовательное введение ограничений, характеризующих различные виды речевой коммуникации (обращенность речи, наличие обратной связи, наличие мимики, жестикуляции и интонации). Для того, чтобы приблизить обучение второму языку к тем условиям, в которых происходит овладение родным языком, особое внимание должно обращаться на средства и приемы, снимающие психологическую напряженность и воспитывающие потребность говорить на изучаемом языке. На начальном этапе обучения рекомендуется: проведение коллективных действий с постоянно меняющимся лидером; создание эмоционально насыщенной атмосферы, вызывающей творческий настрой и стремление к деятельности; постоянное подтверждение эффективности деятельности каждого ребенка (не только со стороны учителя и товарищей, но и возникновение критериев для самооценки).

Язык—это средство познания действительности, и овладение языком может быть успешным лишь в том случае, если это положение в процессе обучения не будет предано забвению. Именно так протекает обучение родному языку: ребенок познает мир и овладевает языком. Процесс овладения языком является отражением процесса познания, который заключается «в вечном процессе движения, возникновения противоречий и в разрешении их» [12, 177].

В том случае, если познавательная деятельность подменяется имитацией, т. е. искусственной деятельностью, чуждой вообще для человека, то отключается бессознательное, а следовательно нарушается весь естественный ход овладения языком.

Данные экспериментальной проверки специально разработанной системы упражнений, направленных на развитие антиципационных способностей обучаемых, свидетельствуют о том, что в учебных условиях мы имеем возможность обучать второму языку способом, близким к тому, каким происходит обучение родному или второму языку в естественных условиях.

THE UNCONSCIOUS IN NATURAL AND CLASSROOM CONDITIONS OF LANGUAGE LEARNING

I. G. VASILYEVA

Research Institute for National Schools, Moscow

SUMMARY

An attempt is made to determine the role of the unconscious in the individual's ability to generate speech. Whereas speaking and writing are viewed as processes of generation of meaning, reading and listening are described as processes of regulated generation of meaning. In natural conditions of language study the person arrives at independent conclusions about both the meaning of the entire hierarchy of linguistic devices—from intonation to vocabulary—and the meaning of any language unit, using his cognitive and discretive faculty. In classroom conditions, if the function of the unconscious is disregarded, the learner is forced into artificial activities—immitation and memorizing.

The paper presents data illustrating the nature of the speech of students learning in classroom and [natural-language conditions. Recommendations are given, which enable to attain reliable results in classroom- and natural-anguage conditions, provided the function of the unconscious in the person's cognitive activity is taken into account.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЛЕНИН В. И., Философские тетради. Конспект книги Гегеля «Лекции по истории философии». М., 1973.
2. ЛЕНИН В. И., Материализм и эмпириокритицизм. Полн. собр. соч., т. 14, 177.
3. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
4. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Некоторые спорные проблемы психологии установки. Тб., 1971.
5. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, т. 1, Тб., 1969.
6. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. 2, Тб., 1973.
7. Психологические исследования, посвященные 85-летию со дня рождения Д. Н. Узнадзе. Под редакцией А. С. Прангишвили, Тб., 1973.

165

ПРОБЛЕМА «СУГГЕСТОПЕДИИ» В СВЕТЕ ТЕОРИИ ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ НОВЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПОНЯТИЙ

В. Ф. МОРГУН

МГУ, факультет психологии

Ускоренное развитие общества, науки, техники и культуры ставит перед педагогикой задачу построения современной теории обучения, основанной на системном подходе. Для решения этой задачи необходимо обратиться к целому комплексу наук: социологии, психологии, общей теории управления и др. Традиционная дидактика, «программированное обучение» [51], «проблемное обучение» [50], «суггестопедия» [26] в той или иной мере опираются на гештальтпсихологию, бихевиоризм, ассоциативно-рефлекторную теорию, теорию установки, генетическую психологию, теорию деятельности, но основной возникающий при этом общий вопрос заключается в следующем: какая психологическая теория наиболее полно и адекватно описывает и позволяет целенаправленно строить процесс обучения? Нам представляется, что такой теорией в настоящее время является теория поэтапного формирования новых действий и понятий [7; 40], разработанная на принципах советской психологии: деятельности, интериоризации и социального происхождения психики человека.

Подобная общая теория должна уметь интерпретировать и те методические приемы и экспериментальные факты, которые разрабатываются и накапливаются другими направлениями, в противном случае эта теория будет частной и ограниченной. В настоящей работе такая задача ставится в отношении теоретических принципов т. н. «суггестопедии» и ее эмпирических результатов, которые позволяют ее автору говорить о ней не просто как о системе ускоренного обучения, но и как о «новом направлении в педагогике» [27, 69].

В качестве предмета исследования в суггестологии предлагаются «неосознаваемые, а оттуда и суггестивные[1] моменты в активности личности», которые «можно искать не только в инстинктивных переживаниях или в богатом разнообразии субсенсорных перцепций, но также и в мнимой крепости сознаваемой активности — логически аргументированном и мотивированном слове» [27, 56]. Таким образом, суггестология исходит из того, что в любой человеческой деятельности имеет место некоторая «неосознаваемая активность». Основными методами изучения суггестивных явлений выступают псевдопассивность, релаксация, гипноз и т. п.

В целом суггестология рисует следующую картину психической активности личности в ее взаимодействии с внешним миром: информация

[1] Суггестивность понимается как внушаемость, а суггестивное — как «неосознаваемое в активности личности» [27, 55—56].

извне проникает во внутренний мир личности по двум каналам — сознательному («логически аргументированное и мотивированное слово») и неосознаваемому («темные инстинктивные тенденции», «вторичные автоматизированные деятельности» и «внушение», т. е. собственно «суггестия»)[2]. Именно неосознаваемое и рассматривается как основной источник «резервных возможностей психики», которые могут быть даже подсчитаны для каждого человека, исходя из его «суггестивного феномена» и «суггестивной нормы общества». Использовать эти «плюс-резервы личности» и призвано «суггестопедическое направление в педагогике» [27].

Остановимся теперь более подробно на соотношении сознаваемой и неосознаваемой активности личности в обучении в свете деятельностного подхода вообще и теории поэтапного формирования новых действий и понятий в частности.

Сложность критики заключается в данном случае в том, что, признавая наличие неосознаваемых моментов на всех уровнях человеческой деятельности, мы не можем в педагогике ориентироваться только на эти моменты. Достижения суггестологии, вскрывающие резервы личности, далеко не исчерпывают всех возможностей личности, следовательно, сама суггестопедия может пониматься двояко: либо как педагогика, основанная только на суггестологии, либо как педагогика, которая использует достижения суггестологии для оптимизации процесса обучения и воспитания. В последнем случае называть такую педагогику суггестопедией было бы, очевидно, в корне ошибочно.

Поскольку суггестология занимается неосознаваемой активностью, то первое указанное выше понимание суггестопедии означало бы отказ от изучения сознания как высшей формы отражения действительности. В теории «суггестопедии» мы не находим по этому поводу однозначного разъяснения: с одной стороны, признается, что для мобилизации резервной активности человека важны не суггестивные факторы («псевдопассивность», релаксация, гипноз и т. п.) сами по себе, а «решающее значение» имеет «авторитет мотивации, которую они несут» [27, 62], с другой же — утверждается, что «идеальным случаем направления суггестивного потока на неосознаваемую психическую активность был бы путь субсенсорной стимуляции» [27, 64], что, конечно, сразу снимает вопрос о какой бы то ни было сознательной деятельности.

Но даже если отвлечься от этих соображений, возникает ряд других трудностей, ставящих под сомнение возможности «чисто суггестивной» педагогики.

Первая трудность: не слишком ли преувеличивается роль субсенсорных воздействий? Ведь субсенсорная стимуляция, повышающая процент запоминаемых слов в эксперименте [26], осуществлялась после сознательного их заучивания, то есть была сопряжена с определенной деятельностью в состоянии бодрствования и зависела от продуктивности этой деятельности. В будущем, возможно, откроется путь «директного»[3] воздействия на мозг человека и можно будет «записывать» в нем необходимую информацию субсенсорно, но к суггестологии (и психологии) это уже не будет иметь непосредственного отношения.

---

[2] Сама суггестия реализуется тремя основными путями: «интуитивным», «эмотивным» и «субсенсорным» [27]. Следует заметить, что данная классификация страдает логическим дефектом, т. к. у нее отсутствует общее основание.

[3] «Директное» воздействие характеризуется тем, что «информация попадает прямо в функциональные районы неосознаваемой или недостаточно осознаваемой психической активности» [27, 63].

Вторая трудность «чисто суггестивного» подхода к обучению связана с проблемой соотношения осознаваемого и неосознаваемого в гипнозе. И здесь, где казалось бы, ведущая роль неосознаваемых моментов в поведении бесспорна, появляются данные, ставящие такую точку зрения под сомнение. Уже давно было показано, что сомнамбулы не выполняют инструкций гипнотизера, противоречащих их нравственным убеждениям. Более того, в работе О. К. Тихомирова, В. Л. Райкова, Н. А. Березанской [43] по исследованию «творческого мышления» и «обучению творческой деятельности (рисование)» в гипнозе констатировалось:

1) «Воспроизведение конкретных знаний лимитируется (разрядка наша — **В. М.**) как характером внушенного образа, так и прошлым опытом самого испытуемого» (стр. 146), следовательно, «условием изменения личности (системы ценностей, мотивов) является наличие известной системы знаний испытуемого о внушаемом образе», причем «если этих знаний недостаточно, то его поведение становится пассивным, настороженным, растерянным... Если же знаний достаточно, то испытуемый находится в состоянии подъема, действует активно, эмоционально» [там же, стр. 196];

2) влияние «сбивающего» гипнотического внушения лишь замедляет поиск правильного решения задачи в постгипнотической фазе, и «в конечном счете результаты собственной исследовательской деятельности оказывают более сильное регулирующее влияние (разрядка наша — **В. М.**), чем внушенные оценки действий...» [там же, стр. 148];

3) изучение продуктивности дивергентного мышления у актеров «в роли творческих личностей» и у сомнамбул (в гипнозе) выявляет ее повышение (у последних — более значительное), причем «все актеры «в роли» или повторяли свои предыдущие ответы (которые они давали в обычном состоянии — **В. М.**), или просили экспериментатора обязательно учесть их, но ни один из актеров «не догадался» отказаться от своих предыдущих ответов», хотя именно «это проявилось у всех загипнотизированных субъектов» [там же, стр. 202].

На основе этих данных можно прийти к заключению, что гипнотическое внушение усиливает возможность реализации не просто «резервов психической активности», а уже имеющегося у человека запаса знаний и умений, присущих внушаемому образу. Следовательно, и гипноз выступает как вторичный стимулятор «активного творческого процесса и обучения», оказывающий как положительное, так и отрицательное влияние на личность в силу того, что он не только раскрывает возможности самой личности, но и подавляет их, компенсируя, правда, достаточно богатыми возможностями внушенной (другой) личности[4]. Последнее же таит в себе опасность «конформистского» понимания обучения, против чего выступают и «суггестопедия»[5] и теория поэтапного формирования новых действий и понятий, придающая решающее значение сознательности учения «не только в смысле отношения к своим понятиям и действиям с точки зрения других людей, но и высшей сознательности с точки зрения объективного положения и движения самих вещей, чем бы эти вещи ни бы-

[4] Здесь также затрагивается и проблема воли, на трудности решения которой справедливо указывает П. В. Симонов [39].

[5] «...Никакой конформизм не может привести к развертыванию функциональных резервов психики» [27, 63].

ли, чем бы они ни казались и какого бы мнения ни держались о них другие люди» [10, 272].

Третья трудность «чисто суггестивного» подхода связана с ролью «темных инстинктивных тенденций»[6] в обучении. Даже согласившись с наличием у человека таких тенденций, невозможно отводить им сколько-нибудь значительное место в психической жизни культурного человека, поскольку появление сознания и изготовление орудий на определенном этапе биологической эволюции привели к тому, что инстинкты «теряют свои приспособительные функции»; появилась «социальная форма наследования» и именно она «стала формировать биологию человека» [14].

Четвертая трудность обусловлена ролью «суггестивного» начала во «вторично автоматизированных действиях». Во-первых, такие действия до автоматизации проходят стадию сознательных действий. Во-вторых, даже будучи автоматизированными, они сознательно управляются вышележащим уровнем («этот уровень определяется как ведущий для данного движения» и «независимо от высоты осознается (разрядка наша — **В. М.**) только... ведущий уровень», — писал в отношении «уровневого построения движений» Н. А. Бернштейн [3]; тем более эти положения справедливы для «собственно психических действий»).

Пятая трудность «чисто суггестивного» подхода связана с понятием «установки» как целостного психофизиологического образования, определяющего «модус личности» [44]. В последних работах, посвященных анализу более сложных социальных установок (attitude в отличие от set), показано, что социальные установки человека занимают ведущий «личностный» уровень по отношению к установкам типа «set» [33] и соотнесены с его целенаправленной сознательной деятельностью [2]. Вместе с тем в контексте общей теории сознания и бессознательного психического эти установки рассматриваются как принцип интеркорреляции между этими двумя взаимоисключающими сами по себе проявлениями человеческой психики на уровне личностных отношений [47; 48].

Шестая трудность такого понимания «суггестопедии» связана с проблемой интуиции как «неосознаваемого канала связи между личностью и окружающим миром». Интуиция определяется как «вторично автоматизированное действие», как «случайный перенос решения» [37], как «инсайт», «озарение», т. е. высшее проявление человеческого духа, его творческого начала. Но во всех этих представлениях существенно одно общее для них: человеческая интуиция — это некоторое вторичное образование по отношению к той сознательной деятельности, которая ее формирует, воспитывает, подготавливает[7].

И, наконец, последняя, седьмая трудность «чисто суггестивного» подхода к обучению связана с эмоционально-мотивационными воздействиями на личность. Во-первых, само по себе повышение мотивации не должно быть самоцелью, речь может идти только об оптимуме мотивации для той или иной деятельности[8]. Во-вторых, возможно различное понимание мотива: 1) как некоторого «состояния» (само по себе оно

---

[6] В отношении человека понятие «инстинкта» приложимо лишь с приставкой «квази», ибо даже у животных инстинкты в собственном смысле играют подчиненную роль [12; 46].

[7] В теории поэтапного формирования «чистая интуиция» соответствует высшему этапу становления действия — умственному действию, «чистой мысли» [11].

[8] Согласно закону Йеркса—Додсона и учению об «адаптационном синдроме», чрезмерное повышение мотивации пагубно отражается как на продуктивности деятельности, так и на самочувствии человека [38; 45].

осознается) или 2) как человеческого чувства, «опредмеченной потребности», т. е. не просто «приятное (или неприятное) переживание», а «переживание по поводу чего-то». Именно в этом заключается решение проблемы единства интеллектуальной и аффективной сфер личности: в нахождении «личностного смысла», который обеспечивает истинную сознательность выполняемой деятельности [24], реализует ее «ценностные ориентации»: «... уму, знаниям можно доучиться, а с неправильной установкой, неверной идеологической, социальной, научной ориентацией жить нельзя» [25, 2].

Итак, коротко остановившись на всех этих «неосознаваемых каналах связи личность—среда», приходится констатировать, что они не такие уж неосознаваемые. И вытекает отсюда не только то, что неосознаваемые явления надо исследовать в единстве с осознаваемыми, но и то, что приходится задуматься над вопросами: каков генезис неосознаваемых явлений в поведении человека и какова структура и взаимосвязи этого «сознательно-неосознаваемого» единства. Только осознав становление и соотношение того и другого в деятельности, можно говорить об их роли в процессе обучения.

Исходя из вышесказанного, следует констатировать: 1) по своему происхождению неосознаваемые психические процессы человека вторичны и производны от социальной деятельности в реальном мире; 2) актуальное функционирование неосознаваемых явлений связано либо непосредственно, либо опосредованно (например, решение задачи во сне и т. п.) с сознательной деятельностью личности. Таким образом, суггестопедия даже в ее узком понимании (как педагогика, опирающаяся только на «неосознаваемые каналы связи личность—среда») будет описывать учебный процесс далеко не полностью и более того, опираясь на средства, которые сами являются **продуктом** учения как сознательного присвоения («социального наследования») человеческой культуры [4]. И тем более неадекватным было бы понимание «суггестопедии» в широком смысле — как педагогики, которая использует суггестивные моменты в обучении[9], ибо тогда самим этим термином перечеркивается то единство осознаваемого и неосознаваемого, за которое так ратует суггестология и неоправданно выпячивается его «суггестивный компонент»[10].

Как было отмечено, практика «суггестопедии» реализует именно последнее представление об учебном процессе [20]. В лабораторных экспериментах [26], при изучении иностранных языков [30], при обучении учащихся всем предметам в обычной школе [28] — во всех случаях были получены обнадеживающие результаты и по скорости, и по эффективности, и по мотивации обучения. Вместе с тем, вопреки фактическому положению вещей, продолжает утверждаться следующее: «Суггестопедия избегает поведенческой псевдоактивности, которая, с одной стороны, утомляет, а с другой— не ускоряет усвоения нового материала. Она рассчитана на внутреннюю активность, на активность, которая проистекает от хорошо мотивированного положительного отношения к конкретному учебному процессу» [27, 69]. Не умаляя значения находок, связанных с псевдопассивностью, следует предостеречь от сведения к ним до-

---

[9] Еще раз подчеркиваем, что наша критика относится не к суггестологии как таковой, а к ее «пансуггестивному» переносу на педагогику.

[10] Оправдать его можно только соображениями рекламы: чтобы привлечь внимание педагогов к суггестивным влияниям в обучении, на что справедливо указывалось и в дискуссии на страницах «Литературной газеты» [23; 35].

стижений «суггестопедии», ибо эффективность методики (в особенности при обучении иностранному языку [30]) обусловлена даже не столько феноменом отдыха, сколько разнообразной организацией деятельности в учебной группе. И если говорить о суггестии как об одном из факторов обучения, то решающим источником ее, в частности при обучении иностранному языку, является именно та или иная организация группового и попарного речевого общения на занятиях, а «сеанс псевдопассивности», снимая усталость, придает только дополнительное мотивирующее воздействие.

Несмотря на теоретический тезис о единстве сознаваемого и неосознаваемого в психике и практическую его реализацию при обучении, в «суггестопедии» сознание характеризуется чисто негативно: как «мнимая крепость сознаваемой активности» [27, 56], как «антисуггестивные барьеры», препятствующие «директному» (прямому) проникновению в психику суггестивных воздействий и т. п. Причем в качестве «антисуггестивных барьеров» рассматривается «сознательное критическое мышление» и «этические принципы личности» [27, 64][11].

Прежде, чем перейти к более тщательному анализу принципов «суггестопедии», еще раз подчеркнем, что проблема построения «конкретного учебного процесса» и «суггестивная мотивация положительного к нему отношения» — это хотя и связанные, но все-таки разные задачи, и возможности суггестологии не отменяют проблемы построения адекватной психологической теории учения и, что особенно важно, не заменяют ее.

Остановимся теперь на анализе «суггестопедических» принципов. Основные принципы:

1. Принцип радости и ненапряженности.
2. Принцип единства: осознаваемое — неосознаваемое.
3. Принцип суггестивной взаимосвязи (учитель—учащийся).

Дополнительные принципы:

1. Последовательность обучения и повторение в конце года.
2. Мотивация значимости предмета до обучения.
3. Коллективная ответственность класса за знания каждого (от этого зависит время обучения всего класса).
4. Дополнительные индивидуальные занятия.
5. Индивидуализированные домашние задания.
6. Возможность нескольких пересдач на лучшую отметку.
7. Эстетическое воспитание путем непосредственного вживания в художественное произведение.
8. Возможность творческой инициативы перед коллективом.
9. Стимуляция положительной инициативы (при отсутствии страха наказания) [28].

Следует сказать, что все основные принципы «суггестопедии» реализуются и в теории поэтапного формирования новых действий и понятий. Принципы же дополнительные отвечают требованиям современной теории управления учением далеко не полно, а некоторые в корне противоречат ей (что будет показано ниже).

Краеугольным камнем теории поэтапного формирования является положение о непроизвольном усвоении нового в обучении: «знания формируются без предварительного заучивания, в процессе

[11] Правда, признается, что «преодоление барьеров в действительности означает сообразность с барьерами...» [27, 64], но это не меняет общего контекста.

применения к решению задач» [10, 262; 15]. Именно такое усвоение в первую очередь и реализует «единство осознаваемого и неосознаваемого» в деятельности. Далее, теоретическая и экспериментальная разработка III типа учения, предусматривающего «самостоятельное» составление учащимися максимально обобщенной (и абстрактной) и возможно более полной ориентировочной основы действия, последовательно реализует как принцип «радости и ненапряженности», так и принцип «суггестивной взаимосвязи» [9; 13; 38].

Перейдем теперь к рассмотрению дополнительных принципов «суггестопедии» с точки зрения теории поэтапного формирования и прежде всего отметим досадную логическую непоследовательность самих принципов: в пункте «9» постулируется требование «отсутствия страха наказания», а в пункте «3» фактически предусматривается наказание «удлинением срока занятий», а, следовательно, и страх перед ним (что противоречит основному принципу «радости и ненапряженности»).

1. «Последовательность обучения»[12] в теории поэтапного формирования парадоксальна, т. к. полная обобщенная ориентировочная основа действия позволяет делать скачки на шкале «от простого к сложному» и, как следствие, ускоряет обучение, делает его более интересным, проблемным.

2. «Мотивация значимости предмета» осуществляется на мотивационном этапе, предшествующем обучению, и продолжается в дальнейшем.

3. «Коллективная ответственность класса за знания каждого» обеспечивается не просто боязнью быть вынужденным дольше заниматься из-за неуспевающих однокашников, а различными коллективными формами работы[13] как на этапе «самостоятельного» составления схемы ориентировки, так и на этапах интериоризации.

4. «Дополнительные индивидуальные занятия» стремятся свести к минимуму, чему также способствует полная ориентировка в предмете.

5. «Индивидуализированные домашние задания» с точки зрения современной теории управления вообще неуместны (по крайней мере до высших этапов интериоризации), ибо они (1) делают учение в домашних условиях неуправляемым, (2) отнимают много свободного времени, которое так необходимо для всестороннего развития детей любого возраста.

6. «Возможность нескольких пересдач на лучшую отметку» также противоречит самим же принципам «суггестопедии» (неудача не приносит радости) и теории поэтапного формирования. Во-первых, сама отметка как некоторая традиционная «школьная ценность» ставится под сомнение [1]. Во-вторых, если уж без отметки обойтись нельзя, то она должна быть хорошей. Теория поэтапного формирования обеспечивает безошибочное выполнение учебного задания с первого раза (без учета случайных ошибок, не зависящих от системы обучения). Такой успех достаточно сильно мотивирует учащегося и заодно лишает «возможности нескольких пересдач на лучшую отметку» за ненадобностью (хотя «юридически», разумеется, такую возможность необходимо оставить).

---

[12] Здесь рассматривается «последовательность обучения» внутри одного предмета, хотя возможно и другое понимание: последовательное (в отличие от параллельного) изучение предметов [29]. Следует признать важность последнего для автоматизации усвоенного, но в целом оно далеко не всегда оправдано.

[13] К таким формам работы можно отнести «мозговой штурм», «ролевые игры», взаимоконтроль и т. п.

7. «Эстетическое воспитание путем непосредственного вживания в художественное произведение», наверное, следует понимать, как «сопереживание» или «вхождение в образ». Это прекрасно, но само по себе еще недостаточно, ибо кроме «вживания» необходимо научить ребят лингвистическому и литературоведческому анализу художественного произведения (таковы требования теории поэтапного формирования, а результаты основанного на ней обучения позволяют учащимся сочинять стихи, писать рассказы и т. п.).

8. «Возможность творческих инициатив перед коллективом» при поэтапном формировании не ограничивается рамками урока: ребята сами проявляют эти инициативы по дороге домой и дома к удивлению (а иногда даже беспокойству) родителей: («Ребенку ничего не задали на дом, а он занимается!?»).

9. «Стимуляция положительных инициатив» не должна сводиться лишь к «внешней» (поощрение—наказание) или «соревновательной» (с другими, с собой) мотивации. Подлинной ценностью учения является формирование «внутренней» бескорыстной познавательной потребности и, как уже упоминалось, III тип учения в теории поэтапного формирования обеспечивает такие условия, при которых «построение и динамика объекта усвоения выявляются как поле свободной деятельности личности и достигается стойкий интерес к обучению» [9, 28].

Теория поэтапного формирования не исчерпывается этими принципами[14], здесь было важно лишь констатировать, что она реализует их более последовательно и в соответствии с требованиями психологии (в том числе суггестологии), современной педагогики и общей теории управления.

Обратимся теперь к тому, каковы же результаты обучения, предусматриваемые «суггестопедией» и теорией поэтапного формирования, какими характеристиками обладают действия учащихся после обучения? В «суггестопедии» выделяются пять таких «особенностей суггестивных явлений»:

1. Директность («информация попадает прямо в функциональные районы неосознаваемой или недостаточно осознаваемой психической активности»).

2. Автоматизированность («... быстрая, очень часто даже внезапная автоматизация..., включая запоминание огромного материала»).

3. Точность.

4. Быстрота (следствие директности, автоматизации и сокращения «по формулам»).

5. Экономичность (следствие четырех первых), которая приводит к «одному из основных псевдопарадоксальных явлений в суггестопедии — это сверхзапоминание без какой бы то ни было усталости, даже при ясно выделяющемся эффекте отдыха» [27, 63].

Строго говоря, «директность» выпадает из данной классификации, так как если 2, 3, 4, 5 «особенности» являются собственно характеристиками действий учащегося, то «директность» относится к «подсистеме интериоризации» (организующей перевод действия из плана «интерпсихического» совместного с учителем действия в план действия «интрапсихического» самостоятельного).

В понятиях теории поэтапного формирования «директность» можно определить как преподнесение (1) некоторой схемы ориентировки (2) в

[14] Для более полного и подробного ознакомления с теорией поэтапного формирования новых действий и понятий см. П. Я. Гальперин и др. [7; 10; 11; 40; 41].

готовом виде (3) на уровне умственного действия (минуя все предыдущие этапы его становления: материального (материализированного), перцептивного, внешне- и внутреннеречевого). Предположим, что вся «подсистема интериоризации» исчерпывается «директностью», и посмотрим, какое действие мы получим на выходе: никакого — если действие абсолютно новое; «попугайское» — если оно таковым не является (здесь уместно привести случай из практики Пенфильда, когда тот возбудил мозговые центры больной, она вдруг «заговорила» на чистейшем иностранном языке, ничего однако, не понимая в нем). Даже со скидкой на то, что при изучении иностранного языка таких явлений не бывает, следует признать ограниченность «директности» как способа бессознательной интериоризации. («Речь есть знак для общения сознаний» [5, 194]).

Более того, «директность» не следует считать основным суггестором, ибо без предварительной деятельности общения в системах «ученик—учитель», «ученик—группа» (без диалогов, этюдов, проблемных игр, песен, танцев и т. п.) никакой «сеанс псевдопассивности» (с самой приятной музыкой, удобной позой и интимным освещением), в котором «директность» представлена в чистом виде, не способен привести к гипермнезии[15]. Основное значение «директности», очевидно, в том, что благодаря «феномену отдыха» снимается та усталость (от общения на чужом языке), которая все-таки накапливается, несмотря на все искусство преподавателя. В этом смысле, повторим еще раз, «директность» выступает вторичным благоприятствующим фактором по отношению к той первичной деятельности, которая была проделана с материалом ранее (родному языку, во всяком случае, чисто «директно» обучить ребенка невозможно, если не включить его в активную совместную со взрослыми сознательную предметную деятельность, в речевое общение).

При обучении второму языку экономичнее осознать и автоматизировать коррекции, чем заново вырабатывать умения. Поэтому оптимальным путем будет всегда следующий: построить такой алгоритм осознания грамматической структуры родного языка, который мог бы быть в дальнейшем автоматизирован и перенесен на иностранный [21, 253]. Но именно этот путь не принимается во внимание «суггестопедией», в то время как «та последовательность действий, которая следует из теории умственных действий П. Я. Гальперина, является таким оптимальным алгоритмом» [там же].

Следовательно, в теории поэтапного формирования налицо все предпосылки для практического обучения «речевому общению на иностранном языке» [22; 16; 17; 18; 34].

Вернемся теперь снова к «подсистеме параметров», характеризующих формируемое действие. Используя понятия теории формирования, можно говорить о двух первичных и двух вторичных (производных) параметрах действия в «суггестопедии».

1. «Автоматизированность» в теории поэтапного формирования присутствует, но в виде вторичного параметра. Это находит свое объяснение в ее производности от всех остальных параметров (сознательности — в особенности), в то время как суггестивное воздействие ведет к

[15] Что подтверждается и «хотторкским феноменом», из которого следует, что человеческие отношения (сознательное общение по поводу деятельности) оказали более значительное влияние на рост производительности труда, чем все остальные пассивные факторы [49]. Именно поэтому, очевидно, суггестопедию следует отличать от гипнопедии или обучения во сне и т. п.

немедленной автоматизированности благодаря «директивности» без осознания, что является сомнительным достоинством (см. выше) и часто даже тормозит дальнейшее продвижение учащегося. Немедленная (первичная) автоматизированность оправдана лишь в некоторых случаях (например, при заучивании исключений из правил, что, впрочем, на языковом материале имеет важное значение). Для полноценного же действия наиболее оптимальной в теории формирования считается вторичная автоматизация, обеспечивающая высокую устойчивость его к помехам.

2. «Точность» в теории поэтапного формирования выражается в требовании безошибочного выполнения[16] усваиваемого действия с первого раза, что достигается благодаря составлению полной ориентировочной основы действия и индивидуализации обучения.

3. «Быстрота» соответствует временным показателям действия в теории формирования и является сложным — одновременно и первичным, и вторичным (например, производным от свернутости, автоматизированности) параметром.

4. «Экономичность» связана в теории формирования с силовыми показателями, с мерой овладения и автоматизации, т. е. в обеих теориях это скорее итоговый (вторичный) показатель усвоенности действия.

В «теории поэтапного формирования» выделяются следующие первичные параметры (характеристики) действия:

1. Уровень (форма) действия (материальный, речевой, умственный и др.).

2. Развернутость (полнота звеньев действия, которая может сокращаться «до формулы»).

3. Мера дифференцировки и обобщение (выделение существенного и устойчивость к помехам).

4. Временные показатели действия (темп, ритм).

5. Силовые показатели действия (устойчивость, напряженность и т. п.).

Вторичные параметры (производные от первичных):

1. Разумность. 2. Сознательность. 3 Критичность. 4. Обобщенность. 5. Мера овладения и автоматизации [8; 10; 11; 40; 41].

Таким образом, и при анализе параметров становления действия выявляется более фундаментальная разработанность теории поэтапного формирования новых действий и понятий[17].

Вместе с тем, критически подходя к «суггестопедии» с точки зрения современной теории управления учением, следует подчеркнуть те ценные экспериментальные и методические приемы, которые разработаны в суггестологии и апробированы на практике. К ним относятся: 1) авторитет, 2) инфантилизация, 3) двуплановость поведения, 4) ритм, 5) концертная псевдопассивность и др. [27, 66].

Очень существенно, что «суггестопедия» осознала такие «периферийные, темные, фоновые» раздражители, как жесты, походка, мимика, выражение глаз, дикция, интонация, идеомоторные движения, обстановка, авторитет источника информации, состояние потребностей учащего-

[16] Не следует отождествлять «безошибочность выполнения» с проблемой «ошибок при обучении», использование которых теорией формирования допускается [31].

[17] Во всяком случае, теория поэтапного формирования способна без особых трудностей ассимилировать достижения «суггестопедии», в то время как обратное весьма затруднено.

ся и т. п. Все они, разумеется в «комплексе с центром ясного сознания», воздействуют на «неспецифическую психическую реактивность», повышают ее активацию, а, следовательно, улучшают возможности усвоения новых знаний учащимися. «Большое искусство воздействует непосредственно путем неспецифической психической активности и пробуждает в нас чувства, мысли и действия, которые не всегда заранее сознательно логически обработаны» [27, 64], — с этим трудно не согласиться.

И хотя, в целом, с деятельностной позиции теоретические разработки в «суггестопедии» могут показаться менее оргинальными и зачастую не совсем верными, а притязания на «новое направление в педагогике» несколько преждевременными, экспериментальные приемы, найденные в ее творческом поиске, заслуживают самого пристального внимания, а полученные результаты должны быть с необходимостью интерпретированы в теории поэтапного формирования новых умственных действий и понятий, если она претендует именоваться общей психологической теорией обучения.

Примечание редакции

Публикуя статью В. Ф. Моргуна, имеющую характер критики т. н. суггестологического направления в педагогике, связанного с именем болгарского исследователя Г. Лозанова, редакция считает необходимым высказать по ее поводу и по поводу косвенно затрагиваемых ею больших теоретических проблем следующие соображения.

Метод обучения, предложенный еще в 60-х годах Г. Лозановым, вызвал, как известно, довольно широкий круг откликов в советской и зарубежной печати. Отклики эти имели разный характер, варьируя в диапазоне от безоговорочно одобряющих до заостренно критических. В настоящее время дискуссии по поводу суггестопедического подхода стали более редкими и во многом потеряли былую напряженность, хотя дальнейшая разработка методических основ педагогической суггестологии и применение последней в учебных заведениях и исследовательских лабораториях Болгарии, Советского Союза и других стран продолжается. Это говорит, по-видимому, о том, что с ходом времени удалось вычленить в суггестопедии некоторые ее наиболее характерные и не вызывающие возражений концептуальные элементы, составляющее ее методологическое ядро. Кроме того, скорее здесь, возможно, сказался практический эффект, которым оправдывается в определенных случаях суггестопедический подход.

В. Ф. Моргун возвращается вновь к критическому рассмотрению идей Г. Лозанова и проводит этот анализ в сопоставительном плане, определяя черты сходства и различия, существующие между суггестологическим методом обучения и педагогическим процессом, основанным на теории т. н. поэтапного формирования новых действий и понятий, разработанной П. Я. Гальпериным. Это вынуждает его проводить весьма сложный анализ, затрагивая трудные вопросы, поднятые, но соответственно далеко еще не разрешенные ни одним из этих направлений, во многом характерных для духа научных поисков, производимых в советской и болгарской прикладной психологии.

Вызывает, однако, сожаление, что анализ Г. Ф. Моргуном этих направлений не во всем точен. Вряд ли можно согласиться, например, что при суггестопедическом подходе обучение базируется в основном *только* на суггестологических эффектах. Вряд ли стоит также дока-

зывать, что при этом подходе «неосознаваемые каналы связи... не такие уж неосознаваемые». Включенность сознания в той или другой форме в структуру и субсенсорных эффектов, и гипнотических внушений, и автоматизмов многократно экспериментально и клинически демонстрировалась и является на сегодня по-существу трюизмом. Мы попытаемся показать и то, что утверждение Г. Ф. Моргуна, по которому «все основные принципы суггестопедии реализуются и в теории поэтапного формирования» — неправильно. Оно создает, если его принять, неверное представление как об этой теории, так и о суггестопедическом подходе.

Почему именно с этим утверждением согласиться нельзя?

Прежде всего хотя бы потому, что одна из центральных категорий, на которые опирается суггестопедический подход — идея неосознаваемой психической деятельности, представление о своеобразных закономерностях, о специфической роли, которую эта форма психической деятельности играет при переработке и усвоении информации — в теории поэтапного формирования отсутствует. Этот пробел, как мы полагаем, суживает концептуально теорию поэтапного формирования и налагает определенные ограничения на возможность ее практического использования в педагогике.

С другой стороны, критикуя суггестопедический подход, Г. Ф. Моргун проходит мимо того, что в этом подходе является действительно уязвимым. Мы имеем в виду истолкование, которому подвергается в рамках суггестопедии понятие психологической установки.

Подобно тому, как в теории поэтапного формирования выпадает идея неосознаваемой психической деятельности, так в разработанной Г. Лозановым концепции суггестологического и суггестопедического подходов выпадает представление о психологической установке как о важнейшем компоненте функциональной структуры л ю б ы х форм психической активности, независимо от того, осознаются ли эти формы их субъектом или остаются неосознаваемыми. Отвлечение же при разработке идеи бессознательного от концепции установки вынуждает ограничиваться в этой разработке только ее феноменологическим планом, затрудняя более глубокое выявление тех психологических закономерностей, которым проявления сознания и бессознательного подчинены.

Недооценка значения категории установки, неясности и неточности, возникающие при ее обсуждении, проявляются в литературе, посвященной вопросам суггестологии, довольно широко. Характерна в этом отношении позиция как самого Г. Лозанова, так и сторонников его научной ориентации. Так, в статье «Основы суггестологии», являющейся центральной в сборнике материалов I Международного симпозиума по проблемам суггестологии (София, 1973), Г. Лозанов характеризует «отличительные особенности» суггестивных явлений; в ряду этих особенностей («директность», «автоматизированность» и др., стр. 63) установка не фигурирует. О ней заходит речь лишь как о частном феномене, способствующем активации «резервов личности», но и здесь указывается, что она «не связана абсолютно необходимо с состоянием поведенческой пассивности» (стр. 62).

В другой статье Е. Шаранков дает установке немного юмористическое определение как фактора, который «устанавливает недоразумение между физиологией и психологией» (там же, стр. 191). Он также полагает, что Д. Н. Узнадзе и его ученики «прокладывают недвусмысленно путь к экзистенциализму», поскольку, по их мнению, неосознаваемое может не переживаться (стр. 594—595). Одновремен-

но Е. Шаранков полагает, что установка «вырастает сомато-психически всюду и всегда в качестве всеобщего, основного движущего механизма», что в причинно-следственном плане она имеет «некоторое родство» с отношением и поведением и т. д. (стр. 598—599).

Все эти недостаточно ясные и разноречивые формулировки относительно психологической сущности феномена установки суть результаты явно поверхностного знания соответствующей научной литературы. Между тем, многолетний опыт работ, выполненных в школе Д. Н. Узнадзе, показал, что если мы отвлекаемся от рассмотрения установки как фундаментальной категории, возможность строгой концептуализации явлений сознания и бессознательного психического, особенно в их взаимообусловливающей активности в процессе обучения, заранее исключается. И надо думать, что именно это обстоятельство явилось одной из причин наблюдаемого в последние годы заметного замедления дальнейшей разработки теоретических основ суггестологического подхода. Во всяком случае, выдвинутая Е. Шаранковым идея о «структурно-динамическом и причинно-следственном блоке» (см. там же), в силу хотя бы одной ее чрезмерной расплывчатости, не может объяснить нам специфику суггестивных явлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. АМОНАШВИЛИ Ш. А., Психолого-дидактические особенности оценки как компонента учебной деятельности. Вопросы психологии, 1975, 4.
2. АСМОЛОВ А. Г., КОВАЛЬЧУК М. А., К проблеме установки в общей и социальной психологии. Вопросы психологии, 1975, 4.
3. БЕРНШТЕЙН Н. А., Очерки по физиологии движений и физиологии активности, М., 1966.
4. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Развитие высших психических функций, М., 1960.
5. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Проблема сознания. Психология грамматики, М., 1968.
6. ГАБАЙ Т. В., К вопросу о формировании мышления при обучении по линейным и разветвленным программам. Материалы IV Всесоюзного съезда психологов, Тб., 1971.
7. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Опыт изучения формирования умственных действий. Доклады на совещании по вопросам психологии, М., 1954.
8. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Развитие исследований по формированию умственных действий. Психологическая наука в СССР, I, М., 1959.
9. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Типы ориентировки и активность учения. Радянська школа, 1962, 3 (на украинском языке).
10. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Психология мышления и учение о поэтапном формировании умственных действий. Исследование мышления в советской психологии, М., 1966.
11. ГАЛЬПЕРИН П. Я., Общая психология. Конспект лекций для студентов философского факультета, МГУ, М., 1972—73.
12. ГАЛЬПЕРИН П. Я., К проблеме биологического в психическом развитии человека. Соотношение биологического и социального в человеке, М., 1975.
13. ГОЛУП П. Проблема внутренней мотивации учения и типы ориентировки в предмете (канд. дисс.), М., 1965.
14. ДУБИНИН Н. П., Биологическое и социальное в человеке. Материалы Всесоюзной научной конференции «Комплексное изучение человека и формирование всесторонне развитой личности» (28—31 октября 1975 г.), М., 1975.
15. ЗИНЧЕНКО П. И., Непроизвольное запоминание, М., 1961.
16. ИЛЬЯСОВ И. И., РЯБОВА Т. В., Концепция управления усвоением и обучение иностранному языку. Актуальные проблемы психологии речи и психологии обучения языку, М., 1970.
17. КАБАНОВА О. Я., ГАЛЬПЕРИН П. Я., Языковое сознание как основа формирования речи на иностранном языке. Управление познавательной деятельностью учащихся, М., 1972.

18. КАБАНОВА О. Я., О содержании обучения иностранному языку. Иностранные языки в высшей школе, I, Рига, 1973.
19. КАЛОШИНА И. П., Проблемы формирования технического мышления, М., 1974.
20. КИТАЙГОРОДСКАЯ Г. А., Учебное пособие по французскому языку (суггестопедический курс), М., 1974.
21. ЛЕОНТЬЕВ А. А., Психолингвистические единицы и порождение речевого высказывания, М., 1969.
22. ЛЕОНТЬЕВ А. А., Психология общения, Тарту, 1974.
23. ЛЕОНТЬЕВ А. А., Без сенсаций. Литературная газета, 1975, 30.
24. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., Психологические вопросы сознательности учения. Известия АПН РСФСР, 7, М., 1974.
25. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., Должно быть чувство жизни!, газ. Московский университет, 1975, 26. 6.
26. ЛОЗАНОВ Г., Суггестология, София, 1971 (на болгарском языке).
27. ЛОЗАНОВ Г., Основы суггестологии. Проблемы на суггестологията, София, 1973 (а).
28. ЛОЗАНОВ Г., Суггестопедическое воспитание и обучение по всем предметам в десятом классе средних общеобразовательных школ. Проблемы на суггестологията, София, 1973 (б).
29. ЛОЗАНОВ Г., Не логикой единой. Литературная газета, 1975, 13.
30. ЛОЗАНОВ Г., НОВАКОВ А., Суггестопедическая методика при обучении иностранным языкам. Проблемы на суггестологията, София, 1973.
31. МОРГУН В. Ф., Мотивация и программирование деятельности в обучении (на правах рукописи), М., 1973.
32. МОРГУН В. Ф., КУЛАГИНА И. Ю., О влиянии типа ориентировки, исходного отношения учащихся к предмету и их статуса в группе на мотивацию обучения. Труды республиканской конференции «Методологические проблемы социализации школьников в учебной деятельности», 22—23 октября 1975 г., Киев, 1975.
33. НАДИРАШВИЛИ Ш. А., Понятие установки в общей и социальной психологии, Тбилиси, 1974.
34. НЕГНЕВИЦКАЯ Е. И., К вопросу о психолингвистических и психологических основах интенсивного курса русского языка. Тезисы межвузовской конференции «Оптимальные методы преподавания языка и теория русского языка», 2, М., 1974.
35. НОТКИН Б., Скажи мне, кто твой учитель..., Литературная газета, 1975, 20.
36. ПЛАТОНОВ К. К., О системе психологии, М., 1972.
37. ПОНОМАРЕВ Я. А., Психика и интуиция, М., 1967.
38. СЕЛЬЕ Г., На уровне целого организма, М., 1972.
39. СИМОНОВ П. В., Высшая нервная деятельность человека (мотивационно-эмоциональные аспекты), М., 1975.
40. ТАЛЫЗИНА Н. Ф., Теоретические проблемы программированного обучения, М., 1969.
41. ТАЛЫЗИНА Н. Ф., Управление процессом усвоения знаний, М., 1975.
42. Теоретические проблемы управления познавательной деятельностью человека. Всесоюзная конференция, М., 11—13 июня 1975 г., М., 1975.
43. ТИХОМИРОВ О. К., РАЙКОВ В. Л., БЕРЕЗАНСКАЯ Н. А., Об одном подходе к исследованию мышления как деятельности личности. Психологические исследования творческой деятельности, М., 1975.
44. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
45. ФРЕСС П., Эмоции. Экспериментальная психология, 5, М., 1975.
46. ХОЛЛИЧЕР В., Человек и агрессия, М., 1975.
47. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, том 1, Тб., 1969.
48. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. 2, Тб., 1973.
49. MAYO, E., The Social Problems of an Industrial Civilization, Boston, 1945.
50. OKON, W., O nauczaniu problemowym, W., 1971.
51. SKINNER, B. F., About Behaviorism, N. Y., 1974.

166

НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ ПРОЦЕССЫ ФОРМИРОВАНИЯ «ЧУВСТВА ЯЗЫКА»

Р. Е. ЛЕВИНА

Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, Москва

Осознанному овладению речью предшествуют и сопутствуют психические процессы, протекающие в системе эмоциональных обобщений и других форм неосознаваемой познавательной деятельности.

Из большого многообразия аспектов данной проблемы нами выбран для рассмотрения феномен «чувства языка» — широко известный, но еще мало изученный.

Возникновение чувства языка относится к раннему периоду речевого развития. Формируется и совершенствуется оно не столько в результате научения, сколько самостоятельной ориентировки в языковой действительности, с которой сталкивается нормальный ребенок, растущий среди говорящих людей. Понятие «чувства языка» (его синонимы: чутье языка, языковое чутье, словесный инстинкт и т. п.) обычно противопоставляется осознанному знанию. «Сколько бы мы ни вносили сознательности в нашу речь, — пишет К. Д. Ушинский, — многое зависит от верности и развития нашего словесного инстинкта.

Этот инстинкт не только до́лжно приводить в сознание грамматикою, но и усиливать его беспрерывным упражнением.

Учитель должен ... развивать в детях чутье языка, которое угадывает, что форма не та, которая требуется» [7].

Самостоятельную активную ориентировку дошкольников в языке отмечают Л. В. Щерба, А. Н. Гвоздев и др. Щерба пишет: «...Дети не только механически повторяют фразы окружения, но и сами творят речь. Причем это творчество часто сопровождается... нащупыванием правильной формы, правильного слова, своего рода экспериментированием» [9]. Та же мысль звучит у А. Н. Гвоздева: «Ребенок конструирует формы, свободно оперируя значимыми элементами, исходя из их значений. Еще больше самостоятельности требуется при создании новых слов, т. к. в этих случаях создается новое значение, для этого требуется разносторонняя наблюдательность, умение выделять известные предметы и явления, находить их характерные черты» [4].

К. И. Чуковский, говоря о «чутье языка», пишет: «Без такого повышенного чутья к фонетике и морфологии слова один голый подражательный инстинкт был бы совершенно бессилен и не мог бы привести бессловесных младенцев к полному овладению родным языком. Все усилия взрослых были бы совершенно бесплодны, если бы дети раннего возраста не проявляли изощренного чувства к составу и звучанию слов» [8].

В работах психологов чутье языка связывается «больше с нерасчлененным переживанием, чем с сознательной логической операцией

ребенка», «...поэтому-то понятие «чувства», «чутья» языка, — пишет Л. И. Божович, — здесь и уместно; оно психологически очень тонко обозначает внутренне не расчлененный эмоциональный характер этого обобщения» [1].

А. М. Орлова экспериментально показала возможность узнавания учащимися различного грамматического материала без опоры на грамматические значения. По ее мнению, в основе «чутья языка» лежит «улавливание» учащимися некоторых общих особенностей (признаков), свойственных сходным грамматическим фактам. «Улавливаются» признаки грамматического материала, часто встречавшиеся в личном опыте ученика» [6].

Д. Б. Эльконин считает, что «чувство языка» есть не что иное, как ориентировка в звуковой форме слова» [10].

Б. И. Додонов различает узнавание учащимися грамматического материала, опирающегося на свой непосредственный опыт, не осмысленный теоретически, проявляющийся в форме «чутья языка», и узнавание, основанное на теоретических знаниях учащихся [5].

Названные выше, как и другие авторы, затрагивающие понятие чутья языка, отмечают неосознанный и в то же время активный познавательный характер формирующих его процессов.

Обратимся к генезису интересующего нас феномена.

Предыстория «чувства языка» связана с присущей маленькому ребенку способностью к звуковому «сопереживанию». Таковы, например, проявления понимания выразительных элементов речи и интонационного подражания, свойственные периоду просодиума.

На более высокой ступени стоят эмоциональные обобщения, свойственные автономной речи (Штумпф [12], Элиасберг [11] и др.). Вслед за Л. С. Выготским мы считаем автономную речь проявлением первичного смыслового обобщения: оно слито с инфантильным переживанием общности ощущений, вызываемых группой поэтому одинаково обозначаемых предметов («кх» — кошка, все меховое, пушистое; «фф» — спичка, огонь, все горячее, светящаяся лампочка; «у-у» — ехать, поезд, вагон, колесо; «ток» — лампа, выключатель, шнур, веревка и т. д.).

В приведенных примерах слова еще лишены морфологических элементов, выражающих лексические и грамматические значения. В них слиты между собой предмет и действие, предмет и его качества.

Автономная речь сопровождается разнообразными интонациями и жестами, поначалу она входит в общий комплекс выразительных средств, приобретающих под влиянием социального окружения знаковую функцию. Вскоре появляются также попытки построения фраз из слов автономной речи: «ка ма» — киски нет; «ба ка» — бабушка варит кашу: «папа бух» — папа упал: «Ди но-но» — Дима поедет и т. д.

В приведенных примерах еще нет морфологического анализа слова, но они свидетельствуют о некотором вычленении из наглядной ситуации предмета, действия, качества, что подготавливает отказ от прежних недифференцированных значений слова.

Вскоре обнаруживаются и зачатки различения морфологических элементов слова. Пользование единственной формой слова уступает место грамматическим изменениям, правда, на первых порах не везде удачным. Если до того ребенок на вопрос, куда он идет, отвечал: «баба» (к бабушке), то теперь можно получить ответ: «бабу». Неправильно назвав новую форму слова, ребенок, однако, проявил способность употребить его в новом значении, прибегнув для этого к изменению окончания. Если переспросить ребенка в том же примере: «к баба?», он

протестует и повторяет: «бабу». В чем состоит разница форм того и другого слова, ребенок 1,5—2 лет, разумеется, определить не может. Новая ступень усвоения грамматического значения носит практический, неосознанный характер.

Вполне аналогичны этому примеры неосознанного различения ошибок звукопроизношения. Ребенок довольно рано подмечает замену звука в слове, противопоставляет ему правильно произнесенное слово в целом, но указать, в чем именно ошибка — не может. На начавшееся неосознанное расчленение глобального звукового целого указывают примеры другого рода. Ребенок вдруг вместо «мак» начинает произносить «гам», вместо «боты» — «допы», вместо «моется» — «моеста», вместо «с усиками» — «с усикаим» и т. д.

Как свидетельствуют дневниковые записи, в конце второго года у детей появляется употребление двух или нескольких форм одного и того же слова. Само по себе их появление есть результат неосознанных, практических наблюдений, относящихся не только к звукам, но и флексиям. Ребенок их заметил.

Ошибки, указывающие на скрытую неосознанную познавательную работу над языком, справедливо называют «хорошими» ошибками, т. к. они служат признаком продвижения вперед по пути совершенствования чувства языка.

Несколько позже можно наблюдать примеры более сложных практических наблюдений над языком.

Интересны факты неосознанного усвоения относительного звучания фонем. Вот примеры, заимствсванные у А. Н. Гвоздева. Его сын в возрасте 3,5 лет произносит «лифунчик» (в значении львенок). В этом примере происходит замена звука «в» звуком «ф» по аналогии со словами ров (ф)—рва; веревочка — верефка и т. д. Между 6 и 7 годами мальчик слово «колясочка» произносит как «калазочка», заменяя «с» на «з» (ср. сказ(с)ка — сказочка).

Приведем несколько наших собственных наблюдений.

Ребенок, уже умеющий правильно произносить соответствующие звуки, вместо «клеточка» вдруг начинает произносить «кледочка», «тропочка» — «тробочка», «будка» — «буточка», «вата» — «вадочка» и т. д. (ср. лод(т)ка — лодочка). В названных примерах чередуются Т—Д в словах с одним корнем, что приводит ребенка к расширению представления о звуке Т, являющемся в данном случае как бы выражением фонемы Д, и к переносу такого же чередования на другие, сходные между собой слова.

Такого рода «хорошие» ошибки показывают, что ребенок нащупывает и орфоэпию в своих наблюдениях над речью. Но, чтобы полностью разобраться в имеющихся здесь языковых отношениях, ему предстоит сделать еще новые наблюдения, например, в приведенных случаях — о том, что не во всех сочетаниях звук Т в однокоренном слове будет выражением фонемы Д. Лишь после этого происходит переход к правильному употреблению чередований, прежнее свое ошибочное произношение у других ребенок встречает как нечто смешное, стремясь поправить его, он заново произносит все слово по-новому — глобально и неосознанно.

Замечено, что дети, уже вполне овладевшие внятной речью, начинают заменять и гласные звуки. Так, например, слово «лампочка» ребенок начинает старательно произносить как «ломпочка», «карандаш» — «корондаш», «Мишутка» — «Мешутка», «паровоз» — «поровоз», «абрикос» — «обрикос» и т. д.

Ребенок уже подметил, что А переходит в О, И—в Е, но наблюдения его еще не подверглись дальнейшему уточнению. Признаки смутного освоения звуковых отношений в случаях их неясного звучания проявляются и в усвоении отношений других гласных. Можно привести примеры, отражающие тот момент, когда ребенок подметил неопределенность звучания гласного в безударном положении. Стараясь воспроизвести эту особенность, он производит своеобразные поиски. Так, слово «завтрак» ребенок вдруг начинает произносить как «завтлык», «завтлюк», явно акцентируя последние звуки, наконец выделяет окончание убыстренностью темпа: «завтлик». То же происходило со словом «далеко», которое стало произноситься как «дылеко», что обнаруживало замеченную, но неосознанную тенденцию к неопределенному звучанию безударных гласных.

Проснувшаяся способность к неосознанным морфологическим обобщениям сказывается в общеизвестном явлении детского словотворчества. Морфологические элементы перестают восприниматься только в глобальной структуре знакомых слов; они подмечаются и вычленяются пока на уровне неосознанного, практического обобщения. А. Н. Гвоздевым подмечены манипуляции с суффиксами -ей, -уч -ач, и др. Вот некоторые из его примеров: «Печка стала как решето. Она еще станет решетей» (5,5 лет); «ломучий» (уголь); «солючую вещь» — о сыре (6,5); «зайчика бегучего» (6,5 лет); «деручий мальчишка» (7,5 лет), «жгачий» — лук (7 л. 10 м.) и др.

О происходящем процессе морфологического анализа слова и неосознанном умении выделить семантику его морфологических частей свидетельствуют также примеры еще неумелого образования прилагательных с помощью приставок, показывающие, что ребенок выделяет приставки «с-» и «без-» в качестве антонимов, что он подметил эти отношения (у Гвоздева: «сногая вилка» (6 л. 7 м.), «в скрышном вагоне» и др.). В неосознанном речевом опыте ребенка встречаются довольно сложные суффиксы, притом в определенной однокоренной группировке (снег, снежный, заснеженность; белый, белизна и т. д.).

На ряде примеров мы пытались проиллюстрировать то, как к первичному, чисто эмоциональному обобщению, заключенному в автономной речи, присоединяются элементарные логические операции, составляющие более сложный механизм познавания языка.

Приведенные нами «хорошие» ошибки свидетельствуют об извилистом пути, составляющем как бы оборотную сторону процесса неосознанной ориентировки в языковой действительности. Прошедший весь этот путь гностической переработки неотпрепарированной лингвистической информации, ребенок постепенно приобретает способность услышать фальшивое звучание речи, будь то неправильно произнесенная фонема, неверное словообразование или словоизменение, ошибка согласования и т. д. Но до начала систематического обучения он обычно не умеет отдать отчета себе и другим, в чем именно состоит его ошибка.

Показателем уровня развития «языкового чутья», достигнутого ребенком на пороге школы, является не только актуальное умение различать правильную речь от неправильной, но и принять помощь в задаче осознанно обозначить услышанную или сделанную ошибку.

Вместе с формированием языкового чутья ребенок научается говорить и приобретает готовность к усвоению чтения, письма и правописания, что естественно побуждает психологов и методистов ставить

вопрос о руководстве стихийно протекающим процессом (Д. Б. Эльконин и др.).

Даже научившийся правильно говорить ребенок до определенной поры часто не замечает звуковой оболочки слова, образно названной Л. С. Выготским «стеклом», сквозь которое ребенок воспринимает лишь предметное значение слова. «Ребенок, произнося любое слово, — говорит Выготский, — не отдает себе сознательного отчета в том, какие звуки он произносит, и не делает никаких намеренных операций при произнесении каждого отдельного звука» [3].

При некоторых формах патологии письма к моменту перехода к осознанному усвоению звукового и морфологического состава слов выясняется, что овладение речью в период дошкольного детства осуществлялось по преимуществу посредством накопления глобальных в звуковом и морфологическом отношении комплексов. Развития «чувства языка» при этом почти не происходило.

Как показывают проведенные в нашей лаборатории исследования школьников, страдающих дислексией и дисграфией, причиной названных аномалий является обнаруженное у них недоразвитие речи, а следовательно, и бедность практического опыта неосознанных языковых обобщений. Недостаточность «языкового чутья» у детей с поздним речевым развитием сказывается в затянувшемся явлении «стекла», глобальном восприятии звукового и морфологического состава слова, затрудняющем его анализ, в нечеткости фонематического восприятия и т. п. Такие дети нуждаются в пропедевтической работе по формированию практических обобщений, составляющих основу «языкового чутья». Лишь опираясь на него, можно было осуществлять переход к осознанному усвоению школьных знаний по чтению, письму, грамматике и правописанию.

Отмеченная нами полезная роль «языкового чутья» для подготовки ребенка к осознанному овладению устной и письменной речью в период ее систематического изучения в школе и имеющая здесь место преемственность составляет лишь один аспект проблемы. Он отнюдь не исчерпывает гораздо более широкого вопроса о взаимопроникновении неосознанных и сознательно протекающих познавательных процессов в его общей постановке. Было бы неверным считать, что охарактеризованный нами в рамках дошкольного периода феномен «чувство языка», сослужив свою службу, отмирает под влиянием систематиского обучения. Его накопления, уточненные осознанным изучением, в снятом виде продолжают существовать в языковом сознании грамотного школьника.

В этой связи заслуживает обсуждения тот факт, что и зрелому языковому сознанию взрослого культурного человека постоянно сопутствует свое «чувство языка», которое в течение всей жизни пополняется и утончается за счет «вращивания» (Л. С. Выготский [2]) приобретаемых знаний и языковых моделей.

UNCONSCIOUS PROCESSES PERTINENT TO THE FORMATION OF LANGUAGE SENSE

R. Ye. LEVINA

Research Institute of Defectology, USSR Academy of Pedagogical Sciences, Moscow

SUMMARY

The author considers the phenomenon of language sense, which implies a unity of unconscious cognitive processes initiated during the primary learning of language by a child. Emotional generalizations within babbling autonomous speech are traced, as well as initial manifestations of speech-sound and morphological analysis. The role of unconscious practical generalizations in the efficiency of conscious language learning at school is emphasized. In this connection, oral and written speech disorders are attributed to the insufficient readiness of processes which constitute the basis of language sense. Differences are pointed out in the formation of the sense of language between children and those who possess mature language awareness.

ЛИТЕРАТУРА

1. БОЖОВИЧ Л. И., Значение осознанных языковых обобщений в обучении правописанию, Изв. АПН РСФСР, М.—Л., № 3, 1946, стр. 42.
2. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Развитие высших психических функций, М., 1969, стр. 217.
3. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Избранные психологические исследования, М., 1956, стр. 265.
4. ГВОЗДЕВ А. Н., Формирование у ребенка грамматического строя языка, М., 1949.
5. ДОДОНОВ Б. И., Процесс категориального узнавания грамматического материала, ж. «Вопросы психологии», № 2, 1959, стр. 157.
6. ОРЛОВА А. М., К вопросу объективной обусловленности так называемого «чутья языка», ж. «Вопросы психологии», № 5, 1955, стр. 71.
7. УШИНСКИЙ К. Д., Избранные педагогические сочинения, М., 1945, стр. 351.
8. ЧУКОВСКИЙ К. И., От двух до пяти, М., 1956, стр. 68.
9. ЩЕРБА Л. В., Преподавание иностранных языков в средней школе, М., 1947, стр. 34.
10. ЭЛЬКОНИН Д. Б., Развитие речи в дошкольном возрасте, М., 1958, стр. 76.
11. ELIASBERG, W., Über die autonome Kindersprache. Monatschr. Ohrenh. Laryng. Rhin. 62, 1925.
12. STUMPF, C., Eigenartige sprachliche Entwicklung eines Kindes. Z. pädag. Psychol., 2, 1900.

167

РЕЧЕВЫЕ ОШИБКИ В ИХ ОТНОШЕНИИ К СФЕРЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Д. Т. СЫДЫКБЕКОВА

Академия наук Киргизской ССР, Институт языка, Фрунзе

Цель нашего сообщения состоит в том, чтобы на основе некоторых общих соображений рассмотреть те аспекты порождения и восприятия речи, которые связаны с различного рода речевыми ошибками, имеющими место в процессе общения. Предметом исследования явились ошибки речи, происходящие по типу субституции, то есть замещения одних слов другими, отличающимися по смыслу. На основе теории установки субституционные ошибки речи были сопоставлены с иллюзиями зрения, и мы попытаемся обсудить некоторые возможные следствия, вытекающие из этого сопоставления.

Речевые ошибки относительно давно привлекают внимание исследователей проблемы бессознательного. Согласно психоаналитическим концепциям, существует класс явлений, которые служат как бы смотровыми щелями, через которые можно заглянуть в бессознательную сферу человеческой психики. «Сюда относится и забывание того, что можно было бы знать, именно когда дело идет о хорошо знакомом (например, временное исчезновение из памяти собственных имен); оговорки в речи, что с нами самими очень часто случается, аналогичные описки и очитки, неудачное исполнение какого-нибудь намерения, потеря и ломка вещей — все такие факты, относительно которых обычно не ищут психологической детерминации и которые остаются без внимания, как случайности, как результат рассеянности, невнимательности и т. п., всегда полны смысла...» [6].

Таким образом, Фрейд допускал, что явления, которые обычно рассматриваются как чисто случайные и незначащие, на самом деле детерминированы. Но случайность вовсе не обязательно должна быть детерминирована однозначно и жестко. Между тем, Фрейд искал именно однозначную и жесткую ее детерминацию, говоря, что различные ошибки речи непосредственно выражают факт вытеснения желаний, существование различного рода комплексов и т. д.

Касаясь сущности теории Фрейда, Ф. В. Бассин замечает: «Необходимо понять, в чем заключается та объективная истина, которую эта теория отразила односторонне и, следовательно, искаженно...» [1].

Объективная истина, по-видимому, состоит в том, что ошибки речи действительно детерминированы. Но при этом они остаются явлениями случайными и, следовательно, рассмотрение их требует вероятностного подхода.

Мы исходили из предположения, что ошибки, возникающие в процессе порождения и восприятия речи, определяются тремя факторами: мотивом, фактором сходства и фактором вероятности. При этом следует учитывать, что вероятностный характер смыслового восприя-

тия конкретных явлений окружающего мира отличается от восприятия и понимания речи. Порождение и восприятие речи имеет свою вероятностную специфику. Конечно, и для речевых процессов и для восприятия предметного мира в высокой степени существенно вероятностное прогнозирование — это весьма убедительно показал И. М. Фейгенберг [5]. Но при непосредственном чувственном восприятии идентичных и повторяющихся явлений последние как бы смещаются на периферию внимания. Стереотипные элементы аналогичных по характеру ситуаций, последовательные стереотипные действия, связанные с восприятием привычных объектов — все это постепенно и незаметно для индивида погружается в сферу бессознательного. Но параллельно возникает и установка на смысловое восприятие отклонений от некоторого привычного стандарта, иначе говоря, на обострение внимания к явлениям менее вероятным. Любопытно, что теория информации, со своей стороны, придает особое значение именно маловероятным событиям (как известно, количество информации находится в отрицательной логарифмической зависимости от вероятности воспринимаемых событий). Именно с установкой на смысловое восприятие менее вероятных событий связано значительное число иллюзий, изучаемых патопсихологией (классический пример — темный куст, который кажется встревоженному прохожему спрятавшимся преступником). Роль установки в образовании иллюзии этого рода показана Ш. Н. Чхартишвили. Им описан, в частности, случай предметной иллюзии (изогнутую палку принимают — и неоднократно — за змею), эта иллюзия оказалась легко воспроизводимой в эксперименте, причем Ш. Н. Чхартишвили подчеркивает, что при определенных условиях «змея воспринимается, как должен восприниматься обычный (т. е. более вероятный. — **Д. С.**) предмет» [7]. Надо заметить, что в качестве первоосновы для образования иллюзии были избраны предметы, сходство которых со змеей было весьма приблизительным, причем предметы именно «обычные» в быту. Конечно, ошибки восприятия могут возникать и при относительно малом сходстве с базисным (т. е. действительно воспринимаемым) предметом, на это обращал внимание и Фрейд. Но в его интерпретации факты такого характера лишь подтверждали его учение о вытеснении [6]. Однако в описанном случае мотивация иллюзии была явно иной, и эксперимент это подтвердил.

В «иллюзиях маловероятного», как правило, возрастает роль мотива, который формирует соответствующую установку. И, как показал Р. Г. Натадзе, даже «иллюзии более вероятного» (типа иллюзии Шарпантье) могут быть существенно изменены при мотивированном изменении отношения к предметам, послужившим базисом для иллюзии восприятия [3].

Но «сознание отражает действительность не только в ее чувственно-воспринимаемых свойствах. Сознание всегда есть сознание мыслящего человека. Не чувственные впечатления, ограниченные узкими пределами личного опыта, образуют человеческое сознание. Это — лишь его источник. Сознательное — это отражение действительности, преломленное через общечеловеческий опыт, отраженный в языке» [2]. Язык построен таким образом, что многие повторяющиеся события или объекты он способен обозначить и передать иным способом, более сжатым и аккумулированным, нежели это происходит на уровне восприятий и представлений. То, что с легкостью передается с помощью языка, зачастую вообще нельзя воспроизвести путем комбинации образов.

По-видимому, фактор частотности (или, что то же самое, большей вероятности) играет различную роль на образном и вербальном уровнях. Упорядоченность, присущая речи как организованному, негэнтропическому по системной своей сущности явлению, выражается прежде всего в высокой степени повторяемости, частотности ее элементов. Для того, чтобы понять речь, необходимо, прежде всего прочего, постоянно и отчетливо дифференцировать то, что в ней повторяется, начиная с фонем и кончая словами. Это каркас любых речевых конструкций. Поэтому вместе с овладением языком фиксируется и установка на смысловое воприятие более вероятных элементов речевого потока.

Как известно, Д. Н. Узнадзе считал, что установка — это «специфическое состояние (субъекта. — **Д. С.**), которое можно охарактеризовать как склонность, как направленность, как готовность...» [4]. Д. Поливанов и Л. С. Выготский именно готовностью понять собеседника и объясняли ту сокращенность, которая присуща устной речи. Но эта *установка есть не только источник правильного понимания, но и источник неправильного понимания тоже.* Если установки говорящего и слушающего различаются, то у слушающего есть «склонность» и даже «готовность» услышать нечто в смысловом отношении близкое его установке. При этом все механизмы восприятия речи функционируют вполне правильно, и ослышки обычно ориентированы на более частотные элементы речи (как и вообще при восприятии ее структуры).

Триада «Мотив — Сходство — Вероятность» специфично проявляет себя при порождении и восприятии речи. Здесь мотив, ориентируя нас на сходство, не сужает, а, наоборот, расширяет вероятностную сферу поиска. Иначе говоря, оговорки, описки, очитки и ослышки ориентированы на более вероятный в частотном отношении вариант, и наш материал это подтверждает. Речевые ошибки по типу субституции, наблюдаемые в написанных от руки киноафишах, демонстрируют, как малочастотные в употреблении слова замещаются более вероятными, образуя сочетания, поддающиеся смысловому восприятию. Вместо:

Обнаженная Маха	— Обнаженная махом
	— Обнаженная мама
Зеленая карета	— Зеленое корыто
Завтрак у предводителя	— Завтрак у преподавателя
Убить пересмешника	— Убить пересменщика
Кавказская пленница	— Кавказская племянница
Нагая пастушка	— Наглая пастушка[1]
Строго засекреченные премьеры	— Строго засекреченные примеры

Особого внимания заслуживают факты субституционного «ложного осмысления», связанные с употреблением имен собственных. Встречается дробление имен собственных с «переводом» их в более часто употребляемые слова.

Вместо: 12 могил Ходжи Насреддина — 12 могил Ходжи на середине.

Дерсу Узала — Дерсу у зала.

Иногда субституция находит выражение и в подстановке более вероятного в смысловом отношении варианта.

[1] Здесь, казалось, была бы возможна и традиционная психоаналитическая интерпретация; отмечен, однако, и иной случай субституции: «Надя пастушка».

Вместо: Дети Дон Кихота — Дети дон Жуана.

Мысль о том, что существует класс острот, представляющих собой как бы спонтанные, намеренные ошибки речи, также находит подтверждение в рассматриваемом нами материале. Таковы, например, случаи типа: «Недойная старая дама» вместо «Недостойная старая дама».

Вообще же взаимосвязь ошибок речи с определенными формами творческой деятельности не вызывает сомнения. Это относится, в частности, к порождению юмористических текстов. Быть может, соображения, касающиеся роли мотива на уровне образного мышления, создающего установку на поиск менее вероятных объектов, сходных с базисным, имеют определенное отношение к психологии художественного творчества.

Особого внимания заслуживают речевые ошибки, обусловливаемые наличием скрытых интенсивных переживаний. Так Рой Роуан [9], заболев меланомой, описывает свои переживания: «К сожалению, опухоли такого рода имеют тенденцию распространяться, — сказал доктор. — Видимо, человеку свойственно слышать то, что ему хочется. Я отчетливо услышал «не имеет тенденции»)». Современная структурная лингвистика допускает, что семантические оппозиции (противопоставления) лежат в самой основе употребления языковых средств в процессе общения. Возможно, что оговорки и ослышки этого типа отражают семантику противопоставлений в тех обстоятельствах, когда мотив вносит в речевой поток смысловой вариант, отвечающий аффективному отношению говорящего к предмету общения.

По справедливому замечанию А. Е. Шерозия, сущность общей теории установки состоит в том, что «она способна подтвердить наличие неосвещаемой сознанием сферы психической деятельности» [8], сферы, которая может быть исследована через сопоставление ее с непосредственно данной действительностью. Так и ошибки речи, которые даны исследователю непосредственно, могут послужить основанием для суждения о сфере бессознательного. Мы предполагаем, что для анализа бесознательного в его отношении к субституционным ошибкам речи существенны все три ранее упомянутых фактора — мотив, сходство и вероятность. Эти три фактора соответственно значимы и для возникновения зрительных иллюзий. Но для смыслового восприятия речи, по-видимому, особо существенна фиксированная установка на более частый, повторяющийся вариант.

SLIPS OF THE TONGUE IN RELATION TO UNCONSCIOUS PATTERNS

D. T. SYDYKBEKOVA

Institute of Language. Academy of Sciences of the Kirghiz SSR, Frunze

SUMMARY

Slips of the tongue in relation to unconscious patterns are considered. It is suggested that the appearance of slips of the tongue is determined by three factors: motive, probability and similarity.

For the level of operating images it is characteristic that there is a shift to the relatively less probable images, whereas for speech a shift to the more

probable words is specific. However, both illusions and slips of the tongue are due to a motive which is often not realized.

The sense perceptions of the subjective world are perhaps based on a set which is dissimilar to that specific to the perception of speech (i. e. to a set disignated speech set by D. N. Uznadze).

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968, стр. 76.
2. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., ЛУРИЯ А. Р., Психологические воззрения Л. С. Выготского. В кн.: Л. С. Выготский, Избранные психологические исследования, М., 1956, стр. 16—17.
3. НАТАДЗЕ Р. Г., Установочное действие воображения. Экспериментальные исследования по психологии установки, т. 1, Тб., 1958.
4. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тб., 1961, стр. 169.
5. ФЕЙГЕНБЕРГ И. М., Мозг, психика, здоровье, М., 1972.
6. ФРЕЙД З., О психоанализе, М., 1913, стр. 41—43.
7. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., О природе иллюзии предмета. Экспериментальные исследования по психологии установки, т. 1, Тб., 1958, стр. 345.
8. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, т. 1, Тб., 1969, стр. 351.
9. ROWAN. R., Cancer. News good and bad. Reader's Digest, 1975, July, p. 116.

168

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ: ИНАЯ ЛОГИКА

С. ЛЕКЛЕР

Парижский университет, Франция

Для подлинно научного подхода характерно то, что он ставит под сомнение все явления, с которыми сталкивается. Когда в поле микроскопа появляется незнакомая структура, ничто не позволяет утверждать a priori, что это лишь артефакт, не имеющий отношения к процессам, происходящим в изучаемой формации. Во всяком случае, исследователь должен отдавать себе отчет обо всем, что появляется в исследуемой им области, и тем более, если какой-нибудь элемент возникает перед ним случайно и неожиданно. Только такой подход позволяет выяснить природу незнакомой структуры и установить, является ли последняя артефактом или еще неизвестным элементом.

Если в ряде исследований, повторенных в идентичных условиях, эта новая структура вновь и вновь появляется, то это означает, что сделано открытие, важность которого выяснится только в процессе дальнейшей работы. Однако несомненным является, что само обнаружение неизвестного ранее элемента создает иной взгляд на изучаемый предмет. А для важного открытия характерно, что оно ведет к новому ви́дению изучаемого предмета в целом, к видению, при котором каждый из уже известных элементов включается в новую систему соотношений, т. е. организуется согласно иной логике. Так, открытие Рамон-и-Кахалом целлюлярной структуры нервной ткани положило начало новой логике нейрофизиологического осмысления: то, о чем до того трактовали в терминах синцитиума или ретикулярной системы, стали выражать в терминах теории целлюлярной, породив тем самым ряд новых проблем, касающихся передачи нервных импульсов через синапсы.

Правда, понадобилось более 50-ти лет, чтобы открытие Рамон-и-Кахала окончательно восторжествовало над слепым сопротивлением сторонников ретикулярной теории, а Галилею понадобилось еще больше труда, чтобы доказать достоверность своего открытия. И все-таки никакая область научного поиска не может игнорировать это методологическое требование, каким бы ни был предмет анализа: орган тела или социальная формация, геологическая структура определенного участка земной коры или история религии, регулирующая жизнь общества.

Особенности психоаналитической работы определяются ее принципом, который состоит в том, чтобы дать возможность пациенту, т. е.

страдающему человеку, говорить без всякого ограничения перед другим человеком, который его слушает с одной только целью: услышать и учесть **все**, что будет сказано. В этих условиях **бессознательное выступает** как непрерывно возобновляющаяся **устойчивость «иной» логики,** — логики исключительно мощной, но никогда не становящейся логикой единственной. При повторении же эксперимента обнаруживается, что осознаваемая речь все время продуцируется на основе **скрытой** диалектики отношений к **«иной» речи,** к речи, организованной согласно иной логике, в которой категории времени, каузальности и принципа противоречия функционируют по-другому[1].

В рамках этой иной логики «молоко человеческой нежности» не является метафорой, тут действительно «пожирают глазами» и тонут до потери дыхания в том или той, которых любят. В опытном поле психоанализа — и только в нем — бессознательное выступает поэтому как открытие, уже сделанное и вместе с тем постоянно еще предстоящее, как иная логика, проявляющаяся тем более настойчиво, что с помощью нынешних наших возможностей регистрации можно дать о ней представление только преобразованное (и, следовательно, деформированное) и сведенное к одной лишь логике рассуждения, основанного на речи (логике сознательной). Мы можем, однако, уловить и зарегистрировать эффект этой подспудной диалектики отношений, существующих между сознательной речью и речью бессознательной, как и постоянную работу, благодаря которой строится и якобы доминирует сознательная речь (речь «спокойной совести», «здравого смысла», так называемой позитивной науки и вообще — идеологии). Психоаналитический опыт основывается прежде всего на том, что учитывает, без всяких предубеждений, провалы и недочеты сознательной речи, которые сами по себе с точки зрения говорящего, являются страданием, симптомом или незнанием.

Устами говорящего и для того, кто умеет его слушать, речью передается не только, как это часто думают, сообщение о неудачах и «осечках» его личной или семейной истории, но также нечто, интимным образом связанное с пронизывающей его историей окружающего мира. В бесконечно сложном переплетении фрагментов, выражаемых в форме описания текущих событий, рассказов, воспоминаний, а также слов, фантазмов, незавершенных или темных по смыслу заявлений, психоанализ лучше всякого другого метода раскрывает неистощимое богатство слов, проявляющееся в материальности их текста, в фонетике и акустике их буквенной структуры, которые являются подлинной субстанцией, тканью того, что выявляется перед нами. Это богатство неистощимо, ибо каждое из этих слов, каждая фраза, рассказ или фантазм заставляют нас обращаться непосредственно к самому материалу истории больного, а именно, к словам, которые эту историю составляют и благодаря которым последняя присутствует в каждом из нас.

---

[1] Ср. Freud, S., Das Unbewusste. Gesam Werke, X, s. 286.

Слова, составляющие рассказанную или написанную историю, присутствуют в нас материально и непосредственно. Если облик или мысль Сен-Жюста материально представлены на сегодня в нас, то это происходит на основе слов, сообщающих о его истории и о событиях, характеризовавших его жизнь, вплоть до его смерти. Мы можем, несомненно, опираясь на эту современную нам реальность, восстанавливать, как в фильме, картины, сцены и события его жизни и эпохи Французской Революции. Но не следует забывать, что подобное восстановление истории возможно только на основе ее же материалов, единственных, которыми мы по-настоящему располагаем. А это — слова устных или письменных рассказов, которые дошли до нас. Изображения, портреты, картины, сохранившиеся после исторических эпизодов, не ускользают от все того же статуса следов, упорядоченных в речи, так же, как от него не ускользают современные фильмы, картины, зафиксированные на пленке и складывающиеся в ценную последовательность, как слова естественной речи.

Если рассматривать в свете психоаналитического опыта скрещенные нити истории, тексты рассказов, реконструирование воспоминаний и смысл (ratio) фантазмов, то, как в сильном бинокулярном микроскопе, можно увидеть структуру составляющей их речи и статут формирующих эту речь отдельных слов. При таком подходе обнаруживается — точнее было бы сказать, слышится, — что каждая фонема, каждое слово, каждая фраза или выражение рациональной речи сохраняют силу своей выразительности или значимости только благодаря их диалектическим отношениям к словам другой речи, речи бессознательного, управляемого другой логикой. Эта диалектика, не вообразимая до психоаналитической эры, всегда была вписана в тексты, к которым люди науки имели привычку относиться с пренебрежением — в тексты сновидений и фантазмов. Это — тексты гибридные. Используя элементы рациональной и сознательной речи, общеупотребительные слова и фрагменты реальных представлений, они несут на себе одновременно резко выраженный отпечаток **«бессознательных мнестических следов»**[2], являющихся фундаментальными компонентами бессознательной речи. В этом, основанном на компромиссах, тексте фантазмов и сновидений обе логики сталкиваются и сочетаются, создавая рассказы или сцены, одновременно и реальные и абсурдные.

Так, например, сновидец садится на автобус, чтобы отправиться на место своей работы; он проезжает по бульварам и улицам, которые действительно существуют в его городе; но вот выходит пассажир, которого, кажется ему, он узнает; затем оба оказываются на пляже, окруженные детьми; дети играют, не пугаясь того, что из воды выходит конь, покрытый водорослями и испускающий лучи, весь в звездных ра-

---

[2] О «мнестических следах» см. Freud S.: — Entwurf einer Psychologie, «Aus den Anfängen der Psychonalyse», Gesammelte Werke (G. W.), S. 186;—«Studien über Hysterie», ibid., с.184;—«Die Traumdeutung», G. W., II—III, гл. VII; —«Jenseits des Lustprinzips», G. W. VIII, S. 24; — «Notiz über den Wunderblock», G. W. XIV, S. 3—8.

ковинах; автобус же стоит на пляже, ожидая всех. В таком сновидении легко найти элементы осознаваемого рассказа, повествующего о начале каждого рабочего дня. Но неизмеримо труднее распознать и истолковать ткань второго рассказа, вплетенного в первый. Можно начать прослеживание этого второго рассказа со встреченного пассажира и, прислушиваясь к «свободным ассоциациям», продолжить его на основе мыслей, вызываемых лицом и именем этого пассажира вплоть до пляжа, где из воды выходит загадочный конь. Но далее надо, действительно, только слушать (отбросив укоренившийся предрассудок, заставляющий нас заявлять свысока, что «это ведь всего только сон»), чтобы позволить появиться воспоминанию о раненом черном коне, который так испугал ребенка во время войны; и надо выслушать, не делая преждевременных выводов, увлекательный рассказ о бешеных татарских наездниках.

Нужно, словом, учесть все нити, сходящиеся в тексте этого сновидения и внимательно слушать шум раковины, той самой, которая, если ее приблизить к уху, передает рокот моря[3], этот рокот, несомненно, рассказывает многое об истории человечества, вписанной в нашу память, хотя, ограниченные нашим органическим телом, мы никогда не переживали эту историю в качестве индивидуумов. То, что запечатлелось в нашей памяти и происхождение чего мы не можем установить в рамках нашей индивидуальной истории, мы и называем **бессознательным мнестическим следом.** Следы эти исходят из истории других людей, наших родителей, наших предков, тех, кто сделал нас такими, какими мы являемся, наделив нас их собственными смелостью, слабостями, мыслями, желаниями, манерой речи, а также тем наследием, которым их самих одарила их история, — всем тем, что они смогли в этом наследии разрушить, чтобы лучше им обладать, сделать его подлинно своим и обновленным. Было бы наивно приписывать этим отпечаткам истории человечества локализацию в одном только мозге, они вписаны в мире всюду. Их бесконечная распространенность не позволяет собрать их воедино. Стремиться их каталогизировать — значит не понимать их подлинную природу. И они не перестают, в своей плодоносности, непрерывно создавать новые следы; их воздействие всегда присутствует, оно конкретно и актуально.

Таким образом, то, что проявляется — при условии терпеливого выслушивания — в гибридном тексте сновидения или фантазма, есть своеобразное, проблематичное, противоречивое отношение индивида к реальности истории человечества и мира, его подлинное отношение к истории живой и актуальной.

Система бессознательной речи, система «бессознательных мнестических следов» не поддается осмысленной логике (которую принято считать единственно рациональной), поскольку слова, регистрирующие след, его закрепляют, лишая его силы порождения, могущества жела-

[3] По-французски слова «mer» (море) и «mère» (мать) абсолютно идентичны фонетически.

ния, которые исходят от следов неосознаваемых. Слова, упорядоченные в сознательной речи, стремятся создать застывшую систему, одушевленную только ее собственной внутренней диалектикой. Они похожи на фотографии восходящего солнца, которые дают только иллюзию света и ложное обещание тепла. Подобные слова могут оставаться активными, плодотворными лишь если они связываются с бессознательными мнестическими следами в процессе этой, все еще не признанной, диалектики. Только в таком случае они могут быть использованы соответственно их природе, как действенное животворное орудие работы, а не как мертвые буквы, фиксирующие в неподвижности обманчивого знания процесс, который будет продолжаться вопреки всему. Это означает, что между логикой сознательной речи, которая ведет к замораживанию слова в абстракции, и логикой бессознательной речи, в которой сохраняется неистребимо сила желания человека, есть противоречие, несовместимость или, точнее, антиномия. Но это означает также, что словами, составляющими сознательную речь, можно надлежащим образом пользоваться, только учитывая непрерывную работу, на основании которой они противоречиво (конфликтно) связываются с элементами иной (бессознательной) речи, и что обе эти речи, как это показывает психоаналитический опыт, неразъединимы.

Весьма трудно объяснить более или менее конкретно тем, кто не знаком с психоанализом, логику бессознательного, природу его элементов, бессознательные мнестические следы и, особенно, их парадоксальную связь с сознательной речью, к которой мы привыкли. Чтобы сделать это, мы приведем сейчас фрагмент психоаналитического эксперимента, выявляющего исключительную мощь бессознательной речи, реальность ее проявлений и аналитическую работу, позволяющую эти проявления переделывать.

Речь идет о молодой женщине, подвергнутой психоанализу около 15-ти месяцев назад. В центре симптомов ее болезни — депрессия, заторможенность, даже растерянность, — тревожащий ее вопрос идентификации. Как это часто случается, ее родители ожидали, что родится мальчик, и в момент ее рождения у них не было заранее намеченного для нее имени. Подобно этим родителям, прибегнем к импровизации и назовем ее Мирейей. У ее родителей есть уже старшая дочь, и им придется ждать «номера 3-го», чтобы появился желанный мальчик. Эти, хотя и весьма банальные, обстоятельства постепенно наложили на Мирейю отпечаток тревожной неуверенности ее родителей в возможности реализации их желания — тревожности и неуверенности, симптоматичных для глубокого дискомфорта, испытываемого ими в их личной истории, в их обществе, в их культуре. Мирейе это придает резкий отпечаток неуверенности в своей тождественности как женщины и, стало быть, в своей собственной сущности. Тем не менее, она противостоит этим переживаниям без серьезного расстройства личности. В том, что она рассказывает о своем происхождении, легко распознать сомнения, испытанные ее матерью в ее собственном положении как женщины, и трудности для

ее отца найти в этой истории правильное место для своего положения как мужчины.

Очень скоро, в процессе психоанализа, первый же сон выявляет в своем гибридном составе переплетение сознательной речи и бессознательных мнестических следов. На цинковой крыше дома играют старшая сестра со своим маленьким ребенком и наша пациентка. Мирейя опасается, как бы дитя не упало, высказывает свое опасение, мешает ребенку упасть, схватывает его; в конце концов дитя все-таки падает с крыши, но его поднимают с земли без особых повреждений. Гибридный характер этого сновидения (здесь необходимо обратиться к французскому оригинальному тексту, и мы приводим на фонетическом языке его ключевые слова) проявляется сразу же в представлении крыши (цинковой), на которой разыгрывается сцена. «Крыша» (toit) выражает, как в ребусе[4], личное местоимение «ты» (toi), что отчетливо выступает в нити ассоциаций, возникающих в ассоциативном эксперименте, поставленном по пробуждении. Таков же переход от «toi» (ты) к «moi» (я) или, точнее, к вопросу о «я», связанному с идентификацией. Можно выразить эту проблему формулой: «toi—moi» (ты/я), которая может видоизмениться в «toi et moi» (ты и я), в «toi ou moi» (ты или я) или же в «à toi a moi» (тебе/мне). Это — гибридная формула, в которой грамматические элементы экспрессивного высказывания смешиваются вследствие движения элементов бессознательных, и это проявляется в том, что фонетически-акустическая материальность местоимения «toi» (ты) воспроизводит во сне представление «toit» (крыша). Логическая связь состоит здесь в фонетической идентичности и обнаруживает в своей кажущейся нелепости власть «иной» логики, логики собственно-бессознательной. Так же явственно, соседствуя в фонетической логике с «toit» (крышей), напрашивается «trois» (три). Три действующих лица напоминают многие тройственные констелляции: отец, мать и Мирейя; трое детей; Мирейя, ее муж и ее соперница. Однако во сне проявляется также особая арифметика: три минус один (упавший ребенок) оказывается, в конечном счете, равным все же трем (3—1=3).

Отметим также попутно «zinc» (цинк) крыши, который не участвует активно в ассоциациях сновидений, но который мы снова находим в «cinq» (пять) и особенно в его анаграмме «quinze» (пятнадцать).

Мы так привыкли к плоской логике «2 и 2 равняется 4-м», что такое понимание сна, обосновываемое его содержанием, может удивить и даже, признаемся, показаться мало серьезным. В действительности же бессознательное в Мирейе ведет счет столь же тщательный, сколь фантастический, ее память (та память, в которой запечатлеваются бессознательные мнестические следы) ни в чем не уступает самым усовершенствованным компьютерам. В то время, как я пишу эти строки, Мирейя ждет ребенка; это — последние месяцы ее беременности. Недавно я отлучился на пятнадцать дней, о чем ее своевременно предупредил. Этот

---

[4] Cp. Freud, S., Die Traumdeutung, Gesam. Werke II/III, s. 284.

перерыв в нашей работе ей неприятен, но она продолжает высказывать то, что ее беспокоит, и делает это как раз во время моего отсутствия весьма картинным образом. На 7-й день остановки анализа в ее беременности, до того протекавшей без каких-либо нарушений, неожиданно появляется осложнение: возникают сильные маточные схватки. Ее госпитализируют из-за опасения преждевременных родов. Однако не констатируют никаких объективных изменений: плод не сдвигается и шейка не расширяется. Нет никаких признаков изменений в состоянии плода, самые тщательные исследования не выявляют никаких органических аномалий, ни гуморальных, ни гормональных. Несмотря на интенсивное антиспазматическое лечение переливаниями, схватки лишь незначительно уменьшаются в условиях покоя, усиливаясь каждый раз, как только она встает. И только в тот момент, когда мы должны были вновь встретиться, она отдает себе отчет, что ее маточные схватки начались именно на 15-й день 7-го месяца ее беременности. Она полагает, что ее мать носила ее именно семь с половиной месяцев, так как ей сказали, что она родилась преждевременно. С этого момента интенсивность ее схваток внезапно ослабевает и они становятся менее частыми, хотя и не прекращаются. Нечто, исходящее из бессознательной речи и выступающее здесь как некий счет, отчетливо проявляющийся в процессе психоаналитической работы, тормозит родовой процесс, делает его неэффективным, но не останавливает его совсем. Дело в том, что бессознательный счет в определенном смысле не абсолютно точен и должен быть расшифрован полнее. Разговаривая со своей матерью, Мирейя обнаруживает, что (вопреки тому, что она думала, а именно — что родилась на седьмом с половиной месяце беременности), по утверждению ее матери, она родилась ровно на восьмом месяце. Таким образом, между историей, которую она себе рассказывает, и той, что рассказывает ее мать, имеется перерыв в 15 дней. И вот, точно в тот самый день, когда исполняется 8 месяцев ее беременности, схватки ее внезапно полностью прекращаются, и она возобновляет свою нормальную жизнь. Несомненно, все это она уже давно знала «бессознательным» образом, потому что именно на следующий день было назначено — и состоялось — ее венчание, завершившее ее сожительство с отцом ее ребенка, длившееся уже полтора года.

Рассматривая теперь с позиций психоанализа то, что происходило в этой фазе эксперимента, мы констатируем, что произведенная работа состояла в **критическом сопоставлении разных речевых потоков**, т. е. разных систем, каждая из которых стремится функционировать самостоятельно. В организме возникают нарушения, проявляющиеся в симптомах, которые требуют вмешательства других лиц и их науки, с одной стороны, гинекологов и акушеров, а с другой — моей науки, которая заключается в учете логики бессознательного. И приходится констатировать, что эта наука «выслушивания» оказывается решающей в дальнейшем ходе событий. Прежде всего, благодаря

этому выслушиванию, Мирейе представляется история ее собственного рождения, выраженная в очень точных числах. Затем что-то говорится о системе организации моего времени: 15 дней отсутствия для работы заграницей. Начиная с этих 15-ти дней, история ее рождения обрисовывается в том виде, в каком она выступает в системе воспоминаний ее матери. Важным фактом, обнаруживаемым в результате сопоставления связей между этими различными системами, является то, что ни одна из этих историй не исключает других, и особенно то, что все они остаются в определенном соотношении друг с другом, какова бы ни была кажущаяся разнородность их логик. Но главное здесь в том, что подобный опыт отчетливо показывает, что каждая из этих систем участвует одновременно в **иной системе**, которая не сводится ни к одной из них. Эта всеобъемлющая система — нечто вроде системы чисто символической, каким является, если использовать напрашивающийся пример, календарь, одинаковый для всех и одновременно различный для каждого в соответствии с его собственной историей.

Однако бессознательная речь, состоявшая из бессознательных мнестических следов, еще более похожа на память компьютера, программа которого была в него заложена лицами, посторонними тем, кто пользуется ее результатами. Эти «чужие инстанции» являются «другими» только потому, что они—тайная судьба и незавершенные сны тех, кто нам предшествовал, скрещение слов и историй, составляющие Историю, незаконченную и вечно живую, ту, которая передается и продолжается, которую не перестают излагать, описывать и созидать.

Строго говоря, следы эти еще труднее уловить непосредственно, чем те, которые вписаны в память компьютера. Их воздействие ощущается, можно пытаться восстановить способ их вписывания, но их невозможно обнаружить как таковые, подобно тому, как нельзя объективировать встречу в звуковом пространстве «до» и «соль». Своим свойством абсолютной **нестираемости** они обязаны тому, что **не написаны ни на каком субстрате**, что состоят только из последовательности встреч, из скрещения сетей. Их решающая сила происходит от их появления в особые моменты истории: в моменты зарождения и первых фаз жизни субъекта. Так, в случае Мирейи мы видим в поле психоаналитического опыта необычайно мощный захват ее физиологических систем системой символической, состоящей из цифр, и особым образом организованной в виде воображаемого двойного календаря — ее собственного и календаря ее матери. Сопоставление этих календарей дает сдвиг в 15 дней. Эти 15 дней или просто цифру 15 можно рассматривать как отражение бессознательного мнестического следа, который в какой-то степени выведен из своего латентного состояния действием 15-ти дневного перерыва, вызванного моим отсутствием[5]. В поле психо-

---

[5] Мне могли бы возразить, что цифра 15 была введена в опытное поле, как постороннее тело, моим вынужденным отсутствием. Аргумент этот имел бы вес, если бы можно было вообразить, что устройство психоаналитического поля допускает исключение потока речи и истории, в которые я включен. Гипотеза такого исключения полностью, однако, противо-

аналитического опыта, для которого, напомним, характерно то, что он выявляет все, что может быть сказано без какого-бы то ни было исключения, a priori, этот «след» 15 или 15 дней говорит особенно громко. Было бы, однако, ошибкой думать, что это число 15 вписаню в бессознательное так, как если бы его написал на классной доске учитель, обучающий детей последовательности цифр. «Программирование» этого числа, его бессознательное вписывание зависит от более сложного процесса, эскиз подлинной природы которого мы постараемся сейчас набросать.

Прежде всего, ничто не позволяет нам утверждать, что слова матери соответствуют объективной биологической реальности и что Мирейя действительно родилась спустя 8 месяцев после ее зачатия. Единственный факт, который можно констатировать, то, что теперь эта женщина именно так рассказывает историю своей беременности второй дочерью. Остается под вопросом, каким образом эта цифра 8 запечатлелась в мыслях матери. Так же дело обстоит с числом «семь с половиной» Мирейи, благодаря которому возникает цифра 15. В первом же сне, который мы рассказывали, сне о ребенке на крыше, можно было прочитать игру своеобразной арифметики 3—1=3. Сон этот заключал в себе также искусно переряженную в zinc (цинк) цифру 15 (quinze), которая тут является решающей, как и цифра 5 (cinq), которую 15 в себе заключает. К этому можно прибавить, что симптом возник в середине (на половине) времени моего отсутствия. Бессознательное не останавливается на таких ошибках, как смешение в его логике месяцев и дней, словно основным является материальность цифры 15. Согласно той же шуточной арифметике, 15 выражает подсчет семейной ячейки Мирейи[6] (1 группа из 5 человек) или, используя французскую фонетическую материальность цифры 5, 15 образно выражает 3 акта материнства ее матери: 3 умноженное на «sein»[7].

Все это показывает, что бессознательное вписывание программируется неисчерпаемой «сверхопределяемостью», т. е. заранее не определенным, неоднозначным образом. Доказательства реальности подобного вписывания даются только определяющей и, следовательно, абсолютно определенной мощью его воздействия. Это означает также,

речит подлинному положению вещей, потому что она с самого начала ограничила бы возможность высказывать и выслушивать все. Напротив, тут надо без малейшей оговорки учитывать тот факт, что я сам—лишь продукт речи и истории. Практическая задача психоаналитика в психоаналитическом опыте—это никогда не изменять истине, гласящей, что сам он, при выполнении своей функции,—всего только место вскрытия (или выслушивания) совокупности высказываемых речей и что вмешивается он в эти речи только в качестве рупора живой истории. Ясно, что положение его трудное, тут слишком легко поскользнуться и сойти с твердой позиции, чем и объясняются идеологические ошибки психоанализа и то, во что он превратился во многих культурных центрах Запада в полном противоречии с его истинным духом и призванием.

[6] По-французски «cinq» (пять) фонетически неотличимо от «sein» (грудь).

[7] Freud S., Der Witz und seine Beziehung zum Unbewußten, G. W., VI.

что бессознательный мнестический след невозможно изолировать как некий «чистый элемент». Мы улавливаем его только в настоятельности составных частей, одной из которых он сам является, при повторах гибридных формулировок. В этих повторах выступают переряженные, но сохраняющие всю свою мощь те же следы, которые можно обнаружить благодаря элементам их фонетической материальности: toi (ты), trois (три), moi (я); sein (грудь), cinq (пять); zinc — cinq — quinze (цинк, пять, пятнадцать). Таким образом, на диалектическом языке (транскрипцию которого можно дать только фонетически) смеси сознательного и бессознательного можно сказать, как в остроте, что проблема Мирейи является вопросом ее «я» (moi) и «месяцев» (mois), иными словами, это — проблема идентификации.

Можно было бы вообразить, что в конечном счете выявление бессознательных мнестических следов удается осуществлять с помощью фонетического анализа полного объема высказываний пациента. Но это значило бы оставить без внимания тот существенно важный факт, что все может быть сказано только в присутствии и через посредство другого человека, выслушивание и вмешательство которого беспрестанно свидетельствует о наличии живого отношения со стороны обоих — говорящего и слушающего — к словам и истории, которую они совместно ткут. При этом необходимо, чтобы этот «другой» был неуклонно внимателен, подобно исследователю перед микроскопом, ко всему, что наши вековые привычки приучили нас не видеть, ко всему, что совокупность слишком хорошо построенной речи коварно заставляет нас не слышать.

По сей день только в поле психоаналитического опыта была выявлена, конкретно и объективно, очевидность настойчивого и решающего наличия **«иной логики»**, логики бессознательного (бессознательных мнестических следов). И тем, кто претендует на строгое научное исследование сущности человека и его истории, считаться с этой «иной логикой» совершенно необходимо.

Примечание редакции

Статья С. Леклера, одного из наиболее ярких представителей психоаналитической школы Ж. Лакана, привлекает внимание читателя прежде всего своеобразием манеры изложения, необычностью стиля, в котором она написана. Этот стиль статьи немало затруднит для тех, кто непривычен к литературным традициям лаканистов, понимание ее содержания. Но здесь — лишь первое препятствие, с которым столкнется читатель, ибо сложность работы Леклера обусловлена в данном случае не только оригинальностью ее формы. Не меньшую роль играют на этот раз особенности концептуального подхода ее автора, своеобразие смысловой конструкции, которую Леклер создает.

По мере того, как эта конструкция раскрывается перед читателем все более ощутимым становится заключенное в ней характерное внутреннее противоречие: противоречие между, с одной стороны, неоспоримой тонкостью психологического анализа, эффектно напоминающего о

реальной, хотя и подчас глубоко скрытой зависимости соматических процессов от осознаваемых и неосознаваемых переживаний, а, с другой, — недостаточной обоснованностью того, что система **конкретных** психологических интерпретаций, предлагаемая автором, является не произвольной, а единственно адекватной, что Леклером выявляются детерминации подлинные, практически в случае Мирейи осуществившиеся, а не только потенциально возможные, не более доказуемые, чем множество легко вообразимых других.

Когда Леклер указывает, что «бессознательное функционирует согласно иной логике (чем система сознания), архаической и абсолютно неустранимой»; что для проникновения в интимный душевный мир необходимо «учитывать без всяких предубеждений провалы и недочеты сознательной речи», которые говорят не только о «незнании», но и о «страдании и симптомах»; что в сновидениях обнаруживается сложнейшее переплетение того, что фигурировало ранее как содержания бодрствующего сознания, и «мнестических следов», в которых запечатлевается, фиксируется неосознаваемый опыт; что понять связи, существующие между элементами сновидения, можно только допустив детерминированность этих связей «значениями», качественно отличными от тех, на которые опирается, которые приемлет бодрствующее сознание; что причудливое взаимопроникновение двух этих разных систем значений—это одновременно основное препятствие, мешающее понять смысл сновидений, их роль в душевной жизни человека, и единственный подчас феномен, неторопливый, предельно скрупулезный анализ которого позволяет этот смысл и эту роль как-то рационально осветить, когда Леклер высказывает и страстно защищает все эти суждения, позиция его очень сильна и возражать ему трудно. Сложность и своеобразие этих картин — это сложность и своеобразие неоспоримых клинических и экспериментальных фактов, — это сложность и своеобразие интимной структуры психической деятельности, которые мы должны стараться понять, какие бы препятствия на этом пути не возникали, с какими бы устаревающими традициями истолкования ни приходилось расставаться.

Но все это — только одна сторона вопроса. Другая же заключается в том, в какой степени обоснованы те **конкретные** истолкования, которые Леклер дает выявляемым им картинам. Конечно, «цинк» (zink) **может** стать в сновидно измененном сознании отражением его французской анаграммы (числа 15, — quinze); образ «крыши» (toit) **может**, как в ребусе, стать символом местоимения «ты» (toi); **можно** даже допустить, памятуя о фантасмагории образов, сменяющихся в сновидно измененном сознании, что число 15 образно выражает, как это пишет Леклер, «три акта материнства»: 3 умноженное на 5 (по французски пять «cinq», фонетически неотличимо от слова «грудь», sein), но **реализуются ли** в данном случае **именно эти** потенциальные возможности, вносящие — если мы их положим в основу истолкований — определенную упорядоченность и смысл в хаос сновидений и психосоматических соотношений? Или может быть, — мы должны найти мужество высказать и обсудить и такую гипотезу, — что поддаваясь не всегда ясно осознаваемым образом естественному желанию увидеть в сновидении символическое отражение ранее выявленных объективных соотношений, мы лишь «подбираем» (неумышленно и невольно) из беспредельного множества потенциально возможных вариантов истолкования те, которые облегчают создание логически завершенной, внутренне непротиворечивой теоретической конструкции?

Мы обращаем внимание на это характерное расхождение между обоснованностью общих положений, на которые опирается Леклер, и

недостаточной доказуемостью его конкретных интерпретаций, потому что здесь выступает одна из характернейших слабых сторон психоаналитической методологии вообще, проявляющаяся на материале самых разнообразных созданных ею общих идей и вытекающих из этих идей более частных и специальных представлений. Значительный подчас интерес, который представляют первые, довольно быстро во многих случаях утрачивается, когда мы переходим ко вторым. И полностью избежать этой общей тенденции, являющейся подлинной ахиллесовой пятой психоанализа, Леклеру, по нашему мнению, не удалось.

Нельзя сказать, что Леклер не осознает всю необходимость и сложность быть убедительным не только в общем, но и в частном. Он сам заостряет вопрос о «доказательствах реальности» вписывания бессознательного в ткань образов сознания, вписывания, которое, как он справедливо подмечает, не программируется заранее определимым однозначным образом. Но в чем он видит эти доказательства? Только в «абсолютно определенной мощи этого воздействия» (т. е. в силе воздействия бессознательного на сферу осознаваемого и соматику). Но достаточно ли такое доказательство? Нам думается, что это доказательство гораздо скорее общего положения о влиянии бессознательного на сознание (т. е. того почти очевидного, что в специальной аргументации особенно уже не нуждается), чем именно тех конкретных и частных форм проявления бессознательного, на основе которых Леклер осмысляет весь клинический случай Мирейи. Эти конкретные формы остаются поэтому, в рамках статьи Леклера, скорее реально названными, только предположенными, чем доказанными.

Статью Леклера следует поэтому считать весьма показательной во многих планах. В ней отражена форма развития мысли, во многом характерная для определенных по крайней мере течений в современном психоанализе. В ее основу положены некоторые общие представления, составляющие важный теоретический вклад психоанализа в современную психологию. И она же показывает, каким, по-видимому, долгим и трудным путем нам всем предстоит еще идти, чтобы от этих фундаментальных констатаций приблизиться к возможности убедительно выявлять не только общую феноменологию бессознательного, не только глобальные закономерности, которым подчинена его активность, но и своеобразие его индивидуальных проявлений, проявлений в психической деятельности конкретного человека, находящегося в условиях конкретной объективной ситуации. Некоторые соображения на эту последнюю тему были недавно сформулированы одним из нас применительно к проблеме продолжения «психической защиты» в фазе сна (Ф. В. Бассин, Бессознательное и поведение, 1978).

При таком общем понимании статьи Леклера, ее прочтение должно несомненно явиться для читателей настоящей монографии весьма интересным и важным.

169

INCONSCIENT ET LANGAGE

J. NASSIF

L'Ecole freudienne de Paris. France

L'Inconscient n'est pas dans la Nature, mais dans l'Histoire.

C'est ce qu'il importe de rappeler quand fait mirage l'idée d'avoir à parler de l'inconscient pour les tenants d'une langue dont l'Etat, à notre connaissance, n'admet pas l'existence du psychanalyste.

Que l'Inconscient ne soit pas dans la Nature, cela revient à dire que son existence ne saurait être ni infirmée ni validée par une approche d'ordre scientifique traditionnelle, puisqu'elle n'a pour tout répondant que l'existence de psychanalystes dignes d'en répondre.

Cela ne veut pas dire que leur pratique soit sans discours capable de la Science. Même si ce n'est pas aux concepts de cette science de l'histoire, fondée par Marx, que se réfère la psychanalyse, comme discours de Freud. Même si ce ne saurait être par importation des concepts de l'une ou l'autre des sciences de la Nature, que ce discours peut être baptisé Science, comme l'a tenté ce même Freud, en vain, est-on maintenant en mesure de constater.

Sur quoi se fonde, en effet, ce discours? Non pas sur la Science (ainsi destituée, de par la simple existence du psychanalyste, de son rapport privilégié au discours du Maître), mais sur une pratique du sujet de la science, qui découle de la prise en considération de ce fait que le moindre délire, le plus anodin des fantasmes, si l'on se donne le moyen de les écouter se dire, en laisseront entendre encore davantage que tous les traités de la clinique des signes.

Encore davantage, qu'est-ce à dire? Il faudrait plutôt écrire: autre chose. La psychanalyse est, en effet, cette pratique du savoir, qui entraîne la subversion du sujet de la science, du fait qu'elle institue un lieu à partir duquel le soin de faire la théorie n'est plus confié au savant, mais restitué au sujet du symptôme lui-même.

On ne saurait cependant s'arrêter sur cette voie un seul instant. C'est bien en tant que sujet à la science que le symptôme (dit «névrotique» ou surtout «psychotique») travaille à la théorie, étant donc reconnu, quand son discours se laisse écouter, comme nullement hétérogène au champ du savoir théorique, mais s'adressant au sujet de la science pour lui poser la question de la vérité de son discours.

Il faut donc que ce discours en soit venu dans l'histoire en ce point où s'isole précisément un sujet de la science. Et il a fallu pour cela que la science vienne buter sur le problème du langage, tel qu'il se pose à partir de la mi-

se en question du pouvoir que recèlent les mots de celui qui a la parole, en tant que savant.

Or, c'est ce qui est advenu, quand des sujets atteints de symptômes auxquels le discours de la clinique ne savait plus répondre autrement que par la suggestion du traitement moral ou la ségrégation de l'internement psychiatrique, sont néanmoins parvenus à faire entendre leur voix. Et il faut dire qu'ils n'ont pu y arriver qu'en imposant leur savoir à ces agents commis par l'institution médicale pour exercer le pouvoir encore une dernière fois par les mots, avant d'en venir aux actes.

De fait, afin de renforcer le pouvoir chancelant de la suggestion, les médecins avaient cru bon devoir recourir à l'usage de l'hypnose. Or, les hystériques, en refusant de se plier aux injonctions qu'on leur adressait ainsi, ont tourné à leur avantage ce maniement de la voix qui va jusqu'à renoncer au pouvoir du regard auquel la clinique est rivée. Elles sont, en effet, parvenues, dans leur discours pour convaincre du bien-fondé de leur plainte, à forcer les médecins à les écouter sans les interrompre, au point de les amener pour finir à admettre qu'une «cure par la parole» (terme inventé en 1880 par Bertha von Pappenheim, premier «auteur» en la matière) pouvait avoir autant sinon plus d'efficacité que tous les traitements de la médecine.

Ce pas fait, il était inéluctable que le sujet de la science s'offusque d'avoir ainsi été détourné vers un recours à la magie. Et il n'est que temps, maintenant que la pratique psychanalytique est en passe d'être reconnue institutionnellement, de poser le problème de ce qui légitime cette mise à l'écart du visible sur lequel la clinique exerce impérialement son pouvoir. Il se formule en ces termes: Quelle conception la psychanalyse, sinon en tant que science, du moins en tant que pratique du sujet de la science, doit-elle se faire du langage, pour se rendre à même de rendre compte du pouvoir, qualifié de «magique», qu'elle restitue aux mots, sans que son action soit pour autant assimilable à celle de la poésie ou puisse passer pour du charlatanisme?

L'enjeu d'une telle question n'est pas mince, la psychanalyse n'étant plus seulement aujourd'hui une pratique marginale, mais un savoir que les institutions de tous ordres cherchent à se concilier, en l'assimilant. Sans une position ferme sur le problème du langage (Nous verrons que cela revient à en faire la «condition de l'inconscient»), le discours psychanalytique n'échappe pas à l'alternative où risque de l'enfermer une pratique d'autant plus tributaire de l'assujétissement à la volonté du maître que celui-ci cherche à la reconnaître.

Parler au psychanalyste ainsi démasqué ne vise, en effet, à rien d'autre qu'à renforcer le pouvoir de la suggestion (par la science: ce qui a lieu dans la clinique psychiatrique européenne, de plus en plus infiltrée de savoir analytique), ou bien à renforcer le pouvoir de la croyance (en la magie: ce qui a lieu dans la psychanalyse à l'américaine).

La seule issue pour échapper à l'impasse d'une telle alternative consiste à rappeler que, si la psychanalyse n'est à tout prendre rien d'autre qu'une certaine pratique du langage, celle-ci est cependant réglée par un dispositif qui n'est pas seulement un protocole expérimental (la méthode dite «associ-

ation libre»), mais un recours à une exigence de vérité censée lever l'oubli de l'éthique dans la science.

Celle-ci se formule sous la forme d'une «règle fondamentale», en fait destinée à faire pièce à toutes les contraintes qu'impose l'institution, et se déguise sous la fiction d'un contrat, dans lequel une des parties s'engage à renoncer à la suggestion sous toutes ses formes (ce qui met la pratique analylytique hors du ressort de l'acte médical, qui en comporte nécessairement), tandis que l'autre s'engage à lutter dans son dire même contre toutes les formes de censure, à laquelle elle est soumise, déjà en tant que sujet parlant dans une langue donnée a fortiori en tant que sujet de l'institution.

Cette fiction de contrat, passé pour permettre de voir dans quelle mesure son application est impraticable jusqu'au bout, nous proposons justement de l'appeler le «praticable»; et notre thèse sera alors que le concept d'inconscient ne saurait être produit en dehors du praticable et indépendamment donc d'une théorie de cette pratique, en tant qu'elle concerne un certain usage du langage.

Les tenants et aboutissants d'une pareille conception ne sont pas des résultats reconnus et communément admis. Pour les faire entendre, nous procèderons donc sous la forme de l'énonciation de trois séries de thèses. Leur énoncé en temps et lieu tiendra compte: 1) de la demande des organisateurs du congrès, 2) de ce qui nous sera revenu de leur lecture par les participants, 3) de l'intérêt qu'aura plus généralement soulevé un frayage encore inédit.

I. Questions de méthode

1) Lever le paradoxe d'une lacune dans la théorie freudienne, en tant qu'elle fait défaut, lorsqu'il s'agit d'articuler explicitement Inconscient et Langage, ce n'est pas constater le décalage chronologique entre l'éclosion de la linguistique et la formation du discours psychanalytique, c'est s'apercevoir:

a. qu'il s'agit du point aveugle d'un discours se situant précisément là où praticable et théorie se nouent, non point comme une technique à sa science (termes que Freud a accrédités, en les reprenant à son compte), mais comme une condition à sa conséquence, seule la pratique pouvant ici fonder le discours.

b. que cet aveuglement concerne la nécessité de biffer une origine honteuse, en tant qu'il pouvait sembler utile, pour ne pas se faire interdire par les médecins, de proclamer que ce qui marquait le seuil franchi des commencements de la psychanalyse, c'était un «abandon de l'hypnose», qui se trouve coïncider dans le temps avec un «abandon de la neurologie».

c. que cette opération ne relève pas seulement de ce qui permet de se dédouaner vis à vis du discours du maître, mais concerne un refoulement inéluctable, pour peu qu'un acte soit posé, le seul moyen de lever ce refoulement étant de suivre les conséquences de l'acte, au point de s'intéresser à ce qui reste de ces abandons déclarés avoir fondé l'acte, afin d'y reconnaître le retour du refoulé.

En ce qui concerne la psychanalyse, en tant que discours de Freud, il s'agit d'une condition minimale, si l'on veut que l'expérience continue.

2) Cette expérience a pour champ ce lieu du praticable où se joue un acte censé justement lever le refoulement et qu'il est devenu possible de caractériser, (dans le sillage de Freud, en tant que ce nom ne désigne plus rien d'autre que le travail des psychanalysants) comme permettant d'échapper soit au passage à l'acte, tentative sans effet pour signaler l'existence d'un refoulement, c'est-à-dire pour déverouiller le discours de la science, en tant qu'il systématise la méconnaissance de l'inconscient, soit à l'acting-out, tentative en pure perte pour localiser le symptôme dans la psychanalyse elle-même, c'est-à-dire pour reproduire dans l'écriture le praticable, en tant qu'il concrétise la clôture sur lui-même du discours psychanalytique.

Ces deux branches de l'alternative à laquelle l'acte psychanalytique a pour fonction d'échapper se sont matérialisées dans la carrière même de Freud en deux moments féconds de sa pensée dont témoignent deux textes fondamentaux (l'un relégué par les psychanalystes comme par les neurologues, l'autre réservé par Freud à celui qui a joué pour lui le rôle du psychanalyste et publié posthume), axés cependant l'un et l'autre autour de la production d'un appareil: Zur Aufassung der Aphasien, en 1891, qui produit le concept d'un «appareil à langage», et l'Esquisse d'une psychologie scientifique, en 1895, où la découverte de l'inconscient s'articule autour de la production d'un appareil psychique.

4) Une lecture qui s'inspire de l'acte psychanalytique, pour lever le refoulement constitutif de la mise en jeu de son discours, devra donc faire communiquer les événements de discours que recèlent ces deux écrits, en tant qu'ils sont demeurés pour Freud totalement disjoints.

Plus précisément, il apparaît que l'un est rendu possible par l'articulation entre le fonctionnel et le topique, tandis que l'autre est travaillé par l'articulation du mnésique avec l'économique. Mais c'est la mise en jeu concomitante de ces quatre registres, sans leur exclusion réciproque, qui permet l'articulation du discours de la science avec le praticable de la psychanalyse, de telle sorte que l'inconscient trouve une voie d'accès en un discours avec lequel le sujet de la science doit dorénavant compter.

5) Le praticable apparaît alors comme le lieu d'une pratique du savoir où le sujet de la science est amené à répéter les coupures qui fondent son discours. Et cela, dans la mesure même où seule une telle répétition peut donner cours à des coupures (comme celle du concept de «névrose») que ne peut que rendre caduques la pratique des sujets pris dans l'institution médicale (la psychiatrie reste ce qu'elle est, après la découverte de Charcot).

6) La répétition des coupures qui ont amené Freud à rendre son discours indissociable de la mise en jeu d'un praticable, grâce auquel ce sont le lapsus, le mot d'esprit et le récit du rêve qui, au coeur même du langage, apparaissent comme devant être mis en série pour constituer les «formations de l'inconscient», entraîne cette conséquence, imprévisible pour Freud, en tant

qu'autre, que son propre discours devienne la formation dont l'inconscient fait trace, pour mieux se déguiser.

7) La méprise quant au rôle du langage dans l'inconscient devient alors le symptôme de l'illégitime appropriation d'un savoir par un discours qui ne fait que plagier celui de son auteur. Au point où nous en sommes, le discours psychanalytique doit aller jusqu'à déplacer la question de son auteur, pour arracher la psychanalyse à la paranoïa du dogmatisme comme à l'hystérie de l'hérésie où l'enferment les instituts que Freud a fondés.

8) Si on aborde le discours psychanalytique par ce biais de la méconnaissance qu'entretient le freudisme orthodoxe par rapport au pouvoir d'appropriation par le nom, se dégage un angle d'attaque du discours des sciences, permettant d'envisager comment la production d'un praticable autre que l'archive était devenue nécessaire pour tenir compte du fait que le sujet de la science ne peut plus se poser en auteur de son propre discours et parallélement comment c'est par exténuation de ce même sujet qu'ont pu être isolés les deux axiomes suivants:

A. Il n'y a pas d'inconscient, tant que n'est pas perçue dans l'ordre du savoir la nécessité ni effectuée dans l'ordre du discours la possibilité de construire un appareil dont le fonctionnement sera posé comme responsable des événements psychiques, dès lors à considérer comme des productions qui en seraient les effets.

B. Il n'y a pas d'inconscient, tant que ces effets qui sont nécessairement pris dans l'équivocité du normal et du pathologique, ne permettent pas d'analyser le fonctionnement d'un appareil dont le concept implique que soit étendue aux phénomènes de la pensée elle-même l'application des points de vue topique et économique.

9) L'inconscient dit «freudien», qui découle de la prise en considération de ces axiomes, bien qu'il rencontre pratiquement la nécessité de fonder le «mnésique» en registre tout aussi positif que le «fonctionnel», le «topique» et «l'économique», confond, parmi les effets dont rend compte l'appareil qui s'en déduit, ceux qui relèvent du fonctionnel («paraphasies») avec ceux qui concernent le mnésique («amnésies»). C'est pour avoir confondu ces deux types de symptômes qu'est méconnue la fonction du langage comme condition de l'inconscient, ce à quoi succombe la «métapsychologie» freudienne, lorsqu'elle ne reconnait, à coté du topique et de l'économique, que le «dynamique».

II. Sur l'appareil à langage

1) L'appareil à langage est construit: a) par induction: le catalogue des troubles se décrit comme un groupe d'inhibitions de fonctions; b) par déduction: ces fonctions s'enracinent dans une topique où se démontre la nécessité d'établir un rapport entre un «territoire du langage» et l'aire du sensori-moteur; c) par anticipation: la pathologie du langage n'épuise pas la connaissance qu'on peut avoir de sa physiologie, car elle ne permet l'interprétation que des troubles provoqués par des lésions, et par ces lésions qui ne touchent l'appareil qu'en sa capacité de «redire-après» (Nachsprechen).

2) Si l'appareil à langage doit aussi permettre l'interprétation des troubles du «langage spontané» (Spontan sprechen), il faut considérer qu'il y a place, dans la clinique de l'audible, pour un trouble sans lésion, à désigner du terme de «paraphasie», et qui fonctionne comme «prototype normal du pathologique», un tel trouble restant possible, même si l'appareil est intact.

3) L'appareil à langage est bâti sur trois types d'inhibitions que rencontre l'excitation, quand elle passe à travers sa topique: a) passage obligé le long de la voie qui va du sensoriel au moteur, même s'il importe de démontrer que le langage n'est pas induit par un «réflexe cérébral»; b) distinction, au niveau sensoriel, entre l'acoustique et l'optique; c) transformation de l'image sensorielle en quatre catégories d'images mnésiques: les images sonores, kinesthésiques, de lecture et d'écriture.

4) Le rapport entre périphérie et cortex ainsi obtenu n'est plus une projection, mais une représentation, ce qui suppose: a) le rejet des trois postulats de la psychologie classique: celui de la fibre, celui de l'impression, celui des «lacunes fonctionnelles», b) le rejet de la distinction entre voies et centres, c) la distinction entre associations et supperassociations, tout ce qui se passe dans le champ du territoire du langage étant donc de l'ordre de l'association ou du transfert.

5) Les centres de la neurologie classique fonctionnent ainsi comme des seuils faisant passer l'excitation de l'ordre du sensori-moteur à ce territoire du langage où le redire-après s'articule au parler spontané et où la physiologie du langage garde une relative autonomie par rapport à sa pathologie, la production de monstres étant toujours possible. Le topique n'occupe plus ainsi la fonction de déterminant en dernière instance qu'au niveau de son bord.

6) L'appareil à langage, à chaque acte du langage, associe les trois fonctions: acoustique, kinesthésique et visuelle, dont la localisation se situe à la frontière de son territoire en trois points différents.

7) Le territoire du langage n'a pas de voies afférentes ou efférentes s'étendant vers la périphérie et qui lui soient propres. Le caractère bilatéral de l'excitation n'a pas de signification physiologique dans l'effectuation de l'association de langage. Ce qui se joue, au niveau de l'image du corps, à partir du rôle fondateur de la différence entre gauche et droite se joue, au niveau du territoire du langage qui est unilatéral, dans la mise en rappport d'un appareil à langage donné avec un autre appareil à langage. Autrement dit, la différence entre émetteur et récepteur joue le rôle d'ancrage physiologique de celle entre gauche et droite.

8) L'appareil à langage est ainsi doté de ce que les technologues appellent «autocorrélation». Il n'est pas seulement un outil pour parler ou un instrument pour écouter, mais un appareil dont chaque opération suppose un double mouvement d'action et de rétroaction, production et compréhension des séquences du discours étant les deux faces d'un même procès de langage. L'action et la rétroaction font s'entrecroiser en une seule cellule de case des segments acoustique et kinesthésique, l'intervention subséquente de la lettre,

lue ou écrite, passant par un circuit de rétroaction jamais autonome par rapport à l'acoustique.

9) Plus l'apprentissage progresse, plus l'action et la rétroaction s'enveloppent pour former une chaîne qui va du proféré à l'entendu et dont les différents maillons sont constitués par des points où une rétroaction kinesthésique disponible permet soit la répétition du mot pour lui-même, aux fins de le proférer comme s i g n e soit la rétention des associations aux fins de corriger le mot précédent ou d'inventer le mot suivant, en fonction des nécessités inhérentes à la compréhension du s y m b o l e.

10) La distinction entre signe et symbole découle de la prise en ligne de compte d'une série de tripartitions: a) sur le plan topique: intérieur, extérieur et bord du territoire du langage; b) sur le plan fonctionnel, qui recoupe le topique: distinction entre aphasie (lésion du bord), asymbolie (de l'intérieur) et agnosie (de l'extérieur); c) sur le plan mnésique: représentation de mot, représentation d'objet et objet.

11) La signification se définit en un premier temps comme l'effet de la mise en rapport du complexe clos de la représentation de mot (constituée pour chaque mot par la série finie de ses quatre images) avec le complexe non-clos de la représentation d'objet (constituée par la série infinie des diverses associations sensorielles), laquelle représente la tentative indéfinie de cerner le non-clôturable de l'objet.

Mais dans la mesure où une clôture n'est possible qu'au niveau de l'audible de la représentation de mot, et que la désignation ne s'opère que par rapport au visible des associations d'objet, ce sont les associations visuelles qui représentent l'objet et l'image sonore qui représente le mot. La signification se définit donc en un deuxième temps par la mise en correspondance de cette partition de l'ensemble fini des images mnésiques (l'image sonore) avec la partition de l'ensemble infini des images sensorielles (associations d'objet visuelles).

12) L'effet de signification ainsi engendré n'est pas le signe, mais sa condition de possibilité, à savoir: le symbole. Le bon usage des signes ne dépend donc pas du fonctionnement correct de l'appareil à langage. Qu'il puisse y avoir de la signification, alors que l'usage des signes est soit perturbé soit inaccessible, c'est ce que Freud entérine par la distinction entre asymbolie et agnosie.

13) L'invention du terme et la production du concept d'«agnosie», qui substitue au thème philosophique de la perception le concept de reconnaissance, les associations d'objet n'étant plus censées exciter quelque sujet percevant, mais l'appareil à langage, constitue une coupure susceptible de fonder le discours neurologique comme autonome par rapport au savoir du sujet de la connaissance. L'objet n'a plus à être connu, il suffit qu'il soit reconnu, ce qui veut dire qu'il n'existe plus qu'en tant que relais du signe. Parallèlement, le sujet n'est plus ce qui connaît, mais ce à quoi l'on se réfère pour dire qu'il y a du signe et pour monnayer des signes à l'aide du discours. Le langage produit par tel ou tel appareil étant ainsi libéré de toute adhérence à quelque référent que ce soit, le langage spontané garde toujours la possibi-

lité de se soustraire aux contraintes que lui inflige le redire-après, lors de l'imposition par autrui de son code.

14) L'appareil à langage est soumis à trois niveaux de dissolution qui déterminent les trois types d'aphasie: a) Le premier est celui de la stimulation volontaire; il recouvre l'association entre représentation de mot et d'objet; quand elle n'est plus possible, il y a asymbolie. b) Le deuxième est celui de la stimulation entre centres; il recouvre l'association entre les différentes images de la représentation de mot, ainsi que leur superassociation, lors d'une acquisition nouvelle (langue étrangère, langage musical, etc.); quand elle n'est plus possible, il y a aphasie. c) Le troisième est celui de la stimulation directe qui recouvre l'association d'objet; quand elle n'est plus possible, il y a agnosie.

Il peut donc y avoir asymbolie sans aphasie, ou aphasie, sans agnosie, tout comme il a été établi (cf. 13) qu'il pouvait y avoir agnosie, l'appareil à langage proprement dit restant intact. Il n'en reste pas moins que ce schéma de dissolution doit encore tenir compte de la nécessaire insertion des fonctions dans la topique. D'où:

15) Si on désigne ces trois niveaux de dissolution par A, B et C et par I, II et III les fonctions acoustique, visuelle et kinesthésique, qui insèrent l'appareil dans le lieu, une structure de l'appareil à langage peut se déduire à partir de la clinique de l'audible. Elle se lit de la façon suivante: I (A /→ B → C) Pour ce qui est donc de l'élément acoustique, la perte de la stimulation volontaire n'entraîne pas celle de la stimulation entre centres; mais la perte de celle-ci entraîne aussi bien celle de la stimulation directe. Puis: II (x B /→C & C /→B) Pour ce qui est de l'élément visuel, il n'y a pas de stimulation volontaire, et la perte de la stimulation entre centres n'entraîne pas celle de la stimulation directe, et vice-versa. Enfin: III (A→B /→C). Dans l'élément kinesthésique, la perte de stimulation volontaire entraîne celle de la stimulation entre centres, mais la perte de celle-ci n'entraîne pas celle de la stimulation directe.

16) Une telle structure oriente le fonctionnement de l'appareil à langage dans le sens d'une prévalence de la signification par signes. Il suffit d'affaiblir les axiomes de cette structure, pour obtenir la structure de l'appareil psychique, qui est donc sousjacente à celle de l'appareil à langage, mais qui oriente son fonctionnement dans le sens d'une prévalence de la signification par symbole, responsable de la formation des paraphasies et de toutes ces asymbolies à quoi se réduisent les symptômes de la névrose et les rêves qui permettent de les interpréter.

Il suffit pour cela de considérer que la stimulation volontaire passe de l'acoustique au visuel et de traduire la quasi surdité du rêve qui accompagne la quasi inhibition du sommeil sur le plan moteur, par les modifications suivantes:

I (A /→B→C) devient : I (A /→B→C→ε)
II (x B /→C) devient : II (A /→x→B→C)
III (A→B /→C) devient : III (A /→ε→B→C)

Par ces transformations, qui donnent une structure plus faible, l'association de symbole, qui est le point faible de l'appareil à langage, devient, au contraire, le pivot d'un appareil règlé suivant une autre logique que celle du signe, ce que Lacan appelle, modifiant le sens strictement saussurien du terme: «logique du signifiant».

III. Sur le langage dans l'appareil psychique

Etant bien évident que Freud, auteur pourtant de cet appareil à langage, n'a pas vu ce point de transformation d'une structure dans l'autre, à quelles contraintes a-t-il cru bon de devoir soumettre la théorie du langage pour qu'elle se plie aux nécessités du praticable?

1) Le champ de phénomènes à quoi ouvre le praticable n'étant accessible qu'au travers du langage, ne pouvait pas être considéré comme étant luimême du langage, mais a dû apparaitre comme une pensée d'avant le langage.

2) La théorie du langage est restée par ailleurs tributaire de la situation hypnotique, ancêtre du praticable, où si le sujet n'atteint pas l'état somnambulique, il se réveille, du seul fait qu'il parle. Ne s'étant pas donné les moyens théoriques de légitimer sa décision pratique d'abandonner l'hypnose, ne s'étant pas, en bref, rendu attentif au caractère pulsionnel de la voix, Freud n'a fait que reproduire en sens inverse l'incompatibilité entre le visible et l'audible qu'impose le discours clinique[1].

3) Cette exclusion réciproque est reprise au niveau de la théorie du jugement (qui occupe un rôle central dans la première, et définitive, ébauche de construction de l'appareil psychique, à savoir: dans l'Esquisse dont nous suivons à présent le texte) par la dichotomie entre «reproduction» (du visible) et «connaissance» (par l'audible).

a) En effet, la pensée d'avant le langage, qui cherche essentiellement à combler le manque, est animée par la recherche d'une identité susceptible de reproduire, au besoin dans l'hallucination, l'expérience de satisfaction.

b) Or cette expérience n'est pas seulement satisfaction d'un besoin biologique, mais réponse à l'attente du désir. C'est ainsi que le clivage s'établit en pierre d'angle de l'appareil psychique; et il sépare la «chose» susceptible de combler le désir, de son prédicat, la chose ne pouvant être que reproduite, et le prédicat que reconnu.

c) Ce qui est ainsi reproduit, sans être reconnu tombe par le fait de la prématuration sexuelle, sous la coupe du refoulement. C'est ce refoulement qui est responsable, quand, dans l'après-coup, fait retour ce qui est refoulé, de toutes ces formations de l'inconscient qui sont frappées au coin de l'asymbolie. L'index de la découverte de cette cause de l'asymbolie est, dans le texte freudien, le remplacement de la représentation d'objet par la représentation de chose. Et cette chose se définit précisément comme étant constituée

---

[1] «Les idées du rêve sont d'ordre hallucinatoire, elles éveillent la conscience et sont crues, une fois perçues. Telle est la plus importante caractéristique du sommeil. Elle apparaît tout de suite, quand alternent des moments de sommeil et de veille. On ferme les yeux, et on hallucine; on les ouvre, et on pense en mots» (S. E., I, p. 239).

par ces «résidus qui échappent au jugement» (S. E., I, p. 334), et qui ne peuvent être que reproduits, sans être compris.

d) La théorie du langage ne fait qu'hériter de cette alternative. Si la chose échappe au jugement, elle échoue à être exprimée par le langage, d'autant que, si celui-ci dérive du cri, c'est-à-dire de la première expérience de peine, c'est seulement de l'interprétation qu'en donne l'autre, lorsqu'il y répond par une action spécifique, que dépend la transformation de ce cri en demande.

e) Mais, si le langage est ce qui introduit la dimension de l'autre, il fait aussi bien partie du corps de cet autre, dans la mesure où c'est à travers sa voix, avant même son regard ou le fait qu'il donne le sein, que cet autre joue le rôle de «l'autre préhistorique inoubliable, et qui n'est jamais plus tard égalé par personne» (Lettre à Fliess n 52, S. E., I, p. 239), passant donc au rang de chose, quand le jugement s'y applique.

4) Bien que méconnaissant le statut de la voix, Freud est amené à accorder au langage une place mitoyenne entre pensée et perception, puisque c'est à lui que revient la tâche d'éviter les déboires de l'hallucination, auxquels exposent les tentatives de reproduction de l'expérience de satisfaction. Car, la pensée étant posée comme d'ordre quantitatif, contrairement à la perception qui ne se définit que par la qualité, seule la décharge motrice qui accompagne l'émission de la parole «met les procès de pensée au niveau des procès de perception, leur donne réalité et en rend possible le souvenir» (S.E., I, p. 366).

5) Le langage, en tant que mémoire de la pensée, n'en est pas cependant la projection, puisque les «associations de parole sont limitées et exclusives» (S. E., I, p. 365, cf. II, 11). Par ailleurs, l'image motrice n'est qu'un élément de la représentation de mot, indissociable de l'image sonore. C'est ainsi que Freud est amené à produire le concept de «système Pcs.» (Préconscient), qui prend acte, sur le plan topique, de caractère mitoyen du langage, placé donc entre les systèmes Ics. et Cs., et qui désigne, sur le plan fonctionnel, le retard de la conscience par rapport à la pensée aussi bien que la néccessité pour celle-ci de se lier à une «activation hallucinatoire des représentations de mot» (S. E., I, p. 235), pour parvenir à passer dans le système de la conscience.

6) Mais, si une relation est ainsi établie entre le «devenir-conscient des souvenirs» et «l'accès aux représentations de mot qui leur sont associées», pour peu qu'intervienne le point de vue économique, la fonction de discriminant entre l'image mnésique et le complexe perceptuel peut s'inverser. Il suffit, en effet, que la quantité nécessaire pour parcourir le circuit de rétroaction le plus long ne soit plus disponible, pour que le mot lui-même accède au statut de chose, l'association de symbole reprenant alors le pas sur la volonté de signifier par signe[1].

---

[1] «Dans un groupe de ces witz (celui des jeux de mots), la technique a consisté à focaliser notre attitude psychique sur le son du mot, au lieu de le faire sur son sens de telle sorte que la représentation de mot (auditive) elle-même vient prendre la place de la signification-telle qu'elle est engendrée par ses relations aux représentations d'objet. On pourrait vraiment

7) Les représentations de mot deviennent dans les rêves et le procès de formation des symptômes des représentations de chose qui font dériver la symbolisation du jeu de mot plutôt que du rapport à la représentation d'objet. La pensée ne saurait donc davantage être définie comme avant le langage: elle se structure comme un langage d'avant la signification, auquel manque la rétroaction nécessaire à la compréhension et qui est, au contraire, soumis à un travail de déguisement par condensation et déplacement.

8) Il faut considérer comme un axiome de la vie psychique que, dans le rêve comme dans la veille, «prévaut une compulsion à associer» (S. E., I, p. 338) les événements, pouvant aller jusqu'à mettre entre parenthèses les liens de la logique ou de la signification, pour reduire la chaîne associative aux liens du degré zéro que constituent la coïncidence et la récurrence, lesquelles se traduisent, dans la sphère subjective, par le sentiment du «récent» ou de «l'indifférent».

9) Cette chaîne associative sans lacune et toujours en action s'organise autour de structures que la pathologie permet d'isoler comme étant les fantasmes.

a) Ceux-ci «remontent à des choses entendues par l'enfant à un âge très tendre, et seulement comprises plus tard» (S. E., I, p. 245); b) «sont mis en branle par des expériences plus tardives» qui les font alors» rétrograder vers l'enfance» (S. E., I, p. 260); c) se distinguent du rêve comme du symptôme, en ce qu'ils sont déterminés par l'entendu, alors que le premier est, comme il se doit, déterminé par le vu et le second, par l'éprouvé sexuellement (cf. S. E., I, p. 274); d) opèrent par «régression temporelle» sans «régression topique», en brouillant le souvenir par une falsification chronologique qui le fragmente. Ces fragments sont alors réutilisés pour une combinaison en fonction de l'entendu, auquel la prédominance est ainsi indûment accordée.

10) La prévalence de l'entendu sur le proféré qui se lie à celle de l'incompris réinterprété sur le compris interprétable découle de la nécessité pour la chaîne associative de se soumettre, afin d'être remémorée, à une topique. Or ce lieu, qui est celui du texte psychique, n'est pas une surface vierge, mais le champ d'un antagonisme de forces. C'est donc la nécessité d'articuler le fonctionnel au mnésique qui amène la réarticulation du topique à l'économique.

11) La censure est le terme intuitif choisi par Freud pour dési-

---

supposer qu'en faisant cela, nous apportons une grande détente dans le travail psychique et que, lorsque nous faisons un usage sérieux des mots, nous sommes obligés de nous retenir, faisant un effort pour ne pas céder au plaisir de ce procédé. Nous pouvons observer comment les états pathologiques de l'activité mentale, dans lesquels la possibilité de concentrer la dépense psychique sur un point particulier est probablement restreinte, laissent en fait à cette sorte de représentation sonore du mot plus d'importance qu'à son sens, et que les malades qui sont dans cet état suivent, quand ils parlent, la ligne, pour employer l'expression, des associations 'externes' au lieu des associations 'internes' entre représentations de mot. Nous remarquons aussi que les enfants qui, comme nous le savons, ont l'habitude de traiter les mots comme des choses, s'attendent à ce que des mots identiques ou semblables gardent toujours la même signification derrière eux — ce qui est la source de bien des erreurs qui font rire les adultes» (S. E., XIII, p. 119.)

gner cette nécessité de constituer le mnésique en registre de base. Dans le domaine ainsi ouvert au discours, la censure joue le rôle de l'instance qui comprend l'original et sa traduction, l'entendu devenant, sinon du visible, du moins du lisible. Il faut donc assurer que, dans le travail de symbolisation à quoi le langage est soumis dans les rêves ou les fantasmes, les mots esprit en forme d'allusion et tout autre phénomène où la vérité est soumise à distorsion, c'est une censure qui est à l'oeuvre, permettant d'établir un rapport entre le symbolisant et le symbolisé.

12) De même que ce sont les transformations survenant dans le rêve qui permettent d'articuler en toute rigueur la structure forte et la structure faible de l'appareil à langage de même c'est l'analyse des rêves qui permet à Freud de faire la théorie de la censure comme métaphore de ce concept de lien ultime entre symbolisant et symbolisé.

a) C'est, en effet, à la censure qu'est imputable la division de l'appareil psychique en deux systèmes entre lesquels le langage reste pris; Dans l'un, le désir qui est exprimé dans le réve est construit, dans l'autre, ce désir est sujet aux distorsions auxquelles est soumise son expression, du fait de la censure, qui relie cependant ainsi les deux systèmes l'un à l'autre.

b) Cette forme de lien implique donc que, sous ce terme de censure, ne se désigne pas seulement l'agent responsable des limitations et omissions au sein du rêve, mais aussi des interpolations et additions («élaboration secondaire»).

c) Le travail de cet agent a pour résultat de rendre la chaîne signifiante équivoque à tous les niveaux, au point de rendre impossible de décider si le sujet du rêveur est figuré par lui-même ou par la figure d'un autre, si les éléments du rêve doivent être pris en un sens positif ou négatif, s'ils doivent être interprétés comme la récurrence d'un souvenir ou la coïncidence d'un événement, s'ils doivent être compris comme le signe de quelque chose ou comme le symbole d'un autre symbole, si leur interprétation doit dépendre de leur verbalisation, l'image devenant aussi équivoque que la lettre, enfin, si ces éléments sont à relier avec les pensées du rêve directement ou à travers l'interposition d'une chaîne signifiante, ce qui boucle le cercle.

13) La seule raison qui légitime ce travail de rêve est de permettre au désir de dormir de l'emporter sur tout autre désir, qui sera ainsi réduit à n'être qu'un fomentateur de réveil. Et c'est par ce biais que ce lien entre le symbolisant et le symbolisé devient assimilable à un savoir du su comme de l'insu. Freud remarque à cet efffet que «durant l'état de sommeil en son entier, nous savons aussi certainement que sommes en train de rêver que nous savons que nous sommes en train de dormir» (S. E., V, p. 571).

14) Ce savoir du su comme de l'insu est précisément coextensible à ce qui a été défini plus haut comme étant le domaine du fantasme. En l'occurence, celui-ci fonctionne comme une sorte de code de jurisprudence, auquel se réfère implicitement la censure. Mais, dans la mesure même où cette censure devient l'agent qui surveille l'application d'un tel code, si cet agent est amené à tirer le signal d'alarme du réveil, il devient, quand le rêve n'est pas

oublié et au cas où il est soumis à l'interprétation, l'instrument privilégié pour dénouer la trame du fantasme.

15) Le jugement: «Ce n'est qu'un rêve», qui accompagne un rêve dont le déroulement a été déjà admis, ayant passé la censure, et dont la distorsion n'est plus possible, est une phrase qui fait et ne fait pas partie du rêve, exprimant ainsi directement le désir de dormir. Elle est d'une importance capitale, dans la mesure où elle marque le seul point d'articulation explicite entre le langage proféré où se déploie le discours symbolisant et le langage entendu où se déploie le discours symbolisé.

C'est précisément en ce point que vient s'insérer la possibilité du praticable, comme lieu où le sujet de l'inconscient est invité à inscrire sa signature, même si elle reste longtemps déguisée à l'intéressé comme au psychanalyste.

Résumé

A la thèse de «l'Inconscient structuré comme un langage», proposée par J. Lacan dans les années 50, en même temps qu'il brandissait le drapeau d'un «retour à Freud» et qu'il prenait le risque d'une première scission, toute une partie de la communauté analytique est restée sourde.

Plus que sur la stratégie adoptée (présenter Freud comme un «précurseur de la linguistique»), le moment est venu de s'interroger sur cette surdité, sans craindre pour cela de la rapporter à un aveuglement, qui est en fait celui de Freud lui-même. Nous ne pensons pas, en effet, pouvoir faire avancer cette question de l'inconscient et du langage, sans modifier la visée du retour à Freud. Il ne peut plus s'agir de montrer à tout prix qu'il l'avait déjà dit, mais plutôt d'être en mesure de constater où et comment il ne l'a pas dit et pourquoi il ne pouvait le dire.

Plus n'est donc besoin de sauver la mise du fondateur de la psychanalyse. Il importe plutôt de faire découler la prise au sérieux de son discours de la nouvelle circulation du nom qu'elle entraîne dans les rapports d'appropriation qui vont de la chose au concept, en passant par la femme et l'écrit. Il suffit pour cela de se donner le moyen de mesurer à quel point les biens et les femmes aussi bien que les oeuvres et les actes ne s'échangent ou s'évaluent qu'en fonction du savoir que véhiculent les mots.

Or, ce moyen, dont l'usage ne saurait aller sans une désappropriation de la fonction d'auteur, serait-ce Freud, c'est la règle analytique qui l'octroie, en tant qu'elle porte sur un mode de discours qui met entre parenthèses la question de savoir qui parle et qu'elle définit ainsi un lieu d'écoute, au départ extorqué à l'institution médicale, et où s''obtient ni plus ni moins qu'une mise à distance du discours du maître dont le sujet de la science a tant besoin pour pouvoir se soutenir.

Le concept d'inconscient, dont la reconnaissance a dû entraîner la fondation d'une clinique de l'audible, ne saurait cependant être produit en dehors de cette pratique des mots définie dans le praticable de la cure, et indépendamment d'une théorie qui fonde la nécessité de subvertir le sujet de la

science tout en répétant les coupures qui inaugurent son discours, sur la reconnaissance du statut d'effet à conférer à toutes les séquences du langage, et d'effet du fonctionnement d'un appareil.

L'appareil psychique, sur lequel Freud a bâti sa «métapsychologie» n'apparaît plus dans cette optique comme fondamentalement différent de «l'appareil à langage» dont il a pu construire le concept dans son livre sur l'aphasie, sans avoir jamais voulu en prendre acte. Pour peu cependant qu'on se donne le moyen de produire la structure qui se déduit du fonctionnement de cet appareil, il devient démontrable qu'il suffit d'en affaiblir les axiomes, pour que les formations de l'inconscient elles-mêmes en apparaissent issues.

Mais c'est la mise en jeu d'une censure qui fait le lien entre ces deux états d'un même système, ce qui permet d'un même pas de définir l'inconscient comme un savoir à l'insu du sujet et de fonder le praticable de la cure sur la possibilité de retourner le gant que prend la censure, pour perpétuer l'insu de son savoir, en maintenant le sujet dans le sommeil dogmatique grâce auquel il se soutient de l'illusion du dialogue.

170

НЕПРЕРЫВНОСТЬ ПРОТИВ ДИСКРЕТНОСТИ В ЯЗЫКЕ И МЫШЛЕНИИ

В. В. НАЛИМОВ

МГУ, Лаборатория математической теории эксперимента

Сейчас нам представляется, что интеллектуальное общение между людьми невозможно без использования логически грамотно построенных высказываний. Грамматика обыденного языка — это рудиментарная логика. А логика — это правила оперирования над дискретными символами — словами. Но сами слова задаются полями значений. Слова, носители языка, имеют две ипостаси — атомарную и континуальную. В недавно вышедшей нашей книге [4] мы постарались, используя теорему Бейеса, построить модель, показывающую, как с помощью дискретной знаковой системы передается континуальное смысловое содержание.

Коротко смысл нашей концепции сводится к следующему. Со словом связано размытое поле смысловых значений. Можно говорить о том, что в сознании человека с некоторым словом μ связана априорная функция распределения $p(\mu)$ смыслового содержания слова. Это значит, что отдельные участки смыслового поля ассоциируются в нашем сознании со словом с некоторой заранее заданной вероятностью. В процессе чтения некоторой конкретной фразы y слова, составляющие эту фразу, сужают смысл слова μ, и у нас в сознании возникает условная функция распределения $p(y/\mu)$, раскрывающая содержание фразы y при условии, что мы обращаем внимание на смысл слова μ. Окончательное наше восприятие смысла слова μ создается из смешивания ранее существовавшего знания о смысле слова с вновь полученным. Пользуясь теоремой Бейеса, мы можем написать:

$$p(\mu/y)=kp(\mu)p(y/\mu).$$

Здесь $p(\mu/y)$ — апостериорная функция распределения, раскрывающая смысл слова μ и при чтении фразы y, k—константа, находимая из условия нормировки.

Развивая эту концепцию, мы должны признать, что логические конструкции строятся над смысловым дискретом — знаком, являющимся инвариантом всего смыслового содержания размытого поля значений. Знак является символом, кодирующим поле смысловых значений. Осмысливание логических конструкций — их декодирование — происходит на континуальном уровне: из континуального сознания берется априорное представление о распределении смыслового содержания слова, и к континуальному сознанию оказывается обращенной апостериорная функция распределения суженного, селективно ориентированного смыслового содержания слова после осмысливания его в тек-

сте фразы. Слова можно объяснить только через слова. Некоторое представление о размытости слов дают словари, толковые и двуязычные.

Мы провели изучение распределения входных слов словарей по выходным — объясняющим словам. Были построены гистограммы. У двуязычных словарей на гистограммах имеется максимум, лежащий где-то между 5 и 10 разъясняющими словами. Особенно интересны хвостовые части гистограмм. При выборочном обследовании мы нашли, что у малого двуязычного словаря максимальное число поясняющих слов 87, у большого — 1362, у толкового — 471. При специальном поиске полиморфных слов было обращено внимание на очень своеобразное английское слово «set» — в малом словаре оно разъясняется 96 словами, в большом —уже 1816 словами.

И все же любой сколь угодно большой словарь не охватывает всего потенциально возможного многообразия смыслового содержания слов. Иллюстрируем это здесь следующим примером.

Недавно, идя по улице, я случайно услышал обрывок разговора. Одна девушка говорила другой: «Вчера он пришел и опять начал мне пудрить мозги». Раньше я не слышал этого словосочетания, но сразу же понял его смысл. «Пудрить мозги» — значит постараться изменить течение мыслей и систему представлений другого человека, делая нечто похожее на то, что делает женщина, когда, пудрясь, она старается скрыть что-то на своем лице, как-то изменить, смягчить или приукрасить его выражение... Априорная функция распределения смыслового содержания слова «пудрить», несмотря на всю его кажущуюся простоту, имеет богатое содержание, раскрывающееся только в сочетании с другими словами. Словари, даже самые подробные, в состоянии охватить только такие словосочетания, которое стали стандартными, превратились в языковые клише. При переводе текста с иностранного языка мы постоянно сталкиваемся с необходимостью решать ребусы.

Из вероятностной модели языка, записанной с помощью теоремы Бейеса, следует, что функция $p(y/\mu)$, возникающая при чтении фразы, действует как своеобразный остронастроенный избирательный фильтр, позволяющий выделить из смыслового поля слова некую совсем узкую область. Механизм фильтрации здесь удивительно прост. Априорная функция распределения смыслового содержания слова может быть устроена так, что какие-то смежные области имеют почти одинаковые вероятности, и тогда они оказываются неразличимыми, если слово рассматривается само по себе, вне какого-либо контекста. Но, наверное, всегда можно придумать такие фразы, для которых $p(y/\mu)$ будет выглядеть почти как δ-функция, и тогда, в соответствии с теоремой Бейеса, произойдет отфильтрование области, неотличимой (вне контекста) от смежных областей.

Приходится признать следующее: **мы никогда не можем утверждать, что нельзя придумать еще одной фразы, которая как-нибудь иначе, чем это было ранее, раскрывала бы смысл слова.** И именно в этом и только в этом смысле можно говорить о континуальности мышления, если исходить из анализа семантики языка. Смысловое поле слов безгранично делимо. Представление об атомах смысла, столь необходимое для построения логической семантики, в психологическом плане не более, чем некоторая иллюзия.

Математики, особенно те, кто связан в своей деятельности с ЭВМ, не видят каких-либо принципиальных трудностей для дискретных устройств по сравнению с непрерывными. И действительно, если нам,

скажем, нужно найти площадь под кривой, не заданной аналитически, то это не вызовет особых неприятностей, если с кривой могут быть считаны точки с любым, сколь угодно малым шагом. Но нелепой была бы сама постановка задачи, если нам было бы дано только кодовое обозначение кривой и весьма нечеткое ее описание через кодовые обозначения других таким же образом заданных кривых. А в языке мы именно с этим и сталкиваемся: нам известно слово — кодовое обозначение смыслового поля и некое неясное описание этого поля, данное через другие такие же кодовые обозначения. Все многообразие смыслового содержания остается скрытым — оно выявляется только через потенциально заложенную возможность построения безграничного числа новых фраз. Но перед нами нет этого заранее приготовленного набора фраз. Континуальное смысловое содержание, стоящее за дискретными символами языка, оказывается принципиально неизмеримым. Нам доступны отдельные его фрагменты, возникающие у нас при интерпретации тех или иных фраз. Важно обратить внимание и на то, что каждый язык имеет свою особую систему входа в континуальные потоки сознания.

Если осмысливание нашей повседневной речевой коммуникации происходит на континуальном уровне, то можно высказать предположение о том, что само мышление существенно континуально. Отсюда постоянно повторяющиеся даже у поэтов высказывания о недостаточности выразительных средств языка. Ритм в поэзии и песнопении — попытка наложить континуальную составляющую на дискретные носители речи. Смутные предания о лемурийцах, чья речь была подобна журчанию ручья — отголоски о дологических, континуальных формах коммуникации. Пластические виды искусства — единственно оставшиеся у нас формы континуальной коммуникации. В музыке дискретные знаки нот сами не являются средствами коммуникации — это только запись того, что надо делать, чтобы воспроизвести континуально воспринимаемую последовательность звуков.

Реликтовые формы дологической коммуникации сохранились в простонародной речи. Такой, например, является речевая традиция европейских крестьян от сервантовского Санчо Пансы до толстовского Платона Каратаева. Оба неграмотны, оба сыплют пословицами, оба не слишком заботятся о логической последовательности и оба несут в себе многие ценности, характерные для устной культуры [9, 61]. Но можно указать и на нечто более удивительное — на культуры молчания. Одна из них — культура русского средневековья, идейно идущая от византийского исихазма. Ее дух выражен в пластических формах архитектуры церквей, в заставках к священным книгам, в иконах... но не в словах. Не осталось понятной для нас словесной интерпретации священных текстов, той интерпретации, которая позволила бы нам, людям культуры слова, понять особенность русского средневекового мировоззрения. Перед нами не только иконологическое мышление, но и иконологическая форма выражения этого мышления [5].

Многие по собственному опыту знают, какими необычайно выразительными и значительными становятся фрагменты научного текста, если им удается придать внутренний ритм. Многообразный ритм повествования прозы, видимо, только сейчас становится объектом серьезного изучения [6], хотя мы всегда его внутренне ощущаем. Религиозные тексты всегда организованы так, чтобы в них ощущался внутренний ритм. И именно эта ритмическая организация придает им особую

убедительность: «Система заповедей может быть не совсем логичной, но она непременно подчинена единому ритму, она поэтически организована... Не существует никакого образа новой морали, сравнимого со «Страстями» Баха, рублевским Спасом, гандхарским Буддой». [5, 423—424]. Нельзя ли все это рассматривать как прямое обращение к континуальной составляющей человеческого мышления?

Мы отдаем себе отчет в том, что наш подход к противопоставлению языка мышлению может быть подвергнут критике. Одно из возможных возражений может быть сформулировано примерно так: если мозг человека действует как дискретная вычислительная машина, то не может ли оказаться, что та ее часть, которая ответственна собственно за мышление, имеет на несколько порядков больше элементарных дискретных носителей информации, чем наш языковый словарь. Мы готовы принять этот вызов и можем противопоставить ему ряд фактов, известных из психологии мышления, антропологии и психиатрии, свидетельствующих непосредственно о континуальности мышления.

Попробуем, хотя бы совсем коротко, осветить их здесь.

1. **Рефлективное мышление и творческое озарение.** В нашем понимании рефлективное мышление — это дискретное управление континуальным потоком мысли. Человек на дискретном языке задает вопрос самому себе — своему спонтанно протекающему мыслительному процессу. Получая ответ, он анализирует его на логическом уровне, и, если ответ его не удовлетворяет, то ставится следующий, видоизмененный вопрос.

Открытие — это неожиданно пришедший в голову ответ на содержательно поставленный вопрос. Даже в области математики открытия происходят не на уровне логического мышления. Логическими средствами осуществляется только постановка задачи и проверка найденного решения, которое приходит как озарение. Психологии математического творчества посвящена интересно написанная книга Ж. Адамара [2], одного из хорошо известных французских математиков недалекого прошлого. Основные его выводы таковы: чисто логических открытий не существует; открытие происходит на бессознательном уровне, как некая вспышка идей, после предварительной сознательной работы; слова и другие знаки не участвуют в процессе творческой работы.

2. **Понимание на внелогическом уровне.** Следуя за высказываниями известного советского физика академика Л. И. Мандельштама [3], мы можем говорить о понимании первого и второго рода. Одно из них — это понимание предмета на логическом уровне, легко осваиваемое всеми студентами. Второе — глубинное понимание, позволяющее достигнуть такого овладения предметом, при котором студент не только может изложить освоенное, но у него еще появляется возможность и самостоятельно ответить на неожиданно поставленный вопрос. Чтобы суметь перевести студентов на этот творческий уровень понимания, Л. И. Мандельштам рекомендовал обсуждать с ними парадоксы квантовой механики — это напоминает уже обдумывание коан — парадоксальных высказываний в философии дзен, о которой мы будем говорить ниже.

Здесь можно высказать такое суждение: хотя теоретические построения в нашей науке и записываются в абстракто-символической форме, но сама символическая запись — это еще не запись самого знания, а лишь способ провоцирования этого знания в нашем сознании. Такие общеизвестные понятия, как, скажем, представление о ψ-функции в квантовой механике или даже просто представление о поле в

физике, представление о случайности в теории вероятностей или, наконец, представление о вирусе в биологии, не могут быть просто и однозначно истолкованы в наших непосредственных представлениях о внешнем мире. И, наверное, не нужно заботиться об уточнении смысла этих слов-символов. Надо просто учить студентов тому, как с помощью этих понятий можно строить логически осмысленные высказывания, с помощью которых мы начинаем понимать мир на более глубоком уровне.

3. **Медитация — прямое обращение к континуальным потокам сознания.** Призыв к молчанию как средству познания себя и мира—Будда, Чжуан-цзы, Рабиндранат Тагор, Кришнамурти и даже Витгенштейн — это непосредственное обращение к континуальному мышлению в его чистом виде. Техника медитаций — умение управлять континуальными потоками сознания без обращения к языковым средствам. Предметом управления является придание четкой направленности свободно текущим, логически не упорядоченным потокам мысли.

Западная мысль совсем недавно обратилась к научному изучению необычных, измененных состояний сознания. К их числу относятся и те состояния сознания, которые возникают при созерцательных медитациях и молитвах молчания. Изучение измененных состояний сознания стало предметом клинических исследований. Опыт, накопленный мистиками, стал предметом анализа психологов и психиатров, и в этой связи накопилась огромная литература. В одном из сборников [11] приведена библиография в 1000 наименований.

Медитацию можно рассматривать как деавтоматизацию привычных нам психических структур — медитирующий выходит за границы логически-структурированного сознания. Возникает особое состояние сознания, при котором происходит как бы «слияние» с объектом медитации, «растворение» в нем, потеря представления о границах собственной личности. Дискретные символы языка оказываются недостаточными для выражения этого состояния сознания. Нарушаются законы аристотелевской логики; противоречия не вызывают больше удивления, исчезают причинно-следственные упорядочения явлений, изменяются представления о пространственно-временной структуре мира. Парадоксальность переживаемого воспринимается — как во сне — как нечто естественное.

4. **Гипноз как одна из форм измененного состояния сознания.** При гипнозе опять-таки гасится обычное, привычное для логически структурированного сознания восприятие реальности. Появляется возможность другого опыта, близкого к состоянию медитации. Последнюю можно рассматривать как одну из форм самогипноза.

5. **Сон как проявление измененного состояния сознания.** Свободно текущее ночное сознание также лишено логического структурирования. Во сне мы находим непонятным образом ответы на те «болевые точки», которые возникают в дневном сознании. Отсюда пословица: «Утро вечера мудренее». В связи с анализом снов у Юнга возникло представление об архетипах в коллективном бессознательном [1].

6. **Возникновение измененного состояния сознания под влиянием прямого биохимического воздействия.** Возможность возникновения измененного состояния сознания под влиянием воздействия некоторых химических веществ известна с незапамятных времен. Сейчас этот феномен стал объектом пристального исследования [11]. Здесь возможно достижение состояний сознания, внешне очень близко напоминающих состояние, достигаемое при медитациях.

7. **Внеязыковая культура философии дзен.** Дзен-буддизм — это нечто большее, чем религиозно-философская система, это своеобразная культура, странным образом вкрапленная в наш мир (подробнее о дзен см., например, у Е. Фромма и др. [8]). Основной мотив мировоззрения дзен — это внеязыковый опыт, восприятие мира вне логического осмысления, без словесной коммуникации. Реальность, утверждается там, надо пережить — бесполезно пытаться выразить ее в словах [7]. Это, наверное, единственная система мировоззрения, не имеющая своей рационально выразимой доктрины.

8. **Попытка построения внеязыковой коммуникации современными техническими средствами.** В США делаются попытки использовать современные технические средства — лазеры, особую оптику, деформирующую изображение, электронику — для создания так называемого синэстетического кино. Это кино пространственно-временного континуума. Эффект непрерывности здесь создается положением или сплавлением частей, несфокусированной сложностью, мозаикой одновременности [12].

В заключение нам хочется обратить внимание на то, что то глубинное состояние сознания, которое принято называть сейчас измененным состоянием сознания, в скрытой форме постоянно присутствует в нашей повседневной жизни, принимая непосредственное участие в нашем речевом поведении. **Высказывания, сделанные на дискретном языке, мы все время интерпретируем на континуальном уровне.** В этом утверждении и состоит главный результат этой работы. Нам представляется, что сам термин «измененное состояние сознания» мало удачен, ибо речь должна идти не о каком-то особом, трудно достигаемом состоянии сознания, а только о другом — прямом, внеречевом входе в это сознание. Если бы это глубинное сознание не присутствовало повседневно в нашем поведении, то мы действовали бы просто как хорошо запрограммированные логические автоматы. Наше поведение описывалось бы теми нормативными моделями, о которых сейчас так много любят говорить в психологии и социологии [10].

Примечание редакции

Публикуя весьма интересную и важную в теоретическом отношении статью В. В. Налимова, редакция считает необходимым отметить, что большинство приводимых автором этой работы аргументов в пользу континуальной природы нормального мышления (гипотезы, заслуживающей по многим причинам серьезного внимания) не представляются сильными. Медитация, психические состояния, культивируемые дзен-буддизмом, синэстезические переживания, изменения сознания, возникающие под влиянием галлюциногенов и других фармакологических агентов, — все это именно «особые» (анормальные) состояния, близкие в одних случаях к аутогипнозу, в других к хорошо знакомым в клинике феноменам психопатологического порядка. Психологическая структура этих анормальных состояний, взаимосвязь при них мышления и речи еще очень мало известны и поэтому использование их в качестве доказательств гипотезы континуальности вряд ли целесообразно. Нельзя малопонятное обосновывать ссылками на то, что является еще менее, быть может, понятным. Значительно более веские доводы в пользу идеи континуальности могут быть, как нам представляется, получены в результате анализа динамики смыслов в условиях обычной мыслительной деятельности человека. Мы затрагиваем этот

вопрос косвенно во вступительной статье к VII—VIII тематическим разделам настоящей монографии. В какой-то степени о нем идет речь и во втором параграфе «Заключения».

LANGUAGE AND THINKING: CONTINUITY VERSUS DISCONTINUITY

V. V. NALIMOV

Moscow State University, Laboratory of the Mathematical Theory of Experiment

SUMMARY

On the basis of the probabilistic model of language suggested earlier [4] it is demonstrated that human thinking is essentially continuous. Arguments are cited permitting to assert infinite divisibility of word meaning in phrase construction. It is argued that continuous thinking is not reducible to discrete language forms. Reflexive thinking is regarded as discrete control of continuous streams of consciousness. Two types of knowledge are discussed: logical and extralogical. Creative illumination even in mathematics is interpreted as going beyond the limits of purely logical thinking. Direct (extralogical) ways of recourse to continuous streams giving rise to the so-called altered states of consciousness are considered, viz.: meditation, hypnosis, dreaming, psychedelic intoxication.

The extralinguistic culture of Zen philosophy as well as attempts at creating extralinguistic forms of synaesthetic cinema are discussed. The culture of Medieval Russia is regarded as that of silence. The main conclusion of the study is stated as follows: the altered state of consciousness is not an extraordinary phenomenon — we have recourse to it permanently in our everyday speech behaviour when interpreting phrase meanings.

ЛИТЕРАТУРА

1. АВЕРИНЦЕВ А., Юнг, Философская энциклопедия, т. 5, 1970, стр. 600—602.
2. АДАМАР Ж., Исследование психологии процесса изобретения в области математики, М., 1974.
3. МАНДЕЛЬШТАМ Л. И., Полное собрание сочинений, т. 5, М., 1950.
4. НАЛИМОВ В. В., Вероятностная модель языка, М., 1974.
5. ПОМЕРАНЦ Г. С., Иконологическое мышление как система и диалог семиотических систем. В сб.: Историко-философские исследования, М., 1974.
6. ЧИЧЕРИН А. В., Ритм образа в повествовательной прозе. В сб.: Историко-философские исследования, М., 1974.
7. BERKMAN, R., The Way of Zen. Psychologia (Kyoto University), 15, № 3, 127—136, 1972.
8. FROMM, E., SURUKI, D., DE MARTINO, R., Zen Buddhism and Psychoanalysis, London, 1970.
9. GOODY, J., WATT, J., The Consequences of Literacy. Literacy in Traditional Societies (ed. by J. Goody), Cambridge, 1968.
10. HARRAN, D., Communication: A Logical Model, Cambridge, Massachusetts, 1963.
11. TART, Ch. T., (Ed.), Altered States of Consciousness. A Book of Readings, N. Y. — London—Sydney—Toronto, 1963.
12. YOUNGBLOOD, G., Expanded Cinema, N. Y., 1970.

171

СЕМАНТИКА РИТМА: РИТМ КАК НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ ВХОЖДЕНИЕ В КОНТИНУАЛЬНЫЙ ПОТОК ОБРАЗОВ

Ж. А. ДРОГАЛИНА, В. В. НАЛИМОВ

МГУ, Лаборатория математической теории эксперимента

Тексты... Какими разными они бывают... Отчего некоторые из них так волнуют, тревожат? — Сообщают. Знаем это, только не всегда сразу можем уложить это сообщение в привычную, видимую форму—слова. Но невидимая форма сообщения уже вошла в нас, мы ее приняли: «Се — разодранная завеса».

Какая невидимая составляющая так убедительна, достоверна, реальна...

К чему она нас обращает...

На каком уровне «эксплицирует» сообщение, делая его лично направленным, обусловливая:

1) «Вход» через индивидуальные возможности каждого (априорная функция распределения смысла слов).

2) Личное узнавание, путем воплощения творческого импульса, данного каждому, опирающегося на живой опыт интуиции, которую можно было бы определить как внелогическую способность к постижению интропредметного, путем которой, по определению А. Бергсона, «переносятся внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного и невыразимого».

Способность сопричаствовать пульсу мирового бытия. Со—быть.

Чем так волнуют сообщения, которые уже не тексты как логическое развитие идеи, а тексты как раскрытие Таинства.

Может быть реализацией именно этой возможности, воплощением способности к личному творчеству, постижению — в самом непостижимо безбрежном смысле этого слова...

Вздрогнешь — горы с плеч,
И душа — горе.

Образ. Не сложение, — слияние, нераздельность: целостность — видение, видение. Реализованное в организованное сообщение. Ритмичное. Свернутое.

Ритм — то, что позволяет наблюдаемое явление записать существенно короче, чем оно обозначено, обрисовано, без обращения к абстракции.

Как это возможно? Через какие особенности?

Ритм... а здесь мы будем говорить только о ритме текстов... Что это такое? Рифма: консонанс, ассонанс, аллитерация, референ и все другие единицы ритма — все это только его внешние проявления. Внутренне, в своей глубинной сущности, ритм — это нечто гораздо большее; это, может быть, размытие смысла слов, слияние их в непрерывный, внутренне неразрывный — континуальный поток образов.

Или, иными словами, ритм — это возможность небейесовского чтения текстов. В обычной, ритмично неорганизованной речи мы пользуемся бейесовским чтением: смысл слова μ уточняется его употреблением; мы произносим фразу y, и в нашем сознании возникает функция $p(y/\mu)$, которая действует как некий фильтр на априорно заданную функцию распределения смыслового содержания слова $p(\mu)$. Из множества смысловых значений слова μ выделяется некое подмножество значений с новыми, опять-таки вероятностно заданными, весами. Словесное окружение, сужая и уточняя, ограничивает смысл слова μ, приводя его в соответствие со всем текстом. Иначе все происходит в ритмическом тексте. Ритм — руководящее начало, связующее разнообразные отдельные группы в единое целое. Текст здесь организуется так, чтобы слова не ограничивали друг друга, а наоборот — расширяли свое содержание, плавно перетекая, сливаясь в один поток. Разве не так? Вот стихотворение М. Цветаевой «Облака»:

Перерытые как битвой,
Взрыхленные небеса,
Рытвинами — небеса,
Битвенные — небеса,
Перелетами, как хлестом,
Хлестанные табуны,
Взблестывающей луны,
Вдовствующей — табуны!

Нужен ли комментарий! Нужно ли говорить о том, как слова, сливаясь, создают один свободно текущий образ — «Облака».

Слова под влиянием соседних слов выходят за границы, заданные априорными функциями распределения их смыслового содержания. Границы слов стираются. Слова сплетаются, смыкаются, будучи разными по своему содержанию.

Что же является организующей силой для этого хаотического, с позиций логики, нагромождения слов? Ритм — во всем разнообразии своего проявления. Он заставляет слова находиться там, где они поставлены, теряя свои смысловые границы. Формально-математическое изучение рифмы, как бы тонко и деликатно оно ни было сделано, само по себе еще не раскрывает образ стиха. Важна не только и не столько рифма, сколько те слова, которые сплетаются посредством ритма, запечатлевая скользящий образ.

Многократное употребление синонимических слов делает ритмичным даже прозаический текст. Синонимы — это не идентичные, но только близкие по смыслу слова. Множество синонимов размывает смысл слов, сливает их во что-то необозримо большое. Монословный, бедный синонимами текст всегда выглядит уныло. Когда мы говорим о словарном богатстве текста, то имеем в виду, видимо, чаще всего его синонимическое богатство. Синонимическое богатство прозаического текста, может быть, есть мера его ритмичности. А в поэтических текстах синонимическими становятся все строки — синонимы друг друга и синонимы образа «облака». Слово «облако» расширилось, растеклось, превратилось во что-то грандиозное, фантастическое, имманентное тому, что чувствует поэт. В словах, в их безмерном нагромождении, оказалось выраженным то, что словами не выражается. Мы узнаем Имя облака, услышанное поэтом.

Но, может быть, о ритме лучше говорить другими словами, крат-

кими, отрывочными, вовсе не пытаясь плести узоры логических построений:

1. Ритм — свидетель состояния очищенности, освобожденности от шумов, обрывков мысли, состояние «входа».

Пребывание «внутри».

Там, где отсутствуют дискреты, где все пребывает во всем, где происходит неосознаваемое, внелогическое считывание с континуального потока образов[1].

Резонансное состояние.

2. Ритм — порождение резонанса, связующая составляющая, преобразующая континуальный образ в дискретный символ, — именующая. Но собственно Имя остается тайной и не произносится[2].

3. Ритм — катапульт: «И слово с воплем вырвалось из слова» (Н. Заболоцкий, «Бетховен»), открывающий сущность, имманентную Имени.

4. Ритм — самостоятельность воздействия (без необходимости разъясняющего контекста).

Нечто, — открытое непосредственному восприятию теми возможностями постижения, которые обращены прямо к континуальным образам.

5. Ритм — свидетель возможности приближения к Тайне мифа, раскрывающий сокровенный смысл с такой силой, что он становится очевидностью, достоверностью, реальностью, наделяющий сообщение властью.

6. Ритм — слияние с Именем.

7. Ритм — обусловленность паузы. Ее организованность.

Пауза — законченность высказывания. Завершенность. Возможность взглянуть на недостроенное и достроить без слов. «Понимание... приходит в интервале между словами, между мыслями, этот интервал — безмолвие...» (Слова Кришнамурти [см. 2, 126]).

8. Ритм—освобождение от логики.

Он независим, запределен. И наши титанические покушения «поверить алгеброй гармонию» — бессильны.

9. Ритм — архаика, нечто чуждое нашей культуре, сохранившееся открыто только в поэзии и лишь иногда вырывающееся из подполья в других текстах. И часто под покровом логически текущей мысли мы явно о нем тоскуем.

И тогда на нас обрушивается двуструктурный, или лучше, двуликий текст...

Это удивительно, но нужно признать, что парадоксально построенные высказывания так же размывают смысл слов и тем придают тексту ритмичность. Вспомним хорошо известный дзенбуддийский коан [2]: «Обладает ли пес природой Будды. Ничто!».

Адепт, поступающий в дзеновский монастырь, должен месяцами или даже годами размышлять над смыслом этого коана. Но коан не имеет логической разгадки. Здесь речь идет не о размышлении как о логическом анализе, а о медитации. Надо достичь такого состояния, чтобы столь разнородные по своему смыслу слова как «пес» и «Будда» расширились настолько, чтобы смогли слиться во что-то единое, и это слияние происходит через то фундаментальное, но невыразимое в словах буддийское представление, которое кодируется одним словом

---

[1] О континуальности сознания подробнее см. В. В. Налимов [3].

[2] О семантической интерпретации понятия «Имени» см. В. В. Налимов [2].

«ничто». Если ученик обретает способность к пониманию коана, то это, по-видимому, обозначает и то, что он достигает нового состояния сознания — перед нами открывается возможность прямого входа в континуальный поток. И заметьте — как предельно компактно записывается та формула, которой открывается вход в другое состояние сознания.

Если смысл слов безгранично размывается, то они, естественно, выходят из-под контроля логики. Из текста исчезает представление о противоречии. Не могут содержать противоречия тексты, сотканные из размытых, плавно переходящих друг в друга слов. Если мы, скажем, начнем вдумываться в смысл слова «жизнь» и все больше и больше расширять его смысловое значение, то рано или поздно поймем, что оно включает в себя и представление о смерти — смерть превращается в составную часть жизни. Исчезает возможность противопоставления жизни смерти, и в текстах немедленно снимается противоречие, которое может порождаться узким, дискретным пониманием слов «жизнь» и «смерть». Диалектику такого перетекания смысла слов хорошо умеют описывать японские философы.

Вот слова современного японского мыслителя Масао Обэ [6]:

«В дзене, отрицающем всякую двойственность, включая и вертикально-направленную, нет ни владычества Бога, ни идеи творения, ни Страшного Суда, История, как и человеческое существование жизнь—смерть (Sam-Sara), не имеет ни начала, ни конца. Существует только безначальное начало и бесконечный конец. Это не есть некоторое смутное представление, неопределенный взгляд, но цельная концепция, возникшая через отрицание вертикально-направленной двойственности, имплицированной в историческом воплощении. Только Sam-Sara безначальна и бесконечна, она не имеет центра. Поэтому, как я утверждал и раньше, в каждый момент нашего существования жизнь—смерть мы осознаем парадоксальное единство-тождество бытия и умирания во всей целостности-полноте. Отсюда и наша освобожденность от них. В каждый момент осознавания нашей экзистенции «Великая Жизнь» и «Великая смерть» осуществляется в нас. Именно поэтому в истории отсутствует движение. В каждый момент проявляется глубокое разъединение. Время и история, с точки зрения нашего экзистенциального переживания, есть соединение актуальных разобщенностей, равно как переживание «Великой Жизни» через «Великую Смерть», осознаваемую ежемоментно».

Но вернемся к текстам культуры наших дней. И здесь среди серьезных (т. е. непоэтических) текстов иногда можно обнаружить двуликие и обладающие одновременно как логической, так и ритмической составляющей. Вот перед нами «Логико-философский трактат» Л. Витгенштейна [1]. Он написан профессионалом-логиком и, несомненно, в каком-то своем проявлении четко логически организован, но в то же время многие, наверное, согласятся с тем, что он внутренне ритмичен, и в этом магия его воздействия. Но там нет ни намека на какое-либо проявление рифмы. Ритмичность задается парадоксальностью суждений — текст «Трактата» состоит из последовательно перенумерованных парадоксов. Структура парадоксов сама по себе здесь интересна. Это краткие, весьма лаконичные, но богатые внутренним содержанием высказывания, находящиеся в явном противоречии с общепринятыми в нашей культуре представлениями. Вот один из таких парадоксов.

«Смысл мира должен лежать вне его. В мире все есть, как оно есть, и все происходит так, как происходит. В нем нет никакой цен-

ности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности» (Логико-философский трактат, 6.41).

Это высказывание явно не соответствует кардинальным представлениям нашей культуры, глубоко пронизанной представлениями о цели как в личном плане для каждого человека в отдельности, так и в общенациональном и даже общекультурном смысле. Исторически развитие европейской культуры — это формулировка целей, борьба за их осуществление, а потом невольная дискредитация их и отказ от них. Краткое высказывание из «Трактата» немногими, совсем простыми, скупыми словами обрушивается на эти основы нашего миропонимания. И сила этих слов отнюдь не в их логической убедительности. Ведь неправомерность нашего представления о цели можно было бы хорошо обосновать. И чисто логически — достаточно было бы сказать, что «цель» это метапонятие и потому оно не может находиться в нашем мире иерархически нижележащих объективных понятий. Но такая система суждений потребовала бы уже введения в рассуждение абстрактных представлений весьма высокого порядка. Автор «Трактата» не поступает так. Вместо этого он ткет из слов кружево, заставляющее читателя задуматься не над тем, что выражено в словах (в них ведь, строго говоря, почти ничего не выражено), а над тем, что стоит за этими словами, если смысл их сильно расширить. Слова здесь не доказывают мысль автора — они просто заставляют задуматься над тем, что не должно находиться в сознании человека, оказавшегося способным так осознать проблему. Заметьте, что в приведенном парадоксе есть и чисто логическое противоречие: «...нет никакой ценности, а если бы она там и была, то она не имела бы никакой ценности». Все это напоминает дзенбуддийский коан. В нашей европейской философской литературе «Трактат» занимает особое положение в силу своей инородности. Отсюда резко негативное отношение к нему позитивистски настроенных философов. Карнап рекомендовал прочесть его и выбросить. Поппер иронически говорит о Витгенштейне как о ком-то, претендующем на роль пророка. В свое время «Трактат» с трудом увидел свет.

Обратимся теперь к истокам европейской культуры. Как это ни парадоксально, но мы должны признать, что в истоках европейской культуры, веками столь последовательно развивавшей культ рационального мышления, лежат совсем противоположные начала — рационализм эллинизма и иррационализм раннего христианства. А о европейской культуре, несмотря на все многообразие ее ветвлений, все же хочется говорить как о чем-то целом — ведь и европейский атеизм носит все же христианский характер, совсем отличный, скажем, от восточного нигилизма. Ведь атеизм прежде всего должен с чем-то спорить, а затем теми аргументами, с помощью которых он спорит, а эти последние, естественно, должны находиться в рамках существующей парадигмы, иначе они просто не будут поняты и не будут приняты. По-видимому, уже в средневековье усилиями Фомы Аквинского католическое христианство облекается в одежды рационализма, отточенного сильнее, чем это было у Аристотеля. Краткий анализ развития детерминизма в европейской культуре дан в нашей работе [4].

Но в истоках христианства лежат евангельские тексты. Всякая попытка препарировать их логикой неуместна — они полны внутренне противоречивых высказываний. Трудность построения позитивистской герменевтики христианства очевидна [7].

Современный, воспитанный на логике читатель ждет четкого и точного разъяснения того, о чем говорится в подобных евангельских текстах, и не находит ответа.

Вот как излагается, например, основная космогеническая идея в Евангелии:

«1. В начале было Слово, и Слово было у Бога, И Слово было Бог.

. . . .

14. И Слово стало плотию и обитало с нами, полное благодати и истины!»

Как непривычно организован этот текст. Все основано на том, что смысл понятия «слово» безгранично расширяется, смыкается со смыслом других, казалось бы, совсем далеких от него слов, и перед нами возникает картина мироздания, имеющая в современном понимании, кибернетическое звучание. Мы начинаем понимать, что в основе всего воспринимаемого лежит информация, организующая хаос впечатлений, и этим создается единство мышления и учения о нем, воплощенного в Слове. Но мысль эта не выражена эксплицитно. Все дается намеком, путем расширения смысла привычного нам понятия «слово». И этот намек настраивает нас в резонанс с этим глубоко монистическим мироощущением.

А теперь напомним современное определение смысла понятия «слово»: «Слово — это отрезок текста между двумя пробелами». Как все четко и ясно. Как легко строить логические высказывания над таким понятием. Но как обеднен и обездолен его смысл! Он совсем ускользает от нас, если мы еще и попытаемся вдуматься в смысл слова «текст», которое остается без определения.

Было бы очень интересно проследить за тем, как в европейской культуре, по мере ее развития, происходила борьба двух стилей в организации текстов — логического и ритмического. И если сравнить их на метафизическом уровне, то логика есть прямая перспектива, а ритм — обратная с точкой схода в человеческом сердце.

Примечание редакции

Редакция полагает, что по поводу статьи Ж. А. Дрогалиной и В. В. Налимова, написанной с широким использованием условных категорий и художественных образов, необходимо сделать некоторые замечания.

Авторы этой статьи стремятся выразить свои мысли, апеллируя скорее к «чувствованию» и к эмоциональному настрою читателя, чем к логической обоснованности и к рациональной аргументированности защищаемой ими концептуальной позиции. В этой связи нельзя не предвидеть определенных трудностей, которые могут возникнуть у тех, кто попытается возможно точнее понять ведущую идею статьи.

Авторы с основанием подчеркивают, что воздействие любого текста определяется не только ясно осознаваемым пониманием его смыслового содержания. Немалую, по их мнению, роль играет в подобном воздействии также «ритмическая структурированность текста»,— понятие, которое раскрывается в данном случае очень своеобразно.

В пользу того, что ритмика текста может выступать как мощный эмоциогенный фактор, отчетливо говорит хотя бы традиционная жесткая структурированность текстов поэтических, резко контрастирую-

щая с гораздо бо́льшей свободой и с меньшей «навязанностью» структурных отношений в условиях прозы. О важной роли, которую играют, облегчая постижение интеллектуальных конструкций, такие качества последних, как адекватное «чередование» в них определенных тем, «разграниченность» этих тем и одновременно их «связанность», их «завершенность», «цикличность» и др. так же определенные специфически выраженные структурные отношения, было известно мастерам лекторского и ораторского искусства еще века назад. Ритмическая структурированность текста явно связана, наконец, с его суггестивной силой, что всегда умело использовалось при лечебных процедурах шаманами, в практике религиозных и мистических ритуалов, в текстах магических «загово́ров» и т. п. Все это достаточно уже хорошо известно и вряд ли может вызвать какие-либо споры. Мысль авторов обсуждаемой статьи идет, однако, в этом общем направлении значительно дальше, бросая свет на некоторые специфические, еще малоизученные стороны психологии восприятия и речи.

Авторы полагают, что «ритмическая организация» текста может проявляться не только в привычных для нас формах (консонансов и ассонансов, аллитераций и рефренов), но также в гораздо более тонких и скрытых «собственносемантических», если можно так выразиться, формах, порождаемых, например, изобилием синонимов, расстановкой логических интервалов и пауз, заострением смысловых антитез и даже наличием в тексте алогизмов и парадоксов. В результате этой ритмизации семантической структуры текста возникает, по-видимому, своеобразный эффект «расширения», «размывания» исходных (обычных) устоявшихся значений слов, «освобождение» этих значений от той их суженности, скованности, «окостенелости», жесткой фиксированности, на которые они роковым образом обречены, входя в контекст обычной, не ритмизированной речи, и которые, добавим мы, необходимы для осуществления речью ее основной (повседневной) коммуникативной роли.

Авторы полагают, что подобное «размывание» значений слов и тем самым насыщение слов новым смыслом лежит в основе процессов т. н. медитации, которым предаются послушники буддийских монастырей, а также в основе евангельских текстов. И оно же характерно для некоторых философских произведений новейшего времени (Л. Витгенштейн), остающихся, как это справедливо подчеркивают авторы, гетерогенными, неинтерпретируемыми логически в рамках рационалистически и даже только позитивистски ориентированной культуры.

Как следует отнестись к этой идее «размывания» значений слов, происходящего в условиях определенных мистически окрашенных, стоящих на грани клинической патологии изменений состояния сознания или в условиях определенного душевного настроя, возникающего, в частности, при столкновении с алогизмами, так обильно представленными в изысканно-кокетливых афоризмах витгенштейновского «Логико-философского трактата»?

Представляется, что авторы обсуждаемой статьи в очень своеобразной литературной форме касаются реальной и в высшей степени важной проблемы взаимоотношения, существующего между узкими, жестко фиксированными «значениями» и гораздо более широкими и подвижными «смыслами» слов. Эта проблема, еще много лет назад разрабатывавшаяся Л. С. Выготским, как мы уже имели случай отметить выше, является **центральной** при рассмотрении процессов

порождения речи, процессов постепенного преобразования в акте речи невербализованных и потому некоммуницируемых и неосознаваемых пред-речевых смыслов в систему вербализованных, коммуницируемых и осознаваемых словесных значений. Ж. А. Дрогалина и В. В. Налимов прослеживают тот же по-существу процесс, только как инвертированный во времени: каким образом текст, в котором значение каждого из составляющих его слов жестко лимитируется общим «контекстом», в который данное слово включено, преобразуется благодаря частичному возврату этих ограниченных значений в предваряющие их (в условиях нормального становления речи) «чисто-смысловые», еще неоречевленные мыслительные структуры, в «речь без слов» (Л. С. Выготский). Для сохранения адекватной методологической позиции в этом еще очень малоизученном вопросе теории функциональной структуры речи важно учитывать именно этот **динамический** аспект, позволяющий видеть в феномене «размывания» значений не какой-то психологический раритет, не процесс, специфический для неких «особых» психологических условий и состояний, а лишь выявление (в инвертированном направлении) тенденций, характеризующих привычное формирование речевого акта, хотя и остающихся обычно глубоко скрытыми.

Именно поэтому обсуждаемая статья заслуживает, как нам представляется, весьма серьезного внимания со стороны современной психологии речи в ее непосредственной связи с общей теорией сознания и бессознательного психического.

RHYTHM SEMANTICS: RHYTHM AS A DIRECT ENTRY INTO A CONTINUOUS STREAM OF IMAGES

Zh. A. DROGALINA, V. V. NALIMOV

Moscow State University, Laboratory of the Mathematical Theory of Experiment

SUMMARY

1. Rhythm is a specific form of ordering of texts brought about by their merging into an integral continuous stream of images through erosion of word meanings or interpeneration of semantic fields.

2. Rhythm is a possibility of non-Bayes reading of texts, i. e. reading not simulable by the Bayes theorem in the probabilistic model of language.

3. Rhythm is a pulse of resonance state, capable of making an independent impact, without the need for an explicatory context, open to direct perception addressed to continuous images, explicable through materialization of a creative impulse, resting on the live experience of intuition which might be defined as an extralogical power of comprehending the ultimate reality.

4. Rhythm is an infinite diffusion of word meanings, owing to which words far removed from each other become synonymous in a poetic text.

5. Rhythm is an organizing component of paradoxical statements. The Koans of Zen have no logical solution: their sense is revealed in the course of long meditation through an unlimited diffusion and merging of words seemingly alien in meaning.

6. The magic impact of Wittgenstein's T r a c t a t u s is in its rhythmicity due to the paradoxicalness of its statements.

ЛИТЕРАТУР

1. ВИТГЕНШТЕЙН Л., Логико-философский трактат, М., 1958.
2. НАЛИМОВ В. В., Вероятностная модель языка, М., 1974.
3. НАЛИМОВ В. В., Непрерывность против дискретности в языке и мышлении, М., 1977 (в печати).
4. НАЛИМОВ В. В., Язык вероятностных представлений, М., 1976.
5. ТРОФИМОВА М. К., Из рукописей Наг-Хамади. Сб.: Античность и современность, М., 1972.
6. MASAO ABE, «Life and Death» and «Good and Evil» in Zen. Criterion, Autumn, 1959, pp. 7—11.
7. NALIMOV. V. V., The Cardinal Meaning. Essays in Comparative Hermeneutics. Buddhism and Christianity. (Ed. by Michael Pye and Robert Morgan), Mouton, the Hague, Paris, 1973.

172

О НЕКОТОРЫХ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ТЕКСТОВ

М. Г. БОРОДА, Ю. К. ОРЛОВ

Тбилисская государственная консерватория им. В. Сараджишвили
Институт кибернетики АН Груз. ССР, Тбилиси

Исследование структурных закономерностей произведений искусства как текстов, анализ их «языкового» строения становится все более распространенным методом в изучении художественного мышления, закономерностей восприятия и порождения художественных сообщений. В условиях, когда постановка прямого психологического эксперимента в этой области оказывается зачастую чрезвычайно сложной — из-за необходимости учета большого числа значимых для восприятия уровней и их взаимодействий — анализ структурных закономерностей художественных текстов является важнейшим, а подчас и единственным источником информации о художественном мышлении: здесь могут быть наиболее точно сформулированы вопросы о строении отдельных уровней художественного произведения и их связях, здесь разработан богатый количественный аппарат анализа. Естественно, что получаемые таким путем результаты предполагают дальнейшую интерпретацию с психологических позиций.

Цель данной работы — привлечь внимание психологов к некоторым общим количественным закономерностям, наблюдаемым в организации художественных произведений (литературных, музыкальных, живописных) различных стилей, достаточно выясненным на сегодняшний день и настоятельно требующим психологического осмысления и интерпретации. Поскольку эти закономерности были впервые выявлены на литературном материале, где они оказываются связанными с такой общеизвестной единицей, как слово, целесообразно рассмотреть их прежде всего на этом материале.

С конца прошлого столетия лингвистами составляются т. н. **частотные словари** (а также конкордансы, индексы, симфонии и т. д.).

Словарь такого рода представляет собой список всех различных слов, встретившихся в некотором тексте (или его отрывке, или наборе многих текстов, с указанием частоты употребления в нем каждого из этих слов (иногда — и местоположений слов). Общей идейной базой подобных исследований служила до последнего времени т. н. «концепция Хердана» [11], которая утверждала, что каждая лингвистическая единица имеет постоянную вероятность своего употребления в речи, а наблюдаемые частоты отражают эту вероятность с той или иной степенью точности. И задачей статистического описания языка или речевых потоков считалось максимально точное определение этой вероятности для каждой из исследуемых единиц или их классов.

Т. к. вероятность традиционно считается феноменом, возникающим «на пересечении» большого числа мало связанных друг с другом

причинных факторов, оценка вероятности рассматривается обычно как окончательный этап чисто статистического исследования. Исследования такого рода позволили выявить ряд интересных фактов, построить комбинаторно-вероятностные модели, удовлетворительно согласующиеся с действительностью. Эти результаты находят приложения в стилистическом анализе (в частности, в проблеме установления авторства), в расчетах покрываемости текстов словарем того или иного объема, машинном переводе, анализе информационных потоков в АСУ и ИПС и мн. др. Однако по мере накопления фактического материала и совершенствования методов его обработки стали накапливаться факты, не находящие в рамках «концепции Хердана» никакой поддержки. Речь идет не о том, что эти факты ей противоречат — просто они представляют собой несколько иной «пласт действительности», в котором само понятие вероятности как некоего предела, к которому стремится наблюдаемая величина (относительная частота), перестает играть какую-либо роль.

Рассмотрим это на примере некоторых наглядных числовых характеристик литературного текста.

«Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова. Долгая зимняя ночь прошла незаметно; сели ужинать в пятом часу утра».

Эти первые два предложения «Пиковой дамы» содержат 18 словоупотреблений. Только одно слово в этом отрывке повторяется дважды — предлог «в». Все остальные слова — разные. Т. е. словарь этого отрывка $v = 17$ всего на единицу меньше его объема $N = 18$. Число слов, каждое из которых употреблено ровно 1 раз (неповторено) $v_1 = 16$ — еще на единицу меньше. Отношение числа одноразовых (неповторенных) слов к словарю $\frac{v_1}{v} = \frac{16}{17} = 0{,}94$.

Что произойдет с этими числами по мере продолжения чтения текста? Словарь v будет нарастать, т. к. будут появляться все новые и новые слова. Будет расти и число одноразовых слов, но не так быстро, как словарь, т. к. часть уже имеющихся одноразовых слов начнет повторяться и переходить в двух-, трех- и т. д. разовые. В результате отношение $\frac{v_1}{v}$ будет понижаться. Например, на первых 100 словоупотреблениях «Пиковой дамы» $\frac{v_1}{v} = \frac{70}{82} = 0{,}854$, на первых 150 словоупотреблениях $\frac{v_1}{v} = \frac{84}{107} = 0{,}785$. При $N = 1256$ $\frac{v_1}{v} = \frac{374}{544} = 0{,}688$. Наконец, на полном объеме „Пиковой дамы“ $(N = 6861)\,\frac{v_1}{v} = \frac{1146}{1928} = 0{,}594$.

Так как словарь языка, очевидно, конечен, то при неограниченном нарастании объема лексической выборки N ее словарь v будет стремиться к конечному пределу V — числу различающихся слов в языке. Одноразовые слова должны при этом постепенно исчезать, т. к. при неограниченном нарастании объема выборки любое вошедшее в нее слово должно рано или поздно повториться и в пределе, при $N \to \infty$, отношение $\frac{v_1}{v} \to 0$

Таким образом, отношение $\frac{v_1}{v}$ на лексических выборках может при-

Таблица 1

№ п/п	ВЫБОРКА	Z	v	v_1	$\frac{v_1}{v}$	F_{max}	v (Z)	$\frac{v-v(Z)}{v(Z)}$ %
1	Пушкин. «Капитанская дочка», отрывок	5000	1671	1133	0,678	202	943	+77,2
2	Пушкин. Полное собрание сочинений	544777	21197	6388	0,301	25026	54800	—61,3
3	Пушкин. «Евгений Онегин», отрывок	1000	590	470	0,796	46	261	+126,3
4	Русские тексты по электронике	200388	6826	2009	0,293	6686	22700	—69,9
5	Частотный словарь русского языка	1056382	39268	13379	0,341	42854	99058	—60,4
6	Частотный словарь военных текстов	689214	3000	712	0,234	20300	69500	—95,7
7	Мицкевич. Пан Тадеуш, книга I-я	6587	2257	1460	0,647	247	1195	+47,5

Таблица 2

№ п/п	ТЕКСТ	Z	v	v_1	$\frac{v_1}{v}$	F_{max}	v (Z)	$\frac{v-v(Z)}{v(Z)}$ %
1	Пушкин. «Капитанская дочка»	29345	4783	2384	0,498	1160	4160	+15,00
2	Руставели. Витязь в тигровой шкуре	42120	5965	2995	0,502	880	6200	— 3,79
3	Байрон.«Дон Жуан»	130745	14411	7250	0,503	6002	15000	— 3,93
4	«Вольга и Микула», былина	930	254	116	0,457	37	257	— 0,12
5	Шекспир. «Король Лир»	25471	3391	1933	0,570	984	3710	— 9,40
6	Мицкевич. «Пан Тадеуш»	64510	9250	4360	0,471	2058	8480	+ 8,30
7	Джойс. «Улисс»	260430	29899	16432	0,549	14877	27100	+10,33

нимать любые значения на числовой оси между нулем и единицей, постепенно уменьшаясь с ростом объема выборки. И, хотя неизвестны выборки, на которых это отношение было бы очень малым (такие выборки должны быть очень большими), экспериментальные данные хорошо подтверждают этот вывод (см. табл. 1; числа заимствованы из работ [6] и [9], в которых приведены их источники). Создается впечатление, что нет никаких **выделенных значений** этого отношения на промежутке [0, 1]; с ростом объема выборки это отношение обнаруживает явную (хотя и не монотонную) тенденцию к уменьшению.

Однако в лингвостатистике распространено мнение, что отношение $\frac{v_1}{v}$ близко к 0,5. Хотя, как следует из таблицы 1, в общем случае это мнение явно неверно, существует класс лексических выборок, в которых это отношение действительно близко к 0,5.

Объем и состав выборок в таблице 1 определены произволом экспериментатора или случая (как, например, Полное собрание сочинений А. С. Пушкина, «оборванное» смертью писателя). Если же мы будем рассматривать полные тексты отдельных произведений, то картина будет существенно иной (табл. 2; данные из цитировавшихся источников). Не нужно никакой специальной статистической обработки, чтобы увидеть, что на отдельных текстах отношение $\frac{v_1}{v}$ действительно близко к половине. При этом обращает на себя внимание то обстоятельство, что это отношение сохраняется приблизительно постоянным на текстах самой разнообразной длины, в то время как из общих соображений, так и из данных таблицы 1 следует, что оно должно падать (и действительно падает) с ростом объема выборки.

Таким образом, налицо две взаимоисключающие тенденции, одна из которых действует на произвольных лексических массивах, а другая — на высокоорганизованных, «оптимизированных» с точки зрения человеческого восприятия сообщениях. Чрезвычайно важно отметить, что выполнение равенства $\frac{v_1}{v} \approx 0{,}5$ на текстах различного объема[1] требует **различной частотной организации** этих текстов. Как показывает математический анализ ситуации [7], контрольные подсчеты процесса нарастания словаря с ростом объема выборки в текстах различных полных объемов [5] и другие фактические данные [6], для того, чтобы равенство $\frac{v_1}{v} \approx 0{,}5$ могло быть выполнено на текстах различных объемов, в текстах бóльших объемов должна быть меньше доля частых слов и соответственно больше словарь, приходящийся на е д и н и ц у д л и н ы т е к с т а; наоборот, в меньших текстах должно быть больше относительно частых слов и меньше словарь, приходящийся на

[1] Таблицы 1 и 2, разумеется, не претендуют на роль иную, чем иллюстрация выводов, полученных при анализе существенно большего материала; да и само равенство $\frac{v_1}{v} \approx 0{,}5$ представляет собой лишь частный случай существенно более сложных зависимостей, описываемых т. н. законом Ципфа—Мандельброта и наблюдающихся именно на полных текстах отдельных литературных произведений (см. [5—10]).

Таблица 3*

№ п/п	МАТЕРИАЛ	Z	v	v_1	$\frac{v_1}{v}$	F_{max}	v (Z)	$\frac{v-v(Z)}{v(Z)}$ %
1	Скарлатти. Соната № 1 (Петерс)	250	72	37	0,514	28	72,4	— 0,55
2	Гайдн. Симфония № 45 («Прощальная»)	1304	340	164	0,482	57	317	+ 7,25
3	Бетховен. Рондо ор. 51 № 1	624	162	83	0,512	60	150	+ 8,00
4	Шопен. Соната № 3	2366	505	237	0,470	126	485	+ 4,12
5	Мясковский. Фуга м-минор	214	60	35	0,573	35	58,5	+ 2,57
6	Кабалевский. Рондо ор. 59	625	171	84	0,491	59	150	+14,00
7	Шостакович. Прелюдия и фуга ор. 87 № 9	677	146	74	0,506	146	135	+ 8,46
8	Левитин. Сонатина для флейты соло	760	159	76	0,479	111	160	— 0,63
9	Гайдн. Симфония № 45, ч. IV (Adagio)	234	94	57	0,606	34	65	+44,60
10	Шопен. Соната № 2, ч. III	333	39	3	0,077	41	89	—57,30
11	Прокофьев. Соната для скрипки соло, ч. II	237	136	105	0,771	18	76	+82,50
12	Шостакович. Прелюдия и фуга ор. 87 № 9, отрывок (Фуга)	528	70	23	0,328	146	105	—33,40
13	Левитин. Сонатина д/флейты соло, финал	341	39	7	0,180	111	72	—44,30
14	Бах. Выборка из «Хор. темпер. клавира»	2852	603	383	0,643	279	506	+21,00
15	Скарлатти. Выборка из клав. сонат	1263	425	210	0,494	56	308	+38,00

* В №№ 1—8 представлены полные тексты музыкальных произведений, в №№ 9—13 — относительно законченные отрывки из текстов, в №№ 14—15—наборы нескольких текстов. **Данные взяты из работы [4] и неопубликованных исследований одного из авторов.**

единицу длины текста. Таким образом, кривая роста словарного запаса в художественном тексте (к текстам научным, техническим, философским это не относится) является функцией его полной длины и должна нарастать тем круче, чем больше эта полная длина. Иными словами, писатель должен с самого начала определить стратегию лексических повторов соответственно с будущей длиной своего еще не написанного произведения (чем больше он собирается писать, тем меньше он должен повторяться, и наоборот). При этом возможно определить общую степень точности подобного согласования.

Как показано в [7] и [9], идеализированная связь между объемом (числом словоупотреблений) Z полного литературного произведения и его словарем v(Z) выражается формулой:

$$v(Z) \approx \frac{Z}{\ln F_{max}}$$

где F_{max} — абсолютная частота (число повторений) наиболее частого слова в тексте. Сопоставление с фактическими данными показывает, что в подавляющем большинстве случаев для крупных текстов относительное расхождение между фактическим словарем и словарем, вычисляемым по этой формуле, не превышает ± 20% (примеры — последние два столбца табл. 2), в то время как для произвольных лексических выборок эти расхождения значительно больше (последние два столбца табл. 1).

Совершенно аналогичная зависимость обнаружилась и в мелодической организации музыкальных текстов группы стилей XVIII — XX вв, исследованных на уровне мелодической элементарной единицы типа мотива «F—мотив» [1; 3][2]. Как видно из таблицы 3, и в этом случае относительные расхождения находятся, в основном, в пределах ± 20%. Нельзя не обратить внимания на то, что эта величина чрезвычайно характерна для дифференциального порога восприятия различных физических величин человеком. Т. е. создается впечатление, что автор художественного текста осуществляет контроль словаря и частотной структуры в этом тексте именно с той точностью, которую позволяет ему «разрешающая способность» (о контроле частотной структуры подробнее см. [8]).

Но для того, чтобы такой контроль был возможен, чтобы можно было оценить хотя бы общее соотношение $\frac{v_1}{v}$ повторенных и неповторенных слов, необходимо запомнить каждое употребление каждого слова. Разумеется, такой процесс может протекать только вне сознания писателя или композитора, так как на сознательном уровне все описанные закономерности совершенно «невидимы».

---

[2] Мелодический «срез» музыкального текста («главный голос» в гомофонном тексте, совокупность голосов в полифоническом) разбивался на F — мотивы (в полифоническом тексте каждый голос разбивался на F — мотивы о т д е л ь н о и затем полученные совокупности F — мотивов объединялись в единую совокупность) и определялись следующие характеристики текста: д л и н а N — число всех употреблений F — мотивов в нем; и н т о н а ц и о н н ы й з а п а с v — число всех различающихся F — мотивов. (Два F — мотива считались тождественными, если один мог быть получен из другого параллельным перемещением по высоте). Подсчитывались также частоты употреблений всех F — мотивов и составлялся, т. о., музыкальный аналог частотного словаря.

В связи с этим возникает ряд вопросов. Каков объективный психофизиологический смысл наблюдающихся закономерностей? Каков их субъективный смысл — иными словами, в виде каких ощущений (представлений) опосредствуется в сознании выполнение (или невыполнение) этих закономерностей в том или ином конкретном тексте? Какова механика контроля и слежения? Какова, наконец, роль сложившихся художественных форм (драма, роман, соната, симфония и т. п.), диктующих определенную структуру повторов в художественном тексте?

В работе [10] высказываются гипотезы о связи наблюдаемых явлений с механизмами вероятностного прогнозирования, в частности гипотеза о том, что произведение искусства представляет собой своего рода «тренировочный тест» для этих механизмов, максимально их загружающий. Там же приводятся соображения о том, что выполнение описанных закономерностей в художественном тексте может быть связано с ощущением его «полноты», «законченности» и т. п.

Особняком стоит вопрос о приложении наблюдаемых закономерностей к проблемам «диагностики таланта» — естественной кажется мысль, что художники более высокого ранга могут точнее реализовывать эти закономерности в своих произведениях. Сравнение нотных текстов Шопена, Фильда и Черни, проведенное в работе [8], как будто подтвердило эту гипотезу, но вопрос очень сложен и, безусловно, далек от окончательного разрешения.

Во всяком случае, факт существования организации произведений искусства на таком «микроуровне», который решительно не фиксируется и не анализируется нашим сознанием, заслуживает пристального внимания не только со стороны лингвистов и математиков, но и психологов, исследователей процессов художественного творчества, искусствоведов и кибернетиков. Исследования такого рода, по-видимому, позволят не только изучить особенности организации произведений искусства, глубоко связанные с психологическим ощущением «стройности», «уравновешенности», «полноты», «законченности» художественного целого, но и выявить новые, не известные на сегодняшний день явления и закономерности информационной деятельности человеческого мозга.

ЛИТЕРАТУРА

1. БОРОДА М. Г., К вопросу о метроритмически элементарной единице в музыке. Сообщения АН ГССР, т. 71, № 3, 1973.
2. БОРОДА М. Г., О частотной структуре музыкальных сообщений. Сообщения АН ГССР, т. 76, № 2, 1974.
3. БОРОДА М. Г., Об элементарной мелодической единице. В сб.: МААФАТ — 75. Материалы первого всесоюзного семинара по машинным аспектам алгоритмического анализа музыкальных текстов, Ереван, 1975.
4. БОРОДА М. Г., Частотные структуры музыкальных текстов. В сб. статей Тбил. гос. консерватории им. В. Сараджишвили, Тбилиси, 1977.
5. НАДАРЕЙШВИЛИ И. Ш., ОРЛОВ Ю. К., Рост лексики как функция длины текста (на примере произведений Л. Н. Толстого и Д. Джойса). Сообщения АН ГССР, т. 65, № 3, 1971.
6. ОРЛОВ Ю. К., Модель частотной структуры лексики. В сб.: Исследования в области вычислительной лингвистики, вып. II, ч. I, М., 1978.

7. ОРЛОВ Ю. К. Обобщенный закон Ципфа—Мандельброта и частотные структуры информационных единиц различных уровней. В сб.: Вычислительная лингвистика, М., 1976.
8. ОРЛОВ Ю. К., О статистической структуре сообщений, оптимальных для человеческого восприятия. НТИ, серия 2, № 8, 1970.
9. ОРЛОВ Ю. К., Статистическое моделирование речевых потоков. В сб.: Статистика речи и автоматический анализ текста, Ленинград, 1978.
10. ОРЛОВ Ю. К., Частотные структуры конечных сообщений в некоторых естественных информационных системах, Тбилиси, 1974 (канд. дисс.).
11. HERDAN. L. The Advanced Theory of Language as Choice and Chance. Berlin — Heidelberg — N. Y., 1966.

173

WORDS, CONCEPTS AND THE REGULATION OF BEHAVIOR: A SEMANTIC THEORY OF THE UNCONSCIOUS

BÉLA PUDA

National Institute for Nervous and Mental Diseases, Hungary

Despite its central importance in the theories of Freud and the later psychoanalytic writers, the concept of the unconscious was never formulated clearly and unambiguously in the psychoanalytic literature. Freud modified several times his definition of it. First it was considered a psychic instance, a topical entity within the structure of personality [Freud: Traumdeutung, 1900, Das Unbewusste, 1913, etc.]. Later Freud extended the concept to a general quality of psychic functioning, potentially and actually present in every structural element (besides being the exclusive functional modality of the Id) and inaccessible to the conscious experience [Freud: das Ich und das Es, 1923]. There were other definitions, too, but they did not depart too much from the above mentioned ones, they rather served the purpose of establishing conceptual links between different psychic mechanisms and processes on the one hand, and the unconscious on the other, and their function was not the further elucidation of the nature of the unconscious itself.

Nevertheless, the concept of the unconscious remained a very useful—if not necessary—theoretical construct within the psychoanalytic system which enabled the therapist or the researcher of human behavior to explain and understand a lot of seemingly heterogenous behavioral manifestations, such as dreams, wits, some aspects of folklore, the so-called psychopathological pehenomena of everyday life (forgetting, slips of the tongue, etc.) and first of all neurotic symptoms and patterns of behavior, and which proved to be a reliable guideline for the psychoanalytic therapy. The main task of the therapy was supposed to help the patient to become aware of his unconscious psychic contents and processes, and thus to bring his unconscious under control (as it was expressed in Freud's famous dictum: Wo Es war, soll Ich werden, — under the control of the conscious Ego).

Although the psychoanalytic concept received a lot of criticism from different angles (from the early «dissidents» of the psychoanalytic movement, such as Adler, the Neo-Freudians, the academic psychologists, the biologically oriented psychiatrists, etc.), both the adherents and the critics failed to see clearly that in the psychoanalytic theory as well as in the therapeutical prac-

tice it was not the unconscious itself' which was of primary importance, but rather the reverse, the problem of the conscious regulation of behavior. Psychoanalysis is much more the science of the consciousness (in the experiential sense of the term) than that of the unconscious, the latter being only a — logically and empirically — necessary element to the explanation of the failures of conscious regulation.

The real problem is, thus, how the regulative function of the conscious mental elements (e. g. cognitive structures, information stored in memory, emotional and affective states, etc.) is working in the personality, which levels of integration do exist in them and how can the process of integration and disintegration, or in other words, the regulative development and the different forms of malfunction be explained.

Starting from Freud's thesis, according to which the unconscious material becomes conscious only by a firm connection with a word or with words, and from Adler's seemingly paradoxical statement: «man does know much more than he understands» the author stresses the importance of the language in the regulation of behavior, and proposes to investigate the problems of the unconscious and of consciousness in terms of unverbalizable and verbalizable psychic materials.

Using a wide array of theories and observations (including some cognitive theories of social psychology, some philosophical theories concerning the problem of meaning, — e. g. Wittgenstein, Ogden and Richards, Korzybski and general semantics, etc. — some concepts of socio- and psycholinguistics, as well as his own observations made in psychoanalytic therapies and in experiments with free association), the author tries to outline a semantic theory of the unconscious.

This theory presupposes the biological basis of human personality to be a highly automatized information storage and retrieval system. Life experiences are continuously recorded in an audiovisual form (like in the videotape machines). As any other animal, man too needs the constant retrieval, evaluation and application of some parts of the stored informational material. While this retrieval is based in animals on relatively simple principles, the acquisition of language enables man to develop a very complicated, hierarchically organized categorial system for this function and provides him with the possibility of using a great part of his previous experiences for different — present and future — purposes of regulating his behavior according to very complex sets of internal and external demands (drives, personal goals, social rules, interpersonal expectations, etc.). The regulative capacity, however, depends on the degree of verbalization, i. e. on the possibility to understand and to express in words the whole meaning hierarchy of a given relationship between man and environment (and especially between the Self and its objectified elements, such as the Self-Concept, Self-Ideal, Self-Image, etc.). The categorial system consists of conceptual abstractions of different order, operating largely unconsciously, i. e. inaccessible to the verbalization. The reason of this unconsciousness lies

in the circumstance that the categorial system arose and developed during the whole socialization process, starting from the learning of language and from the parent-child relationships, and has been constantly modified in «verbalization trainings» within interpersonal relationships and small groups. The conceptual structure of the mind can become an object of scrutiny only in a complicated, circuitous way — through objectification by functional failures (such as maladaptive behavioral manifestations, disturbances of experience, etc.), and this is why the concept of the unconscious firstly emerged, preceding a more general theory of consciousness and of the regulation of behavior.

In this fashion it is possible to explain how the experiences unintegrated in verbalizable meaning structures can contribute to failures in behavior regulation or to emotional tensions or anxiety, and how can the psychoanalytic therapy restitute this regulation by helping to reintegrate these experiences. Not only the psychoanalytic therapy, but many other methods of psychotherapy can be explained by this model.

The author discusses his theory in relation to some psychopathological theories (e. g. Karl Menninger's system theoretical approach to psychopathology, Günter Ammon's spectral theory, etc.) and to some practical problems of psychotherapy. According to his opinion, the semantic theory of the unconscious is able to dissolve some contradictions between psychoanalytic formulations and the tenets of other psychological and psychiatric schools, because thus the psychoanalytic concept is cast into historical perspective and can be translated into the more modern and general language of information and system theory.

174

О НЕОСОЗНАВАЕМОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ НЕКОТОРЫХ ФОРМАХ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ БОЛЬНЫМИ С АФАЗИЕЙ

Э. С. БЕЙН, Т. Г. ВИЗЕЛЬ

Институт неврологии АМН СССР, Москва

Вопрос о соотношении сознательного и бессознательного в речевой деятельности человека, в частности в процессе восприятия речи, остается в настоящее время по-существу открытым. Между тем его решение является необходимым условием выяснения целого ряда недостаточно изученных, но чрезвычайно важных сторон теории речевой коммуникации. К ним относятся экстралингвистические, а также языковые и психолого-лингвистические проблемы, а именно: вероятностное прогнозирование содержательной стороны воспринимаемого высказывания, его структуры, отвечающей конкретным условиям речевого общения; выделение признаков, обеспечивающих рациональный отбор информации, учет различных грамматических показателей текста и т. д.

В осуществлении всех этих необходимых операций восприятия речи особенно большое значение имеет так называемое «чувство языка». Его изучению посвящено много работ, особенно по развитию речи у детей (Л. И. Божович, 1947; Д. Б. Богоявленский, 1958; А. Н. Гвоздев, 1949, 1961; Т. Н. Ушакова, 1971, 1972; С. Н. Карпова, 1972 и др.).

Анализ этих исследований позволяет констатировать следующее.

Формирование «чувства языка» протекает по типу неосознанного накопления способов «извлечения» из многообразия языковых комбинаций тех, которые являются существенными для понимания слышанного и передачи необходимой информации. На этом сложном пути неизбежны различного рода ошибки, например, «Я поцелул» (пример А. Н. Гвоздева) или «Не вижу, где рваность», «Спасибо за жданость» (примеры Т. Н. Ушаковой).

Такого рода словообразования демонстрируют наличие неосознаваемых ребенком компонентов его речевого развития и выявляют механизмы становления речи: образование словоформ по аналогии, соединение несоединимых с точки зрения языковых правил элементов и т. д.

В результате школьного обучения «чувство языка» становится, как показано в ряде работ (Л. С. Божович, 1947; Д. Б. Богоявленский, 1958; С. Н. Карпова, 1971, 1972), знанием языка, т. е. переводится на осознанный уровень. При этом ребенок обязательно вынужден преодолеть «антиграмматический гипноз лексики», приводящий к фактам «наивного семантизма». Примером последнего может служить отнесение детьми слова «бег» к глаголам, а не к существительным благодаря его процессуальному содержанию. Для устранения этих языковых казусов необходимо осознание слова в системе всех его объективных значе-

ний, в том числе и грамматических, определяющих принадлежность к определенному грамматическому классу. Обучение в школе и предполагает развитие осознания различных языковых явлений. Благодаря этому взрослый грамотный носитель языка обладает обоими механизмами речевосприятия и речеобразования — бессознательным и сознательным.

На современном этапе «чувство языка» рассматривается как интуитивная, а следовательно, бессознательная «реакция на отклонение от нормы» (М. М. Гохлернер и соавт., 1970). По определению П. Я. Гальперина (1957), благодаря этой реакции «ситуация не распознается, а узнается. действие вызывается пусковым сигналом, а его течение контролируется по чувству согласования с его конечным фактическим исполнением и результатом».

В последнее время наметилась тенденция к исследованию состояния «чувства языка» у больных с афазией (H. Goodglass, 1962; H. Goodglass et al., 1972; F. Boller, E. Green, 1972; R. von Stockert, 1972; A. Kreindler et al., 1971; Ж. Глозман, 1974 и др.). Как уже не раз было показано в литературе, нарушения речи, в том числе и при афазии, дают богатейший материал, позволяющий судить о закономерностях осуществления речевой деятельности не только в патологии, но и в норме. Поэтому данные изучения речевой патологии представляют известный интерес для специалистов различных профилей, и в первую очередь психологов.

Нами изучалась способность больных с афазией к контролю за грамматической правильностью обращенной к ним речи, а также некоторые психологические особенности самой деятельности контроля. В исследование были включены две группы больных по 14 человек в каждой. У подавляющего большинства больных афазия являлась следствием перенесенного инсульта. В первую группу входили больные с сенсорной афазией (далее — СА), во вторую — с эфферентной моторной афазией (ЭМА). Включение больных с двумя резко отличными друг от друга формами афазии обеспечивало выявление различий в их способности к восприятию речи. При этом мы исходили из данных более ранних исследований А. Р. Лурия (1946—1969), Э. С. Бейн (1947—1970), Л. С. Цветковой (1972) и др., содержащих разнообразные сведения об особенностях импрессивной стороны речи при СА и ЭМА.

В первой серии экспериментальных заданий больным предъявлялись на слух правильные и искаженные грамматические конструкции, широко распространенные в русском языке. Требовалось уловить грамматическую ненормативность той или иной словоформы, например ответить на вопрос, можно ли сказать «кошка на стулА»? С достаточным основанием можно думать, что выполнение такого рода заданий в первую очередь предполагает непосредственное обращение к «чувству языка», т. е. интуитивную, а не осознанную оценку нормативности речевой конструкции.

Во второй серии заданий больным предъявлялась известная тестовая «фраза» акад. Л. С. Щербы «Глокая куздра», названная А. А. Реформатским (1975) «прелестной и изобретенной в минуту вдохновения»[1]. Внимание больных не фиксировалось на том, что в этой «фразе нет значимых слов, а присутствуют лишь их грамматические характе-

[1] «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка».

ристики. Больные должны были интерпретировать содержание «Глокой куздры», т. е. рассказать, о чем, по их мнению, в ней говорится.

Результаты первой части исследования показали, что больные с СА, как и предполагалось, не испытывают существенных затруднений в оценке грамматической правильности предъявляемых им конструкций, а больные с ЭМА гораздо хуже справляются с заданиями этого типа.

Приведем пример выполнения больными экспериментальных заданий:

Экспериментатор: «Послушайте, что я буду говорить и ответьте, правильно ли я сказала — кошка на стулА»?

Больной С-ов (ЭМА): «Да, да, тут она, верно».

Больной Р-ев (СА): «Неправда, чепуха».

Следовательно, больной С-ов (с ЭМА) не уловил неправильности грамматико-синтаксической стороны конструкции, а больной Р-ев (с СА) легко с этим справился.

В связи с этими данными встает вопрос о том, какой из двух механизмов является ведущим в осуществлении деятельности контроля— «чувство языка» или осознанный грамматический анализ воспринимаемой конструкции? Для его разрешения был проведен дополнительный опрос больных с просьбой объяснить, что именно неправильно в предъявленном им тексте. Оказалось, что больные с обеими формами афазии оказались не в состоянии подойти к решению этого вопроса аналитически, с использованием грамматических знаний. Они начинали искать несоответствие не в формальной, а в собственно-содержательной предметной стороне высказывания. Например, на вопрос, что именно неверно в конструкции «кошка на стулА», больной отвечает: «Зачем ей тут сидеть, не надо, брысь!». Таким образом ясно, что больной совершенно не осознает, что именно он оценивает, контролирует, даже в тех случаях, когда оказывается способным уловить грамматическое несоответствие. Больные же с ЭМА вообще отказывались от объяснения, утверждая, что в предъявленных им конструкциях все правильно.

Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что у больных с СА «чувство языка» в достаточной мере сохранно и позволяет относительно легко уловить искажение того или иного синтаксического стереотипа речи; больные же с ЭМА обнаруживают грубый распад «чувства языка» и полную невозможность опоры на него при восприятии речи[2].

Эти данные о различии в состоянии «чувства языка» у больных с двумя сопоставляемыми формами афазии согласуются с современными представления о сущности каждой из них, согласно которым при СА, в противоположность ЭМА, остается относительно интактной внутренняя речь, а следовательно, и динамическая сукцессивная организация речевой деятельности (R. Jakobson, 1956; А. Р. Лурия, 1975).

Результаты 2-ой части эксперимента выявили относительную доступность интерпретации «содержания» «Глокой куздры» (см. стр. 4) для больных с СА и полную невозможность этого у больных с ЭМА.

---

[2] Для количественной обработки полученных результатов было введено понятие показателя аграмматизма ($П_{агр}$), представляющего собой отношение суммы ошибок к сумме заданий: $\frac{\Sigma \text{ ошибок}}{\Sigma \text{ заданий}}$. Выяснилось, что при ЭМА $П_{агр}$ существенно выше [23, 4], чем при СА [4,7].

Приведем примеры:

Больной М-ин (СА): «Она задевает какого-то этого... козла, а родители защищают его. Ну, конечнс, она его терзает юного какого-то зверенка».

Больной Ю-н (СА): «Какая-нибудь оживленная вещь сделала что-то плохое и узнает своего щенка».

Больная К-ова (СА): «Ну, подумайте, что придумали! Сейчас — голову в порядок надо. Это, конечно, женщина, ну, конечно женщина, она драчунья, это точно, стукнула кого-то и ругает своего ребенка».

Больной С-ин (СА): «Ах, боже мой, какая-то ужасно страшная, как сказать... особа... кого-то ударила и нянчит маленького».

Больной Ч-ов (ЭМА): «Пустая кукуруза... больше не могу».

Больной Ш-ин (ЭМА): «Глагол, бокс, штеко..., я знаю, это аптека, а глагол точно, потому, что буква «г».

Больной С-ов (ЭМА): «Блудная женщина, бывает, боксер... может курица блудная, теленок».

Больной Е-ин (ЭМА): «Голая Козьма или Кузьма глупая, Кутузовский проспект, стекло, дурман, дурно, бурно, мокро курить... может, корова».

Как показывают примеры, больные с СА довольно легко «схватывают» обобщенно-грамматические отношения между словами. Более того, их не смущает отсутствие лексического содержания. Больные этой группы не замечают даже искусственности текста, что опять-таки соответствует существенным сторонам настоящей формы афазии (Э. С. Бейн, 1947, 1970). Больные же с ЭМА не воспринимают «Глокую куздру» как фразу. Все они вычленяют из предъявленного им текста лишь отдельные «слова». Пытаясь дать интерпретацию хотя бы этих отдельных фрагментов, больные с ЭМА ориентировались не на грамматическую структуру речевых элементов, а на их звуковой рисунок. Например: «глокая» — больной воспринял как «глагол», ориентируясь на звуковое сходство обоих слов; «штеко» — как «аптека», «бокр» — «бокс», «куздра» — «кукуруза» или «Кутузовский проспект», «глокая куздра — голубой кузов».

Итак, сама возможность правильной интерпретации «глокой куздры» больными с СА при игнорировании или отсутствия лексического содержания этой «фразы» подтверждает интуитивно-смысловой характер ее восприятия, базирующегося на относительно сохранном «чувстве языка» у этой категории больных. И наоборот, полная невозможность такой интерпретации у больных с ЭМА свидетельствует о глубоком распаде у них этого важного психолого-лингвистического механизма восприятия речи.

Представляется, что для оценки полученных в работе результатов продуктивно привлечение теории Л. С. Выготского (1956, 1968) и А. Н. Леонтьева (1947, 1974) об уровневой организации процесса осознания. Согласно этой теории, следует различать содержание, актуально осознаваемое и лишь оказывающееся в сознании. Актуально сознаваемое содержание является объектом направленного внимания, или, по образному выражению Д. Н. Овсянико-Куликовского, находится в «светлой точке сознания». Иногда оно может опускаться на более элементарный уровень — уровень сознательного контроля, когда на данном речевом явлении, если оно соответствует тому, что ожидается, не сосредоточивается специальное внимание. Если же происходит какое-то отклонение от нормы, то это речевое явление (или его отсутствие) становится актуально сознаваемым. Кроме того, имеется и третий уровень, на котором операции сознательного контроля оказываются не

«спущенными» с высшего уровня сознательных операций, а формируются путем простого «прилаживания» действия к предметным условиям или путем простейшего подражания. Именно таким путем ребенок овладевает первым (родным) языком.

Эта концепция может служить теоретическим обоснованием вывода о том, что деятельность контроля, оценки воспринимаемой речи протекает при афазии на относительно низком уровне осознавания, уровне «прилаживания к образцу», с непосредственной опорой главным образом на «чувство языка». При этом потенциальная возможность сознательного контроля, которая всегда имеется в норме и может быть в случае необходимости быстро реализована, у больных с афазией отсутствует. При афазии имеет место распад грамматических значений (понятий) или способности к металингвистическим операциям (R. Jakobson, 1956) как закономерное следствие афазической патологии. Больной не может мыслить о языке в категориях языка, т. е. в лингвистических категориях. Это соответствует современным представлениям о сущности сознательного и бессознательного. Имеется в виду распространившийся в последнее время взгляд, по которому сфера бессознательного больше связана с неформализуемой, смысловой стороной психической деятельности, с интуитивным ее уровнем, а сфера сознательного — с системой логически различаемых значений (Ф. В. Бассин, 1975). Как показывает настоящая работа, больной с афазией не в состоянии обратиться к грамматическим значениям, являющимся объективными знаковыми единицами.

Таким образом, проведенное экспериментальное исследование некоторых форм процесса восприятия речи у больных с различными афазическими расстройствами обнаружило большую роль сохранности «чувства языка» при патологии мозговых механизмов речевой деятельности.

Эта особая роль интиутивного восприятия в оценке грамматической нормативности (на уровне «чувства языка») связана с распадом грамматических значений (понятий) как одного из важнейших следствий афазического нарушения.

Вместе с тем степень сохранности «чувства языка» оказалось различной при разной структуре афазического дефекта. Она значительно выше при СА по сравнению с ЭМА.

С точки зрения вопроса о соотношении сознательного и бессознательного особый интерес представляют данные о том, что и при СА возможности осознания даже правильно воспринятой грамматической конструкции минимальны.

Эти данные изучения патологии речи представляют несомненный интерес для общей психологии и нейролингвистики, так как выявляют связь неосознаваемого уровня восприятия речи с интуитивным «схватыванием» смысла грамматических отношений.

ON THE UNCONSCIOUS MENTAL ACTIVITY IN SOME FORMS OF SPEECH PERCEPTION BY APHASIC PATIENTS

E. S. BEIN, T. G. VIZEL

Institute of Neurology, USSR Academy of Medical Sciences, Moscow

S U M M A R Y

A study of some forms of speech perception by aphasic patients has revealed the predominant role of the «feel for language» against the background

of a disintegration of grammatical meanings as one of the natural consequences of aphasia. The degree of preservation of the «feel for language» depends on the structural peculiarities of the speech disorder. It is much higher in sensory aphasia in comparison with the efferent motor form. However, in sensory aphasia, too, the powers of realizing 'grammatical' peculiarities even of a correctly perceived linguistic construction are minimal. This evidence on the role of «language feel» in aphasia in the intuitive 'grasping' of grammatical relations is of interest to psychology. It confirms the relation of the activity of the unconscious with the unformalizable, significant aspect of mental activity.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., В ж.: Вопросы философии, № 10, 1975.
2. БЕЙН Э. С., Психологический анализ сенсорной афазии. Докт. дисс., М., 1947.
3. БЕЙН Э. С., В ж.: Вопросы психологии, № 4, 1957, стр. 80.
4. БЕЙН Э. С., Афазия и пути ее преодоления, Л., 1964.
5. БЕЙН Э. С., ОВЧАРОВА П. А., Клиника и лечение афазии. София, 1970.
6. БОГОЯВЛЕНСКИЙ Д. Б., В ж.: Вопросы психологии, № 4, 1958, стр. 85.
7. БОЖОВИЧ Л. И., В ж.: Известия АПН РСФСР, вып. 3, 1946, стр. 27.
8. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Мышление и речь. Избранные психологические исследования, М., 1956.
9. ВЫГОТСКИЙ Л. С., В сб.: Психология грамматики, М., 1968, стр. 182.
10. ГАЛЬПЕРИН П. Я., В ж.: Доклады АПН РСФСР, 1957, № 4, стр. 55.
11. ГВОЗДЕВ А. Н., Формирование у ребенка грамматического строя русского языка, М., 1949.
12. ГВОЗДЕВ А. Н., Вопросы изучения детской речи, М., 1961.
13. ГЛОЗМАН Ж. М., Нейропсихологический и нейролингвистический анализ грамматических нарушений речи при разных формах афазии. Канд. дисс., МГУ, 1974.
14. ГОХЛЕРНЕР и др., В сб.: Материалы III Всесоюзного симпозиума по психолингвистике, М., 1975, стр. 15.
15. КАРПОВА С. Н., В сб.: Новые исследования в психологии и возрастной физиологии, М., 1972, № 1, стр. 49; № 2, стр. 33.
16. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., В ж.: Известия АПН РСФСР, вып. 7, М., 1947, стр. 20.
17. ЛУРИЯ А. Р., В ж.: Известия АПН РСФСР, 1946, вып. 3, стр. 61.
18. ЛУРИЯ А. ., Высшие корковые функции человека, Изд. 2, М., 1969.
19. ЛУРИЯ А. Р., Основные проблемы нейролингвистики, М., 1975.
20. РЕФОРМАТСКИЙ А. А., Фонологические этюды, М., 1975.
21. УШАКОВА Т. Н., В сб.: Новые исследования в психологии и возрастной физиологии, вып. 1., 1971, стр. 44.
22. УШАКОВА Т. Н., В сб.: Новые исследования в психологии и возрастной физиологии, вып. 2. 1972, стр. 39.
23. ЦВЕТКОВА Л. С., Восстановительное обучение больных с локальными поражениями мозга, М., 1972.
24. BOLLER. F., GREEN. E., «Cortex», VIII, 1972, № 4, p. 382.
25. GOODGLASS, H., «Proc. XI Congress Int. Assn. Logopedics and Phoniatrics», Padua, 1962.
26. GOODGLASS et al., «Cortex, 8, 1972., № 2, p. 191.
27. JAKOBSON. R., HALLE. M., «Fundamentals of Language», Mouton, Hague, 1956.
28. KREINDLER et al., «Rev. roum. neurol», 3, 1971, № 3, p. 209.
29. LURIA. A. R., «Linguistica», 115, 1973, nov., p. 57.
30. STOCKERT. R. Von, «Cortex», 8, 1972, sept., p. 323.

175

DIALOGTEXTE BEI SCHIZOPHRENEN

RUTH WODAK-LEODOLTER

Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, Österreich

1. Im folgenden sollen kurz und zusammengefaßt einige vorläufige Ergebnisse einer Untersuchung dargestellt werden, die seit einem Jahr an der Psychiatrischen Klinik und am Institut für Sprachwissenschaft läuft[1].

Ziel des Projekts ist es, bessere Diagnose- und Therapiemethoden für schizophrene Kranke zu entwickeln. Zunächst geht es auch darum, Schizophrenie von anderen psychotischen Geisteskrankheiten abzugrenzen.

Im Rahmen dieses Aufsatzes können nur die linguistischen Probleme und Ergebnisse behandelt werden; inwieweit diese vorläufigen Hypothesen und Thesen dem Psychiater weiterhelfen, ist noch nicht klar und nicht voraussehbar.

Die linguistische Studie besteht einerseits in einem Sprachtest, der die monologische linguistische Kompetenz überprüft, andrerseits in der Anwendung qualitativer textlinguistischer Methoden in der Analyse der Exploration zwischen Arzt und Patient, bzw. der Analyse und Interpretation «privatsprachlicher» Textabschnitte. Dadurch gewinnen wir Aufschluß über die dialogische Kompetenz der Kranken, über ihre Fähigkeit und Bereitschaft, spontan zu interagieren.

2. Arbeiten, die sich linguistischer Methoden bedient haben[2], begreifen die «seltsame» Sprache von Schizophrenen meist unter dem Aspekt der Gestörtheit, also als Abweichung von einer commonsensemäßig definierten umgangssprachlichen Norm. Der semantische Inhalt interessierte v.a. innerhalb des Satzbereichs, und zwar einerseits unter dem Gesichtspunkt der bilderreichen, metaphorischen Sprache[3], andrerseits als Beispiel für Kreativität (Neologismen). Psychologische, soziologische und psychiatrische Theorien über Ursprung, Verlauf, Ursache und Bild der Krankheit wurden dabei nicht berücksichtigt.

Letztere Theorien sahen sich aber außerstande, linguistische Mittel zur Sprach- und Textanalyse anzuwenden. Einige wesentliche Theorien seien kurz genannt, soweit sie den kommunikativen Aspekt berühren. Die Kernfamilie, v.a. Interaktions- und Kommunikationsstrukturen innerhalb der Kernfamilie stehen im Mittelpunkt sozialpsychologischer Ansätze. Typische Interaktionskonflikte seien Ursache für das Entstehen schizophrener Störungen, Schizophrenie wird also als Unfähigkeit bzw. Nichtbereitschaft «normal» zu interagieren verstanden, bzw. als abweichendes Verhalten, anderes Verhalten.

3. Aufbauend auf den theoretischen Erwägungen führen wir also schizophrene Störungen v.a. auf Interaktionskonflikte unverarbeitbarer Form in der Kernfamilie zurück. Schizophrene fliehen aus dieser für sie unerträglichen, widersprüchlichen Welt, sie bauen sich eine eigene Welt auf, eigene Interaktionsformen mit eigener Privatsprache, allerdings in unbewußter und zwanghafter Form. Andere Interaktions- und Kommunikationsformen werden benutzt, gesellschaftliche Realität als Ganze abgewehrt. Es kommt daher zu einem, geht man von der «normalen» umgangssprachlichen Kommunikation aus, zu einem «Nichtkommunizieren».

Daß sowohl die privatsprachlichen Texte, wie auch die Dialoge als ganze eine systematische Struktur aufweisen, Texte darstellen, soll im folgenden expliziert werden. Wir beschreiben eine andere Textstruktur. Bezieht man aber die gesellschaftliche Bewertung ein, mißt man also die Kommunikation an einer umgangssprachlichen Norm, so wird die Folge abweichenden Verhaltens klar: andere Kommunikationsinhalte, wie Formen sind benachteiligt, werden stigmatisiert.

Hypothesen

1) Schizophrene flüchten aufgrund typischer unerträglicher Interaktionsformen in der Familie in eine eigene Welt mit eigener Sprache.

2) Diese Sprache ist uns zunächst unverständlich: sie drückt eine je individuelle Privatwelt aus.

3) Schizophrene sind nicht unfähig, Symbole zu bilden, sie bilden auch nicht falsche Symbole, sondern schaffen eine eigene Symbolik, nach eigenen Regeln.

4) Diese Privatsprache kann in einer semantischen Umsymbolisierung bestehen, oder im Erzeugen neuer Formen überhaupt.

5) Schizophrene verletzen, bewußt oder unbewußt, Regeln der Dialogführung in typischer Weise. Sie vermeiden Kommunikation bzw. kommunizieren in zwanghafter Form nicht oder nichts.

6) Die zunächst sinnlos erscheinenden Texte sind strukturiert. Die Abweichungen von einem «normalen» Text sind nicht zufällig, sondern entsprechen einem Traumtext.

4. Die empirische Untersuchung gliedert sich in zwei Teilabschnitte: ein Sprachtest dient zur Ermittlung der linguistischen Kompetenz, d.h. gibt Aufschluß über das internalisierte Regelsystem schizophrener Patienten. Andrerseits konnten mit Hilfe eines halbstandardisierten Interviews spontane Interaktionen auf Band aufgenommen und analysiert werden, in dieser Form also Einblick in die dialogische Kompetenz gewonnen werden. Im Rahmen dieses Aufsatzes möchte ich nur die Ergebnisse der Textanalyse darstellen[4]. Wichtig zu erwähnen scheint mir jedoch das Ergebnis des Sprachtests zu sein; es ergab sich eindeutig, daß die monologische linguistische Kompetenz vorhanden ist, daß also keine Unfähigkeit bzw. keine Störung im syntaktischen Regelsystem zu sehen ist. Die «Sprachstörung» muß daher auf einer anderen Ebene liegen, ist in der Interaktion, im Dialog anzusetzen.

Im Rahmen des halbstandardisierten Interviews stellt der Arzt dem Patienten folgende Fragen:

Was machen Sie beruflich? Was haben Sie für eine Ausbildung? Was haben Sie für Schulen besucht? Wo wohnen Sie jetzt? Sind Sie alleinstehend? Können Sie mir erzählen, was Sie üblicherweise tun? am Wochenende? im Alltag? Können Sie mir erzählen, warum Sie ins Spital gekommen sind? Haben Sie Schwierigkeiten mit dem Denken?

Dazwischen werden die Fragen präzisiert oder im Anschluß an die Antworten des Patienten differenziert, verändert usw.

4. 1. Interessant und wichtig erscheint mir die Tatsache, daß Schizophrene sehr wohl zwischen den beiden Situationen «Test» und «Interview» zu unterscheiden vermögen. Dies bestätigt die Annahme, daß die Einheit «Sprechsituation» als solche wahrgenommen und auch innerhalb der Sprachsozialisation internalisiert wird[5]. Das Unterscheidungsvermögen läßt sich mit Hilfe der phonologischen V a r i a t i o n innerhalb der beiden Sprechsituationen wahrnehmen. Die Sprache ist bei der Bewältigung des Sprachtests um vieles formaler als in der Interviewsituation. Codewechsel treten kaum—außer in Parenthesen—auf. Beim Interview hingegen switcht derselbe Patient signifikant häufiger, abhängig vom Thema und Inhalt der Frage, von seiner Ermüdung, von Angst und anderen affektiven Gefühlszuständen. Die Schlußfolgerung, die zu ziehen sich notwendig ergibt, lautet, daß Schizophrene bewußt auf die Realität eingehen können, situatives soziales Verhalten erlernt haben und ein in dieser Hinsicht durchaus normales Verhalten und sprachliches Handeln zeigen[6].

4. 2. Wollen wir untersuchen, in welcher Form der Dialog «gestört» ist, so müssen wir uns zunächst die Frage stellen, welche konstitutieven Bedingungen für das Gelingen eines Dialogs überhaupt notwendig einzuhalten sind. Hierfür lohnt es zu überlegen, welche Charakteristika ein Dialog ganz allgemein besitzt, insbesondere aber das Gespräch zwischen Arzt und Patient. Ich stütze mich dabei auf pragmatisch-philosophische Arbeiten[7] und linguistische Studien einerseits[8], andrerseits auf phänomenologische Beobachtung. Letzteres Verfanren soll später bergündet werden.

Basisbedingungen eines Dialogs (summarisch aufgezählt):

Beide Dialogpartner wollen miteinander kommunizieren.

Jeder nimmt an, daß der jeweils andere nicht lügt.

Beide bemühen sich, ihre Erwartungen und Intentionen dem anderen näher zu bringen, sich ihm verständlich zu machen.

Jede Frage erheischt eine Antwort.

Präsuppositionen, soweit nicht bekannt, werden explizit gemacht.

Pragmatische Universalien (bzw. dialogkonstituierende Universalien[9]) geben dem Dialog selbst, wie auch seinem Inhalt einen Stellenwert in Raum und Zeit.

Der Dialog ist für beide sinnvoll, entweder als Auseinandersetzung oder als Problemlösung. Funktion und Sinn des Gesprächs werden beiden einsichtig.

Gebrauch von Performativa, deiktischer Ausdrücke, Personalpronomina

usw., Tempus- und Zeitreferenz, logischer Aufbau des Gesprächs, Themawechsel u.a. sind linguistische Indikatoren, an denen sich z. T. Einhaltung und Verletzung dieser Regeln nachweisen läßt. Wichtiger jedoch erscheint der Textaufbau, die Dialogführung in diesem Zusammenhang, als die Quantifizierung einzelner der obengenannten Indikatoren[10].

Die Sprachsituation zwischen Arzt und Patient besitzt weitere charakteristische Merkmale:

Es handelt sich um eine Autoritätssituation, also um durch Herrschaft verzerrte Kommunikation.

Der Arzt stellt die Fragen, Gegenfragen sind nur als Erläuterungsfragen erlaubt.

Der Inhalt des Gesprächs ist definiert—es handelt sich um eine Exploration des Patienten.

Der Patient muß einen (zumindest impliziten) «working consens» schließen und bereit sein, auf die Fragen einzugehen.

Der Patient muß also sinnvolle Antworten geben, die Fragen des Arztes sind von vornweg durch seine Autorität als sinnvoll legitimiert.

Der Arzt beendet den Dialog dann, wenn er alles ihm wesentlich Erscheinendes erfahren hat.

4. 3. Aus den translitterierten Interviews geht hervor, daß die obengenannten Bedingungen systematisch verletzt werden. Vorläufig möchte ich analytisch vier Dialogtypen unterscheiden, die für je bestimmte Kommunikationsweisen und -verhalten stehen. Diese Vorgangsweise stellt im methodologischen Sinn ein hermeneutisch-interpretatives Verfahren dar, d.h. es handelt sich um eine qualitative Vorgangsweise. Meiner Überzeugung nach ist dies ein für Textanalysen sinnvoll anzuwendendes Verfahren. Quantifizieren ließen sich (wie oben erwähnt) auch die Fehler innerhalb einzelner Sätze, dies vermag aber nichts über Art und Weise der Gesprächsführung, über das sprachliche Handeln auszusagen. Eine Synthese zwischen quantitativen und qualitativen Methoden hat sich bei dieser Untersuchung als brauchbar erwiesen[11]: einerseits wurden mit Hilfe statistischer Methoden die monologischen linguistischen Fähigkeiten des Patienten überprüft, andrerseits interessiert die Qualität des Dialogs. Erst die Interpretation beider Untersuchungsabschnitte läßt ein vollständiges Bild von Sprache und Privatwelt des Patienten entstehen.

Aus dem bisherigen Material lassen sich vier Dialogtypen unterscheiden, die mit einem spezifischen Erkrankungsgrad einhergehen und insofern für die Diagnose brauchbar sein können. Dies ist natürlich nur eine vorläufige Kategorisierung, die noch weiterer Validierung bedarf.

D i a l o g f o r m A ist charakterisiert duch sehr kurze restringierte Antworten, die zwar auf die Frage eingehen, also in gewissem Sinn konstruktiv sind, aber zu wenig Information liefern. Selbst offene Fragen, wie die Frage nach dem Alltag, werden nicht ausreichend beantwortet, insofern das Dialogpostulat nach «Antwort mit Informationsgehalt» verletzt. Dialogform A ist für Schizophrene im akuten Schub typisch[12].

D i a l o g f o r m B ist ein bewußtes Vermeiden bzw. Abschneiden von Kommunikation — es wird systematisch nicht bzw. nichts kommuniziert. Auch diese Form ist für akut Erkrankte typisch; diesen Dialogtypus könnte man als destruktiv bezeichnen, konstitutive Regeln, wie «Jede Frage erheischt eine Antwort» u.a. werden durchbrochen.

D i a l o g f r o m C tritt bei chronisch Kranken bzw. bei Prozeßerkrankungen auf: auf bestimmte, charakteristische Fragen wird nicht eingegangen, bzw. treten in zwanghafter Form Blockierungen und zunächst unverständliche Äußerungen auf (eben unbewußt)[13]. Konfliktreichen Fragen wird eben ausgewichen (Frage nach dem Alltag, Wochenende, Arbeitsplatz). Der «Ausweichtext» weist, wie noch zu zeigen sein wird, systematische Strukturen auf.

D i a l o g f o r m D kommt bei stark gestörten chronisch Kranken vor: sie sind überhaupt nicht mehr imstande, auf die Fragen einzugehen, obwohl manche Äußerungen durchaus Umweltsbezug aufweisen, allerdings innerhalb einer Assoziationskette verwoben. Diese Kommunikationsform ist eigentlich nicht mehr als Dialog zu bezeichnen, denn ein «working consens», ein Aufeinandereingehen besteht nicht mehr[14].

4. 4. Die Analyse des «Privattextes» setzt voraus, daß das schizophrene «Gefasel» tatsächlich als Text betrachtet werden kann. Erfüllt denn diese Anhäufung sinnlos erscheinender Rede die Kriterien eines Textes?

Zunächst wollen wir einige konstitutive Elemente einer Textstruktur nennen und hierauf anhand eines Beispiels illustrieren, daß gerade die Abweichungen im schizophrenen Text systematischer Natur sind. Ein Text ist ein strukturiertes Gebilde. Die wesentlichen Strukturelemente und -Einheiten lassen sich klar explizit machen:

Rekurrenz (wiederholtes Vorkommen von Strukturteilen)

Konsequenz (den Äußerungen sind intendierte Konsequenzen zugeordnet)

Refferenz (isolierte Textkonstituenten werden erst durch die Integration im Text monosem)

Konnexion (Textkonstituenten haben einen Bezug auf Kontext- und Situationselemente)

Kohärenz (die Kohärenz dialogischer Texte ergibt sich aufgrund von Konnexionselementen, der thematischen Abgrenzung und des Interaktionszu sammenhangs)[15]

Diesen Kategorien lassen sich linguistische Indikatoren zuordnen, von Interesse sind besonders diejenigen, die sich auf den Sprecher beziehen: Person, Präsentation, Fokus, Tempus, Aspekt, Genus, Modus[16].

Im folgenden sei eim kurzes Textstück wiedergegeben und analysiert:

A: Wie schaut ein üblicher Tagesablauf hieraus?

1 P: Na, ich bin halbtagsbeschäftigt—also in der Früh wach ich
2 immer auf, um 1/2 6, da hilf ich mein Bett machen... Wenn die
3 zwei Jugoslavinnen ihre freien Tage haben, wasch ma manchmal
4 auch da drüben auf—dann tu ich ads Thermal abstimmen, wissen
5 Sie, die Badewannen brauchen manchen Tag Warmwasser und man-

6 chen Tag Kaltwasser. Das hab ich auch schon herausgekriegt. Warum—
7 weil ich ja was vom Messerschleifen versteh, nicht, und da bring ich
8 die Elektronen durchs Rohr hindurch, weil Sie wissen ja, es wird ja,
9 es werden ja Elektronen geben in allen Farben, nicht nur in schwarz
10 weiß. Zumals ja auch an farbigen Fernsehapparat gibt, nicht, läßt
11 darauf schließen, daß es auch farbige Elektronen gibt, in jeder Farbe,
12 und das Zerrinnen der Farbe ist dann die Farbnuance, die man sozu-
13 sagen quasi nur mehr als Wasserfarben wahrnimmt. Das sind dann
14 noch die kleineren Dinge als die Elektronen.... so dünne Drähte,
15 kleine abgezwickte, das sprech ich als Elektron an, und die noch
16 kleineren Dinge, das sind quasi das Zusammenrinnen, und das nimmt man
17 dann nur so als Wasserfarben, wenn man Wasserfarben aufs Papier streicht.
18 Das rinnt dann so zusammen, daß man eben nur die Farben so
19 wahrnimmt, daß sie ineinander verfließen und noch klei—und die Kleinheit dieser
20 Substanz ist nicht mehr zum Erzählen.

Auffällig ist, daß es fast keine grammatischen Fehler gibt, außer in 9 und 16, wo «feature-spreading rules» nicht oder falsch angewendet werden.

Person: Die Person wechselt sehr signifikant; in 1 bis 8 spricht der Patient noch von sich selbst, dann wird die Badewanne personalisiert. Auch in 15 tritt er noch einmal als Person in die Erzählung ein, erklärt oder gibt Meinungen ab. Ansonsten steht die nicht-definitive Perspektive im Vordergrund.

Präsentation: Von einer sehr subjektiven Präsentation wechselt der Sprecher in 8 zur objektiven über, mit einer Ausnahme in 15, einer Kommentierung.

Fokus: Von einem Bericht über seinen Tagesablauf gelangt der Sprecher zu einer Beschreibung, einer «neutralen» Darstellung, wo der Bezug zu situativen Einheiten nunmehr schwer festzustellen ist. Thematisch zieht sich der Bereich «Wasser» —«Rinnen»—«Farben»—«Zusammenrinnen» — «Wasserfarben» —«Verfließen» durch, allerdings nicht als Bericht über sich selbst, sondern verdinglicht.

Tempus: Die Gegenwartsgruppe bleibt während des ganzen Berichts, es ändert sich der Aspekt: Von einer Handlung gelangt der Sprecher zu einer Beschreibung.

Genus: Im schizophrenen Text, also etwa ab 6, mit Ausnahme der später noch vorkommenden Sprechakte der «Erklärung» und «Meinung» verfällt der Sprecher ins Passiv. Auch die nicht-definitive Konstruktion mit «man» fällt unter Zustand und Passiv.

Modus: Die Beschreibung hat faktischen Charakter, die personalisierten Dinge bekommen Faktizität.

In dieser vorläufigen Analyse scheint es unmöglich, auf den semanti-

schen Gehalt einzugehen, ohne groben Spekulationen zu verfallen. Hier kann es nur gelingen, systematische und typische Strukturen aufzuweisen. Ersichtlich wird, daß signifikante Unterschiede zwischen «normalem» Text und «Privattext» bestehen. Daß die Kohärenz gewahrt bleibt, läßt sich am semantischen Feld und der Themengenerierung und -entwicklung nachweisen (siehe oben). Daß der Sprecher immer wieder bewußt eingreift und etwas mitteilen will, zeigt sich an den Sprecherwechseln in 6, 7, 15. Kommunikation ist also in diesem Fall intendiert (Dialogtyp C), aber gelingt aufgrund unbewußter Zwangsmechanismen nicht.

4. 5. Ein Zusammenhang zwischen Traum und Psychose wurde schon oft als existentierender behauptet: das Unbewußte, das beim «Normalen» nur im Traum auftritt, wagt sich beim Kranken im realen Leben hervor, ist nicht mehr verdrängbar[17]. Traumtext und «schizophrenes Gefasel» weisen zumindest viele Ähnlichkeiten auf: ich möchte daher behaupten, daß ähnliche Mechanismen die Entstehung eines «Privattextes» beeniflußen. Der Traumtext ent steht in seiner verbalisierten Verzerrung v.a. durch zwei Mittel: «Verschiebung» und «Verdichtung».

Verschiebung: Der Text ist im Vergleich zu seinem Kommunikationsgehalt kurz und knapp. Die Verdichtung äußert sich in Umkehrungen, Neologismen, in Sammelpersonen u.a. Dies entspricht dem Wechsel in Person, dem Gebrauch des Passiv und des Zustandaspekts im Privattext.

Verschiebung: Die Wertigkeit der einzelnen Gedanken bleibt nicht erhalten, es ändern sich daher v.a. Präsentation und Fokus. Freud betont die Umkehrung logischer Relationen: aus Kausalbeziehungen wird ein «Nacheinander», die Deixis ändert sich usw.

Der Bezug zum Traumtext weist nach, daß das schizophrene Gefasel nicht zufälliger Natur ist, sondern bestimmten Mechanismen unterliegt, die den semantischen Inhalt in systematischer und typischer Weise gestalten: es handelt sich also um einen TEXT, mit spezifischer STRUKTUR und eigenen MERKMALEN.

5. Typische Sozialisationsmuster und Strukturen innerhalb der Kernfamilie, als Ausdruck gesellschaftlicher Realität und ihrer Normen, führen zur Spaltung der Identität eines Kindes innerhalb einer schizophrenogenen Familie. Es kann die verbalisierten, verdeckten oder totgeschwiegenen Diskrepanzen nicht bewußt verarbeiten, flüchtet daher in eine eigene Symbolwelt mit eigener Privatsprache.

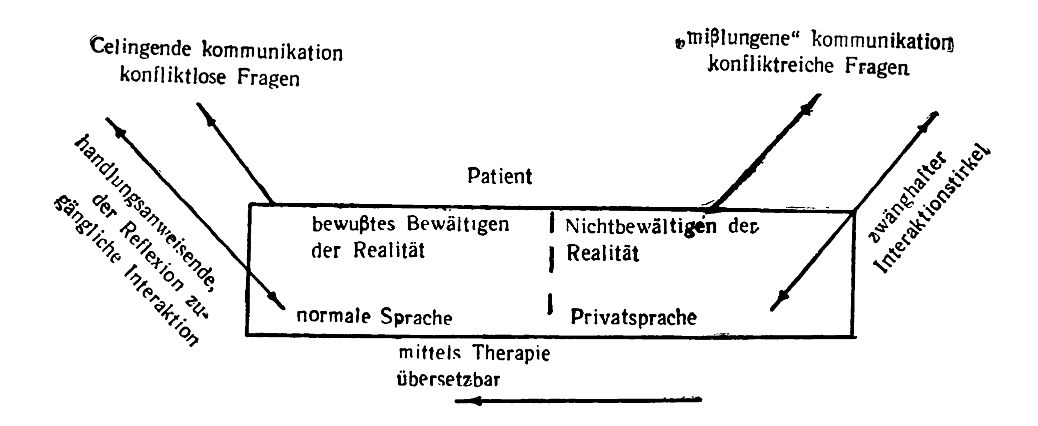
Die linguistische, monologische Kompetenz ist vorhanden, wie der Sprachtest erwiesen hat, nicht aber die Bereitschaft (Fähigkeit) zu kommunizieren. Der Privattext (Privatsprache) ist jedem unverständlich und bedroht uns, wie jedes abweichende Verhalten[18]. Ein solches Individuum ist daher per definitionem krank und wird in den zuständigen Anstalten dementsprechend behandelt.

Der mühsame und nur selten gelingende Prozeß der Heilung und Resozialisierung darf und kann nicht von einem vorgegebenen Normalitätsbegriff ausgehen, vielmehr ermöglicht einzig und allein das Erlernen und Verstehen der Privatsprache des Patienten, das Akzeptieren und Ernstnehmen

seiner Welt einen Entschluß des Kranken, auf diese zu verzichten und sich bewußt für die gesellschaftliche Realität zu entscheiden[19]; er ist dann fähig, Konflikte auszutragen und auszuhalten, muß nicht mehr in einer Scheinwelt Zuflucht nehmen. Insofern gleicht die Psychotherapie eines Schizophrenen dem Erlernen einer Fremdsprache und der ihr zugrundeliegenden Symbolik. Die Symbole, Welt bzw. Weltausschnitte des Kranken sind nicht öffentlich, sondern privat, sind individuell lebensgeschichtlich entstanden.

Die Kommunikation zwischen Arzt und Patient, zwischen Normalem und Kranken ist daher nicht gestört, sondern sie besteht im Extremfall n i c h t, der Kranke meidet den Dialog und die Auseinandersetzung mit der Umwelt, seis bewußt oder unbewußt. Dadurch ist er nicht imstande, die gesellschaftlichen Probleme zu lösen, sondern wehrt sie verzweifelt ab.

Modell der Kommunikation zwischen Arzt und Patient:



Fußnoten und Anmerkungen:

1. Die psychiatrische Auswertung obliegt v.a. Dr. B. Küfferle, dem ich für seine Diskussionsbeiträge sehr verpflichtet bin.
2. Siehe die Arbeiten von S p o e r r i 1954 und die Analysen von G o e p p e r t / G o e p p e r t 1973 und 1975.
3. Die Kreativität schizophrener Sprache wird oft in den Vordergrund gestellt (vgl. N a v r a t i l 1974). Bei manchen Dialogtypen tritt dieses Charakteristikum nicht auf. Sogar Neologismen sind als Freud'sche Fehlleistungen interpretierbar (vgl. F r e u d 1972: 303). Vgl. V l i e g e n 1875, R e d l i c h und F r e e m a n 1964 usw.
4. Siehe L e o d o l t e r 1975a.
5. Vgl. L e o d o l t e r 1975b : 136ff.
6. Vgl. L e o d o l t e r 1975a.
7. Wichtig sind H a b e r m a s 1971 und S e a r l e 1971.

8. Vgl. Wunderlich 1971, Sadock 1974, Sacks 1972, Grice 1968.

9. Vgl. Habermas 1971: 101ff. und Leodolter 1975b: 147ff.

10. Vgl. v.a. die Analysen von Goeppert/Goeppert. Unsere Kategorien beziehen sich auf den gesamten Text, den ganzen Dialog, der Kohärenz aufweist.

11. Vgl. Filstead 1971, Denzin 1970.

12. Diese Dialogform repräsentiert typischerweise einen «restringierten Code». Eine Korrelation zur US ist in diesem Rahmen aufgrund der geringen Stichprobe nicht möglich.

13. Siehe Modell am Ende des Aufsatzes.

14. Auch hier zeigt sich die eigene Struktur deutlich, trotz des «Nichtaufeinandereingehens».

15. Vgl. Kallmeyer et al. 1974: 44ff.

16. Vgl. Werlich 1975: 46ff.

17. Vgl. Freud 1972: 112 und 283ff.

18. Vgl. Argument 1975, Basaglia 1973.

19. Vgl. Green 1974, Parker 1974, Sechehaye 1974.

BIBLIOGRAPHIE

ARGUMENT 1975: Konservative Gehalte der Anti-Psychiatrie. Argument 89/ 1—2.

BASAGLIA, 1973: Die negierte Institution oder die Gemeinschaft der Ausgeschlossenen. Frankfurt/Main.

DENZIN 1970: The Research Act in Sociology. New York.

FILSTEAD (ed) 1971: Qualitative Methodology 1971.

FREUD 1972: Die Traumdeutung. Frankfurt/Main.

GREEN 1974: Ich habe Dir nie einen Rosengarten versprochen. Stuttgart.

GRICE 1968: The Logic of Conversation. Mimeo.

GOEPPERT/GOEPPERT 1973: Sprache und Psychoanalyse. Hamburg.
1975: Redeverhalten und Neurose. Hamburg.

HABERMAS/LUHMANN 1971: Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Frankfurt/M.

HABERMAS 1971: Vorbereitende Bemerkungen zu einer Theorie der Kommunikativen Kompetenz. HABERMAS/LUHMANN 1971: 101—142.

HOLLINGSHEAD/REDLICH 1958: Social Class and Mental Illness. London.

KALLMEYER et al. 1974: Lektürkollege zur Textlinguistik. Band. I: Einführung. Frankfurt/M.

LEODOLTER 1975a: Gestörte Sprache oder Privatsprache: Kommunikation bei Schizophrenen. WLG 10/11:75—95.

LEODOLTER 1975b: Das Sprachverhalten von Angeklagten bei Gericht. Ansätze zu einer soziolinguistischen Theorie der Verbalisierung. Kronberg/T.

LORENZER 1970: Sprachzerstörung und Rekonstruktion. Frankfurt/M.
1972: Zur Begründung einer materialistischen Sozialisationstheorie. Frankfurt/M.

NAVRATIL 1974: Über Schizophrenie und die Federzeichnungen des Patienten O. T. München.

PARKER 1974: Meine Sprache bin ich. Frankfurt/M.

REDLICH/FREEDMAN 1964: The Theory and Practice of Psychiatry. London.

SACKS 1972: An Initial Investigation of the Usability of Conversational Data for Doing Sociology. SUDNOW 1972: 31—75.

SADOCK 1974: Towards a Linguistic Theory of Speech Acts. New York.

SEARLE 1971: Sprechakte. Frankfurt/M.
SECHEHAYE 1974: Tagebuch einer Schizophrenen. Frankfurt.
SPOERRI 1964: Sprachphänomene und Psychose. Basel.
VLIEGEN et al. 1975: Modelle endogener Psychosen. Fortschritte der Neurologie-Psychiatrie 5: 223—254.
WERLICH 1975: Typologie Texte. Heidelberg.
WUNDERLICH 1971: Pragmatik, Sprechsituation und Deixis. Lili 153—190.

176

ОБРАЗЫ СНОВИДЕНИЙ У СЛЕПОГЛУХИХ

Л. Ф. ОБУХОВА, Н. Н. КОРНЕЕВА, Ю. М. ЛЕРНЕР, С. А. СИРОТКИН, А. В. СУВОРОВ

МГУ, факультет психологии

Факты, представленные в этом сообщении, имеют большое значение для понимания психологической природы сновидений. Эти факты получены путем самонаблюдения слепоглухими (в прошлом слепоглухонемыми) людьми, достигшими высокого уровня психического развития с весьма развитой способностью к рефлексии. Воспоминания и рассказы о сновидениях слепоглухих могут быть ценным материалом для анализа также мыслительной деятельности во сне в ее связях с внутренней речью.

Основные сведения из истории болезни и развития слепоглухих — соавторов настоящей статьи:

Н. Н. Корнеева, 1949 г. рождения. Диагноз: остаточные явления после перенесенного менингоэнцефалита. Практически слепая с 1953 г. Остаточное зрение: правый глаз — 0,02%, левый глаз — 0,01%. Полная глухота с 1959 г. С 1962 г. обучалась в экспериментальной группе НИИ дефектологии, с 1963 г. по 1971 г. — в Загорском детском доме для слепоглухонемых детей. Педагоги П. В. Пашенцева, Г. В. Васина и др., научный руководитель — А. И. Мещеряков. С 1971 по 1977 г. — студентка МГУ.

Ю. М. Лернер, 1946 г. рождения. Диагноз: остаточные явления после перенесенного туберкулезного менингита в 1950, с рецидивами в 1953 и 1956 годах. Потерял зрение в 1950 г. В процессе лечения туберкулезного менингита зрение в очень небольшой степени восстановилось: левый глаз — 0,02%, правый глаз — светоощущение. Слух потерян при повторном заболевании в 1953—1954 гг. До 1963 г. обучался индивидуально. Научные руководители — И. А. Соколянский, А. И. Мещеряков. С 1963 г. по 1971 г. обучался в Загорском детском доме. С 1971 по 1977 гг. — студент МГУ.

С. А. Сироткин, 1949 г. рождения. Диагноз: последствия органического заболевания ЦНС после перенесенного в возрасте 1 г. 5 мес. менингоэнцефалита. Глаукома правого глаза, отслойка сетчатки левого глаза после травмы черепа. Двусторонний отит. Неврит слуховых нервов. Обучался в детском саду для глухих, в школе слепых. Педагоги— Р. А. Мареева, Г. В. Васина, научные руководители — И. А. Соколянский, А. И. Мещеряков. С 1963 по 1971 гг. обучался в Загорском детском доме. С 1971 по 1977 гг. — студент МГУ.

А. В. Суворов, 1953 г. рождения. Диагноз: атрофия зрительного и слухового нервов. Потеря зрения с трех лет, потеря слуха — с 9 лет. Этиология не установлена. С 1946 по 1971 год обучался в Загорском детском доме. Научный руководитель — А. И. Мещеряков. С 1971 г. по 1977 г. — студент МГУ.

У всех четверых слепоглухих клиническая ЭЭГ — без патологических отклонений (записи произведены и проанализированы Л. А. Новиковой и М. Н. Фишман, 1976 г.).

Представляют большой интерес образы сновидений и их динамика у слепоглухих людей. Когда слепоглухие рассказывают свои сны, создается впечатление, что во сне они преодолевают ограниченные возможности своих естественных органов чувств и начинают видеть и слышать.

Елена Келлер писала: «Бывают редкие прекрасные моменты, когда я вижу и слышу во сне». Ольга Скороходова рассказывала, что во сне она видит себя зрячей и слышащей и ей кажется странным, что другие воспринимают ее как глухую и слепую.

С. Суворов рассказывает:

«...Все мои сны освещены. По степени освещенности делю их на четыре группы. 1. Черные — кошмары. Небо и земля одинаково черные, а между ними — слой яркого света, прямо солнечного, но солнца нигде нет. А чаще черные сны совсем или почти совсем не освещены — ночь, в которой кругом копошатся тени жутких чудищ. 2. Серые сны. Вроде вечерних мягких сумерек. Типичное освещение — солнце село, но еще не стемнело. 3. Смешанные сны. От темноты до яркого полуденного освещения. 4. Яркие, радостные — белые. Сна без зрительной характеристики у меня вообще не бывает. Цветовые характеристики во сне вовсе не редки. В одном сне видел девушек в белых платьях при белом освещении. Или в другом сне видел красные звезды. Правда, говорят, звезды разноцветные, а у меня во сне одноцветные красные»[1].

Не ставя перед собой задачу толкования сновидений и не пытаясь в деталях расчленять в них реальное и фантастическое, рассмотрим лишь образное оснащение сновидений, их сенсорную фактуру.

У слепоглухих, потерявших зрение и слух в раннем возрасте, в течение нескольких последующих лет имеются зрительные образы во сне: они видят предметы отдаленно, на расстоянии.

С. Сироткин рассказывает:

1. «...В детстве я очень боялся собак, один только их вид вызывал страх у меня. Эти переживания находили свое выражение в моих сновидениях. Бывало так, что во сне я оказывался один в комнате у бабушки. Комната мне виделась со всеми красками: белоснежное убранство на кровати и диване, на котором я сидел, белая скатерть на круглом столе, пестрые занавески на окнах и темные портьеры на дверях комнаты, полосатые дорожки на полу. Уютная комната. На стенах картины. Тускло горела лампочка над столом. Сидел я и чего-то тревожно ждал. Предчувствовалось что-то жуткое, но не понимал, что именно. Вдруг услышал (почувствовал, вернее, через вибрации, — тогда у меня не было ярких слуховых впечатлений) смутные отдаленные быстрые шаги. Шаги приближались быстро, нарастала их вибрация. Диван, на котором я сидел, слегка начал дрожать под действием вибрации. Что-то бежало тяжелое и угрожающее. Мой взор упирался в портьеры на дверях (сама дверь не была видна). Я весь дрожал от страха, не понимая, что бежит так быстро и приближается именно к комнате. Вдруг портьеры раздвинулись, и в тусклом желтоватом освещении комнаты ворвалась огромная голова собаки, затем появилось туловище — грузное и тяжелое (чего на самом деле я не видел), вся

[1] Все тексты сновидений слепоглухих даны без редактирования.

собака была огненно желтая, так и пылала желтизной. Собака, чуть ли не прогибая своей тяжестью пол комнаты, обежала вокруг стола к дивану, впилась мордой в мою шею, я почувствовал сильнейший электрический удар (удар тока я не раз получал до этого наяву). От этого удара (не укуса) я проснулся. Такой сон я видел в те годы многократно».

2. «Будучи уже слепым, я немало узнал о покойниках, которых вообще-то не видел. Но по описаниям и рассказам я получил достаточное представление о мертвецах, которое вызывало у меня страх: холодное, недвижное тело, с пустыми глазницами... Во сне покойник являлся мне обычно в таком виде: несгибаемо прямой, лицо иссиня-белое, одет в длинную рубашку, усыпанную ватными шариками (как это делается на новогодних маскарадных костюмах), руки на груди скрещенные, на голове белый чепец. В темном коридоре длинном-предлинном (такой коридор я видел в больнице при Институте им. Гельмгольца, где лежал сразу после ухудшения и почти абсолютной потери зрения) вдруг в отдаленном конце появилась белая фигура, которая быстро приближалась ко мне, увеличиваясь в размерах и приобретая все более отчетливые очертания, более резко отраженный контраст между белым и черным. Ноги покойника не шагали, а скользили по полу, никаких движений самого покойника. Его несла какая-то невидимая внешняя сила, да так быстро, что на меня наводило страх. Когда покойник уже был близко около меня, во мне возникали какие-то невидимые силы. Чувствовалась во мне борьба между бессилием (я никак не мог сдвинуть ноги, чтобы бежать наутек) и силой, которая готовилась подхватить меня и нести помимо моей воли. Когда страх достигал предела, меня как бы срывало с места, непроизвольно несло от покойника в другой конец коридора. Начиналась погоня. Покойник летел с невообразимой скоростью, даже издавая звук, что-то наподобие гудящего ветра. Я тоже несся, не двигая ногами, летел над полом. Но покойник летел быстрее меня, расстояние между мной и им сокращалось. Я чувствовал, что несущая меня сила доведена до предела, но я никак не мог превзойти скорости покойника. И когда расстояние сокращалось почти до нуля, я чувствовал холодное прикосновение трупа к моему телу и просыпался со вздрагиванием».

Спустя некоторое время (может быть годы) после того, как наступает полная слепота, **оптическая картина мира тускнеет и на первый план выступают тактильные представления.** Слепоглухие и во сне ощупывают предметы, создавая о них впечатление. Эта тенденция прослеживается у всех четырех слепоглухих авторов данного сообщения.

С. Сироткин рассказывает:

«И собаки и покойники теперь мне снятся только в непосредственном контакте, в осязательном ощущении их, а на расстоянии они уже не видятся. Я о них могу узнать только из сообщения мне окружающих во сне или по признакам окружающей среды, непосредственно связанным с присутствием покойников или собак (например, о присутствии покойников мне сообщают осязаемые холмы могил, гробы и т. д.). Сегодня ночью (12 января 1977 г.) я видел во сне умершего друга и руководителя в области тифлосурдопедагогики Александра Ивановича Мещерякова. В жизни, разумеется, я его не видел зрительно, а только ощупывал руками. И во сне также. Мы каким-то образом оказались на кладбище. У каждой могилы были гости (об их присутствии мне сообщили мои сопровождающие). Мы были у могилы А. И. Вдруг я услышал странный оркестр, играющий в быстром темпе. Звучали трубы, а вместо барабана трещали кости, глухой деревянный

звук. Все слышал, но не видел, а руками осязал холмик могилы А. И. да ограду. Вдруг холмик зашевелился, земля потрескалась, в трещинах я ощутил выползшую ногу А. И., потянулся к изголовью и там встретил руку А. И. Под звуки оркестра мы пожали друг другу руки. А. И. — очень слабо, а я энергично. Рука знакомая из жизни А. И., слегка теплая. А. И. что-то мне заговорил дактильно».

С течением времени зрительные впечатления стираются, исчезают из памяти и уже почти не появляются в сновидениях. Интересно, что в грезах, в мечтах, в воображении слепоглухие могут отвлечься от своих реальных ограничений, но во сне они точно учитывают свои возможности.

С. Сироткин рассказывает:

«Постепенно во сне я оказывался незрячим. Все происходило со мной, как наяву, с участием осязания, обоняния и слуха. Даже несмотря на то, что в своем воображении в бодрствующем состоянии я мог представить себя видящим, действующим, как зрячий, во сне этого у меня уже не было. Я в детстве и до недавнего времени мечтал стать летчиком, водителем автомобилей. В своем воображении я прекрасно езжу на автомобиле, все впечатления от езды на автомобиле у меня очень яркие, в своем воображении вижу извилистую дорогу, светофоры на переходах, дома по обочинам дороги, представляю, как я управляю машиной или самолетом. А во сне, несмотря на мои сильные переживания в воображении, я оказываюсь беспомощным за рулем автомобиля, ибо не вижу дороги. Машина меня не слушается, руки не повинуются, машина не сдвигается с места, а если и сдвигается, то идет очень и очень медленно, прямо по-черепашьи (а в воображении я люблю только большие скорости). Чаще всего во сне мне помогает в ориентировке на дороге сидящий около меня человек. Он держит мою правую руку и показывает, куда ехать. Как ни хочу увидеть себя во сне зрячим — не получается, все равно вижу себя незрячим».

Как видно из этого рассказа, во сне все им переживается реально, Сергей С. остро осознает свое объективное положение в мире, хотя картина сновидений может быть составлена из обрывков его собственных жизненных впечатлений или событий, известных ему по книгам или рассказам очевидцев.

Исчезновение из сновидений зрительных образов зависит не только от времени, которое прошло с момента нарушения физиологической функции. Скорость вытеснения из сновидений зрительных и слуховых впечатлений зависит еще и от того, насколько глубоко слепоглухой переживает свой дефект.

Н. Корнеева рассказывает:

«Плохо вижу я с раннего детства, но субъективно этого не чувствовала, казалось, что вижу, «как все». Но на опыте, часто попадая впросак там, где все вовремя замечали препятствие, я узнала, что мои зрительные возможности беднее и ненадежнее, чем у окружающих, и полагаться на них рискованно. То обстоятельство, что мои зрительные ошибки вызывали у окружающих жалость, неловкость, порой раздражение, заставляло меня взвешивать в уме, что я могу увидеть в данной ситуации, по косвенным признакам догадываться, тот ли это предмет, каким я его вижу. Тем более, что я не любила обнаруживать свой дефект и не ощупывала предметы руками. Таким образом я узнала возможности своего зрения и научилась более или менее удачно компенсировать его недостаточность при помощи предварительного анализа возможной ситуации. Переживания, связанные с этими процессами, настолько глубоко запали в сознание, что и во сне я никогда не

переступала свои зрительные возможности. Так, я во сне часто вижу картины художников, но они для меня символизируют причастность к искусству и материальную состоятельность их владельцев, содержание же картин я не воспринимаю, так как помню, что это не под силу моим глазам. Если я во сне читаю плоский шрифт, то он обязательно крупный, как газетные заголовки, которые я наяву просматриваю, если же он мелкий, то я делаю вид, что читаю, не видя букв, впрочем, иногда содержание каким-то образом я постигаю. Тот факт, что я во сне помню о своих реальных зрительных возможностях, не означает, что я не вижу во сне нереальных комбинаций вещей и явлений, фантастических персонажей, но при этом я всегда помню, что мне «можно» видеть, а что слишком мелко или далеко, и стоит мне об этом вспомнить, кадр сновидения увеличивается до приемлемых размеров. Это похоже на усилие, которое мы делаем, чтобы проснуться при страшном кошмаре»...

Хотя слуховые образы в норме возникают в сновидениях значительно реже, чем зрительные, у слепоглухих, потерявших слух позже, чем зрение, они более ярко выражены. Однако и здесь проявляется та же тенденция: **чем острее в реальной жизни человек переживает потерю слуха, тем быстрее исчезают из сновидений слуховые образы.**

Н. Корнеева рассказывает:

1. «Если зрительные возможности во сне соответствовали реальным, то слуховые образы были в моих снах спустя много лет после утраты слуха, когда я давно уже перешла на беззвучное дактильное общение. До 9 лет общалась при помощи слуха, и живучесть звуковых образов в моих снах меня не удивляет, я отношу ее к феноменам памяти. Еще года три-четыре назад я видела сон, в котором на слух разобрала даже незнакомое и бессмысленное слово. Ожидая комплимент от некоего субъекта, услышала: «У кукнор глаза мудрее!». До сих пор ясно помню и голос, и интонацию, с которой была сказана эта фраза».

2. «Потерю слуха я особенно не переживала, так как вскоре наладился новый способ общения с людьми, и все близкие им владели, а необходимость общаться с новыми людьми, не знающими дактилологии, породила острые переживания».

3. «В последние годы из моих снов исчезают слуховые образы, а дактилология, никогда раньше не снившаяся, хотя я пользуюсь ею 15 лет, все чаще и чаще заменяет во сне вокальный способ общения. **Если мне сейчас снится устная речь, то воспринимаю я только смысл и мимику; звуковых элементов, тембра, интонации я не слышу».**

Отметим редкий, но интересный факт. Когда в сновидении исчезает звуковая форма речи, а на смену ей еще не пришла дактильная речь, то возникает период, когда значение речи улавливается во сне, как бы непосредственно воспринимается «чистый смысл», лишенный чувственной, образной ткани. Вот как рассказывает об этом Н. Корнеева:

1. «Сначала я заметила, что во сне перестала слышать звуковой компонент речи, смысл как при телепатии доходит, иногда я и смысла не улавливаю, а только делаю вид, что понимаю, а потом боюсь каким-либо действием выдать себя».

2. «Но теперь все чаще снится ситуация, когда рядом нет сопровождающего, а ко мне обращаются, я переживаю неприятную растерянность, мучительно гадаю, что от меня требуется, и вдруг кто-то незнакомый приходит на выручку, говорит дактильно, и я бываю так приятно изумлена».

Итак, мы еще раз можем убедиться, что звуковые образы в сновидении через более продолжительное время ждет та же судьба, что и зрительные образы.

Ю. Лернер рассказывает:

«Я перестал слышать человеческую речь во сне не сразу. Это произошло постепенно. Как и наяву, во сне я все чаще и чаще не понимал, что мне говорят люди. Я хорошо помню голоса знакомых мне людей, но во сне я их больше не слышу уже в течение более десяти лет. Запомнился мне такой сон: я с мамой в поликлинике на тренировке слуха. Я узнаю и не узнаю эту поликлинику. Кругом какие-то двери, двери... Светлые, но совершенно пустые комнаты. Вдруг мама вошла в одну из комнат, а я остался у дверей. Здесь я почему-то отчетливо услышал мамин голос: «ну, повторяй, — говорит она, — в тазу щука, в тазу щука, в тазу лещ, в тазу лещ». Долгое время в сновидениях слышал маму, но уже не слышал других людей, речь других казалась нечленораздельной болтовней. Во сне ко мне часто подходят незнакомые люди, и я знаю, что они говорят мне голосом, так как вижу, что у них шевелятся губы. Но чаще всего они мне говорят дактильно или пишут на руке крупными печатными буквами. Очень часто снится, что люди знают дактилологию».

А. Суворов рассказывает:

«Долгое время во сне я оставался слышащим, разговаривал с людьми только голосом, слушал музыку, легко запоминал ее, напевал — все, как до потери слуха. Лишь совсем недавно в сновидении ворвалась реальность: теперь часто и во сне общаюсь дактильно».

Интересен факт, что у слепых и глухих, имеющих хотя бы незначительные остатки зрения (например, 0,02%, как у Н. Корнеевой), сходство образов фантазии и образов сновидений с реальностью усиливается. Можно привести еще один пример.

Н. Корнеева рассказывает:

«Вот один из наиболее характерных моих снов. В отсутствии родителей я решила выполнить дело, которое они долго не могли осуществить, — купить отцу туфли. Я иду в знакомый обувной магазин, направляюсь к полкам, где выставлены туфли, и, подойдя вплотную, вижу, что они пусты. Меня охватывает смущение, что я подошла к полкам, где нечего смотреть, и растерянность: как же быть, я не вижу туфель, которые выставлены позади прилавка! Прибегнуть к помощи продавца сложно из-за отсутствия слуха. Я уже собираюсь уйти ни с чем, как замечаю на прилавке образцы мужской обуви. Обрадовавшись такому неожиданному удобству, я осматриваю туфли и выбираю черные из мягкой кожи. Но как узнать размер? Мне нужен сорок второй, а цифры на подошве маленькие, и я обращаюсь к продавщице, которая наблюдает за моими действиями: «Это сорок второй?» Расчет прост — если она кивнет, значит размер тот, что мне нужен, если нет — придется отказаться от туфель. Она кивнула. Теперь новая проблема — узнать цену. Тут уже не угадаешь, и я прошу ее: «Напишите мне цену на бумаге». Она берет бумагу, ручку, пишет, потом что-то спрашивает. Вот она — неприятная ситуация! Я растерянно смотрю на нее, лихорадочно пытаясь угадать, о чем она может спрашивать. Продавцы — народ опытный, она поняла, что я не слышу, и приложила мои пальцы к своим говорящим губам, но я сказала, что так не понимаю, пусть она напишет мне на руке. Обычно почему-то людей такое предложение смущает, но продавщица оказалась умница, печатными буквами написала на ладони: «Что еще написать?», имея в виду бумажку. Я ответила, что больше ничего, спасибо, я пойду за деньгами. Выходя

из магазина, прижимаю бумажку к носу и читаю: «Цена 56 руб.». На мысли: «Будут ли довольны родители такой дорогой покупкой?» — я просыпаюсь. Этот сон отражает мои переживания наяву, связанные с попытками самостоятельно делать покупки. Я попадала в ситуации, когда капризная действительность не желала укладываться в намеченный мною план. Продавцы оказывались менее понятливыми, чем героиня моего сна, или я сама допускала какую-нибудь оплошность, которую легко исправить, если слышишь. После подобных экскурсий оставалось чувство беспомощности, неловкости, неприспособленности к этому миру».

Наташа К., анализируя свои сновидения, правильно считает, что «эти переживания и попытки найти выход из неприятной ситуации, пережитой наяву, и нашли свое отражение во сне. Напрашивается вывод, что состояние органов чувств отражается в сновидениях не автоматически, а через духовную жизнь, отражающую проблемы практической деятельности индивида».

Как мы уже указали выше, скорость исчезновения зрительных и слуховых образов зависит от того, как переживает субъект снижение своих возможностей. Чем острее и более значима для него потеря зрения или слуха, тем скорее зрительные и слуховые образы уходят из сновидений. Зрение заменяется умозрением, а исчезновение слуховых впечатлений порождает в высшей степени своеобразное ощущение восприятия «чистого значения». Интересно отметить, что сновидения не выполняют при этом компенсаторную функцию, восполняющую утраченные в реальной жизни возможности.

Постепенно сновидения все более и более начинают соответствовать реальной жизни субъекта, и даже в фантастических сочетаниях обрывков жизненных впечатлений и представлений основным способом общения становится их сегодняшний способ — дактильная речь, а способ восприятия мира во сне становится ближе к реальному восприятию его через осязание.

DREAM IMAGES OF BLIND-AND-DEAF INDIVIDUALS

L. P. OBUKHOVA, N. N. KORNEEVA, U. M. LERNER, S. A. SIROTKIN, A. V. SUVOROV

Moscow State University, Faculty of Psychology

SUMMARY

The objective world is represented in the dreams of four deaf-and-dumb persons; however, the way of its perception changes with time. During the first years of the loss of the physiological function the objective world in dreams is perceived at a distance; however, visual images gradually disappear in dreams, though preserved in wakefulness.

The rate of disappearance of visual and auditory images depends on how the S experiences the lowering of his faculties. The more painful and significant to him the loss of vision or hearing the sooner the visual and auditory images leave the dreams. Vision is superseded by speculation, and the disap-

pearance of auditory impressions engenders the illusion of perceiving the «pure meaning».

Gradually dreams begin more and more to conform to the S's actual life, and even in the fantasied scraps of life impressions and ideas the chief means of communication becomes their present device—dactyl speech, whereas the way of perceiving the world in dream comes closer to its real perception through touch.

РАЗДЕЛ ДЕВЯТЫЙ

ЛИЧНОСТЬ, УСТАНОВКА, СОЗНАНИЕ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

177

РОЛЬ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В СТРУКТУРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ЦЕНТРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ЕГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ОТ РЕДАКЦИИ

1. Личность как «расплывчатый образ». Является трюизмом, что теория личности, несмотря на огромные усилия, затраченные на ее разработку, остается одним из наименее ясных теоретических разделов современной психологии, областью, в которой меньше единогласия и больше споров, чем в какой-либо другой. Олпорт еще в 1949 г. приводил до 50 различных определений понятия «личность» [7]. П. Фресс и Ж. Пиаже определяют «личность» как «совокупность психологических качеств, которая характеризует каждого отдельного человека» [5, 197]. По Мерфи, личность — это «то, что делает человека именно таким, каким он является» [7, 15]. По Гилфорду, «личность — это специфическая констелляция черт». Определений сходного типа можно было бы привести сколь угодно много. Эти факты говорят о том, что, во-первых, идея личности остается еще очень нечеткой, логически рыхлой, допускающей множество самых разных толкований и, во-вторых, что предлагаемые ее определения являются, по-существу, псевдоопределениями, поскольку они содержат условные понятия, которые сами требуют разъяснений и уточнений.

В то же время—на этот момент обращают, к сожалению, несмотря на его важность, мало внимания — на уровне «интуитивного знания», опирающегося на «чувство языка» (см. об этом подробнее вступительную статью к тематическим разделам VII — VIII), отнесение к понятию «личность» определенных психологических характеристик (и, напротив отказ от включения в него других психологических признаков) производится довольно уверенно: вряд ли кто-либо будет оспаривать, что как черту, характеризующую личность, вполне допустимо рассматривать агрессивность или доброту, в то время как объем кратковременной памяти, особенности дискриминации сигналов или длительность латентного периода двигательных реакций имеют гораздо меньше оснований на подобную квалификацию.

Такое положение вещей — относительно уверенное оперирование абстрактной категорией, вопреки отсутствию ее однозначного рационального определения—говорит о близости этой категории к т. н. «расплывчатым образам», теория формализации которых была недавно разработана известным американским математиком Л. Заде (см. по этому поводу статьи П. Б. Шошина и Д. И. Шапиро в последующем тематическом разделе монографии) и, что является для нас в данном случае главным, о том, что за этой категорией скрыты большие синте-

зы, которые именно из-за своей исключительной сложности ускользают от непосредственных формализаций и осознания.

Думается, что только с этих позиций можно в какой-то степени объяснить весьма своеобразную судьбу проблемы личности в психологии. Мы далее попытаемся кратко проследить основные этапы этой судьбы и смену связанных с ними концептуальных подходов. Для ясности последующего изложения мы эти этапы (скорее логические, чем календарные) сразу наметим.

Первый этап: это попытки подойти к проблеме личности путем вычленения на разных методических путях элементарных гипотетических компонентов личности и анализ связей (преимущественно математически выражаемых) между последними (подход, широко представленный в западной психологической литературе последних лет).

Второй этап: это осмысление с позиций теории марксизма процессов формирования личности как продукта реализации общественных отношений человека к окружающему его миру, — реализации, выражающейся в деятельности человека (концепция, разработанная в рамках советской психологии А. Н. Леонтьевым и созданным им направлением).

И, наконец, третий этап, являющийся логически дальнейшим развитием и углублением второго этапа. Его следует определить как анализ психологических закономерностей и механизмов, на основе которых отношение субъекта к миру, понимаемое как **совокупность его психологических установок,** находит свое выражение в деятельности, формирующей его личность (проблема взаимоотношения установки и деятельности, в понимании Д. Н. Узнадзе и его школы). Остановимся на этих этапах последовательно.

2. Моделирование личности на основе предварительного вычленения ее элементарных гипотетических компонентов и анализ связей между последними. Как уже было упомянуто, этот подход очень широко представлен в западной психологической литературе последних лет. В его основу положено выявление путем разных форм тестирования (простые опросники, тесты типа предложенных Роршахом и Сонди, тест ТАТ и т. п.) психологических особенностей, которые авторами соответствующих методов рассматриваются как характеризующие в той или иной степени личность исследуемого субъекта. Это направление потребовало предварительного решения двух проблем, сложность и трудность которых раскрывалась лишь очень постепенно, по мере того, как углублялся их анализ: (а) вопроса о том, какие именно из беспредельного множества элементарных психологических особенностей правомерно и целесообразно рассматривать как проявления личности, и (б) как следует определять и каковыми являются связи между этими особенностями, позволяющие восходить в результате их анализа к представлению о скрытых за ними более устойчивых структурных соотношениях, составляющих как бы своеобразный психологический «каркас» личности.

Попытки решения этих проблем породили литературу совершенно необозримую. Их результатом оказалось появление различных типологий (соматопсихических — Кречмер, Шелдон; собственно-психологических — «интроверты» и «экстраверты» Юнга и их аналоги у Роршаха; «ригидные» и «лабильные» Пфалера и ряд других); детальное исследование природы самих вычленяемых компонентов (П. Фресс и Ж. Пиаже обобщают подобные исследования как посвященные проблеме «черт личности»); тщательная разработка проблемы связей, существующих между элементарными «личностно-показательными» осо-

бенностями («поверхностными чертами» или «реакциями»), характерным направлением которой явился факторный анализ, в широких масштабах примененный Кэттелом, Айзенком и др.

В результате использования этого метода Айзенком были выявлены личностные факторы типа «невротизма» и «экстраверсии-интроверсии», Кэттелом, Френчем и Гилфордом — факторы «темперамента» типа «эмоциональность—сила Я», «возбудимость» (эмоциональная незрелость), «серьезность-беззаботность» и множество других. Все они оказались, как выявили дальнейшие исследования, в большей или меньшей степени коррелирующими между собою, что указывало, по-видимому, на их зависимость от каких-то стоящих за ними общих для них причин (факторов «второго порядка»). В результате создавалась возможность построения своеобразной пирамидообразной иерархической структуры. Ее нижний уровень составляют конкретные «факты жизни», позволяющие выявлять стоящие за ними и детерминирующие их, резко их насыщающие факторы «первого порядка»; за этими факторами — объединяющие их более общие факторы «второго порядка», которые, в свою очередь, могут быть дифференцированным выражением еще более генерализованных особенностей (факторов «третьего порядка»), и т. д. Вся же эта структура в целом отражает, по мнению некоторых западных психологов, столь долго искомую и трудно постигаемую иерархическую организацию личности.

С позиции такого понимания, опирающегося как на основной методический прием на факторный анализ, интерпретируются и вопросы развития личности, генеза «Я» и «Сверх-Я», изменений личности под влиянием различных необычных жизненных ситуаций и т. п.

Оценивая это направление в целом, нельзя не признать, что им выявлено немало интересных фактических данных по поводу взаимосвязи различных конкретных форм проявления личности в поведении, психологической природы этих форм и методов их анализа. Продуктивным оказалось это направление и при его использовании с целью решения некоторых диагностических задач в клинике. Вместе с тем очевидно, что коренные, большие вопросы теории личности остаются при таком подходе не только не раскрытыми, но даже не затронутыми. Становление личности и ее структура толкуются как проявление взаимосвязи личностных «факторов», но **генез самих этих факторов,** т. е. вопрос, который сводится, при его адекватной постановке, как мы это увидим далее, к проблеме порождения этих факторов прежде всего активностью личности, оказывается отодвинутым резко на задний план. Зависимость процессов становления личности от системы общественных отношений, в которые личность включена, тема формирования личности ее деятельностью, в которой единственно реализуются ее фундаментальные связи с окружающим ее миром, оказываются в рамках этого подхода, по существу, снятыми.

Когда вопросы эволюции, динамики личности освещаются концепцией личностных факторов, то это является, по существу, рассмотрением движения с отвлечением от сил, которые движению дают импульс. И поэтому не удивительно, что картины преобразований личности, которые на этом пути создаются, оказываются, в лучшем случае, «мгновенными снимками» определенных фаз развития, «горизонтальными срезами» этого процесса, в которых подлинное движение, всегда тесно связанное с обуславливающими его причинами, не запечатлено. Примером могут служить факторные исследования, проведенные Кэттелом над детьми, и многие сходные другие.

3. О порождении личности человека его деятельностью. Как было уже сказано, проблема формирования личности в рамках факторного подхода возникает, но опирается она при этом концептуально на очень широко представленное в западной литературе истолкование взаимодействий биологического и социального либо как простого «наложения» последнего на первое, либо — под влиянием известных идей Фрейда — как лишь ограничение и подавление биологического социальным. Подобные отношения понимаются как то основное, в чем заключается и чем исчерпывается вся грандиозная картина социализации исходно биологического существа, каким является маленький ребенок, — картина постепенного формирования его личности.

А. Н. Леонтьеву принадлежит глубокая критика подобных представлений, проводимая с позиций марксистской философии и социологии. Напомним ее. «Дело, — говорит он, — вовсе не в том, чтобы констатировать, что человек есть **и** природное, **и** общественное существо. Это бесспорное положение указывает лишь на разные системные качества, проявляемые человеком, и ничего еще не говорит о сущности его личности, о том, что ее порождает. А в этом как раз заключается научная задача. Задача эта требует понять личность как психологическое новообразование, которое формируется в жизненных отношениях индивида, в результате преобразования его деятельности. Но для этого необходимо... отбросить представление о личности как о продукте совокупного действия разных сил... Ведь никакое развитие не выводимо непосредственно из того, что составляет лишь необходимые его **предпосылки.** Марксистский диалектический метод требует идти дальше и исследовать развитие как процесс «самодвижения», т. е. исследовать его **внутренние** движущие отношения, противоречия и взаимопереходы, так что его предпосылки выступают как в нем же трансформирующиеся, его собственные моменты. Такой подход необходимо приводит к положению об общественно-исторической сущности личности... Личностью он (человек) становится лишь в качестве субъекта общественных отношений... В отличие от индивида... личность человека не является предсуществующей по отношению его деятельности, как и его сознание она ею **порождается»** [3, 172].

Мы привели эту длинную цитату потому, что здесь А. Н. Леонтьеву удалось точно выразить центральную для него мысль о личности как о «субъекте общественных отношений», показав, чем марксистское понимание существа и генеза личности отличается от характерного для многих современных концепций представления о «вызревании генотипических черт под влиянием воздействий социальной среды» [3, 176]. Суть этого отличия в том, что, согласно марксистскому пониманию, «формирование личности есть процесс sui generis, прямо не совпадающий с процессом прижизненного изменения природных свойств[1] индивида в ходе его приспособления к внешней среде. Не изменения этих врожденных свойств человека порождают его личность... Как и сознание человека... личность «производится» — создается общественными отношениями, в которые индивид вступает в своей деятельности. То обстоятельство, что при этом трансформируются, меняются и некоторые его особенности как индивида, составляет не причину, а следствие формирования его личности» [3, 177].

---

[1] А. Н. Леонтьев поясняет, что под «природными свойствами» индивида он подразумевает «физическую конституцию, тип нервной системы, темперамент, динамические силы биологических потребностей, аффективность» и т. п. [3, 176].

Черты личности возникают, другими словами, не тогда, когда индивид пассивно «претерпевает» падающие на него, пусть даже массивные и грубые отрицательные или положительные социальные воздействия, не тогда, когда он является объектом этих воздействий, а когда он становится **субъектом** разнообразных форм активного ответа на эти воздействия, ответа, выражающегося в его «внутренней» или «внешней» деятельности и в неразрывно с этой деятельностью связанных изменениях его отношения к общественной среде. Каждый его шаг в этой деятельности означает принципиально появление нового оттенка в его отношении к миру и одновременно возникновение новой (пусть микро-) фазы в эволюции его личности.

Если в эту мысль вдуматься, то она выступает как довольно простая, и совсем нелегко понять, почему некоторые из психологов Запада, в том числе наиболее авторитетные, склонны рассматривать весь этот подход, эти указания на принципиальность и неразрывность связи между становлением личности и деятельным отношением субъекта к тому, что его окружает, как своеобразную форму... социологического редукционизма. Такая интерпретация была бы оправданной, если бы (допустим на минуту такую возможность, чтобы облегчить диалог) связь между внешними проявлениями деятельности и процессом формирования личности мыслилась как прямая, как ничем не опосредованная, если бы «поступки», действия и деятельность в их объективном выражении объявлялись факторами, которые определяют процессы становления личности жестко и однозначно. Но нет ничего более далекого от действительности, чем такое грубо упрощенное, непсихологическое, вульгаризированное истолкование. В действительности «порождение» личности общественными отношениями, включение в которые достигается на основе деятельности, предполагает прямо противоположную картину.

А. Н. Леонтьев старается возможно более полно отразить сложность психологических сдвигов, которые могут скрываться за «внешней стороной» деятельности. «В том, что́ с внешней стороны кажется действиями, имеющими для человека самоценное значение, психологический анализ открывает иное, а именно, что они являются лишь средством достижения целей, действительный мотив которых лежит как бы в совершенно иной плоскости жизни. В этом случае **за видимостью одной деятельности скрывается другая.** Именно она-то и входит в психологический облик личности, **какой бы ни была осуществляющая ее совокупность конкретных действий.** Последняя составляет как бы только **оболочку этой другой деятельности,** реализующей то или иное **действительное** отношение человека к миру, — оболочку, которая зависит от условий, иногда случайных. Вот почему, например, тот факт, что данный человек работает техником, сам по себе еще не говорит о его личности...» [3, 185. Всюду подчеркнуто нами. — Редколл.].

Признав, однако, существование «внутренних», скрытых форм деятельности, отражающих «действительное» отношение человека к жизни, мы как психологи неизбежно должны войти в рассмотрение **сложных связей, сложных отношений,** существующих между ними и деятельностями «оболочечными», говорить о процессах их «центрирования» и соподчинения, о неизбежно возникающей в подобных условиях их иерархии, предопределяющей во многом структуру личности. А. Н. Леонтьев обобщает анализ всей этой картины как исследование мотивов, ибо, — и это положение принципиально, — «за соотношением деятельностей открывается соотношение мотивов» [3, 189].

Сказанного достаточно, чтобы показать, насколько искажается положение вещей, если в **зависимости** процессов формирования личности субъекта от его деятельности усматривается «социологический редукционизм». Ошибка, которая в данном случае допускается, имеет грубый характер и заключается в подмене представления о факторах движения психологического феномена представлением о **сведении самого этого феномена** к движущим его факторам. Недопустимость такой подмены очевидна. И столь же очевидно, что **при такой подмене** действительно создаются основания говорить о социологическом редукционизме.

4. **О роли активности бессознательного в формировании и стабилизации черт личности.** В том, что было сказано до сих пор, не затрагивался вовсе вопрос о роли, которую в становлении личности играет активность бессознательного. Как мы увидим далее, этот вопрос был поставлен впервые в рамках советской психологии создателем теории психологической установки, в свете которой вся проблема бессознательного в структуре психики человека получила новое и глубокое решение. Прежде, однако, чем охарактеризовать этот в высшей степени важный для дальнейшего развития психологии концептуальный сдвиг, мы хотели бы подчеркнуть, что в системе представлений, развиваемой А. Н. Леонтьевым (в его положении о сложных отношениях, существующих между деятельностью и ее мотивом, между разными уровнями иерархии деятельностей, между деятельностью-«оболочкой» и деятельностью, определяющей «действительное» отношение человека к миру), также содержится немало того, что вплотную подводит нас к проблеме неосознаваемого в ее связи с процессами формирования и проявления личностных черт.

Так, например, переходя к рассмотрению вопроса о мотивах деятельности, Леонтьев сразу же отмечает, что «в отличие от целей, мотивы актуально не сознаются субъектом: когда мы совершаем те или иные действия, то в этот момент мы, обычно, не отдаем себе отчета в мотивах, которые их побуждают... нам нетрудно привести их **мотивировку**, но мотивировка вовсе не всегда содержит в себе указание на их действительный мотив» [3, 201]. Таким образом, подобно тому, как за деятельностью-«оболочкой» может латентно существовать деятельность «действительная», так за осознаваемой «мотивировкой» может скрываться неосознаваемый мотив. Значение, которое имеет для дальнейшего развития концепции личности признание реальности этого «второго», скрытого психологического плана деятельности, очевидно.

А. Н. Леонтьев, правда, отмечает, что, когда мотивы не осознаются, они не «отделены» от сознания, и эта их скрытая включенность в систему сознания, в его более широком понимании, проявляется в «эмоциональной окраске действий» [3, 201]. Как мы увидим дальше, он касается здесь одной из наиболее характерных особенностей неосознаваемой психической деятельности, во многом способствовавшей более глубокому пониманию ее закономерностей и природы, но этой оговоркой проблема реальности бессознательного и его участия в формировании личности ни в коей мере, конечно, не снимается.

Особый интерес представляет то обстоятельство, что, продолжая анализ проблемы мотивов в ее отношении к проблеме деятельности, А. Н. Леонтьев вновь обращается к факту возможной неосознаваемости мотивов действий, вычленяя на этот раз как особую их категорию мотивы «смыслообразующие», отличающиеся от «мотивов-стиму-

лов». Он подчеркивает, что эти смыслообразующие мотивы (которые «всегда занимают более высокое иерархическое место, даже если не обладают прямой аффектогенностью» и «являются ведущими в жизни личности») «могут оставаться «за занавесом» и со стороны сознания, и со стороны своей непосредственной аффективности» [3, 204]. А в заключение он обращает внимание на то, что проникновение анализа в структуру личности, выражающееся (как это видно из приводимого им примера) в «обнажении» для сознания того, что **было ранее от него скрытым,** сводится к уяснению «иерархических связей мотивов» [3, 206].

Мы видим, таким образом, что представления, положенные А. Н. Леонтьевым в основу концепции формирования личности субъекта деятельностью последнего, уже сами по себе на многих путях приближают нас к признанию важной роли, которую в этом формировании играет неосознаваемая психическая деятельность. Они указывают на **неизбежность участия** неосознаваемого в становлении личности и **намечают формы** душевной жизни, в которых подобное участие должно в первую очередь происходить. Однако, — и это обстоятельство не может естественным образом не тормозить анализ, — возникающее в подобных условиях признание реальности бессознательного как фактора формирования личности **не сопровождается отработкой специального категориального аппарата, понятий, способных адекватно отразить качественную специфику бессознательного, выразить не легко поддающееся описанию своеобразие его закономерностей, феноменологии и динамики.** «Язык», на котором мы говорили выше о неосознаваемом и его эффектах, ничем по существу не отличается от «языка», на котором описывается формирование личности при полном отвлечении от проблемы бессознательного. Легко понять, что в этих условиях более глубокое исследование подлинной роли бессознательного в генезе и особенно, как мы это увидим далее, в «сохранении» черт личности оказывается затрудненным, а в некоторых важных отношениях и существенно обедненным.

Трудности подобного рода дают о себе знать при любом подходе к проблеме бессознательного, и этим объясняется, что разработка почти каждой из концепций бессознательного начиналась с создания специфического для нее «языка». Особенно ярко это выступило в истории психоанализа, сформировавшего немало оригинальных понятий, из которых, однако, лишь немногие выдержали испытание временем. В советской психологии начало обоснованию категориального аппарата, способного отразить качественное своеобразие бессознательного, было положено Д. Н. Узнадзе и его школой в непосредственной связи с разработкой теории психологической установки. Опора на этот аппарат позволила, как мы об этом уже говорили, наметить совершенно новый подход к психологической проблематике в целом и, в частности, к ее наиболее трудным разделам, относящимся к теме личности.

Мы не будем сейчас, естественно, входить в детальное рассмотрение теории установки, широко освещенной во многих работах, опубликованных на русском и грузинском языках, а также в западной литературе. Напомним только несколько принципиальных ее положений, важных для более глубокого понимания роли, которую понятие неосознаваемой психологической установки играет в концепции личности.

Первым таким положением является идея неразрывного единства установки как «внутреннего», субъективного, психологического (или психофизиологического) состояния и деятельности как «внешнего» вы-

ражения установки, как ее реализации в поведении — в элементарных действиях или в сложной деятельности. Эта идея была экспериментально и теоретически обоснована на протяжении последних десятилетий в очень многих исследованиях школы Узнадзе и является для них исходной. Диалектика форм ее конкретного выражения выступает очень отчетливо, если мы вспомним о скрытом «втором плане» деятельности, о котором вынужден говорить и А. Н. Леонтьев (о разграничении, проводимом им между «деятельностью-оболочкой» и «деятельностью действительной», между осознаваемыми «мотивировками» и неосознаваемыми, но «подлинными» мотивами, между деятельностью «внешней» и деятельностью «внутренней» и т. п.). Вряд ли можно оспаривать, что представление об этом своеобразном как бы «расщеплении» деятельности является, по существу толкованием, приводящим неизбежно к пониманию установки как скрытого, но обязательно присутствующего субъективного плана всякой объективно реализующейся деятельности.

Нетрудно заметить, что в свете этой позиции в сложную драму генеза, «порождения» личностных черт должны вовлекаться неизбежно **все** участвующие в этом процессе аспекты деятельности, т. е. как ее «внешний» план — деятельность как система объективно, в пространстве и во времени представленных поступков, — так и ее «внутренний» план, сводящийся в значительной мере, если не полностью, к разнообразным формам движения и преобразования психологических установок. Личность, другими словами, должна порождаться не **видимостью** вхождения субъекта в те или другие общественные отношения, а деятельностью в ее наиболее глубоком смысле, т. е. неразрывным единством составляющих ее объективных и субъективных моментов. А. Н. Леонтьев при этом отмечает, что в специфических условиях объективный аспект деятельности может играть роль личностно-формирующего фактора и **«как таковой»** (напоминая, как пример, описанный Макаренко обряд публичного сожжения на костре старой одежды принимаемых в воспитательную колонию беспризорных детей [3, 217]). Очевидно, однако, что здесь мы имеем дело лишь с характерным актом символики, который становится фактором личностно-формирующим опять-таки лишь в меру возникновения его отзвуков в сфере **«внутренней»** деятельности, т. е. лишь в меру создания им определенных **психологических установок,** которые по закреплении будут проявляться и в деятельности «внешней».

Когда речь идет о **формировании** личностной структуры, деятельность внешняя и деятельность внутренняя выступают, таким образом, в их естественной неразделенности. Это соотношение, однако, изменяется, когда возникает вопрос о **сохранении** сформировавшейся личностной структуры. Здесь акценты заметным образом переносятся с деятельности внешней на деятельность внутреннюю, т. е. на систему психологических установок, являющуюся единственным носителем уже сложившихся личностных черт.

Следует при всех условиях учитывать два тесно друг с другом связанных обстоятельства. Личность создается деятельностью (в ее глубоком понимании), а будучи созданной, она сохраняет определенную степень стабильности, которая является одной из наиболее важных ее характеристик, ибо даже при весьма позитивной социальной ориентированности поведения недостаточная устойчивость личностных черт не позволяет говорить о наличии у субъекта нормально сформировавшейся личности. Обеспечивают же стабильность личностных черт

лишь прочно закрепившиеся психологические установки, которые могут оставаться совершенно неосознаваемыми их субъектом вплоть до того момента, когда возникает необходимость внезапной их реализации во внешней деятельности. Эффектность и драматизм возникающих при этом жизненных ситуаций, заключающихся в полной подчас неожиданности для субъекта деятельности того пути, который он в непривычных ситуациях избирает, является, как это хорошо известно, одной из наиболее часто обыгрываемых в художественной литературе психологических тем и отнюдь не так уж редко наблюдается и в повседневной жизни. Личность раскрывается при этом стремительно, иногда героически, иногда аморально, но всегда порождая контраст с впечатлением, оказываемым только внешней стороной предшествующих действий или даже сложных форм деятельности субъекта.

Интерпретировать подобные картины, не обращаясь как к объясняющей категории к представлению о существовании ранее закрепившихся неосознаваемых психологических установок личности, которые при той или иной актуальной (все еще нереализованной и нефиксированной) установке данной личности снова могут быть вызваны к жизни, принципиально невозможно. Именно в этих картинах с особой яркостью проявляется роль бессознательного в жизни личности, выражаемая к тому же — что в методическом плане является особенно важным — на языке понятий, которые создают широкие возможности для дальнейшего экспериментального и теоретического исследования этой роли.

Проявления бессознательного в структуре и динамике личности можно, однако, наблюдать далеко не только в условиях подобных критических моментов жизни. Они обнаруживаются на каждом шагу и на фоне гладкого течения событий, причем понять их можно опять-таки, только обратившись к характерным особенностям психологических установок.

Сформировавшаяся психологическая установка, стремясь к реализации, детерминирует вытекающие из нее действия или деятельность. Однако — и это является специфической особенностью установок, на которую неоднократно обращалось внимание в литературе и о которой мы также говорили выше, — подобная детерминация имеет характер не однозначный, не жесткий, а только вероятностный. Если существует только «установка на что-то», — «установка-на», то это почти всегда означает известную степень неопределенности конкретных форм предстоящей деятельности, вариабильность процессов, на основе которых достигается стимулируемый данной установкой конечный поведенческий сдвиг. Подобные картины можно наблюдать и при реализации психологических установок, лежащих в основе личностных черт. Здесь они выступают как очень своеобразные психологические эффекты проявления в поведении определенного «стиля» или «манеры» действий.

Эти понятия — «стиль», «манера» — широко, как известно, применяются в искусстве для обозначения особенностей художественных произведений, позволяющих заключить о принадлежности последних к определенному течению или школе. Когда мы опираемся при подобных оценках на понятие «стиля», мы имеем в виду не какие-то четко заранее определимые, легко формализуемые свойства произведений, а гораздо скорее лишь некий ансамбль непредусмотримых мелких признаков, из которых каждый в отдельности не является достаточным для заключения, в то время, как весьма значимой является их совокупность. В этой неопределенности отражения на предмете искусства особенностей творчества его автора сказывается отсутствие изначаль-

ной жесткой детерминированности образов, создаваемых художниками, зависимость этих образов от множества трудно заранее учитываемых и субъективных, и объективных факторов[2].

С аналогичным положением вещей мы встречаемся, прослеживая проявления в деятельности личностных особенностей. Эти проявления детерминируются психологическими установками, как было сказано выше, не жестко (структура и деятельности, и личности, и самих установок слишком сложна, чтобы можно было допустить существование между ними прямых, неопосредованных зависимостей). А вероятностный характер преобладающих здесь детерминаций приводит к тому, что характерной формой проявления личностных особенностей, активируемых неосознаваемыми психологическими установками, становится определенный «стиль», определенная «манера» поведения и деятельности человека. Возможно, что предчувствие именно этих отношений заставило в свое время Альфреда Адлера отвести такое значительное место в его концепции личности понятию «стиля жизни».

И во всяком случае, этот характерный факт является еще одним звеном в цепи доказательств **глубокой зависимости черт личности субъекта от сложившихся у него неосознаваемых психологических установок.** Будучи порождаемы и закрепляемы его деятельностью, они, эти установки, в свою очередь, в порядке обратных связей, детерминируют его деятельность. А личность человека предстает в этом свете как образ, в котором как бы запечатлеваются эти бесконечно повторяющиеся кольцевые процессы, как бы оседает то, что в их непрестанной смене оказывается стабильным, высоко интегрированным и способным к осуществлению наиболее сложных форм психологической и психофизиологической регуляции.

Еще много лет назад Д. Н. Узнадзе обратил внимание на то, что «исходные пути традиционной психологии, убеждение в том, что существуют лишь сознательные формы психической активности, что нет никакой психики вне познания, чувства и воли, привели традиционных представителей нашей науки к фактическому отрицанию существования целостного, активного субъекта психической жизни и к сведению понятия личности к совокупности ее психических переживаний» [4, 170]. Основываясь же на концепции неосознаваемых психологических установок, мы не только убеждаемся в реальности существования «целостного активного субъекта психической жизни», не сводимого к «совокупности психических переживаний», но получаем также возможность по-новому интерпретировать весьма многое из относящегося к проблеме личности в ее так трудно раскрываемых связях с активностью бессознательного и деятельностью.

5. Личность и тип мозговой деятельности. В заключение мы хотели бы остановиться очень кратко на вопросе о том, в какой степени формирование личности деятельностью субъекта, его активным вхождением в систему общественных отношений исключает **зависимость** черт личности от функционального состояния определенных мозговых систем.

Мы уже приводили выше мнение А. Н. Леонтьева, которое как методологический тезис неоспоримо. Им подчеркивается, что человек—это индивид, «обладающий той или иной физической конституцией, типом нервной системы, темпераментом, динамическими силами биологических потребностей... Однако не изменения этих врожденных свойств

---

[2] См. по этому поводу подробнее вступительную статью к шестому тематическому разделу во втором томе настоящей коллективной монографии.

человека порождают его личность» [3, 176]. Такое понимание при всей его фундированности не устраняет вопроса: в какой степени эти генетические факторы **облегчают** или, напротив, **затрудняют** развитие под влиянием деятельности субъекта его личностных черт?

Касаясь этого вопроса, нельзя не отметить его исключительную сложность. Ясных ответов на него мы пока не имеем, завершенные суждения здесь явно уступают место дискуссиям, и в этом сказывается, очевидно, лишь определенная фаза разработки проблемы.

Чтобы подчеркнуть остроту выступающих при этом противоречий, напомним, что одним из нас, например, несколько лет назад было выполнено исследование, основной идеей которого было указание на принципиальную невозможность построения непротиворечивой концепции личности путем непосредственного ее выведения из физиологических данных [6]. В другой работе указывалось, что даже такая заведомо личностная черта, как способность к развитию защитных психологических реакций, ни в какой мере не определяется типом высшей нервной деятельности [1]. С другой стороны, в одной из последних работ известного психофизиолога И. Т. Бжалава [2] был приведен ряд убедительных экспериментальных аргументов в пользу того, что даже наиболее сложные личностные психологические установки коррелируют определенным образом с функциональным состоянием определенных мозговых систем.

И, наконец, мы напомним факт, особенно показательный для продолжающегося накопления антитез и открывающий широкое поле для дискуссий: расхождение психологических и нейрофизиологических интерпретаций, которое наметилось в последние годы в отношении даже такой заведомо личностной черты, как «широта связей человека с миром». А. Н. Леонтьев справедливо отмечает, что этот параметр является одним из трех основных, характеризующих личность [3, 223]. В то же время К. Прибрам[3] свой доклад на последнем большом конгрессе, посвященном проблеме личности [8, 150], полностью посвятил обоснованию мысли, что современное понимание строения и особенностей функционирования мозга создало предпосылки для нейрофизиологического объяснения именно этой черты ("sensory participation with environment"). Прибрам полагает, что широта связей человека с миром или напротив, бедность этих связей ("open-closed dimension") объясняется существованием и функциональным состоянием определенного мозгового механизма ("a mechanism by which the amount of redundancy in a system, the amount of synchronous activity, can be governed"), — эту идею он развивает подробно, обосновывая ее многими ссылками на экспериментальные работы, свои и других исследователей.

Мы намеренно завершаем настоящую статью, заостряя проблематику ссылками на противопоставление психологических и нейрофизиологических подходов, на разительные контрасты выступающих здесь мнений. Именно они, эти контрасты, создают представление об интеллектуальной атмосфере, преобладающей на сегодня в этой области. Мы пытались изложить понимание, которое нам представляется единственно адекватным как в методологическом, так и в собственно-науч-

---

[3] Об общей позиции этого выдающегося исследователя в отношении проблемы бессознательного дает представление его статья, которой открывается третий тематический раздел в первом томе настоящей монографии.

ном плане. Не вызывает, однако, сомнений необходимость дальнейшего глубокого и неторопливого обсуждения всех затронутых выше вопросов.

И. М. Сеченов как-то обронил мысль, что гораздо ценнее те научные выводы, которые ставят новые вопросы, чем те, которые эти вопросы только снимают. Эти слова отчетливо указывают на путь, которого в стремлении к дальнейшему развитию наших знаний, развитию, не имеющему конца, нам важнее всего придерживаться.

6. Коротко о статьях настоящего раздела. В настоящем тематическом разделе содержатся статьи, авторы которых подходят к проблеме личности с очень разных сторон.

Раздел открывается статьей, посвященной обоснованию общей теории сознания и бессознательного психического как общей теории фундаментальных отношений личности. В статье поставлены основные проблемы дальнейшего развития концепции неосознаваемой психической деятельности, продолжающего традиции школы Д. Н. Узнадзе. За этой статьей следует статья известного философа Германской Демократической Республики А. Тома, в которой прослеживается эволюция идеи бессознательного: постепенная замена представлений о гипостазируемой единой «сфере бессознательного» концепцией упорядоченного множества дифференцированных неосознаваемых элементарных психических деятельностей. Эта замена справедливо рассматривается автором как необходимая предпосылка построения адекватной теории личности. Далее публикуется сообщение известного польского психолога М. Кофта, анализирующего отношения, существующие между сознанием, интеграцией поведения и защитными психологическими механизмами. Автор излагает концепцию личности, понимая последнюю как основной фактор постоянства поведения индивида. Им дается также оригинальное истолкование идеи психологической защиты.

М. Г. Ярошевский вводит в своей работе представление о т. н. «надсознательном», рассматривает роль этого фактора в структуре личности и его отношение к бессознательному; с позиции критики фрейдизма, С. В. Цуладзе дает анализ инстанций личности в условиях невроза; В. А. Файвишевский затрагивает проблему существования у человека стремления к отрицательным переживаниям и критикует в этой связи идею Фрейда об «инстинкте смерти»; статья М. Л. Гомелаури освещает проблему уровня притязаний в ее связи с «автопортретом» личности; Д. Ш. Квавилашвили сообщет об экспериментальном анализе зависимости от преформированных психологических установок чувства уверенности, понимаемого как одна из важных характеристик личности; Г. Сунале (Франция) приводит экспериментальные данные об особенностях формирования психологических установок у детей, связывая истолкование этих процессов с идеями школы Д. Н. Узнадзе; Л. Гарай (Венгрия) останавливается на вопросах социально-психологического порядка, описывая экспериментальные ситуации, позволяющие судить о способности субъекта улавливать межперсональные отношения в условиях работы, выполняемой им (а) изолированно и (б) как членом малой группы; Н. И. Сарджвеладзе ставит в своем исследовании проблему эмпатии и анализирует ее связь с процессами идентификации, проекции и интроекции.

Статья А. Ф. Борбели посвящена проблеме социально обусловленных изменений «Сверх—Я», развивающихся в позднем подростковом возрасте. Она представляет интерес как отражающая весьма характерную для современного психоанализа общую тенденцию: стремление преодолеть или хотя бы смягчить очевидную на сегодня для многих односторонность (и вытекающую отсюда идеалистическую ок-

рашенность) традиционных психоаналитических трактовок путем их более или менее эклектического сочетания с понятиями, заимствованными из социологии, в некоторых случаях непосредственно из теории марксизма. Борбели отчетливо понимает, что обычное для психоанализа выведение «Сверх—Я» из отношений, складывающихся только в семье, принципиально недостаточно, что, поступая так, мы не можем понять ни сложность структуры этого своеобразнейшего психического образования, ни сложность роли, которую оно играет в душевной жизни человека. Он подчеркивает, что раскрыть процесс постепенного оттеснения биологических потребностей социальными запросами и запретами, составляющий ядро психического развития в ранних фазах онтогенеза, можно лишь уловив и отразив, концептуально, зависимость «Сверх—Я» от очень широкого круга развитых социальных факторов, начиная с тех, которые дают о себе знать в рамках семьи и кончая теми, которые формируют у человека его идеологию, его общественные установки, его классово ориентированное сознание. В отвлечении от этих подлинных, хотя нередко и весьма скрытых, детерминант генез, психологическое формирование «Сверх—Я», отмечает Борбели, остается во многих отношениях загадкой, ибо, по его мнению, «Сверх—Я» — это не просто усиленное, более созревшее «Я», а психологический феномен качественно иного порядка. И Борбели, вспоминая известный шестой тезис Маркса о Фейербахе, находит убедительные аргументы и сильные слова, чтобы обосновать эту центральную для него мысль («очевидно, что психоанализ не может быть завершенным без научного социального анализа» и т. д.).

Подобная трактовка характерна и важна. В ней отражается эволюция понимания, которая во многих психоаналитических работах последних лет звучит все более громко и требовательно.

Учитывая исключительную сложность проблемы личности вообще и особенно в ее связях с концепцией бессознательного, не следует недооценивать возможностей, которые создаются экспериментальным и клиническим исследованием подобных сравнительно частных ее аспектов. Прямой путь к более широким обобщениям здесь пока еще очень труден.

CONCERNING THE ROLE OF THE UNCONSCIOUS IN THE BECOMING AND MANIFESTATIONS OF PERSONALITY

EDITORIAL INTRODUCTION

S u m m a r y

The paper deals with the modern approaches to the psychological problem of personality: (a) attempts at solving the problem through isolating — by various methodological means — of the hypothetical components of personality and analyzing their interrelationships; (b) conceptualization — from the position of Marxist theory — of the processes of the formation of personality as a resultant of man's social relations with the outer world as manifested in his a c t i v i t y; (c) analysis of the psychological regularities on the basis of which the subject's relation to the world m a n i f e s t e d i n h i s u n c o n s c i o u s p s y c h o l o g i c a l s e t s is expressed in the

activity that moulds his personality (the problem of the interrelationship of set and activity as conceptualized by D. N. Uznadze and his school).

The paper closes with a discussion of the extent to which recent neurophysiological studies (K. Pribram and others) warrants positing the dependence of certain personality traits on the activity of definite functional systems of the brain.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., О «силе Я» и психологической защите. Вопросы философии, 1969, 2, 118—126.
2. БЖАЛАВА И. Т., Установка и механизмы мозга, Тбилиси, 1971.
3. ЛЕОНТЬЕВ А Н., Деятельность. Сознание. Личность. 1975.
4. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тбилиси, 1961.
5. ФРЕСС П., ПИАЖЕ Ж., Экспериментальная психология, вып. 5, М., 1975.
6. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, том I—II, Тбилиси, 1969, 1973.
7. ALLPORT G. W, Persönlichkeit, Stuttgart, 1959.
8. The Study of Personality. Ed.: E. Norbeck, D. Price-Williams, W. M. McCord, N.Y., 1968.

178

СОЗНАНИЕ, БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ И СИСТЕМА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИЧНОСТИ: ПРЕДПОСЫЛКИ ОБЩЕЙ ТЕОРИИ

А. Е. ШЕРОЗИЯ

Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии
Академия наук Грузинской ССР, Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе

I. Основа и основные формы проявления системных образований психики. К вопросу о двойственности объекта исследования психологии

Сформулируем сначала некоторые исходные положения.

(1) Предлагаемая нами теория исходит из факта, который прослеживается, как нам кажется, во всей истории философии и, особенно, в теоретически наиболее обобщенных течениях современной психологии. А именно: на уровне человека психика проявляет себя в единой системе своих сущностных и в форме феноменологически существенно отличающихся друг от друга собственно психологических проявлений — установки, сознания и бессознательного психического, в целом всегда функционирующих через посредство единой системы отношений соответствующих инстанций Я: личности, другого и суперличности. Возникающие при этом системы отношений строятся по принципу обратной связи и на основе целостно-личностного проявления той или иной актуальной установки индивида или какой-либо социальной группы на ту или иную предстоящую быть осуществленной деятельность, в какой бы форме и на каком бы уровне она ни возникла. Поясним эту основополагающую для нас мысль конкретно.

Обратим внимание на возникновение и структурирование у человека следующих совершенно разных, хотя и тесно между собой связанных, систем отношений его личности: к самой себе, к другому и к суперличности, называемых нами фундаментальными [27; 28]. Мы считаем их фундаментальными не только в том смысле, что эти отношения лежат в основе функционирования человека и его существования в мире, но и в том смысле, что они исчерпывают весь смысл и содержание его предметной деятельности. Они и вызывают к жизни определенную систему отношений психики — установки, сознания и бессознательного психического, — как способ и имманентную форму самореализации человека вплоть до реализации им своей личности. Отсюда и феноменологическая целостность и взаимообусловленность каждой из этих психологических систем отношений в отдельности и вместе взятых и как единой психологической системы отношений во всей целокупности бытия.

Поэтому, как ни относиться к предлагаемой нами теории, от самих психологических систем отношений, складывающихся на основе единой установки личности и по принципу ее двусторонне направленной связи, современной психологии вряд ли стоит отказываться. Да

она и не может сделать этого, хотя задача, которая в связи с этим на нее возлагается и которая обязывает ее раскрыть всю тайну этих отношений, в какой-то мере всегда лежит за ее рамками, т. е. за рамками собственно психологии как науки. Ведь в существе своем тайна эта — тайна психики — намного больше того, что можно было бы раскрыть с помощью одной психологии.

Отсюда и наша попытка построить общую теорию сознания и бессознательного психического как общую теорию фундаментальных отношений личности, т. е. как определенную метатеорию психологии, способную приобщить эту науку не только к породившей ее философии, связь с которой, к сожалению, она все больше и больше теряет, но и ко всей совокупности наук о человеке, естественных и гуманитарных, так или иначе всегда способствующих раскрытию искомой сущности человеческой психики. Иначе как через эти науки, и через эту теорию, существенно изменяющую общие принципы, конкретно-научные способы исследования, категориальный аппарат и весь опыт построения ранее выдвигавшихся в этой связи теорий, психология не может, как нам представляется, выделить себя в качестве фундаментальной науки о собственно психическом.

(2) Мы в данном случае делаем попытку предложить такую теорию как один из **возможных вариантов** метатеории психологии на основе неклассически ориентированной стратегии и исходя из насущной потребности системного подхода к проблеме психики.

II. Определение единой сферы отношений личности. К вопросу об исходном междисциплинарном понятии обобщенной теории психологии

(1) Исходя из намеченной задачи, мы рассматриваем психику не только как определенную **систему отражения** или не только как определенную **систему переживаний**, но и как определенную **систему отношений.** Все, что мы называем психикой, в пределах любой из этих форм ее структурирования, в существе своем есть не что иное, как сознание и бессознательное психическое, функционирующие при их двусторонне опосредующей связи через изначальное психофизиологическое единство человека и являющиеся основными собственно психологическими характеристиками его личности во всей совокупности его фундаментальных отношений. Сознание и бессознательное психическое для нас — в равной мере необходимые элементы каждой из этих систем отношений. Как основные психологические характеристики личности они всегда возникают и функционируют не иначе, как через эту биномную систему отношений.

Следовательно, ни общая теория сознания и ни общая теория бессознательного психического в сущности не могут быть построены, если брать их порознь и вне этих систем отношений — они возможны как общая, единая теория сознания и бессознательного психического. Ни сознание, ни бессознательное психическое как основные собственно психологические характеристики личности не могут быть правильно поняты вне означенной системы отношений личности. А это значит, что то психическое образование, из которого в данном случае должна исходить общая теория психологии, носит принципиально иной и гораздо более сложный характер, чем то, из которого ранее исходили предшествующие теории. Оно по сути содержит в себе весь комплекс взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно психологических, эпистемологических, эстетических и прочих т. п. модификаций

человеческой психики — сознания и бессознательного психического. Однако особенность означенной теории, в отличие от предшествующих, состоит не только и не столько в том, что она фиксирует двойственность структуры человеческой психики как предмета психологии, но не в меньшей мере и в том, какие внутренние противоречия, присущие этой структуре, она выявляет.

Фрейд, как известно, строил свою теорию системы отношений, исходя из тезиса о непримиримом антагонизме и безраздельном господстве неосознаваемых психических переживаний над сознанием, в силу чего при их концептуализации (но не феноменологизации), а тем более при их обобщении в качестве тех или иных объяснительных понятий современной психологии, из поля его зрения выпадали все другие образования человеческой психики, в том числе и чуть ли не все положительные свойства сознания. Мы, напротив, строим свою теорию системы отношений, исходя из тезиса о неизбежном синергизме и регулирующей созидательной роли сознания в отношении любой формы неосознаваемых психических переживаний, в силу чего фактически ни одно из этих образований человеческой психики, то есть ни сознание, ни бессознательное психическое в целом, не выпадают у нас из поля психологического анализа, тем более, что для нас в принципе ни одно из них не может функционировать **вместо и за счет другого.** Сознание и бессознательное психическое суть взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические элементы в рамках единой системы их отношений, вне которой они вообще перестают быть феноменами психики в собственном смысле слова. К тому же, в отличие от фрейдовской, как и всякой другой психоаналитической теории сознания и бессознательного психического, в которой фактически отсутствует какое-либо эксплицитно выраженное понятие их исходно единого структурирования, у нас в качестве такого понятия выдвигается понятие **целостной установки** личности, фиксирующее исходную инстанцию их отношений. Установка как **целостно-личностная модификация психики человека** является тем началом, из чего возникают и на чем зиждятся сознание и бессознательное психическое; она же суть основа как их взаимной компенсации (синергизма), так и их непримиримых противоречий (антагонизма) в сфере единой системы их отношений — в сфере личности.

Поэтому под общей структурой психической реальности мы подразумеваем не только сознание и бессознательное психическое, вместе взятые, но и установку как некое **первопсихическое состояние целостности,** лежащее в основе их реализации вплоть до полной реализации личности.

Благодаря такому пониманию психической реальности предлагаемая нами теория, в отличие от известных психологических, эпистемологических, эстетических или каких-либо иных теорий сознания и бессознательного психического, может рассматриваться не только как их общая, но и принципиально новая теория, вбирающая в себя все достигнутые прежде достижения. Во всяком случае, ни одна из известных нам в этом качестве теорий не исходит из единой системы отношений сознания и бессознательного психического, построенной на основе их взаимоисключающей и взаимокомпенсирующей собственно психологической, эпистемологической, эстетической и прочей активности, покоящейся на базе изначальной целостности личности в сфере ее первичной, еще нереализованной и нефиксированной установки. Если бы не эта единая сфера изначальной целостности личности, проявляющаяся

в феномене установки, мы вообще не могли бы сколько-нибудь убедительно говорить ни о каких взаимоисключающих и ни о каких взаимокомпенсирующих собственно психологических, эпистемологических, эстетических и прочих т. п. операциях сознания и бессознательного психического, а следовательно, и строить общую теорию единой системы их отношений. Или же мы должны были строить ее, исходя именно из тезиса о сплошном и непримиримом антагонизме между ними при безраздельном господстве бессознательного, как это делают фрейдисты.

В принципе так поступают и антифрейдисты. Особенно те из них, которые явно держатся неокартезианской ориентации в психологии. В самом деле, Фрейд и сторонники его научной ориентации, как только дело коснется роли сознания, тут же представляют его как образование, на котором лишь отражается влияние бессознательного и которое оно так или иначе всегда деформирует. По сути дела так же поступают сторонники декартовской ориентации. Будучи не в состоянии соответствующим образом объяснить бессознательное, они порой вовсе исключают его со всеми присущими ему свойствами, и положительными и отрицательными, из единой сферы человеческой психики. Такая позиция в принципе лишает возможности построить общую теорию сознания и бессознательного психического на каком-либо из этих оснований. Более того, психологический опыт обоих направлений убеждает нас в том, что невозможно построить общую теорию психики основываясь лишь на одной из этих двух инстанций. Ибо в принципе нет никакого сознания и бессознательного психического вне единой системы их отношений, которая может быть только системой их совместного проявления, будь то система их взаимоисключающей и взаимокомпенсирующей собственно психологической, эпистемологической, эстетической или какой-либо другой формы активности.

(2) Тем самым мы не утверждаем, однако, что с точки зрения предлагаемой нами теории структура психических образований, о которой идет речь, есть самостоятельная и внутри себя определенная, обособленная структура отношений. Напротив, согласно этой теории внутренняя динамика собственно психологических, эпистемологических, эстетических и др. операций человека на основе целостной установки его личности является результатом влияния более существенной системы отношений данной личности к самой себе, к другому и к суперличности. Только в рамках этой системы происходит корреляция сознания и бессознательного психического, на основе которой, в свою очередь, осуществляются указанные операции. Отношение между сознанием и бессознательным психическим не одномерно и не однонаправленно, она охватывает собой весь круг возможных человеческих отношений. И если что вообще может претендовать на общую теорию личности, так это общая теория сознания и бессознательного психического. Ведь сами по себе сознание и бессознательное психическое суть основные собственно психологические характеристики личности, рассмотренной не только с точки зрения ее целостного собственно-для-себя-бытия, но и с точки зрения ее деятельности на всех уровнях ее общественной практики. Поэтому, как нам представляется, в той мере, в какой система фундаментальных отношений человека определяет его сознание и бессознательное психическое, эти последние определяют первую. Более того, сознание и бессознательное психическое в их единстве суть та внутренне присущая человеку система, через кото-

рую происходит реализация его фундаментальных отношений, включая и его общественную практику в целом.

Сознание и бессознательное психическое упорядочивают и наполняют своим содержанием фундаментальные отношения личности, но они упорядочивают и наполняют их содержанием не через снятие их внутренних противоречий, а как раз через сами эти внутренние противоречия. Отсюда и определенная уравновешенность так называемых энтропических и негэнтропических тенденций как в единой системе корреляций сознания и бессознательного психического, так и в единой системе фундаментальных отношений самой личности, их носителя. В общем, только таким образом человек исчерпывает себя в этих отношениях и реализует себя через посредство этих взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно психологических, эпистемологических, эстетических и др. модификаций сознания и бессознательного психического, составляющих при их совместном проявлении внутренне наполненное единство его личности. Эту мысль, как нам представляется, и содержит в себе известное положение Маркса, что «человек присваивает себе свою разностороннюю сущность разносторонними способами, т. е. как целостный человек» [11, 591].

(3) Попытаемся очертить общие контуры занимающего нас в данном случае образования человеческой психики — этой своего рода биномной системы отношений и лежащего в ее основе феномена установки. Прежде всего установка выполняет в ней функцию фундаментального «принципа связи» как между сознанием и бессознательным психическим, так и между ними и личностью, их носителем. Если бы даже в этой своей глобальной функции установка не подтверждалась экспериментально, мы были бы вынуждены именно с помощью этой функции постулировать ее в качестве исходного пункта общей теории сознания и бессознательного психического как общей теории личности. Во всяком случае, по нашему мнению, только с помощью такой теории и только при такой интерпретации феномена установки представляется возможным объединить ставшие классическими положения Узнадзе и Олпорта об установке как определенном «модусе личности» [18, 171] и «невропсихическом состоянии готовности и к психической, и к физической активности» [31, 799] в более общем и во многих отношениях более существенном положении об этой категории как **фундаментальном принципе связи** внутри биномной системы отношений — сознания и бессознательного психического друг с другом, с одной стороны, и их обоих с личностью, — с другой.

III. Сознание и бессознательное психическое. Анализ их единой психической структуры

(1) Попытаемся уточнить структуру каждой из указанных систем отношений и некоторые вытекающие отсюда выводы.

Начнем с сознания и бессознательного психического, рассматриваемых нами как единая система отношений в их совместном проявлении через ту или иную актуальную установку личности на будущее.

Укажем прежде всего на то, что сознание, бессознательное психическое и установка существенно меняют свой характер, вступая в определенные отношения между собой. Сознание и бессознательное психическое — тем, что они вступают в сферу своих взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно психологических, эпистемо-

логических, эстетических и пр. т. п. отношений, установка же — тем, что на этот раз ей предоставляется возможность развернуться в виде настоящего «модуса личности» во всех аспектах ее проявления. Эти психические образования характеризуют в конечном итоге человека как личность на основе его единой установки.

В опосредующей функции установки как определенной готовности субъекта к той или иной (операционально-психологической, эпистемологической, эстетической или какой-либо другой) форме активности и заключается весь смысл теоретического понятия установки как одной из объяснительных категорий современной психологии. Однако прежде чем уточнить содержание категории установки в интересующем нас направлении, посмотрим, как установка опосредует сознание и бессознательное психическое во всех возможных формах и на любом уровне их совместного проявления.

(2) Прежде всего о сознании — этой наиболее существенной (и центральной) форме собственно психологической, эпистемологической, эстетической и пр. т. п. активности человека, главным образом его собственно-для-себя-бытия, его самостности. Учение об установке сохраняет почти все фундаментальные характеристики сознания, которые в этой связи были зафиксированы ранее в истории научной мысли.

Учение об установке принимает прежде всего тезис о качественном отличии сознания от всего остального мира и от всего остального ряда явлений. Это обстоятельство в корне исключает любую редукцию сознания, будь то психологическая, эпистемологическая, эстетическая или какая-либо другая. Редукция проявлений сознания к так называемым «публичным фактам», если подойти к ним с точки зрения интересующего нас учения об установке, принципиально невозможна[1].

---

[1] Упорное стремление психологов нашего века, особенно психологов, так или иначе представляющих бихевиористскую теорию редукции (James, Watson Bergman, Hempel, Manolez, Kessen и др.), исключить сознание как нечто оккультное из числа научных фактов и наложить на него табу не увенчалось успехом. Наоборот, в наши дни среди психологов разных ориентаций все чаще и чаще предпринимаются попытки представить сознание в своем собственном качестве, а именно — в качестве не только и не столько некой специфической активности или процесса, некоего специфического свойства или атрибута какой-нибудь субстанции, сколько в качестве **сознавания** (в значении английского слова «awareness») или **знания** (образуя этот термин из английского глагола «know», этого более простого, но зато более емкого, двоякого по значению слова, а не слова «cognition», которым предпочитали и все еще предпочитают пользоваться психологи-интроспекционисты). Другими словами, это попытка представить сознание в качестве своего рода двучленного отношения, каким его представлял еще Гегель [3, 201 и 217].

В большинстве своем в этом качестве сознание и фигурирует в современной психологии, где всесторонне и весьма остро сегодня дебатируется вопрос о правомерности как собственно идеалистической (гегелевской), так и механистической (бихевиористской) теории редукции. Сошлемся на соответствующие исследования Сирилом Бэртом природы психического [34; 35], в частности на соответствующее определение им понятия сознания [35, 229]. Сознание, по его мнению, «во всех его формах с необходимостью подразумевает наличие специфического отношения между (а) кем-то или чем-то, о котором мы говорим, что он, она или оно является сознающим, и (б) чем-то другим, которое он, она или оно сознает». (Когда, например, мы «видим» розу или «обоняем» ее запах, когда мы «слышим» шум или «чувствуем» боль, то глаголы, которыми мы пользуемся, в действительности указывают на раз-

И это не только и не столько потому, что как нечто «внутреннее», как непосредственно данное нам измерение действительности, оно выпадает из сферы бытия, сколько потому, что, как таковое, оно в то же время **относится** и ко всему остальному бытию, в том числе и к своему собственному.

Поэтому для нас сознание — это прежде всего отношение, причем это единственное в своем роде отношение и к своей самости (самосознание) и ко всему остальному (сознание другого).Это отношение сознания к чему бы то ни было уникально, сознание ко всему относится

нание) и ко всему остальному (сознание другого). Это отношение сознания одинаково необходимы и однаково исключительны в своем роде. Только при такой интерпретации сознания можно, как нам кажется, понять всю психологическую сущность известного положения Маркса о том, что «мое отношение к моей среде и есть мое сознание» [10, 22], ибо «там, где существует какое-нибудь отношение, оно существует для меня; животные не относятся ни к чему и вообще не относятся», т. е. на их поведение не распространяется категория отношения; «для животного его отношение к другим не существует как отношение» [14, 29].

Еще Гегель утверждал, что всякое сознание — это двучленное отношение и всякое «сознание, как отношение вообще, есть противоречие» [3, 203].

Однако сознание свободно разрешает это противоречие, реализуясь в сфере логического или эстетического, или и того и другого, вместе взятых, что впоследствии и создает иллюзию, будто сознание

личные формы того единственного в своем роде отношения, для обозначения которого и применяется Бэртом почти не поддающееся сколько-нибудь адекватному переводу на русский язык английского слова awareness — «сознавание». В силу содержащегося в этом слове двучленного отношения природа каждого из содержащихся членов почти неуловима, не говоря уже о том, что само их отношение является асимметричным). Другими словами, Бэрт, говорит в данном случае о сознании как определенной форме знания (познания), ибо «коль скоро знание не представляет собой ни субстанции, ни атрибута, единственная логическая категория, под которую мы можем его подвести, это — категория отношения». (Отсюда, как справедливо отмечает Бэрт, следует, что отрицание этого отношения между познающим и познаваемым равносильно отрицанию самой возможности познания. Положение, в котором мы тогда оказались бы, это — положение людей, заявляющих: «Я знаю, что я никогда не могу знать».) Бэрт хорошо подметил также, что не только психологи и философы его научной ориентации, но и психологи и философы противоположной ориентации, в частности Рассел [52], не говоря уже об Айере [33, где он в конце концов признает, что определение «сенсорной данности» требует релятивности толкования понятия сознания], начинают рассуждать так же. Ссылаясь на Рассела, согласно которому наше сознавание (awareness) — это не только сознание нами нашего сознавания, Бэрт справедливо считает, что доводы, которые Рассел использует для опровержения тех, кто пытается свести отношение сознавания (awareness) либо к отношению причинности, либо к отношению части и целого, либо к отношению принадлежности, могут быть использованы также против предлагавшихся в разное время видов редукции. Так, если кто-нибудь спросит меня, уверен ли я в том, что вижу красный канал, то я, говорит Бэрт, могу ответить, что я не только вижу его, но также, что я знаю, что я вижу его. И поэтому я делаю вывод, что понятие сознания, понимаемого как несводимое отношение сознавания (awereness), представляет собой такое понятие, которое мы не можем ни исключить, ни подменить, если конечно, мы как психологи, собираемся дать соответствующее объяснение человеческой жизни и человеческого поведения.

есть единственно возможная собственно психологическая, эпистемологическая, эстетическая и т. п. активность человека. Отсюда и соответствующие теории неокартезианского толка. Однако от этой иллюзии, как и от этих теорий, надо отказаться. Об этом свидетельствует и весь опыт психоанализа сознания и самой личности, его носителя. Это подтверждает и весь опыт современной психологии установки, не говоря уже о непосредственном опыте познания и переживания человеком своего внутреннего мира, в котором само сознание нередко выглядит как **расколотое** и **алогичное**, иногда скрывающее себя, а иногда возвышающее себя в тумане своего воображения. Отсюда и происходит определенная склонность сознания к символизации мира, вплоть до символизации своей подлинной сущности, язык которой **со временем** становится далеко не всегда понятным ему самому.

Фрейд и его сторонники одними из первых попытались подобрать ключ к тайникам сознания и открыли за ним мир «вытесненных» или просто «забытых» им и поэтому уже бессознательных психических переживаний. Они же одними из первых попытались понять эти явления, а через них всю символическую активность сознания. Для нас основной смысл фрейдовского психоаналитического понятия бессознательного состоит в том, что согласно Фрейду бессознательное представляет собой оборотную сторону сознания, психологическую сущность которого можно понять только через соответствующее **толкование** этого, если употребить здесь несколько искусственно звучащее словосочетание, **«сознания-оборотня»**. Если бы не это свойство бессознательного психического проявляться в виде символических образов сознания, давно уже отчужденных от него самого, т. е. в виде **отчужденного сознания**, мы о нем вообще бы ничего не узнали.

Сознание, таким образом, вырабатывает свое отношение к подобным образованиям психики, а точнее отношение к ним через призму общего отношения к самому себе и ко всему остальному. Более того, именно отношение сознания к бессознательному психическому выражает его сущность и как единственно возможное отношение к самому себе и как единственно возможное отношение ко всему другому. Так, во всяком случае, понимается нами психологическая структура сознания как «противоречия».

(3) Психология бессознательного с самого начала столкнулась с одним совершенно «подозрительным» и к тому же очень характерным свойством сознания. Мы имеем в виду тот факт, что в случае надобности, а иногда и вовсе неизвестно почему, сознание, благодаря соответствующим образам-символам, будь то грезы-мечты, эти своего рода «сны наяву», сновидения, искусство, религия или какие-нибудь другие его образования, стремится в какой-то степени скрыть свое подлинное лицо и упорно **сопротивляется** его разоблачению. Вспомним, как в свое время Фрейда поразили поступки, последовавшие за гипнотическим внушением, когда человек совершает что-то, не зная почему он делает и придумывает впоследствии правдоподобные объяснения своим поступкам, оставаясь при этом вполне искренним. Небезынтересно в этой связи вспомнить также факты простой забывчивости, остроумия, обмолвок и т. д. и т. п. За ними Фрейд видит чуть ли не целый мир «антисознания» человека, который он впоследствии толкует через отрицание характерных признаков сознания, т. е. как представления, желания мысли и т. д. и т. п. минус со-знание (но не общепсихологическое свойство этого сознания одновременно быть и **переживанием**). Последнее в этом случае предстает не как собственно психологическое

свойство со-знания переживания. Отсюда и само психоаналитическое понятие **неосознаваемых психических переживаний** (представлений, желаний, мыслей и т. д. и т. п.). Сознание и его переживание, т. е. знание сознанием своего переживания и само это переживание как непосредственная данность его субъективного опыта, суть не адекватные проявления психики.

Как бы мы ни относились к Фрейду, мы не можем отказываться от рассмотрения подобных переживаний, т. е. неосознаваемых психических переживаний (представлений, желаний, мыслей и т. д. и т. п.). Более того, весь опыт психоанализа, как и наших непосредственных наблюдений, убеждает нас в том, что к бессознательному психическому, в обычном смысле этого слова, прежде всего, надо относиться как к тому, что может быть воспринятым именно через собственно психологические свойства переживания (представления, желания, мысли и т. д. и т. п.), т. е. как к своего рода «антисознанию». И действительно, когда какое-либо наше представление, желание, идея, мысль «вытесняются», они тут же теряют свое сознание и приобщаются к миру бессознательного, напоминая при этом актеров, ушедших со сцены, которым, однако, предстоит вернуться обратно в той же или в совсем другой роли. Подобно немногим одаренным актерам, эти представления, желания, мысли и т. п. постоянно меняют не только свои актерские обличья на сцене сознания, но и свою актерскую речь, выражаясь на совершенно чуждом для сознания «языке», всегда готовые в то же время на выполнение совершенно противоположных ролей.

Сознание, находясь в положении «зрителя», от которого уходят и к которому через некоторое время и при надобности снова возвращаются эти представления, желания, идеи, мысли, никогда не знает или почти никогда не знает ни об их уходе, ни об их приходе. Иначе они вообще не смогли бы ни покинуть его, ни вернуться к нему, а тем более сыграть на сцене этого сознания свою отрицательную роль. А раз это происходит, то это значит, что сознание регулирует свое отношение с этими своими «двойниками», т. е. ушедшими от него представлениями, желаниями, идеями, мыслями, существующими в сфере бессознательного психического. Последнее в этом случае выступает как форма нашей субъективности и как такое качество этой субъективности, в облике которого все ныне принадлежащие ему представления, желания, идеи, мысли покинули нас и наше сознание, заняв положение актеров, взоры которых и после исполнения отведенных им ролей все равно обращены на сцену. Если бы не это «движение актеров», не было бы и никакого представления на сцене. И если бы не это движение наших бессознательных психических переживаний, не было бы и нашего сознания, воплощающего себя в речи[2].

Отсюда и непосредственная зависимость как самих необычных явлений бессознательной психики от сознания, так и самого сознания от этих необычных явлений бессознательной психики, и не только когда они компенсируют друг друга, при их самом продуктивном сотрудничестве, но и когда они исключают друг друга, при их самом непримиримом антагонизме, во всех сферах деятельности личности. Причем, чем

---

[2] Наиболее ценной в этой связи оказалась, как известно, разработка Ж. Лаканом и его учениками [47] новой концепции бессознательного, структурированного как «речь другого», в частности концепции «иной логики» бессознательного. Отсюда и их соответствующее учение о разных (сознательных и бессознательных) уровнях (или пластах, потоках) общения (см. статью С. Леклера в настоящей коллективной монографии).

шире сфера нашего сознания, тем шире сфера и нашего бессознательного.

(4) Тем не менее возникновение и движение образований сознания и бессознательного не зависят от них самих. Скорее это зависит от исходной инстанции единой системы их отношений, в частности от лежащей в их основе изначальной психической целостности установки личности.

Весь опыт не только собственно психологических и эпистемологических, но и эстетических исследований, выполняемых в этой связи в наши дни как с позиции психологии сознания, так и с позиции психологии бессознательного, самым наглядным образом подтверждает мысль о наличии предваряющего сознание и бессознательное психическое переживание «установочного состояния» личности. Это состояние содержит в себе весь смысл определенной ситуации, непосредственно отвечающей той или иной потребности данной личности, а следовательно, вместе с сознанием и бессознательным психическим образует единую сферу функционирования человеческой психики. Отсюда и соответствующая интерпретация нами феномена установки как вероятностного принципа внутренней организации (структурирования) и регуляции личности и осуществляемой по ней деятельности внутри целостной системы отношений, в которой воплощается не только система отношений сознания и бессознательного психического, но и система фундаментальных отношений Я.

Так возникает взаимозависимость в системе отношений сознания и бессознательного психического через систему фундаментальных отношений Я и системы фундаментальных отношений Я через систему отношений сознания и бессознательного психического. Установка обслуживает эту систему в обоих направлениях. Она есть и своего рода «энергия, благодаря которой происходит дальнейшее превращение любой заключенной в ней невербализованной информации в факт сознания (и речи). Одновременно установка служит принципом двусторонне опосредующей связи не только между сознанием и бессознательным психическим, но и между ними и транспсихическим миром, поскольку этот мир выступает как предмет нашего познания и переживания вообще. Отсюда не только собственно психологическая, но и эпистемологическая и эстетическая значимость категории установки, как и самих категорий сознания и бессознательного.

Это обстоятельство выделяет установку из трехчленной системы психического: установка—сознание—бессознательное, и из трехчленной системы отношений Я: личность—другой—суперличность. Она определяет психическое как некую систему отношений между указанными образованиями, лежащую в основе жизнедеятельности человека в целом. Установка суть первичная, фундаментальная характеристика личности, на основе которой возникают и реализуются все ее вторичные, взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. т. п. операции, входящие в круг сознания и бессознательного психического. Она же — и та основа, на которой происходит полная поляризация всех этих качеств, а вместе с тем и образование всей структуры человеческой психики. В итоге мы приходим к убеждению, что без этой инстанции и вне образующей ее системы отношений вряд ли можно раскрыть противоречивую природу и сущность этих системных образований психики, рассматриваемых и как определенная структура-образ, и как определенная структура-операция, а тем более как определенная структура-операция деятельности.

Здесь мы имеем в виду раскрытие сущности человека и его психики на основе биномной системы отношений, включающей в себя не только корреляцию сознания и бессознательного психического, но и единую систему фундаментальных отношений личности, другого и суперличности.

(5) Какие из этого вытекают выводы и в чем же, собственно, заключается преимущество предлагаемой схемы психического: установка—сознание—бессознательное?

Во-первых, это наиболее полная и завершенная, как нам кажется, система отношений, оказывающаяся в состоянии представить мир сложных и многообразных явлений человеческой психики с присущей ему внутренней закономерностью не только в случае их проявления в виде той или иной структуры-образа, но и в случае их проявления в виде той или иной структуры-операции. Все, что происходит в нашей психике, происходит в рамках этой системы отношений и согласно этой закономерности. Ни одно из выступавших здесь системных образований психики — ни сознание, ни бессознательное психическое переживание, ни установка, отдельно взятые, не в состоянии реализовать всю систему фундаментальных отношений Я так полно.

Во-вторых, это — открытая система отношений внутри такой же открытой системы фундаментальных отношений Я, другого и суперличности, развертывающаяся в пространственно-временном континууме мира, который предшествует им и определяет их. Почти вся динамика нашего Я, как и динамика всей нашей психики, берет свое начало и полностью воплощается через биномную систему наших целостно-личностных отношений. Будучи специфическим «принципом связи», установка «открывает» эту систему и как определенную систему отношений психики и как определенную систему отношения Я. (Так, во всяком случае воспринимается нами понятие установки в его сугубо теоретическом понимании, т. е. как понятие определенного «модуса личности».)

И, наконец, в-третьих, это — система отношений, благодаря которой легко определить относительность каждого из основных образований человеческой психики, как-то: сознания, бессознательного психического и установки, а также и личности, субъекта их активности. Нет другого более надежного и более полного способа исследования личности и психики, чем исследовать их по биномной системе их отношений на основе собственно психологической, эпистемологической, эстетической и пр. активности. Мы хотим подчеркнуть, что в рамках этой системы отношений мы можем констатировать как самые «сильные», так и самые «слабые» стороны каждого из системных образований нашей психики — и нашего сознания, и нашего бессознательного психического, и нашей первичной нереализованной и еще нефиксированной установки. Оперируя этой системой отношений, мы можем также объединить усилия не только философии и психологии, но и тех наук, которые так или иначе заняты проблемой человека и его психики.

С этой целью мы и вводим понятие **единой сферы отношений личности** как одно из исходных системных понятий предлагаемой общей теории сознания и бессознательного психического.

Во всех случаях под «бессознательным психическим», поскольку оно входит в структуру этих отношений, здесь мы разумеем не исходно бессознательное психическое, а всего лишь так называемое его **постсознательное образование,** т. е. представление, желание, мысль и т. д. и т. п. минус сознание, в силу чего впоследствии они могут проявляется только как **отрицательные элементы** возникаемой при этом

пары сознания и бессознательного психического, т. е. только **как неосознаваемые психические переживания** (представления, желания, мысли и т. д. и т. п.). В то время как при их концептуализации (но не при их феноменологизации!) психоанализ оперирует ими в основном только как отрицательными понятиями современной психологии, т. е. только как отрицательными элементами означенной пары человеческой психики, мы, наоборот, под «изначальной установкой» разумеем **не отрицательное бессознательное психическое,** а нечто положительное: то **собственно бессознательное психическое,** которое, будучи основой этой пары, ни при каких обстоятельствах **не** утрачивает характера их двусторонне направленного «принципа связи», а следовательно, как **способ проявления психической целостности,** ни при каких обстоятельствах **не** принимает форму переживания. Это значит, что на основе такой схемы отношений легко разрешается проблема установки и сознания, с одной стороны, и установки и бессознательного психического, с другой, а заодно и проблема «движения» человеческой психики по принципу обратной связи — как от исходного положения к конечному, так и от конечного к исходному: установки к сознанию и сознания (через неосознаваемые психические переживания) к установке. Отрицательные же психические образования, бессознательные представления, бессознательные желания и т. д. и т. п. в принципе могут опосредовать движение человеческой психики и в том и в другом направлении, но они — **всего лишь средство,** но не принцип движения психики.

IV. Образование целостной системы фундаментальных отношений личности. Анализ составляющих эту систему категорий — личности, другого и суперличности

(1) Теперь несколько слов относительно единой системы фундаментальных отношений личности: к самой себе, к другому и к суперличности, лежащей в основе структурирования и любых метаморфоз человеческой психики.

(а) Прежде чем приступить к анализу выдвигамой здесь проблемы, нам придется в несколько обобщенном виде повторить некоторые результаты нашего рассмотрения. Мы сделаем это путем соответствующей логической конверсии уже рассмотренных нами в этой связи умозаключений.

Сознание и бессознательное психическое суть основные характеристики личности во всех аспектах единой системы ее фундаментальных отношений, внутри которой и развертывается ее собственно психологическая, эпистемологическая, эстетическая и пр. т. п. активность. И сознание и бессознательное психическое представляют собой в равной мере подчиненные и необходимые элементы системы личностных отношений, ибо как основные характеристики личности они всегда возникают и функционируют не иначе, как только через них. Суть тут в том, что в принципе в той мере, в какой система фундаментальных отношений личности в пространственно-временном континууме мира определяет структуру отношений сознания и бессознательного психического, система отношений сознания и бессознательного психического определяет систему фундаментальных отношений личности. Это — биномная система отношений, представляющая собой единую сферу функционирования психики человека. Вне этих взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно психологических,

эпистемологических, эстетических и т. п. проявлений человек не может реализовать себя и всю систему своих фундаментальных отношений, а тем более не может достичь полной реализации «своих сущностных сил» через свое собственно-для-себя-бытие, свою личность.

Отсюда и место (взаимообусловленность) сознания и бессознательного психического в целостной системе фундаментальных отношений личности во всем пространственно-временном континууме мира, ее окружающем и ее определяющем. Именно их биномная система отношений и отражает в себе весь пространственно-временной континуум мира как в смысле теорий Дарвина и Эйнштейна, когда под этим пространственно-временным континуумом мира подразумевается всего лишь природа, так и в смысле теории Маркса, когда под ним прежде всего мы должны разуметь окружающее нас общество. Личность не может себя воплотить в природе, она и не возникает как феномен природы. Но это значит, что каждая из рассматриваемых здесь систем отношений, в частности система отношений сознания и бессознательного психического на основе их совместного проявления через актуальную установку личности, с одной стороны, и саму личность, их носителя, с другой, суть одна из двух основных подсистем этой биномной системы отношений.

(б) Поэтому, чтобы должным образом разъяснить нашу проблему, мы должны из этой системы отношений выделить не только отношения личности и отношения взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно психологических, эпистемологических, эстетических и пр. т. п. проявлений сознания и бессознательного психического, но и отношения, базирующиеся на актуальной установке. Отношения, базирующиеся на установке, лежат в основе как первого, так и второго типа отношений. Они суть первичные отношения внутри всей биномной системы связей. Но хотя они и первичные характеристики, они являются таковыми не по уровню.

Это главное, что мы должны иметь в виду при дальнейшем исследовании единой сферы отношений личности, в частности при определении роли сознания и бессознательного психического, как и лежащей в их основе актуальной установки данной личности.

(2) Единую сферу проявлений личности составляет система ее фундаментальных отношений, а именно — отношения к самой себе, к другому и к суперличности. Эти отношения фундаментальны, помимо сказанного, еще и потому, что в конечном счете они обусловливают возникновение и всю динамику как реальных (материальных), так и идеальных (духовных) отношений личности. (Сразу же уточним, что, говоря об идеальных отношениях личности, мы имеем в данном случае в виду некоторые исходно субъективные, но в любом ином качестве ирреальные, хотя и особо значимые, образования сознания, которые впоследствии воздействуют на человека со стороны, как нечто **сверхличное** и **сверхсознательное**. Исключив их из числа моментов личностной активности, мы не сможем понять всю психологическую природу психики, в частности всю психологическую природу символа и символической активности человеческой психики, ибо, выражаясь словами Гегеля[3], «сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его» [4, 289]). Другими словами, сознание не только отражает, но и создает себе

[3] Слова Гегеля приводятся здесь в известной перефразировке Ленина (см. Полн. собр. его соч., т. 29, стр. 194), в принципе соглашающегося, должно быть, с основным содержанием этих слов в их материалистическом истолковании.

свой предмет отражения, что полнее всего прослеживается в искусстве и через искусство всех времен и народов и в любой форме созданной ими культуры.

(а) Отношение личности к самой себе — одно из ее фундаментальных отношений: личности нет, если нет такого отношения. Причем отношение личности к самой себе дано не только через ее сознание, но и через ее бессознательное психическое. Отношение к самой себе через сознание связывает личность с ее настоящим и будущим, тогда как отношение к самой себе через бессознательное психическое — с ее прошлым, как бы обнимая таким образом весь мир ее собственно-для-себя-бытия, как в сфере ее социальных отношений, так и в сфере ее отношений с природой. Нам представляется, что личность нужно измерять по этой ее биномной системе отношений, поскольку отношения личности к самой себе образуют центральный узел в единой сфере ее фундаментальных проявлений и только это обеспечивает личности возможность развернуться в ее отношениях и к другому и к суперличности.

Заметим, что только благодаря такому расчленению единой системы отношений личности к самой себе — через сознание и через бессознательное психическое — и удается современной психологии охарактеризовать личность. С одной стороны, личность характеризуется как **самосознающая**, когда окружающий мир и она сама выступают для нее в виде знания и она воспринимает себя и все остальное только через со-знание. С другой стороны, личность определяется как **желающая**, когда внешний мир и ее собственный внутренний мир выступают для нее как объект деятельности и потребности, т. е. когда она воспринимает мир и самое себя не только через сознание, но и через бессознательное психическое как предмет желания в самом широком смысле слова. Современная психология, не говоря уже о других науках о человеке, должна четко представлять себе и то и другое.

Для сознания в конечном счете и личность, и весь мир существуют только в форме знания. Как отмечает Маркс, «способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, это — знание» [11, 633]. Наиболее совершенной формой собственно-для-себя-бытия личности является **самосознание.** Можно даже сказать, что сознание вообще склонно мыслить себя и все остальное только как самосознание. Как утверждал еще Гегель, «истина сознания есть самосознание, и это последнее есть основание сознания, так что в сущности всякое сознание другого предмета есть самосознание» [3, 214].

Гегель в определенном смысле прав, когда говорит, что «я знаю о предмете, что он мой, он — мое представление, поэтому в знании о нем я имею знание о себе. — Выражение самосознания есть «Я» = «Я», абсолютная свобода, чистая идеальность. — В таком виде самосознание не имеет реальности, ибо оно само, будучи своим предметом, в то же время и не есть таковой предмет, ибо не существует никакого различия между этим предметом и им самим». Или, другими словами: «В выражении «Я»=«Я» высказан принцип абсолютного разума и свободы. Свобода и разум состоит в том, что я возвышаюсь до формы «Я»=«Я», что я все познаю как принадлежащее мне, как «Я», что каждый объект я постигаю как звено в системе того, что есть я сам, — коротко говоря, что в одном и том же сознании я имею и «Я» и мир, в мире снова нахожу себя и, наоборот, в моем сознании имею то, что есть, что имет объективность» [3, 214]. Отсюда и соответствующее разграничение Гегелем подлинно рефлексивного сознания и самосознания, с которым во многом можно согласиться, если

бы не его идеалистическая теория тождества, которая в понятии «чистой идеальности» самосознания не разрешает противоречия между «Я» и миром, а просто снимает их. Тем не менее, Гегель, не говоря уже о Марксе, впервые преодолевает односторонность так называемой имманентной философии и психологии сознания.

Но личность относится к себе самой и миру так же, как и к объекту своей преобразующей деятельности и своих потребностей. В этом случае личность выступает не только и не столько как субъект сознания, сколько как субъект бессознательного. Обе эти инстанции, хотя и по-разному, но с одинаковой силой влияют на поведение человека. Более того, «желание» определяет человека и как природное существо и как активного субъекта своей собственной истории, собственного-для-себя-бытия своей личности. Весьма глубокую, но в современной психологии крайне мало в этом отношении использованную мысль содержит одно из известных высказываний Маркса: дом, в котором не живут, сюртук, который не одевают, не есть ни то, ни другое [12, 77]. На наш взгляд, современной психологией далеко недостаточно используется также известное положение Гегеля, согласно которому «самосознающий субъект знает себя как такого, который в себе тождественен с внешним объектом, — знает, что этот последний содержит в себе возможность удовлетворения вожделения, что предмет, следовательно, соответствует вожделению и что именно вследствие этого вожделение и возбуждается предметом. Отношение к объекту делается поэтому для субъекта необходимым. Субъект усматривает в объекте свой собственный недостаток, свою собственную односторонность, — видит в объекте нечто принадлежащее к его собственной сущности и, тем не менее, ему нехватающее» [3, 218].

Но, следуя своей идеалистической теории тождества, Гегель допускает грубый просчет, полагая, что всякое «самосознание может снять это противоречие, ибо оно есть не-бытие, а абсолютная деятельность; и оно действительно снимает его, поскольку обладает предметом» [3, 218]. Но, во-первых, самосознание — это не вся самостность, и, во-вторых, никакое самосознание как сознание своей целостности не в состоянии преодолеть границу бытия и подняться до уровня «чистой идеальности» в том смысле, в каком ее понимает Гегель. Но в принципе, гегелевскую трактовку сознания и личности можно рассматривать в таком аспекте, ибо вожделяющее сознание представляет собой всегда открытую систему.

В любом случае современная психология не может отказаться от мысли о самом непосредственном влиянии влечений на функционирование психики. Более того, она должна говорить о них и как об определенной внутренней потребности личности и как определенной потребности психики **в чем-то другом**, имея при этом в виду и сознательное и бессознательное их проявление. Влечение суть фундаментальная характеристика личности и на уровне сознания и на уровне бессознательного, ибо оно связывает личность с будущим (через сознание) и прошедшим (через бессознательное психическое), и с истоками жизни, древней, как мир. (Вспомним в этой связи, как его характеризовал Гегель: «Вожделение есть та форма, в которой самосознание проявляется на первой ступени своего развития. Вожделение здесь еще не имеет никакого дальнейшего определения, кроме определения его как **влечения**, поскольку это последнее, не получив еще определения со стороны **мышления**, направлено на внешний объект, в котором оно ищет своего удовлетворения», тогда как «неживое не имеет никакого влечения, потому что оно не в состоянии перене-

сти противоречия и погибает, если нечто по отношению к нему другое в него проникает. Напротив, все одушевленное и дух необходимо имеют влечения, так как ни душа, ни дух не могут существовать, не имея внутри себя противоречия, не чувствуя или не зная его» [3, 216—217].)

Влечение заложено в самой изначальной установке личности, которая регулирует человеческую жизнь и управляет ею, а также определяет основные собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. формы активной личности. Единая установка личности, будучи ее жизненным регулятором, есть та сфера, в которой личность впервые для себя обнаруживает не только ту или иную свою потребность (влечение), но и ситуацию, могущую удовлетворить эту потребность. При этом установка реализуется как в форме познавательной, так и в форме предметной деятельности. Так воспринимается нами установка в системе предлагаемой здесь теории сознания и бессознательного психического.

Таковы некоторые, по нашему представлению, тенденции развития отношений личности к самой себе через сознание и бессознательное психическое, проявляющихся на основе ее единой установки. От исследования этих отношений не может отказываться современная психология, а тем более общая теория психологии, поскольку последняя призвана приобщить ее к системе наук о человеке и системе наук вообще.

(б) Однако одна система отношения личности к самой себе, которой науки о человеке должны уделять должное внимание, не в состоянии охватить всю сферу функционирования психики. Это наиболе существенная, но всего лишь одна из систем, входящих в единую сферу фундаментальных отношений личности. Вместе с ней сюда должны быть включены также и системы отношений личности ко всему другому, причем к другому не только как к некому подобному ей субъекту. В качестве другого может выступать и **природа** вплоть до любой **иной природы** (смерти).

Итак, уточним, что понимается нами под **феноменом другого.** В целях уточнения, нам думается, следует внести определенную ясность в вопрос о различии между личностью и другим в его личностном проявлении, с одной стороны, и между личностью и другим как внеположным бытием природы, с другой. Следует также рассмотреть личность и другого в их единстве по отношению к природе в ходе совместной человеческой деятельности по ее практическому преобразованию. В сущности ни личность для-себя и ни другой для-себя не относятся обособленно к природе. Их отношение к природе опосредуется определенной системой отношений между собой, что обеспечивает их полную самостоятельность в отношении природы, но ставит в отношения взаимозависимости друг от друга. В этом состоит **историческая необходимость,** проявляющаяся в единой системе отношений личности, другого и природы — в сфере общественной практики. Но это значит также, что личность в системе этих отношений равно одинаково проявляет и свое сознание и свое бессознательное психическое. На бессознательном психическом базирует она свое сознание, а свою самостность — на природе. И в той мере, в какой **личность должна и способна подчинить себе природу, в той же мере ее сознание должно и способно подчинить себе бессознательное психическое.** (Заметим, что на эту сторону вопроса при построении общей теории психоанализа по-существу вовсе не обращают внимание Фрейд и его сторонники.)

Итак, отношение к другому включает в себя отношения к другому как к личности и как к иному, т. е. к иной природе (смерти) вообще. Отличие состоит в том, что к природе личность относится только через отношение к личности другого, как, впрочем, и природа воздействует на человека только через связь его с другим. Наличие другого «Я» — изначально необходимое звено в единой сфере отношений личности, и потому неправы Гегель и современные экзистенциалисты, считая возможным «снять» этот вопрос при рассмотрении личности. Ведь личности нет, если нет этого другого, через посредство которого она относится к природе и к самой себе. И если, выдвигая эту проблему, мы расширяем понятие другого, включая сюда **все иное** вплоть до любой **иной природы** — **смерти**, то это потому и постольку, поскольку отношение личности к другому как личности и к **другому вообще** может значительно варьироваться, например, от отношения, когда сама природа воспринимается как личность, до того отношения, когда другое «Я» низводится до уровня природы и рассматривается как вещь среди вещей. (Нагляднее всего этот второй процесс отразило экзистенциалистское сознание нашего века.) Укажем и на то, что другой, понимаемый как иная природа (смерть), также является необходимым элементом становления личности в процессе развертывания ее отношений к самой себе или к суперличности.

Нам особенно важно отметить наличие другого в качестве внутренне необходимой инстанции в системе отношений личности к самой себе. Относясь к другому, личность не только оценивает себя и свои возможности, как и этот другой — себя и свои возможности, но и удостоверяется в своем собственно-для-себя-бытии, в своей самостности. Вспомним Маркса: «Человек сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека. Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает относиться к самому себе как к человеку» [12, 62]. Только при наличии другого человека возникает «осознание человеком самого себя в сфере практики, т. е. осознание человеком другого человека как равного себе и отношение человека к другому человеку как к равному» [15, 42]. Отсюда марксисты, следуя принципу обратной связи, выводят, как известно, следующее положение: «Предмет, как бытие для человека, как предметное бытие человека, есть в то же время наличное бытие человека для другого человека, его человеческое отношение к другому человеку, общественное отношение человека к человеку» [15, 47].

Это значит, что человек не может относиться ни к природе, ни к самому себе как личности, не отнесясь к другому человеку. Как личность он может относиться и к тому и к другому только через посредство другого человека, ибо, согласно Марксу, человек не обособляется ни от природы, ни от общества, хотя в определенном смысле всегда противостоит им. Будучи частью природы, человек, тем не менее, всегда обнаруживает себя только в обществе и через общество, что принципиально отделяет, но не обособляет его от природы. Ведь для Маркса проблема другого — это, прежде всего, проблема общества и, в частности, общественной практики, поскольку она направлена на преобразование природы. Только в процессе практической деятельности люди вступают в отношение с природой и друг с другом, непосредственно воздействуя при этом как на природу, так и друг на друга, ибо «они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди вступают в оп-

ределенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство» [13, 441].

Это положение лежит и в основе нашей интерпретации проблемы другого и как другого «Я» и как иного вообще, поскольку они вовлечены в сферу общественной практики. Поэтому для нас является односторонней не только гносеологическая (на что указывает и Сартр) теория Гегеля — теория тождества бытия и познания, утверждающая и абсолютное тождество «Я» и другого, но и онтологическая теория экзистенциалистов, утверждающая несводимость бытия к познанию (Киркегор), в частности, онтология Хайдеггера, говорящая лишь об отношении бытия к бытию. (Вспомним одну из «варварски кратких», по выражению Сартра, формул Хайдеггера, согласно которой бытие есть всегда «бытие-с», «бытие-с-другим» — Mitsein [41].) Дело в том, что тем самым современные экзистенциалисты не утверждают другого в его самости, а, напротив, своим понятием личности в конечном счете уничтожают его. Ибо согласно экзистенциалистской теории личности, мое бытие-для-другого фактически определяет и бытие этого другого-для-другого. Во всяком случае, ни Хайдеггер, ни его последователи не находят путей к другому. Другой, по их мнению, представляет собой лишь фрагмент личностной конструкции, и то лишь постольку, поскольку сознание личности полагает существование другого. Особенно это характерно для Сартра, считающего, что «сущность отношения между сознаниями есть не «Mitsein», а «конфликт».

Такое решение проблемы в конечном итоге вполне в духе Гегеля, против которого Сартр так решительно возражает в своем «Бытии и ничто» [53]. Это значит, что, согласно экзистенциализму, личность окружает не заполненная, то есть наделенная позитивными определениями сфера ее реальных отношений, а всего лишь огромное «пустое пространство», из которого она неспособна выйти для определения своей самостности, своего собственно-для-себя-бытия как исключительно личностной сферы существования. «Пустота» эта возникает как результат отсутствия реальности другого, которая создает предпосылку единой сферы отношений личности, так как своими силами и в одиночку личность не может образовать единую сферу своей деятельности, возникающую только на основе межличностных отношений.

Следует подчеркнуть, что единая сфера отношений личности, о которой идет речь у нас, и сфера бытия как наличного бытия личности, о которой идет речь у экзистенциалистов, — это разные вещи. Экзистенциалисты, как правило, отвлекаются от анализа окружающей личность среды и ограничиваются внутренним миром личности, который рассматривается ими как трансцендентирование к смерти (ничто). За пределами экзистенциалистских анализов остается тот факт, что без единой сферы отношений личности, обязательно включающей в себя другого и суперличность, о чем у нас пойдет речь немного ниже, нет ни сознания, ни самой личности. Другой и суперличность, о которых речь идет и у экзистенциалистов, вступают с личностью лишь в конфликтные отношения, порождающие сферу отчуждения личности, из которой каждый в отдельности может «выпасть» и действительно «выпадает», создавая то одну, то другую форму своего собственно-для-себя бытия — сферу отчужденной личности.

Система же фундаментальных отношений личности как единая

сфера отношений данной личности к самой себе, к другому и к суперличности, согласно нашему представлению, состоит из неотделимых друг от друга элементов отношений. Ни один из элементов этой системы не может образовать сам по себе никакую систему отношений вне и независимо от системы их отношений в целом. В отличие, скажем, от некоторых химических соединений, где кислород может быть элементом то одного, то другого вещества, личность, другой и суперличность суть элементы только одной единой системы отношений в сфере личности. Это значит, что они — далеко не самостоятельные элементы практики. Составляя единую сферу личности, они образуют не только и не столько конфликтную сферу отношений личности (сферу отчуждения), сколько необходимую сферу их сотрудничества — сферу общественной практики.

В этом и состоит существенное отличие нашей, основанной на марксизме, теории личности, как и нашей теории другого, от экзистенциализма.

А теперь попытаемся изложить некоторые аспекты отношения личности и так называемой суперличности в рамках единой сферы отношений личности.

(в) Согласно предлагаемой нами теории, единая сфера отношений личности не может сложиться не только при отсутствии другого и как личности, и как иной природы (смерти) вообще, но и при отсутствии суперличности. Более того, личность, как и сознание, с психологической точки зрения, лучше всего оценивать именно по ее отношению к суперличности. Суперличность — это не нечто внеположное личности, а скорее своего рода **инобытие личности**, это мир **объективно значимых** для нее явлений, который она всегда ставит **выше себя** и над которым она впоследствии всегда **поднимается**, как бы проверяя себя и свои возможности на высшем уровне — на уровне своих идеалов и ценностно-личностных ориентаций. Только таким образом личность становится собственно личностью, и ее собственное сознание заставляет оценивать себя и свои возможности в сфере общественной практики и созидания, а не в сфере ее трагической заброшенности в мир — в сфере ничто, как это считают современные экзистенциалисты.

Обратимся в этой связи к мифу о Сизифе, о котором так часто заходит речь у современных экзистенциалистов. Смысл совершаемого им труда вовсе не сводится к трагедии, хотя трагедия вечно и сопутствует ему. Ведь Сизиф не только гордо шагает на вершину горы с обломком скалы, откуда этот огромный камень каждый раз опять скатывается, но и гордо спускается вниз, чтобы повторить свой путь. Сизиф не только достойно спорит со своими богами, его осуждающими, но и с самим собой, как и со своим сознанием — сознанием трагичности своей собственной судьбы и судьбы человечества, с ничто. Если верить Гомеру, Сизиф поступает так благодаря огромной воле, которая помогает ему осилить себя и свою судьбу: он самый умный и мудрый среди смертных, ибо, как справедливо отмечает Камю, «он тверже, чем его камень» [36]. К тому же он сильнее своих богов, которые заставляют его делать то, что он делает, и которых он, покидая вершину, каждый раз так старательно «выбрасывает из головы». Для нас миф о Сизифе интересен тем, что для Сизифа и боги, а может быть, и камень, и вершина выступают как своего рода суперличности, т. е. некая сама по себе значимая, во многом превосходящая и разрушительно ниспровергающаяся на него объективная сила, которой он, Сизиф, как правило, всегда противостоит и не может не противостоять. Достаточно глубокую в этой связи мысль содержит в себе известное

положение Фейербаха о сотворении человеком бога, но не богом человека, высказанное им в своей антирелигиозной антропологии [20]. В своем вечном споре с богами, как и со всеми другими и с самим собой, человек должен, и поэтому он побеждает. Это одно из основных требований отношения личности ко всем проявлениям суперличности.

Разве не в этом весь смысл столь трагичной и таинственной жизни Сизифа, как, кстати, и многих героев Достоевского?! Достоевский глубже, чем Гомер и современные экзистенциалисты, понял, что человек должен одинаково бороться и одинаково стремиться побеждать в себе как «черта», так и «бога», даже и тогда, когда он сомневается в своей победе. Ибо стремление осилить себя и свою судьбу у Достоевского, видимо, сильнее, чем страх перед ничто. Только это обстоятельство дает нам возможность понять личность, по Достоевскому, как нечто «более, чем существующее». Так во всяком случае мы понимаем основную проблему Достоевского, поскольку она заключается не в проблеме отношения личности к самой себе или к другому, а в проблеме отношения личности ко всем проявлениям суперличности. Нам кажется, что при этом у Достоевского проверяются возможности человека на высшем уровне, скорее на уровне его суперличности в сфере общественной практики созидания, а не только как человека смертного, в сфере ничто. Другими словами, у Достоевского человек оценивается не с точки зрения бога как чего-то принципиально непреодолимого, а с точки зрения некой самой по себе значимой, во многом превосходящей его личности и разрушительно ниспровергающейся на нее объективной силы. Человек, как правило, всегда противостоит здесь этой силе, будь ее источником его «внутренняя ярость» или другой, выступающий как субъект для себя или иная природа (смерть), перед которыми он в то же время и преклоняется, потому что в своем отношении к такой объективности человек всегда дан как нечто «более, чем существующее» — как личность. У героев Достоевского сознание своих сил в единоборстве с судьбой и с самим собой сильнее сознания страха перед этой судьбой — судьбой отрешенного. Должно быть, это — одна из главных идей, занимающих Достоевского[4].

---

[4] Достоевский более, чем кто-либо другой, пытается поставить человека в центре мира, показав всю суть его демонического начала, его легкомыслия, неустроенности и неупорядоченности, того, что присуще ему одному, отличает и вместе с тем ставит его чуть ли не вровень, а может, и выше бога — его неутолимую жажду остаться «самим собой» и по «своей глупой воле пожить», его беспрестанное стремление дать свободу живущему в нем «подпольному человеку». Вспомним, что говорит этот человек из подполья: «Все-то дело человеческое, кажется, действительно в том только состоит, чтобы человек поминутно доказывал себе, что он — человек, а не штифтик», ибо человек — это, прежде всего, «свое собственное, волевое и свободное хотение, свой собственный, хотя бы и дикий, каприз». Как нам представляется, именно это и отличает гуманизм, как и аморализм, Достоевского от гуманизма и аморализма Фрейда и его сторонников из числа современных экзистенциалистов. Свобода, о которой идет речь у Достоевского, это не та свобода отъединенности человека от чуждого ему мира, от которого он убегает, признавая свое полное отчуждение от него и пытаясь заставить его изменить своей природе, а та, которая утверждает его в этом полном зла и добра мире — в мире антиномий. Основной смысл своеволия человека у Достоевского совершенно иной, чем тот, который приписывают ему современные волюнтаристы типа Н. К. Михайловского («Человек может сказать: да, природа безжалостна ко мне, она не знает различия между мной и воробьем, — но я сам буду к ней безжалостен и своим кровавым трудом покорю ее, заставляя ее служить мне,

И действительно, отношение человека к своей суперличности в том смысле, в каком это понятие фигурирует у нас, то есть в виде необходимой инстанции, включено в единую сферу его деятельности, в сферу его личности. В то же время существует еще и определенная цель, заложенная в этой системе отношений, — изначальное стремление данной личности преодолеть себя и свою судьбу в сфере своей общественной практики даже при «непосредственной интенции», как привыкли говорить современные экзистенциалисты, к своей смерти — к ничто, психологически вполне понятной и происходящей тоже от сознания. Сознание позволяет человеку не только знать о своей смертности и жить, исходя из сознания ее неизбежности как своей «неопередимой возможности», но и отрешиться от этого знания путем участия в практике и через эту практику. Ошибка современных экзистенциалистов, особенно Хайдеггера, заключается не в том или не столько в том, как это порой считают его критики, что они проповедуют философию страха, и даже не в том, что они квалифицируют страх смерти как одну из фундаментальных характеристик человека, в частности как одну из фундаментальных характеристик его психики и сознания, характеризуя тем самым страх как **основную расположенность существования.** Основная их ошибка заключается в том, что путь, который они при этом предлагают человеку для исцеления, есть лишь полное осознание ничто. Но исцеление, если в таком случае оно вообще наступает, приходит не только и не столько через осознание человеком трагичности своей судьбы, сопричастности собственно-для-себя-бытия небытию, сколько через осознание их своей свободы в сфере практики — в сфере созидания. Во всяком случае, Хайдеггер и его сторонники во многом уступают в этом отношении их прославленному предшественнику — Достоевскому. Достоевский раньше и лучше, чем кто-либо, понял одно-

---

вычеркну зло и создам добро, я — не цель природы, но у меня есть цели, и я их достигну. Ничто не создано для человека, но он сам силой своего сознания становится в центре мира» (Соч., т. 1, с. 222).

Достоевский, напротив, заставляет человека включиться в миропорядок, в природу, но при этом человек не примиряется с ней, а остается свободным существом. («Боже мой, да какое же мне дело до законов природы! Разумеется, я не пробью такой стены лбом, но и не примирюсь с ней только потому, что это каменная стена».) Заставляя человека всегда и везде быть свободным, Достоевский заставляет его оставаться цельным, поскольку натура человека, по его мнению, действует и может действовать только «вся целиком — всем, что в ней есть — сознательно и бессознательно». (Вот что говорит на этот счет в тех же «Записках из подполья» сам вечно ищущий свободы человек: «Я хочу жить для того, чтобы удовлетворить всей моей способности жить, — а не для того, чтобы удовлетворить одной только моей рассудочной способности. Рассудок удовлетворяет только рассудочной способности человека, а хотение есть проявление всей человеческой жизни». Поэтому-то «человек всегда и везде, где бы он ни был, любит действовать так, как он хочет, а вовсе не так, как повелевает ему разум и совесть». Ибо у этого вечно ищущего свободы человека «хотение может, конечно, сходиться с рассудком, но очень часто и даже большей частью совершенно и упрямо разногласит с рассудком».) Это значит, по Достоевскому, что человеческое стремление к свободе может быть реализовано только в мире **антиномий.** Это не значит, однако, что вера в человека не торжествует у Достоевского над верой в «подпольного человека». Напротив. Свой радикальный гуманизм Достоевский ставит выше своего радикального аморализма, хотя основной смысл его учения о «радикальном добре в человеке» принципиально отличен от руссоистского, как и суть его учения о «радикальном зле в человеке» — от

сторонность анализа развиваемой еще в его дни концепции экзистенции как сознания страха смерти, сознания ничто. Позиция Достоевского противостоит и попытке трактовать человеческую психику через призму не ведающего страха бессознательного. Такое представление по сути дела также исходит из трагедии сознания и развивается Фрейдом и его сторонниками.

Человек — сложное, исходно противоречивое и даже странное существо, он «более, чем существующее», как личность, как активный субъект своей общественной практики, своего собственно-для-себя-бытия, своей самости. Человек не только продолжает и завершает природу, но и отрицает ее. Он является субъектом и своей общественной практики, посредством которой он отрицает природу, но в то же время и сохраняет ее и как свою внешнюю природу и как свою внутреннюю природу, в рамках которых он и осуществляет эту практику. Поэтому возвышение человека до уровня личности как собственно человеческого качества, своей самости, не только не исключает, но еще более осложняет его противоречия и с многообразной природой и со своей самостью. По-существу — это противоречия в сфере его личности. Поэтому он не всегда точно и полно может угадать последствия этих противоречий, что и рождает страх перед своей собственной самостью.

Это значит, что в качестве возможного источника суперличности, как определенной инстанции действительности, скорее выступает сама личность, нежели другой, будь то другое «Я» или другой в облике иной природы и смерти. Конечно, источником суперличности выступает и другое «Я» и природа и смерть также. Изначальный страх, который лежит в основе структуры этой инстанции, вполне действителен и в том и в другом случае, он суть не только один из основных элементов данной структуры, он — ее подлежащее, ее начало. Поэтому в принципе не имеет значения, что именно служит источником суперличности — сама ли личность или другой. Главное, что она действует не иначе, как только через посредство личности. Суперличности нет, если нет личности, определяющей ее как свой «супер», не важно, будет ли этот «супер» впоследствии представляться ей как ее порок или идеал. И в том и в другом случае он представляется личности как нечто выше нее стоящее. Это может быть положительная инстанция, которой личность восхищается, принимая ее за предел своей реализации, подобно тому, как в Наполеоне и через Наполеона пытается реализовать себя Раскольников, один из самых «идейных» героев Достоевского. Суперличность может выступать и в виде отрицательной инстанции, перед которой человек преклоняется, считая ее также высшим уровнем своей реализации, предметом, заслуживающим не только и не просто ненависти, но и инстанции, от которой исходит возмездие. Такова, например, издавна известная своими наводнениями река Нил, бывшая у древних египтян объектом ненависти и страха перед ничто, которые она вызывала как носитель необузданной стихии. Река Нил выступала в то же время и как объект общественной практики. Она принуждала людей к деятельности как некая надличностная инстанция, которой личность

кантовского. (Достаточно вспомнить, как в своих материалах к «Бесам» Достоевский разъясняет цель прихода Христа. «Христос затем и приходил, чтобы человечество узнало, что и его земная природа, дух человеческий, может явиться в таком небесном блеске... на самом деле и во плоти, а не то что в одной мечте и в идеале, — что это и естественно, и возможно».)

всегда должна была противостоять и которую в конце концов должна была победить, даже и в том случае, если, подобно египтянам, она считает ее непобедимой.

Разве древние египтяне, подчиняясь сверхличностной инстанции, идя навстречу реке Нилу и осиливая ее, поступали не как Раскольников, шедший навстречу Наполеону и видевший в нем свой великий идеал? Если сравнить между собой страх, охватывавший древних египтян, свободных почти от всякой «идеи», в смысле Достоевского, и страх, сопутствующий поведению Раскольникова, этого наиболее «идейного» человека, то в конечном счете окажется, что они сводятся к одному и тому же изначальному созидательному чувству — чувству страха личности перед своей суперличностью. В данном случае чувство страха, о котором здесь идет речь, не сковывает человека, сводя его усилия на нет. Это чувство заставляет его и преодолевать трагичность своей ситуации в сфере общественной практики — в сфере созидания; таково противоречие чувства созидания и чувства суетности. Согласно нашей теории суперличности, эти чувства совмещаются в одном человеке и разрешаются в созидании, а не превращаются в суету, как предпочитают считать современные экзистенциалисты. Это самое удивительное и сложное чувство, которое охватывает каждого истинного художника, прежде чем он приступит к выражению своего идеала, своей суперличности. Творчество вообще требует выражения на уровне суперличности, человек должен и способен реализовать себя на этом уровне. Окончательное решение выносит не суперличность как некая сила, а сама личность; личность всего лишь оценивает себя и свои возможности, соотнося себя с суперличностью. В личности заключена не только огромная сила, но и огромная мудрость человека. (И древние египтяне и осужденный на адский труд Сизиф, не говоря уже об идееносном Раскольникове, поступают таким образом. Это норма человеческого поведения вообще.)

Экзистенциалисты правы, полагая, что личность всегда предполагает существование того, что ее превосходит и до чего она поднимается в своей реализации. В частности, в устах Бердяева это положение звучит так: «Личности нет, если нет бытия, выше нее стоящего. Тогда есть лишь индивидуум, подчиненный роду и обществу, тогда природа стоит выше человека, и он есть лишь ее часть» [2, 13]. Это справедливо только в том смысле и только постольку, поскольку личность должна и способна проверять себя на высшем уровне — на уровне своей суперличности. Ошибка, как и главное упущение современных экзистенциалистов, состоит в том, что они рассматривают человека и его возможности только в его трагическом аспекте, как движение к ничто. Под суперличностью поэтому у них всегда, как правило, понимается нечто «сверхъестественное», даже при отсутствии этого «сверхъестественного» — при отсутствии бога. В частности, Бердяев и его сторонники под суперличностью понимают бога не как некую саму по себе значимую и во многом превосходящую личность объективную силу, которой она, как правило, всегда противостоит и которую в конце концов должна победить, а бога как нечто «сверхприродное», перед которым личность смиряет себя.

Для нас же, наоборот, в вечном споре со своей суперличностью личность осиливает себя и свою судьбу в сфере общественной практики — в сфере созидания, а не только преодолевая трагичность своего конечного существования, своего удела. (Экзистенциалистской теории личности, как и экзистенциалистской теории суперличности недостает не опыта измерения личности на высшем уровне супер-

личности и сопутствующего ему чувства трагичности, которое они пытаются преодолеть через осознание ничто, а прежде всего понимания личности, живущей своим созиданием, когда личностью овладевает не суетность, а чувство вдохновения — чувство готовности к созиданию, чувство эроса. Великая схватка человека с богом решается не на пути Сизифа к подножию горы, когда происходит им осознание своего собственно-для-себя-бытия как бытия для смерти, к ничто, а на пути к вершине, когда он осиливает себя и свою судьбу в сфере своей общественной практики и через эту практику. Человек, Сизиф, должен выиграть и выигрывает эту схватку. Разве же не эта идея — идея вечной схватки с богами — лежит в основе легенды о Великом Инквизиторе?!)

Итак, исход этой схватки решает не суперличность как некая сила, а сама личность как «страсть», как вечное стремление реализовать себя на высшем уровне — на уровне искомых идеалов и ценностно-личностных ориентаций. Тут не бог создает человека, а, наоборот, человек— бога, чтобы проверить себя и свои возможности, и нет конца этому противопоставлению сил, как нет конца и самой человеческой практике. В глазах человека суперличность «подвижна», и в отношении к ней личность никогда не перестает быть «страстью», вечным стремлением, ибо нет такого совершенства, как и такого несовершенства, за пределы которого человека не заставило бы заглянуть его сознание. С тех пор как человек «высек» себя из огромный глыбы природы, он все еще продолжает свое высвобождение как от внешней стихии, так и от своих собственно-человеческих «природных» образований. В этом состоит один из основных законов самой экзистенции, заставляющий человека стать **полной,** но не «бесполезной» страстью, каковой его считает Сартр, отказавший человеку в возможности стать богом. Но еще Достоевский знал, что человеку нельзя отказать в этом, ибо человек несовершенен не потому, что он не в силах совершенствовать себя, а потому, что нет предела для его совершенствования. Он всегда в пути, постоянно выражая себя и свой собственный закон становления в вечной схватке со своей суперличностью. И «исполняется» этот закон экзистенции не путем трансценденции человека к ничто, а путем постоянного участия в общественной практике в качестве ее субъекта и в качестве объекта данной практики.

Только в **едином нераздельном бытии,** и как бытии для созидания, и как бытии для смерти, человек побеждает бога, полностью реализуя себя на уровне суперличности. Сартр и экзистенциалисты отказывают человеку в возможности одновременно быть и самим собой, и другим — и субъектом, и объектом. Отсюда и их учение о человеке как о «бесполезной страсти» (Сартр), которая разрешается, по их мнению, не через общественную практику, а через ничто, что в конце концов сводит человека, как его сознание, на нет. Поэтому неудивительно, что экзистенциалистский анализ человека подтверждает не экзистенциалистское положение о **свободе выбора** при полном господстве сознания и только через сознание, а нечто прямо противоположное этому: «свобода» выбора подавляется господствующей ролью бессознательного через ничто. Сознание не должно и не может выбрать ничто; единственно, что его выбирает, — это бессознательное, оно одно связано с инстинктом разрушения — с инстинктом смерти, сознание же, наоборот, всегда реализуется в инстинкте созидания — в инстинкте жизни.

Как раз это обстоятельство и превращает экзистенциализм

Сартра и его сторонников в одно из самых современных и самых утонченных порождений психоанализа Фрейда, ибо, в конечном счете, оба покоятся на утверждении неизбежной трагедии сознания, как и самой личности. Экзистенциализм, не говоря уже о самом классическом психоанализе, в принципе не способен решить свою основную проблему — проблему экзистенции, как и непосредственно связанную с ней проблему сознания (и бессознательного психического). При экзистенциалистском подходе человек оказывается в сущности лишенным личности. А происходит это потому, что межличностные отношения протекают, согласно экзистенциализму, только как борьба «взглядов», когда взгляд другого «Я» поглощает мою личность и мою суперличность. Об общественной созидательной практике речь и не идет. Согласно нашей схеме экзистенции, собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. характеристики образуют единую сферу фундаментальных отношений личности на основе общественной практики, в которой наличествует и «взгляд» другого и его суперличность как равнозначные и внутренне одинаково необходимые инстанции единой сферы личностных определений.

(3) Нет единой сферы отношений личности, если нет какого-либо из указанных выше образований другого и суперличнсти. Только при их наличии образуется единая сфера отношений личности, где ни одно из этих образований и сама личность не функционируют иначе, как через эту трехмерную систему своих отношений. Это — система отношений данной личности к самой себе, к другому и к суперличности — система не непосредственных отношений, а опосредованных целостностью личностного бытия. Личность образуется из этих внутренне необходимых для нее инстанций и составляет, таким образом, единую сферу своего сознания и действия через свои взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. т. п. характеристики, через свое сознание и бессознательное психическое — в рамках единой системы отношений ее психики.

Так толкуем мы понятие единой сферы отношений личности, которое вводим в свою общую теорию сознания и бессознательного психического как общую (общепсихологическую, эпистемологическую, эстетическую и пр. т. п.) теорию личности на основе активной схемы экзистенции. Мы выдвигаем схему активных биномных отношений сознания и бессознательного психического друг к другу и к личности, с одной стороны, и самой личности к самой себе, к другому и к суперличности, с другой. По нашему мнению, фундаментальные отношения личности в такой же мере измеряют сознание и бессознательное психическое, в какой они реализуют ее на высшем уровне — на уровне суперличности. В этом смысле *понятие единой сферы отношений личности* выполняет функцию основного понятия нашей теории, в частности функцию связи в единую систему понятий — *сознания, бессознательного психического* и *установки, личности, другого* и *суперличности*. Понятие единой сферы отношений личности определяет и сознание, и бессознательное психическое, и установку, и личность, и другого, и суперличность в их основном качестве — в качестве фундаментальных характеристик личности. Но понятия единой сферы отношений личности и самой личности, понятия другого и суперличности, не одно и то же. Понятия сознания, бессознательного психического и установки к тому же не покрывают содержания понятия единой сферы отношений личности. Только при введении *понятия единой сферы отношений личности* указанные концепты могут составить единую

систему понятий общей теории сознания и бессознательного психического, как и общей теории личности.

Вводя понятие единой сферы отношений личности, мы существенно изменяем структуру обеих теорий. Структуру общей теории сознания и бессознательного психического — тем, что мы измеряем эти образования не только и не столько по их непосредственной связи внутри психики (их взаимокомпенсирующая или взаимоисключающая связь), сколько по их непосредственной связи с самой личностью, их носителем, в целостной системе ее фундаментальных отношений. В структуру же общей теории личности — тем, что в данном случае мы измеряем силу этой личности на высшем уровне суперличности на основе активной, а не пассивной схемы экзистенции. Согласно нашей схеме экзистенции, личность полностью реализует себя, только непосредственно участвуя в общественной практике, тогда как рассмотрение личности с точки зрения пассивной схемы экзистенции раскрывает нам личность только как движение к ничто. Мы не отрицаем сознания ничто, мы лишь утверждаем примат и определяющую роль сознания общественной практики, на основе которого возникает и сознание ничто. **Изначальный страх,** вечно сопутствующий личности, из которого рождаются оба вида сознания, выражается и преодолевается в сопоставлении и даже борьбе личности с суперличностью. Мы вправе поэтому исследовать структуру экзистенции, порожденную этим страхом, но мы должны сделать это, исходя не столько и не только из того, как он возникает и полностью исчезает в ходе движения к ничто — в чувстве суетности, сколько из того, как он возникает и полностью исчезает в ходе непосредственного участия личности в общественной практике в чувстве созидания. В этом изначальном страхе сочетаются и чувство созидания, и чувство суетности, причем чувство суетности основывается на чувстве созидания, а не наоборот. В конечном счете это и есть результат **сочетания в** человеке сознания и «антисознания» на основе самого сознания, а не на основе «антисознания» — бессознательного психического.

Это обстоятельство отделяет, но в то же время и сближает феномен экзистенции с феноменом жизни и жизнедеятельностью вообще. Взгляните на вашу собаку, она особенно громко лает не только и не столько тогда, когда уверена в себе, а и тогда, когда сама испытывает чувство беспомощности. Как это ни странно, но именно изначальный страх, страх созидания и суетный страх, вместе взятые, дает о себе знать как внутренний импульс человека, который заставляет его преодолевать себя и свою судьбу в вечной схватке со своей суперличностью. Надо только хорошо понять его природу в его непосредственной связи с феноменом экзистенции — с феноменом личности, причем не только и не столько в ее непосредственном отношении к самой себе и к другому, сколько в ее отношении к суперличности. Изначальный страх дает начало не только со-знанию смерти, но и со-знанию бессмертия, причем последнее превалирует над со-знанием смерти, вопреки мнению современных экзистенциалистов. Общая структура экзистенции и непосредственно связанное с ней сознание, взятые в их активном измерении, не исчерпываются ни со-знанием смерти, ни со-знанием бессмертия. В противном случае человек, как субъект своего страха, как личность, никогда не реализовал бы себя на высшем уровне — на уровне своей суперличности, да и вообще не обладал бы сознанием.

При построении общей теории личности как общей теории экзистенции мы, в отличие от экзистенциалистов, рассматриваем личность

не через ее со-знание смерти — со-знание ничто, а в активном измерении ее экзистенции, т. е. через ее со-знание бессмертия — со-знания практика, и не только через ее сознание, но и через ее бессознательное психическое. Мы к тому же воспринимаем личность не только через ее взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. характеристики, а в системе ее фундаментальных отношений — в сфере личности. В этом мы и усматриваем основной принцип построения общей теории человеческой психики — сознания и бессознательного психического — как единой системы отношений внутри более емкой системы фундаментальных отношений самой личности, а через нее затем и феномен экзистенции.

V. Сознание и бессознательное психическое. Принцип их внутренней негэнтропии в единой сфере отношений личности

(1) И те, кто считает Фрейда иррационалистом, и те, кто считает его рационалистом, одинаково видят в нем гения драматизма. В этом есть определенная доля истины, если не полная истина. И это не столько потому, что Фрейд открыл новую «сцену» драмы и трагедии человека — «сцену» бессознательного психического, на которой развертывается игра подвергшихся вытеснению желаний, сколько потому, что он возвел бессознательное в ранг главной характеристики человека. Приняв бессознательное за главную характеристику человека, Фрейд, в конечном счете, подчинил ему и сознание, и личность в целом, в силу чего его драматическая теория личности стала полностью иррационалистической. Занимаясь систематикой иррациональных побуждений человека (в чем ему, пожалуй, на самом деле нет равных среди психологов всех времен), Фрейд хотя и верил в силу разума, но, как справедливо полагают его некоторые исследователи, не особенно, в то же время уповая на терапевтические возможности своего анализа. Он не был до конца убежден, что исцеление приходит через осознание. В его психоанализе личности, как правило, «статистика» бессознательного всегда выше, чем «статистика» сознания. Если и есть какие-то основания считать Фрейда рационалистом, то еще больше оснований считать его иррационалистом. Фрейд — иррационалист, независимо от того, хотел он того или нет. То же самое можно сказать и о его последователях. Именно иррационализм и превращает его теорию драматизма в теорию психоаналитическую. В силу чрезмерной иррационализации сущности человека Фрейд не сумел сохранить сознание в качестве основной характеристики личности ни в одном из аспектов ее фундаментальных отношений, о которых у нас речь шла выше, а следовательно, и не мог найти принцип его продуктивной связи с феноменом бессознательного психического внутри целостной системы их отношений на уровне личности.

Отсюда и логически неизбежный крах его общей теории сознания и бессознательного психического, как и его общей теории личности. Фрейд так и не построил такой теории, поскольку не располагал соответствующими понятиями, которые бы, при их концептуализации, объединяли и сознание, и бессознательное психическое, и личность в единой системе их отношений в сфере бытия. Для нас такими понятиями являются *понятие единой сферы отношений личности* и *понятие целостной установки личности*. Там, где отсутствует поня-

тие об изначальном единстве психики — понятие установки, отсутствует и понятие единой сферы отношений личности. В таком случае не может быть и речи ни о каком подлинном драматизме и ни о какой подлинной диалектике личности. Драматизм и диалектика психического понимаются в сущности Фрейдом как драматизм и диалектика психического без личности. Не исключено, что подобный драматизм и диалектику и унаследовали экзистенциалисты, в частности Сартр, от Фрейда.

В своей концепции личности мы прежде всего опираемся на сформулированное нами понятие единой сферы отношений личности. Оно представляет собой основное понятие предлагаемой нами теории сознания и бессознательного психического, как и общей теории личности, на основе биномной системы их отношений. Все интересующие нас измерения психической реальности — и установка, и сознание, и бессознательное психическое, и личность, и другой, и суперличность, вместе взятые, составляют для нас единую сферу отношений — сферу личности с присущим ей внутренним драматизмом и диалектикой бытия, без коих нет ни подлинной теории сознания и бессознательного психического, ни подлинной теории личности. Ошибка Фрейда и его сторонников не в драматизации и не в диалектизации этих феноменов, а в утверждении непреодолимости и неуправляемости их драматизмом и противоречивостью.

(2) Опыт психоанализа во многом поучителен не только и не столько своим открытием новых проблем и новой реальности, связанных с иррациональными побуждениями психики — ее глубинных сил и их перипетий, сколько своим отрицательным результатом. Систематизация иррациональных побуждений и сил, как некой вытесненной области бытия, в рамках фрейдизма и при его категориальном аппарате невозможна. Фрейд лишь поставил эту задачу и по-существу первым попытался ее решить. Но для решения этой задачи психоанализ не располагает всеми необходимыми ресурсами.

Задача систематизации иррациональных побуждений человека — огромная и трудная задача, которая побудила Фрейда и побуждает нас сегодня отказаться от многих традиционных подходов в психологии. Фрейд пытался решить эту задачу, исходя из постулата о гегемонии бессознательных побуждений. Отрицательный результат психоанализа заставляет современную психологию избрать противоположный ему путь, но ведущий отнюдь не к старой традиции картезианской психологии. Опыт Фрейда более чем очевидно показал, что психология так называемого «чистого сознания» невозможна, что помимо сознания в человеческой психике присутствует и бессознательное психическое, непосредственно связанное с личностью. Учитывая отрицательный опыт психологии Фрейда, мы избираем противоположный психоанализу и экзистенциализму путь — путь построения общей теории сознания и бессознательного психического, как и теории личности, их носителя, на основе биномной системы их отношений — путь положительной систематизации иррациональных побуждений человека.

В отличие от Фрейда, мы считаем возможным решить задачу систематизации иррациональных побуждений человека на уровне личности, исходя из положения об интегрирующей роли сознания. Утверждая активный, а не пассивный принцип человеческой экзистенции, реализуемый в единой сфере отношений личности, мы считаем, что реализация сущностных сил человека и его самости происходит под знаком преодоления им себя и своей судьбы на высшем уровне суперличности, путем включения в общественную практику, а не в

стремлении к ничто. Выдвигая этот принцип построения общей теории сознания и бессознательного психического, как и теории личности, мы исходим не из одних только теоретических соображений, т. е. потребности устранить некоторые противоречия, а из соответствующих результатов современной психологии личности, в частности из соответствующего опыта современной психологии установки. Понятие установки берется нами не в его наиболее распространенном понимании, но в несколько обобщенном виде — в виде определенного «принципа связи» и «суммы информации», своего рода «изначальной целостности» и «элементарной частицы» всякой, в том числе и человеческой, психики, основного «фактора отражения» и «основы объективации» [26; 27; 28]. Основания для такого понимания дают имеющиеся экспериментальные данные [17; 18; 19; 30].

Только так толкуемая установка, по нашему мнению, и выполняет свою основную функцию исходной инстанции в сфере отношений личности, а не в одной только сфере отношения сознания и бессознательного психического. Поскольку установка является исходной инстанцией в сфере отношений сознания и бессознательного психического, на ней и базируется почти вся сфера отношений личности. Единая сфера отношений личности — это, прежде всего, единая сфера ее установки; личность едина в своей основе и в этой своей фундаментальной характеристике. Все характеристики, которые можно зафиксировать как личностные, возникают не иначе, как через единую установку. В этом и состоит вся суть феномена установки как фундаментальной характеристики личности, на основе которой возникают все ее основные характеристики, в том числе и сознание и бессознательное психическое. Это и делает установку основной измерительной единицей психической реальности личности в целостной структуре бытия.

Мы, в отличие от Фрейда и его последователей, измеряем психические возможности личности и систематизируем ее взаимоисключающие собственно психологические, эпистемологические, эстетические и т. п. характеристики в статусе сознания и бессознательного психического, опираясь на единую сущность установки, но не только на уровне самой установки, а и на высшем уровне сознания личности как одного из основных принципов бытия. Как определенная «сумма информации» и «принцип связи», т. е. как определенная форма существования невербализованной информации, как основной «фактор отражения» и «основа объективации», установка лежит в основе взаимной компенсации сознания и бессознательного психического в единой системе их отношений в сфере личности. В сущности она предопределяет как господство сознания в данной системе отношений, так и, vice versa, резкие дисгармонии в его рациональной активности, вплоть до ярко выраженной гегемонии бессознательного за пределами нормы[5]. Однако основная функция установки, как и возникающей на ее основе системы отношений сознания и бессознательного психического в целом, проявляется как результат их взаимокомпенсирующей активности на уровне сознания и при его определяющем влиянии, а не

[5] Отсюда и **относительность** роли сознания и бессознательного в единой структуре психики человека, что, должно быть, в корне исключает любую безусловную (абстрактную) постановку проблемы о «гегемонии» одного из этих начал над другим, по-существу снимая ее как неправильно поставленную психоанализом психологическую проблему (см. также Ф. Бассин и А. Шерозия, Познание — поиск истины. Ответ профессору Нэнси Роллинс, «ЛГ» от 30 ноября 1977).

как результат их взаимоисключающей активности под воздействием бессознательного.

Уровень и возможности сознания — это высший уровень и высшие возможности человеческой психики. Они же представляют собой и высший уровень и высшие возможности во всей единой сфере отношений человека — в сфере отношений его личности. Ибо то, что нарушает деятельность сознания и личности, не может быть чем-то стоящим выше них. Другой вопрос, что одно сознание не исчерпывает целиком ни феномен личности, ни феномен психики. Кроме сознания, несмотря на его доминирующее положение, психика человека включает в себя еще и бессознательное психическое на основе единой установки его личности в целостной системе его фундаментальных отношений, которые реализуются через его взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. т. п. характеристики. Установка — «модус личности» в целостной структуре бытия, но не в одной только целостной структуре психики, т. е. это модус как фундаментальных отношений человека вообще, так и отношений его взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих собственно психологических, эпистемологических, эстетических и пр. т. п. характеристик в виде сознания и бессознательного психического, в частности. Поэтому основная обобщающая (системообразующая) и классифицирующая функция понятия установки состоит не в исключении какого-либо из этих проявлений человеческой психики — сознания или бессознательного психического, а в определенной регуляции их взаимокомпенсирующей и взаимоисключающей активности на уровне сознания и при его интегрирующей функции в единой сфере отношений личности. Это и ставит установку на особое место во всем психологическом мире «sui generis».

Таково наше понимание главной роли понятия установки в построении общей теории сознания и бессознательного психического как общей теории фундаментальных отношений человека, базирующейся на принципе активной деятельности его собственно-для-себя-бытия, его личности.

(3) Это не значит, однако, что при подобной интерпретации единой сферы отношений личности через взаимоисключающие образования психики снимается вопрос о внутренних противоречиях и явно отрицательных тенденциях этих противоречий в каком-либо из проявлений данной психики. Наш принцип построения общей теории сознания и бессознательного психического и теории личности базируется, напротив, на крайне прогрессирующей динамике драматизма биномной системы отношений. Отсюда и наша постановка вопроса: энтропические и негэнтропические тенденции сознания и бессознательного психического включены в единую систему их отношений, как и в единую систему отношений самой личности, их носителя. Такая постановка вопроса сама по себе указывает на признание внутренних противоречий и исходно отрицательных тенденций этих противоречий в каждой из этих систем отношений, тем более если рассматривать их в свете биномной системы их отношений.

Нет сомнения, что в мире этих систем отношений мы имеем дело с явно прогрессирующим динамизмом и внутри единой сферы отношений сознания и бессознательного психического, и внутри единой сферы отношений личности, другого и суперличности. Но суть вопроса не только в самом прогрессировании, а и в его основном направлении. А направление этого прогрессирования эффективнее всего определять на основе **наличной установки** личности. Только так можно понять,

почему направление, исключающее реальную возможность данной личности, не может реализовать себя через биномную систему ее отношений. Установка — это не то, что снимает противоречия внутри единой системы отношений сознания и бессознательного психического или внутри единой системы отношений личности, другого и суперличности, а то, что способствует их реализации через биномную систему отношений в одной и той же сфере — в сфере личности. На основе динамической структуры установки и принципа ее обратной связи в системе потребностей и ситуаций возможна поэтому реализация не только основных функций человеческой психики но, и ее основных «антифункций», т. е. не только основных функций сознания и бессознательного психического, вместе взятых, но и их основных «антифункций» в единой сфере их проявлений — в сфере отношений личности. Здесь мы одинаково имеем в виду и «антифункции» сознания, подавляемого бессознательным психическим, и, наоборот, бессознательного психического, подавляемого сознанием, но всегда на основе и при явно преобладающей роли их основных функций, а не их «антифункций».

Исходя из динамической структуры установки, осуществляющей отбор среди потребностей личности и ситуаций, могущих удовлетворить эти потребности, вполне закономерно поставить вопрос об «антифункции», так или иначе всегда присущей человеческой психике. Под подобными функциями легко усмотреть совершенно новые качества психики, неизвестные традиционной психологии, которая рассматривала психику как нечто гармоничное и всегда должным образом осуществляющее свою основную функцию — функцию приспособления.

Действительно, до Фрейда психологическая наука не знала, а по-настоящему и до сих пор не знает никакой иной функции психики, кроме приспособительной. Будучи психологом совершенно новой ориентации, Фрейд фактически одним из первых поставил вопрос о фундаментальном расстройстве психики, обнаружив наряду с «вытесненными» элементами человеческой психики ее явно противоречивую, конфликтную природу. Однако попытки Фрейда и его сторонников в этом направлении не оказались сколько-нибудь успешными. В основу своей теории Фрейд в этом отношении кладет крайне одностороннюю идею — идею сплошной неграмотности и несоответствия структур и функций психики. Эта идея в рамках психоанализа по сути делает невозможным признание обратной идеи — идеи гармоничности и слаженности структур и функций психики, осуществляющей приспособительную функцию, чем занималась и до сих пор все еще так усердно занимается классическая психология наших дней, особенно в лице так называемой поведенческой психологии. Фрейд и его сторонники просчитались не в том, что открыли явно конфликтную, негармоничную природу всякой психики, а в том, что пошли по линии абсолютизации этих феноменов, в частности так называемых вытесненных желаний.

Мы не отрицаем все эти открытые Фрейдом и его сторонниками свойства и специфические функции человеческой психики. Нужно лишь найти более приемлемые способы их объяснения. В принципе, считая подобные явления психики результатами ее «антифункции», мы преследуем совершенно конкретные цели. Мы не отрицаем того, что психическая деятельность и психическое вообще не могут быть оценены с точки зрения лишь их продуктивности и полезности для индивида в ходе его жизнеприспособления к миру. Но мы в то же

время утверждаем, что никакая функция психики не может быть объяснена только на основе этого ее назначения. Психические функции, которыми не пользуются, не являются таковыми, хотя их смысл и не состоит в одной только их употребляемости и полезности. Более того, иногда весь смысл той или иной психической деятельности, как и психики вообще, так наглядно проявляется именно в этой «антифункции», что мы вынуждены характеризовать любые проявления психического, и сознательные, и бессознательные, не только по их основной функции, но и по их «антифункции». Нам представляется, что при нашей схеме рассмотрения сознания и бессознательного психического по их биномной системе отношений в единой сфере деятельности личности, базирующейся на диалектике фиксированной (реализованной ранее) и нефиксированной (актуальной) установок в рамках их общей направленности через определенную интенцию личности к будущему как неопределенной сфере ожидания — сфере вероятности, более оправданно ставить вопрос как об основной функции человеческой психики, констатирующей полное соответствие всех ее функций задаче приспособления, так и о ее «антифункции», свидетельствующей о ее явно конфликтной и неприспособительной природе.

Тем самым мы получаем некоторое преимущество не только по сравнению с фрейдовской, собственно психоаналитической, но и по сравнению со всякой антифрейдовской, классической ориентацией современной психологии. А это очень важно, особенно при построении общей теории сознания и бессознательного психического на уровне общей теории фундаментальных отношений личности. Достаточно отметить, что только в таком случае, т. е. только будучи способной выразить человеческую психику через эти ее взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические функции и «антифункции», современная психология способна найти место для психики в целостной структуре бытия личности (экзистенции).

VI. О некоторых результатах данной интерпретации проблемы. Основные положения и принцип построения новой теории

(1) Человек, и как особое историческое существо и как обычное явление природы, действует в единой сфере своих отношений — в сфере личности, в силу чего, в принципе, он может изменить и ту, и другую, вплоть до изменения своих отношений к самому себе. Он может обосноваться в пределах своей личности, своего собственно-для-себя бытия, своей самости. При этом он может обосноваться не только путем полного отрицания природы, как некая идеальная личность, на уровне своего сознания и своих собственных личностных отношений, но и как самое непосредственное продолжение природы, как некая «антиличность», на уровне своего бессознательного психического и своих антиличностных отношений. Поэтому, чтобы выразить человека полностью, надо выразить его не только через его идеальную личность, но и через его «антиличность». Это одно из исходных положений построения предлагаемой нами общей теории сознания и бессознательного психического на уровне общей теории фундаментальных отношений личности. Это же и основной принцип построения этих теорий.

(2) Поскольку объединение сознания и бессознательного психического в единой сфере их отношений происходит в результате соединения в человеке его личностных и антиличностных проявлений в одной и той же сфере его отношений — в сфере личности, то при рас-

смотрении каждого из этих образований мы должны руководствоваться их биномной системой отношений. Нет более надежного измерения человеческой психики, чем измерение ее по единой сфере отношений личности, как и измерения самой личности— по ее взаимоисключающим и взаимокомпенсирующим собственно психологическим, эпистемологическим, эстетическим и пр. т. п. характеристикам через сознание и бессознательное психическое, возникающих из единой установки. Поэтому, чтобы должным образом представить себе целостную структуру человеческой психики, надо представить ее через целостную структуру личности, реализуемую на основе ее активной деятельности, когда личность преодолевает себя и свою судьбу, участвуя в общественной практике. Только так понимаемая, она может стать предметом научного рассмотрения. Мы не знаем почти никаких проявлений нашей психики вне ее непосредственной связи с целостной структурой нашей экзистенции, нашего собственно-для-себя-бытия, нашей личности. Структура нашей экзистенции перестает быть предметом научной рефлексии, как и всякой рефлексии вообще, вне этой связи. Таково одно из исходных положений предлагаемой нами общей теории сознания и бессознательного психического как общей теории фундаментальных отношений личности. Это же и основной принцип построения этих теорий.

(3) Исходя из вышеприведенных положений, можно определить и весь категориальный аппарат обеих теорий. В сущности и та и другая базируются не только на определенной системе отношений, соответствующих каждому из этих образований. Они основываются также и на определенной системе отношений этих образований вообще — сознания и бессознательного психического на основе их единого проявления через ту или иную актуальную установку личности, с одной стороны, и самой личности, другого и суперличности на основе их единого проявления через эту же актуальную установку личности на будущее, с другой. Из этого ряда понятий прежде всего мы выделяем понятие единой сферы отношений личности, от которого и зависит образование всей системы этих понятий, а следовательно, и их общей теории, будь то общая теория сознания и бессознательного психического, возникшая на базе их единого проявления через единую установку личности на будущее, или общая теория личности, возникшая не только на основе ее отношений к самой себе и к другому, но и к суперличности на основе их единого проявления через эту же самую единую установку личности на будущее. Фундаментальная интенция личности на будущее в виде ее единой изначальной установки и определяет динамическую структуру отношений этой личности в обоих случаях.

Что же касается общего метода этих теорий, то, в конечном счете его должно сформулировать как метод, дающий возможность ввести их в круг наук, занимающихся феноменом целостного человека, а не одной только его психики. Это прежде всего научные исследования его собственно психологических, эпистемологических, эстетических и пр. т. п. образований. Другими словами, это должен быть соответствующим образом разработанный системно-структурный метод этих исследований. Нерешенность этой задачи во многом сковывает сейчас возможность как предлагаемой общей теории сознания и бессознательного психического, так и предлагаемой общей теории личности. Это же сказывается и на формулировании основного принципа построения каждой из этой теорий, насколько они вообще могут быть построены при отсутствии специально разработанного в

этой связи системно-структурного метода обобщающих исследований в системе наук о человеке. Во многом отсутствие такого метода и вынудило нас ограничиться рассмотрением всего лишь принципиальных основ означенных теорий, а при соответствующем анализе этих теорий обращаться к принципу психологической дополнительности, выступающему у нас в качестве одного из центральных методов обобщенной теории современной психологии.

VII. Общие выводы и постановка вопроса о насущной необходимости в системно-структурном подходе к изучению психики. Заключение

(1) Подводя итоги сказанному, следует отметить, что, во-первых, ни общая теория сознания, ни общая теория бессознательного психического по сути не могут быть построены, если брать каждое из этих образований человеческой психики в отдельности и вне их единой системы отношений. Должна быть построена общая, единая теория сознания и бессознательного психического и их собственно психических, эпистемологических, эстетических и пр. т. п. проявлений в единой сфере отношений личности, на основе ее актуальной установки. Во-вторых, в свете такой теории почти все усилия, предпринимавшиеся до сих пор в данном направлении, могут рассматриваться лишь как предыстория. В современной психологии все еще не имеется подобной теории, и мы предлагаем здесь только один из ее возможных опытных вариантов. Поступая так, мы полагаем, что эта общая единая теория сознания и бессознательного психического и пригодится нам — в условиях утверждающегося в наши дни системного подхода — как средство для соответствующего исследования личности через ее взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие собственно психологические, эпистемологические, эстетические и пр. т. п. характеристики. Психологическая сущность личности нигде столь полно и непосредственно не поддается наблюдению, как в сети внутренних противоречий ее сознания и бессознательного психического, которые личность преодолевает и должна преодолевать на своем пути, т. е. на пути своего собственно-для-себя-бытия, своей самостности. Человек осуществляет это отнюдь не под определяющим влиянием бессознательного психического и на основе устремленности к ничто, а при господстве сознания через участие в общественной практике.

(2) Мы полагаем, что только с учетом всех этих соображений общая теория сознания и бессознательного психического сможет впоследствии выступить в своем основном качестве — в качестве общей теории фундаментальных отношений личности. Во всяком случае наша схема построения данной теории как обобщенной теории личности, позволяет включать в круг ее рассмотрения один за другим многие, совершенно новые аспекты издавна тревожащей нашу науку проблемы — проблемы внутренней целостности психики, этого удивительно сложного и неоднозначно (немонокаузально) определяемого образования природы. Это, в свою очередь, существенно способствует той коренной ломке старых понятий и приемов научного мышления, которая давно уже происходит в современной психологии.

(3) За один из наиболее характерных результатов настоящего исследования можно было бы принять предложенное в этой связи понятие единой сферы отношений личности, о котором мы достаточно подробно говорили, касаясь проблемы сознания и бессознательного психического, равно как и проблемы человека в целом, с позиций психологического принципа дополнительности. В свете этого понятия

и непосредственно связанной с ним теории довольно ясно прослеживаются как дифференциация психологических знаний, так и наиболее характерные черты их весьма существенной интеграции. Оно и выступает у нас в качестве исходного понятия данной интеграции для всей совокупности смежных наук о человеке и его психике.

(4) Итак, нами предлагается исходящая из «принципа связи» теория целостной системы отношений между сознанием и бессознательным психическим, которая, если воспользоваться глубоко обнадеживающим определением Р. Якобсона (см. заключение его интересной статьи на стр. 166 настоящей коллективной монографии), открывает «новые перспективы» и «при подлинном и последовательном сотрудничестве» современной психологии со смежными ей науками, прежде всего с наукой о языке, может впоследствии зарекомендовать себя в качестве обобщенной теории этих отношений.

P. S.

Одно из положений, акцентируя которое мы хотели бы завершить это изложение, обобщив его результаты, заключается в том, что сознание и бессознательное, будучи совершенно различными качествами психики, рассматриваются нами как единая сфера противоречия, —*как противоречие на уровне феномена личности.* Нам представляется, что мысль о противоречии в личностном преломлении психики вполне адекватна и от дальнейшей разработки этой мысли во многом зависит судьба всей совокупности наук о человеке, прежде всего современной психологии.

Своими корнями эта мысль уходит в глубокое прошлое гуманитарных знаний и, в виде того или иного *символического образа-структуры*, с незапамятных времен лежит в основе самой культуры. Так, среди образов исторических памятников древнего искусства Грузии, в частности в образе «Стрельца», нам удалось обнаружить один из конкретных вариантов подобного воплощения человеком тайны своего собственно-для-себя-бытия и сделать этот образ эмблемой настоящего издания, по поводу символического значения которой теперь можно строить разные догадки[6]. Не представлена ли в нем идея двух противостоящих друг другу и одновременно друг с другом неразрывно связанных начал в природе человека? Как истолковать весьма своеобразную его деталь: отсутствие стрелы при натянутой тетиве лука? Не является ли это отсутствие указанием на невозможность для «Стрельца» поразить противостоящее ему начало? Ибо такое поражение означало бы гибель их обоих как питаемых одним и тем же телом. Или, может быть, отсутствие стрелы — лишь выражение того, что противоречие это непреодолимо?

---

[6] Имеется в виду образ «Стрельца» в одноименной грузинской миниатюре XI века, взятой в качестве эмблемы этого издания. Как небольшой рисунок этот образ впервые встречается в одной из светских грузинских рукописей 1188 года (см. рукоп. 65 Музея Грузии). Но, может быть, возраст самого рисунка намного больше, чем возраст сохранившей его рукописи, и не исключено, что когда-нибудь удастся обнаружить его более ранние иные варианты. Или же, возможно, наиболее важным является как раз то, что образ «Стрельца» впервые встречается в Грузии в конце XI века, как предвестник эпохи раннего Возрождения. В любом случае, мы могли бы принять этот образ за своеобразную модель интерпретации определенной формы культуры, а именно—западной (европейской), ибо восточная форма культуры не знает подобного противоречия.

Не подчеркивает ли, наконец, выступающее в образе резкое отличие человеческого от анимального различие функций, специфических для разных начал в природе человека? Во всех этих случаях перед нами и противоборство, и содружество, и неразрывность связей, и различие ролей, столь характерные для проявлений сознания и бессознательного в психике человека на одной и той же основе.

В более конкретно обобщенном виде эту идею — идею вечной борьбы рационального начала человека с его иррациональным началом — мы могли бы положить в основу нового осмысления феномена европейской культуры в целом, а не только европейской философии и психологии. Отсюда и соответствующий метод системно-структурного подхода к проблеме психики, благодаря которому эта проблема, будучи центральной в психологии, приобретает большое социальное звучание в науке.

CONSCIOUSNESS, THE UNCONSCIOUS MIND AND THE SYSTEM OF THE FUNDAMENTAL RELATIONS OF PERSONALITY: PREREQUISITES FOR A GENERAL THEORY

A. E. SHEROZIA

Tbilisi State University, Department of Philosophy and Psychology;
Academy of Sciences of the Georgian SSR, D. N. Uznadze Institute of Psychology

Summary

The mind is viewed by the author not only as constituting a definite system of r e f l e c t i o n or that of e x p e r i e n c e s but also as a definite system of r e l a t i o n s. All that we call mind — within the framework of these structural forms — is essentially nothing other than consciousness and the unconscious mind. Functioning under a bilaterally mediated relationship through the initial psychophysiological unity of man, consciousness and the unconscious mind constitute the basis of properly psychological characteristics of his personality over the entire range of its fundamental relations involving the Self, Another, and Super-personality. Consciousness and unconsciousness are, in the author's view, equally indispensable elements of each of these systems of relations. Being the basic psychological characteristics of personality, they invariably emerge and function only through this binomial system of relations.

Hence, neither a general theory of consciousness nor a general theory of the unconscious mind can, as a matter of fact, be constructed if the two entities are taken separately and outside of these systems of relations: they are possible only as a general, single theory of consciousness and the unconscious mind. Neither consciousness nor unconsciousness — these basic characteristics of personality — can be understood correctly outside of the above system of relations of personality. Thus, the mental reality, which in the present case should serve as the starting point of a general theory of psychology, differs essentially and is far more complex than the reality from which the earlier theories emerged. In point of fact, it contains a whole complex of mutually exclusive and mutually compensatory properly psychological, epistemological, aesthetic, etc., modifications of the human mind, i. e., of consciousness

and unconsciousness. However, in contrast to the preceding theories, the specificity of the one under discussion here lies not only and not so much in its statement of the multiple structure of the human mind as the subject of psychology, but, to a lesser degree, in its emphasis on the inner contradictions inherent in this structure.

As is known. Freud built his theory of the system of relations on the proposition of an irreconcilable antagonism to and complete sway of unconscious psychic experiences over consciousness. Hence in conceptualizing (but not in phenomenologizing) them, and especially in generalizing them as explanatory concepts of modern psychology, all other constructs of the human mind — including all the positive characteristics of consciousness — essentially eluded Freud's field of vision. In contrast to this, the present writer builds his theory of the system of relations proceeding from the thesis on the inevitable synergism and regulatory-creative role of consciousness in relation to all forms of unconscious mental experiences. Thus, actually, neither of these constructs of the human mind, i. e., consciousness and the unconscious mind, are lost from the field of vision of psychological analysis, the more so as neither of them can function *in place of and at the expense of the other*. Consciousness and the unconscious mind are, as stated above, mutually exclusive and mutually compensatory properly psychological elements, within a single system of their relations, outside of which they cease to be mental phenomena in the true sense of the word. Furthermore, in contrast to the Freudian theory, as well as any other psychoanalytical theory of consciousness and unconsciousness in which an explicit concept of their initially united structuring is absent, the integrate personality set positing the initial derivation of their relations is suggested by the present writer as a relevant concept. Granted that set is an integrate-personality modification of the human mind, it is the primary state out of which consciousness and the unconscious mind emerge and on which they rest; it is the basis of their mutual compensation (synergism) as well as their irreconcilable contradictions (antagonism) within a single system of their relations—within the sphere of personality.

Thus, the general structure of psychic reality implies not only consciousness and the unconscious mind taken together, but *set*, too, as a certain *protopsychic state of integrity*, underlying the realization of consciousness and the unconscious mind, including full realization of personality.

Due to the conception of psychic reality just outlined the theory advanced here may — in contrast to the well-known psychological, epistemological, aesthetic, or any other theories — be viewed not only as their general theory, but an essentially new one incorporating all previous achievements. Anyway, none of the theories with claims in the field proceeds from a single system of relations of consciousness and unconsciousness built on the basis of their mutually exclusive and mutually compensating properly psychological, epistemological, aesthetic and other activities based on the initial integrity

of personality in the sphere of its primary—as yet unrealized and non-fixed—set. But for this single sphere of primary integrity of personality — manifested in the phenomenon of set — it would not be possible to speak, with any degree of certainty, about any mutually exclusive or mutually compensatory properly psychological, epistemological, aesthetic, etc., operations of consciousness and the unconscious mind — and consequently, to build a general theory of a single system of their relations.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного (О неосознаваемых формах высшей нервной деятельности), М., 1968.
2. БЕРДЯЕВ Н. А., Проблема человека, Путь, 50, Париж, 1936.
3. ГЕГЕЛЬ, Философия духа, Соч., т. III, М., 1956.
4. ГЕГЕЛЬ, Наука логики. Учение о понятии, Соч., т. VI, М., 1939.
5. ДЕКАРТ Р., Избранные произведения, М., 1950.
6. ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М., Братья Карамазовы, М., 1963.
7. ДОСТОЕВСКИЙ Ф. М., Записки из Мертвого дома, М., 1965.
8. КАНТ И., Критика чистого разума, Соч., т. 3, М., 1964.
9. ЛЕЙБНИЦ Г. В., Новые опыты о человеческом разуме, М.—Л., 1936.
10. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Архив, т. I, М.—Л., 1924.
11. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Из ранних произведений. М., 1956.
12. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Капитал, Соч., т. 23, М., 1960.
13. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Наемный труд и капитал, Соч., т. 6, М., 1957.
14. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Немецкая идеология, Соч., т. 3, М., 1955.
15. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Святое семейство, Соч., т. 2, М., 1955.
16. ПИАЖЕ Ж., Психология, междисциплинарные связи и система наук, М., 1966.
17. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Психологические очерки, Тб., 1975.
18. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тб., 1961.
19. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
20. ФЕЙЕРБАХ Л., Избр. философские произведения, т. 2, М., 1955.
21. ФРЕЙД З., Бессознательное, М., 1925.
22. ФРЕЙД З., Психология масс и анализ человеческого «Я», М., 1925.
23. ФРЕЙД З., По ту сторону принципа удовольствия, М., 1925.
24. ФРЕЙД З., Тотем и табу, М., 1924.
25. ФРЕЙД З., Я и Оно, Л., 1927.
26. ШЕРОЗИЯ А. Е., Опыт обоснования новой теории психики и проблема бессознательного (установки), Тб., 1963.
27. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, т. I, Тб., 1969.
28. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. II, Тб., 1973.
29. ШЕРОЗИЯ А. Е., Психика — Сознание — Бессознательное. К обобщенной теории психологии, Тб., 1978 (в печати).
30. Экспериментальные исследования по психологии установки, Тб., т. I, 1958, т. II, 1963, т. III, 1966, т. IV, 1970, т. V, 1971 (под ред. А. С. Прангишвили).
31. ALLPORT G., Attitudes. A Handbook of Social Psychology, Clark Univ. Press, 1935.
32. AMMON G., Psychoanalyse und Psychosomatik, München, 1974.
33. AUER A. I., Philosophical Essays, L., 1954.
34. BURT C., The Structure of the Mind. Brit. J. Statist. Psychol., V. 14, 1961.
35 BURT C., The Concept of Conscious. Brit. J. Psychol., V, 53, part 3, 1962.
36. CAMUS A., Mythe de Sisyphe. Essai sur l'absurde, Paris, 1942.

37. EY H., Des idees de Jackson á un modèle organodynamique en psychiatrie, Toulouse 1975.
38. FREUD S., Moses and Monotheism, N. Y., 1939.
39. FREUD S., New Introductory Lecture on Psychoanalysis, N. Y., 1933.
40. FREUD S.. Civilization and its Discontents, N. Y., 1935.
41. HEIDEGGER M , Sein und Zeit, Halle, 1929.
42. JASPERS K , Psychologie der Weltanschauung, B., 1922.
43. JASPERS K., Allgemeine Psychopatho ogie 1935.
44. JASPERS K., Autobiographische Schriften, Münch., 1967.
45. KIERKEGAARD S., Entveder—Oder, Köln, 1960 (Наслаждение и долг, СПб., 1894) .
46. KIERKEGAARD S., Der Begriff Angst, Hamburg, 1967.
47. KLEIN G., Two Theories or One? Bull. Menninger Clin., 2, 1973.
48. LACAN J., L' Instance de la lettre dans l'inconscient, Ecrits, Paris, 1966.
49. OSBORN R., Freud and Marx, L., 1948.
50. Psychoanalysis and Existential Philosophy, N. Y., 1962.
51. Psycholgy versus Metapsychology: Psychoanalytic Essays in Memory of George S. Klein. Psychological Issues, vol IX, 4, monogr. 36, P. U., 1966.
52. RUSSEL B. A. W., The Analysis of Mind, L., 1924.
53. SARTRE J.—P., L' Être et le Néant, Paris, 1943.
54. UZNADZE D. N., The Psychology of Set, N. Y., 1966.

179

DAS PROBLEM DES UNBEWUßTEN IM KONTEXT SOZIALHISTORISCHER WANDLUNGEN DES PERSÖNLICHKEITSVERSTÄNDNISSES

ACHIM THOM

Karl-Marx-Universität, Leipzig, DDR

Für die marxistisch-leninistische Philosophie sind die Untersuchungen von Psychologen, Neurophysiologen und Psychotherapeuten zu den Formen und Funktionen der nichtbewußten psychischen Tätigkeit von großem Interesse, da sie eine unmittelbare Beziehung zur philosophischen Theorie des Bewußtseins, zur Erkenntnis- und zur Persönlichkeitstheorie haben. Da die im Bereich der einzelwissenschaftlichen Forschung zu diesen Problemen vorherrschenden Ideen noch sehr heterogen sind, bereits bei der begrifflichen Bestimmung des Charakters der nichtbewußten psychischen Tätigkeit divergieren und erst recht bei der Kennzeichnung der Rolle dieser Tätigkeit im menschlichen Lebensprozeß auseinanderlaufen, ist ihre verallgemeinernde Integration in das philosophische Wissen momentan kaum möglich. In der philosophischen Literatur zum Bewußtseinsproblem findet sich deshalb zumeist nur der Hinweis auf die Existenz auch unbewußter Momente des Psychischen und keine nähere Bestimmung ihres Charakters [7; 14; 27]. Daraus ist jedoch nicht abzuleiten, daß die marxistisch-leninistische Philosophie zur weiteren Klärung dieser Probleme keine Beiträge leisten könne. Sowohl die Erkenntnisse der Philosophie zum Bewußtsein und zur Persönlichkeit, als auch ihre historisch-kritische Sicht der Entwicklung einzelwissenschaftlicher theoretischer Begriffe und Konzepte erlauben es, zu verschiedenen Seiten des Problems Stellung zu nehmen und die erforderliche Komplexität der Betrachtung zu fördern. Mit diesem Ziel sollen im Folgenden einige bedeutsame sozialhistorische Momente in der Entwicklung der theoretischen Reflexionen zur Rolle des Unbewußten im Lebensprozeß menschlicher Persönlichkeiten behandelt werden.

Phänomene, die unmittelbar und direkt mit dem menschlichen Lebensprozeß verbunden sind, erweisen sich der wissenschaftlichen Analyse besonders schwer zugänglich. Sofern sie zum Gegenstand der Forschung werden, zeigen sie Besonderheiten, die beliebigen anderen Objekten der strengen Naturwissenschaften nicht in gleichem Maße zukommen. Zu diesen Besonderheiten gehört, daß diese Phänomene immer Bestandteile des äußerst komplexen spezifischen menschlichen Lebensprozeses als dynamischer Einheit biologischer, psychischer und sozialer Bestimmungen darstellen; daß sie historisch veränderlich und in die komplizierten Prozesse der Entwicklung der menschli-

chen Gattungsgeschichte eingeordnet sind und daß sie als Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses auch immer Objekt wertender Stellungnahmen des Menschen zu sich selbst sind, Gegebenheiten, an denen die Herausarbeitung des Selbstverstänisses der Gattung konkret erfolgt. Der einzelwissenschaftlichen Forschung ist dabei zumeist nur der erstgenannte Aspekt zugänglich und bewußt, da er sich in der unmittelbaren empirischen Untersuchung, spätestens aber beim Versuch der theoretischen Integration ihrer Ergebnisse aufdrängt. Die Erfassung des historisch veränderlichen Charakters der Phänomene setzt bereits eine spezielle genetische Fragestellung und ein besonderes Forschungsprogramm voraus; sie erfolgt deshalb zumeist erst auf einer bereits entwickelten Stufe der wissenschaftlichen Tätigkeit. Der Wertaspekt erschließt sich dagegen ausschließlich der philosophischen Perspektive und einer systematischen theoriegeschichtlichen Betrachtung bei ausdrücklich gegebenem dialektischen Verständnis des Erkenntnisprozesses.

In diesem Zusammenhang ist die Geschichte der einzelwissenschaftlichen Erforschung verschiedener Seiten und Formen des Psychischen und damit auch seiner nichtbewußten Komponenten ein Prozeß der allmählichen Annäherung unserer wissenschaftlichen Begriffe und Theorien an die objektiven Merkmale des Phänomenenbereiches, eine Geschichte, in der die genannten wertenden Stellungnahmen vielerlei Verzerrungen, Vereinseitigungen, aber auch produktiv orientierende Impulse bewirken.

Betrachten wir unter diesen Voraussetzungen einige der besonders auffallenden Entwicklungsetappen der theoretischen Ideen zum Problem des Unbewußten, so erscheint die enge Verknüpfung der Reflexionen zu diesem Thema mit denen zur Wertung des Bewußtseins und der Vernunft bemerkenswert. Als Gegenstand des sich entwickelnden menschlichen Selbstverstänndnisses werden diese immer eng miteinander verbundenen Aspekte des Psychischen zunächst in jenen philosophischen Systemen herauskristallisiert, die den Entstehungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft begleiten; im englischen Materialismus des 17. Jahrhunderts bei Leibniz, in der klassischen deutschen Philosophie. Offensichtlich bietet erst diese Periode in der Entwicklung der Gesellschaft die Bedingungen für ein diffizileres Verständnis der menschlichen Wesenskräfte und speziell der Subjektivität, zugleich schafft sie auch einen eigentümlichen Interpretationsrahmen für die Bewertung der verschiedenen Momente eben dieser Subjektivität. Es ist dies eine Zeit, die mit gewaltigen Fortschritten der Produktivität der Arbeit das Interesse der Philosophie vorrangig auf die konstruktive Leistungsfähigkeit des Verstandes lenkt und zugleich eine Zeit, in der das wachsende Bedürfnis nach einer Veränderung der gesellschaftlichen Lebensformen ebenfalls zu einer neuen Wertung der Kraft der Vernunft und der Rationalität drängt. In der Erkenntnistheorie und auch in den moralphilosophischen Überlegungen wird deshalb dem Bereich des Nichtbewußten als aus der Rationalität herausfallendem Geschehen kaum Aufmerksamkeit geschenkt; wo dies geschieht, werden Elemente des nichtbewußten Erlebens vorwiegend negativ und als Gegensatz zu der dem Menschen eigenen Kraft vernünftiger Reflexion und Handlung bewertet [17; 26]. Die Folgen dieser mit neuen gesellschaftlichen Erfahrungen und Bedürfnissen ver-

flochtenen Wendungen im philosophischen Verständnis des Menschen zeigen sich im einzelwissenschaftlichen Bereich besonders deutlich in der Psychiatrie, deren relativ spät entstandener wissenschaftlichen Gestalt eine längere Phase der praktischen Entwicklung vorangeht. Neuere Untersuchungen der Psychiatriegeschichte, die vor allem die eigenartigen Praxisformen des Umgangs mit psychisch Kranken in jener Etappe genauer analysieren, machen deutlich, daß die undurchschauten Phänomene irrationalen Verhaltens fast vollständig unter eine solche negative Wertung fallen [8; 9]. Die verschiedenartigen klinischen Erscheinungsformen psychischer Krankheiten werden primär als Verlust an Menschlichkeit, als gesellschaftliche Gefährdung angesehen, aus dem Lebensprozeß ausgesondert (asyliert, an den Rand gedrängt) und als der Vernunft schlechthin Gegensätzliches verstanden. Diesem Verständnis entspricht auch die dann bald beginnende Suche nach Erklärungen des Psychotischen aus dem naturhaft-biologischen Geschehensbereich heraus, beispielsweise im Sinne der Gehirnpathologie, die unter diesen besonderen Bedingungen der geistigen Situation durchaus eine Doppelfunktion erfüllt—einerseits einen tatsächlich bedeutsamen Aspekt ursächlicher Zusammenhänge erfaßt und insofern progressiv wirkt, andererseits aber auch das Verständnis für die innere Dynamik und Vielgestaltigkeit des psychischen Erlebens des Menschen begrenzt.

In dem Maße, in dem im Rahmen der sich rasch entwickelnden gesellschaftlichen Strukturen des Kapitalismus erfahren wird, daß die ursprünglichen Erwartungen einer rational organisierten und harmonisch funktionierenden Ordnung des Zusammenlebens der Menschen sich nicht erfüllen lassen, unbegriffene krisenhafte Erschütterungen massenhaft auftreten und im Zusammenhang damit auch zunächst scheinbar irrationale individuelle Verhaltensweisen auch außerhald der Psychiatrie massenhaft auftreten, ändert sich auch die allgemeine Interessenrichtung der philosophischen Reflexion zum Menschen und im Besonderen auch zum Verhältnis von Vernunft und Unvernunft im Bereich des Psychischen und des Verhaltens [19]. Über einige besondere philosophische Strömungen erfolgt eine rasche Umwertung der Wertvorstellungen. Schopenhauer, Nietzsche u.a., die babei eine wichtige Rolle spielen, überhöhen den Rang der irrationalen und unbewußten Elemente und stellen die Möglichkeiten einer wissenschaftlichen Erklärung des Psychischen radikal in Frage, ebenso die des Menschen und der Gesellschaft. Seither spaltet sich die bürgerliche Philosophie in einander entgegengesetzte Strömungen bei wachsendem Gewicht der subjektiv-idealistischen Interpretationen des Psychischen und des Menschen. Wo im Anschluß an naturwissenschaftliche Ansätze weiter nach theoretischen Erklärungen für das menschliche Verhalten gesucht wird, entstehen Denkmodelle, in denen zwar nicht unbedingt vom «Unbewußten» die Rede ist, jedoch nicht-vernünftiges Verhalten gemäß den konkreten Normativen des bürgerlichen Lebens auffällig stark reflektiert und als Folge biologisch angelegter Destruktions- und Aggressionsneigungen angesehen wird. In allen diesen Wandlungen und Wendungen geht es immer um die gleiche allgemeine Frage nach der Stellung von Bewußtsein—Unbewußtem qua Vernunft—Unvernunft auf der Grundlage der von vornherein als Wer-

tungsschema genommenen Entgegensetzung beider auf äußerst abstrakter Ebene. Im Rahmen dieses Schemas verändern sich unter dem Eindruck jeweils bestimmter Erfahrungen zwar die Werte selbst, z.T. bis zur totalen Umkehr und Erklärung des Unvernünftigen zur einzig wahren Vernunft, jedoch nicht die Problemstellung. In der Psychiatrie taucht diese letztgenannte Wendung heute in der Gestalt der anti-psychiatrischen Bewegung auf, in der sich der Versuch der menschlichen Zuwendung zu psychisch Kranken zugleich als Protest gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse der kapitalistischen Gesellschaft artikuliert, die diesen Kranken keine Lebens- und auch keine ausreichende Genesungsmöglichkeiten bieten [6]. Die inzwischen sehr differenzierten Entwicklungen der theoretischen Debatte in der Psychiatrie haben die Unmöglichkeit und praktische Wirkungslosigkeit einer solchen neuerlichen Mystifikation des Psychotischen nachgewiesen, die immer auch auf der spekulativen Konstruktion eines einfachen Gegensatzes von Vernunft und Wahnsinn beruht [10; 13; 24; 25].

Als S.Freud um die Jahrhundertwende begann, die psychischen Prozesse bei neurotischen Entwicklungen genauer zu analysieren, schien sein Ansatz zunächst produktiv und verheißungsvoll. Durchaus ausbaufähige Komponenten seines Herangehens waren die differenzierte phänomenologische Beschreibung verschiedener Formen nichtbewußter psychischer Prozesse (z.B. der Verdrängung, der Abwehr u.a.); der Versuch, die nichtbewußten Niveaustufen des Psychischen in einen einsichtigen Zusammenhang mit denen des bewußten Erbelens zu bringen und die Orientierung auf die im Prozeß der Erziehung und Kommunikation liegenden Quellen psychischer Reaktionsformen. Sieht man von den zeitbedingten methodischen Mängeln seiner Untersuchungen ab, so erweisen sich vor allem die überaus schematisierenden Verallgemeinerungen zu seinen Beobachtungen als der entscheidende Punkt, der bei ihm und seinen Schülern die Hauptmängel des indirekt schon ausgebildeten vorherrschenden Verständnisses des Unbewußten reproduzieren half. In Zusammenfassung der schon lange von der philosophisch-theoretischen Kritik aus marxistisch-leninistischer Sicht erarbeiteten Einwände gegen das psychoanalytische Konzept können diese Hauptschwächen vor allem in der schematischen Trennung eines eigenständigen Feldes des Unbewußten von der bewußten psychischen Lebenstätigkeit, in der prinzipiell unzureichenden Übertragung mechanistischer Vorstellungen vom Zusammenhang des Unbewußten mit dem Bewußten auf die Erklärung kultureller und anderer sozialer Entwicklungen und in der notwendigen Tendenz zu einer naturalistischen Anthropologie und Gesellschaftsauffassung gesehen werden [12; 15; 22]. Weniger beachtet wurde dabei bisher die mit diesen genannten Momenten und dem Wertungsrahmen der bürgerlichen Philosophie zusammenhängende negative Einstellung zum Nichtbewußten, die bei Freud vor allem indirekt in der Form erscheint, daß das Unbewußte als Gegenpart zu den rational bestimmten Lebensforderungen der Gesellschaft gefaßt wird, als Quelle von Störungen und Leiden fungiert und keine konkrete produktive Funktion zugesprochen erhält. Alles in allem erweist sich aus der historischen Sicht, daß Freud trotz eines anfangs empiri-

schen Ansatzes die Entmystifizierung eines realen Problems nicht gelungen war, u.a. auch deshalb, weil er den grundlegenden Rahmen eines vorgeprägten Bildes der generellen Wertung der Eigenschaften des Menschen nicht überschritt, jeden in diese Sichtung zielenden Ansatz einer konkreten Interpretation in der theoretischen Deutung wieder aufhob und primär dadurch schockierte und als Quasi-Revolutionär wirken konnte, weil er einige bis dahin wenig beachtete Seiten der individuellen Psychologie des Bürgertums relativ offen charakterisierte. Die seit Freud erfolgte Entwicklung auch der Neopsychoanalyse hat an diesem Umstand nichts ändern können und zeigt völlig logisch in jeder ihrer speziellen Erscheinungsformen die schon im Freudschen System liegenden theoretischen Konsequenzen [28]. Von Interesse ist in diesem Zusammenhang auch die Form der praktischen Wirkung der Psychoanalyse. Genau genommen hat sie sich als Bereich medizinischer Praxis nur dort entfalten können, wo sie ein spezielles Bedürfnis gutgestellter Schichten der kapitalistischen Gesellschaft befriedigt und eine Patientengruppe findet, die imstande ist, sich der überaus aufwendigen und teuren Prozedur einer Art Aufarbeitung der eigenen psychischen Entwicklungsgeschichte zu widmen[11]. Diese eigenartige Stellung der Psychoanalyse und einiger weiterer inzwischen entstandener Formen exklusiver Psychotherapie spricht sehr massiv dafür, daß das Unbewußte vor allem ein Problemfeld des persönlichen Selbstverständnisses jener sozialen Gruppen wird, die über ihre spezifischen Bildungswege, ihre Vorrangstellung im Bereich der geistigen Produktion und der Leitung und über ihre sozial begründete ich-zentrierte Einstellung spezifische Züge der psychischen Struktur aufweisen.

Der Umstand, daß im Rahmen der marxistisch-leninistischen philosophischen Auffassung des Menschen, seiner Stellung in der Welt und der Gesetzmäßigkeiten der gesellschaftlichen Entwicklung von vornherein keine ausdrückliche Zuwendung zum Problem des Unbewußten erfolgt, hat sicher mehrere Ursachen. An erster Stelle steht dabei wohl die Erarbeitung der Erkenntnis, daß die geschichtliche Höherentwicklung der Gattung und die Emanzipation von den bedrückenden Verhältnissen des Kapitalismus über die bewußt geleitete praktische Aktion der Massen der Werktätigen vonstatten gehen muß und die Notwendigkeiten dieses Handelns der rationalen Analyse zugänglich sind. Nicht unbedeutend war sicher auch der Zwang, die fast durchweg zum Irrationalismus tendierenden und über naturalistische Wendungen apologetisch werdenden Formen des bürgerlichen philosophischen Denkens zum Problem des Unbewußten als dem revolutionären Prozeß feindlich gegenüberstehende ideologische Gebilde zu bekämpfen. Beide Momente sprechen nicht gegen die Existenz nichtbewußter Formen des psychischen Geschehens, weisen diesen jedoch einen anderen Rang zu und verweisen sie als Gegenstand der Forschung zunächst auf die Ebene der Einzelwissenschaften, besonders der Psychologie als Wissenschaft von den individuellen Formen des psychischen Lebens der Menschen. Damit wird im Prinzip auch eine vorurteilsfreie und nicht mehr an die mit dem bürgerlichen Menschenverständnis verbundenen Wertungsschemata orientierte Problembehandlung möglich, die infolge

des Wirkens besonderer historischer Bedingungen jedoch erst in der Gegenwart profiliertere Gestalt anzunehmen beginnt.

Die in diesem Rahmen noch sehr einfachen und sicher unvollständigen Darstellungen zur Gestalt der mit der bürgerlichen Gesellschaft aufkommenden Reflexionen zum Problem der nichtbewußten psychischen Tätigkeit lassen folgende allgemeine Feststellungen zu:

Die Art und Weise, in der unter den spezifischen Bedingungen der bürgerlichen Gesellschaft und erst hier über das Unbewußte nachgedacht wird, folgt einer ziemlich einheitlichen Logik, zu der folgende Elemente gehören: die metaphysische Trennung des Bereiches nichtbewußter psychischer Erscheinungen von denen des bewußten Erlebens und die damit verbundene Verselbständigung des Unbewußten zu einem dem Bewußtsein feindlich gegenüberstehenden Geschehen; die im Prinzip negative Wertung des Unbewußten vom Standpunkt der ersehnten Rationalität und die dementsprechende weitgehende Einengung seines Wirkungsbereiches auf Prozesse der Störung, des Leidens, der Krankheit, durch die eine Analyse seiner wirklichen produktiven Funktionen ungemein erschwert wird; die naturalistische unhistorische Interpretation der Stellung des Unbewußten im menschlichen Lebensprozeß und im Hinblick auf das gesellschaftliche Verhalten, die den Ansatzpunkt mannigfacher reaktionärer politischer Wendungen bietet.

Der Umstand, daß erst auf einer bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Bewegung das Verhältnis von Vernunft und Unvernunft, von Bewußtsein und Unbewußten zum entfalteten Gegenstand der theoretischen Reflexion wird, verweist darauf, daß erst relativ spät jene reichhaltige und differenzierte Subjektivität der Menschen entsteht, die ein ausgesprochenes Bedürfnis nach Selbstverständnis und Persönlichkeitsbewußtheit hervorruft und damit die reale Basis für die psychologische Untersuchung des Verhältnisses von bewußten und nichtbewußten Ebenen des psychischen Geschehens schafft. Dabei lehrt die Praxis der politischen Bewegungen und auch der Psychoanalyse im Besonderen, daß dieses Bedürfnis sich sehr unterschiedlich auf verschiedene soziale Klassen und Schichten verteilt, weshalb der konkrete Inhalt der Vorstellungen vom Unbewußten wohl nur im Kontext des Selbstverständnisses von sozialen Klassen richtig begriffen werden kann.

Wenn es zutrifft, daß die jeweils gegebenen gesellschaftlichen Lebensverhältnisse und die auf ihnen aufbauenden weltanschaulichen und ideologischen Interpretationen dem unbewußten psychischen Geschehen einen bestimmten Rang zuweisen und insofern die Art und Weise der theoretischen Reflexion mitbestimmen, muß sich mit der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft notwendig eine neue Sichtweise des Problems herausbilden. Das ist nach unserer Meinung auch tatsächlich der Fall, wobei allerdings der Prozeß selbst erst nach einer längeren Entwicklungszeit und aus einer philosophischen Perspektive überschaubar wird und gegenwärtig sicher noch sehr unvollkommen und nur in ersten Ansätzen erfaßbar ist.

Eine charakteristische Erscheinung der theoretischen Reflexion zum Problem des Bewußtseins und des Menschen in den Anfangsetappen der Entwicklung der sozialistischen Gesellschaft ist die auffällig ablehnende Ein-

stellung zur Psychoanalyse und zu allen theoretischen Konzeptionen, in denen dem Unbewußten oder den «irrationalen» Momenten im menschlichen Verhalten eine bedeutende Rolle zugemessen wurde. Abgesehen von vereinzelten und kurzfristig wirkenden Übernahmen und Umdeutungen psychoanalytischer Ideen dominieren in der Psychologie und in der Medizin theoretische Ansätze, die den psychischen Erscheinungen mit naturwissenschaftlichen Methoden beizukommen versuchen und mancherlei Neigungen zu mechanistischen Interpretationen erkennen lassen, etwa in der Form der Reflexologie oder der Reaktologie[5]. Analogien zu den von Budilova beschriebenen Entwicklungen des theoretischen Denkens in der sowjetischen Psychologie in dieser Hinsicht konnten auch für die mit dem Thema des Psychischen befaßten medizin-theoretischen Ideen in der DDR nachgewiesen werden [23]. Auf der Ebene der marxistisch-leninistischen Philosophie dominiert in diesen Anfangsetappen im Verhältnis zur Psychoanalyse die Kritik ihrer unhaltbaren Modellvorstellungen zu sozialen Zusammenhängen, ihrer Überbewertung der Rolle des Unbewußten für das menschliche Verhalten und der spekulativen Art und Weise der Problembehandlung. Zu den wichtigsten Grundlagen dieser gesamten Tendenz gehört offensichtlich die von den neuen gesellschaftlichen Bedingungen geförderte Hochachtung der Rationalität, des wissenschaftlichen Lebensprozesses und der bewußten Teilnahmen der Menschen an der konstruktiven Umgestaltung der Gesellschaft. In der Praxis des gesellschaftlichen Lebens wird spürbar, daß die Massen der Werktätigen über mannigfaltige schöpferische Potenzen verfügen und daß diese in dem Maße zur aktiven Wirkung gelangen, indem sich die Bewußtheit über die allgemeinen Bedingungen und Gesetze der Gesellschaftsentwicklung entfaltet. Dies alles fixiert die Aufmerksamkeit der Theoretiker naturgemäß auf die dem nicht-bewußten psychischen Geschehen übergeordneten Niveaus der psychischen Tätigkeit, deren wissenschaftliche Untersuchung zunächst schwierig genug ist und die anfangs auch noch die bescheidenen wissenschaftlichen Potentiale der Psychologie vollständig absorbiert. Spätere Entwicklungsetappen der theoretischen Vorstellungsweise der Psychologie und der Medizin (speziell zum psycho-somatischen Problem, zur Psychopathologie und Psychotherapie) beinhalten dann die Überwindung der ursprünglich noch stark ausgeprägten mechanistischen Ideen über oder durch die Erarbeitung von Einsichten in die komplizierte innere Dynamik des psychischen Erlebens und die Besonderheiten seiner Determination. Die Basis dieses Prozesses, an dem die Repräsentanten der sowjetischen Psychologie zweifellos den entscheidenden Anteil haben, ist eine rasche Differenzierung der empirischen Forschungsarbeit, die systematische Annäherung an die methodologischen Forderungen der dialektisch-materialistischen Philosophie (deren Inhalt für die Psychologie jedoch erst nach und nach erschlossen werden kann) und eine neuartige gesellschaftliche Bedürfnisstruktur. Im Wechselspiel dieser Momente erfolgt eine Zuwendung zum Problem der Persönlichkeit, bei der auch die Frage nach der Stellung und dem Charakter der nichtbewußten Momente im psychischen Geschehen auf neue Weise gestellt wird. Deutlich wird in diesem Zusammenhang vor allem: a) daß das Spektrum der den entwickelten Persönlichkeiten im Sozialismus eige-

nen Subjektivität sehr breit ist und keineswegs nur bewußte oder der rationalen Selbstreflexion unterworfene Komponenten erfaßt; b) daß die wachsenden Ansprüche an das Verhalten unter den komplexer werdenden gesellschaftlichen Bedingungen des individuellen Lebens nicht allein mit jeweils vollständig bewußten psychischen Entscheidungs- und Verhaltensregulationen bewältigt werden können und nichtbewußte psychische Vorgänge eine Rolle als Glieder eines effektiv funktionierenden Systems der Verhaltenssteuerung spielen; c) daß keineswegs alle Menschen ohne weiteres mit den vielfältigen Ansprüchen und den dichter werdenden Kommunikationsbeziehungen zurecht kommen und psychische Reaktionen auf konflikthafte Situationen auftreten, die den Subjekten nicht bewußt sind und auch nicht auf einfache Weise bewußt gemacht werden können. Die Summe solcher Erfahrungen führt allmählich dazu, daß das Forschungsfeld der Psychologie und Psychoterapie ausgedehnt wird und die Untersuchung des Bereichs der nicht-bewußten psychischen Erscheinungen wieder einen legitimen Platz im System der psychologischen Wissenschaft erhält. Beispiele dafür sind u.a.: die Ausarbeitung der Einstellungstheorie von Usnadse und seiner Schule, die Wiederaufnahme des rationalen Kerns der psychosomatischen Fragestellung in der Medizin [2], die Diskussionen um neue Begriffe und Methoden zur Erforschung des Bereichs der nichtbewußten psychischen Tätigkeit [4] u.a.

Obwohl die angedeuteten Entwicklungen noch keinen Abschluß in dem Sinne erfahren haben, daß sie ein relativ einheitliches System theoretischer Vorstellungen konstituieren, sind doch einige Züge in der Art und Weise der Reflexion sichtbar, die dem derzeitigen Problembewußtsein eine andere Gestalt verleihen, als die in der bürgerlichen Gesellschaft vorherrschende zeigte. Diese Züge sind etwa folgendermaßen zu charakterisieren: An die Stelle des in der Vergangenheit überwiegend fetischisierenden abstrakten Begriffs von einem einheitlichen Feld des «Unbewußten» tritt eine differenzierte Vorstellung von einer geordneten Menge nicht-bewußten Elemente des psychischen Geschehens, die als Komponenten der verschiedenen Niveaus und Formen bewußter psychischer Prozesse (der Motivation, der Selbsteinschätzung, des schöpferischen Denkens usw.) fungieren [3]; damit wird der Stellenwert des konkreter erfaßten Nicht-Bewußten nicht mehr in der primär negativen und störenden Rolle, sondern innerhalb der vorwiegend produktiven Leistungsmöglichkeiten der psychischen Widerspiegelung festgelegt (was nicht ausschließt, daß auch nicht bewußte Elemente in der sogenannten psychogenen Entwicklungsform psychischer Störungen als solche Störungsmomente auftreten); schließlich erscheinen nichtbewußte Elemente des psychischen Erlebens als Momente der individuellen Persönlichkeitsentwicklung, d. h. als Entwicklungsformen der individuellen Persönlichkeitsbildung, deren Erkenntnis für das Verständnis der komplizierten Dynamik der Persönlichkeitsformung generell und für das sich entwickelnde Selbstbewußtsein der Menschen enorme Bedeutung hat. Dieser letztgenannte Aspekt ist allerdings noch stark in der Entwicklung begriffen und insofern schwer genauer zu fixieren, als die intensivere Arbeit zu Fragen der Persönlichkeitstheorie erst in den letzten Jahren begonnen hat. Für besonders bedeutsam hinsichtlich des theoretischen Gehaltes der Persönlichkeits-

theorie allgemein und der Dynamik des Verhältnisses von nichtbewußten und bewußten Elementen des psychischen Geschehens halten wir dabei die neuerdings spürbaren Orientierungen auf die Erfassung der spezifischen Eigenarten und Gesetze der Subjektivität auch außerhalb des bisher hauptsächlich reflektierenden kognitiven Verhältnisses [1; 18], und die tiefere Analyse des Prozesses der Persönlichkeitsbildung mit ihren verschiedenen und z.T. auch widerspruchsvollen Etappen der individuellen Aneignung des in konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen vorliegenden Reichtums an Gattungseigenschaften [16; 21].

Aus der Sicht der Philosophie ist es nicht a priori möglich, theoretische Aussagen zu diesen vor allem in empirischen Forschungen zu ermittelnden Zusammenhängen zu formulieren. Festgestellt werden kann jedoch, daß eine entwickelte Theorie der Persönlichkeit sicher nicht ohne eine genauere Bestimmung des Charakters und der Funktion nichtbewußter Formen des psychischen Geschehens auf der Ebene der aktuellen psychischen Tätigkeit und auf der Ebene der ontogenetisch erworbenen Erkenntnisse (im Sinne von Einstellungen, Kommunikationsmustern u.a.) auskommen kann und einen wesentlich praktischen Sinn darin finden wird, den Menschen Begriffe und Mittel zur Verfügung zu stellen, die ein Erfassen dieser Momente im Rahmen der Selbstreflexion und des eigenständig erarbeiteten Selbstbewußtseins ermöglichen. In diesem Sinne ist die Erforschung des nichtbewußten psychischen Geschehens als einem integralen Moment in der subjektiven Lebenstätigkeit der Menschen auch und gerade der sozialistischen Gesellschaft nicht nur eine überhaupt legitime, sondern auch eine wesentlich humanistische Aufgabe von bedeutendem Rang.

Auf der Ebene der marxistisch-leninistischen philosophischen Theorie und ihrer Kategorien deuten sich bereits gegenwärtig Entwicklungen an, die die genannte Richtung der psychologischen Forschung im Prinzip unterstützen und günstige Voraussetzungen für die Verallgemeinerung ihrer Ergebnisse schaffen. Das betrifft im Rahmen der plilosophischen Bewußtseinstheorie die Aufnahme und stärkere theoretische Beachtung vor allem der dem Menschen eigenen Besonderheiten des bewußten Verhältnisses zur Wirklichkeit, beispielsweise des Phänomens des Selbstbewußtseins [20] und die deutliche Abgrenzung von Gleichsetzungen der menschlichen Bewußtseinstätigkeit mit der aller dynamischen subjektivitätbaren Technik der Informationsverarbeitung. Die traditionelle Begriffsentwicklung erfaßt dabei mit der Kategorie «Bewußtsein» im Grunde alle wesentlichen Eigenschaften der psychischen Erscheinungen der Menschen und hat diesem Terminus insofern einen allgemeineren Sinn gegeben, als seine Verwendung in der Psychologie bei der Unterscheidung von bewußten und nichtbewußten Erscheinungen des Psychischen impliziert. Eine wichtige Aufgabe der begrifflichen Präzisierung wird deshalb sicher darin bestehen, zu prüfen, welche der dem philosophischen Begriff des Bewußtseins zukommenden Merkmale die qualitativen Eigenarten der bewußten und der nichtbewußten Sphäre der psychischen Tätigkeit zutreffend abbilden und welche spezifischen Merkmale demgegenüber den Bewußtseinserscheinungen im engeren Sinne der Psychologie zukommen. Für die Verwendung des

Begriffs des Nichtbewußten zur Beschreibung einer Teilmenge dev psychischen Erscheinungen gilt dann allerdings, daß in diesen Begriff nichts eingehen kann, was außerhalb des Psychischen liegt und beispielsweise nur noch auf dem Niveau der physiologischen Regulation faßbar oder analysierbar ist.

Viel bedeutsamer scheint jedoch noch die Entwicklung der philosophischen Konzeption zum Persönlichkeitsproblem für die weitere theoretische Arbeit zu sein, da hier vor allem über die allgemeine theoretische Beschreibung der wesentlichen Prozesse der Entwicklung der Persönlichkeit die Möglichkeit besteht, spezielle Bestimmungen zur Dynamik der menschlichen Subjektivität im Kontext des sozialen Lebensprozesses und der Kommunikation zu fixieren, in denen auch der Stellenwert vieler Seiten der nichtbewußten psychischen Tätigkeit abgebildet werden kann. Auf einige solcher Tendenzen ist bereits verwiesen worden, andere werden in dem Maße ausgebildet werden, wie die psychologische Forschung sichere Erkenntnisse im Detail vorweisen wird. Mit diesen Hinweisen soll angedeutet sein, daß aus der gegenwärtigen Entwicklung der philosophischen Theorie ebenfalls keine prinzipiellen Einwände gegen die Erforschung des in sich differenzierten Feldes nichtbewußter Formen des psychischen Lebens abgeleitet werden können und daß jeder Schritt der positiven Erkenntnisgewinnung auf diesem Feld zur weiteren Entwicklung der plilosophischen Erkenntnis beitragen kann.

In Zusammenfassung der aus philosophischer Sicht vorgestellten Überlegungen können folgende Thesen formuliert werden:

1. Die mit der Entstehung der kapitalistischen Gesellschaft einsetzenden theoretischen Reflexionen zum Problem der nichtbewußten psychischen Tätigkeit weisen eine eigenartige Struktur der Interpretationen des Problems auf, insbesondere eine fetischisierende Begriffsbildung, eine schematische Auseinanderreißung von Unbewußtem und Bewußtem und eine Einengung des Blickfeldes auf primär störende und Konflikte bedingende Elemente des nichtbewußten Geschehens. Diese Struktur und die vielen daran anknüpfenden anthropologischen und gesellschaftstheoretischen Deutungen verhindern eine akzeptable theoretische Lösung des realen Problems des Zusammenhanges nichtbewußter und bewußter Momente der menschlichen Subjektivität.

2. Mit der Entfaltung der dem Sozialismus eigenen Möglichkeiten der Ausbildung allseitig entwickelter und am Verständnis des eigenen Lebensprozesses interessierter Persönlichkeiten wird auch das Problem der empirischen Analyse der Rolle und des Inhaltes nichtbewußter Seiten des psychischen Lebens wieder aktuell und bedeutsam. Dabei ändert sich die Problemsicht wesentlich. An die Stelle eines abstrakten und vieldeutigen Begriffs des Unbewußten treten konkrete Beschreibungen verschiedener Formen und Seiten des nichtbewußten psychischen Geschehens; diese werden als notwendige Elemente vorrangig produktiver Art in der Bewältigung der komplexen Subjekt-Umwelt-Beziehungen verstanden und insofern entmystifiziert und entdämonisiert.

3. Von wesentlicher Bedeutung für die weitere empirische und theoretische Erfassung des Feldes nichtbewußter psychischer Prozesse sind jene heute spürbaren Orientierungen der philosophischen Persönlichkeitstheorie des

Marxismus-Leninismus, in denen die komplizierte und z.T. auch widerspruchsvolle Dynamik der ontogenetischen Ausbildung von Persönlichkeitseigenschaften im sozialen Kontext untersucht wird. In dieser Perspektive sind auch nichtbewußte Einstellungen, Kommunikationsmuster u.a., Resultate der jeweils eigenartigen individuellen Aneignung des Gesellschaftlichen, das seinerseits typische Eigenarten der konkret-historischen gesellschaftlichen Verhältnisse repräsentiert.

LITERATURVERZEICHNIS

1. ABULCHANOVA-SLAVSKAJA, K. A.: Der methodologische Aspekte des Subjektiven. In: Methodologische und theoretische Probleme der Psychologie. Hrsg.: Schorochova, E. V., Berlin 1974, 246 (Metodologitscheskije i teoretitscheskije problemi psichologii. Moskva, 1969).
2. BASSIN, F. V.: Bewußtsein, „Unbewußtes" und Krankheit. In: Forschen-Vorbeugen-Heilen. Berlin 1974, 134.
(Voprosi filosofii, 1971, 9, 90).
3. BASSIN, F. V.; V. E. ROSCHNOV: O sovremennom podchode k probleme neososnavaemoi psichitscheskoi dejatelnosti. Voprosi filosofii 1975, 10, 94.
4. BEWUßTSEIN UND UNBEWUßTES, Hrsg.: Müller-Hegemann, D., Leipzig 1970.
5. BUDILOVA, J. A.: Philosophische Probleme in der sowjetischen Psychologie. Berlin 1975. (Filosofskije problemy w sowjetskoi psichologii, Moskva 1972).
6. COOPER, D.: Psychiatrie und Anti-Psychiatrie. Frankfurt /M. 1971.
7. Dialektischer und historischer Materialismus. Berlin 1974, Kapitel V.
8. DÖRNER, K.: Bürger und Irre. Zur Sozialgeschichte und Wissenschaftssoziologie der Psychiatrie. Frankfurt/M. 1969.
9. FOUCAULT, M.: Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft. Frankfurt/M. 1969.
10. GLEISS, J.: Der konservative Gehalt der Anti-Psychiatrie. Das Argument 17 (1975) 1/2, 31.
11. GLEISS, J., R. SEIDEL u H. ABHOLZ: Soziale Psychiatrie. Zur Ungleichheit in der psychiatrischen Versorgung. Frankfurt /M. 1973.
12. HOLLITSCHER, W.: Aggression im Menschbild, Marx, Freud, Lorenz. Frankfurt/M. 1970.
13. JACOBY, R.: Laing, Cooper und das Verhältnis von Gesellschaftstheorie und Psychotherapie. Das Argument 17/1975, 1/2, 52.
14. KONSTANTINOV, F. V. (Red.): Osnovi marxistsko-leninskoi filosofii. Moskva 1970, G. 6, (deutsche Ausgabe: Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie, Berlin 1971).
15. METTE, A.: Sigmund Freud. Berlin 1958.
16. MJASISTSCHEV, V. N.: Problema litschnosti v psichologii i medizine. In: Aktualnie voprosi medizinskoi psichologii. Leningrad 1974, 5.
17. RUBEN, P.: «Kritik der reinen Vernunft» und die methodologische Aufgabe der Philosophie. In: Ley, H., Ruben, P. u. G. Stiehler (Hrsg.): Zum Kantverständnis unserer Zeit, Berlin 1975, S. 134.
18. RUBINSTEIN, S. L.: Tschelovek i mir. In: Problemy obtschei psichologii. Moskva 1973.
19. SCALIA, G.: Der Sinn des Wahnsinns. In: Basaglia: F. u. F. Basaglia-Ongaro: Die abweichende Mehrheit. Die Ideologie der totalen sozialen Kontrolle. Frankfurt/M. 1972.
20. SCHOROCHOVA, E. V.: Sosnanije kak vyschaja forma otraschenija deistvitelnosti i sovremennaja nauka. Red.: Pavlov, T. Tom I, Sofia 1973, 139.
21. SÈVE, L.: Marxismus und Theorie der Persönlichkeit. Berlin 1973.

22. SÈVE, L.: Psychoanalyse und historischer Materialismus. In: Pour une critique marxiste de la theorie psychoanalitique. Paris 1973.
23. THOM, A.: Grundlegende Wandlungen des theoretischen Denkens in der Medizin in philosophisch-wissenschaftstheoretischer Sicht. In: Lenin und die Wissenschaft, Bd. II, Berlin 1970, 345.
24. THOM, A.: Psychiatrie und gesellschaftliche Mächte. Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie 25 (1973) 10, 577.
25. THOM, A.: Bedeutsame Differenzierungen der sozialpsychiatrischen Bewegung in der kapitalistischen Gesellschaft. Psychiatrie, Neurologie und med. Psychologie 18 (1976) 1, 14 u. 2, 29.
26. TITARENKO, A. J.: Die Struktur des sittlichen Bewußtseins als realer Gegenstand der ethischen Analyse. In: Anissimov, S. F. u. R. Miller (Hrsg.): Ethik und Persönlichkeit, Berlin 1975, S. 67.
27. TUGARINOV, V. P.: Filosofia sosnanija. Moskva 1971 (deutsche Ausgabe: Philosophie des Bewußtseins. Berlin 1974).
28. WIEGAND, R.: Gesellschaft und Charakter. Soziologische Implikationen der Neopsychoanalyse. München 1973.

180

SOME INTERRELATIONS BETWEEN CONSCIOUSNESS, BEHAVIOR INTEGRATION AND DEFENSE MECHANISMS

MIROSLAW KOFTA

Institute of Psychology, University of Warsaw, Poland

Introduction

Beginning with Freud (1920) psychologists and neurophysiologists have usually agreed that human consciousness should not be treated as an epiphenomenon. It plays an important, though not yet fully understood, part in the regulation and integration of human behavior (cf. e.g. Mowrer, 1954; Dollard and Miller, 1967; Sperry, 1969; Tomaszewski, 1967; and Lewicki, 1972). Unfortunately, however, this general agreement is accompanied by basic disagreement as to how this integrative function of consciousness is to be understood. One has the impression that every author has something else in mind when talking about both «integration» and «consciousness» and hence any true dialogue between people studying this problem as well as any advancement in the neurophysiological and psychological theory of consciousness is severely impaired.

The specificity of the psychological approach to the problem of consciousness will become clearer when we have described briefly the neurophysiological approach. According to the latter consciousness is usually identified with level of alertness which determines the reactivity of the organism to stimuli from the environment (cf. Magoun, 1961). According to this approach consciousness can be understood as that functional state of the Central Nervous System in which the organism is capable of receiving information about what is going on around it and of reacting to that information.

As far as the psychological approach is concerned, on the other hand, consciousness is understood as the forming by the individual of representations (images) of objects. «To be conscious of», «to be aware of something» means to create or actualize the representation of a given «state of affairs» in one's mind. In this sense consciousness amounts to information processing within the individual consisting in producing equivalents of events, objects and relations, etc. in the code available at the achieved level of cognitive development. The level of alertness mentioned earlier can be considered as a necessary but insufficient prerequisite of such processes.

Another significant stumbling-block impeding the development of the psychological theory of consciousness, apart from misunderstandings concerning terminology, is the tendency—still quite common—to reify consciousness, i.e. to treat it as a thing which can be described similarly to physical objects.

Unproductive discussions on the «location of consciousness» in the CNS are a good example of the difficulties arising from such an approach. Such discussions are unsolvable as Bassin (1972) has proved. Various authors with the same neurophysiological knowledge reach extreme standpoints in this matter: from opinions that consciousness is located in the upper section of the brain stem to beliefs that it transcends the whole CNS in some not yet specified way. In our opinion such discussions, erupting from time to time, are based on the implicit assumption made by certain writers (according to us a false assumption) that consciousness is some sort of «thing» or «object». Such an assumption must naturally lead to the conclusion that there must be a definite region of the brain in which consciousness resides.

According to us the *functional approach* is much more promising. Attention can then be focused on such meaningful questions as:

— what is the psychological mechanism of consciousness;

— what determines the process of becoming conscious of something (what factors are responsible for the fact that one becomes aware of certain facts more easily than others, etc.);

— what are the psychological regulating functions of consciousness.

It is worth mentioning that—irrespective of substantial differences between them—Polish authors adhere strongly to such a functional approach to human consciousness (e.g. Tomaszewski 1967, 1975; Lewicki 1965, 1972; Reykowski 1964, 1968; and Łukaszewski 1974).

Within this functional methodological orientation the present author will attempt to answer the question *how consciousness can integrate human behavior on the personality level.* Within this theoretical framework the problem of integrative and disintegrative functions of defense mechanisms will also be discussed.

2. The Psychological Mechanism of Consciousness

Before we attempt to answer the question we have just asked let us first draw our attention to a more basic problem: what is the mechanism of «becoming aware of a certain state of affairs» and what are the psychological consequences of this process?

2.1. *Consciousness as confronting information with one's «image of the world»*

We think that if any aspect of the environment or one's self is registered in the field of consciousness this aspect becomes *potentially «available»* to the entire cognitive system of the individual. In other words, the introduction of a given content to the field of consciousness enables the *confrontation* of this content with other contents encoded in cognitive system, its *analysis, generalization, encompassing in the system or rejection.*

By cognitive system I mean here what is sometimes called «image of the world»: it includes knowledge concerning reality and one's self as well as attitudes, beliefs, values, and norms accepted by the individual. According to this

theory «becoming aware of something» means that information concerning a given «state of affairs» (1) is compared with one's individual image of the world and (2) may be submitted to subtle cognitive operations taking place within the subject, aimed at the establishment of a state of equilibrium between that information and the existing image of the world.

Dollard and Miller (1967) probably had this last property in mind when they wrote that becoming conscious of something (i.e. verbalizing some fragment of experience (makes the content of which one has become conscious available to one's higher mental processes. J. Reykowski develops a similar idea concerning human emotions when he says that: «... the basic characteristic of becoming conscious of something...is the inclusion of incoming signals into the information system (concerning oneself, the external world, emotions) arranged and systematized according to the system of socially elaborated meanings assimilated by the individual (Reykowski 1968, pp. 114-115).

However, the thesis put forward here requires specification. Only then can we understand the regulative functions of consciousness as well as impairment of the regulative processes. We shall now try to explain this process of «relating» information to one's image of the world.

2. 2. The diagnostic process (types of rules).

We assume that information concerning a given «state of affairs» becomes conscious, i.e. becomes «available» to the cognitive system, when the individual has at his disposal certain information processing rules which enable him to recognize meaning of incoming data on the one hand and evaluate the «state of affairs» with which the new information is concerned on the other hand. We propose to call these rules psychological diagnostic rules. These rules have a hierarchical organization, i.e. a given rule always operates on «informational material» which has been prepared by lower order rules. This thesis will be developed further later in this paper. When analysing the process of becoming conscious of something by means of such categories as diagnosis and evaluation, most of our examples will be taken from the area of social perception. We think, however, that similar analysis can be made for all types of «objects» which can be registered in the conscious field, e. g. inanimate object, an abstract idea, one's own emotion, etc.

The property of «being aware» has several degrees. Introspective psychology already noticed that contents occupying the center of the conscious field are clear and vivid, making up «figures against a background,» in contrast with peripheral contents. We can speak of several degrees of consciousness not only as regards the level of cognitive articulation (distinction) but also as regards the level of coding: e.g. a given object may be represented in the sensory code but not in the semantic code (or «falsely» represented). In this sense consciousness of a certain «state of affairs» is the more somplete the higher the level of coding on which the given «event» is represented in the mind of the subject. This gradual progression to higher and higher levels of consciousness is possible because the individual has at his disposal the above mentioned set of diagnostic rules.

The diagnostic process begins at the sensory code level. According to more recent theoretical approaches (cf. Tomaszewski, 1975; Ekel, 1975) at least three levels of perception can be distinguished: sensory reception, sensori-motor perception, and finally—perception at the semantic-operational level, i.e. perception of objects.

Elementary (preconceptual) rules of identification enable the recognition of a set of sensations as a «straight line», a «solid body», a «rhythm» (in music), etc.

Such preparatory perceptional material forms the base on which higher order diagnostic rules begin to operate allowing the perceiver to distinguish a certain set of lines and angles as a «square», others as a «table», etc. These can be called conceptual rules of identification since the «diagnosis» consists here of classification of the given object to a certain conceptual category available to the subject.

However, the process of coding information on higher and higher «levels» of the cognitive system does not end here. This can be seen clearly in social perception. If someone we pass in the street lifts his hat or nods his head in our direction we recognize this gesture as «greeting». If someone breaks one's word we say to ourselves that he «behaved irresponsibly». If Mr. A used vulgar words when speaking to Mr. B we say he behaved «rudely» or «aggressively». In each case the observer utilizes rules of identification of cultural meaning, i.e. a set of standards enabling him to categorize observable data (perceptions) in accordance with a socially elaborated system of symbols. When the object of observation is other people's behavior these rules enable one to distinguish, label (and, we may add, evaluate) certain—culturally meaningful—units of behavior. Note that these rules do not operate directly on «raw» perceptional material but on object perceptions: we must first perceive certain events («the fellow I passed lifted his hat and nodded his head in my direction») to recognize their cultural meaning.

These rules fulfil an extremely important function, since by ascribing specific meanings they ensure 1. orientation as to states of the physical and social environment (i.e. increase the degree of cognitive control over the world) and 2. enable communication with other people (since they are based on a cultural code which is shared by a given society).

Apart from the rules of identification described above there is a second important category of diagnostic rules—rules of inference or rules of attribution. This type of rules enables the interpretation of certain «behavior» characteristics of the perceived object in terms of relatively stable dispositions or hidden characteristics, e.g. intentions, indicated by the observed behavior. If an observer, who sees that Mr. A is abusing Mr. B, says that Mr. A is behaving rudely he is using the rule of identification of the cultural meaning of the observed behavior. However, he can go further and attribute to A a certain personality trait («he is uncouth, aggressive»). Note that in this case he exceeds clearly the direct perceptional data and infers from them about a certain stable trait of the observed object.

Among the attributional rules, general heuristic rules and specific classificatory rules can be further distinguished.

There are general heuristic rules which state the conditions under which the observer is allowed to pass from the description of behavior to conclusions concerning relatively stable dispositions or hidden dynamic properties. If the observer sees, for instance, that «someone helps someone else» his further interpretation depends on additional knowledge about the helper. If he has reason to believe that the helper acts gratuitously (cf. Shopler, 1970) he can attribute to him the disposition «kind, sensitive to other people's troubles». If, on the other hand, he knows that some selfish cause is hidden behind such behavior (e.g. a financial reward or the hope of reciprocation), then exactly the same behavior will not be interpreted as a sign of kindness. Another condition determining attribution is, we think, the extent to which the observer believes that the behavior observed is spontaneous: the more it springs from a person's own personal initiative (according to the observer), the more it is a sign of an intention or personality trait (cf. Steiner, 1970).

The same rules govern processes of psychological inference about oneself. It has been established, for example, that if someone behaves inconsistently with one's beliefs but is forced to do so no cognitive dissonance arises (cf. Brehm and Cohen, 1962). This probably happens because when one behaves in a certain way under social pressure one does not attribute to oneself certain intentions and so one is relieved of personal responsibility for one's actions.

Heuristic rules determine *when* we are allowed to attribute certain traits whereas *detailed rules of classification* determine which behavior characteristics should be related to particular dispositions, i.e. what set of bahavior characteristics permits us to say that someone is «aggressive», «sociable», «lacking in initiative», «sure of himself», «intelligent», etc.

It is quite probable that rules of classification are hierarchical, i.e. besides first order rules enabling one to pass from behavior units to dispositions or intentions there are second order rules of attribution which allow one to pass from a set of isolated dispositions (the result of the operation of first order rules) to «personality types» (e.g. this is a typical «executive», «intellectual», «extravert» etc.).

Let us now summarize briefly our previous discussion.

—We think that the process of «becoming conscious of something» makes the information concerning a given «state of affairs» confrontable with the individual's cognitive system;

—The process of «becoming conscious of something» consists in consecutive operations of coding incoming information by means of those diagnostic rules which the individual has at his disposal;

— These rules are organized in hierarchical manner, i.e. higher order rules operate on «informational material» provided by more elementary rules. There are two basic categories of rules: rules of identification and rules of attribution.

After this brief recapitulation of the approach proposed in this paper we can now present a thesis of basic significance for our theoretical model. *When someone uses a particular diagnostic rule the in-*

formation concerning a certain event is sent to a particular part of the individual's cognitive system (usually quite clearly defined). This statement can be reformulated: the utilization of a particular diagnostic rule «stimulates» or «engages» particular parts of the individual's system of experience.

This fact has certain regulative consequences: depending on what «part» of the cognitive system is aroused the diagnosed «state of affairs» may be evaluated in such terms as «good-bad», «beautiful-ugly», «moral-immoral», «good for me-bad for me, dangerous», etc. For example: if we see a parent scolding his child we may recognize this as «an educative measure» or «ill-treatment of the weaker». When we use the former diagnostic rule we shall be inclined to evaluate the action positively, whereas on using the latter rule we shall definitely evaluate it negatively. What's more, in the second case we shall begin to suspect that the parent is an aggressive person with sadistic tendencies. By identifying the event in a certain way we shall not only evaluate it negatively but, we shall also begin to use appropriate rules of inference (attribution).

Now that we have described the process of becoming conscious we can return to our basic question: how does consciousness help to integrate behavior?

3. Consciousness and the Integration of Behavior at the Personality Level

3.1. The concept of integration of behavior at the personality level

Before we explain what we understand by «integration of behavior at the personality level» (the highest possible level of organization) we must at least roughly define what we understand by the term «personality». In this paper personality is not understood in a purely formal manner as a set of relatively stable psychological characteristics of the individual (this approach can be found in trait theories). Personality is understood here as a *complex internal regulative mechanism operating as a whole* which determines the relative consistency of an individual's behavior, its relative stability (i.e. repetition of certain behavior patterns in particular types of situations) and individual style.

The central element of personality understood as a regulative mechanism is the *self-image*. This image includes: the individual's conceptions concerning his own character traits (temperamental-affective, social, intellectual, physical) and social roles in which he functions as well as those beliefs, attitudes, values, personal ideals, internalized norms, etc. which he regards as his own. These elements, perceived by the individual to be certain aspects of one and the same «entity» (oneself, «I»), form a *global cognitive organization* and are meaningfully related to each other. Thus, for instance, values high in the hierarchy (e.g. intellectual) determine both the individual's personal ideal and the evaluation of his actual achievements (elements of his «actual self»).

We wish to underline that an individual with a clear self-concept is an in-

dividual who has developed a personal construct «mine-not mine», i.e. a basic «cognitive tool» enabling him to categorize experience. Such an individual is able to classify each norm, value, behavior pattern, personality trait, etc. as «mine» (i.e. specific for me, consistent with my beliefs, ideals and values) or «not mine» (i.e. different from my beliefs, values, character traits, etc.).

In this sense personality is not tantamount to the entire knowledge of the world which the individual has acquired. As far as interpersonal contacts are concerned, for instance, a person may know such principles as «one should be kind and considerate for other people», «one should be polite», «everyone should fight for his rights», «one should be careful about making new acquaintances», etc. However, a person with a clearly distinguished self-concept will only recognize some of these principles as his own, pertinent, applying to him.

Similarly, an individual can be aware of many personal ideals propagated in his society by various social classes, institutions or groups but only some of them will be included in his personal ideal (or pursued by him).

We conclude then: In the sense adopted in this paper someone has a personality (and hence is able to behave in a coherent and stable manner and has individual style) if he has a *crystalized self-concept* and thus is capable of differentiating between «mine-not mine» (i.e. has a basic, deep personal construct («I-not I»).

The above considerations permit us now to give an approximated answer to the questions posed at the beginning. We shall say that *behavior is integrated at the personality level if it is consistent with one's self-concept*. For the sake of clarity we must add that it needn't be consistent with the norms respected in a given society or the standards of a «mentally healthy, normal, typical individual». Somebody may, for example, behave in a hostile and aggressive way but at the same time his behavior may be consistent with his specific system of values and norms directed «against people». And again someone else may behave in a highly unconventional and «bizarre» manner but this behavior may be fully coherent with his philosophy of life according to which one should be «authentic», completely spontaneous, etc.

It is necessary for the sake of further discussion to distinguish between internal (subjective) and external (objective) levels of behavior integration. Behavior is *subjectively integrated* when it is consistent with the Self as evaluated by the subject. Behavior is *objectively integrated*, on the other hand, when it is consistent with the self-image as evaluated by an *objective, external observer* (ideally with full knowledge of the observed subject's self-image).

3.2. *Consciousness as an essential mediator between personality and behavior*

A relatively high level of personal identity is an essential prerequisite of integrated behavior at the personality level. It is not, however, a sufficient condition.

If personality is to integrate behavior at the highest level of organization the individual must be capable of *self-orientation*, i.e. of constant acquisition of information concerning his own behavior, intentions, goals, reception of his behavior by other people, anticipated outcomes of behavior (immediate and long-distance), etc. In other words behavior must be *conscious*. Not until the individual is able to acquire such information is he capable of comparing it with his self-concept (the central element of his individual cognitive system, cf. par. 2.3.). This comparison, in turn, is *essential for individual control of one's behavior*.

Before a person starts to behave in a given way this «comparison» may lead to the rejection of certain forms of behavior and the acceptance of that form which is *optimal* for the individual (his ideals, norms, values, etc.).

In the phase of action this constant «confronting» which takes place in the subject's cognitive field leads to continual correction of the style, form and partial goals of action to fit the Self system.

And, finally, when action is completed, and it turns out that the intentions, progress, effects, and social evaluation are clearly inconsistent with the subject's expectations regarding himself, then the only form of control left is the use of defense mechanisms which can act on various levels of the diagnostic process.

To put the matter very generally, consciousness is the «integrative field for behavior». Information concerning behavior (i.e. its intentions, progress, effects, etc.) — if it gets through to consciousness—is confronted with the respective parts of the system of experience, leading to correction of behavior in accordance with the set of expectations which the individual has regarding himself.

We think, then, that human consciousness is a kind of *essential «mediator»* (*«link»*) between personality and behavior. Only then will behavior be internally coherent, consistent and individual (typical of a given person) when its most important «strategic» aspects are conscious, i.e. cognitively present in the mind of the subject.

If this assumption is correct we should expect every form of impairment of the functioning of consciousness to *decrease* the level of integration of behavior leading to its de-individuation, the appearance of behavior «alien» to the personality of the subject, frequent lack of consequence in the structure of actions, etc. Defense mechanisms, which will be the subject of the final part of this paper, are a specially interesting form of disturbance of consciousness both from the theoretical and clinical point of view.

3.3. Defense mechanisms as disturbances in the functioning of consciousness

Many theoreticians have stressed that the basic function of defense mechanisms, such as repression, rationalization, projection, intellectualization, consists in the reduction of anxiety and the reestablishment or increase of self-esteem (cf. Hilgard, 1967; Lewicki, 1969; Lazarus, 1966). Such statements only describe the «final goal» of defenses but do not explain *how* this goal

is reached. We may be asked what the conditions are which enable defense mechanisms to fulfil their function? What is it that happens in the human being when defense mechanisms begin to operate that raises his self-esteem? How does the defense mechanism, understood as a regulative process, work?

On the basis of the theory of the process of consciousness presented here we assume that the defense mechanism is a type of disturbance of the process of consciousness (of becoming conscious of something), i.e. taking in information about the «state of the world» and the «state of oneself», which enables the individual to retain the feeling of consistency between incoming information and the Self-image at the cost of minor or major distortion of that information. It is this «retention of the feeling of consistency» which leads to the reduction of apprehension and the safeguarding of one's self-esteem. In accordance with the standpoint presented here this is possible due to separation of information about a given «state of affairs» from that elment of the cognitive system to which that information ought to be addressed in accordance with the diagnostic rules available to the individual.

This separation can have two forms:

— The first consists in the completion of information processing on a lower level than required;

— The second consists in a change of address to which the information is sent.

We shall now discuss the first basic category of defense mechanisms.

An extreme example of this type of disturbance in the process of becoming conscious of something is repression. In this case the individual does not form any representation of a given «state of affairs» or else removes it extremely quickly from his mind.

A more subtle form of this type of disturbance in the function of becoming conscious consists in the inhibition of the process of interpretation of perceived «states of affairs». Within this subcategory we may further distinguish two types of defense mechanism:

1. In the first type the person perceives (i.e. forms a sensory image) a given situation but does not utilize appropriate rules of identification which give meaning to what he sees. For instance he sees that his closest friend (or he himself) yells at someone and rebukes him bluntly but does not recognize such behavior as «aggression».

2. In the second type the person recognizes a given «state of affairs» correctly but—briefly speaking—«does not draw the right conclusions». The processes of attribution (of intentions or dispositions), generalization and intellectual analysis of the perceived events are inhibited. Let us give an example which, we hope, will illustrate this type of defense mechanism more clearly.

If someone continuously interrupts his interlocutor and directs the conversation towards himselt this implies that he is egocentric. If the paper I am reading does not evoke any discussion this may mean that it is boring, that it

concerns matters which are obvious, or that it is difficult to understand. These implications are determined by the set of rules of inference at the disposal of the individual. The defense mechanism discussed here would consist in avoiding interpreting and analysing the indifference of the audience. This type of disturbance of consciousness may be comparable to such defense mechanisms as «internal isolation» or «splitting off» of part of the individual experience from the rest of the personality.

The second basic type of defense mechanism, as already mentioned, consists in changing the address to which information concerning a given «state of affairs» is sent. A particular event is recognized by the individual but this recognition is distorted. The individual draws conclusions from perceptual data but these conclusions are false.

Let us discuss the following example. If a student fails an exam for which he has been preparing arduously this implies that he is simply not bright. However, such a conclusion may be painful, especially if he is convinced of his exceptional intelligence. The defense mechanism in this category (irrespective of the particular form it will have) consists in sending the information «I failed» to a different element of the individual's cognitive system than that in which his beliefs concerning his intelligence are registered. This student may believe, for instance, that «if someone is apprehensive he often underachieves» and «I easily get apprehensive». If he sends the information about the failure to this set of beliefs and explains the failure using these categories he relieves the information from dangerous implications for the «Self».

The «change of address» observed here is possible thanks to the fact that other diagnostic rules are used than those which would be utilised under «normal conditions», i.e. when the information does not threaten the integrity of the self-image. The exam is not identified any more as a «test of intellectual efficiency» but as an «emotionally difficult stress». We should add that this category of defense mechanisms encompasses such traditional defenses as rationalization, projection, intellectualization, reaction formation, etc.

Having characterized the types of defense mechanisms, we can now resume the question as to how defense mechanisms influence behavior integration.

There is no unequivocal answer to this question. It depends, we think, on the perspective from which we view the behavior of the individual: from his own point of view or from the standpoint of an objective observer?

In our opinion the defense mechanism leads to subjective increase (or maintaining) of the level of behavior integration at the cost of objective disintegration. In other words defense mechanisms help the individual to retain the conviction that his behavior is consistent with his own «Self». He is convinced that his behavior is consistent, and rational and that his beliefs and intentions are consistent with his attitudes toward others and his behavior toward them; that his achievements equal his aspirations; that the image of his near ones (e.g. friends, father, wife, etc.) is consistent with what he knows about their actions, etc. Hence defense mechanisms have fundamental significance both for the feeling of personal «integrity» and identity and for one's self-esteem.

However, these benefits are achieved at the cost of disturbances in the functioning of the mechanisms of consciousness leading to objective disintegration of behavior. «Perception» of one's own behavior, its consequences, one's intentions, etc. is deformed and so one's behavior gets out of control of the Self. The loosening of the contact with reality which inevitably results from the use of all defense mechanisms (so strongly stressed by psychoanalytic writers) must lead to a decrease in the level of integration. Declared intentions are no more in accordance with real intentions (inferred by the observer from the objective outcomes of behavior); immediate goals are inconsistent with future ones; certain elements of knowledge about other people are clearly in conflict with others and the subject does not «notice» this conflict due to internal isolation, etc. Thus the objective disintegration of behavior is a cost which the individual must pay for using defense mechanisms in order to retain the feeling of his «consistency», «integrity» and «psychological coherence». One must remember, however, that in some cases the benefits may far outride the losses. Thanks to defense mechanisms certain people can defend themselves effectively against disintegration of the basic personality structure, i.e. psychosis.

3.4. Consequences of the presented approach to defense mechanisms

The approach presented in this paper not only enables the redefining of defense mechanisms but it also enables 1. the formulation of criteria of the level of primitivism of defense mechanisms and 2. the definition of some of the conditions determining tendencies toward using defense mechanisms.

Ad. 1. One of the measures of primitivism, i.e. the degree to which the defense mechanism disrupts «contact with reality» can be the level of coding at which the disturbance appears. Theoretically the defense mechanism can work at each consecutive level of the process of becoming conscious of something described earlier in this paper. (cf. par. 2.4). Simplifying the problem somewhat we may distinguish three basic levels.

Defense mechanisms can disturb the process by which the perceptual image of the threatening object is formed (so called perceptual defense, the most basic form of repression).

It can also operate on the level of conceptual identification of a given «state of affairs». The sensory image of the object is correctly formed by the individual but its categorization is carried out by means of an incorrect diagnostic rule.

And finally, defense mechanisms can operate at the level of «intellectual processing» of perceptual data distorting the psychological inference, i. e. mainly the attribution of intentions or dispositions to others or oneself.

As we see the character of the defense mechanism changes as we move to higher levels of consciousness. The mechanism operates more and more on the level of data interpretation and consists less in disturbing the process of intake of information.

Ad. 2. As far as the second issue discussed here is concerned we may hypothesize, for instance, that people with a high level of cognitive articulation of the «Self» will have a larger tendency to use defense mechanisms than people with a weakly developed personal identity.

This prediction is based on the assumption that only in the first category of people can we speak of d i s c r e p a n c y between the «Self» and incoming information. If someone has no opinion about his intelligence neither failure nor great intellectual achievements will be dissonant with his expectations concerning himself since he simply has no such expectations.

We think it would be extremely interesting to analyze relations between various features of the human cognitive system (e.g. the level of cognitive complexity, abstractness-concreteness, hierarchy and integration of the cognitive network, etc.) and the tendency to use various defense mechanisms. We think the model of the process of consciousness and defense mechanisms presented here may facilitate further research in this field.

REFERENCES

BASSIN, F., Zagadnienie nieświadomości, Warszawa, KiW, 1972.

BREHM, J. W., COHEN, A. R., Explorations in Cognitive Dissonance, New York, Wiley, 1962.

DOLLARD, J., MILLER, N. R., Osobowość i psychoterapia, Warszawa, PWN, 1967.

EKEL, J., Procesy sensoryczne, W: T. Tomaszewski (red)—Psychologia, Warszawa, PWN, 1975.

FREUD, S. (1920) Beyond the Pleasure Principle, In: Rickman, J. (ed.), A general selection from the works of Sigmund Freud, London, Hogarth Press, 1937.

HILGARD, E., Wprowadzenie do psychologii, Warszawa, PWN, 1967.

LAZARUS, R., Psychological Stress and the Coping Process, New York, McGraw-Hill, 1966.

LEWICKI, A., Introspekcja jako przedmiot badania psychologii, Przegląd Psychologiczny, 1965, No. 10, 34—52.

LEWICKI, A., Psychologia kliniszna w zarysie, W: A. Lewicki (red.), Psychologia kliniczna, Warszawa, PWN, 1969.

LEWICKI, A., Ewolucja koncepcji procesu psychicznego we współczesnej psychologii, Studia Metodologiczne, 1972, No. 9, 35—56.

LUKASZEWSKI, W., Osobowość: structura i funkcje regulacyjne, Warszawa, PWN, 1974.

MAGOUN, N. W., Czuwający mózg, Warszawa, PZWL, 1961.

MOWRER, O. H., Ego psychology, cybernetics and learning theory, In: Learning theory, personality theory, and clinical research — The Kentucky Symposium, New York, Wiley, 1954.

REYKOWSKI, J., O poznawaniu procesów psychicznych przez introspekcje W: J. Reykowski — Metodologiczne problemy psychologii współczesnej, Warszawa, PWN, 1964.

REYKOWSKI, J., Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa, KiW 1968.

SHOPLER, J., An attribution analysis of some determinants of reciprocating a benefit, In: J. Macaulay, L. Berkowitz (eds), Altruism and Helping Behavior, New York, Academic Press, 1970.

SPERRY, R. W., A modified concept of consciousness, Psychological Review, 1969, vol. 76, No. 6, 532—536.

TOMASZEWSKI, T., zynności ówiadome, W: Maruszewski, M., Reykowski, J., Tomaszewski, T., — Psychologia jako nauka o człowieku, Warszawa, KiW, 1967.

TOMASZEWSKI, T., SWIADOMOŚĆ, W: T. Tomaszewski (red) — Psychologia, Warszawa, PWN, 1975.

181

НАДСОЗНАТЕЛЬНОЕ В НАУЧНОМ ТВОРЧЕСТВЕ И ГЕНЕЗИС ПСИХОАНАЛИЗА ФРЕЙДА

М. Г. ЯРОШЕВСКИЙ

Институт истории естествознания и техники АН СССР, Москва

Процесс творчества издавна дает повод для представлений о решающей роли неосознаваемых психических факторов в его регуляции. Имеется, однако, широкий спектр расхождений в вопросе о «фактуре» и динамике неосознаваемых процессов, порождающих творческий продукт. Наиболее распространены попытки трактовать этот продукт как эффект т. н. «инкубации» — совершающихся за порогом сознания интрапсихических событий, калейдоскопическая смена которых ведет к тому, что перед «умственным взором» субъекта непредсказуемо появляются искомые (а иногда, хотя и неискомые, но продуктивные) решения. Концепция «инкубаций» является квазиобъяснительной. В ней подсознательное вводится ad hoc. Оно выступает в функции агента, который способен все объяснить, но сам в объяснении не нуждается.

Другое направление, использующее при анализе творчества понятие о бессознательной психике, видит в новой творческой идее результат действия сексуальных, агрессивных, защитных механизмов или проекцию «архетипов» мысли (Фрейд, Юнг).

Эти механизмы и «архетипы» считаются надиндивидуальными, безличностными, функционирующими за пределами осознаваемого «Я». Обращение к ним создает видимость преодоления дефектов гипотезы об «инкубации», замыкающей процесс творчества в пределах идиосинкретической мозаики недоступного осознанию индивидуального опыта. Только видимость, поскольку такой подход является по своей сути антиисторическим, сводящим порождение нового к репродукции извечных форм. Мы исходим из того, что творческая активность личности многопланова. Осознание личностью своих целей и мотивов — необходимая предпосылка ее адекватного отношения к миру и созидания новых культурных ценностей.

Этот осознаваемый план активности находится в сложном динамическом соотношении с двумя другими — неосознаваемыми, но являющимися неотъемлемыми компонентами работы целостного психического аппарата, генерирующего творческий продукт. С целью терминологического различения этих двух компонентов обозначим их как «подсознательное» и «надсознательное». Мы готовы немедленно отказаться от этих терминов, как только будут предложены другие, более удобные для обозначения реальности, о которой идет речь, а именно — творчества ученого.

К подсознательному пласту научного творчества мы относим в данном контексте накопленный ученым индивидуальный опыт, служа-

щий непременной предпосылкой скачка его мысли, ее перехода в новое качество. Этот опыт, записанный в нервных клетках, актуализируется соответственно запросам новой проблемной ситуации, требующей творческого решения. Естественно, что такое решение не может быть — по определению — добыто из наличных неосознаваемых (подсознательных) массивов информации. Его еще следует построить. Поэтому подсознательное служит необходимым, но недостаточным условием получения нового научного результата.

Обычно при анализе биографии ученого в поисках объяснения обстоятельств, приведших его к открытию (новой идее, теории, гипотезе и др.) и позволивших ему оказаться впереди других потенциальных претендентов на это открытие, обращаются к его прошлому — испытанным им в различные периоды влияниям, окружению, прочитанным книгам и др. Предполагается (и не без оснований), что совокупность этих обстоятельств определила его выбор безотносительно к тому, как это им самим осознавалось.

Поскольку предметом нашего сообщения является генезис психоанализа Фрейда, то можно в качестве примера привести изыскания биографами влияний, определивших состав его учения, причем даже таких, которые сам он отвергал, считая это учение совершенно оригинальным и гордясь своей привычкой «сперва анализировать вещи сами по себе прежде чем искать информацию о них в книгах».

Давно уже тривиальным стал вывод о влиянии на Фрейда Шопенгауэра. Фрейд же утверждал: «доктрина о вытеснении пришла ко мне независимо от какого бы то ни было источника. Мне неизвестно ни одно внешнее впечатление, которое могло бы мне ее внушить, и в течение длительного времени мне представлялось, что она является целиком моей, пока Отто Ранк не показал мне места в книге Шопенгауэра «Мир как воля и представление», где этот философ пытается объяснить болезнь» [3, 297].

Можно не сомневаться в искренности Фрейда. Но учитывая, что задолго до того, как писались приведенные строки, он усердно занимался философией, притом именно в годы, когда учение Шопенгауэра приобрело широкую популярность, можно предположить, что Фрейд с этим учением все-таки был знаком до того, как выдвинул свою гипотезу о вытеснении, и что факт знакомства оказался вытесненным в область подсознательного в силу амбиций создателя психоанализа. Если в отношении Шопенгауэра прямых свидетельств о влиянии нет, то иная ситуация складывается в отношении влияния на Фрейда античных мыслителей — прежде всего Платона.

Историки обращают внимание на удивительное сходство между некоторыми мифами Платона и определенными положениями Фрейда, претендующими на то, что они, якобы, извлечены из эмпирии. Указывают на платоновскую трактовку сновидений как исполнения желаний, на его учение об Эросе как могущественной побудительной силе, на понятие о реминисценции (воспоминании), на миф Платона о вознице, пытающемся править колесницей, в которую впряжены дикий, необузданный черный конь и белый, устремленный к возвышенным целям.

Членение Фрейдом психических сил на «Ид», «Эго» и «Супер-эго», а также идея извечного конфликта этих сил могут рассматриваться как схема, восходящая к Платону. Знал ли Фрейд о платоновских мифах?

Имя Платона отсутствует в первом издании «Толкования сновиде-

ний» (1900) и появляется впервые в четвертом (1914), но историки установили, что Фрейд, учившийся у «перипатетика XIX века» Брентано, был хорошо знаком с философией античности. Правда, в беседах со своим биографом Джонсом Фрейд утверждал, что его знакомство с Платоном было «весьма фрагментарным».

Но за много-много лет до этих бесед в одном из писем, относящихся к периоду работы над «Толкованием сновидений», Фрейд признавал, что, читая «Историю греческой цивилизации» Буркхардта, он обнаружил «неожиданные параллели» со своими мыслями [2, 275]. Эти параллели впоследствии им не осознавались, влияя, однако, на ход его идей. Итак, нечто, некогда воспринятое субъектом творчества и подспудно оказывающее на него влияние, образует область подсознательного.

От этих явлений, служащих давним предметом анализа, перейдем к другому компоненту в регуляции творческих процессов, названному нами «надсознательным» [1]. На этом уровне происходит неподдающаяся сознательно-волевому контролю работа творческой мысли в новом режиме. Здесь эта мысль, будучи детерминирована запросами логики развития науки, зависит не только от прошлого (осевшего в подсознательном), но и от будущего. Она как бы рецепирует «позывные будущего науки» и строит интеллектуальные продукты, которые являются откликами различной степени адекватности на этот зов. Какими, однако, средствами мы располагаем, чтобы реконструировать работу творческой мысли на надсознательном уровне?

Если в отношении подсознательной детерминации творческого процесса (в плане выяснения влияний, вошедших в новый интеллектуальный синтез) вопрос решается относительно просто, а именно, путем использования методов сравнительно-исторического анализа, то для проникновения в своеобразие надсознательной регуляции научного творчества необходимы другие приемы.

Принципиальное отличие надсознательной активности от других форм психической регуляции в том, что в ней интегрируются личностное и предметно-логическое, притом такое предметно-логическое, которое еще не отстоялось в науке, а формируется в данный исторический период. Очевидно, что в качестве присущего системе науки, имеющей свой строй и закономерности развития, оно не может описываться в тех же терминах, в каких сам субъект творчества формулирует свои проблемы, гипотезы, проекты, идеи. Эти идеи и проблемы следует перевести на другой язык, позволяющий соотнести события, которые представлены на уровне сознания творческой личности, с независимой от этой личности объективной логикой движения познания. Мы предложили описать эту логику в терминах категориального строя науки, подразумевая под категориями наиболее общие, далее неразложимые понятия, организующие работу мысли над конкретными доступными эмпирическому контролю предметами и проблемами. Выявив основные блоки научно-категориального аппарата и принципы его преобразования, мы получаем некоторую независимую от всего многообразия и неповторимости индивидуальных поисков обобщенную схему, способную служить ориентировочной основой для расшифровки подлинного предметно-логического смысла этих поисков.

Располагая подобной схемой, мы можем накладывать ее на полученные отдельным исследователем результаты, трактуя их как символику и симптоматику процессов, совершающихся в мышлении этого исследователя на уровне надсознательного. Сосредоточиваясь на пред-

метном (теоретическом и эмпирическом) значении своих идей, ученый не осознает их категориальный смысл. Но этот смысл присутствует незримо в его концепциях и открытиях, в его, этого ученого, голове. Не осознаваясь им, он регулирует его исследовательский поиск. Можно сказать, что эта регуляция осуществляется бессознательно. Однако, руководствуясь предложенным выше членением бессознательного на два разряда, мы вправе сказать, что категориальная регуляция совершается надсознательно.

От этих рассуждений общего характера перейдем к рассмотрению психоанализа Фрейда и попытаемся рассмотреть его истоки, исходя не из влияний (Шопенгауэра, Платона или других), многие из которых определяли формирование психоаналитической доктрины на уровне подсознательного, а из контекста категориального развития психологического познания.

В этом плане особый интерес представляет период, непосредственно предшествующий появлению первой программы психоаналитических исследований, изложенной в «Толковании сновидений».

Как известно, этой работе предшествовала другая, написанная Фрейдом в соавторстве с Брейером, — «Исследования об истерии». Обращаясь к этой книге, современный читатель воспринимает текст сквозь призму последующих наслоений всего того, что писали и продолжают писать о Фрейде. Поэтому легко может сложиться впечатление, будто в ней уже представлена система основных понятий психоанализа. Тем более, что от этой книги принято вести историю психоаналитического течения.

Следует, однако, отметить, что к учению о бессознательной психике, в создании которого Фрейд видел свою главную заслугу, он тогда еще не пришел.

В этом же 1895 г. Фрейд садится лихорадочно писать свой «Проект научной психологии», в котором проводился редукционистский, механистический взгляд на психику. «Цель психологии, — писал он, — представить психические процессы в количественно определенных состояниях специфических материальных частиц» [4, 319]. Это свидетельствует о том, что над Фрейдом все еще довлела дилемма: либо «чистая» физиология, либо обращение к сознанию как источнику стремлений, целей и т. д., притом довлела в середине 90-х годов, когда передовая психофизиология уже выработала новую альтернативу древней концепции сознания, с которой в те времена считалось нераздельно сопряженным научное изучение психических актов.

Оглядываясь на общую ситуацию в период, предшествовавший появлению психоанализа, можно выделить три направления: экспериментальную психологию, где лидирующими фигурами выступали исследователи, занятые анализом сознания с помощью специальных приборов и отождествлявшие сознание и психику. Основными школами здесь являлись структурализм, восходящий к Вундту, и функционализм, восходящий к Брентано. Что касается понятия о бессознательной психике, которое психологи-эксперименталисты отвергали, то оно давно уже (со времен Лейбница) существовало в философском лексиконе. Попытки Гербарта перевести его на конкретно-научный, математически точный язык успехом не увенчались, и это понятие стало поводом для философских спекуляций Шопенгауэра и Гартмана. Наконец, имелось еще одно направление, заслуживающее особого внимания.

Дилемма, возникавшая тогда перед каждым мыслящим врачом-неврологом, была того же типа, что и дилемма, с которой сталкивались натуралисты при изучении мозга, органов чувств, мышечных реакций. Естественнонаучное объяснение означало в эту эпоху только одно: выведение психических явлений из устройства тела и совершающихся в нем физиологических (физико-химических по природе) процессов. Психические явления темны, неопределенны, запутаны. Пытаясь отыскать их причину в строении нервных клеток (нейрогистология, с изучения которой Фрейд начинал свою карьеру, быстро развивалась в рассматриваемый период), врач остается на твердой почве. Обращаясь к психическому как таковому он попадает в зыбкую область, где нет опорных точек, которые можно было бы проверить микроскопом и скальпелем. Но опыт, именно естественнонаучный опыт, вынуждал признать за психическим самостоятельное значение таких исследователей, как Пфлюгер, Гельмгольц, Дарвин, Сеченов, в строго-научном складе мышления которых никто не сомневался. Какую позицию занять натуралисту и врачу при столкновении с фактами, не укладывавшимися в привычные анатомо-физиологические представления? Традиция могла предложить единственную альтернативу: вернуться к понятию о сознании. Но в эпоху, когда указанное понятие не приобрело серьезного научного содержания, это означало вновь оказаться в бесплодной области идеалистической, субъективной психологии.

Для Гельмгольца вопрос звучал так: если образ невыводим из устройства сетчатки, а старое представление о сознании как конструкторе образа не может быть принято, чем заменить это представление? Для Сеченова вопрос имел схожий смысл, но применительно к действию, а не чувственному образу: если целесообразное действие невыводимо из простой связи нервов, а старое представление о сознании и воле как регуляторах действия не может быть принято, чем заменить это представление?

Аналогичный вопрос, но уже в отношении другой психической реалии — мотива возникал у неврологов, поставленных перед необходимостью понять побуждения своих пациентов. Воспитывавшийся у Шарко, который не признавал другой детерминации, кроме органической, Пьер Жане отступает от символа веры своего учителя и выдвигает понятие о психической энергии.

Логика развития позитивного, экспериментально контролируемого знания о различных аспектах психической реальности привела к тому, что возникла новая альтернатива анатомо-физиологическому объяснению этой реальности, отличная от субъективно-идеалистической концепции сознания.

Эта альтернатива, выделяя понятия о психике и сознании, вела к учению о бессознательной психике. Складываясь в недрах естествознания (прежде всего физиологии), оно явилось подлинным открытием психической реальности. На него указывали такие термины как «бессознательные умозаключения» (Гельмгольц), «бессознательные ощущения или чувствования» (Сеченов), «бессознательная церебрация» (Лейкок, Карпентер) и др. По звучанию они походили на понятия о бессознательном, восходящие к Лейбницу, воспринятые Гербартом и приобретшие глубоко реакционный иррационалистический смысл у философов Шопенгауэра и Гартмана. Но только по звучанию. В действительности бессознательное у Гельмгольца, Сеченова и других натуралистов принципиально отличалось от своих философских псевдодвойников позитивным естественнонаучным содержанием.

Многие авторы справедливо подчеркивают, что понятие о бессознательном имеет длительную дофрейдовскую историю. Но эту историю заполняют обычно только философские учения, что может лишь укрепить убеждение в том, что бессознательное впервые стало предметом конкретнонаучного исследования у Фрейда.

Между тем, психологические категории образа и действия, складываясь в качестве научных до Фрейда, вовсе не имели своим неотъемлемым признаком представленность в сознании.

Следует также иметь в виду, что возникшие в ту эпоху две главные школы экспериментальной психологии — структуралистская и функционалистская, считая своим предметом феномены и акты сознания, в действительности создать науку о сознании, как уже отмечалось, не смогли. Поэтому, если уверовать, что понятие о бессознательной психике имело до Фрейда только философский статус, то, учитывая беспомощность структурализма и функционализма перед проблемой сознания, их неспособность построить науку о нем, нетрудно склониться к выводу, будто до Фрейда психологии как науки вообще не существовало.

Вернемся к периоду между 1895 г. (когда писался «Проект научной психологии») и 1900 г. (когда Фрейдом было сформулировано его учение о бессознательной психике). Что именно определило перелом в его мышлении? Биографы объясняют это различными личными обстоятельствами жизни Фрейда. Разрывом с Брейером. Тяжелой депрессией и невротическим состоянием, от которого, как он полагал, его спас упорный, каждодневный анализ собственных переживаний, комплексов, сновидений. Смерть отца[1]. В этих объяснениях отчетливо выступает субъективизм и антиисторизм, изначально присущие психоаналитическим интерпретациям творчества. Постулируется, будто источник любых идей, концепций, переходов от одних представлений к другим может быть только один — внутриличностные пертурбации и конфликты.

Подобно появившимся через десятилетие бихевиористам и гештальтистам, Фрейд выступил против традиционной психологии с ее интроспективным анализом сознания. Основной проблемой, вокруг которой центрировался психоанализ, являлась проблема мотивации. Подобно тому, как образ (главный предмет гештальтистов) и действие (главный предмет бихевиористов) суть реалии, выполняющие жизненные функции в системе отношений индивида и мира, а не внутри замкнутого в самом себе рефлектирующего сознания, точно так же одной из основных психологических реалий является мотив. Интроспективная психология отождествляла образ с феноменами сознания, действие — с операциями «внутри ума», а мотив, соответственно, представила как акты воли, желания, хотения, исходящие от субъекта.

Этой концепции издавна противостояло естественнонаучное воззрение, стремившееся свести образ к следам внешних раздражителей, действие — к рефлексам, мотивацию — к биологическим импульсам.

Психология рождалась, преодолевая расщепление жизнедеятельности, перебрасывая мосты между сознанием и организмом, вырабатывая собственные категории. В психоанализе превратно отразилась по-

---

[1] По мнению главного биографа Фрейда, Джонса, это обстоятельство позволило Фрейду освободиться от комплекса, создаваемого ролью отца в бессознательной жизни личности. «Евангелие» психоанализа—«Толкование сновидений» было написано через два года после кончины отца Фрейда.

требность в понимании объективной динамики мотивов как психологической категории (не идентичной ни их интроспективной представленности, ни их физиологическому субстрату). Переход Фрейда от строго физиологических объяснений периода «Проекта» к строго психологической интерпретации поведения в «Толковании сновидений» запечатлел на микроуровне творчества отдельного исследователя события, происходившие в макромасштабах развития психологического познания. Поэтому попытки объяснить этот переход обстоятельствами сугубо личного характера несостоятельны.

Стало быть, генезис психоанализа Фрейда объясняется запросами логики развития науки. Но эти объективные запросы должны были переломиться в мышлении конкретного индивида, чтобы обрести доступное сознанию теоретическое выражение. Переход с категориального уровня на теоретический и есть переход мысли от надсознательных форм регуляции к сознательным. Этот переход был подготовлен предшествующим опытом Фрейда как врача-невролога и теми идейными влияниями, о которых уже шла речь.

Философская доктрина психоанализа деформировала его конкретнонаучные факты, методы и модели. В результате ложным, деформированным оказался и ответ на запросы развития науки.

Конечно, ошибочно противополагать надсознательное сознательному, относить их к обособленным, лишенным внутренней связи порядкам явлений. Речь идет о другом — о необходимости выявить в сложном творческом процессе различные уровни его организации и детерминации.

Подобно человеческой психике в целом, надсознательное как один из ее уровней носит активно-отражательный характер. Но отражение субъектом реальности на этом уровне своеобразно. Оно совершается посредством научно-категориального аппарата, концентрирующего в своих блоках исторический опыт исследования определенной предметной области и намечающего угол и зону ви́дения основных проблем, к которым устремляется отдельный ум. Надсознательное указывает не на «глубины», а на «вершины» деятельности мысли, на тот ее «кипящий» слой, где личность создает то, что до этой деятельности не существовало.

SUPER-CONSCIOUSNESS IN SCIENTIFIC CREATIVITY AND THE ORIGIN OF S. FREUD'S PSYCHOANALYSIS

M. G. JAROSHEVSKY

Institute of the History of Natural Science and Technology, USSR Academy of Sciences, Moscow

S U M M A R Y

Three levels of mental regulation are identifiable in the process of scientific creativity: super-conscious, conscious and subconscious. The subconscious level consists of processes connected with the influence of the person's past experience on creativity. The conscious level is actually verbalized knowledge and goals. The super-conscious level is constituted of the influences

of the logic of the development of science, which are not subject to volitional control. At the superconscious level objects are reflected by means of the apparatus of scientific categories, which is not an object of special reflection. The role of superconscious factors in Freud's transition from reductionistic to the psychoanalytical conception is shown in opposition to the explications of the origins of psychoanalysis proposed by its advocates who seek its roots in the unconscious.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЯРОШЕВСКИЙ М. Г., О трех способах интерпретации научного творчества. Научное творчество, М., 1969.
2. BONAPARTE, M., FREUD, A., KRIS, E., (Eds.), The Origins of Psychoanalysis, N. Y., 1954.
3. FREUD, S., Collected Papers, I, London, 1950.
4. SCHULTZ, D., A History of Modern Psychology, N. Y., 1975.

182

INSTANCES, FORMATIONS STRUCTURALES DE LA PERSONNALITE ET NEVROSE

S. V. TSOULADZÉ

Département de psychologie médicale de L'Institut de psychiatrie. Tbilissi

L'approche objective et l'étude critique de l'apport de la psychanalyse à la psychologie, exigent que l'on distingue en elle une méthode de traitement laquelle implique également une technique d'exploration de l'inconscient et un système psychologique avec ses aspects dynamiques, génétiques et topiques. Aussi bien, le souci de définir l'impact de la pyschanalyse sur la science psychologique conduit-il à envisager successivement ces différents aspects et d'aborder le champ du traitement où l'accent placé sur le mécanisme de la prise de conscience du conflit pathogène dont le sujet n'est pas conscient, représente un enrichissement considérable et réellement novateur dans l'ordre des traitements psychothérapiques; mais notons le bien, cette innovation n'élimine nullement du champ psychothérapique les indications et l'intérêt théorique des anciennes méthodes cathartiques ou suggestives que ce soit à l'état de veille ou à l'état d'hypnose, méthodes qui conservent toute leur réelle valeur d'efficience.

Pour ce qui est de l'exploration de la personnalité et de ses «positions» inconscientes. La psychologie d'aujourd'hui, la psychologie médicale en particulier doivent reconnaissance à la psychanalyse moins peut être pour la décou verte de la voie royale de l'analyse des rêves et de l'association libre que pour celle des techniques dites projectives dont la méthode de Jung peut être considérée comme l'ancêtre et dont les concepts interprétatifs sont largement empruntés à la psychanalyse. Les données obtenues à l'aide de ces techniques qui commencent à être également utilisées dans notre pays sont toutefois comme on sait susceptibles d'être analysées à la lumière d'autres conceptions

---

Le Docteur S. Tsouladzé souhaitait, partant de la théorie des relations fondamentales de la personnalité, thèorie suggérée par le Pr. A. Chérozia, examiner avec ce dernier la structure des névroses et publier le fruit de ce travail commun dans le présent volume sous le titre „Théorie des relations fondamentales de la personnalité et Structure de la névrose". La mort subite du Dr. S. Tsouladzé nous prive de notre cher collègue et ce souhait ne pourra être réalisé. Nous devons donc nous contenter de publier, le texte intégral de sa communication au XX ème Congrès International des Psychologues (Paris 1976) dont les problèmes sont similaires: „Instances, formations structurales de la personnalité et névrose". *Le Comité de rédaction.*

sur la place et le rôle de la personnalité dans l'activité d'aperception qui constitue le principe général de ces méthodes.

Quant à la théorie de l'appareil psychique, il n'est pas douteux que le moment essentiel de ce système qui consiste en un modèle opérationnel figurant l'appareil psychique sous l'aspect d'une triade l'instances: l'ID inconscient, avec ses pulsions et ses complexes, l'EGO, avec ses mécanismes de défense et sa partie consciente, le SUPER EGO qui forme obstacle au dynamisme instinctif de l'ID et qui se présente, au dire de Freud, comme, l'héritier du complexe d'Oedipe, ce moment essentiel demeure à l'évidence, le droit enfin reconnu à l'existence d'une intentionnalité inconsciente et à son rôle dans la structure de l'être psychique.

La notion de structure implique essentiellement l'idée que les manifestations variées de la personnalité sont reliées entre elles et déterminées comme les éléments d'un tout par une formation ou un système sous-jaçant plus stable dont il s'agit de préciser les catégories relevantes. Le symposium sur la personnalité qui s'est tenu à Moscou en 1970 tint en particulier à dégager en ce domaine l'idée que l'approche structurale doit consister en une appréhension de la personne telle que celle-ci soit comprise non comme un conglomérat de processus psychiques mais comme une formation globale qui comporte des éléments intimement reliés entre eux.

Produit de l'évolution historique et sociale, cette structure structurante qu'est la personnalité implique, en effet, l'existence d'une série de sous-structures ou de traits que les différents auteurs même s'ils adoptent des points de vue théoriques ou méthodologiques identiques, décrivent de manières très diverses mais qui se recoupent en fait plus ou moins entre eux. Il suffit d'évoquer ici les noms et les travaux de G. Allport, H. A. Murray, R. Cattell, H. Eysenck, J. Nuttin, A. G. Kovalev, Platonov, Ananiev et d'autres.

Pour nous il nous semble que pratiquement l'on puisse distinguer une structure de la réactivité comprenant les aptitudes et le type de tempérament et il est de fait que le tempérament et les particularités cognitives fonctionnelles représentent des conditions réelles de la formation de la personnalité considérée comme un tout, que l'on puisse distinguer aussi une structure de la motivation qui englobe la sphère des besoins et des intérêts qui donne également sa marque à la personne, une structure du moi ou de la conscience de soi avec des aspects du moi tels que le système des valeurs, les niveaux d'aspiration et d'expectation, et surtout le système des relations du moi, notion que l'on pourrait rappocher de l'ego-involvement deCantril, et enfin une structure du caractère qui représente un mode d'intégration de la personne au plan de la conscience morale et de la volonté ce qu'on pourrait appeler le «moi responsable».

Nos connaissances sur la formation de la personnalité et sur les implications dynamiques et réciproques du conscient et de l'inconscient sont encore certainement aléatoires et demandent à être à l'avenir précisées, mais la psychologie dispose de concepts susceptibles de fournir une assise scientifique à cette démarche. Il s'agit dans le domaine des recherches poursuivies par les psychologues soviétiques de la notion «d'attitude» élaborée par D. N. Ouz-

nadzé et de celle de «relations» développée par V. N. Miassistchev. Ces deux notions ont en commun de considérer que ce ne sont pas les processus psychiques qui constituent la réalité première et le point de départ, mais des personnes concrètes engagées dans le monde réel. D. N. Ouznadzé a mis en évidence la nécessité de comprendre l'inconscient sur le modèle de l'attitude, laquelle représente un état de la personnalité, s'établissant dans la relation qui, en un montage unitaire réalise la synthèse d'un besoin et d'une situation donnés. Ainsi se trouve constituée une forme de reflet de la réalité et un type d'activité psychique antérieurs à la conscience.

Conformément à cette thèse l'inconscient n'est pas une instance psychique indépendante, autonome, radicalement séparée de la conscience et, dans la mesure où l'attitude ne se constitue qu'au cours de l'histoire du sujet, dans sa relation vécue avec le monde, on pourrait paraphrasant la formule célèbre dire que «l'existence précède l'inconscience». La thèse selon laquelle l'attitude serait un mode de la personne, non rendu conscient, possède une importance théorique, certaine, à partir de quoi des auteurs comme A. S. Pranguichvili, F. B. Bassine, B. V. Chorokhova, A. E. Chérozia tentent de dépasser l'interprétation freudienne de l'inconscient. Permettez-moi de traiter encore en quelques mots de cette notion d'attitude qui représente la pierre d'angle de la conception que les auteurs soviétiques se font de l'inconscient.

Au cours de son allocution présidentielle le Pr. Paul Fraisse nous rappelait que si les comportements sont la matière première du psychologue, c'est l'homme qui en est le centre d'élaboration et, de fait, le rôle de la personnalité dans la vie psychique et l'insuffisance du seul lien associatif comme explication de la production d'un phénomène psychique étaient à tous, très clairement apparus, dès lors que l'école de Külpe eut démontré que la réaction verbale qui suit la présentation d'un mot inducteur implique une détermination qui n'avait pas été jusqu'alors reconnue.

C'est cette disposition à agir crée par la consigne, (l'aufgabe) cette tendance déterminante, cet einstellung des auteurs allemands que définissent le terme de «set» en langue anglaise et celui «d'attitude» en francais, c'est dans cette direction de pensée et de recherche que se sont de manière originale, développés très tôt, les travaux des psychologues soviétiques pour qui conformément à la thèse de Marx c'est l'homme lui-même qui entre en relation active avec la réalité ambiante et non point les différents aspects de son activité psychique.

Cette relation fondamentale suppose une synthèse dialectique qui implique la rencontre concrète d'un besoin donné du sujet et d'une situation adéquate du milieu «si en cas de soif dit Ouznadzé je passe devant une fontaine ou un débit de boissons, je me sens attiré et me fais servir l'objet qui convient pour apaiser ma soif mais si je suis désaltéré je demeure indifférent à leur endroit» on aura reconnu ici l'aufforderungscharakter de Kurt Lewin. Mais si ce dernier place l'accent sur la cathexis de l'objet capable de produire une tension, Ouznadzé quant à lui s'attache à l'étude de l'état de préparation précédant toute activité, à l'étude de la tendance comportementale, qui cons-

tituant le mode du sujet du comportement peut seul conduire à la satisfaction du besoin.

Or cet état, cette attitude qui embrasse l'organisme entier (et les expériences très nombreuses sur les illusions perceptives ont amplement démontré que ce phénomène n'est pas d'ordre local comme le pensaient Müller et Schuman dans leur analyse de l'illusion de Charpentier), ce mode du sujet entier n'est nullement un acte de conscience. Reconnaissant le génie de Freud mais critiquant la notion psychanalytique d'un inconscient où il semble que ce soient des contenus de conscience qui, oubliés ou refoulés, continuent, d'exister en sourdine en un lieu en quelque sorte inverse de ce qu'on imagine être le «champ de la conscience», où l'inconscient parait formé de contenus de conscience privés de conscience, Ouznadzé lui oppose une conception qu'il exprime en ces termes «nous voyons que l'inconscient existe en fait mais que ce n'est pas autre chose que l'attitude du sujet, la notion de l'inconscient cesse d'être uniquement négative, elle acquiert une signification positive et doit être élaborée scientifiquement par des méthodes d'investigation traditionnelles». Certes comme l'a fait remarquer F. Bassine, l'étude des attitudes psychologiques n'épuise pas toutes les voies d'approche de l'inconscient dans la psychologie soviétique mais cette tendance est sans doute la plus éclairante et la plus féconde.

La notion de relations quant à elle concerne, selon Miassistchev, des modes d'existence essentiels de la personne dans le monde. Définissant, à bon droit, la névrose comme «un trouble des relations de l'individu, lié à des difficultés de l'existence», Miassistchev classe ces relations selon des domaines d'activité comme le travail, la collectivité, l'école etc..., mais, pour autant que les relations fondamentales d'un être, qu'elles consistent en déterminations conscientes ou inconscientes, s'expriment dans les formations les plus intimes de la sensibilité, il nous apparaît qu'il serait sans doute plus fécond de les envisager dans leurs rapports avec ces dernières ou pour employer le langage de J. Piaget avec les «schémes affectifs» qui leur correspondent.

A titre de modèles de relations fondamentales et tenant compte des indications de S. L. Rubinstein, concernant les registres des sentiments vécus, sn peut, à cet égard, distinguer, mais en admettant leur ancrage dans des otructures d'attitudes un niveau de sensibilité affectivo-émotionnelle concernant des sensations élémentaires et diffuses, relatives à l'état de l'organisme et à l'image du moi corporel; elles se présentent sous l'aspect des sentiments d'aise ou de malaise, mais peuvent se préciser plus ou moins comme une douleur ou un plaisir, un niveau de sensibilité objectivée (ou objectale?) liée à la perception des objets ou des personnes; c'est à ce niveau que se rencontrent des sentiments de peur qui sont liés à des objets particuliers et non immotivés comme le sont l'ennui et l'angoisse, au degré le plus élevé, se situent des sentiments de caractère généralisé qui correspondent aux registres les plus élevés et les plus personnels de la relation moi-monde, tels que le sentiment du réel que Janet a décrit comme le niveau le plus élevé de l'intégration perceptive.

C'est bien à un défaut de la synthèse perceptive que nous avons affaire lorsque le psychasthénique bien qu'il perçoive toutes les qualités de l'objet et qu'il soit capable de le reconnaître et de le manipuler, ne lui attribue pas cependant de réalité sensible. En d'autres termes la stimulation exercée par l'objet ne parvient pas à déclancher chez le sujet l'attitude de préparation au comportement qui seul est capable d'ébaucher ou d'évoquer les orientations cognitives, affectives et motrices qui confèrent à l'objet perçu son statut de réalité (des exemples d'altérations plus marquées de ces attitudes et de ces sentiments se rencontrent dans les cas de la catatonie de l'indifférence ou du désarroi du malade schizophréne).

C'est à des troubles similaires et de même niveau, que correspondent pensons nous, l'angoisse et la dépression, car, dans l'imminence de la mort ou de la folie, c'est l'existence même du sujet que l'angoisse met en cause et non pas sa santé ou l'intégrité de son corps, de même que la dépression représente non l'absence d'une espérance et d'un projet concrets mais un défaut global de projection vers l'avenir. Les niveaux ainsi décrits representent trois modes essentiels de l'organisation structurale de la personne.

Il est significatif qu'en psychologie génétique il soit décrit des stades semblables de l'ontogénèse du moi (J. Piaget H. Wallon et leurs élèves, L. N. Bojovitch, Elkonine) et que l'on rencontre par ailleurs, chez des auteurs dont les positions théoriques sont très éloignées des nôtres comme M. Scheller et M. Merleau Ponty, une notion de couches étagées de la personnalité ou de régions d'organisation de la personnalité comparables à notre modèle hiérarchique. On pourrait citer par exemple les catégories du eigenwelt, du mitwelt et du umwelte de Lersch et l'on pourrait aussi bien sans doute se référer à la distinction établie par Wernicke qui classifie les délires selon des orientations somatopsychiques, allopsychiques et egopsychiques.

C'est un fait également significatif, que le schéma à trois degrés de névroses que nous présentons ci-dessous correspond entièrement à la conception d'un philosophe comme A. Chérozia qui, étant l'auteur de la monographie sans doute la plus importante qui ait parue en Union Soviétique sur l'inconscient («De la conscience et du psychisme inconscient», t. I—II, Tbilisi, 1969, 1973) a formulé l'idée très proche de la conception que développe magistracement Henri Ey, idée qu'aucune théorie générale de la conscience ou de l'inconscience ne peut être élaborée si elle les considére indépendamment l'une de l'autre et en dehors d'un système unitaire et intégré de relations. «La conscience et l'inconsient écrit A. Chérozia constituent les caractéristiques de la personnalité dans un système global de trois sphéres de relations fondamentales à savoir relations vis à vis de soi, relations vis à vis d'autrui, relations vis à vis de la superpersonnalité». Ainsi la conscience et l'inconscience constituent des éléments pareillement solidaires de chacun de ces systèmes de relations et comme elles appartiennent à la personnalité elles émergent et entrent en fonction à travers ces systèmes par la médiation de l'attitude présente du sujet.

On sait que le schéma freudien de l'appareil psychique qui a le mérite indiscutable d'être le premier modèle compréhensif de la personnalité est is-

su des observations sur la psychopathologie des névroses dont les formes et la manifestation variées correspondraient à certaines modalités de rapport entre les instances ainsi qu'à leur impact sur les stades de fixation de la libido. Partant il apparait légitime de poser le problème de la validité de ce type de modèles en fonction de leur capacité à rendre compte de la phénoménologie des névroses. Aussi, tenterons-nous dans cette communication de montrer qu'à l'étape actuelle du développement de la psychologie, il est possible de proposer une interprétation des symptômes névrotiques qui s'appuie sur un autre modèle de la personnalité et une autre conception de la nature et des fonctions de l'inconscient.

Bien entendu nous sommes loin de méconnaître l'interêt des hypothèses de la psychanalyse sur la formation des symptômes ainsi que la richesse de certaines de ses interprétations. Il nous paraît cependant douteux que lors de l'élaboration secondaire du traumapsychique le choix du symptôme corresponde toujours à une finalité inconsciente et fort aventuré d'attribuer à tout symptôme une signification symbolique, qui tend à forcer l'interprétation des faits dans un sens conforme aux exigences et aux régles d'un système préconsu. Du reste Freud admettait, comme on sait, que si des symptômes individuels dépendent incontestablement des événements vécus par le malade, il est permis d'admettre que les symptômes «typiques» peuvent être ramenés à des événements typiques c'est à dire commun à tous les hommes. Malgré son vif intéret théorique je ne discuterai pas ici cette très importante question, mon propos se réduisant à attirer l'attention sur le caractére structural du symptôme principal caractéristique de chaque forme de névrose.

S'il est vrai que les modes de déstructuration de la personnalité et les formes dans lesquelles ils s'expriment, présentent un lien de principe avec les registres relationnels du moi, le modèle présenté doit nous permettre d'envisager la phénoménologie des névroses sous un aspect nouveau. Il permet en particulier, d'ordonner les rapports de la personne et de la névrose dans le tableau systématique suivant qui rassemble par catégories et répartit par niveaux toutes les formes admises dans la classification internationale de l'Organisation Mondiale de la Santé, aussi bien que celles en usage dans la psychiatrie soviétique laquelle demeure fidèle à la triade classique. Dans ce tableau il est également tenu compte des indications relatives à la proximité et à la parenté de certaines formes de névroses entre elles. Ainsi pour Janet l'obsession et la psychasthénie, pour H. Ey, la névrose d'angoisse et la névrose phobique, pour P. Pichot l'hypocondrie et l'hystérie de conversion.

Ce tableau est établi selon deux principes dont le premier consiste à regrouper toutes les formes de névrose sous le chapitre des trois formes classiques: psychasténie — hystérie — neurasthénie correspondant à un clivage physiopathologique en rapport avec le type d'activité nerveuse supérieure. Ainsi, le groupe des névroses hystériques comprendrait la névrose d'angoisse, la névrose phobique et l'hystérie de conversion qui relèvent d'une même structure pathodynamique et dont les affinités de terrain sont bien connues. Le groupe des névroses psychasthéniques engloberait le syndrôme de déréalisation-déper-

sonnalisation, la névrose obsessionnelle et la névrose hypocondriaque, qui impliquent la prédominance du même système, au sens pavlovien ou, en d'autres termes, d'un même fond caractériel. Enfin dans la catégorie des névroses neurasthéniques, prendraient place la dépression névrotique, la neurasthénie proprement dite et la névrose d'organe.

		Structure Pathodynamique		
		Psychasthénique	Hystérique	Neurasthénique
STRUCTURE RELATIONNELLE	Relations Moi-monde	Syndrome de déréalisation-dépersonnalisation	Névrose d'angoisse	Névrose dépressive
	Relations objectales	Névrose obsessionnelle	Névrose phobique	Neurasthénie
	Relations au corps propre	Hypocondrie	Hystérie	Névrose d'organes

Le second principe qui commande notre classification conduit à situer les névroses en fonction des trois niveaux de relation. De ce point de vue, hypocondrie, hystérie et névrose d'organe correspondraient à un trouble des relations avec le corps propre; névrose obsessionnelle, phobie et neurasthénie, à la pathologie des relations objectales, le syndrome de déréalisation-dépersonnalisation, la névrose d'angoisse et la dépression névrotique, à l'altération des relations moi-monde. Au plan de ce registre le plus élevé, les tableaux cliniques sont ceux de la perte, ou du sentiment du réel ou du sentiment de sécurité ou de cette perspective temporelle qui est inséparable de la disposition à agir de l'être humain comme l'ont clairement mis en évidence les analyses phénoménologiques que l'on doit à Binswanger et à Minkowski.

Il y a lieu de noter que dans cette sorte de table de Mendeleev dont nous présentons l'esquisse, il est une case (à l'intersection de la colonne verticale de la neurasthénie et de la rangée horizontale des manifestatitons névrotiques liées à la pathologie des relations avec le corps) où, conformément à l'hypothèse d'ensemble qui commande notre classification il doit se situer une forme de névrose possédant une structure propre définie par cette double détermination. Nous y avons placé la névrose d'organe qui ne figure pas dans la nomenclature de l'Organisation Mondiale de la santé. (Rapellons que dans la dernière révision de la classification internationale des maladies, la rubrique «Névrose» qui correspond au chiffre 300, comprend les sous-rubriques suivantes: 300. O Névrose d'angoisse, 300. 1 Névrose hystérique, 300. 2 Névrose phobique, 300. 3 Névrose obsessionnelle, 300. 4 Dépression névrotique, 300. 5 Neurasthénie, 300. 6 Syndrome dépersonnalisation, 300. 7 Hypocondrie névrotique, 300. 8 Autres névroses, 300. 9 Névrose sans précision). Nous nous trouvons ainsi placés devant un dilemme, ou bien il n'est pas vrai qu'il existe

une forme de névrose du type de la neurasthénie et dont le tableau clinique relève de la pathologie des relations avec le corps ou bien cette forme existe vraiment mais il s'agit alors de rendre compte du fait qu'elle ne soit pas représentée dans la nomenclature internationale, c'est à ces questions que nous tenterons maintenant de répondre.

Il n'est pas douteux que bon nombre de cas étiquetés hypocondrie présentent des traits communs avec la psychasthènie que l'on tend aujourd'hui a confondre plus ou moins ou plus précisément à fondre avec la névrose obsessionnelle. Bon nombre d'auteurs et parmi eux Henri Ey, Mayer Gross, Rokhline, Zourabachvili, ont montré qu'entre les troubles psychosensoriels avec altération du moi somatique et l'hypocondrie qui en serait comme une forme abortive, il y a des dissemblances cliniques qui correspondent à des manifestations hirérarchiquement ou caractérologiquement différentes. Dans la phénoménologie des états hypocondriaques, note Mayer Gross on trouve outre des signes de névroses d'angoisse, des traits de personnalité obsessionnelle plus ou moins marqués. «La tendance obsessionnelle de ces patients les conduit à rechercher un état de santé plus assuré sans jamais se sentir satisfaits de leur état. Leur compulsion à ressasser et à ruminer les idées, leur incapacité de se débarasser de pensées prévalentes les rend particulièrement vulnérables au développement de l'hypocondrie qui représenterait ainsi à sa façon cette mystérieuse extension du psychique au corporel qui selon Freud manquerait à la névrose obsessionnelle.

Qu'il y ait une véritable parenté entre l'obsession et l'hypocondrie Henri Ey l'indique nettement dans l'une de ses études psychiatriques, où il rappelle que la psycho-névrose obsessionnelle se manifeste fréquemment par des obsessions d'ordre hypocondriaque: nosophobie, folie du toucher, obsessions et phobies portant sur l'activité génitale, les fonctions organiques, la tuberculose, le cancer, les infections microbiennes etc: Dans ce cas l'hypocondrie est concentrée sur un seul thème ou quelques thèmes seulement et engendre tout le cérémonial habituel de protection, de défense et de lutte contre l'obsession reconnue comme telle. D'autre part, elle n'est que l'expression d'un type de pensée morbide «compulsionnelle» marquée du sceau d'une contrainte incoercible et vertigineuse. Dans son étude consacrée aux névroses où il rapproche de manière très pertinente l'hypocondrie de l'hystérie de conversion et des névroses psycho-somatiques sous le chapitre des «névroses à manifestations somatiques» P. Pichot a souligné également l'importance de l'anxiété et de la préoccupation constante dans l'hypocondrie.

Ces rapprochements entre la névrose obsessionnelle et l'hypocondrie s'imposent effectivement si l'on songe combien sont voisines et se pénétrent un l'autre ces deux complexes de symptômes concernant les rapports du corps et de la maladie. L'obsédé est tourmenté par la crainte qu'un corps étranger ou des forces maléfiques et invisibles porteuses de maladies ne franchissent les limites de son corps et ne le pénétrent et l'investissent. Chez les malades atteints d'hypocondrie tout se passe comme si la limite était franchie et comme si les agents dangereux étaient déjà dans la place et développaient à l'inté-

rieur du corps les germes morbides dont ils sont porteurs. On peut dire plus brièvement que si chez l'obsédé il y a peur d'être pénétré par un corps étranger, il y a chez l'hypocondriaque le sentiment que l'objet menaçant (cancer, syphilis, tuberculose) a détruit l'intégrité du corps, atteint les centres les plus délicats, les plus intimes, les plus mystérieux du corps propre.

Mais peut on dire que tous les tableaux cliniques de l'hypocondrie se rapportent à cette forme de névrose. Il existe toute une série de faits qui permettent de considérer l'hypocondrie sous l'angle bien different de ses similitudes et, pour ainsi dire de ses affinités avec la neurasthénie en particulier comme l'on montré Istmanova et Apter indépendamment l'un de l'autre, en raison d'une identité du terrain prémorbide qui selon la conception typologique de Pavlov correspond au type intermédiaire, type faible et impulsif d'activité nerveuse supérieure, on sait que pour le grand physiologiste comme pour ses éléves (Birman et Ivanov-Smolenski entre autres) il y a lieu de distinguer différentes formes de neurasthénies parmi lesquelles il en est une qui s'accompagne de troubles de fonctions végétatives particulièrement marqués lesquels se fixent souvent dans l'un des systèmes où l'un des organes internes. Tout se passe comme si en raison de la faiblesse de l'inhibition interne les malades se mettaient à ressentir et à percevoir des stimulations interoceptives et proprioceptives qui passent inaperçues lorsque les processus neurodynamiques se trouvent dans un état normal. (une autre parmi les formes décrites correspond au tableau clinique de la dépression névrotique).

C'est pour des raisons identiques que selon A. A. Portov et D. D. Fedotov il se produirait des sensations désagréables comme celles qui se manifestent dans la région précordiale ou dans la région de l'hypocondrie sous forme de tachycardie ou de pesanteur gastrique de même que ce serait la perception d'impulsions venues des viscères ou de leurs gaines qui rendrait compte des douleurs persistantes comme celle du «casque neurasthénique» qui semble recouvrir très exactement le territoire de l'aponévrose cranienne.

C'est de même au chapitre de la neurasthénie, que, dans un ouvrage récent consacré aux névroses et à leurs traitements, A. M. Sviadoch traite des troubles du fonctionnement des organes internes dont la description correspond trait pour trait à celle de l'hypocondrie, il s'agit ici des troubles des fonctions végétatives qui apparaissent au cours des états névrotiques et qui s'expriment essentiellement sous forme de troubles du rythme cardiaque, de sensation de piqure ou de douleurs aigues dans la région précordiale, de troubles respiratoires chez des sujets dont les cardiogrammes et les examens cliniques montrent une parfaite intégrité du système cardiovasculaire. Kreindler, enfin dans sa classique monographie ne décrit-il pas l'hypocondrie mineure comme une forme de la «névrose asthénique».

C'est précisement dans ce même cadre que se situent les névroses d'organes dont la nature est si intimement liée à la notion de cette hypocondrie neurasthénique décrite pas Kreindler. Cette notion fort proche des anciennes névroses végétatives a été récemment remise en vogue par différents chercheurs comme Miassistchev, Apter, Karvassarski et d'autres. Sous le nom de névrose de système ces auteurs décrivent une forme autonome de névrose où l'un

des systèmes neuro-viscéraux de l'organisme subit une altération fonctionnelle qui se manifeste sur un fond d'anxiété et de crainte relative à la santé mais précisons le avec Miassistchev et H. Ey la névrose de système ou d'organe est une affection qu'il convient de distinguer des maladies psycho-somatiques lesquelles, quoique psychogènes, ne sont nullement névrotiques.

Les considérations que nous venons d'exposer prennent leur sens à la lumière d'une approche personnologique qui distinguerait deux formes séparées de l'hypocondrie. L'une qui serait la névrose hypocondriaque proprement dite et dans cette dernière les troubles à prédominance psychosensitives, les parasthésies, les sensations sénesthopatiques sont élaborées dans le deuxième système de signalisation devenant l'objet de préoccupations obsessionnelles et entrainant une estimation pessimiste qui met en cause la santé de l'individu au niveau de l'avoir. L'autre correspondant à ce qu'il est maintenant convenu d'appeller la névrose d'organe (névrose de système des auteurs soviétiques) où prédominent l'inquiétude et la fixation anxieuse sur des troubles psycho-viscéraux qui se manifestent essentiellement dans le domaine de la sensibilité douloureuse de la dysfonction et de la désautomatisation lesquelles s'accompagnent de récréminations neurasthéniques et d'une angoisse qui semble mettre en cause l'intégrité de la personne au niveau de l'être.

En un mot, il existerait deux formes autonomes de névroses hypocondriaques, l'une proche de la névrose obsessionnelle et c'est la névrose hypocondriaque proprement dite, l'autre voisine de la névrose neurasthénique et c'est la névrose d'organe ou de système. Ce qui établit entre elles une similitude et même une ressemblance qui expliquent la fréquente assimilation de l'une par l'autre dans les systématisations proposées jusqu'ici, c'est qu'elle relèvent toutes deux de la pathologie des relatlions du sujet avec le corps.

S'il en est ainsi comment expliquer que ni le terme de névrose d'organe (ou de système) ni celui de névrose végétative (ou dystonie neuro-végétative) dont il était fait autrefois un usage si répandu, ne figurent dans la nomenclature internationale. Il nous semble que cette omission qui, si elle était fondée opposerait un argument de poids à notre spéculation, devient tout à fait intelligible et même légitime dès lors que l'on aperçoit que le syndrome d'hypocondrie neurasthénique que ces termes recouvrent, s'y trouve, sous l'influence de conceptions inspirées de la psychanalyse, subsumé dans la rubrique des «troubles somatiques supposés d'origine psychogène» (305) rubrique dans laquelle on confond abusivement des maladies psychosomatiques proprement dites que traite le praticien de médecine générale ayant reçu une formation psychologique et des névroses d'organes qui seules relèvent de la psychiatrie. Ajoutons enfin que la répartition que nous proposons ici n'a de valeur qu'à titre d'hypothèse et de schéma explicatif car il va de soi que l'observation quotidienne nous met dans la majorité des cas en présence de formes mixtes ou de transition où se mêlent le plus souvent et se confondent même quelquefois des symptômes de différents types. Si l'on admet ces points de vue, notre conception se trouvera pensons nous, suffisamment appuyée sur la réalité clinique pour mériter d'être prise en considération et discutée.

Ainsi en envisageant le problème des formations structurales de la personnalité, du point de vue de la théorie de l'attitude et de la notion de relations, il apparaît possible d'établir une systématique cohérente des névroses qui rende compte de la phénoménologie des manifestations cliniques, et du clivage des symptômes principaux non selon les critères, psychanalytiques, mais par le jeu de facteurs qui ressortissent du type de la structure psychophysiologique et du niveau d'intégration des relations existentielles de la personne.

183

О СУЩЕСТВОВАНИИ НЕОСОЗНАВАЕМЫХ НЕГАТИВНЫХ МОТИВАЦИЙ И ИХ ПРОЯВЛЕНИИ В ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА

В. А. ФАЙВИШЕВСКИЙ

Психоневрологический диспансер № 11, Москва

В настоящем сообщении мы рассмотрим вопрос о возможности существования у человека неосознаваемых мотиваций, которые могут играть важную роль в его поведении. Мы полагаем, что вследствие наличия в мозгу особых структур, специальной функцией которых является формирование положительных и отрицательных эмоций, и вследствие свойства некоторых физиологических систем выполнять специализированные функции автономно, у человека существуют неосознаваемые влечения к поиску ситуаций, в которых эти физиологические системы получали бы адекватную стимуляцию. Говоря иными словами, мы предполагаем, что у человека существуют неосознаваемые влечения к получению не только положительных, но и отрицательных эмоций и что эти влечения в трансформированном виде широко проявляются в человеческом поведении.

До сравнительно недавнего времени изучение мотивов как внутренних побуждений к поведению являлось прерогативой «чистой» психологии. Обсуждаемое на языке этой науки понятие мотива стало включать в себя столь разнородные явления (например, биологические влечения и социальные идеалы), что потеряло свою определенность и стало казаться бесперспективным для физиологического исследования. Обнаружение в мозгу функционально-анатомических образований, регулирующих специфические витальные потребности организма (голода, сексуального поведения и т. п.), пролило, однако, определенный свет на вопрос о физиологическом субстрате мотиваций и эмоций. Появились основания думать, что деятельность именно этих «центров» биологических потребностей непосредственно определяет поведение животного, направляя его на удовлетворение возникшей потребности, и это удовлетворение само по себе сопровождается чувством удовольствия, подкрепляющим соответствующие действия. С другой стороны, считалось, что факторы, угрожающие жизни животного (боль как сигнал опасности, голод) вызывают неприятные ощущения, сопровождающиеся отрицательными эмоциями, которые становятся основой для мотиваций избегания.

Разработка вопросов физиологии мотиваций была особенно углублена после известных экспериментов Дж. Олдса и П. Милнера с самораздражением [39—42], в которых было показано существование в мозгу млекопитающих, включая человека, особых физиологических систем положительной и отрицательной мотивации, или, по терминологии других авторов, «центров положительного и отрицательного подкрепления» [10], «поощрения и наказания» [11] и т. п., стимуляция ко-

торых по видимым признакам доставляла животным удовольствие, либо, напротив, интенсивные неприятные ощущения.

Хотя точки мозга, стимуляция которых вызывает у животных самораздражение, подчас топически совпадают с центрами специфических потребностей. и реакции того и другого типа можно получить от одних и тех же электродов, эти эффекты можно и разобщить, изменяя параметры раздражающих воздействий [10]. В клинике также известны такие формы патологии, при которых удовлетворение потребности разобщено с эмоциональной окраской этого процесса (возможность полового акта без соответствующих ощущений у больных с повреждениями спинного мозга [43]; резкое снижение ощущения удовольствия при патологии септальной области мозга [28—31]; отсутствие аппетита при глубоком истощении организма при anorexia nervosa). Даже ощущение боли не вполне тождественно эмоции страдания: после фронтальной лоботомии больные иногда испытывают своеобразное облегчение, отмечая, что «боль осталась такой же сильной, но беспокоит меньше, чем до операции» [10].

Все эти факты позволяют сделать вывод о том, что удовлетворение биологических потребностей или ощущения от непосредственного воздействия раздражителя *сами по себе могут не иметь эмоционально-чувственного знака*. Этот знак придает им, по-видимому, *особый физиологический аппарат общей мотивации*, специальная функция которого заключается в формировании эмоциональных ощущений удовольствия и страдания. Есть основания полагать, что подкреплением, сопровождающимся положительными эмоциями, могут быть любые процессы в организме, которые вызывают либо снижение активности системы отрицательной мотивации (СОМ), либо повышают активность системы положительной мотивации (СПМ). Тем не менее, аппарат общей мотивации тесно связан с деятельностью центров, регулирующих витальные потребности, по-видимому, таким образом, что удовлетворение какой-либо потребности сопровождается активацией СПМ, а восприятие биологически вредных стимулов активирует деятельность СОМ.

Эта связь, как и сам аппарат общей мотивации, возникли в эволюции именно для создания внутреннего побуждения к активности, к действиям, направленным на выживание и воспроизводство животных и для эмоционального подкрепления соответствующего поведения. Вместе с тем, самостоятельное существование особого аппарата общей мотивации обусловливает принципиальную возможность его функционирования и вне связи с деятельностью центров специфических потребностей. Эта потенциальная возможность может реализоваться в случаях, когда системы общей мотивации окажутся лишенными активирующей импульсации со стороны центров специфических потребностей, что может иметь место в ситуации полного удовлетворения этих потребностей и устойчивой безопасности организма. В этих условиях данные системы, по существу, окажутся в состоянии сенсорной депривации. Если для животных такие условия не являются типичными, то для человека, обитающего в созданной им искусственной среде и не занятого непрерывной деятельностью по обеспечению удовлетворения первичных потребностей и безопасности, они составляют скорее правило, чем исключение.

Ниже мы попытаемся рассмотреть, какие последствия для поведения человека может иметь сенсорная депривация систем общей мотивации со стороны центров витальных потребностей, однако сначала по-

пытаемся уточнить, как проявляется изолированная деятельность СПМ и СОМ, в чем заключается «чистое» наслаждение и «чистое» страдание, когда они не окрашены влиянием конкретных стимулов, вызывающих их. Ответы на эти вопросы можно получить из двух источников. Один из них — наблюдение за психопатологическими состояниями, проявляющимися в эмоциональных расстройствах при так называемых «аффективных» психозах. Эмоциональные нарушения, выражающиеся в повышенном настроении — от эйфории до маниакального состояния, наблюдаются при циклотимии и маниакально-депрессивном психозе во время маниакальных фаз. Следует отметить, что, наряду с повышенным настроением, у таких больных наблюдается также повышение сексуальных влечений. Ситуационно необусловленные эмоциональные состояния противоположного знака наблюдаются иногда при затянувшихся неврозах, депрессивных фазах маниакально-депрессивного психоза, при инволюционной депрессии и ряде других психических заболеваний. Эмоциональные расстройства при этих заболеваниях проявляются в выраженных в различной степени тревоге, страхе, тоске.

Другим источником сведений о сущности «чистых» положительных и отрицательных эмоциональных переживаний являются результаты экспериментов, в которых производилась стимуляция различных подкорковых структур мозга у человека [5; 9; 14; 20; 28—33; 47]. Ощущения эмоционально-положительного тона выражаются у людей при стимуляции их мозга в повышении уровня бодрствования или, напротив, в приятной расслабленности, легкой эйфории, доброжелательности к окружающим; иногда развивается гипоманиакальное состояние. Вызываемое такой стимуляцией повышенное настроение часто сопровождается сексуальным возбуждением. Эмоциональные переживания отрицательного тона, возникавшие при стимуляции некоторых структур мозга, проявляются в ощущении внутреннего напряжения, в безотчетной тревоге, страхе; иногда возникают чувства враждебности, гнева, ярости.

В ряде экспериментов было показано, что возникновение эмоционально-положительных ощущений различного генеза сопровождается однотипными характерными изменениями ЭЭГ (наиболее выраженными, по данным авторов, в отведениях от септальной области мозга — той самой, стимуляция которой вызывала у пациентов наиболее сильное чувство удовольствия [20; 31]). Такие изменения ЭЭГ возникали, в частности, при курении марихуаны, сопровождавшемся удовольствием, которое не связано с удовлетворением никаких витальных потребностей. Этот факт лишний раз подчеркивает, что ощущение удовольствия связано с активацией особого нейронального аппарата, специализированного именно для создания этого эмоционального состояния, а не с непосредственной активацией центров специфических потребностей.

Итак, изложенные выше данные свидетельствуют о том, что в мозгу существуют две нейрональные системы, специальная функция которых заключается в придании положительного или отрицательного эмоционального знака нервным процессам, протекающим в мозгу и сопровождающим жизнедеятельность и поведение организма. Рассмотрим некоторые физиологические аспекты деятельности этих систем и возможные последствия их сенсорной депривации.

Являясь нейрональными образованиями, эти системы общей мотивации должны функционировать согласно, по крайней мере, самым

общим и основным законам деятельности нервных элементов вообще. Одним из таких наиболее фундаментальных свойств нейронов является их возбудимость. Она заключается в том, что в результате спонтанной деятельности внутриклеточных механизмов нервные клетки постоянно вырабатывают энергию, которая аккумулируется в виде разности электрических потенциалов между внутренней и наружной поверхностями мембраны клетки (состояние деполяризации нейрона). Эта энергия высвобождается в виде нервного импульса, когда деполяризация мембраны достигает определенной критической величины, которой и измеряется порог возбудимости нейрона. В работающем нейроне дополнительная энергия, деполяризующая его до порогового уровня, доставляется по нервным проводникам в виде нервного импульса, являющегося для данного нейрона разрешающим раздражителем. При отсутствии внешнего раздражителя, как показывают экспериментальные данные [23], нейроны время от времени разряжаются спонтанно. Таким образом, импульсная активность нервных клеток является неотъемлемым их свойством и, возможно, обязательным условием их существования.

В нервной системе целенаправленное распределение потоков импульсации к пунктам назначения обеспечивается наличием аппарата фильтрации, пропускающего закодированную в импульсах информацию, соответственно ее значению, к тем или иным нейронам. Однако, как было установлено исследованиями А. А. Ухтомского [16], при сниженном пороге возбудимости нейронов (создаваемом их субпороговым раздражением) последние могут реагировать разрядами на стимуляцию иной, чуждой им модальности, «привлекая» к себе импульсы, предназначенные для других функциональных систем, и становясь, таким образом, доминантными очагами. Мы предполагаем, что аналогичное состояние повышенной возбудимости может возникать в нейронах и вследствие спонтанно увеличивающейся деполяризации их мембран до критического уровня при отсутствии адекватных внешних импульсов, которые могли бы высвободить накопившуюся в этих нейронах энергию.

Проявления вышеупомянутых следствий сензорной депривации нейронов можно наблюдать в особых условиях у людей. Так, по-видимому, именно спонтанной импульсацией депривированных нейронов перцептивных систем обусловливаются такие явления, как зрительные галлюцинации Шарля Боннэ у слепых [18], слуховые галлюцинации у глухих [19], фантомные ощущения ампутированных конечностей и т. п. Сензорное голодание перцептивных систем может становиться мотивационным фактором и направлять поведение на удовлетворение потребности в стимуляции депривированной системы. Например, для крыс возможность побегать во вращающемся колесе служит хорошим подкреплением [35]; обезьяны тратили тем больше усилий, чтобы добиться возможности рассматривать цветные слайды, чем дольше их до этого содержали под непрозрачным колпаком [37]. Однако нас в аспекте настоящего изложения более всего интересует вопрос о том, какие последствия может иметь сензорная депривация систем общей мотивации, то есть СПМ и СОМ.

Что касается СПМ, то, очевидно, при удовлетворении витальных потребностей эта система, не получая импульсации со стороны заторможенных центров соответствующих потребностей, должна оказаться в состоянии сензорного голодания с вытекающим отсюда снижением

порога возбудимости своих нейронов. Такое состояние является характерным для человека в обычных (неэкстремальных) условиях жизни.

Согласно теории Тинбергена [48; 49], выдвинутой им для объяснения инстинктивного поведения, но, как мы полагаем, применимой и к более широкому кругу явлений, в нервных центрах происходит накопление мотивационной энергии (согласно нашим представлениям — в форме деполяризации нейронов систем общей мотивации) до тех пор, пока эта энергия не будет высвобождена разрешающим импульсом, исходящим от объекта-цели или вознаграждения. Если такого импульса не поступает, то может (по Тинбергену — у животного) возникнуть искаженная или неполная форма реакции, когда мотивационная энергия «пробивает» себе путь — так называемые реакции «заполняющей» деятельности. Согласно модели Тинбергена, у человека в условиях торможения (вследствие «насыщения») центров витальных потребностей энергия, накапливающаяся в депривированной вследствие этого СПМ, должна была бы высвобождаться лишь посредством «заполняющей» деятельности. Однако деятельность человека, если даже она по своему физиологическому механизму является «заполняющей» (по терминологии Тинбергена), все же не может быть бессмысленной. Это обусловлено тем, что сформировавшиеся в эволюции разум и сознание, являясь высшими функциями мозга, играют по отношению к эволюционно низшим функциям интегрирующую роль, подчиняя поведение человека принципу, который Ф. В. Бассин называет «законом смысла» [3; 4]. Отсюда, у человека (в норме) спонтанно возникающее общее влечение к эмоционально положительным переживаниям может быть реализовано только в форме стремления к цели.

Мы полагаем, что состояние сензорного голодания СПМ, сопровождающееся спонтанным повышением возбудимости нейронов этой системы, порождает у человека поиск внутренней модели такой ситуации, в которой может быть получена адекватная реальная стимуляция данной системы («мечты»). Предвкушение реализации этой модели психологически ощущается как предвкушение «счастья». Хотя это переживание, обусловленное депривацией нейронов СПМ, является, в сущности, психологическим фантомом, тем не менее оно служит сильным стимулом для предпринятия деятельности, направленной на реализацию этой модели, приобретающей доминантное значение и становящейся целью. При этом подкрепляющим фактором, вызывающим всплеск импульсации нейронов СПМ, может являться, как полагает П. К. Анохин [1; 2], совпадение внутренней модели действия с его результатами («акцептор действия»).

Таким образом, наличие аккумулированной энергии, проявляющейся в виде потребности в положительных эмоциональных переживаниях, является, как мы полагаем, одним из неосознаваемых мотивационных факторов, побуждающих человека ставить перед собой цели для того, чтобы получить такие переживания при достижении этих целей. Хотя, как мы заключили, стремление ставить перед собой цели в какой-то степени обусловлено у человека факторами биологическими, однако целью для него может стать только то, что в соответствии с его представлениями имеет характер ценности. Поэтому выбор целей человеком отнюдь не случаен и определяется полностью факторами социальными, как внешними, предоставляющими возможности для выбора цели, так и интериоризованными, заключенными в комплексе личностных качеств индивидуума — его развитости, уровне сознания, системе нравственных критериев.

Выше мы отметили факты, указывающие на наличие обильных связей между СПМ и центрами полового поведения. Представляется весьма вероятным, что в общем потоке активирующей импульсации, поступающей в СПМ, доля влияний, исходящих от центров полового поведения, значительна. Отсюда легко представить, что выключение влияний, исходящих от этих центров, может заметным образом усилить сензорное голодание СПМ. Такая ситуация может возникнуть при снижении физиологической активности центров сексуальных потребностей либо вследствие гормональных изменений, либо при исчезновении либидо в результате тормозящего влияния психологических факторов. При этих обстоятельствах можно ожидать появления неосознанного поиска компенсирующей активации СПМ («заполняющая деятельность») со стороны других функциональных систем, что при достаточно высоком уровне развития личности может проявляться в повышении творческой или социально-общественной активности. В связи с этим заслуживает внимания то представляющееся парадоксальным обстоятельство, что так называемый период «расцвета творческих сил» иногда наступает в период инволюции. Мы предполагаем, что, возможно, именно такой механизм неосознанного поиска компенсирующей активации для СПМ при дефиците активации ее со стороны сексуальных центров, то есть при отсутствии либидо, лежит в основе тех фактов, которые З. Фрейд интерпретировал как «сублимацию либидо». Можно думать, что лишение притока импульсации к СПМ со стороны любого другого центра специфических потребностей может иметь следствием такой же компенсаторный поиск активации этой системы за счет оживления активности иных функциональных систем.

Что касается системы отрицательной мотивации (СОМ), то ход наших рассуждений приводит нас к заключению, что при отсутствии адекватной импульсации (несущей информацию об опасности) эта система также должна оказываться в состоянии сензорной депривации со всеми вытекающими отсюда следствиями: ее нейроны, не получая разрешающих раздражений извне, должны спонтанно разряжаться, генерируя импульсы, которые формируют отрицательные эмоции, а длительное пребывание этой системы в состоянии сензорного голодания должно порождать потребность в получении какого-то оптимума адекватных раздражений. Говоря иными словами, мы вынужденно приходим к парадоксальному, на первый взгляд, заключению о том, что сензорная депривация СОМ создает потребность в отрицательных эмоциях, вызывает стремление к ним — к тревоге, страху и т. п., то есть к страданию.

Здесь напрашивается, однако, вопрос: имеют ли место подобные явления в реальности?

Начнем рассмотрение интересующего нас состояния сензорной депривации СОМ с тех случаев, когда оно создавалось в стандартизированных условиях и наблюдалось психологами и врачами. Речь идет об исследованиях здоровых людей в сурдокамере, проводившихся при подготовке космонавтов [8]. В этих экспериментах исследуемые лица находились в условиях, обеспечивающих им удовлетворение основных витальных потребностей, безопасность и неизменность их судьбы на определенное время. Наиболее ранние и общие изменения состояния исследуемых лиц в этих экспериментах, по многочисленным данным [8; 44], заключались в эмоциональных расстройствах, выражавшихся в угнетенном настроении, тревожности, доходившей иногда до паники, причем эти состояния самими испытуемыми обычно расценивались как

иррациональные, непонятные для них. Согласно нашим предположениям, возникновение таких состояний обусловливается спонтанной импульсацией нейронов депривированной СОМ.

Представляют интерес эксперименты с содержанием испытуемых в условиях нестрогой, в основном двигательной депривации, когда им, во избежание общего сензорного голода и изоляции, предоставлялась возможность смотреть телевизор, слушать музыку, радио, беседовать с посещавшими их друзьями [7; 13]. При этом у испытуемых часто наблюдались патологические формы амбивалентности эмоций, когда в течение дня неоправданно радужное настроение сменялось умеренной депрессией и, наоборот, депрессия — эйфорией. Особенность этих экспериментов по сравнению с упомянутыми выше состояла, по-видимому, в том, что в них создавалась еще более выраженная и, возможно, равновесная депривация СПМ и СОМ. При этом, по нашему мнению, вследствие случайных (или закономерно периодических?) колебаний уровня сензорного голодания обеих мотивационных систем и связанного с этим временного преобладания спонтанной импульсации одной из них у испытуемых генерировалось эмоциональное состояние соответствующего знака.

По-видимому, и в обычной жизни различный баланс возбудимости СПМ и СОМ может обусловливать различное эмоциональное восприятие разными лицами сходных ситуаций.

Аналогичные явления немотивированной тревоги, объясняемые нами спонтанной импульсацией депривированных нейронов СОМ, нередко наблюдаются в обычной жизни, когда у человека на фоне объективно благополучного периода в его судьбе возникает смутное необъяснимое беспокойство. За отсутствием реальных причин для этого и вследствие неосознанной интеллектуальной обработки (рационализации) это беспокойство часто проецируется на будущее в виде тревоги за свою дальнейшую судьбу, за свое здоровье или за здоровье близких. При этом маловероятные возможные случайности субъективно оцениваются как весьма вероятные, почти неизбежные. В таком состоянии утрачивается чувство временной дистанции, и отдаленное будущее, актуализируясь, ощущается как непосредственно близкое.

В наиболее выраженной форме все это проявляется у лиц с так называемым психастеническим характером, физиологической основой которого, возможно, отчасти является повышенная возбудимость СОМ. Есть основания предполагать, что этой тревогой, проецирующейся на будущее, обусловлено, по крайней мере отчасти, возникновение ряда суеверно-религиозных обрядов, направленных на обеспечение благополучного будущего. Не этой ли спонтанной тревогой, закономерно возникающей у многих людей в обстановке благополучия, было порождено древнее поверье о том, что «боги завидуют человеческому счастью», в соответствии с которым императоры древнего Рима ритуально просили на улицах города подаяние? Не является ли одной из психологических основ ритуала жертвоприношений и обетов неосознанная внутренняя потребность снизить тревогу, обусловленную депривацией СОМ, за счет невольной горечи, вызванной реальной потерей — жертвой?

Из житейских (а психиатрам — из клинических) наблюдений известно, что нередко после резкого окончания периода длительных неприятностей вместо ожидаемого облегчения возникает неожиданное и непонятное острое чувство тревоги со сниженным настроением. Порой такие состояния приобретают характер заболевания — неврозов (нев-

растения), а у некоторых лиц такие неврозы, кроме сниженного настроения и тревожности, проявляются также в виде повышенной раздражительности, вспышек гнева по незначительным поводам. Распространенное объяснение описанных состояний «истощением» нервной системы в результате ее «перегрузки» мало что объясняет, поскольку неясно, что, собственно, «истощается», в чем заключается это истощение и почему оно наступает именно после окончания трудностей. Нам представляется более рациональным иное объяснение. Мы полагаем, что такие состояния возникают вследствие усиления импульсации нейронов СОМ, оказавшихся при изменившихся (к лучшему!) условиях в состоянии относительного сензорного голодания, создавшегося в результате их сенсибилизации в период предшествующей трудной ситуации.

Сенсибилизация СОМ может создаваться двумя физиологическими механизмами, возможно, действующими одновременно. Один из них — это последовательная индукция, в силу которой нейроны СОМ после завершения интенсивной деятельности еще некоторое время остаются повышенно возбудимыми. Другой механизм может заключаться в том, что активирующаяся в период психологически трудной ситуации СОМ запускает в действие стрессорный аппарат гипоталамо-гипофиз-надпочечниковой системы. Стрессорное состояние, обычное при психологических нагрузках, сопровождается повышенным выделением в кровь гормонов коры надпочечников, в том числе стероидных, которые обладают так называемым пермиссивным действием [12]. Оно заключается в потенцировании активности медиаторов нервной системы, в повышении чувствительности к ним нейронов и особенно ярко выражено в структурах гипоталамо-лимбической области, где преимущественно и расположены нейроны систем общей мотивации. По прошествии стрессорной ситуации содержание стрессорных гормонов в организме может еще некоторое время оставаться повышенным, обусловливая этим повышенную возбудимость нервной системы, в частности (а может быть и в особенности) нейронов СОМ. (Здесь, кстати сказать, заложена возможность образования порочного круга вследствие того, что повышенно возбудимые, вследствие влияния стрессорных гормонов, нейроны СОМ продолжают поддерживать стрессорное состояние, стимулируя дальнейший выброс большого количества сенсибилизирующих их гормонов коры надпочечников, замыкая таким образом цепь самоподдерживающегося патологического состояния и обусловливая тем самым протрагированное течение невроза).

Что касается упомянутых выше проявлений невротического состояния в виде повышенной взрывчатости больных, то мы расцениваем такие реакции как разновидность «заполняющей деятельности», при которой происходит неосознанный поиск разрешающих стимулов для высвобождения энергии, накопленной в депривированных нейронах СОМ, и эти стимулы обретаются посредством бессознательной провокации конфликтных ситуаций. Сходный механизм, по нашему мнению, определяет капризное поведение избалованного ребенка или самодурство высокопоставленного лица, у которого СОМ испытывает сензорный голод вследствие отсутствия неприятного чувства серьезной ответственности.

Итак, как показывают приведенные примеры, СОМ, лишенная адекватной стимуляции, то есть в отсутствие безусловноотрицательных внешних воздействий, способна спонтанно продуцировать эмоционально-негативные переживания, причина которых для субъекта остается

неосознанной. Рассмотрим теперь вопрос о том, возможно ли, чтобы вследствие сензорной деприВации СОМ возникало влечение к неприятным переживаниям. Для решения этого вопроса обратимся к так называемому исследовательскому поведению у животных, заключающемуся в стремлении животного ознакомиться с обстановкой, в которой оно находится. Так, чтобы добраться до лабиринта, содержащего разнообразные предметы, крысы преодолевают препятствия, например перебегают решетчатый пол, к которому подведен ток. Это поведение не связано непосредственно с пищедобывательной деятельностью, так как оно проявляется только при условии, что животные сыты, — голод, напротив, уменьшает исследовательскую активность [21]. Хотя фактор новизны ситуации во многом определяет исследовательскую активность животных, однако исследовательское поведение в значительной степени перекрывается реакцией страха, возможно потому, что новизна и страх сопряжены друг с другом ориентировочной реакцией. Некоторые исследователи [27] даже предполагают, что крысы исследуют те или иные ситуации именно потому, что они вызывают слабый страх, и утверждают, что исследовательское поведение более тесно коррелирует со страхом, чем с новизной. По-видимому, все же справедливо то мнение, что небольшие изменения окружающей среды вызывают у животных исследовательское поведение, а значительные — реакцию страха [17]. Мы считаем возможным предположить, что непосредственным физиологическим механизмом, обусловливающим у животных влечение к страху, является бессознательный поиск оптимальной стимуляции деприВированной (в комфортных условиях сытости) системы отрицательной мотивации.

Существует ли, однако, влечение к отрицательным эмоциям, например, к страху, у человека? Во многих случаях поведение человека бывает таково, что с внешней стороны его невозможно объяснить ничем, кроме как интенсивным влечением к опасности. Вспомним лермонтовского Вулича, спускавшего курок заряженного пистолета у своего лба с целью испытать судьбу: будет выстрел или нет? Вспомним завзятых дуэлянтов минувших времен и скандалистов времен нынешних, средневековых рыцарей, блуждавших по странам в поисках турниров, на которых они бились «острым концом копья», азартных игроков всех времен, ставивших на кости, карты или рулетку все свое состояние; вспомним различных авантюристов, предводителей кондотьеров и конкистадоров, а также добровольных гладиаторов древнего Рима — выходцев из привилегированного сословия всадников; вспомним путешественников-первопроходцев прошлых времен и путешественников-одиночек, пересекающих на лодках океаны в наши дни; вспомним альпинистов, слаломистов и автомобильных гонщиков.

При этом отметим три обстоятельства. Во-первых, что все это были и есть люди, достаточно материально обеспеченные, во всяком случае настолько, чтобы не испытывать необходимости каждодневными рискованными усилиями обеспечивать свое существование на ближайшее будущее. Во-вторых, что те, кто затевает рискованные предприятия, делают это не в тоске и страхе, а охотно и радостно; их сопряженные с опасностью действия доставляют им удовольствие. В-третьих, что обычно идущие на риск не считают причиной своих поступков стремление к опасности. Напротив, они рассматривают риск как препятствие, осложняющее достижение ими целей, которые они ставят перед собой: доказательство правильности своей гипотезы у фата-

листа, «охрана чести» у бреттера, надежда на обогащение у игроков и авантюристов, любознательность у путешественников и т. п.

Что касается первого обстоятельства, то выше мы уже останавливались на роли комфортных условий в создании сензорного голодания СОМ. Более детального рассмотрения требует то парадоксальное обстоятельство, что биологически отрицательная ситуация опасности может вызывать положительные эмоции. Мы объясняем данное явление тем, что депривация СОМ может возникнуть только при наличии депривации СПМ, обусловленной удовлетворением витальных потребностей (ведь высокая степень неудовлетворенности этих потребностей, являясь страданием, активирует СОМ). В этих комфортных условиях обеспечить приток разрешающих импульсов в депривированную СПМ можно единственно только путем ее сенсибилизации, которая может быть достигнута посредством нескольких механизмов. Так, резкое снижение активности СОМ (контрастная смена трудной ситуации на комфортную, например внезапная ликвидация опасности) по закону антагонистической индукции [36] может вызвать повышение активации СПМ вплоть до возникновения эйфории и гипоманиакального состояния, которые, в частности, наблюдались у бойцов, вышедших из напряженного боя и смертельной опасности [15].

Далее, если возбудимость СПМ достаточно высока (а это может быть обусловлено конституциональными особенностями личности), то импульсы, которые по своей модальности адресованы к СОМ, могут затекать в нейроны депривированной СПМ, создавая вследствие этого эмоционально-положительное восприятие биологически-негативных раздражителей.

Наконец, такому восприятию может содействовать также то, что в психологически трудной ситуации (в частности, при опасности) в кровь выбрасывается повышенное количество стероидных гормонов коры подпочечников, сенсибилизирующих нервные клетки, в том числе и нейроны СПМ. Возможно, стрессорные гормоны повышают чувствительность нейронов СПМ до такой степени, что они становятся способными реагировать и на неадекватные для них негативные раздражители, а, может быть, начинают также усиленно генерировать спонтанную импульсную активность, вследствие чего объективно отрицательная ситуация сопровождается возникновением положительных эмоций.

Таким образом, стремление к активации СОМ («поиск неприятностей») обусловливается, в конечном счете, стремлением активировать СПМ, то есть стремлением к получению удовольствия. Как следует из этого, в условиях депривации СОМ, то есть в комфортных неэкстремальных условиях жизни, обе мотивационные системы, противоположные по своему биологическому знаку, действуют синергично, при этом СОМ играет подчиненную роль и «работает» на СПМ. Доминирующая роль СПМ во взаимодействии обеих систем в физиологическом плане, по-видимому, обусловливается более сильным интегрирующим влиянием этой системы на поведение животных [6; 10; 22; 24; 25; 50], большей ее обширностью [6] и, возможно, более низким порогом возбудимости ее нейронов по сравнению с нейронами СОМ [10; 24; 25] 45; 46], а в эволюционном плане тем, что положительная мотивация наиболее прямым образом служит инстинкту жизни — основному инстинкту любого животного.

Вместе с тем, в нормальных (комфортных) условиях СПМ для того, чтобы выполнять свою роль генератора положительного подкрепления в поведении человека, нуждается в сенсибилизирующем влиянии

со стороны СОМ. И подобное участие СОМ в форме «поиска неприятностей» (выраженного в различной степени) можно проследить, как уже было отмечено выше, в чрезвычайно разнообразных видах человеческой деятельности. Можно сказать в этой связи, что едва ли не любая радость «вырабатывается» из той или иной толики горечи и страдания.

Потребность в биологически и психологически отрицательных ситуациях проявляется в более или менее явных формах столь широко, что эта тенденция, будучи абсолютизированной без учета ее подчиненной роли по отношению к потребностям в положительной мотивации, может вызвать иллюзию существования у живого существа стремления к опасности как к самоцели. Видимо, такой иллюзией и было обусловлено создание З. Фрейдом его концепции о существовании так называемого «инстинкта смерти». Между тем, такого инстинкта не может существовать не только потому, что он антиобиологичен, но и потому, что понятие о смерти биологически не заложено в живом существе. Это понятие является лишь логическим умозаключением, возникшим на довольно высоком уровне развития абстрактного мышления. Биологически же существует эмоция страха, и она первично вовсе не связана с представлением о смерти: у животных нет этого представления, хотя им присуща эмоция страха.

Мы полагаем, что стремление к оптимальной стимуляции СОМ (в сочетании с деятельностью СПМ), подчиненное инстинкту жизни, является одной из мощных мотиваций, определяющих поведение человека. Эта мотивация, однако, обладает рядом особенностей. Она характерна именно для человека, поскольку он живет в созданной им искусственной достаточно комфортной среде, обусловливающей депривацию СОМ. Эта мотивация, как впрочем и мотивация, обусловленная депривацией СПМ, неистощима и неудовлетворима до конца по своей физиологической природе. Если сензорное голодание СПМ создает вечную неутолимую неудовлетворенность человека достигнутым, то сензорное голодание СОМ обеспечивает эту неудовлетворенность мужеством, способностью к дерзаниям и риску.

Далее, поскольку влечение к стимуляции СОМ само по себе в изолированном виде антибиологично, не имеет самостоятельного подкрепления и находится в противоречии с «законом смысла», то оно как таковое не осознается. Побуждения, возникающие вследствие сензорного голодания СОМ, всегда подвергаются рационализации и возникают в сознании только под фасадом положительных влечений.

Хотя влечения, возникающие в результате сензорной депривации СОМ, обусловлены биологическими механизмами, однако своей специфической формы реализации они не имеют, как не имеют сами по себе и социального знака. Форма реализации этих влечений полностью определяется факторами социальными, главным образом, интериоризованными, а именно — развитостью сознания и нравственного чувства, системой нравственных ценностей и социальных идеалов. Что касается уровня материального благосостояния общества, то он может влиять, в основном, на интенсивность влечений, а не на форму их проявлений: чем выше благосостояние, тем напряженней должны быть влечения вследствие большей степени депривации мотивационных систем. Существование такой зависимости является потенциальным обеспечением того, что в разумно организованном коммунистическом обществе по мере роста его благосостояния должна неуклонно возрастать твор-

ческая активность его членов. Высокий же уровень благосостояния общества при отсутствии в нем позитивных идеалов, напротив, может способствовать реализации влечений, обусловленных депривацией СОМ, в асоциальных и антисоциальных формах. Возможно, этим отчасти обусловлены такие явления, как идейно бессодержательное бунтарство «хиппи» (в основном выходцев из обеспеченных семей), а также рост преступности, которые в наибольшей степени выражены в наиболее материально благополучных государствах Запада.

Психическая энергия, порождаемая бессознательными влечениями, сама по себе ни добра, ни зла, но во власти разума, а через его посредство — общества, обратить во благо даже потребность в страдании.

ON THE EXISTENCE OF UNCONSCIOUS NEGATIVE MOTIVATIONS AND THEIR MANIFESTATION IN HUMAN BEHAVIOUR

V. A. FAIVISHEVSKY

11th Psychoneurological Prophylactic Centre, Moscow

SUMMARY

The mammal brain is known to contain physiological systems of positive and negative motivations, intended evolutionally for the emotional reinforcement of their situationally adequate behaviour. As for man, living in the artificial but fairly comfortable environment created by him, these systems must, as a rule, be in the state of more or less expressed sensory deprivation and are likely to be the sources of unconscious motivations, inducing man to behave so as to obtain the optimal inflow of physiologically necessary stimulation to the deprived systems. In this connection it is assumed that the existence of unconscious drives toward positive as well as negative emotions is possible, which are realised in behaviour in a transformed shape, intergrated by consciousness and social factors.

ЛИТЕРАТУРА

1. АНОХИН П. К., В кн.: Эмоции и эмоциональные расстройства, М., 1966, стр. 5—18.
2. АНОХИН П. К., Биология и нейрофизиология условного рефлекса, М., 1968.
3. БАССИН Ф. В., Вопросы психологии, 1971, 4, стр. 101—113.
4. БАССИН Ф. В., Вопросы психологии, 1973, 6, стр. 13—24.
5. БЕХТЕРЕВА Н. П., Коммунист, 1975. 13, стр. 86—95.
6. ГЕЛЬГОРН Э., ЛУФБОРРОУ Дж., Эмоции и эмоциональные расстройства, М., 1966.
7. ГЕРД М. А., ПАНФЕРОВА Н. Е., Вопросы психологии, 1966, 5.
8. КУЗНЕЦОВ О. Н., ЛЕБЕДЕВ В. И., Психология и психопатология одиночества, М., 1972.
9. ЛАЙТИНЕН Л., ВИЛККИ Дж., В кн.: Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека, Л., 1975, стр. 27—37.
10. МИЛНЕР П., Физиологическая психология, М., 1973.
11. МЭГУН Г., Бодрствующий мозг, М., 1961.

12. МОГИЛЕВСКИЙ А. Я., Успехи соврем. биол., 1963, 3, стр. 322—336.
13. ПОПОВ А. Г.. ЛОБЗИН В. С., Космическая биол. и медицина, 1968. 4, стр. 59 (цит. по 8).
14. СМИРНОВ В. М., В кн.: Нейрофизиологические механизмы психической деятельности человека, Л., 1974, стр. 214—226.
15. ТРИУМФОВ: см. [8].
16. УХТОМСКИЙ А. А., Собр. соч., М., 1950.
17. ХАЙНД Р., Поведение животных, М., 1975.
18. ШТЕРНБЕРГ Э. Я., В сб.: Вопр. клин. и терапии психич. забол., М., 1960, стр. 100.
19. ШТЕРНБЕРГ Э. Я., В сб.: Вопр. психиатрии, М., 1959, 3, стр. 472.
20. BISHOP, M. P., ELDER, S. T., HEATH, R. G., Science, 1963, 140, 394—396.
21. CHAPMAN, R. M., LEVY, N., Comp. Physiol. Psychol., 1957, 50, 233—238.
22. COX, V. C., VALENSTEIN, E. S., Science, 1965, 149, 323—325.
23. GALAMBOS, R.. DAVIS. H.. J. Neurophysiol.. 1944. 7. 287—303.
24. GRASTYAN, N., CZOPF, I., ANGYAN, L., SZABO, I., Nova Acta Lopoldina, 1964. 169, 153—170.
25. GRASTYAN, E., CZOPF, I., ANGYAN, L., SZABO, J., Acta Physiol., Acad. Sci. Hungaricae, 1965, 26, 9—46.
26. HALLIDAY, M. S., Symp. Zool. Soc. Lond., 1966, 18, 45—59.
27. HALLIDAY, M. S., (цит. по 16).
28. HEATH, R. G., et al., In.: Studies in Schizophrenia, Cambridge, Mass., 1954.
29. HEATH, R. G., In: The Role of Pleasure in Behaviour, N. Y., 1966, 219—243.
30. HEATH, R. G., Arch. Gen. Psychiat., 1972, 26, 577—584.
31. HEATH;, R. G., Nerv. Ment. Dis., 1972, 154, 3—18.
32. HEATH, R. G., Am. Psychiat., 1961, 117, 980—990.
33. HEATH, R. G., GALLANT, D. M., In: Role of Pleasure in Behaviour, N. Y., 1964, 83—106.
34. HEATH, R. G., MICKLE, W. A., In: Electrical Studies on the Unanesthetized Brain, N. Y., 1960, 214—242.
35. KAGAN, J., BERKUN, M., J. Comp. Physiol. Psychol., 1954, 47, 108.
36. KENNEDY, J. S., J. Exp. Biol., 1965, 43, 489—509.
37. LEVISON, C. A., LEVISON, P. K., NORTON, H. P., Psych. Sci., 1968., II, 101—102.
38. MONEY, J., In: Sex and Internal Secretions, 1961, 1383—1400. ---
39. OLDS, J., In: Reticular Formation of the Brain, Boston, 1958, 671—687.
40. OLDS, J., In: Electrical Studies on the Unanesthetized Brain, N. Y., 1960, 17—51.
41. OLDS, J., Physiol. Rev., 1962, 42, 554—604.
42. OLDS, J., MILNER, P., J. Comp. Physiol. Psychol., 47, 419—427.
43. RIDDOCH, G., (цит. по 10).
44. RUFF, G. E., LEVY, E. Z., THALER, V. H., In: Sensory Deprivation, Harvard, 1961, 72.
45. ROBERTS, W. W., J. Comp. Physiol. Psychol, 1958, 51, 391—399.
46. ROBERTS, W. W., J. Comp. Physiol. Psychol., 1958, 51, 400—407.
47. SEM-JACOBSEN, C. W., TORKILDSEN, A., In: Electrical Studies on the Unanesthetized Brain, N. Y., 1960, 275—290.
48. TINBERGEN, N., The Study of Instinct, Oxford, 1951.
49. TINBERGEN, N., Quart. Rev. Biol., 1952, 27, 1—32.
50. VALENSTEIN, E. S., Comp. and Physiol. Psychol. 1965, 60, 20—30.

184

УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЯ И ЭФФЕКТЫ УСТАНОВКИ

М. Л. ГОМЕЛАУРИ

Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси

Обобщенными результатами многочисленных экспериментальных исследований проблемы притязаний являются следующие эмпирические соотношения:

1. Успех имеет тенденцию повышать уровень притязания.
2. Успех имеет тенденцию повышать настойчивость в достижении цели.
3. Неуспех имеет тенденцию снижать уровень притязания.
4. Неуспех имеет тенденцию снижать настойчивость в достижении цели.
5. Уровень притязания личности имеет тенденцию соответствовать способностям индивида [7; 8; 9; 10].

Уровень притязания, который является одной из инстанций личности [2], определяется ценностью или трудностью той цели, на достижение которой индивид претендует. Он зависит от веры индивида в свои способности [7; 8; 9; 10]. Такое понимание притязания связывает это понятие с понятием самооценки и позиции личности в отношении самой себя. Тем самым притязания включаются в психологический автопортрет личности, который является «не только образом самого себя, но и представляет собой совокупность мотивов, потребностей и стремлений, имеющихся у человека как у действующей личности. Он создается тем иерархическим алфавитом систем мотивов, который вырабатывается у личности в сложном процессе социального взаимодействия» [3]. Акцентируя в понимании притязания личностно-ценностную ориентацию как один из существенных и центральных мотивов этого понятия, мы пытались изучить вопрос о возможностях адекватного коррегирования уровня притязаний успехом или неуспехом в достижении цели, т. е. вопрос об однозначном влиянии успеха или неуспеха на изменение уровня притязания.

Эта проблема была исследована нами экспериментальным путем. В качестве экспериментального материала были использованы картина из ТАТ (№ 1) (мальчик со скрипкой), психологические тесты Айзенка, составленные для проверки интеллектуальных способностей человека [1], и специально составленная нами восьмиступенчатая шкала, на которой обозначались уровни от «низшего» до «идеального».

Эксперимент проводился в индивидуальном порядке. Испытуемому давалась картина из ТАТ с заданием придумать 5-минутный рассказ по картине. В конце рассказа испытуемый должен был определить по восьмиступенчатой шкале уровень стремления героя рассказа и его способности для достижения данной цели[1].

[1] Этот первый этап как бы вводил испытуемого в ситуацию реализации притязания, еще больше настраивал и активировал мотив достижения.

Следующий этап эксперимента заключался в непосредственном выявлении уровня притязания. Испытуемому предлагались тесты Айзенка для выявления IQ с инструкцией обозначить на восьмиступенчатой шкале тот уровень, которого он ожидает достичь при тестировании,— степень ожидаемого им успеха. При этом, охарактеризовав вкратце тесты Айзенка, их чрезмерно формализованный характер и узость спектра производимых на их основе измерений (выражающуюся в выборе только трех аспектов измерения интеллекта при наличии множества других относящихся сюда параметров), подчеркивали, что индивид при решении и таких формализованных задач может обнаружить неожиданно высокие или низкие показатели.

Как известно, уровень притязания предполагает определенную степень стремления к достижению цели, область которой градуирована на шкале трудности или ценностей. Наша восьмиступенчатая шкала давала возможность выразить уровень притязаний, поскольку она была градуирована как по степени трудности, так и по степени интеллектуальной ценности, к каждой ступени был приписан соответствующий ей IQ, который определялся в данном случае количеством правильно решенных задач[2]. На решение задач испытуемому давалось 30 минут. После проверки испытуемому сообщались результаты и тут же предлагалось повторное тестирование с целью вторичного определения уровня притязания на фоне успеха или неуспеха. Для этого испытуемый, уже с учетом своих первых результатов, должен был опять обозначить на той же восьмиступенчатой шкале уровень, которого ожидал добиться, т. е. степень ожидаемого им успеха.

Рассматривая притязания как одну из инстанций личности, акцентируя в ней личностно-ценностную ориентацию и связывая ее с самооценкой личности и с психологическим автопортретом, мы стремились организовать эксперимент таким образом, чтобы испытуемые оказывались «я—включенными», т. е. чтобы содержательная сторона притязания была для них престижной, а стремление к цели вызывало личную заинтересованность. С этой целью эксперимент был проведен на 75 научных работниках — психологах, филологах, философах, математиках, а также на студентах с высокой успеваемостью. Для всех испытуемых, естественно, уровень интеллекта представлял собой престижную ценность. С той же целью усугубления «я — включенности» филологам и математикам давались, соответственно их профилю, словесные или числовые тесты.

Нас интересовала, как уже было отмечено, проблема влияния «успеха-неуспеха» на изменение притязания. Явление «успеха-неуспеха» определяется величиной той разницы, которая обнаруживается между целью и достигнутым результатом. Поэтому в наших экспериментах именно эта разница рассматривалась как существенная переменная и основной объект исследования.

Результаты экспериментов

Картинка из ТАТ, провоцирующая активацию мотива достижения, в то же время выявила «я—идеал» личности как высший уровень достижения [11].

---

[2] Согласно методике Айзенка [1], достоверные результаты, которые свидетельствуют о способностях индивида, получаются при варьировании баллов в диапазоне от 100 до 130 — вне этих пределов оценка недостаточно надежна. При сообщении испытуемыми их результатов мы выходили, однако, далеко за пределы этих надежных границ, так как целью наших экспериментов не являлось исследование интеллектуальных способностей.

Основной задачей экспериментов являлось измерение сдвига притязания, который определялся (а) показателем первичного измерения притязания, (б) успехом-неуспехом, (в) реакцией на достижение или недостижение цели.

В результате экспериментов были выявлены следующие соотношения:

1. При маленькой разнице[3] (1—2 ступени) между уровнем притязания и результатом достижения уровень притязания меняется (повышаясь в случае успеха и снижаясь в случае неуспеха).

2. При большой разнице (3—5 ступеней) между уровнем притязаний и результатом достижения уровень притязания остается неизменным как в случае успеха, так и в случае неуспеха.

Таблица

Разница между первичным уровнем притязаний и уровнем достижения (в ступенях)		Количество испытуемых		Количество испытуемых, изменивших уровень притязаний	
Маленькая разница	1 ступень	15	30	12	23
	2 ступень	15		11	
Большая разница	3 ступень	15	45	3	9
	4 ступень	15		2	
	5 ступень	15		4	

Эти результаты отличаются от тех, которые были получены в исследованиях притязаний, выполненных другими авторами, что вызывалось, по-видимому, следующими особенностями наших экспериментов.

1. Трактовка притязания в терминах личности, самооценки и психологического автопортрета активировала представления, которые для испытуемого не являлись нейтральными, а были наделены определенной ценностью. В результате этого уровень притязаний испытуемого выражал и самооценку его личности и какую-то сторону его сформировавшегося автопортрета.

2. С целью включения в эксперимент «разницы» (между уровнем притязания и уровнем достижения) как одной из существенных переменных опыт был построен так, что обеспечивалась возможность регулировать эту разницу, — то максимально ее увеличивать, то снижать.

В результате сочетания этих двух моментов оказалось, что реорганизация притязания не происходит однозначно под влиянием успеха и неуспеха. Успех и неуспех адекватно меняют уровень притязания, но только в том случае, когда они находятся в зоне психологического автопортрета личности, если же успех или неуспех резко отклоняется от этой зоны, то уровень притязаний остается неизменным.

Результаты наших экспериментов аналогичны тем, которые получены в исследованиях закономерностей действия установки. В фактах

---

[3] Когда притязание испытуемого по шкале равнялось, например, 100—110 баллам, а выполнение — 90 или 120, то разница считалась маленькой (она соответствовала одной или двум ступеням по шкале); когда же притязание равнялось, например, 140 баллам, а выполнение 80 или 100 баллам, то разница считалась большой и соответствовала 5, 4 или 3 ступеням по шкале.

ассимилятивной и контрастной иллюзии, а также в сферах и масштабах влияния установки проявляется закономерность действия установки «как целостно-личностного образования, отражающего позицию субъекта в отношении вещей, тот смысл, который эти вещи имеют для него» [6]. Добытые нами факты исследования уровня притязаний показывают, что реагирование на успех или неуспех не происходит без влияния этой целостно-личностной позиции.

Как в исследованиях закономерностей установки, так и в наших экспериментах наблюдаются: а) **факт сдвига уровня** притязаний в тех случаях, когда уровень достижения находится в зоне психологического автопортрета личности (эффект ассимиляции), б) **факт неизменяемости уровня** притязаний. Такое понятие, как сфера или зона действия установки, дает объяснение факту неизменяемости уровня притязаний.

Выявлено, что действие установки распространяется только на определенные **зоны,** установка имеет сферу своего влияния, и вне этих зон ситуация лишена своего информационного значения. Также и случаи неизменяемости уровня притязаний объясняются тем, что полученная информация (от успеха или неуспеха) ввиду своего резкого отклонения от исходной позиции находится вне зоны психологического автопортрета личности; поэтому за этой информацией и не следует адекватное изменение притязания[4].

«Установка как переориентация и диспозиция к определенной форме реагирования выступает в качестве общего конституирующего фактора промежуточной (т. е. расположенной между стимулом и реакцией) организации опыта «внутренней организацией индивида» [5]. Факты, полученные в наших экспериментах, отражают именно этот внутренний промежуточный и конституирующий фактор, который селективно регулирует реакцию индивида.

THE LEVEL OF ASPIRATION AND THE EFFECTS OF SET

M. L. GOMELAURI

The D. N. Uznadze Institute of Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

S U M M A R Y

Emphasizing the personal-value orientation in the concept of aspirations as one of the central points, the author posed the problem of the feasibility of an adequate correction of the level of aspiration by the success or failure in goal achievement. Consequently the paper deals with the problem of the single-valued effect of success or failure on the change of the level of aspiration.

The experiments carried out by the author have revealed the following correlations:

---

[4] С этой позиции в экспериментах М. С. Неймарк [4] «неадекватность реакции» испытуемых может быть интерпретирована как реакция личности с позиции определенной сформировавшейся самооценки, в отношении которой полученные результаты слишком далеки от психологического автопортрета личности. Поэтому информация не в силах изменить соответственно уровень притязаний, что и дает в результате «неадекватную реакцию».

1) When the difference between the level of aspiration and achievement is small the level of aspiration changes.

2) When the difference between the level of aspiration and achievement is considerable the level of aspiration remains unchanged both in the case of success and of failure.

The results are analogous to those obtained in investigations of the regularities of set: the following is observed in the author's experiments: a) the fact of a shift of the level of aspiration is noted when the level of achievement is within the (effect of assimilation) range of the person's psychological self-image and b) the fact of the level of aspiration remaining unchanged, which is explained by the concept of the zone or sphere of the action of set selectively regulating the individual's responses.

ЛИТЕРАТУРА

1. АЙЗЕНК Г., Проверьте свои способности. М., 1972.
2. МЕЙЛИ Р., Структура личности. Сб.: Экспериментальная психология, М., 1975.
3. НАДИРАШВИЛИ Ш. А., Понятие установки в общей и социальной психологии, Тб., 1974.
4. НЕЙМАРК М. С., Психологический анализ эмоциональных реакций школьников. В сб.: Вопросы психологии школьника, М., 1961.
5. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тб., 1967.
6. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тб., 1961.
7. COFER, C., APPLEY, M., Motivation: Theory and Research, New York, 1961.
8. FRANK, I., Level of Aspiration Test. In: Murray, Explorations in Personality, New York, 1967.
9. KOUNIN, I., Field Theory: Kurt Levin. In: Wepman and Heine (eds), Concepts of Personality, London, 1964.
10. LEVIN, K., DEMBO, T., FESTINGER, L., SEARS, P., Level of Aspiration. In: Hunt (ed), Personality and the Behavior Disorders, New York, 1944.
11. MURRAY, H., Explorations in Personality, New York, 1967.

185

ПРОДУКТИВНОСТЬ УЗНАВАНИЯ И ЧУВСТВО УВЕРЕННОСТИ

Дж. Ш. КВАВИЛАШВИЛИ

Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии

Постановка вопроса

Всем хорошо известно практическое значение чувства уверенности в процессе узнавания или воспоминания, особенно в таких областях, как педагогика, психиатрия, психология показаний и т. д. В судебной практике нередки такие случаи, когда решение правосудия зависит только от показаний того или иного свидетеля. Однако в настоящей работе мы не собираемся давать оценку практической стороне этого вопроса. Это увело бы нас слишком далеко, кроме того такая оценка не является целью нашего исследования. Следует отметить, что в наши интересы не входит также и феноменология чувства уверенности. Данный вопрос поставлен нами слишком узко, и для такого его рассмотрения не имеет решающего значения, какое допущение будет принято нами за основу. Нас не интересует вопрос о том, является ли чувство уверенности при воспоминании или узнавании элементарным переживанием, не сводимым к другим психическим процессам. Для экспериментального исследования данного вопроса вполне достаточно знание того, что испытуемый на основе самонаблюдения всегда может констатировать то, что всякая репродукция или узнавание сопровождается высокой или низкой степенью чувства уверенности.

Когда высказанное субъектом предложение может быть обосновано логически, как например, когда он заявляет, что сумма углов треугольника равна 180°, и мы спрашиваем его, на каком основании он утверждает это, он, как правило, тотчас же начинает обосновывать это свое утверждение. Иная картина наблюдается при узнавании или воспоминании. Так, например, когда субъект заявляет, что это именно тот человек, которого он видел (воспринял) в определенное время, в определенном месте, и мы спрашиваем его, на каком основании он заявляет об этом, этим почти единственным основанием обычно является его чувство уверенности, и вполне естественно, что субъект указывает только на эту свою уверенность: «Я уверен в этом», — говорит он. Выходит, что в подобном случае за основу достоверности репродукции или узнавания принимается нечто субъективное, что может быть названо переживанием чувства уверенности. Поэтому сейчас же возникает другой вопрос: возможно ли принятие этого чувства уверенности в качестве критерия правильности репродукции или узнавания.

Когда субъект узнает предмет или человека, у него, как правило, появляется чувство уверенности в том, что его узнавание верно, что данный предмет или человек именно тот, который был воспринят им ранее. В некоторых случаях данное чувство уверенности может быть

сильным, в некоторых — слабым. Может ли сила этого чувства или переживания послужить критерием верности акта узнавания? Точнее, может ли сила уверенности субъекта явиться показателем вероятности верности акта узнавания? В большинстве случаев возможно это и так, однако целью нашего исследования было изучение таких случаев, когда между определенной степенью чувства уверенности и правильностью узнавания образуется определенное расхождение. Имеются в виду случаи, когда субъект сильно уверен в чем-то, но его узнавание неверно и, наоборот, когда он почти не уверен, но его узнавание все же верно[1]. Мы считаем, что такое расхождение между уверенностью и правильным узнаванием не должно вызывать удивления, если допустить, что сознание достоверности психологически отличается от чувства узнавания и воспоминания [1]. Но если существует определенное расхождение между правильностью узнавания и уверенностью, то возникает психологически очень интересный вопрос, который может быть решен путем простого эксперимента.

Субъекту предъявляется какой-то определенный объект. Через некоторый промежуток времени снижается как продуктивность узнавания этого объекта (т. е. вероятность его правильного узнавания среди определенных объектов), так и соответствующее чувство уверенности. Интересующий нас вопрос состоит в следующем: что угасает раньше в процессе забывания — продуктивность узнавания или чувство уверенности?

Под угасанием продуктивности мы подразумеваем падение ее до т. н. нулевого уровня, когда правильное узнавание происходит случайно. Т. е. уровнем нулевой продуктивности считается вероятность случайного правильного узнавания, величина которой со своей стороны будет зависеть от того, вместе со сколькими объектами будет предъявлен испытуемому объект, требующий узнавания.

Если данный объект будет предъявлен испытуемому вместе с другим незнакомым объектом, в этом случае вероятность случайного узнавания составит $1/2$, что будет считаться как раз нулевым уровнем продуктивности. Если объект, требующий опознания, предъявлен вместе с другими двумя незнакомыми объектами, то вероятность случайного узнавания будет равна $1/3$, т. е в этих условиях нулевой уровень продуктивности будет выражен этим показателем.

Вернемся к нашему основному вопросу: исчезает ли в процессе забывания продуктивность узнавания раньше чувства уверенности. С самого же начала перед нами встали две альтернативные гипотезы.

1. В процессе забывания продуктивность падает раньше чувства уверенности, продуктивность доходит до нуля (т. е. вероятность правильного узнавания не превышает вероятности случайного узнавания), тем не менее узнавание все же сопровождается определенной степенью чувства уверенности. Графическое выражение этой гипотезы дано на рис. 1, где сплошной кривой изображена продуктивность узнавания, а пунктирной — чувство уверенности.

---

[1] Можно подумать, что если при отсутствии уверенности узнавание все же верно, то, возможно, налицо лишь случайное совпадение, т. е. испытуемый случайно указывает на объект, который был воспринят им раньше. Ниже читатель увидит, что нас в основном интересует именно этот вопрос. В частности, мы хотели бы установить, будет ли высокой частота правильного узнавания без соответствующего чувства уверенности, по сравнению с той частотой, которая могла быть получена в данных условиях благодаря чистой случайности.

2. В процессе забывания чувство уверенности исчезает раньше продуктивности. Т. е. субъект при узнавании уже не уверен в правильности выбора, но вероятность правильного узнавания все еще значительно превышает вероятность случайного узнавания. Графическое выражение этой гипотезы дано на рис. 2.

Эти гипотезы могут быть проверены экспериментально применением очень простого метода, и наше исследование по существу является экспериментальной проверкой этих гипотез.

Метод и описание опытов

Так как наш основной вопрос затрагивает соотношение между такими двумя переменными, как продуктивность узнавания и чувство уверенности, то ясно, что сущность нашего метода должна состоять в определении этих переменных. Что касается продуктивности узнавания, которая согласно нашему определению представляет собой просто вероятность правильного узнавания субъектом предъявленного ему объекта, возможна лишь его приблизительная статистическая оценка — путем определения относительной частоты. Так как для определения последней мы не можем предъявить субъекту один и тот же объект несколько раз, то перед нами намечаются два альтернативные пути: одному и тому же испытуемому предъявить несколько раз разные, но одинаково легко узнаваемые объекты или же, наоборот, один и тот же объект предъявить разным, но в определенных аспектах схожим испытуемым. По ряду соображений мы предпочли последний вариант, т. е. провели наши опыты над одними и теми же объектами, но с разными испытуемыми. Были подобраны объекты, по отношению к которым все наши испытуемые были настроены совешенно индифферентно (были

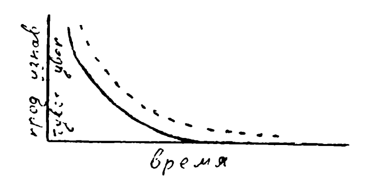


Рис. 1

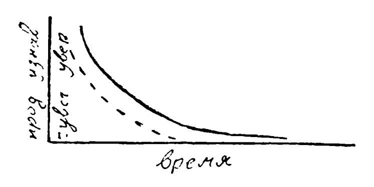


Рис. 2

использованы две формулы — одна из алгебры, другая — из области физики). Таким образом, наши испытуемые могли считаться идентичными хотя бы в аспекте их отношения к этим формулам. (Опыты проводились со студентами I, II и III курсов факультета психологии). В таких условиях относительная частота правильного узнавания может быть вычислена простым делением случаев правильного узнавания на общее число случаев (индивидов).

Когда при предъявлении формул испытуемый указывал на какую-нибудь из них, которая могла оказаться знакомой (т. е. могло произойти правильное узнавание) или незнакомой (т. е. имело место неправильное узнавание), мы тотчас же проверяли степень его уверенности.

Ответы испытуемых мы разделили только на две категории: «уверенный» и «неуверенный» или сомнительный.

Опыты проводились в двух сериях. В первой серии в качестве объекта узнавания была использована следующая алгебраическая формула:

$$z=\frac{2x^3+3y^2}{3x^2+2y^3}.$$

Эта формула предлагалась каждому испытуемому с просьбой вычислить величину z для следующих значений x и y:

1) $x=1$; $y=2$.

2) $x=3$; $y=4$.

3) $x=5$; $y=6$.

4) $x=7$; $y=8$.

Над этой операцией каждому испытуемому приходилось работать в среднем 30 минут. Через три дня тем же испытуемым давалась та же формула вместе с другой:

$$z=\frac{3x^2+2y^3}{2x^3+3y^2}$$

с просьбой узнать ту формулу, которую они использовали в своих вычислениях три дня тому назад. После того, как испытуемый указывал на одну из них, мы спрашивали его о том, был ли он уверен в правильности своего выбора.

Во второй серии опытов была использована формула периода колебания математического маятника, которую испытуемые проходили в средней школе:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}},$$

где l — длина маятника, а g — ускорение свободного падения. Эта формула предъявлялась испытуемому вместе с другой неправильной формулой:

$$T=2\pi\sqrt{\frac{g}{l}}$$

и мы просили их узнать ту формулу из этих двух предъявленных, которую они проходили в средней школе. Вместе с тем испытуемому давалась информация о значениях входящих в эти формулы величин. Когда испытуемый указывал на одну из них, мы выясняли, был ли он уверен в правильности своего ответа.

Полученные результаты и их статистический анализ

Результаты первой серии опытов в виде распределения двумерных частот приведены в таблице 1.

Таблица 1

		Узнавание: правильное	Узнавание: неправильное	
Переживание чувства уверенности	уверен	22	10	32
	не уверен	20	8	28
		42	18	60

Как мы видим, из 60 испытуемых 32 были уверены в своем ответе и из них 22 испытуемых оказались правы; 28 испытуемых не был уверены в правильности узнавания алгебраической формулы, но из них 20 испытуемых оказались правы. Так как нас интересовали именно такие испытуемые, мы выписали эту строчку отдельно и сравнили ее с т. н. распределением ожидаемых частот (см. табл. 2).

Таблица 2

	Узнавание		
	правильное	неправильное	
наблюдаемые частоты	20	8	28
ожидаемые частоты	14	14	28

Здесь первая строчка по существу представляет собой вторую строчку таблицы 1, которую можно назвать распределением наблюдаемых частот, вторая же строчка является распределением ожидаемых частот. Таким образом, если в бессознательном психическом не сохранилось ничего и узнавание происходит со случайной вероятностью, равной $1/2$, то следует ожидать, что из 28 случаев узнавания 14 должны быть правильные и 14 — неправильные.

С целью проверки этого последнего предположения (т. н. нулевой гипотезы) мы воспользовались известным χ^2 критерием Пирсона. Так как степень свободы по таблице 2 равна единице, при вычислении χ^2 мы приняли во внимание поправку на непрерывность Уайта [4]. Мы получили $\chi^2=4{,}32$, чему соответствует уровень значимости $P<0{,}05$.

Результаты второй серии опытов приведены в таблице 3.

Таблица 3

		Узнавание		
		правильное	неправильное	
Переживание чувства уверенности	уверен	9	5	14
	не уверен	30	16	46
		39	21	60

Согласно полученным результатам, из тех же 60 испытуемых 14 были уверены в том, что они узнали формулу колебания математического маятника и из них 9 оказались правы; 46 испытуемых не были уверены в правильности узнавания той же формулы, однако из них 30 все же оказались правы. И в этом случае нас интересует только вторая строчка таблицы, представляющая собой частотное распределение результатов узнавания «неуверенными» испытуемыми. Сравнение этих результатов с ожидаемыми частотами дано в таблице 4.

Таблица 4

	Узнавание		
	правильное	неправильное	
наблюдаемые частоты	30	16	46
ожидаемые частоты	23	23	46

Вычисленный на основе этой таблицы χ^2 с соответствующей поправкой Уайта оказался не таким уже высоким: $\chi^2 \approx 3{,}7$. Однако соответствующий уровень значимости все же оказался приемлемым: $p \approx 0{,}05$. Так как анализ результатов опытов обеих серий показывает, что распределение наблюдаемых частот статистически значительно отличается от распределения ожидаемых частот, то мы можем прийти к заключению, что наши испытуемые даже при отсутствии соответствующего чувства уверенности могут правильно опознать обе формулы с такой частотой, которая значительно превышает частоту случайного узнавания. А это значит, что вероятность правильного узнавания «неуверенными» испытуемыми (продуктивность узнавания) должна превышать вероятность случайного узнавания (уровень нулевой продуктивности), что в нашем случае составляет $^1/_2$.

Обсуждение результатов

Полученные результаты не должны вызывать удивления, если их рассматривать с позиции теории установки. Д. Узнадзе еще в 1940 году указывал в своей «Общей психологии»: «Забывание бывает двояким: забывание знания как сознательного содержания и «забывание» той установки, которая формируется в личности под влиянием прошлых впечатлений» [2]. Следовательно, когда какое-то содержание утрачивается субъектом, то этот «выход» сначала происходит из сферы сознания, но прежде, чем он завершается, содержание может остаться в субъекте бессознательно, т. е. на уровне установки. Однако, спрашивается, в чем находит свое выражение сохраненное таким образом содержание? Поскольку его уже нет в сознании субъекта, о нем субъект уже ничего не может сказать. Это содержание в сознании не имеет никакой опоры, даже в виде чувства уверенности. Несмотря на это оно все же должно находить соответствующее выражение, в противном случае приведенное выше положение можно было бы принять только лишь как теоретическое рассуждение, так как оно оказалось бы лишенным экспериментальной основы. Если подойти к этому с позиции теории установки Д. Узнадзе, то покажется вполне естественным, что эта сохраненная установка может находить свое выражение лишь в соответствующем поведении. В наших опытах она находит свое выражение в том, что испытуемый выполняет акт правильного узнавания с такой частотой, которая значительно превышает частоту случайного узнавания. Таким образом, до тех пор, пока в субъекте имеется эта установка, она должна лежать в основе продуктивности узнавания; в случае же потери данной установки уровень продуктивности должен дойти до нуля.

Такая интерпретация, по нашему мнению, не должна быть лишена основания, если допустить, что иногда поведение субъекта направляется такой скрытой установкой, о которой он совершенно ничего не знает (например, образовавшаяся при «гипнотическом» сне установка действует и после пробуждения, несмотря на то, что субъект находится в состоянии постгипнотической амнезии, т. е. сознательно он ничего не помнит о тех впечатлениях, под влиянием которых у него образовалась эта установка). В нашем эксперименте наиболее четко проявился как раз этот момент: определенная часть испытуемых вообще отказывалась от узнавания, т. е. они заявляли, что в предъявленных формулах они не могут узнать нужную формулу. Следовательно, в этом случае не может быть и речи о какой-либо степени уверенности. Когда же мы их все-таки просили указать на одну из формул, они в большинстве случаев указывали на нужную формулу.

О чем говорит этот психологически интересный факт? Его субъективный и объективный анализ приблизительно таков: раз испытуемый не может ни объяснить того, почему он считает указанную им формулу правильной, а также не обладает соответствующим чувством уверенности в правильности своего выбора, то естественно, что, указывая на одну из формул, он думает, что делает свой выбор наугад. Но это субъективное объяснение; объективно же получается, что в большинстве случаев испытуемый оказывается прав, т. е. вероятность его правильного узнавания значительно превышает вероятность случайного узнавания. Поэтому естественно предположить, что когда у субъекта нет чувства уверенности и содержание угадываемого объекта не имеет никакой опоры в его сознании, то в основе его продуктивного поведения должна лежать установка, выработанная при восприятии соответствующего объекта и совершенно бессознательно сохранившаяся в нем.

По нашему мнению, такой эффект в сфере узнавания не должен вызывать удивления поскольку он проявляется и на более высокой ступени познания. Так, например, «бессознательно данное знание» может лечь в основу не только правильного акта узнавания, но и в основу правильного решения задачи. Мы имеем в виду некоторые эксперименты из области психологии мышления, когда субъект не может осознать собственного поведения (не может обосновать своего правильного ответа), но все же справляется с решением задачи с такой частотой, которая значительно превышает частоту случайных решений. В этом смысле для нас значительный интерес представляют эксперименты американского психолога Секкея, в которых испытуемые успешно решали гидростатические задачи, несмотря на то, что закон Архимеда был забыт ими настолько, что они не могли дать его словесной формулировки. Секкей приходит к выводу, что, по-видимому, знание, покинув сферу сознания, все же остается в субъекте как «функциональное действующее» [6]. Как справедливо указывает Элиава, этот эксперимент Секкея должен доказывать существование такого психологического фактора, который направляет сознательный процесс, но сам не является феноменом сознания, т. е. не запечатлен в сознании [3].

Нужно отметить, что подобные эксперименты должны представлять интерес для теории установки Д. Узнадзе, так как они касаются вопроса так называемой продуктивности установки. Действительно, последнее время все чаще слышатся упреки по адресу установки, выражающиеся в том, что Д. Узнадзе ввел понятие установки в основном для объяснения целенаправленного поведения, что установка должна лежать в основе целенаправленных действий субъекта, однако на самом деле при экспериментальном изучении установки почти во всех сферах активности мы наблюдаем лишь ее неадекватное проявление. Для иллюстрации приводятся примеры хорошо известных иллюзий восприятия, вызванных действием фиксированной установки, факты функциональной фиксированности в процессе решения задачи, обусловленные ригидностью поведения и др. Следует отметить, что в психологии мышления действительно накопилось столько экспериментальных фактов, которые указывают на отрицательную роль установки в процессе решения задачи, что некоторые исследователи основную функцию установки видят лишь в задержке целенаправленного действия и рассматривают ее просто как психическую инерцию или ригидность поведения, которая всегда является основой неадекватного поведения [5].

Мы хорошо, однако, понимаем, что все факты, указывающие на установку как на основу неадекватного поведения, отнюдь не противоречат, в принципе, основным положениям теории установки Д. Уз-

надзе, — тому, что установка в основном все-таки является основой целенаправленного поведения. Действительно, если согласно этой теории любая активность непосредственно определяется соответствующей установкой, которая проявляется в соответствующем поведении, то вполне естественно, что действие установки в нормальных условиях происходит совершенно незаметно. Поэтому не удивительно, что ее (установки) экспериментальное обнаружение как сущности, отличающейся от соответствующего поведения, становится возможным в результате лишь некоторого изменения ситуации, в которой она выявляется как все же осуществляемое, хотя уже и неадекватное для данной ситуации, поведение.

В качестве иллюстрации можно напомнить пример движения человека по лестнице, который приводит А. Прангишвили в своей монографии: «Наличие установки к определенной форме реагирования в экспериментальных условиях можно обнаружить в самых различных видах деятельности при некотором (не превышающем порога ассимилирующего действия установки) изменении той ситуации, в которой была образована готовность к данному конкретному действию; например, при движении по лестнице можно обнаружить существование определенной преориентации (установки), удалив ступеньку (действительно, мы оступаемся, когда недостает какой-нибудь ступеньки). Аналогичные изменения ситуации, особенно ведущие к иллюзиям установки, «обнажают» тот факт, что всякое поведение является, в конечном счете, реализацией конкретной преориентации — установки, которая лежит в основе контроля и регуляции активности» [1].

Несмотря на это, мы все же думаем, что опыты вышеописанного типа должны представлять определенный интерес для теории установки, в частности для проблемы продуктивности установок (целенаправленного действия). Теоретически заранее оправданным будет допущение, что установка, которая не является феноменом сознания, все же лежит в основе целенаправленного действия, но, тем не менее, важно показать экспериментально возможность отключения целенаправленного действия от сознания, т. е. тот примечательный факт, что даже когда поведение субъекта лишено сознательной опоры, его поведение все же может носить целенаправленный характер.

Кроме того, подобные эксперименты заслуживают внимания и потому, что с их помощью мы изучаем действие установок в области памяти, — вопрос, который почти не исследован нашими психологами.

Заключение

Полученные нами результаты говорят в пользу второй гипотезы: вполне возможно, что в определенных условиях, даже при отсутствии чувства уверенности, вероятность правильного узнавания превышала вероятность случайного узнавания. Но для полного подтверждения указанной гипотезы и для установления сферы действия исследуемого эффекта необходимо более тщательное его изучение.

После такого детального изучения, вероятно, станет возможным вывести одно, на первый взгляд странное, но практически иногда весьма важное, заключение: когда субъект из предъявленных объектов должен выбрать знакомый и не может узнать ни одного из них (у него не появляется чувства уверенности в отношении ни одного из объектов), то вместе колебаний и бездействия ему все же выгоднее выбрать какой-то из объектов, поскольку вероятность выбора знакомого объекта выше вероятности выбора незнакомого объекта (разумеется, при том

условии, что убыток, вызванный ошибочностью выбора, не превышает выгоды, связанной с правильным выбором).

THE RATE OF RECOGNITION AND CERTAINTY

J. KVAVILASHVILI

Tbilisi State University, Department of Philosophy and Psychology

SUMMARY

The aim of the present investigation was to study the process of recognition without certainty. Statistical analysis of the experimental results suggest that the frequency of correct recognition of the object presented without a corresponding feeling of certainty significantly exceeds the frequency that might have been expected only by chance.

According to the data obtained it is possible to assume that during the course of forgetting the feeling of certainty disappears before the rate of recognition drops to the zero level. An attempt has been made to interpret the results obtained in terms of D. Uznadze's theory of Set.

ЛИТЕРАТУРА

1. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тбилиси, 1967.
2. УЗНАДЗЕ Д. Н., Общая психология, Тбилиси, 1940.
3. ЭЛИАВА Н. Л., Проблема установки в психологии мышления, Тбилиси, 1964.
4. HAYS, W. L., Statistics for Psychologists, Holt, Rinehart and Winston, 1966.
5. LUCHINS, A. S., A variational approach to the role of set in problem solving., Acta Psychologica, 1955, II, 215—217.
6. SZEELY, L, Knowledge and thinking, Acta Psychologica, 1950, VII, № 1, 1—24.

186

LE JEU DU CONSCIENT ET DE L'INCONSCIENT DANS LA GENESE D'ATTITUDES INTELLECTUELLES CHEZ L'ENFANT DE MATERNELLE

G. SOUNALET

Université de Bordeaux, France

I—Introduction

Tout sujet humain est un vivant, soumis à deux catégories de forces: des forces internes de développement et d'expansion; des forces externes, répressives, en provenance du milieu. Forces externes et forces internes doivent s'équilibrer pour permettre l'existence du sujet, c'est à dire la persévération d'un certain type d'être, qui est le sien, et qui tend à aller dans le sens où sa lignée l'a engagé. Apparemment, nous allons donc trouver dans tout être humain un vecteur dominant sur lequel s'exercent des forces plus ou moins aléatoires.

On peut supposer que le point d'impact de ces forces est une zone privilégiée de modifications légères ou profondes, un point sensible où ont lieu des déplacements de forces, des compensations, un remaniement plus ou moins limité. Le résultat de cette opération est pour le sujet une nouvelle manière de s'affronter au monde, une action sur lui-même corrélative d'une action sur l'extérieur.

En d'autres termes, le sujet est un élément dynamique dont la plasticité permet la prise d'attitudes, lesquelles sont des orientations spéciales de l'être vivant, orientations telles qu'elles assurent un équilibre interne et un mode d'action externe satisfaisants. Ces orientations peuvent se faire à plusieurs niveaux du psychisme et dans des secteurs différents. Elles peuvent apparaître clairement à la conscience du sujet ou lui être totalement inconnues, sans cesser d'être importantes.

II—Les aspects du dynamisme humain

Poser que le sujet est un élément dynamique, qu'est-ce à dire? D'abord que le dynamisme est une qualité qui ne peut appartenir qu'à une matière. Chez l'homme, cette matière est un corps organisé dont le dynamisme est à double face; d'une part, il vise à établir un équilibre entre les diverses fonctions dont les interactions constituent sa vie propre; d'autre part, il cherche à assimiler un milieu dont certains éléments sont nécessaires au maintien des fonctions qui le constituent. Il semble donc s'agir encore de la recherche d'un équilibre, extérieur cette fois. Mais qui dit équilibre dit établis-

sement d'un état statique, c'est à dire d'un état dans lequel tous les éléments de la situation sont parfaitement symétriques et interchangeables, en sorte que le mouvement devient inutile. Or, le corps est une matière vivante qui est toujours un peu en deça ou un peu au delà de l'équilibre parfait parce qu'elle entretient avec l'environnement des rapports de destruction et de construction, autrement dit un anabolisme et un catabolisme. Par ses notions d'assimilation et d'accommodation Piaget est conduit à l'idée d'un équilibre mobile, perpétuellement compromis et perpétuellement retrouvé. Mais l'équilibre piagétien, sous son aspect d'adaptation paraît assez passif, réglant strictement les échanges entre le sujet et les objets.

Or, si toute vie est asymétrique, si toute vie a un mauvais côté et si, comme l'a dit Lenine, les choses n'avancent que par leur mauvais côté, il faut encore, ajouter que le vivant ne recherche pas seulement l'équilibre, notion trop neutre ou trop négative, mais l'expansion. Cette expansion se heurte à une inertie extérieure ou plutôt à des forces contraires en provenance du milieu. Le soi-disant équilibre n'est qu'un compromis entre des forces qui s'affrontent, ce que constatait, il y a bien longtemps, Héraclite: «la guerre est universelle, la justice est une lutte et tout arrive à l'existence par la discorde et la nécessité».

Donc, l'homme est d'abord un corps dont la tâche est double: il doit premièrement assurer un bon fonctionnement interne par une harmonie entre des forces négatives de destruction et des forces positives de reconstruction expansive; il doit ensuite, à partir de là, constamment attaquer le milieu et le soumettre dans une certaine mesure. Il y a ainsi deux aspects dans le dynamisme du corps: un aspect d'assurance, d'appui, de prise de position, de recherche de points stratégiques et un aspect de mouvement conquérant, d'expansion, de volonté de victoire, une recherche de supériorité, de domination ou tout au moins d'affirmation de soi et de présence effective.

Le mérite de Wallon a été de mettre en évidence le rôle de certains muscles dans l'entrée en relation avec le monde extérieur. Il a été de montrer que le tonus constitue une des bases du psychisme dans la mesure où chacun de ses changements s'accompagne d'une tonalité affective qui suit ses variations. Celles-ci ont ainsi un impact intime, subjectif, en même temps qu'un effet externe, puisque, modifiant si peu que ce soit la position d'un segment corporel, elles modifient par la-même, l'équilibre général, tributaire du mouvement de tous les muscles. A chaque état musculaire correspond finalement une attitude qui possède un aspect physique, apparent, un aspect physiologique, plus caché, et un aspect plus proprement psychologique et d'abord émotionnel.

Or, si nous revenons à l'idée que tout dynamisme suppose un point d'appui et un mouvement exploratoire et que toute attitude est dynamisme, donc utilisation d'une énergie, nous sommes conduits à la supposition que la tension créée par cette énergie se clive en deux directions: l'une qui s'oriente vers le point d'appui lui-même, l'être d'où part l'attitude; l'autre qui se dirige vers le monde plus lointain ou, du moins, vers autre chose que le sujet lui même, On peut qualifier le premier courant d'inten-

tion, le préfixe in, signifiant un retour vers l'intimité. En fait, c'est une i n t e n s i o n, tension dirigée vers son point de départ. Quant au second courant, qui s'intéresse à un ailleurs, à un au-delà du sujet, on peut y voir une attention. En fait, c'est une a d - t e n s i o n qui se dirige soit vers les relations du sujet avec l'extérieur, soit vers les relations du sujet avec lui-même. A ce moment, ce «lui-même» est considéré comme un portrait, une effigie qu'il envisage comme un objet extérieur. De sorte que toute attitude, étant à la fois in-tension et ad-tension, va avoir conjointement un effet sur le sujet lui-même et sur son environnement.

En résumé ce qui est donné à la naissance, c'est une tension vers un accroissement d'être, tension primitive et inconsciente, tension brute, qui, rencontrant les aléas du fonctionnement physique d'une part, ceux de la rencontre avec le monde extérieur d'autre part, va se partager en deux voies, l'une, l'attention (ad-tension) dirigée vers les évènements, leur forme, leurs modifications, les modalités de leurs apparitions; l'autre, l'intention (in-tension), dirigée, vers l'être lui-même, en une sorte de feed-back, de servo-mécanisme, destiné à préciser et affirmer la direction du mouvement, à l'ajuster. L'in-tension jouerait sur le plan psychique un rôle comparable à celui du tonus sur le plan musculaire; elle servirait à mettre l'attitude en forme et en place. On la voit clairement à l'oeuvre dans la formation des sets étudiés par Uznadzé. L'ad-tension serait le moteur du mouvement psychologique, la tête chercheuse qui ne peut être utilisée qu'à partir d'une base ferme.

III—La montée des attitudes

Par suite, les premières attitudes vont dépendre d'une part de ce qui se présente à l'attention, des stimuli divers offerts par l'environnement et qui attirent l'ad-tension, la font surgir; d'autre part de la qualité de l'intention, c'est à dire de la part d'énergie consacrée aux aménagements de base, pour ainsi dire, et qui est probablement affectée par un coefficient personnel. Au début de la vie, ad-tension et in-tension dépendent de la qualité d'énergie vitale dévolue à chacun, mais leur dosage dans l'attitude totale dépend sans doute du domaine où s'exerce celle-ci et de la situation dans laquelle elle surgit.

L'enfant de quelques jours se trouve soumis à des attitudes qui dépendent en même temps du milieu immédiat et de ce qu'il peut «choisir» dans cet environnement selon l'état et la puissance de ses modalités sensorielles. C'est ainsi que certaines recherches (Wolf, 1959 — Birns, 1965 — Escalona, 1968 — Korner, 1969 — Church, 1970) montrent que dès les premiers jours de la vie, les nourrissons ont des attitudes vigilantes très différentes d'un enfant à l'autre, mais aussi des aptitudes sensorielles variables selon les individus.

Les premières attitudes qui apparaissent sont très fortement saturées en in-tension, tout simplement du fait d'un manque de moyens de communication avec l'extérieur; elles sont liées à des orientations primaires: tactiles

vers le chaud et le doux (Harlow), visuelles vers le brillant et le mobile, auditives vers l'aigu et le modulé (Wolf). A ce stade, in-tension et ad-tension sont peu discernables; elles sont mêlées et si, artificiellement ou non, par le conditionnement, le milieu agit sur l'ad-tension, il agit par là-même sur l'in-tension c'est à dire qu'il modifie l'être dans ses profondeurs. Au reste, les psychanalystes ont souvent dénoncé les effets lointains et néfastes d'un dressage trop précoce à la propreté, et M. Klein constate à travers ses observations, que les enfants nourris au sein deviennent, plus souvent que ceux qui sont nourris au biberon, des adultes équilibrés et sans problèmes majeurs.

Au fur et à mesure que le monde extérieur s'impose à l'enfant du fait de l'abaissement des seuils sensoriels et de la maturation des dfffférents canaux récepteurs d'information, l'ad-tension (attention) se spécifie, devient plus sélective. Mais l'immaturité motrice et le déséquilibre qui en découle font que l'in-tension (intention) reste importante. Elle l'emporte nettement dans les attitudes qui se font jour dans la première enfance et jusqu'à la fin de la seconde. Piaget parle ainsi d'égocentrisme, tandis que d'autres emploient le concept de narcissisme, ou même celui d'autisme. C'est que la tension primitive ne peut que partiellement se diriger vers le dehors et s'y employer. La majeure partie revient vers les processus internes. C'est pourquoi un premier système d'attitudes va comprendre des attitudes fortement influencées par les variations toniques, attitudes affectives dirigées vers le milieu social et les appartenances objectives. Cependant, il comprendra également des attitudes intellectuelles primaires d'adaptation aux objets matériels qui vont contribuer à la mise en place d'un espace séparé du corps. Les diverses attitudes, ainsi plus ou moins lestées d'in-tension et d'ad-tension restent inconnues du sujet, du moins au sens intellectuel du terme. Elles sont vécues de façon inconsciente, et si, comme le montre Malrieu des émotions telles que le désir ou l'attente dessinent comme en creux l'objet espéré, c'est l'objet qui est éclairé par la vigilance, non l'attitude.

C'est le monde social qui, par sa proximité, sa mobilité, les stimuli divers qu'il offre (aucun objet matériel ne fournit autant de stimulations à l'enfant qu'une mère en train de rire, gazouiller, et jouer avec lui) va développer à la fois l'ad-tension et l'in-tension. L'appropriation de ce système symbolique privilégié qu'est le langage, la capacité de se remémorer des évènements déjà vécus, permettent la mise en place et la structuration d'un autre espace qui élargit les possibilités d'action et offre des possibilités d'orientation diverses dans la mesure où l'action peut s'éloigner du corps et de ses parages immédiats. Les attitudes vont donc prendre une ampleur nouvelle ou plutôt une autre dimension. Elles vont se diversifier, elles vont être essayées dans diverses conduites, en particulier dans des conduites d'imitation. Mais si, dans chaque attitude, une partie de l'énergie se retourne vers le sujet, chacune va le modifier si peu que ce soit dans les profondeurs de son être. L'imitation sociale va ainsi exercer une influence, non seulement à la superficie du psychisme, dans l'aspect formel de la reproduction, mais également dans les profondeurs par une adhésion du sujet. Il en sera de même

pour les attitudes nouvelles envers les objets. Les diverses réactions circulaires mises en lumière par Piaget, et surtout les réactions circulaires tertiaires, informent les conduites visibles grâce à l'ad-tension qui les sous-tend, mais entrainent aussi, par l'in-tension qui l'accompagne, une appropriation plus intime des objets qui, outre leur dénotation, acquièrent pour le sujet une connotation particulière, laquelle est vécue et inconsciente.

IV—La vie des attitudes

Beaucoup d'attitudes peuvent être orientées par les circonstances extérieures qui jouent sur la plasticité du psychisme enfantin. Il s'agit d'une sorte de conformation de l'enfant au moule fourni par le milieu. A partir d'un certain âge, elles commencent à être délibérément choisies. A ce moment-là, c'est l'ad-tension consciente qui prédomine par la représentation préalable nécessaire au jeu correct du rôle voulu. Selon la vivacité de cette représentation, les attitudes prises seront plus ou moins cohérentes, prolongées et rigides, plus ou moins crédibles pour autrui. A ce stade, l'ad-tension peut en quelque mesure «oublier» l'in-tension. Il se peut même qu'elle paraisse la nier et aller à contre-courant. A ce moment, l'attitude semble comporter comme deux pôles séparés: un pôle abstrait, superficiel, intellectuel, contrôlé par la volonté et la logique et un autre, englué dans l'existence du sujet, situé à un niveau plus animal, implicite, et dont l'orientation réelle ne va pas toujours dans le sens de celle qui est indiquée par l'ad-tension. Pour l'observateur, cela se marque dans certains gestes impulsifs, des mimiques fugitives, des expressions de regard, des postures inconscientes. Il semble alors que l'on ait affaire à deux attitudes séparées, l'une intellectuelle, l'autre affective. Cependant, si le rôle délibérément voulu se prolonge, l'attitude intellectuelle adoptée, qui est une structure plaquée par une ad-tension perdurable, attire un partie de l'in-tension, la dévoie pour ainsi dire hors de son orientation première et l'infléchit dans son propre sens. La structure plaquée, qui n'est tout d'abord qu'une forme éclairée par la conscience, finit par prendre comme une épaisseur, une densité. L'in-tension se l'approprie et, d'abord modifiée par elle, la modifie à son tour de façon insidieuse. A la fin du processus, l'attitude volontairement prise au début et constamment contrôlée par la vigilance, devient un habitus, une manière d'être, s'incorpore à la personnalité entière et disparaît dans un au-delà du conscient, d'oú un éclair de vigilance peut encore à tout moment la faire surgir, puis elle glisse dans un ultra-conscient, où la boucle est bouclée et où elle rejoint le domaine ignoré du sujet, celui où in-tension et ad-tension sont fusionnées.

Les attitudes peuvent provenir soit de la profondeur du psychisme, soit de sa superficie. Elles peuvent avoir deux sens différents; les unes sont centrifuges et vont de la poussée in-tensionnelle à la forme définie par l'ad-tension, aidée de la vigilance; les autres sont centripètes, et vont de la forme dessinée par la vigilance sous l'influence de l'ad-tension à celle qui est investie par l'in-tension. Sans doute l'in-tension est le plus souvent inconsciente, reste très proche du vécu brut, mais elle peut être aussi éclairée par la cons-

cience, comme dans certaines attitudes passionnelles où le sujet sait très bien quelle influence sa passion exerce sur lui et comment elle le modifie. De même l'ad-tension ressortit le plus souvent du domaine de la conscience claire, mais elle peut aussi agir dans les zones plus obscures. On le voit, par exemple, dans ces expériences américaines où, lors de la projection d'un film, on projette épisodiquement et dans une toute petite partie de l'écran, de manière à peine perceptible, la recommandation de manger de préférence telle ou telle friandise vendue à l'entracte. L'on constate alors qu'effectivement, l'entracte venu, une plus grande quantité de ces friandises est vendue. Il faut alors croire que l'ad-tension suscitée par l'image s'est dirigée aussi bien vers l'histoire racontée sur l'écran que vers les à-côtés. Elle a abouti en partie à une structure consciente, en partie à une structure infra-consciente (car les sujets interrogés déclarent n'avoir rien noté de particulier).

Il suit de là que l'in-tension et l'ad-tension ne sont pas assimilables à des degrés d'éclairement, à des niveaux de vigilance. Ce sont deux modalités d'une même attitude qui seraient plutôt comparables à des niveaux de proximité. Cependant, elles ne sont pas non plus assimilables à un taux d'investissement libidinal car l'in-tension, partie de l'attitude qui revient sur le sujet lui-même, n'est pas forcément teintée d'affectivité, et l'ad-tension, partie de l'attitude orientée vers le dehors, n'est pas seulement intellectuelle et abstraite. In-tension et ad-tension sont aussi indissociables que le système circulatoire et le système de relation dans un corps humain. Elles sont les deux composantes d'une attitude qui a obligatoirement pour siège un sujet et qui est l'expression d'un vivant, pris entre la nécessité de persévérer dans son être et celle de l'accroître[1].

V—Genèse d'attitudes intellectuelles à la maternelle

C'est pourquoi toute attitude humaine peut être retrouvée sous différents niveaux de vigilance: un niveau inconscient qui est le niveau organique des pulsions informées par les schèmes moteurs, eux-mêmes inconscients mais visibles de l'extérieur: un niveau infra-conscient ou subconscient qui reste encore au niveau organique mais que le sujet peut observer pour peu qu'il dirige sa propre vigilance sur lui-même et ses états. Il peut alors se représenter ses postures et ses gestes et la dimension intellectuelle et volontaire intervient; un niveau pleinement conscient qui admet certaines conduites de liberté vis à vis de l'attitude, en ce sens qu'elle y est jugée, acceptée ou niée: un niveau ultra-conscient qui rejoint le niveau primaire de l'inconscient.

Il est difficile de faire un recensement des attitudes humaines. Cependant il semble que l'on puisse distinguer, en un classement grossier, deux

---

[1] On peut penser que l'in-tension (ou intention) et l'ad-tension (ou attention) peuvent être différemment dosées selon la personnalité/ou les situations. Ainsi, certains vivent intensément leurs attitudes, donnent le spectacle, sont ce que Diderot (Paradoxe du comédien) appelle les «hommes chauds»; d'autres dominent et contrôlent leurs postures, se les représentent et jouissent du spectacle. Ce sont les «hommes froids», que l'on ne peut confondre avec les secondaires de certaines caractérologies.

grandes catégories: d'une part des attitudes affectives dans lesquelles l'émotion prédomine; d'autre part des attitudes intellectuelles, qui portent davantage sur les relations d'objets, sur la manipulation d'abstractions et jouent dans la partie la plus sereine du psychisme.

La genèse de ces dernières a été étudiée depuis plusieurs années par certains chercheurs de l'équipe de Bordeaux, sous l'impulsion de J. Chateau.

Ces attitudes qui agissent au niveau supérieur du psychisme, sont en grande partie responsables de l'aménagement de l'espace mental. Elles lui donnent son orientation, ses dimensions, sa valeur. Chez les enfants d'âge prescolaire, les expériences semblent montrer une mise en place progressive, dans laquelle l'ab-tension et l'ad-tension ont leur part, aussi bien que le conscient et l'inconscient.

Les recherches sont parties de l'idée que toute attitude est une orientation fondamentale de l'organisme et qu'elle est pour ainsi dire à plusieurs étages: un niveau somatique où elle prend la forme d'une direction vers une partie du champ de la réalité en même temps qu'une impulsion à agir dans cette direction et où elle est tributaire des stimuli dominants pour le sujet; Un niveau psychique où elle se déploie sur un plan représentatif, plus ou moins structuré, plus ou moins explicite; un niveau intermédiaire. Les attitudes étudiées on été regroupées en trois grandes rubriques: 1)—des attitudes de positionnement de l'organisme, 2)—des attitudes d'obéissance à la consigne, 3)—des attitudes du modèle, qui préparent les attitudes de rôle.

I)—les attitudes de positionnement

Ces attitudes peuvent être aussi considérées comme des attitudes de recherche d'un point d'appui, que ce point d'appui soit purement physique ou qu'il traduise une projection du domaine représentatif sur l'espace réel.

Lors d'une expérience, des enfants de 2 ans 10 mois à 5 ans 9 mois doivent construire, à l'aide de petites barrières colorées des enclos destinés à recevoir des vaches et des moutons. On constate que 95 enfants sur 96, utilisent d'abord une chaise, placée intentionnellement dans les parages immédiats du lieu de travail, mais dont l'expérimentatrice n'a jamais suggéré l'emploi. Cette conduite préalable au commencement de la tâche semble indiquer le besoin d'une fixation générale du corps qui contribue à la mise au repos des grosses masses musculaires, inutiles pour le travail proposé, ceci afin de libérer au contraire le jeu des muscles des parties utiles et qui doivent être particulièrement mobiles, les yeux et les mains.

Il s'agit ici d'autre chose que d'une habitude scolaire car non seulement les enfants de Maternelle ne s'asseoient pas toujours pour réaliser une tâche et restent libres de leurs postures, mais encore les plus jeunes, ceux qui ont environ 3 ans, arrivent en classe et n'ont pu encore être marqués par les coutumes scolaires. Or, ils cherchent et utilisent le siège dans la même proportion que les autres. Cette conduite traduit sans doute davantage la recherche d'un «référentiel statural et postural» qui «compose au corps une attitude d'ensemble.» Cette attitude exprime la manière dont l'organisme affronte

son environnement et se prépare à y agir (Paillard, 1974). Dans ce cas précis, elle permet une action qui demande des gestes de peu d'amplitude. C'est une attitude infra-consciente, suscitée sans doute par la présence de la chaise, mais qui traduit le sens d'une orientation précise de tout le corps. Certains parleraient ici d'intelligence pratique, d'intelligence sensori-motrice. Nous préférons n'y voir qu'une attitude qui serait, comme le dit bien Uznadzé dans sa P s y c h o l o g i e d e s a t t i t u d e s: «une réaction initiale, fondamentale à une situation dans laquelle un problème doit être considéré et résolu».

Une fois ce point d'appui assuré, point d'appui qui constitue la base physique de l'attitude, l'enfant prend un autre point d'ancrage pour le commencement de la tâche elle-même. Ce point d'ancrage est en quelque sorte le point d'impact où vont se rencontrer projet mental et réalisation matérielle. Il va pouvoir mettre en évidence la façon dont le sujet envisage le lieu de situation de la structure demandée, soit que ce lieu soit replacé dans un espace large que l'ad-tension peut balayer, soit qu'il reste dans l'espace proche, l'espace à disposition, à l'intérieur de ce qu'avec Wallon on peut appeler «les limites territoriales», Or, les plus jeunes n'ont aucune tendance à considérer tout le champ de travail qui leur est offert. Ils restent fixés à un espace très proche d'eux-mêmes, posant la première près de leur corps et dans l'axe médian, à l'endroit où se pose leur premier regard (I). Ceci est retrouvé dans une autre expérience où les enfants doivent placer des perles dans les trous d'une forme en spirale assez peu visible. Les plus jeunes placent encore dans la partie médiane et à portée de leur main. Il faut attendre 5 ans, pour que les sujets commencent à placer à la fois plus loin d'eux et dans les plans latéreux, le plan gauche étant alors privilégié:

Age	2.10—3.9	3.9—4.8	4.9—5.9
Partie proche (20 cm)	35s/64	18s/64	11s/64
Partie plus éloignée(40 cm)	29	42	45
Partie plus éloignée (60 cm)	0	04	08
Partie axiale	51	58	29
Partie latérale droite	07	01	07
Partie latérale gauche	06	05	28

(I)—Cette façon de faire est également mise en évidence dans les travaux de LurÇat, (1961 — 1962)—Pecheux (1969)—Vurpillot 1971).

On voit que, jusqu'à 5 ans, l'attitude est fortement saturée en in-tension. Elle entraîne un placement spontané qui ne doit rien ou presque à l'in-

tervention de l'intellect. L'attitude est une attitude d'économie de l'effort grâce à laquelle l'énergie se liquide aux moindres frais. Aux environs de 5 ans, apparaît un investissement de l'espace matériel. Mais il ne se fait pas n'importe comment. En effet, les enfants de cet âge, s'ils placent toujours dans la limite de portée du bras, commencent à se montrer sensibles à l'habitude culturelle graphique qui va de gauche à droite. Cette attitude de régulation résulte d'une imprégnation consécutive aux exercices scolaires de classement de graphismes, de lecture d'images, de triages, etc...,. On la trouve dans d'autres situations où les sujets doivent reproduire des graphismes ou des constructions (avec des jetons ou des cubes) données toutes faites. C'est une conduite inconsciente et généralisée qui commande l'orientation de l'espace mental; elle apparaît vers 5 ans, et semble agir avec le plus de force jusqu'à 8-9 ans (travaux de Fraisse, 1968 — Chateau — Berger — Boechat—Heraut, 1970 — Chateau, 1965 — Guillaumin, 1961). Qu'elle provienne essentiellement d'une mise en conformité avec les normes culturelles, donc d'une orientation particulière d'un psychisme socialisé, ressort de comparaisons faites entre les enfants de peuples qui orientent l'écriture de gauche à droite (américains, arméniens, turcs, cambodgiens) et des enfants de peuples qui orientent l'écriture de droite à gauche (libanais, égyptiens, iraniens, israéliens), (Dennis, 1960). Nous sommes ici sur un plan qui semble physique, mais dans lequel l'orientation du corps ne fait que traduire une attitude intellectuelle large qui se retrouvera ensuite dans bien d'autres domaines, par exemple dans la manière de classer ses souvenirs sur un continuum dont l'origine est à gauche de l'espace mental sur lesquels ils se projettent, et qui se révèle parfaitement inconsciente.

Ainsi, les attitudes de positionnement sont d'abord des postures prises de la manière la plus économique pour l'organisme. Quand elles gagnent le plan mental, elles y sont plus ou moins gauchies par les normes sociales qui s'imposent de l'extérieur par une éducation souvent informelle, non explicite, ce qui explique qu'elles restent infra-conscientes. Dans un premier cas, il s'agit d'assurer un appui matériel, dans le second de rester dans la ligne d'action socialisée et d'y trouver un ancrage supérieur. En fait, il s'agit toujours d'ajustements fondamentaux à une situation compatible avec le niveau de développement de l'organisme total. Et c'est un ajustement qui reste pour une grande part inconscient.

2)—Les attitudes d'obéissance à la consigne

Elles impliquent, semble-t-il une plus grande part d'ad-tension et de conscience et sont dirigées beaucoup plus explicitement vers l'extérieur. Les modalités d'obéissance dépendent évidemment de la complexité de la consigne, mais l'attitude en elle-même semble exister assez tôt, comme le montrent les expériences de Yakovleva et celles de Luria. Au reste, que l'obéissance à une consigne très simple, comme l'injonction, soit patente chez le bébé n'implique pas que, à cet âge, l'attitude de réponse à une consigne adulte soit entièrement volontaire et Ch. Buhler, (1935), note bien qu'elle ressemble davantage à une réponse automatique qu'à une conduite vo-

lontairement élaborée. Les belles expériences de Luria, suggèrent que la véritable attitude d'obéissance à la consigne n'apparaît que vers 5 ans, quand le langage est réellement et totalement intériorisé, c'est à dire quand l'enfant peut se donner à lui-même la consigne que lui avait donnée l'adulte. Alors l'attitude d'obéissance est pleinement consciente et explicite.

Nos propres expériences indiquent cependant que cette obéissance peut prendre des aspect plus implicites. C'est ainsi que si l'on donne à des enfants d'âge prescolaire un matériel possédant diverses caractéristiques de couleur et de forme et si on assortit ce matériel d'une consigne vague, du genre : «mets les perles dans les trous» ou encore «mets les cubes dans la route (une rainure)», on assiste à une modification progressive de la consigne, modification qui va dans le sens d'une personnalisation. En effet, alors que la consigne donnée n'appelle qu'un geste brut, (celui de placer) les sujets, de plus en plus nombreux à mesure qu'ils grandissent, introduisent des modulations dans le placement des éléments, comme on peut le voir dans les nombres suivants qui concernent d'une part le nombre d'enfants ayant observé une obéissance stricte, d'autre part le nombre d'enfants ayant observé des consignes personnelles que nous appelons» consignes additionnelles»[2].

âge	2 ans/10 mois 3./8m			3./9m—4./8m			4./9m—5./9m		
	perles	cubes	T	perles	cubes	T	perles	cubes	T
obéis. stricte	25	18	43	06	06	12	01	03	04
cons. addition	05	12	17	24	24	48	29	27	56
	30	30		30	30		30	30	

.Plus les enfants sont âgés, plus ils deviennent capables également de se donner plusieurs consignes additionnelles à la fois, comme le montrent les résultats suivants:

age	2/10m—3./8m	3/9m—4./8m	4./9m—5./9m
Nbre de cons. add.	43 enf.	12 enf.	01 enf.
0	16	32	23
1	01	13	25
2	00	03	10
3	00	00	02
4			
	60	60	60

2 Les consignes aditionnelles observées sont très variées. Elles peuvent consister en: alternances de couleur, rangements de couleurs par masses, choix d'une couleur unique, orientation particulière du matériel (les orifices des perles par exemple), stratégies de saisie du matériel, consignes de rapidité, consignes de tri préalable.

On voit donc que l'attitude, sous son aspect d'ad-tension s'enrichit et s'élargit avec la maturation. Cependant, elle peut être modifiée par la difficulté. En effet, si, abandonnant la consigne vague, l'expérimentateur en donne une plus élaborée (mets une perle bleue, une perle jaune), puis une autre encore plus complexe (mets deux perles bleues; deux perles jaunes et les trous des perles en haut,) les conduites changent. Paradoxalement, les plus jeunes, aux environs de 3 ans, obéissent mieux à la consigne la plus complexe. Dans trois groupes de 30 sujets chacun, on obtient:

age:	2./10m—3./8m	3./9m—4./8m	4./9m—5./m
Cons. simple alternance	06	19	29
Cons. complexe	15	20	30

C'est la même chose dans une autre tâche où les enfants doivent placer des cubes dans une rainure simple, puis placer les pièces d'un puzzle en forme d'escargot dans une rainure qui va en rétrécissant, la meilleure obéissance se montre dans l'augmentation nette des temps médians de travail:

quartile 1	médian	quartile 3	
tâche simple 2mm 30 sec.	3.40	4.30	
tâche complexe 2mm 50sec.	5.	6.40	

On retrouve encore ce fait chez les enfants au-dessus de 4 ans lorsqu'ils doivent placer d'une main des perles selon la consigne complexe donnée plus haut tandis que l'autre main doit soit rester appuyée sur des touches (de façon à garder des lampes éteintes), soit pianoter. Là encore, la complexité de la consigne entraîne une meilleure focalisation de l'attention. Les choses se passent de la manière suivante: l'enfant, conscient de la difficulté de la tâche, essaie de la dominer à sa manière. Après avoir tenté de maîtriser le mouvement de ses deux mains, il isole une des tâches, celle qui lui paraît la plus difficile (pour la grande majorité des sujets observés cette tâche est celle d'alternance des perles) et il la réussit alors mieux que lorsqu'elle a été donnée seule.

Il faut voir là, nous semble-t-il, le jeu d'une in-tension inconsciente qui dirige une ad-tension consciente. En effet, la difficulté, telle qu'elle est jaugée par l'enfant, suscite une tension qui entraîne un déséquilibre. Ce déséquilibre doit être compensé au mieux, c'est à dire de telle manière que le sujet se sente non seulement adapté à la situation, autrement dit capable d'y répondre, (ce serait le cas s'il appuyait sur les touches) mais encore maître d'elle-même. C'est pourquoi elle doit lui opposer une certaine résistance, qui lui permet de déployer ses possibilités et de les amener à leur limite. L'adaptation à la situation est ainsi un processus complexe qui procède d'une in-tension destinée à donner une assise mentale apparemment inconsciente, assise mentale à partir de laquelle peut jaillir une ad-tension éclairée

par la conscience, non pas sur tout son parcours, mais seulement au niveau des résultats. Ces résultats, satisfaisants pour l'enfant, renforcent à la fois in-tension et ad-tension. Les conduites délibérées s'affirment et se confirment. Puis elles glissent dans un extra-conscient et, après un certain nombre d'alternances par exemple, l'enfant devient capable de bavarder, se laissant guider par la seule perception de ce qui a déjà été réalisé, la vigilance n'étant plus qu'épisodique.

En résumé, les changements qualitatifs aussi bien que les changements quantitatifs des conduites d'obéissance à la consigne traduisent des modifications de l'attitude sous-jacente, modifications inconscientes de l'in-tension qui aboutissent à des modifications conscientes de l'ad-tension.

3)—Les attitudes de conformation au modèle:

Ces attitudes prolongent et complètent celles de l'obéissance à la consigne. En effet, toutes deux demandent une certaine maîtrise de soi, un certain détachement de la situation, la possibilité de changer de stratégies.

L'attitude de conformation au modèle est bien une attitude à dominance intellectuelle car se conformer à un modèle, c'est d'abord pouvoir en faire une analyse, même grossière, c'est le décomposer en ses différentes parties, se représenter leur ordre d'apparition lors de sa re-création et recomposer cet ordre sur le plan concret[3]. Par suite il semble que l'ad-tension accompagnée d'une conscience aigüe doive être prépondérante.

Or que voit-on lors de la genèse de cette attitude en face de modèles constructifs? Les enfants les plus jeunes (de 2./10m à 3./8m), s'ils s'orientent bien vers le modèle proposé, le déforment en fonction de leurs intérêts. Dans une expérience où l'on demande aux sujets de faire une construction de cubes en tous points semblable à celle qui est réalisée par l'expérimentatrice, ces enfants regardent le modèle, tentent de le construire et, après un refus de l'aide demandée à l'adulte, font une construction personnelle: train, bateau, qu'ils insèrent dans une histoire. Ils transforment ainsi la situation en une sorte de jeu dramatique qu'ils conduisent à leur gré. La conscience est très présente, elle guide l'ad-tension et éclaire les difficultés sans que celles-ci soient très bien comprises. L'impossibilité de les surmonter entraîne un rétrécissement de l'ad-tension, qui d'abord n'est plus dirigée que vers le matériel, puis sa dissolution dans une fabulation où l'in-tension, quelque peu modifiée elle même par les objets précédents de l'ad-tension, l'absorbe et la masque.

L'attitude, d'abord consciemment dirigée vers le modèle, revient sur les préoccupations intimes qui sont inconsciemment extériorisées, ou extériorisées avec une mauvaise foi à moitié voulue seulement.

---

[3] La conduite de conformation au modèle objectif est préparée chez le jeune enfant par les conduites d'imitation des modèles sociaux fournis par les adultes proches ou les pairs. Mais ces dernières peuvent être assez lâches et ne reposer que sur des prises de position globale et approximatives, tandis que la reproduction d'un modèle objectif exige plus de rigueur. C'est pourquoi Lurçat ne voit apparaître l'âge du modèle qu'à 6 ans, tandis que Piaget—Inhelder fixent celui de la reproduction des modèles géométriques entre 6 ans et demi et 7 ans 9 mois.

Passé 4 ans, l'orientation vers le modèle est plus longue, l'ad-tension devient à la fois plus assurée et plus souple; la conscience peut mettre en évidence certains aspects du modèle qui sont correctement reproduits de façon de moins en moins pointilliste, à mesure que l'enfant grandit. L'intension semble perdre de sa force et les positionnements mentaux inconscients jouent plus fermement un rôle de point d'appui.

On retrouve les mêmes conduites lorsqu'on demande la reproduction de modèles graphiques: l'ad-tension consciente prend progressivement le pas sur une in-tension qui devient de plus en plus inconsciente.

Cependant, on peut, semble-t-il, mettre en évidence des phènomènes inconscients ou à peine conscients de contamination. En effet, on fait l'expérience suivante: on réalise aux yeux de l'enfant une construction avec des jetons de diverses formes et couleurs. Puis on lui demande d'en faire une autre lui-même, mais il doit la faire totalement différente (afin, lui dit-on, de voir quelle est la plus belle). On réalise ainsi une série de constructions. On constate alors que le modèle précédemment fait par l'adulte exerce une grande influence et ceci à deux niveaux: d'une part de très nombreux enfants, à tous les âges de la maternelle, n'arrivent pas à réaliser une forme différente de celle qui doit constituer en quelque sorte un modèle négatif (ce nombre va cependant en diminuant, du tiers environ chez les plus jeunes, au cinquième environ chez les plus âgés). D'autre part, à tous les âges lorsqu'une construction différente est réussie, c'est souvent parce que l'enfant a repris une construction précédemment réalisée par l'adulte, soit immédiatement avant, soit de manière plus reculée dans le temps. Les résultats sont les suivants:

âges :	2./10—3./8	3./9—4./8	4./9—5./9
Même construction	66/224 Ss	40/240 Ss	42/240 Ss
Construction précédte	30	53	57

Si pour chaque item, on regarde les pourcentages de constructions semblables au modèle immédiat et les pourcentages de constructions semblables au modèle précédent, on trouve:

AGES	2./10—3./8 même %	Préc. %	3./9—4./8 Même %	Prec. %	4./9—5./9 même %	Prec. %
Item 1	64	/	17	/	17	/
Item 2	36	14	20	23	7	18
„ 3	39	32	13	37	10	30
„ 4	39	18	13	30	23	30
„ 5	32	26	20	27	23	17
„ 6	36	4	20	20	20	33
„ 7	11	11	13	17	13	12
„ 8	14	4	17	20	23	17

On voit clairement que, au fur et à mesure que l'enfant avance en âge, l'influence du modèle immédiat diminue, tandis que celle du modèle précédent augmente. L'enfant emploie une stratégie qui s'étaie sur la trace laissée par une ad-tension éclairée par la conscience et qui commence à glisser dans l'inconscience. Bien qu'il n'ait pas réalisé sur le champ le modèle exposé, il a cependant enregistré sa forme (simple, il est vrai) et la disposition des couleurs. Une certaine empreinte, une appropriation par l'ad-tension s'est produite, de sorte que l'attention actuelle qu'il porte à sa construction prend appui sur une modification sous-jacente du psychisme. Les enfants, interrogés, semblent rarement pouvoir dire que ce qu'ils ont fait avait été fait auparavant par un autre qu'eux-mêmes. Ils semblent s'être approprié cette structure, qu'ils restituent parfois assez loin du moment où elle leur à été présentée.

Il nous semble voir là un jeu complexe qui va d'une conscience marginale, dans l'attention portée à une forme qui ne doit pas d'abord être utilisée, à une inconscience agissante qui impose plus tard cette forme à un moment où elle peut être employée. Les effets de l'ad-tension vers l'objet externe, provisoirement inhibés, ont cependant agi à un autre niveau: celui où ils ont modifié la forme énergétique intime. Ils ont agi sur l'in-tension et suscité des comportements dont le sujet ne sait plus qu'ils n'ont pas été les siens.

On voit donc que l'attitude du modèle est à plusieurs niveaux. Sous la conduite telle qu'elle est voulue par la conscience claire s'organisent des structures qui lui échappent mais soutiennent les conduites délibérées.

Conclusion

On a pu dire qu'une grande partie de la vie humaine et des actions qu'elle entraîne était inconsciente. Encore faut-il s'entendre sur la signification de l'inconscient. Est inconscient ce qui est non connu du sujet mais qui est cependant su par lui. Je peux fumer une cigarette inconsciemment sans connaître que je la fume, mais je sais la fumer et, même inconsciemment, je ferai les gestes convenables au moment convenable, de sorte qu'un observateur pourrait penser que la conscience éclaire mes gestes alors qu'elle est aux prises avec la démonstration difficile d'un théorème, par exemple. Ici, le savoir correspond à un système de réponses complexes à des sensations. C'est un sentir que l'organisme actualise mais qu'il ne pense pas parce qu'il ne le met pas à distance de lui-même. C'est pourquoi la partie des attitudes que nous avons appelée in-tension, cette partie qui reste proche, est souvent inconsciente. Donc, si l'inconscient signifie non connu du sujet, il ne signifie pas monde hors du sujet. L'inconscient et le conscient appartiennent à un être particulier, et l'un est lié à l'autre comme l'ombre à la lumière. Tout inconscient est nourri de conscient. Tout conscient a pour base ou pour fin un inconscient. Le but de l'éducation n'est-il pas, non d'apprendre une matière quelconque, mais d'apprendre à apprendre, c'est à dire à faire passer des stratégies conscientes dans le su, dans l'inconscient?

Est alors inconscient tout ce qui n'a pas ou n'a plus besoin d'être contrôlé par la vigilance, comme le mouvement de chacun des muscles dans une mélodie kinétique ou la décomposition en syllabes dans la lecture courante. Celà ne signifie pas que la connaissance est refoulée ou refusée, mais que, dans ce cas, elle est inutile. C'est pourquoi l'inconscient est fait d'une part des évènements biologiques qui assurent la marche de la machinerie corporelle, d'autre part des faits autrefois volontaires et qui n'ont plus besoin de l'être. Le fonctionnement de l'inconscient entre ainsi dans le principe général de l'économie de l'organisme qui est assimilation et mise en réserve en vue d'une puissance au moins maintenue et, de préférence, accrue.

Toute attitude qui met en jeu la totalité de l'organisme, possède donc une part d'inconscient. Chateau distingue des attitudes primaires, qui naissent au niveau des pulsions animales, et des attitudes secondaires, qui naissent au niveau représentatif. L'obéissance à une consigne, la conformation à un modèle sont de celles-là. Or, dans ces opérations, on voit que la conscience, si elle joue sa partie, ne reste pas toujours prépondérante. Les gestes, les postures et l'orientation générale du psychisme qui y est attachée finissent par se trouver hors de son regard. Mais les structures qu'elle a mises en lumière restent et durcissent, comme les névés sous la neige fraîche. Elles transforment, ou plutôt informent, d'une certaine manière l'énergie vitale sous les deux aspects qu'elle prend, celui d'une in-tension, celui d'une ad-tension, de sorte que cette énergie est inconsciemment modifiée à la fois dans sa direction et dans son élan. Par là est modifiée la personnalité tout entière.

Il faut donc voir l'inconscient à la fois comme un point d'appui indispensable à l'édification du psychisme et comme une partie active de l'être. Mais c'est une partie sur laquelle la conscience exerce son influence, soit que l'inconscient, par le heurt avec un obstacle, devienne conscient (alors la conscience peut plaquer sur lui des structures qui, par la vie de l'inconscient lui-même, vont le modifier), soit que le conscient, par l'exercice répété, glisse dans l'inconscient qui en sera encore modifié. Cependant, il y a aussi sans doute dans l'inconscient une part qui ne dérive pas de la conscience et qui s'explique peut-être autant par la structure génique que par les acquêts génétiques.

Si l'être humain est fait de beaucoup d'ombre et de peu de lumière, il reste que la forme et la densité de l'ombre dépendent de la lumière. A un certain niveau, inconscient et conscient s'expliquent l'un par l'autre. Ils traduisent l'un et l'autre non pas une nature naturante, comme disait Ravaisson, mais une nature naturée, c'est à dire une nature sur laquelle ont joué un exercice et une éducation. C'est là retrouver encore une fois l'influence du milieu humain.

BIBLIOGRAPHIE

BIRNS, B., BARTENS, S., RONCH, J. Individual differences in the visual pursuit behavior of neonates. Child Dev., 1971, 42, 313—319.

BUHLER, CH. From Birth to Maturity, London, Kegan, 1947 (Iere édit. 1935).

CHATEAU, J. Psychologie des attitudes (La route et la maison, tome II), Editions Universitaires, 1974.

Attitudes intellectuelles et spatiales dans le dessin, Monog. CNRS. 1965.
CHURCH, J. Techniques for the differential study of cognition in early infancy, in: Cognitive Studies, vol. I, New-York, Bruner and Mazel, 1970, pp. 1—23.
DENNIS, W. Handwriting conventions as determinants of human figure drawings. J. Consult. Psychol., 1958, 4, 293—295.
DENNIS, W., and RASKINE E. Further evidence concerning the effect of handwriting habits upon the location of drawings. J. Consult. Psychol., 1960, 24, 548—549.
ESCALONA, S. The roots of individuality: normal patterns of development, in: Infancy, Chicago, Aldine Publishing Company, 1968.
FRAISSE, P. De quelques comportements dits spontanés, Enfance, 1968, 3—4, 161—181.
GUILLAUMIN, J. Quelques faits et quelques réflexions à propos de l'orientation des profils humains dans les dessins d'enfants, Enfance, 1961, 56—74.
KORTNER, A. F. Neonatal startles, smiles. erections and reflex sucks as related to state, sex and individuality, Child Dev., 1969, 40, 1039—1053.
LURÇAT, L. Rôle de l'axe du corps dans le départ du mouvement. Psych. Franc. 1961, 4. 305—310.
Etude des facteurs kinesthésiques dans les premiers tracés enfantins. Psych. Franc. 1962, 7, 301—311.
LURIA, A. R. The genesis of voluntary movements, in: Recent Soviet Psychology, Pergamons Press, 1961, pp 165—185.
La fonction régulatrice du langage dans son développement et sa dégradation, Recherches Psychologiques en URSS, Moscou, 1966.
MALRIEU, P. Les émotions et la personnalité de l'enfant, Vrin, 1967.
PALLARD, J. Le traitement des informations spatiales, in: De l'espace corporel à l'espace écologique, P. U. F., 1974, pp. 7—54.
PECHEUX, M. G., et STAMBACK M. Essai d'analyse de l'activité de reproduction de figures géométriques complexes. Année Psych., 1969, 69, 55—66.
PIAGET, J. La psychologie de l'intelligence, A. Colin; 1965 (8 eme édition).
PIAGET, J., et INHELDER B. La représentation de l'espace chez l'enfant, P. U. F. 1948.
SOUNALET, G. Etude génétique de l'obéissance à la consigne dans une tâche simple. Enfance, 1968, 3—4, 237—250.
Quelques aspects de l'obéissance à la consigne à l'école maternelle. Enfance, 1970, 2. 203—214
UZNADZE, D. N. The Psychology of Set, Wortis, ed., New York, 1966.
VURPILLOT, E. Activités oculo-motrices et activités cognitives. Bull. de Psych., 1969, 22, 660—668.
WALLON, H. L'évolution psychologique de l'enfant, Paris, A. Colin 1941.
WALLON, H., LURÇAT L. L'espace graphique de l'enfant. Journal de Psych., 1959, 427—454.
WOLF, P. H. Observations on newborn infants. Psychosom. Med., 1959, 21, 110—118.
YAKOVLEVA. Development of the regularity function of verbal instructions in early childhood. Actes du XVIIIème Congrès de Psychologie, Moscou, 1966.
ZAZZO, R. Le geste graphique et la structuration de l'espace. Enfance, 1950, 3—4, 237—241.

187

LA REGULATION COMMUNICATIVE DE LA RELATION SOCIALE ET LE DEVENIR CONSCIENT DES CONTENUS DE MEMOIRE

L. GARAI

Institut de Psychologie de l'Académie des Sciences, Hongrie

Il est bien connu que hors du produit direct d'une activité il y a aussi des dérivés qui se produisent comme conséquences non projetées de l'activité, dans l'arrière-plan de celle-ci. Tant le produit que le sous-produit de ce changement spontané de l'arrière-plan sont donnés pour le psychique et y laissent d'une façon probante, une trace de mémoire. Toutefois, les traces empreintes de mémoire divergent. Les traces laissées par le produit direct sont relativemant faciles à évoquer, et, faute, de perception de l'objet actuellement présent, elles peuvent reprendre les fonctions de la commande de l'activité. Les contenus de mémoire relatifs à l'arrière-plan, par contre, ne peuvent pas être évoqués consciemment et ne sont pas adaptables à commander l'action.

La majeure partie des contenus de la mémoire de l'homme emmagasine des informations provenant de l'arrière-plan de son activité vitale. Ces contenus de mémoire inconscients, emmagasinés comme sous-produits, dans certaines conditions, peuvent être des facteurs d'action essentiels de la vie individuelle et, de plus, dans certaines conditions ils peuvent devenir conscients. L'effet produit par les contenus psychiques inconscients (Freud) et leur devenir conscient inattendu (Bergson) ont fait l'objet d'une littérature abondante. Quelques observations faites dans ce domaine y sont décrites et généralisées théoriquement. Cependant, peu d'expériences ont été faites pour le contrôle expérimental des généralisations théoriques, car aucun des indicateurs traditionellement employés dans les expériences psychologiques ne peut être appliqué par rapport au matériel de faits en questions: d'une part, le sujet ne pourrait pas rendre compte d'une façon introspective de ses expériences, car elles se passent sans le contrôle de sa conscience; d'autre part, aucune conclusion ne peut être tirée des manifestations du comportement, puisque faute de l'objet actuellement présent dans l'espace extérieur et également faute du contenu de mémoire extériorisable dans l'espace, c'est à dire idéal, le comportement manque de base d'orientation et devient chaotique, d'un caractère accidentel et impropre à en tirer aucune conséquence á l'égard de l'activité psychique.

Au cours des expériences faites relativement à cet ensemble de problèmes à la Faculté de Psychologie de l'Université Lomonossov à Moscou, nous

avons essayé de dépasser les difficultés de l'expérimentation relative à la *manifestation* des contenus inconscients en nous rapprochant d'expériences relatives à la *formation* de tels contenus: il est plus facile de saisir les manifestations d'un contenu inconscient formés par nous-même au cours de l'expérience que celles de contenus développés d'une façon spontanée au cours de l'histoire de vie de la personnalité — dans le premier cas l'expérimentateur sait, dans le second cas il ignore quels sont les faits psychiques dont il cherche les manifestations.

Description de l'installation expérimentale. Un appareil fonctionnant avec deux éléments à 4, 5 volts, il est divisé en deux moitiés de champs dont chacune contient 16 contacts, de sorte que chacun des contacts de gauche ferme le circuit par un certain contact de droite; cela fait, une petite lampe s'allume à la bissectrice des deux moitiés de champs. Si le sujet ne touche pas la conduite de droite au contact approprié, il peut-être touché par un choc électrique d'une force réglable à travers de l'un d'un pair d'électrodes conduits en dehors séparément.

Formation des contenus inconscients de mémoire. On pose sur cette installation un tableau divisé en deux moitiés de champs, chacune contient 16 syllabes. Le sujet reçoit l'instruction suivante: «Sur ce tableau vous voyez un vers. Sa forme est un peu étrange: le vers est fragmenté en syllabes. Vous devrez composer avec des syllabes un vers de quatre versiculets. A cette fin, passez en revue les syllabes de gauche dans un ordre à volonté, posez le fil conducteur de gauche dans le trou sous la syllabe choisie, puis d'entre les syllabes de droite, sélectionnez celle qui d'après votre supposition complète la précédente en un pied, posez le conducteur de droite aussi dans le trou approprié — si vous avez correctement résolu la tâche, la petite lampe va s'allumer».

Cette phase de l'expérience prend deux heures avec l'insertion d'une pause de cinq minutes. Pendant ce temps l'expérimentateur fait son meilleur pour que le sujet connecte le plus de fois possible les paires de contact respectifs: c'est une condition indispensable de ce qu'ils se fixent dans la mémoire du sujet comme sous-produits, comme des éléments de l'arrière-plan de son activité. A cette fin, en cas de besoin, des instructions complémentaires sont données au sujet. S'il est assis inactivement pendant un temps trop long, il va être invité à passer en revue les syllabes de gauche non encore employées et à essayer de faire avec elles tous les couplages paraissant raisonnables; si aucun des couplages supposés n'offre pas la solution et le sujet s'arrête, on lui fait examiner tour à tour sans exception, toutes les syllabes de droite; s'étant mis à composer les unités plus synthétiques (hémistiches, versiculets, paires de versiculets), on fait contrôler par le moyen des conducteurs électriques chaque supposition exprimée, etc.

La répétition est donc nécessaire, mais elle n'est point une condition suffisante de la formation du contenu de mémoire inconscient. Au début nous avons travaillé avec des tableaux ayant sur le côté gauche au dessus des contacts respectifs un texte anglais de quelques mots et sur le côté droit, au dessus du contact approprié l'image adéquate au texte: le sujet a fermé le cir-

cuit par la coordination appropriée du texte et de l'image. Après un exercice de deux heures, on a réussi à démontrer chez l'un seul des onze sujets que les liaisons topographiques entre les contacts de gauche et de droite se sont gravées dans la mémoire inconsciente. Les sujets qui ont compris le texte anglais cherchent par routine l'image adéquate au texte: ceux qui ne l'ont pas compris trouvent l'image par hasard après des tentatives à l'aveugle. Dans les deux cas, l'exercice de deux heures au cours duquel les sujets ont trouvé, sur deux à six tableaux divers, les mêmes relations topographiques, semblait insuffisant pour que ces relations se fixent comme matériel de mémoire inconscient. Nous n'avons noté qu'un seul sujet chez lequel un contenu de mémoire inconscient se soit formé par cette méthode initiale et se soit prouvé effectif ensuite: le sujet (une jeune institutrice) a traité sa tâche comme un problème à résoudre de façon à essayer de trouver la signification des mots anglais inconnus, en partie par analogie d'expressions étrangères (anglaises, françaises, allemandes, latines) devenues internationales, et, en partie, en s'appuyant sur le sens du texte anglais déjà déchiffré.

C'est ce qui nous a donné l'idée d'exposer la tâche de la découverte à chacun des pairs de contact comme un micro-problème, dont la solution assure l'autre condition nécessaire pour l'inculcation dans la mémoire inconsciente (d'abord nous avons interprété cette condition sur la base de l'hypothèse de drive-reduction: la situation du problème offre la tension qui se réduit par la solution du problème, tandis qu'un tel effet, est absent dans la solution routinée de même que dans la solution trouvée par raccroc; tout de même plus tard un principe plus synthétique s'est dégagé dont l'exposition malheureusement, dépasse les cadres de cet article).

Si le sujet a réussi à composer quatre versicules des syllabes présentées, on lui donne de nouvelles tâches analogues jusqu'à la fin des deux heures.

L'évocation des contenus inconscients de mémoire. Dans la seconde phase de l'expérience prenant environ une heure, le sujet travaille avec l'appareil expérimental sans les tableaux des syllabes.

Dans la première série consistant en 16 expériences, le sujet devait évoquer les relations topographiques ayant fonctionné comme arrière-plan de son activité continuée dans la première phase. Quatre variants des conditions d'évocation furent combinés:

A) Le sujet touche les fils conducteurs de gauche aux contacts respectifs dans un ordre déterminé, puis il nomme (par la lettre des colonnes et le nombre des lignes) le contact de droite supposé adéquat, et l'essaye. Les tentatives durent jusqu'à ce que le contact adéquat ne soit trouvé.

B) Le sujet nomme le contact supposé adéquat, mais les opérations appropriées à la communication sont exécutées par un autre sujet qui jusqu'à ce moment ne prenait pas part à l'expérience, il ne connait donc pas les relations topographiques.

C'est l'allumage de la petite lampe qui indique que le contact a été trou-

vé. En cas d'erreur, dans la variante **A**, le premier sujet seul, dans la variante **B**, tous les deux sujets, sont touchés par un choc électrique.

Dans la seconde série consistant en huit expériences avant l'évocation des relations topographiques le sujet écrit sur les points appropriés de la partie respectivement gauche et droite d'une feuille de papier divisée en deux, les syllabes de la position de l'un quelconque des trois tableaux dont il s'est souvenu. Après l'évocation des rapports topographiques, la construction de la carte de syllabes est répétée. Puisque la construction des deux cartes de syllabes a pris un temps trop long dans cette série, l'exercice préliminaire de la composition de vers devait être réduit à une heure et demie.

Dans la troisième série qui consistait aussi en huit expériences combinant les variants **A** et **B**, nous n'avons fait construire à la carte de syllabes qu'après évocation des relations topographiques.

Résultats des expériences. Les résultats de la première série d'expérience ont été évalués sur la base du nombre des erreurs commises au cours de l'évocation de chacun de huit pairs de contact.

Le nombre des erreurs commises dans les variants respectifs s'est formé comme suit.

Dans le cas des premiers huit pairs de contact:
Variante **A** — 61,5 erreurs
Variante **B** — 42 erreurs

En cas des seconds huit pairs de contact:
Variante **A** — 69 erreurs
Variante **B** — 45, 3 erreurs

Moyenne des deux huit:
Variante **A** — 65,5 (±9,3) erreurs
Variante **B** — 43,4 (±14,1) erreurs

En tenant compte de la dispersion, conformément au critère selon Student, la différence entre les moyennes des erreurs des variants **A** et **B**, est significative à un niveau de 98 pourcent pour les premiers huit pairs de contact, de 90 pourcent pour les seconds, et de 99,8 pourcent pour les deux huit ensemble.

Dans la seconde série d'expériences le nombre des erreurs du variant **A** a diminué quelque peu, celui du variant B s'est accru un peu.

Moyenne du nombre des erreurs considérées:
Variante **A** — 60,5 erreurs
Variante **B**— 61 erreurs

Pour les seconds huit pairs de contact:
Variante **A** — 61,5 erreurs
Variante **B** — 54,3 erreurs

moyenne des deux huits:
Variante **A** — 61 erreurs
Variante **B** — 53,5 erreurs

Etant donné qu'en même temps les variances aussi se sont accrues, comparée à la première série d'expériences, la différence significative observée a ici disparu. Il n'est pas significatif, mais mérite peut-être attention du point

de vue des expériences ultérieures, que les sujets qui avaient évoqué les seconds huit pairs de contact selon la variante **A**, ont oublié après en moyenne 28 pourcent des syllabes dont ils ont dressé la carte avant l'évocation des relations topographiques, tandis que ceux qui avaient travaillé selon la variante **B** en ont oublié 2.8 pourcent.

Dans la troisième série d'expérience une nouvelle différence significative s'est manifestée entre les deux variants: parmi les syllabes placées sur la moitié droite du champ dont la place topographique a été trouvée selon la variante **A**, 33,8 pourcent ont figuré sur la carte de syllabes dressée plus tard, tandis que parmi celles dont la place a été évoquée selon la variante **B**, 56,6 pourcent. En tenant compte de la dispersion, la différence est significative à un niveau de probabilité de 95 pourcent.

Interprétation des résultats expérimentaux.

Quelle peut être la différence essentielle entre **A** et **B**, qui provoquerait toutes ces divergences significatives?

D'après notre interprétation, dans la variante **A**, c'est son activité que le sujet doit diriger conformément à un but, tandis que dans la variante **B** c'est sa relation qu'il doit régler téléologiquement.

Nous avions une hypothése préliminaire (Voir Garai: Le dynamisme de la personnalité et l'être social. Editions de l'Académie, Budapest, 1968). selon laquelle l'activité et la relation sont deux méditeurs de l'interaction de l'organisme et du millieu. Ces médiateurs sont dans l'origine indépendants l'un de l'autre.

D'entre les fonctions de l'organisme, l'activité se détache de sorte que ce qui à l'origine avait été une fonction autonome, progressivement se subordonne aux effets du milieu. Les effets biophysiques du milieu reçoivent, conformément à ce fait, une représentation psychique. le modèle psychique de l'objet se forme à l'activité comme une base d'orientation de celle-ci.

Analogiquement, la relation, elle se détache d'entre les structures du milieu de sorte que ce qui à l'origine était une structure autonome, se subordonne progressivement à des influences provenant de l'organisme de l'individu. Les influences provenant de l'organisme sont en corrélation avec le procès de l'évolution de l'individu, au cours duquel, de temps en temps, certaines structures d'organisme sont transformées radicalement. La tranfsormation peut se faire selon un programme structural qui assure une adaptation rigide aux éléments constants du milieu ou se repétant périodiquement, tandis que le cours du procès est rendu indépendant des éléments changeant par hasard; cela peut être complété par le mécanisme de la sélection qui rend indépendante l'évolution de l'espèce des péripéties de l'histoire de la vie individuelle liées à des réactions de milieu plus ou moins favorables, pour les differents individus. Pour l'individu végétal, les possibilités de l'évolution s'épuisent par le mécanisme représentant ces deux extrêmes. D'autre part, pour l'individu animal, une possibilité s'offre à ce qu'il exerce une influence téléologique sur une partie spécifique de son milieu: sur les autres individus présents appartenant à son espèce.

Ainsi, la relation sociale se détache des structures du milieu. L'histoire de sa phylogenèse doit être étudiée concrètement en raison des données éthologiques qui se multiplient rapidement. D'après une première approximation d'une hypothèse préalable, il nous semble que ce sont des périodes phylogénétiques analogues à celles démontrées par Leontiev (1959). Dans l'évolution, se sépare la relation qui est déterminée par la fonction de l'individu arrivant biologiquement à maturité (p.e. fonction en tant que mâle ou femelle arrivés à maturation sexuelle); au second degré, c'est la relation sociale qui forme la fonction au cours de son développement dans les descendants en cours de maturation (imprinting selon Lorenz); au troisième degré de phylogenèse, un élément de la relation de la compétition entre individus arrivés à maturité aux fonctions identiques s'insère entre maturation et accomplissement de la fonction; finalement, au quatrième degré de la phylogenèse, chez l'homme, la fonction remplie par l'individu n'arrive pas simplement à sa maturité, mais se développe en fonction de la place occupée dans le système des conditions sociales.

Chacun de ces éléments de la relation sociale est réglé par le modèle psychique du sujet qui de sa part ne peut se former que dans la relation même comme base de communication de celle-ci.

La justification de cette hypothèse exige encore de longues recherches éthologiques. Cependant, elle impose des implications théoriques dont la validité peut-être examinée par des moyens psycholo-logiques relativement simples.

Notre expérience avait pour but de contrôler quelques implications théoriques de cette sorte. Par la variante **A**, nous avons eu l'intention de modeler la direction de l'activité, par la variante **B** c'est le réglement de la relation qui devait être saisi et par la comparaison des deux modèles, nous avons tâché de comparer les deux intermédiaires de l'interaction entre organisme et milieu.

Il faut donner ici une explication complémentaire. La variante **A** appliquée dans les expériences n'est que la caricature de l'activité, et de même la variante **B** est seulement la caricature de la relation sociale. Comme une vraie caricature, il accentue l'essence de ce qu'il déforme, cependant il faut motiver ce qui a rendu nécessaire la simplification déformante.

Au delà de l'effort général de l'expérimentateur en vue d'examiner la réalité complexe sur le modèle le plus simple, j'ai été forcé à la simplification maximale aussi par le fait que l'activité et la relation qui suivent des lignes de développement indépendantes les unes des autres au cours de la phylogenèse animale, se lient chez l'homme en se déterminant mutuellement: l'activité se développe en une activité de travail socialement divisée, la relation sociale, par contre, devient une relation sociale activement formée par l'homme pour un des objets produits historiquement qui lui est donné d'une façon déterminée, comme son objet, tandis que son propre sujet est un système se formant au cours de l'histoire de l'acquisition des objets. Tout examen donc ayant pour but de comparer l' activité avec la relation sociale ne peut obtenir les entités à comparer dans une forme relativement pure que par leur simplification ca-

ricaturale. Il importe que le fait de la simplification ne soit pas oublié ultérierement, au cours de l'élaboration théorique des résultats expérimentaux obtenus.

Les résultats obtenus dans nos expériences peuvent être interprétés comme suit: par la comparaison des deux modèles nous avont tâché de comparer les deux intermédiaires de l'interaction entre organisme et milieu.

La direction de l'activité s'effectue par rapport à l'objet. Dans le cas optimal, l'objet est actuellement devant nous et tous ses paramètres essentiels du point de vue de l'activité sont reflétés par le modèle psychique qui va diriger l'activité de façon adéquate. Dans un cas moins pertinent, l'objet est présent et exerce une action physique sur l'organisme, mais cette action n'a pas de représentation psychique. Un nombre immense d'expériences démontre qu'après une période plus ou moins longue de tentatives chaotiques et d'apprentissage par des erreurs, la direction de l'activité se forme aussi sous un tel effet subsensorique ou extrasensorique. De plus, l'expérience bien connue de Leontiev (1959) par rapport au sens optique de la peau, a prouvé qu'au moment où l'orientation adéquate finalement prend la place des tentatives chaotiques, comme sa conséquence, la réprésentation psychique manquée auparavant, fait son apparence. Finalement, la commande de l'activité peut se passer aussi dans l'absence de l'objet à condition qu'il soit remplacé par un modèle psychique objectivable, c'est-à-dire conscient (image ou concept de l'objet).

Dans la première série d'expériences il n'y a aucun des cas cités: l'objet approprié à l'orientation de l'activité n'est pas présent, étant donné qu'au lieu des syllabes qui avaient auparavant orienté l'activité, le sujet ne voit que 4 x 4 trous uniformes sur le côté droit du tableau. Mais l'objet disparu ne peut pas être non plus remplacé par un modèle de mémoire psychique, car les contenus de mémoire relatifs inculqués ne sont pas conscients, ils ne sont donc pas objectivables. Par conséquent, dans la variante **A**, l'activité ayant en vue l'évocation des relations topographiques, se passe sans guidage, par des tentatives aveugles (en moyenne 65.5 erreurs calculées pour une mi-temps).

Le réglement de la relation par contre se fait par rapport au sujet. Dans le cas optimal, la personnalité réelle développée au cours de l'histoire de sa vie et le modèle psychique reflétant tous les paramètres de la personnalité, essentiels du point de vue de la relation sociale, sont également donnés et le modèle psychique de la personnalité règle conformément au but la relation sociale. Dans un cas moins approprié, mais tout de même pertinent, faute de contenus réels développés au cours de l'histoire de la vie de la personnalité, c'est un modèle psychique applicable au sujet, c'est-à-dire donné pour la conscience de soi, l'image humaine de la culture ou le concept idéologique de l'homme qui exerce la fonction réglante. D'après notre hypothèse, le réglement de la relation peut se faire aussi de sorte que les contenus de la personnalité formés au cours de l'histoire de la vie exercent un effet sur le milieu, sans que cet effet ait une représentation psychique.

C'est justement ce qui se passe dans la variante **B**. Les traces empreintes dans la personnalité comme sous-produits de l'histoire de deux heures de

l'activité qui résolut les microproblémes, se montrent suffisantes — sans qu'elles deviennent données pour la conscience — pour abréger la période des expériences et de l'apprentissage par des erreurs (à une moyenne de 43.4. calculée pour une mi-temps), c'est-à-dire qu'elles portent dans la formation de la relation sociale l'élément du réglement téléologique qui se manifeste significativement.

Dans la seconde série d'expériences, toutes les différences significatives entre le niveau de rendement des deux variants ont disparues. Sur la base de notre hypothèse, la construction de la carte de syllabes avant l'évocation des relations topographiques, semble en être la cause. Dans une mesure dépendant de son efficacité, elle rend conscientes les relations topographique dans le sujet: il localise dans une nouvelle activité ayant son but direct dans cette localisation des syllabes dont le couplage fut le produit direct de l'activité antérieure et comme tel fut conscient; la jonction adéquate des places désignées aux syllabes va être également consciente.

La prise de conscience améliore d'une part les chances de la variante **A** et de l'autre gâche celles de la variante **B** dans l'évocation des relations topographiques. Les chances de la variante **A** sont améliorées puisque l'idéation des contenus de mémoire signifie leur objectivation, et crée ainsi l'une des conditions de l'orientation adéquate de l'activité. D'autre part, les chances de la variante **B** semblent être gâchées car il paraît exister une sorte de corrélation réciproque entre l'activité objectale et la relation personnelle. Il est un fait bien observable de l'expérience vécue: une relation personnelle plus forte et reçue par un objet; de plus se perd la possibilité de fonctionner dans la direction adéquate d'une activité (p. ex. un homme sincèrement engagé dans une idée est incapable d'employer dans son activité le drapeau comme une pièce de toile montée sur un bâton; pour une jeune fille amoureuse, il est inimaginable d'utiliser comme or l'anneau de fiançailles reçu). Quant à l'abaissement de la performance de la variante **B**, c'est probablement une relation réciproque qui s'y manifeste: certains contenus de personnalité, par l'intermédiaire de la conscience, gagnent un rapport objectal et par cela ça perdent la possibilité de participer au réglement approprié de la relation sociale adéquate.

Dans le seconde série d'expériences, on peut relever une différence, ici non encore significative, par rapport à la corrélation entre les variants **A** et **B** et l'idéation de leurs contenus de mémoire: sous certaines conditions les sujets qui ont travaillé selon la variante **A** oublient une plus grande partie (28 pourcent) de leurs contenus de mémoire conscients que ceux ayant travaillé sous les mêmes conditions selon la variante **B** (2. 8 pourcent).

Dans la troisième série une corrélation analogue à celle-ci s'est manifestée d'une façon significative: la variante **A** s'est montrée beaucoup moins adéquate (avec une efficacité de 33.8 pourcent) que la variante **B** (56.5 pourcent) d'avancer l'idéation des contenus de mémoire formés comme sous-produits du fond de l'activité.

Cette différence est considérée par nous comme cardinale du point de vue de notre hypothèse. Notamment, d'après l'hypothèse, la relation sociale a

le même rôle dans le modelage psychique de la personnalité que l'activité dans le modelage psychique de l'objet: comme il dépend de l'activité que l'élément des objets du milieu se modèle psychiquement, analogiquement la modélation psychique de l'histoire de l'évolution de la personnalité dépend de la relation sociale.

La psychologie a examiné la mémoire d'une façon traditionnelle par rapport aux contenus d'objets, comme l'inculcation, la conservation et l'évocation de ceux-ci. Notre hypothèse implique une significance bien différente. D'après elle, la mémoire reflète l'histoire de la vie de l'individu, de façon qu'elle se fixe ontogénétiquement dans les diverses structures d'organes en premier lieu dans celle du système nerveux.

Comment se passe la fixation structurale des évènements de l'histoire de la vie qui sont devenus égalemment importants psychiquement, c'est un problème vers la solution méritoire duquel certaines découvertes biochimiques (DNA, RNA) et leur découverte secondaire pour la psychophysiologie n'ont ouvert la voie que tout récemment. L'aspect définitivement psychologique de ce problème ne peut qu'être signalé: la fixation structurale s'effectue évidemment après que certaines structures fixées auparavant soient désintégrées par le procès de l'ontogénèse — la tension biochimique-biologique-physiologique se produisant de cette façon, sous l'effet de certaines conditions, reçoit aussi une représentation psychique et s'intègre comme motif à l'activité qui va conduire à la décharge de la tension et à la fixation dans la structure nouvelle. Cette corrélation—dont l'examen théorique antérieur (Voir. «Le dynamisme de la personnalité et l'être social») a conduit originairement à l'élaboration de notre hypothèse — nous ne l'avons considérée dans nos expériences que pour la formation de contenus de mémoire inconscients; nous avons affirmé par l'exposition de micro-problèmes, le motif de l'activité comme une condition essentielle.

Par l'expérience elle-même, nous avons examiné une autre corrélation: la fixation de l'histoire de la vie dans des structures d'organes, facteur d'action aussi objectif dans l'organisme que le sont les objets dans le milieu extérieur. Comment va-t-elle être représentée, même subjectivement, pour la personnalité? Les résultats expérimentaux mentionnés ci-dessus nous semblent contribuer à une réponse d'après laquelle cela dépend de l'intégration des facteurs de personnalité à la relation sociale en tant que base de communication.

188

О БАЛАНСЕ ПРОЕКЦИИ И ИНТРОЕКЦИИ В ПРОЦЕССЕ ЭМПАТИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Н. И. САРДЖВЕЛАДЗЕ

Тбилисский государственный университет, отдел социологии

В современной социальной психологии и психологии личности весьма важное место отводится исследованию феномена эмпатии. Изучение закономерностей эмпатического взаимодействия людей имеет не только теоретическое, но и большое прикладное значение в педагогике, психотерапии, искусствоведении и т. д.

В первом приближении данный феномен можно определить как способность человека вникать во внутренний мир другой личности. В специальной литературе по этому вопросу можно выделить несколько подходов для определения эмпатии. Некоторые психологи (Даймонд, Бронфенбреннер и др.) склонны определять эмпатию как когнитивный акт, социальную перцепцию или социальную «сензитивность». Другие эмпатию определяют как акт вчувствования (Липпс, Маркус, Бурс и Ерлоу, Махони, Шибутани и др.). Существует тенденция рассматривать эмпатию как эмоциональное состояние, возникающее у индивида при виде переживаний другого (Стотленд, Бергер, Гаврилова и др.). Наконец, некоторые психотерапевты рассматривают эмпатию как свойство врача, обеспечивающее эффективное взаимодействие с больным.

По всей вероятности, неверным является акцентирование при определении эмпатии каких-либо отдельных ее сторон, форм или проявлений. Несомненно, истинным является положение Маркуса, согласно которому эмпатия — взаимодействие познавательных, эмоциональных и моторных компонентов. Поэтому мы придерживаемся мнения, что эмпатия—это особый психический акт, по своей природе — целостное образование когнитивных, эмоциональных и моторных компонентов, которое включено в качестве особой формы психического контакта в социальное взаимодействие между людьми. Суть данного психического акта заключается, во-первых, в проникновении во внутренний мир другого человека, будь то его эмоциональное переживание, личностные качества, потребности и стремления или оценочные суждения, а во-вторых, в реагировании субъектом на проявление внутреннего мира другого человека. При этом эмпатия является актом, процессом, в основе которого лежит диспозициональное свойство или способность к эмпатическому взаимодействию с другим.

Анализируя функцию и роль эмпатии в деятельности человека и в социальном взаимодействии людей, можно прийти к выводу, что основными функциями данного психического акта являются сигнальная и регулирующая функции. С одной стороны, процесс проникновения во внутренний мир другого человека дает необходимую информацию

субъекту, что делает возможным адекватное или неадекватное ориентирование в окружающей людской среде, а с другой стороны, на основе такой ориентации происходит регуляция отношений и взаимодействий между людьми. Следует допустить, что социальное взаимодействие — это система, стремящаяся к стабильности и динамическому равновесию. Акт эмпатии включен в эту динамическую систему как особое инструментальное средство среди других инструментальных средств, обслуживающих поддержание стабильности и динамического равновесия в интерперсональных отношениях. В качестве иллюстрации данного положения можно себе представить функционирование следующего механизма межличностного взаимодействия: в процессе взаимодействия с другими людьми человек стремится как бы выразить свой внутренний мир, свои переживания и состояния; человек не только переживает, но и стремится к самовыражению в процессе переживаний; в связи с этим человек как бы требует быть понятым другим или другими. Такая тенденция настолько интенсивна и естественна для внутренних состояний человека, что иногда людям приходится применять особые усилия для самомаскировки. И вот, в таком случае, если другие неадекватно понимают внутренний мир человека, т. е. не эмпатируют или неадекватно эмпатируют, то в социальном взаимодействии возникает определенный дискомфорт, нарушение равновесия, что приводит к конфликтным ситуациям. В таких условиях людьми применяются определенные, по своей природе бессознательные, психологические средства для восстановления равновесия и снятия напряжения, вызванного дискомфортом в общении.

В психологических исследованиях феномена эмпатии выделены некоторые механизмы эмпатического взаимодействия. Механизмами эмпатического взаимодействия являются механизмы заражения, идентификации, проекции и интроекции. В данном исследовании мы не будем рассматривать вопросы, связанные с заражением; объектами нашего внимания в данном случае являются механизмы идентификации, а в особенности проекции и интроекции.

Понятия идентификации, проекции и интроекции в современную психологию вошли через психоанализ. На современном этапе развития науки данные понятия используются не только в психоаналитических исследованиях, но и в других направлениях социальной психологии, медицинской психологии, психологии личности, психологии искусства и педагогической психологии. Не вдаваясь в детальный критический анализ данных понятий (критический анализ учений психоанализа в этом направлении представлен во многих зарубежных и советских исследованиях), мы попытаемся выдвинуть некоторые теоретические положения и гипотезы о сущности данных механизмов.

Идентификация является переживанием субъекта своей тождественности с объектом социального взаимодействия. Еще Фрейд указывал на роль идентификации в понимании человека человеком, в сопереживании людьми друг друга. По-видимому, является несомненной важнейшая роль механизма идентификации в процессе эмпатии. Более того, можно даже считать, что у зрелых людей процессы эмпатии не протекают без функционирования механизма идентификации: человек, эмпатируя с другим человеком, чувствует себя тождественным с ним. Следует отметить, что процесс отождествления, т. е. идентификации себя с другим в процессе социального взаимодействия, протекает на бессознательном уровне.

В данном исследовании в качестве рабочей схемы мы предполагаем, что основными механизмами процесса эмпатии являются за-

ражение и идентификация, что же касается проекции и интроекции, эти последние являются проявлениями или элементами идентификации. Можно считать, что идентификация включает в себя проекцию и интроекцию, а вернее, она является единством проекции и интроекции. Говоря в данном случае об идентификации, мы это понятие рассматриваем лишь в связи с процессом эмпатии. Другие аспекты проблемы, как роль идентификации в формировании системы «Я», в принятии социальной роли и т. д., нами в данном случае не рассматриваются.

Итак, идентификация в процессе эмпатии выступает как единство проекции и интроекции. По нашему мнению, характер и особенности протекания процесса эмпатии у человека в основном определяются особенностями проекции и интроекции, а также интрапсихическим соотношением во внутреннем мире личности этих механизмов. Как известно, проекция в межличностных отношениях означает приписывание личностью своих особенностей, склонностей, побуждений и чувств другим людям. Чем больше человек невротичен или неприспособлен к окружению, тем больше он проецирует. Интроекция—противоположный проекции процесс, она понимается как приписывание личностью себе наклонностей, потребностей и чувств других людей. Посредством интроекции субъектом как бы конструируется внутренняя модель личностных особенностей и психологических состояний других людей, связанных с ним в процессе социального взаимодействия. Размышляя о сущности соотношения проекции и интроекции в процессе эмпатии, по нашему мнению, можно выдвинуть следующую гипотезу: адекватное постижение внутреннего мира другого человека, т. е. адекватная эмпатия зависит от определенного баланса, равновесия между проекцией и интроекцией. Чем больше в человеке преобладает проекция в межличностных отношениях, тем меньше он интроецирует, и наоборот, чем больше субъект интроецирует, тем меньше он проецирует. Когда проекция и интроекция представлены в равной степени, человек адекватно эмпатирует другим людям.

Идентификация другим людям в процессе эмпатии не начинается с «пустого места». Во-первых, включаясь в процесс социального взаимодействия, человек преследует цель удовлетворения каких-либо потребностей. На основе своих мотивов и побуждений человек по-своему толкует те или иные личностные качества или поступки партнера по социальному взаимодействию. Тут происходит проекция собственного «Я», что означает то, что личностные качества и стремления другого субъектом отождествляются с собственными особенностями и мотивами поведения. Другой формой проекции на начальном этапе идентификации в процессе эмпатического взаимодействия является то, что человек уподобляет личностные особенности и актуальные психилогические состояния другого тем эталонам, схемам и моделям, которые сложились и сформировались у него о другой личности раньше. В данном случае субъект накладывает свои собственные схемы, представления о другом человеке на его актуальный психологический статус. Если процесс эмпатии на этом кончается, то тут налицо не проникновение во внутренний мир другого человека, а лишь проекция собственных чувств и побуждений или собственных представлений о другой личности. Но в любом акте эмпатии, кроме проецирования себя, происходит интроекция образа или психологических состояний другого. В процессе интроекции происходит как бы «абсорбация» образа другой личности [5], его внутренних состояний, вследствие чего во внутренний план субъекта переносится внутренний субъективный мир другого. На основе интроекции происходит опреде-

ленная коррекция первичного образа другого, сформированного в процессе проекции.

Из вышесказанного становится ясным, что определенного типа баланс, равновесие между процессами проекции и интроекции существенно определяет характер и особенности постижения человеком внутреннего мира другого или других. Несомненно, что данная гипотеза требует тщательной эмпирической проверки, но некоторые жизненные наблюдения позволяют думать о ее правомерности. Кроме того, в некоторых исследованиях правдоподобность данной гипотезы подразумевается имплицитно. Приведенную гипотезу можно рассматривать как аналогию (и лишь как аналогию) идей равновесия ассимиляции и аккомодации при познании мира предметов, предложенную Ж. Пиаже.

Итак, сбалансированность или несбалансированность механизмов проекции и интроекции существенно определяет особенности процесса эмпатии. В свою очередь, источники сбалансированности или несбалансированности данных механизмов следует искать в структурных и динамических особенностях личности, а также в особенностях конкретного контекста ситуации общения. Тут же надо подчеркнуть, что процесс проекции и интроекции и, тем более, их сбалансирование протекает на бессознательном уровне психической активности личности. Осознается лишь результат этих процессов: характер сопереживания и оценка психических состояний другого человека. Несмотря на то, что механизмы проекции и интроекции функционируют в интрапсихическом плане личности, тут налицо диалектическое единство действия внешних и внутренних факторов активности. А именно, в случае проекции внутренние состояния и субъективные представления выносятся наружу и накладываются на объект социального взаимодействия, тогда как интроекция представляет собой «абсорбацию», впитывание в себя образа другого. При таком подходе к проблеме для определения сущности функционирования и соотношения механизмов проекции и интроекции в качестве объяснительного понятия, как нам кажется, следует внести понятие установки, предложенное Д. Н. Узнадзе. В понимании Д. Н. Узнадзе установка представляет собой целостную модификацию личности и ее состояний на основе единства внутренних и внешних факторов, что и определяет характер психической активности человека. При этом установка является бессознательным состоянием, включающем в свою структуру как единство внутренней и внешней среды субъекта, так и импульс, готовность к определенного рода деятельности. Понятие установки в таком ее понимании дает ключ к определению поставленных выше вопросов.

CONCERNING THE BALANCE OF PROJECTION AND INTROJECTION IN THE PROCESS OF EMPATHIC INTERACTION

N. I. SARJVELADZE

Tbilisi State University, Department of Sociology

SUMMARY

Empathy plays a major role in social interaction of people. Considering the mechanisms of the process of empathy, attention is focused on the mechanisms of projection and introjection as well as their correlation, functioning

at the unconscious level of man's mental activity. A hypothesis is advanced according to which adequate understanding of the inner life of another person depends on the balance of projection and introjection in the process of empathic interaction. The balancing of the processes of projection and introjection, occurring on the intrapsychic plane, constitutes a united action of internal and external factors of the activity. An attempt is made to understand this unity in the light of D.Uznadze's concept of set.

ЛИТЕРАТУРА

1. ГАВРИЛОВА Т. П., Понятие эмпатии в зарубежной психологии. Вопросы психологии, 2, 1975.
2. ЛИППС Т., Руководство по психологии, СПб., 1907.
3. УЗНАДЗЕ Д. Н., Общая психология, Тбилиси, 1964 (на груз. яз.).
4. ШИБУТАНИ Т., Социальная психология, М., 1969.
5. JAQUES, E., Social system as defence against persecutory and depressive anxiety. New Directions in Psychoanalysis, London, Tavistock Publ , 1955, pp. 478—498.
6. MARCUS, S., Empatia (cercetari experimentale). Ed. Acad. RSK, Bucureşti, 1971.
7. STOTLAND, E., Empathy and Birth Order. Some experimental explorations. Lincoln, Univ. Nebraska Press, 1971.

189

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ ПСИХИЧЕСКОЕ В СВЕТЕ ИССЛЕДОВАНИЯ УРОВНЕЙ АКТИВНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА: К ИСТОРИИ ВОПРОСА

А. Н. ТКАЧЕНКО

Киевский государственный университет, отдел психологии

Логика развития психологии с необходимостью вела к вычленению качественных форм (уровней) бессознательного психического. В истории психологической мысли еще в начале XX столетия сложились три больших группы направлений, из которых первая утверждает, что подсознательное — это духовная жизнь развитой реальной личности, лежащая в глубине сознательного «Я». Вторая группа объявляет подсознательное имеющим психический характер, но не представляющим органического единства: оно состоит из идей, но вначале эти идеи не образуют личности... Наконец, третья группа утверждает, что подсознательная подкладка анормальных явлений тождественна той деятельности, которая лежит в основе обыкновенных процессов памяти, внимания и т. д., подсознательное вовсе не имеет психического характера, а есть физиологический мозговой процесс [5, 56—57]. Эти три направления в искаженной форме отразили наличие трех уровней бессознательного: психически-личностного (творчески-интуитивного), «индивидного» (социогенного) и организменного (биогенного). Однако в каждом отдельном случае бессознательное психическое одного уровня мыслилось как бессознательное вообще.

Закономерности интуиции, биогенного или социогенного бессознательного экстраполировались без достаточных оснований на всю гамму проявлений бессознательного психического. Представление о поуровневом строении бессознательного, о его имманентной соотнесенности с сознанием было чуждо различным интерпретаторам бессознательного, игнорировавшим методологию диалектического материализма. Незнание и игнорирование диалектики сознания и бессознательного приводило к «поэтажному» размещению этих взаимосвязанных уровневых компонентов психического.

В отечественной психологии отчетливо прослеживается тенденция представлять бессознательное не как «этаж» в иерархической структуре психики, а как элемент (хотя и предшествующий сознанию) всех уровней организации психики. При этом объяснение уровней бессознательного психического оказывается зависящим от характера решения проблемы уровней обусловленности и активности поведения человека. В настоящем сообщении предпринимается попытка в предварительной форме проследить становление в советской психологии представле-

ний о связи бессознательного и осознанного, как присущей любому уровню активности человека.

1. Проблема уровней активности поведения и установка

В последнее время проблема уровней обусловленности и активности поведения человека стала оживленно обсуждаться на страницах нашей психологической литературы [2; 6; 7; 14; 23]. При этом накопился ряд дискуссионных вопросов, касающихся как содержательной характеристики уровней, так и обозначающих их терминов. К примеру: Б. Г. Ананьев и М. Г. Ярошевский обозначают уровни обусловленности поведения соответственно как индивид—личность—индивидуальность и организм—индивид—личность. Ш. А. Надирашвили использует иную терминологию: индивид — субъект — личность. По мнению Б. Г. Ананьева, человек обладает рядом природных психофизиологических свойств, которые характеризуют его как индивида. Личность же представляет собой биосоциальное образование. Одним из индикаторов человеческой индивидуальности «является активность созидающей, творческой деятельности человека, воплощение, реализация в ней всех великих возможностей исторической природы человека» [2, 329].

По М. Г. Ярошевскому, индивид — это носитель совокупности социопсихических свойств, которые являются социально-типическими. Личность характеризуется ансамблем качеств, в которых раскрывается ее социальная неповторимость [23, 432].

В подходах Б. Г. Ананьева и М. Г. Ярошевского можно выделить как общее, так и то, что их различает. Так, оба автора выделяют (как и Ш. А. Надирашвили) одинаковое количество уровней и дают им в некоторых аспектах сходные характеристики. Первый уровень характеризуется преимущественно как обусловленный биогенными факторами. Второй уровень (личности, по Ананьеву; индивида, по Ярошевскому) описывается как детерминированный социальными факторами. Высший уровень проявлений человека характеризуется индивидуальной неповторимостью, оригинальностью, своеобразием поведения, в котором реализуются сущностные силы человека. Принципиальные отличия этих подходов заключаются в том, что Б. Г. Ананьев особенно подчеркивает роль психофизических свойств на уровне личности и индивидуальности [2, 308].

Примечательным в развитии психологической концепции установки является усилившийся в настоящее время интерес к изучению иерархических уровней психики, выделение которых можно найти в работах Д. Н. Узнадзе в связи с обсуждением им проблемы взаимосвязи импульсивного и волевого поведения, установки (на психофизиологическом уровне) и акта объективации: «мы должны различать два уровня психической активности — уровень установки, где мы, кроме аффективных, находим и ряд малодифференцированных перцептивных и репродуктивных элементов, и уровень объективации, где имеем дело с определенно активными формами психической деятельности — с мышлением и волей» [11, 276]. Эта линия получила развитие и в исследованиях других авторов (Ш. А. Надирашвили, Ш. Н. Чхартишвили). Так, Ш. А. Надирашвили выдвигает положение о том, что в «психологической активности человека, представляющей единую целостную систему, необходимо различать три уровня: психическую активность индивида, субъекта и личности» [6, 266]. Проблема уровней активности психики, имплицитно представленная в теории установки с момента ее

выдвижения Д. Н. Узнадзе, в настоящее время достигла эксплицитной представленности у его последователей.

Автор теории установки считал, что человек является субъектом на всех уровнях своей активности. «Всякая активность, — отмечал он, — означает отношение субъекта к окружающей действительности. При появлении какой-нибудь конкретной потребности субъект, с целью ее удовлетворения, направляет свои силы на окружающую его действительность. Так возникает поведение» [11, 332]. Как видим, понятие «субъект» Д. Н. Узнадзе употребляет при характеристике «всякой активности» психики человека и соотносит его с моментом, когда «возникает поведение». В работах Ш. Н. Чхартишвили «под структурой психологического субъекта поведения прежде всего подразумевается потребность, уровень претензии психофизических возможностей живого существа и ситуационная схема объективного положения вещей» [15, 141]. Таким образом, уже на исходном уровне поведения человек является субъектом, активным началом. Поэтому неправомерно употреблять термин «субъект» для обозначения какого-то уровня активности. При дифференциации уровней активности Д. Н. Узнадзе прибегает к терминам «организм» и «индивид».

Уровень активности, обусловленной организменными, биогенными факторами, Д. Н. Узнадзе обозначает «организмом». Это обозначение исходного (биогенного, психофизиологического) уровня активности психики используется и его учениками [13, 181]. Для обозначения социально обусловленного уровня поведения применяется другой термин. Характеризуя кардинальную разницу между психикой человека и животных, Д. Н. Узнадзе усматривает ее в факте социальности человека и приводит при этом [12, 93] следующую цитату из работы К. Маркса и Ф. Энгельса: «Особенно следует избегать того, чтобы снова противопоставлять «общество», как абстракцию, индивиду. Индивид *есть общественное существо*» [1, 590]. Как видим, социально обусловленный уровень активности человека фиксируется в термине «индивид». Акт объективации Д. Н. Узнадзе рассматривает в качестве исходной «клеточки» социально обусловленного уровня активности поведения человека. Социальность акта объективации является его исходной характеристикой в концепции установки. Как отмечает А. С. Прангишвили, объективация «является порождением социальной природы... Эта способность возникает в условиях общественной деятельности человека, и она-то и определяет специфику человеческой активности...» [8, 74].

Исходя из сложившейся уже в советской психологии вообще (в грузинской школе психологии установки, в частности) традиции, в настоящем контексте первые два уровня активности поведения будут обозначаться терминами «организм» и «индивид». За третьим уровнем активности сохраним термин «личность», понимая под личностью уровень творчески преобразующего поведения и деятельности человека, объективизирующегося в поступках как сознательных, свободных и творческих действиях субъекта. «Личность как объект психологического исследования есть субъект поведения, организованного на высшем уровне психических возможностей человека...» [14, 151].

Итак, в советской психологии утвердилось положение, что человек (в качестве деятельного субъекта) взаимодействует с реальной действительностью (объектом) на разных уровнях: а) как организм, вступающий в активные отношения с предметной (физической и жи-

вой) средой; б) как общественный индивид, взаимодействующий с социально-историческими образованиями (обществом) как данностью; в) как личность, создающая в процессе и на основе активно-преобразующей деятельности собственное культурно-историческое окружение, собственную общественную среду. Эти уровни, как отмечают все упомянутые здесь исследователи, взаимосвязаны и взаимообусловлены. В зависимости от сложности и содержания задач человек проявляет в поведении активность того или иного уровня [7, 29].

Выделенные советскими психологами три уровня психической активности реально предстают в качестве процессов, состояний и свойств. Психические процессы на биогенном уровне активности проявляются через психофизиологические состояния (установки). Установки являются целостными структурами, но имеют различные аспекты (функции) своего проявления. «Результаты экспериментального изучения установки, представленные в исследованиях грузинских психологов, позволили выявить и охарактеризовать ее различные «функции» — когнитивную, побудительную, регуляторную и т. д.» [9, 20]. Эти три «функции» являются, по-видимому, главными и их точнее следовало бы назвать функциональными компонентами. Установки, возникающие на уровне организма, следует подразделять на образно-перцептивные, побудительно-импульсивные и действенно-регулятивные.

На социально-обусловленном уровне поведения индивида возникают установки, которые имеют общественную природу и направленность. Этот уровень активности психики проявляется в акте объективации, который вызывает новые или актуализирует фиксированные (пребывавшие до этого в латентном состоянии) социогенные установки и сам в дальнейшем ими обусловливается в том смысле, что процессы, возникшие в этом акте, в дальнейшем поддерживаются и разворачиваются на фоне функциональных социогенных установок. Любая социогенная установка включает три взаимосвязанных компонента: познавательный (интеллектуальный), эмоционально-оценочный (побудительный) и волевой (регулятивный) [24, 33—56]. По доминированию одного из компонентов можно выделять такие типы социогенных установок, как интеллектуальный, ценностно-ориентационный и практический. Акт объективации в значимой ситуации (конфликтной, проблемной, альтернативной) создает определенные установки (мотивационные, интеллектуальные, волевые), на основе которых в дальнейшем протекает поведение человека как индивида (на психосоциальном уровне) без особого напряжения со стороны «Я». Эти установки протекают неосознанно, будучи психосоциальными по своему содержанию, механизмам и устремленности.

На третьем — личностном — уровне на основе поступков как сознательных свободных творческих действий человека, возникают определенные (личностные) установки. Одна из характерных особенностей личности «как целостной открытой системы, состоит в том, что она содержит в себе внутреннюю тенденцию развития, самореализации...» [7, 167]. Для личностных установок наиболее характерной является тенденция самореализации в общественно ценных продуктах деятельности. Здесь открывается перспектива их исследования: в продуктах деятельности человека объективируются его замыслы и установки.

Биогенная, социогенная, личностная установки, как психические состояния, неразрывно связаны со свойствами человека. Последние и представляют, по-видимому, системы фиксированных установок. «Уста-

новка каждого уровня, — как правильно подчеркивает Ш. А. Надирашвили, — может быть зафиксирована и сохранена» [6, 271].

Характерной особенностью разноуровневых установок является их неосознанность. Установки психофизиологического уровня принципиально неосознаваемы. В силу этого Д. Н. Узнадзе счел необходимым отметить «ненужность понятия бессознательного» [11, 178], так как понятие установки точнее раскрывает особенности психофизиологического (организменного) уровня активности поведения. И он был прав, поскольку его суждения касались только исходного уровня психики. Установки второго—социогенного—уровня отличаются от установок исходного уровня тем, что, функционируя как неосознанные, они не являются принципиально неосознаваемыми.

Ш. Н. Чхартишвили убедительно защищает фундаментальное положение Д. Н. Узнадзе о том, что установка не является феноменом сознания [14]. Это положение подвергается критике в нашей психологической литературе[1]. Не вдаваясь в тонкости дискуссии между Ш. Н. Чхартишвили и Ш. А. Надирашвили о принципиальной неосознаваемости или осознаваемости социальных и социально-психологических установок, заметим, что оба автора по-своему правы: социогенные установки действительно функционируют как неосознанные (Ш. Н. Чхартишвили), хотя вместе с тем могут осознаваться (Ш. А. Надирашвили). Неосознанность социогенной установки не означает ее принципиальную неосознаваемость, осознанная социогенная установка приобретает характер сознательной направленности индивида, теряя при этом конституирующее качество. В этой связи следует, по-видимому, согласиться с А. Е. Шерозия, что предметом обсуждения «должна быть не проблема о том, могут ли вообще какие-нибудь психологические установки оказаться непосредственными данностями сознания, ибо в отношении так называемых социальных и социально-психологических установок это само собой разумеющийся факт, а проблема о том, в чем именно заключается конкретный механизм их «перевода» в сознание и отсюда обратно в бессознательное, как и о том, каким образом они впоследствии возникают и функционируют через это самое сознание и через это самое бессознательное» [17, 272]. Тем не менее, бесспорным представляется положение, что установка (и биогенная, и социогенная) предшествует сознанию. Бессознательное как установка предваряет сознание и является его необходимым и неотрывным компонентом.

На высшем — личностном — уровне активности поведения творческие (интуитивные) установки также возникают и протекают как неосознанные, но принципиально они осознаваемы. Как свидетельствуют многие самоотчеты творческих личностей, процесс нахождения идеи, процесс интуитивного решения неосознан, осознается лишь конечный результат деятельности личности. Гельмгольц, отмечая факт неожиданного появления «счастливых мыслей», писал, что они «вкрадывались» в мое мышление так, что вначале их важность не осознавалась, и позднее часто невозможно было установить, при каких обстоятельствах они пришли» [3, 773].

Результаты изучения истории вопроса позволяют отметить: а) факт наличия на каждом уровне активности человека специфических уста-

---

[1] См. об этом более подробно Ф. В. Бассин, К проблеме осознаваемости психологических установок. В сб.: Психологические исследования, посвященные 85-летию Д. Н. Узнадзе, Тб., 1973, а также работы А. Е. Шерозия [16; 17].

новок — биогенных, социогенных, личностных; б) что эти установки функционируют как несознанные, но в принципе осознаваемы; в) что осознанная установка трансформируется в сознательную направленность и теряет вследствие этого свое конституирующее свойство; г) что установка (бессознательное) на каждом определенном уровне психической активности предваряет осознание, то есть является стадией (ступенью) психических состояний; д) вместе с тем установка, рассматриваемая как принцип всей психической жизни, является неотрывным компонентом сознания на всех его уровнях.

2. К вопросу о специфике детерминации уровней бессознательного психического и методологических подходах к их исследованию

Исследование уровней детерминации психики и ее неосознанных компонентов сопряжено с разработкой адекватных каждому уровню познавательных средств. Бессознательное психическое на уровне организма достаточно полно и глубоко раскрыто в теории установки. Исследования этого уровня бессознательного (психофизиологического) осуществляются на основе метода фиксированной установки. Психологическая теория бессознательного и метод исследования бессознательного находятся в концепции установки в гармоническом единстве. Бессознательное психическое на уровне организма рассматривается как детерминированное результатами взаимодействия субъекта с предметной и живой средой. Взаимосвязь психологической теории и метода прослеживается в изучении бессознательного на всех уровнях детерминации психики. С изменением предмета (уровня бессознательного) происходит модификация исследовательских методов.

Перефразируя положение А. Е. Шерозия о том, что «понимание проблемы бессознательного принципиально зависимо от того, как будет понята проблема сознания» [16, 385], скажем, что разработка и использование методов исследования бессознательного принципиально зависимы от характера применяемых методов изучения сознания. Косвенным образом связь методов изучения сознания и бессознательного психического отмечает А. Е. Шерозия при анализе взаимоотношения теории и метода в психоаналитической концепции З. Фрейда, который «ввел специальный, названный им психоанализом, метод изучения бессознательной психики через деформированное сознание, именно через деформированное сознание, через его посредство, но не непосредственно самой бессознательной психики» [17, 180]. Однако использование этого метода предопределило исходные индетерминистические представления о природе психики, как состоящей из антагонистических уровней бессознательного, предсознательного и сознания. Психологи, ориентирующиеся на методологию диалектического материализма, показали ложность противопоставления сознания и бессознательного, а также методов их исследования. В этом плане ценно следующее замечание Л. С. Выготского: «Бессознательное не отделено от сознания какой-то непроходимой стеной. Процессы, начинающиеся в нем, имеют часто свое продолжение в сознании, и, наоборот, многое сознательное вытесняется нами в подсознательную сферу» [4, 96]. Путем анализа продуктов художественно-эстетической деятельности, в которых реально «осела» взаимосвязь осознанного и неосознанного, Л. С. Выготский предпринял попытку изучения бессознательного как психосоциального феномена и его специфических детерминант. Исследование бес-

сознательного не противопоставляется изучению сознания, их связь рассматривается как исходный момент.

Отмечая бесплодность психологического изучения искусства только путем исследования психологии творца или только переживания зрителя, Выготский предлагает «за основу взять не автора и не зрителя, а самое произведение искусства» [4, 39]. При этом он исходит из представления о принципиальной объективированности в продуктах деятельности (в данном случае, художественно-эстетической) психических качеств человека. Работа «Психология искусства» написана, по словам ее автора, «для испытания метода» [4, 41], названного объективно-аналитическим. Этот метод не получил еще достаточно полной оценки в нашей литературе. И анализ его возможностей — довольно трудоемкая задача. Для нас важным было отметить в данном контексте особый подход к разработке методов исследования бессознательного как психосоциального феномена, базирующийся на определенных представлениях о специфике детерминации этого феномена. Если исследуемый в грузинской школе психологии установки акт объективации интерпретировать несколько шире, чем общепринято, и усматривать в нем также процесс объективирования (опредмечивания) сущностных сил человека в продуктах его деятельности[2], то можно заметить известную близость теоретического подхода и метода Выготского с апробированными и утвердившимися способами изучения собственно человеческого уровня психики, протекающего на базе акта объективации. Ведь исследование акта объективации осуществляется, насколько нам известно, посредством предъявления испытуемым специально подобранных текстов [18; 19], с последующим психологическим анализом психических особенностей испытуемых, объективированных на основе их работы с предлагаемыми текстами.

Бессознательное на уровне творческой личности изучается в рамках предметно-исторического подхода (М. Г. Ярошевский), в котором намечаются своеобразные пути и способы познания бессознательного, основанные на представлении о принципиальной познаваемости психического посредством изучения «распредмеченных сущностных сил» человека в продуктах его творческой деятельности. Согласно этому подходу, любой феномен научного творчества детерминируется взаимодействием трех факторов: предметно-логического, научно-социального и личностно-психологического. Предметно-исторический подход требует прежде всего качественного анализа научных публикаций с точки зрения представленности в них категориальных схем, социально-психологических отношений и др. В процессе изучения творческой деятельности и личности И. М. Сеченова М. Г. Ярошевский выделил и описал наиболее общие черты бессознательного психического на личностном уровне активности поведения. Анализируя с позиций предметно-исторического подхода общую природу творческой деятельности личности, он отмечает, что первоначальное выдвижение и предварительный анализ отдельных структурных образований (категорий) научного мышления не осознаются в должной мере исследователями. Подобные феномены в научном творчестве личности Ярошевский предпочитает называть «не бессознательными или подсознательными, а надсозна-

---

[2] В акте объективации содержание психической жизни объективируется во внешних (знаковых, символических) продуктах деятельности. В теории установки настоятельно подчеркивается связь акта объективации с речью (Д. Н. Узнадзе).

тельными, поскольку скрытый от умственного взора субъекта мир категориального развития научных ценностей представляет не подспудные, безличностные «глубины», а «вершины» человеческой психики» [22, 37]. За терминологическими различиями здесь скрываются различия в понимании сущности анализируемого явления.

Понятие «надсознательное» качественно отличается от фрейдовского понятия «бессознательное»: «как по содержанию, так и по характеру детерминации надсознательное относится к индивидуальному сознанию иначе, чем бессознательное. По содержанию оно представляет не вытесненные комплексы, а исторически развивающиеся плеяды идей и категорий. По характеру детерминации оно выступает не в качестве готового образования, которое изнутри оказывает давление на сознание, а в качестве объективного запроса, идущего извне, но реализуемого только благодаря личности, созидающей то, что до ее деятельности не существовало» [22, 35]. Надсознательное оказывается детерминированным как предметно-логическим фактором, так и собственной предметной деятельностью личности.

Надсознательное М. Г. Ярошевским рассматривается в его связи с сознанием: «Глубоким заблуждением было бы мыслить надсознательное как внеположное сознанию. Напротив, оно включено в его внутреннюю ткань и неотторжимо от нее. Надсознательное не есть надличное. В нем личность реализует себя с наибольшей полнотой...» [20, 35]. Надсознательное личности так же, как и бессознательное на уровне общественного индивида, представляет собой психосоциальный феномен, но более высокого уровня: «надсознательный уровень регуляции научной деятельности творческой личности является по своей сути коллективно-надсознательным в том смысле, что вторым и старшим «Я» для этой личности, работающей в его режиме, служит научное сообщество, выступающее в функции особого надличностного субъекта, незримо вершащего свой контроль и суд»» [20, 45]. Надсознательное детерминировано не только научно-социальным фактором (научным сообществом), но и логикой развития как науки, так и отдельной личности: «Сближение логики развития науки с логикой развития конкретного индивида и производит вспышку надсознательной мысли» [21, 85]. Воздерживаясь от каких-либо прямых аналогий, нельзя не отметить известную общность теоретических и методических (исследование текстов научных, художественных, технических) подходов в определении путей и средств познания бессознательного как психосоциального феномена, которые встречаем в теории установки и в концепциях Л. С. Выготского и М. Г. Ярошевского.

Трактовка неосознанных компонентов психики как детерминированных социальными факторами становится все более характерной и для зарубежных ученых, ориентирующихся на методологию диалектического материализма. Так, видный французский философ-марксист Л. Сэв отмечал, что неосознаваемое («подсознательное») меньше всего может рассматриваться как «нейро-физио-психологический факт», как простое отсутствие сознания. Он подчеркивает социальную природу бессознательного на уровне личности и важнейшие источники его возникновения в капиталистическом обществе: «Над фундаментальными структурами развитой личности господствует исходная реальность позитивного подсознания: социальная эксцентрация человеческой сущности. Эта эксцентрация... означает, что неясность общественных отношений неизбежно является первоначальной по отношению к соответствующей неясности конститутивных отношений личности» [10, 499].

Если Л. Сэв детерминирующим фактором бессознательного считает неясность общественных отношений, то М. Г. Ярошевский подчеркивает, в связи с анализом творческой деятельности личности, обусловленность бессознательного («надсознательного») логикой развития науки. У Л. С. Выготского через «социальную ценность искусства социальное получает власть над нашим бессознательным» [4, 106], т. е. бессознательное оказывается детерминированным теми общественными ценностными ориентациями, которые заключены в произведении искусства.

Таким образом, бессознательное на уровне индивида и личности в разных сферах его проявления оказывается общественно-детерминированным, но в зависимости от формы деятельности субъекта обусловливается определенным доминирующим фактором: в области общественной практики — непознанностью общественных отношений (Л. Сэв), в научной деятельности — логикой развития науки (М. Г. Ярошевский), в художественно-эстетической деятельности — логикой противоречивых взаимоотношений формы и содержания художественного произведения (Л. С. Выготский). Вместе с тем специфические детерминанты бессознательного психического предполагают для своего адекватного отражения специфические методы и методики. Исследование уровней бессознательного психического осуществляется на основе особой «сетки» методов и методологических подходов: а) бессознательное на уровне организма исследуется методом фиксированной установки (Д. Н. Узнадзе и др.); б) бессознательное на уровне общественного индивида изучается посредством метода клинической беседы, методик неоконченных текстов и текстов датированных и недатированных документов, применяемых для изучения акта объективации (Н. Л. Элиава и др.); в) бессознательное на уровне личности «зондируется» посредством объективно-аналитического метода (Л. С. Выготский), предметно-исторического подхода (М. Г. Ярошевский). Эти методические подходы и методы изучения уровней бессознательного психического оказываются принципиально зависимыми от исходных способов изучения сознания и его уровней.

Важность разработки и освещения проблемы бессознательного психического в контексте исследования уровней активности поведения не вызывает сомнений. Изучение качественных форм (уровней) бессознательного психического — это один из существенных моментов в исследовании механизмов многоуровневой регуляции поведения человека.

THE PROBLEM OF THE UNCONSCIOUS IN THE STUDIES OF THE LEVELS OF HUMAN BEHAVIOUR: HISTORICAL APPROACH

A. N. TKACHENKO

Kiev State University

SUMMARY

An analysis of the problem of the unconscious in the context of the study of the activity levels of human behaviour shows that at each of the levels identified (biogenetic, sociogenetic and personality) corresponding sets emerge, of which the individual has no awareness. Some of them (sociogenetic and per-

sonality) are conscious in principle, acquiring the character of conscious directionality of human behaviour and losing their constitutive quality. The unconscious and conscious have their qualitative forms of manifestation and mechanism of functioning at different levels of behavioural activity. This necessitates the use of special methods in the course of their investigation.

ЛИТЕРАТУРА

1. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Из ранних прсизведсний, М., 1956.
2. АНАНЬЕВ Б. Г., Человек как предмет познания, Л., 1968.
3. ВУДВОРТС Р., Экспериментальная психология, М., 1950.
4. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Психология искусства, М., 1968.
5. МЮНСТЕРБЕРГ Г., Подсознательное. В кн.: Новые идеи в философии, т. 15, СПб., 1914.
6. НАДИРАШВИЛИ Ш. А., Особенности закономерностей действия установки на различных уровнях психической активности человека. В кн.: Психологические исслед., посв. 85-летию Д. Н. Узнадзе, Тб., 1973.
7. НАДИРАШВИЛИ Ш. А., Понятие установки в общей и социальной психологии, Тб., 1974.
8. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тб., 1967.
9. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Проблема установки на современном уровне ее разработки грузинской психологической школой. В кн.: Психологические исслед., посв. 85-летию Д. Н. Узнадзе, Тб., 1973.
10. СЭВ Л., Марксизм и теория личности, М., 1972.
11. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
12. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки. В кн.: Экспериментальные исследования по психологии установки, Тб., 1958.
13. ХОДЖАВА З. И., Проблема навыка в психологии, Тбилиси, 1960.
14. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Некоторые спорные проблемы психологии установки, Тб., 1971.
15. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Проблема личности в психологии установки. Вестник АН Груз. ССР (серия философии, психологии, экономики и права), 1974, 2.
16. ШЕРОЗИЯ А. Е., Введение в общую теорию сознания и бессознательного психического. Уроки и некоторые результаты предыстории. В кн.: Психологические исслед., посв. 85-летию Д. Н. Узнадзе, Тб., 1973.
17. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, т. 1, Тб., 1969; т. II, Тб., 1973.
18. ЭЛИАВА Н. Л., Об одном побочном факторе установки в проблемной ситуации. В сб.: Психологичесике исслед., т. II, Тб., 1971.
19. ЭЛИАВА Н. Л., Мыслительная деятельность и установка. В кн.: Исследования мышления в советской психологии, М., 1966.
20. ЯРОШЕВСКИЙ М. Г., Биография ученого как науковедческая проблема. В кн.: Человек науки, М., 1974.
21. ЯРОШЕВСКИЙ М. Г., Категориальная регуляция научной деятельности. Вопросы философии, 1973, № 11.
22. ЯРОШЕВСКИЙ М. Г., На путях к общей теории творчества. В кн.: Художественное и научное творчество, Л., 1972.
23. ЯРОШЕВСКИЙ М. Г., Психология в XX столетии. М., 1974.
24. NOWAK, S., Pojecie postawy w teoriach i stosowanych badaniach spolecznych. Teorie postaw, Warszawa, 1973.

190

CLASS SUPEREGO—THE SUPEREGO FORMATION TRANSCENDING THE OEDIPAL SUPEREGO IN LATE ADOLESCENCE

ANTAL F. BORBELY

New York University, USA

Abstract

The importance of relating Freudian and Marxist theory is stressed. Reasons for difficulties and failures of such attempts are briefly explored. The structural Freudian theory is described in terms of dialectical, qualitative stages of personality development with their respective modes of reality participation. The fact that traditional psychoanalytic theory does not describe major new structures after the establishment of the oedipal Superego is seen as related to a lack of a materialistically based historic outlook. As a result the interplay between developmental and social class related modes of reality participation could not be conceptualized.

It is postulated that Superego identifications differ from Ego identifications in that the former include social relations belonging to the internalized objects. These social relations are at first primarily family related (oedipal Superego). After the latency period and under the impact of active participation in productivity and reproductivity the oedipal Superego will be transcended by a new structure reflecting primarily class related social relations: the Class Superego.

The genesis and function of the Superego are related to its use of dialectical logic. This «tertiary process thinking» is mediating the indvidual's social participation in both directions (determined by and determining social changes) through its priority setting capacity. During adolescence the Ego Ideal is furthering Ego identifications with Superego objects. The Ego Ideal's use of temporality enables the adolescent to anticipate psycho- and sociodynamic processes more realistically. Temporality will allow the Superego to transcend the previous organization of internalized social relations by opening them to the category of historicity. The concept «Class Superego» will hopefully allow a more complete description of the motivational shifts from primarily biologically determined needs of the infant to primarily socially determined participation of the mature personality.

It is attempted to relate the concepts Class Superego, class consciousness and superstructure. Finally, some of the implications of the above hypotheses are discussed regarding the following issues: Possible changes in psychoanalytic technique; more differentiated elaboration of phenomena pertaining to immaturity, neurosis and anachronistic attitudes; research concerning classical psychoanalytic concepts reviewed in the light of the notion of supraindividual subjectivity.

Introduction

One of the important tasks for the development of psychoanalytic theory is the more extensive inclusion of knowledge about societal forces into its analytic concepts. For eight decades the two great dialectical theories of human motivation and behavior, psychoanalysis and Marxism, have remained insufficiently related to each other. Both theories deal with development in terms of the unfolding of inner contradictions and describe quantitative changes becoming qualitative ones. While both the macrosociological Marxist and, essentially, the microsociological Freudian theories are based on a consistent materialistic outlook, insufficient convincing links between these two theories have been established. This is unfortunate and surprising since both systems developed elaborate critical theories of analyzing fundamental rationalizations and view analysis as one of the prerequisites for planned and liberating intervention.

Although deep exploration of the reasons for this historical phenomenon cannot be attempted here, the following points deserve brief mention: (1) A neglect by analysts to accord primacy to the categories of socio-economic forces over intrapsychic forces leading to idealistic distortions (Reich, 1934; Marcuse, 1968); (2) Reformist dilution of basic Freudian concepts concerning infantile sexuality and Marxist concepts concerning class struggle (Fromm, 1970);[2] (3) Low priority given by Marxist theoreticians to a more extensive critical discussion of Freudian psychoanalysis; [3] (4) The omission of psychoanalytic theory to relate its psychological energy concept not only to instinctual but also to internalized societal forces; (5) Inconsequential juxtaposition of basic Marxist and Freudian concepts due to categories of mediation too abstract and often ahistoric (Jacoby, 1975); Osborn, 1965).

---

[1] Freud's sociological and historical extrapolations from his astute clinical observations have to be regarded as idealistic and therefore less important for the purposes of this paper; the author, of course, is cognizant of the fact that many Freudian analysts would not agree with a viewpoint locating the essence of Freud's contributions in his microsociological, family focused theories.

[2] Dobrenkov (1976) describes in great detail the socio-historical, theoretical and ideological background to neo-Freudianism, focusing especially on E. Fromm.

[3] In a recent book about Marxist theory of personality, Seve (1972) only occasionally touches on the subject of psychoanalysis at times according it some unspecified scientific value, at other times dismissing it as reductionistic.

Attempting to avoid the shortcomings above we will focus on the psychoanalytic view of personality development, emphasizing certain aspects and deemphasizing others to allow for a fuller conceptual inclusion of societal forces, which ultimately must be seen as mediating the most fundamental social contradiction in capitalistic society: the class struggle.

Dialectics of Personality Development

Traditionally, one of the ways the sequences of personality development have been described was in terms of successive stages of drive organization and ego-object relations. So far no attempts have succeeded in describing analogous Super-ego stages. To delineate the criteria on the basis of which qualitatively different Superego stages could be described we must first focus on another traditional way of describing sequences of personality development. In The Ego and the Id, (Freud, 1921), Freud outlined the sequential genesis of the intrapsychic functional units (agencies): Id, Ego and Superego. Summarizing this view in modern terminology, the interaction between environment and individual is seen as an ongoing process of (1) internalization, (2) structure[4] building and (3) externalization (discharge, action, attitudes, affects). If we term this process «reality-participation», it follows that the successive emergence, of Id, Ego and Superego represents qualitative developmental changes related to increasingly higher levels of reality participation. These developmental stages correspond to qualitatively different object relations and their internalizations.

Id, Ego and Superego therefore should not be seen as representing the individual's psychological structures in opposition to reality or society. Such a dualistic view (often developed by psychoanalysts themselves but falsely generalized by critics as essential to psychoanalysis) expresses an idealistic notion of «Man». Man's essence is derived from an abstract philosophical belief rather than from historically determined ever changing social relations, as highlighted by Marx's famous 6th Thesis on Feuerbach (Marx, 1845).[5]

Although Freud (1923) omitted to explore the relationship between his concept of «object relations» and the Marxist concept of «social relations»— a task still to be accomplished — he has shown in great detail, how the developing child's participation in family life leads to qualitatively differing groupings of internalized and subjectively elaborated psychological functions which he called Id, Ego and Superego.

The vicissitudes of internalized societal forces will have to be described in terms of their two aspects of content and energy, their relationship to instinctual forces as well as their transformation into psychological structures

[4] The concept «structure» is not used in this paper in a static sense; rather, it represents slowly changing dynamics as described by Rapaport (1960).

[5] . . . but the human essence is no abstraction inherent in each single individual. In its reality it is the ensemble of the social relations.

(Ego, Superego, Ego-Ideal, Defenses) which — as one must assume — they partly energize. While in psychoanalytic practice the internalized values or identifications with objects are seen as dynamically relevant, psychoanalytic theory continues to treat all internalizations («stimuli», «introjects», «incorporations», «identifications») only as more or less static contents with the function to channel or repress drive related impulses. These internalizations are seen as so divested of their own energy that they are said to function exclusively with drive energy. In modern Ego-Psychology (Hartmann, 1964) the dialectic relationships between internalized as well as not internalized societal forces and psychological structures still await elucidation.

Although Id(Ego) Superego coexist after their initial appearance, their respective roles carry a different weight or a different function depending on the stage of development. They develop dialectically one from the other. Freud (1923) describes how, by internalizing an Id-object relationship, the Ego is differentiated. Similarly, the Superego is seen as deriving from an internalization and subjective elaboration of the oedipal Ego-object relations[6]. The internalization of a given developmental level of object relatedness leads through subjective elaboration to new psychological structures, the Ego and Superego, thus transcending the previous quality of object relatedness. The new functions reveal previously existing elements of relating to the object world, but in a trascended form. The oral, passive dependency from mother changes its emphasis into obedience and defiance at the next stage. It is on this qualitatively different level that the old issue of dependency/independency will be worked out. This same theme will find its continuation, again in transcended form, when the oedipal conflicts ensue as incestuous wishes, phantasized death wishes and fears of retaliations.

According to traditional views, after the establishment of the Superego further internalizations do not lead to the establishment of new intrapsychic agencies, but rather to the maturation and realignment of the three existing ones (Jacobson, 1964; Blos, 1962). Thus, the Id (drive organization) will advance to genitality, the Ego to the capacity for mutuality in object relations and the Superego will «mature» by acquiring new identifications. Later developments of the Superego are seen as essentially repetitions of oedipal and preoedipal maturational steps under differing conditions.

Individual versus Societal Meaning

In order to understand why traditionally psychoanalytic theory could not pursue more concretely the Superego changes beyond the oedipal Superego, we have to take up the question of individual versus social meaning. Psychoanalysis has shown masterfully that each developmental stage has its own

[6] We cannot enter into the important issue of superego precursors which received increasing attention in the post-Freudian literature. Its inclusion into this paper would not change fundamentally the main hypothesis developed here.

phase-appropriate selectivity in apperception, integration of new perceptions with memory traces and goal-directed action leading to phase-appropriate distortions in reality testing and concept formation. Values and priority setting are seen in this view as entirely individualistic in principle once the conscious and unconscious Superego identifications are analyzed. No objective, supra-individual (social) mode of generating meaning was included in psychoanalytic theory. The dialectics of historical change with the values (superstructure) dependent on a social class struggle reflecting socio-economic changes were overlooked or denied for a multitude of reasons. This objective socially generated meaning, which is being internalized, remains subject to individual distortion, depending on the individual's specific social position. Like the developmental distortions, this class-related one comprises all three aspects of social participation, namely apperception of relevant cues, subjective elaboration and externalization. Yet, contrary to the developmental ones, these socio-historical distortions will not usually be outgrown nor corrected by family and peers, who share the same socially determined scotomizations and usually reinforce rather than correct them. The developmental phase-related selectivity in reality participation does not end with adolescence, but is superceded by, and from the beginning intertwined with, a socially determined selectivity (partiality) transmitted by the parents and later maintained by objective social forces related to a given social class position.

Seve (1972) shows the considerable epistemologic difficulties which arise when one attempts to mediate between the socio-historic determination of the personality in its general form (6th Thesis on Feuerbach, see above) and the concrete personality as it exists in its uniqueness. They can only be overcome by a dialectic analysis of the concrete personality's development, functions and actual movement of its processes allowing for an understanding of its concrete essence and concrete necessity. Contrary to Seve it is the author's conviction that psychoanalysis has furnished the beginnings of precisely such a conceptual analysis and derives much of its staying power from that fact. Yet, the lack of a scientifically based historic outlook limits the emancipatory pertinence of its concepts in as yet poorly defined ways.

The Internalizations of Objects and of Socio-dynamics

As commonly understood, the Superego is the self-critical agency with internalized parental demands and prohibitions. This view does not fully reflect the complexities involved during the establishment of the Superego. The designation «Super-ego» should indicate not only a supraindividual derivation in terms of objects, but also a form of internalization which retains important characteristics of relevant social relations. Not only what the parents transmit as values becomes internalized, but also the way the parents relate to each other and the way they respond to social pressures. The parental relationship and parent-child relationship with its demands, prohibitions and expectations are accorded the new status of structure. They have been internalized as

subject-object relations for a long time, but now all object relations experienced as mediating relevant social relations achieve new structural significance. Here «structural significance» means that the previously mentally represented object relations become relevant beyond their immediate state of factual existence (experienced on the level of formal logic), i. e., they are comprehended in their dialectic supraindividual (social) meaning. Now it becomes possible to relate to events and objects in a less autistic way, an absolute requirement for a broader extra-familial social involvement.

The question approached above is why this new structure, called Superego, cannot be seen simply as a strengthened, more mature Ego. The traditional explanation that the moral-ethical content alone justifies a different designation is unconvincing: it can be shown that the Ego acquires moral-ethical features as it matures, i. e., the substructure Ego-ideal, first located by some authors in the Superego later is seen as belonging to the mature Ego. Neither does the traditional explanation that clinically observable guilt provoking conflicts necessitate a new designation seem sufficient without clarifying why these conflicts should not be seen as arising from intra-systemic Ego conflicts. Rather we have to focus on another feature of the Superego which differentiates it in addition from the Ego. As compared to Ego identifications Superego identifications seem to have more of a provisional character. Although the Superego identifications are accorded meaning for the self, the full adoption of their demands to the point of decisive structural changes is at first suspended. This could be seen as only defensively motivated, but most likely it represents an adaptive attitude towards a constantly occurring change of relevant values and priorities. Further, as the Superego object indentifications are not separated from their own respective object relations a premature Ego-identification with Superego-objects may deprive the Superego from important socially mediating functions and may, for that reason, be unadaptive at a given time. Not only is the Superego distinctive from the Ego in terms of later genesis of emphasis on self critical function but also in terms of the suspended and therefore incomplete individualization of its internalizations. One has to assume that Ego-identifications from Superego content keep occurring throughout life allowing for a continuing process regarding Superego dependent Ego change. One necessary prerequisite for growth-promoting Ego-identifications with Superego-forces seems to be a successful mediation of their supra-individual organizational (social relations) aspects with presently occurring social processes. Such mediation will lead concurrently to new Ego-identifications as well as to the establishment of a new form of Superego reflecting depersonified[7], primarily class related rather than primarily family related, demands and organizational principles.

The Superego is then much more than the internalization of specific demands and prohibitions. It is at its early stage the internalization of all norma-

---

[7] The term «depersonification», «repersonification» of the Superego is used by Jacobson (1964) to indicate the degree to which Superego demands and prohibitions are abstracted from the concrete parent imago.

tive aspects of family interaction and, to some extent, of family mediated social processes. It becomes the always changing priority setting structure within the personality.

Having postulated the preliminary internalizations as typical for Superego identifications we have to explore the significance of such preliminariness from the adaptive viewpoint. At the stage of Superego formation and during latency the child participates socially with immature modes of productivity and reproductivity. The preliminariness of its Superego-identifications allows for a postponement of more developed Ego-and Superego identifications[8] to a later developmental phase. This can take place only when sufficient realistic experiences become available through productive and reproductive[9] social participation with both more autonomous as well as socially more broadly informed choices.

It could be said that the Superego concept derives its overriding theoretical importance not only from the fact of clinically observable internalization of social demands and prohibitions, but even more from the fact that it allows to understand the vicissitudes of supraindividually (socially) generated and generating meaning as it gets subjectively elaborated by the individual. With its dialectical priority setting capacity the Superego is mediating both ways the individual's social participation.

Formal Logic and Dialectical Logic

In a general sense, the Ego under the influence of the Superego can be seen as structuring the relationship between the self and objects, while the Superego structuralizes the impact which the changing constellation of objects has on the self. This «changing constellation of objects» is but one aspect of the changing social relations described by Marx. Developmentally, the preoedipal world of predominantly dyadic Ego relationships changes into one organized by the triangular oedipal constellation resulting in the formation of the Superego structure.

The ability to mediate simultaneously three or more object relationships (child-mother, child-father, mother-father) seems to be a prerequisite for the internalization and cognitive mastery of moral demands and prohibitions transcending mere reciprocal agreements of the dyadic relationship. Since these demands and prohibitions show consistencies and inconsistencies between the two parents and partly keep changing over time, two assumptions seem necessary to explain the fact that the child normally achieves functional cohesiveness of its Superego structure: (1) The oedipal constellation can achieve its structuralizing impact (Superego formation) only when cognition has advanced from the level of formal logic to that of dialectical logic. (Interest-

---

[8] More individualized regarding object-identifications, more depersonified regarding social relations.

[9] Both in the physiologic-sexual as well as in the socio-economic sense.

ingly, Piaget never dealt explicitly with the issue of the development of dialectical logic)[10]; (2) Sufficient experience of relevant extrafamilial[11] social processes must be mediated to the child by the family to allow for the formation of a socially relevant Superego.

The use of dialectical logic by the Superego could be termed «tertiary process thinking» in analogy to the Id's prelogic «primary process thinking» and the Ego's formal logic «secondary process thinking». The mature Ego is not confined to function with formal logic, but acquires the capacity to use and mediate all three logical modes.

The Superego's use of tertiary process thinking enables it to internalize correctly dialectical processes underlying the social genesis of moral and ethical norms. This shows the Superego to be of crucial importance in the child's socialization process leading to increasing independence from the parental function of social mediation.

Superego as a Reflection of Developmentally Relevant Social Structures

We return to the question of defining Superego stages. We can now define an early developmental stage of Superego formation, namely the oedipal Superego formation, as the preliminary internalization of dialectical social processes manifesting themselves in and being mediated by the oedipal family constellation leading to an intra-psychic structure with normative functions. These normative functions show a phase appropriate concreteness (due to general social processes mediated as concrete parental demands and prohibitions) and a phase appropriate abstractness (due to immature social participation regarding productivity and reproductivity, resulting in rigid and overinclusive generalizations).The phase specific concreteness and abstractness is related to the above described preliminariness of Superego internalization. Further individualization (Ego-identification) of the preliminary object identifications and the elaboration of internalized object relationships into not only a dialectic but also a more directly mediated historic structure will not occur until a qualitative change in social participation with productivity and reproductivity is achieved.

In this sense we can speak of Superego latency and Id latency as a developmental phase (latency age) between primarily family mediated social participation and the onset of not primarily family mediated social participation (adolescence).[12] Superego-latency would not imply a lessened activity on the

---

[10] Riegel (1973) explores this issue from a Hegelian point of view, and describes dialectic operations as existing already in early childhood.

[11] The family itself is, of course, not just transmitting social processes, but is itself a product of these processes.

[12] Many implications of these concepts for the finer developmental subdivisions into latency age, preadolescence, and adolescence will have to await further exploration.

part of the Superego. During the latency age the Superego provides the Ego with oedipally organized priorities for its overall synthetic function.

Ego-ideal and Superego

During adolescence the Ego-ideal increases in importance — and in a certain sense becomes the heir of the oedipal Superego. It, like the Superego, contains self related demands and prohibitions. Yet in distinction to the Superego it contains an awareness of the preliminariness of its internalizations due to the additional mode of explicit temporality: «I know that that's not what I am, but that's what I want to become». In addition to such awareness the Ego ideal shows some Superego-identification in transition to further concretization. During adolescence there is a declaration, albeit an ever fluctuating one, of having selected among the Superego-identifications those destined to become ultimately Ego-identifications. The social organization of the Superego-content is still identifiable but appears in the Ego-ideal in a different context. The internalized social processes are now used actively to achieve new identifications and reality goals with an increasingly realistic anticipation. We have described the Superego as the structuralization of the impact which the mediated social processes have on the self. The Ego-ideal represents the structure dealing with the anticipated Ego-changes. This partial transformation of Superego-forces allows the preparation for increasing the participatory impact of the self on society. The adolescent participates more and more realistically, because increasingly concrete anticipation of his development during this period is derived from a conscious working through and unconscious shifts of Superego-content. This can be observed clinically in phenomena of shifting idealizations, endless ruminations, philosophical discussions dealing with the meaning of life, etc. This working through of Superego-content and its reorganization by the Ego-ideal leads for the first time to a genetic perspective of psycho-dynamic processes without which the past and, therefore, the present and the future cannot be dialectically understood by the adolescent. Realistic anticipation itself becomes part of a deeper understanding of the past in the light of ongoing change. A realistic Ego-ideal will be able to effect the successful transcendence of the oedipal Superego to the extent that, on the one hand, its contents are individualized (object identifications, values), and that on the other hand, under the impact of direct productive and reproductive social participation the social organizational aspects (the depersonified aspects) of the oedipal Superego will be elaborated into a qualitatively different structure.

It is postulated that such a development allows the Superego to structuralize the impact of not parentally mediated supra-familial social processes. In the last analysis these processes can be described as being derived in the capitalistic society from underlying social class contradictions. In contrast to the oedipal Superego this new Superego state, which has developed primarily dur-

ing adolescence, will therefore be called Class-Superego. The concept of Class-Superego is necessary to describe the motivational shift (Seve, 1972) occurring during personality development from primarily biologically determined needs towards primarily socially determined participation. Societal questions concerning the Class-Superego become fully relevant only during adolescence, when the individual has to make decisions about his future societal position and transcend the family constellation. At this stage the Ego has achieved control over the component Id drives now organized by the new functions of genital primacy. The ubiquitous notion that the child and the juvenile[13] are not yet fully responsible for sexual and aggressive transgressions and, therefore, deserve a more lenient social reaction, can be seen as a confirmation that society at large perceives a decisive qualitative personality change occurring at the end of adolescence or at the beginning of economic productivity.

Class Consciousness and Superstructure

«How the content of social consciousness enters into the individual consciousness, is as yet insufficiently explored...» (Uledov, 1968). According to Marxist viewpoints the social processes related to the development of the means of production and within these processes the actual social position of the individual determine ideologic concept formations and value priorities, i. e., political, religious and philosophical belief systems. Of course, the individual's actual social position cannot be used mechanistically to arrive at his specific internalizations. His class background, more specifically the extent of achieved autonomy from anachronistic features of the class background, will influence heavily the individual's Class-Superego.

How is this Class-Superego related to the Marxist concepts of superstructure and class-consciousness? Superstructure is described in the following terms: «Superstructure... in philosophy is the sum total of ideas and social institutions characteristic for a specific society which results from that society's economic basis, corresponds to it and actively influences it in return. The Superstructure of a society comprises therefore (1) the sum total of the political, juridical, philosophical and moral ideas, illusions, demands resulting from material social processes of human interaction, which reflects social and class interests, and of (2) the sum total of the political, juridical, cultural, and other institutions (state, legal, etc.), which are constructed by people according to their concepts, demands and plans in order to achieve social acceptance and implementation of their social interests» (Klaus/Buhr, 1969).

The Class-Superego could then be seen as the individual's internalized superstructure based on his specific social participation, including — as we

[13] The emphasis here is not on chronological age but on the preproductive phase. Interestingly, when child labor was used, children were punished by means later reserved for adults, like hanging. (Personal communication by D. Moss, M. D., 1976).

may add — the developmental transcendence of his specific oedipal and preoedipal Superego. How does class-consciousness relate to the Class-Superego? «The class consciousness reflects the material conditions of existence of a social class, its relationship to other classes and strata of society and to the state as well as the objective role of this class in the historic development. The class consciousness is created by the entire class as the result of its material social conditions. The class consciousness of all classes preceding the working class is more or less permeated by illusions regarding their own objective situation and historic role ... since (their consciousness) was not based on a deep insight into objective laws of social development due to insurmountable limits to such insight. These limits derive from the objective degree of social development and, therefore, of scientific knowledge as well as from the objective social position of these classes». (Klaus/Buhr, 1969).

Class-consciousness in the personality is represented as the Class-Superego's capacity to mediate appropriately motivations for the self towards historically relevant participation. Such participation is derived from as well as leading to a dialectical resolution of conflicts originating in regressions to or fixations at oedipal (and preoedipal) developmental positions and of anachronistically determined social internalizations. It is obvious that psychoanalysis cannot be complete without a scientific social analysis, i. e. the question of Mental Health cannot be divorced from historically relevant social participation.

Outlook

At this point it remains unclear as to what extent the Ego is sharing in class-consciousness and the internalization of the super-structure. Another point requiring in-depth clarification is the question of the differing definitions of consciousness in marxist and psychoanalytic theory. Here it must suffice to emphasize that class-consciousness does not mean consciousness in the psychoanalytic sense, namely an explicit awareness of specific phenomena. As long as class related objective patterns of reality participation are present, conscious or unconscious to the individual, such an individual is said to function with a specific quality of class-consciousness.

What are some of the implications of viewing the oedipal Superego and the Class-Superego as stages of a developmental sequence of social internalizations and their vicissitudes? The worlds of social and individual productivity can become understandable in their concrete relationships between developmental and productive socialization. Phase specific developmental and class specific historical modes of reality testing and social participation (immature-mature/neurotic-non-neurotic/ anachronistic-class-conscious) can be explored in all their many forms of intertwined mediations. Within psychoanalysis, a theory of action could begin to be formulated in a socially relevant way.

It is certain that clinical phenomena will not have to be reduced automatically to their oedipal and pre-oedipal significance, but will also receive

exploration regarding their class related significance, especialy in the post-oedipal phases[14].

The new concept of Class-Superego will hopefully also serve to better comprehend the relationship of individual subjectivity to supraindividual, collective forms of subjectivity as seen by Marx to be operative in the working class or other groups being conscious agents of historic change (Holzkamp, 1977). The notion of supraindividual subjectivity would of course throw a new light on psychoanalytic concepts such as «self-object differentiation» regarding its ultimate developmental vicissitudes which so far have been described solely in individualistic (and therefore idealistic) terms (Mahler, 1968; Kernberg, 1976).

BIBLIOGRAPHY

BLOS, P. (1962) On Adolescence, New York, The Free Press

DOBRENKOV, V. (1976) Neo-Freudians in Search of Truth, Progress Publishers, Moscow

FREUD, S. (1923) The Ego and the Id, S. E. 19, London 1961

FROMM, E. (1970) The Crisis of Psychoanalysis, Holt, Rinehart and Winston, Canada

HARTMANN, E. (1964) Essays on Ego Psychology, International Universities Press, New York

HOLZKAMP, K. (1977) Kann es in Rahmen der marxistischen Theorie eine Kritische Psychologie geben? Das Argument 103, Mai/Juni 1966

JACOBSON, E. (1964) The Self and the Object World, International Universities Press, New York

JAKOBY, R. (1975) Social Amnesia, Beacon Press, Boston

KERNBERG, O. (1976) Object Relations Theory and Clinical Psychoanalysis, Jason Aronson, New York

KLAUS, G.; BUHR, M. Ed. (1963) Philosophisches Wörterbuch, a) pp 1098, b) pp 571 (translation by the author) VEB Bibliographisches Institut, Leipzig

MAHLER, M. (1967) On Human Symbiosis and the Vicissitudes on Individuation, International Universities Press, New York

MARCUSE, H. (1968) Psychoanalyse und Politik, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. Main

MARX, K. (1845) Theses on Feuerbach, in Marx/Engels: Werke, Band 3, Deutsche Demokratische Republik

OSBORNE, R. (1965) Marxism and Psychoanalysis London

PARIN, P. Gesellschaftskritik im Deutungsprozess, in Psyche, XXIX Jahrgang, No. 2, Feb. 1975

RAPAPORT, D. The Structure of Psychoanalytic Theory, in Psychological Issues, Vol. II, No. 2 (1960) International Universities Press, New York

---

[14] For a discussion of possible technical implications for conducting analysis with interpretations pertaining to societal forces see Parin (1975).

RIEGEL, K. (1973) Dialectic Operations: The Final Period of Cognitive Development, in Human Development, 16: 346—370

BEICH, W. (1934), Was ist Klassenbewusstsein? Verlag für Sexualpolitik. Kopenhagen-Paris-Zurich

SEVE, L. (1972), Marxisme et Theorie de la Personnalité, Editions Sociales Paris

ULEDOW, A K. (1972). Die Struktur des Gesellschaftlichen Bewusstseins, pp. 275, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, (original edition Moscow, 1968) (translation by author) Berlin, German Democratic Republic

---

РАЗДЕЛ ДЕСЯТЫЙ
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

191

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО — ОДНА ИЗ НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫХ ЗАДАЧ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ ЕГО НАУЧНОЙ ТЕОРИИ

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ ОТ РЕДАКЦИИ

I. Общие принципы

(1) На истории разработки методов исследования неосознаваемой психической деятельности отчетливо отразились трудности, с которыми было сопряжено очень медленно происходившее формирование научных представлений о природе этой деятельности. Методы анализа определяются, как известно, особенностями предмета и общей методологии исследования, и поэтому естественно, что переход к диалектико-материалистическому пониманию роли бессознательного в душевной жизни человека, к изучению в свете этого понимания отношения бессознательного к переживаниям осознаваемым, к анализу функций бессознательного с позиций марксистски ориентированной психологии не мог не стимулировать возникновения целого ряда новых методических принципов, адекватных этим общим концептуальным подходам. При разработке подобных принципов были естественно использованы многие из методических подходов, созданных в более раннем периоде, в том числе и некоторые оправданные десятилетиями клинической практики психоаналитической школы. Но в целом отправные теоретические посылки этих подходов, их дух и стиль оказались оригинальными, опирающимися на специфические постулаты и стремящимися к решению ими самими своеобразно поставленных экспериментальных задач.

(2) Мы попытаемся дать ниже краткую характеристику этого направления, опираясь на соответствующие конкретные методы. Но предварительно сформулируем два методологических положения, от которых отталкивается теория этих методов.

Бессознательное, как нам это уже не раз пришлось отмечать выше, говоря о его проявлениях, отнюдь не является чем-то функционально однородным, включенным как нечто маловарьирующее в психическую деятельность человека, имеющим в разных случаях одни и те же формы объективного выражения. Напротив, адекватное понимание его природы оказывается возможным только при опоре на противоположное представление, согласно которому эффекты бессознательного могут обнаруживаться на самых разных уровнях активности функциональных систем организма, сохраняя при этом, как правило, формы, специфические для каждого из этих уровней.

В этой связи можно говорить о проявлениях бессознательного, имеющих психофизиологический характер (вызывающих изменение вегетативных процессов, гормональной активности, биоэлектрических феноменов и т. п.), характер элементарно-психологический (стимулирующих сдвиги в динамике частных психологических функций) и, наконец, затрагивающих душевную жизнь человека в ее наболее сложном эмоциональном, интеллектуальном, личностном выражении. Нетрудно понять, что приемы обнаружения и анализа неосознаваемой психической деятельности, адекватные для каждого из этих разнородных уровней, не могут не быть также разнотипными, апеллирующими к разным системам теоретических представлений, порой даже к разным дисциплинам и к разной технике изучения.

Но в таком случае, следовательно, с порога отклоняется встречающееся иногда в литературе представление о существовании, якобы, лишь узкого круга специфических методических приемов, единственно пригодных для исследования бессознательного. Такое представление может существовать только при упрощенном, вульгаризированном понимании самого существа неосознаваемой психической деятельности, ее функций и возможностей ее раскрытия.

Второе общее положение, которое мы хотели бы подчеркнуть, заставляет обратиться к значительно более сложным и еще мало разработанным теоретическим проблемам. Оно заключается в следующем.

Когда психология еще только приступала к исследованию душевного мира человека, перед нею сразу же возникла задача классификации форм, в которых этот мир проявляется. С целью решения этой задачи было предложено множество разных схем. Наиболее простыми, практически оправданными и эвристичными явились классификации, основанные не столько на психологических, сколько на психофизиологических признаках, на сенсорной модальности ощущений. В дальнейшем же над этими исходными распределениями надстраивались самые разнообразные собственно-психологические классификации вплоть до ставшей классической, еще недавно широко использовавшейся разбивки психических процессов на ощущения, восприятия, эмоции, мыслительные и волевые акты и т. п. И только в самое последнее время все большее внимание стало привлекать распределение переживаний по качественно иному признаку: по параметру их «значимости» для субъекта.

Этот параметр «значимости» остается в теоретическом плане еще очень плохо раскрытым, хотя исследуя, например, мотивы поведения или психосоматические отношения в клинике, мы имплицитно на каждом шагу именно к этому параметру обращаемся (только «значимый» для субъекта мотив определяет его поведение, только «значимый» для больного психологический фактор может сыграть важную роль в процессах пато- или сано-генеза... и т. д.). Главная теоретическая трудность здесь заключается в том, что высокая «значимость» сигнала отнюдь не обязательно означает стимулирование этим сигналом высокой эмоциональной напряженности у субъекта, воспринимающего сигнал. Ребенок, например, высоко значим для матери, но отсюда вовсе не следует, что мать постоянно эмоционально напряжена, контактируя с ребенком. Понятия «значимости» и «эмоциональной напряженности», следовательно, не эквивалентны. Они являются характеристиками, относящимися к разным, логически, планам, они апеллируют к качественно **разным аспектам** отношения человека к окружающему его миру. Когда мы квалифицируем раздражитель как «значимый», мы получаем тем самым определенные возможности для вероятностного прог-

нозирования дальнейшего развертывания активности субъекта, на которого этот раздражитель воздействовал, т. е. касаемся вопросов управления деятельностью, ее регулирования, ее динамики. Когда же мы говорим о высокой эмоциональной напряженности, вызванной восприятием сигнала, то указываем лишь на наличие определенных физиологических или психологических особенностей состояния организма, которые сами по себе отнюдь еще не достаточны как основание для прогноза последующих событий[1].

Несмотря, однако, на это своеобразие, сложность и теоретическую неразработанность категории значимости, мы можем все же внести определенные уточнения в это понятие. Прежде всего следует отметить, что ранжировка переживаний по параметру их значимости приводит к выявлению определенной иерархии. Интуитивно ясно, что мы можем делать различие между переживаниями более и менее значимыми, т. е. можем как-то сопоставлять, соотносить их в этом плане. Подобные сопоставления остаются при обычном к ним подходе неформализованными, попытки их логической или математической объективизации наталкиваются на огромные трудности. Поскольку, однако, понятие значимости сохраняет при любой форме его конкретного выражения значительную степень неопределенности, можно ожидать, что использование категориального аппарата теории т. н. расплывчатых множеств, разработанной Л. Заде, и здесь создаст определенные возможности для его формализации. Эта сложная и трудная проблема конструктивно освещается с разных сторон в публикуемых в настоящем разделе статьях М. Котика, Д. Шапиро, П. Шошина.

Второй момент, который следует подчеркнуть, заключается в том, что значимость, которую имеют для субъекта воздействующие на него факторы, в огромной степени влияет на его отношение к этим факторам, предопределяет его реакции на них. Этот факт фундаментален и отчетливо прослеживается как в нормальном поведении, так и при любых психологических экспериментах и в условиях клиники. Даже простейшая лабораторная процедура, определение, например, какого-нибудь порога чувствительности, может дать одни результаты, если она является для испытуемого «малозначимой», и совсем иные, если она входит в систему «значимых» переживаний испытуемого, если от ее результата зависит нечто такое, в чем обследуемый глубоко заинтересован. Что же касается клинических наблюдений, то почти все они — яркая иллюстрация влияний, оказываемых на физиологические и патофизиологические процессы значением, которое имеют для больного воздействующие на него терапевтические и иные факторы.

Для теории методов исследования любых аспектов психической деятельности, в том числе деятельности неосознаваемой, эта зависимость результатов исследования от значимости для испытуемого процедуры его обследования является, как мы это увидим далее, положением, важным принципиально. Значимость выступает в этом случае в виде как бы своеобразного коэффициента, стоящего перед формулой, выражающей конечный результат. Игнорирование этого коэффициента должно неизбежно приводить к грубым искажениям заключений.

---

[1] Представляется, что у детей и у высших животных аспекты эмоциональной напряженности в ее психофизиологическом выражении и значимости воспринимаемых сигналов если не отождествляются, то, во всяком случае, оказываются заметно сближенными. Их резкое расслоение — это, по-видимому, одна из наиболее характерных и лишь очень поздно складывающихся черт человеческой психики.

И, наконец, третий момент, особенно важный для теории методик исследования бессознательного. Он заключается в признании существования особо глубокой связи активности бессознательного с переживаниями, высоко значимыми для их субъекта, вследствие чего именно **область высоко значимого оказывается зоной проявлений бессознательного par excellence.** Хотя неосознаваемая психическая деятельность манифестирует на всех уровнях проявлений психики, от наиболее элементарных (на которых она выступает, как мы об этом уже говорили, в форме феноменов скорее даже психофизиологического, чем психологического типа) до наиболее сложных, — только на последних она проявляется во всей своей мощи, драматически потрясая подчас всю душевную жизнь человека до ее глубочайших оснований.

Мы увидим далее, что эта связь бессознательного с областью наиболее значимого во многом примечательна. Во-первых, она позволяет понять характернейшую особенность исторического пути, по которому шло развитие представлений о бессознательном: огромный вклад, который был внесен в это развитие клинической психотерапией в ее разнообразных вариантах, при гораздо более слабом участии в этом процессе классической («лабораторной») психологии. И, во-вторых, она подсказывает, как должен быть преобразован подход к вопросам бессознательного для того, чтобы богатство и тонкость нормальной и клинической феноменологии адекватно дополнялись строгостью анализа, возможной в условиях только экспериментального исследования (в его широком понимании).

(3) Чем, однако, эта связь объясняется? Почему проявления бессознательного выступают особенно ярко в связи с переживаниями, высоко значимыми для их субъекта? Ответ на этот вопрос оказалось возможным дать в наиболее глубокой форме только после проникновения в психологию представлений, возникших первоначально в рамках концепции психологической установки Д. Н. Узнадзе и разработанных в дальнейшем его школой.

Мы уже отмечали, что категория значимости связана с аспектом управления деятельностью. Если раздражитель «значим» для субъекта, то отсюда вытекает, что его воздействие как-то влияет на последующую активность субъекта в ее внешнем, зримом или внутреннем психическом выражении, стимулирует или, напротив, ограничивает, подавляет ее проявления. Поясним это важное положение на примерах.

Мы слышим телефонный звонок. Он может быть для нас полным «значения», если является предвестником какого-то важного сообщения, требующего определенных действий, и, напротив, мы его воспринимаем как событие, не имеющее значения, как факт «малозначимый», если ни от кого никаких известий не ждем, если звонок ни в каком отношении не связывается нами осознанно или неосознаваемым образом с предвидимым будущим. Мы читаем старые письма. Некоторые из них значения для нас не имеют, потому что не связаны ни с какими волнующими или озабочивающими воспоминаниями, другие, напротив, полны значения, потому что воскрешают события прошлого, заставляют задумываться над событиями настоящего или будущего, побуждают принять определенные решения. Мы смотрим в окно и видим, что погода плохая. Это переживание будет для нас малозначимым, если оно не влияет на планируемый распорядок дня, но оно будет иметь существенное значение, если из-за плохой погоды меняется намеченная программа действий и т. д.

Значимость переживания — это, таким образом, всегда его актив-

ная соотнесенность с чем-то психологически «иным», это преображающая его **включенность в системы других переживаний,** мотивов, намерений, эмоций, планов, в то, что составляет конкретную «ткань» душевной жизни, а если говорить на языке более точных категорий — в скрытую за последней непрестанную «игру» (зарождение, конфликтное или синергическое взаимодействие, реализацию в поведении, временное или окончательное угасание) осознаваемых и неосознаваемых психологических установок. И естественно, что, **чем более значимо переживание,** чем более глубокие пласты душевной жизни оно задевает, чем более личностный характер имеют системы отношений, в которые оно включается, **тем более фундаментальны психологические установки,** преобразование (или, напротив, стабилизацию, защиту) которых оно стимулирует.

С другой стороны, — это многократно подчеркивалось как самим Д. Н. Узнадзе, так и впоследствии его учениками [2; 3], — именно преобразование неосознаваемых психологических установок является одним из основных направлений активности бессознательного[2] как фактора, участвующего в организации и управлении психической деятельности в целом. Отсюда легко понять, что преобразующая активность значимого переживания, сдвиги, вызываемые этим переживанием в динамике неосознаваемых психологических установок, и не могут выступать иначе как активность бессознательного. **Связь значимого с функциями неосознаваемой психической деятельности заранее, по существу, предрешается существованием неосознаваемых психологических установок,** она реализуется через эти установки. Когда в свое время Д. Н. Узнадзе принял, с характерной для него необычайной проницательностью, постулат о неосознаваемости психологических установок[3], он тем самым исходно связал мир значимых переживаний в какой-то его существенной части с активностью бессознательного, и все последующее развитие его концепции эту связь лишь углубляло и подтверждало.

Сказанное выше дает некоторое представление о логических основаниях тесной связи значимого и бессознательного, играющей, как мы это увидим далее, фундаментальную роль в теории методов исследования неосознаваемой психической деятельности. Что же касается отражения этой связи на истории развития методов выявления и анализа бессознательного, то мы позволим себе напомнить строки, написанные несколько лет назад одним из нас: «Концепция психоанализа со всеми ее антропоморфными мифами об активности бессознательного смогла добиться огромного влияния... только благодаря тому, что она была изначально устремлена на раскрытие природы «значащего» переживания, на объяснение роли этих переживаний в поведении здорового и больного человека. Фрейдизм привлек внимание к сложности и значимости «внутреннего мира» человека, к интимным переживаниям здоровых и невротиков, к вопросу о последствиях подавленного влечения, к конфликтам напряженных стремлений, к подчас трагическим противоречиям между сферами «желаемого» и «должного». Именно эта

---

2 Другим таким направлением является неосознаваемая переработка информации [см. 1, 216].

3 Или, по мнению некоторых исследователей, только о **возможности** (а не обязательности) для психологической установки быть неосознаваемой; по поводу этой альтернативы в рамках школы Д. Н. Узнадзе продолжается дискуссия, на которой мы здесь задерживаться не будем.

обращенность психоаналитической концепции к тому, что выступает в душевной жизни каждого человека как наиболее «значительное», эмоционально насыщенное, связанное не с аффективно безразличными ситуациями традиционных форм лабораторного психологического или клинического обследования, а с волнующими мотивами и смыслами повседневной практической деятельности, с жизнью во всем ее объеме, с ее радостями и печалями, тревогами и надеждами, вызвала у ряда исследователей сочувственное внимание к идеям психоаналитической школы» [1, 114].

Идея связи психоанализа как одного из существующих на сегодня концептуальных подходов к проблеме бессознательного с изучением значимых переживаний выражена этими словами отчетливо и без каких-либо оговорок. Другое дело, в какой степени **удались** психоанализу эти его настойчивые попытки раскрытия проблемы значимого. К этой теме мы уже не раз обращались и еще вернемся в дальнейшем. Что же касается общего вывода, к которому приводит факт тесной связи бессознательного со значимым, то это, прежде всего, мысль, что важным условием возможности анализа роли бессознательного на высших уровнях психической деятельности человека является возможность для исследователя **проникать в область значимых переживаний обследуемого.** Мы увидим, что при невозможности такого проникновения рассчитывать на успех в анализе проявлений бессознательного на этих высоких уровнях при любой технике подхода, безусловно, нельзя.

II. Психофизиологические подходы

(1) Мы охарактеризуем далее очень кратко, упомянув только о принципиальной стороне экспериментальных приемов, некоторые из методических подходов к проблеме неосознаваемых форм психической деятельности, начиная с более простых, ориентированных преимущественно физиологически, и кончая затрагивающими проявления бессознательного в развернутой деятельности и в структуре личности.

Для подхода к бессознательному как к психофизиологическому феномену, проявляющемуся в условиях бодрствования здорового человека, характерны работы, посвященные проблеме т. н. субсенсорики. В этих исследованиях изучалось действие сублиминальных раздражителей на различного рода физиологические процессы (электрическую активность мозга, кожно-гальванические реакции, изменения температуры и электрического сопротивления тканей тела и т. п.). В опытах этого типа было показано, что на неосознаваемом уровне могут быть уловлены не только факты предъявления подпороговых сигналов, но и смысловые особенности последних, воспринимаемые, согласно обычным представлениям, только в условиях осознаваемого восприятия. Представление о содержании этих работ дают публикуемые в настоящем разделе статьи Г. В. Гершуни, а также Ю. М. Забродина и Е. З. Фришман.

Эксперименты, сходные с упомянутыми выше, но проводившиеся на больных с функциональными клиническими расстройствами, уже упоминались нами (см. вступительную статью к первому тематическому разделу). В них прослеживалось смысловое влияние, оказываемое на поведение функционально глухих сигналами, которые улавливались подопытными без того, чтобы это восприятие ими осознавалось.

Возможность неосознаваемой регуляции эффекторных процессов, происходящей с учетом смысла ситуаций, в которых эта регуляция проявляется, была показана еще много лет назад одним из выдающихся советских физиологов Н. А. Бернштейном. В его опытах выявлялись с помощью циклографической методики неосознаваемые защитные движения у человека, стремящегося сохранить находящийся в его руках ценный хрупкий груз.

(2) Упомянутые выше работы характерны для методического направления, стремящегося определять особенности активности бессознательного, исследуя в условиях бодрствования динамику отдельных нормальных или патологически измененных физиологических функций. Это направление довольно широко представлено в современной литературе, ему посвящены многие крупные работы, оно имеет свой специфический стиль экспериментов, и мы обязаны ему немалым количеством интересных находок. Круг методов, применяемых для изучения бессознательного, еще более, однако, расширяется, а сами эти методы своеобразно психологизируются, когда задачей становится определение особенностей бессознательного не только при ясном сознании, но и в условиях сознания измененного, прежде всего при сне нормальном и гипнотическом.

Советскими исследователями было уделено много внимания изучению особенностей переработки сновидно измененным сознанием различного рода внешних воздействий (тактильных, температурных, звуковых стимулов, которые по своей интенсивности имели при бодрствовании испытуемого надпороговый и подпороговый характер), а также влияние на сновидения позы тела (Ф. П. Майоров). Изучалась возможность восприятия речи спящим при электроэнцефалографическом контроле фаз сна, на протяжении которых вводилась вербально информация эмоционально как безразличного, так и волнующего содержания (А. М. Свядощ и др.).

Особенно интересные данные были получены И. Е. Вольпертом при анализе, на основе специального разработанного этим автором метода, сновидений, возникающих в условиях гипнотического сна. Обширный материал связи сновидений с различными вызывающими их физиологическими и психологическими факторами был тщательно проанализирован В. Н. Касаткиным.

Исследования, в которых была показана поразительная тренируемость способности производить в условиях бодрствования, нормального сна, сна гипнотического точную оценку длительности интервалов времени, также могут рассматриваться как демонстрирующие неосознаваемое регулирование, происходящее на основе каких-то еще мало нами изученных механизмов работы т. н. «биологических часов». Смысловой характер этого регулирования проявляется в способности сигнализировать определенным действием, пробуждением или отсроченным выполнением гипнотического внушения наступление заранее указанного момента времени. Представление о подобных феноменах и методах их экспериментального исследования дает статья Д. Г. Элькина и Т. М. Козиной, включенная в четвертый тематический раздел настоящей монографии.

(3) Эволюция психоаналитических представлений о проявлениях бессознательного в условиях сновидно измененного сознания хорошо известна. Она заключалась в постепенном отказе от провозглашенной в свое время Фрейдом (в период написания им «Лекций по введению в психоанализ», т. е. в 10-х, приблизительно, годах нашего века) кон-

цепции изначально жестким образом фиксированного скрытого символического значения (преимущественно — сексуального) различных образов, возникающих при сновидениях, и в переходе к концепции т. н. «иной логики» сновидений, т. е. к идее качественного своеобразия закономерностей, определяющих взаимосвязь, динамику, смену и значение этих образов. (Яркое описание особенностей этой «иной логики» и методических приемов, позволяющих разбираться в ее причудливых построениях, содержится в статье С. Леклера, включенной в VIII тематический раздел настоящей монографии.)

Возражать против реальности многократно описанных способов связывания сновидных образов друг с другом и с элементами объективной действительности («сгущения», замещения частью целого, соскальзывания по созвучию и т. п.) столь же трудно, как нелегко бывает обычно соглашаться, что предлагаемое в том или ином случае толкование этих образов, этой их «иной» логики, **единственно** возможное. Угроза искусственности, произвольности подобных расшифровок, их недостаточная доказуемость—это их подлинная ахиллесова пята, резко помешавшая их более широкому признанию. А поскольку, вместе с тем, как было только что сказано, эти расшифровки опираются на вполне, по-видимому, реальные механизмы преобразования и динамики образов, отношение ко всей этой проблеме чрезвычайно осложняется. Мы оказываемся здесь перед лицом объективно существующих связей, которые могут быть в общей форме описаны, но понимание природы которых еще не настолько глубоко, чтобы они могли быть положены в основу конкретного метода выявления особенностей бессознательного. Эти связи, другими словами, являются на сегодня **законным предметом** анализа, но еще не могут быть уверенно использованы как **средство анализа.**

Если попытки раскрытия активности бессознательного путем исследования сновидений тормозятся, таким образом, субъективизмом истолкований, на которые они опираются, то более благоприятная картина обрисовывается, когда предметом анализа становится не сновидная продукция сна, а адаптивные функции последнего. Как можно думать на основе ряда новейших исследований [4; 7; 8], в определенных фазах сна скрыто происходит, по-видимому, сложный и еще мало нам понятный процесс переработки эмоциональных конфликтов, приводящий к ослаблению, смягчению аффективной напряженности, испытываемой субъектом в условиях бодрствования. Мы не будем сейчас возвращаться к описанию этого интересного и весьма, видимо, важного проявления неосознаваемой психической деятельности, поскольку о нем уже шла речь выше (во вступительной статье к IV тематическому разделу и в ряде сообщений этого раздела). Напомним только, что в рамках разработанной в советской психоневрологии концепции взаимного «примирения» конфликтных мотивов в определенных фазах быстрого сна (см. статью В. С. Ротенберга в IV разделе) намечены и некоторые приемы терапевтического использования этого феномена при его проявлении в условиях неврологической клиники. Дальнейшее же исследовние этой «примиряющей» активности бессознательного позволяет уточнить понимание природы неосознаваемой психической деятельности и расширить возможности ее исследования в двух планах.

Во-первых, оно еще в одном направлении конкретизирует идею функционального синергизма бессознательного и сознания, которой в советской психологии диалектически дополняется идея конфликта этих факторов. Тем самым исследование «примиряющей» активности при-

обретает более широкое значение, чем если бы оно было направлено на выявление только специфической функции сна. Во-вторых, опираясь на представление об этой «примиряющей» активности, мы получаем возможность по-новому взглянуть и на методы расшифровки сновидений. Мы имеем в виду следующее.

Как бы ни относились к принципам объяснения образов сновидений, изложенным Фрейдом в самом начале нашего века в «Толковании сновидений», трудно не согласиться с тем, что ничего радикально иного с тех пор для интерпретации этих образов предложено не было. Единственная гипотеза, которую можно в данном случае рассматривать как альтернативу, это идея незакономерности, случайности возникновения этих образов, представленности в них всего лишь фрагментов, осколков предшествующих переживаний, определяемости их динамики факторами скорее физиологического, чем психологического порядка и т. д. Вряд ли, однако, этот акцент на психологической индетерминированности образов сновидений завоевал за истекшие десятилетия большее признание, чем исходная фрейдовская схема жестко фиксированной связи этих образов с сексуальной символикой. Идея же «примирения» позволяет, как бы опрокидывая методическую направленность приемов Фрейда, изменяя ее на обратную, увидеть всю эту проблему в ином свете.

Как в ставших классическими описаниях расшифровки сновидений, произведенных самим Фрейдом (анализ сновидений о «лечении Ирмы», о «копченой семге», сновидений самого Фрейда и др.), так и в истолкованиях, производившихся впоследствии учениками и последователями Фрейда (в том числе Лаканом, Леклером и очень многими другими), подход к сновидению — это всегда подход к некоей криптограмме. Фрейд обосновывал такое понимание в отчетливых выражениях: «Содержание сновидения, — писал он, — дано нам в форме иероглифов, знаков, которые должны последовательно переводиться на язык мыслей сновидения. Было бы неправильным читать эти знаки как образы, а не как условные символы. Можно разгадать ребус... только если заменять каждый образ слогом или словом, которое представлено этим образом. Объединенные вместе, эти слова уже не будут лишенными смысла, а смогут составить какое-то ясное, имеющее глубокий смысл высказывание. Сновидение — это ребус, и наши предшественники допускали ошибку, пытаясь интерпретировать его как рисунок, именно поэтому оно и казалось им абсурдным и бессодержательным» [5, 229].

«Смысл сновидения», таким образом, записан, по Фрейду, тайнописью, зашифрован, а раскрыть его можно только путем кропотливой дешифровки составляющих это сообщение элементарных знаков. Такова логика подхода Фрейда, и она сохраняется принципиально в работах исследователей, изучающих сновидения на протяжении уже многих десятилетий. Именно для дешифровки образов, составляющих сновидение, и вводится представление об их скрыто символическом характере — важный теоретический постулат психоанализа, создающий для критиков последнего возможность довольно обоснованно упрекать его в неискоренимой приверженности к недоказуемым построениям (об этой «ахиллесовой пяте» психоанализа мы кратко уже упомянули выше). Общий же ход звучащей здесь мысли может быть охарактеризован как стремление толковать природу сновидений, восходя при их анализе **от элементов к глобальному,** от конкретных образов к «смыслу сновидения» как целого.

Возможен ли, однако, к этой сложнейшей проблеме какой-то принципиально иной психологически ориентированный подход? По-видимому, да, если мы повернем схему Фрейда на 180°, т. е. будем идти при анализе сновидения не от расшифровываемых (очень порой неубедительно) составляющих его конкретных образов к его общему смыслу, а напротив, **от последнего к выражающим этот смысл отдельным образам.**

При таком понимании, в соответствии с имплицитно содержащимся в концепции «примирения» представлением о тесной связи активности сна со «смыслом жизни» (т. е. с конфликтами, стремлениями, переживаниями, напряженными эмоциями, стремящимися к реализации психологическими установками и т. п.) и допуская (постулат, по меньшей мере, вероятный!), что **эта активность сна находит какое-то отражение в активности сновидений,** к выявлению «смысла сновидения» следует идти не путем **непосредственного** демаскирования выражающих его конкретных образов, а на основе **предварительно** выполненного анализа напряженных переживаний бодрствования, с тем, чтобы увидеть в конкретных образах сновидения специфическую для последнего переработку этих переживаний. Отличие от психоаналитического подхода здесь не в признании **факта связи** сновидений с подобными переживаниями и эпизодами (этот факт признается универсально), а в том, что подобное **признание** становится **исходной рабочей посылкой анализа,** начинающегося с выявления стержня «смысла жизни» обследуемого, т. е. с изучения его внутреннего мира, его переживаний и, прежде всего, того, что в этих переживаниях выступает как наиболее для обследуемого «значимое». Только после того, как эта **семантическая структура внутреннего мира,** хотя бы в грубых чертах, определена, может производиться попытка распознать ее смутные, заведомо искаженные, деформированные, специфически измененные отражения в «смысле сновидений».

На этом пути возникает, естественно, немало трудностей. Как показывает, однако, опыт, эти трудности преодолимы. Они создаются, в основном, упомянутой выше специфичностью изменения «смысла жизни» при их выражении на языке образов сновидения. В советской психологической литературе неоднократно указывалось, что понять и раскрыть эту специфичность можно не постулируя существование исходно, якобы, присущей бессознательному тенденции к символическому выражению, а учитывая, что, во-первых, выражение психологических содержаний в условиях бессловесного образного мышления, возникающего во время сна, искажается понятным принципиально образом: в этих условиях для «означаемого» может быть подобрано только **конкретное «обозначающее»,** чем создается почва не столько для подлинной символики, сколько для мистифицирующей псевдосимволики; и, во-вторых, что характерной особенностью сновидно измененного сознания, радикально, по-видимому, отличающей последнее от сознания бодрствующего, является существование лишь очень рыхлых, заранее не определимых, слабо детерминированных связей между активно ищущим своего выражения общим смыслом сновидения и конкретными образами, в которых это выражение достигается.

Определение «смысла сновидения» на основе возможности видеть в нем непосредственное отражение «смысла жизни» (а не обобщенный результат непосредственной дешифровки отдельных образов) означает, очевидно, определенный пересмотр схемы, предложенной Фрейдом. Для Фрейда истолкование криптограммы сна было одним из **основных**

методов распознания активности бессознательного, приемом, который не опирался ни на какой вспомогательный другой, который никакой другой техникой не замещался и даже не верифицировался. При подходе же, который нам представляется более адекватным, в основу системы выявления неосознаваемой психической деятельности кладется исходно специфически ориентированный диалог между исследователем и обследуемым, **диалог, направленный на выявление «значимого» в душевной жизни обследуемого,** на определение связей и отношений, в которых это «значимое» выражается.

Несколько позже мы коснемся требований, которые должны соблюдаться для того, чтобы подобный диалог был продуктивным, чтобы он действительно мог привести к раскрытию мира значимых переживаний субъекта. Сейчас же мы хотели бы лишь подчеркнуть, что, как правило, все вообще более специально ориентированные попытки проникать в область бессознательного должны основываться на данных, выявляемых подобным диалогом, — поскольку только на основе этих данных они получают определенную направленность и только этими данными в какой-то степени контролируются. Попытки распознавать «смысл сновидений» как специфически деформированное отражение сновидно измененным сознанием «смысла жизни» есть лишь одна из форм такого подчинения специальной методики общему представлению о «взаимосвязи значимого», которая предполагается выясненной **до того,** как анализ сновидения начинается.

Методика анализа сновидений таким образом явно лишается прерогатив, которыми наделил ее психоанализ. Она, безусловно, перестает быть «королевской дорогой» (выражение Фрейда) в мир бессознательного. Она сохранается как один из допустимых методических приемов, но рассматривается как средство недостаточно надежное, не самостоятельное и нуждающееся в контроле. Существенные изменения, которые вносятся тем самым в психоаналитическую постановку методов анализа сновидной активности сознания, очевидны[4].

(4) Мы уделили выше довольно много места вопросу об анализе

---

[4] В заключение этого обсуждения проблемы сновидений напомним, что одна из интересных попыток использовать для выявления активности бессознательного сновидения или, точнее, состояние сознания, близкое к сновидному, принадлежит Р. Дессоалю (R. Dessoille). Этим исследователем была разработана методика т. н. «управляемых сновидений» („rêve éveillé dirigé“), основанная на сохранении контакта между испытуемым, находящимся в состоянии дремоты, и экспериментатором, регулирующим вербально динамику образов, возникающих у испытуемого в предсонном состоянии. Анализ этих образов позволяет в некоторых случаях выявлять скрытые от сознания мотивы поведения и подавленные стремления. Надо думать, что и здесь предварительное обращение к «смыслам жизни» обследуемого, способное подсказать экспериментатору характер образов, которые ему целесообразно активировать, могло бы углубить возможности метода.

Мы предвидим также как возможное возражение указание на то, что и при обычной психоаналитической процедуре происходит в той или иной форме обращение к «смыслам жизни» обследуемого, предваряющее обследование. Возможно, что практически, имплицитно, это так и бывает (аргументом здесь может явиться, например, статья С. Леклера в VIII тематическом разделе). Важно, однако, чтобы этот прием был формализован, осознан как **обязательная интродукция** при любой форме более глубокого специального изучения. Пока же, насколько нам известно, такая обязательность исходного изучения семантической структуры переживаний при попытках проникновения в бессознательное широко, во всяком случае, не соблюдается.

сновидений. Это объясняется важной ролью, которую эта проблема играла на протяжении всей истории психоанализа. В отношении методических возможностей, создаваемых гипнозом, мы будем более кратки.

Приемы с применением гипноза, которые могут быть использованы для анализа проблемы бессознательного, трудно обозримы из-за своего разнообразия. По существу, любой эксперимент, направленный на выявление способностей загипнотизированного, освещает скрытые возможности неосознаваемой психической деятельности. Описания подобных экспериментов содержатся в статьях настоящего, X и IV тематических разделов, и мы на них сейчас задерживаться не будем. Нам хотелось бы, однако, в настоящей резюмирующей методические вопросы статье обратить внимание на два направления гипнологических поисков, которые выступают как особенно важные для выявления еще малоизученных аспектов бессознательного. Об одном из них уже шла речь во вступительной статье к первому тематическому разделу — мы имеем в виду методику отрицательных постгипнотических галлюцинаций, которой обоснованно уделял в свое время немало внимания П. Жане. Придавая признаку, при наличии которого объект становится невидимым для загипнотизированного, неявную форму (например: «Вы не увидите предмет с изображением чисел, сумма которых, будучи возведенной в квадрат, равна 25»), экспериментатор получает возможность исследования множества операций (математических, логических), а также более сложных процессов вынесения решений, реализация которых может осуществляться без того, чтобы эта активность осознавалась ее субъектом. Нетрудно понять, какие благоприятные возможности для анализа скрытых потенций бессознательного создаются при систематическом, планомерном выполнении подобных исследований. Опыт работ уже упоминавшейся нами психотерапевтической клиники ЦОЛИУ врачей экспериментально подтвердил важное значение и продуктивность подобных поисков.

Если методика постгипнотических отрицательных галлюцинаций создает благоприятные условия для определения возможностей, которыми неосознаваемая психическая деятельность располагает в психологическом плане, то не меньшего внимания заслуживают приемы, направленные на экспериментальное раскрытие потенций бессознательного в отношении его воздействия на соматические процессы. Сведения наши в этой области еще очень скудны, и поэтому любые получаемые здесь данные представляют исключительную ценность. Статья Л. Шертока (Франция) «Экспериментальная психосоматика», представленная в настоящем тематическом разделе и содержащая описание собственных наблюдений автора, является весьма интересным введением в эту малоисследованную область. Очевидно, что дальнейшее развертывание подобных работ имеет для клиники и патофизиологии не меньшее значение, чем для психологии.

III. Проективные методы

(1) Выше было подчеркнуто, что проявления неосознаваемой психической деятельности, давая о себе знать при самых разных формах функциональной активности организма и на разных уровнях поведения, с особой яркостью проявляются в динамике переживаний, высоко значимых для их субъекта, которые отнюдь не редко относятся к интимной жизни последнего. Отсюда вытекает, что для исследования бессознательного важно обеспечить возможность проникновения в эту динамику и, в частности, превратить в объект изучения аспекты

внутреннего мира обследуемого, которые нелегко раскрываются при межиндивидуальных контактах. Несколько позже мы остановимся на требованиях, которые должны соблюдаться для того, чтобы такое проникновение удавалось. Но предварительно проследим, на каких методических путях происходило это постепенное сближение идей бессознательного и значимого, что давало в данном случае импульсы этому нелегкому движению мысли.

Сближение этих идей выступило в истории психологии как своеобразный побочный продукт развития, происходившего в совсем иной, казалось бы, области, — как результат стремления углубить представление о личности, наметив объективные основы ее типологии. Чтобы не отклоняться от интересующих нас вопросов, мы полностью отвлечемся сейчас от истории проблемы типов личности, истории, вероятно, не намного менее долгой, чем история психологической науки в целом, — и сосредоточим внимание только на ее последней фазе, связанной с зарождением и постепенным распространением идеи т. н. проективного теста.

(2) Хорошо известно, какой трудной оказалась проблема этого теста, сколько споров она вызывала и продолжает вызывать поныне. Зарождение проективного метода прошло под знаком личной трагедии его создателя[5], а его до сих пор не завершенное теоретическое обоснование десятилетиями тормозилось из-за того, что его использование поднимало вопросы, к решению которых психология того времени была еще совершенно не подготовлена.

Что же воспрепятствовало своевременному пониманию идей Роршаха? Сейчас ответить на этот вопрос нетрудно.

Наука его времени была еще совершенно неспособна объяснить, каким путем образ, непроизвольно возникающий у субъекта под влиянием предъявленного ему «неопределенного» стимула, может дать какую-то информацию о психологических установках, характерологических особенностях, стремлениях, эмоциональном складе этого субъекта. В психологии того времени еще стойко сохранялось упрощенное, механистическое представление, согласно которому восприятие—это процесс пассивный, лишенный селективности и определяемый во всем психологически существенном объективными особенностями перципируемого объекта, а не психологической и физиологической организацией перципиента. Идея проекции, исходно подсказанная психоанализом, еще не приобрела в те годы значения более широкого принципа, согласно которому ее проявления можно наблюдать не только в межперсональных отношениях, но и в форме выражения свойств личности в истолковании

---

5 Герман Роршах (1884—1922), выдающийся исследователь, короткая жизнь которого была связана отчасти с русской культурой, умер, будучи убежденным, что основной труд его жизни, «Психодиагностика», потерпел полное фиаско. Эта книга совершенно не раскупалась, упорное сопротивление его идеям было оказано такими корифеями психиатрии того времени, как Бумке и Гохе; опубликовать последнее написанное им дополнение к «Психодиагностике» Роршаху так и не дали. А спустя некоторое время после его смерти — подлинный ажиотаж вокруг его идей, перевод его трудов на многие языки и мировая известность. В общем — еще один невеселый вариант судьбы, так схожей с судьбой Бизе, скончавшегося с мыслью о провале созданного им мирового шедевра «Кармен»; с судьбой Колумба, умершего почти в нищете; Рембрандта, последние годы которого также прошли в крайней бедности, других новаторов, чьи идеи были поняты гораздо лучше их потомками, чем их не очень дальновидными современниками.

тестового материала и различных контролирующих экспериментальных ситуаций. Все это пришло позже, когда Роршаха уже не существовало, и постепенно создало сложную междисциплинарную основу современной психологии восприятия, критически переосмыслившей опыт нейрофизиологии, гештальт-психологии, психологии «глубинной» и психологии социальной. В качестве важных, все более широко признаваемых положений психологии восприятия выступили представления о глубокой зависимости содержаний воспринятого от неосознаваемых психологических установок и личности воспринимающего (этой проблеме было уделено в работах школы Д. Н. Узнадзе особенно много внимания, с созданием для ее разработки целого ряда тонких экспериментальных методик); о неустранимой включенности, в порядке обратной связи, центральных регуляций в структуру сенсорного процесса, регуляций, обуславливающих скрытую высокую активность и избирательность рецепции; об особой важности для выявления психологических характеристик перцепиента неопределенности («нейтральности», незавершенности) структуры предъявляемых стимулов; о существовании закономерных соотношений между восприятием цветовой тональности и особенностями аффективно окрашенных переживаний и др. Накопление этих данных позволило А. Шпицнагелю предложить в 60-х гг. формулу, лаконично (хотя и не очень вразумительно) исчерпывающую существо теории роршаховского метода: «Между процессами восприятия и личностью существуют отношения психологической изоморфности».

Установления этой «изоморфности» было в какой-то мере достаточно для оправдания использования роршаховского метода как практически полезного диагностического приема, но в плане теоретическом это был только первый шаг. Следующий оказалось возможным сделать, обратившись к идеям Ж. Пиаже, требующим разграничения при анализе восприятия между ситуациями т. н. аккомодации (перестройка субъективных схем с их приспособлением к отношениям объективным) и ситуациями ассимиляции (вписывание объекта в предшествующие субъективные схемы). Существование ассимиляций, процессов, очень близких в психологическом отношении к процессам проекции, поставило вопрос о факторах, лежащих в их основе, и здесь отчетливо выступило, что нельзя даже начинать обсуждения подлинной природы ассимиляций, отвлекаясь от неосознаваемости реализующих их психологических механизмов и от их скрытой связи со «значимым»: малозначимое «уступает» объекту в «аккомодациях», и **только высокозначимое «неуступчиво» преобразует объект в «ассимиляциях».** Так, неожиданно для многих, только логикой анализируемых объективных отношений оказались тесно между собою связанными тип восприятия, за которым лежат определяющие его центральные регуляции, неосознаваемость реализующих восприятие процессов и фактор значимости. И все дальнейшее развитие относящихся сюда представлений идею этой связи только укрепляло и углубляло.

Сказанное выше характеризует некоторые из психологических предпосылок роршаховского метода. Эти предпосылки представляют особый интерес, т. к. метод Роршаха — это исходная модель, предопределившая существо множества созданных впоследствии проективных методик, широко применяемых в современной психологии. При использовании метода Роршаха испытуемому предъявляется, как это хорошо известно, «нейтральный» в отношении структуры стимул, который испытуемым преобразуется в более или менее структурированный

образ. Эта реакция «оформления структуры» **происходит под непосредственным влиянием смутно или даже вовсе не неосознаваемых психологических установок испытуемого,** тем самым эти установки обнаруживая и позволяя в дальнейшем обосновать с их помощью суждение о личностных особенностях лица, подвергающегося обследованию. И по-существу с тем же психологическим процессом мы встречаемся во всех проективных методиках. В тесте ТАТ Мюррея, как и в тесте фрустрации Розенцвейга, операции «оформления структуры» подвергаются наглядные изображения различных сцен или поз, допускающих разное истолкование. В широко применяемых тестах «незаконченных предложений» мы оказываемся перед лицом аналогичной ситуации, ибо вряд ли что-либо изменяется в зависимости от того, опирается ли создаваемая испытуемым завершенная структура на допускающие разные интерпретации наглядный образ или незавершенное высказывание. То же следует сказать о тесте Вартега, особенно близком к роршаховской модели, и о ряде других.

Когда мы подводим ребенка к столу, на котором лежат разные игрушки, и просим его выбрать ту, которая ему больше всего по вкусу, то, вопреки всей элементарности этой сцены, мы также воспроизводим, по-существу, ситуацию проективного теста. Выбор игрушки позволяет судить об определяющих этот выбор, дремлющих в душе ребенка психологических установках, тенденциях, стремлениях, предпочтениях, которые ребенком, возможно, вовсе пока не осознаются, но уже начинают определять его реакции, а со временем станут, быть может, жесткими детерминантами его личностных черт. Подобный эксперимент может быть поэтому поставлен в рамках типологического исследования, но это только одна, отнюдь не единственная, из возможных форм его использования. Информация, которую он дает, значительно более широка: **он объективирует неосознаваемые психологические установки,** и это — его **основной вклад,** а то, что выявлено, может затем анализироваться под самыми разными углами зрения, подчас даже весьма далекими от интересов типологии.

Подходя с таких позиций к проблеме проективных тестов в их широком понимании, нельзя не признать весьма важную функцию, которую эти методики выполняют на сегодня в ряду других разнообразных приемов объективации бессознательного. Их неоспоримо сильной стороной является **выявление латентных психологических установок в ситуациях свободного выбора решений,** и в этой специфической роли круг возможностей их продуктивного применения в целях как теории, так и практики чрезвычайно широк.

(3) Несколько сложнее обстоит дело с т. н. опросниками, также в изобилии представленными в современной литературе (Ф. Б. Березин и М. П. Мирошников, Л. Н. Собчик, В. Г. Норакидзе у нас; миннесотский тест, Кеттел, Айзенк, Тейлор и др. за рубежом). Характер и задачи этих опросников хорошо известны, и мы не будем на них останавливаться. Важнее здесь, опять-таки неявная и потому требующая раскрытия, внутренняя логика этих методов.

При ознакомлении с типологически ориентированными опросниками, как и при анализе метода Роршаха, сразу же возникает сложный теоретический вопрос. В отношении концепции Роршаха это был вопрос, как, основываясь на процессе преобразования неопределенной визуальной структуры в завершенный образ, исследователь получает информацию, позволяющую ему восходить до заключений об особенностях личности испытуемого. Здесь же мы сталкиваемся с не менее труд-

ной проблемой: как на основе оценок, субъективизм которых очевиден и пределен (ибо это самооценки!), т. е. на основе информации, подвергающейся большему влиянию искажающих факторов, чем, пожалуй, какая-либо другая, удается, тем не менее, получать объективное знание о типологических особенностях испытуемых.

Обычное в таких случаях указание на корригирующую роль представленных в опросниках т. н. «шкал лжи» (исключающих, по замыслу авторов опросников, дезориентацию исследователя, возникающую вследствие тенденциозности, «недобросовестности» ответов обследуемого) вряд ли относит нас к фактору, действительно обеспечивающему объективность исследования. Подлинное положение вещей здесь оказывается в психологическом отношении гораздо более сложным.

Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников и Р. В. Рожанец, касаясь проблемы достоверности данных, получаемых на основе миннесотского теста, высказывают интересную мысль: «В процессе разработки анкетных данных выяснилось, что часто имеет значение не столько достоверность ответов испытуемого, их соответствие реальным фактам его жизни, сколько **его мнение...** Исследователя интересует только **субъективная** точка зрения испытуемого... Вопросом «Хорошо ли Вы спите?» анкетный метод выявляет **только то, как испытуемый оценивает** свой сон, а отнюдь **не истинное положение вещей».** И далее: «Если испытуемый утверждает в анкете, что он повел бы себя определенным образом в гипотетической ситуации, то исследователь **не ожидает от него такого же поведения в ситуации реальной,** а в своем суждении о личности испытуемого руководствуется связью между **склонностью к таким утверждениям** и исследуемыми личностными признаками»[6].

Нетрудно заметить, какой крутой поворот вносится в обычное толкование анкетных данных такой интерпретацией. То, что выявляется в результате опроса, это — не практически недостижимая в данном случае картина поведения в его объективном выражении, а гораздо скорее только **субъективный образ** этого поведения, который под влиянием множества очень сложно, синергично и конфликтно соотнесенных между собою факторов рисует испытуемый. Но тогда как же получается, что этот весьма субъективно окрашенный психологический продукт несет (словно копируя модель Роршаха!) объективную информацию? Понять это можно только допустив, что формирование своего собственного образа, образа своего «Я», — это создание конструкции не произвольной, а глубоко зависящей от центральных факторов и прежде всего от **психологических установок** субъекта, которые могут быть как отчетливо осознаваемыми (таковыми являются, в частности, те, которые порождают тенденциозные, «ложные» ответы), так и осознаваемыми смутно или даже не осознаваемыми их субъектом вовсе. Именно эта **зависимость создаваемого образа от скрытых личностных особенностей испытуемого,** от иерархии его ценностей, от дифференцированной значимости для него разных сторон его собственного «Я» и мира (а вовсе не от идентичности этого образа реальности!) и превращает высказывания испытуемого в **объективно детерминированные** факты, а тем самым и в носителей объективной информации.

Диалектика объективного и субъективного здесь очень сложна, но если ее не учитывать, если оставаться в рамках представления, соглас-

---

[6] Ф. Б. Березин, М. П. Мирошников, Р. В. Рожанец, Методика многостороннего исследования личности, М., 1976, стр. 8—9 (повсюду подчеркнуто нами.— Редколл.).

но которому для успеха в данном случае требуется только «точность и откровенность» лица, заполняющего опросник (Ф. Б. Березин справедливо квалифицирует это представление как «наивное», см. там же, стр. 8), то тем самым заранее закрывается путь к пониманию психологической природы обсуждаемого метода, причин его популярности и неоспоримой продуктивности.

Как и проективные методики, тесты типа миннесотского смогли оказаться полезными в психологии, а также при выявлении субклинических состояний потому, что они опираются фактически (что, кстати сказать, не всегда в должной мере учитывается их авторами) на **активность неосознаваемых психологических установок и индивидуальное своеобразие иерархий значимого.** Оправданность их применения показана прежде всего в рамках типологии. Не подлежит, однако, сомнению, что они, опять-таки как и проективные методики, могут дать немало ценного для теории неосознаваемой психической деятельности и совершенно независимо от стоящих на сегодня в центре их внимания типологических проблем.

(4) Чтобы завершить обсуждение вопроса о роли, которую сыграли в разработке проблемы бессознательного проективные методы и опросники, нам остается подчеркнуть еще лишь один существенный методологический момент, который неоднократно по разным поводам звучал в советской литературе последних лет. Положительное отношение к названным методам в оперативном, экспериментальном плане, стремление понять психологические механизмы, на которые они опираются, и тип задач, для решения которых они пригодны, менее всего, конечно, означает согласие с идеологической их интерпретацией, довольно широко распространенной за рубежом. Здесь линия разграничения должна быть очень четкой. Проективным методам и опросникам даются в западной литературе истолкования, опирающиеся — что неизбежно — на различные концепции бессознательного и в том числе на остающиеся нам глубоко чуждыми. Поэтому работать эти методы могут на углубление представлений, не только разделяемых нами, но и таких, к которым мы относимся критически и негативно. А отсюда вытекает, что при всей своей практической полезности проективные методы и опросники остаются для нас только специфическими **оперативными приемами,** только **специализированными средствами экспериментального анализа,** использование которых само по себе менее всего является доводом в пользу достоверности теоретических построений, которые на их основе могут быть сделаны. При их использовании главным остается их правильная методологическая интерпретация.

IV. О методических подходах, представленных в настоящем разделе монографии

(1) Мы уделили столь много внимания проективному методу потому, что он является своеобразной формой подхода к проблеме бессознательного, довольно широко распространенной и все еще вызывающей неумолкающие споры. Важно, однако, учитывать, что проективные методы — только одно из существующих на сегодня направлений исследования неосознаваемой психической деятельности. Наряду с ними в современной литературе представлены и многие другие направления, затрагивающие качественно иные аспекты бессознательного. Работы, содержащиеся в настоящем тематическом разделе, позволяют создать определенное представление о необычайно широком спектре, о характерной

тематической и методической разнородности предпринимаемых сегодня в этой связи теоретических и экспериментальных поисков. Они могут быть распределены по методическим принципам на ряд подгрупп.

Первую подгруппу методических подходов отражают сообщения Г. В. Гершуни и Ю. М. Забродина с соавт. Они направлены на обнаружение эффектов неосознаваемого путем анализа реакций на подпороговые раздражители. Очень своеобразно рефлекторный принцип исследования бессознательного преломлен в статье В. Лаутербаха (ФРГ), содержащей сопоставительный анализ возможностей исследования проблемы бессознательного методами психоанализа и приемами т. н. «терапии поведения» («рефлексотерапии»).

Вторую подгруппу составляют работы, апеллирующие к той или иной форме гипнотического изменения сознания. Это исследование Э. Хилгарда (США), использовавшего феномен диссоциации сознания, возникающей в условиях т. н. автоматического письма; статья В. Л. Райкова и О. К. Тихомирова—анализ явлений гипнотической регрессии возраста; статья Л. Шертока (Франция) — экспериментальное изучение гипнотически обусловленных соматических сдвигов (гиппогенных ожогов).

К третьей подгруппе мы относим статьи В. Г. Норакидзе, Е. Т. Соколовой, Ю. С. Савенко и Л. Ф. Бурлачука, затрагивающие с разных сторон исключительно сложную, теоретически еще недостаточно ясную, вызывающую как одобрения, так и порицания и, тем не менее, все более широко применяемую методику проективных тестов. В статье С. Я. Рубинштейн описана разработанная автором методика, позволяющая заключать об активности бессознательного на основе анализа мотивов поведения.

Четвертая подгруппа представлена статьями М. А. Котика, П. Б. Шошина, Д. И. Шапиро. В них освещается оригинальный и еще мало изученный подход: попытки использовать при анализе проблемы бессознательного и тесно с нею связанной идеи «значимости» методы математической теории т. н. расплывчатых множеств, разработанной известным американским исследователем Л. Заде. (Обсуждение этих статей в связи с их близостью к проблематике мышления и речи произведено нами во вступительной статье к седьмому тематическому разделу). К этим статьям примыкает, по общему стилю, сообщение Е. А. Умрюхина — экспериментальный анализ неосознаваемого усвоения испытуемым предъявляемой им сенсомоторной программы, с определением отношений между осознаваемым и неосознаваемым выбором действий при последующей реализации этой программы.

В качестве пятой подгруппы можно рассматривать статьи Б. Барнетта (Англия) и Гашкеля (Франция), посвященные популярному за рубежом т. н. балинтовскому методу: исследованию межперсональных отношений, устанавливающихся в системе «врач — больной», анализу роли, которую в этих отношениях играют осознаваемые и неосознаваемые формы психической деятельности врача и больного. По поводу этого метода мы хотели бы сказать несколько слов.

В сообщении Б. Барнетта «Балинтовская группа и неосознаваемая душевная жизнь» характеризуется разработанный в середине 50-х гг. М. и Э. Балинт и получивший в дальнейшем широкую известность своеобразный метод исследования отношений, устанавливающихся в рамках системы «врач — больной». Метод основан на коллективном обсуждении в условиях специального «семинара», состоящего из 8—10

врачей, клинических случаев, представляемых для рассмотрения членами семинара. Руководитель семинара («лидер») направляет обсуждение так, чтобы в центре неизменно оставалась проблема «врач — больной», а члены семинара («группа») занимают в отношении демонстрирующего врача позицию, аналогичную той, которую он, врач, занимал в свое время в отношении представляемого им больного. Это позволяет подвергать анализу совокупность отношений, складывающихся между врачом и больным, психологическую сложность которых врач не всегда учитывает.

Одним из важных открытий, сделанных в результате применения этого балинтовского метода, оказалось выявление зависимости сложных диагностических заключений не только (а иногда даже не столько) от объективных проявлений болезни, от вызываемых последней реальных расстройств и синдромов, но и от **субъективных психологических установок диагноста, от усвоенных им предпочтений, критериев, тенденций, интерпретаций, которые как подлинные мотивы решения им** не осознаются. Поэтому одной из практических целей балинтовских групп стала помощь членам этих групп в их освобождении от неосознаваемых ими субъективных «штампов» решений, иногда существенно снижающих уровень их клинического восприятия и мышления.

Однако главные задачи метода лежат в научно-исследовательской плоскости и заключаются в анализе специфических осознаваемых и неосознаваемых процессов, закономерно развивающихся в рамках системы «врач — больной» (трансфера, контртрансфера и др.). В этой связи балинтовский метод может рассматриваться как имеющий двойное значение: не только средства повышения общего уровня психотерапии, но и оригинального приема исследования неосознаваемых проявлений душевной деятельности, наблюдаемых в условиях малых групп специального профиля и во многом определяющих становление и последующую судьбу этих групп. Интерес, который использование этого метода представляет для теории бессознательного, очевиден.

(2) Думается, что обрисованная выше картина разнообразных методических подходов создает определенное представление об очень сложной ситуации, сложившейся на сегодня в вопросе о приемах исследования неосознаваемой психической деятельности. Как основная черта этой ситуации выступает качественная разнонаправленность ведущихся в этой области поисков при одновременно явной ограниченности возможностей, односторонности каждой из до сих пор предложенных методик. (Мы намеренно, как это легко заметить, не включили в круг охарактеризованных выше приемов исследования специфические методы подхода к проблеме бессознательного, разрабатывавшиеся на протяжении десятилетий Д. Н. Узнадзе и его школой, поскольку эти методы многократно описывались и в настоящее время уже достаточно хорошо известны). В этих условиях в качестве важнейшей задачи выступает, очевидно, **исследование взаимосвязи разных методов,** анализ теоретических принципов, на основе которых эти методы могут быть не рядоположены, а превращены в концептуальную систему. Некоторыми соображениями по этому поводу мы и завершим вступительную статью к настоящему разделу.

V. Проблема исследования «значимых» переживаний и принцип психологической «дополнительности»

(1) Мы привели выше примеры подходов к проблеме бессознательного, представленных в современной литературе. Их, за исключением

разве балинтовского метода, объединяет представление, согласно которому бессознательное — это феномен, который без особого искажения его природы может быть включен в поле обычного лабораторного эксперимента. И, действительно, в целом ряде случаев, когда речь идет о переживаниях «малозначимых», не связанных с чем-то волнующим, эмоционально затрагивающим испытуемого, сопутствующие им проявления неосознаваемой психической деятельности могут быть продуктивно исследованы на основе определенных форм лабораторного экспериментирования. Дело, однако, меняется, когда мы пытаемся проследить роль бессознательного, законы, которые им управляют, в динамике переживаний «высокозначимых», т. е. в том, что составляет главное содержание душевной жизни человека: в развитии и угасании эмоциональных состояний радости, любви, страха, горя, озабоченности, ожидания, ненависти, сострадания, зависти; в принятии решений по поводу не экспериментальных лабораторных ситуаций, а задач, выдвигаемых самой жизнью, связанных с моральной ответственностью, с перспективами изменения каких-то практических личных позиций; в напряженности, которая вызывается противоречием несовместимых важных для субъекта устремлений; в изменениях, которым подвергаются нереализуемые влечения, словом, во всем неисчерпаемом разнообразии психологических состояний, которые составляют субъективный мир человека и стоят, иногда явно, иногда закамуфлированно, за фасадом повседневного поведения.

Почему же «высокозначимое» с трудом вписывается в ситуацию обычного лабораторного опыта? Для ответа на этот вопрос проследим логическую структуру традиционно понимаемого психологического эксперимента.

При эксперименте, в его классической («галилеевской») модификации, исследуемый феномен подвергается двум последовательным операциям. Во-первых, этот феномен как бы изымается, вычленяется из своего «естественного контекста», отчуждается от системы связей, в которую он был включен до эксперимента. Эта первая операция (операция «вычленения» или «отчуждения») необходима для того, чтобы объект изучения был введен в т. н. «ситуацию эксперимента», в «поле», в рамках которого производится изучение и без которого эксперимент в его классической форме немыслим. Во-вторых, исследуемый феномен, находясь в «ситуации эксперимента», подвергается «вмешательству» — воздействию, анализ реакций на которое и является целью эксперимента. Такое понимание логической структуры эксперимента, выделяющее в ней две фазы (фазу «вычленения» и фазу «воздействия»), сразу позволяет определить, в отношении каких явлений эксперимент в его классическом варианте как метод исследования неадекватен. Очевидно, что это те явления, «изъятие» которых из их «естественного контекста» уже само по себе изменяет их характер. Такого рода явления, — ими являются, в частности, наиболее сложные явления психики, — будучи помещены в «ситуацию эксперимента», не эквивалентны самим себе до их введения в эту ситуацию, и поэтому их изучение на основе «галилеевской» схемы невозможно.

Эта нерасторжимая связь предмета исследования с его «естественным контекстом» и с экспериментатором («прибором»), его наблюдающим, интерпретируется одним из нас в обобщенной форме как гносеологически неизбежная трудность познания любой **«внутренне наполненной психической целостности»** [3]. Эта трудность заставляет ввести в систему общей теории сознания и бессознательного психического принцип «психологической дополнительности, посредством которого

наряду с «реальными» (классическими) экспериментами в современной психологии представляется возможной организация т. н. «мысленных» (неклассических) экспериментов над этой «внутренне наполненной **целостностью**» психики с присущими ей однозначно ее не определяющими, а порой и в корне исключающими друг друга характеристиками [см. там же].

Представляется очевидным, что «значимые» переживания относятся к явлениям именно подобного типа. Если лабораторное исследование, например, какого-нибудь малозначимого для испытуемого психофизиологического феномена, может производиться многократно, в очень разных методических и ситуационных условиях, давая при этом неизменно сходные результаты, то переживание «высокозначимое» включено, напротив, в породившую его констелляцию отношений избирательно и глубоко.

Подлинно «значимое» переживание и психологическая система, элементом которой это переживание является по-существу **нерасчленимы.** Чувство, например, которое мы испытываем к определенному человеку или к событию, относится только к этому человеку или только к этому событию и ни на что иное без изменений своей психологической природы, своего существа перенесено быть не может. «Высокозначимое» переживание и его содержательный аспект, его объект связаны между собой жестко.

Факт этой «неотрывности», тормозящий исследование, подсказывает одновременно и определенный путь для выхода из создающегося тупика. Если «значимое» переживание, подобно любой другой «внутренне наполненной» психической «целостности», неотрывно от своего контекста, - то не может ли оно быть введено в поле эксперимента **вместе** со своим контекстом, вместе со своей сложной системой психологических отношений, в которую оно включено? Как, однако, это надо понимать?

Поставим вопрос так: существуют ли вообще ситуации, при которых «значимые» переживания, как и любые другие однозначно не определяемые формы «психической целостности», подвергаются рассмотрению (и в принципе могут стать предметом эксперимента), не изменяясь от одного того, что они становятся объектом наблюдения? Да, такие ситуации, бесспорно, существуют. А каковы они, в чем их особенность? Основная их особенность заключается в том, что они всегда характеризуются специфической психологической структурой, а именно: наличием в этой структуре **двусторонне** направленных процессов передачи значимой информации — каналов передачи не только прямых, но и обратных.

Поясним эту мысль на примере ситуации лечения, на функционировании системы «врач—больной». В этой ситуации происходит обсуждение бесспорно «значимых» переживаний, которые процедурой рассмотрения не разрушаются. В чем же заключается отличие этой ситуации от ситуации классического психологического эксперимента, облегчающее ввод и сохранение в ней «значимых» переживаний?

В «ситуации лечения» распространение значимой информации происходит в двух противоположных направлениях: не только от больного к врачу — это связи «прямые», но и в «обратно» — от врача к больному, ибо решения врача полны «значения» для больного. И именно **существование этой обратной информации— необходимое условие того, чтобы информация «прямая» включала в себя «значимое»:** больной вряд ли обратится с жалобами к врачу, который для него не авторитетен.

Теперь вернемся вновь к традиционной форме лабораторного психологического эксперимента, который в отличие от ситуации «лечения» надо рассматривать как систему с однонаправленной связью. Связь «обратная» здесь практически отсутствует, поскольку экспериментатор для обследуемого, в основном, только «наблюдатель», лицо, **только воспринимающее** информацию, поступающую от обследуемого, но ничего подлинно «значимого» в ответ последнему не дающее. Совершенно естественно, что в экспериментальное «поле», характеризуемое таким односторонним распространением информации, «значимые» переживания исследуемого лица перенесены не будут.

Если использовать для описания подобных отношений язык художественной литературы, то можно сказать вместе с одной из тургеневских героинь: «Под чужим, холодным взглядом душа раскрываться не станет». И этот образ выражает суть дела, пожалуй, даже ярче, чем примененные выше информационные схемы. Положение это может быть выражено коротко так: если при изучении явлений материального мира и того, что выступает в области переживаний как «малозначимое», оптимальной для наблюдателя является поза спокойствия и безучастия, то при исследовании психологии «значимого» такая поза заранее исключает доступ наблюдателя к объекту исследования. Безучастно исследовать психологию «значимого», по-видимому, принципиально невозможно.

Нам остается теперь сделать простой вывод из сказанного.

Если «значимые» переживания могут стать предметом рассмотрения и обсуждения только в ситуации с двусторонне направленным распространением значимой информации, то отсюда вытекает, что психолог, желающий подобные переживания изучать, должен превратиться из фигуры информационно-пассивной, какой он является в рамках классического эксперимента, в фигуру информационно-активную, то есть в лицо, которое не только «получает» информацию, но и «дает» ее (что-то важное для исследуемого сообщает). Или, иначе говоря, психолог не может претендовать на доступ к значимым переживаниям, если он не выступает одновременно в качестве психотерапевта. «Значимые» переживания — это такая сторона объективной действительности, сведения о которой могут накапливаться только на основе мультидисциплинарного поиска, опирающегося как на психологию, так и на психотерапию.

А поскольку бессознательное в его наиболее сложных формах раскрывается в динамике именно «значимых» переживаний, то все, что было сказано выше об особенностях подхода к этим переживаниям, **является одновременно условием методологически адекватного подхода и к бессознательному психическому в его проявлениях, тесно соотнесенных с динамикой сложных эмоций.**

Такое понимание объясняет многое в истории и психологии и психотерапии и, прежде всего, тот факт, что тесная связь между попытками исследования бессознательного и психотерапией проходит красной нитью через десятилетия истории не только психоанализа, но и не психоаналитически ориентированных попыток разобраться в душевной жизни человека с целью наведения недостающего в ней «порядка». В Советском Союзе исследования в области психотерапии, отправляющиеся от охарактеризованного выше общего понимания принципов организации осознаваемой и неосознаваемой психической деятельности в ее отношениях с областью «значимых» переживаний, производились на протяжении последних лет, как это уже было упомянуто, ведущими

психотерапевтическими центрами страны, в частности Центральным институтом усовершенствования врачей.

(2) Поверхностным критиком мог бы быть задан вопрос: не означает ли подобный путь к бессознательному через предварительное «вычленение значимого», подобное увязывание анализа бессознательного с активным терапевтическим регулированием душевной жизни какую-то уступку психоанализу? Такой вопрос был бы наивным.

Активным регулированием «значимого» в душе человека занята **всякая** психотерапия, да и не только она. Психоанализ менее всего вправе предъявлять здесь претензию на монополию. Для него специфична не эта **задача регулирования,** а те средства и понятия, те методические пути, тот категориальный аппарат, которые он использует, чтобы эту задачу решить.

Всем сказанным выше мы пытались показать, чтó именно мы предпочитаем этому психоаналитическому подходу. Кладя в основу теории методов исследования неосознаваемой психической деятельности **понятие неосознаваемой психологической установки** в ее связи с **категорией «значимости»,** мы пытаемся разрабатывать диалектико-материалистическую концепцию бессознательного, учитывающую то, что в более ранних трактовках этого понятия было в научном отношении достаточно строгим, и отвергающую без колебаний то, что является для нас сегодня лишь научным мифом. Эту линию мы пытались проводить во всех вступительных статьях к десяти тематическим разделам настоящей монографии, надеясь, что тем самым будет обеспечена их внутреняя связь и методологическое единство.

И в заключение. Мы коснулись лишь отдельных работ, содержащихся в настоящем тематическом разделе. Мы почти совсем не затронули в обсуждении разнообразные, порой весьма интересные методические приемы, характеризуемые в других разделах, например методику анализа «повторяющихся» сновидений, предлагаемую Ч. Музатти (II раздел), оригинальные методические подходы, описываемые Д. Видлохером (II раздел), С. Криппнером (III раздел), Г. Шеврином (III раздел), Ч. Фишером (IV раздел), М. Моравеком (IV раздел), Г. Сунале (IX раздел), Л. Гарай (IX раздел) и многими другими соавторами монографии. Это объясняется тем, что мы стремились дать не обзор методов, а произвести обсуждение методических принципов. Думается, что на современном этапе еще очень неупорядоченного, разноречивого истолкования проблемы бессознательного именно подобное обсуждение особенно желательно. И мы сделали все, что могли, чтобы такое обсуждение нашим читателям представить.

EVOLVEMENT OF METHODS OF INVESTIGATION AS ONE OF THE MAJOR TASKS OF THE FURTHER DEVELOPMENT OF THE THEORY OF THE UNCONSCIOUS

EDITORIAL INTRODUCTION

Summary

The general principles underlying the theory of the methods of studying unconscious mental activity are formulated: the diversity of these methods — corresponding to the diversity of forms of manifestation of the unconscious at various levels of the functional activity of the organism — is underlined, and it is noted that the so-called «highly significant» experiences refer to

the sphere of mental life in which the activity of the unconscious causes far-reaching changes.

The techniques used to bring to light the activity of the unconscious at the psychophysiological level are described (manifestations of the unconscious under subliminal stimulation, as well as in patients with functional disorders, in locomotion, and in conditions of the S's use of the biological clock). The importance of special, methodologically oriented hypnologic experiments for gaining insight into the peculiarities of the unconscious is noted (suggested negative hallucinations, direct hypnotic action on somatic processes).

The traditional psychoanalytic method of interpretation of dreams is considered critically. This method is contrasted with another technique which works not from the particular images of a dream to the general significance of the latter but rather from the general significance of the dream (i. e., from the specifically deformed «meaning of life») to the particular images appearing in the dreamer's consciousness.

The factors yielding objective information on the basis of projective techniques (Rorschach, etc.) as well as through the use of special questionnaires are analyzed. The specific orientation of such questionnaires towards eliciting the S's 'self-image'is noted, and in this connection the role of the projection mechanism when working with a questionnaire is examined.

The need to distinguish between the attitude to projection techniques as particular means of psychological investigation and the approach — occasionally found in Western literature — linking the techniques in question with certain inadmissible forms of ideological orientation is emphasized.

Finally the problem of the feasibility of an objective study of significant experiences is discussed: rejection of the Galilean experimental design in favour of contacts between the subject and the experimenter, presupposing the flow of meaningful information not only from the S to the E but in the reverse direction as well (inclusion of the psychotherapeutic approach in the setting of psychological investigation).

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
2. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тбилиси, 1966.
3. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, Тбилиси, том I, 1969; том II, 1973.
4. COHEN, D., Journ of Abnorm. Psychology, 1974, v. 83, № 22, pp. 151—166.
5. FREUD, S., Die Traumdeutung, Wien, 1900, s. 229.
6. FREUD, S., L'interpretation des rêves, Paris, 1967, p. 112.
7. GREENBERG, R., PEARLMAN, F., Psychoanal. Quarterly, 1975, v. 44, pp. 392—403.
8. GREENBERG, R., PEARLMAN, F., Perspectives in Biol. and Med., 1975, v. 17, № 4, pp. 513—521.

192

РЕАКЦИИ НА НЕОСОЗНАВАЕМЫЕ РАЗДРАЖЕНИЯ ПРИ НАРУШЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ЧУВСТВ

Г. В. ГЕРШУНИ

Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР, Ленинград

В настоящей статье мы хотели бы рассмотреть деятельность органов чувств человека, характеризуемую по таким нестандартным критериям, как возникновение реакций на неосознаваемые раздражения. Возникновение подобных реакций с чрезвычайной отчетливостью наблюдается при некоторых патологических состояниях центральной нервной системы, а также, как было нами установлено, у здоровых людей при выработке условных реакций на раздражения, лежащие ниже порога осознанного ощущения.

Исследования этого рода явлений проводились коллективом работников физиологического института им. И. П. Павлова АН СССР в течение многих лет (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945; Гершуни, 1947, 1949, 1955). Основные исследования были проведены в то время, когда директором института был Л. А. Орбели. Краткая характеристика этих работ была дана Л. А. Орбели в 1949 году (Орбели, 1949). До настоящего времени полученные результаты не были обобщены в целом. В статье будут рассмотрены явления, наблюдаемые при патологических состояниях центральной нервной системы, возникающие как следствие воздушной контузии, закрытых травм черепа и психических травм.

Возникновение выраженных вегетативных и ряда других реакций при действии раздражений на органы чувств, функциональное состояние которых обычными клиническими методами характеризуется как полная или частичная потеря соответственного рода чувствительности (слуховой, зрительной, тактильной, болевой, обонятельной, вкусовой), само по себе не является неожиданным. Описания расстройств восприятия внешних раздражений, наблюдаемых при закрытых травмах черепа и психических травмах (то есть чрезмерных для человека стрессовых состояниях) военного и мирного времени, даваемые клиницистами, уже давно свидетельствовали об этом (Ферагут [Veraguth, 1909]; Мясищев, 1929; Панов, 1933; Аствацатуров, 1935).

То новое, что было обнаружено в наших исследованиях, определяется введением количественной оценки явления, основанной, во-первых, на выборе и регистрации определенного набора реакций, во-вторых, на разработке приемов измерения пороговых значений раздражений, вызывающих эти реакции, наряду с применением классических методов определения порогов осознанных ощущений на эти же раздражения. При помощи этих приемов удалось установить количественные критерии, характеризующие реакции на неосознаваемые раздражения.

Такими критериями являлись: 1) разность между значениями пороговых величин раздражений, вызывающих данного рода реакцию, и порогами осознаваемых ощущений[1]. Эта разность, выражающая предел интенсивностей раздражений, которые не осознавались, обозначалась как субсенсорная зона (см. рис. 1 и 2). Сами реакции, возникаю-

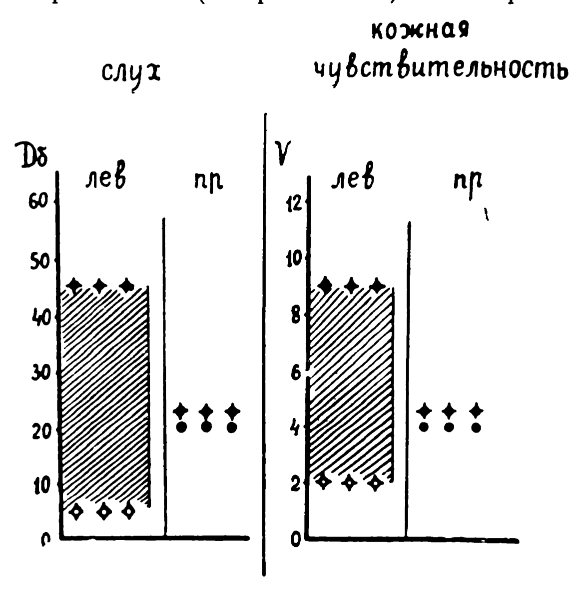


Рис. 1. Пороги кожно-гальванической реакции (к. г. р.) и пороги ощущения у больной М., при звуковом раздражении и электрическом раздражении кожи. Для слуха цифры по вертикали обозначают интенсивность звукового раздражения в дб относительно нормального порога слышимости. Для кожной чувствительности цифры обозначают интенсивность раздражения кожи в вольтах. Полые кружки с крестиками — к. г. р. на раздражения, лежащие ниже порога ощущения, черные кружки — пороги ощущения, черные кружки с крестиками — к. г. р. на ощущаемые раздражения. Заштрихованные площади обозначают пределы действия раздражений, которые не осознаются (субсенсорная зона). См. также рис. 5

щие на раздражения, лежащие ниже порога осознаваемого ощущения, были обозначены нами термином субсенсорные (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945). 2) отличия характеристик реакций, возникающих при действии неосознаваемых и осознаваемых раздражений.

Эти критерии давали возможность наблюдать динамику патологического процесса при нарушении функции восприятия внешних раздражений. Так, в стадии глубокого нарушения восприятия разность между пороговыми значениями раздражений, вызывающими вегетативные реакции, и порогами ощущений могла достигать громадных

[1] Термин осознаваемые (или явные) ощущения используется для того, чтобы обозначить явления, устанавливаемые в условиях стандартных психофизических измерений, в отличие от другой группы явлений, обозначенных еще И. М. Сеченовым, как «ощущения в скрытой форме» (Сеченов, 1863).

величин, а затем претерпевать характерные изменения в процессе восстановления функции. Одновременно наблюдались типичные изменения самих характеристик реакций.

Для определения пороговых значений воздействующих раздражений в первой нашей работе, посвященной исследованию нарушения деятельности органов чувств при травмах военного времени (воздушной контузии) (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945), использовалась реакция расширения зрачка, а также электроэнцефалографические показатели (изменение спонтанной ритмики и начальные ответы (Гершуни, Клаас, Ливанов, Марусева, 1945). В последующих работах была широко использована кожногальваническая реакция (Гершуни, 1947).

Подобного рода вегетативные и электроэнцефалографические реакции оказались наиболее чувствительными индикаторами деятельности центральной нервной системы, возникающей в ответ на действие раздражений, которые не осознавались.

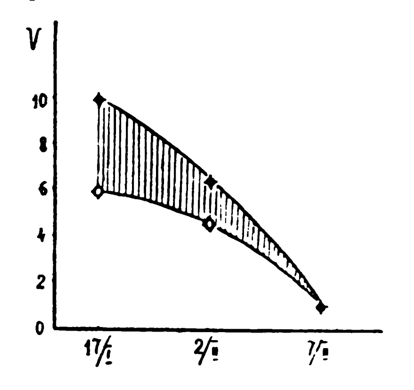
На рис. 1 представлен типичный случай измерений пороговых значений раздражений, вызывающих кожно-гальванические реакции, и порогов ощущений у больной с глубокой односторонней гипэстезией кожной поверхности и понижением слуха (слева), возникших в результате сотрясения мозга. На рис. 1 видно, что кожно-гальванические реакции как на электрокожные, так и звуковые левосторонние раздражения возникают при интенсивностях, которые намного ниже порогов осознаваемых кожных и слуховых ощущений. При раздражениях правой стороны тела с нормальной кожной чувствительностью кожногальваническая реакция возникает лишь на те раздражения, которые достигают порога осознанных ощущений.

Для восстановления функции восприятия, при указанных выше нарушениях, характерным является, наряду с возрастанием чувствительности, устанавливаемой по порогам осознанных ощущений, уменьшение субсенсорной зоны вплоть до полного ее исчезновения. Это явление обнаруживалось как при исследовании реакции расширения зрачка в процессе восстановления слуха (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945), так и кожно-гальванической реакции в процессе восстановления кожной чувствительности (см. рис. 2а).

Характеристики вегетативных реакций претерпевают существенные изменения тогда, когда вызывающие их раздражения достигают порога ощущения, т. е. начинают осознаваться. Наиболее типичными из этих изменений являются: падение величины реакции и возрастание скорости угасания при действии последовательных раздражений. Первое из этих явлений отчетливо выступает при измерениях зависимости величины реакций от интенсивности воздействующих раздражений, лежащих в пределе и выше предела субсенсорной зоны.

На рис. 2б представлены подобного рода данные, полученные при измерении величины кожно-гальванической реакции (к. г. р.) в зависимости от интенсивности электрического раздражения кожи у больной с резким понижением кожной чувствительности; из рисунка видно, что при интенсивности раздражения, достигающего порога осознанного ощущения, происходит резкое падение величины к. г. р. Вся кривая осознаваемых раздражений оказывается смещенной в сторону бóльших интенсивностей. Отличия в величинах к. г. р. и скорости угасания при воздействии раздражений на участки кожи с нормальной и резко пониженной чувствительностью демонстрируются на рис. 3.

Как видно из рисунка, при раздражениях гипостезированного участка кожи, наносимых с интервалами от 1 до $1^1/_2$ минут, возникают к. г. р. большой амплитуды в течение всего времени воздействия; на



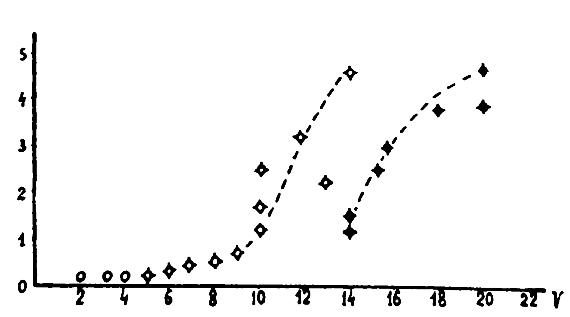


Рис. 2. Наверху. Сужение субсенсорной зоны параллельно с восстановлением кожной чувствительности у больной в стадии выздоровления (последствие закрытой травмы черепа). По горизонтали — даты исследования, по вертикали — интенсивность электрического раздражения в вольтах. Полые кружки с крестиками — к. г. р. на раздражения, лежащие ниже порога ощущения. Черные кружки с крестиками — пороги ощущения. Заштрихована субсенсорная зона.

Внизу. Зависимость величины кожно-гальванической реакции (к. г. р.) от интенсивности раздражений, лежащих в пределах субсенсорной зоны и вне ее. По оси абсцисс интенсивность электрического раздражителя в вольтах, по ординате величины к. г. р. в относительных единицах. Полые кружки — раздражения, не вызывающие ответы, полые кружки с крестиками — к. г. р. на субсенсорные раздражения; черные кружки с крестиками — к. г. р. на ощущаемые раздражения. Порог к. г. р. — 5В; порог ощущения — 14В. Обращает внимание резкое падение величины к. г. р. при переходе к ощущаемым раздражениям

стороне с нормальной чувствительностью к. г. р. возникает лишь на первое раздражение, достигающее порога ощущения; реакция отсутствует при последующих раздражениях.

Следует отметить еще одно отличие в динамике действия неосознаваемых и осознаваемых раздражений: оно касается явлений возрастания чувствительности (сенсибилизации), происходящих при действии последовательных раздражений. Это явление, изученное у нормальных людей А. И. Бронштейном (1946), весьма резко выражено у больных с нарушенной кожной чувствительностью (см. рис. 4). Так, из рисунка видно, что при последовательном нанесении раздражений кожной поверхности, вызывающих к. г. р., порог осознанного ощущения достигается при девятом раздражении очень большой интенсивности (в три раза большем, чем порог возникновения к. г. р.). При последующих раздражениях происходит снижение порогов ощущений почти в два раза (явления сенсибилизации); соответственно резко уменьшается субсенсорная зона. Пороги возникновения к. г. р. на субсенсорные раздражения не претерпевают заметных изменений. Таким образом, явление повышения чувствительности характерно именно для условий,

при которых осуществляется осознаваемое восприятие внешних раздражений.

В разных случаях нарушений осознанного восприятия могут наблюдаться различные варианты описываемых явлений. Указанные чер-

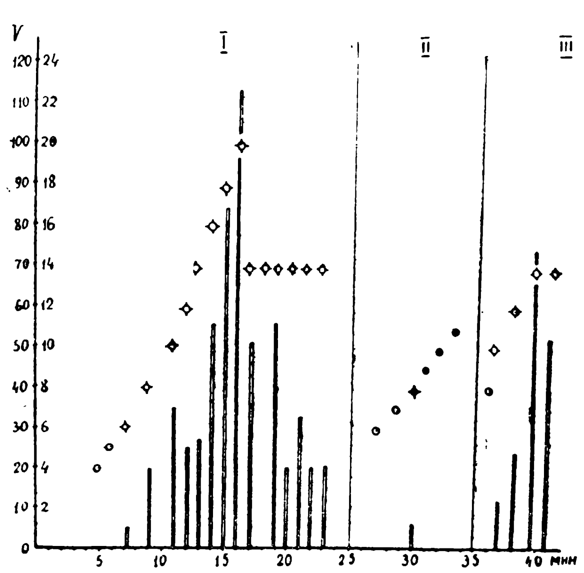


Рис. 3. Кожно-гальванические реакции при последовательном раздражении анестезированных и нормальных участков кожи. По оси абсцисс отложено время в минутах, по оси ординат — интенсивность раздражения кожи одиночными электрическими стимулами (конденсаторными разрядами) в вольтах и величины к. г. р. в относительных единицах. Белые кружки — неощущаемые раздражения, не вызывающие к. г. р.; белые кружки с крестиками — неощущаемые раздражения, а черные кружки с крестиками — ощущаемые раздражения, сопровождающиеся к. г. р. Черные кружки — ощущаемые раздражения, не сопровождающиеся к. г. р. Столбики — величины к. г. р. при соответствующих раздражениях. Больная Со-ва (глубокая анестезия обеих ног от пальцев до колена). Отводящие электроды на левой руке, индифферентный электрод на левой стопе. Раздражающий (дифферентный) электрод установлен: I — на нижней трети правой голени — анестезированная область; II — на нижней трети бедра той же ноги — область нормальной чувствительности; III — в том же месте, что в случае I (анестезированная область). (По опытам А. М. Алексеева и А. А. Араповой)

ты реакций, возникающих на субсенсорные раздражения, а именно: большая амплитуда и стабильность на серии раздражений и отсутствие динамики, типичной для условий осознанного восприятия (угасание реакций и сенсибилизация), представляют характернейшие явления, которые обнаруживаются как при исследовании разных видов чувствительности (слуховой, кожной), так и при использовании разных вегетативных реакций (зрачковой, кожно-гальванической) в случаях нарушений функции восприятия у исследованных больных.

Подробная клинико-физиологическая характеристика исследованной группы больных, перенесших воздушную контузию (106 человек), была дана ранее (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945). Приведенные на рис. 1—4 данные относятся к группе больных, перенесших закрытые травмы головного мозга мирного времени (сотрясение мозга) (исследование Алексеева и Араповой; Араповой и Орловой; Араповой, Гершуни и Орловой). Краткое сообщение было в печати сделано Гершуни (1947) и Араповой и Орловой (1948). У всех больных этого рода наблюдалось нарушение восприятия с резко выраженными субсенсорными реакциями (22 человека). У небольшой группы больных (6 человек), в анамнезе которых не могло быть установлено дей-

ствие механических факторов, вызывающих травму, наблюдались подобного же рода нарушения восприятия, характеризуемые выраженными субсенсорными реакциями; факторы, вызывающие эти нарушения, должны были быть отнесены к психогенным (чрезмерные для индивида стрессовые состояния).

Как известно, в клинической литературе подобного рода нарушения часто обозначались термином истерические или истеро-травматические (Аствацатуров, 1935). Подобный случай военного времени описан в 1945 году (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945). Подробный физиологический анализ одного из случаев мирного времени дан в работе, опубликованной в 1957 году (Авакян и др., 1957). Исследовались также больные с нарушениями слуха (Кристостурьян, 1952; Гершуни и др., 1954) и кожной чувствительности (Арапова и Орлова, 1948) периферического происхождения.

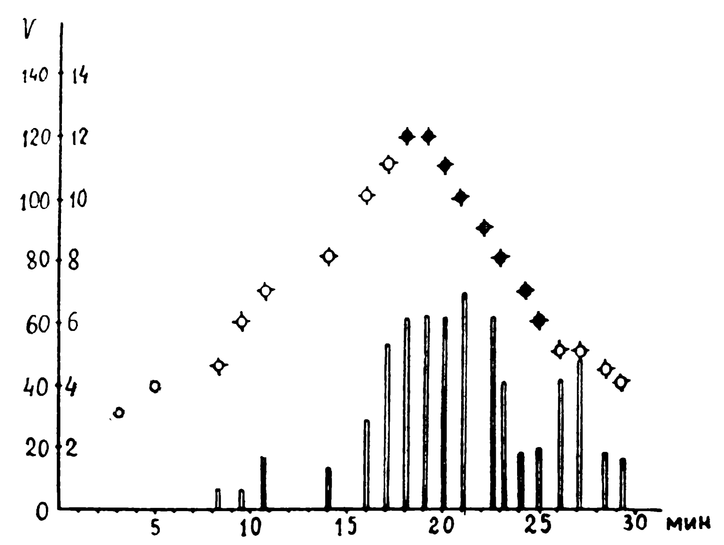


Рис. 4. Явление сенсибилизации при последовательном действии ощутимых раздражений. Обозначения те же, что на рис. 3. Раздражающий (дифферентный электрод) на анестезированной области (нижняя треть левой голени). Больная Со-ва. Обращается внимание на снижение порогов осознанных ощущений от 120 до 60 В. (По опытам А. М. Алексеева и А. А. Араповой)

Кроме того, был исследован ряд больных с нарушениями кожной чувствительности, наступающими в результате поражения нервной системы на различных уровнях (при сирингомиэлии, боковом амиотрофическом склерозе, кровоизлиянии в области Варолиева моста, осколочном ранении правой теменной области не удавалось обнаружить субсенсорных реакций; пороги к. г. р. оказались или совпадающими или лежащими выше порога ощущения). Лишь в одном случае нарушения сосудистого происхождения (тромбоз мозговых сосудов) с основным очагом, локализируемым в правой теменной области, наблюдались выраженные кожно-гальванические реакции на раздражения кожи, лежащие значительно ниже порога осознанного ощущения. В этом случае не представлялось возможным исключить поражения других структур, включая подкорковые.

Рассматривая представленные выше данные в целом, следует указать, что для больных, перенесших воздушную контузию военного времени и сотрясение мозга в мирное время, для которых типично возникновение субсенсорных реакций, общими являются симптомы, характеризуемые клиницистами-невролотами (проф. Н. А. Крышова; см. Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945) как подкорково-стволовые. Полученные данные не достаточны для более точной характеристики тех структур, для поражения которых типично возникновение субсенсорных реакций. Комплекс явлений, наблюдаемый при описанных расстройствах функции восприятия, весьма характерен. Он может быть обозначен как синдром неосознанного восприятия — сокращенно субсенсорный синдром.

При исследовании действия раздражений, лежащих ниже порога осознанного ощущения, помимо вегетативных реакций, использовались электроэнцефалографические показатели. Результаты исследования электроэнцефалограммы (э. э. г.) и ее изменений под влиянием раздражений на группах больных, перенесших воздушную контузию, показали, что спонтанная (фоновая) активность (использовалось затылочное и височное отведение) дает заметные отклонения от нормы, которые в общих чертах характеризовались: 1) нестойкостью основного 8—12-секундного альфа-ритма, легкостью его исчезновения и перехода или в более частые или в более медленные ритмы; 2) наличием медленных волн порядка 1—3 в секунду и остроконечных выбросов, в количестве, значительно превышающем нормальные вариации э. э. г.; 3) нарушением картины электрической деятельности коры мозга во время сна (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945; Гершуни, Клаас, Ливанов, Марусева, 1945).

Ответные реакции на внешние раздражения (звуковые, световые, механические, запаховые) обычно выражаются в изменении амплитуды доминирующего ритма э. э. г., в появлении относительно быстрых электрических колебаний в момент включения раздражений и в появлении новых ритмов.

У исследованной группы больных реакции на внешние раздражения могли быть обнаружены тогда, когда интенсивность раздражения лежала ниже порога ощущения. Так, при действии звуковых раздражений отчетливые реакции могли быть обнаружены при полной глухоте; при раздражениях поверхности кожи — при глубоком понижении тактильной и болевой чувствительности; при действии пахучих веществ — в случаях полного отсутствия обоняния.

Подробное изучение реакции на звуковое раздражение показало, что в определенные периоды после травмы электрические ответы выражены наиболее отчетливо. При этом могут быть обнаружены парадоксальные по величине изменения в ответ на относительно слабые раздражения и значительное уменьшение этих изменений при возрастании силы раздражений. По мере течения общего процесса восстановления, интенсивность ответных электрических реакций падает (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945; Гершуни, Клаас, Ливанов, Марусева, 1945).

По разности между порогами электрического ответа коры и порогами слухового ощущения могла быть установлена субсенсорная зона, подобно тому как это было осуществлено при измерении порогов по другим реакциям (зрачковым, кожно-гальваническим).

Характер ответных реакций на внешние раздражения у обследованной группы больных обнаруживает ряд особенностей, отличающих

его от наблюдаемой в норме картины. Помимо парадоксального ответа на слабые раздражения, о котором уже говорилось выше, реакция весьма часто выражается не в угнетении, а в усилении альфа-ритма, что весьма напоминает картину электрического ответа на внешние раздражения в состоянии, промежуточном между сном и бодрствованием.

Существенно, что в процессе восстановления слуховой и других видов чувствительности и речи стойкие медленные ритмы не обнаруживают параллелизма с этими изменениями, в то время как характер реакций на внешние раздражения изменяется параллельно восстановлениям чувствительности данного органа чувств.

Одним из признаков, который был нами использован для количественной характеристики электрической реакции коры при действии звуковых раздражений, был латентный период этих реакций. Латентный период определялся по времени, протекающему от момента начала воздействия звука до момента возникновения изменений в э. э. г. (усиления или ослабления альфа-ритма, усиления бета-ритма, появления начального ответа). У целого ряда обследованных, перенесших воздушную контузию, обнаружено укорочение величин латентных периодов. Возрастание латентного периода до величин, близких к норме, происходило параллельно с восстановлением функций слуха и речи. У больных с проникающими ранениями черепа укорочения латентных периодов не наблюдалось.

Таблица 1

Латентные периоды ответов на звуковые раздражения в электроэнцефалограмме

а

Характер нарушений	Испытуемые	Латентный период (секунды)	Среднее	Характер нарушений	Испытуемые	Латентный период (секунды)	Среднее
Норма	М	0,23	0,32	Растройства слуха и речи после воздушной контузии	П	0,07	0,10
	П	0,45			А	0,08	
	И	0,29			З	0,14	
Проникающее ранение	Ф	0,29	0,26		Т	0,15	0,16
	Г	0,23			И	0,20	
					В	0,13	

б

Больной	Дата обследования	Состояние слуха и речи	Латентный период (сек)
А—В травма 15/VIII—43	19/IX—43	Слух и речь отсутствуют	0,08
	25/IX—43	Появился слух на всех частотах слева, речь отсутствует	0,16
	12/XI—43	Появился слух справа, говорит отчетливо шёпотом	0,3
П—В травма 21/VIII—43	14/IX—43	Отсутствуют речь и слух	0,07
	15/I—43	Появился слух на все частоты на оба уха; говорит заикаясь	0,12
	22/X—43	Говорит отчетливее	0,13
	21/XI—43	Слух улучшается, говорит свободно	0,22

(по Гершуни, Клаас, Ливанову и Марусевой, 1945).

В таблице 1а приведены средние значения латентных периодов у нормальных лиц, больных с проникающими ранениями височнотеменной области и у больных, перенесших воздушную контузию с расстройствами слуха и речи в ранний период после травмы. Показательны данные измерения латентных периодов, полученные в разных стадиях восстановления слуха и речи (таблица 1б). Как видно из таблицы, латентный период реакции удлиняется более чем в 3 раза за время, в течение которого происходит восстановление слуха и речи.

Данные исследования э. э. г., которые были получены у больных, перенесших сотрясение мозга в мирное время, обнаруживали ту же общую черту — возникновение реакций на раздражения, лежащие ниже порога осознанного ощущения. Для иллюстрации этих явлений на рис. 5 приведены данные исследования э. э. г. той же больной, у ко-

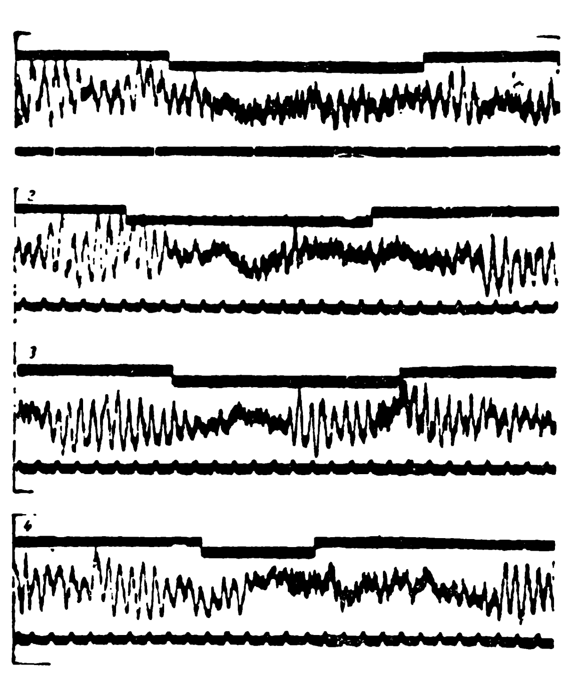


Рис. 5. Реакция угнетения альфа-ритма в электроэнцефалограмме у больной М. Левостороннее понижение тактильной, болевой и слуховой чувствительности после сотрясения мозга. Отсутствует выраженная симптоматика локального органического поражения. Исследование кожно-гальванической реакции у этой больной см. на рис. 1. Отведение от затылочной области. Наверху отметка раздражения, внизу — время (1 и 1/5 сек). 1 — тактильное раздражение тыльной поверхности предплечья слева (раздражитель ниже порога ощущения); заметное угнетение альфа-ритма; 2 — тактильное раздражение того же участка справа; раздражитель выше порога ощущения; угнетение альфа-ритма (заметное последействие); 3 — звуковое раздражение (1000 гц) слева; раздражитель на 20 дб ниже порога ощущения; отчетливое угнетение альфа-ритма; 4 — звуковое раздражение справа той же интенсивности, что слева; раздражитель на 5 дб выше порога ощущения; угнетение альфа-ритма (заметное последействие). Обращает внимание большая длительность реакции и более длинный скрытый период на ощущаемые раздражения. При тактильном раздражении (1,2) скрытый период не мог быть точно измерен вследствие нарушения синхронизации между отметкой и раздражением

торой подробно изучались кожно-гальванические реакции (см. рис. 1). У больной хорошо выражен альфа-ритм. Звуковые и кожные раздражения (щетинки и волоски Фрея) при действии на гипостезированную половину тела вызывают субсенсорные реакции депрессии альфа-ритма. Сопоставление этих реакций с реакциями, возникающими при раздражении другой половины тела с нормальной кожной и слуховой

чувствительностью, обнаруживает значительные отличия латентных периодов и длительности реакции депрессии альфа-ритма в обоих случаях. Так, латентный период на субсенсорные звуковые раздражения (слева) значительно короче (0,18 сек), чем при надпороговом (ощущаемом) раздражении правой половины тела (0,45 сек). Длительность реакции на субсенсорные раздражения (1,0 сек) оказывается значительно более короткой, чем на раздражения, лежащие выше порога ощущения (2,4 сек) при одной и той же физической интенсивности этих раздражений. Отличия в длительности реакции депрессии альфа-ритма, как хорошо видно из осциллограмм, определяются последействием, которое в несколько раз больше при раздражениях, вызывающих осознанные ощущения. Явление в равной мере выражено как при действии звуковых, так и кожных раздражений.

Изложенные выше данные характеризовали нарушения восприятия, которые устанавливались определенными приемами психофизических измерений. В этих приемах, во-первых, использовались более простые физические раздражения (например, для слуха — отдельные чистые тоны); во-вторых, исследовались такие реакции, которые не требовали в эксперименте предварительной выработки. Эти условия значительно облегчали измерение порогов и установление пределов действия раздражений, которые не осознавались. Однако для характеристики нарушения восприятия такое исследование не являлось достаточным; необходимо было, во-первых, получить данные о том, как осуществляется восприятие более сложных раздражений, включая используемые в естественной жизни (для слуха — звуков речи); во-вторых, выяснить, в какой мере возможно научение определенной деятельности на раздражения, которые не осознаются. Экспериментально это был вопрос о выработке условных реакций на раздражения, лежащие в пределах субсенсорной зоны.

Данные, касающиеся восприятия звуков речи и выработки условных реакций на субсенсорные раздражения, были получены уже в нашем первом исследовании (Гершуни, Алексеенко, Арапова и др., 1945). Привожу данные, касающиеся восприятия звуков речи, изложенные в этой работе.

Восприятие звуков речи. При исследовании порогов слуховой чувствительности с помощью синусоидальных колебаний определенной частоты («чистые тоны») мы обнаружили закономерный ход восстановления слуха на разные частоты. У некоторых больных степень понижения обнаружила известную нестойкость; однако эти колебания порога не превышали 10—12 дб. При воздействиях звуков речи в определенных условиях наблюдались изменения совершенно другого порядка, которые грубо можно охарактеризовать величинами в 30—50 дб. Условия, при которых могли наблюдаться эти явления, вытекали из рассмотрения очень интересного приема испытания слуха, описанного Л. Б. Перельманом (Перельман, 1943) при исследовании подобного же типа больных. Этот прием, названный автором «комбинированной пробой», основан на одновременном воздействии речевых и письменных сигналов при фиксации внимания на последних: больному письменно задаются вопросы, на которые он отвечает письменно или устно (при наличии речи). Одновременно с написанием фразы экспериментатор произносит ее вслух с определенной громкостью; ряд вопросов, следующих один за другим, пишется все более неразборчиво. Между тем, ис-

пытуемый продолжает давать правильные ответы, которые могут являться лишь результатом реакции на звуки речи. Мы могли вполне подтвердить описанное Л. Б. Перельманом явление, наблюдая его в отчетливой форме у ряда больных (у 10 из 35 исследованных больных). Варьируя интенсивность звуков речи, можно в некоторых случаях определить, как изменяется порог реакции при одной лишь фиксации глазами движущегося по поверхности бумаги карандаша. Конечно, подобное определение грубо, но от этого оно не теряет своего принципиального значения. Рассмотрим два наиболее ярких случая. 1. Больной С-ов потерял слух и речь после взрыва авиабомбы. К моменту обследования речь восстановлена, слух слева отсутствует, справа — слышит громкую речь у ушной раковины. При фиксации взглядом движущегося карандаша (на бумаге ничего не пишется) отвечает на относительно тихую речь, интенсивность которой не менее чем на 30—40 дб ниже той, на которую он реагировал обычно. Опыт повторяется многократно; каждый раз фиксация взором карандаша на бумаге вызывает ответную реакцию на тихую речь. 2. Больной Я-ук потерял слух и речь после взрыва авиабомбы. К моменту обследования говорит заикаясь. При прямом обращении к нему не слышит громкой речи у ушной раковины и звучащих камертонов. При фиксации взором движущегося карандаша отвечает на речь средней громкости на расстояние метра, на тихую речь не отвечает. Таким образом, фиксация взором движущегося карандаша вызывает реакцию на звуки речи, интенсивность которых, по крайней мере, на 30 дб меньше интенсивности звуков, не слышимых больным у ушной раковины при прямом обращении к нему. Через 4 дня больной внезапно начинает слышать громкий крик у ушной раковины; аудиометрическое обследование обнаруживает понижение слуха порядка 100 дб на всех частотах. Еще через два дня воспринимает обращенную к нему средней громкости речь. Аудиограмма обнаруживает типичное понижение на средних и высоких частотах (порядка 60 дб). Другой ряд фактов, относящихся к исследованию выработки условных реакций на раздражения, лежащие в пределах субсенсорной зоны и вне ее, излагается в следующей выдержке.

«Нами были предприняты попытки образования условных рефлексов на звуковые сигналы при внешних признаках глухоты. В поставленных опытах мы пользовались преимущественно методикой с «речевым» (письменным) подкреплением, по Иванову-Смоленскому. При появлении на экране письменного сигнала «нажмите», больной нажимает на резиновый баллон. За несколько секунд (2—3) до появления надписи начинал звучать метроном. Нажимание баллона при звуке метронома до появления надписи служило показателем образования условной реакции. В ряде опытов мы пользовались не речевым подкреплением, а электрическим раздражением кожи. Больной должен был отдергивать руку от электрода при прохождении тока. Включение тока предварялось стуком метронома. Опыты на 29 больных с полной глухотой или резким понижением слуха (более 80 дб) показали, что образование условного рефлекса на звук метронома (уровень интенсивности порядка 40—50 дб) обнаружено быть не может. В этом отношении опыты дали совершенно единообразный результат. У этой же группы больных для контроля были поставлены опыты, в которых раздражителем служил не звук метронома, а прикосновение к коже. Опыты, поставленные на 21 больном, показали, что у 16 условный рефлекс на тактильное раздражение мог быть образован в результате нескольких сочетаний. Наконец, у группы больных в 15 чел. со слухом,

восстановившимся до степени восприятия звука метронома, условный рефлекс легко мог быть образован в 13 случаях».

Приведенные факты свидетельствовали, с одной стороны, что невозможность образования условных рефлексов на неслышимые звуки метронома не может являться следствием каких-либо методических погрешностей, препятствующих вообще образованию условных связей в обстановке наших экспериментов, а с другой, что условные рефлексы на звуковые раздражения легко образуются на звуки, лежащие выше порога слышимости.

Для того, чтобы выяснить вопрос о значении порога слышимости для выработки условных реакций, была изменена постановка опытов. Так, для звукового раздражения был использован генератор электрических колебаний и телефон. Определение порога слышимости и пределов субсенсорной зоны по реакции расширения зрачка производилось на частоте 512 гц. Результаты исследования иллюстрируются на таблице 2 типичными данными, полученными у одного из больных, перенесших воздушную контузию. Данные, представленные на таблице 2, достаточно ясно показывают, что образование двигательного условного рефлекса (движение пальцев руки) может быть отчетливо обнаружено лишь при звуках, лежащих несколько выше порога слышимости. На звуки значительной интенсивности, превышающие порог реакции расширения зрачка на 43 и 50 дб, то есть вызывающие, несомненно, поток афферентных импульсов в слуховых путях, условные реакции не вырабатываются.

Таблица 2

Выработка условного рефлекса при разных интенсивностях звука у больного Ш.

Интенсивность звука (512 гц) выше нормального порога слышимости, (дб)	Интенсивность звука (512 гц) относительно порога слышимости больного (дб)	Образование условного рефлекса	Число сочетаний	Выраженность условного рефлекса
92	—7	Нет	30	—
99	0 (порог)	„	37	—
106	+7	Есть	4	Слабый
114	+15	„	4	Сильный

Вопрос о выработке условных реакций на субсенсорные раздражения при нарушениях слухового восприятия был исследован более подробно в последующей работе лаборатории (Авакян, Гершуни, Ратенберг, 1957).

Больной перенес воздушную контузию, слева — полная глухота; порог улитко-зрачкового рефлекса — 80 дб; справа — понижение слуха — 100 дб; порог улитко-зрачкового рефлекса — 50 дб. Субсенсорная зона 50 дб. Телефон у правого уха.

Испытуемая (больная М.) в состоянии полной двусторонней глухоты, возникшей в результате психической травмы, исследовалась многократно (18 раз) в течение полутора месяцев. Восстановление слуха произошло во время опытного сеанса. Для исследования абсолютных порогов использовалась кожно-гальваническая реакция, возникающая без какой-либо предварительной выработки. Эта реакция стереотипно

возникала при многократном повторении; явление угасания было мало выражено. Пороговые интенсивности при трех частотах (200, 1000 и 4000 гц) отличались от принимаемых за норму не более чем на 10—12 дб, то есть согласно принимаемым в клинической аудиометрии критериям лежали в пределах нормы. Таким образом, субсенсорная зона по кожно-гальваническим реакциям охватывала весь предел интенсивностей воздействующих звуковых частот.

Для выработки условных реакций на звуковые раздражения, лежащие в пределах субсенсорной зоны, использовались два рода реакций: а) мигательная реакция по методике, разработанной Р. В. Авакяном (Авакян, 1955), дающей возможность при выработке условных реакций на звуки измерять абсолютные и дифференциальные пороги у нормально слышащих людей; б) двигательные произвольные реакции, осуществляемые на основе словесных или письменных инструкций по методике А. Г. Иванова-Смоленского (Иванов-Смоленский, 1933). Осуществляемые движения при появлении надписи «поднимите палец» регистрировались механически и электромиографически. В норме при предшествовании звукового сигнала появлению надписи условные реакции быстро вырабатывались.

Выработка условных мигательных реакций на звуки, интенсивности которых изменялись от 90 до 15 дб., то есть лежали в пределах субсенсорной зоны, оказалась хотя и возможной, но резко измененной по сравнению с нормой. Образование и особенно упрочение условных мигательных рефлексов на малые интенсивности происходило очень медленно: так для этого потребовалось около 200 сочетаний, то есть примерно в 20 раз больше, чем это наблюдалось в норме. При выработке дифференцировок наблюдались еще более резкие отличия, свидетельствовавшие о значительном усилении последовательного и угасательного торможений.

В отличие от мигательной, выработка условной реакции поднятия пальца при письменном подкреплении точно так же, как условная двигательная реакция отдергивания пальца при подкреплении электрическим током, вообще не могли быть обнаружены. На световые раздражения выработка условных двигательных реакций подобного рода у больной происходила быстро.

Приведенные факты свидетельствуют о тех глубоких нарушениях функции восприятия, которые могут быть установлены методом условных рефлексов.

Восстановление слуха, происшедшее у больной во время исследования, точно совпало с моментом появления выраженной условной реакции, поднятия пальца на звук. Это явление, представлявшее особый интерес, было обнаружено во время опыта экспериментатором по развивающемуся укорочению скрытых периодов двигательных реакций. Так, при 18-ом раздражении двигательная реакция, регистрируемая по электромиограмме, возникает на 0,1 сек. ранее появления надписи «поднимите палец». Таким образом, налицо образование двигательной условной реакции на звук. Появление отчетливого условного движения пальца, которое не могло быть обнаружено ни в одном из предыдущих испытаний, заставляет экспериментатора открыть дверь и зайти в камеру, в которой находится больная. Больная взволнована, резкое покраснение лица; при появлении в поле зрения экспериментатора больная говорит: «В последний раз перед появлением надписи вдруг услышала, что-то зазвучало, раньше надпись появлялась одна. До этого был как-будто удар в голову». В ответ на вопрос: «Вы меня слышите?» боль-

ная восклицает «Я слышу, слышу!» Резкое возбуждение, слезы, восклицание: «Я слышу!», обнимает всех окружающих. Исследование прервано.

Продолжение исследований после перерыва обнаруживает, что при каждой подаче звукового сигнала возникает условная двигательная реакция поднятия пальца, а после инструкции экспериментатора словесно отвечать на раздражения появляется словесное сообщение «звук».

Из сопоставления картины восстановления слуха описанной больной с зарегистрированными на осциллограммах реакциями вытекает, что появление первой выраженной условной реакции поднятия пальца на звуковое раздражение точно совпадает с тем же раздражением, при котором больная впервые констатировала возникновение слухового ощущения, предшествующего появлению надписи.

Заключение

Попытаемся оценить полученные факты. Как вытекает из измерения абсолютных порогов по кожно-гальванической реакции, чувствительность слухового прибора у больной была близка к нормальной. Из этого следует, что при тех интенсивностях звука, которые применялись при выработке условных двигательных реакций поднятия пальца (50 дб), поток афферентных импульсов в путях слуховой системы должен был быть весьма значительным. Однако этот поток не мог быть использован для выработки двигательного акта, относящегося к сложной системе движений, обозначаемых как произвольные, точно так же, как и для построения осознанного восприятия сигнала.

Выработка условных реакций, однако, могла осуществляться на основе такого рода двигательной реакции, как мигательная, имеющей узко специализированное значение (защита глаза); процесс выработки протекал при этом задержанно и извращенно.

Изложенное показывает, что субсенсорный синдром характеризуется достаточно глубокими и вместе с тем дифференцированными нарушениями функции центральной нервной системы при полной сохранности афферентного потока. Эти нарушения в самом общем виде могут быть охарактеризованы как нарушения использования информации, содержащейся в афферентном потоке в определенных сенсорных путях.

Какие факты могут быть представлены для характеристики изменений, происходящих в центральной нервной системе при субсенсорном синдроме? Прежде всего остановимся на характеристиках генерализованных вегетативных и электроэнцефалографических реакций.

Для вегетативных реакций типичными являются следующие отличия от нормы: а) большая амплитуда реакций; б) значительно большая стереотипность ответов при многократном повторении раздражения.

Для электроэнцефалографических реакций типичными являются: а) более короткий скрытый период и меньшая продолжительность реакции угнетения альфа-ритма (при выраженности этого ритма); б) более короткий скрытый период других реакций (появление альфа-ритма в начальных ответах); в) извращенные (усиленные) реакции на слабые раздражения.

Следует подчеркнуть, что указанные изменения характеристик реакций типичны для раздражений, действующих в пределах субсенсорной зоны. Такого рода факты особенно отчетливо выступают при наблюдениях за процессом восстановления функции восприятия. Это позволяет рассматривать эти изменения не как сопутствующие явления,

а как показатели изменений в каких-то общих звеньях той цепи явлений, происходящих в центральной нервной системе, которые необходимы как для осуществления осознанного восприятия внешнего сигнала, так и для выработки двигательных условных реакций, связанных с системой произвольных движений.

В чем состоят эти изменения? Можно высказать по этому поводу ряд предположений, которые основываются на попытках рассматривать совокупность наблюдаемых изменений как выражение нарушений некоторых общебиологических реакций, в частности ориентировочной, реакции пробуждения, комплекса эмоциональных реакций, определяемых подкорковыми структурами. При описании субсенсорных реакций, наблюдаемых у больных с поражениями глубоких структур мозга, в работе Б. Д. Асафова, выполненной в лаборатории А. М. Зимкиной (Асафов, 1965), и Т. Н. Рещиковой, выполненной в лаборатории Э. А. Костандова (Рещикова, 1969), а также Захаровой (1973 г.) были высказаны вполне вероятные предположения такого рода.

Весьма существенно, что так же, как и в наших исследованиях, в этих работах выступает связь субсенсорного синдрома с нарушениями глубоких структур мозга. Однако в настоящее время на основании имеющихся данных не представляется возможным более точно характеризовать эти структуры и соответственно высказать достаточно обоснованные предположения о роли разных регулирующих систем в наблюдаемом нарушении функции.

Весьма существенен вопрос о выработке условных реакций на подпороговые (субсенсорные) раздражения у здорового человека. В рамках настоящей статьи я смогу коснуться этого вопроса лишь очень кратко. В какой степени возможна выработка условных реакций на подпороговые раздражения у здорового человека? Следует указать, что точно так же, как и в приведенных выше данных, касающихся патологии, возможность выработки условных реакций на подпороговые раздражения у здоровых людей относилась к вегетативным и электроэнцефалографическим реакциям, а не к двигательным произвольным реакциям.

Однако в имеющейся литературе по выработке вегетативных условных реакций на подпороговые раздражения, как следует из современных обзоров, до сих пор описываются противоречивые результаты; в частности, делаются ссылки на работу Уилкота (Wilcott, 1953), в которой описаны негативные результаты попыток выработки условных вегетативных реакций на подпороговые звуковые раздражения.

С этой точки зрения я хотел бы остановиться на экспериментах по выработке условных реакций на звуковые раздражения, лежащие ниже порога осознанного ощущения, которые были описаны в серии наших работ за отрезок времени с 1946 по 1955 гг. В этих работах было установлено, что выработка ряда условных вегетативных реакций (кожно-гальванической; расширения зрачка), а также электроэнцефалографической реакции угнетения альфа-ритма может быть осуществлена при использовании в качестве условных раздражений звуков, интенсивность которых была значительно ниже порога осознанного слухового ощущения. Выработка подобного рода реакций осуществлялась при сочетании звуковых раздражений (чистых тонов), лежащих ниже порога ощущений, с электрическим (болевым) раздражением кожи, служившим в качестве безусловного подкрепления, вызывающего вегетативные реакции. Для случая выработки условной реакции угнетения

альфа-ритма осуществлялось сочетание подпороговых звуковых раздражений с засветом глаза.

До начала выработки условных реакций определялись пороги слуховых ощущений при данной частоте тона (обычно 1000 гц). Интенсивности звуковых раздражений, используемые для выработки условных реакций, лежали ниже уровня слухового порога в пределах от 3 до 12 децибел. Так было установлено, что сочетание с надпороговыми звуками, т. е. со звуками, осознаваемыми испытуемыми, препятствует выработке условных реакций на подпороговые (субсенсорные) раздражения. Это условие являлось весьма существенным для всей постановки эксперимента. При выработке условных субсенсорных реакций максимум ответов достигался после 20—30 сочетаний (обычно на третий или четвертый опытный день). После 80—100 сочетаний наблюдалось постепенное угасание реакций.

Факт задержки выработки субсенсорных условных реакций при сочетаниях с надпороговыми (осознаваемыми) звуками представляется нам имеющим не только методическое, но и общее принципиальное значение.

Можно полагать, что это явление отражает наличие разных механизмов интеграции афферентного потока, отличных по своим связям с системой произвольных двигательных реакций и системой вегетативных регуляций.

RESPONSES TO UNCONSCIOUS STIMULI IN DISTURBED ACTIVITY OF THE SENSE ORGANS

G. V. GERSHUNI

I. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, USSR Academy of Sciences, Lenin rad

SUMMARY

The paper discusses the activity of human senses as studied on the emergence of responses to unconscious stimuli. Use was made of quantitative assessment of the response data in terms of the difference between the threshold values of stimuli giving rise to a given response and the thresholds of conscious sensations. The feasibility of observing the dynamics of the pathological process in a disturbance of the function of the perception of external stimuli is indicated. The conditions of the emergence of conditioned responses to unconscious (subliminal) stimulation are described.

ЛИТЕРАТУРА

АВАКЯН Р. В., Об измерении пороговых интенсивностей звуков и дифференциальных порогов по частоте с помощью условных мигательных рефлексов у человека. В кн.: Физиологическая акустика, Л., 1955, с. 52—59.

АВАКЯН Р. В., ГЕРШУНИ Г. В., РАТЕНБЕРГ М. А., Исследование функции слухового анализатора у больных с явлениями истерической глухоты. Журн. высш. нервн. деят., 1957, т. 7, в. 3, с. 325—334.

АРАПОВА А. А., ОРЛОВА Г. М., О взаимоотношении порогов кожно-гальванического

рефлекса и порогов ощущений при расстройствах кожной и слуховой чувствительности. В сб.: Тезисы до кладов на тринадцатом совещании по физиологическим проблемам, Л., 1948, с. 8—10.

АСАФОВ Б. Д., Функциональная организация ориентировочного рефлекса при поражении глубоких структур мозга человека. В сб.: Роль глубоких структур головного мозга человека в механизмах патологических реакций. Л., 1965, с. 18—20.

АСТВАЦАТУРОВ М. И., Учебник нервных болезней, Л., 1935.

БРОНШТЕЙН А. И., Сенсибилизация органов чувств. Л., 1946, с. 1—133.

ГЕРШУНИ Г. В., Изучение субсенсорных реакций при деятельности органов чувств. Физиол. журн. СССР, 1947, т. 33, в. 3, с. 393—412.

ГЕРШУНИ Г. В., Рефлекторные реакции при воздействии внешних раздражений на органы чувств человека в их связи с ощущениями. Физиол. журн. СССР, 1949, т. 35, в. 5, с. 511—560.

ГЕРШУНИ Г. В., Об особенностях условных кожно-гальванических реакций и реакций угнетения альфа-ритма, возникающих при действии подпороговых и надпороговых звуковых раздражений у человека. Журн. высш. нервн. деят., 1955, т. 5, в. 5, с. 665—676.

ГЕРШУНИ Г. В., АЛЕКСЕЕНКО Н. Ю., АРАПОВА А. А., КЛААС Ю. А., МАРУСЕВА А. М., ОБРАЗЦОВА Г. А., СОЛОВЦОВА А. П., Нарушения деятельности органов чувств и некоторых других нервных функций при «воздушной контузии». В сб.: Военно-медицинский сборник, т. 2, М.—Л., 1945, с. 98—192.

ГЕРШУНИ Г. В., КЛААС Ю. А., ЛИВАНОВ М. Н., МАРУСЕВА А. М., Электрическая деятельность мозга при расстройствах слуха и речи, наступающих как следствие «воздушной контузии». Тр. Института физиол. им. И. П. Павлова АН СССР, т. 1, Л., 1945, с. 115—128.

ГЕРШУНИ Г. В., КОЖЕВНИКОВ В. А., МАТЯТОВА Е. С., Исследование некоторых проявлений деятельности звукового анализатора человека по условным кожно-гальваническим рефлексам. Вестн. оториноляр., 1954, т. 16, в. 4, с. 14—20.

ЗАХАРОВА Н. Н., Особенности восприятия сенсорных раздражителей в условиях эмоционального стресса при посттравматическом психопатоподобном синдроме. Журн. невропатол. психиатр., 1973, т. 73. в. 3, с. 401—406.

ИВАНОВ-СМОЛЕНСКИЙ А. Г., Методика исследования условных рефлексов у человека, М., 1933, 104 с.

КРИСТОСТУРЬЯН С. Г., Использование условных кожно-гальванических рефлексов при заболевании слухового аппарата. Вестн. оториноляр., 1952, т. 14, в. 2, с. 11—15.

МЯСИЩЕВ В. Н., О так называемом психогальваническом рефлексе и его значении в исследовании личности. В сб.: Новое в рефлексологии и физиологии нервной системы, т. 3, Л., 1929. с. 233—255.

ОРБЕЛИ Л. А., Вопросы высшей нервной деятельности, М.—Л., 1949, с. 498—499.

ПАНОВ А. Г., Экспериментальный анализ расстройств слуха при различных заболеваниях нервной системы. В сб.: Психофизиологический эксперимент в клинике нервных и душевных болезней, Л., 1933, с. 6—23.

ПЕРЕЛЬМАН Л. Б., Реактивная постконтузионная глухонемота, ее распознавание и лечение, М., 1943, 56 с.

РЕЩИКОВА Т. Н., Исследование субсенсорных реакций у больных с отдаленными последствиями закрытой черепномозговой травмы. Кандидатская диссертация. М., 1969, 25 с.

СЕЧЕНОВ И. М., Рефлексы головного мозга. Избранные произведения, т. 1, М., 1952, с. 7—127.

VERAGUTH, O., Das psychogalvanische Reflexphenomen, Berlin, 1909.

WILCOTT, R. C., A search for subthreshold conditioning. J. Exp. Psychol., 1953, v. 46, № 4, p. 271—277.

193

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ЧЕЛОВЕКА В СУБСЕНСОРНОМ ДИАПАЗОНЕ: ПСИХОФИЗИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Ю. М. ЗАБРОДИН, Е. З. ФРИШМАН

Институт психологии АН СССР, Москва

1. В классической психофизике сенсорный порог рассматривается как граница между осознаваемыми и неосознанными ощущениями. Практически такое понимание сенсорного порога сохраняется до наших дней, и мы находим его в работах тех исследователей, которые явно или неявно стоят на позициях концепции дискретности в работе сенсорной системы. Однако в последние десятилетия концепция дискретности подвергается широкой критике, которая основана на результатах серьезных теоретических и обширных экспериментальных исследований. Расхождения между сторонниками концепций дискретности и непрерывности как принципов работы сенсорной системы становятся порой необычайно острыми (Грин, Светс, 1966; Люс, Буш, Галантер, 1963; Люс, 1963; Бардин, 1974; Забродин 1970, 1973).

В то время, как понятие порога сенсорной системы в указанном выше смысле является в современной теоретической психофизике остро дискуссионным, в прикладных исследованиях порог как показатель работы сенсорной системы, как рубеж, разделяющий ощущаемые и неощущаемые стимулы, используется весьма широко. При этом, однако, эмпирические показатели, полученные в результате обработки экспериментальных данных и принимаемые в качестве меры порога, значительно различаются у разных авторов (Теплов, Борисова, 1957; Пирс, Ястров, 1885; Смит, 1968; Бигли, Келлог, 1969; Шварц, Шагас, 1961; Паул, Саттон, 1972, 1973; Гилфорд, 1954).

В связи с этим в психофизике существует усиливающаяся тенденция рассматривать в качестве приемлемого описания работы сенсорной системы при воздействии на нее слабых или слаборазличающихся сигналов всю психометрическую кривую, т. е. весь диапазон возможных ответов человека на подобные сигналы. Эта тенденция ведет начало от работ Урбана (Урбан, 1930), а по предложению Михалевской (Михалевская, 1964) диапазон стимулов, обнаруживаемых с вероятностью от 0 до 1, называется пороговой зоной. Такая «зонная» природа работы сенсорной системы ранее последовательно рассматривалась в работах Гарбузова (Гарбузов, 1948).

Вопрос о выборе и значимости эмпирических мер чувствительности сенсорной системы обсуждается в работе Бардина, Индлина, Забродина (1976). Несмотря на то, что основное обсуждение относится к поведенческим, произвольным реакциям человека, мы считаем целесообразным распространить эти положения на весь класс ответных реакций

человека и сенсорной системы (включая электрофизиологические реакции мозга). В этом случае все разнообразие ответных реакций человека на слабые или слаборазличающиеся стимулы можно характеризовать определенным диапазоном, а именно, диапазоном пороговых стимулов или диапазоном пороговых ощущений. С точки зрения понятия сенсорного пространства, развиваемого в работах Забродина (1968, 1970а, 1970б, 1973, 1976), речь идет об исследованиях локальных окрестностей точек сенсорного пространства.

По нашему мнению, хорошо известный и давно исследуемый в психофизиологии субсенсорный диапазон представляет собой часть диапазона пороговых ощущений и включен в локальную окрестность соответствующей точки сенсорного пространства. При таком понимании имеет смысл постановка вопроса об исследовании субсенсорного диапазона психофизическими методами. В этом случае можно изучать свойства сенсорной системы, используя семейство или множество психометрических кривых различных произвольных и непроизвольных реакций; можно также использовать и другие способы описания работы человека в пороговых ситуациях, например рабочие характеристики наблюдателя — РХ (Петерсон, Бердсалл, Фокс, 1954). С этих позиций семейство психометрических кривых непроизвольных реакций может описывать свойства нижней границы субсенсорного диапазона, а семейство психометрических кривых поведенческих ответов — свойства верхней границы субсенсорного диапазона. При этом, в соответствии с современными психофизическими представлениями о работе человека при обнаружении и различении слабых или слаборазличающихся сигналов, вопрос об исследовании субсенсорного диапазона может быть поставлен как вопрос об изучении качественных и количественных характеристик работы собственно сенсорной системы и решающего механизма, формирующего ответные реакции.

Как известно, современная психофизическая теория обнаружения сигнала (Грин, Светс, 1966; Люс, Буш, Галантер, 1963; Забродин, 1970, 1976) позволяет разделять оба оказанных механизма, используя независимые характеристики работы наблюдателя — собственно сенсорную способность анализатора и критерий принятия решения, определяемый такими внесенсорными факторами, как инструкция, значимость сигнала и возможных последствий решения, вероятность появления сигнала и т. д. Математический аппарат, предложенный теорией обнаружения сигнала, позволяет количественно оценить сенсорную способность наблюдателя (d') и положение критерия наблюдателя (x_c или β) в задачах обнаружения и различения. Это дает возможность при анализе изменений чувствительности в целом (точнее, при изменении ответной реакции на пороговые стимулы) оценить влияние каждого из выделенных механизмов на величину и характер изменения диапазона пороговых стимулов. Для этого, однако, недостаточно знания только величины правильного обнаружения, а необходимо знать также вероятность ложных тревог. Отсутствие сопоставления этих показателей не дает возможности для решения поставленной здесь проблемы выделения механизмов изменения ответа наблюдения (см., например, Крупский, Раскин, Бакан, 1971; Грайзлер, Венаблс, 1974; Копп, Ливерморф, 1971; Бродбент, Грегори, 1963).

По нашему предположению, за счет изменения сенсорной способности наблюдателя (при настройке сенсорной системы) и за счет изменения стратегий решения можно получить чрезвычайно широкую вариацию поведенческих ответов, такую, которая практически перекры-

вает исследованный ранее в психофизиологии субсенсорный диапазон. Следовательно, задача разделения «неощущаемых» и «ощущаемых» стимулов, задача перехода неосознаваемых внешних воздействий в область осознаваемых и являющихся основой произвольного поведения может быть решена при исследовании индивидуальных сенсорных способностей наблюдателя и индивидуальных стратегий решения в таких ситуациях, когда изменяются условия эксперимента и используется комплексная регистрация ответных реакций («поведенческих» и «объективных», произвольных и непроизвольных).

Изложенные факты показывают, что для исследования особенностей диапазона пороговых ощущений, а также изменений субсенсорного диапазона необходимо оценить вклад каждого из показателей в общую характеристику диапазона, а также изучить изменение этого диапазона в зависимости от индивидуальных особенностей человека.

Наиболее оправданным на современном этапе является использование объективных физиологических реакций в качестве дополнительных индикаторов деятельности сенсорных систем, особенно в задачах такого типа, какие обсуждаются здесь. На этих основаниях строится большинство исследований, использующих объективную сенсометрию и проводящих сравнение различных мер или индексов чувствительности, полученных из анализа непроизвольных и произвольных реакций (Гершуни, 1950, 1957; Гершуни, Кожевников, Марусева, Чистович, 1948; Соколов и Виноградова, 1962; Михалевская, 1964, 1966 и др.). Результаты этих исследований показывают, что существует определенное расхождение между показателями чувствительности, выведенными из данных непроизвольных реакций, и теми, которые получены в процессе обработки поведенческих ответных реакций. Стимулы, интенсивность которых оказывается недостаточной для того, чтобы вызвать «осознанное ощущение»[1], могут вызывать отчетливо выраженные физиологические реакции — депрессию α-ритма, ВП, КГР и т. д. Интенсивность стимула, необходимая для того, чтобы вызвать различные физиологические реакции, также различна. Наиболее «чувствительными» являются электрокорковые реакции. Так, например, реакции угнетения α-ритма вызываются звуковыми раздражителями, лежащими на 6—12 дБ ниже порога осознанного ощущения (Гершуни, 1950). Значит, помимо явного (осознанного) ощущения, могут существовать явления, которые в свое время были охарактеризованы И. М. Сеченовым как «ощущения в скрытой форме». Именно эта область стимулов, лежащих ниже порога осознанного ощущения и вместе с тем способных вызвать определенные электрофизиологические реакции, определяется как подпороговый или субсенсорный диапазон.

Таким образом, субсенсорный диапазон или диапазон неосознанных ощущений определяется по разности пороговых мер для произвольных и непроизвольных реакций. Величина этого субсенсорного диапазона, по многочисленным литературным данным, составляет 6 — 12 дБ. Это означает, что «порог» непроизвольной реакции лежит на 6—12 дБ ниже «порога» произвольной поведенческой реакции. При этом, как мы уже упоминали, в качестве меры такого «порога» выступает медиана соответствующей психометрической кривой.

---

[1] В данном случае термином «осознанное ощущение» обозначаются те впечатления, которые могут вызвать произвольную поведенческую реакцию (ощущения от стимулов, лежащих выше принятого порога ощущения). В большинстве случаев в качестве меры порога выбирается медиана психометрической кривой. Трудности, связанные с таким выбором меры порога, обсуждаются в работе Бардина, Забродина, Индлина (1976 г).

Здесь, собственно, и возникает наша проблема. С одной стороны, характеристики непроизвольных реакций являются относительно стабильными у данного испытуемого, но зависят от фоновой активности (т. е. от трудности выделения реакций), а также от состояния активированности (arousal) нервных структур. С другой стороны, пороговые характеристики поведенческих реакций являются широко вариативными и зависят от собственно чувствительности сенсорной системы и особенностей работы механизма решения. Поскольку существуют стимулы, которые в одних условиях вызывают устойчивую произвольную реакцию, а в других — нет, возникает вопрос об истинных причинах этого. Возможны следующие варианты: стимул не отражается сенсорной системой и не актуализируется в сознании; стимул отражается сенсорной системой и не актуализируется в сознании; стимул отражается сенсорной системой и актуализируется в сознании. Возможен, конечно, и четвертый вариант, когда стимул не воспринимается сенсорной системой, но актуализируется в сознании. Этот последний вариант сейчас не представляет особого интереса для нашего обсуждения.

Если удастся показать, что вариативность диапазона пороговых стимулов больше, чем упомянутая ширина субсенсорного диапазона, то возникает следующий ряд конкретных исследовательских вопросов.

Существует ли субсенсорный диапазон в подлинном смысле этого слова, т. е. существуют ли так называемые неосознанные ощущения, или они есть следствие работы гибкого решающего механизма?

Возможна ли потенциальная актуализация в сознании каждого отраженного сенсорной системой стимула, и, если возможна, то каковы психологические механизмы перевода «неосознанных» ощущений в «осознанные»?

Способны ли они изменяться произвольно, например, под влиянием работы аппарата решения?

Каковы индивидуальные особенности, пределы и управляемость этого процесса?

Фактически здесь снова возникает старый вопрос о наличии порога сознания и его изменчивости. Можно предполагать, что величина субсенсорного диапазона показывает тот предел, к которому может стремиться осознанное ощущение при определенных благоприятных условиях.

Как мы уже говорили выше, диапазон пороговых стимулов, который можно полностью описать психометрической кривой произвольных реакций, не является стабильной величиной. Он зависит от особенностей ситуации, от задачи, стоящей перед человеком, от индивидуальных психологических особенностей испытуемого. Поскольку классический порог — медиана психометрической кривой — резко вариативен, постольку становится трудной проблемой использование этой меры для оценки стабильных черт индивида, таких, например, как сила нервной системы (Небылицын, 1966; Грей, 1964), или стабильных характеристик личности, таких, например, как экстраверсия и интроверсия (Айзенк, 1967; Грей, 1964; Смит, 1968).

По нашему мнению, искать отражение индивидуальных особенностей субъекта следует скорее в динамике порога. Такой подход намечается в работах Стефенса (1969, 1971, 1972), Рида и Френсиса (1962), Фарли и Кумара (1969), Бакана (1959) и других. Результаты этих исследований показали, что медиана психометрической кривой (использовалась автоматическая аудиометрия) наиболее стабильна у интровертов и наименее стабильна у экстравертов. Это означает, что при определенных изменениях условий задачи — ее усложнении (Бакан, 1959),

введении дополнительной сенсорной стимуляции (Шигегайс, Саймонс, 1973) или просто с течением времени (Рид, Френсис, 1962; Фарли, Кумар, 1969) — экстраверты склонны к более выраженному смещению верхней границы субсенсорного диапазона; иными словами, экстраверты (по мнению некоторых исследователей, особенно экстраверты-невротики в отличие от стабильных интравертов (Фарли, Кумар, 1969) в большей степени склонны к актуализации бессознательных впечатлений. Возможное объяснение этому факту дает в своей работе Коркоран (1965), исходя из инвертированной U-образной зависимости эффективности исполнения от уровня активированности.

В задачах обнаружения сигнала, где в качестве показателя деятельности используется величина правильного обнаружения, улучшение деятельности выражается в увеличении процента правильного обнаружения, т. е. в снижении порога и, следовательно, в уменьшении субсенсорного диапазона.

Таким образом, резонно ставить задачу исследования влияния индивидуальных и личностных особенностей субъекта на величину и динамику порогового диапазона стимулов, а тем самым, частично, и на свойства субсенсорного диапазона.

2. Этой цели было посвящено наше экспериментальное исследование. Задачей экспериментальной работы было исследование величины и динамики диапазона пороговых стимулов в зависимости от изменения условий эксперимента и некоторых индивидуальных особенностей испытуемых. Мы исследовали возможность потенциальной актуализации в сознании стимулов различной величины и возможности произвольного изменения величины диапазона пороговых стимулов («порога» произвольной реакции). В качестве контролируемых факторов в эксперименте выступали: фактор тренированности; величина стимула и соотношение сигнал/помеха; индивидуальные особенности испытуемых (по шкале экстраверсии — интроверсии и нейротизма).

Регистрируемые показатели — время и качество реакции (ответы типа «да-нет»).

Эксперимент строился по методу «констант» с включением 50% пустых проб. Задача испытуемого состояла в обнаружении тональной посылки (f=1000 гц) на фоне одновременно с ней действующего белого шума. Стимулы, длительностью τ=1 сек, подавались бинаурально с межстимульным интервалом t=35—40 сек. Изменяемым параметром являлось соотношение «сигнал/шум» при постоянном выходном уровне смеси сигнал+шум (I=60 дБ). От испытуемого требовалось нажать правой рукой на кнопку, вмонтированную в правую ручку кресла, если он слышал тональную посылку (сигнал) на фоне шума, и левой рукой на левую кнопку, если он слышал только шум. С каждым испытуемым проводилось 4—6 тренировочных ответов с «глухой» нейтральной инструкцией. Затем давались два типа «мотивирующих» инструкций: не пропускать сигнал — в одном эксперименте и не принимать шум за сигнал — в другом эксперименте[2]. Инструкции попеременно чередовались. Поскольку ширина и локализация пороговой зоны в каждом эксперименте менялась, то экспериментальные точки выбирались каждый раз соответственно данной конкретной пороговой зоне.

Для каждого эксперимента строилась психометрическая кривая и вычислялась величина ложных тревог. Уровень экстравертированности и нейротизма испытуемых оценивался по опроснику Айзенка (форма А).

[2] Несимметричная платежная матрица также использовалась в эксперименте; результаты совпадали с теми, которые получались в опытах с мотивирующей инструкцией.

Ниже обсуждаются предварительные результаты нашего исследования.

Экспериментальные данные на первом этапе анализа показали широкий диапазон изменения локализации пороговых зон на оси интенсивностей. Сдвиг пороговых зон у всех испытуемых в первых, тренировочных, опытах с «нейтральной» инструкцией сопровождался незначительным изменением величины ложных тревог. Это свидетельствует о преимущественном изменении фактора собственно сенсорной способности испытуемых в этих условиях. При этом наклон психометрических кривых увеличивался, следовательно пороговые зоны уменьшались. Это может быть связано с действием двух независимых факторов — адаптацией и формированием критерия (механизмы этого явления подробно разбираются в работах Ушаковой и Ратановой, 1965; Бардина и Забродина, 1972 и др.).

Введение мотивирующей инструкции смещало положение психометрической кривой и увеличивало ее наклон. При инструкции «не пропускать сигнал» психометрическая кривая сдвигалась в сторону меньших значений соотношения «сигнал/шум»; локализация точки 50%-ного обнаружения сдвигалась на 4—12 дБ, величина пороговой зоны увеличивалась в 2—4 раза (здесь не вполне правомерно говорить о полной пороговой зоне, т. к. при увеличении количества ложных тревог процент правильного обнаружения не может упасть ниже этого уровня; мы имеем дело, скорее, с половиной пороговой зоны). Инструкция «не принимать шум за сигнал» смещала психометрическую кривую в сторону больших значений соотношения «сигнал/шум», точка 50%-ного обнаружения сдвигалась на 12—17 дБ по сравнению с предыдущей инструкцией и на 4—7 дБ по сравнению с «нейтральной» инструкцией. Величина вероятности ложных тревог падала с 0,4—0,5 при инструкции «не пропускать сигнал» до 0,1—0,05 при инструкции «не принимать шум за сигнал».

При чередовании инструкций выяснилось, что для каждой из них психометрические кривые отчетливо тяготеют друг к другу. Это может свидетельствовать о том, что формируемый критерий является относительно фиксированным для каждого испытуемого.

Для испытуемых, более экстравертированных и невротичных, величина изменения локализации психометрической кривой и изменение количества ложных тревог выражены в большей степени, чем для стабильных интровертов.

Для примера можем привести следующие данные:

Тип инструкции	Стабильный интроверт		Невротичный экстраверт	
	медиана психометрической кривой	вероятность ложных тревог	медиана психометрической кривой	вероятность ложных тревог
«нейтральная» инструкция	—23 дБ	0,11	—22,5 дБ	0,11
«не пропускать сигнал»	—25 дБ	0,22	—32 дБ	0,49
«не принимать шум за сигнал»	—22,5 дБ	0	—18,5 дБ	0,08

Остановимся подробнее на динамике времени реакции. Первый факт, который следовало бы отметить, заключается в том, что среднее

время правильного обнаружения для данного испытуемого во всех экспериментах остается постоянным при смене инструкции, несмотря на широкий диапазон применяемых интенсивностей. Известная зависимость величин времени реакции испытуемого от интенсивности стимула не соблюдалась. Подобные факты наблюдались и другими исследователями — см., например, работы Конопкина и Кондратьевой (1973), Кондратьевой (1974), Осницкого (1972), Уайтмен, Скотт (1972), Спейс (1973) — и объяснялись тем, что в каждом конкретном эксперименте фактор значимости раздражителя может играть бо́льшую роль, чем физические характеристики стимула.

Предварительный анализ динамики времени реакции внутри каждой отдельной пороговой зоны дал возможность выделить три следующих различных тенденции:

а) внутри пороговой зоны время правильного обнаружения возрастает с уменьшением соотношения «сигнал/шум» и с падением вероятности правильного обнаружения;

б) время правильного обнаружения остается постоянным внутри пороговой зоны;

в) время правильного обнаружения возрастает до максимальной величины с уменьшением соотношения «сигнал/шум» до уровня, близкого к уровню, соответствующему 50% правильного обнаружения, и затем уменьшается.

Заслуживает внимания факт, что у одного и того же испытуемого могут наблюдаться результаты то одного, то другого типа. Полученные нами результаты в известном смысле согласуются с данными, полученными Забродиным и его сотрудниками (Забродин, 1974). При исследовании обнаружения сложных акустических сигналов было замечено относительное увеличение времени реакции на стимулы, вызывающие сомнения испытуемого. Ю. М. Забродин предполагает, что в этих условиях перестраивается стратегия обнаружения и эта перестройка отражается в увеличении времени реакции.

Результаты наших экспериментов свидетельствуют о правомерности использования эффекта смещения пороговой зоны при изменении инструкции для характеристики субсенсорного диапазона. При общей однонаправленности изменений пороговых зон в случае тренировки увеличивается, главным образом, собственно сенсорная способность анализатора. Это, видимо, является следствием микронастройки сенсорной системы. В случае введения направленной мотивирующей инструкции происходит, главным образом, смещение критерия принятия решения, которое, в свою очередь, также является механизмом, обеспечивающим оптимальное поведение наблюдателя в задаче обнаружения. Выраженность этих изменений зависит от индивидуальных особенностей испытуемого. Наиболее активированные (в меньшей степени экстравертированные — по используемому нами показателю) характеризуются меньшим сдвигом пороговой зоны и, следовательно, меньшим изменением величины ложных тревог при введении инструкции; менее активированные (имеющие более высокий показатель экстравертированности) склонны в большей степени к изменению пороговой зоны и к большему изменению величины ложных тревог. Полученные данные могут быть объяснены с точки зрения модели зависимости качества выполнения деятельности от уровня активированности, предложенной Коркораном на основе закона Йеркса-Додсона (1965).

3. Анализ проведенных экспериментов позволяет сделать следующие выводы:

1) Изменение условий задачи — использование разных типов инструкций — приводит к изменению величины и положения диапазона пороговых стимулов. При этом сдвиг психометрической кривой достигает от 4—7 до 12—17 дБ. Такие результаты позволяют предположить, что практически все стимулы из субсенсорного диапазона (величина которого, по данным Гершуни, составляет 6—12 дБ) потенциально могут быть переведены в число осознаваемых, вызывающих произвольную ответную реакцию. Дальнейшее уточнение этих результатов предпринимается в последующих экспериментах при непосредственном сравнении произвольных и непроизвольных реакций.

2) Существует определенная зависимость величины диапазона пороговых стимулов от тренированности испытуемых. С ростом тренированности уменьшается величина порогового диапазона и увеличивается крутизна психометрических кривых. Наши данные показывают, что при этом может улучшиться сенсорная способность наблюдателя.

3) Испытуемые оказываются в состоянии довольно широко произвольным образом изменять положение критерия наблюдателя. В этом проявляется влияние механизма решения на поведенческие реакции.

4) Динамика диапазона пороговых стимулов зависит от индивидуальных особенностей испытуемых.

5) Анализ времени реакции на стимулы, составляющие пороговую зону, показал неоднородность ее и дал возможность наметить путь для ее микроструктурного анализа. Путь этот заключается в комплексном исследовании сенсорной системы различными психологическими, психофизическими и психофизиологическими методами и сопоставлении полученных показателей в их динамике.

В целом, полученные результаты открывают возможность психофизического исследования особенности формирования осознанных ощущений.

INDIVIDUAL PECULIARITIES OF MAN'S WORK IN THE SUBLIMINAL RANGE

Yu. M. ZABRODIN, E. Z. FRISHMAN

Institute of Psychology, USSR Academy of Sciences, Moscow

SUMMARY

The paper deals with a study of the subliminal range, representing the local environment of the corresponding point of sensory space. On the basis of the modern psychophysical theory of signal detection mechanisms are identified which determine the size and dynamics of the subliminal range. On the basis of experimental research of signal detection a conclusion is made concerning the selective influence of sensory ability proper and the decision-making criterion upon the size of the subliminal range. An assumption is made about individual peculiarities of the dynamics of threshold indices. The results obtained open up the possibility of a psychophysical study of the peculiarities of conscious sensations.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАРДИН К. В., Пороговая проблема в классической и современной психофизике, Проблемы психофизики, М., 1974.

2. ВИНОГРАДОВА О. С., ПАРАМОНОВА Н. П., СОКОЛОВ Е. И., Анализ физиологических особенностей слуха слабослышащих детей. Ориентировочный рефлекс и проблемы рецепции в норме и патологии, М., 1962.
3. ГАРБУЗОВ Н. А., Зонная природа звуковысотного слуха, М.—Л., 1948.
4. ГЕРШУНИ Г. В., КОЖЕВНИКОВ В. А., МАРУСЕВА А. М., ЧИСТОВИЧ Л. А., «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», т. 26, 1948.
5. ГЕРШУНИ Г В., О количественном изучении пределов действия неощущаемых звуковых раздражителей, «Проблемы физиологической акустики», т. II, 1950.
6. ГЕРШУНИ Г. В., Общие результаты исследования деятельности звукового анализатора человека при помощи разных реакций, Ж. Высш. нервной деят., т. 7, №1, 1957.
7. ЗАБРОДИН Ю. М., Проблема обнаружения сигнала в психофизике. Материалы III съезда Общества психологов СССР, М., 1968.
8. ЗАБРОДИН Ю. М., Исследование проблемы обнаружения слабых сигналов человеком, Канд. дисс., 1970а.
9. ЗАБРОДИН Ю. М., Некоторые вопросы анализа поведения человека при приеме слабых сигналов. В кн.: Экспериментальная и прикладная психология в ЛГУ, вып. 3, Л., 1970б.
10. ЗАБРОДИН Ю. М., Абсолютный порог по интенсивности и его особенности, «Вестник ЛГУ», № 11, Л., 1971.
11. ЗАБРОДИН Ю. М., БАРДИН К. В., Характеристика припороговой зоны при работе с субъективными эталонами. В кн.: Сенсорные и сенсомоторные процессы, М., 1972.
12. ЗАБРОДИН Ю. М., Проблема обнаружения как проблема психофизики. В кн.: Экспериментальная и прикладная психология в ЛГУ, вып. 5, 1973.
13. ЗАБРОДИН Ю. М., Обнаружение и опознание человеком сложных акустических сигналов. В кн.: Проблемы психофизики, М., 1974.
14. ЗАБРОДИН Ю. М., Процессы принятия решения на сенсорно-перцептивном уровне. В сб.: Психологические проблемы принятия решения, М., 1976.
15. КОНДРАТЬЕВА И. И., О роли фактора значимости при реагировании на сигналы разных интенсивностей. Вопросы психологии, № 6, 1974.
16. КОНОПКИН О. А., КОНДРАТЬЕВА И. И., О психологической детерминации проявлений «закона силы» в сенсомоторном реагировании. В сб.: Новые исследования в психологии, № 1, 1973.
17. МИХАЛЕВСКАЯ М. Б. О соотношении ориентировочных и условных двигателей реакций человека при действии слабых световых раздражителей. Канд. дисс., М., 1964.
18. МИХАЛЕВСКАЯ М. Б., Использование комплекса признаков ответной реакции для определения абсолютного порога. Вопросы психологии, № 5, 1966.
19. НЕБЫЛИЦЫН В. Д., Основные свойства нервной системы, М., 1966.
20. ОСНИЦКИЙ А. К., Влияние вероятности и значимости сигнала на время двигательной реакции. В кн.: Сенсорные и сенсомоторные процессы, М., 1972.
21. ТЕПЛОВ Б. М., БОРИСОВА М. Н., Чувствительность к различению и сенсорная память. Вопросы психологии, 1957, № 1.
22. УШАКОВА Т. П., РАТАНОВА Т. А., Предварительная настройка слухового анализатора человека. В кн.: Психология и техника, М., 1965.
23. BAKAN, P., Extraversion-introversion and improvement in an auditory vigilance task. Brit. J. Psychol., vol. 50, 1959.
24. BARDIN, K. V., INDLIN, Ju. A., ZABRODIN, Ju. M., The threshold problem and some possible ways to solve it. In:Advances in Psychophysics, eds H. G. Geissler, Ju. M. Zabrodin, Berlin, 1976.
25. BEAGLY, H. A., KELLOG, S. A., A comparison of evoked response and subjective auditory threshold. International Audiology, vol. 8, 1964.
26. BROADBENT, D. E., GREGORY, M., Division of attention and decision theory of signal detection. Proceedings of the Royal Society, Series, B, № 158, 1963.
27. CORCORAN, D. W. J., Personality and the inverted U-relation. Brit. J. Psychol., vol 56, 1966.
28. EYSENCK, H. J., The Biological Bases of Personality. Springfield, 1967.

29. FARLEY, F. H., KUMAR K. V., Personality and audiometric response consistency. J. Auditory Research, 9, 1969.
30. GREY , J. A., Pavlov's Typology. Oxford: Pergamon. 1964.
31. GREEN, D., SVETS, J., Signal Detection Theory and Psychophysics. N. Y. 1966.
32. GRUZELIER, J. H., VENABLES, P. H., Two-flash threshold, sensitivity and β in normal subjects and schizophrenics. Quart. J. Exp. Psychol., vol. 26, 1974.
33. GUILFORD, J., Psychometric Methods, N. Y., 1954.
34. HILLYARD, S. A., SQUIRES, K. C., BAUER, J. W., LINDSAY, P. H., Evoked potential correlates of auditory signal detection. Science, v. 172, № 990, 1971.
36. KOPP, J., LIVERMORF, J., Differential discriminability or response bias? A signal detection analysis of categorical perception. J. Exp. Psychol., vol. 101, 1973.
37. KRUPSKI , A., RASKIN, D. C., BAKAN, P., Physiological and personality correlates of commission errors in an auditory vigilance task. Psychcphysiology, vol. 8, № 3, 1971.
38. LUCE, R. BUSH, R., GALANTER, E., Handbook of Mathematical Psychology, vol. 1, 1963.
39. LUCE, R., Threshold theory for simple detection experiments. Psychol. Rev., vol. 70, 1963.
40. PAUL, D. D. SUTTON, S., Evoked potential correlates of response criterion in auditory signal detection. Science, vol. 177, 4046, 1972.
41. PAUL, D. D., SUTTON, S. Evoked potential correlates of psychophysical judgments: the threshold problem. Behavioral Biology, vol. 9, 1973.
42. PETERSON, W., BIRDSALL, T., FOX. W., The theory of signal detectability. Transactions IRE Professional Group of Information Theory, PGIT, 4, 1954.
43. PIERCE, C., JASTROW, J., On small differences of sensation. Memoirs of the National Academy of Science, 1885, vol. 3.
44. REED, C. F., FRANCIS, T. R., Drive, personality and audiometric response consistency. Perceptual and Motor Skills, vol. 15, 1962.
45. RITTER, W., VAUGHAN, H. G., Averaged evoked responses in vigilance and discrimination. Science, vol. 164, 1969.
46. SCHWARTZ, M., SHAGASS, Ch., Physiological limits for «subliminal» perception. Science, 1961, № 123.
47. SHIGEHISA, T., SYMONS, J. R., Effect of intensity of visual stimulation of auditory sensitivity in relation to personality. Brit. J. Psychol., vol. 64, № 2, 1973.
48. SMITH, S. L. Extraversion and sensory threshold. Psychophysiology, vol. 5, № 3, 1968.
49. SPEISS, M., Effect of preknowledge and stimulus intensity upon simple reaction time. J. Exp. Psychol., vol. 101, № 1, 1973.
50. STEPHENS, S. D. G., Auditory threshold variance, signal detection theory and personality. International Audiology, vol. 8, № 1, 1969.
51. STEPHENS, S. D. G., Some individual factors influencing audiometric performance. Occupational Hearing Loss, London, 1971.
52. STEPHENS, S. D. G. Hearing and personality: a review. Journal of Sound and Vibration, vol. 20, № 3, 1972.
53. SUTTON, S., The specification of psychological variables in an average evoked potential experiment. The Average Evoked Potentials, ed. E. Donchin, D. B. Lindsey, 1969.
54. WHITMAN, Ch. P., SCOTT, G. E., Sequential effect of stimulus probability and prediction outcome on choice reaction time. J. Exp. Psychol., vol. 93, № 2, 1972.
55. URBAN, F., The Future of Psychophysics. Psychol. Rev., vol. 37.
56. ZABRODIN, Ju. M., On the scope of psychophysics: some methodological considerations. Advances in Psychophysics. Eds. Geissler H. G., Zabrodin Ju. M., Berlin, 1976.

194

DAS UNBEWUßTE IN VERHALTENSANALYSE UND VERHALTENSTHERAPIE

WOLF LAUTERBACH

Psychologisches Institut der Universität Düsseldorf, BRD

Der Teil der Persönlichkeit, der nicht erblich determiniert ist, ist durch Erfahrung geprägt, also gelernt. Er ist durch Erfahrung, also Lernen änderbar.

Einleitung

Es ist vielleicht verwunderlich, daß ein von der Psychoanalyse (PA) geprägter Begriff wie das «Unbewußte» hier mit Verhaltenstherapie in Verbindung gebracht werden soll. Man kennt eher die Gegensätze und die oft polemischen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Therapieformen, die sich gegenseitig nicht akzeptieren können, weil sich ihre Theorien so sehr unterscheiden.

Die PA hat sich in unserem Jahrhundert mit einer Reihe von psychischen Fragen beschäftigt, die bis vor kurzem von keiner anderen psychologischen Fachrichtung untersucht wurden. Insbesondere hat sie sich der psychischen Vorgänge des neurotischen Menschen angenommen, während die Psychologie sich hauptsächlich auf einige Gebiete des normalen psychischen Geschehens konzentrierte (Lernen, Wahrnehmung, Entwicklung, zwischenmenschliche Beziehungen, Einstellungen u.s.w.). Lange Zeit hatte die PA daher eine von ihr gewiß nicht angestrebte Monopolstellung auf dem psychologisch-klinischen Gebiet inne, auf dem sich erst in den letzten beiden Jahrzehnten die Psychologie zu ihr gesellte, die nun, nachdem sie sich vorher nur um normale und im klinischen Sinne relativ problemlose psychische Vorgänge gekümmert hatte, ihre Erkenntnisse anzuwenden versuchte auf klinische Probleme.

Die klinischen Psychologen sind in westlichen Ländern sowie in einigen sozialistischen Ländern (DDR) sehr aktiv bei der Durchführung und Entwicklung therapeutischer Methoden und haben neue Wege gewiesen.

Weil sich aber die PA entwickelt hat in der Arbeit am Patienten, die Psychologie dagegen am gesunden Menschen, sind ihre Forschungsmethoden und ihre Begriffssysteme sehr unterschiedlich und die von ihnen gefundenen Gesetzmäßigkeiten haben wenig Ähnlichkeit miteinander. Die klinische Psychologie, also die Anwendung der Psychologie in der Klinik, hat den Vorteil, daß die PA auf diesem Gebiet schon sehr viel Vorarbeit geleistet hat und viele klinisch-psychischen Phänomene erkannt, beschrieben und erklärt hat. Aber in diesem verlockenden Vorteil liegt eine Gefahr: allzu leicht könnte der Psychologe sich

darauf beschränken, die Beschreibung von klinischen Symptomen samt ihrer Erklärung zu übernehmen und lediglich in sein eigenes, normalpsychologisches Begriffssystem zu übersetzen. Anstatt das von der PA aufgebaute Begriffssystem und ihre Hypothesen in psychologische Begriffe und Hypothesen zu übersetzen, muß man unterscheiden lernen zwischen den Phänomenen, die die PA in ihrer langjährigen Praxis beobachtet und benannt hat und den Hypothesen und erklärenden Begriffen, die sie sich für diese Phänomene geschaffen hat.

Diese Unterscheidung ist wichtig, denn die Psychologie muß die Phänomene (wie z.B. die Wirkung nicht bewußt werdender psychischer Tätigkeit berücksichtigen, muß sie aber mit ihren eigenen natur- und sozialwissenschaftlichen Theorien erklären können; die psychoanalytischen Hypothesen hingegen braucht sie nicht zu «erklären.» Zum Beispiel hat die PA auf die Wichtigkeit unbewußt ablaufender Prozesse hingewiesen. In der PA ist das Unbewußte ein zentraler Begriff und Ziel und Inhalt der Therapie besteht darin, verdrängte Gefühle und Erlebnisse bewußt zu machen. Dieses trifft für die Verhaltenstherapie (VT) nicht zu. Der verhaltenstherapeutishe Ansatz erklärt, wie das Verhalten und Erleben erlernt wurde und wodurch es aufrechterhalten wird. Diese Zusammenhänge sind dem Patienten in der Regel nicht bewußt. Z.B. ist dem Phobiker nicht bewußt, daß seine Angst u.a. dadurch aufrechterhalten wird, daß er es vermeidet, in die angstauslösende Situation hineinzugehen. Derartige Zusammenhänge und Einflüsse spielen eine zentrale Rolle in der VT, auch wenn sie dem Patienten nicht bewußt sind. Man interessiert sich für diese Zusammenhänge aber nicht etwa deshalb, weil sie unbewußt sind, sondern wegen ihrer Bedeutung für eine erfolgreiche Therapie. Es wäre deshalb nicht sinnvoll, den Aspekt des Unbewußtseins dadurch besonders hervorzuheben, daß man diese ansonsten sehr verschiedenartigen Vorgänge unter dem Begriff «Unbewußtes» zusammenfaßt.

Die Arbeitsgebiete von PA und VT decken sich nicht vollständig, sondern überlappen sich nur mehr oder weniger. So erklärt z.B. die VT die Entwicklung einfacher Phobien sehr viel ökonomischer als psychodynamische Formulierungen, wohingegen psychodynamische Theorien krankhafte Trauerreaktionen und exogene Depressionen besser erklären. Gegenwärtig haben also (Marks und Gelder, 1966) sowohl die VT als auch psychodynamische Konzeptionen ihre Berechtigung. Außerdem ist zu sagen, daß in letzter Zeit psychodynamische Ansätze zusammen mit verhaltenstherapeutischen Methoden angewendet werden, daß die Kluft zwischen beiden in der Praxis also schmaler wird.

Wenn ein Psychoanalytiker vom Unbewußten (UB) und den psychoanalytischen Gesetzmäßigkeiten des UB spricht, erklärt er damit einen sehr großen Teil seiner Theorie und seiner Therapie. In der VT hingegen ist vom UB als einer psychischen Instanz nie die Rede. Wie würden also in der verhaltenstherapeutischen Theorie die Fragen von F. W. Bassin et al. (1974) beantworten: Unterliegt das UB irgendwelchen ihm spezifischen Gesetzmäßigkeiten und welche sind das? Wie lassen sich die Freudschen Mythen ablösen? Das sind sehr wichtige Fragen. Die Freudschen Mythen lassen sich nicht dadurch ablösen, daß man ihr Gedankengut nur naturwissenschaftlich

ausdrückt. Die VT meint, daß die Psyche nicht aufgeteilt werden darf in bewußte und in qualitativ anders geartete unbewußte Vorgänge, sondern daß die Gesetzmapigkeiten der Psyche allgemein gelten. Bei den unbewußt ablaufenden Vorgängen fällt lediglich der Faktor des Bewußtseins aus. Im Gegensatz zur PA nimmt die VT aber nicht an, daß das Bewußtwerden der unbewußten psychischen Prozesse immer zur Beseitigung der von ihnen hervorgerufenen Störungen führt. Die VT setzt z.B. nicht voraus, daß der Patient lernt, einen Zusammenhang zwischen seinem Alkoholismus und (von der PA angenommener, hypothetischer) frühkindlicher Frustration zu sehen (wie in der PA), sie setzt nicht einmal als unbedingt notwendig voraus, daß dem Patienten alle vom Therapeuten angenommenen Zusammenhänge bewußt werden, denn er hat sich auch früher geändert (und andere Patienten haben spontan ihre neurotischen Störungen verloren), ohne sich aller relevanten psychischen Prozesse bewußt zu sein. Die VT konzentriert sich stattdessen darauf, z.B. das Trinkverhalten selbst und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Bedingungen (z.B. Ehe- oder Berufsprobleme) zu verändern.

Der Hintergrund der VT

Der theoretische Hintergrund der VT ist die experimentelle Psychologie, insbesondere die Lernpsychologie und die Sozialpsychologie. Mit Hilfe der Lerntheorie werden z.B. neurotische Störungen als gelernte Fehlentwicklungen aufgefaßt. Die Therapie basiert demzufolge ebenfalls auf lerntheoretischen Prinzipien.

Die Methoden der Diagnose, Therapie und Forschung der VT sind davon geprägt, daß sich die klinische Psychologie nicht aus der Betrachtung des gestörten und kranken Menschen, sondern aus der natur- und sozialwissenschaftlichen Untersuchung des nicht-gestörten Menschen entwickelt hat:
1. stehen ihr die allgemeinpsychologischen (z.B. entwicklungs-, lern- und sozialpsychologischen) Begriffssysteme, Theorien und Ergebnisse zur Verfügung und sind mit ihrem Ansatz vereinbar und leicht einzufügen,
2. kann sie auf ein großes Instrumentarium an Forschungsmethoden (z.B. experimentelle Methoden) und Untersuchungsmethoden (z.B.) Tests, zurückgreifen, andererseits ist
1. ihre spezifisch klinische Begriffs- und Theorienbildung noch zu jung, um für alle Probleme bereits gleich gute Methoden anbieten zu können und
2. ist sie durch eben diese naturwissenschaftliche Tradition in ihrer Begriffs- und Theorienbildung insofern stark eingeschränkt, als ihre Hypothesen nicht nur verständlich, einleuchtend und klinisch sinnvoll sein müssen, sondern auch so konkret, eindeutig und ohne Hintertürchen, daß sie experimentell widerlegbar sind und widerlegt werden können, sollten sie falsche Vorhersagen gemacht haben.

Allerdings ist diese Einschränkung wissenschaftlisch gesehen ein Gewinn.

Diese Tradition gibt der klinischen Forschung auch die Methoden an die Hand, herauszufinden, ob neuentwickelte Methoden effektiver sind als alte und

welche therapeutischen Faktoren in einer komplexen Therapie den Erfolg bewirkt haben. Dadurch gelingt es, die therapeutischen Methoden experimentalpsychologisch zu verbessern und sich auf das Wesentliche zu beschränken.

Die verhaltenstherapeutische Diagnostik

Zunächst ist zu sagen, daß das Wort «Diagnose» in der VT sehr viel differenzierter ist als in der konventionellen Psychiatrie. Es meint nicht die Klassifizierung einer Störung (als «Phobie», «Depression», «Neurasthenie», «Hysterie» etc.), sondern beinhaltet eine lerntheoretische Erklärung des gestörten Verhaltens.

Der wichtigste und typischste Teil der verhaltenstherapeutischen Diagnostik ist die «funktionale Analyse», deren Ergebnis ein funktionales Bedingungsmodell (Функциональная модель условности) ist.

In der funktionalen Analyse wird untersucht, von welchen Bedingungen (z. B. Umgebung, soziale Situationen, Verhaltensweisen anderer Menschen, bestimmte Gedanken und Vorstellungen, Aufgaben) die «gestörten» Verhaltensweisen (phobische oder aggressive Reaktionen, Schüchternheit, unangemessenes Sozialverlalten, mangelnde Konzentration, Tics, Sexualstörungen, Trinken von Alkohol, Zwangshandlungen etc.) ausgelöst werden und welche Konsequenzen diese Reaktionen verstärken (z.B. Angsterleichterung, Aufmerksamkeit, Stolz, Lieblingstätigkeiten etc.).

In dem funktionalen Bedingungsmodell (модель условий и условности) wird das Verhalten (R) erklärt als eine Funktion von S(= Stimulus, Situation) und C (= Konsequenz) unter Berücksichtigung von O (= Organismus (erregt, hungrig), und K (= Verstärkungsplan (ständige, seltene Verstärkung)), (Kanfer).

Es wird angenommen, daß der Patient auf diese Weise sein «gestörtes» Verhalten gelernt hat. Aus dem Vorangegangenen ist bereits ersichtlich, daß «Verhalten» ein weiter Begriff geworden ist und auch emotionale Reaktionen, Vorstellungen und Erlebnisweisen beinhaltet.

Diese analysierten Verhaltenstendenzen, Gewohnheiten, Reaktionsbereitschaften ähneln sehr den Begriffen von ustanowka (Usnadze) und otnoschenije (Mjasischew).

Es kann wichtig sein, zu wissen, wie diese Verhaltenstendenzen (otnoschenija, ustanowka) zustande gekommen sind. Dabei kann auch die Kindheit zur Sprache kommen; sie wird beim Patienten insoweit analysiert, als sie für das heutige Verhalten im Zusammenhang mit den heutigen Situationsbedingungen relevant ist, also nicht um ihrer selbst willen, sondern nur im Hinblick auf ihre Bedeutung für die Planung der Therapie. Darin unterscheidet sich meines Erachtens die VT von der PA.

Für die Veränderung der Gewohnheiten, Reaktionsbereitschaften und Einstellungen ist es also wichtig, ihre spezifischen Auslöser und ihre Verstärker zu kennen. Die Bedingungen und Umstände der Gegenwart sind deshalb der wichtigste Faktor, weil experimentalpsychologisch erwiesen ist, daß auch «gestörtes» Verhalten irgendwie verstärkt werden muß, um aufrechterhalten zu werden. «Gestört» steht hier in Anführungszeichen, weil wir meinen, daß es kein

wirklich gestörtes Verhalten gibt. Wenn ein Verhalten nicht normal ist, gibt es dafür Ursachen wie für jedes Verhalten; der Patient hat diese Verhaltenstendenzen gelernt und nur solange wir die Ursachen (d. h. Auslöser, Verstärker u.s.w.) nicht diagnostiziert haben, erscheint es uns als «gestört».

Die Verstärker des Verhaltens können in der Umwelt des Individuums, aber auch im Individuum selbst liegen und in der Vergangenheit begründet sein. Zum Beispiel kann eine bestimmte (z. B. soziale) Situation im Individuum Angst auslösen, so daß es diese Situation ständig vermeidet. Der Ursprung der Angst kann ein traumatisches Erlebnis der Vergangenheit sein und es ist wichtig, das zu wissen. Das traumatische Erlebnis ist aber nicht die Ursache dafür, daß der Patient auch heute noch soziale Situationen vermeidet, denn die Vermeidensreaktion muß auch heute noch verstärkt werden, da sie sonst gelöscht würde. Als mögliche jetzige Verstärker kommen in Frage: Der Gedanke an die soziale Situation löst Angst aus und der Entschluß, diese Situation zu vermeiden, reduziert die Angst. Das Vermeidensverhalten wird so verstärkt («negative Verstärkung» durch Angstreduktion); oder: der Patient hat für diese Situation kein angemessenes Verhaltensrepertoire, so daß seine Angst gerechtfertigt ist: selbst wenn er diese Situation einmal nicht vermeidet, wird er sich in ihr blamieren und sie beim nächsten Mal wieder vermeiden; oder: wenn der Patient die Situation vermeidet, so hat das positive Konsequenzen: er steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit (man kümmert sich um ihn) oder er kann statt dessen etwas tun, was er sehr gerne tut (z.B. spazieren gehen oder lesen).

Die funktionale Analyse ist Teil des in Abb. 1 schematisch dargestellten diagnostisch-therapeutischen Systems, das z. Zt. in Deutschland immer größere Verbreitung findet (Schulte).

Die verhaltenstherapeutische Diagnostik stellt drei Fragen:

1. Welche spezifischen Verhaltensmuster und Erlebnisweisen sollen in ihrer Häufigkeit, ihrer Intensität oder ihrer Dauer geändert werden?

2. Unter welchen Bedingungen wurde dieses Verhalten erworben und welche Faktoren halten es momentan aufrecht?

3. Mit welchen praktischen Methoden lassen sich die angestrebten Veränderungen bei einem bestimmten Patienten am besten erreichen?

Diese drei Fragen können nicht unabhängig voneinander beantwortet werden (Abbildung 1). Die funktionale Analyse und Erklärung des gestörten Verhaltens (Frage 2) richtet sich danach, welche Störungen zu erklären und zu therapieren sind (Frage 1), sie kann aber auch neue Störungen aufdecken und neue Therapieziele nahelegen. Außerdem ist das Therapieziel von den zur Verfügung stehenden Methoden abhängig und umgekehrt.

Das Flußdiagramm (Abbildung 1) zeigt die Prozesse, in denen diese Fragen beantwortet werden und die Therapie geplant und durchgeführt wird (Sculte, 1974). Die zur Verfügung stehenden Informationen über die Störungen, ihre Genese, über die sie auslöseneden Situationen und ihre Konsequenzen werden aufgrund der funktionalen verhaltenstherapeutischen Theorie verarbeitet zu einem funktionalen Bedingungsmodell, das die Beziehungen zwischen Verhalten und Erleben analysiert und die Ursachen der «Neurose» erklärt. Unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Bedin-

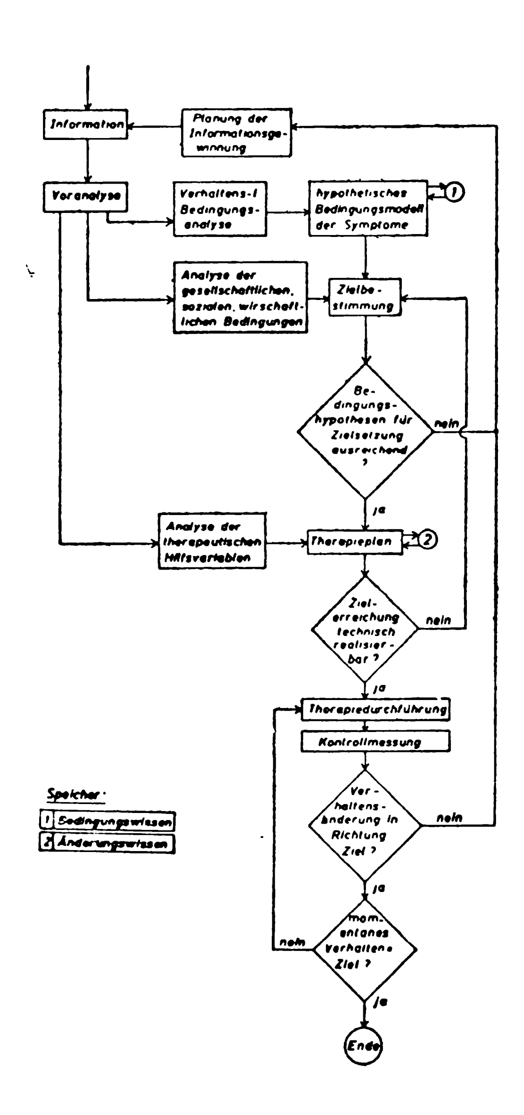


Abb. 1 Schema des diagnostisch-therapeutischen Handelns in der Verhaltenstherapie.

gungen werden die Therapieziele bestimmt. Dann wird geprüft, ob diese Ziele mit Hilfe des funktionalen hypothetischen Bedingungsmodells prinzipiell erreichbar sind. Wenn nicht, muß neue Information gesammelt werden, mit deren Hilfe das Bedingungsmodell vervollständigt werden kann. Der Therapieteil des Flußdiagramms braucht wohl nicht näher erklärt zu werden.

Therapie

Die Behandlung eines jeden Patienten gleicht einem psychologischen Experiment, wobei das funktionale Bedingungsmodell die Hypothesen sind, die im Verlaufe einer erfolgreichen Behandlung sich bestätigen, bzw. geändert werden müssen, wenn die Behandlung nicht den erwarteten Erfolg hat. Deshalb ist das diagnostisch-therapeutische Handeln als Einheit aufzufassen, zumal auch während der Durchführung der Therapie weitere diagnostische Informationen hinzukommen und die Therapieplanung und -durchführung beeinflussen können.

Die angestrebten Therapieziele, die von Patient zu Patient verschieden sein können, werden mit Hilfe einer großen Vielzahl von therapeutisch-didaktischen Methoden erreicht. Die erfolgreiche Durchführung einer VT setzt voraus, daß der Patient selbst die Therapieziele anstrebt. Er ist es, der sich ändern muß und ohne seinen uneingeschränkten Willen zur Veränderung kann der Therapeut (außer bei der Therapie von Autisten, Schizophrenen und Schwachsinnigen) ihm nicht helfen, die Veränderungen zu bewirken. Vertrauen in die Therapiemethode ist dagegen nicht unbedingt erforderlich, weil diese Methoden nicht auf Suggestion beruhen.

Hier sollen jetzt nicht die vielen verhaltenstherapeutischen Methoden dargestellt werden. Aber nachdem beschrieben wurde, wie in der Verhaltensanalyse (VA) die Erfahrungen, Einstellungen, Ustanowki, Gewohnheiten u.s.w., also die dem Patienten bewußten und die nicht bewußten psychischen Prozesse aufgedeckt wurden, soll auch etwas über die Therapie gesagt werden, die sich diese bewußten und unbewußten psychischen Vorgänge zunutze macht.

Die VT hat *explizit* kein Persönlichkeitsmodell entwickelt. Untersucht man jedoch ihre Methoden, so stellt man fest (Jaeggi, 1975), daß ihnen allen neben ihrer lerntheoretischen Begründung einige Faktoren gemeinsam sind, die *implizit* etwas darüber aussagen, wie das Menschenbild in der VT aussieht: Die den sehr heterogenen verhaltenstherapeutischen Methoden gemeinsamen und für das Vorgehen der VT charakteristischen Momente sind:

1. Das Moment der Planung

Es wird ein Plan aufgestellt, um die in der VA identifizierten, das störende Verhalten aufrechterhaltenden Faktoren auszuschalten oder unwirksam zu machen, der einem experimentellen Plan im psychologischen Experiment insofern ähnelt, als in seiner Ausführung das Ergebnis der VA (die Hypothese) überprüft wird. Der Plan enthält ein konkretes Ziel, auf das der Patient (wie in der Didaktik der Lernende) schrittweise zugeht, wobei ständig kontrolliert wird, ob er sich dem Therapieziel nähert oder nicht. Dem Menschen wird von

der VT also die Fähigkeit zugesprochen, seine Handlungen durch Unterwerfung unter ein Ziel zu koordinieren und zu disziplinieren.

Die PA sieht dagegen den Menschen im Grunde bestimmt von Trieben und aus ihnen entstehenden Konflikten.

2. Das Moment der Übung

Die einzelnen geplanten therapeutischen Schritte werden systematisch geübt, wobei der Patient ein neues Verhalten lernt, das von ihm selbst angestrebt und mit dem krankhaften ursprünglichen unvereinbar ist. Es ist nicht wie in der PA ein «Kampf» zwischen Patient und Therapeut, kein Glauben an psychoanalytische Hypothesen über lebensgeschichtliche Zusammenhänge oder Einsicht in unbewußte (d.h. hier: von der PA angenommene, aber nicht unbedingt real vorhandene (Ödipuskomplex etc.)) Hintergründe nötig. Einsicht entsteht in der VT auf anderer Ebene: der übende Patient lernt etwas Neues, das für seinen gestörten Lebensvollzug wesentlich ist und gewinnt durch die neuen Verhaltensmöglichkeiten Einsicht in seine frühere Begrenztheit und Abhängigkeit. Abstrakte Einsicht als solche kann das Üben nicht ersetzen.

3. Das Moment der gerichteten multiplen Aktivität

In jeder Art von Psychotherapie wird vom Patienten Aktivität verlangt, aber sie beschränkt sich hauptsächlich auf die verbale Kommunikation. In der VT wird eine neue Aktivität im gesamten gestörten Verhaltensbereich in Richtung auf das Therapieziel organisiert, wobei der Therapeut häufig mit dem Patienten das Therapiezimmer verläßt und in der natürlichen Umwelt des Patienten die Therapie fortsetzt. Dadurch, daß der Patient in neuer, gesunder (d.h. von ihm selbst angestrebter) Weise auf seine Umwelt einwirkt, verändert sie sich für ihn. Die Persönlichkeit des Menschen erarbeitet sich ihre innere Welt durch äußere Tätigkeit und gestaltet sie fortwährend um. Die äußere Handlung wirkt damit auf das Bewußtsein, das sich im Handlungsvollzug formt (siehe S.L. Rubinstein). Therapie wird zur «gegenständlichen Tätigkeit» im Sinne Leontjews.

4. Das Moment der aktuellen Determination

Die Ursache des gestörten Verhaltens ist nicht sein Ursprung, sondern sind jene Bedingungen, die es aufrechterhalten. Die Genese von Anfang her ist nur insofern interessant, aber auch wichtig, als sie dazu beiträgt, die Wirkungsweise dieser heutigen Bedingungen richtig zu verstehen, um sie (die Wirkungsweise) dann ändern zu können durch Änderung der Umstände oder ihrer Auswirkung.

Die Betonung der aktuellen Determination ist für die PA theoretisch wohl kaum akzeptierbar; dennoch hat die VT mit diesem Ansatz oft auch bei bisher therapieresistenten Fällen erstaunliche Erfolge. Fragwürdig wird damit das psychoanalytische Modell von tiefliegenden pathologischen Strukturen, die von den aktuellen Umständen relativ wenig berührt werden. Fragwürdig wird auch die Lehre von einigen wenigen, alles beinhaltenden psychischen Strukturen, denen mit Hilfe verbaler Analogien und mythologischer Methaphern das ganze komplexe und vielfältige menschliche Verhalten und Erleben einverleibt wird.

Das implizite Persönlichkeitsmodell der VT sieht den Menschen weitgehend verflochten mit seiner aktuellen Umwelt. Es nimmt nicht an, daß alle neurotischen Störungen auf dieselbe «Ursache» zurückzuführen sein müssen, sondern daß sie unabhängig voneinander aufrechterhalten und deshalb auch unabhängig voneinander mit verschiedenen Methoden therapiert werden können.

5. Das Moment der Spezifität

Wie oben bereits ausgeführt, wird zur Erreichung des für den jeweiligen Patienten spezifischen Therapiezieles ein detaillierter Plan aufgestellt, in dem die individuellen Besonderheiten (Fähigkeiten, Hobbies etc.) des Patienten berücksichtigt und wenn möglich therapeutisch eingesetzt werden. Dadurch werden die verhaltenstherapeutischen Methoden flexibel und variabel und können im Gegensatz zu den psychoanalytischen Methoden auch bei solchen Patienten angewandt werden, die nur durchschnittlich intelligent und verbal weniger begabt sind und nicht der gebildeten Schicht angehören. Vielleicht ist der Spezifität der verhaltenstherapeutischen Methoden auch zu danken, daß sie wesentlich weniger Zeit erfordern als eine PA. Sollte der Ansatz bei einem Patienten erfolglos sein (auch bei der VT bleibt das nicht aus), stellt sich das bereits nach einigen Wochen heraus und nicht erst nach Jahren, so daß das therapeutische Vorgehen aufgrund dieser Erfahrung geändert werden kann.

Zusammenfassung

Sowohl in der PA als auch in der VT gibt es den Begriff der geschichtlichen Entwicklung einer Neurose. In der PA wird angenommen, daß ein Trauma stattgefunden hat und in das Unbewußte verdrängt wurde und von daher neurotisierend wirkt. In der VT wird angenommen, daß ein Verhalten, selbst wenn es mit einem Trauma begonnen hat, ständig durch beobachtbare oder explorierbare Ereignisse verstärkt werden muß, um die Neurose aufrechtzuerhalten. Dieser Prozess der ständigen Verstärkung kann dem Patienten unbewußt sein. Der verhaltenstherapeutische Ansatz kennt keinen prinzipiellen Unterschied zwischen den Gesetzmäßigkeiten bewußter und unbewußter, «normaler» und «gestörter» psychischer Prozesse. In der VT werden die Ursachen der «Störungen» (d.h. die gegenwärtigen Bedingungen und die früheren Erlebnisse, soweit sie für die Gegenwart relevant sind) mit Hilfe allgemeinpsychologischer Theorien analysiert und schließlich auf eben dieser Grundlage unter strenger Effektivitätskontrolle therapiert. Dabei zeigt sich, daß das implizite Persönlichkeitsbild der VT den Menschen unter therapeutischer Anleitung für fähig hält, seine Handlungen im Hinblick auf ein Ziel zu koordinieren und zu disziplinieren, durch Übung neue komplexe Verhaltensmuster zu lernen und durch diese neuen Verhaltens- und Erlebensmöglichkeiten (wenn er es selbst wünscht) auf sein Bewußtsein einzuwirken; er ist verflochten mit seiner aktuellen Umwelt, die oft seine Störungen aufrechterhält.

Die verschiedenen Störungen eines Neurotikers können unterschiedliche Ursachen haben und müssen dann mit verschiedenen Methoden behandelt werden. Die VT bezieht die positiven Qualitäten eines Neurotikers als wesentlichen Bestandteil mit ein und hat mit dem ihr eigenen, sich noch rapide entwickelnden Ansatz für eine große Anzahl von neurotischen und anderen Störungen sehr effektive Methoden entwickelt.

LITERATUR

БАССИН, Ф. В., РОЖНОВ, В. Е., РОЖНОВА, М. А. К современному пониманию психической травмы и общих принципов ее психотерапии. В сб.: Руководство по психотерапии. М. 1974.

DOLLARD, J., MILLER, N. E., Personality and Psychotherapy. An analysis in Terms of Learning, Thinking and Culture. McGraw-Hill 1950.

JAEGGI, E. Persönlichkeitstheoretische Implikationen verhaltenstherapeutischer Praxis. In: Das Argument 91, Argument Verl. 1975.

KANFER, H. F., SASLOW, G. Verhaltenstheoretische Diagnostik. In: (Hrsg. SCHULTE, D.) Diagnostik in der Verhaltenstherapie, Urban & Schwarzenberg 1974; und in: (Ed. FRANKS, C. M.) Behavior Therapy: Appraisal and Status, McGraw-Hill 1969.

MARKS, I. M., GALDER, M. G. Common ground between behaviour therapy and psychodynamic methods. Brit. J. Med. Psychol. 1966, 11—23.

SCHULTE D. Der diagnostisch-therapeutische Prozess in der Verhaltenstherapie. In: Diagnostik in der Verhaltenstherapie. Urban & Schwarzenberg 1974.

195

A NEODISSOCIATION THEORY OF DIVIDED CONSCIOUSNESS

ERNEST R. HILGARD
Stanford University, USA

The dissociation theory proposed in the nineteenth century by Pierre Janet in France, and made use of early in the twentieth century by Morton Prince in the United States has largely died out, although dissociative reactions are occasionally mentioned in a purely descriptive fashion. The phenomena that gave rise to dissociation theory included somnambulisms, amnesias, fugues, and multiple personalities. These states, although not frequent, occur spontaneously as natural experiments and they are instructive regarding human personality and consciousness. One way to call attention to their theoretical significance would be to revive dissociation theory, but that would be misleading. Such a revival would imply support of Janet's belief that these and related states are found only among hysterical personalities, and a revival of the old theory would carry with it what might be interpreted as a defense of many observations of doubtful value. By using the concept of *neodissociation*, many of the controversial issues from the past can be stated in contemporary form, and new evidence brought to bear, with no obligation to remain loyal to the views of those who founded the classical dissociation doctrines. What is proposed is that neodissociation theory can be considered a contemporary endeavor to make a fresh start in understanding the kinds of problems that gave rise to the classical theory.

It is no accident that hypnotic phenomena were included in the dissociation studies from the beginning, even though most of the data were from clinical rather than experimental investigations. One of the earliest discovered aspects of hypnosis was posthypnotic amnesia for the events within hypnosis, noted by Puységur in 1784. Because this is a recoverable forgetting, amnesia represents one variety of dissociation. Amnesia early became one of the defining characteristics of hypnosis, reflected in the term 'somnambulist' assigned to the highly hypnotizable person. While the term is still used to describe the person extremely responsive to hypnosis, it has lost its original connotation of spontaneous amnesia derived from the fact that the sleep-walker is usually amnesic for his sleep-walking activities.

Dissociation theory fell into disfavor because the psychoanalytic theory of divisions of consciousness (originally conscious, preconscious, and unconscious) tended to displace the conceptions of conscious and subconscious originally proposed by Janet, with repression substituting for amnesia. It can readi-

ly be seen that amnesia has common characteristics with repression in the Freudian sense, because in both amnesia and repression something that has registered in consciousness and has been stored in memory is unavailable to recall although it has not been obliterated. That is, both amnesia and repression can be lifted under appropriate circumstances and the memories that were hidden again become available. There have indeed been experimental studies designed to bring the two concepts together, and some overlap may be demonstrated. For example, lists of words can be constructed from those that have specific emotional connotations for the individual, so that he reacts in special ways to them — with «complex indicators»— according to the word-association tests derived from Jung's early work. Control lists can also be prepared of words that for this individual are emotionally neutral. According to repression theory, there should be some difficulty in recalling the disturbing words as compared with the neutral ones. If amnesia and repression have something in common, then it ought to be easier to produce posthypnotic amnesia for the words that should theoretically be more readily repressed. Using a technique of suggesting partial amnesia («You will remember only half of the words that you have just learned»), Clemes (1964), working in our laboratory, found that indeed subjects under these suggestions tended to forget disproportionately those words that should theoretically have been the targets for repression. So there may indeed be some overlap between amnesia and repression.

At the same time, it would be a mistake to insist that the two concepts (amnesia and repression) are the same, only because they overlap. Ordinary posthypnotic amnesia can be produced for all manner of events that have apparently no personal meaning whatever, so that the appeal to the dynamic mechanisms of repression would be inappropriate. I prefer to see the distinction between amnesia and repression as a very fundamental one, as illustrated in Figure 1. The point of the figure is that psychoanalytic repression produces a barrier between the conscious/preconscious portions of the personality and the deeper layers of the unconscious. Such distinctions apply as those between «primary process» or impulsive thinking in the unconscious and «secondary process» or conceptual thinking in the conscious portion. These distinctions are not required in hypnotic amnesia, which is more clearly a split in consciousness itself. It might be conjectured that amnesia is more like the Freudian preconscious, but ordinarily preconscious thoughts cross the threshold into consciousness very readily, and are not as unavailable as the concealed amnesic thoughts in hypnosis. Hence there is more than a verbal difference between the psychoanalytic model based on repression, and the hypnotic model based on amnesia.

The evidence from psychopathology deserves inclusion in any discussion of dissociative phenomena, even though the accounts are often anecdotal and not fully satisfactory to the critical scientist. Fugues and multiple personalities are rather infrequent, but once clinicians are on the lookout for them, more are found. After a dearth of cases of multiple personality, several have been reported since the *Three Faces of Eve* two decades ago (Thig-

pen and Cleckley, 1957). New cases have been reported: Allison (1975), Cutler and Reed (1975), Gruenewald (1971), Ludwig and others (1972), Schreiber (1973), and Stoller (1973). Long ago Hart (1929), who had himself done much to popularize psychoanalytic concepts, felt that psychoanalysts had failed to take note of dissociation and double personality, and indicated that they should overcome this neglect. The dearth of cases during the height of psychoanalytic popularity could have resulted if Hart were correct, because a neurotic patient who might have demonstrated such symptoms would most likely have come to the attention of a therapist influenced by psychoanalytic theories and practices. If at the first sign of a division of personality the therapist began to seek an integration (perhaps quite properly from a therapeutic standpoint), the extent of the dissociation might not have become fully realized.

The most interesting and puzzling feature of multiple personalities is nearly always the distribution of memories among the components. In Janet's

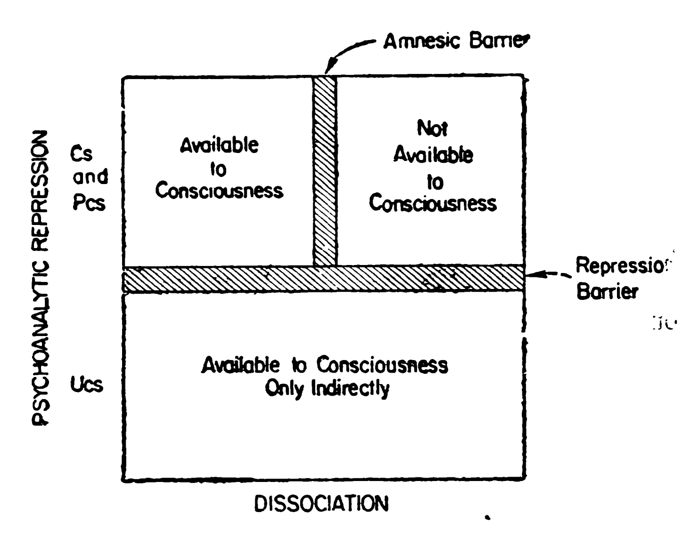


Figure 1. A distinction between the amnesia barrier in hypnotic dissociation and the repression barrier in psychoanalytic theory.

famous case of Léonie, for example, Léonie I knew only herself, Léonie II knew Léonie I as well as herself, and Léonie III knew them all. In the more recent case of Jonah, the primary personality (Jonah) was not aware of the three others, but they were all aware of Jonah and dimly aware of each other (Ludwig and others, 1972). Amnesia apparently lies at the heart of fugues and multiple personalities. If it were not for amnesia there would be less problem of integration. We all play different roles as circumstances change, but because our memories are intact we do not thereby suffer a sense of alternating selves.

The role of amnesia in hypnotic dissociation is readily demonstrated in experiments on automatic writing. The hypnotized person is told that his hand which holds a pencil on a pad of paper out of his line of sight will write according to some instruction given it, but that he will not be aware of the

hand and arm at all, and will not know what he has written or even that he has been writing. He may then be given some other task to do, such as reading aloud, while his hand may be engaged in writing a letter, or performing computations. These experiments are very successful with subjects who are highly hypnotizable, and show that two activities can be carried out at once, with one of them totally out of awareness. In the older view, the dissociation would be expected to be so complete that the activities would not interfere with each other at all. In fact, experiments designed to test dissociation theory commonly found interference, and therefore were taken as a disproof of dissociation (e. g., Messerschmidt, 1927-1928). It is not necessary to take this extreme view, however, and more recent experimenters in our laboratory have taken the position that the main issue is whether one of the competing activities is unrepresented in consciousness, not whether it is as efficient as if performed alone. There is agreement that the subject has been unable to report what he was doing automatically, and he often expresses genuine surprise when he finds what he has written. The evidence that tasks tend to interfere with each other is mounting, especially if the tasks are difficult enough to require, under normal conditions, a considerable amount of attentive effort. If the task is at all difficult, even holding it subconscious may reduce its efficient performance, without any other source of interference. The conscious task interferes with the subconscious one, and the subconscious task interferes [illegible] conscious one (Knox, Crutchfield, and Hilgard, 1975). The amount [illegible]nce appears to be a function of task difficulty. If the dissociated t[illegible]sy counting task, the interference is less than with a more diffi[illegible] task (Stevenson, 1976). When the subconscious task is very easy, the[illegible] no interference whatever, and perhaps some gain for the task when done [illegible] dissociated one as against its being done in the aware state. This has recently been shown by Bowers (1975) in a dichotic listening arrangement in which the subject «shadowed», that is, repeated aloud, a message being received continuously in one ear. Under these circumstances it is very difficult to become aware of a message to the other ear. The concealed message to the other ear was a cue to which the subject was instructed to touch his nose whenever he heard it. If he tried to do this in the normal waking state, the attentive effort required while shadowing caused considerable interference and disruption of performance, while there was essentially none when the response to the cue in the other ear was given as a posthypnotic response of which the subject was unaware. Quantitative experiments of this kind are needed to determine the more exact nature of the division between conscious and subconscious performance, but they are not critical on the matter of one task being held out of awareness. Even though the dissociation is partial (that is, the tasks continue to interfere with each other), dissociation may be genuine in the sense that it represents a split in consciousness.

The subject who is amnesic to his automatic writing may have the memory for the writing restored through amnesia-relieving suggestions. This raises an interesting question about such an amnesia, for the subject has been amnesic for something of which he was not previously conscious. This problem also

appears in repression theory, that is, whether or not an impulse can be repressed before it has ever been conscious. This deflection in advance of consciousness is something other than an after-expulsion, and, when it occurs, it raises additional theoretical problems.

The deflection into amnesia before the event is conscious appears to occur when hypnotic analgesia is suggested. The participant in the experiment may produce a numb arm as a consequence of hypnotic suggestion before it is painfully stressed by ice water, a tourniquet, or an electric shock, so that he does not experience the pain at all at an *overt* or conscious level. By using special techniques, such as automatic writing or its equivalent in a technique we have by analogy called automatic talking, we have been able to show that considerable pain may be experienced at a *covert level*. A perception of the actual pain, or a memory for it, can be obtained at a covert level, even though the pain has never been consciously felt or reported (Hilgard, Morgan, and Macdonald, 1975). An illustration of these findings is given in Figure 2.

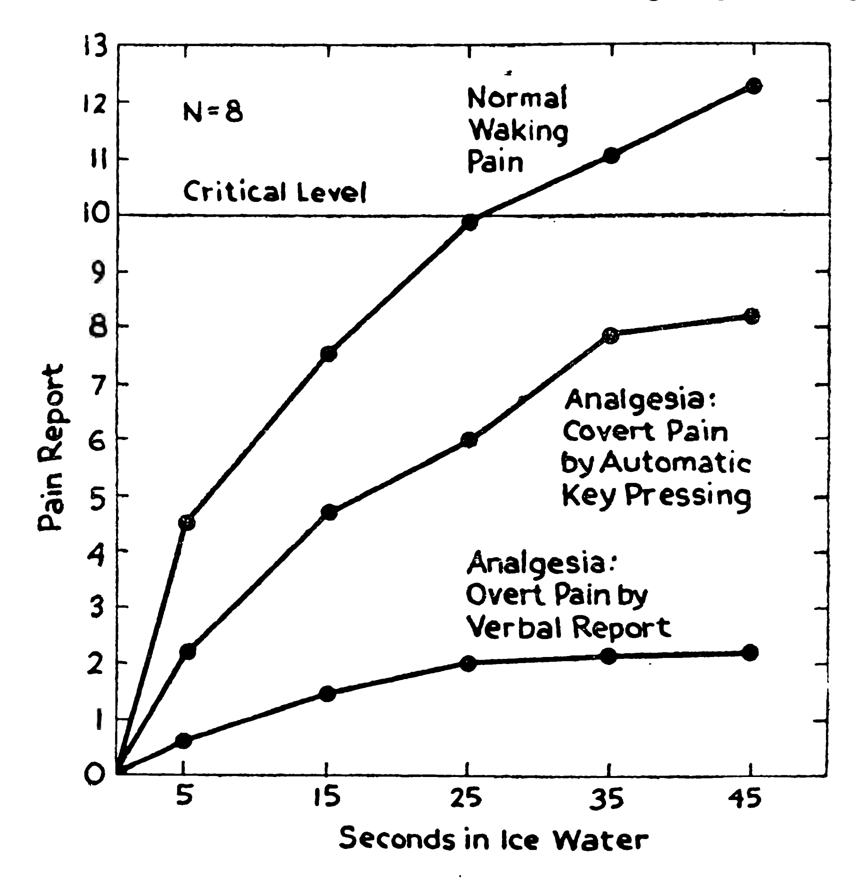


Figure 2. Differences in the reports of reduced pain within hypnotic analgesia. Overt pain (bottom curve) is of minimal magnitude; covert pain, reported by subconcsious automatic key-pressing (middle curve) is much higher than overt pain, but below normal pain. The pain reports are from 8 highly hypnotizable subjects whose right and forearm has been placed in circulating ice water for the time indicated.

When analgesia has been suggested for the pain of circulating ice water, these highly responsible subjects reported very little pain at the *overt* level, reaching an average report of but 2 on a scale in which 10 is a critical level of pain; a few reported no pain whatever. However, simultaneous reports by automatic key-pressing (an equivalent of automatic writing), showed mounting *covert* pain rising to a mean of 8 on the same scale. This is below normal waking pain, perhaps owing to the general relaxation of hypnosis and the failure to have any overt grimacing, squirming, or other of the expressive responses typical of reaction to pain. All of the subjects whose data are given in the figure made this distinction, but the distinction is not universal. That is, some subjects who can reduce pain do not report any difference between overt and covert pain. Why some do and some do not report this difference remains to be satisfactorily explained. For those who do report the difference, as in Figure 2, it is appropriate to consider the two reports as evidence of a split in consciousness between the overt (conscious) level and the covert (subconscious) level, and hence as evidence for a dissociation.

Although this kind of dissociation is dramatic in experiments on pain, it is by no means limited to pain. It has been known informally for a long time that some cognitive system within the hypnotized person processed information more accurately than the information that was available to him while he was hypnotized and under the influence of suggestions that countered that information. William James devoted several pages in his *Principles* to an account of gaps in consciousness, with evidence that the mind is active even when the person afterward ignores the fact (James, 1890, I, 201-213). He pointed to experiments by Janet and by Binet, showing that hysterics with anesthesia could be shown under another condition to be sensitive. For example, an anesthetic person ordinarily unable to distinguish between the two points of a compass, as in experiments on the two-point threshold, will be able to discriminate as accurately as anyone else by way of automatic writing. James recorded his own experiment: «In a perfectly healthy young man who can write with a planchette, I lately found the hand to be entirely anesthetic during the writing act; I could prick it severely without the subject knowing the fact. The *writing on the planchette*, however, accused me in strong terms of hurting the hand» (page 208). We have been able to demonstrate in our own laboratory that hypnotic blindness, hypnotic deafness. as well as positive hallucinations, can all be penetrated by automatic responses, That is, at the hidden cognitive processing level, the subject who had distorted normal reality while under the hypnotic influence was able to report the actual physical situation, numbers that were not seen, sentences that were not heard, and nothingness that was seen as a playful dog.

A Neodissociation Model of Cognitive Control Structures

A generalized model of cognitive control systems, with the evidence from hypnosis in view, but moving beyond that evidence, can be constructed with the aid of certain assumptions. The first assumption is that there are subordinate cognitive processing systems that each have some degree of unity, persis-

tence, and autonomy of functioning; they may interact under most circumstances, but under special circumstances they may become somewhat isolated from each other. The concept of the unity of the total consciousness is an attractive one, but it does not hold up under examination; there are too many shifts, as, for example, between the waking consciousness and the dream consciousness. There are also degrees of automatization achieved with practice, so that well-learned habits, such as playing a musical instrument, driving an automobile, or reciting the alphabet can go on with a minimum of conscious control, once the activity is begun. The second assumption is that there is some sort of hierarchical control that manages the interaction or competition between these structures; if not there would be a veritable deluge of thoughts and actions going on all at once. A third assumption is that there must be some sort of central monitoring and controlling structure. This is required because the hierarchical relations between the substructures have to shift from time to time appropriately to the demands being made upon the person. I have attempted to call attention to these problems by way of the diagram of Figure 3.

This highly generalized diagram is designed to convey the idea of multiple cognitive processing systems or structures (of which only three are shown),

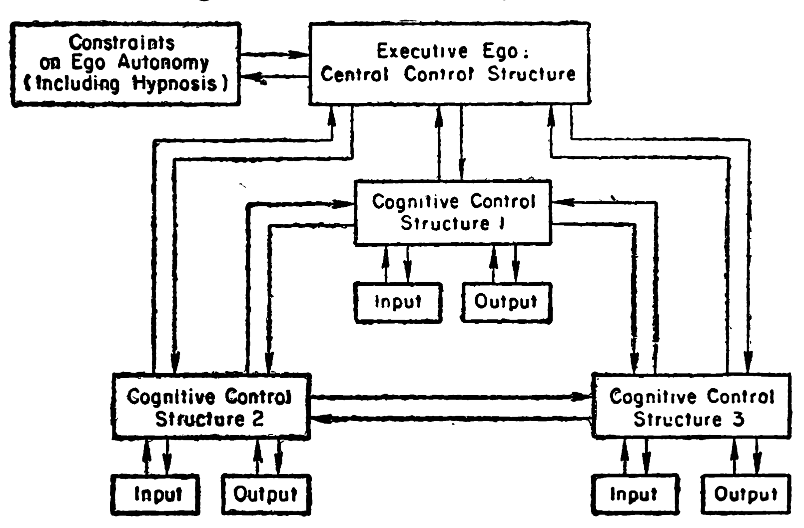


Figure 3. A conceptualization of subordinate cognitive control structures under the general control of an executive ego. The relative positions of the three structures represented is designed to indicate a hierarchical order

arranged in hierarchical order as suggested by their positions on the chart, each with its own appropriate inputs and outputs, and with multiple feedback relations among them all. At the top is an executive ego or central control structure that has the planning, monitoring, and managing functions that are required for appropriate thought and action. To avoid assigning too much independence to the executive and control structure, another box has been added to indicate that the executive system has constraints upon it. Within the hypnotic relationship one of the constraints is provided by the hypnotist who may

influence the executive processing in order to modify the hierarchical arrangements of the substructures, perhaps weakening some voluntary processes, facilitating some involuntary ones, or modifying perception of reality.

The nature of the central control structure is an important but troublesome problem. The extreme possibilities are that there is a very powerful central control (substituting for the older conception of a strong will), or that there is really none at all. If none, the hierarchy is determined by a competition among the parts for the control of a final common path, that which is stronger at any one moment, winning out over those that are weaker. For many years psychologists evaded the problem of a planning self, so that, in essence, the second of these alternatives was implicitly accepted. To the extent that man is controlled by his past conditionings and present external stimuli, what he does will be a compromise that adapts to the totality of the forces upon him. The idea of a control system, however, also finds contemporary expression. If one examines the concept of planning, it appears that a planner must be inferred. Even a simple matter such as making an appointment for a luncheon next week is negotiated with those involved, is written down and then acted upon at a later time. This planfulness controls the possible behavior on that later date quite effectively; alternative invitations are rejected, other competing interests are set aside in order to accept the assigned priority given to a plan made during the prior week. Appointments of this kind are kept with very high probability—perhaps as high as 90 percent of the time—so that the planning function must be taken seriously. It appears to control the hierarchical determination of specific behavior far in advance. The illustration is trivial, but its implications for central control are not.

Support for an executive function has come into the open from an unlikely source—the computer. Heuristic computer programs commonly have an executive program that monitors the computer's attempts to solve problems (e.g., Newell and Simon, 1972). If the computer sets out in one direction that goes on too long without reaching a solution, the executive calls a halt and a new direction is entered upon. This close analogy to what a thinker does makes the idea of an executive a plausible one.

The diagram of Figure 3 is useful as calling attention to some of the features of cognitive control systems, but it has to be developed in far greater detail in order to lead to decisive experimentation. For one thing, the indication of separate inputs and outputs for each system does not take into account that the organism has a limited set of receptors and effectors, and that the subsystems concerned with information processing will be in competition for the data provided by way of these common receptors. There is also a competition for the final common path leading to action, and for cognitive abilities that are limited. The experiments previously referred to on the conflicts between conscious and subconscious activities carried on simultaneously indicate some of these interferences not dealt with in the oversimplified diagram. I have attempted some further specifications in accounts not yet published (Hilgard, 1976a, 1976b).

Although the clinical observations on which the earlier dissociation theory rested remain important sources of information, and recent accounts of multiple personalities provide new and pertinent information, further laboratory experimentation can help in delineating more precisely the nature of the splits in consciousness that occur, and the control mechanisms that operate.

Amnesia doubtless plays a central role, and further studies of posthypnotic amnesia will be important in understanding what is happening (e. g., Cooper, 1972; Kihlstrom, 1975). Of course the amnesias owing to brain injury will also furnish leads as to the underlying processes (e. g., Whitty and Zangwill, 1966).

There is another variety of experimentally induced amnesia that may prove pertinent to an understanding of dissociation, one that goes by the name of s t a t e-d e p e n d e n t learning. If something is learned in one state, as while under the influence of a drug, it may be forgotten in the nondrugged state but recalled again in the drug state. This obviously classifies as a recoverable amnesia, and fits the pattern of dissociation, a term that is indeed used in classifying some drugs as more «dissociative» than others (Overton, 1972, 1973). One form of experimentation requires an animal to perform one act when drugged, another act when not drugged. For example, a rat can be taught to turn right in a T-maze under the influence of a drug and to the left in the normal non-drugged state. According to Overton (1973) drug discrimination can be established more rapidly than most sensory discriminations, and it is doubtful that the discriminations in the experiments described depend on the sensory consequence of the drugs being used. Instead, Overton believes that the differential responding may be based «on the dissociative barrier which impairs a transfer of training between the drug and no-drug conditions». The concept of dissociation that he is employing is consonant with that presented here, for there are two types of behavior control by way of information that is separately channeled when one cognitive system is dominant over the other, even though all incoming information has been stored somewhere.

Some human experiences are consonant with the state-dependent concept. There are infrequent reports of amnesia for behavior under alcohol when in the nonalcoholic state, recalled again when intoxicated. There are many reports of amnesias for conversations carried out while under the influence of drugs such as thiopental (trade name Sodium Pentathol), but few serious efforts have been made to find whether or not the memories are recoverable. In one such study some slight recovery was shown through the use of hypnosis, but the results were not dramatic (Osborn and others, 1967). There have indeed been some reports of things said by the surgeon while the patient was in a deep state of chemoanesthesia when later tested by hypnotic methods (Cheek, 1966; Levinson, 1965). In these experiments the drugs were responsible for the primary dissociation, and hypnosis was used merely as a method of inquiry to determine whether or not the amnesia produced was recoverable. A further understanding of amnesia in all its forms will doubtless illuminate the problems connected with dissociations of several kinds.

The upsurge of interest in selective attention and divided attention should

also throw light on the problems. For example, the present controversies over the interaction of two channels of information, as in the studies of dichotic listening, are relevant to the dissociation problem. The filter theory of Broadbent (1958) proposed that the suppressed channel of information was filtered out before any registration had cccurred. In that case there would be no dissociation as we have described it, because there would be no recoverable information from the suppressed channel. An alternative position was taken by Deutsch and Deutsch (1963), who proposed that all the incoming information is processed in some kind of recognition system, but the concealed information is diverted prior to conscious perception. Their interpretation is coherent with the neodissociation theory, because the unavailable information is in fact stored and, under appropriate conditions might be retrieved. That would then fit the interpretation of some fraction of the incoming information as dissociated. There is a large literature bearing on these problems (e. g., Kahneman, 1973; Moray, 1970; Norman, 1969), and agreement has not yet been reached. Because of the diverging interests of those experimenting on attention, the relationship to dissociation concepts has not been explored by them, although it is evidently pertinent.

Investigations of attention characteristically study the division of attention between tasks, because a central problem is that of parallel versus serial processing of simultaneous inputs. Kahneman (1973) has pointed out that there has been some neglect of capacity models that should explain how, when there is enough cognitive capacity, more than one cognitive activity can be engaged in, but if the task requires too much cognitive effort it excludes others. Such considerations are obviously relevant to the hypnotic dissociation experiments in which simultaneous tasks are attempted. As pointed out, when the tasks are more difficult, putting capacity under strain, there is more interference between them. Although he was writing in a very different context, it is evident that this is just what the Kahneman interpretation would require.

It is the simple observation that we do more than one thing at a time— all of the time — that gives rise in the first place to dissociation-type theories. The examples from psychopathology, from experimentally studied recoverable amnesia, and from divided attention in simultaneously presented tasks, show that a neodissociation theory can serve as a focus for integrating our knowledge of multiple cognitive functioning, provided that it is stated with sufficient precision to go beyond description and is stated as a theory subject to experimental test and experimental refinement. The theory as proposed here is in its earliest stages, and is far from satisfactory, but it is hoped that its possibilities have been made manifest by calling attention to the wide range of data to which a more refined theory will be applicable.

Summary

The neodissociation theory represents a contemporary version of the classical theory of Janet. The early evidence, and more recent evidence as well, rests clinically upon the existence of multiple personalities, of which one may

be amnesic for the other. The experimental evidence rests largely on studies of task interference through automatic writing, when a conscious task is performed while the other is subconscious. Experiments on hypnotic analgesia have shown a distinction between the overt report («little or no pain») and the covert report («considerable pain»), the latter obtained either through automatic writing or related automatic talking. Some differences between hypnotic dissociation and psychoanalytic repression are noted.

REFERENCES

ALLISON, R. B. (1975) A new treatment approach for multiple personalities. American Journal of Clinical Hypnosis, 17: 15—32.

BOWERS, K. S. (1975) Responding to unattended information: Is it affected by hypnotizability or by a posthypnotic suggestion? Paper presented at meeting of Society for Clinical and Experimental Hypnosis, Chicago, Ill.; October 10, 1975.

BROADBENT, D. (1958) Perception and Communication. London: Pergamon.

CHEEK, D. (1966) The meaning of continued hearing sense under general chemo-anesthesia: A progress report and report of a case. American Journal of Clinical Hypnosis, 8: 275-280.

CLEMES, S. R. (1964) Repression and hypnotic amnesia. Journal of Abnormal and Social Psychology, 69: 62—69.

COOPER, L. M. (1972) Hypnotic amnesia. In Fromm, E., and Shor, R. E. (Eds.) Hypnosis: Research developments and perspectives. Chicago: Aldine-Atherton, 217—252.

CUTLER, B., and REED, J. (1975) Multiple personality: A single case study with a 15-year follow-up. Psychological Medicine, 5: 18—26.

DEUTSCH, J. A., and DEUTSCH, D. (1963) Attention: Some theoretical considerations. Psychological Review, 70, 80—90.

GRUENEWALD, D. (1971) Hypnotic techniques without hypnosis in the treatment of a dual personality. A case report. Journal of Nervous and Mental Disease, 153: 41—46.

HART, B. (1929) Psychopathology (2nd. Ed.) Cambridge, England: Cambridge University Press.

HILGARD, E. R. (1973) A neodissociation interpretation of pain reduction in hypnosis. Psychological Review, 80: 396—411.

HILGARD, E. R. (1976) Neodissociation theory of multiple cognitive controls. In Schwartz, G. E., and Shapiro, D. (Eds.) Consciousness and Self Regulation. New York: Plenum Press (in press).

HILGARD, E. R. (in preparation) A Neodissociation Theory of Human Cognitive Controls. New York: Wiley.

HILGARD, E. R., and HILGARD, J. R. (1975) Hypnosis in the Relief of Pain. Los Altos, Calif. William Kaufmann.

HILGARD, E. R. MORGAN, A. H., and MACDONALD, H. (1975) Pain and dissociation in the cold pressor test: A study of hypnotic analgesia with «hidden reports» through automatic key-pressing and automatic talking. Journal of Abnormal Psychology, 84, 3, 280—289.

JAMES, W. (1890) L'Automatisme psychologique. Paris: Alcan.

KAHNEMAN, D. (1973) Attention and Effort. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

KIHLSTROM, J. F. (1975) The effects of organization and motivation on recall during post-hypnotic amnesia. Dissertation, Dept. of Psychology, Univesrity of Pennsylvania.

KNOX, V. J., CRUTCHFIELD, L., and HILGARD, E. R. (1975) The nature of task interference in hypnotic dissociation. International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis, 23: 305—323.

LEVINSON, B. W. (1967) States of awareness during general anesthesia. In Lassner, J. (Ed.) Hypnosis and Psychosomatic Medicine. New York: Springer-Verlag, 200-207.

LUDWIG, A. M., BRANDSMA, J. M., WILBUR, C. B., BENDFELDT, F., and JAMESON, D. H. (1972) The objective study of a multiple personality. Archives of General Psychiatry, 26: 298—310.

MESSERSCHMIDT, R. (1927-1928) A quantitative investigation of the alleged independent operation of conscious and subconsious processes. Journal of Abnormal and Social Psychology, 22: 325-340.

MORAY, N. (1970) Attention: Selective Processes in Vision and Hearing. New York: Academic Press.

NORMAN, D. A. (1969) Memory and Attention: An introduction to human information processing. New York: Wiley.

OSBORN, A. G., BUNKER, J. P., COOPER, L. M., FRANK, G. S., and HILGARD, E. R. (1967) Effects of thiopental sedation on learning and memory. Science, 157: 574-576.

OVERTON, D. A. (1972) State-dependent learning produced by alcohol and its relevance to alcoholism. In Kissin, B., and Begleiter, H. The Biology of Alcoholism. Vol. 2. New York: Plenum Press.

OVERTON, D. A. (1973) State-dependent learning produced by addictive drugs. In Fisher, S., and Freedman, A. M. (Eds.) Opiate addiction: Origins and treatment. Washington, D. C. : Winston.

PRINCE, M. (1906) The Dissociation of a Personality. New York: Longmans, Green.

NEWELL, A., and SIMON, H. A. (1972) Human Problem Solving. Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall.

SCHREIBER, F. R. (1973) Sybil. Chicago: Regnery.

STEVENSON, J. H. (1976) The effect of posthypnotic dissociation on the performance of interfering tasks. Journal of Abnormal Psychology (in press).

STOLLER, R. J. (1973) Splitting: A case of female masculinity. New York: Quadrangle.

THIGPEN, C. H., and CLECKLEY, H. M. (1957) Three faces of Eve. New York: McGraw Hill.

WHITTY, C. W. M., and ZANGWILL, D. L. (Eds.) (1966) Amnesia. New York: Appleton-Century-Crofts.

196

ГИПНОЗ КАК МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

В. Л. РАЙКОВ, О. К. ТИХОМИРОВ

МГУ, факультет психологии

Проблема

Опыты по внушенной регрессии возраста в гипнозе, описанные еще Крафт-Эбингом [2] и Платоновым [4], можно, очевидно, рассматривать (наряду с методом фиксированной установки и постгипнотическим внушением) как один из приемов исследования бессознательного. В этих опытах обычно изучается поведение загипнотизированного, и их успешность связывается, как правило, со степенью отражения внушаемого в гипнозе возраста в осознаваемом прошлом опыте испытуемого [1, 50]. В наших экспериментах было показано, что в отдельных случаях в глубоком гипнозе возможно воспроизведение даже некоторых объективных реакций и рефлексов самого раннего детского возраста, которые невозможно воспроизвести и разыграть без гипноза [5, 371—372].

В настоящей работе мы продолжили и углубили серию этих исследований. С помощью специальной методики перехода из одного варианта гипнотического состояния в другой нам удалось добиться возможности словесного анализа загипнотизированным состояния раннего детства, внушенного ему в предыдущем опыте.

Касаясь современного анализа возрастной регрессии в гипнозе, необходимо отметить, что одним из самых серьезных возражений в оценке объективности этого состояния является теоретическое положение М. Т. Орна [10]. При возрастной регрессии, считает этот автор, поведение и реакции испытуемых не основываются на реальном воспроизведении внушенного возраста — здесь возникает феномен лишь внушенных галлюцинаций. С этой позиции можно легко объяснить противоречивость экспериментальных данных, накопленных в течение многих лет различными авторами в области исследования возрастной регрессии. Любые переживания в подобных опытах могут интерпретироваться как галлюцинарные гипнотические внушения, основанные на представлении испытуемого об особенностях поведения во внушенном состоянии.

Даже если состояние внушенного раннего детства и гипнотической новорожденности сопровождается у взрослых испытуемых дискоординированными движениями глазных яблок и появлением ряда детских ранних рефлексов, то и подобные феномены можно пытаться объяснять как проявление объективности действия галлюцинаций гипнотического характера, а не как подлинное переживание регрессии.

Оценивая такой подход, необходимо иметь в виду, что гипнотическое состояние необычайно полиморфно и действительно может включать ситуации, при которых испытуемый разыгрывает какое-то действие в свя-

зи со своим представлением о нем. Вторая сложность заключается в том, что глубина гипнотического состояния может быть различна. Например, при внушении взрослому регрессии пятилетнего возраста в не слишком глубоком гипнозе результат не будет однозначным. С одной стороны, испытуемый остается взрослым, с другой же он в какой-то степени может ощущать себя пятилетним, например чувствовать, что у него стали маленькие руки и ноги, изменился голос и т. д. Однако его мышление и самооценка остаются при этом характерными для взрослого, остается «взрослое» самосознание. Наиболее логична, на первый взгляд, оценка подобного состояния как варианта своеобразной актерской игры.

Однако нам представляется, что к понятию игры подобное состояние не имеет отношения, так как ни гипнолог, ни испытуемый не задаются целью ставить специальный эксперимент игры. А если возникает игра на неосознаваемом уровне, то, очевидно, необходимо называть получаемое состояние как-то иначе. При описанном варианте мы наблюдаем сложный эффект расщепления состояния сознания. Возникает как бы сосуществование двух сознаний с доминирующим самосознанием взрослого, бодрствующего человека. Теоретически и практически испытуемый, конечно, может использовать свой бодрствующий контроль взрослого для подыгрывания гипнологу, но этот же контроль может быть использован для подавления детских реакций.

При анализе подобных состояний представляет интерес позиция Э. Фромма [7, 119—131], который рассматривает гипнотическую возрастную регрессию как состояние, при котором должна произойти временная функциональная блокада части позднейшего опыта. Этим, на наш взгляд очень точным, положением подчеркивается необходимое условие реализации возрастной регрессии в гипнозе и указывается на невозможность сосуществования взрослого бодрствующего сознания и самосознания с сознанием внушаемого раннего возраста.

Разработанный нами метод исследования состояния внушенной регрессии возраста основан на расширении возможностей сознательного описания только что пережитых субъектом бессознательных состояний. В качестве модели бессознательного состояния мы решили использовать внушенную в гипнозе «новорожденность», так как возможности актерского разыгрывания этого состояния чрезвычайно ограничены. Мы также решили создать такие условия в эксперименте, когда оценка этого состояния раннего детства будет осуществляться испытуемым при переходе из одного варианта гипнотического состояния в другой.

Эксперимент включал в себя четыре серии:

I серия — внушение возрастной регрессии новорожденности загипнотизированному взрослому и исследование неврологических рефлексов и симптомов полученного состояния.

II серия — внушение тому же испытуемому состояния юношеского возраста (18 лет), — технический прием, который позволяет изменить состояние испытуемого, оставляя его в состоянии гипноза, но возвращая к взрослому возрасту. Эта серия опытов ставилась сразу после первой, и испытуемому внушалась необходимость вспомнить и описать, как он чувствовал себя «новорожденным» несколько минут назад.

III серия — опыт, проходивший спустя один-два дня с теми же испытуемыми. Эксперимент заключался в активизации творческих, артистически-игровых возможностей испытуемых. Им внушалась возможность и необходимость разыгрывания, как роли в гипнозе, состояния новорожденности. Для этой цели мы предложили уже опробованную нами

методику внушения образа «другой личности» — образа актера, который должен хорошо справиться с задачей «актерской» игры регрессии. Испытуемым внушалась при этом необходимость максимально мобилизовать и использовать свои актерские возможности для максимальной выразительности гипнотической игры.

Мы рассчитывали таким образом получить контрольный опыт, который будет удовлетворять галлюцинаторной подлинности, указанной Орном, и одновременно — необходимости разыгрывать состояние по воображению. Такой прием явился бы новым подходом к контрольному опыту, так как в последнем будут последовательно иметь место не бодрствующее и гипнотическое сознание, как при неглубоком гипнозе, а сформированное гипнотически сознание «актера», разыгрывающего роль новорожденного, при «функциональном» блокировании собственного бодрствующего самосознания. Это — более совершенный вариант контрольного опыта по сравнению с контрольным разыгрыванием в обычном бодрствующем состоянии, так как он должен наиболее полно удовлетворить защитников теории «роли» в оценке состояний гипнотической регрессии. Испытуемые находятся в состоянии галлюцинаторной гипнотической трансформации личности и одновременно разыгрывают роль по специальному заданию гипнолога. Кроме того, повышение уровня притязания при внушении образа повышает, по нашим данным, способность испытуемых к творчеству, а разыгрывание «гипнотическим актером» новорожденности и есть артистический творческий процесс [6].

IV серия — опыты проводились отчасти с прежними, отчасти с новыми испытуемыми, произвольно разыгрывавшими (симулировавшими) состояние «новорожденности» без гипноза. Все испытуемые были гипнабильны.

Экспериментальное исследование

В опыте участвовало четверо глубокогипнабильных испытуемых, которые при гипнотической регрессии были в состоянии давать элементы неврологической симптоматики, соответствующей возрасту новорожденности. Это были студенты, добровольно участвовавшие в опыте,—двое мужчин, 27-ми и 19-ти лет, и две женщины по 26 лет. В первой серии опытов испытуемым внушалась гипнотическая регрессия новорожденности по описанной нами методике, когда мы имели возможность наблюдать и исследовать некоторые объективные проявления внушенного состояния: плавания глазных яблок, сосательный рефлекс, хаотические движения конечностей, хватательный рефлекс и т. д.

В первой и второй сериях экспериментов на 3 испытуемых было проведено 9 попыток регрессии внушенной новорожденности и 18-летнего возраста. В третьей серии — пять опытов с теми же тремя испытуемыми. Приводим характерные выдержки из протоколов.

Первый эксперимент с первым испытуемым (Р. А.) включал в себя три серии. Испытуемому было внушено состояние новорожденности, а затем — взрослого возраста 18 лет, с внушением вспомнить гипнотическую новорожденность.

I попытка: описывается неосмысленное движение чего-то белого, которое «накладывалось друг на друга». Предметы не опознавались, фиксировалось только движение, не имеющее четких границ и очертаний (этому соответствовало плавание глаз). Во рту было сладко (имело место вызывание сосательного рефлекса). Акт сосания субъективно

Протокол экспериментов с испытуемым Р. А.

	I серия	II серия	III серия
Испытуемые	Неврологические симптомы в гипнозе с состоянием новорожденности	Описание воспоминания внушенного состояния новорожденности с позиции также внушенного 18-летнего возраста	Состояние разыгрывания роли новорожденного при внушении образа великого артиста
Р. А.	Симптом плавания глаз Сосательный рефлекс Хватательный рефлекс Детский плач без слез Хаотические движения конечностей Эти неврологические симптомы повторялись во всех трех попытках.	I попытка: Все в стороны... белое накладывается друг на друга... во рту сладко, приятно. II попытка: Все плывет... плывет... стянутый... чей-то голос не понимаю... в стороны все разбегается, что-то белое наверху с черным пятном и голосом, хочется спрятаться, сжаться в комок и нельзя, не пускают. III попытка: Ножки маленькие бегут. Ручки хотят сжаться, большой рот надо мной что-то говорит и все время бегает в сторону, надо вертеть головой, чтобы увидеть, пальцы не слушаются, сами сжимаются. Весь маленький.	Я... великий артист С., когда играл новорожденного: I попытка: Расплывчатые очертания предметов, бестелесность, потолок, дрожание пальцев рук, бессловесность полная. Нет ничего, в голове бессмысленность, нет сознания себя как личности. Я — внешний мир, тождественен с ним и не отделен от него. II опыт: Видел предметы, но не понимаю, не знаю, как их назвать, как сказать, только вижу и забываю, хочется развернуть ручки в стороны, какой-то гнев, гнев от непонимания. Знаю, что я в опыте и не могу ничего сделать. Неврологические симптомы: из рефлексов наблюдался сосательный рефлекс и слабое попискивание, хватательного рефлекса не было, симптом плавания глаз отсутствовал.

Протокол экспериментов с испытуемым Т. К.

	I серия	II серия	III серия
Т. К.	Во всех попытках наблюдались: Сосательный рефлекс Симптом плавания глаз Хватательный рефлекс Хаотические движения отсутствовали	I попытка: Испытуемая ничего не написала. II попытка: По-моему, сосала пустышку, ничего не видела. III попытка: Сначала темно, потом светло. IV попытка: Видела что-то вроде зигзага в глазах, красного цвета.	I опыт: «Представляла как будто бы у меня пустышка во рту. После открытия глаз увидела какие-то блики и затем увидела рядом человека. Видела рубашку, очки, слышала голос, понимала». Имел место сосательный рефлекс.

не вспоминался испытуемым, фиксировался только результат — сла́дко. Больше в первый раз испытуемый ничего не написал.

II попытка: на этот раз впечатления более богатые. Испытуемый говорит, что слышал чей-голос, но не понимал, что говорят, опять все движется, но уже «плавает». Ощущение позы — «стянут». Появились эмоции: «хочется сжаться в комок и нельзя, не пускают».

III попытка проходит так же. Еще более дифференцированное состояние: воспоминание о движении ручек и ножек, неуправляемость их движений: «ручки хотят сжаться, пальцы сами сжимаются» (субъективная оценка хватательного рефлекса).

Воспоминание, что видел чей-то рот, который «говорит и убегает, надо вертеть головой, чтобы увидеть». Глаза испытуемого в этот момент совершали дискоординированные движения и субъективная интерпретация получалась в этом случае особенно интересная. С позиции своего восемнадцатилетнего возраста испытуемый оценивает свои размеры как «весь маленький».

Анализ полученных результатов достаточно сложен. В первой попытке ощущение неясных движений, неспособность выделить ни себя, ни окружающее. Чувство сладкого во рту при провокации сосательного рефлекса. Эти ощущения могут, очевидно, более или менее точно отражать внушенное состояние.

Во время второй попытки возникает первая элементарная оценка реакций новорожденности, наблюдается интересное разобщение между рефлекторной деятельностью и попыткой ее описать и зафиксировать элементарные эмоции. Разобщение было специально внушено необходимостью во что бы то ни стало вспомнить, зафиксировать, обозначить и оценить ощущение реакций в гипнозе. Испытуемый с помощью интеллекта взрослого как бы искусственно отражал, исследовал, фиксировал состояние на уровне рефлекторной деятельности.

Описание экспериментов III серии гипнотического разыгрывания новорожденности, при ощущении образа артиста, сразу показывает иное состояние и иную его оценку. Во-первых, сразу замечается отсутствие «плавания» глаз, хватательного рефлекса и хаотических движений, которые наблюдались в первом опыте. Имел место сосательный рефлекс и слабое попискивание. Восприятие предметов конкретное — «потолок»,— хотя и «расплывчатого очертания». Сознательная оценка как полной бессмысленности «я — внешний мир, тождественный с ним и неотделенный от него», «нет сознания себя как личности». Приводится сложный, почти философский анализ состояния связи с миром при переживании выраженного затруднения восприятия и самооценки. Это—взгляд высокоинтеллектуального человека, «актера» и, что с нашей точки зрения очень важно, взгляд человека на свое состояние как бы со стороны. Интересно эмоциональное ощущение гнева и раздражения при невозможности назвать и определить предметы, которые испытуемый в роли актера хочет видеть, но очень быстро забывает. Самое важное, что «актер»-испытуемый сталкивается с какими-то процессами невозможности до конца управлять разыгрываемым состоянием и испытывает гнев и раздражение в связи с этим. Состояние в известной степени напоминает моторную афазию, человек в какой-то мере осознает ситуацию и не может ее выразить.

Субъективный анализ разыгрывания новорожденности в гипнотической роли актера отличается от анализа действительной регрессии и в оценке рефлекторной активности, и в более осознанной интерпретации себя как «гипнотического актера». Имеет место и принципиально дру-

гой подход при описывании ощущений и самого состояния: испытуемый осознает экспериментальность гипнотической игры как актер, но не как бодрствующий человек и не с позиции собственного «Я». В этих экспериментах III серии он пытается как-то внутренне освободиться от навязанной роли новорожденного и состояния «бессмысленности». В то же время в опытах I и II серии без экспериментального разыгрывания нет ощущения экспериментальной ситуации. Испытуемый оценивает как подлинные внушенные ему состояния и при вторичном опыте второй серии анализирует это внушенное состояние новорожденности спокойно.

Нам представляется очевидным, что приведенные выше картины гипнотической игры не аналогичны картинам игры бодрствующего человека. Анализ ощущений не является чисто внешним. Это, так сказать, особая игра в состоянии измененного сознания. Не исключено, что испытуемые опираются на элементы ощущений предшествующих гипнотических опытов с внушением «подлинных» переживаний новорожденности. Опыт происходит с галлюцинаторными переживаниями двойного характера: образа актера, ситуации игры и осознания «актером» экспериментальной ситуации «новорожденности», но именно как актером, а не как испытуемым.

У испытуемой О. А. проявилась интересная деталь при гипнотическом разыгрывании в III серии. Ей был внушен образ известной актрисы, которой надо сыграть роль новорожденной. Она долго отказывалась и первой ее фразой при проведении эксперимента была: «Чувствовала полное отключение от внешнего мира. Я заставила себя перевоплотиться в младенца. Мне хотелось плакать, даже, по-моему, хотелось молока. Мне казалось, что я неудобно лежу, я ощущала некоторое неудобство в своем положении». Неврологически: глазные яблоки двигались синхронно, сосательный рефлекс был, хватательный отсутствовал. При прямом внушении новорожденности были все детские рефлексы, описанные у первого испытуемого.

В этом эксперименте уже первый предварительный анализ показывает, что описание опытов III серии более внешнее и поверхностное, чем при анализе основного опыта II серии. Однако при анализе «игровой ситуации» в гипнозе обращает на себя внимание большая степень «концентрации внимания, полное отключение от внешнего мира».

Контрольные эксперименты IV серии имели цель выявить отличие игры гипнотической от игры сознательной, произвольно, вне суггестивного опыта. В опыте участвовало двое испытуемых: один из них, Р. А., принимал участие в экспериментах гипнотической новорожденности и гипнотическом разыгрывании новорожденности. Другая испытуемая, Л. А., принимала участие в других гипнотических опытах, но ей никогда не внушалось состояние раннего детства.

Как отметил Р. А.: «Представить себе образ младенца (без гипноза) очень трудно, слишком большие руки и ноги, не знаю, куда их девать, они не помещаются в коляску». Испытуемый понимает, что надо плакать, как это полагается маленьким, но это кажется его «взрослому сознанию» неестественным, какой-то «бас вместо писка». При попытке вызвать сосательный рефлекс вдруг возникло некоторое оживление в ощущениях. «Я вдруг понял, как надо на это реагировать, появился слабый писк, руки и ноги задвигались»... Однако движения рук и ног целенаправленны, ритмичны и напоминали движение человека, плавающего на спине и не были похожи на движения хаотического характера, как это имело место в гипнотическом эксперименте. «Я делал эти движения в соответствии со своими представлениями о мла-

Серия IV

Внегипнотический опыт

Л. А.	Р. А.
Очень трудно сосредоточиться на такой цели. Пыталась представить себя новорожденной, но это как-то уплывало. Представляла движение руками и ногами, хотя руки и ноги не двигались. Чувствовала, что Вы касаетесь пальцем губ и не знала, что должна делать. При открытии глаз видела Вас, хотелось быстро закончить опыт, поэтому сама его прекратила. Объективно сосательного, хватательного рефлексов не было, плач без слез не наблюдался.	Очень трудно представить себе образ младенца, мешают, например, большие руки и ноги, которые не помещаются в воображаемую коляску, Надо бы кричать, но это кажется неестественным, какой-то бас вместо писка. Когда доктор дотронулся пальцем до губ, я вдруг почему-то понял, как надо на это реагировать. Это помогло как-то лучше войти в образ. Появился слабый писк, и руки, ноги задвигались. Однако я осознавал это движение, понимал, что играю младенца, и поэтому делал это в соответствии со своим представлением о младенчестве. Когда доктор открыл мне глаза, отчетливо видел его, сознавал все его действия. Объективно: движение рук и ног, как во время плавания, но не как у новорожденного. Сосательный рефлекс есть, плавание глаз не наблюдается.

денчестве, осознавал эти движения, понимал, что играю»... При открытии глаз отчетливо видел гипнолога, сознавал его действия. Объективно движения рук и ног не носили характера движений, соответствующих новорожденным. Сосательный рефлекс ярко выражен, плавание глаз и хватательный рефлекс отсутствовали.

Таким образом, испытуемый дал свое третье «интервью» и это его высказывание, заметно отличающееся от первых двух, иллюстрирует полный контроль его сознания над выполняемыми действиями. Возможно, что вызывание сосательного рефлекса каким-то образом могло в качестве «рефлекторного акта» оживить что-то из прежних эпизодов гипнотического опыта. Однако это лишь предположение.

Еще более характерно описание попытки изобразить, сыграть новорожденность у испытуемой Л. А. «Не знала, что делать», попытка сконцентрировать внимание на представляемом образе оказалась неудачной: «это как-то уплывало».

Подводя итоги экспериментам, следует заметить, что словесная методика субъективного анализа в сочетании с анализом неврологических рефлексов создает возможность решения поставленной задачи исследования. С одной стороны, мы получили убедительное доказательство, что по крайней мере для некоторых вариантов глубокого гипноза истолкование с позиции артистической игры исключается. С другой нам удалось в процессе опытов опробовать новую методику в изучении «бессознательного».

Обсуждение

Анализ состояния внушенной новорожденности с использованием методики последующей вербальной самооценки загипнотизированным своего состояния можно рассматривать как один из методов исследования бессознательного.

Очевидно, что возрастная регрессия в гипнозе может иметь сложную природу. Испытуемый может опираться на свое представление о внушенном состоянии. Эта позиция хорошо отражена в литературе [11]. Есть также указания, что в некоторых случаях состояние возрастной регрессии является как бы комбинированным, когда элементы игры интегрируются с элементами действительно переживаемого возраста [9]. С другой стороны, высказывается мнение, что испытуемый может опираться во время гипнотической регрессии на реально существовавшие эпизоды и состояния, имевшие место в раннем детстве, и с той или иной степенью достоверности воспроизводить их [8, 5].

В нашем исследовании было показано, что загипнотизированный в состоянии гипнотической регрессии в I и II сериях может воспроизводить некоторые реальные элементы подлинного состояния новорожденности и оценивать их с позиции взрослого человека. Для успешности эксперимента у испытуемого было специально сформировано новое гипнотическое сознание. В опыте происходило как бы внедрение, вмешательство опыта взрослого и сознания, сформированного в гипнозе, в переживание также внушенного в гипнозе детства. Таким образом, в нашем опыте осуществлялось запланированное «подыгрывание», но не представлений о детстве у взрослого, как это обычно описывают, а гипнотически вызванного взрослого сознания и самооценки, направленных на внушенное детское состояние в регрессии.

В этой связи положение Орна о том, что игра в состоянии глубокого гипноза с галлюцинаторной интерпретацией личности является особым состоянием, приобретает новый экспериментальный и теоретический смысл. Это хорошо видно из описанного нами феномена «двух гипнотических сознаний», так как именно при нем осуществляется гипнотическая игра в чистом виде — в условиях глубокого гипноза без конкуренции и влияния бодрствующего сознания. В наших экспериментах показано, что гипнотическая игра не заменяет состояние «подлинной» внушенной регрессии, что моменты «игровой» оценки состояний носят всегда вторичный характер. У испытуемого возникают рефлекторные реакции гипнотической новорожденности, и в некоторых случаях при специальных приказах «оценить, описать, проанализировать, вспомнить» ситуацию он может галлюцинаторно их интерпретировать и даже придумывать ситуацию для их объяснения. Например, М. Л., оценивая вызывание у него сосательного рефлекса, рассказал, что «кто-то, кажется, папа, издевался над ним, пользуясь тем, что он маленький, то давал, то отбирал соску».

В то же время при гипнотической игре как таковой, в III серии опытов, когда представления и переживаемые образы и галлюцинации являются первичными для воспроизведения новорожденности, реализация последней происходит в несравненно меньшем объеме и в области рефлекторных реакций, и в психологической субъективной самооценке. Испытуемые во время гипнотической игры в III серии оценивают свое состояние как экспериментальное, но с позиции внушенного образа актера, а не с позиции своего собственного самосознания. Эти же испытуемые при оценке «подлинной» гипнотической регрессии во II

серии не определяют свое состояние как экспериментальное. При гипнотической игре (III серия) испытуемые относятся к себе с известной долей критики с позиции своего взрослого гипнотического «актерского» сознания. Здесь отчетливо прослеживается, как детские переживания и реакции как бы накладываются на «взрослое состояние».

Гипнотическую игру, имевшую место в III серии, целесообразно, по-видимому, рассматривать как особое состояние, которое сопровождается некоторыми специфическими чертами, требующими дальнейшего изучения. Мы предлагаем для него название «игровая регрессия в гипнозе». Несмотря на то, что при игровой регрессии внушается образ актера и специально подчеркивается возможность и даже необходимость максимального проявления артистического эффекта, при внушении «подлинной регрессии» экспериментальные достижения приносят больший результат, более близко воспроизводят элементы действительной новорожденности. Мы полагаем поэтому, что полученные нами результаты не согласуются с концепцией, по которой гипнотическая регрессия возраста — это всегда только игра в той или иной форме.

На вопрос об оценке гипнотической регрессии как таковой, о степени ее подлинности и близости к реальному возвращению во внушенный возраст нужно, видимо, ответить, что происходит, действительно, какое-то частичное воспроизведение некоторых бессознательных реакций и рефлексов новорожденного на фоне временного функционального блокирования самооценки испытуемым себя как взрослого человека. Однако эта реальность обусловлена реальностью гипнотического состояния и сохраняет все отличительные его особенности. Необходимо прежде всего считаться с возможностью влияния бодрствующего самоконтроля при неглубоком гипнозе и отграничивать изучаемый феномен от обильных галлюцинаций, являющихся иногда продуктом глубокого гипноза. Необходимо считаться с неустойчивостью, недостаточной стабильностью гипнотического опыта вообще, успешность проведения которого зависит от многих чисто внешних причин. Нужно смириться с необходимостью строгой селекции испытуемых для отбора наиболее внушаемых, которые могли бы обеспечить достаточную чистоту и, главное, повторяемость эксперимента.

В настоящее время весьма многие полагают, что человек не в состоянии вспомнить и тем более воспроизвести свои переживания раннего детства до появления речи и сознания. Однако следует помнить, что существует по крайней мере два достоверных свидетельства выдающихся людей, ставящих эту точку зрения под сомнение. Общеизвестно, например, утверждение Льва Толстого, что он помнил, как его пеленали в младенчестве, и это ему очень не нравилось. Он чувствовал, что весь стянут, не может двигаться и никак не может выразить свое состояние возмущения по этому поводу, ничего не может сказать. Второе свидетельство известного мнемониста Ш., который обладал феноменальной зрительной памятью, выходящей даже за рамки эйдетической памяти. Специальные исследования показали, что он мог вспомнить бессмысленный набор слогов и цифр в каком-либо эксперименте спустя десятки лет после его проведения с абсолютной точностью. Существует протокол опыта, проведенного 16/XI 1934 г., когда испытуемый вспоминал состояние раннего детства до года: «Мать я воспринимал до того, как я начал ее узнавать, «это хорошо». Нет формы, нет лица, есть что-то, что нагибается и отчего будет хорошо... Это приятно... Сначала вы ничего не различаете, только круглое облачко, пятно, потом появляется лицо, черты лица начинают приобретать резкость»... Вот мама —

это светлый туман... Мама и все женщины — это что-то светлое... и молоко в стакане, и белый молочник, белая чашка... это все, как белое облако»... Исследовавший испытуемого психолог полагает, что в рассказах Ш. есть что-то настоящее, возвращающее к далеким годам раннего детства [3]. Трудно отделаться от ощущения, что есть также что-то общее между некоторыми высказываниями наших испытуемых и последним протоколом. Это сходство подчеркивается еще более удивительным образом, когда выясняется, что Ш., помимо своей удивительной памяти, обладал также удивительной внушаемостью и самовнушаемостью, в частности способностью к регуляции сердечной деятельности, температуры тела, способностью ослаблять или полностью снимать болевые ощущения и т. д. Ведь все описанные явления достаточно легко вызываются в глубоком гипнозе.

Подводя итоги проделанной работе можно заключить:

1. Состояние внушенной гипнотической новорожденности не может рассматриваться с позиции теории артистической игры.

2. Предложенный нами метод «гипнотической игры» сопровождается внушением испытуемому образа известного актера с целью проявления максимальных способностей разыгрывать, стимулировать требуемое состояние (в нашем случае новорожденности).

Этот метод может служить контрольным экспериментом в любом гипнологическом исследовании, так как процесс контроля осуществляется в глубоком гипнозе при глубокой трансформации самосознания и дает возможность сравнивать не качественно разные состояния, бодрствование и состояние при гипнотически измененном сознании, а одинаковые — два разных гипнотических «сознания».

3. Применение субъективного словесного анализа при гипнотически сформированном сознании в сочетании с контрольным гипнотическим экспериментом и анализом рефлекторной активности является новым методом изучения бессознательного состояния внушенной новорожденности у взрослого.

ON ONE METHOD OF EXPERIMENTAL STUDY OF THE UNCONSCIOUS

V. L. RAIKOV, O. K. TIKHOMIROV

Moscow State University, Department of Psychology

SUMMARY

The studies presented in the paper constitute one of the methods for investigating reactions of early childhood preconscious states simulated with adult Ss under the condition of deep hypnosis and analyzing subjective verbal reports and observed neurological reactions. A special version of hypnotic control test is recommended in which the transformation of the Ss' self-consciousness permits to carry out control studies without rousing the Ss from hypnosis.

ЛИТЕРАТУРА

1. ДОЛИН А. О., Проба физиологического анализа элементов индивидуального опыта личности. Архив биологических наук, т. 36, серия Б, в. I, 1934.

2. КРАФТ-ЭБИНГ, Гипнотические опыты. Перевод с немецкого, Харьков, 1927.
3. ЛУРИЯ А. Р., Маленькая книга о большой памяти, М., 1970.
4. ПЛАТОНОВ К. И., Слово как физиологический и лечебный фактор, Москва, 1957.
5. РАЙКОВ В. Л., Гипноз и резервные возможности человека. Вопросы клиники, патогенеза и терапии психических заболеваний, Москва, 1972, IX, стр. 371—372.
6. ТИХОМИРОВ О. К., РАЙКОВ В. Л., БЕРЕЗАНСКАЯ Н. Б., Психологические исследования творческой деятельности. Изд. Наука, Москва, 1975.
7. FROMM, E., Spontaneous autohypnotic age regression in a nocturnal dream. Int. J. Clin. Exp. Hypnosis, 1965, 13.
8. FROMM, E., Age regression with unexpected reappearance of a repressed childhood language. Int. J. Clin. Exp. Hypnosis, 1970, 18, № 2.
9. HILGARD, E. R., Hypnotic Susceptibility, N. Y., 1965.
10. ORNE, M. T., The mechanisms of hypnotic age regression: an experimental study. J. Abnorm. Soc. Psychol., 1951, 46.
11. SARBIN, T. R., Mental changes in experimental regression. J. Pers., 1950, 19.

197

PSYCHOSOMATIQUE EXPERIMENTALE LA VESICATION

LÉON CHERTOK

Institut la Rochefoucauld, Centre de Médecine Psychosomatique Déjerine, France

Peut-on par des procédés purement psychiques produire des effets somatiques sans intervention de la volonté? La réponse est oui, et tout le mouvement psychosomatique moderne prend ce principe comme point de départ. L'intervention peut se situer soit au niveau de la fonction soit au niveau de la structure tissulaire. Les psychosomaticiens ont ainsi étudié les corrélations existantes entre évènements traumatiques, conflits, structures de la personnalité et troubles fonctionnels ou lésionnels (asthme, hypertension, ulcère, rectocolite hémorragique, etc...).

Mais l'étude expérimentale s'est en général limitée à l'observation des concomitantes physiologiques de telle ou telle émotion (que celle-ci fut suggérée ou spontanée). C'est l'un des intérêts de l'hypnose que de permettre la production en quelque sorte «à volonté» des phénomènes somatiques par suggestion verbale d i r e c t e.

Un exemple privilégié de ce type d'expérimentation est celui de la vésication (production de «brûlures») par suggestion hypnotique, qui constitue un chapitre curieux de l'histoire de la médecine. Chapitre curieux, car bien que depuis près de cent ans le phénomène soit connu et ait été constaté à plusieurs reprises, il est toujours à nouveau mis en doute tellement il paraît inexplicable à la lumière de nos conceptions physiologiques.

Avant de présenter notre expérience, il nous paraît intéressant d'un point de vue épistémologique de montrer quels obstacles peuvent se poser à une recherche de ce type.

Un siècle d'hésitations

La première expérimentation publiée est celle effectuée par Focachon[1] 1885 en collaboration avec Liebeault et Bernheim, à la grande époque de l'hypnose, vers la fin du 19ème siècle. Des expériences similaires furent ensuite réalisées dans les pays de langue allemande (Krafft-Ebing, 1888 (2), Doswald et Kreibich, 1906 (3), Kohnstamm et Pinner, 1908 (4), Heller et Schultz, 1909 (5) Schindler, 1927 (6), en Hongrie (Jendrassik, 1888 (7) — Russie (Rybalkin 1890 (8) — Podiapolski, 1909 (9) — Smirnoff, 1912 (10) — Angleter-

[1] Voir Beaunis 1883 (1), pp. 70—84.

re (Hadfield, 1917 (11) 1920 (12), et Suède (Wetterstrand, 1890—1891—1903 (cité in Alrutz (13). Les expériences les plus récentes sont celles de Ullman 1947 (14) aux Etats-Unis, de Borelli 1953 (15) en Allemagne.

Dès l'origine, ces expérimentations ont soulevé des discussions passionnées. De nombreux auteurs ont mis en doute la réalité même du phénomène observé qu'ils ont attribué à la simulation. Le soupçon de simulation a été d'autant plus fréquemment avancé que les personnes utilisées pour ces expériences étaient des sujets hautement suggestibles, la plupart du temps des hystériques, que toute une tendance de la médecine a toujours considéré comme des simulateurs. La controverse a ainsi porté sur les méthodes de contrôle. Un épisode illustre l'importance de cette question. En 1896 le célèbre neuropathologiste munichois Schrenck-Notzing (16,17) réussissait à provoquer par suggestion un érythème chez une jeune fille de 20 ans. L'expérience s'étant déroulée dans des conditions de contrôle insuffisant, il décida de la renouveler. Afin d'éviter toute possibilité de supercherie un plâtre fut posé sur le bras du sujet. Un pansement fut posé sur le bras du sujet. La jeune fille fut surprise en train de se gratter à travers le pansement à l'aide d'une aiguille. Une nouvelle tentative ayant été effectuée avec un plâtre. Rien ne se produisit. Schrenck-Notzing conclut à la non authenticité du phénomène et contesta alors les expériences rapportées jusque là dans la littérature[2].

En 1907, à Berne, lors du congrès de la société allemande de dermatologie, les médecins présents accueillirent avec le plus grand scepticisme une communication de Kreibich (18), célèbre dermatologue de l'époque, qui présentait une série de coupes histologiques effectuées sur des phlyctènes produits par suggestion hypnotique. Kohnstamm et Pinner (4) se heurtèrent à la même incrédulité lors du congrès suivant qui se tint à Francfort en 1908.

Les expériences de Kreibich, publiées en collaboration avec Doswald (3) 1906, pour ne mentionner qu'elles, répondaient pourtant à toutes les exigences d'un contrôle rigoureux (le phlyctène était en effet apparu dix minutes à peine après la suggestion, et sans que le sujet ait été perdu de vue un seul instant). Mais il s'agissait là d'un phénomène, nous l'avons dit, qui paraissait totalement incompréhensible du point de vue de la physiologie. Cela explique dans une large mesure le peu d'échos rencontré par ces recherches.[3]

La discussion qui eut lieu en 1908 à la Société Neurologique de Paris (19,20) éclaire bien cet aspect du problème. Dans le cadre d'une réflexion générale sur la nature de l'hystérie la question fut posée de savoir s'il était possible de produire par suggestion les modifications de la trophicité, de la réflectivité et de la température. Deux positions s'affrontèrent, celle de Babinski qui excluait totalement cette possibilité et celle, plus nuancée, de Ray-

[2] Conclusion hâtive, car le fait que le phénomène ne se soit pas reproduit ne prouve pas nécessairement qu'il ait été inhauthentique. Ce type d'expérience met en jeu des facteurs tellement complexes (ambiance, état psychique du sujet, lien qui l'unit à l'expérimentateur etc...) qu'il n'est pas étonnant que les résultats puissent varier. Nous en avons nous-même fait l'expérience.

[3] Il est d'ailleurs difficile de croire à la réalité d'un tel phénomène tant qu'on n'a pas de soi-même assisté à son déroulement.

mond qui l'admettait, dans une certaine mesure. Pour Babinski la suggestion, processus psychique, ne pouvait s'appliquer à des fonctions physiologiques qui ne relevaient pas du système volontaire. Les soi-disant symptômes somatiques de l'hystérie étaient donc, soit l'expression d'une maladie organique méconnue, soit le produit de la supercherie des hystériques.[4] La majorité des assistants se rangea à l'avis de Babinski. Cela revenait à nier le phénomène de la vésication[5].

L'attitude de Babinski témoigne de la réticence de nombreux savants de cette-époque à admettre la possibilité d'une action directe du psychique sur le somatique. On mesure la force de cette résistance à la réaction, 30 ans plus tard, de Pattie (22), un psychologue américain, qui, après avoir passé en revue les expériences que nous avons énumérées et avoir reconnu qu'elles étaient dans l'ensemble crédibles affirme cependant: «Malgré toutes ces preuves, écrit-il «l'auteur de ces lignes ne peut s'empêcher de réserver son jugement, en raison surtout du fait qu'il est impossible de comprendre par quel processus physiologique la suggestion — c'est-à-dire le système nerveux central — peut produire des érythèmes ou des brûlures localisées et circonscrites».

Il semble qu'aujourd'hui encore ces réserves ne soient pas entièrement dissipées. On en voit la trace dans une étude récente publiée par Jonhson et Barber 1976 (23). Certes ces deux auteurs ne contestent pas vraiment la réalité des expériences rapportées dans la littérature. Mais ils s'attachent à en minimiser la portée. D'une part, ils émettent des réserves sur les méthodes de contrôles; on notera cependant qu'ils n'analysent pas les expériences considérées sur ce point comme les plus rigoureuses. D'autre part, ils insistent sur le fait que ce phénomène, s'il est authentique, ne peut être produit que chez des sujets hautement hypnotisables[6]. Enfin, ils affirment n'avoir quant à eux, obtenu aucun résultat pertinent, (dans deux cas ils ont réussi à produire des érythèmes), malgré les moyens importants [7] utilisés pour cette recherche qui a porté sur quarante sujets. Cela pourrait s'expliquer selon nous par le fait que ces derniers n'avaient été soumis à aucune sélection préalable.

Quel est l'enseignement que nous pouvons tirer de ce bref historique? Même

---

[4] Babinski scotomise les expériences de son Maître, Charcot; en particulier la production et la suppression expérimentale par suggestion de l'oedème bleu impliquant des altérations des fonctions circulatoires et thermiques indépendantes du contrôle volontaire Cette expérience avait été effectuée en dehors de toute simulation et avait été parfaitement contrôlée puisque la disparition de l'oedème se produisit en un quart d'heure devant une nombreuse assistance. On en trouve le compte rendu dans les notes de Guinon (21) et dans un article de Levillain (21)

[5] C'est à la suite de ce débat que Podiapolski 1909 (9) conçut l'idée de réaliser une expérience qui ne laisserait place à aucune supercherie possible. Il réussit à produire dans des conditions de contrôle extrêmement rigoureuse une lésion phlyctenaire.

[6] Cette argumentation nous paraît contestable car nous ne voyons pas en quoi cela diminue l'importance du problème. Comme l'affirmait Raymond lors de la discussion de 1908à laquelle nous avons fait allusion (19, p. 100): «N'y en aurait-il qu'une seule observation authentique qu'elle servirait à justifier une protestation contre l'exclusivisme qui tend à s'établir sur cette question».

[7] Le laboratoire de la Medfield Foundation bénéficie d'une subvention importante du National Institute of Mental Health pour étudier l'action de la suggestion dans la vésication, les processus inflammatoires cutanés et la guérison des verrues.

si toutes les expériences n'ont pas été conduites avec la même rigueur, elles sont dans l'ensemble suffisamment probantes pour que l'on puisse aujourd'hui considérer que le phénomène existe et mérite d'être expérimenté plus profondément.

Notre expérience

Le cas que nous présentons fait partie d'une série de 8 expériences[8] effectuées avec deux sujets, excellentes somnambules (c'est-à-dire des sujets capables d'entrer en hypnose profonde suivie d'amnésie post-hypnotique spontanée) avec lesquelles nous avions déjà réalisé des interventions chirurgicales sous hypnose[9]. Au cours de chacune de ces expériences, nous avons appliqué sur le bras du sujet une pièce de monnaie en lui suggérant que celle-ci était brûlante et allait provoquer l'apparition d'une cloque. Ces séances ont donné des résultats variables en fonction des conditions de l'expérimentation, de la personnalité de chacum des deux sujets et de leur lien avec l'expérimentateur. Nous présentons ici l'une de ces expériences.

Elle a eu lieu au Centre Déjerine, le 21 Janvier 1976 au matin, en présence d'une équipe de cinéma qui venait en filmer le déroulement, de deux dermatologues les Drs Benveniste et Legoaster, et de plusieurs collaborateurs du Centre, Le sujet, Mine T., est une femme de 56 ans, agrégée d'allemand, (que nous avons guérie par traitement hypno-suggestif, il y a plusieurs années, d'une rétention d'urine d'origine psychogène après hystérectomie).

A 11h. 30, nous hypnotisons Mme T. en comptant jusqu'a dix (elle est conditionnée à cette technique) et lui appliquons une pièce de monnaie sur la face dorsale de l'avant bras droit, en formulant la suggestion suivante: «Cette pièce est brûlante, elle vous brûle». Interrogée sur ses sensations, Mme T. affirme n e r i e n s e n t i r. Nous lui disons que néanmoins cette pièce va agir sur sa peau et que d'ici quelques heures elle aura à cet endroit une cloque, comme si elle avait été brûlée.

A 12 H., Mme T. réveillée, quitte la pièce pour se rendre dans sa salle d'attente, A 12 H.30, elle appelle une personne de l'équipe et lui signale qu'elle sent au bras droit une chaleur anormale. Le Dr Benveniste constate la présence à l'endroit où la pièce avait posée, «d'un érythème phlycténoïde évoquant une brûlure du premier degré». (Fig. 1). A 14 H., on note l'apparition de phlyctènes. A 16 H., la lésion se présente sous la forme «d'une plaque érythémateuse oedémateuse à contours irréguliers couverts de petites lésions vésiculaires dont quelques unes sont érodées» (Fig. 2) (Dr. Benveniste). A 17 H. un pansement est posé sur le bras de Mme T. qui rentre chez elle. A son retour au Centre, le lendemain matin, un examen est effectué par le Docteur Le Goaster, qui constate que la lésion est dans le même état que la veille.

L'expérience n'a malheureusement pas été contrôlée d'une manière

---

[8] L'ensemble de ces expériences sera relaté en détail dans: Chertok (L.). (24)

[9] Chertok (L.), Droin (M. C.), Michaux (D.) 1976. (25).

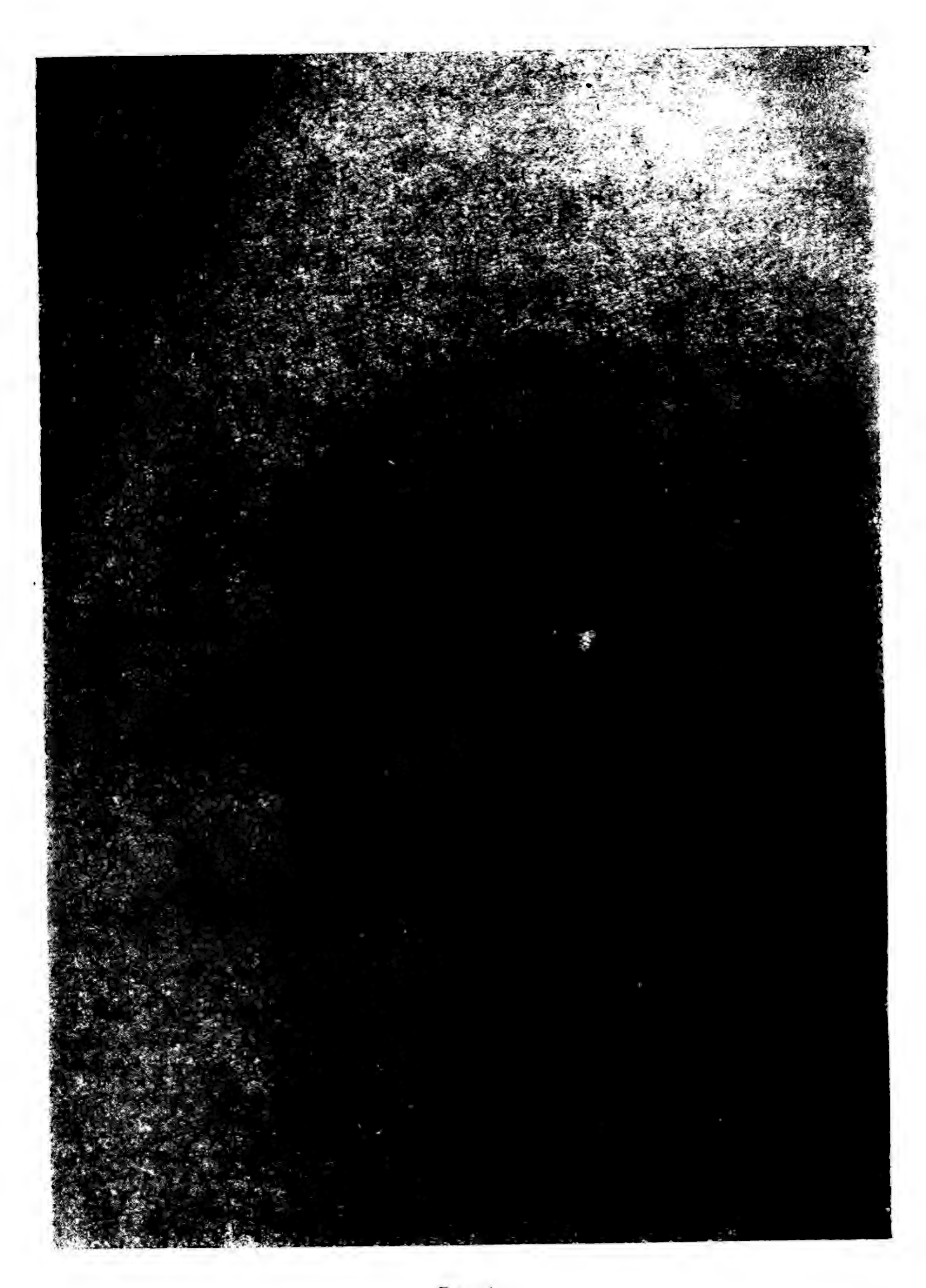


Рис. 1.

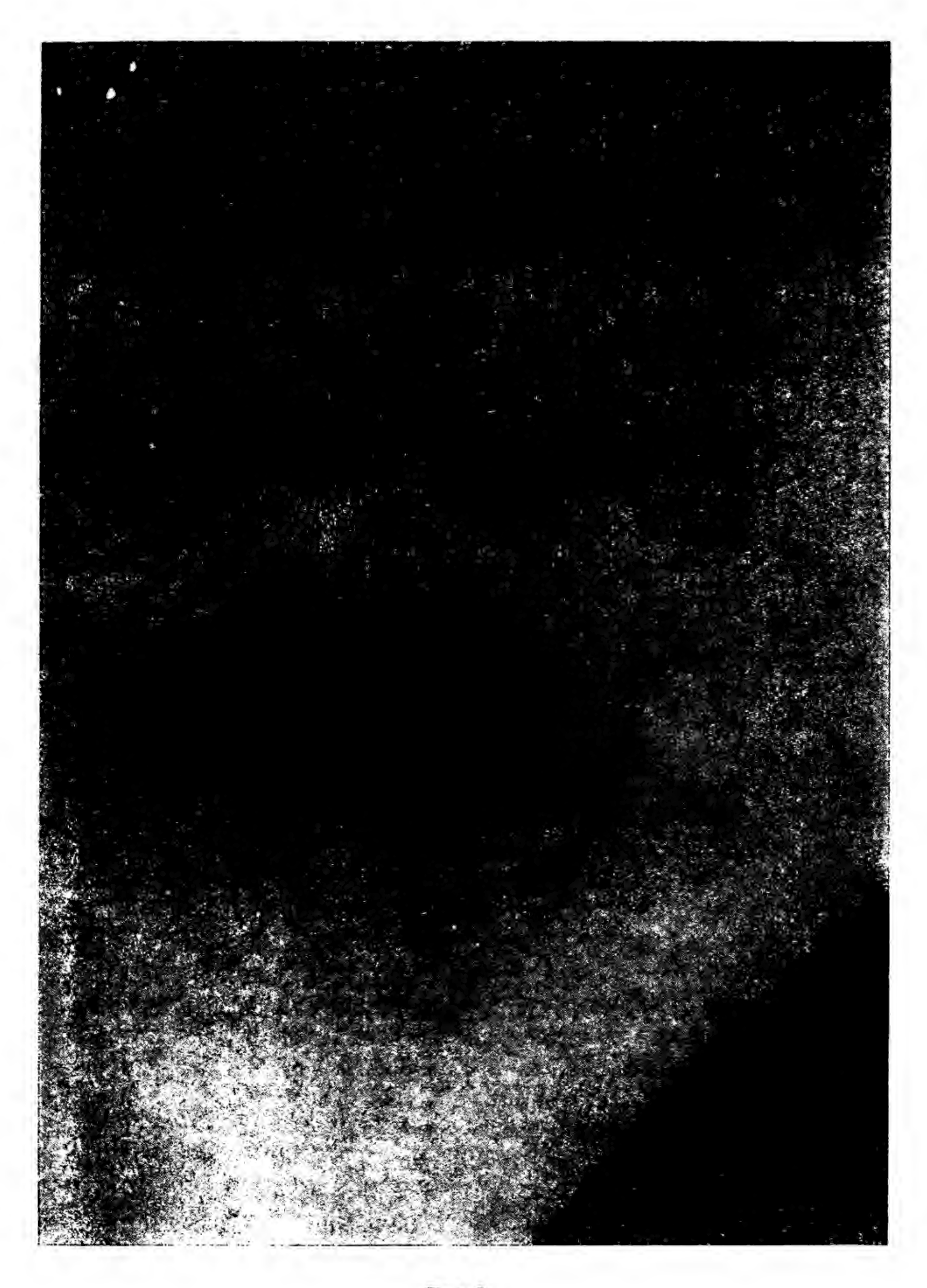


Рис. 2.

absolument parfaite. Mme T. aurait normalement dû rester sous la surveillance constante d'une personne de l'équipe. Or, pour des raisons tenant à un manque de coordination[10], cela n'a pas été le cas. Dans la salle d'attente où elle s'est rendue immédiatement après avoir été réveillée, Mme T. est restée constamment sous les yeux de plusieurs personnes, malades et personnel du Centre. Elle n'a donc pu dans ces conditions se livrer à aucune supercherie.

Malheureusement, vers 12 H., Mme T., qui avait besoin d'une verre d'eau pour absorber un médicament qu'elle prend tous les jours à cette heure, a quitté la salle d'attente pendant quelques minutes pour se rendre aux toilettes. Cette absence n'a duré que très peu de temps, et, même là, Mme T. ne s'est pas trouvée longtemps seule puisqu'elle y a rencontré une personne du Centre, Mme R. Elle est cependant restée seule pendant deux ou trois minutes.

On trouvera peut-être étonnant que nous n'ayons pas été suffisamment vigilants, pour que ce genre «d'accident» ne puisse se produire. Il y a à cela plusieurs raisons. D'une part, nous connaissons Mme T. depuis très longtemps et lui faisons entièrement confiance. L'idée qu'elle ait pu se livrer à une supercherie ne nous a, d'une certain manière, pas préoccupés. Nous n'étions pas alors aussi informés sur la question que nous le sommes aujourd'hui et ignorions les polémiques qui s'étaient déclenchées autour du problème du contrôle. En outre, cette expérimentation n'avait pas à nos yeux l'importance qu'elle a depuis revêtue.

Nous savions qu'elle avait été effectuée dans le passé et étions désireux de la réaliser à notre tour. Mais nous n'avions pas alors l'intention d'entreprendre une véritable recherche expérimentale.

Nous excluons cependant l'hypothèse d'une supercherie. D'une part, parce que nous connaissons bien Mme T.: c'est une personne extrêmement sérieuse et scrupuleuse et tout ce que nous savons de son caractère s'oppose à l'idée d'une telle simulation. Nous avions d'ailleurs déjà tenté cette expérience avec elle quelques temps auparavant sans aucun résultat, alors qu'il lui aurait été cette fois très facile de se faire une brûlure réelle puisque on l'avait laissé rentrer chez elle et qu'elle n'était revenue se faire examiner au Centre que le lendemain matin.

D'autre part, l'hypothèse d'une simulation est également peu vraisemblable du point de vue matériel. Ainsi que nous l'avons dit, pendant le temps que Mme T. a passé dans la salle d'attente, elle s'est constamment trouvée avec plusieurs personnes et n'aurait pu se brûler sans attirer l'attention. Elle n'a pu également se livrer à aucune manoeuvre de ce genre en se rendant à la salle d'attente, car celle-ci jouxte immédiatement le lieu où se déroulait l'expérience. Restent les deux ou trois minutes pendant lesquelles Mme T. s'est trouvée seule aux toilettes. Mais il n'y a dans cette pièce aucun instrument susceptible de provoquer une pareille brûlure. Mme T. par ailleurs ne

[10] Signalons à ce propos que les psychologues non-médecins de l'équipe étaient réticents vis à vis de cette expérience qui, pour des raisons obscures, les mettaient mal à l'aise. L'un d'entre aux a même refusé d'assister à l'expérimentation.

fume pas et ne possède donc en général ni briquet ni allumettes. (Il est vrai que, théoriquement, cela n'exclut pas absolument la possibilité d'une simulation: Mme T. aurait pu produire par frottement intensif une bulle traumatique).

Enfin, et cela nous paraît le plus important, Mme T. a donné d'autres preuves de sa sensibilité particulière à la suggestion hypnotique et de ce que nous appellerions sa «plasticité psychosomatique». Nous avons ainsi réalisé avec elle une expérience dans laquelle il ne pouvait être question de simulation puisqu'il s'agissait d'une intervention chirurgicale sous hypnose, sans aucune anesthésie chimique. Au cours de cette intervention qui consistait en l'extraction de 5 dents du maxillaire inférieur et d'une pulpectomie, la suggestion suivante a été donnée: «Ne saignez pas», et le saignement qui accompagne habituellement une telle opération a été réduit au minimum.

C'est pourquoi nous avons décidé de publier notre observation, malgré l'imperfection partielle du contrôle. Il ne s'agit pas tant aujourd'hui d'apporter une preuve — puisque le phénomène est assez généralement admis[11] — que de recueillir des éléments propres à éclairer notre compréhension du problème. Cette expérience n'a pas été réalisée en France depuis la fin du 19 ème siècle. En outre, elle n'a jamais été étudiée à la lumière des théories psychosomatiques. Il nous a donc semblé intéressant de rouvrir le dossier dans cette perspective et susciter peut-être d'autres recherches.

Physio-Pathologie

Force est de constater que, dans l'état de nos connaissances actuelles, rien ne permet d'expliquer, fut-ce de façon hypothétique, le mécanisme physiologique d'un tel phénomène. Disons seulement qu'à la lumière des recherches entreprises depuis un demi-siècle, il est aujourd'hui possible d'envisager la question dans une perspective un peu nouvelle.

Les auteurs qui au début du siècle se sont penchés sur ce problème ont en effet tenté d'expliquer la vésication par un mécanisme physiopathologique semblable à celui qui intervient dans le cas d'une brûlure occasionnée par un agent nociceptif exogène. Ainsi pour Alrutz 1914 (13), c'est la projection, sur la zone choisie par l'expérimentateur, d'une perception douloureuse hallucinée qui met en action les mécanismes réflexes qui entrent habituellement en jeu à la suite d'une agression thermique réelle.

Mais d'une part, plusieurs observations — ainsi que nos propres expériences montrent que la perception de la douleur n'est pas indispensable à la réussite de l'expérience. D'autre part, d'un point de vue physiologique, l'assimilation d'une représentation à un stimulus exogène réel, agissant par voie afférente, est difficilement admissible. Il est plus vraisemblable de supposer que le système nerveux central agit par voie purent efférente (endogè-

[11] De nombreux auteurs ont cité la vésication comme un fait indubitable (bien que d'ailleurs inexplicable). Contentons-nous de citer parmi de nombreux autres Jaspers 1923 (26 p. 234—235) et tout récemment encore le neurophysiologiste et philosophe soviétique Bassine 1937 (27 p. 91).

ne). C'est pourquoi, afin d'éviter toute confusion, le terme de vésication nous paraît préférable à celui de brûlure.[12]

Les progrès effectués en immunologie permettent d'imaginer d'autres schémas qui sont, il faut le reconnaître, tout aussi obscurs, mais possèdent l'avantage de toucher un domaine familier à la recherche psychosomatique. Le rôle des facteurs psychologiques dans les affections allergiques telles que, par exemple, l'asthme ou l'urticaire, est en effet aujourd'hui largement reconnu. Dans une étude publiée en 1950, David T. Graham et Stewart Wolf (29) ont ainsi mis en évidence la corrélation existant entre le déclenchement des crises d'urticaire et certaines situations émotionnelles. Ils sont également parvenus à provoquer expérimentalement des crises d'urticaire par la simple évocation de ces situations[13]. Or, du point de vue physiopathologique, il n'existe pas de différence fondamentale entre la formation d'une bulle et celle d'une plaque d'urticaire[14].

Une autre hypothèse peut également être avancée et que suggère le problème que pose la localisation de la lésion; et là peut-être, faut-il faire appel à une autre notion qui s'est progressivement imposée: l'absence de séparation nette entre le contrôle nerveux des fonctions de relations et celui, neuro-endocrinien, des fonctions végétatives comportementales. Il y a constamment interaction de l'un sur l'autre et ajustement de l'activité de l'un par rapport à celle de l'autre. On peut donc penser que l'élaboration d'une sensation douloureuse directement au niveau cortical dans l'aire réceptrice suggérée puisse provoquer une réponse végétative dans le territoire cutané correspondant:

Il convient cependant de rester prudent à l'égard de ces deux hypothèses qui ne sont pas étayées par une véritication expérimentale véritable. Peut-être existe-t-il d'autres circuits nerveux que la neuro-physiologie ne connaît pas encore.

---

[12] En ce qui concerne la douleur, il fait se référer à la distinction établie par Melzac et Casey (28) entre la «sensory pain» qui joue un rôle de pure information (transmission de la localisation et de l'intensité du stimulus) et la «suffering pain» qui représente la face subjective de la douleur, la souffrance. On a ainsi pu constater que des sujets ayant subi une lobotomie pré-frontale continuaient à percevoir le stimulus nociceptif, mais que cette perception n'était accompagnée d'aucune sensation douloureuse. On peut dire inversement que, dans le cas qui nous occupe, la douleur perçue par le sujet relève de la «suffering pain», à l'exclusion de toute dimension proprement organique. (Nous ne parlons pas ici de la douleur subséquente à la vésication qui, elle, est évidemment de caractère organique, puisqu'elle reflète le processus lésionnel en cours).

[13] Signalons les travaux que Stephen Black et ses collaborateurs ont effectué au Laboratoire de Physiologie humaine du «National Institute for Medical Research» à Londres; ils ont pu dimunuer et même supprimer par suggestion directe sous hypnose, des réactions cutanées provoquées habituellement par l'injection d'allergènes (30). D'autres recherches dans ce domaine se trouvent résumées dans un éditorial du British Medical Journal du 2 Mai 1964, intitulé «Suggestion and allergic responses» (31 Bibliogr.).

[14] Dans ce cas la vésication par suggestion supposerait une modification de l'équilibre immunologique de l'organisme. Quand on sait l'importance que l'on attribue de plus en plus à la rupture des défenses immunologiques dans la genèse de certaines maladies et que ce stress peut être l'ordre psychologique, on mesure le rôle que ce type d'expérimentation pourrait avoir du point de vue de la recherche fondamentale.

Quoi qu'il en soit, le fait qu'il soit possible de produire par la parole des modifications tissulaires, humorales, voire immunologiques, est en lui-même extrêmement intéressant.

Psychosomatique

A la suite d'Alexander (32) les psychosomaticiens ont en effet de façon générale, distingué deux modes d'intervention du psychique sur le somatique: la conversion hystérique, dans laquelle le symptôme est la réalisation directe d'un contenu psychique, d'une représentation (la paralysie hystérique qui signifiera par exemple un désir de meurtre refoulé), et la somatisation proprement dite dans laquelle il est l'aboutissement somatique d'un état de tension émotionnelle, mais ne possède pas en lui-même de signification psychologique déterminée. Tel est par exemple le processus qui aboutit à la formation d'un ulcère: une situation conflictuelle entraîne une tension qui provoque une sécrétion gastrique, laquelle, en se répétant finit par produire une lésion. Le symptôme est ici le résultat du conflit, mais il n'en est pas l'expression.

La description du mécanisme de la somatisation varie selon les différentes écoles. Mais, à quelques exceptions près, la plupart des auteurs s'accordent pour penser que la conversion hystérique, dans la mesure où elle suppose l'intervention de la représentation, ne peut se produire que dans le cadre du système volontaire, de la musculature striée. Les troubles véritablement somatiques, les troubles neuro-végétatifs, sont par contre conçus comme témoignant d'une régression plus profonde, dans laquelle le conflit ne parvient pas à la représentation. Contrairement au symptôme conversionnel, le symptôme psychosomatique est asymbolique.

Bien entendu, les psychosomaticiens reconnaissent l'existence d'affections qui font intervenir les deux mécanismes. C'est par exemple le cas de l'asthme qui implique à la fois la musculature striée et la musculature lisse, la conversion (la crise d'asthme possède un sens symbolique) et la somatisation. Les deux mécanismes n'en sont pas moins décrits comme distincts.

L'expérience que nous avons rapportée tend à contredire cette dichotomie. Le mécanisme auquel nous avons à faire dans ce cas est indiscutablement de type conversionnel, puisqu'il s'agit de la matérialisation directe d'une représentation (la suggestion de brûlure). Or, la production d'une bulle suppose nécessairement une action sur le système neuro-végétatif. De même, on sait qu'il est possible d'agir par suggestion sur les hémorragies. Nous avons déjà mentionnée plus haut qu'au cours d'une intervention chirurgicale sous hypnose, nous sommes nous-mêmes parvenus à arrêter ainsi le saignement de notre malade (également Mme T.). Il s'agit là, il est vrai d'un phénomène psychofonctionnel, et non pas lésionnel[14]: on notera néanmoins que cela ne relève en rien du système volontaire[15].

---

[14] Souvent d'ailleurs la différence entre le fonctionnel et le lésionnel n'est que quantitative.

[15] L'action des facteurs psychiques et nerveux sur le saignement représente un autre chapitre, actuellement méconnu, de l'histoire de la médecine. Il existe une littérature abondante surtout allemande et française, sur les ecchymoses et autres hémorragies, produites par sugges-

La position du psychosomaticien sur ce problème n'est pas sans rappeler à certains égard celle de Babinski. Ce dernier, nous l'avons vu, refusait aux symptômes hystériques tout réalité organique. Ou bien ceux-ci étaient le fruit de l'imitation et de l'autosuggestion (le fameux pithiatisme), et ils ne pouvaient évidemment porter que sur des fonctions soumises à l'invervation volontaire, ou bien ils étaient dûs à une véritable affection organique — ou à une supercherie. On ne peut certes pousser trop loin le parallèle. Babinski niait toute intervention du psychique sur le somatique, ce qui n'est évidemment pas le cas de théoriciens de la psychosomatique.

En outre, plus personne ne défend aujourd'hui la théorie du pithiatisme. La psychanalyse, en introduisant les concepts d'inconscient, de conversion, de refoulement, a permis de comprendre que les symptômes hystériques n'étaient pas le produit d'une volonté plus ou moins consciente mais d'une véritable altération des processus corporels sous l'effet des conflits inconscients; que, pour être psychologiques, ils n'en touchaient pas moins le corps de façon réelle.

Tout se passe cependant comme si le vieux dualisme du corps et de l'esprit s'était d'une certaine manière maintenu au sein de la théorie psychosomatique elle-même; comme si, au moment même où l'on avait reconnu l'intervention du psychique sur le somatique on s'était soucié de lui assigner de nouvelles limites. En effet, tant que l'on reste dans le cadre du système volontaire, on se situe encore, d'un certain point de vue, dans le domaine du mental. Il s'agit d'une simple distorsion du fonctionnement normal du système nerveux central. *Le corps n'est pas atteint dans sa matérialité*. Inversement, lorsque la dimension organique se trouve véritablement mise en jeu, les théoriciens de la psychosomatique affirment qu'il n'y a pas à proprement parler de représentation. Pour des raisons qui tiennent à notre avis à un véritable «bloquage épistémologique»., la possilibé qu'un phénomène purement mental puisse intervenir d'une manière *directe* sur les processus les plus profondément organiques se trouve ainsi dans chacun des cas éludés.

Que l'on nous comprenne bien. Nous n'affirmons pas que tous les phénomènes psychosomatiques sont d'origine conversionnelle. Les circuits qui régissent la relation du psychique et du somatique sont très certainement multiples et se situent à des niveaux différents de la personnalité. Disons seulement qu'il nous paraît peu souhaitable d'établir des distinctions aussi tranchées, s'agissant d'un domaine qui est encore si mal connu. On risque ainsi de négliger une dimension extrêmement importante[16].

---

tion ou apparaissant de façon spontanée chez les hystériques. Le médecin munichois Rudolf Schindler a présenté une revue de la littérature consacrée à ce sujet ainsi que ses observations personnelles dans un petit ouvrage paru en 1927; «Nervensystem und spontane Blutungen» (6).

[16] Et de se fermer ainsi à l'expérimentation. On peut par exemple se demander si la rareté des expériences rapportées dans ce domaine est dûe exclusivement au fait qu'il est difficile de trouver des sujets aptes à produire ce type de phénomène. Les sujets sont certes assez rares. Mais a-t-on véritablement cherché de façon systématique à réaliser cette expérience?

Résumé et conclusions.

Une revue de la littérature consacrée à la vésication par suggestion hypnotique montre que, malgré les controverses dûes au caractère difficilement explicable du phénomène, celui-ci peut être aujourd'hui considéré comme acquis. Avec la présentation de notre cas, nous tentons de rouvrir le dossier sur cette expérience à la lumière des recherches psychosomatiques modernes. La vésication suggestive remet en cause la conception généralement admise par les psychosomaticiens selon laquelle la conversion, qui implique une signification symbolique, porterait exclusivement sur *la musculature striée* et le système volontaire, les processus proprement organiques, somatiques (*musculature lisse*, système neuro-végétatif) relevant d'une régression plus profonde, dans laquelle les conflits ne parviennent même pas à la représentation. Or, des expériences de vésication par suggestion montrent qu'il est possible de provoquer par le pur pouvoir de la parole des altérations d'*ordre lésionnel*.

Les mécanismes physiopathologiques du phénomène sont pour l'instant totalement inconnus; c'est seulement à titre d'hypothèse que l'on peut invoquer le relais immunologique ou neuro-endocrinien. Quand on sait l'importance que l'on attribue de plus en plus à la rupture des défenses immunologiques dans la genèse de la pathologie humaine, on mesure le rôle que ce type d'expérimentation pourrait jouer du point de vue de la recherche fondamentale.

BIBLIOGRAPHIE

1. BEAUNIS H. *Le somnambulisme provoqué*. Paris J. B. Baillière et fils (1886).
2. KRAFFT-EBING (R. von). Eine experimentelle Studie auf dem Gebiete des Hypnotismus. Stuttgart, F. Enke (1889).
3. DOSWALD (D. C.) et KREIBICH (K). Zur Frage der posthypnotischen Hauptphänomene *Monatshefte für Praktische Dermatologie* (1906) 43, 634—640.
4. KOHNSTAMM et PINNER. Blasenbildung durch hypnotische Suggestion und Gesichtspunkte zu ihrer Erklärung. in: Herxheimer (K.) ed *Verhandlungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft* (Zehnter Kongress—Frankfurt 8—10/6/1908)., Berlin, Springer (1908), pp. 342-347.
5. HELLER (F.), SCHULTZ (J. H.) Über einen Fall hypnotisch erzeugter Blasenbildung *Münchener Medizinische Wochenschrift* (1909), 56, 2112.
6. SCHINDLER (R.) *Nervensystem und spontane Blutungen*. Berlin, Karger (1927).
7. JENDRASSIK (E.) Einiges über Suggestion. Neurologisches Zentralblatt (1888), 7, 281-283, 321-330.
8. RYBALKIN (J). Brûlure du second degré provoquée par suggestion. — *Revue de l'Hypnotisme*, Paris, (1890), 4, 361-362.
9. PODIAPOLSKI (P. P.) (Troubles vasomoteurs produits par suggestion hypnotique). *Zhurnal Neuropatologii i Psikhiatrii* (1909), 9, pp. 101-109 (en russe).
10. SMIRNOFF D. Zur Frage der durch hypnotische Suggestion hervorgerufenen vasomotorischen Störungen.—*Zeitschrift für Psychotherapie und Medizinische Psychologie* (1912), 4, 171—175.
11. HADFIELD J. A. The influence of hypnotic suggestion on inflammatory conditions. *Lancet* (1917), 2, 678—679.

12. HADFIELD J. A. The influence of suggestion on body temperature.— Lancet (1920), 2, pp. 68—69.
13. ALRUTZ S. Die suggestive Vesikation. J. Psychol. Neurol. (1914), 21, 1—10.
14. ULLMAN M. Herpes simplex and second degree burn induced under hypnosis—American Journal of Psychiatry (1947), 103, 828—830.
15. BORELLI (S) Psychische Einflüsse und reaktive Hauterscheinungen.—Münchener Medizinische Wochenschrift (1935), 95, 1078—1082.
16. SCHRENCK-NOTZING (A. FREIHERR von). Ein experimenteller und Kritischer Beitrag zur Frage der suggestiven Hervorrufung circumscripter vasomotorischer Veränderungen auf der äusseren Haut.— Z. Hypnotismus (1896) 4, 209—228.
17. SCHRENCK-NOTZING (A. FREIHERR von). — Zur Frage der suggestiven Hauterscheinungen. Eine Erwiderung an Herrn Prof. Dr. A. Forel. Z. Hypnotismus, (1898), 7, 247—249.
18. KREIBICH K. Vasomotorische Phänomene durch hypnotischen Auftrag. in: Jadassohn J. ed. Verhandlungen der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (Neunter Kongress — Bern—IIer teil. 12—14/9/1906) — Berlin, Springer, (1907), pp. 508.
19. Séance du 9 Avril 1908 (de la Société Neurologique de Paris.) — Revue Neurologique (1908). pp. 375—404.
20. Séance du 14 Mai 1908 (de la Société Neurologique de Paris).—Revue Neurologique (1908). pp. 494—519.
21.(a) CHARCOT J. M. Clinique des maladies du système nerveux publié sous la direction de Georges Guinon. — Paris, Progrès Médical et Babé, 1892 p.p. 108 sq.
21. (b) CHARCOT J. M. Oedème bleu des hystériques reproduit expérimentalement par la suggestion hypnotique... Note recueillies par M. le docteur Levillain. Revue de l'hypnotisme (1890), 4, 12. pp. 353—355.
22. PATTIE F. A. The production of blisters by hypnotic suggestions: A review. Journal of Abnormal and Social Psychology (1941) vol. 36.—pp. 62—72.
23. JOHNSON R. F. Q., BARBER T. X. Hypnotic suggestions for Blister Formation: Subjective and physiological effects. Amer. Jour. Clin. Hypnosis (1/1976) 18, 3. pp. 172—181.
24. CHERTOK L. — Hypnose, carrefour psychobiologique — Expériences et Interrogations. (en préparation. Paris, Masson, 1978).
25. CHERTOK L. MICHAUX D., DROIN (M. C.) Douleur et hypnose. Evolution Psychiatrique (1976), 1, pp. 143—164.
26. JASPERS K. (1923). General Psychopathology. Chicago, The University of Chicago Press, (1975).
27. BASSINE F. V., PLATONOV K. K. Verborgene Reserven des Höheren Nervensystems. Stuttgart, Hippokrates Verlag, (1973).
28. MELZACK R., CASEY K. L. Sensory motivational and central control mechanisms of pain: A new conceptual model, in: Kanshelo D. ed. The Skin Senses, Springfield, Charles C. Thomas, (1968). pp. 423—439.
29. GRAHAM D. T., WOLF S. Pathogenesis of urticaria: Experimental study of life situations, emotions, and cutaneous vascular reactions. Journal of the American Medical Association (1950), 143, pp. 1396—1402.
30. BLACK (Stephen) Some Physiological Mechanisms Amenable to Control by Direct Suggestion under Hypnosis. In: Chertok L. ed.; — Psychophysiological Mechanisms of Hypnosis. Berlin, Springer Verlag, (1969).—pp. 10-27.
31. Suggestion and Allergic Responses. British Medical Journal. (2/5/1964), 5391, pp. 1129—1130 bibliogr. (éditorial anonyme).
32. ALEXANDER F., FRENCH P. Studies in Psychosomatic Medicine. New York, Renald Press, (1948).

198

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСТАНОВКИ КАК БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО

В. Г. НОРАКИДЗЕ

Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси

На основе многолетнего клинико-экспериментального исследования выяснилось, что посредством специальных методов мы можем установить структуру установок личности, их общие, типологические и уникальные особенности, а на основе этих особенностей охарактеризовать темперамент, характер, психические нарушения личности [10; 6; 7].

Для изучения установок личности как бессознательного психического используется комплекс методов, в который входят методы клинической беседы и изучения жизненного пути человека, метод фиксированной установки, проективные методы, в частности методы тематической апперцепции и Роршаха, опросник Айзенка. Выяснилось, что все они являются методами исследования обще-формальной и мотивационно-содержательной природы установок личности. Охарактеризуем каждый из них как метод исследования структуры установок [5].

Метод фиксированной установки. Установка обусловливает адекватное приспособление личности к среде. Она создается на основе единства потребности и воспринятой (актуальной) или воображаемой ситуации. Фиксированная установка сохраняется в виде готовности актуализироваться снова в случае повторения ситуации. В результате частого повторения или же вследствие ее большого «личностного веса» установка может стать настолько возбудимой и привычной, что даже в случае несоответствующего раздражителя может легко возникать и препятствовать проявлению адекватной установки. Это обстоятельство часто становится основой ошибочных действий, в частности источником иллюзорного восприятия. Учитывая этот факт, Д. Н. Узнадзе смог создать такую экспериментальную ситуацию, которая дает ясную картину сложного процесса фиксации установки и реализации фиксированной установки (процесса актуализации установочной иллюзии и угасания этой иллюзии). Объективное наблюдение возникновения и протекания установочной иллюзии дает возможность установить ее основные признаки, характерные для структуры установок личности.

Выяснилось, что прошлое личности — сфера ее фиксированных установок — имеет большое значение для характеристики личности. Установки с большим «личностным весом» становятся конститутивными свойствами характера личности. Такие фиксированные установки обладают как формой, так и содержанием. Особенности личности зависят не только от того, какова ее установка содержательно, но и от того, какова она формально, каков механизм установочного действия. Закономерности установок, проявляющиеся в опытах с фиксированной установ-

кой, являются формальными свойствами. Установлены признаки дифференциально-психологического значения: возбудимость, динамичность, пластичность, косность, статичность, прочность, константность, вариабильность, стабильность, лабильность, иррадиация, локальность и др. Каждый из этих признаков имеет определенное характерологическое значение, но у каждой личности эти признаки находятся в своеобразном отношении друг с другом и создают специфический комплекс признаков. Поэтому характеристика личности возможна только на основе определения взаимоотношений между всеми этими признаками. Эти признаки не существуют независимо друг от друга, они выражают отдельные стороны целостной структуры установок, характерной для конкретной личности. На основе опытов по исследованию установки мы можем определить тип установок, под которым подразумевается характерная для определенной личности целостная структура установок с составляющими ее компонентами.

В результате экспериментального исследования установок а) здоровых, б) лиц, страдающих неврозами, но компенсированных, в) больных психозами установлены подобные типы установок (с учетом взаимоотношения их отдельных компонентов). Ведущую роль в определении этих типов играет форма угасания установок (пластико-динамичная, косно-динамичная, косно-статичная) или же их константность и стабильность. Из типов установок наиболее часто встречаются:

1) установка пластико-динамичная со средней возбудимостью, прочная, константная, стабильная, слабо иррадиирующая;

2) установка косно-динамичная со средней возбудимостью, прочная, константностабильная, слабо иррадиирующая;

3) установка косно-статичная с высокой возбудимостью, прочная, константная, стабильная, иррадиирующая;

4) пластико-статичная, прочная, константная, стабильная, иррадиирующая;

5) вариабильно-стабильная установка, преимущественно динамического характера, различной прочности и формы или же — с преобладанием статичности;

6) вариабильно-лабильная установка, в которой чередуются динамичная и «нулевая» установки или же вместе с «нулевой» преобладают типы статичной установки.

Эти типы установок находятся в высокой положительной корреляции с выявляемыми другими методами (клинико-биографическим, проективным, опросником Айзенка и др.) комплексом черт характера и состоянием психического здоровья (заболеванием неврозом или психозами). Выяснилось, что в основе возникновения определенного комплекса свойств характера личности лежит определенный тип структуры установок. Ориентировочно, выступающие при этом отношения можно обрисовать следующим образом: чем более динамична и пластична установка, чем более стабильны и константны ее динамичность и пластичность, тем более интегрирована и стабильна личность, тем более она адаптирована, обладает способностью к объективации, экстравертна или же экстраверсия и интроверсия уравновешены в ней. Личность обладает при этом способностью приспособления к внешней среде, способностью реализации адекватных ее целям стратегий, она целостна, гармонична.

Чем более косны, статичны установки личности, чем более константна, стабильна и иррадиирована эта статичность, тем более дисгармонична структура личности, затруднена ее адаптация со средой, она трудно

переключаема, ригидна, резко интровертирована; у личности с такой установкой поиски нужных путей для достижения ее целей в сложной и изменчивой среде протекают на фоне невротических переживаний. Если такая личность обладает высокой способностью к объективации, то ее внутренние конфликты заторможены, внутренне личность конфликтна, но с точки зрения приспособления к среде она стабильна, адекватна, даже гармонична.

В случае ослабления и тем более при полном отсутствии способности к объективации личность приближается к острому неврозу или психозу. Например, установки шизофреника в большинстве случаев косно-статичны, иррадиированы, у него полностью отсутствует возможность выработки установок посредством воображения на уровне объективации [1, 2].

Чем больше ослабляется константность установок личности, тем больше характер личности утрачивает внутреннюю логику, последовательность, личность становится импульсивной, экспансивной, в ней звучат невротические переживания.

Когда наряду с константностью установка теряет признак стабильности, т. е. становится вариабильно-лабильной, развивается истеричный характер, в котором, в зависимости от характера взаимозамены типа установок, невротические нарушения проявляются в различных формах [2, 3, 4].

Метод беседы. Как было отмечено, в комплексный метод включен и метод беседы, проводимой по заранее разработанному вопроснику. Цель метода: 1) посредством клинической беседы выявить внутреннюю структуру личности человека, определить те установки, которые уже превратились в свойства личности, понять интимные переживания последней, ее скрытые и манифестные стремления, охарактеризовать динамику потребностей и социальных переживаний, начиная с детского возраста; 2) установить, каковы способность к объективации и динамика воли (ее позитивная и негативная стороны), с помощью которой протекает борьба личности за достижение целей; 3) определить темперамент, эмоциональную стабильность или лабильность, на фоне которых развертывается поведение личности; 4) установить, каково отношение между отдельными компонентами личности — целостна ли структура личности, интегрирована ли она или же конфликтна, вариабильна, лабильна.

Клиническая беседа основывается на материале предварительного исследования личности, на сведениях о ее жизненном пути, ее биографии.

Психологический анализ полученного материала дает возможность выработать предварительную, ориентировочную гипотезу о формальном и содержательном аспектах структуры личности и рассмотреть ее в ее отношениях с данными фиксированных установок личности — насколько характеристика личности, полученная посредством метода анализа фиксированных установок, соответствует характеристике, составленной методом беседы. Материал, полученный посредством метода беседы, имеет диагностическое значение в том случае, если он соответствует данным, полученным экспериментально. Для нас главным диагностическим методом является метод анализа фиксированных установок.

Опросник Айзенка. Как мы видим, благодаря методу фиксированной установки удается узнать, какова форма поиска путей приспособления личности к внешней среде и самореализации — динамична она или ригидна.

У личностей с различными типами установок различны способность приспособления, организация психической сферы, направленность интересов. В этом отношении заслуживают внимания понятия интроверсии и экстраверсии [11, 12]. Как подтверждается нашими исследованиями и исследованиями других авторов, между типами установок и установленными Айзенком интровертным и экстравертным типами имеется сходство — между данными анализа фиксированных установок и данными опросника Айзенка в некоторых пунктах оказалась достаточно высокая корреляция [13, 15]. Исходя из этого, мы должны были поставить вопрос: какое существует отношение между установкой и интроверсией-экстраверсией, не являются ли последние лишь своеобразным проявлением установок, этого подлинного механизма приспособления к внешней среде.

Согласно Айзенку: 1) интроверт более субъективен, экстраверт же объективен, 2) в процессе приспособления к среде интроверт проявляет более высокую способность к интеллектуальной активности, экстраверт — способность к поведенческой активности, 3) интроверт характеризуется высоким уровнем самоконтроля, для экстравертов такой контроль менее характерен. Как видим, все вышеприведенные признаки связаны с трудностью или легкостью приспособления к среде, поэтому совершенно естественно, что интроверсия и экстраверсия должны положительно коррелировать с типами установок.

Результаты экспериментов, проведенных в этом направлении, подтвердили, что 1) большинство личностей с динамической установкой характеризуется экстравертным направлением интересов; 2) чем более косна и прочна установка, тем больше показатель интроверсии; 3) большинство субъектов со статичной установкой интровертны; 4) субъекты с прочной косно-динамичной установкой, у которых выражены вариабильность и лабильность, характеризуются склонностью к истерическим неврозам; 5) личности со статичной установкой — это интроверты, дистимики.

На основе приведенных данных можно заключить, что: 1) Субъекты с динамичной установкой в меньшей степени подчиняются фактору фиксации, легко переключаются на новую ситуацию, легко вырабатывают новые установки, не нуждаются в объективации каждого собственного шага, в анализе переживаний, в непрерывном контроле. Их жизнь протекает в естественном ритме, адекватно среде, поэтому личность с динамичной установкой, наряду с другими свойствами, характеризуется экстраверсией, она объективнее, направлена вовне, в меньшей степени нуждается в эмоционально-интеллектуальном напряжении для выбора целесообразной активности, а также в самоконтроле — динамичная природа установок способствует адекватному развертыванию поведения. 2) Субъект со статичной установкой в большей степени подчиняется фактору фиксации, он ригиден, ему трудно выработать адекватную установку в новой ситуации, поэтому он вынужден часто обращаться к акту объективации, из-за чего он направлен преимущественно «вовнутрь», проявляет самоконтроль, высокий уровень умственной активности — он больше живет на уровне объективации. Поэтому конфликтная личность со статичной установкой характеризуется, в частности, интроверсией — она субъективна, ее активность, самоконтроль проявляется на уровне объективации, и только на этой основе она вырабатывает соответствующую внешней среде установку. 3) Импульсивная личность с вариабильной установкой может в одних и тех же условиях проявить установки различной формы, у нее ослаблена логика характера, поэто-

му процесс ее приспособления к среде аконстантен; в соответствии с этим проявления как интроверсии так и экстраверсии варибальны.

Таким образом, результаты экспериментального и клинического изучения личности на основе теории установки подтверждают, что интроверсию и экстраверсию, как и склонность к невротическим реакциям, нельзя считать основными факторами типологии личности, они являются лишь определенными компонентами структуры установок личности, их возникновение определяется природой установок, этого основного механизма адаптации. Полученные результаты исследования дают основание включить в комплексный метод изучения структуры установок и опросник Айзенка, посредством которого можно установить, какое место занимают интроверсия и экстраверсия среди центральных факторов личности и, тем самым, углубить изучение всех компонентов структуры установки объективным методом.

Метод тематической апперцепции. Фиксированная установка большого «личностного веса» подразумевает определенное содержание, связанное с мотивацией поведения человека. Например, отношение к среде, осуществляемое в форме динамичной или статичной установки, по своему содержанию может выражать агрессию, стремление к доминированию, борьбе за достижение целей, определенные отношения к друзьям, семье, учреждениям, нации, государству и т. п., а также ряд тенденций невротического характера, которые могут вызвать конфликт со средой. В круг таких фиксированных установок входят также установки нереализованные, которые под воздействием различных субъективных и объективных факторов остаются в структуре личности в виде «комплексов». Для характеристики личности важно изучение содержания установок большого «личностного веса», оставшихся нереализованными. В результате нашего исследования выяснилось, что определение таких содержаний (мотивов поведения) возможно объективными методами, в частности методом тематической апперцепции [14]. То, что психоаналитики называют бессознательными потребностями, комплексами переживаний, вмещается в понятие фиксированной установки, поэтому проективный метод мы можем использовать для исследования установок личности как мотивов поведения.

Известно, что тесты тематической апперцепции вызывают у личности образы фантазии. Действие же фантазии, согласно теории Д. Н. Узнадзе, основывается на установках личности, особенно на установках нереализуемых. Активацию фантазии обусловливает тенденция к реализации установок, осуществлению которых мешает реальная действительность. Такие образы фантазии имеют симптоматическое значение. По мнению Д. Н. Узнадзе, если в основе фантазии лежит неосуществленная потребность, т. е. определенные нереализованные установки, если действие фантазии направлено на их реализацию, то продукты работы фантазии имеют значение симптомов, символов, по которым мы имеем возможность сказать, каковы скрытые установки личности, ее потребности, тенденции активности. Но совершенно неприемлемо приписывать образам фантазии заранее прочно фиксированные, только биологически обусловленные значения, как это полагают некоторые психоаналитики. «Для нас бесспорно, что нет элемента, отдельной части, которые бы не зависели от целого, куда они входят как элемент или часть. Фантазия, обычно, создает не отдельные представления, а целую систему, события, случаи и отдельные представления встречаются в контексте того или другого целого, следовательно, они подчиняются воздействию этого целого, и их символическое значение меняется в зависимости от этого» [9].

Таким образом, адекватное понимание действия фантазии дает возможность изучать тестами тематической апперцепции содержание установок личности — вызывать образы фантазии и на основе их анализа устанавливать скрытые мотивы поведения.

Результаты нашего исследования подтверждают, что типы характера, установленные методом анализа фиксированной установки, находятся в высокой положительной корреляции с теми свойствами личности, которые определяются на основе тестов тематической апперцепции. Выяснилось, что в структуру характера личности, выявленную методом анализа фиксированной установки, включаются с определенной закономерностью мотивы, которые являются содержательно-мотивационной стороной установок большого «личностного веса». Характер отношения между результатами исследования этими двумя методами таков:

1) Чем пластичнее и динамичнее установка, тем более содержание свойств, выявленных методом тематической апперцепции, отражает высокий уровень адаптации личности к среде, развитие коммуникативных свойств, т. н. «афилацию» — поиски дружественных связей, синтонность, откровенность, стойкость, энергию в действиях, пластичность в отношениях со средой, способность легкого преодоления фактора фиксации, легкое возникновение оптимистических эмоциональных переживаний.

2) Когда в динамическую установку включена косность, личность характеризуется новыми содержаниями, соответствующими этому формальному аспекту установки. Например, агрессивностью, тенденцией к достижению целей, строго упорядоченным, последовательным, заранее планируемым поведением. Однако эти признаки не изолированы от ведущих личность свойств, выражающих динамичность, а слиты с ними. Например, содержания, выражающие агрессивность или избыточную автономию, смягчены, лишены ригидности, не превращены в свойства, способствующие развертыванию неадекватного поведения, или вызывают острые внутренние и внешние конфликты; часто эти содержания хорошо контролируются и слиты с коммуникаторными свойствами: агрессия слита с потребностью защиты родины, помощи другому, доминантность — с социальными переживаниями и т. д.

3) Чем более статична установка личности и эта статичность константна и стабильна, тем у личности сильнее, по данным тестов тематической апперцепции, мотивы, выражающие сензитивность, пессимистические эмоции, автономность, эгоцентризм, субъективность, скрытую агрессивность, интроверсию. Подобная личность характеризуется множеством скрытых, заторможенных, латентных потребностей и фиксированных установок, которые проявляются в виде затруднительности адаптации к среде, внутренних препятствий при поисках средств (необходимых для достижения цели), униженности, тревожности и вообще в виде конфликтных переживаний и конфликтного поведения.

Эти стремления личности чаще всего скрыты, неосуществимы. Такая личность характеризуется, однако, высокой способностью к объективации, может создать на уровне объективации адекватную среду установки, проявить сильный самоконтроль, а также реализовать социально неприемлемые мотивы в фантазии, мечтах, реальное же поведение направить адекватно среде.

4) При сильной вариабильности и, одновременно, стабильности личности в тестах тематической апперцепции проявляются: импульсивность, мечты о больших достижениях (а в случае их неосуществимо-

сти — депрессия), экспансивность, субъективность, сензитивность, недоступность для критики, фиксированные переживания виновности, неполноценности, алогичность в поведении, в то же время большая психическая энергия на фоне внутренней тревожности, жажда борьбы за высокие цели, слитая с агрессией и доминантностью.

5) Если установка личности вместе с вариабильностью лабильна, то проявляется ослабленность психической энергии, тенденция к частой смене места жительства, друзей, профессий, непоследовательность, нарциссизм, внутренняя слабость, потребность в чужой помощи, излишняя пластичность; содержания переживаний отражают импульсивность, эксцентричное, истеричное поведение, фантазии, странные мечты.

Таким образом, свойства характера, соответствующие типам установок и выявленные посредством клинико-биографического метода и метода тематической апперцепции, в основных чертах совпадают друг с другом, причем данные указанного теста включаются в структуру установки. Свойства характера, обнаруживаемые указанными методами, не могут проявиться без активности личности. Поэтому невротические особенности, которые можно обнаружить у личности проективными методами, часто бывают сильно компенсированными и проявляются только в экстремальных условиях, в разнообразных жизненных коллизиях.

Метод Роршаха [16]. В комплексный метод исследования установки личности входит также известный метод чернильных пятен Роршаха. Метод Роршаха основывается на классическом понимании восприятия как сложного психологического комплекса. В восприятии могут участвовать представления, память, т. е. процессы апперцепции (влияние личного опыта на восприятие). Ввиду этого в нем как в процессе активности человека может проявиться целый ряд духовных диспозиций. Во время восприятия чернильных пятен проявляются фиксированные в прошлом ощущения, ассоциации представлений, человек индентифицирует эти пятна со своим прошлым опытом.

Современная психология не разделяет, однако, принципы понимания, предложенные Роршахом. В советской психологии, в частности в психологии установки, известно, что человек воспринимает не абстрактные формы, как это утверждается в гештальтпсихологии, а структуры, имеющие значение. Восприятие значения структур определяется установками личности [8]. Чем «слабее» структура предмета, предлагаемого субъекту для восприятия, тем резче проявляется в восприятии внутренняя структура индивида. Возникновение законченного структурного восприятия (когда воспринимается как форма, так и значение) возможно только после сформирования установки, соответствующей этому восприятию. Например, когда субъекту предлагают лишенные структуры чернильные пятна и просят сказать, что он видит, у него возникает потребность решить задачу. На основе единства этой потребности и соответствующей ситуации (чернильные пятна) возникает установка (установка восприятия), имеющая определенную форму и содержание. В процессе возникновения эта установка связывается с фиксированными в прошлом, но не реализованными установками. Таким образом, в процессе преобразования «слабой» структуры в «хорошую», придания этой структуре определенного значения в восприятие вплетаются особенности целостной духовной структуры.

Интерпретация тестов Роршаха с точки зрения психологии установки дает возможность постичь не только процесс структурирования чернильных пятен в восприятии — тесную связь поведения с установкой,—

но понять и саму природу ассоциаций, возникающих в процессе восприятия, природу возникновения и развертывания образов фантазии, которые являются существенными в методе Роршаха.

Согласно концепции Д. Н. Узнадзе, возникновение различных представлений зависит от того, какая установка целостного характера имеется у субъекта. Это подтверждается анализом особенностей ассоциаций, которые особенно четко проявляются в сновидениях и в т. н. «эмоциональных комплексах». Допустим, что у субъекта возникает желание, которое с моральной точки зрения для него неприемлемо, он пытается забыть это переживание, «вытеснить» его из сознания и это ему удается; однако это вовсе не означает, что это переживание не оставило в нем никакого следа. Переживание исчезает из сознания, оно забыто как содержание сознания, но остается установка, соответствующая этому переживанию. Вот такие, по-существу, установки психоаналитики называют «комплексами». Они оказывают решающее влияние на ассоциации представлений субъекта, которые наиболее легко проявляются в сновидениях. Содержание сновидения выявляет особенности содержания установок субъекта [9].

Установочная основа возникновения ассоциаций дает полное право сказать, что ассоциации, приводимые в действие методом Роршаха, выявляют нереализованные установки, иногда очень большого «личностного веса». То же самое можно сказать об образах фантазии, возникающих во время созерцания чернильных пятен Роршаха. Тесты Роршаха представляют ситуацию, вызывающую актуализацию фантазии. Анализ образов фантазии, вызванных этим методом, дает возможность постичь глубокие слои личности, выяснить важные стороны ее структуры и, что главное, дает достаточно надежные сведения о природе тех сил личности, которые необходимы для реализации установок: каковы особенности интеллекта как свойства характера, каковы интеллектуальные интересы, чувство реальности, какова в поведении роль эмоций и фантазии, творческая энергия, способность саморегуляции и т. д. Материалы, полученные этим методом, обогащают и углубляют знания о структуре личности и в основных чертах согласуются с данными, полученными методом анализа фиксированных установок.

Результаты нашего экспериментального исследования подтверждают, таким образом, что:

1) Ответы по тестам Роршаха, даваемые личностями с динамической, константной, стабильной структурой установок, в большинстве случаев соответствуют структуре таких установок. Такие субъекты или совсем не характеризуются ассоциациями, связанными с чистым цветом, или подобные ассоциации встречаются у них крайне редко. Более часты ассоциации по форме, что подтверждает господство в личности здоровых адекватных внешней среде, толерантных эмоций.

Нормальное количество (25—30%) ассоциаций «слабой» формы (ответов, обозначающих животных, и т. н. «популярных» ответов) подтверждает, что для этого типа испытуемых характерна способность к адекватной адаптации к среде, благодаря которой часто компенсируются другие стороны личности и, в частности, происходит компенсация диссоциации между различными компонентами умственной деятельности. Поэтому даже тогда, когда у личности с такими установками имеется дисгармония между свойствами умственной деятельности и характера, эта дисгармония преодолевается положительными свойствами личности.

Возникновение образов на основе ахроматических цветов (глубина, перспектива) показывает, что у личностей с такой установкой редки тяжелые невротические конфликты, тревожность. Иногда им свойственны компенсированные или заторможенные чувства неполноценности, нереализованные фиксированные установки, возникшие в течение жизни, но обычно анализ указывает на то, что структура личности в основном целостна, гармонична, здорова.

2) Что касается большинства конфликтных субъектов со статичной, косной, константной установкой, то последняя часто проявляется в ассоциации хроматических цветов, оторванных от формы. Часты здесь ответы типа «цвет-форма», сравнительно меньше ответов типа «форма-цвет»; характерны неточность восприятия форм, абстрактные и ригидные ответы, что указывает на эмоциональную лабильность, тревожность, внутренние конфликты, аутичные переживания. Метод Роршаха выявляет также целый ряд индивидуальных свойств, характерных для отдельных конфликтных личностей. Все это выявляет черты, характерные для формально-структурного аспекта личности конфликтного субъекта, которые определяются и методом фиксированной установки.

Личность с вариабильно-лабильной установкой также проявляет в тестах Роршаха свойства, которые чрезвычайно показательны для характеристики соответствующей такой установке импульсивной, истерической личности.

Таким образом, описанный нами комплексный метод выявляет природу установок, представленных в форме бессознательного психического, — модуса, определяющего поведение и переживание личности. Методом фиксированной установки мы изучаем формально-структурную сторону установок личности, методом беседы, опросником Айзенка и проективными методами — содержательно-мотивационные аспекты установок и их отдельные структурные компоненты.

В результате экспериментального исследования было установлено, что данные этих методов восполняют друг друга и дают возможность создать полный характерологический портрет личности. Основной принцип создания портрета: анализ взаимоотношений между диспозиционной природой установки как структурой бессознательной психики и находящейся в единстве с ней сознательной психической жизнью; определение, в какой мере адекватность переживаний и поведения личности, трудность или легкость адаптации, целенаправленные действия (пластичность и ригидность в поисках путей самореализации), внутренние конфликты и т. п. связаны со структурой установок, ставших существенными чертами личности.

Примечание редакции

В статье В. Г. Норакидзе поставлен вопрос о соотношении данных, полученных, с одной стороны, в результате анализа психологических установок, а с другой — в итоге исследований, опирающихся на проективные методики. Автор отмечает сходство выявляемых при этом результатов, указывая одновременно, что определение фиксированных установок позволяет заключить о формально-структурных характеристиках личности, в то время как данные проективных методик освещают ее содержательно-мотивационные аспекты.

Присоединяясь к такому разграничению, редакция считает необходимым одновременно подчеркнуть: в вопросе соотношения методических подходов, поставленном В. Г. Норакидзе, главное заключается в том, что данные анализа установок позволяют в какой-то степени объяснять феноменологию «содержаний», выявляемую проективными методами. Выступая же в роли объясняющих категорий, эти данные создают возможность прогнозирования — в определенных, конечно, пределах — изменений поведения и личностного реагирования, которые можно ожидать при изменении объективных ситуаций, а тем самым — и возможность управления, в какой-то степени, этими предвидимыми психологическими сдвигами.

METHODS OF THE STUDY OF SET AS THE UNCONSCIOUS MIND

V. G. NORAKIDZE

D. N. Uznadze Institute of Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi

SUMMARY

The paper discusses a complex of methods enabling the study of the nature of set (the mode determining the behaviour and experiences of personality) as the unconscious mental. The method of fixed set is shown to be of central importance in the complex of techniques used in the field. It studies the formal-structural side of personality, whereas clinical interview and the projective techniques deal with the motivational-content aspect of set.

The data yielded by these methods facilitate the analysis of the interrelationship of the dispositional nature of set and the person's conscious mental life, the two being closely linked. It also permits discussion of the compatibility of the person's experiences and behaviour with his environment with respect to the structure of set that has become a personality trait. It allows explanation of the phenomena of consciousness on the basis of set; in particular, it permits, within certain limits, to interpret the «content» phenomenology of experiences revealed by the projective techniques, as well as to predict the person's future behaviour in a changed objective situation and hence, to control these predictable psychological changes.

ЛИТЕРАТУРА

1. БЖАЛАВА И. Т., К психопатологии шизофрении. Тб., 1958; Эпилепсия, Тб., 1958.
2. ВАЧНАДЗЕ Э. А., Особенности установки, фиксированной в словесной ситуации в некоторых патологических случаях, Тб., 1958.
3. МДИВАНИ К. Д., Иллюзия установки в случаях истерии. Сб.: Экспериментальные исследования по психологии установки, Тб., 1958.
4. НОРАКИДЗЕ В. Г., Динамика изменения характера в нормальных и патологических случаях, Тб., 1961.
5. НОРАКИДЗЕ В. Г., Методы исследования характера личности, Тб., 1975.
6. НОРАКИДЗЕ В. Г., Типы характера и фиксированная установка, Тб., 1966.
7. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тб., 1967.

8. УЗНАДЗЕ Д. Н., К проблеме постижения значения. «Психологические исследования», 1966, стр. 3—27.
9. УЗНАДЗЕ Д. Н., Общая психология, Тб., 1964, стр. 576.
10. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тб., 1961.
11. EYSENCK, H. J, Dimensions of Personality, London, 1950.
12. EYSENCK, H. J., SYBIL, B. G., Manual of the Eysenck Personality Inventory, London, 1964.
13. HRITZUK, J., A Comparative and Experimental Application of the Psychology of Set. Canada, 1968 (докторская диссертация).
14. MURRAY, H. A.; Explorations in Personality, New York, 1938.
15. JANSEN, H. L. An investigation of the integral nature of the Soviet concept of Set, International Journal of Psychology, 1972, vol. 7. № 4, 207—218.
16. RORSCHACH, H., Psychodiagnostik, Bern, 1946.

199

К ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТИВНОГО МЕТОДА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

Е. Т. СОКОЛОВА

МГУ, факультет психологии

История развития экспериментальных методов психологии отражает развитие ее категориального аппарата. Именно поэтому теоретическое обоснование того или иного метода может стать самостоятельной проблемой исследования. Необходимость же такого рода обоснований возникает при практическом применении методик, заимствованных из арсенала зарубежной психологии.

Принято различать «метод», выражающий суть теории (ее методологию), и «методики», являющиеся конкретной экспериментальной реализацией метода. Объектом нашего анализа является проективный метод как система клинико-экспериментальных приемов изучения особенностей личности и деятельности, не осознаваемых (или недостаточно осознаваемых) в обыденной жизни.

Связь метода с теорией сложна и не всегда однозначна: как не существует единой теории бессознательного, так не существует и единственного теоретического обоснования проективного метода. Еще менее жестко связаны с общей теорией отдельные методики, каждая из которых может опираться на частную психологическую концепцию. В силу этого, взятые вне общей психологической системы отдельные методики — всего лишь более или менее удачные экспериментальные находки. Только рассмотрение совокупности таких приемов, принципов их построения, понятий, служащих анализу и интерпретации результатов, в конечном итоге позволяет обнаружить объединяющий их метод и ту или иную теоретическую схему. Обоснование проективного метода, в частности, тесно связано с решением таких глобальных теоретических проблем, как влияние неосознаваемой мотивации на психические процессы и поведение, структура личности и характер взаимоотношений человека с окружающим миром. На данном этапе исследований, в связи с недостаточной разработанностью этих проблем и многозначностью используемых понятий, представляется целесообразным рассмотрение концепций, лежащих в основе проективного метода. Цель такого анализа заключается для нас в нахождении понятий или системы понятий, способных адекватно отразить некоторые реально существующие психологические феномены. В частности, сама история развития проективного метода с необходимостью приводит к идее установки, хотя эта идея содержится в разных теориях лишь имплицитно.

Проективный метод складывался на протяжении всего нашего столетия, испытывая влияние со стороны многих психологических на-

правлений. Можно выделить, по-видимому, три теоретических источника проективного метода: глубинная психология, холистическая психология и концепции, сложившиеся в русле эспериментальных исследований селективности восприятия (New Look). Известно несколько классификаций проективных методик (Г. Айзенк, Ф. Белл), однако наиболее разработанной считается классификация Л. Френка [10], которому, кстати, и обязана своим названием данная группа приемов. В зависимости от задачи, ставящейся перед испытуемым, и цели исследования различают:

1. Методики на структурирование (тест Роршаха и сходные с ним тест «облаков», тест «трехмерной проекции» и т. п.);

2. Методики на конструирование (MAPS, мозаичный тест, тест Мира и его дериваты);

3. Методики на интерпретацию (ТАТ, тест фрустрации Розенцвейга, тест Сонди и т. д.);

4. Методика на дополнение (ассоциативный эксперимент Юнга, завершение предложений и рассказов);

5. Катарсические приемы (проективная игра с фиксированными объектами);

6. Рефрактивные, или приемы изучения экспрессии (анализ почерка, мимики, миокинетическая методика Мира-и-Лопеца);

7. Методика изучения продуктов творчества (свободный рисунок и рисунок на заданную тему, рисунок пальцем и прочее).

Эта классификация, как и другие, достаточно условна, чтобы охватить постоянно расширяющийся круг методик, и служит прежде всего средством их регистрации. По сравнению с остальными методическими приемами проективные методики имеют ряд отличий. Прежде всего, принципиально иной выглядят функции экспериментатора: из нейтрального регистратора ответов испытуемого он становится его партнером. Доверительность, доброжелательность — необходимые условия продуктивности любого проективного исследования. Немаловажное значение имеет и сам стимульный материал, подбираемый таким образом, чтобы заинтересовать испытуемого, вызвать то или иное его отношение. Это могут быть слова или предложения, имеющие скрытый эмоциональный подтекст, изображения достаточно драматических жизненных ситуаций, которые в зависимости от индивидуальных особенностей испытуемых могут по-разному интерпретироваться и т. д. Подобная организация эксперимента, как правило, не оставляет испытуемого безучастным, а, напротив, создает условия для максимальной «включенности» его «Я». Этой же цели служит обычно и инструкция — достаточно неопределенная или апеллирующая к индивидуальности испытуемого, к его творческим возможностям и не содержащая каких бы то ни было нормативных требований. Говорят также о неоднозначности, «неструктурированности» проективного материала, благодаря чему создаются условия для свободного выбора ответа среди имеющихся альтернатив. Очевидно, что сами по себе перечисленные признаки, так же как и принцип проекции, не связаны с какой-либо определенной теоретической системой, они, вообще говоря, эмпиричны. Но в зависимости от установок исследователя, избранной им схемы, интерпретации результатов они могут стать орудием той или иной теории.

Проективный метод основан на том допущении, что в ситуации определенным образом организованного исследования, поведение в значительной степени направляется системой мотивов, оценок, уста-

новок — момент, обычно не осознаваемый испытуемым. Таким образом, можно сказать, что в основе проективного метода лежит тезис о связи поведения (в широком смысле слова) с аффективно-потребностной сферой личности, исторически оформившейся в так называемую проблему проекции. Конечно, сформулированный в столь общем виде этот тезис не раскрывает природы и механизма самой связи. Между тем, от решения этого вопроса зависит методология проективного исследования, приобретают психологический смысл формальные признаки проективных методик.

В исследованиях ряда психологических школ мы находим экспериментальные факты и концепции, раскрывающие характер взаимосвязи мотивации и познавательных процессов, впоследствии использованные для обоснования проективного метода. Психоанализ, во всех его вариантах, несомненно, вдохновляет создателей многих проективных методик. В период их возникновения некоторые исследователи относились к ним как к экспериментальному варианту психоанализа. Особое значение имели положения З. Фрейда [4] об антагонизме сознательного и бессознательного, о функциях «первичных» и «вторичных» процессов, о защитной функции механизма проекции. В духе идей психоанализа формулировалась и цель проективного метода — выявление неосознаваемых потребностей, конфликтов, тенденций личности, а также неконвенциональных, обычно подавляемых форм поведения. В наиболее развитой форме эта точка зрения выражена Г. Мюррем, который видел в ТАТ прежде всего средство обнаружения «латентных» (антисоциальных, а потому неосознаваемых) потребностей. Мюррей принимал фрейдовскую «трехслойную» модель личности, из чего, в частности, вытекало, что обычно наблюдаемое поведение неинформативно в отношении истинных побуждений личности. Так же, как в свое время фрейдовский анализ фантазии или «психопатологии обыденной жизни», проективные приемы должны были обнажать глубинные слои личности. Многозначность стимула рассматривалась как одно из условий провоцирования бессознательных фантазий, в которых находили удовлетворение подавленные желания. Как известно, психоанализ ввел различение «первичных» и вторичных» психических процессов (Е. Блейлер предпочитал термины «аустическое» и «реалистическое» мышление). В содержании первичных процессов непосредственно обнаруживаются бессознательные агрессивные и сексуальные влечения; вторичные процессы обеспечивают более объективное отражение реальности, вне зависимости от потребностей самого индивида. Мюррей полагал, что восприятие неоднозначных в смысловом отношении таблиц ТАТ представляет собой первичный процесс — апперцепцию и тем самым сближал рассказы испытуемых с продуктами чистой фантазии. Благодаря механизму идентификации потребности и конфликты должны были прямо и непосредственно направлять восприятие картин, что находило выражение в наборе и силе отдельных «тем». Таким образом, на раннем этапе развития проективной техники метод проекции связывался с идеей «первичных» процессов и возможностью их аутистического проявления в восприятии.

Приверженцы ортодоксального психоанализа настаивали также на близости механизма, действующего в проективном эксперименте, фрейдовскому понятию проекции как защиты. Известно, что в теории Фрейда механизмы психологической защиты (подавление, сублимация, идентификация) рассматривались в качестве средств разрешения конфликта сознания и бессознательного, как преобразователи энергии

либидо в социально приемлемые формы деятельности. Концепция проекции была предложена для объяснения паранойяльного бреда и невроза тревоги. Под проекцией понимался защитный механизм, позволяющий индивиду экстериоризовать причину тревоги (которая на самом деле коренится в нем самом) и тем самым более успешно бороться с ней. Точно так же происходит экстериоризация и приписывание другим всего того, что человек отвергает в себе самом — социально неприемлемых сексуальных и агрессивных тенденций. По мысли Фрейда, содержанием проекции всегда являются глубинные влечения секса и агрессии. Именно поэтому механизм проекции принципиально неосознаваем и всегда выступает как защита — приписывание другим людям или вещам свойств, чувств и желаний, в которых субъект отказывает самому себе. Эта точка зрения получила широкое распространение, в частности в социальной психологии: механизмом проекции стали объяснять источник религиозных и этнических предрассудков. Часть исследователей попыталась представить фрейдовскую концепцию проекции в качестве обоснования проективного метода. Например, Л. Беллак [7] определил проекцию как приписывание другим собственных тенденций постольку, поскольку они не могут быть реализованы самим субъектом. В его экспериментах после стандартной процедуры ТАТ психолог начинал жестоко критиковать рассказы испытуемых. По гипотезе автора, обиженные испытуемые, не имея возможности проявить открыто свою обиду, будут выражать ее проективно. Действительно, в таких условиях резко возрастало число агрессивных тем в рассказах. Однако в тех же экспериментах было показано, что создание дружелюбной атмосферы приводило к уменьшению агрессивных тем. Этот факт ставил под сомнение сводимость проекции к механизму защиты и тем самым ограничивал возможность обоснования проективного метода ссылкой на «классическую» проекцию. Во избежание терминологических недоразумений некоторые авторы даже предлагали отказаться от введенного Л. Френком термина и называть известную группу методик «неструктурированными тестами» (Стейн), или «тестами ошибочного восприятия» (Кеттел).

Противники «защитной» концепции проекции указывали также на чрезвычайную расплывчатость самого понятия проекции. Первоначально Фрейд ввел это понятие для объяснения патологических явлений — паранойи и невротического страха. Вместе с тем в «Тотеме и табу» имеется указание на проекцию как нормальный механизм, вместе с «интроекцией» участвующий в формировании наших восприятий внешнего мира. Кроме того, термином проекция нередко обозначают явления, наблюдаемые в процессе терапии. Например, говорят, что пациент «проецирует» образ своего отца на врача и «переносит» на него амбивалентность чувств, обусловленную Эдиповым комплексом. Ребенок «проецирует» себя в грезах, «сопереживая» страданиям гадкого утенка или триумфу бесстрашного ковбоя. Действительно, в таком контексте понятия «перенесение», «проекция», «идентификация» не поддаются точному определению и трудно отделимы друг от друга. Могут ли они объяснить процесс, наблюдаемый в проективном эксперименте? Ряд авторов отвечает на этот вопрос отрицательно [15].

Критикуя психоаналитическую концепцию проекции, не следует все же игнорировать ряд моментов, хорошо известных из «житейской» психологии и тонко подмеченных психоанализом. Не секрет, что люди подчас откровенней рассказывают о проблемах своего друга (несуществующего или вовсе не обремененного ими), чем о своих собственных.

С. Образцов рассказывал однажды, как ему удалось справиться с трудностью своего первого выхода на сцену в качестве драматического актера. Он сделал куклу, изображающую тот персонаж, который ему предстояло сыграть и роль которого ему никак не удавалась, и «передал» ей текст своей роли. Психологический барьер дебютанта был сломан, а благодаря счастливой находке родился великий кукольник. Безусловно, элемент защиты в такого рода жизненных стратегиях имеется. Может быть, поэтому испытуемому в определенном эмоциональном состоянии легче рассказывать о переживаниях и конфликтах «героев», а не о своих собственных? Творчество каждого большого мастера — это всегда разработка определенной «темы», особенно важной для автора. Конечно, ни один из героев полностью не копирует своего создателя. И тем не менее всем известно небезразличие автора к своим персонажам: А. Дюма хохотал над похождениями трех мушкетеров, а Гюстав Флобер «умирал» с госпожой Бовари. Но «истории» сочиняют не только профессиональные писатели и дети — вспоминая прошлое, планируя будущее, мы всегда творим их, создаем более или менее талантливые истории о себе, своих друзьях и недругах. Ситуация ТАТ при всей своей искусственности представляет собой модель подобного процесса. Если испытуемый и не идентифицируется с «героем» (это действительно бывает крайне редко), то во всяком случае демонстрирует свое отношение к событиям и персонажам рассказа.

Способностью к идентификации (сопереживанию, эмпатии) люди наделены неодинаково, к тому же она различно проявляется в зависимости от аффективного состояния, значимости переживаний и ряда других факторов. Проективный метод затрагивает целый ряд проблем. до сих пор психологами малоизученных. Надо ли удивляться, что для его обоснования так часто приходится прибегать к непсихологическим источникам!

Развитие «психологии Эго» заставило пересмотреть положения о первичных процессах и защитных функциях проекции как принципах проективного метода. В целом для этой ветви психоанализа характерен интерес к «вторичным» процессам или к «функциям я, свободным от конфликта». На первый план выдвигаются исследования реалистического мышления и восприятия и их регуляции со стороны высших форм мотивации — структур «когнитивного стиля». Акцент делается на «уникальности» личностной организации индивида и способов его адаптации к объективному миру. Вслед за Г. Олпортом меннингерская группа психологов (Д. Рапапорт, Д. Клайн, Р. Гарднер и другие) занимается теоретической и экспериментальной разработкой проблемы когнитивного стиля. Как известно, Олпорт ввел понятие «стиля» как характеристику индивидуальных особенностей экспрессии человека — мимики, походки, почерка, подразумевая под «стилем» систему установок или инструментальных черт [6]. Впоследствии в работах меннингерских психологов «стиль» стал определяться как относительно стабильная структура механизмов контроля, характеризующая индивидуальный тип адаптации и отражающаяся в особенностях познавательных процессов [11][1]. Экспериментальные исследования выявили несколько видов контроля: зависимость — независимость от пола, степень сканирования, толерантность к нереалистичес-

---

[1] См. об этом подробнее нашу монографию «Мотивация и восприятие в норме и патологии», М., 1976.

кому опыту и т. д. Все эти виды контроля, опосредуя влияние мотивации на познавательные процессы, действуют по механизму установки и обладают ее свойствами. Д. Рапапорт [16], много занимавшийся методологией проективных исследований, рассматривает проективные приемы прежде всего как средства выявления присущих индивиду способов регуляции «первичных» процессов — систем защит и контроля. В частности, рассказы испытуемых в ТАТ — не столько аутистическая фантазия, сколько продукт обработки ее со стороны защитных механизмов «Я». Поэтому проективными являются любые внезапные изменения логики рассказа, отклонения от сюжетов — «клише», выпадения отдельных пунктов инструкции. В особенностях мышления и речи, стилистике, лексике Рапапорт видит отражение присущего индивиду «стиля». Согласно Рапапорту, фрейдовская концепция проекции неприменима к обоснованию проективного метода. Он сближает понятие «проекция» с понятием «мотивация» и утверждает проективность любой деятельности человека: даже одежда, убранство квартиры могут нести информацию о тех или иных аспектах личности.

В формировании этих представлений определенную роль сыграли получившие особое распространение в США с конца 30-х годов идеи системно-структурного подхода или холистической психологии (К. Гольдштейн, К. Левин, Г. Олпорт и другие). Именно в свете этих идей можно рассматривать попытку Л. Френка, кстати исторически первую, обосновать проективный метод в широком контексте взаимоотношения личности с окружающим ее миром [10]. Активное отношение личности к миру описывается Френком как постоянный процесс «структурирования», упорядочивания жизненных ситуаций в соответствии со структурой «внутреннего мира» личности (private world). Образованный аффективными реакциями на внешние стимулы, требованиями семейной и социальной среды, «внутренний мир» представляет собой «паттерн» относительно стабильных, присущих данной личности способов структурирования, или, что то же самое, «стиль» личности. Ценность проективного метода, по Френку, как раз и состоит в его способности выявить особенности структурирования неопределенной ситуации и тем самым проникнуть во внутренний мир, как бы реконструируя его по данным теста. В таком понимании проекция выступает как способ взаимоотношения личности с окружающей действительностью, а проективный метод — как моделирование жизненных ситуаций, в которых этот способ себя обнаруживает.

Как вывод из концепций Рапапорта и Френка можно считать, что в основе проективного метода лежит экстериоризация присущих человеку способов организации и выбора неструктурированного материала. Каким же образом обеспечивается эта экстериоризация? К сожалению, в этих концепциях вопрос о механизмах проекции вообще не обсуждается, его заменяют описательные термины — «организация», «выбор» (Рапапорт) или ссылка на принцип изоморфизма (Френк). Вместе с тем, уже в понятиях «стиль», «внутренний мир» была заложена идея проекции как регуляторного механизма.

К началу 50-х годов под непосредственным влиянием цикла работ по изучению селективности восприятия (New Look) сложилось своего рода экспериментальное обоснование метода проекции. Проективные методы, возникнув в русле клинической психологии, позднее привлекли внимание психологов, интересующихся проблемами восприятия, и в качестве экспериментальной схемы впервые были использованы в исследованиях аутистического восприятия [12]. Неопределенность стимуль-

ных условий (неструктурированность, неоднозначность в смысловом отношении эмоционально-насыщенного материала) оказалась пригодной для выявления роли «личностных факторов» в восприятии. Основной результат исследований Дж. Брунера, Л. Постмена и других представителей New Look заключался в обнаружении селективности восприятия в отношении эмоционально-значимых объектов. Селективность выступала в виде перцептивной защиты и перцептивной сенсибилизации. Мы не имеем возможности останавливаться подробно на описании экспериментов и их результатов. Здесь нам важно обсудить вопрос о механизме селективности восприятия.

Брунером и Постменом было предложено два таких объяснения. Согласно первому, стимулы, релевантные потребностям, ценностям личности воспринимаются правильней и быстрее, чем несоответствующие им: стимулы, противоречащие ожиданиям субъекта или несущие враждебную информацию, узнаются хуже и подвергаются большему искажению; стимулы, угрожающие целостности «Я», могущие вызвать серьезные нарушения психического функционирования, узнаются быстрее всех прочих (Брунер и Постмен, 1948). Принцип защиты нашел подтверждение непосредственно на материале проективных методик. Так, нарушение в той или иной потребностной зоне, выявленное в ассоциативном эксперименте, сочеталось с непринятием или искажением соответствующей гипотезы при интерпретации таблиц Роршаха или ТАТ (Эриксен, 1951; Эриксен и Лазарус, 1952).

Несколькими годами позже Брунер и Постмен дали более четкое объяснение феноменам селективности, введя понятие «гипотезы». По смыслу это понятие аналогично терминам «схема», «установка», используемым в других теоретических системах, однако от традиционных set-теорий брунеровскую концепцию отличает, во-первых, информационный подход и, во-вторых, попытка определить роль мотивационных факторов в кругу прочих детерминант восприятия. Согласно теории «гипотез», перцептивная сенсибилизация и защита могут рассматриваться как частные механизмы регуляции восприятия в ситуациях, экстремальных для личности. С точки зрения общей теории, механизмом, опосредствующим влияние мотивации на восприятие, является «гипотеза» или, мы бы сказали, у с т а н о в к а.

Экспериментальные данные и теоретические положения, сформулированные в рамках N. L., нашли отклик среди представителей так называемой проективной психологии. Влияние идей N. L. особенно ощущается в концепции «апперцептивного искажения» Л. Беллака [8]. Беллак различает три типа перцептивного поведения: адаптивное поведение полностью подчиняется требованиям стимуляции и определяется задачей; в экспрессивном отражается индивидуальный «стиль» решения задачи; проективное поведение демонстрирует индивидуальные различия в восприятии, обусловленные мотивами и чувствами воспринимающего. Последний тип поведения Беллак называет «апперцептивным искажением». В любом процессе восприятия присутствуют компоненты всех трех типов поведения, но в разной пропорции в зависимости от степени неопределенности перцептивной ситуации. Например, при исследовании ТАТ стандартное, общее для всех восприятие таблиц невозможно. Рассказ каждого испытуемого — это индивидуальное отклонение от стандартной интерпретации или апперцептивное искажение.

Апперцептивное искажение может встречаться в разных формах, например «классическая» защитная проекция представляет собой край-

ний патологический вариант. Простая или нормальная проекция встречается в обыденной жизни довольно часто. Примером ее может служить повышенная чувствительность некоторых людей, например невротиков, к событиям определенного рода: робкий подчиненный замечает малейшие оттенки настроения своего шефа, мнительный человек испытывает тревогу там, где, по мнению других, нет причин для беспокойства и т. д. К этому же кругу явлений Беллак относит известные данные о сензитивной бдительности, полученные в исследованиях New Look. Механизмом апперцептивного искажения Беллак считает структурирующее влияние следов прошлого опыта на актуальное восприятие.

Мы рассмотрели здесь ряд концепций, оказавших серьезное влияние на попытки теоретического обоснования проективного метода. Анализ показывает, что так называемая проблема проекции разрабатывалась в тесной связи с проблемой бессознательной мотивации. В развитии обоих направлений можно найти немало общего, их объединяют прежде всего поиски механизма, посредством которого потребности и мотивы выполняют функцию регуляции психической деятельности. В «теории гипотез» Дж. Брунера, в концепциях Френка, Беллака и других представителей проективной психологии уже содержится идея «установки» как такого регуляторного механизма. Вместе с тем, для дальнейшей разработки этого направления исследований необходима адекватная переформулировка проблемы проекции. Термин «проекция» многозначен и, как это ни парадоксально, лишен психологического содержания. Он лишь фиксирует эмпирически наблюдаемые явления, но психологически квалифицировать их не может.

Признание установки в качестве механизма проекции позволяет ввести проективные методы в контекст общепсихологической теории. В свете идеи установки становятся понятными факты, наблюдаемые в экспериментах New Look и проективных исследованиях. Создаваемая искусственно неопределенность стимульных и экспериментальных условий затрудняет однозначную актуализацию определенных поведенческих схем. Выбор той или иной стратегии поведения будет определяться тогда неосознаваемой аффективной установкой. Эти установки проявляются в избирательности «тем» (ТАТ) или образов-гипотез (Роршах), но также и в динамике самой деятельности. Однажды пережитые аффекты не исчезают бесследно, а «продолжают существовать лишь в форме установок, которые проявляются в специфической избирательности реагирования, придают определенную направленность произвольным и непроизвольным действиям» (Ф. В. Бассин). Ситуационно-неадекватным проявлением установок можно считать и такие феномены, как нарушение логики рассказа в ТАТ и многие другие случаи «апперцептивного искажения». Проективный метод в таком контексте может рассматриваться как экспериментальный прием изучения неосознаваемых аффективных установок и «значащих переживаний».

Безусловно, высказанные соображения нуждаются в дальнейшем развитии и проверке. Первые шаги в этом направлении были предприняты нами при анализе логической структуры рассказа ТАТ. Применение метода анализа повествовательных возможностей [1] позволило выявить в рассказах наличие инвариант — «шаблонов» поведения персонажей. Подобные шаблоны или «стили» поведения представляют собой относительно постоянные способы достижения целей. В условиях

неопределенности выбор шаблона поведения диктуется, во-первых, вероятностью его по прошлому опыту и степенью «мотивационной поддержки», по терминологии Дж. Брунера. Иначе говоря, стратегия поведения персонажей, если и не тождественна поведению испытуемого, то, во всяком случае, потенциально возможна, вероятна.

В настоящее время у нас нет, конечно, оснований для каких бы то ни было окончательных решений «проблемы проекции», тем не менее намеченное направление, на наш взгляд, является перспективным.

ON THE THEORETICAL RATIONALE OF PROJECTIVE APPROACH TO PERSONALITY ASSESSMENT

E. T. SOKOLOVA

Moscow State University, Department of Psychology

SUMMARY

The paper discusses the theoretical rationale of the projective approach as an experimental method of study of the unconscious aspects of personality. Projective techniques are viewed in relation to the problem of unconscious motivation. The history of the development of this problem and projective techniques are analysed within three approaches: 1) psychoanalysis, 2) holistic psychology, 3) New Look.

From this point of view set is regarded both as the mechanism mediating the influence of unconscious motivation on cognitive processes and as the mechanism of projection.

ЛИТЕРАТУРА

1. БРЕМОН К., Логика повествовательных возможностей. В сб.: Семиотика и искусствометрия. М., 1972.
2. РОТЕНБЕРГ-ОЙЗЕРМАН Е. Т., О некоторых направлениях в исследовании восприятия., Вопросы психологии, 1971, 2.
3. САВЕНКО Ю. С., К обоснованию некоторых методик по изучению личности. В сб.: Проблемы личности. Материалы симпозиума, М., 1969.
4. ФРЕЙД З., Основные психологические теории в психоанализе, М., 1925.
5. ЦУЛАДЗЕ С. В., О месте и значении проекционных методов в изучении личности. В сб.: Проблемы личности. Материалы симпозиума, М., 1969.
6. ALLPORT, G. W., The Ego in contemporary psychology. Psychol. Rev., 1943, 50, p. 451.
7. BELLAK, L., The concept of projection. Psychiatry, 1944, 7, 353—370.
8. BELLAK, L., On the problem of the concept of projection. Projection Psychology. N. Y., 1950
9. ERIKSEN, C. W., PIERCE, J., Defense Mechanism. Handbook of Personality Theory, and Research, E. F Borgatta, W. W., Lambert (eds.), Chicago, 1968.
10. FRANK, L. K., Projective methods for the study of personality. J. Psychol., 1939, 8, 389—413.

11. KLEIN, G. S., Perception, Motives and Personality, N. Y., 1970.
12. LEVINE, R., CHEIN, L., MURPHY G., The relation of intensity of a need to the amount of perceptual distortion. J. Psychol., 1942, 13, 283.
13. MUCCHIELLI, R., La Notion de Projection. Bull. de Psychol., 1963, 225, XVII, 2—7.
14. MURRAY, H., Thematic Apperception Test Manual, Cambridge, 1943.
15. MURSTEIN, B. J., PRYER, R. S., The concept of projection: a review. Psychol. Bull., 1959, 56, 353—374.
16. RAPAPORT, D., The Collected Papers of David Rapaport, ed. by M. Gill, N. Y., 1967.

200

ПРОЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ В ИССЛЕДОВАНИИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

Ю. С. САВЕНКО

Институт судебной психиатрии, Москва

Давно известно, что данные прямого опроса находятся в зависимости от его тематики, состояния испытуемого и его отношения к опрашивающему, а также от актуальной ситуации. Однако первоначально представление о получении достоверных данных ограничивалось проблемой откровенности. Считалось, что достаточно добиться полной откровенности, чтобы получить полную информацию. Лишь постепенно стало очевидным, что это далеко не так. Разнообразные приемы косвенного опроса, выяснение ряда характерных сопутствующих обстоятельств, подведение к спонтанному высказыванию на требуемую тему нередко давали более достоверные результаты, чем самые откровенные прямые ответы. Благочестивый порыв исповеди не учитывал каких-то глубинных и властных сил, что вело к их «демонизации». Результатом открытия продуктивности косвенной формы опроса было развитие искусства беседы, достигшего высокого совершенства. С. Киркегор писал, что, ведя беседу и перебирая в ней различные темы, по-разному варьируя и интонируя их, играя этими переходами, можно даже по одной физиогномической реакции окружающих составить о них довольно точное представление.

Научный подход не продолжил, а заново повторил описанную эволюцию. Вслед за опросниками из прямых альтернативных вопросов были предложены системы шкал, где между «да» и «нет» имелась вся шкала переходов; вслед за «закрытой» формой опросников, т. е. выбором ответа из 4—6 предложенных вариантов, распространилась и «открытая», т. е. вполне свободная форма ответа. Наконец, характер самих вопросов приобрел косвенную форму. Следующим шагом была утрата самой вопросительной формы в предъявляемых фразах. Это уже не ответ на вопрос, а непосредственная реакция на предъявляемые значения либо необходимость завершить их, придать им определенность. Последовательность этой эволюции определялась все большим расширением границ экспериментального подхода и следующих за ним возможностей формализации.

Проникновение экспериментального метода в психологию вначале казалось кощунством, и даже Вундт считал невозможным экспериментальное исследование мышления, но постепенно экспериментальный метод преодолевал все ограничения. Проективная техника как раз и ознаменовала собой очередной и принципиальный успех экспериментального метода, отвоевав недоступную для него прежде область: развернутую в той или иной мере структуру личности вместе с невербализуемыми при иных методических подходах содержаниями. Содер-

жаниями, новыми по сравнению с собственным предельно искренним самоотчетом. Таким образом, именно проективные методы позволили с наибольшей отчетливостью экспериментально вскрыть феномен бессознательного.

В чем же состоит новизна этих методов, позволяющая не только выделять их в самостоятельный класс, но и утверждать, что это принципиально новый рубеж экспериментальной практики? Характерными особенностями проективных методов являются следующие три отличия их инструкции и тестового материала и три отличия их интерпретации: (1) отсутствие каких-либо ограничений для испытуемого при выполнении заданий; (2) нейтральная, косвенная по отношению к личности направленность заданий; (3) неопределенный характер тестового материала; (4) отсутствие фиксированной однозначной шкалы нормативов при оценке результатов; (5) признание многозначности каждого отдельного показателя, приближение к однозначности с ростом совокупности рассматриваемых показателей и, таким образом, понимание необходимости сведения всех показателей в единую психологически осмысленную структуру, т. е. требование контекстуального, системного подхода; (6) опора на понятие проекции, обозначающее факт привнесенности в любую психическую деятельность собственных личностных особенностей. Последнее рассматривается не как досадная погрешность, а как «личностное дополнение», обладающее структурой изоморфной структуре личности и позволяющее, таким образом, выяснить последнюю.

Некоторые авторы выделяют, в качестве наиболее важной черты проективных методов, неопределенный характер тестового материала. Однако это неверно. Указанная особенность, как и две первых, является модулирующей, т. е. определяющей степень проективности. Неопределенность тестового материала обычно усиливает проективность метода, но только до каких-то границ: совершенно бесструктурный материал обладает еще меньшей проективностью, чем вполне определенный. Некоторая степень проективности последнего связана с тем, что на его квалификацию всегда оказывают влияние такие динамичные факторы, как состояние испытуемого и его оценка текущей ситуации. Таким образом, проективность в наибольшей мере актуализируется таким материалом, который лишь частично структурирован и, по крайней мере, задает направление. Это позволяет целенаправленно выяснять интересующие нас проблемы.

Специфической особенностью проективных методов является целенаправленная ориентированность исследователя на проективный аспект рассмотрения данных эксперимента и всей процедуры исследования. Вычленение этого нового аспекта, а не характер тестового материала является онтологическим основанием проективных методов исследования.

Нетрудно показать, что многие традиционные методы также обладают в той или иной мере некоторыми из описанных особенностей проективных методов и могут стать таковыми при соответствующем подходе. Какие же особенности структуры проективных методов позволяют вскрывать бессознательное? Видимо, именно сочетание первых трех описанных характеристик проективных методов создает благоприятные условия не только для реализации оттесненных содержаний, но и для того, чтобы продуцируемые новые содержания организовывались намного более непосредственно и полно в соответствии с более глубоко лежащим слоем психического. Проективные методы дают

возможность выявить характер организации этого более глубокого бессознательного психического слоя, так как позволяют в значительной мере обойти защитные, компенсаторные надстройки за счет полного отвлечения от всего личного. Однако для того, чтобы адекватно извлечь и воспользоваться этими данными, необходимо использование указанных трех особенностей проективных методов, относящихся к интерпретации получаемых данных. Это самая ответственная и сложная часть процедуры.

Проективные методы, как и понятие проекции, нередко рассматривают как следствие психоаналитического учения о бессознательном. Это — крайне узкая и неадекватная точка зрения. Проективные методы действительно являются убедительным и ярким по своей наглядности свидетельством реальности бессознательного, но зародились и выросли они в самых различных источниках: ассоциативный эксперимент — в рамках теории К. Юнга, тест Роршаха — в преодолении этой теории, тематический апперцептивный тест (ТАТ) — в рамках персонологии Г. Мюррея, тест фрустрации Розенцвейга и тест Сонди — в рамках личностных концепций их авторов и т. д. Л. Франк (1939), впервые объединивший эти методы, разработавший их теорию и систематику, предложивший само наименование проективных методов, сделал это в значительной мере в рамках гештальттеории, резко противостоявшей всегда психоанализу. Характерно, что трактовка бессознательного в гештальттеории (К. Conrad) очень близка распространенной и у нас, хотя, например, творческое развитие учения о бессознательном Ф. В. Бассиным обладает преимуществами значительно более дифференцированной и разносторонней разработки. В проективной технике имеется и психоаналитическое направление. Однако последние десятилетия характеризуются активной тенденцией к преодолению ограниченности отдельных направлений, к их взаимообогащению и интеграции.

Проективные методы позволили экспериментально показать, насколько обширным является диапазон бессознательного и как много различных переходных уровней в рамках «сознательного—бессознательного». Чрезвычайно демонстративным являются в этом отношении ответы на XIV таблицу ТАТ, на которой изображен темный силуэт человека в светлом проеме открытого окна. В соответствии с инструкцией, на этот рисунок составляется рассказ, развернутый во всех трех временах и раскрывающий чувства и мысли персонажа. Особенность этой таблицы в том, что ее изображение — удачный пример двойственного рисунка: мы видим силуэт либо из глубины темной комнаты на фоне светлого неба, либо снаружи на фоне ярко освещенного окна.

Создаваемая этой структурой возможность самых разных на нее реакций ясно выступает в следующих формулировках: «внутри темного закрытого пространства, за которым — светлый мир», «хочет выпрыгнуть из окна», либо «на открытом пространстве перед ярким окном», «дышит ночной прохладой», «хочет залезть в окно». Теоретически равновероятные, эти варианты, согласно многочисленным эмпирическим данным, в частности полученным нами в результате изучения большого количества депрессивных и маниакальных больных, настолько высоко коррелируют с эмоциональными состояниями, что могут служить надежными индикаторами пониженного (первый вариант) или повышенного (второй вариант) настроения. Согласно нашим клиническим наблюдениям, имеется четкая иерархия надежности признаков депрессивного настроения по XIV таблице: 1) жалобы на пониженное настроение по данным самоотчета — наиболее вариабельный признак;

2) депрессивный характер эмоций и мыслей персонажа в текущей ситуации; 3) преимущественная разработанность в рассказе прошлого времени, отсутствие будущего, пассивная позиция персонажа; 4) первый вариант восприятия таблицы.

Ориентируясь на эти признаки, можно говорить о трех последовательных по глубине уровнях выявления депрессивного настроения. Если отсутствие двух последних признаков свидетельствует о легкой подавленности, то отсутствие двух первых признаков при наличии двух вторых отражает скрытый, латентный характер депрессивного настроения. Это — данные, получаемые при использовании лишь одной таблицы, понятно, насколько надежнее они оказываются при использовании всех 20 таблиц ТАТ, при одновременном учете данных метода Роршаха, различных опросников и т. д. Приведенный пример показывает, какие продуктивные возможности открывают содержательные двойственные рисунки. Серия, в которой одно изображение является нейтральным, а другое аффективно значимым по тому или иному содержанию, позволяет через посредство феномена перцептивной защиты выявить болезненные темы, вытесненные из сознания.

Мы посвятили ряд исследований выявлению экспериментальных признаков суицидального риска при аффективных психозах и хроническом алкоголизме. При этом, в частности, обнаружились две формы выявления этого содержания: либо его избыточность, присутствие на целом ряде таблиц, либо, наоборот, отсутствие даже там, где оно имеется (табл. III). В случае отсутствия суицидальных содержаний в актуальном самосознании, обе эти формы можно расценивать как бессознательные. Однако вторая, представляющая вытеснение суицидальных содержаний, в сочетании с другими признаками тревоги или депрессии, а также импульсивности, снижения контроля эмоций, является особенно неблагоприятным признаком и говорит о вовлеченности наиболее глубоких слоев бессознательного.

Аналогичные две формы отмечаются и при восприятии агрессии на XVIII таблице ТАТ. Вместо изображенной сцены удушения, в случае вытеснения, видят обычно «нежные объятия». Другая форма характеризуется гиперстезией и распространенностью агрессивных содержаний даже на такие методики, как «предметное исключение», где предметы объединяются по тому, можно ли ими совершить убийство. Если эта последняя форма характерна для реактивных состояний в условиях судебно-психиатрической экспертизы, то вытеснение чаще отмечается у больных с бредом.

Наиболее ярко демонстрируют высокую значимость проективных методов скрытые формы психозов, в частности тревожные и депрессивные состояния, когда при значительной дезорганизации психической деятельности внешнее феноменологическое выражение нередко отсутствует («депрессия без депрессии», «смеющаяся депрессия» и т. п.) и велика вероятность недооценить тяжесть состояния, риск самоубийства. Выделенные нами по данным метода Роршаха совокупности характеристик при этих состояниях нуждаются для окончательного заключения в соответствующем клиническом контексте. Однако для обсуждаемой здесь проблемы существенно, что спонтанный самоотчет о своем состоянии часто оказывается совершенно неадекватным. Таким образом, проективные методы помогают вскрыть огромный пласт бессознательных процессов, механизмов и содержаний.

Значительная сложность и трудоемкость проективных методов делает их использование в очевидных и без того случаях дорогим изли-

шеством. Но часто бывает важно выяснить, что и насколько расходится при проведении прямого опроса и этих методов. Это позволяет выявить оттесненные или полностью вытесненные болезненные переживания, преодолеть отказ или дачу крайне скупых сведений о себе, явления симуляции и диссимуляции и т. д.

Универсальный характер проективных методов объясняется тем, что это — личностные методы. Выяснение структуры личности с дифференциацией требующихся для той или иной цели характеристик необходимо для самых различных задач: эффективной социализации, профориентации и профотбора, индивидуализированных профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий, усовершенствования пропаганды и т. д. Проективные методы являются чрезвычайно продуктивным средством развития и самой теории личности.

Одной из наиболее перспективных областей использования проективных методов является исследование с их помощью разнообразных компенсаторных психологических механизмов. Эти механизмы в значительной своей части неосознаваемые, образуют как раз те сложные макросистемы разнообразных надстроек, которые — несмотря на их огромную практическую значимость — еще не стали у нас предметом достаточно широких исследований. Построить систематику структурных типов этих систем, установить закономерности их организации и динамики, разработать на этой основе практические рекомендации в различных прикладных сферах и создать методики целенаправленного использования этих механизмов — вот круг задач, решение которых существенно продвинуло бы нас вперед.

Проникновение с помощью проективных методов в интимный внутренний мир личности создает, однако, опасность — если подобное проникновение не диктуется непосредственно медицинскими показаниями — нарушения гражданских прав, так как является вторжением в частную жизнь. Человек должен знать, что́ в нем исследуется и дать согласие на подобное вмешательство. Поэтому проективные методы с особой остротой ставят задачу достаточной разработанности этического кодекса психологов.

Энтузиазм, вызываемый увлекательной и высокоинформативной работой с проективными методами, должен сообразовываться с пониманием того, что мы находимся все еще лишь в самом начале создания подлинно научной психологии. Поэтому результаты каждого метода должны перепроверяться принципиально иными методами и оцениваться в широком клиническом контексте.

Не вызывает, однако, сомнений, что разработка проективных методов и их теории, развитие с их помощью теории личности, учения о психологической компенсации и представлений о бессознательном является важным и плодотворным направлением дальнейших исследований.

PROJECTIVE TECHNIQUES AS TOOLS FOR REVEALING THE UNCONSCIOUS

Yu. S. SAVENKO

Central Institute of Forensic Psychiatry, Moscow, USSR

S U M M A R Y

The projective techniques of personality study are shown to be a natural step in the development of experimental psychology. Six characteristic

features of these techniques are formulated and their role in revealing the unconscious is discussed. Signs of different transition levels within the conscious-unconscious framework are given according to the TAT. The role of projective techniques in identifying latent forms of mental disorders is emphasized. A number of most urgent directions of further development of these techniques is indicated.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
2. САВЕНКО Ю. С., Проблема психологических компенсаторных механизмов и их типология. Проблемы клиники и патогенеза психических заболеваний, М., 1974, 95—112.
3. САВЕНКО Ю. С., Тревожные психотические синдромы. Автореферат докторской диссертации, М., 1974.
4. CONRAD, K., Das Unbewusste als phenomenologisches Problem. Fortschr. Neuer. Psychiat., 1957, 25, 56—73.
5. FRANK, L. K., Projective Methods for the study of personality. J. Psychol., 1939, 8, 389—413.
6. WELLEK, A., Die Polarität in Aufbau des Charakters, Bern—München, 1966.

201

ПРОБЛЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО ПСИХИЧЕСКОГО ПРОЕКТИВНЫМИ МЕТОДАМИ

Л. Ф. БУРЛАЧУК

Киевский государственный университет, факультет психологии

Цель настоящей работы — изучение вопроса о связи проективных методов с теорией психоанализа. В задачу исследования входит также попытка наметить пути адекватного понимания как механизма проекции, так и реализации этого механизма в проективных методах.

Актуальность обсуждаемых вопросов объясняется заинтересованностью целого ряда отраслей современной психологии в методических приемах, позволяющих решать задачи объективной диагностики личности. Сфера применения проективных методов в нашей стране ограничивается пока преимущественно клиническими исследованиями, однако уже появились первые работы, где ставится вопрос об изучении с их помощью и здорового человека [4, 132—160; 5, 283—289].

Проблема проективных методов психологического исследования имеет не только практическое, но и методологическое значение, требуя как тщательного теоретического анализа каждого из заимствуемых методов, так и разработки соответствующих интерпретационных схем с позиций отечественной психологии.

Впервые определение проекции, как понятия психологического, было дано Фрейдом (1894). В этом определении проекция выступает в качестве защитного механизма: то, что угрожает «Я» (в плане нарушения целостности, идентичности индивидуального самосознания), не усматривается субъектом в себе самом, а приписывается внешнему, проецируется вовне[1].

Аналогичным образом трактуется проекция в современном психоанализе. «Проекция есть защитный механизм, используемый бессознательной сферой «Я», посредством которого внутренние импульсы и чувства, неприемлемые в целом для личности, приписываются внешнему объекту и тогда проникают в сознание как измененное восприятие внешнего мира» [14, 331].

Таким образом, в системе используемых психоанализом понятий проекция выступает в качестве бессознательного процесса, целью которого является нейтрализация патогенного воздействия, угрожающего «Я», путем его соответствующей переработки.

Насколько отражает реальность сформулированное в психоанализе понимание проекции как защитного механизма? Существование проекции как механизма психологической защиты представляется обосно-

[1] Рассмотрение проекции исключительно в качестве механизма защиты «Я» было в дальнейшем определено как «классическое» [25, 353—374].

ванным[2]. Можно, например, указать на давшую удовлетворительные результаты экспериментальную проверку положения о проецировании некоторых черт личности, считающихся предосудительными [26, 151—163]. В то же время, при доказательстве существования проекции только как защитного механизма исследователи сталкиваются с рядом методических трудностей. Так, требуется показать, что обследуемый не имеет представления об определенных элементах структуры собственного характера. В целом поэтому идея психологической защиты является плодотворной и отражает существенную сторону психической деятельности [1, 118—125], однако следует учитывать, что психоанализ стремится трактовать механизм этого явления односторонне, в плане лишь антагонистического взаимодействия «Я» и бессознательного.

Каким образом реализуется связь данного понимания проекции с проективными методами?

Если мы будем под теорией проективных методов понимать разработанное психоанализом учение о проекции, необходимо будет допустить существование определенного типа связи между характером интерпретации теста и соответствующими чертами личности. Например, агрессивность, которой обследуемый наделяет героя рассказа по тесту тематической апперцепции (ТАТ), соответствует подавленной агрессивности самого обследуемого. Иначе говоря, все проецируемые чувства, мотивы, потребности идентичны тем же проявлениям личности испытуемого, только последние у него подавлены. Между характеристиками, диагностируемыми при обследовании, и подлинными свойствами личности существует компенсаторное соотношение.

Такое, постулированное психоанализом, соотношение между интерпретацией стимула и соответствующей чертой личности вызывает возражения со стороны ряда исследователей, использующих проективные методы. Так, по Symonds [27], в интерпретациях ТАТ проявляются тенденции, противоположные реальным чертам личности. В исследовании Gluck [22, 21—26] не было выявлено зависимости между проявлениями враждебности по ТАТ и личностными особенностями, проявляющимися в стрессовой ситуации. Eriksen [15, 435—440] указывает на то, что далеко не всегда при исследовании проективными методами проявляются подавленные, не принимаемые обществом потребности, а часто выступают и вполне социальные, удовлетворить которые индивид не в состоянии. Согласно Kagan и Mussen [24, 29—32], не обнаруживается положительной корреляции между проявлением в проективном методе мотива, запрещенного в культуре общества, и его реализацией в поведении, тогда как корреляция возможна в случае мотивации, одобряемой обществом. В то же время есть экспериментальные подтверждения компенсаторного соотношения между параметрами «интерпретация стимула — черты, свойства личности» [23, 73—75]. Основная масса исследований свидетельствует, таким образом, что искомое соотношение «интерпретация — поведение» имеет, как правило, более сложную форму, нежели простая компенсация.

Эти исследования подчеркивают, что разработанное психоанализом представление о механизме проекции не может являться общетеоретическим обоснованием проективных методов исследования лично-

---

[2] По мнению Э. В. Соколова [7, 145], функция проективной разрядки является одной из основных функций культуры. «Культура удовлетворяет нереалистические желания, освобождает импульсы и стремления, ею же запрещенные и ограничиваемые, проецируя их на замещающий или иллюзорный объект...».

сти, а выступает в качестве лишь одного из возможных вариантов связи интерпретации стимула с особенностями личности, проявляющимися в деятельности. Далее мы еще остановимся на обосновании этого положения.

Помимо сказанного, следует обратить внимание еще на один момент, имеющий принципиальное значение для интерпретации результатов, получаемых с помощью проективных методов.

В соответствии с принятым в психоанализе способом объяснения, перешедшие в область бессознательного психические феномены продолжают оставаться в психическом отношении малоизмененными, т. е. предлагается антропоморфная трактовка бессознательного [2]. Вытесненные в бессознательное, подавленные аффекты или стремления[3], могущие проявиться путем проекции, остаются полными аналогами, эквивалентными осознаваемым, и рассматриваются в качестве таковых при их интерпретации.

В действительности же происходит определенная трансформация психического феномена после того, как он перестает переживаться. Сохранность непереживаемого аффекта или стремления может быть понята только в том смысле, что они определенным образом перестраивают систему нашего поведения, создают готовность к действиям, переживаниям или восприятиям определенного типа, т. е. психологическую установку [2; 8; 9; 10; 11; 12].

Проекция в связи с этим может быть понята как один из способов реализации установок, причем их возникновение обязательно вызывается необходимостью защиты «Я»[4]. Однако если исходить из психоаналитического понимания проекции, то при использовании проективных методов мы сталкивались бы всегда лишь с одним типом установок — с установками, сформировавшимися в результате вытеснения неприемлемых для сознания аффектов или стремлений. Так ли это? Прежде, чем ответить на этот вопрос, обратимся вновь к понятию проекции.

В работе Фрейда «Тотем и табу» мы находим отличное от ранее упомянутого определение проекции, в котором обращается внимание на существование этого явления в качестве первичного механизма, детерминирующего восприятие внешнего мира. В этом случае, в отличие от «классического» истолкования, проекция не связывается с бессознательной сферой и защитными механизмами «Я». Подобная трактовка проекции позднее получила наименование «атрибутивной» [25, 353—374]. И здесь мы должны сразу отметить, что именно это представление о проекции является наиболее взаимосвязанным с возникновением понятия «проективный метод».

Понятие «проективный метод», как известно, было предложено [19; 20] для обозначения диагностических средств, позволяющих полу-

---

[3] Вытеснение, обычно рассматриваемое как самостоятельный защитный механизм, выступает не только в качестве такового, но является необходимой предпосылкой реализации и разнообразных других феноменов, т. е. может быть представлено как своего рода пусковой фактор.

[4] В проективных тестах ответы испытуемого оцениваются как проявление психологической защиты (если такая оценка не тотальна) на основании предшествующих клинических наблюдений, зачастую осмысленных с позиций психоанализа. Выделенные таким образом формальные показатели поддаются и другой интерпретации. Отсутствие на сегодняшний день четких критериев, позволяющих достоверно судить о существовании в том или ином случае защитной реакции на стимул, обусловливает необходимость постановки дополнительных экспериментов [см., напр., 16].

чать данные о личности иным путем, нежели использование традиционных тестов и анкет. По мнению его авторов, основным в проективных методах является то, что они позволяют посредством создания определенных ситуаций или стимулов вызвать реакции, рассматриваемые как проявления внутреннего мира, личности обследуемого.

Как видим, здесь вообще отсутствует упоминание о защитных свойствах проекции, методы определяются исходя из значительно более широкого понимания этого явления.

Существование проекции в плане «атрибутивном», вне связи с защитными механизмами, обосновано. Наиболее показательными в этом отношении являются некоторые социально-психологические исследования [18 и др.]. Шибутани [13] пишет о том, что другие люди воспринимаются субъектом как живые лишь тогда, когда на них проецируются определенные, хорошо субъекту знакомые переживания и способности.

В качестве общетеоретической основы, позволяющей адекватно понять феномен проекции, выступает диалектико-материалистическая концепция детерминации психических явлений. Психический эффект внешнего воздействия дан всегда в преломлении через психическое состояние субъекта, через сложившийся у него строй чувств и мыслей [6].

При таком подходе становится понятным явление включения «внутренних условий» в образ внешнего мира. Проекция предстает перед нами как личностный компонент восприятия, всей психической деятельности. Из этого со всей очевидностью следует, что в формируемый «Я» образ внешнего мира полноправно входят осознаваемые личностью ее собственные психические черты.

В. С. Мерлин [3] отмечает, что осознание субъектом его собственных психических свойств оказывает существенное влияние на восприятие им внешних предметов и явлений («проекция индивидуального самосознания»). При этом такой тип проекции В. С. Мерлин отличает от собственного проецирования своих свойств. В последнем случае проецируются не только осознаваемые, но также и неосознаваемые психические свойства.

Возможность проекции свойств, осознаваемых личностью, подтверждается целым рядом экспериментальных исследований [см. 3].

Возвращаясь к ранее поставленному вопросу, можно, таким образом, сделать вывод, что в проективных методах мы имеем дело не только с установками, сформированными в результате вытеснения каких-либо «запретных» импульсов, но, прежде всего, с установками, выступающими как результат определенной организации прошлого опыта, создавшего избирательную готовность к предстоящим восприятиям и действиям («внутренние условия»).

В проективных методах посредством использования специфической (т. н. слабоструктурной) стимуляции создаются условия, требующие активного привлечения данных прошлого опыта, чем в конечном счете обеспечивается возможность незатрудненного проявления установок.

Наибольшая ценность рассматриваемых методов заключается, следовательно, в том, что мы можем судить не только об установке — готовности воспринимать так, а не иначе, но и структуре данной установки, ее содержательных характеристиках.

В структуре установки, выявляемой проективными методами, можно выделять компоненты с различным уровнем осознания, а также, вероятно, и присутствие защищаемых «Я» зон. Установка выступает по

отношению к этим структурным элементам в качестве организующего фактора [5, 283—289].

В заключение мы должны особенно отметить то, что, несмотря на многочисленные экспериментальные исследования, не удается выработать каких-либо определенных, пригодных для всех изучаемых случаев критериев связи интерпретации стимулов с личностными особенностями. Поэтому для того, чтобы говорить о достоверности получаемых с помощью проективных методов результатов, исследователь должен всегда исходить из знания личности, из тщательного анализа ее поведения. Только при соотнесении с конкретной личностью мы получаем возможность адекватной интерпретации фиксируемых тестом показателей.

THE PROBLEM OF THE STUDY OF THE UNCONSCIOUS MIND BY PROJECTIVE TECHNIQUES

L. F. BURLACHUK

Kiev State University

SUMMARY

The problem of the relation between projective techniques and the theory of psychoanalysis is discussed. According to the classical concept, projection is considered to be a defence mechanism. This interpretation is based on the assumption of a compensatory relation between the variables diagnosed in the course of personality analysis and real personality traits. Numerous experiments have shown that a broader interpretation of the concept of projection is necessary, in which the process of the actualization of defence mechanisms is considered to be a particular case only. Application of the concept of set to the analysis of the structural elements of personality revealed by projective techniques appears to be the most promising approach.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., О «силе Я» и «психологической защите». Вопросы философии, 1969, 2, 118—125.
2. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
3. МЕРЛИН В. С., Проблемы экспериментальной психологии личности. Сб.: Проблемы экспериментальной психологии личности, Пермь, 1970.
4. НОРАКИДЗЕ В. Г., Методы исследования личности подростка. Сб.: Экспериментальные исследования по психологии установки, Тбилиси, 1971, 5, 132—160.
5. НОРАКИДЗЕ В. Г., Пути исследования личности. Сб.: Психологические исследования, Тбилиси, 1973, 283—289.
6. РУБИНШТЕЙН С. Л., Бытие и сознание, М., 1957.
7. СОКОЛОВ Э. В., Культура и личность, Л., 1972.
8. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тбилиси, 1961.
9. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тбилиси, 1967.
10. ХАЧАПУРИДЗЕ Б. И., Проблемы и закономерности фиксированной установки, Тбилиси, 1962.

11. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, том I, Тбилиси, 1969.
12. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, том II, Тбилиси, 1973.
13. ШИБУТАНИ Т., Социальная психология, М., 1969.
14. EIDELBERG, L. (ed.), Encyclopedia of Psychoanalysis, N. Y., 1968, 331.
15. ERIKSEN, C. W., Needs in Perception and Projective Techniques. J. Proj. Tech., 1954, 13, 435—440.
16. ERIKSEN, C. W., LAZARUS, R.S., Perceptual Defense and Projective Test. J. Abnorm. Soc. Psychol. (Suppl.), 1952, 47, 302—309.
17. EYSENCK, H. J., Fragebogen als Messmittel der Persönlichkeit. Z. f. exp. und ang. Psychol., 1953, I, 291—335.
18. FESHBACH, S., SINGER, R., The effects of fear arousal and suppression of fear upon social perception. J. Abnorm. Soc. Psychol., 1957, 55, 283—288.
19. FRANK, L. K., Projective methods for the study of personality. J. Psychol., 1939, 8, 389—413.
20. FRANK, L. K., Projective Methods, Springfield, 1948.
21. FREUD, S., Totem and Taboo, London, 1955.
22. GLUCK, M. R., The relationship between hostility in the TAT and behavioral hostility. J. Proj. Tech., 1955, 19, 21—26.
23. GORLOV, L., ZIMET, C. N., FINE, H. J., The validity of anxiety and hostility. Rorschach content scores among adolescents. J. Consult. Psychol., 1952, 16, 73—75.
24. KAGAN, J., MUSSEN, P. H., Dependency themes on the TAT and group conformity J. Consult. Psychol., 1956, 20, 29—32.
25. MURSTEIN, B., PRYER, R. S., The concept of projection: a review. Psychol. Bull., 1959, 56, 353—374.
26. SEARS, R. S., Experimental studies of projection. I: Attribution of traits. J. Soc. Psychol., 1936, 7, 151—163.
27. SYMONDS, P. R., Adolescent Fantasy. An Investigation of the Picture-Story Method of Personality Study, N. Y., 1949.

202

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВРЕМЕНИ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ОСОЗНАВАЕМЫХ И НЕОСОЗНАВАЕМЫХ МОТИВОВ ЛИЧНОСТИ

С. Я. РУБИНШТЕЙН

Московский НИИ психиатрии МЗ РСФСР

Цель данного сообщения — предложить краткую методику исследования мотивационной сферы личности, ее устремлений и интересов. Методика основана на гипотезе французского философа и психолога Л. Сэва [14]. Однако прежде чем перейти к описанию методики и предварительному анализу экспериментальных данных, полученных при ее применении, следует обосновать некоторые теоретические положения. Первое из них должно ответить на вопрос о том, возможно ли вообще экспериментальными методиками патопсихологии исследовать мотивационную или шире — личностную сферу психически больных и какими путями это можно делать.

Для выявления направленности личности, иерархии ее потребностей и, следовательно, всей драмы борьбы ее мотивов (как осознаваемых, так и неосознаваемых) наиболее надежным методом является изучение реального жизненного пути человека. Именно такой анализ мотивационной сферы больных «биографическим» методом осуществлен во многих исследованиях патопсихологов под общим руководством Б. В. Зейгарник [2; 3; 6; 11; 16]. Однако в практике патопсихологии возникает часто задача одномоментного изучения мотивационной сферы больных, в частности выявления того, что именно тревожит их в настоящее время и к чему они стремятся. Появляются иллюзорные надежды на экспресс-диагностику личности с помощью прожективных методов. Мы называем эти надежды иллюзорными не потому, что считаем прожективные методы мало информативными. Несомненно, что они могут давать дополнительную важную информацию относительно преимущественных интересов, склонностей, тревог и опасений испытуемых, в частности психически больных. Неправомерными представляются лишь притязания на возможность создания особой «экспресс-диагностики личности». Личность человека, взаимодействие ее сознательных и неосознаваемых установок, иерархия ее ценностей и мотивов деятельности — слишком сложное образование для того, чтобы подходить к ее изучению, основываясь лишь на ее «экспресс-диагностике».

Экспериментатор по крупицам собирает сведения о личности больного, о его критичности и самооценке, о его отношении к разным объектам и обстоятельствам, в частности — о его отношении к факту психологического исследования, к его достижениям и ошибкам в работе, к оценке, помощи, порицаниям экспериментатора. Исследования мотивационной сферы психически больных (взрослых и детей) путем изучения их отношения к экспериментальным заданиям и, следовательно,

к оценке их здоровья проводились рядом авторов [3; 4; 7; 8; 10; 16]. Но при более широком изучении мотивационной сферы больных важно прежде всего заранее определить, какая именно система отношений, мотивов, ценностей будет подвергнута экспериментальному анализу. Нам представляется продуктивным положение Л. Сэва о том, что отношение человека к использованию своего времени является важнейшим показателем его жизненных установок, стремлений, осознаваемых и неосознаваемых потребностей.

Во-вторых, необходимо поставить вопрос о том, изучаются ли какими-либо экспериментальными психологическими методиками специально неосознаваемые формы поведения? Быть может речь идет лишь о противопоставлении тех мотивов и интересов, о которых испытуемый охотно сообщает экспериментатору, таким, которые он не хочет раскрывать, которые осознает сам, но не желает сообщать другому?

Независящими от отношения испытуемых к исследованию являются экспериментальные данные, полученные с помощью таких методов, как метод фиксированной установки. Именно этот метод представляет собой модель того, как определенный жизненный опыт человека, получаемые им в жизни впечатления формируют то новое состояние его психики, благодаря которому он иначе воспринимает, иначе реагирует на последующие воздействия.

Но, несмотря на большую научную и практическую значимость этого метода, использование его для выявления содержательных движущих сил действий и поступков человека пока еще затруднено. Трудно с помощью этого метода узнать, чего больной хочет: хочет ли он, например, учиться ради приобретения знаний или учится «из-под палки», стремясь в действительности лишь к развлечениям и материальным благам; хочет ли он излечиться от алкоголизма или был вынужден согласиться на лечение, а на самом деле добивается возможности беспрепятственно продолжать пьянствовать; тяготится ли он своим психическим заболеванием или «в глубине души» видит в этом заболевании выход из нежелательной ему перспективы. Между тем сложность и разнообразие ситуаций, с которыми имеет дело психиатрическая клиника, ставят перед патопсихологом не только диагностические, но именно подобные содержательные вопросы, отвечая на которые необходимо определять направленность установок, мотивов и интересов личности.

Возникает, естественно, вопрос о том, в какой мере общепринятые, обычные методики патопсихологии могут отвечать на такие вопросы.

Все богатство данных экспериментальных методик патопсихологии сохраняет объективный и достаточно достоверный характер лишь постольку, поскольку эти методики раскрывают те или иные особенности психики опосредованно, т. е. направляя внимание больных в процессе исследования на нечто «иное». Это достигается особым «поворотом» инструкции. Так, например, испытуемому предлагают проверить его зрительную память методом пиктограммы, а в действительности изучают его мышление в процессе выбора и построения образа, пригодного для запоминания, его эмоциональность, эгоцентричность либо отгороженность, холодность [9]. Предлагают проверить слух, а в действительности, вынуждая больного длительно прислушиваться, провоцируют галлюцинации [12]. Предлагают (в методике «уровень притязаний») проверить культурный, общеобразовательный уровень, а выявляют изменчивость и устойчивость самооценки [2; 3]. Точно так же,

предлагая составить рассказ по картинкам с неопределенным сюжетом, выявляют направленность помыслов, интересов и опасений больных. Но все эти тревоги и устремления больного вовсе не идентичны неосознаваемым переживаниям — по большей части это лишь те переживания, которые другим способом труднее было бы вскрыть.

Можно ли считать, что применение этих методик, как впрочем и многих иных, позволяет вычленить бессознательные или неосознаваемые компоненты психической деятельности или мотивационной сферы из ее целостной структуры? Вероятно, нет. Ф. В. Бассин [1] правильно указывает, что сознаваемые и неосознаваемые компоненты всяких психических актов существуют в единстве. Они далеко не всегда антагонистичны, чаще их отношения синергичны. Это совпадает с народной приметой: светлая человеческая любовь делает человека лучше, выше, стимулирует и вдохновляет его на творческую деятельность, а пылкая чувственная страсть отвлекает от иных дел, порой сгибает человека. И в той и в другой любви есть, конечно, компоненты неосознаваемых переживаний: в первом случае неосознаваемые, вероятно, в основном синергичны осознанным, во втором — антагонистичны. Но о глубине и силе этих переживаний мы можем судить лишь по внешним поступкам и делам любящего. Отпрепарировать же неосознаваемое от осознаваемых переживаний невозможно либо чрезвычайно трудно не только в эксперименте, но и в жизни. Можно лишь отделить те мотивы, побудительная сила которых особенно велика, благодаря синергичному действию неосознанного с осознаваемым, от тех, которые А. Н. Леонтьев называет только «знаемыми» и в которых можно предполагать антагонизм отношений между неосознаваемым и осознаваемым.

Следовательно, почти все экспериментальные методики дают возможность опосредованно судить о некоторых особенностях мотивационной сферы больных, хотя ни одна из них не может претендовать на бесспорное и полное проникновение в ведущие мотивы и установки личности. Поэтому возникает необходимость в разработке новых методик, быть может не столь фундаментальных, но направленных на выявление уже сформировавшихся установок личности. Эти установки обнаруживают себя, в частности, в готовности отдавать свое время той или иной деятельности, в предпочтении одних дел другим.

Это — второе положение, которое следует предпослать описанию предлагаемой нами «полуэкспериментальной» методики. Мы называем ее полуэкспериментальной, так как по внешнему виду она напоминает опросник. Но это внешнее сходство. Поскольку выявляется соотношение фактического и желательного распределения времени, удается обнаружить предпочтительное отношение испытуемого к одним объектам или видам деятельности и отрицательное — к другим. Это предпочтение, как видно будет из описания методики, обнаруживается также не прямолинейно, а опосредованно: больной занят арифметическими расчетами, а смысл этих вычислений от него обычно ускользает. Между тем, соотношения чисел довольно ярко обнажают подлинные склонности, влечения и интересы больного.

Л. Сэв различает зависимость использования времени человеком от факторов общественной формации, системы воспитания, возрастного этапа. Однако он не сводит этот показатель использования времени только к социальным или к тем или иным групповым детерминантам. Он указывает на индивидуальный личностный психологический генез этого показателя. «Социальная случайность в детерминации индиви-

дуального использования времени кажется нам существенным данным для теории личности...» [14, 486]. Гипотеза Сэва сформулирована так: «...наиболее общим законом развития личности, в диалектическом смысле понятия «общий закон», является закон необходимого соответствия между уровнем способностей и структурой использования времени». И далее: «Так как общественные отношения в конечном счете суверенно детерминируют всю топологию личности, реальное использование времени вступает в известных случаях в конфликт с внутренними психологическими необходимостями развития, что вызывает многочисленные последствия; мы находимся в самом центре динамики личности, динамике одновременно социально детерминированной и конкретно индивидуальной» [14, 504].

К сожалению, строгий хронометраж использования времени остается малодоступной процедурой. Но можно узнать отношение людей к использованию ими своего времени, что и достигается описываемой далее методикой.

Описание методики

Испытуемого просят очень приблизительно указать, сколько часов он тратит на различные виды занятий в течение 20 дней трудового времени. Ему предлагают пронумерованный список различных дел и разграфленный листок (с номерами) для ответа и дают следующую (первую) инструкцию: «Перед Вами примерный список дел, на которые человек тратит время. Представьте себе 20 дней из Вашего трудового года. Это 480 часов. Отметьте, пожалуйста, в первой вертикальной графе, сколько часов уходит у Вас на каждое из следующих дел. Так, например, если Вы спите в среднем около 9 часов в сутки, то нужно 9 умножить на 20 и в горизонтальной графе 1 (сон) поставить число 180». Подчеркивается ненужность точного расчета, возможность очень приблизительных ответов.

Вслед за заполнением первой инструкции испытуемому дается вторая: «Представьте себе, что Вы получили полную возможность располагать своим временем по собственному желанию, никого этим не ущемляя. Проставьте в каждой горизонтальной графе справа, сколько часов Вы отводили бы при таких обстоятельствах на каждое из перечисленных дел или занятий. Можно ставить «0», но оставаясь при этом в пределах реальности, т. е. не следует ставить 0 в строке сон или еда».

20 дней рабочего времени года — 480 часов	I	II
1. Сон	— — — —	— — — —
2. Длительность рабочего дня	— — — —	— — — —
3. Транспорт	— — — —	— — — —
4. Еда (кроме ее приготовления)	— — — —	— — — —
5. Забота о внешности (прическа, бритье, выбор и подготовка одежды и т. д.)	— — — —	— — — —
6. Покупки и поиски нужных предметов в магазинах	— — — —	— — — —
7. Самообслуживание (приготовление пищи, уборка, стирка и т. д)	— — — —	— — — —
8. Забота о детях и др. родственниках (уход, воспитание и т. д.)	— — — —	— — — —
9. Общение с близкими и друзьями (посещение и прием гостей, беседы лично и по телефону)	— — — —	— — — —

	I	II
10. Обучение либо повышение квалификации (вузы, техникумы, курсы, изучение языка, включая самостоятельные занятия и подготовку)	— — — —	— — — —
11. Чтение художественной литературы, газет и т. д.	— — — —	— — — —
12. Посещение театров, кино, музеев, выставок и т. д.	— — — —	— — — —
13. Радио и телевидение	— — — —	— — — —
14. Прогулки (по городу, по лесу и др.)	— — — —	— — — —
15. Физкультура (зарядка, секции, бег и т. д.)	— — — —	— — — —
16. Игры (шахматы, карты, футбол и т. д.)	— — — —	— — — —
17. Полный отдых (отсутствие всякой деятельности)	— — — —	— — — —

Результаты исследования

Были исследованы здоровые люди, относительно которых существовала возможность получить объективные сведения, и больные психиатрической клиники, до поступления работавшие и находившиеся в момент исследования в достаточно сохранном состоянии, чтобы понять и выполнить инструкцию. Результаты предварительной апробации методики свидетельствуют, что некоторые ее данные представляют интерес.

Заслуживают внимания сами по себе показатели способности к оценке времени. Подавляющее большинство здоровых предполагало, если судить по их распределениям, что на протяжении 20 дней они располагают 600 или 700 часами, хотя им предварительно сообщалось число 480. При раскладке желательного использования времени некоторые из них представляли, что могут использовать даже 800, а то и 1000 часов. Лишь двое реалистически настроенных мужчин инженерной профессии при обеих раскладках своего бюджета времени уложились в 480 часов. Некоторых испытуемых эксперимент заставлял длительно размышлять и как бы удивляться своему образу жизни, другие выполняли это задание быстро и бездумно.

В различиях реально используемого и желательного расходования времени довольно отчетливо выступали склонности и интересы здоровых испытуемых. Так, например, некоторые из них, имевшие детей и указавшие примерно одинаковые цифры реально расходуемого на детей времени, резко разошлись в своих пожеланиях. Одни хотели бы уделять своим детям вдвое больше времени, другие — вдвое меньше. Это отличие не дает, разумеется, права утверждать, что родители, пожелавшие уменьшить расход времени на воспитание своего ребенка, совсем его не любят. Им, возможно, хочется больше забот о своем ребенке возложить на бабушек и дедушек. Но их направленность на воспитание ребенка явно отличается от родительских чувств тех, кто хотел бы уделять детям больше времени, чем сейчас.

Один испытуемый, имевший близких родных пожилого возраста, отметил, что тратит на заботу о близких в 3 недели 30—40 часов, но при раскладке желательных расходов времени предпочел довести количество часов на заботу о близких к нулю. Это явно отражало его отношение, на данном этапе времени, к своей семье.

Подавляющее большинство здоровых испытуемых выразило желание значительно увеличить время на удовлетворение культурных потребностей — на чтение художественной литературы, самообразование, посещение театров, кино, экскурсий. В некоторых случаях, однако, это стремление преподносилось несколько преувеличенно, — здесь можно

было заподозрить элемент рисовки, желание представить себя в выгодном свете как человека, усиленно стремящегося к культуре и поднимающего, тем самым, свой престиж перед экспериментаторами.

Следовательно, описанная методика не может рассматриваться как точная, отражающая подлинные намерения и стремления испытуемых. Она выявляет лишь в опосредованном, не всегда осознаваемом самими испытуемыми виде их отношение к той или иной деятельности и к тем или иным объектам, требующим от них различного расхода времени.

Исследование психически больных, проводившееся в порядке выполнения курсовой работы студенткой Т. Кузьмичевой, не выявило диагностического значения этой методики (по крайней мере на данном этапе апробации). Но больные более непосредственно, чем здоровые, обнаруживали свои склонности и тенденции. Так, например, больной, перенесший сравнительно легкое поражение головного мозга, выявлял при желательном распределении времени преувеличенное толкование тяжести своего состояния. Он хотел бы резко сократить длительность своего рабочего времени, прекратить все виды самообразования и культурного развития, а максимальное число часов уделить прогулкам и спорту. Его намерения могли свидетельствовать о начале ипохондрического развития личности. Другая больная (шизофренией) распределяла свое время почти адекватно здоровым. Но ни при фактическом, ни при желательном распределении времени у нее нет ни минуты для общения. Последнее представляется ей делом абсолютно ненужным. По данным истории болезни, больная живет одиноко, аутично.

Иногда выявлялись намерения, существующие лишь как нечто «долженствующее», но резко расходящиеся с фактическим поведением больных в жизни. Так, например, больная шизофренией, по объективным данным мало уделяющая времени заботам о своем ребенке (его воспитывает сестра больной), планируя желательное распределение времени, выделила для забот о ребенке очень большое, практически невозможное для работающей женщины число часов. Такое соотношение желательного использования времени с фактическим, можно было понять как наличие знания больной о «должном» при отсутствии побудительной силы этого «знаемого» мотива.

Следовательно, описываемая методика выявляет, во-первых, тот эталон использования времени, который в некоторой мере отражает иерархию ценностей человека. Во-вторых, в деталях распределения фактического и желательного расхода времени проглядывает конкретное отношение к своему образу жизни — неудовлетворенность одним видом деятельности, склонность к другим. За отношением к распределению времени просматривается направленность личности испытуемого. При прямых расспросах человек не всегда признает, что его тяготят престарелые родители, но сократить в потребном будущем число часов для ухода за ними ему легче. Точно так же сокращение числа часов на основную работу по специальности чаще всего отмечается у лиц, недовольных своей профессией. У лиц, чем-либо особенно увлеченных (музыкой, спортом, кино, картами и т. д.), их стремления также невольно обнаруживаются при раскладке времени.

Обработка результатов каждого эксперимента может быть сделана графически. При этом несовпадение фактического и желательного распределения времени обнаруживает своеобразные закономерности. Отношение человека к своему времени и его использованию может рас-

сматриваться как признак, характеризующий направленность личности.

THE USE OF TIME (ACTUAL AND DESIRABLE) AS AN INDEX OF A PERSON'S CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS MOTIVES

S. Y. RUBINSTEIN

Moscow Scientific Research Institute of Psychiatry, RSFSR Ministry of Health

SUMMARY

Experimental methods are suggested on the basis of L. Séve's hypothesis concerning the significance of using time to characterize an individual. A preliminary stage of validation involving normal and mentally diseased people is discussed. The specific features of the correlation of the S's actual and desirable time distribution for various kinds of activity over 20 days of the working year are revealed. This correlation sheds light on the inclinations, interests and other indices of the S's personality, including unconscious motives.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
2. БРАТУСЬ Б. С., Психологический анализ изменений личности при алкоголизме, М., 1974.
3. ЗЕЙГАРНИК Б. В., Личность и патология деятельности, М., 1971.
4. ИВАНОВА А. Я., О формировании отношения детей к экспериментально-психологическому исследованию. VII сессия по дефектологии, М., 1975.
5. КАБАЧЕНКО Т. С., Исследование учебной деятельности психически больных студентов. Автореферат канд. дисс., МГУ, 1977.
6. КАРЕВА М. А., Об одном виде формирования патологического мотива в подростковом возрасте, Автореферат канд. дисс., МГУ, 1975.
7. КОЖУХОВСКАЯ И. И., Виды нарушения критичности у психически больных. Автореферат канд. дисс., МГУ, 1973.
8. КОЧЕНОВ М. М., Нарушения процесса смыслообразования при шизофрении. Автореферат канд. дисс., МГУ, 1970.
9. ЛОНГИНОВА С. В., Исследование патологии мышления методом «пиктограмм». Автореферат канд. дисс., МГУ, 1972.
10. МЯСИЩЕВ В. Н., Работоспособность и болезни личности. Сов. невр. и псих., 1935, № 9—10.
11. ПОПЕРЕЧНАЯ Л. Н., О направленности личности подростков с резидуальной органической патологией. Автореферат канд. дисс., МГУ, 1973.
12. РУБИНШТЕЙН С. Я., Экспериментально-психологическое исследование обманов слуха. Автореферат докт. дисс., МГУ, 1971.
13. РУБИНШТЕЙН С. Я., Экспериментальные методики патопсихологии и опыт применения их в клинике, М., 1970.
14. СЭВ Л., Марксизм и теория личности, М., 1972.
15. УЗНАДЗЕ Д. Н., Психологические исследования, М., 1966.
16. ХАЛФИНА А. Б., Влияние внутренней картины болезни на трудоспособность больных, перенесших органическое поражение мозга. Автореферат канд. дисс., МГУ, 1974.

203

О МЕТОДЕ ОЦЕНКИ ОСОЗНАННОГО И НЕОСОЗНАННОГО В ФАКТОРЕ ЗНАЧИМОСТИ

М. А. КОТИК

Тартуский государственный университет

1. Известно, что по слову, избранному человеком для оценки какого-либо события (считает ли он его, например, частым, очень частым, нечастым), возможно в какой-то мере судить об его отношении к этому событию. В настоящем сообщении пойдет речь об использовании этого принципа в целях психодиагностики — оценки степени значимости для человека опасных ситуаций.

Условимся определять отношение человека к сложившейся ситуации, возникшей задаче или информации о ней посредством термина «значимость». Поскольку этот термин имеет в литературе различные трактовки, определим содержание, которое мы вкладываем в данное понятие. Это можно сделать с помощью следующей схемы, представляющей собой иерархию ряда понятий, из которой наглядно следует место в ней категории значимости:



Дадим краткое пояснение этой схемы. Возникшая ситуация может расцениваться с точки зрения семантического или прагматического аспектов. Если выделить ее прагматический аспект, то по А. Н. Леонтьеву [7], можно вести речь о значении этого аспекта (некотором представлении о нем, сложившемся в данной социальной среде) и об его смысле (субъективном отражении этого аспекта в индивидуальном сознании). Смысл же, по Л. С. Выготскому, «представляет собой единство аффективных и интеллектуальных процессов» [1, 54]. Т. е., наряду с содержательной стороной события, в смысле отражаются и переживаний — эмоции, порождаемые этим содержанием. Условимся в дальнейшем именовать данную категорию эмоций, порождаемую смыслом прагматического аспекта сложившейся ситуации, как показатель значимости этой ситуации.

В зависимости от содержательной стороны смысла, а также его связи с потребностями и мотивами данной личности, ему могут сопутствовать эмоции самого разнообразного характера. Однако, если ограничиться рассмотрением деятельности человека-оператора и тех

смыслов, которые приобретают в его сознании ситуации, возникающие в системе управления, то в первом приближении можно выделить две основных свойственных оператору категории эмоций. С одной стороны — эмоции, порождаемые ситуациями или сообщениями, свидетельствующими о достижении цели или благоприятствующими этому. С другой — эмоции, порождаемые ситуациями или сообщениями, указывающими на появление существенных препятствий, опасностей на пути к цели. Соответственно двум этим категориям эмоций можно говорить в, первом случае, о **значимости-ценности**, а во втором — о **значимости-тревожности** возникающих ситуаций или сообщений о них. Поскольку в излагаемом исследовании рассматривается отношение человека к опасным — аварийным ситуациям, то здесь пойдет речь только об их значимости-тревожности.

Из многочисленных исследований — начиная от психофизиологических, до социальных — известно, что от отношения человека к разрешаемой задаче, от ее значимости для него существенно зависят как структура его деятельности, так и энергетические процессы, протекающие в его организме. Еще в основополагающих работах В. Кеннона [3], а также последующих исследованиях П. В. Симонова [8], Р. Лазаруса [6] и др. доказано, что в сложных ситуациях, представляющих угрозу человеку и требующих быстрых решительных действий, у него возникают эмоции, которые создают энергетическую мобилизацию организма, способствующую его двигательной и интеллектуальной активности, и таким образом содействуют преодолению трудностей и избежанию опасностей.

В нашем исследовании [4] было экспериментально доказано и количественно подтверждено положение, что фактор значимости лежит в основе саморегуляции целенаправленной деятельности человека-оператора. Было доказано, что данный фактор направляет и детерминирует различные психические процессы и энергетические проявления человека в этой деятельности.

Поэтому очень важно, чтобы в сложной и опасной ситуации человек не только правильно оценивал ее содержание, но и адекватно эмоционально реагировал на нее. Это положение подтверждается практическим опытом, который показывает, что операторы чаще всего допускают ошибки не потому, что они не имели возможности или не способны были правильно решить возникшую задачу, а потому, что по тем или иным причинам они недооценили ее значимость и не использовали имеющихся возможностей.

Все эти факты свидетельствуют о важности фактора значимости в предметной деятельности и необходимости разработки специальных методов оценки этого показателя и изучения закономерностей его формирования. В этой же работе [4] была предпринята попытка установления количественных оценок для категории значимости, на основе анализа факторов и связей, обусловливающих интеллектуальную сторону смысла. Исследование показало, что даже для сравнительно однотипной и жестко-детерминированной деятельности человека-оператора показатель значимости является сложной функцией большого числа переменных. Так, было установлено, что значимость для оператора некоторого нарушения, возникающего в системе управления, зависит от многих его субъективных оценок: от собственных возможностей по его устранению, от ожидаемой помощи в разрешении этой задачи от других операторов или автоматики, от тяжести возможных последствий, если задачу не удастся разрешить, и многих других факторов, обусловленных конкретными условиями деятельности.

Причем на этих субъективных оценках отразится и опыт оператора, и его психофизиологические особенности, и направленность и ценностная ориентация, и многие другие трудно учитываемые качества личности. Следовательно значимость для оператора данного нарушения в системе управления оказывается функцией не только конкретной внешней ситуации, но и его личностных характеристик.

Поэтому весьма сложно анализировать извне предпосылки, обусловливающие значимость для человека той или иной ситуации. Вероятно, еще сложнее определять эти оценки самому человеку на основе интроспекции, поскольку ему просто не под силу охватить и обозреть все множество факторов и связей, предопределяющих его эмоциональную реакцию на смысл данной ситуации. К тому же многие из этих факторов просто скрыты от его сознания (ведь человек не всегда осознает все свои потребности, он не способен учитывать свои установки, не весь прошлый опыт может актуализироваться в его сознании и т. п.). Отсюда следует, что **многие существенные факторы, обусловливающие значимость для человека возникшей ситуации, далеко не всегда и далеко не полностью им осознаются.** Таким образом, значимость оказывается некоторым сложным эмоциональным образованием, формирующимся в процессе предметной деятельности человека под влиянием как связанных с ней (или ее компонентами) смыслов, так и ее неосознанных факторов.

Для выявления своего эмоционального отношения к ситуации, ее значимости, человек обычно обращается к ее содержательной стороне. Однако, как уже отмечалось, интеллектуальная сторона смысла не отражает всего множества факторов, обусловливающих значимость ситуации. Поэтому метод экспертных оценок, широко используемый в психологических исследованиях для выявления отношения человека к сложившейся ситуации, является весьма приближенным.

Уровень значимости для человека возникшей ситуации может оцениваться и косвенно — путем непосредственных измерений его вегетативных реакций в реальной (или моделируемой) ситуации. Однако широкому использованию данного метода препятствует, с одной стороны, сложность воссоздания реальной ситуации, а с другой — тот факт, что эмоциональные проявления отражают порой не только значимость, но и другие факторы (например, состояние личности).

Кроме того, существуют некоторые частные методы оценки значимости, применимые только к определенной категории задач или ситуаций. Так, например, И. М. Фейгенберг [9, 56—59] предложил судить о значимости нескольких равновероятных сигналов по времени реагирования на них: на более значимые сигналы человеку свойственно быстрее реагировать. Подобным же образом в целях диагностики значимости может быть использован и показатель точности — из ряда равных по сложности задач человек точнее решает ту задачу, которая более значима для него. Однако такие методы применимы только для оценки значимости весьма узкого круга задач.

Таким образом, приходится констатировать, что в настоящее время нет более или менее удовлетворительных общих методов определения степени значимости для человека сложившейся ситуации и имеется практическая необходимость в поиске новых объективных, и в то же время доступных, методов диагностики этой характеристики.

2. В основу предлагаемого метода оценки значимости для человека опасных ситуаций была положена теория известного американского математика Л. Заде [2], позволяющая клиссифицировать явления и события, исходя из их принадлежности к отдельным, так называемым

размытым множествам. С учетом этой теории нами была высказана следующая гипотеза:

Если испытуемый, компетентный в рассматриваемом круге вопросов, будет на основе собственного опыта оценивать в процентах примерную возможность (вероятность) возникновения некоторого события и одновременно относить ее к тому или иному размытому множеству частоты (определяя квантором типа «редко», «часто» и т. п.), то по взаимосвязи этих оценок можно судить об относительной значимости для него этого события. Справедливость этой гипотезы проверялась посредством экспериментов.

В предварительном эксперименте изучался ряд событий, отнесенных к одному размытому множеству частоты; здесь для каждого события оценивалась связь между его значимостью и вероятностью (или энтропией) его проявления. В этом эксперименте участвовало 50 специалистов в области безопасности труда. Вначале испытуемые оценивали относительную степень тяжести различных производственных травм (шести категорий — от очень легкой до смертельной), отмечая каждую из этих категорий соответствующей точкой на горизонтальной оси значимости. Различие в значимости отдельных категорий травм испытуемые выражали расстоянием друг от друга точек на этой оси. Затем для каждой категории травм они называли вероятность[1], при которой появление этого события становится уже столь частым, что возникающая при этом ситуация начинает расцениваться как аварийная. После статистической обработки данных эксперимента была получена осредненная характеристика P(S), связывающая показатель значимости (S) травмы с вероятностью (P), при которой это событие считается уже частым (рис. 1). Из графика следует, что ситуация становится аварийной, когда вероятность появления очень легкой травмы достигает 42,5%, вероятность тяжелой травмы достигает 8%, а смертельной уже при вероятности 1,7%.

По полученной кривой можно сделать следующее заключение: чем выше значимость-тревожность события, тем при меньшей вероятности его возникновения оно начинает расцениваться как частое, а складывающаяся при этом ситуация как аварийная. Анализ характеристики P(S) показал, что она может быть описана показательной функцией. Если же вместо вероятности возникновения события использовать показатель его энтропии ($H = \log_2 P$), то получается зависимость H(S), близкая к линейной: $H = 1{,}25 + 0{,}564\,S$.

Таким образом, на основе эксперимента, приходим к заключению: **чем более значимым является событие, тем при большей его энтропии (меньшей вероятности) его появление уже расценивается как частое,** т. е. **по показателю энтропии можно дифференцировать значимость событий, входящих в данное множество.**

3. Излагаемый принцип диагностики был применен в конкретном психологическом исследовании для определения относительной значимости для пилотов различных аварийных ситуаций, возникающих в полете, и анализа причин, обусловливающих эти значимости. В исследовании участвовало 36 пилотов различной квалификации. В нем рассматривались две категории причин, порождающих аварийные ситуа-

---

[1] Предполагалось, что испытуемые оценивают вероятность возникновения события в очередной пробе, основываясь на собственном опыте. Поскольку в обиходе принято возможность возникновения события выражать в процентах, то испытуемым предлагалось условно в этих же единицах оценивать и вероятности.

ции — отказы техники и ошибки пилота. По той и другой причине возможно было невыполнение летного задания (срыв рейса) и появление физической опасности (летного происшествия) для пилота и пас-

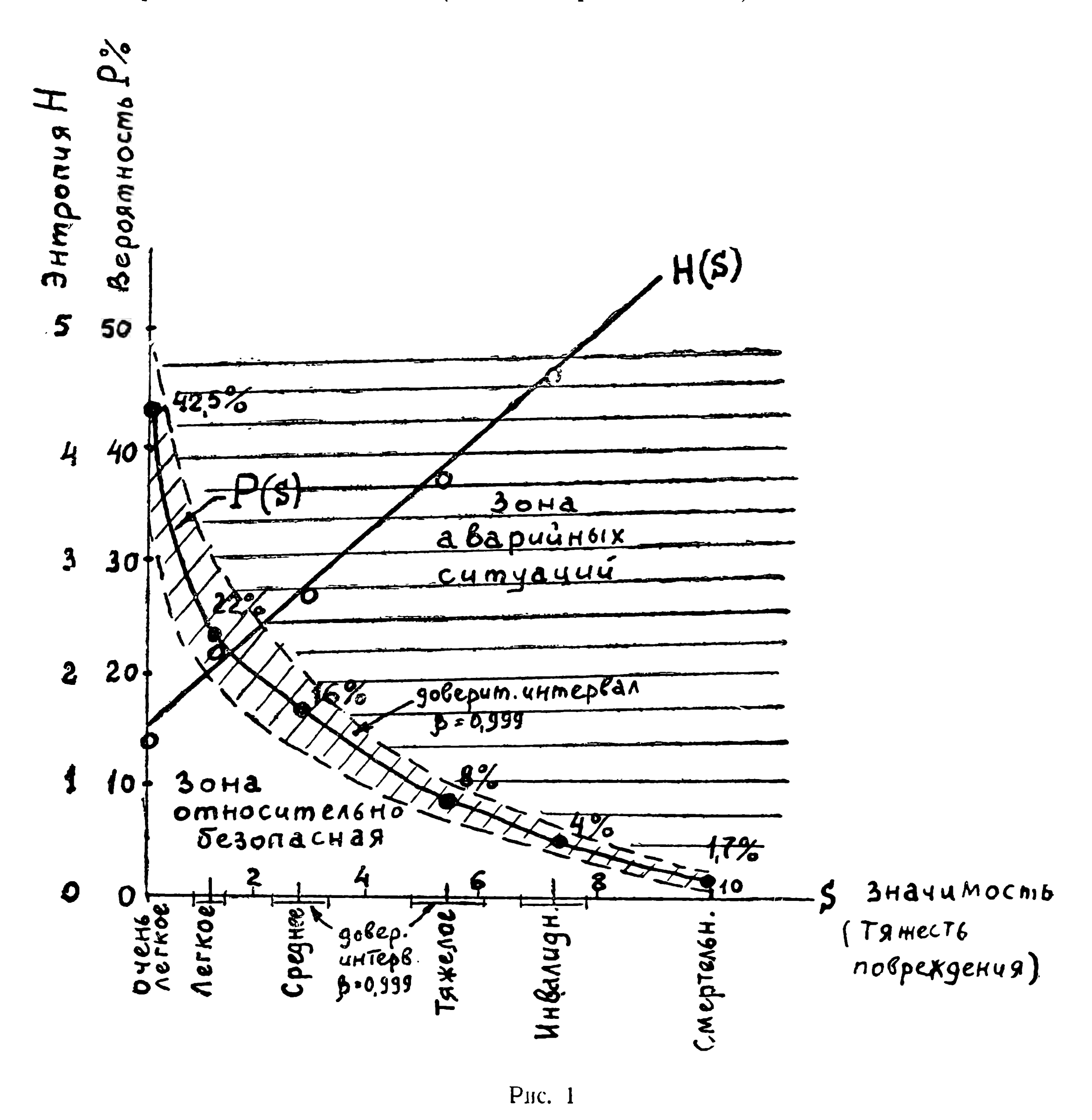


Рис. 1

сажиров самолета. Ошибки пилота, кроме того, могли повлечь за собой и социальное наказание для него (отстранение от полетов или иное административное воздействие, потерю авторитета и т. п.).

Все эти факторы, очевидно, должны были в той или иной мере обусловливать значимость для пилота возникшей аварийной ситуации. В исследовании стояла задача сопоставления уровней значимости различных категорий аварийных ситуаций и выявления «удельных весов» в этой значимости факторов физической опасности, невыполнения заданий, социального наказания.

Исследование проводилось следующим образом. Испытуемым пилотам давалось подробное описание 9 аварийных ситуаций, связан-

ных с отказами техники, и 9 аварийных ситуаций, вызванных ошибками пилота. По каждой аварийной ситуации требовалось дать ответы на следующие вопросы:

1. Оценить возможность возникновения данной аварийной ситуации.

2. Если таковая возникла, оценить возможность невыполнения летного задания по этой причине.

3. Если аварийная ситуация возникла, оценить возможность при этом летного происшествия (физической опасности).

4. Если причиной аварийной ситуации была ошибка пилота, оценить возможность его социального наказания за эту ошибку.

По каждому из перечисленных вопросов требовалось оценить возможность указанных событий двумя путями: указать примерные шан-

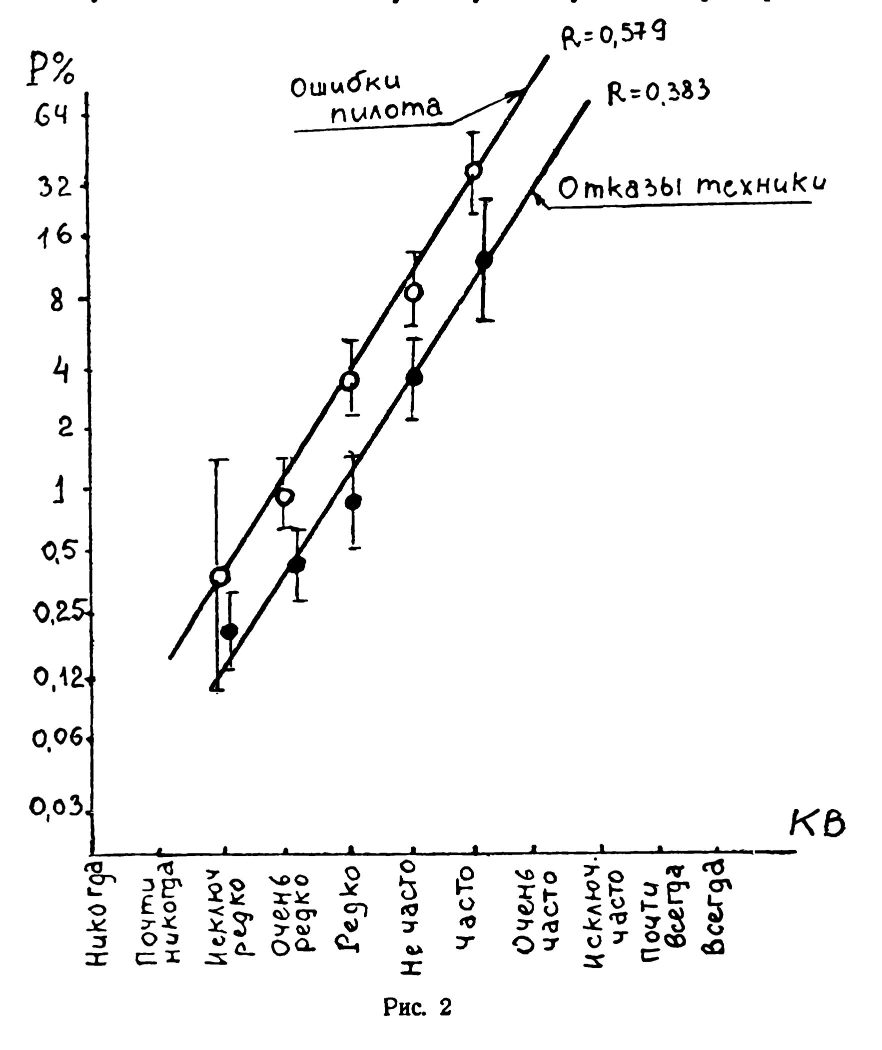


Рис. 2

сы (вероятность) его возникновения в процентах и отнести это событие к одному из одиннадцати размытых множеств частоты, определяя его любым из следующих кванторов: «никогда», «почти никогда», «исключительно редко», «очень редко», «не часто», «часто», «очень часто», «исключительно часто», «почти всегда», «всегда».

Полученные оценки были подвергнуты статистической обработке на ЭВМ «Минск-32». Остановимся на некоторых результатах исследования. Сопоставим, например, оценки пилотов, отдельно по отказам техники и ошибкам, вызывающим аварийные ситуации. Полученные характеристики по этим показателям представлены на графике рис. 2. По оси абсцисс здесь отложены на равномерном рассстоянии кванторы частоты, а по оси ординат — вероятность возникновения события (в логарифмической шкале). При такой форме представления, в основном диапазоне кванторов частоты (от «исключительно редко» до «очень часто»), эти характеристики оказываются близкими к линейным. В точках, по которым они были построены, отмечены доверительные интервалы (на уровне $\beta=0{,}95$), а около каждой характеристики указаны коэффициенты корреляции между рассматриваемыми показателями (по Спирмену).

На данном графике, в отличие от графика на рис. 1, каждое событие расценивается относительно различных множеств частоты. Как можно заключить из рассмотрения двух прямых на рис. 2, между ними имеется достаточно высокое статистическое различие. Согласно обоснованному выше принципу (более неопределенное событие в данном множестве является и более значимым) приходим к заключению, что в среднем аварийные ситуации, вызываемые отказами техники, тревожат пилотов больше, чем аварийные ситуации, порожденные их собственными ошибками. При обсуждении этого заключения с опытными пилотами, последние выразили свое согласие с ним. Из изложенного принципа диагностики несложно вывести простое правило, позволяющее по положению прямых на графике интерпретировать полученные результаты: тот фактор более значим, характеристика которого в рассматриваемой системе координат лежит правее.

Приведем еще один результат данного исследования. На рис. 3 представлены четыре характеристики, соответствующие четырем поставленным выше вопросам: возможности возникновения аварийной ситуации, а также возможности при этом невыполнения летного задания, летного происшествия и социального наказания. Как видно из рис. 3, каждая характеристика в среднем диапазоне кванторов оказывается примерно линейной. Судя по отмеченным доверительным интервалам, можно заключить, что между отдельными из этих характеристик имеется статистически достоверное различие. Прилагая к полученным прямым принятый метод диагностики, приходим к следующему заключению. Наиболее значимым для пилотов является само событие возникновения аварийной ситуации. Это событие в основном (статистически достоверно) оказалось более значимым, чем остальные, представленные на рисунке. Следующим по уровню значимости получились события социального наказания и физической опасности. Причем среди более редких событий пилотов больше тревожит социальное наказание, чем физическая опасность. Наименее значимым в аварийной ситуации оказалось событие недостижения цели. Полученные результаты совпадают с мнением К. Лагера [5], который, в результате изучения деятельности пилотов посредством других методов, также пришел к заключению, что страх отстранения от полетов, страх потери авторитета оказывается у них часто более сильным, чем страх от опасности полета.

Таким образом, приведенные данные показывают справедливость высказанной выше гипотезы и правомерность изложенного метода диагностики значимости для человека опасных ситуаций. Причем, как

следует из приведенного примера, этим методом возможно не только сравнивать результирующую значимость ситуации, но и устанавливать «удельные веса» в этой значимости отдельных порождающих ее факторов.

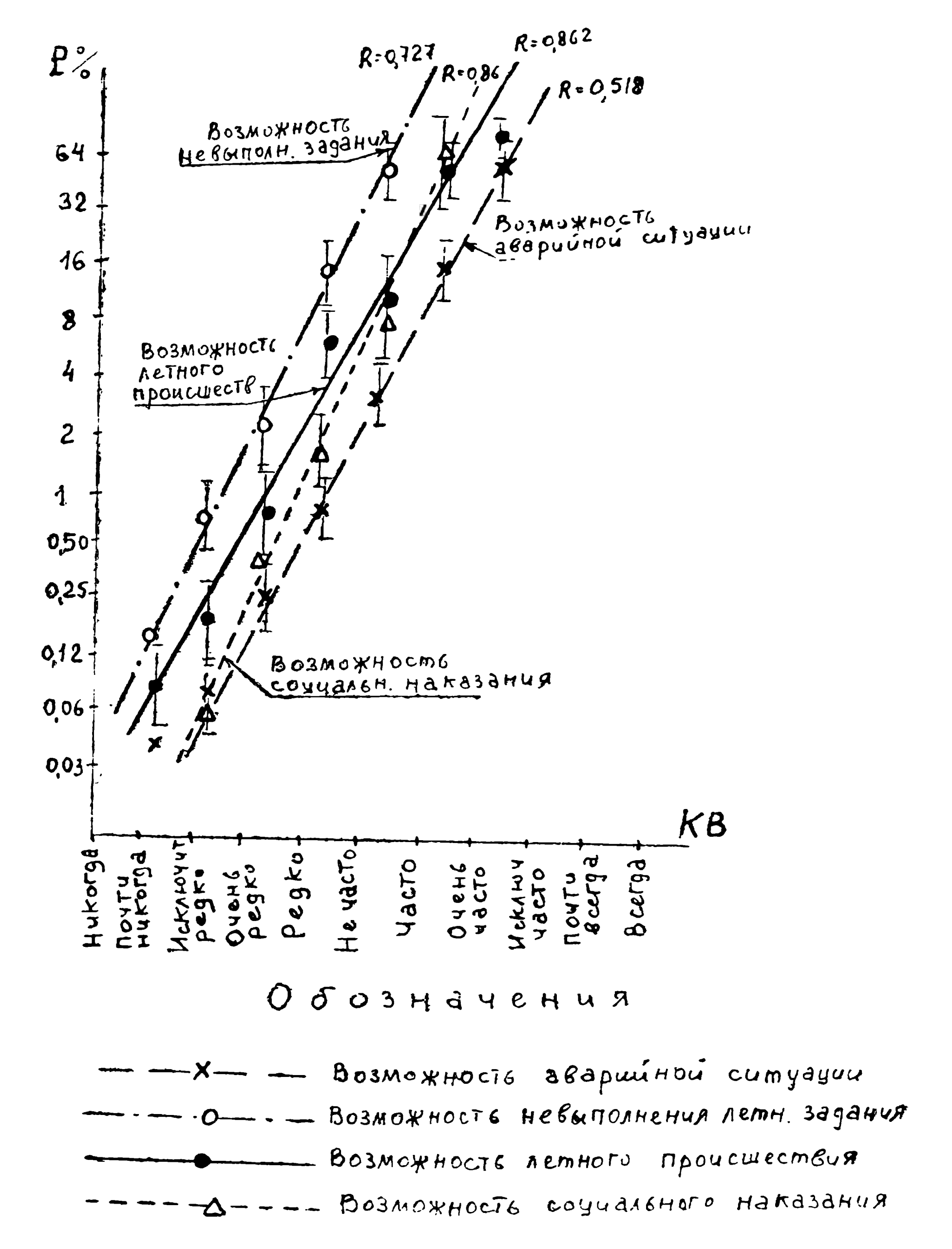


Рис. 3

Примечательно, что выбор кванторов для оценки частоты события осуществлялся испытуемыми не пропорционально ожидаемой вероятности его появления, а пропорционально энтропии событий. Различие

же в энтропии событий данного множества частоты, как уже отмечалось, может служить показателем различия их значимости. Этот результат исследования хорошо согласуется с работами П. В. Симонова [8], устанавливающими связь между уровнем эмоций и энтропией ситуации.

Изложенный метод был применен для диагностики отношения человека к опасным ситуациям. Есть основания предполагать, что подобным же образом может диагностироваться различие в значимости-ценности отдельных ситуаций или информации о них.

ON THE CONSCIOUS AND THE UNCONSCIOUS IN THE SIGNIFICANCE FACTOR AND A METHOD OF ITS EVALUATION

M. A. KOTIK
Tartu State University

S u m m a r y

The paper describes the part played by the significance factor in the structure of practical activity. It is demonstrated that this factor is formed on the basis of conscious and unconscious characteristics of activity. Therefore, by means of introspection it is possible to obtain only very approximate data on the degree of the significance of a particular event for a human operator. A fairly simple and objective method for evaluating the relative degree of the significance of dangerous situations is proposed which is based on the following principle: according to the degree to which the person considers a given event common or uncommon it is possible to reveal his attitude towards this event. An experimental basis for the correctness of this procedure is given. As a practical example, the method is applied to the evaluation of the significance of situations where pilots find themselves in danger of a crash and of the factors that determine these situations.

ЛИТЕРАТУРА

1. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Избранные психологические исследования, М., 1956.
2. ЗАДЕ Л., Понятие лингвистической переменной и его применение к принятию приближенных решений, М., 1976.
3. КЕННОН В., Физиология эмоций, Л., 1927.
4. КОТИК М. А., Саморегуляция и надежность человека-оператора, Таллин, 1974.
5. ЛАГЕР К., Экспериментальные методы и результаты измерения «стресса» при моделировании условий полета. В сб.: Эмоциональный стресс, Л., 1970, с. 290—295.
6. ЛАЗАРУС Р., Теория стресса и психофизиологические исследования. В сб.: Эмоциональный стресс, Л., с. 178—208.
7. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., Деятельность. Сознание. Личность, М., 1975.
8. СИМОНОВ П. В., Теория отражения и психология эмоций, М., 1970.
9. ФЕЙГЕНБЕРГ И. М., Мозг. Психика. Здоровье, М., 1972.

204

АНИЗОМОРФИЗМ ЭКСПЛИЦИТНОГО И ИМПЛИЦИТНОГО

П. Б. ШОШИН

Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, Москва

Несмотря на то, что во многих философских и психологических трудах сознание формально трактуется как концептуальный монолит, прямые утверждения о его однородности весьма редки. Это, вероятно, является следствием очевидной полиморфности феномена, обозначаемого словом «сознание». Даже если идти на заведомое упрощение действительного положения вещей, в этой форме существования психики можно выделить, по крайней мере, два уровня. Для одного из них, который мы будем называть эксплицитным сознанием или просто эксплицитным, характерно массированное использование наиболее четких и безэмоциональных коммуникативных средств, какие только доступны данному индивиду. Оно имеет преимущественно коммуникативную направленность и отчетливее всего проявляется в тех случаях, когда субъект стремится по возможности однозначно довести до чьего-либо сведения определенную содержательную информацию. Однако в том же модусе сознание функционирует и вне общения, если субъект, скажем, желая с максимальной ясностью обдумать какую-либо проблему, прибегает к четкой словесной (обычно внутренней, но нередко и к устной или письменной) речи, пользуется графическими символами и т. д. Эксплицитное сознание большей частью легко доступно непосредственной регистрации, поскольку оно практически без искажений выражается в коммуникативном поведении индивида.

Эксплицитному противостоит сугубо интимный мир осознаваемых (зачастую смутно), но не всегда сознательно управляемых, а главное — невербализованных (хотя бы даже на уровне внутренней речи) переживаний, мыслей, желаний, ощущений и т. д. Его мы назовем имплицитным сознанием или, коротко, имплицитным. Оно складывается из всего того, что субъект имеет в виду, понимает, чувствует, но не переводит, еще не перевел или не в состоянии перевести в коммуникабельную форму. Его ядро составляют восприятие (точнее — «верхний этаж» восприятия, без сенсорики и апперцепции) и невербальное мышление. Сюда же относятся осознаваемые невербализованные мотивы и другие феномены, удовлетворяющие изложенным только что критериям имплицитности.

Дихотомия эксплицитное — имплицитное, разумеется, не исчерпывает всей совокупности форм, которые принимает деятельность сознания. В частности, возможна его неэксплицитная коммуникативная активность, в рамках которой оно оперирует расплывчатыми коммуникативными средствами, имеющими скорее эмоциональное, чем определенное рациональное содержание. Тем не менее, эта дихотомия позволяет наметить важную «координатную ось» (с множеством проме-

жуточных уровней) в «многомерном пространстве» сознания, которая, будучи продолжена за его пределы, приводит нас в область бессознательного. Правда, следуя в данном направлении, мы не сразу достигаем бессознательного в психоаналитическом понимании этого термина, так как на пути к нему лежит непосредственная психическая инфраструктура имплицитного, названная З. Фрейдом предсознанием (Vorbewusstes). Таким образом, утверждения, касающиеся имплицитного, можно лишь косвенно и с большой осторожностью экстраполировать на бессознательное и другие неосознаваемые психические феномены.

И все же исследование имплицитного и его взаимодействия с эксплицитным не лишено значения в контексте проблемы бессознательного. Серьезным доводом в пользу такого утверждения является то, что имплицитное среди прочего играет роль промежуточной инстанции, через которую бессознательное оказывает значительную, если не бóльшую, часть своего влияния на поведение индивида, а эксплицитная информация модифицирует бессознательное. Особую важность с этой точки зрения приобретает изучение «правил», согласно которым имплицитное мнение или идея приобретает эксплицитный вид и наоборот, воспринятое эксплицитное высказывание переводится на уровень имплицитного и тем самым становится «понятным» субъекту, — то есть «правил» экспликации и импликации. Следует принять во внимание также и то, что на имплицитном более непосредственно, чем на эксплицитном, должна сказываться работа бессознательного. В свою очередь, содержимое имплицитного имеет больше шансов сделаться достоянием бессознательного.

Один из первых вопросов, возникающих при изучении имплицитного, касается языка, наиболее пригодного для описания происходящих в нем явлений. Этот вопрос отнюдь не тривиален, поскольку существенным, определяющим признаком имплицитного является его невербальность. Априори нет никаких гарантий того, что имплицитные идеи, мнения, оценки, мотивы и т. д. — или, как мы их будем именовать, имплекты (=ИМПЛицитные объЕКТЫ) — устроены точно так же, как и их возможные эксплицитные обозначения, что они образуют множество, изоморфное множеству эксплицитных коммуникативных средств — эксплектов, то есть что между этими множествами существует взаимно однозначное соответствие. А строго говоря, только при наличии изоморфизма оказалось бы возможным точное и исчерпывающее (без потери информации) эксплицитное описание имплектов. Тут же отметим одно немаловажное обстоятельство: упомянутые множества не являются таковыми в традиционном значении термина, и, за немногими исключениями, их можно (да и то с натяжкой) считать размытыми множествами [4]. Обычные множества удается образовать только из сказанных или написанных слов (но не их значений), графических символов, чисел, из сигнальных моторных актов и т. д., которые, хотя и являются прямым продуктом эксплицитного сознания, уже относятся к наблюдаемому извне поведению субъекта, а не к его психике.

Судя по литературным источникам, далеко не все исследователи считаются с возможностью анизоморфизма имплицитного и эксплицитного. Так, мы находим немало утверждений (которые, правда, встречаются все реже), почти приравнивающих мышление к внутренней речи, с той лишь, пожалуй, разницей, что идея трактуется как компактный, усеченный вариант развернутого эксплицитного высказывания, которое должно следовать более строгим правилам оформления. В извест-

ном американском психологическом словаре [9] в качестве одного из распространенных значений термина «имплицитное поведение» прямо приводится внутренняя речь. Если стать на крайнюю точку зрения и полностью отождествить мышление с внутренней речью, то проблема изоморфизма автоматически снимается, поскольку все сознание оказывается эксплицитным. Лишь немногим сложнее дело выглядит, если по-прежнему считать мышление исключительно вербальным, но организованным по специфическим четким правилам, которые отличаются от грамматики эксплицитных высказываний. Такой подход приводит нас если не к изоморфизму, то, по крайней мере, к гомоморфизму двух уровней сознания, поскольку для перехода от идеи к высказыванию и обратно достаточно воспользоваться, например, трансформационными грамматиками Н. Хомского [8].

Основная масса современной литературы, в которой под тем или иным названием фигурируют различные имплицитные объекты, написана так, как будто упомянутая проблема вовсе не существует. Считается вполне естественным применять к имплектам любые доступные средства эксплицитного описания, включая численное представление. Широкой популярностью, например, пользуются концепции психофизической функции, субъективной вероятности, полезности, с помощью которых имплекты получают четкое численное выражение, как если бы это была скорость самолета или яркость светового источника. По существу все известные математические модели, в которые включены имплекты (чаще всего это имплицитные количественные оценки), трактуют их как обычные численные величины, что, строго говоря, допустимо, только если имплицитное и эксплицитное действительно изоморфны.

Есть, однако, основания считать, что это условие в общем случае не выполняется. Прежде всего, обратим внимание на то, что, несмотря на громадное многообразие эксплицитных средств, которыми располагает и которые может конструировать современный образованный человек, их совокупность преимущественно дискретна (исключение составляют количественные континуумы), тогда как имплекты отличаются бо́льшим плюрализмом и гораздо чаще могут переходить один в другой. В результате только часть имплектов — главным образом, те, которые стандартизованы внутри данной культуры, — получает эксплицитные обозначения, тогда как остальные, особенно конструируемые в процессе мышления или восприятия, остаются без прямых эксплицитных соответствий. Единственным способом экспликации безымянного имплекта является построение некоторой комбинации эксплектов, *определяющих* или *объясняющих* его содержание. Но в подавляющем большинстве случаев исчерпывающая экспликация фактически невозможна. Это отнюдь не означает, что определения совершенно бесполезны и бессмысленны. Напротив, они вполне адекватны, *если* — как это типично для математического творчества — имплект сначала был сформирован субъектом на уровне эксплицитного и лишь затем имплицирован. Кроме того, эксплицитными средствами удается уточнить, сделать более четким имплект, образованный ранее с помощью неэксплицитных коммуникативных средств.

Неполнота эксплицитных описаний особенно заметна в случае изначально имплицитных феноменов. Например, субъект может безошибочно распознавать сложнейшие образы, но эксплицитное соответствие каждому из них он в состоянии дать только путем обозначения целого, тогда как перечисление эксплицитных признаков образа почти ни-

когда не отражает самого существенного в нем. Это наблюдение лежит в основе гештальт-теории, одним из важнейших положений которой является неэквивалентность целостного образа сколь угодно «полному» набору его компонентов. Характерно, что, хотя к настоящему моменту количество моделей распознавания образов по совокупности эксплицитных признаков исчисляется сотнями тысяч, ни одна из них, насколько известно, не приложима к произвольному или, по крайней мере, просто широкому классу объектов. Более подробную дискуссию на эту тему можно найти в недавней статье Ф. В. Бассина и В. Е. Рожнова [1].

Другую сторону анизоморфизма имплицитного и эксплицитного составляют трудности импликации эксплицитных формулировок, без которой невозможно их подлинное понимание. До тех пор, пока эти формулировки апеллируют к тем же имплектам слушателя, что и породившие их имплекты говорящего, имеет место полное взаимопонимание собеседников. Но стоит только говорящему эксплицировать имплект, отсутствовавший в предыдущем опыте слушателя, необходимыми становятся объяснения, цель которых — воссоздать исходный имплект в имплицитном слушателя. Как показывают многочисленные неформальные наблюдения, чисто эксплицитными средствами порой бывает необычайно трудно этого достичь. Л. С. Выготский даже пишет, например, что «целая вещь является несообщаемой для детей, которые не имеют еще известного обобщения» (то есть имплекта) [3, 12]. Одну из причин затруднений такого рода следует, по-видимому, искать все в той же принципиальной неэквивалентности «суммы» элементов целому. Умение имплицировать эксплекты по отдельности, а затем синтезировать из вызванных таким путем парциальных имплектов нужный результирующий имплект, вырабатывается лишь длительной тренировкой, да и то не у каждого. Показательно, между прочим, и то, что трудности понимания часто возрастают, а не убывают, по мере повышения четкости, однозначности используемых эксплектов. По-существу то же утверждает В. В. Налимов [5], когда он говорит об ограниченной применимости «жестких языков», под которыми он подразумевает коммуникативные средства, полностью лишенные присущей естественным языкам полисемии и вводимые путем строгих определений, исходя из набора первичных понятий. Любопытно, что к этому заключению он приходит не от психологии общения, а расширительно, толкуя известную теорему Гёделя, из которой непосредственно следует неполнота непротиворечивых аксиоматических построений.

Еще один фактор анизоморфизма имплицитного и эксплицитного кроется в том, что существенным требованием к эксплицитному является его предельная свобода от эмоциональных компонентов, которые неизбежно присутствуют в имплектах, обычно даже заслоняя и подавляя их рациональные аспекты (подробнее об этом см. [2]). Таким образом, в имплектах содержится то, что в эксплектах или совсем отсутствует (как, например, в математических символах), или представлено в значительно меньшей степени.

В качестве последнего, но не менее существенного источника анизоморфизма имплицитного и эксплицитного укажем значительно бо́льшую степень размытости имплектов по сравнению с эксплектами. Если эксплекты могут обладать абсолютно четким значением (таковы, например, числа), то четкие имплекты встречаются крайне редко (исключением является имплицитное восприятие количества, формируемое при счете небольшого числа объектов).

Диффузность имплицитных количественных оценок — количественных имплектов—можно продемонстрировать практически на любом примере субъективного измерения. Предположим, эксперт, получив задание оценить в десятибалльной шкале трудность некоторого учебного текста, назвал число 6. Значит ли это, что данный балл полностью представляет действительное мнение эксперта о трудности текста? Скорее всего, нет: соответствующим опросом почти неизменно удается установить, что один или оба соседних балла примерно так же, хотя и в несколько меньшей степени, соответствовали бы имплицитной оценке. Нередко эксперт находит хотя бы минимально допустимыми в качестве эксплицитных представителей его количественного имплекта также некоторые другие баллы, более отдаленные от первоначально названного.

Существует немало источников подобной неопределенности: тут и нечеткость восприятия, и затруднения в использовании шкалы, и расплывчатость шкальных значений, и «объективная» диффузность самого оцениваемого свойства. Таким образом, мы приходим к выводу, что в то время, как количественные экспленты в традиционных измерительных процедурах представляют собой числа, которые можно изобразить в виде точек на числовой оси, имплицитные количественные оценки скорее похожи на большего или меньшего размера облака с неясно очерченными краями и каждое с одним или несколькими «ядрами».

Резюмируя то, что было сказано ранее в этом сообщении, приходится констатировать довольно безотрадную перспективу относительно возможности проникновения в имплицитное и выражения имплицитного существующими эксплицитными средствами. В. В. Налимов, поскольку речь идет об экспликации, видит выход из положения в более широком использовании неэксплицитных коммуникативных средств («более мягких языков», как он их называет), причем также и в научной литературе, где и поныне господствует прямо противоположная тенденция. Среди прочего он рекомендует широко пользоваться метафорами как более действенным средством индуцирования желаемого имплекта.

Что касается специфической задачи экспликации количественных имплектов, которая занимает одно из ведущих мест в экспериментальной психологии, то здесь само собой напрашивается эксплицитное описание, аналогичное построению размытых множеств [4]. Прежде всего, нужно задаться шкалой (обозначим ее $\{x\}$) обычных числовых значений ($x \in \{x\}$), в которой субъект эксплицирует измеряемое свойство. Например, для субъективной вероятности $\{x\}$ —это отрезок числовой оси от 0 до 1, для трудности текста — шкала баллов 1,...., 10 и т. д. При описании количественного имплекта **в первом приближении** обычное число x заменяется распределением по всей шкале $\{x\}$ некоторой величины φ, выражающей квантифицированное мнение субъекта о приемлемости того или иного шкального значения x для представления всего имплекта в виде обычного числа. В некоторых ситуациях (применительно, например, к оценке вероятности наблюдаемого повторяющегося события) φ может интерпретироваться как степень уверенности субъекта в истинности того или иного x. Задаваемый таким способом количественный феномен назван **размытым числом** [6]. На функцию $\varphi(x)$ могут быть наложены те же ограничения, что и на плотность вероятностного распределения, чем обеспечивается известное удобство математических манипуляций с размытыми числами.

Размытые числа в качестве инструмента описания имплектов несравненно информативнее обычных величин. Прежде всего, в них представлены не только наилучшие модальные шкальные значения, но и диффузность имплекта. Относительно четкое количественное впечатление субъекта отражается в виде компактного распределения $\varphi(x)$, тогда как расплывчатость оценки означает его размывание. Полной неопределенности соответствует равномерное распределение. Напротив, при абсолютной четкости оценки, принимаемой без малейших колебаний, распределение $\varphi(x)$ обращается в дельта-функцию, что означает вырождение размытого числа в обычное.

Для размытых чисел можно определить любые традиционные операции, включая арифметические действия [6]. Однако эти операции обладают меньшим набором удобных с математической точки зрения свойств. В результате даже простые по привычным понятиям арифметические задачи практически невозможно решать иначе, как на ЭВМ. Вместе с тем, свойства операций над размытыми числами представляются более естественными для человека с нематематическим складом ума. Например, вычитание перестает быть действием, обратным сложению, а деление на части — эквивалентным делению по содержанию.

Экспликация оценок в виде размытых чисел не составляет большого труда. Она сводится к вычерчиванию гистограммы, изображающей распределение $\varphi(x)$. Для этого используется специальный бланк, представляющий собой координатную сетку, горизонтальное направление которой соответствует шкале $\{x\}$, а вертикальное служит для «отсчета» φ. Шкала $\{\varphi\}$ используется трех-, пяти- или семибалльная, причем края ее отвечают абсолютной уверенности субъекта соответственно в приемлемости или неприемлемости того или иного $x \in \{x\}$, а остальные «деления» обозначают гамму промежуточных состояний. Задача субъекта в этих условиях состоит в том, чтобы, последовательно перебирая все «деления» шкалы $\{x\}$, от каждого из них вычертить вертикальный отрезок надлежащей длины [7].

Как уже было сказано, размытые числа являются лишь первым приближением к адекватному представлению количественных имплектов. Дело в том, что шкалы $\{x\}$ и $\{\varphi\}$ — в действительности размытые множества, а не, как для простоты предполагалось вначале, континуумы или дискретные серии обычных чисел. При известных ограничениях, диффузность шкал удается формально интегрировать с размытостью оцениваемого качества. Но в общем случае полная экспликация количественных имплектов должна строиться исключительно на базе размытых категорий.

Б. Ф. Скиннер не раз с горечью отмечал, что психология, в отличие от других научных дисциплин, проявляет поразительный консерватизм в отношении терминологии, отличающейся нечеткостью и, следовательно, по его мнению, ненаучностью. «Аристотель, — пишет он в одной из своих недавно вышедших книг [10, 3], — не понял бы и страницы из современного труда по физике или биологии, зато Сократ и его друзья вполне могли бы следить за большинством из нынешних дискуссий, посвященных человеку». Действительно, известная архаичность части понятийного аппарата психологии неоспорима, что, впрочем, вряд ли покажется парадоксальным в свете анизоморфизма эксплицитного и имплицитного. Неэксплицитность собственно психологической терминологии — это не вина и не беда, а специфика данной науки, с которой необходимо считаться, тогда как решения на уровне

четких кибернетических моделей неизбежно сопряжены с отождествлением эксплицитного и имплицитного или с принятием неправомерного постулата об их изоморфизме. Надо полагать, психология вынуждена будет и далее игнорировать призывы к устранению расплывчатой терминологии и замене ее однозначными символами — иначе она перестанет быть психологией. Прогресс все же мог бы осуществляться, но в направлении учета диффузности и эмоциональной составляющей имплицитных и неэксплицитных коммуникативных феноменов.

EXPLICIT VERSUS IMPLICIT ANISOMORPHISM

P. B. SHOSHIN

Research Institute of Defectology, USSR Academy of Pedagogical Sciences, Moscow

SUMMARY

Explicit versus implicit modes are identified within the conscious, the first relying on the most distinct quasi-communicational symbolic (e. g. verbal) operation, whereas the second on fully non-verbal fuzzy categories. No isomorphism seems to exist between the two modes since the implicit is much more vague and involves a larger emotional component. Thus, a direct description of implicit contents by explicit means is generally inadequate. This is most clearly the case when attempts are made to map implicit quantitative judgements in numbers. However, the explication of implicit quantities meets more of their essential properties when performed not in conventional, but in fuzzy numbers which are distributions, over the whole measurement scale, of the subject's quantified belief that a particular scale point may represent his judgement.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., РОЖНОВ В. Е., О современном подходе к проблеме неосознаваемой психической деятельности (бессознательного). Вопросы философии, 1975, № 10, 94—108.
2. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Воображение и творчество в школьном возрасте, М., Акад. им. Крупской, 1930.
3. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Мышление и речь. М., 1934.
4. ЗАДЕ Л. А., Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решений. В сб.: Математика сегодня. М., 1974.
5. НАЛИМОВ В. В., Вероятностная модель языка, М., 1974.
6. ШОШИН П. Б., Размытые числа как средство описания субъективных величин. В сб.: Статистические методы анализа экспертных оценок. М., 1976 (в печати).
7. ШОШИН П. Б., Методика размытых оценок. В сб.: Экспертные оценки и восприятие искусства. М., Институт культуры, 1977.
8. CHOMSKY. N., Three models for the description of language. IRE Trans. Inform. Theor., IT-2 (1956), 113—124.
9. ENGLISH. H. B. and ENGLISH. A. C., A Comprehensive Dictionary of Psychological and Psychoanalytical Terms. London: Longman, 1970.
10. SKINNER. B. F., Beyond Freedom and Dignity. New York: Bantam/Vintage, 1972.

205

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «РАСПЛЫВЧАТЫХ ОБРАЗОВ» КАК СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ НЕОСОЗНАВАЕМОЙ ПСИХИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Д. И. ШАПИРО

Институт автоматизированных систем управления, Москва

1. Как показано в работах советских психологов Д. Н. Узнадзе и его школы (А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия и др.), а также Л. С. Выготского, С. Л. Рубинштейна, А. Н. Леонтьева, Ф. В. Бассина, неосознаваемая (бессознательная) психическая деятельность — это активность мозга, при которой выносятся решения на основе информации, субъектом неосознаваемой[1].

Сознание может характеризоваться двумя уровнями. На первом из них образы формализуемы, коммуницируемы и регистрируемы (этот уровень может быть назван ВКО — вербализуемый, коммуницируемый, осознаваемый). На втором же уровне (Н-ВКО) образы плохо осознаются и с трудом коммуницируются. На уровне ВКО используются четкие и формализуемые образы, которые могут быть выражены в количественной форме или в виде оценок типа «да/нет», а на уровне Н-ВКО подобные четкие образы, как правило, использованы быть не могут.

Роль неосознаваемого в психической деятельности особенно проявляется, по-видимому, на уровне Н-ВКО. Поэтому необходимы исследование уровня Н-ВКО и разработка методов оперирования и представления соответствующих образов.

Изучение уровня ВКО связано с использованием достаточно разработанного математического аппарата (вероятностного, логического и т. д.). Изучение уровня Н-ВКО, которое позволит, по-видимому, более глубоко исследовать проблемы бессознательного, в настоящее время затруднено, т. к. не опирается на адекватный метод качественного и, тем более, количественного анализа.

Наличие подобного метода позволило бы формализовать образы Н-ВКО и использовать их в вычислительных процедурах, что представляется полезным как в чисто психологических исследованиях, так и в целом ряде прикладных работ (например, при изучении процедуры выбора решения человеком).

Одной из серьезных проблем, возникающих при исследованиях коммуницируемости и при разработке соответствующих вычислитель-

---

[1] См. более подробно об этом в исследованиях Ф. В. Бассина, Проблема бессознательного, М., 1968, и А. Е. Шерозия, К проблеме сознания и бессознательного психического, т. I—II, Тб., 1969, 1973, в которых обобщены позиции советской психологии и смежных ей наук по этому вопросу.

ных процедур (в том числе и при общении человека и ЭВМ), является выбор подходящего языка. «Жесткие» языки, основанные на однозначном соответствии между речевым символом и его значением, удобны для использования в ЭВМ, однако с их помощью трудно, а иногда и невозможно выражать оттенки, характеризующие определенные образы. «Мягкие» языки (например, естественные) позволяют выражать разнообразие смыслов, объективным носителем которых является образ, но они слишком сложны для понимания их ЭВМ (что стало очевидным после попыток создания систем машинного перевода)[2].

Использование естественных и достаточно «мягких» искусственных языков создает при разработке рассматриваемой нами проблемы большие преимущества, т. к. позволяет формализовать нечеткие образы, близкие, как отмечено выше, к активности бессознательного.

2. Остановимся подробнее на предлагаемом подходе.

Под расплывчатым образом следует понимать образ, определяющий множество элементов, объединенных неким свойством, степень проявления которого среди конкретных элементов подобного множества может быть разной и переход от «принадлежности к множеству» к «непринадлежности к множеству» является непрерывным [4].

Адекватным методом для изучения и формализации подобных расплывчатых образов является предложенная Л. Заде теория расплывчатых множеств и алгоритмов.

Практическое использование подхода, основанного на применении теории расплывчатых множеств, связано с существованием т. н. «функции принадлежности» $\mu_A(x)$, характеризующей степень E (0,1) принадлежности данного элемента x расплывчатому множеству (A). Необходимый формальный аппарат в настоящее время активно разрабатывается.

Одной из важнейших задач, возникающих при использовании этого подхода, является процедура формального представления $\mu_A(x)$, т. е. построения функции принадлежности.

В работе [1] предложено строить функцию принадлежности на плоскости (μ, x), ставя в соответствие каждому значению x_i («элементу области рассуждения») величину μ_i, характеризующую степень принадлежности данного элемента рассматриваемому расплывчатому образу. Подобный подход удобен при формализации некоторых типов расплывчатых образов.

В литературе [3] описана процедура построения функции принадлежности расплывчатого предписания «пройти несколько шагов».

К расплывчатым образам относятся: квалификаторы (большой, красивый, удобный), модификаторы (очень, не очень, в высшей степени), предписания (пройти несколько шагов) и т. д.

Следует особо отметить, что оценки и представления, связанные с расплывчатыми образами, будучи субъективными, являются удобным средством изучения неосознаваемых реакций.

Квалификаторы могут принадлежать к разным типам. Одни могут быть представлены на размерной шкале. Сюда относятся расплыв-

---

[2] В прикладных направлениях исследования целесообразно, по-видимому, использовать высокоорганизованный искусственный язык [6] (типа «Интерлингва») или систему общения человека и ЭВМ на естественном языке, который в одном из ее блоков (т. н. «лингвистическом процессоре» [2]) преобразуется в более приемлемый «жесткий» язык.

чатые образы, характеризующие размеры, объем, возраст, вес, темп и т. д. (длинный, толстый, быстрый, холодный, тяжелый, старый). Соответствующие шкалы градуируются в см, годах, кг, градусах, м/сек. Примером таких образов является пара «молодой—старый».

Возрастная шкала здесь является субъективной и, кроме того, зависит от конкретной задачи. Так, для оценки при приеме в балетное училище или в ВУЗ понятия «старый» и «молодой» будут, естественно, разными.

Другие расплывчатые образы не могут быть представлены подобным образом: красивый, стройный, веселый, добрый и т. д. Однако, несмотря на это различие между подобными типами расплывчатых образов существует весьма важная общность, состоящая в том, что их оценки являются проявлением мыслительной деятельности конкретного человека. Причем весьма, по-видимому, важную роль в выборе подобных оценок играют неосознаваемые субъективные механизмы. Представление соответствующих функций принадлежности осуществляется в нормированной системе координат, где по оси абсцисс отложены в интервале (0,1) элементы или значения расплывчатого образа (область рассуждений), а по оси ординат в интервале (0,1) отложены значения функции принадлежности.

Рассмотрим конкретный пример.

Расплывчатый образ «красивая женская нога». Условимся, что этот сложный расплывчатый образ состоит из двух: «стройная нога» и «длинная нога».

Второй из этих расплывчатых образов может быть представлен на размерной шкале. Откладывая по оси абсцисс на нормированном интервале (0,1) значения возможного диапазона длины ноги в см (50—150), в соответствии с мнением экспертов строим $\mu_g(x)$—функцию принадлежности для этого расплывчатого образа (см. рис. 1).

Расплывчатый образ «стройная нога» не имеет размерной шкалы, поэтому его функция принадлежности $\mu_c(x)$ строится на основании субъективного подхода экспертов к существу данного понятия (также на нормированном интервале (0,1) и по оси абсцисс (см. рис. 2).

Функция принадлежности расплывчатого образа «красивая женская нога» $\mu_{крн}(x)$, являющаяся пересечением $\mu_g(x)$ и $\mu_c(x)$, имеет вид (см. рис. 3)[3].

Формализация расплывчатых образов является одним из возможных подходов в осознании бессознательного при использовании ЭВМ в оценке ситуации и выборе решения, поскольку знание об окружающей среде и предмете (т. е. совокупность данных) представляется часто в виде расплывчатых образов.

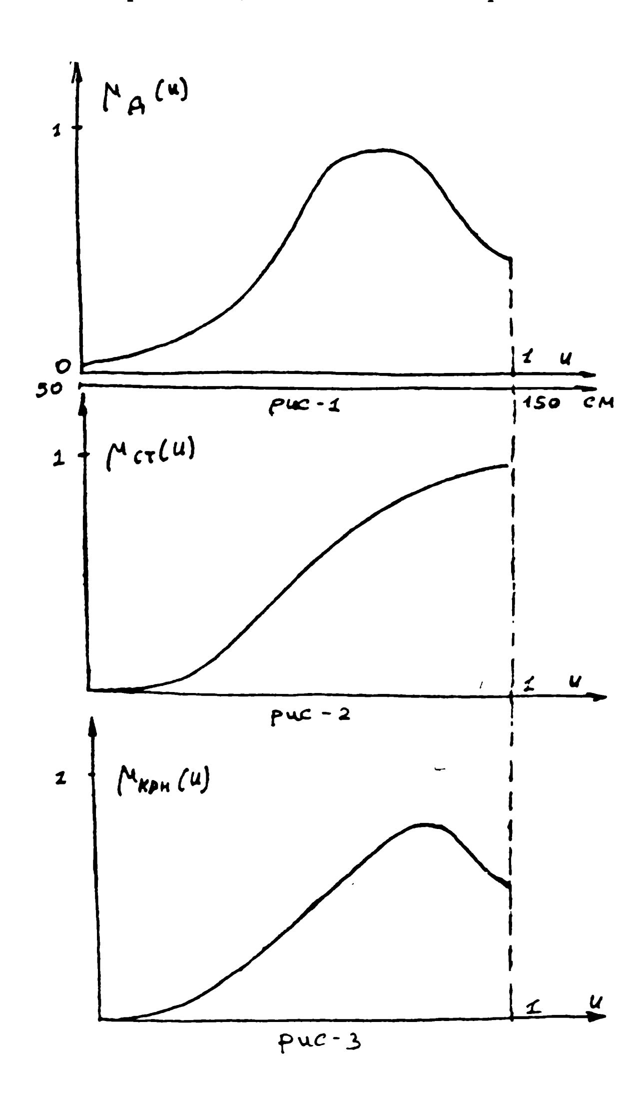
Операция вынесения четкого решения, осуществляемая с использованием расплывчатых образов, может рассматриваться как умственная деятельность, основанная на активности бессознательного, ибо оценка расплывчатого образа определяется, в какой-то степени, активностью бессознательного.

3. Среди различных аспектов проблемы бессознательного одним из важных является изучение неосознаваемых мотивов. Существуют, по крайней мере, два прикладных направления в использовании данных этого изучения:

---

[3] В общем случае эксперты определяют как элементарные, так и сложные (составные) расплывчатые образы.

а) исследование роли неосознаваемого в выборе решения задачи конкретным лицом. Это направление позволяет описывать и формализовать особенности проблемы, связанные с представлением условий



задачи и анализом результатов, и, кроме того, создает возможность более глубокого понимания «веса» отдельных факторов при определении характера умственной деятельности;

б) исследование роли неосознаваемого в выборе решения определенной группой лиц, объединенных, например, общей профессией. Это направление работ позволяет определять и описывать закономерности, связанные с влиянием неосознаваемых факторов на выбор решения и на основании подобного описания формализовать процедуру выбора решения в конкретной области. К этому направлению может быть отнесено принятие решения, с использованием ЭВМ, при анализе задач, характеризуемых значительным количеством параметров и сложными взаимосвязями между ними.

Задачи этого типа заставляют вспомнить введенный Л. Заде

«принцип несовместимости», который гласит: «чем глубже мы анализируем реальную задачу, тем неопределеннее становится ее решение». Их исследование связано с необходимостью анализа и формализации таких осуществляемых человеком процедур, как 1) оценка данных о ситуации, 2) выбор решения и 3) оценка результата.

Среди образов, которыми оперирует человек в процессе подготовки и выбора решения, имеют место как количественные, так и качественные (расплывчатые) образы. Подход к применению расплывчатых образов при изучении неосознаваемой деятельности может быть представлен в виде следующей последовательности:

а) постановка задачи;

б) формирование набора ситуационных данных (существа вопросов);

в) формализация расплывчатых образов, входящих в эти вопросы;

г) формализация и анализ результатов оценок;

д) формализация процедуры выбора решения.

На этапе постановки задачи (а) должно быть определено одно из двух приведенных выше направлений исследования (изучение роли неосознаваемого в выборе решения конкретным лицом или группой лиц).

На втором этапе (б) основная практическая сложность предложенного подхода состоит в трудности формирования набора вопросов (ситуаций), адекватных решаемым задачам. Подобная сложность, однако, является, по-видимому, общей для всех исследований, связанных с изучением роли и особенностей неосознаваемого в выборе решения.

Третий этап этой процедуры (в) связан с классификацией используемых расплывчатых образов по приведенным выше признакам (модификаторы, квалификаторы, имеющие размерную шкалу или нет и т. д.), а также с обработкой мнений экспертов.

При этом, если целью работы является изучение бессознательных реакций на расплывчатые вопросы (образы), то в качестве экспертов используются испытуемые. Если же целью работы является создание системы изучения бессознательного с помощью ЭВМ, то мнение экспертов помогает формализовать элементы этой системы.

Поскольку в этой процедуре используется мнение экспертов, очень важны для выявления неосознаваемых реакций способы представления ситуационных данных, которые имеют текстовую или графическую форму. Процедура построения функции принадлежности расплывчатых образов изложена в ряде работ [1; 3].

На четвертом этапе (г) на основании исследования таких признаков, как целенаправленность, использование окольного пути достижения цели, доминирование по сравнению с осознанными мотивами, осуществляется анализ активности бессознательного.

Изучение принципов выбора решения человеком и их формальное представление связано, в значительной мере, с исследованием системы правдоподобных рассуждений, которые рассматривал Д. Пойя [5]. Отличие систем, в которых действует человек (биологических, организационного управления, социальных и др.) от «механических» состоит в том, как отметил Д. Пойя, что «задавая математический вопрос, мы можем надеяться получить вполне недвусмысленный ответ, совершенно четкое Да или Нет. Направляя вопрос природе, вы не можете надеяться получить ответ без некоторой полосы неопределенности». Поэтому значительная часть используемых оценок является нечеткой.

К таким оценкам могут быть отнесены: «ложно», «истинно», «совместимо», «похоже», «правдоподобно», «вероятно», «несомненно», соответствующие модификаторам типа: «более», «менее», «очень», «вполне», «гораздо», «чуть-чуть» и т. д.

Каждый из перечисленных признаков характеризуется своими параметрами (скорость реакции, сложность пути на «дереве решений», степень доминирования и т. д.). Процедура анализа действия конкретного субъекта по этим признакам связана с изучением его действия (поведения) и сравнением с логичным действием, например с помощью построенного априори «дерева решений». Ветви в таком дереве могут иметь как четкий (да/нет), так и расплывчатый характер («лучше», «более предпочтительно» и т. д.).

Оценка состояния деятельности конкретного субъекта по приведенным признакам осуществляется с помощью расплывчатой шкалы: да, очень сильно, сильно, средне, слабо, очень слабо, нет. Соответствующие шкалы оценок, разумеется, должны быть заранее построены. Если целью работы явилось изучение неосознаваемых реакций, то результаты оценок могут быть представлены на плоскости «сознательное—неосознаваемое».

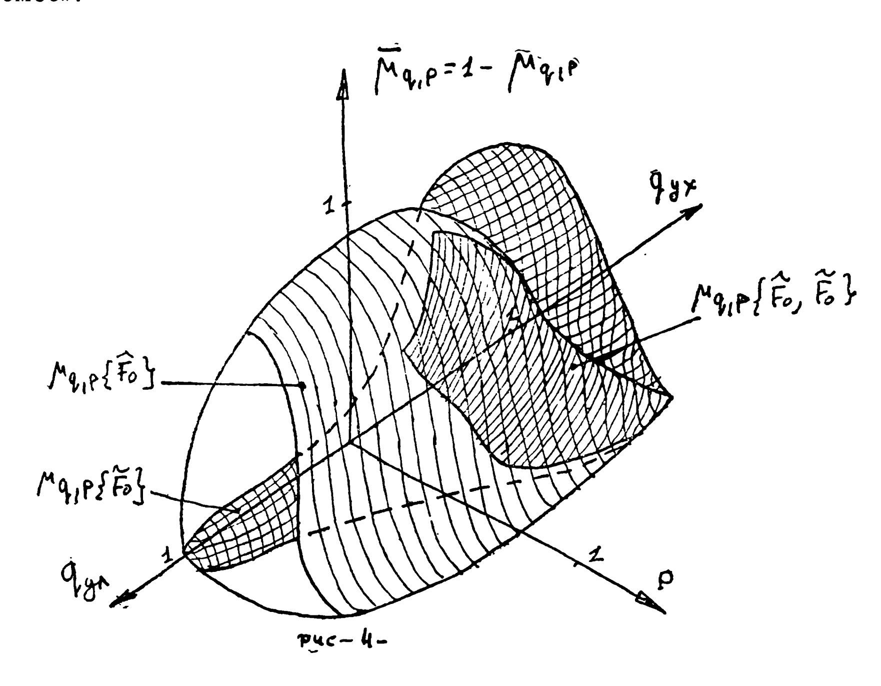


рис — 4 —

Если целью работы явилось изучение изменений неосознаваемых реакций во времени (т. е. последовательной оценки ситуации), то используется плоскость (q, p) «улучшение—ухудшение», «быстро—медленно» или пространство (X, Q, T) «признак — оценка — время».

Последний, пятый, этап (д) процедуры существует только в том направлении исследований, которое связано с выбором решений группой лиц.

Выбор конкретного решения (альтернативы) из сформированного заранее множества происходит на основании ряда критериев. Сюда можно отнести инструкции, данные о мнении руководства, опыт, профессиональный уровень и т. д. При этом, поскольку целью работы яв-

ляется получение набора решений для заданной совокупности исходных данных, результаты представляются в виде поверхности принадлежности $\mu(q, p)$ (рис. 4).

4. Таковы, по-видимому, основные этапы подхода к применению расплывчатых образов при изучении неосознаваемой психической деятельности. Действующая модель, осуществляющая выбор решения при наличии расплывчатых образов, описана в нашей работе [6].

Среди многих классов задач, рассматриваемых с помощью этой модели, целесообразно, например, изучать влияние особенностей человека (лица, принимающего решение) на выбор решения. В модели эти особенности выражаются с помощью той или иной совокупности взаимосвязей между состоянием точки на плоскости (q, p) «улучшение—ухудшение», «быстро—медленно» и ее принадлежностью к одной из областей («достаточно», «недостаточно»), т. е. изменением вида поверхности принадлежности $\mu(q, p)$ (рис. 4).

Были исследованы [6] два типа взаимосвязей, определяющих «характер» лица, принимающего решения и названного, условно, «консерватор» $\widehat{F_0}$ или «радикал» $\widetilde{F}_0$ причем «консерватор» более склонен к тестированию и выжиданию, а «радикал» — к принятию действенных мер.

На основе всего вышеизложенного создается определенная возможность оперирования нечеткими образами и тем самым, как нам представляется, — новый подход к выявлению роли неосознаваемого при выборе решений.

ON THE USE OF «FUZZY» IMAGES IN STUDYING UNCONSCIOUS MENTAL ACTIVITY

D. I. SHAPIRO

Institute of Automated Control Systems, Moscow

SUMMARY

The paper considers ways of using the theory of fuzzy sets in studying patterns of the unconscious; the possible approaches are discussed, the methodological procedure presented, and a simple example given.

ЛИТЕРАТУРА

1. БОРИСОВ А. Н., ОСИС Я. Я., Методика оценки функции принадлежности элементов размытого множества. Кибернетика и диагностика, Рига, IV, 1970.
2. ЕРШОВ А. П., МЕЛЬЧУК И. А., НАРИНЬЯНИ А. С., РИТА — экспериментальная система взаимодействия с ЭВМ на естественном языке. Труды IV МОКИИ. М., 1975.
3. ЖИНКИН Н. И., ШАПИРО Д. И., Психолингвистические акспекты принятия решений. В сб.: Тезисы докладов Всесоюзного симпозиума «Психология и документалистика», М., 1976.
4. ЗАДЕ Л., Основы нового подхода к анализу сложных систем и процессов принятия решения. В сб.: Математика сегодня. М., 1974.
5. ПОЙЯ Д., Математика и правдоподобные рассуждения, т. II, М., 1975.
6. ШАПИРО Д. И., Математические методы в проблеме принятия решений, М., 1974.

206

ИССЛЕДОВАНИЕ ОСОЗНАВАЕМЫХ И НЕОСОЗНАВАЕМЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ УСВОЕНИИ СЕНСОМОТОРНЫХ ПРОГРАММ

Е. А. УМРЮХИН

ВНИИ медицинского приборостроения, Москва

Одной из важных задач в изучении бессознательного является экспериментальное доказательство наличия неосознанных форм регуляции сложной психической деятельности [1]. При этом особенно актуальной задачей является создание таких экспериментальных условий, в которых неосознаваемые **психологические** феномены проявлялись бы в условиях ясного неизмененного сознания [1]. Одна из методик, удовлетворяющих указанному условию, была разработана с целью надежной оценки индивидуальных особенностей образования новых связей [3; 4; 5]. При этом ограничение осознанных форм запоминания специально использовалось как средство повышения указанной надежности [5].

Данная работа посвящена подробной аргументации на основе экспериментальных данных наличия усвоения на неосознаваемом уровне элементов предъявляемой испытуемому программы, а также выяснению соотношения между осознаваемым и неосознаваемым выбором действий при усвоении сенсомоторных программ.

Методика

Исследования, описанные в данной работе, проведены с помощью прибора «Адаптрон» [6], состоящего из пульта испытуемого и пульта экспериментатора. Испытуемому на пульте (рис. 1) предъявляются сигналы четырех хорошо различающихся цветов S_4, S_3, S_2, S_1, и пятый сигнал — многоконечная звезда. На том же пульте находятся 5 кнопок — четыре главные по краям квадрата и одна вспомогательная — в центре. Смена цвета на пульте происходит при нажатии одной из 4-х главных кнопок. Четыре сигнала следует друг за другом, образуя цепочку после смены четырех цветов, каждая из которых происходит при нажатии соответствующей кнопки, на пульте на 1,2 сек. зажигается звезда, после чего автоматически включается первый из сигналов следующей цепочки.

В инструкции испытуемому сообщается, что успешность его деятельности будет тем выше, чем больше количество звезд он получит, и чем меньше сделает при этом лишних нажатий. Объясняется, что выбор и нажатие правильной кнопки меняет цвет на пульте, а нажатие лишней кнопки оставляет цвет неизменным. Поясняется также, что перед нажатием периферийных кнопок нужно каждый раз нажимать центральную. Понимание инструкции проверяется с помощью контрольных вопросов: «Что является Вашей задачей в эксперименте? Как нужно нажимать кнопки? Какие нажатия правильные?». При затруд-

нении в ответах на эти вопросы инструкция повторяется. После правильных ответов на вопросы испытуемому предъявляется одна или две начальные цепочки программы и их прохождение сопровождается

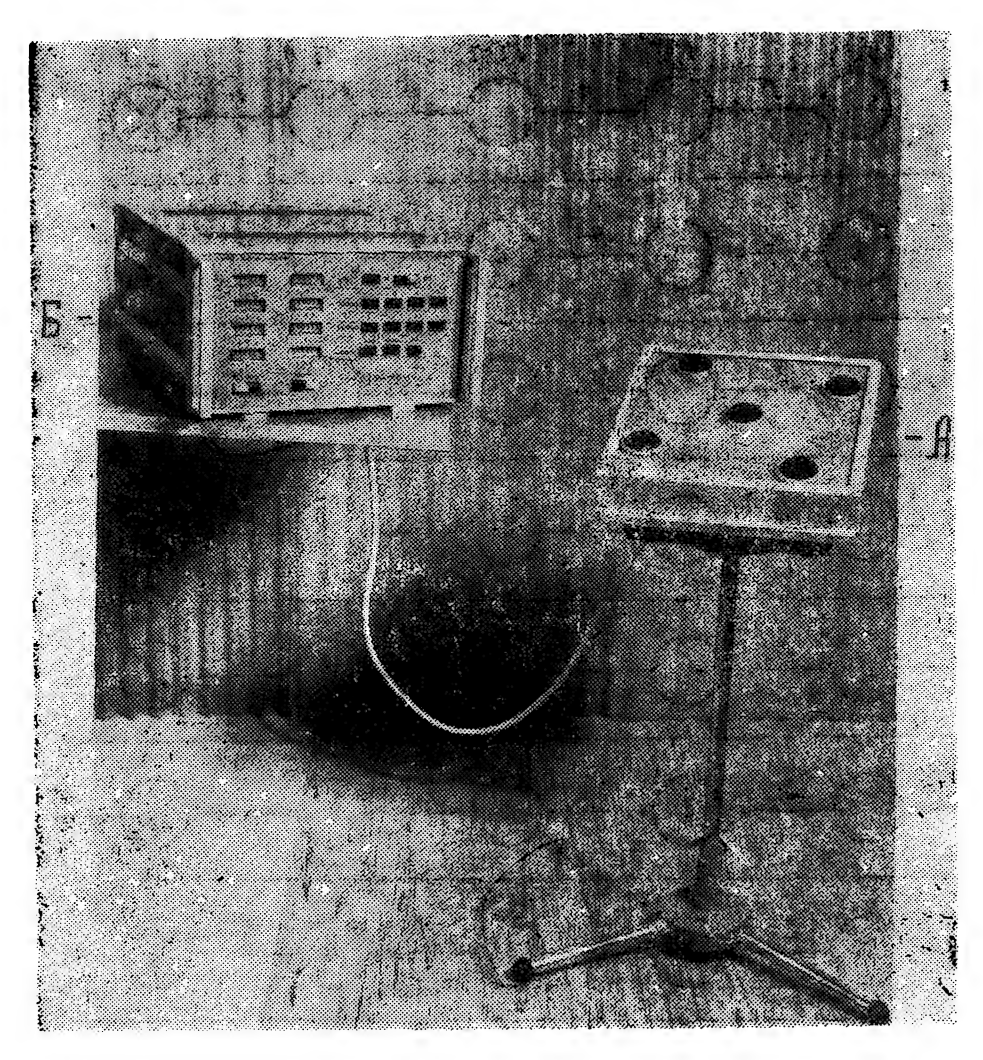


Рис. 1. Прибор «Адаптрон».
А — пульт испытуемого; Б — пульт экспериментатора

дополнительными пояснениями пунктов инструкции. После того, как экспериментатор убеждается, что испытуемый активно воспринял инструкцию, включается программа эксперимента.

Программа задается с помощью логического блока, входящего в «Адаптрон». В описываемых исследованиях использованы две программы П-1 и П-2. Структура программ поясняется с помощью рис. 2. На этом рисунке показаны 8 цепочек программы П-2.

Кружки обозначают световые сигналы ситуаций S_4, S_3, S_2, S_1. Цифры у стрелок — номера кнопок, которые включают следующий сигнал. При нажатии других кнопок цвета не переключаются. Во

всех цепочках программ последовательность цветов сохраняется постоянной.

На рис. 2 видно, что правильные кнопки меняются от цепочки к це-

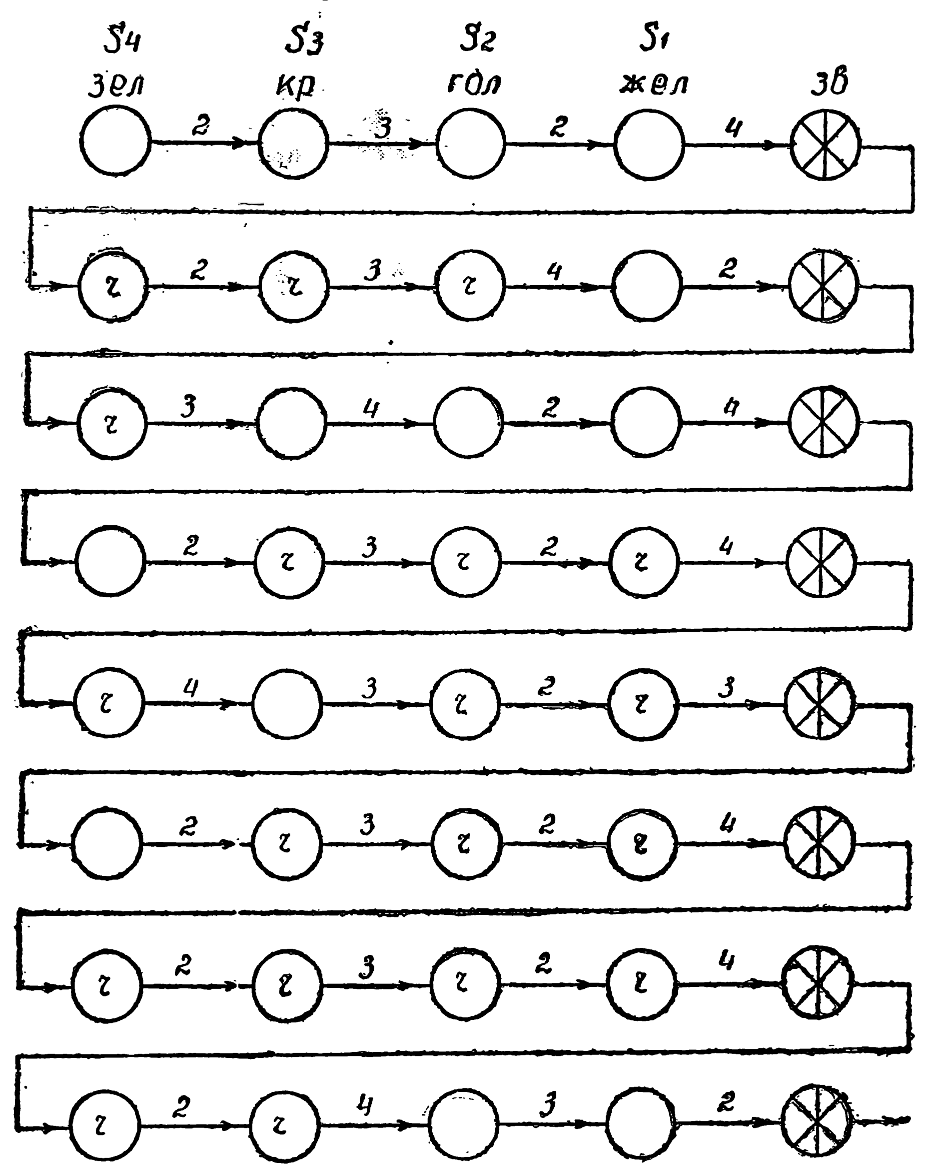


Рис. 2. Схема первого периода программы П-2. Кружочками обозначены зеленый (зел.), красный (кр.), голубой (гол.) и желтый (жел.) синалы ситуаций S_4, S_3, S_2, S_1 и сигнал звезда (зв.). Цифры у стрелок обозначают номера кнопок, при нажатии которых происходит переход к следующему сигналу. Буквой z обозначены ситуации, при которых в каждом из периодов происходит суммирование случаев выбора правильных кнопок для подсчета показателя усвоения программы R

почке. При этом в каждой из ситуаций одна из кнопок встречается чаще других: в S_4 — вторая, в S_3 — третья, в S_2 — вторая и в S_1 — четвертая. Восемь цепочек образуют период программы. После первого

периода автоматически включается второй период, затем третий и четвертый. В цепочках каждого из периодов происходит замена всех правильных кнопок в соответствии с табл. 1. Четыре периода составляют цикл. В программе П-2 испытуемым предъявлялись два одинаковых цикла.

Таблица 1

Смена действий в периодах программы П-2 в ситуациях S_4, S_3, S_2, S_1

Период	Ситуация			
	S_4	S_3	S_2	S_1
1-й	2	3	2	4
2-й	3	2	3	2
3 й	2	4	2	1
4-й	1	2	1	3

Программа П-1 в описываемых исследованиях была вспомогательной и служила дополнением к инструкции. В этой программе смена периодов происходит в том случае, если испытуемый в ситуации S_1 или S_2 четыре раза подряд в последовательных цепочках выбирает правильную кнопку. Предъявляется всего два периода. Задача усвоения кнопок в ситуациях S_1 и S_2 несколько облегчена в программе П-1 по сравнению с П-2 благодаря тому, что в этих ситуациях в последовательных цепочках выбирает правильную кнопку. Предъявляется всего два периода. Задача усвоения кнопок в ситуациях S_1 и S_2 несколько облегчена в программе П-1 по сравнению с П-2 благодаря тому, что в этих ситуациях в последовательных цепочках в одном и том же периоде правильные кнопки не меняются.

Если испытуемый старается следовать инструкции, т. е. находить правильные кнопки, то он успешно заканчивает программу П-1. Кроме контроля восприятия и выполнения инструкции предъявление этой программы обеспечивает формирование специфической установки, которая характеризуется отказом от попыток решить задачу с помощью логических или мнемонических приемов запоминания и опорой на интуитивное угадывание правильных кнопок (подробнее это рассмотрено ниже).

Испытуемые и обработка данных. Исследования, проводились с учащимися специального училища — мужчинами в возрасте 18—20 лет. Две группы испытуемых А и Б включали, соответственно, 100 и 89 человек. Испытуемый работал за пультом в полуосвещенной камере. Пульт экспериментатора находился вне камеры. Всем испытуемым после успешного завершения программы П-1 через 20—30 мин. или через 1—2 дня предъявлялась программа П-2. Группа Б отличалась тем, что после завершения двух циклов программы П-2 без прерывания программы предъявлялась первая цепочка первого периода. После окончания программы испытуемые подвергались опросу для выяснения того, как они осмыслили задачу, какие связи и сочетания сигналов и кнопок могут быть воспроизведены в словесном отчете.

В группе А исследование проводилось одним экспериментатором,

который после завершения программы подходил к испытуемому и обращался к нему с просьбой «Постарайтесь вспомнить, какие кнопки и в каком порядке Вы нажимали для получения звезды». Испытуемому разрешалось показывать кнопки на пульте. При этом цветовые сигналы были отключены. Экспериментатор в журнале фиксировал номера кнопок для цепочки, которую вспомнил испытуемый. От момента окончания эксперимента до воспроизведения первой цепочки проходило от 30 сек. до 1 мин. (Выключение прибора, запись экспериментатором времени окончания эксперимента и приход его в камеру испытуемого).

Испытуемого просили вспомнить столько цепочек, сколько он мог, пока он не отвечал: «Больше не помню». После этого задавались вопросы: «Как Вы решали задачу? Было ли трудно? Было ли интересно?» — и другие с целью определить общую установку испытуемых в эксперименте.

В группе Б исследование проводилось двумя экспериментаторами. Один из них прерывал эксперимент, как уже было сказано, после прохождения двух циклов П-2 и первой цепочки первого периода. Второй экспериментатор в это время находился рядом с испытуемым и сразу же после погасания пульта обращался к испытуемому с просьбой вспомнить правильные кнопки последней цепочки. После того, как испытуемый показывал на пульте кнопки, которые по его мнению были правильные или отвечал «не помню» — опрос проводился так же, как и в группе А.

Обработка данных представляющих интерес для темы данной работы проводилась следующим образом.

1. Выбор правильных кнопок. На рис. 2 буквой ζ обозначены ситуации, при которых в каждом из периодов суммировались случаи выбора правильных кнопок, т. е. тех кнопок, которые в соответствующем периоде наиболее часто являются правильными для ситуаций S_4, S_3, S_2, S_1. При этом учитывался только первый выбор кнопки после включения сигнала ситуации. Получаемый в результате показатель обозначается буквой R. Показатель R подсчитывали для каждого испытуемого. Значение этого показателя R_c может также быть подсчитано, если принять, что выбор кнопок в каждой ситуации случаен за исключением той кнопки, с помощью которой произошел переход в ситуацию. Сравнение получаемых в экспериментах значений показателя R со значением R_c — для случайного выбора кнопок, позволяет оценить для каждого испытуемого усвоение правильных кнопок, выражающееся в фактическом их выборе.

2. Средний по группам выбор кнопок для каждой из ситуаций. Процент выбора правильных кнопок для ситуаций второй цепочки периода характеризует их усвоение после однократного предъявления цепочки (поскольку при переключении периода правильные кнопки меняются). Полученное таким образом превышение выбора правильных действий над случайным во второй цепочке четвертого периода для группы А и первого периода для группы Б использовано для сравнения со словесным воспроизведением (см. ниже).

3. Обработка данных, полученных путем опроса. Ответы испытуемых на первый вопрос после завершения программы П-2 подвергались количественному анализу. Для этого проводилось сопоставление цепочек, которые испытуемые вспоминали. с цепочками программы каждого из периодов, и отмечались случаи их совпадения. Учитывалось совпадение с первой цепочкой каждого из периодов, где, как видно из рис. 2, представлены кнопки, выбор которых определяет показатель

усвоения программы R. Подсчитывались совпадения одной, двух, трех и четырех кнопок с правильными кнопками для одного и того же периода. Случаи совпадения обозначались цифрой, соответствующей периоду на месте совпадения и точкой в том месте, где стоит несовпадающая кнопка. Так, например, 1111 (в табл. 2) обозначает полное совпадение цепочки, которую вспомнил испытуемый, с первой цепочкой первого периода, ..22 обозначает, что испытуемый вспомнил цепочку, в которой кнопки для ситуаций S_2 и S_1 соответствовали правильным кнопкам второго периода, а для ситуаций S_4 и S_3 совпадения с правильными кнопками второго периода не было. Для таких же сочетаний совпадающих кнопок было подсчитано число случаев, которое могло бы получиться при случайном угадывании правильных кнопок.

Результаты

На рис. 3 показаны распределения значений показателя R, характеризующего усвоение правильных кнопок для группы А — сплошной линией и для группы Б — пунктиром. На этом же рисунке приведено

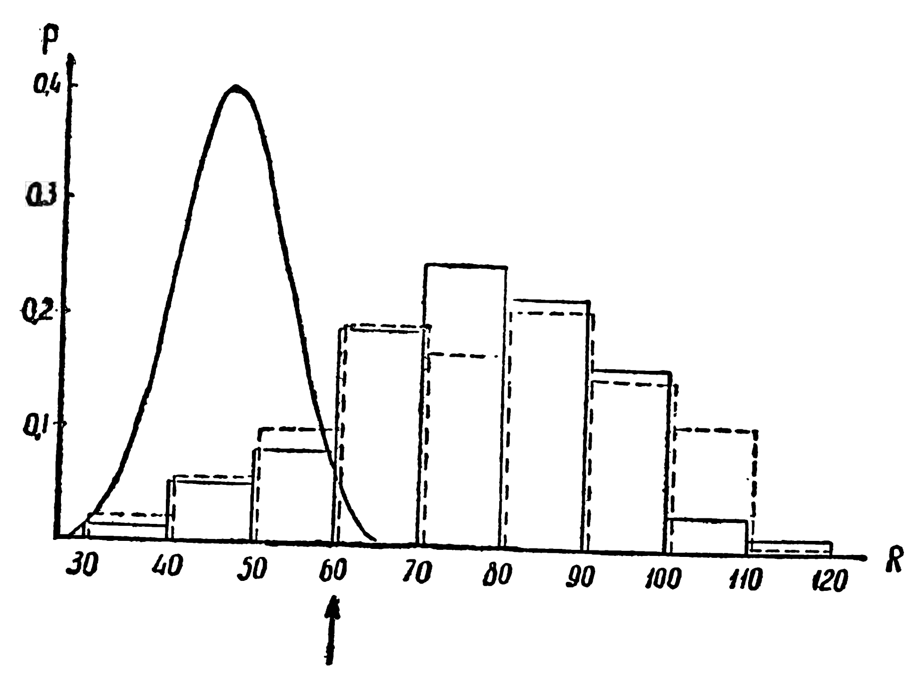


Рис. 3. Гистограммы распределения показателя R: сплошная линия — для группы А: пунктир — для группы Б. Непрерывной линией показано теоретическое распределение R_c посчитанное в предположении, что выбор кнопок случаен. Стрелкой показано значение R_c, превышающее среднее на 2σ

распределение для R_c — значений показателя R, полученное в предположении случайного выбора кнопок. Стрелкой показано значение R_c отклоняющееся от среднего на 2σ. На рис. 3 видно, что для каждой из групп А и Б около 85% значений показателя R превышает среднее значение R_c более, чем на два среднеквадратических отклонения. Таким образом, выбор правильных кнопок заведомо ($p<0{,}025$) превышает случайный более чем у 85% испытуемых.

В таблице 2 приведены данные, полученные в результате подсчета числа воспроизведенных в отчетах цепочек, совпадающих с правильными цепочками программы. При этом, чтобы не загромождать таблицу, приводятся для каждой из групп проценты воспроизведенных сочетаний только в таких случаях, когда имелось словесное воспроизведение правильных кнопок, значимо превышающее случайное. Уровни значимости обозначены: одна звездочка — $p<0{,}05$, две звездочки — $p<0{,}025$ и три звездочки $p<0{,}005$. Отсутствие в таблице каких-то строк (например, I...; II.) означает, что ни в группе А, ни в группе Б число соответствующих сочетаний, совпадающих с программой кнопок, не превышало случайное.

В обеих группах число цепочек, вспоминаемых испытуемыми, редко превышало три. Поэтому в таблице 2 приведены данные только для первых 3-х записанных экспериментатором цепочек.

Таблица 2

Процент воспроизведенных сочетаний правильных действий после окончания программы для групп А и Б в 1-й, 2-й, 3-й вспоминаемых цепочек

Сочетания	Группа А, вспоминаемая цепочка			Группа Б, вспоминаемая цепочка		
	1-я	2-я	3-я	1-я	2-я	3-я
1 1 1 1	3	0	1	18***	3	6***
2 2 2 2	2	2	8***	1	4*	1
3 3 3 3	3	2	5**	1	3	4*
4 4 4 4	15***	4*	5**	4*	12***	6***
1 1 1 .	4	6	2	15**	0	8
1 1 . .	12*	8	8	16**	12*	13*
3 3 . .	6	8	11	10	24***	16**
4 4 . .	14**	7	11	7	17***	7

Из таблицы 2 видно, что в группе А 15% испытуемых вспоминают целиком правильную цепочку четвертого периода. Небольшое отличие от случайного имеется также для сочетаний первых двух кнопок. В группе Б 18% испытуемых в первой называемой цепочке вспоминают правильную цепочку первого периода. Во второй называемой цепочке 12% испытуемых вспоминают целиком цепочку четвертого периода. Таким образом, из приведенных данных видно, что лишь небольшой процент испытуемых (менее 20%) вспоминает правильные цепочки четвертого периода (в группе А) и первого периода (группы Б). Небольшая добавка за счет воспроизведения первых двух сочетаний дает цифру, близкую к 30%, которая значительно меньше усвоения, определяемого реальным выбором действий (более 85%). Таким образом, если считать, что словесное воспроизведение выбора действий является отражением осознаваемых актов выбора, то из изложенного следует вывод, что более 50% случаев совершаемых испытуемыми правильных выборов ими не осознается.

Соотношение осознания и словесного воспроизведения выбора действий может быть рассмотрено более подробно. Можно поставить

следующий вопрос. Не является ли низкий уровень словесного воспроизведения правильного выбора действий результатом кратковременного неустойчивого осознания каждого из актов выбора при выполнении программы с последующим их забыванием? Такое неустойчивое осознание может быть связано, например, с кратковременной памятью [2; 7]. Испытуемый может помнить четыре правильных действия из последней пройденной цепочки и на этой основе осуществлять осознанный выбор их в следующей цепочке, после чего эти действия могут забываться. Приведенные ниже соображения и данные позволяют ответить на поставленный вопрос отрицательно и утверждать, что в условиях выполнения программы П-2 такое кратковременное осознание каждого из актов выбора правильного действия практически отсутствует.

Первое соображение вытекает из сравнения данных о словесном воспроизведении выбора действий для групп А и Б. В группе А от окончания эксперимента до ответов испытуемого на вопрос о том, какие цепочки действий он помнит, проходит от 30 сек. до одной—двух минут. В группе Б последнюю цепочку программы испытуемые воспроизводили сразу же после ее прохождения. Если бы при выполнении программы кратковременная память играла заметную роль, то в группе Б уровень словесного воспроизведения был бы выше. Оказалось, что воспроизведение в группе Б только что пройденной цепочки не отличается от воспроизведения цепочки четвертого периода в группе А (18% и 15% — различие незначимо).

Второе соображение связано с анализом общей установки испытуемого в условиях выполнения программ П-1 и П-2 [4]. При подробном опросе о методе решения задачи многие испытуемые отвечают, что сначала в первой программе П-1 пытались найти систему или запомнить все комбинации, потом, однако, начинали действовать «интуитивно». Испытуемые говорят, что правильные кнопки иногда удавалось угадывать. Интересные данные получены в специально проведенных экспериментах с сотрудниками лаборатории. Эти испытуемые, в числе которых был автор, знали структуру программы. Тем не менее без специального мысленного усилия, приводящего к чрезвычайно замедленному выбору действий по сравнению с обычно наблюдаемым, использовать эти знания не удавалось. При выполнении программы без применения таких усилий субъективная оценка числа выборов правильных действий была значительно ниже фактического их выбора. Испытуемые оценивали свое поведение как почти случайное и были, как правило, удивлены, когда им демонстрировали фактически полученный результат.

Третье соображение в пользу несущественной роли кратковременного осознания в выборе правильных действий вытекает из сопоставления успешности их усвоения с объемом словесного воспроизведения. В каждой из групп А и Б было отобрано по 10 испытуемых, которые воспроизвели максимальное число правильных цепочек. В отобранных группах каждый из испытуемых вспомнил правильные цепочки не менее, чем для двух периодов. Оказалось, что эти испытуемые попадают, как правило, в центр распределения по показателю успешности усвоения действий R (значение R для этих испытуемых близко к среднему для всей группы). Из этого следует, что у тех немногих испытуемых, которые в состоянии воспроизвести более одной цепочки, осознанное запоминание не способствует наилучшему усвоению правильных действий.

Дополнительные данные, приводящие к такому же выводу, были получены ранее [3]. Было отмечено, что довольно часто при выборе действий возникают пробные движения руки, предваряющие нажатие кнопки. Специальный анализ показал, что, как правило, именно первое движение чаще бывает правильным. Испытуемый ведет руку к правильной кнопке, однако, иногда задумывается, совершает ряд движений, как бы проигрывая будущую цепочку действий, и после этого часто ошибается.

Можно отметить еще одну деталь в полученных данных. Коэффициент корреляции между показателем R и средним временем выбора действия τ оказался равен 0,106. Отличие этой величины от 0 незначимо ($P>0,10$). Отсутствие связи между R и τ отражается также в том, что среднее значение τ для всей группы испытуемых и для 10 испытуемых, отобранных по максимальному значению показателя R ($R \geqslant 100$) почти совпадают и равны, соответственно 1,8 сек. и 1,82 сек. В то же время для группы, отличающейся максимальным воспроизведением правильных цепочек, среднее время выбора действия получилось равным 2,04 сек., что значимо превышает среднее для всей группы испытуемых ($p<0,05$). Приведенные цифры говорят о том, что испытуемые, которые лучше помнят цепочки программы, отличаются более медленным темпом нажатий, что, очевидно, объясняется большей тенденцией к осмысленному выбору действий. В то же время, испытуемые, которые действительно лучше усваивают правильные действия, не отличаются по времени выбора действий от всей группы.

Ряд дополнительных данных, также подтверждающих неосознанный характер выбора действий в программе П-2, был получен ранее и касался динамики процесса осознания образовавшихся связей [3; 5]. В экспериментах, проведенных с регистрацией вегетативных компонент ориентировочной реакции испытуемым после того, как они в ситуации S_1 или S_2 начинали нажимать правильную кнопку, предъявлялось от четырех до восьми одинаковых цепочек. Затем в соответствующей ситуации сигнал, который должен был следовать после нажатия правильной кнопки, подменялся на начальный сигнал цепочки. Оказалось, что при такой подмене ориентировочная реакция, проявляющаяся в дыхании и задержке выбора следующего действия, возникает только в случае, если подмене предшествовало не менее четырех выборов правильной кнопки, следующих друг за другом подряд. Полученный результат легко объясняется, если предположить, что ориентировочная реакция возникала, когда подмена ожидаемого результата осознавалась. Таким образом, для осознанного ожидания результата требовалось до 4-х безошибочных выборов, осуществляемых без осознания. В тех же исследованиях было обнаружено, что довольно часто при 3-м или 4-м выборе правильного действия наблюдается возрастание времени его выбора в 2—3 раза по сравнению с временами предыдущих и последующих выборов. Естественно предположить, что такое возрастание времени выбора действия является как раз отражением перехода от неосознанного выбора к его осознанию.

При разработке программы П-2, специально направленной на снижение уровня осознанного запоминания [4; 5], приведенные данные были учтены и, как видно из рис. 2, одинаковые цепочки не повторяются больше двух раз. Смена хотя бы одного действия в цепочке затрудняет осознанное запоминание, т. к. осознаются в основном целые цепочки действий (см. табл. 2, а также обсуждение этого вопроса, при-

веденное ниже). Таким образом, данные о динамике осознания усвоенных связей также свидетельствуют в пользу того, что низкий уровень словесного воспроизведения выбора правильных действий действительно отражает его неосознанный характер.

К такому же выводу приводит рассмотрение характера осознаваемых элементов деятельности при выполнении программы. Уже обращалось внимание на данные табл. 2, откуда видно, что от случайного отличается воспроизведение, главным образом, целых цепочек. Этот

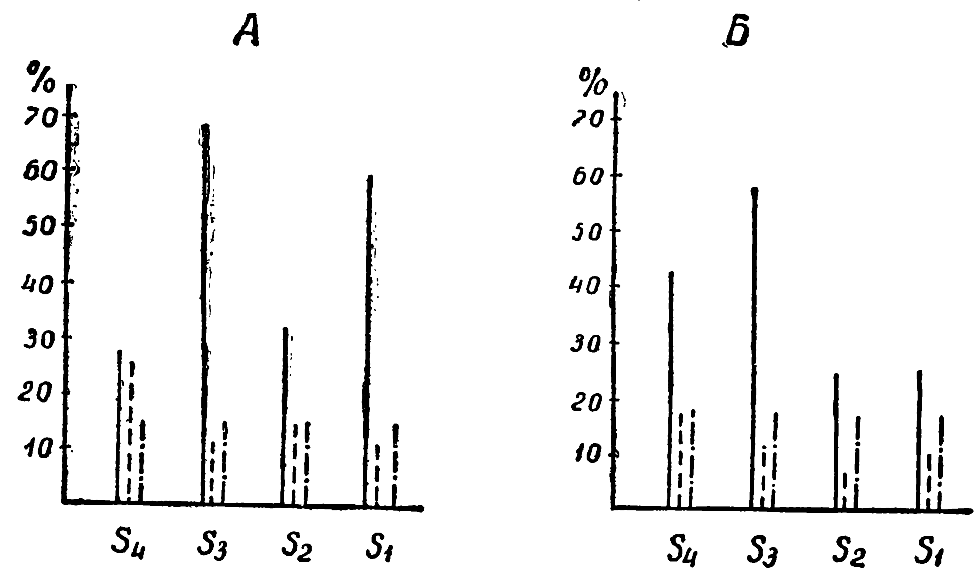


Рис. 4. Превышение над случайным фактического выбора правильных кнопок (сплошная линия), числа правильных кнопок, воспроизведенных в первой вспоминаемой после окончания программы цепочке (пунктир) и числа полных воспроизведенных цепочек (штрих-пунктир). Для каждой из ситуаций S_4, S_3, S_2, S_1 по оси ординат отложены проценты: А — для четвертого периода группы А, Б — для первого периода группы Б

факт также наглядно иллюстрирует рис. 4. На рис. 4 изображены данные, показывающие превышение над случайным реального выбора действий (сплошные столбики) во вторых цепочках 4-го периода (группа А) и 1-го периода (группа Б). Для сравнения показано превышение над случайным полного числа кнопок (пунктир), воспроизведенных в первой из названных цепочек, соответственно для групп А и Б, и те же числа, подсчитанные только с учетом воспроизведенных целых цепочек (штрих-пунктир). Первое, что видно из рис. 4 — это значительное превышение числа усвоенных действий в каждой из ситуаций S_4, S_3, S_2, S_1 над их словесным воспроизведением. Поскольку для сравнения взяты цифры, полученные для 1-го цикла программы, то фактический реальный выбор в 3-м цикле (т. е. в то же время, что и воспроизведение) мог бы быть только выше. Второй момент, имеющий значение для рассматриваемого вопроса, заключается в практическом совпадении пунктирных и штрих-пунктирных столбиков. Из этого следует, что в воспроизводимых ответах значимое отличие от случайного исчерпывается воспроизведением целых цепочек.

Этот факт можно сопоставить с некоторыми высказываниями, фигурирующими в отчетах испытуемых, о том, как они решали задачу.

Довольно часто испытуемые говорят, что выбирали кнопки, используя треугольники, что треугольники вращались, что правильные кнопки расположены по кресту и т. д. В процессе выполнения программы осознанные мысленные условия затрачивались на поиск каких-то укрупненных образов. Существенно, что подробный анализ выбора действий не обнаружил реального соответствия выбора действий каким-либо укрупненным образам — треугольникам, крестам или другим геометрическим фигурам [3].

Таким образом, можно полагать, что в условиях выполнения программы П-2 существует определенная диссоциация между реальным выбором действий и осознанием этих действий. В то время, как реальный выбор, гибко следуя за изменениями в программе, осуществляется с опорой на образующиеся неосознаваемые связи, сознательная деятельность испытуемого направлена на оправдывающее этот выбор конструирование целостных, чаще всего геометрических, образов. Попытки выполнения действий согласно этим образам приводят почти всегда к неудачам, так как программа все время изменяется. Поэтому в реальном выборе испытуемые, как они сами говорят, опираются на интуицию, т. е. выбор действий в каждой из ситуаций происходит неосознанно.

STUDY OF CONSCIOUS AND UNCONSCIOUS ACTS IN LEARNING SENSOMOTOR PROGRAMS

E. A. UMRYUKHIN

The All-Union Research Institute of Medical Instrument Making, Moscow

Summary

In learning sensomotor programs under conditions of stochastically and periodically changing pairs of acts and cues experimental proof of the presence of unconsciously occurring complex mental activity (program learning and choice of correct acts) has been obtained.

An analysis of the S's activity points to a dissociation between the real choice of acts and their awareness. The real choice of acts — flexibly following the changes in the program — rests on relations formed unconsciously, while the S's conscious activity is focused on the designing of integral — mainly geometric — patterns justifying this choice.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., РОЖНОВ В. Е., О современном подходе к проблеме неосознаваемой психической деятельности (бессознательного). Вопросы философии, 1975. № 10, стр. 94 — 108.
2. ЛОМОВ Б. Ф., Человек и техника, М., 1966.
3. УМРЮХИН Е. А., Опыт построения технической модели механизма предвидения в работе мозга. Кандидатская диссертация, М., 1966.
4. УМРЮХИН Е. А., Характеристики процесса обучения как средство оценки состояния ЦНС. Новости медицинского приборостроения, М., 1972, вып. 2.

5. УМРЮХИН Е. А., АЛЕКСЕЕВА И. Н. Определение характеристики ЦНС с помощью испытательных программ, реализуемых на ЭВМ. Новости медицинского приборостроения, М., 1970, вып. 3.

6. Экспонаты СССР. Международная выставка. Здравоохранение, медицинская техника и лекарственные препараты. М., 1974, стр. 99.

7. ATKINSON, R. C., BRELSFORD, J. W., SHIFFRIN, R. M., Multiprocess models for memory with applications to a continuous presentation task. Journal of Mathematical Psychology, v. 4, 1967, pp. 277—300.

207

THE BALINT GROUP AND UNCONSCIOUS MENTAL LIFE

BERNARD BARNETT

Child Guidance Training Centre, Tavistock Centre, London

«To write prescriptions is easy but to come to an understanding with people is hard» (Franz Kafka — 'A Country Doctor').

«The Patient is always communicating something» (Menninger and Hobsman, 1973).

«To be someone to the patient as well as the usual task of doing something to him» (Gill, C., 1976).

What is a Balint Croup?

Around 8-10 doctors come together in a weekly seminar to discuss their work. They proceed by using a method of case presentation. The group members take it in turn according to a felt need to respond to the offer of the leader, «Who has got a case?». The presenting doctor then seeks to offer *his* patient to the group by describing the consultation and interaction, perhaps giving some environmental historical facts, adding something of his own thoughts and feelings and perhaps concluding with some professional dilemma that he produces for the seminar to consider. His colleagues in the group will respond with attention and interest; they may just listen, fire questions at him or challenge and stimulate him or each other in various ways.

The leader is intent on facilitating this process. His objective is to encourage the group to work towards an understanding of the doctor-patient relationship. He might seek to do this by drawing attention to some dynamic aspect of the situation, i. e. that the seminar seems to be behaving towards the doctor as *he*, the doctor, seems previously to have behaved towards the patient. He might alternatively focus on a mood that seems to be generated in the discussion that may be reflecting an aspect of the doctor-patient situation.

Thus in the mid-fifties Michael and Enid Balint pursued their research to develop a method to increase the professional skills of general practitioners by developing their awareness to the transactions between them and their patients. In his classic book, The Doctor, His Patient and the Illness (1957), Balint outlined the pioneering discoveries of his ongoing seminar. This group clearly differed from other medical teaching situations in several significant ways. «It is the task of the group leader

to create an atmosphere in which each member (including himself) will be able to bear the brunt when it is his turn to bear it». Perhaps the unique quality sought was an atmosphere in which it was possible to achieve 'the courage of one's own stupidity'. It was also clear in these original investigations that the Balint seminar was not only a support group and a training group but also a research group. The research was into the doctor's blind spots in so far as they could be recognised in his descriptions of the relationships with his patients, (i. e. in so far as they were visible to members of the seminar).

The importance of such unconscious mental phenomena in the early researches into general practice and in the seminar process was stressed by the Balints from the beginning. Thus an early discovery was the presence of a characteristic mode or pattern of response in the doctors in the manner in which they reported their patients. A tendency was observed in which the doctors practised medicine according to their own set ideas and solutions, seemed convinced of their value for all patients and were determined to convert them to these ways of thinking. Thus one task of the seminar was to put the doctor in touch with his potentially powerful 'apostolic zeal' so that it might be applied with differential judgement rather than in a wholesale manner. Thus it was argued that since the doctor might be blind to (i. e. unconscious of) his professional stance, the seminar set out to «make him aware of his compelling apostolic function and so enable him not to practise it automatically in every case».

A significant feature of the Balint approach was its orientation on work. The group's primary work task was to investigate, elucidate and seek to understand the communications between doctor and patient. By studying these actual transactions the group was able gradually, bit by bit, to build a picture of the patient and *his* 'ailment' going beyond the traditional text-book disease towards a fuller understanding of the person, his bodily response and his problems. Thus the concept of the 'traditional diagnosis' with its emphasis on physical signs and classification was made to compete with a new kind of more complex assessment, i. e. an overall diagnosis with its overtones of conscious and unconscious meaning for the patient, doctor and family.

Training, Treatment and the Unconscious

The Balint group sets out to be a training group and not a treatment group. The method differs in important ways from psychotherapeutic procedures carried out with patient groups. Thus therapy aims at a radical change in the personality achieved by free associating to shared private thoughts and fantasies. The situation facilitates rapid transference on to the therapist who will attempt to recognise and understand deeply unconscious feelings and original love objects. In short the therapist's concern is with the patient's inner world and with this alone (Thompson and Kahn, 1970, James, 1973).

The Balint method, in marked contrast to this description, lays considerable stress on limits. Thus it aims at a 'limited change in the personal-

ity' and the leader is to proceed by limited interpretation. It stresses the public and professional as the areas of concern and excludes the private and personal areas of the doctor's life. Thus Michael Balint recommends that the leader work with 'the public overt transference and *not* with the private transference of any individual'. However, it seems clear that the rigid demarcations are less easy to draw in practice than in theory.

The problem of coming to terms with the unconscious remains a thorny way for the doctor, the group and the leader. This is implicitly recognised in the tone of Michael Balint's observations which, though stressing the need for the distinctions made, also seem to reflect a desire to maintain a flexible attitude. To those who have experienced the problems of leadership it is clear that there is considerable unconscious pressure by the doctors to convert the seminar into a therapeutic group. It is also evident that the leaders must recognise and resist this phenomenon if the contract (i. e. the joint investigation of the doctor-patient relationship) is to be maintained. (Gosling and Turquet, 1967).

It should perhaps also be emphasised that the attempt to gain a greater understanding of the unconscious in the Balint group is successful only in so far as the doctor becomes better at his job. It is a strengthening of the professional ego, achieved via such gains in insight, that is the criterion of success. (Balint, E., 1967, Bacal, H. A., 1972, Rice, A. K., 1965).

The Transference

The problem for the general practitioners of recognising and coming to terms with the unconscious may be illustrated with reference to the Analytic concept of Negative Transference. It was Ferenczi in 1909 (Michael Balint's analyst) who stressed not only that transference reactions were likely to occur outside the analytic situation but that physicians were particularly likely to be made the objects of such reactions. However, there is evidence in the Balint literature (see Balint, E. and Norell, J, 1973) that the patient's negative feelings towards the doctor (i. e. his anger, dislike, hate or contempt) may be extremely difficult for the doctor to observe, understand and tolerate. Moreover the doctor's work situation and his traditional contract would seem to work against the task of gaining the necessary insight via the group process. Nevertheless the absence of a tendency to retaliate under provocation may be important and basic qualification for the task of increasing the doctor's understanding of unconscious mental processes (Winnicott, 1971). This problem has been well illustrated by Lask (1973) in the case of a highly experienced and well trained G. P.: 'The reporting doctor might have confused the medium in which the flash occurred and the good relationship set up (i. e. the humour) as the essence of the relationship itself. He was then unable to use the hostile part of the ambivalent relationship when it began to emerge from the patient, but responded with a kind of hostility of his own, by acceding to the request for the psychiatrist. The good relationship, however, was not wholly shattered as the patient had remained on the doctor's list for three years.

The recognition of unconscious transference phenomena and the search for an adequate response to it on the part of the doctor may be of considerable economic significance in general practice. Thus if this is inadequate in the doctor, both he and the patient may be led along a false path. For example, an increased demand for care and attention by a patient may in fact be covering a latent hostile attitude. If the doctor fails to perceive this and handle it adequately with the patient, a technique requiring considerable skill, he may make an erroneous attempt to deal with the problem (i. e. by distancing him or decreasing the number or timing of his contacts with him).

The writer has been fortunate in having an opportunity to investigate the problem of transference in another setting: a Balint group organised for specialist teachers of problem children. (Barnett, 1976 B). The problems of recognition and handling for doctors may be thrown into sharper relief by the even greater difficulties of this professional group. The teacher faces serious obstacles in increasing her understanding. She is in continual contact with disturbed children whose 'bad' behaviour is a constant invitation to retaliate. Both the accepted professional response and society's expectations reinforce a retaliatory pattern of response. In the hue and cry of the classroom the essential ambivalence of unconscious mental life may be difficult to recognise and near impossible to respond to. However, it is in the cool consideration of a Balint group that a colleague may find opportunity to alert her to what seems to be happening in the transference relationship between child and teacher.

The Third Object

If the Balint approach is to be distinguished from other medical seminars and discussion groups it is in its aim to impart psychodynamic ways of thinking in doctors. In a recent paper Winkelmann (1976) has drawn attention to the significance for doctors in the Balint group to gain some (if limited) understanding of the unconscious group dynamics. For example leaders of Balint groups become familiar with the phenomenon in which the group may begin to (unconsciously) behave towards the doctor as the doctor has behaved towards the patient (i. e. by questioning, bullying, teasing etc.). Winkelmann also shows that it is by the insistence on 'the introduction and constant retention of the third object' (i. e. the patient) that the doctors may become exposed to dynamic ways of thinking and a sensitivity to the counter-transference phenomena (i. e. the way in which the doctor uses his personality, his scientific convictions, his automatic reaction patterns) in the doctor-patient relationship.

It may be claimed that the specific strengths of the Balint group approach are twofold. Firstly the use of the third object 'the patient' allows communication to occur with less anxiety than in therapy groups. Secondly, the repetitive presentation of case reports creates a situation in which the individual doctor feels accepted, understood and supported and can recognise ingrained behaviour in the mirror effect of the group.

In 'The Doctor, his Patient and the Illness' (Balint 1964) the problems of leadership are discussed in relation to the overall aim or the training method, i. e. 'the limited though considerable change in the doctor's personality'. It is implicit in Balint's writings that for the leader to achieve this aim requires the resolution of a paradox. Thus the phrase, change in personality, clearly implies some degree of 'psychotherapy' is necessary to improve the doctor's work performance (Bacal 1974), yet Balint is continuously at pains to emphasise how the contract is to be maintained, i. e. to preserve the training and avoid the treatment of the participating doctors. In an important appendix on training in the book he sets out to describe the skills necessary for the aim to be achieved.

Of primary importance for the leader is the recognition and use of unconscious mental phenomena. The study of the doctor's counter-transference is central to the method. The 'free' method of reporting is one «reminiscent of free association, permitting all sorts of subjective distortions, omissions, second thoughts». It was the leader's task to draw from the report and the group's response to it, some dynamic significance. This is achieved by his exercising his observing, accepting and examining capacities: «... the emotions emerging both in the reporter and in his audience must be accepted and evaluated as expressions of unconscious processes activated by the report».

It is by the creation of a certain kind of atmosphere that the leader encourages unlearning and relearning in the doctors (Barnett, 1976 A). It is thus by his behaviour towards the doctors that the leader creates an emotionally free (i. e. free to have 'the courage of one's own stupidity') and cohesive 'work' group. (Lakin and Costanzo, 1976). The development of such a workable cohesion is maintained by the leader's skill in recognising and handling 'crises' (e. g. a tendency for a doctor to become isolated) and in 'showing up' how the group has dealt with them.

However, while recognising the difficulties involved, Balint strongly favours the use by the leader of only minimal and limited interpretation of group dynamics, (Gill 1974). He suggests that the doctor-group leader relationship should be used sparingly to avoid transferred emotions becoming intensified and increasingly primitive. Such phenomena must be recognised and accepted but *not* interpreted frequently or in detail. Indeed it can be argued that overawareness of group dynamics might lead the group to avoid the difficulty of understanding what the patient is trying to tell the doctor and how the doctor is trying to mislead himself (Balint, E. 1976).

It is also in the provision of a model that leadership behaviour carries considerable responsibility. Balint clearly recommends that the leader should teach by example. (i. e. how to listen, how to allow people to be themselves, how to speak only when something is expected etc.) Above all, the leader must demonstrate himself to be as vulnerable to mistakes as anyone else (Main, 1973). It is by this kind of example that the participating doctor may

himself become free enough «to watch, to experience and finally to listen in the group conferences instead of being anxious about understanding the psychodynamics of his patients, he can start to listen in his practice, to transference and counter-transference phenomena between his patient and himself».

However, it is clear from Balint's writings that the main problem for the leader is in maintaining the training contract in the face of a severe 'crisis' situation in the group. (For example, a doctor's more or less withdrawal). Balint's suggestion for dealing with such situations is to 'play for time' and thus hope that the group's development will gradually come into better adjustment with that of the isolated and singled-out doctor. What is particularly noteworthy about these suggestions is, however, the tone of the discussion. There is a refreshing humility and searching quality about the observations made, and a clear recognition of the need for more research and experiment before definite conclusions on leadership behaviour can be formulated. In an interesting paper on the training-treatment dilemma Bacal (1974) has suggested that the training contract can be preserved while giving greater recognition to the treatment aspect of the group experience. This can be conceptualised as «those activities of the leader and the group which effect a shift in the doctor in the direction of enabling him to use more of himself in the service of his patient». Thus an aspect of the doctor's personal-professional functioning visible in the group and detected in the doctor-patient relationship, may be fruitfully pointed out to him in an effort to effect change. The 'treatment' aspect is thus in the doctor's functioning in the area of his professional ego (Balint, E. 1967).

By far the most detailed and extensive discussion of leadership behaviour in the Balint-type group is to be found in the monograph by Gosling et al. (1967). In their discussion of G. P. groups, Gosling and Turquet have sought to utilise the important contributions of Bion (1961) on unconscious phenomena in groups. He has vividly described the tendencies present in groups to satisfy unrecognised emotional needs. He defines a basic assumption group as one intent on avoiding the work task and engaged in activities such as dependency on the leader, fight/flight and pairing. They suggest that the leader requires an expertise in group dynamic phenomena, especially how Bion's basic assumption processes manifest themselves and how constructive use may be made of them. The leader needs to be a person who 'will further work and who will not let it (the group) get bogged down in a way of life that affords immediate gratifications and easement of tensions but pursues goals that are illusory'. Gosling and Turquet discuss numerous aspects of the leader's role including his boundary function, (i. e. the self and the other, the G.P.'s work situation), his initiation of predictions, his 'model' making, his teaching task and his listening task. However, it is in their account of handling unconscious mental processes that the authors, at least to some extent, go beyond Michael Balint's position described above. «In general our aim is to concentrate on what happens to be the perturbation or conflict that is most active in the seminar at the time and to l a y i t b a r e s o f a r a s i t i s r e l e v a n t t o t h e w o r k o f t h e s e m i n a r, i. e., to

the immediate task of training». The authors point to the possibility of a range of acceptable leadership behaviours within the boundaries of a) unblocking the work task by pointing out the doctor's behaviour in the 'here and now' of the group, and b) illuminating the relevance of the behaviour for understanding the doctor-patient relationship. In their descriptions what differs among the leaders is the emphasis given to active rather than passive intervention.

In a carefully detailed and well reasoned discussion, Gosling and Turquet consider the question of how far a clear recognition of dependency basic assumption phenomena may be used in the 'here and now' of the seminar. The leader may thus 1) communicate his insight of the bid for dependency in the hope of reviving the work of the group, and 2) use the authority given him to lead the group back to look again at the case and thus avoid gratifying the dependency wishes by giving a lecture. In discussing the question of parallels between a difficulty in the seminar and a difficulty in the doctor-patient relationship they consider the merits and defects of interpretive comment by the leader. Thus when wrongly identifying such parallel phenomena (see also Abse, 1974) there is the danger of the leader encouraging the seminar to make false connections and creating useless confusion.

However, the leader's task remains an unenviable one even when he notes the dependency behaviour but sees no connection with the patient. If, for example, he gives up the case and asks for another he may inadvertently be demonstrating the opposite of what he aims to teach, i. e. how to avoid difficulties by turning away from them. If on the other hand he dives in and discusses the difficulty directly with the seminar he may be responding unknowingly to a subtle invitation to lead a flight (i. e. treatment) group. Thus in considering the tight-rope of dilemmas that leaders must walk, Gosling and Turquet conclude thus: «He (the leader) must decide whether the basic assumption group is being used in a sophisticated way or not. Criteria for deciding this issue are not at all clear, but the leader's role nevertheless requires him to decide it and to assess his decision in the light of its consequences for the group and the primary task. In the face of this dilemma it is not uncommon for him to abdicate, to attempt to get the group to rescue him, unconsciously to invite them to force a decision blindly on the group that in tact he had an opportunity of taking. It may be that at such a juncture his best alternative is to interpret to the group what he sees and understands of the existing situation».

The move from a Balint type approach towards group training methods and techniques based on Bion's work is also exemplified by Elizabeth Richardson's experiments with another professional group, i. e. teachers (see Richardson, 1963, 1967). It seems clear from her account of training methods that interpretative work of unconscious phenomena in the 'here and now' may have powerful effects on the group learning process. In this work, however, what appears to be neglected is the significance of the practitioner-client relationship. It is also unclear how far Richardson's findings may be the result of the trainee status of the student teachers with whom she worked. In the writer's

experience a *Balint* group with seasoned teachers has suggested exciting shifts in growth and insight in the teachers with regard to the teacher-child relationships (Barnett, 1976 B).

Conclusion

This paper has attempted to describe the nature of the Balint Group. It has pointed out various manifestations of unconscious mental phenomena in the group process and the problems therein posed for the participants and the leadership. It has attempted to demonstrate that following Michael and Enid Balint's and their associates' pioneering researches over 25 years, the experiments with small group training of doctors and others remains an exciting and productive field of inquiry. A significant area of concern remains that of leadership behaviour. The problem has by no means yet been solved of whether group dynamics should be interpreted in a Balint-type group and, if so, how much this should be part of the activities of the group. How far can unconscious mental processes be utilized without turning the group into a psychotherapy or encounter experience for the doctors? Problems like these are likely to engage the attention of Balint enthusiasts for several years to come.

Summary

The nature and function of a 'Balint Group' is described and its relationship to unconscious mental processes is explored.

A group of this kind has *training* and *treatment* aspects in relation to doctors but it is fundamentally concerned with *research* into the doctor-patient relationship. The method is one of case presentation by a doctor to colleagues in the group. Gradually a detailed picture of the transactions between doctor and patient is built up. The group listens and attempts to alert the doctor to his blind spots with the patient. In this way, over time, he gradually develops his personal skills in the consulting room.

The leader in his behaviour towards the group acts as a model for the doctor. However, leadership of such a group faces formidable problems. A major issue is the extent to which unconscious group dynamics are both recognized and actively utilized. Various approaches are described but a fundamental aim is shared, i.e. the leader seeks to facilitate the *work* of investigating the doctor-patient relationship.

REFERENCES

ABSE, D. W., 1974, *Group-analytic Psychotherapy*, John Wright, Bristol.

BACAL, H. A., 1972, «Balint Groups, Training or Treatment», Psychiatry in Medicine, 3, (4) 373—377.

BACAL, H. A., 1974, «The Treatment Aspect of Balint Training», J. Balint Soc. 4—6 Spec. Edit. Congress, Brussels 1974, 241—250.

BALINT, E., 1967, «Training as an Impetus to Ego Development», The Psychoanalytic Forum 2, 1. Spring 55—62.

BALINT, E. and NORELL, J. S., 1973, Edit. Six Minutes for Patient, London, Tavistock.

BALINT, E., 1976, Personal Communication.

BALINT, M. and BALINT, E., 1961, Psychotherapeutic Techniques in Medicine, Tavistock Publications, London.

BALINT, M., 1957, The Doctor, his Patient and the Illness, London, Pitman Medical Publishing Co.

BALINT, M., 1964, The Doctor, his Patient and the Illness, second ed. Pitman Paperbacks..

BARNETT, B. R., 1975, «There was an old lady who lived in a shoe... The Balint type group and its application to the work of tutorial class teachers», unpublished paper.

BARNETT, B. R. 1976 (A) «Learning, Unlearning and Relearning: some preliminary observations on Balint Groups with doctors and teachers», paper read to 3rd Int. Balint Congress, Paris, May 1976.

BARNETT, B. R., 1976 (B), «Learning, training and freedom to feel», Paper read to Standing Conference for Advancement of Counselling, Seminar, Rugby, July, 1976.

BION, W. R. 1961, Experiences in Groups, Tavistock Publications.

FERENCZI, S., 1909, «Introjection and Transference», Sex in Psychoanalysis, New York: Basic Books, 1950.

GILL, C., 1974, «Balint Training since the Tuesday Group», J. Balint Soc. 4—6, Spec. Edit. Congress, Brussels, 1974.

GILL, C., 1976. «Observations on Changes Induced by Balint Training in the Doctor», paper read to 3rd Int. Balint Congress, Paris, May 1976.

GOSLING, R. and TURQUET, R. M., 1967, «The Training of General Practitioners», in The Use of Small Groups in Training, Codicate Press. Herts.

GOSLING, R., 1975, «Internalisation of the Trainer's Behaviour in Professional Training», paper read to the psychotherapy section of the Royal College of Psychiatrists, March.

HAHN, A., 1970, «Limited Therapy as Secondary Task», unpublished paper.

JAMES, L., 1973, «Some Differences between Psychotherapy and Counselling», J. Assoc. of Workers for Malad. Children. I, 2, 20—25

LAKIN, M. and COSTANZO, P., 1976, «The Leader and the Experiential Group» in Theories of the Group Process, Edit. Cooper.

LASK, A., 1973, «Follow-Ups in Six Minutes for the Patient, 105—141.

MAIN, T., 1973, «Knowledge, Learning and Freedom from Thought», Scientific Bulletin Brit. Psychoanal. Soc. No 65.

MENNINGER, K. A., and HOLZMAN, P., 1973, Theory of Psychoanalytic Technique, second edit. New York: Basic Books.

RICE, A. K., 1965, «Training or Therapy», in Learning for Leadership, Tavistock Publications.

RICHARDSON, E., 1963, «Teacher-pupil relationships as explored and rehearsed in an experimental tutorial group», The New Era, 44, parts 1 and 2.

RICHARDSON, E., 1967 Group Study for Teachers, London, Routledge and Kegan Paul.

TAVOULARIS, M., and COPPOLA, R, 1974, «Reflections on recent experiences with applying the Balint Seminar method with different groups», J. Balint Soc. Spec. Edit. Congress, Brussels, 1974.

THOMPSON, S. and KAHN, J. H. 1970, The Group Process as a Helping Technique, Oxford, Pergamon Press.

WINKELMANN, F., 1976, «The technique of the third object or the distinction between Balint groups and Psychoanalytic group therapy», paper read to 3rd Int. Balint Congress, Paris, May 1976.

WINNICOTT, D., 1971, Therapeutic Consultations in Child Psychiatry, London, Hogarth Press.

VOLKAN, V.D. and HAWKINS, D.R., 1972, «The Learning Group», Amer. J. Psychiatry 28.

208

FORMATION PSYCHOLOGIQUE DES MEDECINS. MODIFICATION DE LEUR PERSONNALITE PAR LEUR PARTICIPATION AUX GROUPES BALINT

V. GACHKEL

Université de Paris, France

Il me paraît nécessaire pour comprendre les problèmes abordés dans cette communication, destinée essentiellement à un public de médecins peu au courant des données pratiques et théoriques auxquelles se réfère ce travail, de décrire brièvement les conditions concrètes dans lesquelles se deroule la formation des médecins généralistes désireux d'acquérir une formation psychologique pratique.

Le but de cette formation est de leur permettre d'aborder leur métier en tenant compte des réactions affectives de leurs patients aussi bien que de leur propre comportement.

La méthode de formation a été élaborée par le Dr Balint, médecin psychanalyste anglais d'origine hongroise. C'est le nom de Balint qui est resté attaché à cette méthode.

Des groupes de médecins, n'excédant pas 10 à 12 participants, se réunissent régulièrement 2 fois par mois en présence d'un psychanalyste généralement médecin lui-même et qui fait fonction de leader du groupe. Les séances durent de 1h 1/2 à 2 heures.

Au cours de ces réunions sont discutées des observations rapportées par les participants, observations ayant trait à des patients examinés ou soignés dans les jours ayant précédé la réunion.

Chaque observation est l'objet d'une discussion le plus souvent très vive du groupe qui interroge, critique ou approuve le praticien qui a rapporté le cas. Le comportement du médecin tel que lui même l'a relaté est soumis à une investigation minutieuse. Cependant on essaye dans la mesure du possible de ne jamais mettre en cause la personnalité du médecin, le médecin en tant qu'individu. Seule est prise en considération sa manière d'être, de réagir dans les circonstances bien déterminées et bien circonscrites de l'acte professionnel.

Les questions posèes sont du type:

— Pourquoi avez-vous dit telle chose à votre patient?

— Pourquoi avez-vous fait tel geste?

— Pourquoi avez-vous pris telle décision? etc, etc.

Le rôle du leader, bien qu'en apparence effacé (la discussion se passe essentiellement entre les membres du groupe est en réalité d'une importance capitale. C'est le leader qui veille au bon fonctionnement du groupe. Il essaye d'éviter ou plutôt de désamorcer les tensions trop importantes, le plus souvent agressives. Dans les conditions où fonctionne un tel groupe de telles réactions ont facilement tendance à s'exprimer et risquent à tout moment de le faire éclater. Le leader doit pouvoir sortir également la discussion de l'enlisement où elle s'engage parfois.

Cet enlisement traduit bien souvent l'appréhension que les participants éprouvent devant certaines situations. Il peut aussi être le signe d'un état de crise dans le groupe. Cet enlisement se manifeste par exemple, et cela arrive fréquemment, par des discussions stériles sur des thèmes qui sont très différents de ceux qui sont par définition l'objet du débat. La discussion s'engage sur les aspects théoriques ou éthiques des situations évoquées ou bien encore se seront des problèmes purement techniques, thérapeutiques ou pharmacologiques qui seront mis en avant. Le malaise souvent ressenti comme «ennui» au cours des séances où se produisent de tels phénomènes attire l'attention du leader et peut lui permettre d'aplanir les difficultés.

Il est bien entendu, du fait même du but poursuivi, qu'une attitude didactique du leader est formellement déconseillée. Dans la mesure du possible le leader devra éviter de faire état de son savoir, de ses opinions personnelles, de ses options morales ou intellectuelles.

Un psychanalyste ayant la possibilité d'accepter une attitude neutre et qui par sa formation a acquis une familiarité avec le monde de l'inconscient, paraît être le plus apte à pouvoir prendre en charge de tels groupes.

Dans ces conditions la situation crée sera rendue «aseptique» au maximum ce qui n'évitera pas, malgré tout, que le leader sera pris comme modèle de référence dans le comportement individuel des participants, ce qui l'amène à être soit l'objet d'une identification, soit une cible à l'agressivité des participants.

Théoriquement le but recherché est de faire prendre conscience au médecin de l'importance que joue dans l'acte médical sa propre personnalité et de quelle manière et à quelles doses, selon Balint, sera administrée la drogue «médecin».

Comme nous l'avons dit on essaie autant qu'il est possible de ne pas mettre le médecin en face de ses problèmes personnels d'une manière directe. Il est pourtant évident que cette confrontation du sujet avec ses expériences intimes est inévitable et souhaitée. Il est entendu cependant, par un consensus général non exprimé d'une manière formelle. que le médecin en prise avec ses problèmes ne les explicitera pas et gardera pour soi ce qu'il a ressenti. Parfois il en fera part au groupe d'une manière voilée, plus rarement d'une manière directe. Mais à aucun moment cette confidence ne sera l'objet d'une discussion.

Deux exemples pourront illustrer ce que nous venons de dire:

Un jeune médecin installé depuis peu raconte au groupe deux expériences jumelles qu'il venait d'avoir et qui avaient provoqué chez lui un sentiment de perplexité. Il avait été appelé à quelques jours d'intervalle dans deux familles et chacune lui avait montré un enfant qui ne présentait que des symptômes sans gravité, mais dont la mère manifestait une anxiété sans aucun rapport avec la réalité.

Dans les deux cas il s'agissait d'une première prise de contact, le médecin ne connaissait pas ces patients auparavant.

Dans un des cas le médecin avait pu rassurer la mère et était devenu le médecin de la famille, dans l'autre cas il avait échoué et n'avait plus revu ni la mère ni l'enfant.

Dans les deux cas le médecin avait refusé des médications qu'il jugeait inutiles (la prescription de fortifiants réclamée par les parents) et était parti sans laisser d'ordonnance.

La discussion engagée autour de ce récit avait fait apparaître un certain nombre de caractéristiques propres à chacune des familles et en particulier une image des deux mères très différentes l'une de l'autre dans leur comportement vis à vis de leur enfant.

L'une des mères est apparue comme une personne chaleureuse entourant son enfant d'une affection où il n'y avait rien de forcé. L'autre, par contre, fut décrite comme une femme systématique et rigide ne sachant pas procurer à son enfant un sentiment de sécurité et perdant pied elle même dès que les évènements, malgré ses efforts, ne prenaient pas le cours voulu.

Le jeune médecin qui rapportait le cas s'est senti très vite en sympathie avec l'enfant de la première mère et par contre n'a pas pu établir un contact avec le deuxième enfant, à sa grande surprise, car d'habitude — disait-il — il arrivait très facilement à nouer avec les enfants de très bonnes relations.

A posteriori il s'était rendu compte avec étonnement qu'il avait adopté un ton cassant pour répondre à la demande qui lui était faite dans le 2ème cas et il avait eu le pressentiment qu'il ne serait plus jamais rappelé dans cette famille.

Cette observation avait beaucoup intéressé le groupe qui lui consacra une séance entière.

Au cours de la discussion il devint évident pour tout le monde que le médecin s'identifiait au premier enfant, se sentait à l'aise avec la mère et lui faisait accepter sans aucune difficulté ses suggestions, et que par contre dans l'autre situation il s'était engagé dans une relation hostile se référant à son propre vécu infantile.

Devant les réactions critiques des participants du groupe le médecin justifiait avec acharnement sa conduite par des arguments d'ordre médical: l'enfant vivait dans de mauvaises conditions d'hygiène, il était trop couvert soumis à un régime alimentaire défectueux, les médicaments demandés par la mère étaient non seulement inutiles mais nuisibles.

A un moment, et contrairement aux habitudes, une participante du grou-

pe agacée de la non compréhension apparente du médecin rapporteur a fait remarquer qu'il discutait de ses propres problèmes avec sa propre mère.

Cette remarque est tombée complètement à plat et n'a pas été reprise ni par le groupe ni par le médecin lui-même.

A la fin de la discussion et quand le sujet semblait épuisé, dans un raccourci qui à première vue semblait surprenant, le médecin rapporteur, dans un silence, a repris la parole pour constater que lui avait besoin d'être aimé par sa clientèle.

Cette observation paraît très bien illustrer les méthodes employées qui, en ce qui concerne l'investigation, restent à la surface des problèmes et néanmoins permettent une prise de conscience importante des facteurs sous-jacents à l'activité journalière banale.

Un autre exemple peut éclairer les mécanismes mis en jeu et l'importance des remaniements de comportements qu'on peut observer.

Pendant une certaine période, qui a duré 2 ans, le groupe avait décidé d'étudier uniquement les conflits conjugaux de leurs patients et dont ils étaient les tèmoins.

Pour cerner le problème de plus près, seules furent retenues les situations qui se présentaient comme des «conflits ouverts», c'est-à-dire les cas où un des partenaires du couple venait exposer son problème ouvertement sans chercher un alibi somatique pour justifier la consultation. Le conflit dans le couple était l'objet de la consultation.

Au début il semblait que seuls certains médecins du groupe recevaient des demandes de ce type. Très rapidement d'autres médecins, même ceux qui dans la discussion sur l'utilité de choix d'un tel sujet comme objet de travail avaient déclaré ne jamais être confrontés avec ces problèmes, furent obligés de reconnaître que leurs affirmations ne correspondaient pas à la réalité.

Les réactions des médecins à l'égard des problèmes de couples furent généralement exprimées avec beaucoup de passion et discutées de même, les réactions étant assez variées: pour les uns le souci essentiel était de raccomoder le couple à tout prix, d'autres acceptaient assez facilement l'idée d'une séparation et quelquefois poussaient à la roue avec plus ou moins de discrétion, d'autres encore prenaient parti pour l'un des partenaires du couple et défendaient la position de leur protégé avec vigueur.

Tout se passait comme si chaque médecin avait son propre schéma de la vie conjugale profondément inscrit en lui, schéma qui orientait son jugement sur l'appréciation de la vie des couples qu'il lui était donné d'observer.

A diverses reprises on a pu constater que le groupe se comportait vis à vis du médecin qui rapportait le cas comme le patient dont l'histoire venait d'être relatée. En quelque sorte le groupe prenait la place du patient et faisait face à son médecin en recréant la situation telle qu'il l'avait perçue.

Pendant la période où furent discutés les conflits conjugaux des réactions semblables apparurent avec une grande netteté. Les participants se substituaient soit au patient lui-même soit à son conjoint.

L'évolution des médecins faisant partie du groupe fut assez univoque. Assez rapidement les cas furent exposés avec moins de manifestations passion-

nelles, l'attitude devint moins véhémente; de moins en moins les médecins furent entrainés à donner des conseils ou à faire part de leurs propres opinions; en apparence ils renoncèrent à se sentir obligés d'être «efficaces» et acceptèrent le rôle de témoins — et cela malgré les sollicitations de leurs patients. C'est-à-dire en d'autres termes il y eut un sentiment partagé par la majorité des participants que leur seule présence dans le débat du couple représentait un élément de valeur pour les ou le partenaire qui s'adressait à eux et cela d'autant plus qu'ils ne prenaient pas parti.

Il est apparu d'une manière très nette que le schéma dont nous parlions tout à l'heure était le résultat pour chacun d'expériences personnelles très archaïques et dont ils n'avaient aucune conscience.

Essayons de décrire maintenant très brièvement l'évolution, aussi bien au niveau du groupe que des individus.

Dans le groupe à mesure que l'expérience se prolonge on peut noter que le matériel fourni pendant la discussion s'affine et change de qualité.

Souvent on a l'impression que les participants prennent conscience spontanément de la signification profonde des faits qu'ils rapportent sans pourtant y faire allusion d'une manière explicite. Les situations envisagées deviennent plus complexes et plus subtiles.

Le rôle apparent du leader devient moins prééminent, les regards se tournent moins souvent vers lui, ses interventions ne sont plus recueillies comme des paroles d'Evangile. A la limite on pourrait discuter de la possibilité pour un groupe bien rodé de se passer de leader.

En ce qui concerne les participants leur évolution personnelle est très difficile à apprécier.

La formule de Balint — où il parle d'un «changement limité», bien que considérable de la personnalité» — demande à être discutée. Si «limité» s'applique à l'aspect professionnel seul du comportement ceci paraît difficilement acceptable car cela voudrait dire que l'on part d'une conception où la manière d'exercer son métier est indépendante de la personnalité de celui qui l'exerce. Par contre on peut admettre avec vraisemblance qu'une démarche comme celle que nous avons décrite atteint les couches relativement superficielles de la personnalité.

Le terme «considérable» paraît également assez obscur mais peut être une référence au degré et à l'étendue des changements concrets que l'on peut observer dans le comportement d'un individu.

Il est certain que ces modifications se répercutent non seulement sur la vie professionnelle mais également sur tous les autres aspects de l'existence: comportement personnel et social.

Pour des raisons bien compréhensibles nous ne sommes pas renseignés sur les changements qui apparaissent dans la vie personnelle, et de toutes façons il serait hors de question d'évoquer cet aspect des choses; parfois une confidence voilée à propos d'un cas discuté laisse deviner ou supposer la solution ou l'apparition d'un problème ou d'un conflit personnel.

Assez exceptionnellement certains seront amenés à entreprendre eux-mê-

mes une cure analytique. Généralement dans ce cas ils abandonnent la fréquentation du groupe.

Sur le plan social les changements observés apparaissent par contre avec une beaucoup plus grande netteté.

Tel médecin devient un animateur syndicaliste trés actif, tel autre développe une activité journalistique qui jusque là était en quelque sorte clandestine, tel autre encore se lance dans une spécialisation médicale marginale, un autre encore devient un organisateur important de l'enseignement médical post-universitaire; enfin, plusieurs livres sont publiés par des participants relatant leur expérience.

On assiste également à la modification de la composition de la clientèle: telles familles qui pour certaines raisons étaient rejetées peuvent actuellement être acceptées, telles autres qui jusque là étaient tolérées sont par contre écartées.

Le mode d'exercice de la profession se transforme également: une minorité de praticiens aura tendance à se laisser entrainer de plus en plus à ne prendre en considération que les problèmes psychologiques de leurs patients en s'écartant des aspects somatiques et se créant en quelque sorte une sous spécialité d'un certain type. D'autres encore (deux cas dans notre expérience) abandonnent la médecine générale pour devenir psychiatres.

La grande majorité reste cependant fidèle au type d'activité choisi au départ. Il sera difficile d'apprécier pour ceux là de quelle manière leur comportement professionnel journalier aura été influencé par la formation qu'ils ont subie.

Les questionnaires essayant d'aborder ce sujet et auxquels ont répondu les médecins concernés fournissent des renseignements assez décevants, ne reflétant la réalité des choses que d'une manière assez incomplète.

En particulier presque tous parlent d'un plaisir accru d'exercer leur métier.

La répétition assez stéréotypée de ces propos demande qu'on en analyse leur signification car à première vue une formation du type Balint devrait entrainer le médecin à se poser des problèmes et devrait compliquer sa tâche.

Il semble donc qu'il existe là une contradiction.

A la réflexion le terme de «plaisir» peut se comprendre. Il doit être recherché dans l'intimité même de l'acte médical dans les conditions dans lesquelles il est normalement effectué.

L'acte médical a un caractère privilégié et intime. Il est pratiqué dans la solitude d'une relation duelle.

Le cheminement des affects reste confidentiel. En particulier tout ce que ressent le médecin au cours de cet acte n'est jamais explicité ou l'est d'une manière incomplète.

Il est bien évident que dans de telles conditions il peut entraîner chez le médecin un malaise plus ou moins confus et partiellement perçu.

La mise en commun de ces expériences avec celles d'autres praticiens qui exercent leur métier dans les mêmes conditions peut amener un soulagement et la sédation d'une tension plus ou moins importante, ce sentiment de dé-

tente peut s'expliquer par le jeu de différents mécanismes: déculpabilisation d'attitudes agressives ou d'attitudes érotisées, acceptation de certaines positions narcissiques, ce qui permet à l'acte médical de se dérouler de façon plus harmonieuse et plus facile à supporter par le médecin et par conséquent par son patient.

La curiosité, instrument de travail essentiel de l'exploration du champ de la médecine traditionnelle, est mieux maîtrisée et peut s'étendre à des domaines nouveaux.

Cette nouvelle compréhension, cette extension des intérêts, peut répondre à cette notion de «plaisir» ressentie par les médecins.

Toutes les hypothèses que nous venons de formuler tirent leur origine du matériel recueilli au cours des séances. On ne peut affirmer pour autant que l'action du médecin en dehors des cas rapportés est conforme au modèle qu il présente dans le groupe. Cette action nous reste inconnue.

Il est également impossible, étant donné les rapports qu'on entretient avec le groupe, d'avoir connaissance de l'enchaînement des processus qui ont conduit à ces modifications Cependant les règles imposées à la discussion, la nature des relations qui s'établissent entre les membres du groupe et le leader ne peuvent provoquer qu'une mise en question de chacun relativement superficielle retrouvant un niveau oedipien' comme le prouvent les exemples que nous avons cités et qui reflètent assez bien la nature des problèmes généralement abordés.

Pour conclure et résumer notre opinion on peut affirmer que des modifications incontestables apparaissent au cours de l'expérience du groupe. Ces modifications peuvent être perçues par le leader, d'une part, au niveau du groupe de travail lui-même. Les changements d'attitude des participants les uns vis à vis des autres et vis à vis du leader se transforment d'une manière très notable. D'autre part les informations recueillies sur le devenir des médecins ayant participé au travail du groupe et l'ayant quitté depuis un certain temps semblent confirmer cette impression d'une nouvelle orientation dans la vie professionnelle.

La confrontation incessante des médecins au groupe et au leader —pendant les séances et en dehors d'elles — comme le prouvent abondamment les références constantes du type «j'ai pensé en voyant tel ou tel patient à ce que l'on m'a dit au cours d'une discussion» etc, etc, met en lumière, à quel point le comportement professionnel reste infiltré par le travail en groupe.

Résumé

Aperçu succint des modifications du comportement qui apparaissent chez des médecins généralistes à la suite d'une participation à une formation ayant pour objet l'examen et la discussion des éléments affectifs qui entrent en jeu au cours de l'exercice de leur métier.

On essaiera d'interpréter ces modifications à la lumière des données psychanalytiques et chercher à comprendre à quelles instances inconscientes elles peuvent se référer.

On étudiera en particulier le rôle du surmoi et sa manière de s'adapter à une situation nouvelle créée par la présence d'un groupe et le rôle du leader qui anime ce groupe.

On discutera brièvement la question de savoir si «le changement limité bien que considérable de la personnalité» (Balint) des médecins est une véritable restructuration de la personnalité ou bien un effet fugace disparaissant plus ou moins rapidement après que le médecin aura quitté le groupe.

209

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ СЕМАНТИЧЕСКИХ ПОЛЕЙ ВЕРБАЛЬНОГО ТЕКСТА В ГРУППОВОЙ «МЕДИТАЦИИ»

В. В. НАЛИМОВ, О. А. КУЗНЕЦОВ, Ж. А. ДРОГАЛИНА

МГУ, лаборатория математической теории эксперимента

В литературе [1] развивается представление о семантических полях, стоящих за словами — дискретными символами обыденного языка. Однако традиционными психо-лингвистическими приемами не удается выявить эти поля. Индивид с трудом открывает другим невербальные процессы, происходящие в его сознании.

Первый успех был получен при использовании аутогенного тренинга (АТ). С помощью простого теста была отобрана из среды технической интеллигенции группа людей среднего возраста, хорошо реагирующих на внушение. Им было предложено в 4-х сеансах «медитировать» над тремя словами: свобода, рабство, достоинство. Два первых слова, замыкаясь на третье, образуют триаду — осмысливаемый текст. Медитация велась последовательно над каждым словом в отдельности: над первым словом — в двух начальных сеансах, над двумя другими — в двух последующих сеансах. Медитации предшествовал аутотренинг: воспроизводился (в магнитофонной записи) текст, произносимый гипнотизером. Далее, ведущий сеанс прерывал магнитофонную запись и произносил следующий текст: «А теперь посмотрите слово «свобода». Свобода... Что это? Как это? Ощущайте ее, переживайте, слейтесь с ней. Смотрите, смотрите... Запоминайте». Следовала небольшая пауза (1—2 мин.) и затем текст: «А теперь запишите все, что вы видели, ощущали, переживали».

Во всех 4-х сеансах участвовало 9 испытуемых. Для восьми из них записанные тексты оказались семантически достаточно схожими. Из них удалось выделить 22 слова, характеризующих семантику триады. Для этих слов было построено два семантических графика, изображенных на рис. 1 и 2. На первом из них представлено семантическое поле, в котором слова, выбранные из текстов испытуемых, размещены на окружности по часовой стрелке и упорядочены по частоте их употребления. В кружочках, размещенных на периферии семантического поля, представлены участники эксперимента, обозначенные буквами русского алфавита. Соединительные линии показывают, какие слова общего

Рис. 1. Кластеризация семантического поля, упорядоченного по частоте употребления слов в текстах испытуемых

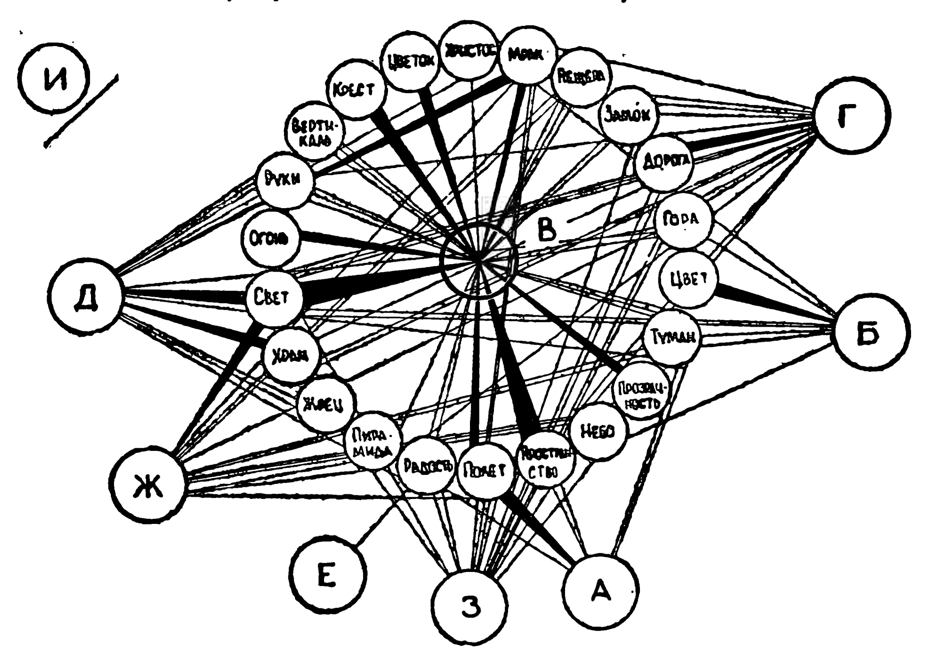


Рис. 2. Кластеризация семантического поля, упорядоченного по смысловым связям слов в текстах испытуемых

поля были употреблены в текстах испытуемых. На втором рисунке представлено то же семантическое поле, слова которого, в отличие от рис. 1, упорядочены по смысловым связям, с указанием для каждого из них частоты употребления в текстах испытуемых, что показано количеством соединительных линий, соответствующих этой частоте. В центре семантического поля выделен испытуемый «В», который оказался связанным почти со всеми словами общего поля. В таблице I приведена частота употребления каждого из 22 слов каждым участником эксперимента. В таблице II показана частота встречаемости слов семантического поля в текстах каждого из испытуемых.

Анализ семантического графика, построенного из этих слов (см. рис. 1, 2), позволил сделать следующие выводы:

1. Семантическое поле триады состоит из слов, не пересекающихся с теми словами, через которые слова триады объясняются в словарях (толковых, двуязычных, энциклопедических). Это позволяет нам полагать, что в эксперименте испытуемые вышли в «глубинные» состояния сознания, задаваемые скорее архетипическими представлениями, чем культурой сегодняшнего дня.

2. Интересно отметить наиболее характерные ощущения, связанные со словами «свобода», «рабство», «достоинство».

Словам «свобода», «достоинство» присущи ощущения легкости, перемещения в пространстве «без трудностей», ощущение полета, парения, невесомости, бестелесности, безбрежности и беспредельности пространства, наполненного сиянием и сверканием, ощущения радости и доброты, отсутствие страха.

Таблица I

СПИСОК СЛОВ СЕМАНТИЧЕСКОГО ПОЛЯ ТРИАДЫ «СВОБОДА — РАБСТВО—ДОСТОИНСТВО», УПОРЯДОЧЕННЫХ ПО ЧАСТОТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ

1. Свет (солнце, сияние, вспыхивание, сверкание)	48
2. Пространство (безграничность)	24
3. Черное (мрак, непрозрачность, мутное, серое, темное) . .	19
4. Полет (парение, крылья, невесомость, легкость, бестелесность, отсутствие помех, влияний)	17
5. Крест (звезда) .	12
6. Туманное (облакообразное)	10
7. Гора .	9
8. Дорога	8
9. Руки (ладони)	8
10. Храм	8
11. Цветок	8
12. Прозрачное . . .	8
13. Радость (счастье, доброта, сердце)	8
14. Небо . .	7
15. Огонь	6
16. Замки (сдерживающие, мешающие)	6

17. Цвет (как самостоятельный феномен) 5
18. Грот (пещера, подземелье) 5
19. Пирамида (призма) 4
20. Вертикаль 3
21. Жрец (священнослужитель) 2
22. Христос 2

В одном из текстов (В. 2) переживанию полета и пространства предшествует некий «подготовительный» этап, который описан так: «Усиление тепла, потеря ощущения формы; руки исчезли, границы пропали, ощущение растворения... ощущение потери веса, легкости, выпрямления...».

Ощущения тяжести практически отсутствуют. Слово «земля» встречается только дважды (в текстах В. 1, Ж. 1); одно из упоминаний связано с полетом: «Земля далеко».

Эти ощущения появляются только в текстах, связанных со словом «рабство». Приведем наиболее выразительные отрывки: «Я почувствовал себя погруженным в бесформенную мутную массу, в темный туман. Стал терять себя в нем» (Д. 3). «Чернота, пещера, давящие своды, которые стремятся сомкнуться, гнетут. Отблеск от входа очень слабый, и все медленно куда-то проваливается» (Ж. 3). «Перетаскивая тяжелые камни. Жара. Солнце палит нещадно. Страшная усталость» (З. 3).

Интересно также, что одним из характерных образов этих состояний является «гора», встречающаяся в разных контекстах, но часто с отрицательным значением. Например: «гора немытой посуды», которую хочется разбить; «гора белья» (З.3); «... пустыни и горы. Черные облака» (Б. 3); «... видела дорогу, поднимающуюся в горы; я брела по ней...» (Г. 3).

Однако, образ горы встречается также и в текстах с положительным значением, характеризующих семантические поля слов «свобода» и «достоинство».

В текстах, связанных со словом «рабство», появляется еще и образ замка́, который в одних текстах визуализирован, в других — дан в ощущениях, таких, например, как в тексте Г. 3: «...ощущение неудобства», желания «освободиться» («от чего, не знаю»), «сбросить» с себя (что?)» или в тексте З. 2: «Ощущение полета все время сдерживается какими-то замка́ми. Темными, стальными». Замки́, мешающие полету, — в медитациях над словом «рабство». Замки разомкнутые, границы исчезнувшие, предшествующие ощущениям потери веса и беспрепятственного движения — в медитациях над словом «свобода».

В ощущениях это «размыкание» замков присутствует в различных текстах девяти испытуемых. Вот пример из текста А. 1: «...почувствовал я, что мне ничто не мешает, меня не стесняет одежда, не обуревают мысли...». Или другой пример из текста З. 2: «Я свободно могу охва-

тить взором всю водную поверхность, лететь в любом направлении. Мне легко и радостно. Ничто не мешает».

Что касается образной характеристики текстов, связанных со словами «свобода» и «достоинство», то следует отметить, что каждый испытуемый находит свой образ, который оказывается достаточно индивидуальным. В одних текстах он выражен отчетливо, в других — менее отчетливо. Есть и такие тексты, где образ отсутствует совсем. Такие тексты представляют собой скорее некие рассуждения на материале парадигматических клише.

Наиболее яркие образы представлены в текстах В. 1, В. 4 — цветы, крест-звезда; Д. 1, Д. 4 — храм; Ж. 1, Ж. 3 — пирамида (призма). Приведем фрагменты из вышеуказанных текстов, в перечисленной последовательности: «... через все огнеподобное пространство мерцающая крестоподобная звезда с сильно вытянутыми концами и вырастающий из ее живого, пульсирующего центра цветок, как бы посылаемый ею, похожий на пылающее сердце. И чувство невыносимой радости...». «Я видел храм — незримый, нематериальный, возносящийся вверх, как готические храмы. Храм воздушный и в то же время устойчивый, прочный, фундаментальный. Я сам становился храмом». «Сверкающая бело-золотистая пирамида (призма) на возвышенности. Вокруг нежная зелень и мягкие хребты гор, зеленовато-голубые. Небо голубое. Призма с вертикальными гранями, непробиваемая. Вокруг все в утреннем тумане, очень светлом».

Представляется, что индивидуализация образов (при схожести их положительной семантики), как и семантические поля, задана, прежде всего, архетипическими особенностями, выявляемыми определенными состояниями сознания, в которые средствами АТ и предлагаемой задачей, возможно, удается войти. Континуум сознания полифоничен и включает в себя различные пространства[1]. Существуя в этом потоке и находясь в то же время в плену парадигмы нашей культуры,

Таблица II

ЧАСТОТА ВСТРЕЧАЕМОСТИ ХАРАКТЕРНЫХ СЛОВ У 9-ти ИСПЫТУЕМЫХ, УЧАСТВОВАВШИХ ВО ВСЕХ 4-х ОПЫТАХ

1. Участник А.	12
2. Участник Б.	12
3. Участник В.	122
4. Участник Г.	20
5. Участник Д.	27
6. Участник Е.	1
7. Участник Ж.	17
8. Участник З.	16
9. Участник И.	0
	227

[1] О пространственной интерпретации сознания см., например, у Дж. Уелвуда [5].

мы привыкаем сознательно пользоваться одним из слоев, связанным, прежде всего, с рациональным мышлением, не выходя за его пределы. В данном эксперименте полученные результаты позволяют предположить выход в другие пространства (или уровни) сознания, во многом уходящие к нашему архетипу. Возможен, очевидно, выход и за эти пространства.

Обращает на себя внимание общность ощущений и образных представлений, возникающих при медитациях над словами «свобода» и «достоинство», включающая ощущения полета, невесомости, бестелесности, легкости, отсутствия влияния, воздействий, давлений; образы неба, гор, пространства, света.

3. Только один из испытуемых («И») оказался полностью вне общего семантического поля. Заданный им текст — это клише представлений современной культуры. У него слой логически структурированного сознания оказался слишком плотным для входа на более «глубинные» уровни.

4. В каждом тексте можно выделить слово с наибольшей частотой употребления (см. табл. I, II). Так как каждый текст есть некое поле семантических признаков слова, над которым происходит медитация, то наиболее употребительное слово в данном поле признаков обладает наибольшим весом. Преобладание этого слова в тексте испытуемого можно объяснить, скорее всего, раскрытием (точнее — приближением) к архетипу.

Наиболее характерные архетипические символы запечатлены в текстах следующими словами: храм, крест, дорога, руки, сферы-миры. Медитация как бы визуализирует архетип.

5. Интересны дальнейшие перспективы применения этого метода: (а) изучение представителей других архетипов — мусульманского, индуистского, буддийского и пр.; (б) герменевтика — чтение древних текстов с утерянной семантикой; (в) исследование «глубинных» состояний сознания у людей с патологическими проявлениями психики; (г) исследование сознания в необычных условиях, создаваемых современной техникой (космические полеты, длительное пребывание под водой и пр.); (д) распределение испытуемых по архетипически задаваемым кластерам.

Интересно также изучение других средств вхождения в «глубинные» поля сознания: работа не с АТ, а со стихами, музыкой, ритмическими упражнениями, гипнозом.

6. Поставленные эксперименты углубляют наше знание роли языка в сознании человека. Медитация — это, прежде всего, снятие логической структурированности сознания. После первых сеансов медитации человек ощущает себя погруженным в непроизвольно текущие фантазии[2]. Исходя из существующих нейрофизиологических представ-

---

[2] Подробное описание, в терминах западной психологии, последовательного изменения сознания при систематически проводимой инсайт-медитации дано в обстоя-

лений, мы должны считать, что основой сознания является нейронный шум, хотя его фрагменты, может быть, являются теми элементами, из которых, при определенном их упорядочивании, возникают осознаваемые представления. В нашем эксперименте слова, заданные как темы медитаций, оказались теми центрами кристаллизации, вокруг которых из шумоподобного потока фантазии стали выкристаллизовываться отчетливые и легко осмысливаемые образы. Если в восточной традиции задача медитации — это «великое успокоение», то в нашей постановке — это средство получения нового знания. Может быть, западная медитационная традиция отличалась от восточной тем, что медитирующий заранее задавался некоторой устремленностью (установкой). Впрочем, в так называемой буддийской медитации происходит также нечто похожее. (Типология восточных медитаций дана в работах Д. Гоулмана [2]). Можно думать, что и в обычном (не измененном медитацией) состоянии сознания произносимые слова (и тексты) оказываются теми центрами кристаллизации, которые из опорного (фонового) шумового потока организуют некие образы понимания, остающиеся всегда в нашем глубинном сознании. Медитация их визуализирует и тем самым переводит в слои открытого нам сознания. Следует отметить, что никто не жаловался на невыразимость медитационных переживаний, хотя некоторые испытуемые подчеркивали некую условность своих текстов, так как язык все же оказывается за пределами средств, адекватно выражающих испытанные впечатления, выходящие за пределы опыта и ассоциаций, такие, например, как ощущения «прохладного огня». «полета», «бестелесности», «миров-сфер», обладающих другим пространством, другой предметностью, другими формами, другой воплощенностью.

Примечание редакции

Публикуя настоящую статью В. В. Налимова, О. А. Кузнецова и Ж. А. Дрогалиной, редакция считает необходимым сделать по ее поводу следующие замечания.

Своеобразие описываемого в статье метода исследования сознания (погружение испытуемых в особое психическое состояние, близкое, по-видимому, к аутогипнозу, на котором происходит снижение уровня бодрствования с ослаблением контроля сознания над потоком непроизвольно возникающих фантастических образов, — в состояние т. н. «медитации») не должно заслонять правомерности проблемы, поставленной авторами: вопроса о возможности выявления неосознаваемого в обычных условиях «поля смыслов», стоящего за дискретными элементами нормальной речи. Данные, полученные авторами, представляют в

тельной работе Р. Уолша [4]. Статистическое изучение (факторный анализ) состояний сознания, возникающих при медитации, дано в работе Р. Кора [3]. Там исследование проводилось на 145 испытуемых в 4060 сеансах.

этой связи определенный интерес в феноменологическом плане. Попытки же определения проявляющихся здесь объективных закономерностей и детерминаций остаются пока еще во многом спорными и неясными. Убедительности позиции авторов мешают также неопределенность и неточность применяемых ими терминов и выражений («основой сознания является нейронный шум» и др.), в частности обращение к понятию «архетипа», применяемому здесь без всякой расшифровки. Редакция полагает, что под этим термином авторы подразумевают (в отличие от К. Юнга) те содержания сознания, те формы отношения к объективной действительности, которые неосознаваемым образом усваиваются индивидом под влиянием воздействующей на него общественной идеологии и исторически сложившейся культурной среды и которые становятся одним из регуляторов его поведения, эмоциональной и интеллектуальной жизни — без того, чтобы он мог их рационально интерпретировать.

Подобные уточнения необходимы, т. к. в современных работах, стремящихся сблизить привычные для нас представления со своеобразными идеями восточной психологии, важнее всего ясность позиции и теоретических установок авторов.

ЛИТЕРАТУРА

1. НАЛИМОВ В. В., Вероятностная модель языка. М., 1974.
2. GOLEMAN D. The Journal of Transpersonal Psychology 4 №. 2 1972, 151—210. См. также его книгу: The Varieties of the Meditative Experience N. Y. Dutton 1977.
3. KOHR R. L. The Journal of Transpersonal Psychology 9 №. 2, 1977 193—203.
4. WALSH R. The Journal of Transpersonal Psychology, 9 №. 2 1977 151—192.
5. WELWOOD J. The Journal of Transpersonal Psychology 9 №. 2 1977 96—118.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

210

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ДИСКУССИЙ О СТАТУСЕ НАУЧНОЙ ТЕОРИИ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО

ОТ РЕДАКЦИИ

(1) В заключение редколлегия хотела бы выразить свое общее отношение к материалу, представленному в настоящей коллективной монографии. Мы постараемся вновь, но теперь уже со ссылками на основное содержание монографии, а также на некоторые наиболее значительные произведения современной психоаналитической литературы, пояснить причины, побудившие нас проявить инициативу в создании этого труда, уточнить методологию нашего подхода к проблеме неосознаваемой психической деятельности и возможно более четко сформулировать соображения, по которым эта проблема заслуживает именно на современном этапе развития не только научных представлений, но и общественных отношений самого пристального внимания.

Содержание трех томов настоящей монографии можно с основанием рассматривать, учитывая ее тематическую разноплановость, а также разнородность и широту создавшего ее авторского коллектива, как выражение взглядов на проблему бессознательного, сложившихся в мировой науке к началу последней четверти нашего века. Естественно поэтому, что, говоря об отношении к этому огромному и в высшей степени сложному материалу, мы сможем затронуть лишь некоторые узловые его аспекты. Эти узловые моменты намечены нами отчасти уже расположением материалов монографии, порядком ее тематических разделов и в какой-то степени нашими вступительными статьями к этим разделам. Однако в каждой из этих статей мы были связаны — в целях упорядоченности изложения — рассмотрением тематики, относящейся только к соответствующему разделу. Поэтому более общие вопросы от нас иногда ускользали. Сейчас мы хотели бы остановиться на обсуждении именно этих наиболее общих аспектов проблемы бессознательного. Мы рассматриваем такой анализ как шаг в направлении создания общей теории бессознательного — теории, которая при всей ее сложности может быть адекватно поставлена лишь в том случае, если она трактуется как один из важных аспектов общей концепции психики человека в ее глобальном философском и психологическом понимании.

(2) Первое принципиальное замечание, которое необходимо предпослать дальнейшему изложению, заключается в следующем. Теоретическая позиция, занимаемая нами в отношении проблемы бессознательного, тесно связана с нашим общим научным и философским мировоззрением. Она вытекает из определенного истолкования природы

сознания человека, закономерностей его поведения, детерминации этого поведения отношением человека к окружающей его объективной действительности. Она согласована со сложившимися на сегодня представлениями о механизмах работы высшей нервной системы, о формах и способах активности человеческого мозга. Ее во многом предопределяют особенности, стиль и возможности категориального аппарата, разработанного современной, прежде всего советской, психологией и дисциплинами, смежными с последней. В ней находят свое отражение принципы исследовательского подхода, вполне, по нашему мнению, способные обеспечить должную строгость научного истолкования любого из вопросов, возникающих перед человеком в его извечном стремлении ко все более глубокому познанию как самого себя, так и мира, в котором он обитает.

В этих общих методологических предпосылках нашего подхода отражается исходное для нас диалектико-материалистическое, марксистское истолкование природы человека и норм научного познания, как особой формы субъективного отражения объективной действительности. Решения вопросов, возникающих в рамках теории бессознательного, которые мы пытались обосновывать во вступительных статьях к тематическим разделам монографии, детерминированы этим общим концептуальным подходом, они неизменно несут на себе, как это нетрудно было, вероятно, заметить, его глубокий конкретный отпечаток.

(3) Обобщая наше отношение к проблематике настоящей монографии, мы учитываем некоторую необычность ее освещения в этом коллективно созданном труде: весьма разные позиции, с которых она в разных статьях трактуется. В основном здесь, как и обычно при обсуждении вопросов методологического (философского) порядка, выступает более или менее отчетливое противопоставление диалектико-материалистического подхода, нашедшего свое выражение в статьях преимущественно советских авторов и исследователей из социалистических стран, различным, порой завуалированным, порой откровенным, вариантам идеалистических толкований или в большей или меньшей степени последовательным стихийно-материалистическим трактовкам. К этой основной линии разграничения следует относиться с пониманием всей сложности и дифференцированности оттенков, которые подсказываются ею в отношении характера порождаемых ею дискуссий.

В некоторых случаях и здесь, как это отнюдь нередко бывает при обсуждении самых разных теоретических проблем, расхождение толкований создается не столько различием существа мнений, сколько своеобразием «языков», интеллектуальных традиций, манеры изложения мыслей и литературного стиля, усвоенных отдельными учеными или школами. Суметь вовремя распознавать эту скорее формальную, терминологическую, чем принципиальную основу разногласий — значит предотвратить непроизводительные, мало оправдываемые споры. А иногда, напротив, — и это еще более, быть может, важно вовремя увидеть, — за, казалось бы, незначительным различием позиций скрываются, в действительности, коренные, методологические расхождения, не оставляющие места даже для того минимума взаимопонимания, без которого научный спор становится вообще невозможным.

Вряд ли следует подчеркивать, насколько важно при коллективном обсуждении теоретических проблем своевременно учитывать эти рас-

хождения в природе выявляющихся разногласий и соответствующим образом ориентировать тактику и дух вызываемых ими научных споров.

(4) На каких же наиболее важных аспектах проблемы бессознательного нам представляется целесообразным сосредоточить внимание в настоящей, завершающей части монографии? Мы полагаем, что одним из таких центральных моментов является вопрос о **причинах**, вынуждающих современную психологию вновь и вновь, по самым разным поводам возвращаться к проблеме неосознаваемой психической деятельности. Исследовать этот вопрос — значит одновременно осветить проблему роли бессознательного в наиболее сложных проявлениях душевной жизни человека, проблему психологических форм, в которых этот неосознаваемый фактор дает о себе знать, и закономерностей, которым он подчинен. А эти кардинальные вопросы, в свою очередь, неотграничимы от направлений, по которым идее бессознательного предстоит развиваться в дальнейшем, и принципиальных установок исследовательского процесса, способных это развитие облегчить и ускорить.

Обо всем этом мы уже говорили во вступительных статьях к тематическим разделам монографии. Однако при анализе этих сложных вопросов возможны разные степени обобщенности рассмотрения и мы не обращались в этих статьях к наиболее высоким из них. А между тем, именно когда эти вопросы формулируются в наиболее общей форме, по их поводу разгораются наиболее острые дискуссии. Именно в этих условиях происходит непосредственное столкновение различных философских трактовок и наиболее явственно разграничиваются методологически несовместимые подходы. Проследив же эти антагонизмы, мы легко уловим за пестрой, порой хаотичной картиной противоречивых высказываний, загромождающих современную литературу, скрытую логику основных противостояний, выявляющую движущие силы всей этой сложнейшей, уже многие десятилетия не ослабевающей идеологической борьбы.

(5) Когда речь заходит о теоретических проблемах психоанализа, о причинах, вынуждающих его апеллировать как к объясняющему фактору к бессознательному, о научной обоснованности его главных положений и т. п., и в его адрес высказываются критические, весьма порой суровые, замечания, то в психоаналитической литературе звучит обычно в ответ, что подобная критика бьет мимо цели, что те, кто критикуют современный психоанализ, плохо его понимают, что опровергаемые ими положения — это либо далекое прошлое психоанализа, им самим давно отвергнутое, либо мираж, который они, критики, сами же исходно создают. Во французской литературе так высказывались Ш. Бриссе, В. Н. Смирнов, в итальянской — Ч. Музатти; особенно часто подобные заявления можно встретить в психоаналитических работах, публикуемых в странах английского языка.

Оправдана ли такая защита? Если быть объективным и точным, то нельзя не признать, что иногда она действительно звучит в какой-то мере обоснованно. Отнюдь нередко критика психоанализа действительно смешивает его настоящее с его уже изжитыми теоретическими установками и недооценивает важность сложной эволюции, которой подвергалась эта доктрина за последние десятилетия. Чтобы не выслушивать упреков за подобную отсталость критики, мы обратимся непосредственно к самой психоаналитической литературе, к непрекращающимся дискуссиям, которые ведутся в ней по поводу научного статуса психоаналитических представлений и связанных с ними корен-

ных методологических проблем, а также права этих представлений противопоставлять себя остальной психологии как «особое» знание, не заместимое никаким другим концептуальным подходом. Мы увидим, затрагивая эти вопросы, как своеобразно вписывается проблема бессознательного в современные психоаналитические схемы. На этом пути нам скорее, чем на каком-либо другом, станет понятным, почему игнорировать идею бессознательного, недооценивать ее значение, для общей теории сознания столь же ошибочно, как и соглашаться во всем с ее психоаналитическим истолкованием.

Чтобы войти в курс большого спора о научной ценности психоаналитических представлений, происходящего сегодня в рамках самой психоаналитической школы, мы обратимся к недавно опубликованному, весьма, как нам кажется, характерному и важному исследованию бывшего президента Американской психоаналитической ассоциации Р. С. Валлерстайна «Психоанализ как наука: его современное состояние и предстоящие задачи» [7]. В этом исследовании в обобщенной форме излагается то основное, что особенно тревожит в методологическом плане современную психоаналитическую мысль, разъясняется, что именно вызывает внутрипсихоаналитические идейные конфронтации, и характеризуются позиции, на которых стоят видные исследователи, участвующие в этих спорах. Благодаря этому работа Валлерстайна является как-бы своеобразной **моделью** большой современной философской психоаналитической дискуссии, и мы позволим себе использовать ее именно в качестве таковой. Проследим поэтому ход мысли Р. С. Валлерстайна по возможности более детально.

(6) Автор начинает свою работу с указания, что в психоаналитической литературе вряд ли какая-либо другая тема подвергалась столь же длительному и страстному обсуждению, как проблема статуса психоанализа как науки. Он не скупится на указания признаков кризиса, который, по мнению многих видных психоаналитиков, переживает психоанализ, приводит мнение о том, что «классический метод психоанализа достиг точки, с которой начинается быстрое уменьшение его продуктивности, и что распространяется представление о бесплодности значительной части психоаналитической литературы (Кьюби, 1966), о недостатке новых идей (Бек, 1970) и творческой активности (Когут, 1970) в классическом психоанализе». Он упоминает, в частности, о нашумевшей в свое время статье К. Эйсслера, «Непочтительные замечания по поводу настоящего и будущего психоанализа» (1969), автор которой утверждает, что «психоаналитическая ситуация (т. е. методика психоаналитического обследования и лечения. — Редколл.) уже дала все, что могла дать. Она исчерпана в отношении исследовательских возможностей, по крайней мере в отношении возможностей создания новых парадигм»; «все, что можно было изучить посредством кушетки (Эйсслер имеет здесь в виду традиционную исследовательскую психоаналитическую процедуру, при которой анализируемый подвергается изучению, лежа на кушетке. — Редколл.), Фрейд уже изучил... Исследования будут теперь все более и более переноситься из лечебной комнаты в другую обстановку, в которой создается наука» [цит. по 7, 202].

К высказываниям этого типа Валлерстайн добавляет многие сходные другие, а затем переходит к характеристике попыток преодоления неправильной, по его мнению, позиции, которая подобные толкования порождает. Я полагаю, говорит он, что психоанализ — это наука, которая опирается на два разных исследовательских метода

(Валлерстайн говорит о двух «методологиях», но, как это обычно бывает в зарубежной литературе, не отграничивает четко это понятие от понятия «метода»): на классический метод, оставшийся со времени Фрейда для психоанализа основным, и на позже возникший, более формализованный и систематизированный психоаналитический подход к проблеме человеческой психики в ее глубинных проявлениях ("a process for the exploration of the human mind in depth"). Валлерстайн останавливается далее подробно на характеристике этого нового формализованного подхода, давая, однако, его окончательное определение не сразу, а прослеживая процесс его постепенного и противоречивого формирования в работах разно ориентированных теоретиков психоанализа.

(7) Свой обзор он начинает с анализа позиций Хоума, который еще в 1966 г. пытался установить принципиальное различие между двумя существующими подходами к проблеме природы человека: «научным», стремящимся к выявлению объективных закономерностей природоведческого типа, выводимых на основе обобщения более или менее сходных отдельных случаев, и «гуманистическим», основанным на распутывании неповторимых в своем индивидуальном своеобразии «психологических узлов», которые завязываются историей личности. Эти подходы Хоум объявляет принципиально различными и в их смешении, недостаточно четком разграничении видит источник множества концептуальных противоречий и неясностей. Дадим, однако, для уточнения этой непростой мысли слово самому Хоуму. «Открыв, что симптом имеет значение, и построив метод лечения, основанный на этой гипотезе, — пишет он, — Фрейд изъял психоанализ неврозов из области науки ("out of the world of science") и ввел его в область гуманистического постижения ("into the world of the humanities"), ибо «значение»—это не результат объективных причин, а порождение субъекта. В этом — основное различие, ибо логика и метод гуманистического постижения радикально отличаются от логики и метода науки, хотя они не менее важны и рациональны...» [цит. по 7, 208]. Хоум полагает, что Фрейд, «ученый-натуралист, находившийся под влиянием физикалистских идей Гельмгольца», не осознал достаточно ясно, что́ именно в плане дальнейшего развития знаний он совершил. Именно поэтому он (Фрейд) пытался построить психоанализ как «науку», основанную на ряде «моделей психического аппарата», описанных в «Проекте» (1895), затем в так нашумевшей восьмой главе «Толкования сновидений» (1900), в «Я и Оно» (1923) и, наконец, в «Торможение, симптом и страх» (1926).

Валлерстайн пытается уточнить, насколько возможно, это кардинальное для психоанализа, как мы увидим далее, различие между подходами «научным» и «гуманистическим». Он отмечает, что первый из этих подходов стремится к «объяснениям», второй же — только к «интерпретациям». «Наука задает, преимущественно, вопрос «как?» (how?) и отвечает, указывая на механизмы и причины. Гуманистический же подход спрашивает «зачем?» (в данном случае, для более точной передачи смысла оригинала «why?» правильнее, по-видимому, перевести как «зачем?», а не как «почему?» — Редколл.) и получает ответы в плане доводов, т. е. мотивов». И именно раскрытие последних, утверждает Хоум, есть «единственная подлинная задача психоанализа — распознание индивидуальных значений» [7, 209]. Эта задача решается на основе акта «когнитивного понимания» или «когнитивной

идентификации». «При этом способе познания (через идентификацию), используемом в психоанализе, наблюдение фактов (проявлений вербального и невербального поведения в ситуации психоаналитического лечения) направлено на возникновение идентификации, только на основе которой становится возможным и последующее объяснение. Интерпретация — это новый факт, чья достоверность зависит от точности истолкования исходных данных и от полноты этих данных. В отличие, однако, от научного факта, она не может быть продемонстрирована» [цит. Хоума по 7, 209].

При таком понимании, предлагаемом Хоумом, естественно, очевидно, будет признать, что многие «объясняющие» понятия, прочно вошедшие в теорию психоанализа, являются не более, чем метафорами, которыми адекватно ориентированный психоаналитик не должен пользоваться. Они, в свете этой позиции, лишь засоряют психоаналитическую теорию. И Валлерстайн логично отмечает, что к кругу подобных метафор следует отнести даже такие традиционные психоаналитические категории, как разработанное в свое время Фрейдом представление об инстинкте, схему «Оно, Я, Сверх-Я», словом, всю «объясняющую» психоаналитическую концепцию механизмов работы мозга, всю психоаналитическую «метапсихологию», даже в ее клинических приложениях. Все это надо отвергнуть, чтобы освободить психоанализ от дезорганизующего его внутреннего противоречия, от его претензии «с одной стороны, в клинической практике, в методике свободных ассоциаций допускать существование спонтанно действующего субъекта, а с другой — эксплуатировать понятие сознания и разрабатывать научную теорию в терминах причин» [Хоум, цит. по 7, 210].

Валлерстайн отмечает, что он уделяет так много внимания позиции Хоума потому, что она весьма близка все более ширящемуся среди психоаналитиков движению, которое отвергает идеи в свое время весьма популярной т. н. «Ego-психологии» Гартмана, Рапапорта и др., стремившейся создать общую теорию, объясняющую как функции, так и структуру человеческого сознания в условиях и нормы, и болезни. Те, кто в это критическое движение вовлечен, — а таковыми являются, по Валлерстайну, некоторые из наиболее авторитетных современных теоретиков психоанализа — стремятся в довольно решительной форме освободить себя от пользования большинством аспектов психоаналитической метапсихологии (или даже от последней полностью), объявляя ее скорее метафизикой, чем (научной) психологией [7, 211].

(8) Прерывая изложение взглядов Валлерстайна, мы хотели бы отметить, что если он точен (а сомневаться в этом у нас нет никаких оснований), то вряд ли нужно специально обращать внимание читателей, насколько глубок кризис, потрясающий сегодня самые основы психоаналитической концепции, к какому радикальному изменению ее задач и категориального аппарата он приводит. Здесь все, по-видимому, потребуется в дальнейшем продумывать и строить заново. А что касается единственно уцелевшего в этой грандиозной ломке «гуманистического» подхода, стремящегося к ответам на вопрос: «зачем?», основанного на идентификациях и противопоставляемого подходу «научному», то к более точной его квалификации мы еще вернемся ниже. Пока же вновь обратимся к Валлерстайну.

(9) Прежде, чем перейти к изложению своего собственного понимания, Валлерстайн останавливается на позиции еще двух весьма известных психоаналитиков, участвующих в описываемой, несомненно

наиболее важной из современных внутрипсихоаналитических дискуссий — Шефера и Дж. Клайна. Шефер доводит критику метапсихологических представлений до крайности в статье (1972) «Интернализация: фантазия?»[1]. Всякая попытка «интернализации» является, по его мнению, фантазией и принципиально не может быть предметом науки. Им, так же как Хоумом, дисквалифицируются в этом плане не только такие исходные психоаналитические представления, как «психическая энергия», напряженность катексисов и т. п., но вообще всякие объясняющие ссылки на любые фундаментальные структуры, на «глубинные» или «поверхностные» факторы, на иерархическую организацию психических состояний, на регулирующие взаимодействия. Все это, по Шеферу, создает лишь иллюзорные псевдообъяснения. Неприкосновенны только первичные «психические события» (mental events), а если мы переводим их на язык «интернализации», мы их не обогащаем, но, напротив, только обедняем.

Здесь Шефер, как это справедливо подчеркивает Валлерстайн, идет даже дальше Хоума, ибо последний рассматривает как важную задачу психоанализа «интерпретацию», т. е. раскрытие значений в понятиях мотивов. По Шеферу же уже сама апелляция к мотиву как к объясняющей категории чревата опасностью псевдообъяснения. И Валлерстайн, несомненно, прав, отмечая, что высказываясь так, Шефер уже совершенно открыто переходит за границу, отделяющую психоанализ от психологии чисто экзистенциалистского толка. Он прав и тогда, когда формулирует, чтó же объединяет Шефера и Хоума. Основным здесь является их упрек психоанализу в том, что последний претендует на слишком многое: объяснять, «как» работает сознание, каковы его законы, выводимые на основе изучения «множеств» индивидов в предположении, что у этих индивидов существуют сходные общие для них черты, и одновременно интерпретировать неповторимость индивида, раскрывать, «зачем» конкретная личность делает то, что она делает.

Эта одновременная, не всегда хорошо понимаемая теми, кто ее допускает, направленность психоанализа на решение двух кардинально разных задач является, по мнению ряда наиболее видных современных его теоретиков, главным источником существующих в нем путаницы и неясностей ["a source of great complexity and unending confusion,—7, 215). В наиболее отчетливой форме эта идея была высказана незадолго до его трагически ранней кончины Дж. Клайном, поставившим вопрос о двух разнородных традициях в психоанализе, о необходимости понять, что в последнем представлены «два существенно разных научных подхода» [7, 215]. По Клайну, различие здесь не в том, что один из этих подходов опирается на «энергетические модели», в то время как другой их отвергает. Оно имеет гораздо более глубокий смысл. В нем отражается существование «двух разных философий исследования и объяснения». Каждый из этих подходов приводит к особому пониманию того. чем является психоанализ, на решение каких задач он направлен, как должно быть организовано психоаналитическое изучение, к какого рода объяснениям оно должно стремиться. И снова, как рефрен: «Трагедией является то, что эти две ориентации часто

[1] «Интернализация», от «internal» — «внутренний», здесь употребляется как обозначение стремления объяснять психологические соотношения и картины ссылками на лежащие в их основе «внутренние» механизмы, не только мозговые, но и понимаемые лишь как абстрактные функциональные пространственно протяженные модели.

смешивались, внося дезорганизацию в теорию и эмпирию» [цит. по 7, 216].

В вопросе об отношении к этим двум подходам Дж. Клайн придерживается той же, в основном, позиции, на которой стоят Хоум и Шефер: метапсихологический подход (которому так много уделил внимания в свое время Фрейд!) должен быть полностью, по его мнению, выведен за рамки теории психоанализа, решительно из нее исключен. И Валлерстайн подчеркивает, что расхождения мнений, существующие по этому поводу в современной психоаналитической литературе, — это подлинное ядро, суть споров, ведущихся в настоящее время среди психоаналитиков в отношении статуса психоанализа как науки. Мы запомним это справедливое замечание, ибо далее, когда мы также выскажемся по поводу этого статуса, мы будем, во всяком случае, чувствовать себя свободными от упрека, что уходим в проблематику второстепенную, что отвлекаемся от того, что самими же психоаналитиками рассматривается как наиболее важное.

(10) Валлерстайн переходит затем к изложению своего собственного понимания затронутой им кардинальной (для психоанализа) проблемы. Но в обычной для него манере он не спешит с окончательными формулировками. Он предпосылает им изложение взглядов других теоретиков, с которыми чувствует себя более или менее солидарным.

Первым из таких исследователей он называет Моделла, выступившего на заседании Американской психоаналитической ассоциации (АПА, 1971), посвященном проблеме «Моделей психического аппарата». Моделл также отправлялся от идеи двух разных аспектов психоанализа, двух «контекстов». По его словам, Фрейд пытался установить общие «законы» психического функционирования, понимая таковые как аналогичные законам естествознания, рассматривая человека как часть природы, как объект, испытывающий те же воздействия, которым подвергаются другие «естественные» феномены». Но вместе с тем Фрейд выявил другой «контекст»: человека как продукта цивилизации, культуры, истории, его собственной и общества, которое его породило и воспитало.

Моделл полагает, что психоанализ — это единственная наука, которая охватывает оба эти плана, создавая свои конструкции как в плоскости природоведения, так и в аспекте индивидуальной истории субъекта. Такое понимание было поддержано на упомянутом выше заседании АПА Бреннером и другими. Валлерстайн также к нему присоединяется, но полагает, что должны быть сформулированы уточнения, позволяющие понять, каким образом можно добиться логически непротиворечивого сочетания столь разных концептуальных подходов.

В поисках этих уточнений он обращается к представлениям Сандлера и Иоффе (1969), поставивших в своей работе «К основной психоаналитической модели» проблему разграничения между тем, что они называют «доступными опыту» («опытными») и «недоступными опыту» («внеопытными») элементами сознания[2]. «Опытные» элементы — это желания, стремления, воспоминания, фантазии, ощущения, восприятия, чувства и т. п., «которые могут быть как осознаваемыми, так и несознаваемыми». Именно эти феномены объявляются основным объектом психоаналитического исследования, областью, в которой уместны

[2] Для более точной передачи смысла оригинала мы считаем целесообразным именно так перевести употребляемое Сандлером и Иоффе выражение "experiential and non-experiential realms of mind". — Редколлегия.

вопросы «зачем?», а ответы даются в понятиях значений, или, на языке Дж. Клайна, «интенциональности», «направленных тенденций». Валлерстайн добавляет к этой характеристике, что этот «опытный» мир подчиняется своим специфическим закономерностям, что в нем действует своя логика и что он является только «частью нашей (т. е. психоаналитической) области как науки» [7, 218].

Совсем по-иному стоит вопрос о «внеопытных» компонентах психики. «Это область сил и энергий, механизмов и аппаратов, организованных биологических и психологических структур, органов чувств и опосредствующих разрядов. «Внеопытный» мир нам как таковой неизвестен... с этой точки зрения весь аппарат сознания находится во «внеопытной» области и становится нам доступным (ограниченно) только через ту или иную форму субъективного опыта. «Внеопытное» — это область не феноменов сознания, а объясняющих конструкций, которые определяют упорядоченность и взаимосвязь этих феноменов. Возникновение таких конструкций — это результат усилий Фрейда, а в дальнейшем «Ego-психологии» создать рациональную научную теорию сознания, или, как принято выражаться, теорию структуры психического аппарата» [цит. по 7, 218].

Каким же образом можно убедить в ценности подобных объясняющих конструкций, спрашивает Валлерстайн, тех психоаналитиков, которые видят в них лишь засорение психоаналитической теории, только попытки заставить психоанализ отвечать на неадекватный для него вопрос: «как?», только обращение к суперструктурам, о которых многие полагают, что они вообще гораздо ближе к метафизике, чем к науке? Ответ на этот вопрос он и находит у Сандлера и Иоффе, подчеркивающих существование интимных, глубоких связей между областями «опытного» и «внеопытного». «Изменения во «внеопытном» обуславливаются опытом ["are mediated by experience",—7, 219. Точнее, следуя за смыслом, здесь следовало бы, возможно, перевести эту фразу так: «обуславливаются практикой»], а их использование или модификации создают, в свою очередь, новые опытные данные». Эту мысль Сандлер и Иоффе поясняют, противопоставляя процесс фантазирования («fantasying») как организованную психическую функцию, механизмы которой полностью находятся в области «внеопытного», конкретным «фантазиям» (fantasies), являющимся неотъемлемым элементом «опытного». Углубляя эту мысль, Валлерстайн напоминает популярное выражение известного нейро-биохимика Сеймура Кэти: «когда-нибудь будет создана биохимия памяти, но никогда — биохимия воспоминаний» и использует предложенное Гиллом (1963) различие между **механизмами** психологической защиты (как элементом «внеопытного») и ее **проявлениями** (как неотъемлемым элементом «опытного»): «Механизм защиты — это не более, чем конструкция, не более, чем понятие, указывающее на способ работы сознания... объясняющее как поведение, чувства, идеи тормозят, отводят, замедляют или каким-то иным образом модулируют нежелательные разряды аффектов. «Защиты» же — это непосредственные формы поведения, проявления аффективности, мыслительной деятельности, которые работают в целях защиты» [7, 220]. В сложных случаях эти психологические паттерны могут приобретать характер развитых форм активности, операций, маневров и т. п.

(11) Принимая такое разграничение между «опытным» и «внеопытным», Валлерстайн формулирует в заключение свое собственное понимание. Он полагает, что в создавшихся на сегодня условиях науч-

ная задача психоанализа выступает как тройная. Эту свою основную мысль он поясняет также на примере защит.

Прежде всего, психоанализ должен изучать клинические феномены, выступающие как **защиты.** Это—систематическое исследование «опытной» области, мира переживаний, форм поведения, аффектов, идей, защитная функция которых часто не осознается, хотя и может быть доведена до сознания в результате работы психоаналитика. Это — постановка вопросов типа «зачем?», ответы на которые даются анализом значений, относящихся к внутреннему миру субъекта, к истории его личности. Именно здесь, по Хоуму, Шеферу, Д. Клайну и их единомышленникам, — основная сфера психоанализа, область, в которой его применение наиболее продуктивно и оправдано. Валлерстайн, однако, к такому ограничивающему истолкованию **не** присоединяется, ибо, по его мнению, придерживаться такого понимания — значит видеть только один из трех неидентичных аспектов, в которых психоанализ выступает как метод познания.

Второй аспект — это изучение защитных **механизмов** как подчиненных определенным закономерностям функционирования. Раскрытие этих закономерностей должно производиться в соответствии с обычными нормами познания, оно полностью связано со сферой «внеопытного», с тем, что не осознается, ибо, как отмечает Гилл, «можно осознать только те содержания, которые являются **результатом** работы сознания, но не эту работу, как таковую [цит. по 7, 221]. При рассмотрении этого второго аспекта задают вопросы типа «как?», а отвечая ссылаются на «причины», «силы», характерные не для индивида, а проявляющиеся универсально как особенности психики, свойственные всем людям.

Хоум, Дж. Клайн и др. отказываются видеть в этих **надиндивидуальных** характеристиках правомерный предмет психоаналитического исследования; по мнению же Валлерстайна, единственное, что может оправдать претензии психоанализа на роль науки об общих закономерностях нормального и нарушенного сознания, так это **только исследование им именно этих надиндивидуальных, универсальных особенностей.**

И третий аспект, логически вытекающий из двух предыдущих, — это вопросы связи, взаимозависимости между ответами на вопросы «как?» и ответами на вопросы «зачем?», между объясняющими конструкциями, к которым приводит изучение области «внеопытного», и субъективно переживаемыми феноменами, непосредственно данными субъекту в его индивидуальном опыте. Только при стремлении вскрыть эти связи, познать их психоанализ может, по Валлерстайну, претендовать на статус «подлинной науки», которая является одновременно как общей психологией, освещающей законы функционирования человеческого сознания в условиях здоровья и болезни, так и знанием, объясняющим неустанную, неповторимую в своем своеобразии смену значений и мотивов, составляющую непосредственно реальное или иллюзорное, явное или скрытое основное содержание жизни каждого индивида. Смешивать, отождествлять эти два плана, методы и логику их исследования, по Валлерстайну, недопустимо. Но столь же недопустимо игнорировать какой-либо из них. Центральной проблемой психоанализа как науки является исследование **взаимосвязи** этих планов, однако «оно в настоящее время только начинается».

(12) И, наконец, только приближаясь к завершающим формулировкам, Валлерстайн вспоминает о проблеме, имеющей, на наш

взгляд, первостепенное значение для всего этого большого спора: об отношении (сохраняемого!) метапсихологического аспекта (ответов на вопросы «как?») к теории работы мозга. Важность и сложность этой проблемы очевидны, однако уже по свернутости ее обсуждения (она затрагивается Валлерстайном лишь в примечании внизу страницы) можно предположить, что углубляться в нее Валлерстайну не очень желательно.

Насколько можно понять из его очень сжатых, на этот раз, высказываний, позиция, занимаемая им в отношении проблемы метапсихологии («объяснений»), примерно, такова.

Общая психоаналитически ориентированная психология (метапсихология) остается связанной с теми же главными источниками информации, которые использует психоанализ, т. е. с данными интроспекции и эмпатии. Она, следовательно, отнюдь не опирается на модели типа используемых в физике или других естественных науках. «Для меня, — подчеркивает Валлерстайн, — метапсихология не является, как для некоторых других, эквивалентом биологических или нейробиологических схем, применяемых для объяснения психологических феноменов. Неврологизация психологии, которая может происходить в рамках метапсихологии (в результате использования, например, «энергетической» теории), устранима... без того, чтобы этим был нанесен метапсихологии сколько-нибудь существенный ущерб. Согласно моему пониманию, метапсихология — это гораздо скорее лишь **особая форма обобщения,** конструирование общих объясняющих психологических схем, отнюдь не претендующих на то, что только на основе их сочетанного и систематического использования поведение может быть полностью постигнуто в его сверхдетерминированности и множественности характеризующих его функций» [7, 224].

Валлерстайн заканчивает свою статью повторным указанием на наличие в современном психоанализе двух взаимно-дополняющих течений. Из них одно может совершать ошибки в силу своего стремления к максимальной научной строгости и понятной для всех обоснованности, не совместимых порой с тем, что раскрывается обостренным клиническим и психологическим видением исследователя. Другое же рискует приводить к заключениям недостаточно точным и слабо аргументированным из-за чрезмерного доверия к эмпатическим идентификациям и интуиции. И только их сочетанное применение, резюмирует он, способствует развитию психоанализа как науки, формализованность и рационализм которой не устраняют ее способности улавливать психологические оттенки настолько тонкие, что они не всегда доступны для вербализации и коммуникации.

(13) Мы уделили так много внимания работе Р. С. Валлерстайна по следующим причинам.

Наша основная задача обрисовать подход к проблеме неосознаваемой психической деятельности, который выступает как обоснованно, по нашему мнению, противостоящий концептуальным истолкованиям этой проблемы, преобладающим на Западе. Наиболее теоретически развитым и популярным за рубежом из подобных истолкований является, несомненно, даваемое психоанализом. Психоаналитическая доктрина претерпела, однако, за последние десятилетия, как уже неоднократно подчеркивалось выше, глубокое и сложное развитие, существенно отдалившее ее не только от исходных построений Фрейда, но и от представлений таких его ранних последователей, как Адлер и Юнг, Ференчи и Ранк, Райх и М. Клайн, и даже от тео-

рий, разрабатывавшихся в 50-х гг. американскими неофрейдистами (Фромм, Салливен, Хорни и др.).

Отсюда вытекает не легко и не всегда успешно решаемая задача: избежать в дискуссии с психоанализом ориентации на его устаревшие, частично им самим уже пересмотренные и отвергнутые схемы и сосредоточить обсуждение на том, что характеризует психоанализ новейший, на том, что является на сегодня наиболее поздним продуктом развития психоаналитической мысли, ею самою признаваемым как ее современное, путь даже еще in statu nascendi находящееся выражение. Чтобы решить эту задачу, мы использовали весьма интересную работу Р. С. Валлерстайна как **своеобразное введение в современную философию психоанализа.** В этой работе ярко отражены основные черты современного психоанализа: тенденции его развития за последние годы, волнующие его теоретиков большие методологические проблемы, концептуальные позиции, которых придерживаются спорящие по поводу этих проблем, и перспективы дальнейшего развития психоаналитической теории, в результате подобных споров намечаемые. Думается поэтому, что, обсуждая работу Валлерстайна, мы избежим опасности говорить об устаревшем, — напротив, подобное обсуждение существенно поможет нам оставаться в рамках рассмотрения того, что является для теории психоанализа на сегодня наиболее актуальным.

(14) Какие же специфические черты новейшего развития психоанализа нашли свое отражение в избранной нами «модели» этого развития? Основным здесь является, по-видимому, следующее.

Это, во-первых, бесспорное расширение диапазона форм психической деятельности, форм душевной жизни человека, к которым обращается психоанализ современный по сравнению с ортодоксальным фрейдизмом. От былой сосредоточенности психоанализа на психологических проявлениях сексуальности и эротики осталось, если судить по общему стилю проблем, затрагиваемых Валлерстайном и упоминаемыми им видными авторами, довольно мало. Не отвергая, что естественно, значения этих проявлений как важного предмета психологических исследований и специфической терапии, психоанализ все более обращается к рассмотрению и множества других мотиваций и эмоциональных состояний, превращаясь постепенно, говоря словами Дж. Клайна, в своеобразную «психологию смыслов и решений, возникающих при кризисах в личной жизни индивида». Отсутствие даже упоминания Валлерстайном вопросов эротики при обсуждении коренных методологических проблем психоаналитической теории, во всяком случае, очень показательно. И было бы, конечно, весьма трудно отрицать прогрессивный характер этой эволюции, которая критиками психоанализа зачастую не учитывается.

Второй, не менее важный, момент, в котором своеобразно отразилось не только настоящее, но и прошлое психоанализа. Обсуждая вопрос о научности психоанализа, Валлерстайн указывает как на необходимое условие преобразования психоанализа в подлинную науку на сохранение в нем его «второго» аспекта — аспекта метапсихологических, объясняющих теоретических конструкций, ответов на вопросы не только типа «зачем?», но и типа «как?», формализованных трактовок, обобщений, имеющих характер законов, подобных тем, которые являются главным содержанием любых других наук гуманитарного и биофизического плана. Требованием сохранения этого «объясняющего» аспекта Валлерстайн противопоставляет себя Дж. Клайну, Хоуму, Шеферу и другим, которые видят в объясняющей «физикалистской»

метапсихологии Фрейда лишь груз, отягощающий психоаналитическую теорию и подлежащий, в целях продуктивного дальнейшего развития последней, возможно полному из нее устранению. Одновременно, и этот момент в методологическом отношении для нас кардинален, Р. С. Валлерстайн категорически отказывается видеть в «объясняющих», метапсихологических конструкциях проявление «неврологизации» психоанализа, явную или замаскированную апелляцию к каким-либо нейрофизиологическим моделям, способным объяснять динамику психологических состояний.

(15) Такова картина, обрисованная Валлерстайном. Она заслуживает серьезного внимания не только как изложение личной позиции этого крупного исследователя. Не в меньшей степени она важна как создающая общую перспективу противостояния, согласия и расхождения, мнений по поводу существа и дальнейшей судьбы психоаналитической концепции, существующего на сегодня в рамках самой же психоаналитической литературы. Как к этой картине, обрисованной отчетливыми, резкими мазками, следует отнестись? Разберемся в этом неторопливо, ибо здесь затрагиваются моменты, первостепенно важные в методологическом отношении.

Мы не будем вновь возвращаться к оценке первой из упомянутых выше черт новейшего развития психоанализа, к расширению круга исследуемых им душевных движений, к его освобождению от гипертрофированной сосредоточенности на вопросах пола, столь характерной для раннего Фрейда. О продуктивности этой тенденции уже было сказано. Значительно более сложным оказывается определение отношения к тому, что в изложении Валлерстайна выступает как аспекты второй (требование сохранения метапсихологии) и третий (требование исследования связей между аспектами первым и вторым, между ответами на вопросы «зачем?» и «как?»).

Повторим сначала то, что общеизвестно. Потребность в создании «объясняющих» конструкций хорошо ощущалась уже самим Фрейдом. Именно идя навстречу этой потребности, он и создал свою физикалистскую метапсихологию с ее энергетическими моделями, зарядами возбуждения, напряженностью катексисов и т. п. Спорить о том, было ли это завуалированным возвратом к нейрофизиологии, без которого убежденный детерминист и механистический материалист Фрейд воспринимал всю созданную им систему как логически незавершенную, необъяснимую, вряд ли стоит. На наш взгляд, созданием метапсихологии Фрейд, действительно, пытался скомпенсировать беспомощность нейрофизиологии рубежа веков, совершенно не вооружавшую его для понимания мозговой основы психических процессов. Но такого рода оценки относятся скорее к истории, чем к логике науки. Нас же интересуют сейчас вопросы, связанные с последней.

Создание психоаналитической метапсихологии представляет интерес не столько как характеристика стиля мысли Фрейда, сколько как акт, возвращающий нас к сложнейшей философской проблеме: должна ли вообще теория психологических процессов апеллировать для объяснения изучаемых ею феноменов к категориям для нее гетерогенным, к понятиям, выходящим логически за ее рамки? Нетрудно заметить, что, касаясь этой темы, мы обращаемся к кругу вопросов, обсуждение которых происходит на протяжении уже долгих десятилетий и решение которых имеет очень разное философское звучание.

Прежде всего здесь, естественно, возникает вопрос: в какой степени правомерно или даже обязательно обращение в данном случае, как к объясняющим категориям к представлениям нейрофизиологи-

ческого порядка? Характерно, что даже по этому, казалось бы, элементарному вопросу в литературе высказываются весьма разные мнения. На страницах журнала "Revue de med. psychosomatique" [6] недавно был, например, поставлен в явно иронической форме риторический вопрос: может ли теория работы мозга объяснить, почему, скажем, данный конкретный мужчина любит именно данную конкретную женщину или почему его привлекает именно данный, а не какой-либо иной вид профессиональной деятельности и т. д.? А теоретическим и политическим журналом ЦК КПСС «Коммунист» [3] было обращено в начале 1977 года внимание на ошибки, возникающие при недоучете того, что «психология и физиология высшей нервной деятельности изучают разные стороны деятельности мозга и, следовательно, объекты и предметы их исследования не должны отождествляться», что следует «изучать общественно-историческое происхождение наиболее сложных форм сознания, рассматривая его в качестве самостоятельного объекта исследования, который **невозможно исчерпывающе объяснить только физиологическими процессами,** хотя последние обеспечивают и делают возможной **реализацию** сложных форм сознательной деятельности человека» [3, 68. В обоих случаях подчеркнуто нами. — Редколл.].

Этими высказываниями выразительно подчеркивается методологическая несостоятельность того варианта решения психофизической проблемы, который широко известен как подход **редукционистский,** стремящийся к выведению закономерностей более сложного (в данном случае психологии) из закономерностей более простого (в данном случае физиологии) и именно в этом усматривающий основную цель и успех научного значения.

С другой же стороны, вряд ли следует детально обосновывать не меньшую методологическую несостоятельность противоположного, отнюдь еще не устраненного понимания, отвергающего необходимость **какого бы то ни было** увязывания наиболее сложных психических процессов с их мозговой основой, отрицающего **любую** возможность объяснения высших форм душевной жизни процессами, развертывающимися на системном мозговом уровне. Основным аргументом против такого понимания является опыт современной нейропсихологии — направления клинико-психологической мысли, широко известного как в Советском Союзе, так и за рубежом, на характеристике которого мы поэтому сейчас задерживаться не будем.

(16) На фоне этого разнобоя мнений, их антагонистической поляризации, неизбежно возникает вопрос: чем же эти расхождения трактовок обуславливаются? Теоретически углубленный ответ на подобный вопрос приводит к указанию на проявляющиеся в данном случае различия в философской ориентации исследователей, на их тяготение в одном случае к упрощенно механистическим, в другом — к открыто или завуалированно идеалистическим трактовкам, т. е., в конечном счете, на своеобразие их социальной, классовой идеологии. Фактором же, способствующим возникновению этих односторонних и потому философски неверных интерпретаций, является недостаточная четкость, недостаточная отработанность категорий, используемых с целью их обоснования.

Следует учитывать, что когда говорят о «связи» между психической деятельностью и ее мозговым субстратом, используют термин не однозначный. Этот термин может означать, во-первых, то, что психический процесс полностью определяется, полностью детерминирует-

ся в своем развертывании процессом мозговым; во-вторых, что психический процесс осуществляется, реализуется «в результате», «на основе» процесса мозгового как своей необходимой предпосылки; и, наконец, в третьих, то, что, развертываясь на основе активности мозга, психические процессы в определенных отношениях тем самым от нее глубоко «зависят», но в то же время **их динамика, их направленность и, следовательно, их содержательная сторона детерминируются факторами, которые качественно от этой активности отличаются:** они (эти факторы) относятся к области отношений не нейрофизиологических, а социальных, связывающих человека в результате его внешней (объективной) и внутренней (субъективной) психической деятельности с миром, в котором он обитает.

Вряд ли нужно пояснять, что первый из этих вариантов и есть выражение позиции редукционизма в ее чистом виде, второй отражает подход материалистический, способный, однако, иногда соскальзывать на путь упрощенных механистических толкований, и что только в третьем представлен **диалектико-материалистический, марксистский** подход, учитывающий всю качественную сложность психофизической проблемы и недопустимость ее философски односторонней, а тем самым искаженной трактовки [2; 4].

(17) Мы задержались на приведенных выше довольно элементарных, по существу, методологических положениях, в частности, потому, что они хорошо помогают понять, в чем заключается огромный вклад, внесенный в понимание отношений, существующих между психикой и мозгом, идеями Д. Н. Узнадзе.

Психическая деятельность человека, реализуясь мозгом и, следовательно, «завися» от работы мозга, этой работой, как мы видели, полностью не детерминируется. В качестве основного, по существу, детерминирующего фактора здесь выступает активность человека, направленная на преобразование им мира, в котором он живет (а тем самым на преобразование им и самого себя), т. е. его **деятельность во всех ее бесконечно** разнообразных объективных проявлениях и **во всей сложности ее внутренней организации, ее** нелегко постигаемого скрытого **психологического строения.** Именно здесь, в этой деятельности, **мы должны искать непосредственные объясняющие** факторы душевной жизни человека, то, что позволяет понять эту жизнь как процесс, подчиненный определенным закономерностям и способный поэтому стать предметом строго научного, т. е. формализуемого и коммуницируемого, знания.

Огромной заслугой Д. Н. Узнадзе и явилось то, что он смог перевести в глубокой теоретической форме эти основные положения марксистской философии сознания на язык понятий психологии, произведя анализ природы человеческой деятельности и показав всю неправомерность отграничения ее внешнего объективного выражения от ее внутреннего субъективного плана, **т. е. плана формирования, преобразования и объективной реализации психологических установок.** Устранив иллюзию непосредственной зависимости объективных реакций от стимула, Д. Н. Узнадзе утвердил **нерасчленимое единство** обоих планов деятельности, т. е. невозможность рассматривать объективные проявления деятельности в отрыве от обуславливающих их психологических установок, так же как последние — в отвлечении от порождающей их объективной деятельности. Тем самым были созданы совершенно новые концептуальные возможности для объяснения мотивов, значений и закономерностей организации человеческого поведе-

ния. А провозгласив тезис **о неосознаваемости** психологических установок (неосознаваемости только возможной или неустранимой — на этом мы сейчас задерживаться не станем), Д. Н. Узнадзе открыл путь для объяснения, каким образом бессознательное широко включается в структуру человеческой деятельности в качестве ее скрытого, нелегко объективируемого, но тем не менее исключительно важного и неотъемлемого функционального компонента [2; 4; 5].

(18) Вернемся теперь вновь к статье Р. С. Валлерстайна.

Мы можем непосредственно после вышесказанного сформулировать нашу позицию в отношении трех следующих основных методологических положений, защищаемых Валлерстайном: (а) необходимости сохранения в концепции психоанализа ее метапсихологического аспекта; (б) понимания этого аспекта как не требующего «неврологизации» психоанализа; (в) возможности объяснения динамики психических процессов без выхода за рамки теории этих процессов.

По поводу первого из этих положений необходимо сказать следующее.

Можно, конечно, только присоединиться к очень важной мысли Валлерстайна о том, что внесение в теоретическую систему психоанализа подхода строгого, формализованного, «объясняющего», отвечающего на вопросы не только типа «зачем?», но и типа «как?», подхода, стремящегося к установлению объективных закономерностей, — это, действительно, conditio sine qua non превращения психоанализа в подлинную науку. Вряд ли нужно напоминать, что соображения именно подобного рода неустанно звучали в советской критике психоанализа на протяжении десятилетий. Знание, не стремящееся к выявлению объективных закономерностей и к их рациональному раскрытию («объяснению»), существует (на уровне практической эмпирии, интуитивного, художественного постижения и т. д.), но **наукой его ни при каких условиях назвать нельзя.** И это обстоятельство заранее, конечно, предопределяет стиль общей концепции бессознательного, которую всем работающим в области теории неосознаваемой психической деятельности еще предстоит создавать: эта концепция может быть только формализованной, только стремящейся к выявлению «объясняемых» зависимостей, т. е. подчиненной той же рациональной логике познания, которой подчинены любые другие науки о человеке. «Гуманистический» подход при всей его рафинированности, при всей его устремленности на развязывание тончайших психологических «узлов», нюансов неповторимо индивидуального характера (а, может быть, именно вследствие этой устремленности **только** на индивидуальное, именно вследствие этого стремления избегать сравнений и **обобщений)** привести к созданую науки о бессознательном (по крайней мере, «науки» в общепринятом значении этого слова), безусловно, не может.

Поэтому, требуя сохранить в системе психоанализа его формализованный, «объясняющий» аспект, Валлерстайн оказывается стоящим, на наш взгляд, на гораздо более прогрессивных позициях, чем Дж. Клайн и его сторонники. Это должно быть сказано твердо. Но в таком случае сразу же возникает новый, более сложный вопрос: как следует мыслить этот «объясняющий» аспект? На языке каких понятий, каких категорий он должен говорить?

(19) Мы подчеркнули выше всю упрощенность редукционистского подхода, пытающегося интерпретировать закономерности динамики, развертывания психических процессов как определяемые **только** закономерностями мозговой деятельности, лежащей в основе этих про-

цессов. Но означает ли такое понимание, что мы вообще отказываемся обращаться к теории работы мозга для «объяснения» каких бы то ни было сторон работы сознания? Как мы уже отмечали, такой отказ трудно было бы оценить иначе, как ошибку типично идеалистического типа.

Что говорит о недопустимости такого отказа? Это, прежде всего, конечно, успехи современной нейропсихологии, на множестве примеров показавшей, как определенные изменения мозговых структур вызывают с неизбежностью специфические изменения психической деятельности и сознания. Функциональная дифференцированность больших полушарий головного мозга, своеобразие функции лобной коры, связь мнестической деятельности с особенностями пространственной синхронизации электрических потенциалов мозга, вся, по существу, клиника очаговых поражений головного мозга на его корковом и подкорковом уровнях — все это создает неисчислимое количество поводов говорить о том, насколько были бы обеднены возможности объяснения психической деятельности, не только в ее элементарных, но и в наиболее сложных, высших личностных проявлениях, если бы на апелляцию к мозгу при поиске таких объяснений было бы наложено вето. Поэтому, когда Валлерстайн отклоняет «неврологизацию» объясняющих категорий психоанализа, он совершает, на наш взгляд, ошибку, резко суживающую возможности этих категорий. Разрабатывать теорию психоанализа, строить теорию бессознательного без апелляции к работе мозга — значит стать на принципиально неправильную в методологическом отношении позицию. Это также должно быть сказано очень твердо.

(20) И, наконец, третий момент — о возможности объяснения психического психическим же. Вопрос этот очень сложен, и, анализируя его, надо быть точным в формулировках.

Мы упомянули выше о «внутренней» стороне деятельности, о ее субъективном аспекте, раскрывающемся в значительной степени как динамика психологических установок. Эти установки связаны, естественно, как и любое другое проявление психической жизни, с лежащей в их основе физиологической активностью. Их возникновение, сохранение, изменения и угасание неотрывны от сопровождающих их реализующих их физиологических процессов. В работах школы Д. Н. Узнадзе (выполненных И. Т. Бжалава, З. И. Ходжава и др.) в свое время было уделено этой проблеме немало внимания. Однако психологические установки, опять-таки как и любое другое психическое явление, **направляются** в своем развертывании, в своей динамике не физиологическими факторами, а **отношениями, складывающимися между человеком и миром, практикой этого человека, его неустанной деятельностью** [5].

Эта динамика установок подчиняется определенным закономерностям, которые также были детально изучены и описаны в школе Д. Н. Узнадзе. В своих простейших формах подобные закономерности выступают как «контрастность» или «ассимилятивность» установок и т. д. Но существуют и неизмеримо более сложные их формы, к которым анализ неминуемо обращается, как только предметом исследования становится реальная душевная жизнь человека во всей пестроте, в бесконечных переплетениях составляющих ее психологических установок осознаваемого и неосознаваемого типов.

Мы уже неоднократно говорили выше, как с позиции теории психологической установки раскрывается, например, проблема психологической защиты: очень трудно понять эту защиту иначе, как процесс взаимодействия и преобразования психологических установок, в ре-

зультате которого травмирующий психологический фактор утрачивает свою значимость и тем самым свое патогенное влияние. Перед нами в данном случае, следовательно, особая форма закономерного изменения психологических установок, играющая, как это показали специальные — и психоаналитические, и непсихоаналитические — исследования, исключительно важную роль в душевной жизни человека. И форм аналогичного преобразования установок, благодаря которому достигается выполнение ими организующей роли в психике, можно приводить сколь угодно много.

В качестве примеров здесь можно привести хотя бы хорошо известный феномен проекции (переноса субъектом своих личностных черт на другого человека с формированием на этой основе эмоционального отношения к этому другому лицу); изменение личностных установок, закономерно возникающее у субъекта под влиянием осознания им какой-то присущей ему формы психической или физиологической неполноценности; стремление к материальному, «вещному» символическому выражению эмоционально насыщенных переживаний, лежащее в основе многих традиционных обрядов и ритуалов; приобретение особого значения объектом, который являлся ранее предметом эмоционально напряженной, активной деятельности (феномен, объясняющий многое в формировании эмоционального отношения родителей к детям, учителя к ученикам, того, кто спас, к тому, кто спасен, особенно если акт спасения был сопряжен с опасностью для жизни спасавшего) и т. д. и т. п.

Подобного рода изменения установок имеют характер своеобразных **объективных закономерностей.** Тем самым они, эти изменения, **становятся принципами, выполняющими функцию объяснения смысловой стороны, функцию объяснения направленности поступков и действий конкретных людей.** Вместе с тем, как уже было отмечено выше, сами они отнюдь **не допускают редукции на физиологию**, отнюдь не выводимы из закономерностей, из логики нейрофизиологических процессов.

Перед нами, таким образом, обрисовываются весьма своеобразные и очень сложные отношения. Объяснять динамику, направленность психических процессов, движения личности мы можем лишь апеллируя к деятельности. Однако психологический анализ, обессмертивший имя Д. Н. Узнадзе, показал, что связь между деятельностью субъекта и тем, что ее объективно вызывает, так же как между этой деятельностью и тем, что она психологически в субъекте порождает, оказывается **не непосредственной, а опосредованной динамикой психологических установок и закономерностями, которым эта динамика подчинена.** При игнорировании этих закономерностей зависимость сознания от деятельности сохраняет всю свою силу **как тезис методологический, философский. Но в тезис психологический она превращается только в том случае, если эти закономерности учитываются.**

Это обстоятельство лишний раз подчеркивает значение, которое теория установки имеет для более глубокого понимания психологического аспекта деятельности человека. Вместе с тем оно разъясняет, при каком единственно понимании для нас становится приемлемой мысль Валлерстайна **о возможности искать объяснения динамики психических процессов, оставаясь в рамках психического же.** При любом ином истолковании этой мысли мы неминуемо соскальзываем на идеалистические и, в конечном счете, псевдонаучные интерпретации.

(21) Мы сформулировали, таким образом, три наиболее общих ме-

тодологических положения, которые определяют нашу позицию в отношении проблемы неосознаваемой психической деятельности: (а) необходимость внесения в рассмотрение этой проблемы того же рационализма, той же логики постижения, той же строгости используемых «объясняющих» категорий и анализа, которые характеризуют науку в любых иных созданных ею областях человеческого знания; (б) невозможность изучать активность бессознательного в отрыве от лежащей в основе этой активности, от реализующей эту активность работы мозга и, одновременно, понимание того, что, осуществляясь работой мозга, активность бессознательного, как и любая другая психическая деятельность, детерминируется в своем развертывании не только особенностями этой работы. Являясь компонентом психики в глобальном смысле этого понятия, бессознательное, как и сознание в целом, определяется в своей основной направленности прежде всего деятельностью человека, системой отношений, которые устанавливаются между человеком и миром; (в) благодаря идеям и трудам Д. Н. Узнадзе мы смогли лучше понять природу бессознательного, одной из моделей которого является неосознаваемая психологическая установка; законы же динамики этих установок позволяют более глубоко объяснять поведение человека, выявляя психологическую сложность внутреннего, субъективного плана его деятельности, всегда скрыто присутствующего за бесконечным разнообразием внешних форм ее объективного выражения.

Эти три принципиальных положения определяют, как уже было сказано, наш общий подход к проблеме бессознательного. Мы попытались их развить в введении, во всех наших вступительных статьях и в настоящей, заключительной статье монографии. И они же, естественно, определяют наше общее отношение ко всему исключительно сложному и обширному содержанию этого труда.

(22) А теперь несколько слов, которыми мы хотели бы предварительно (до выхода в свет четвертого, обобщающего тома настоящей монографии) заключить все наше изложение.

Идеи, которые побудили нас проявить инициативу в создании настоящей монографии, просты и могут быть подытожены в виде трех основных положений.

Мы убеждены в реальности существования того, что принято обозначать как *бессознательное, как неосознаваемая психическая деятельность, бессознательное психическое, подсознательное, предсознательное, неосознаваемая психологическая установка* и разными другими терминами. Каждое из этих названий имеет свой смысловой оттенок, но все они обозначают, в основном по крайней мере, одну и ту же психическую реальность, одну и ту же форму психической деятельности. Бессознательное — это активность именно психическая, потому что оно участвует в наиболее сложных и важных проявлениях душевной жизни человека, в преобразованиях его эмоционально насыщенных переживаний, в переработке им информации во вредящих ему аффективных конфликтах и в помогающих ему психологических защитах, в выносимых им решениях, в целенаправленной организации им совокупности своего отношения к окружающей его среде, а через это — и к самому себе. Именно здесь проявляются основные функции бессознательного, а не в «автоматизмах» поведения, с которыми его иногда

связывают. И поэтому мы понимаем бессознательное как феномен **психологический,** раскрыть законы движений которого можно **только в контексте смысловых соотношений,** — как и сознания, в его широком понимании.

Отсюда вытекает, — и это мы хотели бы особенно подчеркнуть, — что **без учета существования и функций бессознательного, при игнорировании его активности, мы не можем до конца понять психологическую структуру ни одного конкретного акта человеческой деятельности, ни одно проявление душевной жизни человека.**

Второй момент. З. Фрейду принадлежит, неоспоримо, большая заслуга в том, что он обратил наше внимание на эту долгое время игнорировавшуюся сторону психики человека. Им было сделано многое и для понимания законов активности бессознательного. Однако скоро уже истечет целый век — и какой бурный! — со времени начала создания теории психоанализа. Естественно поэтому, что мы очень далеко ушли от идей Фрейда, от стиля его интерпретаций и методов, от всего того, что он создал. В настоящее время мы приближаемся к возможности построения значительно более строгой общей концепции бессознательного, формирование которой возможно — мы в этом убеждены — на основе лишь подлиннонаучной методологии диалектического материализма. Нам представляется, что именно здесь, именно при раскрытии научных основ общей теории бессознательного, с особой яркостью раскрывается исключительная интеллектуальная мощь этой методологии. Благодаря ей постижимым и объяснимым становятся многие скрытые стороны феномена, о котором с правом можно сказать, что он представляет собою наиболее сложное из всего существующего в мире — человеческой психики. На основе диалектико-материалистической методологии создается в настоящее время категориальный аппарат, углубляющий наше понимание природы бессознательного. И очень важную, если не ведущую, роль в формировании этого аппарата сыграли, несомненно, идеи выдающегося деятеля советской психологии Д. Н. Узнадзе.

И, наконец, третий и последний момент. Мы уже упоминали, что не учитывая функций бессознательного, мы не можем раскрыть психологически до конца, не можем объяснить глубоко ни один конкретный акт поведения человека. Уже этого одного было бы достаточно, чтобы понять, насколько важным является исследование проблемы бессознательного. Однако в современных условиях этого соображения мало.

Переживаемая нами научно-техническая революция в невероятных размерах, как это хорошо известно, усилила мощь человека, его власть над миром материального. Не следует ли, однако, отсюда, что, овладев этими гигантскими силами, человек более всего теперь нуждается в умении этими силами разумно пользоваться? Не очевидно ли, что небывалая возможность управлять «вещами» лишь заостряет вопрос о возможностях, которые существуют у человека для управления своим собственным поведением?

Управлять же своим поведением человек может лишь постигнув объективные законы и факторы этого поведения, в том числе наиболее скрытые. Отсюда должно быть ясно, что необходимость понять, раскрыть роль бессознательного в поведении — это на сегодня важная задача не только исследовательских лабораторий и клиник, университетов и академий. Это задача, решение которой многими нитями свя-

зано с заботой о последующих судьбах людей, с историческим развитием общества, с его научным и социальным прогрессом.

И не решать эту задачу, сколь бы она ни была трудна, мы не вправе!

Подводя итоги, следует отметить, что идея бессознательного вошла в современную науку очень сложным, порой окольным, противоречивым путем и что она так тесно связана с идеей сознания, что одним из важных элементов миропонимания становится уже на самых ранних этапах развития культуры. Однако на протяжении долгих веков доминирования идеализма эта идея подвергалась бесчисленным искажениям, исключающим возможность ее формирования как научной категории. Когда же, наконец, начался трудный процесс ее преобразования в достояние рациональной мысли, она длительно характеризовалась множеством неразрешимых, казалось бы, внутренних противоречий, а категориальный аппарат, с участием которого происходило ее рождение, десятилетиями оставался лишенным необходимой строгости и потому малопродуктивным.

Основной целью написанных нами глав настоящей монографии было показать, как радикально изменилась вся эта картина после того, как идее бессознательного была дана ее современная диалектико-материалистическая интерпретация. Дать такую интерпретацию значило отвергнуть представления, неприемлемые для нас методологически, отказаться от научных толкований, начавших устаревать, видоизменить некоторые категории и заново обосновать другие. В меру наших сил мы и пытались это сделать. И мы убеждены, что именно этот процесс глубокого преобразования идеи бессознательного, сопровождающийся устранением множества препятствий и тупиков, так осложняющих использование идеи бессознательного в психологии, медицине, лингвистике, педагогике, искусствознании, с особой яркостью показывает, какой огромной силой обладает диалектико-материалистический подход к проблеме человека и его психики. Каждая из написанных редколлегией глав монографии является, по-существу, цепью логических аргументов, обосновывающих подобное общее понимание.

Итак, книга, созданная совместным трудом советских и зарубежных коллег, перед вами. Нам всем предстоит ознакомиться с содержащимся в ней обширным материалом и его в дальнейшем обсуждать на Тбилисском международном симпозиуме по проблеме неосознаваемой психической деятельности, который с целью тщательной подготовки этого обсуждения переносится на октябрь 1979 года[3]. Прежде, однако, чем приступить к этой работе, нам хотелось бы обратить вни-

---

[3] Редколлегия просит извинить ее за отсрочку симпозиума. Эта отсрочка вызвана огромной работой, которую потребовала подготовка к печати трех томов настоящего издания. Их наличие поможет освободиться от многих привычных для подобных мероприятий трудностей и даст возможность провести обсуждение затронутых проблем более продуктивным образом. Дискуссии на симпозиуме, письменные отклики на опубликованные материалы, как и отражение результатов этих дискуссий в постсимпозиальном (IV) томе настоящей монографии, предполагается организовать с обсуждением следующих тем:

I. Проблема бессознательного в психологической концепции установки; II. *Роль категории бессознательного в системе современных научных знаний; III. Формирова-*

мание читателей на то, что наш коллективный труд имеет помимо специального научного и определенное мировоззренческое значение.

Поэтому, участвуя в его создании, мы, естественно, стремились выразить наш определенный концептуальный и методологический подход с позиций марксизма, в силу чего, когда между нами и нашими идеологическими оппонентами возникал большой спор, мы оставались неуступчивыми. Однако эта наша неуступчивость была бы неправильно истолкована, если бы была воспринята как отказ от стремления понять точку зрения наших оппонентов и сотрудничать с ними там, где разногласия не радикальны, а скорее формальны, где в них отражается скорее своеобразие истории исследований, сложившихся традиций, чем приверженность к определенным философским системам и методологическим посылкам. Подобный отказ говорил бы о нетерпимости и тормозил бы дальнейший рост наших знаний. И он мог бы иметь даже более широкие отрицательные последствия.

Вряд ли надо напоминать, что в научных спорах рождается истина. Ибо, как полагал еще один из выдающихся древнеарабских последователей Аристотеля аль-Фараби (870—950), «группу людей, следующих одному и тому же мнению и ссылающихся на тот же авторитет, ведущий их за собой, с мнением которого они все согласны, можно рассматривать как один разум, а один разум может заблуждаться... Когда же различные умы сойдутся после размышления, самопроверки, споров, прений, дебатов, рассмотрения с противоположных сторон, то тогда не будет ничего вернее того убеждения, к которому они придут» [1].

Мы глубоко убеждены в возможности и целесообразности широкого сотрудничества в науке. И мы полагаем, что созданная нами монография является одним из конкретных примеров такого сотрудничества.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE CURRENT CONTROVERSY OVER THE PROBLEM OF THE STATUS OF THE THEORY OF THE UNCONSCIOUS

EDITORIAL INTRODUCTION

S u m m a r y

The concluding paper consists of two main parts.

Part one deals with the discussion of the methodological problems of psyhoanalysis which took place within the psychoanalytic movement at the end of the 1960s and early '70s and had as its object the relation to Freud's metapsychological constructs. That discussion is examined by way of a critical analysis of R. S. Wallerstein's (see *Psychology versus Metapsychology*. Ed. by Merton M. Gill and Philip S. Holzman. Psychol. Issues, vol. IX, N 4, Monogr. 36, N. Y., 1976) representative paper. As a result of this analysis the

---

ние научных представлений в рамках современного психоанализа; IV. *Современные нейрофизиологические и клинические подходы к проблеме бессознательного;* V. *Бессознательное и высшие формы психической деятельности (творчество, познание, общение, структура личности);* VI. *Проблема метода и общей методологии исследования бессознательного.* И, наконец, VII. «Круглый стол» симпозиума: *Проблема соотношения сознания и бессознательного психического в свете различных существующих на сегодня подходов к ней.*

basic theoretical propositions are formulated defining the attitude of the editors to the entire subject matter presented in the monograph:

(a) the need to consider the problems of the unconscious on the basis of the same rigourousness of explanatory categories and rational comprehension characteristic of the scientific approach in all other disciplines;

(b) the impossibility of studying the activity of the unconscious in isolation from the underlying cerebral activity, at the same time bearing in mind the simplism and methodological untenability of philosophical reductionism; in other words, it should be remembered that the directionality and the contemplative aspect of unconscious mental activity, as well as of consciousness as a whole, are primarily determined by human activity, by the system of relations established between man and the outer world;

(c) the tendency to unravelling the nature of the unconscious and its regularities on the basis of the idea of psychological set — its basic model developed by D. N. Uznadze. The theory of psychological set asserts the indissoluble unity of the internal organization or psychological structure of activity and its objective expression. The unconsciousness of psychological sets — posited by this theory—permits insight into the mechanism and forms of manifestations of the unconscious as an important factor of man's mental life.

The paper concludes with emphasis on:

(a) the realness of the concept of the unconscious as a psychological category;

(b) the feasibility—in the editors' view — of an adequate scientific treatment of the problem of the unconscious only on the basis of the dialectico-materialistic methodology as developed and upheld by the Marxist-Leninist philosophy;

(c) the reason for which the need for unravelling the nature of the unconscious and its effects on human behaviour changes — in our era of scientific and technical revolution — from an abstract academic question to a problem which is closely linked with the further historical development of human society — its cultural and social progress.

Thus, the monograph created by the joint endeavour of Soviet and their foreign colleagues is at the reader's disposal. The next stage for all concerned is to familiarize themselves with its vast subject matter with a view to discussing it later at the Tbilisi international symposium on unconscious mental activity. The proposed symposium has been postponed till October 1979 in order to allow time for a thorough preparation for it[4]. However, at this

[4] The editors extend their apologies for the delay with the symposium. This was due to the huge amount of work entailed in the preparation of the three volumes for the press. Instead, the availability of the materials will free us from many difficulties usually attending undertakings of this nature; it will also enable a more productive discussion at the symposium, and later to present the results of the discussion, as well as comments on the materials published here, in a post-symposiac (fourth) volume of the present monograph under the following themes:

I. The Problem of the Unconscious in the Psychological Conception of Set; II. The Role of the Category of the Uncon-

point we should like to remind the reader that, apart from its special scientific purpose, this collective work has a definite world outlook significance.

Accordingly, as participants in the compilation of the monograph we naturally strove to express our distinctive conceptual and methodological approach from the Marxist position: hence, whenever there arose a big argument between our ideological opponents and ourselves we remained uncompromising. However, it would be wrong to interpret this stand as a refusal to try to understand the point of view of our opponents and to cooperate with them in areas in which the differences are rather formal than radical — where these differences tend to reflect the distinctive developmental history of investigations and established traditions rather than an adherence to definite philosophical systems and methodological premises. Such refusal would imply intolerance and would manifestly inhibit the further growth of our knowledge. It could have even broader negative implications.

That truth is born in scientific arguments hardly needs to be reiterated here. For, to quote al-Farabi (870-950), an outstanding follower of Aristotle, «a group of people following the same opinion and appealing to the same authority that leads them along, with whose view they all concur, can be regarded as a single mind, and a single mind may err... When, however, different minds come to agree after reflection, verification, arguments, discussions and debates, consideration from opposite sides, then there will be nothing truer than the belief they will arrive at» [1].

We are deeply convinced that wide cooperation in science and scholarship is both feasible and advisable. We believe, too, that the present monograph constitutes a concrete instance of such cooperation.

ЛИТЕРАТУРА

1. АЛЬ-ФАРАБИ, Филосфские трактаты, Алма-Ата, 1970, стр. 45.
2. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного, М., 1968.
3. Журнал «Коммунист», 1, 1977, стр. 68.
4. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического, т. I—II, Тб., 1969, 1973.
5. ШЕРОЗИЯ А. Е., Психика — Сознание — Бессознательное. К обобщенной теории психилогии, Тб., 1978 (в печати).
6. Revue de med. psychosomatique, 2, 1975.
7. WALLERSTEIN, R. S.. Psychoanalysis as a Science. Psychological Issues. v. 9. № 4, Monogr., 36, N. Y., Int. Univ. Press, 1976, pp. 198—228.

scious in the System of Current Scientific Knowledge; III. The Formation of Scientific Concepts within Modern Psychoanalysis IV. Modern Neurophysiological and Clinical Approaches to the Problem of the Unconscious; V. The Unconscious and the Higher Forms of Mental Activity (creativity, cognition, communication, structure of personality); VI. The Problem of the Method and General Methodology of the Study of the Unconscious; and, finally; VII. The "Round Table" of the Symposium: The Problem of the Correlation of Consciousness and the Unconscious Mind in the Light of the Various Present-day Approaches to It·

211

У ПРЕДЕЛОВ РАСПОЗНАННОГО: К ПРОБЛЕМЕ ПРЕД-РЕЧЕВОЙ ФОРМЫ МЫШЛЕНИЯ

Ф. В. БАССИН

Институт неврологии АМН СССР, Москва

1. Е. М. Клаус напоминает, что А. Эйнштейн выразился однажды так: «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс!» [3, 343]. Что это? Шутка гения? Думается, однако, что это не так, что за этими словами скрыта глубокая мысль. Попробуем ее понять.

Как вообще можно себе представить, что Достоевский оказался способным помогать созданию математических теорий, да еще в большей степени, чем Гаусс? Это возможно, очевидно, только в том случае, если за миром созданных им эксплицитных образов, за теми литературными сюжетами, героями, ситуациями, философскими размышлениями, которые мы хрестоматийно связываем с его именем, скрыто нечто совсем иное, ускользающее от нас при обычном восприятии. К такой мысли приходишь потому, что какой-либо другой, непосредственный, ход от текстов Достоевского к формулам теории относительности вообразить очень трудно.

Что же может быть скрыто за эксплицитным текстом художественного произведения, за его вербализованным содержанием?

Прежде всего, очевидно, смысл, мораль, в их обычном понимании, т. е. то более общее, более глубокое, что **хотел** сказать автор, пользуясь конкретными образами, сюжетом лишь как средствами выражения, лишь как символическим воплощением своих, не высказанных прямо идей или чувств. Однако даже если мы обратимся к этой скрытой, глубинной тематике произведений Достоевского, к тематике, раскрываемой через более или менее произвольное толкование образов и потому остающейся в каждом конкретном случае столь же спорной, сколь неоспорима ее реальность **вообще** — реальность как определенного трудно доступного нам пласта мысли, всегда стоящего за текстом, то и здесь обнаружить какие-либо понятные связи с творчеством Эйнштейна вряд ли кому-либо покажется легким.

Но в таком случае попробуем в поисках нужных нам связей продолжить наш экскурс «вглубь» и проникнуть за этот пласт мыслей, которые не были эксплицитно вербализованы их автором. Осуществимо ли, однако, такое, несколько фантастически звучащее мероприятие? Остановимся на этом подробнее.

Отвечая на этот вопрос, следует, прежде всего, напомнить, что еще в 30-х гг. Л. С. Выготским была изложена разработанная им концепция глубинных планов речи: концепция взаимоотношений, существующих в речи между ее явным текстом и скрытым подтекстом, между ее легко вербализуемыми, осознаваемыми и коммуницируемыми значениями и трудно или даже вовсе не вербализуемыми, не всегда

осознаваемыми и еще хуже коммуницируемыми смыслами. Мы проследим основное в дальнейшей судьбе этих идей — своеобразную эволюцию, которую они испытали на протяжении последующих десятилетий.

Идея разграничения между тем, что является в речи эксплицитным и имплицитным, была поставлена Л. С. Выготским как проблема собственно-психологическая. Несмотря, однако, на это, систематического дальнейшего развития в рамках психологии она не получила. Возможно, потому, что ее анализ неизбежно уводил в вопросы теории бессознательного в речи, разработка которых всегда представлялась для психологии одной из наиболее трудных. Значительно больший отклик эти идеи получили в психолингвистике, особенно после развития, которому эта дисциплина подверглась в результате проникновения в нее идей математической логики и кибернетики.

Как же ставится в современной психолингвистике вопрос о подтекстах эксплицитной речи, о ее скрытой смысловой основе? Здесь обнаруживается характерное, сравнительно с периодом работ Л. С. Выготского, смещение акцентов. Отвлекаясь от проблемы роли этих подтекстов в динамике реального мыслительного процесса (т. е. от того, что для психологии является центральным), психолингвистический анализ сосредоточился, в основном, на уточнении понятий, на развитии категориального аппарата, на который опираются любые исследования проблемы глубинных планов речи. Тем самым, однако, он, возможно непреднамеренно, облегчил и психологические подходы к этой проблеме. Проследим детальнее, в чем заключается этот психолингвистический анализ проблемы, исходно психологической, и каким образом его результаты оказываются способными дать новые импульсы собственно-психологическим поискам.

2. Мы обратимся с этой целью к недавно опубликованным [1, 27—63 и 63—75] статьям А. К. Жолковского, Ю. К. Щеглова («Поэтика как теория выразительности») и В. В. Иванова («Общие термины в языках науки»). Особое значение в интересующем нас плане имеет первая из этих работ.

Анализируя эффект действия художественного произведения, ее авторы вводят ряд специальных понятий. Содержащаяся в произведении информация обозначается ими как «тема». Приемы, на основе которых достигается «эмоциональное заражение» слушателя темой, называются «приемами выразительности» (ПВ). При таком понимании очевидно, что художественный «текст это — тема плюс ПВ». В некоторых случаях — и это важно для понимания дальнейшего — тема определяется как «смысл» текста, как аналог «метаязыковой записи смысла предложения в работах по семантике». Отмечается, что в литературе еще существует большая неопределенность, недоговоренность по поводу того, что же такое, все-таки, есть «тема», и отсюда — разнобой в обозначении последней (определение ее как «замысла, мотива, лейтмотива, главной смысловой оппозиции» и т. д.). А далее ставится вопрос, на каком языке «тема» должна описываться.

Авторы справедливо указывают, что оптимальным было бы описание темы на специально для этого выработанном информационном метаязыке. Однако поскольку такого языка пока нет (авторы отвлекаются, без ясного указания причин, от упоминаемых ими же попыток записи смыслов на искусственных, «символических» языках), в роли метаязыка может, по их мнению, успешно выступать в данном случае и обыкновенный, естественный язык. И они приводят разные варианты такого использования естественного языка для обозначения «тем» художественных произведений.

Иногда, указывают они, тема непосредственно декларируется автором (художественные произведения — с лицом, комментирующим текст от имени автора). Иногда тема может быть обозначена эпизодом или словами, взятыми непосредственно из текста. Иногда для этого могут быть использованы пословицы, поговорки или ad hoc создаваемые фразы. Однако все это будут лишь наиболее простые варианты обозначения, они применяются тогда, когда в качестве темы выступают какие-то конкретные ситуации, незамаскированные конфликты или различные развертывающиеся в пространстве и времени легко понятные объективные события. Но возможны и гораздо более сложные случаи, когда в качестве темы художественного произведения выступает определенное настроение, определенная психологическая установка личности, специфический стиль, своеобразные особенности поведения или творчества и т. п. Авторы приводят как пример таких сложных тем характерную для произведений О. Мандельштама тему обездоленности, оторванности от дорогих сердцу ценностей, тему, которая может быть условно обозначена словами «я не...» («я не увижу знаменитой Федры...», «уж я не выйду в дорогу с молодежью...» и т. п.), или тему «лаконизма и энергии выражения» и т. д. Для таких тем характерно, что они не столько определяют текст каких-то конкретных произведений, сколько как бы пронизывают все художественное творчество поэта (или прозаика) или какой-то определенный цикл его произведений, благодаря чему в разных из этих произведений нередко говорится, несмотря на несходство их непосредственного содержания, в каком-то более глубоком смысле, об одном и том же. Развивая эту мысль, А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов отмечают: «Часто в разных произведениях одного и того же автора говорится в **каком-то смысле** (подчеркнуто мною. — **Ф. Б.**) одно и то же... почти у каждого писателя мы имеем ряд текстов, которые можно уподобить ряду синонимичных произведений (различающихся лексикой, порядком слов, структурой, но имеющих один и тот же смысл...). Даже рядовой читатель интуитивно ощущает единство мыслей, эмоций, излюбленных положений и предметов в произведениях одного и того же автора».

Заостряя этот тезис, авторы обсуждаемой статьи обращают внимание на то, что для определенных писателей «характерна повторяемость не только типовых элементов, но и конкретных реалий. Так, у Блока часто встречаются упоминания о вине и ветре, у Мандельштама о камне и о пчелах (осах), у Пастернака о саде, о болезни, о поездах, об окнах». К этому можно было бы добавить роль «ивы» у Ахматовой и многое другое. А далее, анализируя роль, которую в текстах Пастернака играют подобные константы, авторы объясняют эту инвариантность конкретных образов их скрытой символической связью с устойчиво сохраняющейся «за» текстом основной темой.

И, наконец, темы, наиболее интересные в интересующем нас плане, которые А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов определяют как «неуловимые». Авторы указывают, что есть немало художественных произведений, «тема которых не может быть без существенных смысловых потерь отделена от текста и сформулирована средствами естественного языка или какого-либо иного метаязыка»[1]. Что же касается опреде-

---

[1] Существование подобных тем авторы объясняют как следствие характерной закономерности, согласно которой «логическое мышление и естественный язык отстают от художественного постижения действительности и лишь с некоторым запаздыванием

ления «неуловимых» тем, то здесь из-за их исходной невербализованности возникают, как это легко понять, особенно большие трудности. Они, эти «неуловимые» темы, могут получать лишь приближенное, условное (фиктивное) обозначение средствами естественного языка, оставаясь, по сути дела, некоторой неизвестной величиной». А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов делают, тем не менее, поистине «отчаянную» попытку все же как-то обрисовать подобные темы, вновь приводя в качестве примера одну из характерных, по их мнению, тем поэзии Мандельштама. Приближенное определение этой темы дается ими как «физические и душевные состояния с общим признаком: неосновное, неполноценное, неустойчивое, утонченное». Конкретизация же этой темы («отсутствующей в языке и впервые сформированной поэтом») выражается в тексте с помощью понятий: «обида, прихоть, спесь, застенчивость, мнительность, дразнение, хриплость, одышка, горечь, кислость, хрупкость, кривизна, несимметричность, узорчатость, ржавчина, половинчатость». Каждое из этих понятий не представлено непосредственно в текстах Мандельштама. Оно является, как указывают цитируемые авторы, продуктом обобщения: каждое из них — это тема (не «фиктивная», а обычная, «уловимая») определенного ряда текстов. В совокупности же они образуют смутный остов, опираясь на который можно хоть в какой-то степени приблизиться к представлению об объединяющей их еще более «глубинной» структуре — теме «неуловимой», стоящей «за» темами «уловимыми». Неуловимость этой глубинной темы обрисовывается как естественное следствие «свернутости» ее речевого выражения, вызывающее непреодолимые порой трудности для ее коммуницируемости и осознания. Вместе с тем эта скрытая смысловая структура сохраняет в полной силе свою основную функцию «темы» (в понимании, которое придают этому термину А. К. Жолковский и Ю. К. Щеглов), поскольку, опосредуясь темами «уловимыми», она порождает, в конечном счете, конкретные тексты, на основе которых мы можем заключать если не о ее особенностях, то, по крайней мере, о реальности ее существования.

3. Мы охарактеризовали выше общее понимание смысловой структуры художественного текста, к которому приходят некоторые из современных психолингвистов. Если мы вспомним охарактеризованную во вступительной статье редколлегии к VII тематическому разделу настоящей монографии концепцию скрытых планов речи Л. С. Выготского, то не сможем не уловить довольно отчетливо выступающего здесь сходства.

Подобно тому, как за вербализованным текстом художественного произведения стоит детерминирующая его «тема», а за последней, если она «уловима», — определяющая ее более глубокая «неуловимая» семантическая структура, так у Л. С. Выготского за составляющими развернутую речь стабильными, и потому комуницируемыми и осознаваемыми, объективными значениями стоят определяющие их субъективные смыслы, а за последними — внутренняя речь с ее поразительной «спрессованностью содержаний», сокращенностью (редуцированием фонетических элементов), предикативностью и с превращением ее, в пределе, в «речь без слов» (по выражению Л. С. Выготского).

вырабатывают рациональные понятия для обозначения того, что было ранее открыто художниками и передано ими на языке искусства».

Приводя эту мысль авторов об «опережающем» видении искусства, мы не можем не отметить ее близость к представлениям, изложенным, в частности, во вступительной статье редколлегии к VI тематическому разделу настоящей монографии.

Сходство этих схем очевидно, и главное в этом сходстве — характерная иерархия отношений, последовательность расположения речевых «планов», в которой просматривается параметр «глубины» и существует поэтому возможность движения от того, что выступает как эксплицитное, «явное», «поверхностное», хорошо укладывающееся в привычные представления, к тому, что проявляется в какой-то ущербной степени, лишь в результате огромных усилий психологии и лингвистики, как сокровенное, трудно выразимое в речи, глубоко замаскированное, неотторжимое от наиболее интимных переживаний субъекта и вместе с тем как **определяющее** то, что в развернутой речи выступает как эксплицитное.

Л. С. Выготским была, однако, замечена не только эта иерархия отношений. Он высказал также глубокую мысль о «бытии» того, что остается невербализованным объективно, о **форме существования** внутренней речи, подчеркнув ее непрекращающийся динамизм, **невозможность для нее,** как и для фотона (пусть нам простят эту очень далекую, но, тем не менее, напрашивающуюся почему-то аналогию), **существовать в неподвижности,** ибо она «всегда стремится соединить что-то с чем-то, имеет движение, сечение, развертывание, устанавливает отношения между чем-то и чем-то, одним словом выполняет какую-то функцию, решает какую-то задачу [2, 311].

Это описание бытия внутренней речи и того, что существует на еще более глубоком уровне, уровне собственно мысли, «мысли без слов», прозвучало в нашей литературе более сорока лет назад. Было ли оно с тех пор в чем-то углублено? Ответ на этот вопрос очень труден. Если судить строго, то надо признать, что, не взирая на бесчисленные попытки как-то раскрыть существо этих «пред-речевых» форм психической деятельности, хоть в какой-то степени приблизиться к их пониманию, мы здесь неуклонно наталкивались словно на непреодолимую глухую стену, не оставляющую ни малейшей возможности ни разрушить, ни обойти ее. Можно допустить, что настроения, возникавшие в этой связи у психологов, были довольно сходны с теми, которые существовали у физиков начала века, когда они с тягостным чувством безнадежности задумывались над трудностями, стоящими на пути расщепления атомного ядра, и было бы хорошо, если бы эта аналогия помогла психологам сохранить немного оптимизма, в котором они так нуждаются, когда заходит речь о всех этих нелегких для них темах.

Возвращаясь к поставленному выше вопросу, надо сказать следующее. Добавить что либо существенное к тому, что стало ясным еще в 30-е гг., здесь за истекшие десятилетия явно не удалось. Единственное, что оказалось возможным, — это понять более глубоко, почему именно мы оказываемся такими беспомощными в исследовании природы «собственно мысли» («мысли без слов»). Как показал анализ трудностей, на которые натолкнулись попытки передоверить ЭВМ выполнение наиболее сложных, неформализуемых видов психической деятельности человека, в качестве главного препятствия здесь возникает почти полное отсутствие рабочих понятий, категориального аппарата, на который могло бы опереться подобное исследование.

В этих исключительно трудных условиях психологии не оставалось ничего другого, как заниматься дедуктивными экстраполяциями того, что было установлено в начале 30-х гг. На этой основе были сделаны некоторые заключения, подтвердившиеся впоследствии экспериментально.

Принципиальный динамизм «собственно мысли» — невозможность ее существования в условиях покоя — говорит о допустимости исполь-

зования при ее анализе, по крайней мере, следующих трех понятий: (а) понятия непрерывно возникающих и разрушающихся «связей» между смыслами, (б) понятия отбора (селекции) этих связей, (в) понятия широты диапазона, в котором происходит этот отбор. Мы вправе (обязаны?) применять эти понятия при анализе «движения» смыслов, ибо в отвлечении от подобных понятий самая идея «движения» неосознаваемых «пред-речевых» форм мыслительной деятельности становится бессодержательной. Несколько слов о каждом из этих понятий.

Механизм соединения «чистых» смыслов нам совершенно неизвестен. Возможно, что здесь действуют какие-то гомологи психологических или логических принципов, на основе которых происходит увязывание оречевленных значений (ассоциаций, обобщения, абстрагирования, дедукции и т. п.). Но каковы они, мы не можем предположить пока даже гипотетически. Однако сам факт формирования подобных связей весьма вероятен, хотя бы потому, что без него движение «чистых» смыслов нельзя рассматривать как имеющее отношение к процессам переработки информации. Против такого понимания скептики могут, правда, возразить, что, отграничивая понятие «связи» от понятия «содержания» смыслов, мы, возможно, уже совершаем ошибку, внося неправомерно атомарное истолкование в область, в которой «атомов» (смысла) вообще не существует. И отвести такую критику, учитывая хотя бы представления, развиваемые В. В. Налимовым в настоящей монографии, было бы нелегко.

Хотя мы не понимаем механизма увязывания чистых смыслов, мы можем кое-что сказать об особенностях процесса этого увязывания. Трудно, отталкиваясь от более привычных для нас представлений, вообразить, что этот процесс, развертывающийся иногда в микро-, а иногда и в отнюдь не краткосрочных макроинтервалах времени, не сопровождается в какой-то форме «перебором» (скринингом, селекцией) потенциально возможных связей. Но если это так, то мы не можем его понять, не введя представления о факторе, который подобную селекцию регулирует, т. е. по существу об установке, и это лишний раз подчеркивает фундаментальность последней как категории, к которой неизбежно апеллирует анализ функциональной структуры любых процессов биологического регулирования.

Единственной мыслимой альтернативой такого понимания является допущение, что в этой области проявляются эффекты типа голографических, позволяющие устанавливать избирательные связи без «перебора» их потенциально возможных вариантов. Однако сколько-нибудь аргументированное предпочтение одной из этих альтернатив другой нам на сегодня еще не доступно.

И только когда мы переходим к третьему понятию — к проблеме широты диапазона, в котором происходит увязывание пред-речевых смыслов, к сопоставлению этой широты с аналогичным параметром вербализованных значений, мы с облегчением начинаем ощущать нечто похожее на твердую почву под ногами. Можно привести ряд доводов, теоретических и экспериментальных, в пользу того, что возможности, легкость и широта увязывания «чистых» смыслов не только не уступают аналогичным возможностям оречевленных значений, но даже, по-видимому, значительно превосходят их. Выражая эту мысль иначе, можно сказать, что возможности увязывания смыслов редуцируются по мере того, как мы переходим от более глубоких планов речи (в понимании Л. С. Выготского) к более поверхностным.

В. В. Налимов приводит ряд соображений в пользу «континуаль-

ности» пред-речевого мышления и, в частности, тот легко доказуемый факт, что включение слова в определенный речевой контекст **ограничивает** его значение. Это ограничение («стабилизация» значения) является важнейшим условием того, что речь становится надежным средством коммуникации (при нестабильных, неопределенных значениях слов коммуникация, как это легко понять, была бы полностью исключенной). Но достигается эта «социализация» слов ценой устранения исходного, по-видимому, **полисемантизма смыслов**, который не может не облегчать возникновения самых разнородных связей между последними.

Если согласиться с таким истолкованием, то становится более понятным целый ряд, казалось бы, не связанных друг с другом фактов: особая продуктивность неоречевленной (неосознаваемой, пред-речевой) мысли, проявляющаяся во «внезапных» решениях, возникающих после переключения осознаваемой мыслительной деятельности на другую тему; неоднократно подвергавшаяся изучению в клинике шизофрении (Б. В. Зейгарник и др.) причудливость, множественность, разнообразие, «странность» смысловых связей (легкое увязывание всего со всем, феномен т. н. «смысловой опухоли») как бы высвобождаемых, демаскируемых в условиях распада нормально вербализуемой мыслительной деятельности; оправданность применяемой иногда очень своеобразной методики т. н. «мозгового штурма», при которой нахождение оригинальных решений обсуждаемой проблемы достигается путем стимуляции генеза множества «недодуманных до конца», не оречевленных, полностью, проектов решения и т. п. Во всех этих случаях есть основания рассматривать в качестве существенного фактора наблюдаемых сдвигов облегченность увязывания смыслов на пред-речевом уровне их развития. И примеры этой тенденции можно было бы привести в большом количестве.

То, что зафиксировано в развернутой речи, приобретает стабильность, утрачивает смутные, зыбкие очертания субъективного переживания, становится надиндивидуальным социальным фактором, орудием общения, «именем» объекта и потому феноменом, ясно осознаваемым. Но за все эти привилегии надо платить. А плата заключается в ущербе, который этими преимуществами наносится способности дальнейшего развития смысла, в ослаблении способности к легкому установлению новых связей оречевленного смысла с другими смыслами. Сколько приобретается в результате вербализации смысла в его логической завершенности, столько утрачивается, по-видимому, в его потенциях к дальнейшему развитию. Этот интересный факт, принципиально важный для понимания роли бессознательного, можно проследить (и он был экспериментально прослежен) на судьбе интеллектуальных конструкций самого разного масштаба: от процессов решения простых (математических, логических, особенно шахматных) задач, при которых однажды сформулированная схема решения довольно резко тормозит возможности «иного» видения задачи, до завершенных больших теорий, создатели которых лишь в редчайших случаях могут посмотреть на сотворенное ими «со стороны», «другими глазами» и усвоить иную, измененную интерпретацию изучавшихся ими феноменов. И это — тем в большей степени, чем более творческим было создание первоначального замысла. Размытое, расплывчатое, но плодоносящее «поле смыслов» (по выражению В. В. Налимова) сменяется по мере постепенной вербализации мысли совокупностью дискретных значений, для которых стабильность структуры, сопротивляемость дальнейшим модификациям столь же, по-видимому, характерны, как пребыва-

ние в условиях «неустранимого движения» — для подготовивших их создание пред-речевых смыслов.

Само собой разумеется, — это необходимо отметить, чтобы избежать недоразумений, — эта стабильность дискретных вербализованных значений менее всего, конечно, исключает возможность их дальнейшего преобразования на основе их ясно осознаваемого, логического увязывания с такими же вербализованными дискретами. Отрицать эту возможность значило бы провозгласить такой абсурд, как невозможность осознаваемой, логически регулируемой переработки информации. Однако тот сложный, скрытый от сознания субъекта процесс «созревания», генеза смыслов, в котором участвует, как порождающий фактор, механизм пред-речи, после вербализации смысла явно тормозится, и это налагает отпечаток на всю последующую судьбу вербализованного смысла. «Мысль изреченная», говоря словами поэта, есть если не «ложь», то, во всяком случае, — семантическая структура, дальнейшее преобразование которой ее автором все более затрудняется. Этот факт важен для нас, ибо он ярче, быть может, чем какой-либо другой показывает, **какую огромную, так часто недоучитываемую роль в генезе мысли играют фазы, предваряющие осознание мысли.**

4. Если подойти к проблеме бессознательного с изложенных выше общих позиций, т. е. связывая эту проблему с представлением о пред-речевых формах мыслительной деятельности, то сразу же возникают новые вопросы. Первый из них относится к проблеме аффекта и эмоций. Не придаем ли мы теории бессознательного, ставя в центре нее пусть предельно своеобразную, но все же мыслительную деятельность, односторонний характер?

От Л. С. Выготского такая опасность не ускользнула. И поэтому, излагая свою концепцию иерархии планов речи, он завершает ее упоминанием (к сожалению, только упоминанием!) о той сфере, в которой, по его мнению, зарождается мысль — о «мотивирующей сфере нашего сознания, которая охватывает наши влечения и потребности, наши интересы и побуждения, наши аффекты и эмоции. За мыслью стоит аффективная и волевая тенденция. Только она может дать ответ на последнее «почему» в анализе мышления» [2, 311].

Л. С. Выготский не успел раскрыть эту свою замечательную идею о том, что **мышление в своих истоках, в самой начальной фазе своего формирования тесно спаяно с «аффективной и волевой тенденцией».** Однако в том, что он сказал, есть указание, с которым мы не можем не считаться. Если «за» мыслью стоит «мотивирующая сфера нашего сознания», то не значит ли это, что четкие разграничения, которые мы проводим между понятиями «интеллект», «эмоция», «мотив», «аффект» и т. п., имея в виду формы психической деятельности, опирающиеся на развитую речь, размываются, а может быть и вовсе устраняются, у «истоков» мысли, там, где мысль имеет пред-речевую форму? Не проявляется ли континуальность мысли, о которой говорит В. В. Налимов, в затушевывании дифференциаций не только между содержаниями мысли, но и между разными формами психической деятельности?

Дать уверенный ответ на эти вопросы мы пока, конечно, не можем. Но мы должны учитывать, что если бы подобного размывания границ в пред-речевой области не происходило, если бы там аффект и мотив сохранялись как нечто отделимое, отторжимое от работы мысли, то мы рисковали бы вновь оказаться во власти трудностей. Если понятие неосознаваемой и непереживаемой мыслительной деятельности (понимаемой как процесс переработки информации), не взирая на всю свою «странность», лишено, во всяком случае, внутренней противоречивости,

то принятие идеи «непереживаемой эмоции» означало бы возврат к тому, уже далекому от нас, этапу в развитии психологических представлений, когда **только благодаря созданию Д. Н. Узнадзе и его школой концепции установки удалось устранить тупик, в который эта идея грозила завести все дальнейшее развитие теории бессознательного.** Мы должны, следовательно, допустить размытость границ между разными формами психической активности в сфере пред-речевой мыслительной деятельности не потому, что мы можем факт этой размытости строго аргументировать, а потому, что иное понимание грозит поставить нас перед невозможностью вообще продолжать рациональный анализ. Доказав, в свое время, теоретически и экспериментально, неадекватность, внутреннюю противоречивость понятия неосознаваемой и непереживаемой эмоции Д. Н. Узнадзе занял очень сильную критическую позицию по отношению к теории психоанализа, позицию, которой он придерживался, как это хорошо известно, до конца своей жизни.

Вторая тема, которой хотелось бы коснуться, это вопрос о гегемонии бессознательного над сознанием или vice versa. Хорошо известно, какие потоки чернил были пролиты в ожесточенных спорах, происходивших по этому поводу в мировой литературе. Как же решается этот вопрос при увязывании идеи бессознательного с идеей пред-речевых форм мыслительной деятельности? Ответ здесь звучит неожиданно просто: этот вопрос снимается как неадекватно, неправомерно поставленный.

Пред-речевая мыслительная деятельность — это необходимая фаза в становлении вербализованной мыслительной деятельности и, следовательно, последняя зависит от первой. Однако пред-речевые психические процессы, в свою очередь, не в меньшей степени «зависят» от поведения человека, от его отношений к окружающему его миру, опирающихся на активность его вербализованной мысли. Поэтому искусственная схема гегемонии (искусственная потому, что вообще идея гегемонии какой бы то ни было из нормальных психических функций над другими всегда сохраняет оттенок произвольности и натянутости) оказывается в данном случае мало пригодной. Схема циклической связи здесь гораздо более адекватна, чем идея «приоритета», господства одной из взаимодействующих, одинаково необходимых форм психической активности над другой.

5. Увязывание идеи бессознательного с идеей пред-речевых форм мыслительной деятельности не только ставит новые и порой очень трудные вопросы. Оно уполномочивает и на некоторые выводы. Мы остановимся в заключение на двух из них.

Есть основания думать, учитывая тенденции, звучащие в мировой психологической литературе последних лет, что сближение названных выше идей не является чем-то неожиданным. Это сближение проявляется не только в широком обращении современного психоанализа к лингвистике и к учению о речи вообще (лаканизм — лишь частная форма этой тенденции). Оно дает о себе знать и в том, что апелляция к бессознательному, попытки опереться на активность бессознательного, использовать эту активность в целях терапевтической реорганизации поведения все больше приобретают формы, отличные от бывших когда-то традиционными для психоанализа. Они постепенно отдаляются от таких специфических методов, как анализ сновидений, прослеживание ассоциаций, изучение ошибочных действий и т. п. и все более переключаются на неспецифическое (для психоанализа) стремление проникать в мир как неосознаваемых, так и осознаваемых цен-

ностей больного, в сферу «значащих» для него переживаний, чтобы, выявив это «значимое», именно его превратить в генеральную опору, в союзника терапевтических усилий.

Если эта эволюция и не всегда бывает движима отчетливым пониманием особой роли неосознаваемой пред-речевой мыслительной деятельности в формировании поведения, то она, во всяком случае, с таким пониманием легко может быть согласована.

Мы приведем как характерный пример этой эволюции интересный доклад Э. Балинт, разработавшей в сотрудничестве с М. Балинтом, широко известным за рубежом исследователем, **метод т. н. «балинтовских групп»**, направленный на выяснение психологических отношений, складывающихся в системе «врач — больной» [4, 323].

Э. Балинт ставит в своем докладе вопрос, чем может помочь психоаналитик врачу обычного (не психоаналитического) профиля, и высказывает при этом ряд характерных соображений.

Во-первых, она подчеркивает ограниченность возможностей психоанализа: «ни один серьезный психоаналитик никогда не бывает уверен в том, что он полностью понимает... механизмы человеческой психики», «я возражаю против безоговорочного использования теории (психоаналитической) в условиях клиники... я считаю, что только наиболее фундаментальное (в этой теории) может рассматриваться как приемлемое». И Э. Балинт поясняет, что под этим «наиболее фундаментальным» она понимает **сам факт существования неосознаваемых мыслительных процессов**, хотя «мы очень смутно понимаем, как идеей бессознательного можно пользоваться».

Главный вклад, который психоанализ может внести в общую клинику это, по Э. Балинт, выявление подлинного характера человека и, в частности, того, что в психике представляется иррациональным и неприемлемым. Она подчеркивает, что намеренно употребляет слово «психика», а не «бессознательное». Если врач распознает с помощью психоаналитика индивидуально специфическое в характере своего больного, то тем самым вклад психоаналитика полностью, по ее мнению, оправдывается.

Э. Балинт напоминает известную работу Александера, в которой было показано, что для глубокого раскрытия натуры Фальстафа Шекспиру не понадобилось обращаться ни к истолкованию бессознательных мотивов или конфликтов, ни к интерпретации какой-либо символики, — для этого достаточно было просто проследить эволюцию отношений этого персонажа к будущему королю Генриху IV. Шекспир показывает лишь такой аспект личности, в данном случае — Фальстафа, который присущ нам всем, но который мы обычно не распознаем, ибо бываем, как правило, ослеплены, ограничены в восприятии своими привычками. Устранение подобных ограничений и является, по Э. Балинт, наиболее важной задачей психоаналитика в его усилиях помочь клиницисту широкого профиля.

А далее Э. Балинт приводит ряд примеров из клинической практики, основной вклад психоаналитика в которую сводится именно к такому **обострению вйдения**, к умению подметить то, что обычно ускользает от внимания, причем достигается это обострение **вйдения** лишь очень внимательным, скрупулезным анализом повседневных межперсональных отношений, а не «интерпретациями символов и развязыванием воображения на путях псевдофрейдизма». Отвечая на вопросы после доклада, Э. Балинт указала, что она намеренно не пользовалась даже такими традиционными психоаналитическими понятиями, как «проективная идентификация», «психологические защиты» и т. п.,

ибо, работая с клиницистами, она убедилась, что эти понятия «обманывают» («etaient trompeurs»). Она подчеркнула также, что в подобных условиях она нередко предпочитает «не обращаться ни к понятию бессознательного у больного, ни к представлению о бессознательном у врача».

Вряд ли можно не увидеть в этой очень умной и тонкой работе (вспомним, что Э. Балинт является к тому же весьма авторитетной фигурой в современных западных психоаналитических кругах) насколько современные психоаналитические представления отличаются от фрейдизма исходного, ортодоксального типа. И это отличие заключается в том, что бессознательное все более рассматривается не как активность sui generis, отграниченная от обычной мыслительной деятельности, функционально противостоящая ей и нуждающаяся в специальных методических приемах для своего раскрытия, а, напротив, как нечто, тесно переплетенное с этой повседневной психической активностью, как интимно слитое с речью в ее обычном понимании, как эту речь непрерывно порождающее и, в свою очередь, легко под ее влиянием изменяющееся. При таком понимании ориентация на бессознательное все больше превращается в направление, которым обязана пользоваться и обычная психотерапия. Использование этой идеи в рамках обычной психотерапии означает не столько обогащение последней новыми специфическими методическими приемами, сколько ее обращение прежде всего к тому, что в душевной жизни больного выступает как наиболее для него значимое. Ибо уловить проявления бессознательного (в его психологическом, а не психофизиологическом понимании) в отвлечении от значимых для субъекта содержаний его психики еще никогда никому не удавалось.

Об этом уже достаточно было сказано, и здесь хотелось бы добавить, что для такого общего подхода понимание бессознательного как пред-речевой мыслительной деятельности является, по меньшей мере, весьма созвучным.

6. Последний момент, на котором мы хотели бы остановиться, говоря о связи идеи бессознательного с представлением о пред-речевых формах психики, заключается в следующем.

В истории всякой науки бывают моменты, когда ее более или менее плавное развитие замедляется словно натолкнувшись на какие-то скрытые препятствия. Такие задержки возникают тогда, когда накопленные факты перестают осмысляться с помощью традиционных категорий, когда требуется совершить в области теории крутой поворот, взглянуть на достигнутое с новой, необычной, иногда парадоксальной точки зрения. Так было с физикой в конце XIX века, когда многим казалось, что эта наука достигла такого логического совершенства, такой внутренней законченности и изящества, что ожидать каких-то радикальных новых сдвигов в ней уже не приходится. Но мы теперь хорошо знаем, что это затишье было только предвестником наступления эпохи великих кризисов.

Из того, что было сказано о своеобразии пред-речевых форм мышления, можно заключить, что мы и в данном случае оказываемся перед лицом фактов, которые очень трудно, а иногда, по-видимому, и вообще невозможно осмыслить с помощью традиционных для психологии категорий. Чтобы пролить свет на динамику пред-речевых смыслов, на их природу, на их движение, организацию и дезорганизацию, на их системные связи, т. е. для того, чтобы создать подлинную теорию бессознательного, нужен какой-то необычайно решительный, далеко идущий по своим последствиям рывок объясняющей мысли, ры-

вок, не останавливающийся перед парадоксами, перед полной иногда невозможностью зримо, наглядно представить обсуждаемые реалии, как не остановились перед этим ни теория относительности, ни квантовая механика. Во всяком случае, весь опыт нашего вот уже скоро завершающегося века, упорнейшим образом на всем своем протяжении безостановочно штурмовавшего проблему бессознательного, но так и не сумевшего (за одним исключением) создать понятия, специально предназначенные для этого штурма, подталкивает именно к такому заключению. Мы полагаем, что имеем право именно так оценить создавшуюся ситуацию, ибо понятие установки Д. Н. Узнадзе — это **единственная** категория, **осветившая своеобразие природы бессознательного;** понятия же психоаналитического плана: защиты, символики, вытеснения, идентификаций и т. п. — мы, при всем нашем к ним уважении, не можем рассматривать иначе, как характеризующие бессознательное только, если можно так выразиться, феноменологически **«извне»**, без всяких претензий на выявление его внутренней сущности и именно поэтому (ибо что же иное можно в подобных условиях сделать?!) уподобляющие его во всем существенном сознанию.

В пользу того, что подобное понимание эволюции представлений о бессознательном и трудностей, на которые эта эволюция наталкивается, не является далекой от дейсвительности, надуманной схемой, можно привести, по крайней мере, один небезынтересный аргумент.

Если трудности, на которые наталкивается анализ проблемы бессознательного и наше бессилие раскрыть **истоки** человеческой мысли, речи и чувств действительно связаны с недостаточностью используемого при этом анализе категориального аппарата, то не следует ли заранее ожидать, что отзвуки этого глубокого кризиса понятий должны наблюдаться и там, где пытаются моделировать мысль человека, т. е. в теории искусственного интеллекта? Достаточно, однако, так поставить вопрос, как перед нами обрисовывается картина, которая снова и снова напоминает нам о трудностях, возникающих при попытках использования современных ЦВМ для выполнения некоторых сложных форм интеллектуальной работы, легко доступных мозгу человека. Вслед за Дрейфусом, Бар-Хиллелом и другими современными кибернетиками и лингвистами мы присоединяемся к мнению, что легкая доступность этих форм работы для мозга человека и наоборот, их трудность для интеллекта искусственного объясняется тем, что мозг человека располагает способами переработки информации, отсутствующими в ЦВМ. Каковы эти способы, мы пока еще не очень понимаем или, точнее, лишь смутно о них догадываемся в плане их негативных определений, т. е. можем с некоторой вероятностью утверждать, что они каким-то образом свободны от громоздкого «перебора альтернатив», от дискретного «шагового» поиска, опирающегося на оперирование формализованными значениями и на прослеживание «дерева возможностей» и т. д. Но каковы бы они ни были, именно с ними связано то, что создает для живой мысли возможность опережать в определенных ситуациях свой искусственный аналог, несмотря на всю мощь последнего в плане быстроты действия, объема памяти и других сходных «низших» качеств.

В результате возникает картина интересных совпадений. Принципы работы ЦВМ во многом близки принципам работы живого мозга, если иметь в виду только формализованный вариант этой работы, опирающийся на дискретность, привносимую вербализацией. Когда же живой мозг прибегает к другим доступным для него формам актив-

ности — к активности не вербализованной, тяготеющей скорее к полюсу «континуальности» (чем «дискретности»), опирающейся на движение смыслов, происходящее на уровне пред-речи, то интеллект искусственный довольно беспомощно отстает от своего живого «собрата».

Такой представляется сложившаяся ситуация, когда к ней подходят, отталкиваясь от опыта, накопленного психологией. А какой она рисуется специалистам по теории искусственного интеллекта? Мы, не вправе здесь, естественно, из-за недостаточной компетентности, претендовать на точность и обоснованность суждений, однако, насколько мы можем судить по литературным данным, сложности, перед которыми стоит современная теория искусственного интеллекта, удивительно напоминают трудности, преодоления которых должна добиваться психология, чтобы создать для себя возможность хоть какого-то проблеска понимания того, как совершается движение смыслов на уровне пред-речи.

Мысль о том, что ЭВМ — это не просто вычислительный инструмент, а потенциально и в перспективе нечто гораздо большее, была высказана, как известно, выдающимся мыслителем Д. фон-Нейманом еще десятилетия назад. Но для раскрытия этих возможностей необходим, по-видимому, опять-таки, какой-то радикально новый шаг вперед в самых основах логики работы ЭВМ, освобождающий эти удивительные устройства от отрицательных сторон (а может быть и от самого принципа?) «перебора» вариантов решений и их мультипроцессного формализованного поиска. Идеи Д. фон-Неймана, развиваемые С. Биром, У. Р. Эшби, создателями «ассоциатронов» и многими другими, направлены на превращение ЭВМ в аппараты, осуществляющие т. н. «свободный поиск решений в рамках заданных границ», в приборы, способные обнаруживать глубоко скрытые связи, но не нуждающиеся для этого в той громоздкой предварительной вычислительной процедуре, на основе которой работают ЭВМ современных конструкций. Упорное движение мысли в этом направлении, хотя оно пока еще не очень многого достигло, во всяком случае, существует.

Приведет ли оно к тому, что искусственный интеллект освободится от сковывающих его пока ограничений? Ответ на этот вопрос, естественно, должен быть дан не нами. Мы хотели бы, касаясь этих проблем, лишь подчеркнуть исключительное своеобразие создавшейся ситуации: как психология в ее попытках углубить понимание исходных неосознаваемых форм пред-речи, понимание движения «чистых» смыслов, так и теория искусственного интеллекта, стремящаяся расширить возможности ЭВМ, испытывают сегодня глубокий кризис. Оба эти направления нуждаются в радикальном обновлении теоретических категорий, на которые опирается их анализ. И оба они пытаются выйти за рамки оперирования механическими схемами и опоры на дискретное и формализованное.

Психология может поэтому сохранить надежду, что если настойчиво искомые новые позиции будут в теории искусственного интеллекта в какой-то степени намечены, то тем самым будут созданы и нужные ей модели, которые облегчат возможность более глубокого понимания механизмов работы живого мозга и, в частности, того, как ему удается осуществлять переработку информации на уровне не дискретной и неосознаваемой пред-речи. Только тогда мы сможем сказать, что переходим в теории бессознательного от изучения и описания феноменологии процессов к пониманию их существа как неотъемлемых компонентов человеческого сознания в его широком понимании.

7. А теперь вернемся к тому, с чего мы начали настоящую статью.

Как же все-таки Достоевский мог помочь Эйнштейну, помочь больше, чем Гаусс?

Мы, конечно, никогда не узнаем, какие именно из идей Достоевского облегчили творческий поиск Эйнштейна. Но мы вправе думать, что это облегчение вряд ли создавалось эксплицитными «текстами» Достоевского. Скорее здесь дело было в «теме», в том, что стоит за «текстом», в том, что Достоевский **хотел** сказать, но не сказал непосредственно. Ибо, когда мы переходим в эту зону трудно вербализуемых содержаний, в область пред-речи, в которой ясные значения постепенно теряют четкие очертания, все более оттесняются смутно осознаваемыми расплывчатыми смыслами, мы погружаемся одновременно в сферу, в которой резко возрастает возможность сближения смыслов, где ослабляется, именно из-за этой их расплывчатости, логика разграничений, **где связуемым становится то, что в холодном свете вербализованной мысли не имело общего.**

Зависимость объективного времени от скорости движения системы отсчета и зависимость **переживания** времени как ускоренного или замедленного процесса от душевного состояния субъекта, будучи вербализованными, весьма друг от друга далеки. Но на пред-речевом уровне каждое из этих высказываний может легко соскользнуть на смутную идею или на расплывчатый образ времени как чего-то, **не идентифицируемого в разных условиях его отсчета.** А это — уже «объединение», уже «связь» между тем, как представлено время в теории относительности, и тем, как оно представлено в душе человека, потрясенного аффектом, — того же Раскольникова или того же Ивана Карамазова, живущих каждый в своем особом мире, в котором время движется по только ему одному, этому миру, свойственным законам ускорения или замедления. Это, конечно, связь не логическая, более того, это связь, распадающаяся при малейшей попытке ее формализовать, она напоминает связи, которыми объединяются смыслы **в сновидениях или в условиях эстетических переживаний, возникающих под воздействием художественных произведений.** Но, тем не менее, это — «связь», которая может оказывать, как об этом говорит анализ тех же эстетических переживаний, влияния огромной силы, а следовательно, может создавать и возможность «подсказов», облегчающих и направляющих творчество.

Мы приводим это рассуждение о времени, конечно, только как произвольный пример алогических связей, которые могут возникать между продуктами творчества самых разных мыслителей. Сработала ли в данном случае (Достоевский — Эйнштейн) именно эта связь или какая-то другая из бесчисленного множества потенциально возможных, — вряд ли существенно. Главное, что мы хотели бы оттенить, — это то, что подобные связи, стоящие на грани рационального и эстетического, вербализуемого и невербализуемого, осознаваемого и неосознаваемого совершенно реальны и в высшей степени, по-видимому, — в отношении их влияния на движение смыслов — действенны. Именно поэтому даже наиболее абстрактному творчеству мыслителя-аналитика, мыслителя-математика могут помочь и Моцарт, и Чайковский, и Рембрандт, и Репин. Связи здесь создаются в той сфере недискретных смыслов, которые неустранимо участвуют в создании произведений и науки, и искусства **и только благодаря выражению которых на языке дискретного** эти произведения приобретают свою основную ценность.

Бессознательное, другими словами, **пронизывает духовное творчество в любых его формах,** и именно поэтому даже то, что в логичес-

ком плане выступает как предельно дифференцированное, может в других планах оказаться сближенным.

Мы закончим словами: «Насколько же психология труднее физики!» Поскольку эти слова принадлежат человеку, в полной мере познавшему трудность физики, — А. Эйнштейну [5, 10], нам остается только, склонив голову, молча к ним присоединиться.

AT THE BOUNDS OF THE COGNIZED: THE PROBLEM OF THE PRE-SPEECH FORM OF THINKING

F. V. BASSIN

Institute of Neurology, USSR Academy of Medical Sciences, Moscow

Summary

The paper deals with the problem of the existence of the so-called pre-speech form of thinking and of the relation of the latter with expanded verbal activity. Reference is made to the conception of the depth planes of speech, developed in the 1930s by L. S. Vygotski (the theory of interrelations existing in speech between its explicit text and covert sense, between, its readily verbalizable, conscious and communicable «meanings», on the one hand, and «significanes» that are difficult or impossible to verbalize, are not always conscious and still harder to communicate, on the other); the further development of the theory in the psychological and psycholinguistic aspects is traced. Attention is drawn to Vygotski's view on the existence of a form of inner speech with reduced phonetic elements, «compressed contents», predicative nature, essential «dynamism» (impossibility of its «existence in immobility», i. e., without constant combining and processing of significances) and transformation, within «thought proper» or «speech without words».

This conception points to the special importance attaching in the analysis of the depth planes of speech to a) the character of relations between significances, b) principles of selection of these relations, and c) the range within which such selection takes place. It is emphasized that the process of establishing such relations can hardly be conceptualized as unattended by their «sorting out» (screening, selection); hence, this activity cannot be understood unless we introduce the concept of a factor that regulates it, or, viewed from the psychological angle, without bringing in the concept of *set*. This once more points to the basic nature of the category of set to which the analysis of the functional structure of any psychological process, including those at the very limits of what has hitherto been unravelled, has recourse.

Another characteristic point related to the theory of the correlation of significances is that the powers, readiness and scope of coordination of «pure» significances are in no way inferior to analogous capacities of verbalized meanings; they are apparently even much superior to them. The relation of this circumstance to the idea of «polysemy» of significances and to the notions of continuousness of pre-speech thinking — developed by N. N. Nalimov — is discussed, and, — on its basis — a number of characteristics of the processes of intellectual creativity are explained.

The focussing of attention on the problem of pre-speech forms of thinking activity — becoming ever more pronounced in Soviet as well as Western psychological literature of recent years — reflects definite changes occurring in the general understanding of the problem of the unconscious. This dependence is traced in the paper in relation to some views of E. Balint. With that author the general tendency appears to be that the unconscious is increasingly viewed not as an activity sui generis, essentially delimited from ordinary thinking activity, functionally opposed to the latter and calling for special methodological techniques for its detection and unravelling, but, on the contrary, as something inseparably linked with this daily mental activity, closely merged with speech, continuously generating this speech and in its turn readily changed under the influence of speech.

The closing part of the paper discusses the problem of the categorial apparatus on which the conception of the unconscious should rest; in this connection a parallel is drawn between the situations obtaining in the sphere of the concepts of the unconscious and in the theory of artificial intelligence. Reference is made to the detailed analysis (see the introductory article to the seventh section of the present monograph) of the reasons due to which certain forms of intellectual work prove to be more accessible to the human brain than to the electronic computer; some recent trends are followed in the further perfection of electronic computers, aiming at converting the latter into devices capable of detecting latent relations without recourse to laborious preliminary computational procedures necessary for computers of present-day design.

It is suggested that development of thought in this direction will mark a serious step forward not only in respect to the potential modelling of artificial intelligence, but also in understanding the mechanisms of the workings of the live brain, helping to gain insight into how it succeeds in the processing of information at the level of non-discrete and non-conscious pre-speech.

ЛИТЕРАТУРА

1. **Вопросы кибернетики, вып. 17, М., 1977.**
2. ВЫГОТСКИЙ Л. С., Мышление и речь, М.—Л., 1934.
3. ЭЙНШТЕЙН А., Физика и реальность, М., 1965.
4. BALINT, E., Le psychanalyste et la médecine Rev. de médecine psychosomatique, № 4, 1976.
5. PIAGET, J., La penseé symbolique... Archives de psychologie, Paris, XVIII, 1923.

212

ДИАЛЕКТИКА, ПРИНЦИП ДОПОЛНИТЕЛЬНОСТИ И ПРОБЛЕМА ПОЗНАНИЯ ПСИХИЧЕСКОЙ ЦЕЛОСТНОСТИ: К НЕКЛАССИЧЕСКИ ОРИЕНТИРОВАННОЙ СТРАТЕГИИ НАУЧНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА В ПСИХОЛОГИИ

А. Е. ШЕРОЗИЯ

Академия наук Грузинской ССР, Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе
Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии

I. О методе и общей методологии исследования психики. Опыт введения принципа дополнительности в психологию

(1) Возможность раскрытия центральной проблемы психики — взаимоотношений сознания и бессознательного психического — это основа основ собственно психологии как науки. Причем насколько существенно различие между этими двумя модификациями психики, настолько же радикальным должно быть различие между конкретными методами их изучения, ибо характер методов познания, в конечном счете, всегда зависит от особенностей предметов познания. Отсюда вытекает, что одними и теми же способами нельзя раскрыть сокровенную тайну обоих этих измерений психики, тем более, что в качестве основы их различия выступает такой трудно преодолимый момент, как качественное различие их «языков».

Но в то же время, будучи проявлением одной и той же реальности, они не могут выступать не под одними и теми же характеристиками, что, в свою очередь, приводит нас к признанию общих закономерностей психики, а вслед за этим и общей методологии собственно психологии. С другой стороны, в силу того, что психическое, как таковое, отличается от транспсихического, его специфические законы — законы собственно психологии — следует отличать от специфических законов последнего — законов физики, в самом широком смысле, поскольку наука в целом разделяется только на физику и психологию, как и все сущее — только на психическое и транспсихическое (физическое). Но это значит, что обоснование собственно психологии, как науки, на одном только естественно-научном фундаменте и одними только естественно-научными методами исследования невозможно.

В силу этой реально существующей дихотомии мира и его научной картины, общая методология психологии принимает характер более своеобразной, специфически ориентированной системы, чем любая другая. Отсюда и неизбежность качественно своеобразного системно-научного подхода к общей методологии психологического анализа и к заостряемым им вопросам.

(2) Современная психология все еще не располагает строго разработанной системой представлений о методе и общей методологии изучения собственно психического ни в одной из его фундаментальных модификаций как предмета познания — ни в виде определенной

«открытой» системы отражения, вплоть до отражения самого себя на уровне самосознания; ни в виде своего рода «закрытой» системы переживания, т. е. переживания человеком своего собственно-для-себя-бытия, своей самости (личности), вплоть до переживания им своих ценностно-личностных ориентаций: ни в виде определенной **целостности отражения и переживания,** в каждом конкретном случае представляющей собой особую сферу так называемой «первичной», внутри себя все еще не расчлененной и тотальной психики, возможной лишь как единая унитарная установка субъекта на осуществление какой-либо его определенной предметной деятельности.

Расчленив таким образом всю сферу проявлений психики — так называемой психической реальности — на сознание, бессознательное психическое (при их совместной модификации через единую унитарную установку индивида) и на эту самую единую унитарную установку как некое изначально данное психическое, мы вводим в систему конкретных методов и общей методологии их изучения принцип «дополнительности», который способен воспроизвести целостную картину каждого из названных проявлений психики в отдельности и всех трех, вместе взятых, подобно тому, как это осуществляется сегодня, вслед за Нильсом Бором, в отношении атомных систем в квантовой физике, воспроизводящей последние в виде определенной «целостности» по их взаимоисключающим и взаимокомпенсирующим собственно-физическим характеристикам [42; 43; 44; 45].

(3) При этом в психологии, как и в квантовой физике, оперирование названным принципом дополнительности вовсе не обязывает науку отказываться от обычных (традиционных) методов и категорий, издавна используемых ею для конкретно-научных исследований. Принцип дополнительности, напротив, как в квантовой физике, так и в психологии, следует рассматривать в качестве метода «дополнительных описаний» классических методов и категорий данной науки, или, что то же — в качестве метода «мысленных экспериментов» и обобщений, заменяющих «реальные эксперименты», как только они исчерпывают свои возможности при воспроизведении той или иной научной картины. Психология, как и квантовая физика, должна использовать принцип дополнительности как метод **воспроизведения целостной картины психики** во всех ее модификациях, в полном согласии с диалектико-материалистическим методом воспроизведения целостной картины мира, т. е. психического и транспсихического (физического), взятых совместно.

С этой точки зрения физика и психология выступают как наиболее фундаментальные дисциплины, от которых, наряду с научной философией, зависит воспроизведение научной картины мира. Неслучайно поэтому, что принцип дополнительности возникает и в той и в другой науке как необходимый результат острой постановки, еще в начале века, одной из наиболее сложных проблем современной науки — проблемы наблюдения, происходящего в условиях определенной противоречивости отношений между наблюдаемым и наблюдающим. Рассмотрение этой проблемы заставляет нас сегодня в определенном смысле отказаться от ставшего традиционным галилеевского принципа построения научной теории и **дополнить** его новым, более, как нам кажется, адекватным отражаемой ею реальности. Во всяком случае, с самого же начала своего развития психология давала знать о том, что, опираясь на один только галилеевский принцип, она воспроизвести **целостную картину психики** безусловно не в состоянии.

(4) Итак, в связи с принципом дополнительности перед нами выступает совершенно новый аспект проблемы метода и общей методологии психологии. Мы ограничимся, однако, сейчас изложением лишь некоторых предварительных результатов своих исследований этого аспекта проблемы [42; 43; 44; 45], связанных с анализом психологического феномена установки, полагая при этом, что гносеологические трудности познания психологического феномена установки одновременно выступают и как трудности познания возникающих на этой основе более сложных образований психики, в частности сознания и его оборотной стороны — бессознательного психического в смысле наших обычных переживаний, представлений, мысли и т. п. минус сознание.

Однако прежде чем перейти к рассмотрению вопроса об установке как **исходной единице** познания психики, попытаемся поставить этот вопрос шире — как вопрос о познании бессознательного психического вообще, тем более что, по нашей классификации, в единую структуру этого последнего входит и первичная унитарная установка как нечто собственно бессознательное.

II. Может ли психика (переживание) существовать бессознательно? Проблема наблюдения научных фактов в психологии

(1) Известно, что Фрейд, будучи основоположником одной из наиболее популярных и оригинальных концепций бессознательного, считает бессознательное непосредственно не наблюдаемым. В его многочисленных рассуждениях по этому поводу эта мысль повторяется не раз и высказывается достаточно отчетливо и резко. У нас, говорит он, нет и не может быть никакого представления о форме существования бессознательного, о том, каким оно является само по себе, независимо от сознания [36; 38]. Поэтому Фрейд решается найти доступ к бессознательному через сознание, путем анализа необычных, а порой и весьма уродливых образований последнего, предложив конкретный метод их зондирования, метод психоанализа в его собственно психоаналитическом понимании. Такой подход, предложенный Фрейдом, позволил ему существенно изменить весь прежний облик научного познания бессознательной психики. Это было открытием одного из очень своеобразных, но, тем не менее, вполне релевантных экспериментальных приемов изучения подобной психики.

Психоанализ определяется, таким образом, как система знаний, добываемых о бессознательном психическом только при его **естественных соединениях с сознанием**, что в корне отличается от традиционного подхода к явлениям психики, когда они рассматриваются в их «чистом» виде, т. е. от того подхода, к которому прибегало классическое естествознание, используя в изучении явлений природы принцип Галилея. Однако постепенно Фрейд так увлекается психоанализом скрытых элементов сознания, что начинает все менее замечать в поле их анализа наличие самого сознания, которое в конце концов оказывается у него почти совершенно вытесненным из этого поля.

Впоследствии, уже в наши дни, явная неадекватность такого одностороннего анализа категории бессознательного, обусловленная исключением из этого анализа категории сознания как «чего-то несущественного», как эпифеномена человеческой психики (каковым она является по мнению ортодоксальных представителей учения Фрейда), вызвало недовольство даже со стороны самих фрейдистов, порой весьма настойчиво требующих восстановить сознание в его правах. Причем восстановить его в правах не только в теории, но и в практике психоанализа,

положив его в основу определенного собственно-психологического метода исследования человеческой психики. Достаточно убедительно эта идея выдвигается сегодня французскими психоаналитиками, в частности Анри Эйем [55; 56] — крупным теоретиком и практиком психоанализа, наиболее во многом близким к нам при определении им общей стратегии анализа явлений бессознательной психики.

(2) Мы полагаем, что исключение сознания, как «чего-то несущественного», из научного анализа психики и ограничение последнего одной лишь бессознательной психикой — это далеко не неизбежный результат развития психоанализа как собственно-психологического метода изучения человеческой психики путем зондирования самых «глубинных» слоев сознания. Психоанализ действительно добивается исключения роли сознания как единственно возможной характеристики личности, ссылаясь на то, что оно не является «хозяином даже в своем собственном доме» [35, 75]. С этим последним психология должна примириться, ибо это даст ей возможность путем психоаналитического исследования сознания добиться научного знания о бессознательном психическом как об оборотной стороне и «антиэлементе» сознания.

(3) Но, с другой стороны, как раз в этом и состоит вся загвоздка, как раз это и породило до сих пор не прекращающиеся в нашей науке споры по поводу проблематики психоанализа, а за ними и по поводу самой проблемы познания неосознаваемой психики. Как в западной, так и в советской литературе последних лет, нередко постулируется, в частности, мысль о принципиальной невозможности познания бессознательной психики, основанная на своеобразном доводе: познать ее «прямым путем», т. е. иначе, чем через сознание невозможно, переведенная же на «язык сознания», она тут же утрачивается как некое бессознательное психическое [7; 8; 9; 10; 11; 12; 62]. Отсюда и соответствующие положения, одно за другим выдвигаемые адептами данной концепции как против Фрейда, не располагающего, по их мнению, какими-нибудь конкретными, а тем более экспериментальными научными фактами, которые подтверждали бы реальность бессознательной психики, так и против всякой «глубинной» психологии вообще (ибо отрицательное отношение к подобной психологии вызвано, как они полагают, объектом ее изучения — бессознательной психикой, которую она представляет существующей вне сознания и вне всякой связи с сознанием. «Глубинная психология, как наука о бессознательном психическом, не имеет реальной основы для существования» [11, 2. См. также 10, 319]).

В этой позиции наших оппонентов предельно четко вырисовывается как агностицизм в отношении проблемы бессознательной психики, так и агностицизм в отношении научных фактов, делающих эту проблему реальным достоянием современной психологии. Ибо эти факты, даже если бы они и были возможны, не смогли бы, по их мнению, подтвердить наличие бессознательной психики, поскольку «проблема бессознательной психики — теоретическая проблема и для ее решения должны быть выдвинуты теоретические положения; эмпирическая аргументация здесь неуместна» [10, 325. См. также 7; 8; 9; 10; 12].

(4) Сперва об агностицизме в отношении самой категории бессознательной психики. В этом случае наши критики выдвигают в пользу своих доводов только один аргумент, но нельзя не признать, что тут, хотя бы в силу их пристрастия к большой теории, они совершенно правы, тем более, что сам по себе этот аргумент не подлежит никакому сомнению с точки зрения современной психологии. И все-таки разберемся, в чем же заключается он, этот их веский аргумент, и почему познание бессознательной психики, по их убеждению, принципиально

невозможно? Они рассуждают так: «Мы не в силах высказать описательное суждение об онтологической определенности бессознательного психического, потому что в своем бессознательном существовании оно незримо, непосредственно не дается сознанию» [11, 118]. Вслед за этим остается только констатировать, что как предмет познания, бессознательное психическое непосредственно действительно «незримо» для сознания. Но разве в этом смысле хоть что-то может быть «зримым» для сознания?! Ведь само сознание ничего не «видит» и ничто не дано ему непосредственно: во всяком случае общественная практика, при которой ему что-то всегда дается как предмет познания, подразумевает наличие между ним и этим предметом, чем бы последний ни был, самое меньшее, двух посредников — орудия производства и «очеловечения» органов чувств в процессе применения этого орудия. Если как следует расшифровать это фундаментальное положение теории сознания Маркса, то оно со всей очевидностью опровергает основной смысл теоретической аргументации наших оппонентов. Это первое.

Далее наши критики говорят, что, поскольку единственным путем постижения бессознательного психического остается сознание, мы не можем знать, каково само по себе это психическое. Но разве то, что мы вообще знаем, мы знаем благодаря чему-то другому? Ведь именно наше сознание — это главный инструмент познания всего сущего, в том числе и собственно бессознательной психики. В данном случае критики озадачивают нас: как, мол, нам познать сознанием бессознательное психическое, если оно за это время станет сознательным? Они, увы, не видят, что ответ на это дан в самом факте познания: ведь то, что познает сознание, не становится в результате этого акта сознанием, так почему же должно стать им бессознательное психическое? Почему оно должно быть «потеряно» как предмет для сознания, если оно не теряет самого себя как предмет? Или, может быть, сознанию трудно отмежеваться от бессознательного психического как от собственно психического? Но тогда как это ему удается по отношению к самому себе, на уровне самосознания? Очевидно, преодоление всех подобных трудностей принципиально возможно, потому-то и возможно познание. А бессознательное психическое как предмет познания не содержит в себе чего-то особенного для сознания. Принципиально здесь так же, как и в других случаях, должны быть преодолены и имманентизм и агностицизм. Это второе.

И, наконец, оппоненты психоанализа и любой другой научной теории бессознательного пытаются закрепить свою отрицательную позицию указанием на то, что, поскольку сознание и бессознательное психическое качественно отличаются друг от друга, постижение бессознательного психического сознанием невозможно: «Закономерность работы сознательной психики не может указать на отличную от нее закономерность бессознательной психики. Откуда мы будем знать, что подтвержденное в сознании какое-либо явление бессознательной психики не является достоянием сознательной психики?» [11, 119]. Ошибочность этого рассуждения очевидна. Для сознания не более трудно познать бессознательное, чем объективную реальность вообще, ибо бессознательное психическое не более отлично от сознания, чем эта последняя. В определенном смысле, все, что познает сознание, бессознательно, существует вне его и только как отличное от него качество. Иначе то, что самосознание есть самосознание, не имело бы никакого смысла ни гносеологически, ни психологически. Во всяком случае столько, сколько сознание вообще может знать о чем-либо другом, оно может знать и о бессознательном психическом. Здесь нет и не может быть

принципиального различия. Познанию сознанием бессознательного психического нисколько не мешает то обстоятельство, что при этом бессознательное, как и все остальное, переводится на «язык сознания». Происходит это потому, что у сознания нет прямого доступа не только к бессознательному, но и к самому себе, и еще потому, что в любом акте познания сознание опосредуется одной и той же «промежуточной инстанцией» — практикой. Но это обстоятельство не только не мешает познанию, а, напротив, единственно позволяет сознанию познать весь мир. Это третье.

Здесь же следует отметить, что классически ориентированные психологи порицают Фрейда и его последователей еще и за их «восстановительную работу», так как им (психоаналитикам) приходится, соблюдая верность методу психоанализа, «из проявляющихся в сознании материалов создавать представление о той картине, которая соответствует скрытой определенности бессознательного. Не случайно поэтому, что деятельность психоаналитика Фрейд сравнивает с работой археолога. Из сохранившихся фрагментов прошлого археолог строит картину в целом. Психоаналитик посредством элементов сознательной психики пытается предусмотреть внутреннюю природу стоящей за ней бессознательной психики» [11, 118]. Но кто же вправе запретить психологу из отдельных «фрагментов», сохранившихся в сознании (если они действительно существуют и функционируют), заключать о природе и качествах бессознательного психического? Такой подход не во многом отличен от того, что делают и современные физики. Но если он не отвергается в археологии и квантовой физике, то почему он должен быть порицаем в психологии?

Проблема наблюдения, в ее широком понимании, гораздо сложнее и решается современной наукой в совершенно ином аспекте, чем это представляют себе наши критики. Во всяком случае, их основной аргумент в пользу непознаваемости бессознательной психики, ссылаясь на который они отвергают любую научную теорию этой психики, нельзя использовать тут в качестве сколько-нибудь серьезного довода, даже при отсутствии возможности «прямого» наблюдения над этой психикой. Ошибка наших критиков заключается в том, что из **отсутствия возможности прямого наблюдения** бессознательной психики они делают заключение об **отсутствии возможности ее научного познания:** «бессознательная психика это психика «в темноте», в таком состоянии, когда ее никто не может «видеть», когда она никому неизвестна» [8, 264]. Почему? — Да потому, что наблюдать эту психику невозможно «прямым путем» [8, 267]. С точки зрения современной науки, однако, такое заключение более чем спорно. Это четвертое, что мы хотели бы сказать в адрес наших оппонентов.

В свете сказанного выше должно быть достаточно ясным, что доводы наших оппонентов никак не упраздняют психоанализа как определенного способа исследования бессознательной психики через сознание, напротив, в своем неизвращенном виде психоанализ ставит нас перед увлекательной, но в то же время парадоксальной для классической психологии ситуацией, в которой сознание и бессознательное выступают как взаимоисключающие элементы (как сознание и «антисознание») наблюдаемой при этом одной и той же объективной реальности — человеческой психики. Отсюда все «приключения» — вся притягательная сила и все вопиющие противоречия — психоанализа. Дело в том, что психоанализ наталкивается на гносеологические трудности, которые требуют от него найти неизвестный классической психологии путь адекватного наблюдения и описания удивительно поли-

морфных и сложных образований человеческой психики, следуя которому он мог бы сохранить эти образования как одинаково важные элементы психики в виде сознания и «антисознания». Именно от решения этой невероятно трудной проблемы зависит, сумеет ли психоанализ, в конце концов, построить оригинальную и адекватную общую теорию сознания и бессознательного психического, чуть ли не всеми необходимыми фактами для которой он давно уже располагает. Но не будем, однако, забегать вперед. Отметим только, что ни Фрейду, ни одному из его последователей решить эту проблему пока не удалось. Не станем, однако, сразу всего требовать от одного только Фрейда.

И, тем не менее, если в принципиально сходной ситуации физики опередили Фрейда, то это скорее всего произошло потому, что современная ему психология не была подготовлена для того, чтобы на собственно психологической основе построить всю систему своей общей методологии подобно тому, как немного позже это было сделано в квантовой физике путем введения принципа дополнительности. Не трудно было бы показать, что многочисленными наблюдениями над взаимоисключающими образованиями человеческой психики — сознанием и бессознательным психическим, а также данными, полученными при исследовании необычных проявлений психики (невроз, сон, гипноз), Фрейд, сам того не подозревая, прямо-таки вплотную подводит современную ему психологию к принципу дополнительности, эксплицитное отсутствие которого в его психоанализе во многом предопределило как односторонность его больших психоаналитических интерпретаций (интерпретация антагонизма, существующего между сознанием и бессознательным психическим, без должного учета не менее реально существующего синергизма между ними; преувеличение роли сексуальности и т. п.), так и то, почему в общеметодологическом плане ему приходится **частное возводить во всеобщее**, что лишает его возможности построить адекватную общую теорию бессознательного. Более подробно мы говорим об этом во «Введении» в коллективной монографии «Бессознательное» [3]. Не столь уж трудно, однако, сидя сложа руки, регистрировать все эти противоречия и недостатки психоанализа Фрейда, как этим довольно увлеченно занимается кое-кто и у нас и за рубежом, нередко даже среди самих психоаналитиков наших дней. На самом же деле Фрейд был весьма чувствителен не только к парадоксальности отношений, создающихся в рамках теории психоанализа между сознанием и бессознательным психическим, но и к противоречивости выводов, которые, в силу отсутствия адекватного способа описания (а тем более объяснения), он вынужден был делать иногда относительно той или иной характеристики этих сторон человеческой психики. Чего стоит хотя бы его отношение к гипнозу, сразу же представшему перед ним как внутренне глубоко противоречивый феномен, как носитель совершенно исключающих друг друга характеристик (психическое и соматическое, индивидуальное и межличностное, сексуальное влечение и десексуализация влечений, любовь и трансфер), из-за чего в своей интерпретации он не уставал называть его — этот феномен — «парадоксальным», «уму непостижимым» [37]. В то же время — для нас это особенно важно сейчас отметить — Фрейд, по мнению одного из видных представителей современного психоанализа, «полностью основывается на имплицитной гипотезе о фундаментальном единстве личности человека, рассматриваемой как нерасторжимая психофизиологическая целостность» [48, 149].

Не будем сейчас спорить об адекватности интерпретации Фрейдом «скрытого лица» бессознательного через гипнотическое или какое-либо

иное измененное состояние сознания по этой гипотезе. Отметим только, что, связывая ее с психоанализом, автор вышеприведенных слов объективно, возможно сам того не подозревая и не желая, переводит этот анализ на уровень и язык общей теории установки, как теории именно этого «фундаментального единства» и «нерасторжимой целостности» личности человека, образующих собой феномен его первичной, все еще не реализованной и не фиксированной психологической установки, могущей вызвать к жизни «сущностные силы» этого человека, в том числе и его «фиксированные установки» и даже его «вытесненные» представления и желания. Именно это обстоятельство и делает установку одним из основных объяснительных понятий современной психологии, ссылаясь на которое мы могли бы раскрыть тайну «скрытого лица» бессознательного не только через гипнотическое или какое-либо иное отдельно взятое (частное) измененное состояние сознания, но и по всему глобальному кругу функционирования человеческой психики в целом.

(5) Прежде, однако, чем выразить эту мысль более конкретно, вернемся к некоторым выводам наших оппонентов из числа классически ориентированных психологов об отсутствии научных фактов, подтверждающих реальность бессознательной психики. Таких фактов нет, говорят нам, но если бы даже они и существовали, то все равно они не смогли бы подтвердить основной тезис психоанализа и теории неосознаваемой психологической установки. Почему? Потому, что существует или нет бессознательное психическое — это не вопрос экспериментальной проверки, а вопрос теории. Так заключают наши критики [7; 8; 10; 11; 12]. И если при этом мы снова поставим тот же вопрос, то здесь логический друг замкнется, ибо, на первый взгляд, нет никакого выхода из этой трудности.

Неужели же правда, что для подтверждения своих исходных тезисов Фрейд и Узнадзе не располагают никакими психологическими фактами, а рассмотренные ими в этом аспекте научные факты являются артефактами? Так оставалось бы считать, поверив интерпретации, которую критики дают по крайней мере двум из этих фактов — сновидению и гипнозу. В данном случае мы остановимся только на гипнозе.

Обычно гипноз принимают за эмпирический факт, подтверждающий наличие бессознательной психики. Критики считают, однако, неправомерным так рассуждать[1], ибо между гипнозом и бессознательной психикой, как таковой, по их мнению, нет никакой «сущностной» связи, потому что «мы не знаем», психическое или нет та «цель», которую посредством внушения в виде определенной инструкции субъект получает в гипнотическом состоянии и выполняет бессознательно после выхода из этого состояния — в постгипнотическом состоянии; возможно что она — не психическое, как таковое, а скорее, наоборот, «физиологическое» [10; 11]. Но, во-первых, для того чтобы возникла вся эта проблема, достаточно чтобы в постгипнотическом состоянии субъекта эта «цель» не осознавалась, хотя она продолжает существовать объективно и в соответствующих поступках субъекта реализуется именно **как цель,** причем достаточно четко и настойчиво. Во-вторых, что́ дает нам больше основания объявить ее состоянием физиологическим, чем психическим? Она ведь и в постгипнотическом состоянии остается

[1] Раз, дескать, по Фрейду, «прямого доступа» к бессознательной психике нет, то Фрейд «противоречит себе, когда заботится о так называемых эмпирических фактах в пользу бессознательной психики; особую надежду он возлагает на постгипнотическое состояние. Однако анализ постгипнотического состояния показывает, что оно ничего не может сказать о существовании бессознательной психики» [10, 321].

«целью»?! И все же, что́ является залогом того, что она и на сей раз функционирует как цель, как нечто психическое? Фрейд находит ответ на эти вопросы анализируя сам факт постгипнотического сознания.

Однажды как-то еще Бернгейм внушил своему испытуемому, что после того, как тот будет выведен из гипнотического транса, он должен взять зонтик одного из гостей, открыть его и пройтись дважды взад-вперед по веранде. Проснувшись, этот человек, взял, как ему внушили, зонтик. Правда, он не открывал зонта, но вышел из комнаты и дважды прошелся из конца в конец по веранде, после чего вернулся в комнату. Когда его попросили объяснить свое странное поведение, он ответил, что «дышал воздухом», настаивая, что имеет привычку иногда так прогуливаться. Но когда затем его спросили, почему у него чужой зонтик, он был крайне изумлен и поспешно отнес его на вешалку. Таков эффект постгипнотического внушения, в котором сразу обращают на себя внимание: (1) инструкция — цель, которую испытуемый получает в условиях гипнотического состояния его сознания, (2) та же самая инструкция — цель, которую он, находясь в постгипнотическом сознании, реализует, сам того не осознавая, и (3) противоречивость этого его постгипнотического сознания, что выражается в **рационализации (?)** им не столь уж уместного в данном случае поступка.

Пожалуй, как раз это последнее обстоятельство и вызвало особое удивление Фрейда, благодаря которому, в отличие от Шарко, Бернгейма и прочих гипнологов своего времени, он сумел в дальнейшем обнаружить «скрытое лицо» бессознательного. Ведь говоря обобщенно, в только что изложенном, по Бернгейму, случае Фрейда поразил именно тот факт, что человек что-то делает по причине, самому ему неизвестной, а впоследствии приводит, причем оставаясь совершенно искренним, правдоподобные объяснения своим несообразным поступкам. Не так ли и другие люди, спрашивает Фрейд, находят «причины» своих действий? «Хотя давно было замечено, что объяснения, которые люди дают своим поступкам, не всегда заслуживают доверия, Фрейд сделал это наблюдение краеугольным камнем теории человеческого поведения» [49, 11]. К сказанному следует добавить также известный случай с одной из пациенток самого Фрейда, которая, пробудившись от гипотического сна, бросилась к нему на шею[2], что дало Фрейду повод допустить наличие «третьей фигуры» между врачом и его больным — феномена трансфера как сугубо своеобразной формы проявления межличностных отношений, обнаруживающихся в гипнозе.

Не будем, однако, вдаваться в подробности психоанализа подобных фактов. Отметим только, что по-своему толкуя их, Фрейд преодолевает как чисто физиологическую (Шарко), так и чисто психологическую интерпретацию гипноза, видя в последнем возможность «нового обоснования» бессознательной психики в ее собственно-психоаналитическом понимании, тем более если на все это взглянуть с позиции имплицитно предполагаемой им (как на это вполне определенно указывает Л. Шерток) мысли о «фундаментальном единстве человеческой личности», эксплицитное отсутствие которой в теории психоанализа вынуждает Фрейда (и не только его) к характерной односторонности трактовок. В силу всего этого «бессознательное» в системе психоанали-

---

[2] Вот что говорил Фрейд по этому поводу немного позже: «Я был достаточно трезв душевно, чтобы не объяснить этот поступок моей непреодолимой привлекательностью, и я полагал, что понял природу мистического феномена, скрытого за гипнозом. Чтобы его устранить или хотя бы изолировать, я должен был распроститься с гипнозом». О том, как этот эпизод явился отправным пунктом в открытии Фрейдом трансфера, см. у Л. Шертока [48, 144].

за — это всего лишь отрицательный предикат психики, не способный выразить изначальную природу и онтическую (бытийную) определенность психики конкретного субъекта, а тем более — психики вообще. Но это означает, что, с точки зрения онтологии, Фрейд действительно ничего определенного не может сказать о том, что́ из себя представляют те или иные психические образования (представления, идеи, мысли) и что с ними происходит после того, как они «вытесняются» за пределы сознания и оттуда противопоставляются последнему как некие его «антиэлементы». Вопрос об онтологическом статусе существования бессознательной психики у Фрейда следует считать открытым.

Узнадзе же, наоборот, именно с этого вопроса и начинает свой анализ неосознаваемой психики, раскрывая при этом суть конкретно-психологического представления о фундаментальном единстве субъекта — о его целостно-личностной установке. Чтобы судить о том, насколько радикальным и продуктивным оказывается понятие фундаментального единства психики человека, его целостно-личностной установки для общей теории гипноза, следует обратиться к интерпретации Узнадзе его соответствующих ставших подлинно классическими модельных экспериментов [31; 33]. Это особенно важно отметить сегодня, так как среди даже наиболее авторитетных гипнологов наших дней все чаще повторяется мысль о том, что «За тридцать лет, прошедших после смерти Фрейда, наши познания в этой области вряд ли по-настоящему увеличились. Вопреки развитию психосоматической медицины, мы до сих пор не знаем, каким образом представление — безразлично, идет ли речь, как при истерии, о вытесненном желании или, как при гипнозе, об инструкции гипнотизера, — преобразуется, чтобы найти свое выражение на соматическом уровне» [48, 149].

Такое понимание весьма характерно и для современной психологии установки, хотя, в отличие от Фрейда и психоаналитически ориентированной медицины, Узнадзе и его ученики, исходя из данных своих исследований, могли бы отчетливо сказать, что любое представление (безразлично, идет ли речь, как при истерии, о вытесненном желании или, как при гипнозе, об инструкции гипнотизера или, как при «плохой» памяти, о забытой мысли), когда оно покидает ясное поле сознания, онтологически может существовать только как определенный фактор неосознаваемой готовности или как сама эта неосознаваемая готовность личности к той или иной предстоящей быть осуществленной «здесь и сейчас» деятельности — т. е. как установка, в которой в какой-то мере уже антиципирована общая схема всей этой долженствующей последовать за ней деятельности. Установка как таковая, т. е. как «установка-на» — это, прежде всего, принцип вероятностной организации и вероятностного регулирования деятельности, и объяснить природу гипнотических состояний мы сегодня в отвлечении от этого понятия безусловно не можем. Однако является ли «психическим» сама эта «установка-на»? Вот совершенно новый вопрос, на фоне которого спор с собственно психоаналитическим пониманием бессознательного у наших критиков переходит в спор об исходном принципе теории неосознаваемой психологической установки.

III. Может ли установка (целостно-личностное состояние) существовать в виде психики? К определению исходных феноменологических признаков родового понятия «психического»

(1) В данном случае нас не занимает ни определение родового понятия психического, как такового, ни каких-либо его видовых по-

нятий, все равно, будь то сознание, бессознательное психическое или установка. Вопрос этот — один из наиболее сложных из числа нерешенных вопросов современной науки. По крайней мере, современная психология не располагает подобным определением психического. У нас пока нет однозначного определения самой категории сознания, по аналогии с которым мы могли бы так же однозначно определять другие категории психики. И, тем не менее, современная психология располагает знанием некоторых специфических феноменологических признаков, с помощью которых она в состоянии выделить сознание из всего остального мира явлений, создавая при этом некую методологическую инстанцию для определения родового понятия психики по аналогии с ним. Причем аналогия эта вполне уместна не только по общим соображениям, согласно которым понимание любой высшей формы развития — ключ к пониманию любой его низшей формы, но и в силу того, что феноменологически то, что психология вообще в состоянии сказать относительно внутренней определенности психики, она прежде всего в состоянии сказать относительно сознания. И это не только и не столько посредством открытого в свое время Декартом принципа «когито», сколько благодаря способности каждого из нас подтвердить адекватность этого принципа непосредственно из собственного опыта.

Это и есть великое открытие, на которое опирается вся система классической науки о психике — прежде всего традиционная психология в целом. Не менее характерным оказалось, однако, открытие Фрейдом противоположного принципа — принципа «вытеснения», что с самого же начала заставило современную психологию исследовать эту психику, «дополняя» один принцип другим («когито» — «вытеснением»), не исключая какого-либо из принципов, а прибегая к помощи «парных понятий» — сознания и бессознательного психического, одно из которых соответствует принципу «когито», тогда как второе релевантно противоположному принципу — «вытеснения».

Опыт психоанализа убеждает в том, что, при всей его противоречивости, вопрос о том, может ли бессознательное существовать как обычная форма существования психики (как переживание представлений, желаний, идей, мыслей и т. д. и т. п.), современная психология в состоянии решить лишь с помощью такого необычного для классической психологии принципа, как принцип «дополнительности». При рассмотрении этого вопроса обрисовывается, однако, настолько сложная картина взаимоисключающих и взаимокомпенсирующих отношений в психике человека, что ее относительная стабильность не могла бы быть обеспечена, если бы при наличии этого принципа «дополнительности» одновременно не сказывалось влияние другого, столь же необычного для классической психологии принципа фундаментального единства человека — принципа его целостно-личностной установки, лежащей в основе этих отношений. Только наличие такой установки делает возможным обоснование принципа дополнительности на собственно-психологической основе.

В данном случае нас интересует, прежде всего, адекватность положительного решения Узнадзе и его психологической школой вопроса о реальной возможности существования бессознательной психики в ее собственно-психологической форме — в форме актуальной целостно-личностной установки субъекта, которая, как мы полагаем, вместе с определенными другими феноменами составляет, согласно нашей классификации, единую структуру психики в целом, всех ее удивительно сложных собственно психологических и психосоматических проявлений.

Это обстоятельство заставляет нас вновь вернуться к вопросу об

онтологической природе установки и поставить его в связи с родовым понятием психики по аналогии с сознанием. При этом мы займемся уточнением рабочей гипотезы, согласно которой установка выступает как собственно-психологическое понятие, характеризуемое определенными специфическими собственно-психологическими признаками.

(2) Известно, и у нас об этом уже шла речь выше, что установка, в том смысле, в каком она вплоть до наших дней фигурирует в школе Узнадзе, была с самого начала предложена как одно из фундаментальных понятий психологии, обозначающее специфическое состояние личности, которое формируется **вне** сознания и затем становится основой работы самого этого сознания, его праобразом, как некая целостная предуготованность личности к той или иной организуемой ею (установкой) деятельности. Отсюда вытекает, что понятие установки обладает своим собственно-психологическим содержанием (и «языком»), качественно отличным от обычных психологических содержаний (и «языков») сознания, хотя и способным по принципу вероятностности определять действие этих содержаний (и их соответствующих «языков», т. е. способов выражения). В этой связи возникает, однако, вопрос о том, является ли психическим само это содержание (и «язык») установки?

Во всяком случае, на другом наши критики не настаивают, — они не спорят ни о том, что установка это целостно-личностное состояние, ни о том, что согласно вероятностной схеме психической деятельности установкой определяется все содержание сознания, и ни о том, что установка, как таковая, не осознается в процессе порождаемой ею «здесь и сейчас» деятельности. Спор касается только того, является ли установка бессознательным психическим. Психологи классической ориентации решают этот вопрос отрицательно, ссылаясь при этом на «принципиальную невозможность» существования психики, в форме отличной от «переживания» [7; 8]. Отсюда и соответствующий вывод, которого они, правда, не делают, но который имплицитно присутствует во всех их суждениях: на непсихологическом понятии, каким является в их понимании бессознательное, нельзя построить ни собственно психологическую теорию и ни, тем более, собственно психологическую науку. Этот вывод оказался бы вполне правомерным, если бы можно было считать правомерной его главную предпосылку: психика не может существовать в виде целостно-личностной установки индивида, так как сознание — единственно возможная **форма** существования психики. Но давайте проверим правомерность самой этой предпосылки.

Прежде всего, остановимся на общем (принятом в рамках психологической школы Узнадзе) определении феномена установки: установка это такая принципиально не осознаваемая, целостно-личностная модификация психики, в соответствии с которой происходит вероятностная организация и вероятностное регулирование индивидом своих «сущностных сил», выражающихся в той или иной его конкретной деятельности, вплоть до полной реализации их через сознание. В этой информационно-регулирующей функции установки антиципирована «общая схема» всех последующих вариаций и этой деятельности, и этого сознания в целом — в виде отдельных его проявлений: представлений, идей, мыслей. Поэтому создается впечатление, будто единственно возможной **формой** бытия установки является ее существование только за пределами всякой психики. Между тем, приведенное выше определение установки, как и ее конкретно-научное исследование, говорит нам, что ни один из ее существенных (и сущностных) признаков не имеет внепсихологического происхождения. Согласно этому же определению (а насчет такого определения критики не спорят, ибо в рамках психо-

логической школы Узнадзе это определение вовсе не является постулированным) установка, будучи **смысловой характеристикой личности,** ее целостно-личностной модификацией, одновременно представляет собой и **первичную форму ее непосредственной интенции,** в силу чего она существует как первичный эффект отражения, — как информация, семантическая сущность которой впоследствии, как правило, подлежит проявлению в сознании.

Но может быть, неправильно само это определение установки? От какого же из существенных (и сущностных) признаков нам следовало бы тогда отказаться? Если же окажется, что, согласно психологии установки, ни один из этих фундаментальных признаков нельзя игнорировать, то станет ясным, что все эти признаки, вместе взятые, вынуждают рассматривать установку в виде особой, принципиально новой сферы психической реальности и выяснять ее отношение как к сознанию, так и к бессознательному психическому в их обычном собственно психологическом и психоаналитическом смысле.

Следуя за Узнадзе и его учениками, мы должны рассуждать так: не существует никакого сознания независимо от установки, на основе которой оно возникает, причем между ним (сознанием) и целым миром (поскольку последний в данном случае выступает как предмет его непосредственной интенции) психологически (и гносеологически) установка является обязательной «промежуточной переменной»; понятие же бессознательного психического в его традиционно-психологическом и даже в его традиционно-психоаналитическом смысле является совершенно «лишним» в психологии. Узнадзе никогда этих положений не изменял. А что касается его последнего положения, то из него вовсе не вытекает, что никакого бессознательного психического нет, — ни в виде переживания (представления, идеи, мысли), как оно понимается психоанализом, ни в виде установки, как впоследствии истолковал его Узнадзе. Наоборот, только на идею бессознательного психического и опирается вся психологическая школа Узнадзе. Ибо Узнадзе отрицает бессознательное лишь как переживание (представление, идею, мысль), а не как установку — открытую им же психическую реальность «целостной природы». Но в таком случае ответ на первый вопрос — психическое ли или нет установка? — уже подразумевает ответ и на второй вопрос: признает ли Узнадзе существование бессознательного психического?

Отсюда — весьма своеобразное отношение Узнадзе и его школы ко всему психологическому наследию Фрейда, имеющее в виду преодоление научных трудностей последнего не путем упразднения его основной проблемы — проблемы бессознательного психического, а путем рассмотрения этой проблемы в совершенно ином аспекте — в аспекте установки. По крайней мере с психологической концепцией Узнадзе несовместимо упразднение ни основной проблемы психоанализа, ни основной проблемы психологии установки — проблемы бессознательного психического. Так или иначе, но предельно ясным остается одно: для Узнадзе и его учеников бессознательное психическое — это сама установка, психическая реальность «целостной природы». Исследование этой реальности должно опираться на ресурсы собственно психологии, а именно — психологии установки, что противостоит ошибочному мнению, согласно которому никакого бессознательного психического вообще не существует — ни как переживания, ни как установки, исследование которой, поэтому, возможно разве только на уровне физиологического и не представляет для психологии никакого интереса.

(3) Далее, касаясь, в связи с формированием психологической

концепции Узнадзе, вопроса об онтологической сущности установки, критики констатируют наличие в этой концепции противоречивых положений, которые они, разумеется, также используют в пользу отрицания бессознательной психики и возможности создания какой-либо научной теории о ней. Поэтому мы коснемся далее проблемы понятия установки лишь постольку, поскольку этот вопрос возвращает нас к той же тематике — прежде всего, к теме онтической определенности установки. И в этом случае, ответ на вопрос — является ли установка психической реальностью, содержит в себе ответ на все остальные вопросы.

В исследованиях Узнадзе разных лет мы можем вычитать по этому вопросу два, на первый взгляд исключающих друг друга положения: (а) **установка это явление психическое** (1949), которым Узнадзе завершает изложение своей психологической концепции [33], и (б) **установка это явление подпсихическое** (1923), которым, по существу, начинается изложение данной концепции [29; 30]. Ясно, что два подобных противоречивых положения не могут вместиться в рамки одной и той же концепции. Попробуем разобраться, какое из этих положений соответствует самой концепции и действительно ли два эти положения друг друга исключают? Вряд ли нужно обосновывать, что из этих исключающих друг друга положений (если они на самом деле являются таковыми) более адекватным концепции следует считать то, которое ее завершает. Однако в литературе давно существует противоположная интерпретация, согласно которой установку более целесообразно считать **подпсихическим** [30: см. примечания редактора, стр. 140—141]. Причем основная цель этой интерпретации остается той же: психическую реальность и на этот раз лишить предиката неосознания (неосознаваемости), а установку и бессознательное представить как понятия несовместимые: раз установка неосознаваема, то она не есть психическая реальность.

Почему? Да потому что существование неосознаваемого психического принципиально невозможно, как неустанно утверждают критики. И они сразу бы все решили, если бы не одна существенная деталь. Мы имеем в виду то, что в психологии установки понятие «подпсихическое» и понятие «установка» выражают одно и то же. Их феноменологические признаки также, принципиально, одни и те же: модификация того и другого происходит вне сознания, одинаково определяя при этом работу сознания; и подпсихическое и установка возникают только как результат «первой встречи» потребности и ситуации ее удовлетворения; оба они — характеристики одновременно и смысловые и личностные; оба имеют в информационном плане одинаково мотивированную и одинаково необходимую для сознания ценность, будучи носителями «in писе разрешенной задачи» деятельности. Но это значит, что понятие «подпсихическое» и понятие «установка» в равной степени выступают в концепции Узнадзе как объясняющие, а не как чисто описательные категории и при этом оба одинаково используются как конкретные понятия, удобные для выполнения соответствующих психологических операций [42; 43].

Какие отсюда следуют выводы? Во-первых, то, что для обозначения фундаментального единства человеческой личности, ее **нерасчленимой целостности** в данном случае используются не два разных понятия, а лишь два разных термина, из которых впоследствии выбирается один — «установка». И, во-вторых, то, что как термином «подпсихическое», так и термином «установка» в концепции Узнадзе в равной мере зачеркивается весь смысл традиционного понятия бессознательного как объясняющего (но не чисто описательного) понятия современной

психологии. Таким образом заблуждение вызывает только то обстоятельство, что, обозначая термином «подпсихическое» целостно-личностную модификацию субъекта, Узнадзе не говорит о последней как о собственно психическом, хотя в данном случае частица «под» употребляется им не в значении отрицания «не», а всего лишь в значении «основы», т. е. чего-то **под**-лежащего. Само истолкование установки указывает на это. А раз так, то, значит, всякое иное прочтение «подпсихического», по крайней мере с точки зрения топики, неоправданно: разве основу чего-то мы можем себе представить иначе, чем в виде его непосредственной «части»? Например, скажем, представить себе структуру какого-либо экономического базиса независимо от соответствующей этой структуре общественной формации? Именно такое **исходное начало,** такой **базис всякой психики** и представляет собой целостно-личностная установка субъекта на ту или иную определенную деятельность, независимо от того, обозначается ли она термином «установка» или термином «подпсихическое». Поэтому не так уж важно, каким из этих терминов оперировал Узнадзе в 1923 году; главное, это то, что в указанном смысле он и тогда не мог не считать обозначаемое ими «состояние личности» психическим. В ином смысле он не понимал его и в 1949 году.

(4) Но это только с точки зрения топики. А по содержанию? — могут спросить критики. Для этого прежде всего следует уточнить само содержание родового понятия «психическое» по аналогии с сознанием и в непосредственной связи с ним.

И действительно, что же это такое — психическое, хотя бы по аналогии с тем, что мы называем сознанием? В чем заключается его фундаментальные феноменологические свойства? Каковы его родовые собственно-психологические признаки? Главные из них, очевидно, — это (1) изначально характерная для всякого психического интенциальность с принципом двусторонней — прямой и обратной — связи; далее то, что (2) любое психическое всегда является образом, отражающим объект своей интенции, и что, как таковое, (3) оно всегда имеет свою информационную структуру, т. е. отражает не все в объекте интенции, а лишь какие-то определенные его черты; к тому же, (4) будучи образованием собственно-личностным и межличностным, (5) любое психическое в то же время выступает и как определенная система отношений, характерная для того или иного уровня развития индивида, его потребительского отношения к миру.

Все эти собственно-психологические признаки психики, вместе взятые, характеризуют и установку, в отличие от которой к самому сознанию прибавляется еще только одна-единственная фундаментальная характеристика — способность к так называемому **предметному переживанию** и к возникшим на этой основе восприятию, представлению, мышлению с **со-знанием** и этого восприятия, и этого представления, и этой мысли, одновременно связанных **со-знанием предмета** и этого восприятия, и этого представления, и этой мысли. Ибо «способ, каким существует сознание и каким нечто существует для него, это — знание» [14, 633].

А раз так, то не целесообразно ли «производить» сознание путем «диалектического скачка» из явно психономной по природе установки, как одной из конкретных форм идеального статуса бытия, его **внутренней организации и вероятностно-направленной целостности,** чем путем того же «диалектического скачка» его «производят» критики прямо и непосредственно из материи [7; 8; 10; 11]? Тогда и сфера самой психической реальности, как системы отношений «установка — сознание — бессознательное психическое переживание» лучше «свяжется» и психология более точно и полно найдет свой предмет исследования. Нам пред-

ставляется, что на основе этой трехчленной схемы анализа психики психология оказывается способной учитывать одновременно и наиболее связанным образом всевозможные аспекты своей основной проблемы — проблемы внутреннего мира психики, до сих пор так занимающего ее в качестве предмета познания и до сих пор так характерно отбрасываемого ею из-за его невероятной сложности.

IV. Принцип дополнительности и установка как предмет научного познания. Метод фиксированной установки

(1) Трудности, которые характеризуют познание психики в целом, не устраняются при анализе и любых ее системных образований, будь то сознание, бессознательное психическое или установка. Дело в том, что психология всегда представляет себе психику «в двух лицах», одним из которых последняя обращена к субъекту своего познания и, будучи образованием личностным (субъективным), разделяет природу этого субъекта, тогда как другим она обращена к объекту и, будучи единственно возможным «языком» его выражения, разделяет природу и этого объекта. Однако, определив таким образом совершенно разные (диаметрально противоположные) позиции психики в отношении субъекта и объекта, психология тем самым лишает себя реальной возможности «прямого наблюдения» над этой психикой одновременно и с той и с другой позиции, а следовательно, и реальной возможности такого наблюдения над ее **целостной феноменологической структурой.** Чтобы оправдать себя, классическая психология вынужденно избирает путь «рассечения» целостной феноменологической структуры психики, опять-таки по принципу Галилея, и строит свою систему знания, исходя из опытных данных, полученных при наблюдении психики то **со стороны субъекта,** в результате чего возникает классический вариант интроспективной психологии сознания, то **со стороны объекта,** что приводит как к характерному результату к классическому бихевиоризму.

Что же касается восстановления этой «рассеченной» надвое целостной феноменологической структуры психики, то в пределах классической психологии сделать это принципиально невозможно. Наоборот, от этой психологии требуется прежде всего отказаться от свойственного ей способа мышления и сделать это путем «дополнения» (но не исключения) одного из этих подходов другим. Однако для этого психология нуждается в собственно-психологическом понятии изначальной фундаментальной целостности психики, как определенной системы отражения, и в возможном только на этом основании **собственно-психологическом принципе дополнительности,** что переводит эту науку на качественно иной уровень истолкования психики, которая рассматривается «в двух лицах».

Ранее других об этом заговорил Фрейд. Но он подходил к данной проблеме не с позиции рассмотрения психики как системы отражения транспсихического «положения вещей», а трактуя психику человека как определенную форму переживаний, где сознание и бессознательное психическое только «дополняют» друг друга, образуя при этом систему специфических отношений внутри замкнутого круга психики субъекта. При таком понимании сама эта психика, как предмет познания, выпадает из сферы фундаментальных отношений личности (Id—Ego—Super-Ego), а личность сводится к этой психике путем обратной деперсонизации ее исходных систем — Ubw, Vbw, Bw.

И все-таки как положительный, так и отрицательный опыт Фрейда все еще продолжает играть важную роль в исследованиях феномена

психики как феномена «с двумя лицами». Исходя из положительного опыта Фрейда, мы не можем более исследовать ни психику в целом ни одно из ее системных образований (безразлично будь то сознание, бессознательное психическое или установка) упрощенно, вне их взаимоисключающей и взаимокомпенсирующей связи друг с другом. В частности, положительный опыт психоанализа Фрейда заставляет нас исследовать бессознательное не иначе, как только через сознание и личность, их носителя, в единой системе их отношений. Своим же отрицательным опытом психоанализ доводит эту вполне адекватную идею до очевидной трудности, в силу того, что утверждает универсальную гегемонию бессознательного, приводящую к непреодолеваемой в его рамках трагедии и того (сознания), и другого (личности).

Но Фрейд делает это не по причине «темноты» его учения, а вследствие отсутствия в разработанном им категориальном аппарате понятия, отражающего изначальную фундаментальную целостность психики, и неумения оперировать собственно психологическим принципом относительности. Использовав же эти категории он мог бы свободно преодолеть гносеологические противоречия, которые так неустранимо возникают у него, что в конце концов вынуждают его «освободиться» от сознания, объявив последнее неким эпифеноменом человеческой психики. Поэтому любая попытка сохранить в психоанализе этот вполне понятный «дуализм» понятий в соответствии с исходной моделью Фрейда, при отсутствии предлагаемого нами в этой связи понятия изначальной целостности психики и соответствующего этому понятию приема обработки опытных данных, остается, как нам представляется, гласом вопиющего в пустыне.

(2) В свою очередь, это обстоятельство вновь возвращает нас к вопросу о том, что́ же это такое — изначальная целостность психики и как она понимается в рамках занимающей нас психологической концепции? Мы попытаемся подойти к этому вопросу с позиции классического метода фиксированной установки, выступающего не только как метод исследования феномена единой установки личности, ее фундаментальной (нерасчлененной) целостности, но и как метод исследования сознания и самой этой личности в целом. Однако, прежде чем изложить соответствующую интерпретацию классического метода фиксированной установки — метода Узнадзе, мы попытаемся проанализировать интересующий нас феномен фундаментальной модификации психики без какой-бы то ни было апелляции к сознанию и к переживанию субъектом своих ожиданий, а тем более самих иллюзий[3]. При этом мы полагаем себя в праве воздержаться от описания всяких подробностей, ограничившись лишь ссылкой на многочисленные исследования экспериментальной психологии установки [16; 33; 50; 63; 64] и на отдельные работы, обобщающие результаты данных этих исследований в интересующем нас направлении [23; 24; 42; 43; 44; 45].

(3) Широко известно, что по мысли Узнадзе и его учеников, в основе иллюзий, возникающих в критических опытах по выработке установки, лежит не какое-либо ожидание, осознаваемое или неосознаваемое в обычном смысле слова, т. е. не нечто, осознанно или неосознанно

---

[3] Модель эксперимента по активации феномена установки была предложена Узнадзе в следующем виде: испытуемый несколько раз подряд в установочных опытах получает в каждую из рук по шару равного веса, но разного объема, причем шар меньшего размера дается всегда в одну и ту же руку; затем испытуемому в критических опытах дают шары одинакового объема и веса. И тут, на вопрос, какой шар больше, испытуемый отвечает, как правило, что большой шар находится в той руке, которая раньше получила шар меньших размеров [16; 33; 50].

переживаемое субъектом, а скорее фундаментальное единство его психики — его «целостно-личностное состояние» как «определенная готовность» к той или иной представляющей быть осуществленной «здесь и сейчас» деятельности.

При этом Узнадзе и его сотрудниками были определены основные экспериментальные характеристики феномена установки:

— Установка возникает как изменение сугубо централизированного характера и, будучи не локализуемой в пределах какой-либо одной чувственной сферы, легко распространяется из одной сферы в другие, например, из гаптической — в оптическую, из оптической — в мускульную, из мускульной — в гаптическую и наоборот... при соответствующей транспозиции иллюзии (иррадиации установки) с одной модальности восприятия на другую — от гаптического чувства к оптическому, от оптического к мускульному, от мускульного к гаптическому и т. д. и наоборот... по всему глобальному кругу чувств [18; 33; 39; 50; 63; 64]:

— Установка подвергается фиксации посредством определенной серии опытов (так называемых установочных опытов) и может выступать как твердо фиксированная, легко поддающаяся впоследствии не только количественным, но и качественным собственно-психологическим измерениям и операциям. Причем как в той (не фиксированной), так и в другой (фиксированной) форме установка лежит в основе стимулируемой ею деятельности, обеспечивая ее структурирование и связную последовательность, ее специфическую направленность и динамичность, ее «предуготовленность» именно к таким, а не каким-либо иным образом осуществляемым поведенческим актам. Отсюда фундаментальное значение установки в вероятностном регулировании психофизиологической активности организма и поведения человека, а также в вероятностном регулировании его характерологических проявлений [19; 20; 33; 50];

— Возникновение и фиксирование установки, как и ее активация с помощью экспериментальных приемов типа так называемых практических опытов, происходит в сфере отношений субъекта деятельности самим этим субъектом не осознаваемых и непосредственно не переживаемых. Отсюда и принципиальная неосознаваемость и непереживаемость установки как определенного психологического эффекта и внутренней формы структурирования этих отношений, ибо как «диспозиционная структура», как «системная особенность» установка не становится предметом сознания. И даже напротив, установка с самого начала выступает как нечто собственно-бессознательное и остается таковым, пока вообще функционирует как целостно-личностная модификация человеческой психики, безразлично будь это в норме или патологии [24; 44; 45]. И в то же время установка глубоко влияет на последующие осознание и переживание субъектом самого себя и своей деятельности, не только предопределяя при этом их характер и динамику, но и, посредством свойственного ей акта «объективации» (этой своего рода «остановки психики»), непосредственно вызывая их к жизни [23; 33; 45; 50]. Путем объективации ситуации происходит «выделение предмета» как «некоего объекта» познания[4]. Причем функция уста-

---

[4] В этом и заключается неустранимый «дуализм» психики на уровне сознания. Когда мы говорим, что установка не осознаваема и не переживаема непосредственно, это значит лишь то, что на уровне установки предмет переживания и само это переживание представлены в их нерасчленяемом виде. Это значит, что установка, если брать ее как целостно-личностную модификацию психики, не отделяет себя от своего предмета ни в том и ни в другом отношении, т. е. ни со стороны субъекта и ни со

новки равнозначна как в отношении сознания, так и в отношении переживания, ибо «для того, чтобы сознание возникло в каком-нибудь определенном направлении, предварительно необходимо, чтобы была налицо активность установки, которая собственно в каждом отдельном случае и определяет это направление» [33, 41];

— Будучи целостно-личностным состоянием субъекта, установка формируется и функционирует как единая структура с двумя совершенно разными и противоположными друг другу параметрами — потребностью, как неким исключительно субъективным фактором, и ситуацией, как неким исключительно объективным фактором, которые одновременно выступают как одинаково необходимые и одновременно функционирующие детерминанты данной структуры, вплоть до ее полной реализации в сознании и через него — в деятельности, в собственном смысле слова, что и делает установку фундаментальной диспозиционной структурой психики — «элементом» или «элементарной частицей», лежащей в основе любой ее собственно-психологической модификации на любом уровне ее фило- и онтогенетического развития, в норме и патологии. Отсюда и соответствующий опыт по вызову к жизни феномена установки путем его фиксации то со стороны его объективного детерминанта — объекта (когда в принципиальном отношении этот феномен выступает как своеобразная реакция испытуемого на внешнее воздействие), то со стороны его субъективного детерминанта — субъекта (когда он возникает как реакция испытуемого на интимные раздражения), а то со стороны и того и другого одновременно (когда этот феномен мог бы выступить в своем подлинно психологическом смысле, как «внутренне наполненная» целостность) [16; 33; 44; 45; 50];

— Как нечто собственно-психологическое, установка образуется не только при наличии потребности и ситуации, при их определенной встрече» в поисковой активности индивида, но и при соответствующей модификации состояния его центральной нервной системы, внутренней формой существования которой она и выступает, вплоть до последующей реализации ее в том или ином конкретном поведении данного индивида. Отсюда непосредственная связь любой актуально функционирующей установки индивида с его фиксированными психологическими установками, выступающими как своеобразные формы его прошлого опыта, непосредственно связанные с теми или иными перипетиями истории его психики. Установка — это динамическая структура личности. В этом отношении весьма ценны результаты как классических, так и современных исследований данной структуры методом фиксированной установки [4; 5; 50].

Все эти характеристики, вместе взятые, представляют сущность феномена установки, ее общепсихологические особенности как диспо-

стороны объекта, как одинаково необходимых параметров ее возникновения и функционирования. В этой связи убедительно звучит аналогия с образованием волн на водной поверхности: «Если бросить в воду камень, то водная поверхность начинает рябить. Когда камень большой, то появляются волны одного вида, когда поменьше— другого. Не одинаковы и волны, вызванные, скажем, ветром или движением парохода. А это означает, что в данном случае мы имеем дело не с **простым изменением** состояния воды, а совершенно **определенным изменением,** в котором проглядывает сущность вызываемого его агента. Следовательно, в движении волн переплетены оба момента— состояние воды и характер агента. Можно сказать, что состояние воды реально как не расчлененное целое, в котором проглядывает как ее лицо, так и лицо ее агента» В этом отношении «дуализм» установки как целостно-личностной модификации психики существенно отличается от феноменологического «дуализма» сознания.

зиционной структуры, которая лежит в основе всего многообразия и внутреннего динамизма психики, будучи исходной единицей и фундаментальным принципом ее «двусторонней связи».

(4) Теперь несколько слов о структуре установки как об определенном собственно-психологическом предмете познания и о том, как это познание ставит психологию перед своим собственно-психологическим принципом дополнительности.

(а) Остановимся сначала на вопросе об установке, какой она выступает как предмет экспериментальной психологии. Вся суть в том, что психологическая установка, какой она выступает в эксперименте, и установка, какой она является, будучи исходной модификацией психики, должны быть равнозначными. Иначе эксперимент не сможет подтвердить наличие психологических установок ни в реальной структуре личности, ни в реальной структуре поведения. Поэтому нашу проблему следует выразить так: остается ли что-либо ненаблюдаемым при непосредственном исследовании (в том или ином эксперименте) целостной структуры установки? и может ли, в случае надобности, это «ненаблюдаемое» стать предметом современной экспериментальной психологии установки? Ответ на эти вопросы далеко не прост, так как в первом случае он требует уточнения эпистемологических возможностей классического метода фиксированной установки, а во втором заставляет отказаться от классического понимания, согласно которому ничто, непосредственно не наблюдаемое, принципиально не может стать предметом экспериментальной науки.

Итак. Эксперимент это способ непосредственного наблюдения, а посему ничто не наблюдаемое непосредственно не может стать предметом экспериментирования — формой объективного наблюдения. Таков неизменный закон любой классической теории эксперимента как наиболее адекватной формы объективного наблюдения в любой конкретной науке, в том числе и в психологии. Однако, будучи вполне адекватным применительно к объектам определяемым однозначно, эксперимент сразу перестает быть таковым в отношении объектов, не определяемых однозначно, что заставляет психологию, как и другие науки какого бы они ни были происхождения, отказаться от классической теории эксперимента и предпочесть, как показывает опыт современной физики, разумное сочетание так называемых «реальных» и «мысленных» экспериментов, когда воспроизведение «целого» происходит через «абстрактные определения» его взаимоисключающих сторон путем их взаимного «дополнения». Нечто аналогичное происходит и с классическим методом фиксированной установки, если попытаться уточнить его эпистемологические возможности в контексте интересующей нас в данном случае психологической концепции. При исследовании сознания и бессознательного психического как единой системы отношений в сфере личности, нам приходилось не раз подвергать анализу эту проблему [42; 43; 44; 45] и поэтому мы не станем к ней сейчас возвращаться. Отметим только некоторые принципиальные соображения, возникшие в результате этих исследований.

Единую структуру установки — как необходимую психологическую основу и личности, и деятельности, и всякой последующей модификации психики — создает двустороннее (прямое и обратное) отношение, в котором, при соответствующей поисковой активности субъекта, выступает та или иная неудовлетворенная потребность данного субъекта, как нечто имманентное (исключительно субъективное), и окружающая его ситуация, как нечто трансцендентное (исключительно объективное). Поэтому непосредственное наблюдение над психологи-

ческим эффектом установки действительно проводится по вариации или его объективного фактора — ситуации, или его субъективного фактора — потребности, при «первой встрече» которых весь этот эффект и возникает в единой сфере личности и деятельности. Отсюда и классический характер самого экспериментального метода фиксированной установки не только в смысле утонченности, но и в смысле ограниченности его эпистемологических возможностей как метода непосредственного наблюдения. Сюда относятся буквально все доныне известные у нас вариации классического эксперимента фиксированной установки, будь то эксперимент с шарами [16; 33; 50], с нейтральным шрифтом [16, 71—79; 40], с субсенсорными раздражителями [89] или др.

Некоторые из этих вариаций классического метода фиксированной установки [16, 189—194; 39; 41] претендуют на то, чтобы путем прямого наблюдения добиться непосредственного знания, какова динамика установки до ее последующей фиксации, т. е. до того, как она потеряет свою первоначальную модификацию в виде внутренне наполненной целостности личности и станет ригидной в форме определенной диспозиции личности, превратившись в элемент ее прошлого опыта. Однако при всем значении подобных вариаций классического метода фиксированной установки, добиться с их помощью непосредственного знания об этом феномене невозможно. Ибо во всех этих вариациях наблюдения над психическим эффектом установки оба его исходные начала — потребность и ситуация, с одной стороны, всегда ассимилируют друг друга, тогда как, с другой, ни при одной из этих вариаций нам не предоставляется позиция, с которой мы могли бы наблюдать над этим эффектом со стороны обоих его исходных начал **одновременно.**

Это и заставляет нас отказаться от «непосредственного знания» об изначальной целостности психологического феномена установки как сложного составного («атомного») объекта познания, повторяя вслед за Узнадзе, что, пока мы не располагаем способом объективного наблюдения над тем, «как впервые зарождается установка. Пока мы не знаем и того, как можно вызвать к жизни формирование такой установки, мы **не владеем методом изучения этого вопроса»** [32, 31. Подчеркнуто нами]. По-видимому и в ближайшее время мы не добемся знания, как ведет себя установка сама по себе в своей изначальной целостности. А, может быть, в этом и нет никакой надобности, тем более, что, в конечном счете, научное знание — это, главным образом, всего лишь выводимое, но не непосредственное знание. Ибо то, что подтверждается непосредственным опытом, может и вообще не подтвердиться знанием (наукой).

Итак, возможно ли непосредственное знание научных фактов вообще и как нам, в частности, добиться его в отношении установки как своего рода «элементарной частицы» психической реальности? Исходя из эпистемологических возможностей современной науки, на этот вопрос мы могли бы ответить только отрицательно.

Нетрудно окинуть взором ту теоретическую плоскость, в которую мы переносим спор в связи с проблемой непосредственного знания об «установке-частице». Пытаясь добиться такого знания, современная психология установки подходит, по-видимому, к тому же пункту познания человеческой психики, к которому с другой (противоположной) стороны подошла современная физика в ее поисках нужной «позиции» прямого наблюдения над атомными объектами (системами) внутри физической реальности. Не удивительно поэтому, что при современной «технике» экспериментирования проблема так называемого не-

посредственного знания в обоих случаях остается почти одинаково открытой: решив данную проблему для одного из этих случаев, мы располагали бы принципом ее решения и для другого случая. Именно это обстоятельство и приводит нас к мысли, что подобно тому, как современная квантовая физика компенсирует свое «незнание» (в смысле «непосредственного знания») сущности атомных объектов логическим принципом дополнительности, так и современная экспериментальная психология установки **должна** компенсировать свое «незнание» сущности «установка—частица» своим собственно-психологическим принципом дополнительности

(б) Остановимся теперь на некоторых общих основаниях принципа дополнительности в его приложении к экспериментальной психологии. В частности, на эпистемологических основах, позволяющих расширить сферу применения этого принципа за счет научного познания исходной целостности всякой психики — установки.

Принцип дополнительности, в том его виде, в каком он выступает сегодня в физике, является, как известно, результатом существенного изменения издавна присущих данной науке претензий на абсолютную истину об объективной (физической) целостности мира и заменой этой абсолютной истины истиной вероятностной. И если, все же, при отсутствии у физики на данном ее уровне практической возможности реализовать свои претензии на абсолютную истину, ей не приходится совершенно отказываться от этой истины, то это потому, что в принципе она оказывается способной в какой-то мере компенсировать свое незнание эмпирически наблюдаемых процессов и явлений мира соответствующими теоретическими конструкциями путем «дополнения» одних из этих конструкций другими, для чего и был введен Нильсом Бором принцип дополнительности в его приложениях к двойственной природе атомных систем. Вероятностно-научный метод описания этих систем обрисовывается как адекватный при исследовании **«атомных систем»** и других наук, прежде всего психологии, где посредством него наряду с «реальными экспериментами» начнут функционировать и «мысленные эксперименты», чтобы тем самым через «абстрактные определения» приняться за «воспроизведение конкретного путем мышления» (Маркс). Ибо единственно возможной формой развития науки, поскольку она мыслит, «является гипотеза» [15, 555].

При этом весьма наглядным образом предстают как (1) объективные причины, побудившие Бора ввести в современную физику совершенно новый теоретико-познавательный (вероятностный) принцип описания (и объяснения) физической реальности — принцип дополнительности, так и (2) определение трудности гносеологического порядка, которые так настойчиво стимулировали Бора и стимулируют нас сегодня на расширение сферы применения этого принципа за счет других наук, в том числе и психологии.

Последние открытия современной физики и, в частности, открытие ею атомных объектов сразу же дали почувствовать непригодность той системы понятий и приемов доказательства, которыми довольно результативно пользовалась традиционная классическая физика в отношении микрообъектов. Дело в том, что в опытных данных, относящихся к атомным частицам, квантовая физика наталкивается на закономерности «нового типа, не поддающиеся детерминистскому анализу» [6, 141] в том смысле, в каком этот анализ проводится по классическому принципу. Поэтому естественно, что вскрыв специфические отношения, существующие между измерительным прибором и изучаемыми объектами, квантовая физика, вместе с тем, вынуждена была искать не только свои собственные понятия, но и свои собственные спо-

собы «наблюдения» над этими объектами путем «разумного сочетания» событий, о которых информируют ее как «реальные», собственно-физические (классические), так и «мысленные», собственно-квантовые («дополнительные») эксперименты, вместе взятые. В этой связи квантовой физике и пришлось внести в описания новый элемент относительности — относительность не только понятий, но и средств наблюдения, так как только признание относительности средств наблюдения «уточняет» смысл старых конкурирующих друг с другом физических понятий и позволяет вводить новые, собственно-квантовые понятия [34, 218].

Тут мы вплотную подходим к тому пункту физического принципа дополнительности, благодаря которому его эпистемологические возможности делаются адекватными для описания человеческой психики через ее взаимоисключающие характеристики — сознание и бессознательное психическое — каким они выступают при их одностороннем определении в классической психологии. Мы имеем в виду гносеологическую трудность, с которой сталкивается квантовая физика на пути рассмотрения исходного дуализма «волна-частица». Дело в том, что экспериментальные установки, позволяющие регистрировать каждую из последних, несовместимы, что с самого же начала ставит анализ (познание) перед трудно разрешимой дилемой: или двойственность самой структуры «волна-частица» следует считать артефактом, и тогда развивать физику пришлось бы в сторону полного возврата к ее классической модели, как это делают сегодня некоторые физики из известной школы де Бройля, или же найти принципиально иной способ решения проблемы дуализма «волна-частица», как это было сделано Бором и его последователями, развивающими квантовую физику в направлении ее дальнейшего отхода от классицизма. Заслуга предлагаемого при этом физического принципа дополнительности в том и заключается, что на его основе создается возможность нового способа решения проблемы дуализма «волна-частица»: развития физики на собственно-квантовом постулате. Поэтому, когда мы говорим о принципе дополнительности, как о качественно новом способе описания, убедительнее всего ссылаться на исходную целостность атомных объектов, воспроизведенную путем «разумного сочетания» всех опытных данных о взаимоисключающих (корпускулярных и волновых) свойствах этих объектов. Касаясь этой характерной «синтезирующей активности» принципа дополнительности, Нильс Бор пишет: «Как бы ни были велики контрасты, которые обнаруживают атомные явления при различных условиях опыта, такие явления следует называть дополнительными, в том смысле, что каждое из них хорошо определено, а взятые вместе они исчерпывают все поддающиеся определению сведения об исследуемых объектах» [6, 124]. Или еще: «Какими бы противоречивыми ни казались, при попытке изобразить ход атомных процессов в классическом духе, получаемые при таких условиях опытные данные, их надо рассматривать как дополнительные, в том смысле, что они представляют одинаково существенные сведения об атомных системах и, вместе взятые, исчерпывают эти сведения» [6, 103—104].

Принципу дополнительности, независимо от того, какой бы он ни служил науке в качестве средства описания неоднозначно определяемых объектов познания, будь то физика или психология, всегда свойственны: (а) использование взаимоисключающих и взаимоограничивающих друг друга неадекватных классических понятий в виде так называемых «дополнительных пар» («чрезвычайно характерную черту атомной физики представляет новое соотношение между явлениями, наблю-

даемыми при разных экспериментальных условиях, для описания которых приходится применять раные элементарные понятия» [6, 103]), и (б) применение «абстрактных определений» логики, способных к воспроизведению целостной картины сложных объектов путем отвлечения от конкретного (согласно Бору, принцип дополнительности следует «рассматривать как логическое выражение нашей ситуации по отношению к объективному описанию опытного знания» [6, 104]). Из всего этого не вытекает, однако, что принцип дополнительности не нуждается в новой системе собственных понятий и что результаты так называемых «реальных экспериментов» не столь уж для него существенны. Наоборот, как из пункта «а», так и из пункта «б» мы должны извлечь нечто прямо противоположное этому. Ибо «только взаимное исключение всяких двух экспериментальных манипуляций, которые позволили бы дать однозначное определение двух взаимно дополнительных физических величин, — только это взаимное исключение и освобождает место для новых физических законов, совместное существование которых могло бы, на первый взгляд, показаться противоречащим основным принципам построения науки» [6, 87].

Именно эту совершенно новую позицию в отношении описания физических явлений и пытается охарактеризовать Бор принципом дополнительности, позицию, позволяющую распространить этот принцип и на описание явлений психики, вплоть до раскрытия ее исходной целостности. Ведь вся загвоздка заключается в том, что из-за отсутствия реальной возможности одновременно наблюдать взаимоисключающие свойства неоднозначно определяемых объектов познания (корпускулярные и волновые свойства электрона, в одном случае, объективные и субъективные факторы установки, в другом), данные, полученные при разных условиях опыта, не могут быть «охвачены одной единственной картиной». И чтобы найти выход из этого положения, мы и в том и в другом случае должны рассматривать эти данные «как дополнительные в том смысле, что только совокупность разных проявлений может дать более полное представление о свойствах объектов», тем более, что само приписание атомным объектам (системам) «обычных физических атрибутов существенным образом связано с неоднозначностью» [6, 61]. Во всяком случае, «в атомной физике слово «дополнительность» употребляется, чтобы характеризовать связь между данными, которые получены при разных условиях опыта и могут быть наглядно истолкованы лишь на основе взаимно исключающих друг друга представлений» [6, 49].

С этой точки зрения, вполне правомерно сам принцип дополнительности, в его приложении к познанию сложных образований природы, квалифицировать как своего рода научную феноменологию, особенно пригодную для описания **опытных данных** психологии о двойственной природе психики.

(5) Принцип дополнительности обретает, таким образом, совершенно новое качество — качество принципа общей теории научного познания, поскольку у каждой науки есть своя собственная эпистемология [21], разрабатываемая данной наукой, когда она начинает размышлять не только о своих «внутринаучных связях» и соответствующих им способах наблюдения, но и об этих способах в контексте «междисциплинарных связей». Иначе она не смогла бы охватить всю сферу своей основной проблематики со всеми ее последующими ипостасями. Не исключена возможность, что само наличие в каждой науке логических трудностей, связанных с двойственной функцией «собственной эпистемологии», и заставляет эту науку включиться в систему междисциплинарных отношений наук по смежности. Во всяком случае, в свете

принципа дополнительности обрисовывается наличие подобных трудностей не только в квантовой физике, но и в целом ряде других наук. Трудности подобного плана, которые стоят, в частности, перед психологической наукой, могут помочь уяснению логического аспекта физического принципа дополнительности, так как по сравнению с атомными объектами наши переживания, как предмет познания, еще более ускользают от прямого наблюдения. В этой связи вспоминается весьма мудрая мысль: «Если мы пробуем анализировать наши переживания, то мы перестаем их испытывать». В самом деле, вряд ли можно не согласиться с Бором, когда он говорит, что «при самонаблюдении, очевидно, невозможно четко отличить сами явления от их сознательного восприятия, и, хотя мы часто говорим о том, что мы обратили свое внимание именно на ту или иную сторону психического опыта, при более тщательном рассмотрении оказывается, что на самом деле мы встречаемся во всех подобных случаях со взаимоисключающими друг друга положениями» [6, 44].

Это и есть то старое логическое противоречие, о котором давно известно в психологической науке как о непреодолимой трудности так называемого прямого наблюдения над поведением «переживания-частицы» не говоря уже об «установке-частице». Поэтому Бору и не потребовалось особых усилий, чтобы «обнаружить, что между психическими опытами, для описания которых адекватно употребляют такие слова, как «мысли» и «чувства», существует дополнительное соотношение, подобное тому, какое существует между данными о поведении атомов, полученными при разных условиях опыта» [6, 44]. Не исключено, что именно неадекватность односторонней детерминации психики прежде всего и побудила Бора ввести этот принцип в свою науку и оттуда снова распространить его на психологию.

Попытаемся подтвердить эту мысль ссылкой на самого Бора: «Интересно отметить, — говорит он, — что в физической науке на ранних ее стадиях можно было опираться на такие стороны событий повседневной жизни, которые допускают простое причинное объяснение, тогда как при описании нашего душевного состояния использовалось с самого возникновения языков такое описание, которое по существу является дополнительным» [6, 107]. Не означает ли это, однако, что тем самым принцип дополнительности определенным образом связывает две великие и одинаково фундаментальные науки о мире: физику — как науку о физической (транспсихической) реальности, если взять ее в самом широком смысле, и психологию — как науку о психической реальности, если брать ее в том же смысле, причем связывает так, что в целостной научной картине мира та и другая наука вполне закономерно дополняют друг друга.

В отвлечении от этого принципа дополнительности ни одна научная картина мира не была бы адекватной. Это обстоятельство и делает принцип дополнительности приложимым к общей теории науки, где он выступает и как собственно-эпистемологический принцип воспроизведения, и как собственно-эпистемологический принцип относительности научного знания, ни в малейшей мере не нарушая при этом полного согласия с диалектико-материалистической интерпретацией самой сути науки (истины). Во всяком случае, мы вправе в этой связи считать, что современная психология больше чем какая бы то ни была другая наука нуждается сегодня в «типично дополнительном методе описания», тем более, что сам по себе «психический опыт не может быть подчинен физическим измерениям» [6, 127]. Только этот метод, при использовании соответствующей категории — категории изначаль-

ной целостности психики — и делает психологию наукой современной в собственном смысле слова.

V. Некоторые выводы и обобщения. К вопросу о построении метатеории психологии

(1) Итак. Психоанализ и теория неосознаваемой психологической установки выступают на сегодня как наиболее обобщенные и концептуально совершенно обособленно функционирующие направления научной мысли о бессознательном психическом: психоанализ — в системе современной буржуазной психологии, теория неосознаваемой психологической установки — в системе современной советской психологии. При этом все резче и резче обрисовываются и дают о себе знать как сходные, так и принципиально различные аспекты каждой из этих теорий:

(а) Прежде всего обращает на себя внимание их общность в том, как они подходят к проблематике классической теории сознания, осуждаемой и опровергаемой ими из-за ее несостоятельности и неадекватности в качестве общей теории психологии. В частности, они приходят к выводу о том, что сознание вовсе не является феноменом, исчерпывающим психологическую сущность и способ проявления любой из известных нам фундаментальных психических особенностей человека. Иначе говоря, феномен сознания не исчерпывает ни категорию психики, ни категорию деятельности, ни категорию личности, ибо каждая из этих категорий имеет и свою вне-сознательную модификацию. То, что выступает в их структуре как бессознательное, может, согласно и психоанализу и теории неосознаваемой психологической установки, быть такой же собственно-психологической характеристикой, как и само сознание. Более того, оба эти направления считают, что в известной мере бессознательное управляет всеми этими фундаментальными измерениями человека во всех аспектах их взаимоотношений, исключая полную реализацию каждого из них через сознание и посредством него: оно (бессознательное) есть неустранимое начало всего общественного бытия человека, а не одной только его индивидуальности.

В свою очередь, подобное понимание, в таком его наиболее обобщенном виде, заставляет психоанализ и теорию неосознаваемой психологической установки оперировать логически взаимоисключающими (антиномными), хотя и вполне соотносимыми понятиями сознания и бессознательного психического, и характеризовать ими феномен человека в фундаментальных измерениях не только психики, деятельности и личности, но и самой культуры как определенного результата и веского доказательства его воздействия на природу, только благодаря которому и возникают все присущие ему категориальные признаки, вплоть до формирования его собственно-для-себя-бытия, его самостности.

Отсюда вытекает как общепсихологическое, так и философское значение каждого из интересующих нас в данном случае направлений современной научной мысли о бессознательном психическом — психо-

анализа и теории неосознаваемой психологической установки, поскольку имплицитно каждое из них проявляет тенденцию ставить проблему человека на уровне общей теории сознания и бессознательного психического во всех аспектах их единой системы отношений, вопреки тенденциям любой классически ориентированной теории, ставящей эту проблему то с позиций одной только внутренней уравновешенности человека (рационализм), то с позиций одной только его внутренней неуравновешенности (иррационализм) как субъекта своей собственной истории и творца своей собственной культуры.

(б) При решении всех этих вопросов следует, однако, учитывать существование и определенных различий между названными выше общими направлениями.

Во-первых, это различие между характеризующими каждое из них общепсихологическими содержаниями, а также между их общефилософской направленностью, в силу чего они выступают как взаимоисключающие психологические теории. При всем своем существенном влиянии на последующее развитие и на судьбу философской теории рационализма с ее предельно утрированным и утилитаризованным понятием человека, психоанализ ничего не противопоставляет ей, кроме психологически толкуемой теории сплошного иррационализма с ее биологизированным представлением о человеке, что, в свою очередь, вынуждает психоанализ развиваться, сближаясь скорее с философским идеализмом и экзистенциализмом, чем с диалектическим материализмом и марксизмом [сравни, сопоставительно: 52]. Теория же неосознаваемой психологической установки, напротив, выдвигает в этой связи свое понятие о фундаментальном единстве человеческой личности — о ее первичной и унитарной установке на ту или иную предстоящую быть осуществленной «здесь и сейчас» деятельность. Исходя из подобного понимания, эта теория преодолевает односторонность как рационалистических, так и иррационалистических истолкований сущности человека и культуры, опираясь при этом, прежде всего, на общефилософские основы материализма и диалектики. Это особенно важно отметить, ибо многие широко известные западноевропейские философы и психологи марксистской ориентации считают сегодня, что открытие Фрейда, вместе с открытием Маркса, приводит нас к принципиально новой теории человека, на основе которой мы свободно могли бы перестроить всю систему буржуазной идеологии, а вслед за этим построить и совершенно новую психологию — на основе материализма и диалектики [52]. Тогда как, в действительности, открытый Фрейдом феномен «вытеснения», в отличие от открытого Марксом общесоциологического принципа внутренней целостности человеческого бытия — принципа производственных отношений человека к природе и к другому человеку — менее всего пригоден в качестве подобной основы. Теория «вытеснения», наоборот, по существу в целом зачеркивает смысл марксистской идеологии и психологии, а следовательно, и марксистской теории человека.

Во-вторых, это — различие психоанализа и теории неосознаваемой психологической установки, которое дает о себе знать при глобальном толковании ими феномена человека и собственно человеческой психики, исходной единицей которой и та и другая считают бессознательную психику.

Психоанализ, как известно, рассматривает человека и его психику в виде своего рода закрытой иерархической системы сознательных и бессознательных переживаний, противоречие между которыми и неуправимо и не решается в пользу сознания. В результате весь мир психики — и это сознание, и это бессознательное психическое, вместе взятые — представляется психоанализу как внутренне неупорядоченная и аморфная система событий, в отношении которой ставится вопрос не о том, **как** она возникает в рамках более широкой системы взаимоотношений «Я» и мира, а о том, **почему** она именно такова, каковы ее собственные смысл и значение[5], что, по существу, полностью лишает психоанализ возможности развернуться на основе подлинного материализма и диалектики, не говоря уже о марксизме. И это — тем более, что само исходное начало всякой психики — бессознательное психическое — вовсе не используется психоанализом в качестве принципа двусторонне направленной связи психического с психическим (внутри единой системы их отношений), ни психического с транспсихическим, его порождающим и его обуславливающим.

Все эти обстоятельства делают понятным, почему наследие, которое оставил Фрейд, заставляет развивать психологический анализ скорее в сторону идеализма и экзистенциалистской теории личности, чем диалектического материализма. Другой путь широких обобщений для фрейдизма и даже для его современных модификаций недоступен.

Что же касается теории неосознаваемой психологической установки, то она в этом отношении занимает позицию, противоположную психоанализу. Это теория психики всегда открытой и всегда настроенной для познания и действий, благодаря чему эта психика толкуется как единая система отношений, а именно — отношений собственно-психического и транспсихического. Отсюда — принцип изначальной целостности любой системно организованной психики как направленности на ту или иную предстоящую к осуществлению «здесь и сейчас» деятельность, будь то деятельность чисто интеллектуальная, предметно-производственная или та и другая, вместе взятые. Именно этот принцип и заставляет теорию неосознаваемой психологической установки отправляться от собственной философской основы — материализма и диалектики.

Только такое истолкование понятия и принципа установки дает возможность отразить всю сложность динамической структуры психики с учетом всей совокупности фундаментальных отношений личности,

[5] О примате в психоанализе вопроса **«почему»** по сравнению с вопросом **«как»** см. весьма интересную и глубокую статью одного из крупнейших современных американских теоретиков этого направления Дж. Клайна: «Две или одна теория?» [59].

будь то ее отношение (1) **к самой себе,** на уровне своего собственно-для-себя-бытия через свое сознание или самосознание, (2) **к другому,** на уровне своего со-бытия-с-миром через свое индивидуальное или общественное сознание или (3) **к суперличности,** на уровне своей причастности к системе идеалов и ценностно-личностных ориентаций через свое общественное сознание, равно как и общественное бессознательное, вместе взятые. Ибо иначе как через эти инстанции и отношения психология не может охватить весь круг психической деятельности, а следовательно, и сделать ее предметом своей философской рефлексии, способной породить соответствующую научную метатеорию психологии.

(2) Тут мы вплотную подходим к тому пункту изложения, в котором можно сформулировать некоторые положения занимающей нас общей теории сознания и бессознательного психического как общей (метапсихологической) теории фундаментальных отношений личности, положив в ее основу опыт более ранних направлений научной мысли о бессознательном психическом, в данном случае — психоанализа и теории неосознаваемой психологической установки. Дело в том, что, по-существу, ни психоанализ, ни теория неосознаваемой психологической установки не представляют собою метатеории психологии в том смысле, в каком она выступает у нас как общая теория сознания и бессознательного психического. Они только создают психологически необходимые предпосылки такой теории. Прежде всего это относится к теории неосознаваемой психологической установки в той ее интерпретации, в какой она у нас выступает.

Среди других открытий и научных фактов психоанализа, как и предшествующей этому направлению научной мысли о человеческой психике, наиболее важным для данной цели является открытие психологического факта «вытеснения», благодаря которому сразу стало ясно, что исследовать эту психику можно только учитывая вытеснение из нее проявления душевной жизни человека, будь то его намерения, представления или мысли, образующие динамические структуры его неосознаваемых переживаний. Вследствие механизма вытеснения, любое отдельно взятое проявление сознания оказывается включенным в сложную иерархическую структуру отношений личности, наполняя своим собственно-психологическим содержанием всю эту структуру, что, в свою очередь, требует строить объясняющую эти проявления психологическую теорию как общую метапсихологическую теорию сознания и бессознательного психического, т. е. строить эту теорию учитывая отношения сознательного и бессознательного не только друг к другу, но и их отношения к их носительнице — личности.

Между тем, психоанализ — во всяком случае в его фрейдовском (классическом) варианте — предпочитает вовсе не пользоваться такой возможностью, фактически он ее даже не замечает и строит свою метатеорию психологии, противопоставив при этом принцип «вытеснения» принципу «Cogito», вплоть до абсолютизации им роли бес-

сознательного путем соответственной дискриминации роли сознания. Это вынуждает его, фактически, оставаться все в той же теснине анализа, в которой находится и традиционная психология душевной жизни человека, вследствие чего весь его анализ становится крайне односторонним и рыхлым. Попытки вырваться из этой теснины, предпринимаемые сегодня психоанализом по линии клинической и метапсихологической теории бессознательного, без надлежащей опоры на научно разработанные понятия об изначальной целостности психики и на классически ориентированную методологию ее исследования, мало что дают. Они, напротив, своими явно произвольными конструкциями в области метатеории психологии только мешают дальнейшему развитию строгих научных концепций в этой области. А это значит, не больше и не меньше, как всего лишь то, что решить проблему метатеории психологии при одном только ее психоаналитическом обосновании невозможно. Для этого, однако, необходимо внести глубокие изменения и в весь категориальный строй общей психологии и, прежде всего, в понимание ею самой природы психического вплоть до коренного изменения научных способов анализа последнего.

Опираясь на свою метатеорию, психология должна получить возможность управлять сложной диалектикой душевной жизни человека, и быть в состоянии дать ответ не только на вопрос, **почему** психические образования «вытесняются» из сознания в бессознательное, а оттуда, приобщившись к «иной логике» и усвоив «иной язык», снова возвращаются в сознание, но и на вопрос, **как** эти образования осуществляют «движение» переживаний между этими двумя взаимоисключающими системами психики, создавая тем самым «мост» между ними по принципу обратной связи.

(3) Отсюда само собой вытекает существенное отличие теории, предлагаемой нами, от психоаналитически ориентированной метатеории психологии. Подводя же итоги сказанному, мы хотели бы в этой связи сказать следующее.

Первое. Психоаналитиками все еще предпринимаются попытки строить, вслед за Фрейдом, метатеорию психологии на основе широкого постулирования гегемонии бессознательного в отношении всего круга проявлений деятельности и личности. Производятся, однако, эти попытки при отсутствии сколько-нибудь строго обоснованного и функционально обобщенного понятия о природе психического, что и обуславливает их безрезультатность. Ошибка Фрейда и его последователей заключается не в том, что они предлагают нам свою метатеорию психологии, а в том, что обосновывают ее, как правило, в отрыве не только от физиологии, антропологии, языкознания, социологии, искусствоведения, теории познания и прочих фундаментальных наук о человеке, но и от самой психологии. Отдельные попытки некоторых психоаналитиков перестроить систему своих теорий на основе психологии не достигают желаемого результата по указанной выше причине. Нам же представляется возможным, исходя из обобщенных результа-

тов этих наук, а также фактологии психоанализа, предложить в качестве определенной метатеории психологии не общую теорию собственно бессознательного и ни при широком постулировании решающей роли этого фактора, как это делают психоаналитики, а общую теорию сознания и бессознательного психического, одновременно функционирующую как общая теория фундаментальных отношений личности, при сохранении идеи ведущей роли сознания.

Второе. Будучи определенной метатеорией психологии, общая теория сознания и бессознательного психического, о которой у нас идет речь, оперирует понятием бессознательного не как частной категорией, — клинической, психолингвистической, социально-психологической или какой-либо иной, — но как понятием положительным и междисциплинарным — понятием неосознаваемой целостно-личностной установки, обозначающим изначальную целостность самой психики, лежащую в основе любой ее последующей дифференциации в сознание. К тому же эффект первичной унитарной установки рассматривается нами не только как собственно-психологический способ (модус) структурирования личности, но и как определенный **метаязык** для раскрытия общепсихологического смысла и значения осуществляемой ею «здесь и сейчас» деятельности. Ибо человек только посредством своих психологических установок может раскрыть всю глубину своего собственно-для-себя-бытия, своей личности, вплоть до самых сокровенных ее тайн и смыслов.

И, наконец, третье. Все это, вместе взятое, весьма существенным образом выявляет весь облик предпринимаемого нами анализа психической деятельности, исходящего от системы к элементам и от «общего смысла» к его отдельным конкретным проявлениям, вопреки психоаналитическому подходу, который в основном скорее только восходит от элементов к системе, от конкретных образов к их «общему смыслу», вследствие чего в принципе ему так или иначе всегда приходится, особенно в своих метапсихологических конструкциях, возводить частное во всеобщее, что не правомерно и заставляет психоанализ всю внутреннюю динамику психики представлять порой в явно неадекватной, преимущественно гротескной форме. Одновременно этот способ — путь от общего к частному — углубляет и расширяет возможности введенного нами принципа дополнительности в приложении к общей теории сознания и бессознательного психического, а через нее и ко всей системе анализа психики, благодаря чему психология получает, как нам кажется, возможность существенным образом изменить стиль и логическую структуру классического эксперимента с его односторонне направленной связью и **дополнить** его качественно новым приемом экспериментирования с его двусторонне направленной связью, чтобы путем соответствующего расширения поля наблюдения охватить им всю противоречивую и взаимоисключающую картину психики в биномной системе ее отношений, в данном случае, отношений сознания и бессознательного психического друг с другом и их с личностью, как их носительницей,

по всему глобальному кругу ее фундаментальных отношений в сфере бытия. Дело в том, что сознание и бессознательное психическое, как взаимоисключающие и взаимокомпенсирующие образования психики, ни в одном из этих аспектов их биномной системы отношений не отделимы друг от друга и нерасчленимы. И чтобы исследовать их при их новой (неклассической, негалилеевской) экспериментальной ситуации, надо брать их вместе с их общим контекстом и не независимо от их наблюдателя, а только совместно с ним и с их двусторонне направленной связью, т. е. ввести их в поле эксперимента не иначе как только через их общий контекст и биномную систему отношений, в которую они включены и вне которой они вообще не проявляют себя.

И это не только при исследовании единой картины психики, а обязательно на уровне общей теории психологии, когда выясняются отношения самих системных образований психики внутри единой сферы их совместной модификации — в сфере бытия. В новой экспериментальной ситуации тщательному обследованию подвергаются также любые отдельно взятые психические образования в их феноменологической целостности, скажем, какое-нибудь отдельно взятое переживание (представление, желание, мысль и т. д. и т. п.) или система переживаний (представлений, желаний, мыслей и т. д. и т. п.), когда это переживание (или система переживаний) подвергается наблюдению не только с субъективной (имманенто-личностной) стороны, но и с объективной (ситуационно-контекстуальной) стороны его феноменологической целостности одновременно, и не то что независимо от самого наблюдателя, а только в их единой системе отношений и с их двусторонне направленной связью. Причем чем сложнее феноменологическая структура и чем выше эмоциональная нагрузка данного переживания или системы переживаний, тем более настойчиво дает о себе знать необходимость их исследования посредством неклассически организованной модели психологического эксперимента.

Без учета указанных выше обстоятельств вряд ли могла оказаться успешной предпринятая в последнее время попытка выделить особую группу так называемых «высокозначимых переживаний» с определением их «личностного смысла», нашедшая отражение в современной психологической и психоаналитической литературе [2; 13; 59; 61]. Исследовать эти переживания «безучастно», вне «общего контеста» принципиально невозможно, как, в частности, оказывается принципиально невозможным вести подобное исследование в условиях лечения (клиники), когда «выделение» таких переживаний и их «личностного смысла» происходит в рамках системы «врач—больной», по их двусторонне направленной связи [53]. А это, как нам кажется, является прямым подтверждением давно уже отстаиваемой нами [42; 43; 44; 45] идеи собственно-психологического принципа дополнительности, и не только на уровне современной экспериментальной психологии. Опорой тут должно служить совершенно новое понятие этой психологии — понятие изначальной целостности психики, понятие единой установки личности.

DIALECTICS, THE PRINCIPLE OF COMPLEMENTARITY AND THE PROBLEM OF THE COGNITION OF PSYCHIC UNITY: TOWARD A NON-CLASSICALLY ORIENTED STRATEGY OF SCIENTIFIC EXPERIMENT IN PSYCHOLOGY

A. E. SHEROZIA

The D. N. Uznadze Institute of Psychology, Academy of Sciences of the Georgian SSR; Faculty of Philosophy and Psychology, Tbilisi State University

Summary

(1) The difficulties attending the study of the mind as a whole are not removed when any one of its systems constructs — consciousness, the unconscious mind or set — is analyzed. Psychology invariably conceives of mind «in two faces»; with one of these faces mind addresses itself to the subject of its cognition and — being a purely personal (subjective) construct—shares the nature of this subject; with the other face mind is oriented to the object and — being the only possible «language» of its expression — shares the nature of this object. However, by defining in this way quite different (diametrally opposed) «positions» of the mind in respect to subject and object psychology thereby deprives itself of a real opportunity of «direct observation» of this mind simultaneously from both positions, and hence, of a real opportunity of such observation of its *unitary phenomenological structure*. To justify itself, classical psychology—following in the wake of natural science—of necessity takes the path of «cleaving» the unitary phenomenological structure of the mind — again on the Galilean principle—and builds its own system of knowledge on the basis of experiential evidence obtained from observing the mind, at times, *from the side of the subject*—resulting in the classical version of the introspective psychology of consciousness, and at others, from the side of the object—characteristically leading to classical behaviourism.

As for the restoration of this «cleft» unitary phenomenological structure of the mind, this is essentially impossible within classical psychology. Furthermore, that psychology should give up its characteristic way of thinking through «complementing» (and not excluding) one of these approaches by the other. However, to do this psychology needs a properly psychological concept of the primary fundamental unity of the mind as a definite system of reflection and, on the basis of this, requires the *properly-psychological principle of complementarity*, which will raise this science to a qualitatively different level of interpretation of the mind, here considered in «two faces».

Freud was the first to raise this question. But he approached the problem not from the position of viewing the psyche as a system of reflection of trans-psychic «state of affairs»; he treated the human psyche as a definite form of experiences in which consciousness and the unconscious mind only «complement» each other, forming a system of specific relations within a closed cycle

of the subject's mind. Under such understanding, this psyche — as a subject of study —falls out of the sphere of the fundamental relations of personality (Id—Ego—Super-Ego), while personality is reduced to this psyche through an inverse depersonalization of its initial systems (Ubw, Vbw, Bw).

Nevertheless, Freud's positive as well as negative experience continues to play a significant role in the investigations of the psyche as a phenomenon «with two faces». In view of Freud's positive experience neither the mind as a whole, nor any of its systems constructs (be it consciousness, the unconscious mind or set) can any longer be studied simply, that is to say, without their mutually exclusive and mutually compensatory interrelationship. In particular, the positive experience of Freud's psychoanalysis necessitates the study of the unconscious only through consciousness and personality— their bearer — in a unitary system of their relations. Yet, by its negative experience, psychoanalysis creates an obvious difficulty for this relevant idea with its assertion of the universal ascendancy of the unconscious, leading to a tragedy of both (consciousness and personality), which cannot be resolved within its limits.

However, this occurred with Freud not because of the «obscurity» of his teaching, but owing to the absence in his categorial apparatus of a concept reflecting the primary fundamental unity of the psyche, as well as to his inability to operate with the properly psychological principle of relativity. Had he used these categories he could have easily overcome the gnoseological contradictions which unavoidably arose and which ultimately impelled him to do away with consciousness by declaring the latter an epiphenomenon of the human mind. Therefore, any attempt to preserve in psychoanalysis this clearly understandable «dualism» of concepts conformably to Freud's initial model in the absence of of a concept on the primary unity of the mind, suggested by the present writer, as well as of a relevant technique of processing experiential data, would seem to remain a vox clamantis in deserto.

(2) The gnoseological difficulty, the negative consequences of which were so deeply manifested already with Freud, complels us today to take the opposite road of analyzing mental activity that stems from system to elements and from «general significance» to its particular manifestations. This is in contrast to the psychoanalytic approach which mainy proceeds from elements to system, from concrete images to their «general significance»; this compels the approach — particularly in its metapsychological constructs — to raise the particular to the status of the general, which is untenable, at times forcing psychanalysis to represent the entire inner dynamics of the psyche in a patently irrelevant—predominantly grotesque—form. The way from the general to the particular deepens and expands the resources of the present writer's principle of complementarity in its application to the general theory of consciousness and the unconscious mind and, through it, to the entire system of the analysis of the mind. This, in the writer's view, will enable psychology to essentially alter the style and logical structure of the classical experiment with its one-way relation and to complement it with a qualitatively new technique of experimentation with its two-way relation in order

that, by expanding the field of observation, the entire contradictory and mutually exclusive picture of the mind in the binomial system of its relations be covered, that is, the relations of consciousness and the unconscious mind with each other and of these two with personality — their bearer, along the entire cycle of its fundamental relations of existence. Consciousness and the unconscious mind — being both mutually exclusive and mutually compensatory constructs of the psyche — in neither of these aspects of their binomial system of relations are separable from each other. In order to study them in their new (non-classical, non-Galilean) experimental situation they should be taken jointly, together with their common context, and not independently of their observer but only in conjunction with him and with their two-way relation, i. e., they should be introduced into the experimental field only through their common context and binomial system of relations in which they are involved and outside of which they do not generally manifest themselves.

This refers not only to the study of the unitary picture of the mind but, of necessity, to the level of the general theory of psychology that deals with relations of the systems constructs within the unitary sphere of their modification. i. e. the sphere of being. The new experimental situation provides for a thorough examination of any particular mental construct in its phenomenological unity, say, an individual experience (notion, wish, thought, etc.) or a system of experiences (notions, wishes, thoughts, etc.); here this experience (or system of experiences) is subjected to observation not only from the subjective (immanent-personality) side, but also from the objective (situational-contextual) side of its phenomenological unity — not independently of the observer but only in their unitary system of relations with their two-way relation. The more complex the phenomenological structure and the higher the emotional loading of a given experience or system of experiences the more urgent the need of their study by means of a non-classically organized model of psychological experiment.

Without taking account of the foregoing circumstances the recent attempt to isolate a special group of so-called «highly significant experiences» and to determine their «personal significance», made in modern psychological and psychoanalytical literature, could hardly meet with successs [2; 13; 59; 61]. It is essentially impossible to study these experiences «without involvement» or outside of «the common context», as, in particular, it is impossible to carry out such investigation under treatment conditions (in clinic), when the «identification» of such experiences and of their «personal significance» takes place within the «physician-patient» system, along their two-way relationship [53]. This, it is believed, is a direct corroboration of the idea — long since maintained by the present writer [42; 43; 44; 45]—of the properly psychological principle of complementarity — and not only at the level of present-day experimental psychology. Here the concept of the primary unity of the mind or the integrate set of personality — an entirely new concept of this psychology — should serve as the basis.

ЛИТЕРАТУРА

1. БАССИН Ф. В., Проблема бессознательного (О неосознаваемых формах высшей нервной деятельности), М., 1968.
2. БАССИН Ф. В., Вопросы психологии, 4, 1971 и 3, 1972 (О собственно-психологической закономерности «значащих переживаний»; по этой тематике см. также дискуссионные статьи журнала: 5, 6, 1971 и 1, 2, 4, 1972).
3. БАССИН Ф. В., ПРАНГИШВИЛИ А. С., ШЕРОЗИЯ А. Е., К истории и современной постановке вопроса о бессознательном психическом. В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования (под общей редакцией А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина), т. I, Тб., 1978.
4. БЖАЛАВА И. Т., Фиксированная установка и системность в работе больших полушарий коры головного мозга. Сообщения АН Груз. ССР, т. XIV, 1954.
5. БЖАЛАВА И. Т., Установка и механизмы мозга, Тб., 1971.
6. БОР Н., Атомная физика и человеческое познание, М., 1961.
7. БОЧОРИШВИЛИ А. Т., Проблема бессознательного в психологии, Тб., 1961.
8. БОЧОРИШВИЛИ А. Т., Может ли психика (переживание) существовать вне сознания? В сб.: Проблема сознания (под редакцией В. М. Банщикова), М., 1966.
9. БОЧОРИШВИЛИ А. Т., О бессознательном. В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования (под общей редакцией А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф В. Бассина), т. I, Тб., 1978.
10. КАКАБАДЗЕ В. Л., Понятие бессознательного в глубинной психологии. В сб.: Проблемы сознания (под редакцией В. М. Банщикова), М., 1966.
11. КАКАБАДЗЕ В. Л., Философские основы глубинной психологии (критический анализ). Докторская диссертация по философии [см. также автореферат этой диссертации], Тб., 1974.
12. КАКАБАДЗЕ В. Л., Проблема бессознательного в классической глубинной психологии. В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования (под общей редакцией А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина), т. I, Тб., 1978.
13. ЛЕОНТЬЕВ А. Н., Деятельность, Сознание. Личность, М., 1975.
14. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Из ранних произведений, М., 1956. [О теории сознания Маркса см.: М. К. Мамардашвили, Вопросы философии, 6, 1968].
15. МАРКС К., ЭНГЕЛЬС Ф., Диалектика природы, Соч., т. 20, М., 1961.
16. XVIII Международный психологический конгресс. Материалы 14-го симпозиума по экспериментальным исслед. установки, М., 1966.
17. НАТАДЗЕ Р. Г., Экспериментальные основы теории установки Д. Н. Узнадзе. Психологическая наука в СССР, т. 11, М., 1960.
18. НАТАДЗЕ Р. Г., Установочное действие воображения, Тб., 1970.
19. НОРАКИДЗЕ В. Г., Типы характера и фиксированная установка. Тб., 1966.
20. НОРАКИДЗЕ В. Г., Методы исследования характера личности, Тб., 1975.
21. ПИАЖЕ Ж., Психология, междисциплинарные связи и система наук, М., 1966.
22. ПРАНГИШВИЛИ А. С., О понятии установки в системе советской психологии. Вопросы психологии, 3 и 6, 1955; 4, 1958 (Дискуссию по этой проблеме см. там же).
23. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Исследования по психологии установки, Тб., 1967.
24. ПРАНГИШВИЛИ А. С., Психологические очерки, Тб., 1975.
25. Психологические исследования, посвященные 85-летию Д. Н. Узнадзе (под редакцией А. С. Прангишвили), Тб., 1973.

26. РАМИШВИЛИ Д. И., Об основном содержании теории установки. Вопросы психологии, 3, 1957.
27. РАМИШВИЛИ Д. И., К психологической природе различных видов речи, Тб., 1963 (на груз. яз.).
28. САКВАРЕЛИДЗЕ М. А., К патопсихологии шизофренического мышления. Докторская диссертация по психологии [см. также автореферат этой диссертации], Тб., 1974.
29. УЗНАДЗЕ Д. Н., Impersonalia. Чвени мецниереба, I, 1923 (на груз. яз.).
30. УЗНАДЗЕ Д. Н., Основы экспериментальной психологии, т. I, Тб., 1925 (на груз. яз.).
31. УЗНАДЗЕ Д. Н., К теории постгипнотического внушения, Тб., 1936.
32. УЗНАДЗЕ Д. Н., Основные положения теории установки. Труды ТГУ, т. 19, Тб., 1941 (на груз. яз.).
33. УЗНАДЗЕ Д. Н., Экспериментальные основы психологии установки, Тб., (1949), 1961.
34. ФОК В. А., Об интерпретации квантовой физики. В сб.: Философские проблемы современного естествознания, М., 1959.
35. ФРЕЙД З., Лекции по введению в психоанализ, т. 2, М., 1923.
36. ФРЕЙД З., Основные психологические теории в психоанализе, М., 1923.
37. ФРЕЙД З., Три очерка по сексуальности, М., 1924 [см. также его Психология масс и анализ человеческого «Я», М., 1925].
38. ФРЕЙД З., Я и Оно, Ленинград, 1924.
39. ХАЧАПУРИДЗЕ Б. И., Проблемы и закономерности действия фиксированной установки, Тб., 1962.
40. ХОДЖАВА З. И., Проблема навыка в психологии, Тб., 1960.
41. ЧХАРТИШВИЛИ Ш. Н., Некоторые спорные проблемы психологии установки, Тб., 1971.
42. ШЕРОЗИЯ А. Е., Опыт обоснования новой теории психики и проблема бессознательного (установки), Тб., 1963 [см. также его Разносферные закономерности психики и проблема бессознательного. Труды Ин-та философии АН Груз. ССР, т. VII, 1957].
43. ШЕРОЗИЯ А. Е., О сознании и бессознательном психическом. Докторская диссертация по философии [см. также автореферат этой диссертации], Тб., 1966.
44. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт исследования на основе данных психологии установки, т. I, Тб., 1969.
45. ШЕРОЗИЯ А. Е., К проблеме сознания и бессознательного психического. Опыт интерпретации и изложения общей теории, т. II, Тб., 1973.
46. ШЕРОЗИЯ А. Е., Психика — Сознание — Бессознательное. К обобщенной теории психологии, Тб., 1979 (в печати).
47. ШЕРТОК Л., Бессознательное во Франции до Фрейда: предпосылки открытия. В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования (под общей редакцией А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина), т. I, Тб., 1978, стр. 347—358.
48. ШЕРТОК Л., Скрытое лицо бессознательного: Фрейд и гипноз. В кн.: Бессознательное: природа, функции, методы исследования (под общей редакцией А. С. Прангишвили, А. Е. Шерозия, Ф. В. Бассина), т. II, Тб., 1978, стр. 141—152.
49. ШИБУТАНИ Т., Социальная психология, М., 1969.
50. Экспериментальные исследования по психологии установки (под редакцией А. С. Прангишвили), Тб., т. I, 1958, т. II, 1963, т. III, 1966, т. IV, 1970, т. V, 1971.
51. ЭЛИАВА Н. Л., Проблема установки в психологии мышления, Тб., 1964 (на груз. яз.).
52. ALTHUSSER L., La découverte du docteur Freud dans ses rapports avec la théorie marxiste. In: A. S. Prangishvili, A. E. Sherozia, F. V. Bassin (Eds.), The Unconscious: Nature, Functions, Methods of Study, v. I, Tbilisi, 1978, pp. 239—254.

53. BARNETT B., The Balint Group and Unconscious Mental Life. In: A. S. Prangishvili, A. E. Sherozia, F. V. Bassin (Eds.), The Unconscious: Nature, Functions, Methods of Study, v. III, Tbilisi, 1978, pp. 686 — 694
54. CHERTOK L., SAUSSURE R. de, Naissance du psychanalyste, Paris, 1973.
55. Ey H., (Ed.), L'Inconscient. VI Colloque de Bonneval, Paris, 1966.
56. Ey H., La problème de l'inconscient. In: A. S. Prangishvili, A. E. Sherozia, F. V. Bassin (Eds.), The Unconscious: Nature, Functions, Methods of Study, v. I, Tbilisi, 1978, pp. 540 557
57. GARRETT H. E., Great Experiments in Psychology, London, 1959.
58. IASP Translations from Original Soviet Sources. Special issue on Georgian psychology, v. VII, N. Y., 1968—1969.
59. KLEIN G., Two Theories or One? Bull. Menninger Clin., 2, 1973.
60. Les Attitudes. Symposium de L'Association de psychologie scientifique de langue française, Paris, 1961.
61. Psychology versus Metapsychology: Psychoanalytic Essays in Memory of George S. Klein. Psychological Issues, vol. IX, 4, Monogr. 36, N. Y., 1976.
62. RORACHER H., Die Arbeitsweise des Gehirns und die psychischen Vergange, München, 1967.
63. UZNADZE, D. N., Untersuchungen zur Psychologie der Einstellung. Acta Psychologica, Bd. IV, 3, 1939.
64. UZNADZE D. N., The Psychology of Set, N. Y., 1966.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ АВТОРОВ

Цифры в скобках обозначают начальную страницу публикации автора в настоящем томе монографии

ГЕРШУНИ Г. В. (537), Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова АН СССР, Ленинград, СССР

ГОМЕЛАУРИ М. Л. (446), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. СССР, Тбилиси, СССР

ДМИТРИЕВ А. Н. (131), Куйбышевский педагогический институт, кафедра философии, Куйбышев, СССР

ДМИТРИЕВА Э. Я. (131), Куйбышевский педагогический институт, кафедра философии, Куйбышев, СССР

ДРОГАЛИНА Ж. А. (293, 703), Московский государственный университет, Лаборатория математической теории эксперимента, Москва, СССР

ДУБРОВСКИЙ Д. И. (68), Московский государственный университет, факультет философии, Москва, СССР

ЗАБРОДИН Ю. М. (554), Институт психологии АН СССР, Москва, СССР

ИВАНОВ Вяч. Вс. (168), Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Москва, СССР

ИМЕДАДЗЕ Н. В. (220), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

КАНЧАВЕЛИ Л. Г. (138), Институт кибернетики АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

КАРМИН А. С. (90), Институт водного транспорта, кафедра философии, Ленинград, СССР

КВАВИЛАШВИЛИ Дж. Ш. (451), Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии, Тбилиси, СССР

КИСЕЛЕВ С. В. (83), Институт ВНД и нейрофизиологии, Москва, СССР

КОРНЕЕВА Н. Н. (329), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

КОТИК М. А. (103, 651), Тартуский государственный университет, Тарту, СССР

КОФТА М. (402), Институт психологии, Варшавский университет, Варшава, Польша

КУЗНЕЦОВ О. А., (703), Московский государственный университет, Лаборатория математической теории эксперимента, Москва, СССР

ЛАУТЕРБАХ В. (564), Психологический институт Дюссельдорфского университета, Дюссельдорф, ФРГ

ЛЕВИНА Р. Е. (249), Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, Москва, СССР

ЛЕКЛЕР С. (260), Парижский университет, Париж, Франция

ЛЕРНЕР Ю. М. (329), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

ЛИСИЦЫНА К. А. (111), Институт гигиены детей и подростков МЗ СССР, Москва, СССР

МОРГУН В. Ф. (235), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

НАЛИМОВ В. В. (286, 293, 703), Московский государственный университет, лаборатория математической теории эксперимента, Москва, СССР

НАССИФ Ж. (272), Парижская школа психоанализа, Париж, Франция

НОРАКИДЗЕ В. Г. (611), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

ОБУХОВА Л. Ф. (329), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

ОРЛОВ Ю. К. (302), Институт кибернетики АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

ПЛАТОНОВ К. К. (121), Институт психологии АН СССР, Москва, СССР

ПРАНГИШВИЛИ А. С. (19, 27, 153, 337, 513, 711), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

ПРАТУСЕВИЧ Ю. М. (111), Институт гигиены детей и подростков МЗ СССР, Москва, СССР

РАЙКОВ В. Л. (586), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

РАМИШВИЛИ Г. В. (199), Тбилисский государственный университет, филологический факультет, Тбилиси, СССР

РАМИШВИЛИ Д. И. (173), Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

РУБИНШТЕЙН С. Я, (644), Научно-исследовательский институт психиатрии МЗ РСФСР, Москва, СССР

САВЕНКО Ю. С. (632), Институт судебной психиатрии, Москва, СССР

САРДЖВЕЛАДЗЕ Н. И. (485), Тбилисский государственный университет, отдел социологии, Тбилиси, СССР

СИРОТКИН С. А. (329), Московский государственный университет, факультет психологии, Тбилиси, СССР

СОКОЛОВА Е. Т. (622), Московский государственный университет, Факультет психологии, Москва, СССР

СОЛОВЬЕВ А. В. (111), Институт гигиены детей и подростков МЗ СССР, Москва, СССР

СУВОРОВ А. В. (329), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

СУНАЛЕ Г. (460), Бордоский университет, Бордо, Франция

СЫДЫКБЕКОВА Д. Т. (255), Институт языка АН Киргизской ССР, Фрунзе, СССР

ТИХОМИРОВ О. К. (62, 586), Московский государственный университет, факультет психологии, Москва, СССР

ТКАЧЕНКО А. Н. (490), Киевский государственный университет, Киев, СССР

ТОМ А. (390), Университет им. Карла Маркса, Лейпциг, ГДР

ТОНКОНОГИЙ И. М. (78), Психоневрологический институт им. В. М. Бехтерева, Ленинград, СССР

УМРЮХИН Е. А. (674), ВНИИ медицинского приборостроения, Москва, СССР

ФАЙВИШЕВСКИЙ В. А. (433), Психоневрологический диспансер № 11, Москва, СССР

ФРИШМАН Е. З. (554), Институт психологии АН СССР, Москва, СССР

ХИЛГАРД Э. (574), Станфордский университет, Станфорд, Калифорния, США

ЦУЛАДЗЕ С. В. (422), Институт психиатрии им. М. М. Асатиани МЗ Груз. ССР, Тбилиси, СССР

ШАПИРО Д. И. (667), Институт автоматизированных систем управления, Москва, СССР

ШЕРОЗИЯ А. Е. (19, 27, 153, 337, 351, 513, 711, 751), Тбилисский государственный университет, факультет философии и психологии; Институт психологии им. Д. Н. Узнадзе АН Груз. ССР, Тбилиси, СССР

ШЕРТОК Л. (598), Институт Ларошфуко, Центр психосоматической медицины им. Дежерина, Париж, Франция

ШОШИН П. Б. (660), Институт дефектологии АПН СССР, Москва, СССР

ЯКОБСОН Р. О. (156), Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт, Нью-Хейвен, США

ЯРОШЕВСКИЙ М. Г. (414), Институт истории естествознания и техники АН СССР, Москва, СССР

LIST OF CONTRIBUTORS

Numbers in parentheses indicate the pages on which the authors' contributions begin

AMADO E. (142), Université de Paris, Paris, France

ARIETI S. (47), New York Medical College, New York, USA

BAINDURASHVILI A. G. (187), Tbilisi State University, Faculty of Philosophy and Psychology, Tbilisi, USSR

BARNET B. (686), Child Guidance Training Centre, Tavistock Centre, London, England

BASSIN F.V. (19, 27, 153, 337, 513, 711, 735), Institute of Neurology, USSR Academy of Medical Sciences, Moscow, USSR

BEIN E. S. (313), Institute of Neurology, USSR Academy of Medical Sciences, Moscow, USSR

BESPALKO I. G. (56), The Bekhterev Psychoneurological Institute, Leningrad, USSR

BORBELY A. F. (500), New York University, New York, USA

BORODA M. G. (302), Tbilisi State Conservatoire Named after V. Sarajishvili, Tbilisi, USSR

BRUDNY A. (98), Institute of Philosophy and Law, Kirghiz Academy of Sciences, Frunze, USSR

BUDA B. (310), National Institute for Nervous and Mental Diseases, Budapest, Hungary

BURLACHUK L. F. (638), Kiev State University, Department of Psychology, Kiev, USSR

CHERTOK L. (598), Institut La Rochefoucauld, Centre de médecine psychosomatique Dejerine, Paris, France

DMITRIYEV A. N. (131), Kuibyshev Pedagogical Institute, Department of Philosophy, Kuibyshev, USSR

DMITRIYEVA E. (131), Kuibyshev Pedagogical Institute, Department of Philosophy, Kuibyshev, USSR

DROGALINA Zh. A. (293, 703), Moscow State University, Laboratory of the Mathematical Theory of Experiment, Moscow, USSR

DUBROVSKY D. I. (68), Moscow State University, Faculty of Philosophy, Moscow, USSR

FAIVISHEVSKI V. A. (433), 11th Psychoneurological Prophylactic Centre, Moscow, USSR

FRISHMAN E. Z. (554), Institute of Psychology, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR

GARAI L. (476), Institut de Psychologie de l'Académie des Sciences, Budapest, Hongrie

GACHKEL V. (695), Université de Paris, Paris, France

GERSHUNI G. V. (537), I. Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry, USSR Academy of Sciences, Leningrad, USSR

GOMELAURI M. L. (446), The D. N. Uznadze Institute of Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

HEINRICH Hans-Georg (211), Universität Wien, Wien, Österreich

HILGARD E. R. (574) , Stanford University, Stanford, California, USA

IVANOV V. V. (163), Institute of Slavic and Balkan Studies, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR

IMEDADZE N. V. (220), The D. N. Uznadze Institute of Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

JAKOBSON R. O. (156), Harvard University and the Massachusetts Institute of Technology, New-Haven, USA

JAROSHEVSKY M. G. (414), Institute of the History of Natural Science and Technology, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR

KANCHAVELI L. G. (138), Institute of Cybernetics, Academy of Sciences of the Georgian SSR, Tbilisi, USSR

KARMIN A. S. (90), Institute of Water Transport, Department of Philosophy, Leningrad, USSR

KVAVILASHVILI J. Sh. (451), Tbilisi State University, Department of Philosophy and Psychology, Tbilisi, USSR

KISELEV S. V. (83), Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR

KORNEEVA N. N. (329), Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, USSR

KOTIK M. A. (103, 651), Tartu State University, Tartu, USSR

KOFTA M. (402), Institute of Psychology, University of Warsaw, Warsaw, Poland

KUZNETSOV O. A., (703), Moscow State University, Laboratory of the Mathematical Theory of Experiment, Moscow, USSR

LAUTERBACH W. (564), Psychologisches Institut de Universität Düsseldorf, Düsseldorf, BRD

LEVINA R. Ye. (249), Research Institute of Defectology, USSR Academy of Pedagogical Sciences, Moscow, USSR

LECLAIRE S. (260), Université de Paris, Paris, France

LERNER U. M. (329), Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, USSR

LISITSYNA K. A. (111), Institute of Hygiene of Children and Adolescents, Ministry of Health of the USSR, Moscow, USSR

MORGUN V. F. (235), Moscow State University, Department of Psychology, Moscow, USSR

NALIMOV V. V. (286, 293, 703), Moscow State University, Laboratory of the Mathematical Theory of Experiment, Moscow, USSR

NASSIF J. (272), L'école freudienne de Paris, Paris, France

NORAKIDZE V. G. (611), Institute of Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

OBUKHOVA L. P. (329), Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, USSR

ORLOV Yu. K. (302), Institute of Cybernetics, Academy of Sciences of the Georgian SSR, Tbilisi, USSR

PLATONOV K. K. (121), Institute of Psychology, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR

PRANGISHVILI A. S. (19, 27, 153, 337, 513, 711), Institute of Psychology, Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

PRATUSEVICH Yu. M. (111), Institute of Hygiene of Children and Adolescents, Ministry of Health of the USSR, Moscow, USSR

RAIKOV V. L. (586), Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, USSR

RAMISHVILI D. I. (173), Institute of Psychology. Georgian Academy of Sciences, Tbilisi, USSR

RAMISHVILI G. V. (199), Tbilisi State University, Department of Philology, Tbilisi, USSR

RUBINSTEIN S. Y. (644), Moscow Scientific Research Institute of Psychiatry, RSFSR Ministry of Health, Moscow, USSR

SAVENKO Yu. S. (632), Central Institute of Forensic Psychiatry, Moscow, USSR

SARJVELADZE N. I. (485), Tbilisi State University, Department of Sociology, Tbilisi, USSR

SHAPIRO D. I. (667), Institute of Automated Control Systems, Moscow, USSR

SHEROZIA A. E. (19, 27, 153, 337, 351, 513, 711, 751), Tbilisi State University, Department of Philosophy and Psychology; Institute of Psychology, Georgian Academy o Sciences, Tbilisi, USSR

SHOSHIN P. B. (660), Research Institute of Defectology, USSR Academy of Padagogical Sciences, Moscow, USSR

SIROTKIN S. A. (329), Moscow State University, Moscow, USSR

SOKOLOVA E. T. (622) Moscow State University, Department of Psychology, Moscow, USSR

SOLOVYEV A. V. (111), Institute of Hygiene of Children and Adolescents, Ministry of Health of the USSR, Moscow, USSR

SOUNALET G. (460), Université de Bordeaux, France

SUVOROV A. V. (329), Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow, USSR

SYDYKBEKOVA D. T. (255), Institute of Language, Academy of Sciences of the Kirghiz SSR, Frunze, USSR

TIKHOMIROV O. K. (62, 586), Moscow State University, Department of Psychology, Moscow, USSR

TKACHENKO A. N. (490), Kiev State University, Kiev, USSR

THOM A. (390), Karl-Marx-Universität, Leipzig, DDR

TONKONOGII I. M. (78), The Bekhterev Psychoneurological Institute, Leningrad, USSR

TSOULADZE S. V. (422), Département de psychologie médicale de l'institut de psychiatrie, Tbilissi, URSS

UMRYUKHIN E. A. (674), The All-Union Research Institute of Medical Instrument Making, Moscow, USSR

VASILYEVA I. G. (229), Research Institute for National Schools, Moscow, USSR

VIZEL T. G. (313), Institute of Neurology, USSR Academy of Medical Sciences, Moscow, USSR

WEISGERBER B. (202) Universität Bonn, Wuppertal Pedagogische Hochschule, Bonn, BRD

WODAK-LEODOLTER R. (319), Institut für Sprachwissenschaft der Universität Wien, Wien, Österreich

ZABRODIN Yu. M. (554), Institute of Psychology, USSR Academy of Sciences, Moscow, USSR

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

Редколлегия надеется, что специалисты, затратив немалый труд на прочтение настоящей коллективной монографии, создадут себе определенное мнение о ее содержании. Мы заранее убеждены, что эти мнения будут разными и именно в силу этого ценными для науки. Редколлегия хотела бы поэтому, чтобы мысли, возникшие у специалистов при размышлении над монографией и являющиеся откликом на те или иные рассмотренные (или упущенные) в ней проблемы, не остались лишь их личным достоянием. Они могут быть положены в основу последующих дискуссий в соответствии с определенной программой (см. стр. 731—732 настоящего тома) специально созываемого для этой цели Тбилисского международного симпозиума по проблеме неосознаваемой психической деятельности (октябрь, 1979).

Материалы для дискуссии просим присылать по адресу: 380007, Тбилиси, ул. Махарадзе 3, Институт психологии Академии наук Грузинской ССР, в редколлегию коллективной монографии «Бессознательное».

FROM THE EDITORS

It is the hope of the editors that specialists in the field, by undertaking the arduous task of going through the present collective monograph, will form an idea on its contents. The diversity of ideas can only be anticipated, this making them the more valuable for science. It is hoped, therefore, that the ideas thus formed on any of the problems discussed (or overlooked) in the monograph will not remain with the readers as their private views. Such ideas can serve as a basis for further discussion according to a definite programme (see pp. 733-734 of the present volume) at a special international symposium on the problem of unconscious mental activity to be held in Tbilisi in October 1979.

Please send your materials for discussion to the following address: 380007, Tbilisi, Makharadze st. 3, Institute of Psychology of the Academy of Sciences of the Georgian SSR, the Editorial Board of the collective monograph "The Unconscious".

НОВЫЕ КНИГИ

Имеются в продаже первые два тома настоящей коллективной монографии о бессознательном психическом: том первый, «Развитие идей», ц. 4 р. 45 к., том второй, «Сон. Клиника. Творчество», 4 р. 30 к. К концу 1980 г. выйдет из печати четвертый том — «Результаты дискуссий», ориентировочная ц. 4 р. 45 к. По этой тематике издательство «Мецниереба» предлагает также книгу профессора А. Е. Шерозия «Психика. Сознание. Бессознательное», которая выйдет в свет в начале 1979 г., ц. 1 р. 30 к.

Заказы (коллективные и индивидуальные) могут быть направлены по адресу: 380079, Тбилиси, проспект И. Чавчавадзе, 12, магазин «Академкнига».

NEW BOOKS

The first two volumes of the present collective monograph on the unconscious mind are available: Volume One, "The Development of the Idea", price 4 rb. 45 kop.; Volume Two, "Sleep. Clinic. Creativity", price 4 rb. 30 kop.; Volume Four, "The Results of the Discussion", will be published by the end of 1980, approximate price 4 rb. 45 kop. On the same subject, the "Metsniereba" Publishing House offers also Professor A. E. Sherozia's book "Mind. Consciousness. Unconscious", which will come out early in 1979; price: 1 rb. 30 kop.

Orders (group or individual) should be sent to the following address: Magazin "Akademkniga", prospekt I. Chavchavadze 12, Tbilisi, 380079, USSR.

ОПЕЧАТКИ — ERRATA

Стр. Page	Строка Line	Напечатано Reads	Следует читать Should read
36	9 св.	тактически	фактически
142	1 св.	i'inconscient	l'inconscient
143	26 св.	tuut	tout
227	22 сн.	ot	of
295	32—33 св	поверить	проверить
326	14 св.	Celingende	Gelingende
354	12 сн.	она	оно
357	10 св.	нание) и ко всему остальному (сознание другого). Это отношение соз-	так, как оно относится к своей самостности. Оба эти отношения соз-
365	19 сн.	вожделяющее	вожделеющее
419	11 сн.	издавно	издавна
472	17 сн.	précédte	précédente
487	24 сн.	другим людям	другими людьми
511	9 сн.	Osborne	Osborn
527	2 св.	не неосознаваемых	неосознаваемых
724	26 св.	значения	знания
726	17 сн.	на развязывание	к развязыванию
726	15 сн.	на индивидуальное	к индивидуальному
727	22 сн.	их	их и
749	18 св.	significanes	significances
779	17 сн.	психику можно	психику, в частности, сознание можно
779	16 сн.	из нее проявления	из него проявлений
781	15 св.	в сознание	в сознании
781	3 св.	ни	не
785	12 сн.	successs	success
787	20 св.	Три очерка по сексуальности	Три статьи по теории сексуальности

Опечатки дополнительно обнаружены также в предыдущих томах издания. В первом томе — на стр. 219 (10 строка св.) «и может» вместо «и не может», на стр. 561 (3—2 строки сн.) «не избавил нас все еще» вместо «но избавил нас все же»; во втором томе — на стр. 19 (5—4 строки сн.) «эффективное» вместо «эффектное», на стр. 22 (7 строка сн.) «аналогичного» вместо «алогичного», на стр. 199 (25 строка св.) «принадлежность» вместо «принадлежностью», на стр. 201 (21 строка св.) «ЦОЛИУ» вместо «ЦОЛИУВ», на стр. 208 (10 строка сн.) «эффективных» вместо «эффектных».

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ: ПРИРОДА, ФУНКЦИИ, МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. ТОМ ТРЕТИЙ

«МЕЦНИЕРЕБА»
ТБИЛИСИ
1978

Напечатано по постановлению Редакционно-издательского совета Академии наук Грузинской ССР

ИБ-561

Редакторы издательства М. Г. Мачабели, А. А. Чантурия
Техредактор Э. Б. Бокерия
Художник А. Ф. Думбадзе
Корректоры Л. К. Абжандадзе, М. Вердо-Циуладзе, Ф. Д. Джорбенадзе, Д. И. Долидзе, Е. С. Сенюк

Сдано в набор 11.8.1976; Подписано к печати 1.10.1978; Формат бумаги 70×108 1/16; Бумага № 1; Печатных л. 69,6; Уч. издат. л. 64,3;
УЭ 01007 Тираж 8000 Заказ 1682

Цена 4 руб. 45 коп.

გამომცემლობა „მეცნიერება", თბილისი, 380060, კუტუზოვის ქ., 19
Издательство «Мецниереба», Тбилиси, 380060, ул. Кутузова, 19

საქ. სსრ მეცნ. აკადემიის სტამბა, თბილისი, 380060, კუტუზოვის ქ., 19
Типография АН ГССР, 380060, Тбилиси, ул. Кутузова, 19



БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ
THE UNCONSCIOUS

III